Зинаида Шаховская

Таков мой век

К столетию со дня рождения
Зинаиды Алексеевны Шаховской
(1906–2001)

Зинаида Шаховская

Таков мой век

Перевод с французского

Москва
Русский путь
2006

ББК 84(2Рос)6
Ш 32

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Ответственный редактор
Б.Н. Тарасов

Координатор проекта
М.А. Васильева

Художественное оформление
Д.А. Горяченков

*Издательство благодарит кн. Д.М. Шаховского и И.Н. Набокова
за предоставленные фотоматериалы из семейного архива
и выражает особую признательность кн. Д.М. Шаховскому
за участие в подготовке текста, а также ценные сведения и уточнения,
касающиеся истории рода князей Шаховских*

ISBN 5-85887-213-1

Свет и тени

Памяти матери —
света моего детства

Предисловие

Мнемозина — самая занятая и драгоценнейшая из муз. Если бы она не воссоздавала для нас события прошлого, сохраняя их в веках и в поколениях, не существовало бы ничего: ни искусства, ни истории, ни общества, не было бы и литературы, философии, традиций, даже религии.

Мнемозина здесь, со мной, она вся внимание, она кипит энергией, и сейчас я в ее власти. Когда бы не она, жизнь ограничивалась бы для меня текущим мгновением. Одной-единственной картиной.

Париж — вернее, его уголок, видный мне из окна: серый дворик в неярком солнечном свете; белая стена с поблескивающим на ней старинным распятием, стол, за которым я сижу, мои руки на клавишах пишущей машинки. Они не утратили ловкости, но это руки женщины зрелого возраста. Однако я знаю, что была другой — ребенком, молодой женщиной; я предпринимала массу дел, в моей голове роились планы, я переживала большие радости и сильные огорчения; немало пейзажей промелькнуло передо мной, я жила во многих городах, в разных странах, повидала людей — некоторые из них были знамениты, хотя и не все заслуживали славы, иные остались непризнанными или неизвестными, несмотря на их достоинства.

Окружающий мир менялся на глазах — я была тому свидетелем... Память, предусмотрительная служанка, сберегла картины и звуки, отражение которых отныне может явиться лишь с моей помощью. Но к памяти примешивается воображение, ведь она живописец, а не фотограф, и без воображения одинаково невозможно ни творить, ни вспоминать. Память не объективна, подвластна всему, что ее питает: мозгу, зрению и слуху, может быть, душе. Итак, мне нечего предложить людям, кроме собственного моего сегодняшнего взгляда на мир; однако, наследственный или приобретенный, он все же плод моего детства. Вот почему мне кажется правильным вспомнить себя ребенком. К сожалению, детство не отличается скромностью. Для ребенка всегда на первом месте «я», «другие» же существуют постольку, поскольку с ним связаны, и лишь позднее устанавливаются истинные соотношения между «я» и миром.

Часть года я живу в Париже, на одной из узких улочек, каких много на левом берегу Сены. Эту улицу, исторически, по всей видимости, ничем не примечательную, со времен основания квартала населяли ремесленники — слесари, плотники, водопроводчики, сапожники; когда-то они об-

служивали богатых обитателей соседних проспектов; они трудятся здесь, как прежде, но теперь, когда все острее ощущается нехватка рабочих рук, к ним относятся с особым уважением. О Париже я знаю не все — было бы самонадеянно утверждать обратное, но знаю много — и хорошего, и плохого. Ни внешний вид, ни житейские привычки — ничто не выделяет меня из парижской толпы, все более усталой и загнанной. Давно преодолен мною барьер свойственного ей наречия. Долгая жизнь среди французов стерла все явные отличительные признаки моего происхождения. Так что при вспышках ксенофобии (а такое периодически случается с французами — правда, все реже, благодаря развитию туризма) иной раз продавщица газет или попутчик в метро доверительно изливают мне свои жалобы на засилье «этих грязных иностранцев».

Между тем летом я погружаюсь в другую атмосферу. С моей террасы, среди цветущих бугенвиллей, мимоз и роз Альгамбры, видны розово-бурые горы Сьерра-Морены, сверкающая на солнце гладь Средиземного моря; золотистый воздух дрожит от зноя. Здесь, как и в Париже, я дома, но чувствую себя совсем иначе. Франция — в интеллектуальном смысле — мой истязатель; она меня подгоняет, подстегивает, принуждает к дисциплине работы и мысли; Испания дарит мне человеческую поддержку. Мой испанский беден, но испанцы с легкостью понимают язык чувств — то, что не выразишь словами. Испания меня умиротворяет: здесь можно жить только логикой сердца, жаром страстей.

Рисуя эти два образа моего настоящего, я хочу лишь подчеркнуть, до какой степени были они непредсказуемы в день моего появления на свет в Москве.

Тот исчезнувший мир — мир, который мог бы быть моим, — почти не известен, в чем я убеждаюсь каждый день, и потому, вероятно, мне следует обрисовать его беглыми штрихами. О том, что представляла собой Россия в эпоху, когда я родилась, мне известно лишь по учебникам истории, документам, статистическим данным, по литературе, мемуарам и рассказам очевидцев. Время тогда еще почти стояло на месте. Так называемое «ускорение истории» было впереди. Россия потерпела унизительное поражение в войне с Японией. Революция 1905 года (за год до моего рождения) была грозным предупреждением, но Империя казалась несокрушимой. Правда, будущие жертвы революции — левые интеллигенты — продолжают подрывную деятельность, а богатые купцы вносят свою лепту в дело, которое их же погубит. Революционное движение получало поддержку в других странах. В те времена еще безоговорочно соблюдалось право на политическое убежище. Ни Франция, ни Англия, ни Швейцария не думают о выдаче или хотя бы о высылке врагов царского режима. Знаменитая и столь дискредитированная «охранка» не помышляет о политических похищениях, вошедших в обычай после похищения Советами генерала Кутепова. Те, кто занят за рубежом организацией покушений на министров, Великих князей, губернаторов и подготовкой государственного переворота в России: Троцкий, Ленин и tutti quanti[1], — совершенно спокойно курсируют через границы, смеются

[1] И все остальные (*итал.*).

над жандармами, с непостижимой легкостью сбегают из тюрем, шлют из ссылки статьи для публикации в подрывных газетах, печатаемых за границей. Позже, в Париже, я с неизменным удивлением слушала рассказы бывших ссыльных, социал-демократов или эсеров, которые сумели, посеяв ветер, скрыться от бури. Тирания царизма, в свете всех прочих, более поздних и более «демократических» тираний, выглядит вполне безобидной.

Для тех, кому это интересно и кого не устраивает приблизительность расхожих мнений и общих мест, существуют специальные исследования, где реальность российского прошлого предстает в несколько неожиданном свете. Так, опираясь на цифры, можно узнать, что вопреки кажущейся косности Российской империи, она переживает с 1900 года значительный подъем во многих областях — аграрные реформы, экономический взлет (предреволюционная Россия достигла почти полного самообеспечения), развитие просвещения, кооперативного движения, промышленных предприятий... За период с 1908 по 1917 год Сибирь, где население увеличилось на 20 миллионов благодаря энергичным добровольным переселенцам, превращается в один из самых процветающих районов. Доходы государства превышают его расходы, экспорт преобладает над импортом, население неуклонно растет. В 1900 году оно составило 128 миллионов, в 1908-м — 160 миллионов, а к 1920 году, по прогнозам, число российских граждан должно было достигнуть 200 миллионов.

Перегнать Америку! Для этого России надо было всего лишь избежать войны, революции и четырех десятилетий, ничего, кроме могущества ядерной державы и космических рекордов, не принесших русскому народу в возмещение перенесенных им страданий и миллионов жертв.

Начало столетия в истории литературы (она особенно мне близка) получило название «серебряного века». В 1904 году умер Чехов, в 1910-м — Толстой; на смену им пришли Бунин, Мережковский, Розанов, Куприн, Ремизов, Шмелев, Горький, Белый, в поэзии зазвучали имена Блока, Ахматовой, Гумилева, Анненского, Сологуба, В. Иванова, Мандельштама. Музыку представляют Стравинский, Рахманинов, Глазунов, Скрябин; философию — Бердяев, Булгаков, Флоренский; кумиры сцены — Станиславский и Евреинов; в балете блистают Анна Павлова, Кшесинская и Карсавина; в медицине выдвигается Боткин, в математике — Софья Ковалевская, в химии — Менделеев, в биологии — Метальников, в аэродинамике — Жуковский, и это лишь беглый обзор. В год моего рождения заявила о себе новая школа русских художников — Билибин, Малявин, Бенуа, Коровин, Врубель. В Мюнхене Кандинский, Малевич, Марианна Веревкина открывают дорогу модернистской живописи. Вскоре откровением для Запада станут балет Дягилева и голос Шаляпина[1].

Итак, родившись в России на заре XX века, я тем самым оказалась сонаследницей определенного достояния, принадлежащего моему народу.

[1] Manuel d'Histoire Russe. Pierre Kovalevsky. Payot, 1948. (Учебнник русской истории. Пьер Ковалевский. Изд. «Пэйо», 1948). (*Прим. автора*).

Это богатство обратилось для меня в дым, в мираж. Совсем ребенком мне придется с пустыми руками выйти в дальний путь и, странствуя, лишь подбирать колосья в чужих полях.

Это странствие позволит мне стать свидетелем многих потрясений, от которых вот уже полвека содрогается наша планета. Нет, нет: я ни о чем не жалею и нисколько не жалуюсь! Я просто собираюсь рассказать историю одной жизни, вплетенную в большую Историю. Конечно, начало будет сугубо личным. Немного терпения: всего восемь лет моей биографии, какая-нибудь сотня страниц, — и, наконец, развернутся события. История пускается вскачь, мчит, не разбирая дороги. Она вершит собственную повесть, я бросаю поводья — слово за ней, а я лишь добавлю размышления соломинки, прилипшей к ее копытам.

СВЕТ

Пожелтевший, но хорошо сохранившийся вопреки превратностям судьбы документ уведомляет: 30 августа 1906 года в Москве у князя Алексея Николаевича Шаховского, статского советника, и его законной супруги Анны Леонидовны фон Книнен родилась дочь Зинаида, окрещенная в церкви Святых Афанасия и Кирилла на Арбате. Сомнительная путевка в жизнь, если подумать о том, что принесет миру XX век. Дитя законного брака, я лишена возможности предъявить более пикантную родословную. Отец мой не был убийцей, мать не работала девушкой по вызову, и родилась я не в трущобе. Придется, однако, разочаровать и любителей иного толка биографий: я появилась на свет не у подножья трона, и не было у меня золотой колыбели, усыпанной изумрудами. Место моего рождения — богатая, но не роскошная квартира в старом районе Москвы, в самом ее центре. Ничего особенного, ничего примечательного; необыкновенное ожидает меня впереди.

Сивцев Вражек, мой родной переулок, в XV веке примыкал к большой торговой дороге на Смоленск. В конце XVI века здесь обосновались опричники, ищейки Ивана Грозного; позже эти места заняли дворцовые слободы плотников и конюхов первого царя из династии Романовых. Церковь Святых Афанасия и Кирилла, где меня крестили, доныне уцелевшая, хотя и бездействующая[1], в 1654 году соседствовала с владением Андрея Ростопчина, предка прославленного московского губернатора 1812 года. Именитые люди выбирают Сивцев Вражек для постройки своих домов начиная с 1716 года. В XIX веке Сивцев Вражек входит в историю литературы: здесь живет писатель Аксаков, которого навещает Гоголь. Рядом, в доме, принадлежащем богатому дворянину Александру Яковлеву, проведет несколько лет его внебрачный сын Александр Герцен. В доме № 16 по этому переулку окончит свои дни Мария Гартунг, старшая дочь Александра Пушкина, прослывшая прототипом толстовской Анны Карениной.

Детство мое прошло в поместьях и в Петербурге, и я не знала дома, где родилась. Только в 1956 году, ровно через пятьдесят лет после моего рождения, зимней ночью, когда кружила метель и мороз перехватывал дыхание, один старик повел меня в Сивцев Вражек и показал

---

[1] В 1992 г. храм Святых Афанасия и Кирилла Александрийских, что в Сивцевом Вражке, вновь стал действующим. *(Прим. перев.)*.

мне тот дом. Все вокруг было нереальным: этот призрак, возникший из прошлого, город, самый чужой среди многих, царившие здесь безлюдье и тишина. Как-то утром, под бледным февральским солнцем, я пришла сюда еще раз, понимая тщетность этого сентиментального паломничества. Дом не выдавал своих тайн, а я не могла позвонить у дверей «бельэтажа», как говорили встарь. От облупленных стен, невзрачных, боязливо съежившихся, веяло тленом и прахом.

Как бы то ни было, ни одно воспоминание не могло воскресить дом, связанный лишь с первым моим криком, первым вздохом.

И все же — хотя мои близкие в ту пору уже были рассеяны по всему свету, от берегов Тихого океана до Черной Африки, от Средиземноморья до вод Атлантики, а чуть раньше и до самой Сибири, — мне подумалось: были времена, когда в сердце старой Москвы жил многочисленный, разветвленный род, к которому принадлежу и я, — родственники, свойственники, друзья, листья и ветви одного древа с переплетенными корнями. Но настал момент — и ветер истории порвал цепь поколений, веками соединяемых звено к звену все на той же земле.

Я помню себя с раннего возраста, что свойственно многим писателям. В памяти живет далекое прошлое, когда я еще ничего, кроме ощущений, не испытывала. Мне, холеному ребенку, мир казался совсем не уютным. Конечно, воспоминание о свивальниках, которыми в прежние времена пеленали новорожденного, будто мумию, не всплывает на поверхность. Однако одежда, заменившая их в раннем детстве, возможно, поселила во мне жажду избавления от всяческих пут, определив тем самым мой жизненный выбор. Я была закована в панцирь: рейтузы обтягивали ноги, давили в поясе, ботинки на пуговицах жали в подъеме, высокие воротники платьев душили меня, голову туго обхватывал капор, а завязки больно стискивали подбородок. Ужасное, унизительное состояние ребенка, вынужденного терпеть, не понимая: перекладина высокого стульчика впивалась в живот, прутья кроватки сурово отгораживали меня от свободного пространства комнаты. Стоя, я видела только ноги окружавших меня гигантов, ножки столов и стульев. Собственные же ноги едва держали меня. Испытывая гнев, радость, страх, я не умела выразить их иначе как криком и плачем. Мои удовольствия были скудны и чисто инстинктивны: животная радость пребывания в материнских объятиях или предвкушение поставленной передо мной еды. Неловкая, скованная в движениях, нетерпеливая, раздражительная, я влачила столь неполноценное существование, что вспоминаю о той далекой поре с ужасом.

Вокруг звучала русская, немецкая, французская речь, но, давясь русскими, немецкими, французскими словами, я никак не могла выразить того, что хотела. И еще об одном не могу я вспомнить без отвращения — о неодобрительно поднятом указательном пальце моей няни-немки, которым она вертит вправо-влево перед моим носом, что означает: «nein, nein, das ist ganz unmöglich»[1]. Это невозможно.

[1] Нет, нет, это совершенно невозможно (*нем.*).

На немногочисленных сохраненных мною снимках тех времен, ближе к 1910 году, запечатлен лишенный очарования толстый ребенок, упакованный в тесное платье, понурый (оснований на то у него более чем достаточно), без всякого удовольствия глядящий на мир большими круглыми глазами. Однако на фотографии, где я восседаю в кресле, как на троне, в окружении сестер и брата, вид у меня вполне удовлетворенный. Возможно, в этом возрасте мне льстило почетное место.

Мало того, что я не обладала качествами, которые помогли бы мне переносить зависимость от других, — покладистым или веселым нравом; вдобавок ко всему судьба, словно с неохотой даровав мне благополучное начало жизни, поспешила испортить его множеством унизительных недомоганий. Как аскет, неразлучный со своими веригами, я должна была носить ортопедический пояс из-за пупочной грыжи; стойкий энтероколит наполнял мои ночи кошмарами; меня пичкали противным рыбьим жиром от анемии; крапивница осыпала мое тело волдырями, а чтобы излечить фурункулез, к которому я была предрасположена, меня купали в серной ванне, и, пропитанная неотвязным запахом, я напоминала беглянку из ада...

Из четверых детей я родилась последней; две сестры и брат были старше меня, и я злобно смотрела, как они бегают, играют, ходят, легко и непринужденно чувствуя себя в этой жизни.

Среди первых моих впечатлений я не вижу России: катятся по рельсам поезда — словно в предзнаменованье моего будущего; один за другим мелькают города, где различимы лишь немногие детали: берлинский зоопарк, фонтан в саду Тюильри, озеро Леман, в котором я чуть было не утонула, пальмы в Тамарисе, марсельский порт, желтое серсо в загорелой руке моей сестры Наташи, запускающей его вдоль песчаной аллеи; высокий автомобиль на залитом солнцем шоссе (это юг Франции): человек в спортивной кепке, отец моей подруги Жаклин де Местр, сидит за рулем, а пассажирки — моя мать и тетя Галя (я помещаюсь между ними) — прячут лица от пыли под длинными белыми вуалями; помню еще мундиры офицеров русского флота в 1910 году, когда русская эскадра стояла на якоре в Тулоне.

Наиболее отчетливы в памяти картины Тамариса близ Тулона. Жизнь еще не особенно радует. Брат и сестра вместе с другими детьми играют в парке или в саду. Если они и соглашаются принять меня, уступив (как я предполагаю) уговорам матери, то лишь затем, чтобы отделаться от моей персоны с помощью хитрых уловок, отнюдь не чуждых детству. Во время игры в казаки-разбойники я лежала у подножья пальмы, связанная по рукам и ногам, ибо мне была уготована позорная участь — оказаться пленником еще до начала военных действий; если играли в прятки, на мою долю выпадало долгое ожидание в кустах, а когда я наконец с трудом из них выбиралась, то обнаруживала, что никто меня не ищет и все убежали; если затевались жмурки, мне приходилось, вытянув перед собой руки, с завязанными глазами выступать в роли старательного ловца призраков на опустевшей лужайке.

Я еще не знала того, что мне откроется в восемь лет: что я вырасту и стану самостоятельной. Во мне еще не теплилось никакой надежды. И потому я удивилась, когда год или два назад один знакомый, узнав о моем намерении писать мемуары, попытался меня предостеречь от обольщения розовым цветом, в который якобы окрашиваются воспоминания детства для всех взрослых людей. Вовсе нет! Мои первые шаги по этой земле были, несомненно, первым моим испытанием.

* * *

Я живу достаточно долго — и наконец свершается чудо. Памятный день, когда я обретаю свое место в мире, а мир восстает из хаоса. Происходит это уже в России. Нет ни пальм, ни террас, ни гранд-отелей, ни иностранной речи. Поляна, тесно окруженная молоденькими березками; на опушке леса пасутся лошади — за деревьями резко контрастными пятнами выделяются гнедая и вороная масть. Старушка с морщинистым лицом, Татьяна, сидит на поваленном дереве, и в ее проворных руках пляшут вязальные спицы. Поляна прекрасна, она усеяна незабудками, все озарено, позолочено солнечным светом, и меня охватывает ликование. Я иду одна по голубому ковру, собираю цветы, углубляюсь в тень ближайших деревьев, дотрагиваюсь до березы — и тонкие шелковистые лоскутки осыпаются мне прямо в ладони.

Волшебное мгновенье! Мир обретает стройность, я уже не одна, я сливаюсь с мирозданьем. Во всем царит порядок, все существует отдельно от меня и в то же время со мною связано. Я, Татьяна, лошади, деревья, небо, незабудки: всё и все — на своем месте. И птицы на ветвях, и шелестящие листья (знаю: они дрожат от ветра), и порхающие бабочки, и муравьи, что снуют у меня под ногами. И незнакомое чувство защищенности, чувство, что я многое могу, пронзает меня радостью, смешанной со сладкой болью. Ощущение счастья так сильно, что от него кружится голова, я бросаюсь на траву и восхищенно смотрю в огромное синее небо, по которому плывут белые облака — легкие, как я сама в момент моего преображенья...

Вскоре Татьяна исчезнет из моей жизни. Должно быть, она умерла зимой, когда мы жили в Петербурге. С ней связано воспоминание о впервые осознанно пережитом счастье, однако оставленный ею след более значителен. Женщина из народа и хранительница традиции, Татьяна, вероятно, была девочкой к моменту освобождения крестьян; ее народные сказки и, конечно, суеверия давали пищу моему детскому воображению, но она же открыла для меня неподвластный материи мир, в котором живет христианин. Фольклорные чудовища, Баба-Яга и Кащей Бессмертный, долго тревожили мой ум в ранние годы; зато как укрепляла дух реальность Добра, — веря в него, Татьяна привила эту веру и мне. Я позабыла перипетии ее сказок и чудеса христианских апокрифов, но благодаря ей земля навсегда наполнилась для меня не-

видимыми существами: где подстерегает опасность — там бесы, защитники же — ангелы и святые. Благодаря ей, я отчасти освободилась от тирании материи.

* * *

Итак, я переступила порог младенчества среди типично русской природы, и впечатления от нее были столь сильны, что память о простом и скромном ее очаровании живет во мне сорок пять лет спустя. Тула, Орел, Воронеж, Рязань, Тверь — эти земли, окружающие Москву, граничат со степью. Бескрайние просторы черных полей меньше всего похожи на рай: плоский, монотонный ландшафт, некогда покрытый густыми лесами — завалы из срубленных деревьев преграждали дорогу татарским набегам. В мое время от тех лесов остались только зеленые островки среди равнин. Земля плодородна, обильна речками. Да, пейзаж уныл, он наводит грусть, но и пробуждает фантазию. Здесь чувствуешь свое одиночество перед лицом судьбы; здесь легко заблудиться, и лишь сильный духом находит свой путь. Не удивительно ли, что эти края породили величайших русских писателей? В Твери писал Пушкин, в Туле — Толстой и Достоевский, в Орле — Тургенев, в Воронеже — Бунин; здесь жил Чехов, родился Борис Зайцев... Замечу в шутку, что в моем лице Тула обрела своего первого французского писателя...

Не удивительно ли, что мне так памятен ритм времен года, хотя я едва успела вжиться в него? Зимой поля превращаются в сияющую Сахару, дороги скрываются под снегом, ветром сносит вехи — деревянные шесты, ориентиры для путника. Жизнь замедляет свое течение, люди и животные погружаются в зимнюю спячку до той поры, пока не растревожит их бурная краткая весна. И тогда на тысячи голосов запоют талые ручьи, звонкая капель со всех ветвей и крыш. Станут непроезжими дороги, затопленные черной слякотью, а на полях зазеленеют озимые хлеба. Прилетят грачи и ласточки, и жаворонки, и журавли, наполнятся жизнью небо и деревья, и в одночасье распустится все: и шиповник, и жасмин, — все почки раскроет обезумевшая от страсти земля.

Совсем маленькой любила я — вопреки известному мне запрету — забредать вглубь пшеничного поля, словно ныряя в волны океана. Еще зеленые колосья укрывали меня с головой; я ничего не видела, кроме колыханья стеблей вокруг и надо мной, и воображала, что потерялась навсегда.

Летом стояла изнурительная жара. По-русски эту пору называют страдой — порой страданий. Под палящим, почти андалузским солнцем мужчины и женщины от зари до зари трудятся на полях, разгибая спину лишь для того, чтобы перекусить и глотнуть воды или кваса, принесенного детьми из деревни. Осень вновь размывает дороги дождями, но зато она щедро осыпает деревья — тополя, дубы, осины, клены, березы — золотом и пурпуром с лиловым отливом. В континентальном климате цвéты, фрукты и овощи особенно ароматны и отличаются особым вкусом, и сейчас, вспоминая, я ощущаю въявь этот вкус, эти запахи.

Если время подвластно человеку, пусть возродится из пепла дом моего детства, пусть возникнут его колонны, зеленая крыша, просторный балкон, оплетенный диким виноградом, пусть опять зацветут вытоптанные кустарники, тени умерших облекутся плотью и заговорят, а убитые собаки помчатся по лугам. Пусть распахнутся ставни над снегами прошлых лет, под солнцем былых времен, пусть восстанут стройные стволы срубленных деревьев и воздвигнутые вновь качели закачаются среди цветущих кустов! Перед нами — Матово.

Двухэтажный дом в стиле русского ампира — типичная дворянская усадьба, без особой роскоши — оброс разными пристройками по мере умножения семейства. Дикие каштаны несут стражу у «парадного» входа. К нему ведет аллея, где летом витает запах душистого табака, которым засеяны газоны. «Красное крыльцо» выходит на дорогу, ведущую к теннисному корту и дальше, к огородам. Перед ним каждый день толпятся крестьяне и наемные рабочие. В сад обращена терраса, ступени которой спускаются к сирени и розам.

Времена года, проведенные мною в Матове, теснят друг друга, и, по примеру Гоголя, я уступаю желанию описать сразу все цветы — весенние, осенние, летние. В ограде из желтой акации и красной бузины — заросли белой и лиловой сирени, роз, пионов, астр, резеды, душистого горошка, гигантских анютиных глазок, сверкающих каплями росы. Сад запущен, ухожены только газоны и клумбы. Все прочее растет само по себе.

На втором этаже дома располагается «женская половина». Здесь, кроме большой гостиной, находится спальня нашей матери, комната старшей сестры Вали и детская, которую делим мы с Наташей. Отец, мальчики и гости размещаются в нижнем этаже.

Продолжим игру. Я открываю глаза и вижу комнату с розовыми обоями. Лампада поблескивает в углу перед киотом, где сияют за стеклом золотые и серебряные ризы икон. На стене копия слащавой мадонны Рафаэля в окружении двух ангелочков с пухлыми щеками. Чуть подальше — неожиданная кнопка вмурованного в стену сейфа; на соседней стене — портрет двоюродного деда, князя Алексея Ивановича Шаховского, творение неумелого крепостного живописца, сосланное в детскую за свое безобразие.

Еще совсем рано. Весь дом, кажется, спит. Сквозь щель между ставнями пробивается солнечный свет, собираясь в узкие лучи, в них танцуют золотые пылинки, и я принимаю их за частички солнца. Солнечные зайчики играют на Наташиной постели, скользят по ее руке, державшей ночью мою руку, пока я не очнусь от привычного кошмара. Няня спит на своей кровати. Я бесшумно опускаю ноги в сандалии, натягиваю панталоны, платье и без особого энтузиазма умываюсь большой губкой, смоченной в тазу. Вода в кувшине прохладна. Тихонько отворяю дверь и скатываюсь вниз по лестнице.

В столовой накрыт стол. Мой дед со стороны матери в одиночестве сидит перед серебряным самоваром, посапывающим, будто пес на своем привычном месте. На столе — горы булочек, круглых и продолговатых, с яйцом, с сахаром, с корицей; рядом с нарезанным серым и черным

хлебом — масло, мед и варенье. В сливочник налиты густые сливки. Мое молоко стоит в глиняном кувшине, долго сохраняющем прохладу. Картина изобилия, — но мне это пока неведомо, как неведомо и то, что скоро все это исчезнет и люди будут умирать от голода у меня на глазах.

С дедушкой я мало знакома, так как он живет в Тифлисе и наезжает в Матово изредка. У него карие миндалевидные глаза, лицо румяное и не без лукавства. Все в нем дышит безукоризненной свежестью — чесучовый костюм, рубашка из голландского полотна, аккуратная ровная бородка. В нашем доме, где никто не стремится к элегантности и где узаконена непринужденность деревенского образа жизни, дедушка выглядит гостем из другого мира. Я прикладываюсь к его холеной руке с тщательно подстриженными ногтями, а он целует меня в лоб, обдавая ароматом одеколона и гаванского табака. Дедушка — личность таинственная, удивительная. Он всегда возникает внезапно, очаровывая своим появлением и детей, и взрослых, так как обожает всем нравиться. Он привозит нам с Кавказа брынзу из овечьего молока и персидскую бирюзу, единственный драгоценный камень, который позволяют носить маленьким девочкам. Около него лежит коробка с сигарами, и дедушка ее открывает, но не собирается курить, а дарит мне красно-золотое кольцо от сигары, украшенное изображением человека с бородкой.

— А что это у тебя на загривке? Похоже, там растет горбик?

Дедушка говорит по-русски с заметным немецким акцентом. Запустив руку мне за ворот, он извлекает из-под моей лопатки шоколадную конфету в серебряной обертке.

— Еще, еще! — кричу я в восторге.

— Ну нет, я думаю, за ночь у тебя там выросла всего одна конфетка!

Я намазываю маслом куски ржаного хлеба и запиваю свежим молоком вкус моих полей.

Слышно, как хлопают двери и ставни. Дом пробуждается. Отец уже давно уехал в поле. Ночные страхи забыты. Радость переполняет меня, и я спешу расплескать ее на бегу. Скорее в сад, пока там никого нет. За стеклянной дверью гостиной меня ждет Медведь, большой коричневый пес неопределенной породы, лохматый и с задумчивыми глазами. Мы несемся вместе. Утренний ветерок раскачивает кусты сирени — лиловой с махровыми цветками, так называемой персидской, обыкновенной сиреневой и белой; шпанские мухи, сцепившиеся одна с другой, сверкают изумрудными панцирями... А потом... Потом, не оборачиваясь, я чувствую присутствие моей матери. Она сходит по ветхим ступенькам террасы в своем летнем пеньюаре, и все преображается, все краски становятся ослепительными. Солнце светит ярче, цветы пахнут сильнее. Я бросаюсь к ней, в ее объятья, и растворяюсь во всепоглощающей любви. Блаженство — острое, как боль, — пронзает меня. Что общего между неуклюжим ребенком с прямыми, вечно взлохмаченными волосами, застенчивым и самолюбивым, — и лучезарной прелестью той, кто дала мне жизнь? Мать не подозревает о тайниках моего «я» — она знает только тело, подверженное болезням, только мои кошмары, которые она

прогоняет... Еще меньше знаю о ней я, но для меня она не просто необходимейшее лицо: в ней — средоточие всей радости, всей нежности мира.

* * *

Две фотографии в одинаковых рамках. На одной из них — мужчина, высокий лоб которого стал еще шире и выше с возрастом. У него седые волосы, черные брови, выпуклые близорукие глаза — полускрытые очками, они о чем-то мечтают. Нос довольно мясистый, пышные усы, округлый подбородок опирается о жесткий пристяжной воротничок, стянутый, по старой моде, широкой лентой галстука. На другой фотографии — очень красивая женщина; крепкая колонна шеи выступает из выреза воздушного вечернего платья, ожерелье крупного жемчуга, собранное в узел, ниспадает на грудь. В овале лица, в больших глазах, на неулыбающихся губах застыло детское недоумение. Такими были мои родители в ту пору, когда я родилась; отцу исполнилось пятьдесят лет, матери — тридцать пять.

Вижу отца на дрожках, собравшегося ехать в поле, или верхом на старом, но все еще резвом Короле: он был ловким наездником, хотя в остальном совершенно чужд был воинственности. Вижу, как он в белой русской рубахе, с блестящим от пота лицом, широкими размашистыми движениями косит траву на поляне в лесу, посаженном им самим в молодые годы. Или еще, как он идет с птичьего двора в забрызганных грязью сапогах, а его очки сверкают на солнце. Отец вспыльчив, но отходчив. Вот он обрушивает громы и молнии на рабочего или крестьянина за какую-то провинность — это мог быть и серьезный проступок: например, кража; виновный, стоя в прихожей при Красном крыльце, теребит в руках шапку в ожидании, пока гроза утихнет, а иногда осмеливается выдвигать оправдания (всегда действующие безотказно) насчет жены и детей и лукавого, искусителя добрых людей... И вдруг возмущение отца проходит, в его голосе слышно сожаление о том, что он поддался гневу.

— Ну да что, ну что уж? Ладно, ладно, ободрись! Знаю сам, как это бывает: не совладаешь с собой. В другой раз смотри! Понял?

Воспитанный немецкими и французскими гувернерами, изучавший математику в Дерптском и Гейдельбергском университетах, прекрасно знакомый с Западной Европой, которую объездил в молодости, мой отец разделял, не впадая в крайности, взгляды славянофилов и сочетал приверженность монархии с либерализмом, укорененным в его христианских убеждениях.

Иногда мать посылала меня разбудить отца, отдыхавшего после обеда. Он спал на диване в своем кабинете, прикрыв лицо носовым платком от мух, одолевавших нас летом. Я звала: «папа́», — и его рука, отстраняя платок, нащупывала на стуле рядом с диваном очки или конфетку, которую он протягивал мне. Отец не курил и не пил, но питал слабость к сладкому. Его письменный стол, казавшийся мне огромным, был завален толстыми книгами счетов, рукописными листами антологии «Что

нужно знать каждому в России», предназначенной для народного просвещения (в эмиграции брат обнаружит один ее экземпляр в хельсинкской библиотеке и переиздаст отрывки из нее для детей изгнанников), и листками с математическими задачами, которые он решал ради развлечения, а также грудами каталогов сельскохозяйственной техники, присланных из всех стран.

Эти машины, новейшие и самые совершенные, за большие деньги выписываемые из Германии или Соединенных Штатов, в руках доморощенных механиков вскоре безнадежно ломались и, убранные в сарай, становились вещественным доказательством неудачи отцовских попыток модернизировать сельское хозяйство.

Думая теперь о моем отце, я прихожу к мысли, что он был именно тем, кем хотел и не сумел стать Толстой. То, что писатель вывел из теории и потому превратил в игру, было естественно присуще моему отцу. Не нуждаясь в «опрощении», он был близок к народу. Кроме моей матери — единственной любви в его жизни, любил он только землю и тех, кто отдает ей свой труд. Если отцу случалось косить сено, он делал это потому, что ему нравилось косить, а не для того чтобы придать «смысл жизни». Вместо пиджака он надевал русскую рубаху, считая ее более удобной в сильную жару, а вовсе не намереваясь совершить тем самым символический жест. Будучи глубоко верующим, он никого не заставлял поститься в положенные дни или сопровождать его на службу. Непритязательно одетый, не требовавший к себе особого почтения, неприхотливый, он не стыдился своего княжеского происхождения (тогда как Толстой запрещал называть себя графом), полагая, что все врожденные преимущества: титул, богатство, красота, ум — лишь отягощают их обладателя бóльшей ответственностью.

На левом виске его был шрам, история которого может послужить иллюстрацией к моему рассказу о нем. В деревне Матово, в двух верстах от усадьбы, сапожник зарезал жену. Когда местная полиция приехала арестовать убийцу, он забаррикадировался в избе, угрожая проломить голову любому, кто осмелится войти. В то время, еще до моего рождения, отец был земским начальником: на эту неоплачиваемую должность назначался кто-либо из помещиков; он исполнял роль посредника между властями и крестьянством, и одной из его обязанностей было следить за тем, чтобы «мир» (крестьянская община) в каждой деревне при распределении общинных земель не ущемлял интересов бедных, вдов и сирот. Действительно, нередко сельский староста и его помощники, поддавшись искушению, оказывали покровительство богатым крестьянам — тем, кто был в состоянии их «отблагодарить».

Таким образом, отец в качестве земского начальника сопровождал полицию на место преступления. Он знал всех матовских крестьян и, стремясь предотвратить еще одну трагедию, предложил пойти на переговоры с сапожником. Тот открыл дверь. Отец стал уговаривать его сдаться, обещая обеспечить ему защиту. Нравы и психология русских таковы, какими они известны Западу по книгам русских классиков: естественно, мой отец напомнил, что грех, раз уж он совершился, требует искупления. Убийца сперва слушал его благосклонно, но вдруг, совер-

шенно непредсказуемым жестом, схватил шило и нанес отцу удар в висок. Острие скользнуло по кости, едва не задев глаз. Тут становой пристав со своими людьми уже ворвались в избу. Отец отказался подавать жалобу, к счастью для убийцы, поскольку покушение на важное лицо, к тому же при исполнении им служебных обязанностей, несомненно, сочли бы отягчающим вину обстоятельством.

Это было, разумеется, незначительное происшествие: мать рассказала мне о нем в ответ на мои расспросы о шраме. Отец мой, однако, не был демократом. Он не признавал равенства всех людей в обществе, в мире и потому находил мудрыми некоторые обычаи царской России — в частности, традицию, согласно которой в суде присяжных за одно и то же преступление неграмотный крестьянин подвергался меньшему осуждению, чем дворянин или выпускник университета, — ведь в глазах отца человек привилегированный нес бо́льшую ответственность.

Серьезные разногласия между родителями, как я узнала позже, вызывал отказ моего отца занять какой-либо оплачиваемый пост. Нет, обломовщины не было в нем и тени. Он был энергичным и работящим, но интересы его всецело сосредоточены были на земле, и ему претила одна мысль о том, чтобы гнаться за повышением по службе, участвовать в чиновных или придворных интригах. Наша мать, чувствуя себя в первую очередь матерью, а уж потом женой, заботилась о связях, которые позднее могли бы оказаться полезными детям. Отец же в отношении будущего полагался на Бога, и события подтвердили его правоту.

Он не отказывался от ответственных должностей, связанных с положением помещика и не предполагавших вознаграждения. В молодости, как я уже упомянула, он был земским начальником. Позже его избрали предводителем дворянства, и затем, на каждых последующих выборах, вплоть до революции, его кандидатура проходила без единого черного шара, то есть единогласно.

Почетными отличиями отца жаловали без каких-либо просьб с его стороны. Получив придворное звание камергера, он должен был являться один-два раза в год в Петербург, дабы засвидетельствовать свое почтение Государю. По такому случаю я видела его в мундире, расшитом золотом, с подвешенным на боку золотым ключом — камергерской эмблемой, в треуголке с плюмажем, в белых перчатках, с орденскими отличиями на груди и на шее. Как он был великолепен в моих глазах и как смешон, думается мне, в своих собственных, ибо вид у него при этом был такой удрученный и сконфуженный, будто ему пришлось предстать перед детьми в ночной сорочке.

Неприметный, несколько блеклый, не блиставший талантами, но неспособный действовать по расчету или обманом, этот человек — мой отец, которого я так мало успела узнать, — играл и играет до сих пор огромную роль в моей жизни. Если когда-то я смогла преодолеть искушение, отказавшись приспособиться к нравам нашего века и тем облегчить свое существование, — то лишь потому, что во мне живет унаследованная от него неподатливость. И не стоит полагать, будто это дочерняя любовь, воскрешая забытого покойника, украшает его всеми достоинствами. Не только дочь Алексея Шаховского запомнила его че-

ловеком справедливым: в дни страшных революционных испытаний крестьяне, сельские рабочие, мелкие торговцы провинциального городка — русские и евреи — и несколько москвичей, чьи имена мне неизвестны, приложат все силы, чтобы уберечь его от угрожающих опасностей.

Весть о смерти отца застанет нас за границей. Лютой зимой 1919 года, обессилев от голода, свирепствовавшего тогда, он остановился на деревенской дороге между железнодорожной станцией и домом, где было его тайное убежище. И здесь, на заснеженной скамье, он будет найден, сраженный скоротечным воспалением легких, а быть может, просто замерзший.

Я узнала, где похоронили отца (крест недавно исчез с могилы, ликвидированный командой комсомольцев-антицерковников), но во время поездки в Москву в 1955 году мне не удалось добиться разрешения посетить его могилу. В действительности не так уж это важно. Умершие, я знаю, покоятся не в земле.

Идеальную чету встретишь не часто, и мои родители не были исключением. Мать была воплощением живости, жизненного порыва, радости бытия, и все это сочеталось в ней с очарованием женственности. Жизнь изменила ее ласковый от природы характер, придав ему наносные черты. Едва простившись с детством, она оказалась властительницей маленького царства и вынуждена была полагаться только на себя, принимая решения, от которых зависела ее и наша жизнь. Ей недоставало той поддержки, какой любая женщина ждет от мужа. Отец обожал ее. «Никогда за всю жизнь он не повысил голоса в разговоре со мной», — сказала она мне однажды; однако, не интересуясь домашними и материальными проблемами, он довольствовался тем, что одобрял решения жены. И мало-помалу эта нежная женщина сделалась властной.

Наделенная умом, ко всему проявлявшая живой интерес, мать получила поверхностное образование (исключение составляла музыка), воспитываясь, как большинство светских девушек. Родись она в другой среде — возможно, ей досталась бы иная, блестящая судьба, достойная ее красоты и живости ее ума. Она же блистала только для нас.

Красавица, заточенная в замкнутом мирке русской деревни, — во время своих приездов в столицу, куда муж отказывался ее сопровождать, она оставалась прикованной к семейному кругу, почти не участвуя в светской жизни, вероятно, не лишенной для нее привлекательности. Она часто вырывалась за границу, таща за собой, как комета хвост, четверых детей и неотлучную кузину-компаньонку, — и Венской оперой, парижскими театрами, покупкой платьев у знаменитых кутюрье исчерпывались для нее удовольствия красивой женщины. Проветрившись, мать возвращалась в деревню, к бытовым проблемам имения, душою которого была она. К счастью, как и все мы, она любила простоту этой жизни.

Я никогда не видела, чтобы моя мать скучала или уклонялась от множества обязанностей, выпадавших на ее долю. В этих затерянных краях, где поблизости не было ни врача, ни больницы, приключись болезнь или травма — крестьяне в первую очередь обращались к матери.

Бывало, что за ней приходили ночью из деревни в случае трудных родов, хотя она ничем не могла помочь, разве что ободрить своим присутствием и при необходимости послать за далеким доктором. Она любила детей — всех детей, и за ее юбку всегда цеплялся какой-нибудь малыш, ее собственный или ребенок ее сестры, или же кто-то из приятелей и приятельниц ее сына и дочерей. Стоит мне вспомнить мою мать, как я слышу неотделимые от ее образа шутки и смех.

Казалось, наш детский мир никогда не был ей чужд, и она участвовала в самых нелепых наших затеях — из тех, что взрослые находят совершенно бессмысленными, — как будто ей так и не удалось до конца расстаться с детством. Закрыв глаза под большой шалью, накинутой мне на голову, я следовала за ней сквозь лабиринт комнат матовского дома; мы то поднимались, то спускались по лестницам, наконец останавливались в одной из комнат, и надо было угадать, где мы... Она понимала, каким удовольствием было для нас рыться в сундуках, запираться на чердаке, а когда я появлялась дома, навалявшись с собаками в стогах сена или в траве, — в порванном платье, чумазая, с запутавшимися в волосах веточками, с ободранными коленками, — моя мать только улыбалась... Она не приходила в ужас от того, что нам нравилось, взобравшись с известным риском на крышу какой-нибудь постройки, взбивать там гоголь-моголь и лакомиться в неурочное время. Случалось, что лошадь возвращалась домой одна, потеряв всадника (иной раз не без урона для него), но до запрещения верховой езды дело никогда не доходило: мать мирилась с неизбежностью «профессионального риска». Она полагала, что опыт необходим, а малодушия не терпела.

Она была верующей, как и отец, но веровала по-своему. Равнодушная к богословским вопросам и к строгому соблюдению церковных предписаний, в России она не слишком усердно посещала службы. Ее вера проявлялась в постоянной готовности помогать другим. Мать спешила дать нам все, чем может одарить только детство, как будто заранее зная в глубине души, что однажды у нас все будет отнято. Если в прекрасную ночь я медлила отправляться в постель, она говорила: «Ну что с тобой поделаешь; пойдем смотреть и слушать соловьев, а завтра встанешь попозже».

Эти двое, столь непохожие друг на друга: серьезный, молчаливый отец, далекий от наших неугомонных проделок, и мать, веселая и блистательная, — произвели на свет четверых детей.

Нет, я не питаю, в отличие от Андре Жида, ненависти «к семействам»; мне знакомо тепло семьи, ощутимое даже для тех, кому тесен ее круг; я знаю, какой тяжелой и спасительной ответственности она нас учит.

Но лишь гению Достоевского удалось изобразить в «Братьях Карамазовых» семью, члены которой, на первый взгляд совершенно разные, — безусловно братья и листья одной ветви. Иван, Дмитрий и Алеша, и даже Смердяков, какая бы бездна их ни разделяла, остаются

братьями, сыновьями старика Карамазова, — но ведь это потому, что Достоевский говорит об одном и том же человеке, во всей сложности его человеческой натуры.

На самом деле кровь может и лгать, я это знаю: ведь, кроме воспоминаний об общем детстве, ничто не объединяет трех дочерей, рожденных одними родителями, воспитанных в одинаковой обстановке, в одних и тех же принципах. Мы ни в чем не схожи между собой, ни внешне, ни складом ума, ни по характеру.

С братом у нас все же было нечто общее: любовь к книгам, благодаря которой мы оба пришли к литературе и поэзии, но Дмитрий в детстве был аккуратным и рассудительным, терпеливым и упорным, а я — столь же упорная — обожала беспорядок, была импульсивной, вспыльчивой и необузданной. Жизнь в чем-то изменила наши характеры, но главное, что нас отличает, сохранилось вопреки всему. И даже теперь из-под черного клобука архиепископа, которым стал Дмитрий, иногда улыбается мне тот самый мальчик, что был всего лишь моим братом, а в речах монаха я улавливаю юмор, не раз служивший причиной моих детских слез, когда он поддразнивал меня, а я не умела ответить. Что касается Наташи, она была самой близкой мне по возрасту и до некоторой степени моей жертвой, поскольку ей, как старшей, часто приходилось мне уступать, — однако она единственная, чей образ остался для меня самым расплывчатым, заслоненный последовательными и мимолетными превращениями, ознаменовавшими каждый ее переход из одной среды в другую.

Наше сезонное переселение из города в деревню было настоящей экспедицией: начиналась она в комфортабельном спальном вагоне, а завершалась на просторах деревенских «больших дорог». Поезд останавливался в одном из двух маленьких городков: либо в Венёве, либо в Епифани, — а там на маленьком вокзальчике ждал «обоз». Для нас — коляски, для вещей — повозки. При пересадке каждый исполнял свою роль: начальник вокзала, управляющий имением, кучера и носильщики, — а няни и гувернантки тем временем пересчитывали тюки и детей.

Начиная с Венёва, нас, казалось, знали все встречные, анонимность больших вокзалов оставалась позади. Мы ехали через деревни под бешеный лай собак, отгоняемых кнутом кучера, под галдеж ребятишек, которые бежали вдоль обоза, выкрикивая: «Барин, барин, дай конфетку!» Уж они-то знали, что мы по обыкновению запасались конфетами на этот случай.

Мы двигались по пыльным «большим дорогам», шириною иногда до сорока метров, но с такими глубокими колеями, что если на одной стороне дороги встречались на свое несчастье две повозки, ехавшие в противоположных направлениях, то приходилось распрягать лошадей и перетаскивать один из экипажей в соседнюю колею. Меня укачивало от дорожной тряски, и обоз часто останавливали, с тем чтобы я могла перевести дух, чувствуя под собой твердую почву.

Поднимая тучи пыли, верста за верстой мы приближались к Матову. Выставленные в стратегических пунктах мальчишки-дозорные стремглав бросали свои посты с воплем: «едут, едут!» Лошади чуяли конюшню, и тройки неслись быстрее; кучер Максим в кафтане черного бархата, прорезанном широкими рукавами рубашки — красной или желтой, выпятив грудь, щелкал кнутом, чтобы лихо подкатить к «парадному подъезду».

Сразу же за порогом дома меня — маленькую, изнуренную путешествием, — казалось, подхватывала огромная толпа. Меня передавали с рук на руки, подбрасывали, обнимали, прижимали к груди. Круг домочадцев, на римский манер, состоял тогда из членов семьи вместе с челядью. Наконец я возвращалась на землю, где меня ждали бурные ласки обретенных после разлуки собак.

Я вдыхала знакомый запах «диванной» — прихожей, где стоял диван, попавший сюда прямо из «Войны и мира»: такая же потертая кожа, поцарапанная деревянная основа, — он находился здесь с незапамятных времен. Я узнавала старомодную мебель в чехлах из ситца или набивного

полотна поверх подернутых патиной красного дерева или карельской березы. Рояль всегда оставался открытым: музыка была не гостем, а постоянным обитателем этого дома. Вечером зажигали керосиновые лампы: подвесные, под зеленым снаружи и белым изнутри фарфоровым абажуром, или настольные, в «юбках» — по моде «прекрасной эпохи». Сколько раз в месяц раздавался все тот же крик: «Осторожно! Лампа коптит!» — и сию же минуту в столовой или в одной из спален лампа, у которой забыли, уходя, прикрутить фитиль, выпускала небольшой гейзер жирной сажи, покрывая стены и вещи черными волокнами. Горничные с тряпками в руках, вскарабкавшись на стулья, стирали следы загрязнений.

В деревенской жизни отсутствовали современные удобства. Воду для наших умываний и хозяйственных нужд привозили из пруда на лошади, под скрип рассохшихся колес. Ванная комната существовала, но ванну наполняли ведрами, а потом приходилось вытаскивать ее на улицу, чтобы опорожнить. Спуска воды в уборной не было, вместо этого использовались большие кувшины, в течение дня то и дело наполняемые водой. Комфорт заключался здесь в другом: он создавался атмосферой старого дома, его нравами и обычаями, отношениями между его обитателями, ощущением надежной неизменности.

Сколько нас садилось за семейный стол? Вероятно, человек шестнадцать-семнадцать в дни, когда мы обедали «в узком кругу». Все эти едоки набрасывались на пищу земную, как всегда, проголодавшись после физической работы. По всему дому валялось оружие — целый арсенал в спальнях мальчиков, по углам диванной. В восемь лет я получила свое первое ружье, «франкотку», но, хотя мы росли среди ружей и револьверов, никому из нас не приходило в голову прицелиться в кого бы то ни было, даже зная, что оружие не заряжено: для настоящего охотника это считалось непростительным грехом. Нас предупреждали, как опасна неосторожность: неловкость с зажженной лампой, бег с острым предметом в руках, направленным острием вверх; на случай пожара мы умели пользоваться веревочной лестницей, свисавшей с балкона; приученные к ответственности за свои поступки, наверное, благодаря этому мы были избавлены от несчастных случаев, за исключением падений с лошади, — а от них не застрахован ни один наездник.

Самостоятельность, к которой хотела приучить нас мать, позднее оказалась нам очень полезной. А пока, в условиях почти дикой воли, забыв об оковах городской жизни, мы упивались бесчисленными радостями Матова, каждый сам по себе и реже — все вместе.

Большой китайский гонг, слышный далеко вокруг, собирал нас к столу (отец не выносил невежливости опозданий) из лесу, с полей и лугов, заставляя бросить книгу в гамаке, натянутом между двух деревьев, молотки для крокета — в тени под тополями, где всегда было сыровато и пахло ландышами или грибами, смотря по времени года. Под вечерним небом — таким огромным над огромной равниной, погруженной во тьму, — соловьи со страстью отдавались своим песням. Я рассматривала звезды в телескоп, установленный отцом в саду, а он объяснял мне небесные явления.

Конечно, в таком населенном доме не обойтись было без многочисленной прислуги. На старом снимке, сделанном задолго до моего рождения, когда мать ждала первого ребенка, я вижу родителей в окружении слуг: по моим подсчетам, их пятнадцать человек — повар в белом колпаке, метрдотель, управляющий, горничные, кухарки, истопник, прачки...

По знакомым лицам восстанавливаю в памяти живых людей. При мне на кухне царила повариха Настя, выписанная матерью из Тифлиса. Эта кулинарка была нервной особой неприятного нрава. Она вышла замуж за нашего доверенного человека, Ивана-ключника, и родила четырех дочек, воспитывавшихся, разумеется, в доме, а затем, по достижении школьного возраста, устроенных моей матерью в петербургские пансионы. Была у нас рыжая лукавая Лена, настоящая служанка из комедии. Лена была невестой по призванию, причем всегда выбирала хорошие партии: то телеграфиста с венёвского почтамта, то помощника управляющего имением нашего соседа (крестного Наташи, князя Михаила Урусова), то писаря из епифанской городской управы. Многократные помолвки Лены всякий раз принимались всерьез и пышно праздновались в нашем доме: Лена получала подарки, соответственно случаю, и, надев какое-нибудь из платьев моей матери, преподнесенных ей по этому поводу, казалась вполне ублаготворенной, но ненадолго. Вскоре она убеждалась в том, что ошиблась, что не любит очередного жениха и уж во всяком случае не сможет быть счастливой вне нашего дома. Затем она возвращала обручальное кольцо, а подарки и последнюю обнову укладывала в сундук до появления следующего возлюбленного...

В прачечной суетилась толстая Аграфена; ворчливая и по-матерински заботливая, она распекала своих помощниц; что касается кухонной прислуги и поломоек, отчищавших полы многочисленных комнат, они были детьми природы, довольно неотесанными. Одна из них, Домна, прославилась сделанным мне как-то замечанием, когда я явилась домой, перепачканная соком малины. «Княжна, — произнесла она, — поди-ка умойся, ишь, рожу-то вымазала!» Как легко удостовериться, этикет в Матове отличался непринужденностью...

Была еще челядь высшей касты: «камеристка» моей матери, весьма разбитная, затем экономка, или домоправительница, старушка из мещан по имени Александра Дмитриевна. Ключи всех размеров, в том числе от подвалов и от чуланов, позвякивая, висели у нее на поясе. Одна из наших забав состояла в том, чтобы, обняв ее, похитить ключи, а потом опустошать ее владения, таская из мешков орехи, миндаль и изюм, в которых никто и не подумал бы нам отказать. «Ах, княгиня, что я за растрепа, опять ключи мои куда-то запропастились», — досадовала Александра, а мать ее успокаивала, догадываясь, кто прибрал к рукам ключи. Добрая Александра была нам предана всей душой, и нередко она оказывалась виновницей моих ночных расстройств желудка: вечно обеспокоенная тем, что мы не наедаемся досыта, поздно вечером, когда после молитвы на сон грядущий мы уже лежали в постелях, она тайком приносила нам чего-нибудь закусить... Еще жила у нас полька Фанни,

старая дева; не общаясь ни с кем из домашних, она только ухаживала за бабушкой.

В великорусской симфонии Матова нет-нет, да и звучала западная нотка. Прежде всего у нас были няни, почти всегда немки, прибалтийки или швейцарки: фройляйн Люция, фройляйн Хульда, фройляйн Эмма, — все блондинки, пухленькие или тоненькие, обычно благодушные, иногда немного грустные. Сияющие чистотой, будто надраенные пемзой, они были слишком заняты мытьем, вытиранием и одеванием своих подопечных, так что им некогда было скучать даже в русской губернской глуши. Не припоминаю ни одной драматической истории, связанной с кем-нибудь из этих серьезных, преданных своему делу девушек.

В отличие от них, с «мадмуазель» — французскими гувернантками — приходилось трудно. Часто выезжая за границу, мать использовала свое пребывание в Париже, чтобы нанять гувернантку на месте, где легко было проверить ее рекомендации. Но нередко по приезде в Петербург путешественнице случалось передумать, сменить хозяев, а то и поменять профессию. Француженки были в большой моде, и спрос превышал предложение. В таком случае следовало искать замену уже в Петербурге. Многие претендентки были в возрасте и имели достойное уважения прошлое, иные дослужились до седин; в биографию других углубляться не стоило. Были среди них девицы из хороших семей, которые попали в трудное материальное положение и, желая скрыть свое «падение», предпочли покинуть родину; были и предприимчивые особы, с радостью пускавшиеся в России во все тяжкие в надежде обзавестись состоятельным покровителем в этой холодной стране, где однако же, по слухам, можно было жить припеваючи. Таким образом, через наш дом прошли чередой добродетельные и озлобленные девицы или незадачливые авантюристки, вместе с книжками из «Розовой библиотеки» — на мой взгляд, очень скучными. Тонкие или толстые, завитые и напудренные, некоторые были обладательницами незаконных (как говорили, выданных «по снисхождению») удостоверений; кое-кто из них задерживался у нас ненадолго — например, та, что за семейным ужином, воздав должное отечественному вину и опасно повеселев, приподняла обеими руками свою пышную грудь и выложила ее перед собой на тарелку, чем немало позабавила наших мальчиков; или другая — поглощенная сладостными воспоминаниями, она мне как-то призналась: «Да уж, со мной можно было славно поразвлечься за ужином», — выражение «Gay Paris»[1], которое я тут же усвоила, решив, что речь идет об отменном аппетите.

Жизнь в Петербурге для «мадмуазель» не лишена была приятности. На Невском существовала католическая церковь Святой Екатерины: однажды, войдя туда вместе со мной, моя гувернантка обо мне забыла, зачарованная находившимися там скульптурами в духе парижской церкви

---

[1] «Веселого Парижа» (*франц.*; американизм, отражающий представление о Париже как средоточии «сладкой жизни»).

Сен-Сюльпис. Кроме того, в столице, кажется, был своего рода клуб, где могли встречаться добровольные изгнанницы, французский театр, опера и балет, кинематограф, где царил Макс Линдер. Но в деревне, среди устрашающих просторов страны, о пределах которой бедняжки не имели представления, среди этих «moujiks»[1], с которыми нельзя было обменяться простым «bonjour»[2], — где слуги не могли их понять, а дети вечно разбегались и их приходилось собирать и удерживать хоть какое-то время на одном месте, заводя беседу по-французски или читая несколько страниц из книги, — все нагоняло на них тоску.

Правда, даже в такие медвежьи углы доходили «Revue des deux Mondes», «Illustration», «Mercure de France»[3] и романы в желтых обложках, но эта связь с цивилизацией была столь слабой!

В силу несправедливости судьбы, мне ярче всех запомнилась самая неприятная из этих несчастных гувернанток. Не первой молодости, без малейших признаков обаяния, мужеподобная и краснолицая, мадам Луиза ненавидела русских вообще и детей в частности. Она имела на то право, хотя ее отношений с миром это не улучшило.

Мадам Луиза мрачно созерцала пейзажи, ничем не напоминавшие ее милую Францию. Она ни звука не знала по-русски и твердо решилась так и не узнать ни единого слова. В той жизни, что протекала рядом с ней, она не принимала никакого участия. Эти moujiks, эти babas, эти isbas, этот boyard[4], который встает ни свет ни заря и носится по полям, эта княгиня в туалетах от Ворта, посещающая зловонные и закопченные лачуги, эти собаки, бегающие повсюду, — большие и маленькие, породистые и беспородные, — а вдруг они бешеные? Возможно, мадам Луиза не без досады вынуждена была признать, что «knout»[5] — символ царской России в глазах французов (даже сегодня) — щелкал только лишь в руках у кучера да у пастуха!

А горизонт, который ускользает и теряется из виду, неизменно плоский, бесконечно растянутый! Иногда вечером мадам Луизе, снедаемой острой тоской по родине, удавалось собрать вокруг себя мальчиков и девочек, но чей-нибудь акцент, ошибка в артикле или в причастии прошедшего времени раздражали ее до такой степени, что она принималась проклинать дикую страну, куда забросила ее судьба. Ах, если бы Наполеон успешно завершил свою кампанию, если бы он успел донести до варваров свет французской цивилизации! Тыча пальцем в репродукцию скверной картины с изображением Петра Великого в детстве, обучающегося читать под наблюдением Зотова, мадам Луиза восклицала: «Все — moujiks! Даже царь — moujik!»[6]

И ее багровый подбородок, под слоем пудры отливающий фиолетовым, от возмущения ритмично подрагивал.

---

[1] Мужиков (*франц.*).
[2] Здравствуйте (*франц.*).
[3] Названия французских журналов.
[4] Мужики, бабы, избы, боярин (русизмы, вошедшие во французский язык).
[5] Кнут (*франц.*; русизм).
[6] Мужики... мужик (*франц.*).

— Ужасная страна, страна дикарей, ах, если бы Наполеон!..

Но тут, внезапно охваченные не свойственным нам патриотическим жаром, побросав книжки, карты лото и вспомнив свои отрывочные исторические познания, мы накидывали на себя первые попавшиеся предметы — носовые платки, скатерти, салфетки, даже абажур — и устраивали шествие, ковыляя, опираясь друг на дружку и приговаривая: «Вот так бежали из России солдаты Наполеона!» Тогда мадам Луиза удалялась в свою комнату и, запершись, плакала там до тех пор, пока мы, остыв и раскаявшись, не бежали к матери рассказать о разыгравшейся трагедии. Она стучалась в дверь мадам Луизы, и горчайшие жалобы одной перемежались словами утешения другой.

Француженки-гувернантки, скромные посланницы французской культуры в Российской империи, горячие поклонницы Людовика XIV и одновременно Робеспьера, — примите мое попутное приветствие, невзирая на огорчения, что доставляли мы друг другу.

В первые годы после революции во Франции и в Швейцарии существовали клубы, где встречались иностранные воспитательницы русских детей. Теперь прошлое рисовалось им в самых радужных красках. И, напротив, свое настоящее, тихую и спокойную жизнь, замкнутую ограниченным горизонтом, они, по всей вероятности, воспринимали как оскорбление. Теперь для каждой из них в несносных озорниках прежних времен открывалось ранее незамеченное очарование. Семьи, где им посчастливилось выполнять свою «апостольскую» миссию, непременно, по их мнению, принадлежали к числу самых знаменитых. Возможно, в обществе изумленных кузенов мадам Луиза рассказывала о чудесных приключениях лучшей ее поры, о той раздольной жизни, которую вели в тульском «château»[1], среди прелестных детей и нескольких десятков слуг. Мне и самой приходилось получать письма от бывших гувернанток, полагавших, будто они узнали во мне свою давнюю милую питомицу.

Картина будет неполной, если не включить в нее воспитателей мальчиков. Летом эту должность обычно занимал какой-нибудь студент Московского или Петербургского университета, приезжавший к нам подкормиться на время каникул. Наиболее патетичен образ Андрея Андреевича. Он был из вечных студентов, запечатленных в романах русских классиков, — из тех, что перешагнули за тридцать, так и не получив диплома. Истощенное создание с длинной гривой — увы, припудренной перхотью, — Андрей Андреевич был застенчив даже в детском обществе, конфузился за столом, слыша нравоучения наших гувернанток, проповедующих хорошие манеры, — в этом был он еще большим невеждой, чем мы; к воде и мылу он питал стойкое отвращение, чем отличался, по-моему, от всех своих коллег. Напрасно приносили ему кувшины с горячей водой, клали на видное место куски туалетного

[1] Зд.: богатом доме (*франц.*).

мыла и губку — бедняга отказывался внимать этим призывам к опрятности, и однажды энергичная Лена просто-напросто постучала к нему в дверь со словами:

— Ванна готова, Андрей Андреевич.

— Какая ванна? Я не просил готовить мне ванну, — бормотал перепуганный студент.

Но Лена уже вела его по коридору, повесив ему на руку банное полотенце.

Самым обаятельным, самым одаренным из воспитателей и нашим любимцем был студент-медик Борис Козинер. Красивый, образованный, веселый, он забрал в руки мальчиков незаметно для них самих. Он ставил с нами живые картины, а старших уговорил играть сцены из пьес Фонвизина и Грибоедова. Он устраивал спортивные соревнования и игры, посвятил мальчиков в опасные пиротехнические забавы, зажигал в лесу бенгальские огни и освещал сад иллюминацией в праздничные дни, ездил верхом и охотился; он тактично не замечал воздыханий неравнодушных к нему горничных. Борис был властителем дум молодежи Матова и любил его обитателей. Став врачом в канун войны, он прислал с фронта, уже расколотого революцией, письмо в Матово моему брату, и оно, поразительным образом преодолев все границы, находится теперь в моем архиве. В момент, когда над «бывшими» нависла угроза, Борис Козинер остался им верен.

Имущество мое невелико, и я на это не сетую. Правда, я люблю книги, в обществе которых проходит моя жизнь, а среди них есть и книги весьма почтенного возраста. Люблю я и некоторые вещи, сохранившиеся у меня по недосмотру судьбы. Когда при наведении порядка мне в руки попадают эти чудом уцелевшие свидетели потопа, я смотрю на них с грустной нежностью. Две семейные иконы пострадали не только от времени, но еще из-за длительного подпольного хранения в опасных условиях враждебного христианству режима. Однажды они вернулись ко мне — уже без окладов, потому что люди, сберегшие их для меня, вынуждены были продать серебро и драгоценные камни, чтобы не умереть от голода. И оттого эти иконы стали в моих глазах еще прекраснее.

Остальные реликвии, разделившие со мной превратности беспокойной жизни, кочуя в чемоданах и узлах, — не более чем скромные памятки прошлого: потрескавшаяся пудреница слоновой кости, единственный уцелевший предмет из туалетного прибора моей матери, где выгравированы ее инициалы и над ними — замкнутое кольцо короны; овальная миниатюра — портрет одной из Шаховских, урожденной Вяземской, первой владелицы Матова; силуэт княгини Зинаиды Волконской, приятельницы Пушкина; два тонко вышитых носовых платка — работа крепостных вышивальщиц из приданого моей бабушки по отцовской линии; ярко-голубой атласный мешочек с вензелем: двойное «А», осененное короной, — саше для конфет, из тех, что раздавались гостям на свадьбе моих родителей; вытканные вручную полотняные скатерть и полотенце, на которых красными нитями вышиты древнейшие мотивы славянской мифологии, в том числе символическое изображение Богини-Матери, о чем, конечно, не догадывались крестьянки, вручившие моей тете Нарышкиной этот свадебный подарок. А еще — тяжелая черная чугунная печать: в имении Матово ею скреплялись разные бумаги. Эта печать, предмет чисто утилитарный, украшена гербом Шаховских и гербами трех городов, где их предки княжили в старину: киевским архангелом, ярославским медведем и пушкой с райской птицей — гербом Смоленска. По кругу надпись: «Контора родового имения Матово».

Чтобы побольше узнать об имении, я попросила мою мать сообщить мне некоторые сведения, и она — уже в девяностолетнем возрасте — продиктовала под солнцем Калифорнии одному из друзей несколько страниц воспоминаний, которые я иногда вплетаю в мои.

Мы, конечно, жили в достатке, но не были богаты, особенно по сравнению с другими семьями нашего круга. Тысяча десятин пахотных земель, из которых половина сдавалась в аренду крестьянам по низкой цене, — такие владения, по русским стандартам, крупными не считались. Было двести лошадей для полевых работ — тракторов тогда не существовало; двести коров. Молочные продукты и прежде всего молоко ежедневно поставлялись на большой молочный завод Чичкина в Москву. По воспоминаниям матери, общий доход от молочного завода составлял около 20 000 рублей в год, но, учитывая расходы на содержание фермы и на заготовку корма — свеклы, кукурузы и т. д., чистой прибыли было немного. Кроме того, некоторый доход приносили фруктовые сады.

Я пишу слово «сад» — и перед глазами встают яблони моего детства. Когда наступала пора сбора яблок, дом пропитывался их ароматом. Даже зимой, стоило приоткрыть дверцу подвала, где хранились яблоки, — и этот аромат проникал повсюду; его след никогда не выветривался полностью... Первыми созревали «коричные» и «грушевка», потом — великолепные, нежные и непригодные для транспортировки «белый налив» и «золотой налив»: их снимали с веток, когда они становились такими прозрачными, что сквозь тончайшую кожицу просвечивали изнутри черные зернышки, и тогда уже не в мякоть плода погружались зубы, а прямо в сок. Среди зимних были сладкие, зеленые, душистые яблочки сорта «бабушкин», покрупнее, побледнее и столь же ароматная антоновка, воспетая Буниным, и наконец декоративный, но менее любимый нами «апорт» — гигантские яблоки, с одного боку красные, а с другого — белые. Эти красавцы могли бы сделать честь знаменитейшему на всю Россию продовольственному магазину Елисеева. Для украшения на них наклеивали вырезанные из бумаги фигуры: звездочки или цветы сияли белизной на их ярких боках. Что касается мелкой «китайки» (у нас была всего одна такая яблоня), из нее варилось отменное варенье.

Но, как уже случалось со мною в Матове, я уклонилась от прямого пути, свернув на боковую дорогу. Неважно, по ней я все равно вернусь туда, откуда пришла.

Забавы ради я стараюсь по памяти набросать план имения. Сойдя с красного крыльца и оставив позади «неофициальный» фасад дома, я миную двухэтажный флигель, где живут учитель и управляющий и где ночуют мальчики в тех случаях, когда у нас много гостей. У этого флигеля тоже есть свой хозяйственный фасад. Из-за открытой двери доносится стук маслобойки и гудение сепаратора. Иногда, заглянув сюда, я получаю на пробу стаканчик самых свежих сливок — желтых, с ореховым привкусом.

Чуть подальше прямо из земли вырастает крыша, под которой не видно никакой опорной стены. Это ледник, где держат скоропортящиеся продукты. Лед для него заготавливают зимой: подвозят сюда огромные ледяные глыбы, наколотые на пруду, и зарывают их в землю; им предстоит храниться под соломенным настилом до следующей зимы, не тая даже в знойное лето.

Дальше эта дорога прямиком ведет к ферме, состоящей из двух дворов. Первый двор окружают разные постройки: конюшни для господских лошадей, казарма, где живут сельскохозяйственные рабочие, домики птичниц и каретный сарай.

Этот сарай — волшебное место, пахнущее кожей и гудроном, где царствует краснолицый кучер Максим, — важная особа, чье роскошное облачение в дни парадных выездов приводит меня в восхищение. Пышные рукава его красной или желтой рубашки, выпущенные из-под плеч черного бархатного кафтана-безрукавки, похожи на крылья. На блестящих от масла волосах, остриженных в кружок, — черная шапочка, украшенная по ободку короткими павлиньими перьями, которые переливаются всеми цветами радуги; на поясе — серебряные бляшки. Но мне симпатичнее конюх Василий, деревенский парень, белокурый, открытый и всегда в добром расположении духа.

По стенам сарая развешаны седла — плоские английские и выгнутые казачьи, седла-амазонки, сбруя, хомуты, дуги для коренников, позвякивающие бубенцами, когда до них дотрагиваешься. Каретный сарай — это настоящий музей экипажей. Самый старинный из них — дормез, в нем мой прадед совершал путешествия в Москву и Санкт-Петербург; это огромное сооружение, кажется, лучше приспособлено для оседлой жизни, чем для передвижения. Внутри обитый кожей, он вполне комфортабелен — но только не для дорожной тряски; а чтобы сдвинуть его с места, необходимо не меньше шести или восьми лошадей. Удобства дормеза наводят на мысли о длительных и опасных путешествиях; сиденья откидываются, так что пассажиры могут здесь спокойно выспаться, не останавливаясь на ночлег в случайной гостинице; багажный ящик вмещает солидный запас провизии. На моей памяти эта карета покидала сарай лишь в редких случаях — когда ее одалживали на крестьянскую свадьбу в деревню Матово.

Современницей дормеза была колымага: предназначенная для зимней езды, она стояла на полозьях. Эта колымага чуть не стала моей могилой, и с ней навеки связана в моей памяти дата 24 декабря уж не знаю какого года.

Зима была в полном разгаре, барометр предсказывал бурю. За исключением моего отца, все домашние отказались от задуманной поездки в приходскую церковь, расположенную в селе Гремячево, в десятке верст от имения. Уступив моим настойчивым просьбам, мать отпустила меня с отцом. Четверка лошадей, запряженных гуськом, тянула колымагу по схваченному морозом твердому насту. Небо хмурилось, сгустились сумерки. Мы без приключений добрались до Гремячева, отстояли всенощную. В битком набитой церкви было жарко, все обливались потом в своих меховых полушубках. Но едва мы вышли за порог, как поднялась метель; снежные вихри кружились и плясали, завывая и свистя. На открытой равнине было еще хуже. Вехи — дорожные ориентиры — исчезли, сорванные ветром или кем-то украденные. Дверца колымаги приоткрылась, и Максим — в надвинутой по самый нос кроличьей шапке, в долгополом, до пят, тулупе на меху, в таких же меховых рукавицах — сообщил, что мы сбились с пути и теперь ничего не остается,

как только отпустить поводья, чтобы лошади искали дорогу сами. «Разве что скотина сумеет выбраться из этакого ада», — заметил он. Во всяком случае ничего лучшего не оставалось. Колымага, окна которой совсем замело, вновь заскользила по снегу. Я не чувствовала сильного страха, но время, казалось, тянется так, будто мы погрузились в вечность. Укутанная поверх шубы бабушкиной «ротондой» на куньем меху, укрытая меховой полостью, я не мерзла. Отец иногда произносил бодрым голосом: «Доедем, с Божьей помощью!»

Колымага снова остановилась. Максим, превратившийся в снеговика, появился опять. «Спасены, ваше сиятельство! — прокричали его заиндевелые губы. — Вот наши ребята с факелами!» Василий и еще трое рабочих ехали верхом, и в руках у них горели и дымились смоляные факелы. Моя мать, обеспокоенная нашим затянувшимся отсутствием, выслала их нам навстречу. Лошади действительно отыскали дорогу. А как прекрасны были эти факелы, своим пламенем озаряющие метель, — предвестники свечек, зажженных на дожидавшейся нас рождественской елке!

Однако вернемся к матовским экипажам. Среди них удивляла своей необычностью линейка, что-то вроде большого мягкого дивана, обтянутого молескином, но без спинки и на четырех колесах. Когда устраивали пикник или поход за грибами, на линейке, запряженной парой лошадей, могло поместиться восемь человек взрослых. Это средство передвижения предпочитали исключительно дамы, пожилые господа и дети.

Забудем опять на время о каретном сарае — и на сей раз углубимся в лес. Все мы, и стар, и млад, одержимые одной охотничьей страстью, соревновались в поиске тонконогих цезарских грибов, сыроежек, с их привкусом дикого леса, подберезовиков и подосиновиков, не схожих на вкус и цвет, как не схожи между собой деревья, под сенью которых они растут; мясистых боровиков и молодых беленьких, груздей; а вечером наша добыча попадала на стол, поджаренная в сметане, — и ни разу не пришлось нам сокрушаться о роковой ошибке.

В каретном сарае стояли еще дрожки, транспорт для мужчин, — доска небольшой длины на четырех колесах, своего рода «джип» тех времен, легкий и практичный. На дрожках ездили, сидя верхом. К экипажам более классического типа относились пролетки, поменьше и побольше, запрягаемые двумя или тремя лошадьми, — в последнем случае это и была так называемая «тройка». Более элегантный шарабан, заказанный матерью в Варшаве, запрягался парой «по-английски». Этот экипаж высокой посадки, желто-черный, несмотря на его щегольской вид, представлял собой небезопасное средство передвижения, так как легко опрокидывался, стоило чуть задеть колесом колею или край дерновой земли вдоль дороги. Были здесь еще тарантасы: в них ездил управляющий, их же отправляли на вокзал за почтой. Были сани всех видов и маленькая коляска, в которой маньчжурский ослик иногда, будучи благосклонно настроен, катал нас с няней.

Другой сарай отведен был под разнообразные повозки, предназначенные для полевых работ: там стояли крестьянские телеги, фура с узким

днищем — ее продольные борта, расширяющиеся кверху, позволяли перевозить в ней в больших количествах зерно и фураж; розвальни — открытые сани треугольной формы, заменявшие зимой телегу и так славно скользившие по первому снежку.

Продолжим осмотр русского имения начала века. Тягловые лошади содержались отдельно от господских, в конюшне на другом дворе — скотном, и зимой они меланхолично жевали охапки своего пролетарского корма, в то время как их сородичи-аристократы лакомились овсом. В особом стойле за крепкой дверью пофыркивал вороной жеребец отца, горячий и агрессивный, несмотря на его почтенный возраст.

Лошади были моей второй страстью после собак. Мне нравилось осторожное прикосновение их нежных губ к моей ладони, когда я протягивала им краюшку черного хлеба, посыпанного крупной солью; мне нравилась крепкая стать одних и нервный темперамент других, и никакие достоинства автомобиля не могут, на мой взгляд, сравниться с тем пониманием, какое устанавливается между всадником и его лошадью, связанными негласным договором о взаимных услугах: этот союз двух живых существ не имеет ничего общего с отношениями между человеком и неодушевленной материей; разумеется, тогда я была далека от того, чтобы формулировать подобным образом свою точку зрения.

Я умела доить коров и любила запах парного молока, бившего тонкой струйкой в ведро. Как-то раз я пришла на скотный двор; по недосмотру нерадивого пастуха коровы забрели на клеверное поле, а теперь они лежали со вздувшимися боками, и ветеринар готовился делать им пункцию. Я чуть не потеряла сознание: в то время я острее, чем теперь, воспринимала страдания и смерть.

Холодную колодезную воду из ведер переливали в поилку, выдолбленную в бревне, и после дня пахоты в сгустившихся сумерках раздавалось фырканье обступивших ее лошадей.

В казарму, где жили рабочие — одинокие и семейные, я заходила редко, но с удовольствием заглядывала в домик, где размещалась людская кухня. Здесь всегда было натоплено — и зимой, и летом. Веселая толстая кухарка, так непохожая на нашу нервную Настю, хозяйничала у русской печки. Проворно орудуя ухватом, она вытаскивала из печи глиняные горшки с гречневой или пшенной кашей, ловко вынимала большие караваи черного хлеба и не забывала острием ножа начертать крест на каждом из них перед тем, как его разрезать и угостить меня пышущей жаром горбушкой с потрескавшейся корочкой. Ближе к обеду кухню наполнял запах лука и капусты. В деревянные миски разливали жирные щи, и рабочие рассаживались вокруг стола. Они доставали из-за голенища ножи, брали в руки деревянные ложки, разукрашенные резьбой и росписью, и, перекрестившись, принимались за еду.

Язык туляков — образный, красочный, богатый заимствованиями из соседних диалектов — можно сравнить с тем французским, на котором изъясняются жители Турени. Возможно, именно благодаря тому, что я слышала речь тульских крестьян, мне — выросшей далеко от родины —

известны поговорки, пословицы, крепкие словечки: так что, доведись мне беседовать с самим Никитой Сергеевичем Хрущевым, я бы за словом в карман не полезла.

Месяцы и годы, проведенные в Матове, сливаются для меня в единую полосу. Чудный свиток событий и картин природы, постоянно повторяющихся и всегда новых! Когда в стране царит мир, в деревне все происходящее возводится в ранг события.

Большие медные тазы, сияющие ярче золотых, ставят на печки, сложенные из кирпича специально на период заготовления впрок — до будущего лета — варений. Молодые крестьянки вместе с детьми из нашего семейства с утра набрали корзины земляники или малины, смородины или крыжовника. И вот в саду, наполненном жужжанием пчел и ос, слетевшихся на запах ягод и кипящего сиропа, моя мать и тетки наблюдают за процессом варки: ягоды должны остаться целыми, сохранить форму и аромат и сделаться прозрачными.

День появления в имении коробейников — всегда неожиданного — превращается в праздник, сопровождаемый большой суматохой. Телеги, нагруженные тюками с товаром, останавливаются у красного крыльца, и к ним со всех сторон сбегаются бабы и ребятишки. Служанки несут стулья для дам нашего дома. Лена выкатывает бабушкино кресло. Руки заезжих искусителей разворачивают, аршин за аршином, куски пестрых ситцев, саржи для юбок... Все эти ткани дешевые, но добротные, стойкой окраски. Девушки с фермы и служанки щупают и проверяют на прочность материал, со смехом слушают, как продавцы расхваливают свой товар. Наступает торжественный момент раздачи подарков: каждой что-нибудь достанется от моей матери — отрез на платье, на юбку, на блузку или цветастый платок... Из этих же тюков, нагроможденных на телегах, выйдет немало летних платьев и для нас.

После распределения даров мать и тетки уходят, а перед опустевшими стульями продолжается беззастенчивый торг: служанки и работницы прельщаются то флакончиком пошлых духов или куском пахучего земляничного мыла, то дешевым колечком или коробочкой пудры, и монеты, звеня, пересыпаются из рук в руки.

Летом дни рождения отмечались с особой пышностью. В канун моего дня рождения я сама заказывала праздничную трапезу и торжественно вручала Насте свое меню, неизменно одно и то же: консоме с вермишелью — звездочками или «азбукой», жареные цыплята и мороженое — разумеется, фисташковое. Из подвалов доставали «мое» вино — кажется, «Ливадию-65», десертное вино из императорских владений в Крыму. Утром, усевшись в большое кресло, увитое цветами, напротив украшенного цветами прибора, я срывала обертки с подарков, которые грудой громоздились передо мной. Восседая на почетном месте, я царила во главе стола (раз в году обычая не делает) и была счастлива тем, что повзрослела на год.

В день рождения отца все соседи с веселым звоном бубенцов съезжались в Матово. Уже накануне на кухне крики Насти, терроризиру-

ющей своих подчиненных, перемежались со звяканьем кастрюль и стуком что-то сбивающих деревянных ложек. В этот день отец делал вид, будто встал позже обычного. Он в свою очередь усаживался в кресло, увитое цветами, а мы подходили с поздравлениями приложиться к его руке. Отец выглядел сконфуженным и довольным, ловко разыгрывая удивление: как это мы не забыли о его дне рождения. К обеду стол раздвигался, но поскольку за ним все-таки не хватало места для всех, нас вместе с гувернанткой и учителем удаляли в диванную и допускали только к десерту — и, держа в руках бокалы с шипучей ландриновой водой вместо шампанского, мы снова желали отцу долгих лет жизни. Мой дядя Петр Алексеевич Нарышкин в этот день брался за приготовление закусок. На серванте выстраивался ряд графинов с водкой — чисто-белой, красной, настоянной на рябине, зеленой — на молодых смородиновых побегах, желтой — на тархуне, а дядя Петр, бывший казачий офицер императорской гвардии, колдовал над перцем, солью, маслом и уксусом и затем снимал пробу, считая своим долгом одновременно пропустить рюмку водки того или иного сорта, так что за стол он садился уже заметно повеселевшим.

Поздний ужин накрывали в саду. На деревьях и кустах зажигали бумажные фонарики. Над лампочками вились ночные мотыльки. Нам не разрешалось присутствовать на ужине, и мы слонялись по гостиной, оттягивая минуту ухода в спальню, а вокруг шел разговор об урожае и местных происшествиях. Меня завораживала одна женщина, не похожая на других. Это была госпожа Змеева, цыганка, — по слухам, наш сосед Змеев, чтобы жениться на ней, уплатил большой выкуп табору. Ее смуглая кожа, миловидное лицо, отуманенное печалью, противоречившей живому блеску черных глаз, гладкие волосы, днем повязанные красным платком, грудной голос — все это, в моих глазах, создавало вокруг нее ореол тайны... В соседней гостиной любители карт наслаждались игрой в вист или преферанс.

В один из таких вечеров я слышала рассказ дяди Петра Нарышкина об историческом событии, очевидцем которого он был: о трагедии, разыгравшейся во времена, даже на сегодняшний мой взгляд неправдоподобно далекие, чуть ли не допотопные. Речь шла о казни Софьи Перовской, Кибальчича, Желябова и других участников убийства Александра II 1 марта 1881 года. Софья Перовская, прежде чем она примкнула к террористам, была светской девушкой; дядя Петр встречал ее и как-то танцевал с ней на балу. Року было угодно, чтобы он оказался в отряде, сопровождавшем ее на эшафот. «Я не смел взглянуть на нее, — рассказывал дядя, — не потому, что находил кару несправедливой: убийство Царя-освободителя — преступление непростительное; но нелегко быть свидетелем последних минут приговоренного к смерти. И потом, — прибавил он, — вообразите: что, если бы, узнав меня, она подала мне какой-нибудь знак... Я был совсем молодым офицером, моя карьера могла погибнуть, и уж во всяком случае я бы не избежал порядочных неприятностей».

Только оценив, с какой быстротой удаляются от нас исторические события, заслоняемые настоящим, начинаешь понимать, что для молодых

немцев и французов не только война 1918-го, но и война 1940 года уже потонули в пучине времен. Моему отцу было шесть лет, когда объявили об освобождении крестьян; ему пришлось пережить и русскую революцию, — и к тому времени реформа была полностью забыта.

Но вернемся к дню рождения отца. Едва успев раздеться, мы с Наташей в ночных рубашках бежали в спальню матери, выходившую окнами в сад, где под веселый шум голосов продолжалось пиршество. Наконец, гости вставали, чтобы поднести отцу традиционную «чарочку» — серебряный кубок, наполненный шампанским, — и сад оглашался хором, где выделялись звучностью сопрано тети Нарышкиной и контральто госпожи Змеевой:

Кому чару пить,
кому здраву быть —
князю Алексею свет Николаевичу.
Пей до дна, пей до дна, пей до дна,
пока чарка не осушена!

В ту ночь кровати расставлялись везде, где только можно, гости спали на диванах в доме и во флигеле, но мест не хватало, чтобы уложить всех, и молодые холостяки попросту отправлялись ночевать на сеновал.

У меня нет желания изображать прежнюю Россию в идиллических красках. Я перебираю свои воспоминания — такими они сохранились в душе, отражая чаще всего мои счастливые мгновения. Конечно, моя жизнь соприкасалась с трагедией судьбы крестьянства, — стоило лишь шагнуть за ворота имения, войти в соседнюю деревню. Невозможно жить из поколения в поколение рядом с крестьянами и не знать всей тяжести их бытия. Если верить недавно опубликованной во Франции работе Жоржа Вальтера «История французского крестьянства», в странах, обогнавших Россию, положение крестьян было немногим лучше, хотя, как мне кажется, здесь историк в описании картины намеренно сгущает краски, руководствуясь политическими мотивами.

С деревней Матово у нас поддерживались самые тесные отношения. Все ее жители были потомками бывших крепостных, получивших вольные от моего двоюродного прадеда Дмитрия Федоровича Шаховского еще до официального освобождения крестьян (в ту эпоху не он один, но и другие помещики поступали таким образом). Он также помог крестьянам построить свои первые избы свободных людей.

Это была затерянная деревня, связанная с внешним миром через имение Матово. Каждый день на Красном крыльце, в прихожей, толпились мужики и бабы, пришедшие за советом и помощью: за лекарством от жара или зубной боли, от дизентерии или ревматизма, за мешком муки или за семенами. Для скудного крестьянского хозяйства потеря лошади или коровы оборачивалась настоящей трагедией, и владельцам имения надлежало оказать помощь потерпевшим — в рассрочку продать им скотину взамен павшей. Иногда надо было отвезти когонибудь в больницу; бывало, что погорельцы просили леса на постройку новой избы...

Стоит рассказать, быть может, одну анекдотическую историю, приключившуюся во время революции 1905 года, то есть еще до моего рождения, и описанную в воспоминаниях матери. Отца не было дома, когда крестьяне, взбудораженные слухами о беспорядках, явились высказать свои требования моим родителям. Время было послеполуденное. Довольно разгоряченная толпа подошла к дому, и прислуга доложила о ее появлении моей матери. Она вышла на балкон с простыми словами: «Не шумите, мои дети спят». Этого оказалось достаточно, чтобы воцарилась тишина. «А теперь изберите представителей, с которыми князь и я будем разговаривать». Тем временем приехал отец, и делегаты были приняты. Они объяснили, что, по слухам, отныне установлена арендная

плата в десять рублей с десятины земли и что они желают платить такую сумму. Отец рассмеялся: «Хотите платить по десять рублей? Пожалуйста, я не против. Только вы, верно, забыли, что сейчас платите нам всего по пять рублей с десятины?» Беднягам, по их неосведомленности, такое даже в голову не пришло: едва прослышав об официальном понижении платы, они поспешили действовать — и теперь, в полном смятении от того, что дело приняло подобный оборот, пустились, сожалея, извиняться. Разумеется, арендная плата осталась прежней, ниже официально принятой.

В 1956 году я вновь побывала в окрестностях Тулы. Стояла лютая стужа, и меня охватило чувство безнадежности: я увидела, что этот пейзаж, эти лица за прошедшие почти полвека совсем не изменились. Казалось, здесь все разорено и обречено на вечное запустение. Как могла я когда-то быть счастливой в этих местах? Могла бы я снова привыкнуть к таким суровым условиям? Наверное, нет.

Я рассказываю об этой встрече с местами моего детства для того, чтобы напомнить: привычка стирает первые наши впечатления, хороши они или плохи. Если присмотреться, красавица может показаться нам не такой уж и красивой, а дурнушка, наоборот, — не столь некрасивой, как на первый взгляд. Прекрасно зная, что в моей стране крестьяне живут в тяготах и лишениях, я сожалела об их бедственном положении (не без влияния моих родителей) и желала, чтобы оно изменилось, однако сам вид нищеты меня не поражал. Точно так же сегодня мы без всякого удивления проезжаем на машинах мимо бидонвилей[1], существующих во всех столицах западного мира, и если даже нам хочется, чтобы они исчезли, а их обитатели могли жить в более пристойных условиях, — тем не менее аббаты Пьеры[2] среди нас встречаются редко. Министры арабских стран так же проезжают мимо убогих лачуг, а чиновники международных организаций — мимо нищих негритянских поселений; по всей вероятности, им тоже хотелось бы видеть вместо всего этого что-то иное, но пока они смотрят на эту бедность спокойным взглядом, как на нечто привычное.

Итак, все матовские крестьяне были для нас старыми знакомыми. Мы знали их по фамилиям и именам, знали их семейное положение, достоинства и недостатки, а они в свою очередь все знали о нас, — ведь из поколения в поколение мы росли бок о бок. «Матовские» не сливались в наших глазах в безликую толпу. Сквозь десятилетия разлуки я помню, например, многочисленный выводок Павла: отправившись как-

---

[1] Трущобные поселения окраин, состоящие из импровизированных жилищ, выстроенных из подручных материалов, — от франц. bidonville (*прим. перев.*).

[2] Аббат Пьер — французский священник, инициатор движения помощи неимущим, организатор благотворительных столовых; его имя стало символом милосердия в современной Франции. (*Прим. перев.*).

то зимой на заработки на один из тульских заводов, Павел привез из города болезнь, которая пометила всех детей в семье физическими изъянами, не затронув их умственных способностей. Павел был плутоват, его умение словчить и критический ум были нам хорошо известны. Часто сказанное им словцо входило в поговорку. Слушая однажды, как мой брат рассказывает запутанную историю, Павел шутливо заметил: «Ничего не поймешь, а потешно!» Эта фраза вспоминается мне теперь при чтении некоторых романов моих собратьев по перу, и я радуюсь, если словечко «потешно» оказывается кстати.

Как в каждой деревне, был в Матове человек, слывший грозой здешних мест: Осип, молодой еще мужик, довольно-таки красивой наружности, с пустым взглядом светлых глаз, от которого всякому, кто к нему приближался, не исключая детей, становилось как-то не по себе. Осип то появлялся, то пропадал, иногда оказываясь в тюрьме; о нем шла молва как о воре и поджигателе, способном подпалить и хлеб в поле, и избу своего недруга. Говорили еще, что он насилует девок, даже малолетних.

На крестьян периодически обрушивались несчастья: засуха, эпидемии, падеж скота, — но страшнее других бедствий были пожары. В деревнях, где избы строились из дерева, а кровли крылись соломой, малейшая искра грозила бедой. В Матове на всех избах висели таблички со схематичным изображением таких приспособлений, как лестница, ведро, молоток, топор, веревка, в напоминание о том, что́ каждый из жителей обязан принести с собой в случае несчастья.

В окрестностях пожарной службы не было, и единственная на всю округу пожарная помпа находилась у нас. Когда раздавался звон колокола возле избы старосты, отовсюду, бросив работу, сбегался народ — мужики, бабы и ребятишки. Вереница людей выстраивалась у единственного деревенского колодца, ведро опускалось и поднималось, гремя цепью, воду выливали в другое ведро, и оно, переходя из рук в руки, направлялось к горящей избе. Люди метались среди разлетавшихся снопами искр, пытаясь выхватить из пылающего костра хоть несколько бревен. К нам скакал посыльный, но иногда еще до его появления клубы дыма замечал кто-нибудь в имении; огромную красную помпу со всей спешностью выкатывали во двор фермы, где закладывали пару лошадей. Мои родители и все наши мальчики верхом на лошадях следом за помпой торопились к месту бедствия. Потушив пожар, оценивали убытки. Самым трудным было не возмещение скудной мебели и одежонки, а восстановление разрушенного дома: для строительства требовались толстые бревна, а в нашей местности, где лес был вырублен, дерево стоило дорого.

Сотня страниц, продиктованных моей матерью незадолго до ее смерти профессору Калифорнийского университета, включает рассказ о ее деятельности во время голода, опустошившего Россию в начале века. Мать взялась организовать помощь нескольким тысячам «душ», как говорили тогда, в Венёвском уезде. К ней присоединились многочисленные

добровольцы: помещики, священники, школьные учителя, мещане. Нужно было собрать пожертвования на закупку муки в Соединенных Штатах, устроить пункты раздачи и медицинской помощи, которую нередко оказывали студенты-медики, так как квалифицированных врачей не хватало. Состоя в благотворительном Обществе императрицы Александры, мать получала в большом количестве одежду из Петербурга для раздачи бедным: она вспоминала, как одной старой крестьянке среди прочих вещей досталась красная фланелевая юбка и та отказалась ее носить, сказав, что хочет сберечь ее для собственных похорон.

Но и в урожайные годы картина страды быстро убеждала ее очевидца в том, что хлеб насущный действительно добывается в поте лица. Августовский зной изнурял людей и скот — и в эту пору приходилось, не покладая рук, жать, собирать и обмолачивать хлеб. В полдень по дорогам и через поле тянулась вереница детей, несущих из деревни кувшины с водой и квасом, хлеб и творог, и жнецы в изнеможении валились на землю, в тень редких деревьев на краю поля.

Войдя как-то в деревенскую церковь — в какую и где, не помню точно, — я увидела стоящие в ряд пять или шесть гробиков; в них покоились грудные младенцы, жертвы страды — восковые куклы с открытыми личиками иссиня-зеленоватого цвета: должно быть, их навеки усыпил маковый отвар.

Проводы рекрутов — под звуки гармони, громогласное пение и обильные возлияния — тоже были трагедией.

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья.
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.
Заплачут братья мои, сестры,
Заплачет мать и мой отец...

В ту эпоху частые праздники скрашивали на время тяготы и беды. Без сомнения, в колхозах и совхозах выходных дней меньше, чем в деревне при царском режиме, и, конечно, нет в них былой красочности.

Тогда еще жили старые традиции — например, веселое шествие с первыми дарами земли. К нам в дом несли с поля первый сноп хлеба, нарядно убранный пестрыми лоскутками. Рабочих угощали водкой, девок — квасом, пряниками и конфетами, а в рощице на поляне запевала гармонь. Заводили хоровод — душой его была у нас молодая крестьянка по имени Полька. Эти танцы, уже выродившиеся, совсем не походили на те, что теперь танцуют фольклорные ансамбли, — за исключением, пожалуй, присядки, в чем некоторые парни отличались большим мастерством. На молодых редко можно было увидеть костюм Тульской губернии, но кое-кто из обладательниц такого наряда, полученного по наследству, в подобных случаях красовался в нем.

Наши края славились панявой — жестким льняным полотном ручного ткачества: из ярких разноцветных ниток получался рисунок в клеточку, напоминающий шотландку. Панява шла на юбки; на вышитую рубашку из белого полотна с широкими рукавами надевалось то, что у нас называли «занавеской»: подобие шелкового передника, иногда вы-

шитого золотыми и серебряными нитями. Голову повязывали цветастым платком, шелковым или из тонкой шерсти. Стеклянные бусы в несколько нитей довершали этот пышный костюм. Парни носили шаровары — широкие штаны, заправленные в сапоги, русские рубашки — красные, белые, голубые, желтые — и картуз, заломленный так, чтобы из-под него выбивался чуб. Другой распространенной в повседневном обиходе женской одеждой был сарафан, просторное длинное платье из какой-нибудь хлопчатобумажной материи, доходившее до подмышек и закрепленное на плечах короткими бретельками, так что на виду оставались широкие рукава и ворот рубашки.

Сарафан был и у каждой из нас. Я с удовольствием носила свой — красный, с нитками стеклянных бус, танцующими на груди, — бегая босиком или в лаптях, сплетенных для меня на заказ. Что касается панявы, то моя мать, стремясь поддержать традиционное ремесло в нашей местности, заказала для себя из этой ткани красивого черного цвета в сиреневую клеточку необыкновенную и прочнейшую амазонку, а для нас — короткие красные юбочки в складку и на бретельках, очень понравившиеся нашим столичным друзьям.

В день рождения деревенские ребятишки с большой торжественностью преподносили нам молодого петушка или курочку — в соответствии с тем, кто был виновником празднества: брат или одна из нас, сестер. Вручив нам повязанную бантом птицу, дети по обычаю получали выкуп серебряными монетками, в сумме превышавший ее цену. Среди наших деревенских гостей по кругу передавались подносы с пряниками и конфетами, а потом мы вместе играли на лесной поляне в самые популярные игры — например, горелки, или устраивали состязания: бег с яйцом в деревянной ложке, бег в мешках и так далее, а победителям в этих испытаниях доставались призы. Из граммофона с огромным красным раструбом сквозь шипение доносились голоса Шаляпина, Липковской, Собинова или удивительный голос Вари Паниной. И, бывало, кто-нибудь из стариков, собиравшихся в Матово на праздник, осенял себя крестным знамением, пугаясь адской машины, предвосхитившей всевозможные шумы, которые обрушивает сегодня техника на наш слух, невзирая на его сопротивление.

На Пасху — самый большой праздник Православной Руси, по возвращении из церкви, на рассвете крестьяне шли в имение, где их ждали ведра водки и сотни крашеных яиц. Мать и отец христосовались со всеми по очереди, — помню и я прикосновение к своей щеке этих шершавых бородатых лиц, кисловатый дух разговления с примесью водочного перегара и запаха конопляного масла, которым смазывались кое-как приглаженные вихры... Патернализм? Да, конечно. Но разве бюрократизм привлекательнее?

Впрочем, не стану утверждать, что жителей имения и деревни Матово связывала любовь. Может ли существовать любовь между какими-либо социальными группами? Но мы хорошо знали, а значит, понимали друг друга, и взаимное уважение возникало независимо от богатства или бедности. Готова держать пари, что мой отец знал народ лучше, чем Максим Горький, выходец из мещан, лучше, чем многие

городские интеллигенты — те, кто избрал для народа судьбу, приведшую его в колхозы, совхозы и лагеря заключения.

Среди других рабочих в Матове многие годы жил кузнец Матвей, тщедушный кривоногий вулкан, настоящий мастер своего дела. В имении он женился, у него родились дети, ставшие для нас товарищами по играм. Мы любили заглядывать к Матвею в кузницу, а ему доставляло радость наше восхищение, когда из фонтана искр на наковальне возникали готовая подкова, деталь экипажа, замок... Время от времени Матвея одолевал зеленый змий.

«Ваше сиятельство, Вас Матвей просит», — докладывала прислуга, и отец, привыкший к таким приступам, выходил на Красное крыльцо. Дико озираясь, нетвердо держась на ногах, Матвей кричал:

— Не могу больше! Не желаю работать! Отдайте мне, что заработал, да прямо сейчас. Душа просит — ухожу!

— Ну ладно, ладно, Матвей, — мирно уговаривал его отец, — завтра получишь все, что заработал, и уйдешь.

— Не завтра, а сегодня! Мне уйти надо, — настаивал Матвей, пропивший все деньги и готовый продать душу дьяволу в обмен на возможность раздобыть какого угодно горючего.

Отец был непреклонен, и Матвей, изрыгая ругательства и проклятия пересохшими губами, возвращался к себе в казарму. В трезвом состоянии кроткий, в запое он становился буен, набрасывался на жену и детей, на других рабочих, и хотя они были сильнее, уважение к Матвею не позволяло им дать ему взбучку... Если никак не удавалось его утихомирить, прибегали к последнему средству — звали моего брата, которому было лет одиннадцать-двенадцать; стоило ему подойти к одержимому со словами: «Ну, Матвей, пора спать», — как Матвей, послушнее ягненка, позволял взять себя за руку и отвести к нарам, где падал замертво.

Знаки почтения, оказываемые помещикам челядью и крестьянами, — такие, как обычай целования руки или плеча, — шокируют современные нравы. Случалось, прося о какой-нибудь милости, крестьянин бросался на колени, что приводило в замешательство моих родителей, которые совсем не одобряли общепринятые демонстрации такого рода. Но, если подумать, это были всего лишь устаревшие формы испрашивания милостей, сегодня замененные иными. Достаточно почитать письма Вольтера, и мы убедимся, что, сколько бы ни превозносили человеческое достоинство философы XVIII века, они способны были дойти до низости, угождая своим высоким покровителям. Да и теперь повсеместно вокруг тех, кто обладает властью, можно заметить самую грубую лесть и низкопоклонство людей, считающих себя свободными. Изменяя формы, общество не изжило раболепия. Во всяком случае, моим родителям никогда бы не пришло в голову заставить слугу или крестьянина плясать гопак, что с легкостью позволял себе Сталин по отношению к окружавшим его высшим чиновникам. Крестьяне жили в нищете и невежестве, но мы понимали, что это люди с умом, сердцем, совестью, душой.

Другое, более отдаленное село Гремячево, где находилась наша приходская церковь, отличалось своеобразием и было совсем не похоже на

Матово. Оно состояло из нескольких богатых хуторов и выглядело, как маленький городок. Здесь обосновалось множество лавочников — мещан. Дома, нередко кирпичные, были больших размеров. Над селом возвышались две церкви, меж пологих берегов текла речка, значительная площадь была отведена под окружную ярмарку. Хутора, входившие в состав Гремячева, носили исторические названия: Стрельцы, Казаки, Пушкари. Здесь жили потомки неспокойных казаков, переселенных Екатериной II в окрестности Тулы, подальше от мест их боевых подвигов. Вблизи Гремячева не было ни одного поместья, и жители села привыкли рассчитывать только на самих себя, благодаря чему были независимы по характеру и находчивы.

В большом храме, куда мы приезжали по церковным праздникам, служил молодой еще священник отец Александр. Он был многодетным вдовцом, но жениться не мог, так как Православная церковь запрещала священникам вторично вступать в брак. Отец Александр терпел сильную нужду и, кроме собственных серьезных забот, обременен был бедами прихожан. Самоотверженный и обаятельный в своей простоте, он опекал школу, где учительствовала его старшая дочь. Мои родители старались помочь ему справляться с трудностями.

Гремячевская ярмарка! Выйдя из церкви, родители беседовали с отцом Александром, обсуждали деловые вопросы с лавочниками или крестьянами, а мы тем временем бежали посмотреть на веселую суматоху ярмарки, пробираясь между телегами, понаехавшими со всей округи. Густая толпа, повсюду разложен товар, а вокруг — кудахтанье обезумевших кур, пронзительный визг поросят, скрип гигантских весов, гнусавые звуки механического пианино, шуточки рекламирующих свой товар торговцев... На подносе с опилками блистали фальшивые камни дешевых украшений; с хлопаньем разворачивались в руках суконщиков рулоны пестрого ситца. Вот двое цыган-барышников расхваливают достоинства лошади — возможно, где-то украденной; там толстая торговка режет крупными ломтями ситный — белый хлеб, мягкий, словно кусок масла. Повсюду разлетался сор от подсолнуховых семечек, нащелканных сотнями ртов. Как груды драгоценностей, сверкали запыленные леденцы неестественно ярких оттенков. Я доставала мелочь из кошелька, покупая все подряд: колечко с рубином, носить которое мне не позволят, какие-то черные стручки с лакричным привкусом (не знаю их названия), ломоть ситного, на самом деле похожего на вату; потом, зная наверняка, как меня будет мучить морская болезнь, я все-таки влезала на карусель — и лебеди, свиньи, гривастые кони с магически застывшим взглядом кружили и кружили вместе со своими всадниками и всадницами.

Через сорок лет я ехала в казенном ЗИМе с советским шофером, членом коммунистической партии, и спросила, из каких он краев. «Из Тульских», — ответил он. «Из какой же деревни?» — «Из Гремячева». И вновь ожили для меня краски гремячевской ярмарки. Этот шофер был одних со мной лет. Наверное, он был среди тех мальчишек, что катались рядом со мной на карусели в его родном селе; он мог быть среди детворы, принимавшей подарки из рук моей матери под высокой

рождественской елкой в приходской школе. Такие встречи с прошлым готовит нам судьба...

Объевшись семечками, моими любимыми «раковыми шейками», розовыми в красную полоску снаружи и с начинкой «пралине» внутри, круглыми белыми «жамками» — печеньем с мятным ароматом, ощущая приторный до тошноты вкус тульских пряников во рту, я уносила домой цветные шелковые ленты и куски мыла — подарки дворовым девочкам. Без особого воодушевления пускалась я на поиски брата или кузена, удрученная тем, что близится момент отъезда и надо быстрее, быстрее все осмотреть, ничего не пропустить; а вокруг уже шатались пьяные мужики, другие спали в тени подвод.

В проповеди после обедни отец Александр напрасно призывал паству к воздержанности, убеждая отказаться от обычая предков — кулачного боя. Самые жестокие традиции долговечны, и ярмарка в Гремячеве не могла завершиться без этого средневекового побоища, где из года в год сходились стенка на стенку жители разных концов села, и всякий раз это оканчивалось большим числом пострадавших. Такое освобождение инстинктов обычно миролюбивого народа было своего рода опасным спортом — им занимались, не имея никаких видимых мотивов, кроме желания показать свою храбрость и презрение к боли. Каждый год, несмотря на увещания батюшек, находилось достаточно любителей кулачного боя; естественно, мы никогда не были в числе зрителей, пусть даже из любопытства: нельзя было подать ни малейшего признака одобрения.

В Гремячеве я впервые в жизни была на заупокойной службе в деревянной часовенке, возвышавшейся над крестами деревенского кладбища. Там, по логике вещей, должны были покоиться и мои родители, — но один похоронен в сердце России, а другая лежит теперь в калифорнийской земле.

Отец Александр молился за упокой душ князя Дмитрия и княжны Варвары[1] — тех, кто оставил Матово моим родителям. Помню этот день в начале лета. Я была мала. Мне нравилось пламя свечей, горевших у каждого в руке. Все дышало умиротворением: облачение священника, луч солнца, косо падавший на покрывало богослужебного столика, вышитое блеклыми цветами по черному фону. Пчела, покружившись в клубах ладана, по ошибке опустилась на вышитый цветок и осталась на нем сидеть.

Тогда еще смутно — но со временем я пойму это ясно, — воспоминание о двух плитах, прикрытых ковром, ниже ветхого пола часовенки, соединилось в моем сознании с матовским домом. Так я узнала, что есть Шаховские в земле и Шаховские на земле и что все они связаны навсегда.

[1] Варвары Федоровны, см. приложение. *(Прим. Д.М. Шаховского).*

В наши дни вряд ли стоит рассчитывать на успех, повествуя о предках, подобных моим. Упоминать о благородстве считается приличным лишь в том случае, если имеется в виду благородство трудовых мозолей, — и я вовсе не собираюсь принижать их достоинство. Однако, представляя в моем роду первое поколение женщин, зарабатывающих себе на хлеб, сама я не отрекаюсь от тех, к кому восходят мои корни и кто, вероятно, передал мне по наследству неистребимый боевой дух, горячее жизнелюбие и определенное мужество, защитив меня таким образом от непредвиденных ударов судьбы.

Популярные теперь родословные, как и нынешние автобиографии, — своего рода классика. Автору из страны коммунизма необходимо иметь счастье родиться в семье рабочего (крестьянское происхождение уже несколько сомнительно: крестьянин мог оказаться и кулаком). Итак, отец — рабочий, парень с золотым сердцем, отдавший молодость делу революции (которая немедля отменит право на забастовку как буржуазное изобретение), участник нелегальной борьбы, навеки прославивший потомство гибелью на баррикадах. Мать — тоже рабочая, в худшем случае — скромная домохозяйка, а то и бывшая служанка у господ-извергов. Она в свою очередь тоже вступает в борьбу; отвергнув опиум религии, выбрасывает в окно иконы и молитвенники и растит одна шестерых сирот, в том числе будущего автора. Грамоты она не знает, но после революции сумеет дорасти до председателя передового колхоза, знаменитого рекордными надоями молока.

В капиталистических странах выбор вариантов интересного происхождения шире. Я насчитала четыре равных возможности снискать благосклонность читателей (и издателей). Вариант первый: отец — опять-таки рабочий; он озабочен индустриализацией, поскольку революция уже совершена, и отстаивает классовые интересы, вникая в проблемы профсоюзного движения. Что касается матери — и в этом отличие от интересной семьи из коммунистической страны, — она имеет право сохранить веру.

Второй вариант: автор происходит из буржуазной среды, однако восьми лет от роду осуждает жестокий эгоизм своей касты, а в двадцать лет уходит из родительского дома и зарабатывает на жизнь, осваивая разные профессии: от мясника на бойне (за это — популистская премия!) до школьного надзирателя. Обычно свою автобиографию он сочиняет уже будучи популярным писателем, возможно даже членом Академии, литературного жюри и лауреатом нескольких премий, благо-

даря которым ему удалось обзавестись квартирой или загородным домом. Университетский диплом, даже полученный на средства отвергнутой семьи, обладает высокой коммерческой ценностью, но в крайнем случае можно обойтись и без него.

Третий вариант еще рентабельнее, но он довольно редок. Идеальная автобиография может принадлежать отпрыску Ландрю от проститутки, которую он не успел прикончить. Родившийся в нищете автор скитается по тюрьмам и в конце концов по настоянию адвоката описывает хронику своих преступлений. Конечно, он украшает ее вымышленными подробностями, ибо нет ничего скучнее реального, откровенно корыстного преступления. Из его опуса следует, что за все его злодеяния ответственно общество. Добавим, что нередко, получив кучу денег, буян устраивает свою жизнь на вполне буржуазный лад и оканчивает ее без осложнений, не забыв составить завещание в присутствии нотариуса.

Наконец, в равной мере пользуется успехом у современников четвертый вариант, еще более редкий, что неудивительно. Автор из весьма благородной, но обедневшей семьи становится барменом (или танцовщицей, выступающей в обнаженном виде). В роскошном отеле или ночном клубе происходит провиденциальная встреча автора с английским лордом (или американкой-миллионершей), и жизнь оборачивается волшебной сказкой, придуманной на потребу дураков. Во втором браке она (он) соединяет судьбу с судовладельцем, наследным принцем или кинозвездой. Обычно эти автобиографии от «а» до «я» сочиняют так называемые «re-writers»[1], которых следует называть просто «writers»[2]. И вот нам преподносят роскошную жизнь: яхты, казино, кражи драгоценностей, ужины со знаменитостями и суровые испытания чувств, подпитываемых транквилизаторами и наркотиками. Не мешает сдобрить все это по возможности щедрой порцией судебных преследований за чересчур реалистическую постановку «Жюстины» маркиза де Сада или «розовых» и «голубых» балетов на сцене частного особняка.

Итак, мне приходится с изрядной долей смирения упоминать о своем происхождении и описывать семью, по крайней мере за сто лет ни разу не снискавшую скандальной славы. Разумеется, я была бы вполне счастлива вести свой род от доброго ремесленника или крестьянина, но тогда бы мне не удалось так же глубоко во времени проследить историю своих предков. В наследство от них мне досталось только имя. Зато оно принадлежит мне наверняка и неотъемлемо, в отличие от богатства, которое я могла бы унаследовать.

Древний род норманнского происхождения — Шаховские, подобно многим русским княжеским фамилиям, ведут родословную от воинственного Рёрика, или Рюрика, в XI веке пришедшего на Русь со своими соратниками и ставшего ее первым правителем. Его дети, внуки, правнуки стали удельными князьями, феодальными властителями разных городов.

[1] Редакторы (англицизм, вошедший во французский язык в 1950-е годы).
[2] Писатели (*англ.*).

Родословные русских князей, имея в древности большое значение для определения прав наследования, веками велись самым тщательным образом. Благодаря этому мне известно, что я — представительница 31-го по счету поколения от Рюрика и 14-го — от Константина, князя Ярославского, в XV веке прозванного Шахом.

По жёнской линии мне передалась норвежская, шведская, византийская, английская и, конечно, татарская кровь, — ибо один из моих предков был женат на Анне Ногайской, внучке Чингисхана, который, вероятно, имел большое потомство от своих многочисленных жен. Само собой, течет во мне и плебейская русская кровь — ведь и Святой Владимир, князь Киевский, был сыном простой женщины, придворной кастелянши по имени Малуша.

В течение многих веков история моего рода была неотделима от истории России, однако при Иване Грозном, не слишком жаловавшем потомков Рюрика, намечаются признаки упадка, он усугубляется в XVII веке, после Смутного времени, когда Шаховские, замешанные в заговоре против первого царя из династии Романовых, впадают в немилость[1].

Все это, в действительности, — дела давно минувших дней. Я предпочитаю рассказать подробнее о Шаховских более близких мне поколений, чьи истории слышала я еще ребенком. Поскольку в России не существовало права майората, родовые земли и богатства оказались раздробленными. Устав сражаться за место под солнцем, Шаховские моей ветви, подобно многим старинным родам, вполне смирились с утратой былого влияния.

Мой прадед Иван Леонтьевич, чей портрет можно видеть в музее Эрмитажа — в Галерее 1812 года, был женат на графине Мусиной-Пушкиной. Он отличился в Бородинской битве, сражаясь в дивизии генерала Тучкова близ деревни Утица, и был награжден шпагой с бриллиантом и орденом Святого Георгия. Если верить семейному преданию, в 1815 году Иван Шаховской первым из русских генералов вступил в Париж и выполнял функции правителя французской столицы в течение двух или трех дней, до назначения губернатором Остен-Сакена. Предание хранит память и о том, что мой прадед послал отряд своих егерей на защиту Вандомской колонны со статуей Наполеона, осажденной толпой парижан, намеренных ее свергнуть. Двое старших его сыновей умерли, не оставив потомства[2]. Младший, Николай, женился на княжне Наталье Трубецкой и стал моим дедом. Он умер до моего рождения, и мне не довелось бывать в его имении Мураевня в Рязанской губернии, где вырос мой отец, старший из десятерых детей деда.

Это была дружная, истинно христианская семья, должно быть, пресноватая — добродетель чаще всего такова — и совершенно лишенная

---

[1] Аристократия — внушительное здание, прорезанное редкими окнами, скупо пропускающими свет, — являет то же отсутствие полета, а вместе с тем — ту же массивность и слепую мощь, что и романская архитектура: вся история замурована в ее стенах, упрятана под сенью ее мрачных сводов. — Марсель Пруст. «В поисках утраченного времени». *(Прим. автора).*

[2] См. приложение. *(Прим. Д.М. Шаховского).*

практической жилки. Единственный из всей семьи, кто попытался покончить с неотступно преследовавшей ее нуждой, был мой дядя Дмитрий Николаевич, который стал банкиром. Остальные братья после непродолжительной военной карьеры вернулись к земледелию. Семья не запятнала себя никакими «историями» — и все же история покарает ее неправедным судом.

Теперь о Шаховских — владельцах Матова. Брат генерала Ивана Леонтьевича[1] имел от брака с Чириковой двоих детей, Дмитрия и Варвару — именно их могилы видела я в Гремячеве. Они тоже не купались в роскоши, и когда дядюшка, умерший бездетным, оставил князю Дмитрию Матово, тот уволился из гвардейского полка и всецело посвятил себя имению, находившемуся в довольно плачевном состоянии. Он отказался от женитьбы, не желая лишить сестру права быть хозяйкой дома (она, кажется, отличалась большой добротой и весьма непривлекательной наружностью — судя по тому, что дворовые мальчишки прозвали ее «княжна — чертова голова»: дерзость, как видно, сходила с рук даже во времена крепостного права); и оба они всю жизнь прожили в местах, хорошо мне известных.

Князь Дмитрий Федорович был троюродным дядей моего отца и кузеном моей бабушки по материнской линии, Поликсены Чириковой. Однажды, приехав навестить его в Матово, она привезла с собой младшую дочь Анну, которой было к тому времени лет четырнадцать. Внучатная племянница очаровала хозяев, и они упросили кузину оставить у них девочку на несколько недель, а недели обернулись месяцами.

Отрочество моей матери прошло в обществе набожной старой девы и умного скептика преклонных лет. Оно прошло быстро: едва ей исполнилось шестнадцать, как князь Дмитрий, приближавшийся к девяноста годам, уговорил ее выйти замуж за его племянника Алексея тридцати двух лет, а приданым невесты стало Матово.

Семья матери, брачными союзами связанная с Шаховскими, ни в чем не походила на патриархальное семейство отца. Моя бабушка Поликсена Чирикова была внучкой великого архитектора Карло Росси, чье имя носит одна из улиц Ленинграда. Неаполитанец, по словам одних, сицилиец, по утверждению других, — он приехал в Россию десятилетним мальчиком, вместе с матерью, танцовщицей Гертрудой Росси, и ее вторым мужем, французским танцовщиком Ле Пиком.

Эта знаменитая тогда пара прибыла в Россию по приглашению Екатерины II в 1783 году. Мать поручила воспитание и обучение мальчика архитектору Винченцо Бренне; наряду с другим архитектором того времени, Камероном, он оказал на молодого Росси огромное влияние. Еще до того как развернулась самостоятельная, необычайно блистательная карьера Росси, он успел удивить своей деятельностью Москву, Петербург и русскую провинцию[2]. Плохо изъясняясь по-русски, в семейном

---

[1] Князь Федор Леонтьевич, см. приложение. *(Прим. Д.М. Шаховского).*

[2] По некоторым источникам, К. Росси (1775—1849) родился в Петербурге. С 1806 года — архитектор Кабинета Его Величества; с 1809 состоял в Экспедиции Кремлевского строения в Москве; перестраивал Путевой дворец в Твери. Расцвет его творчества относится к периоду после 1816 года, когда, будучи одним из главных архитекторов Комитета для строений и гидравлических работ, он создает свои монументальные ансамбли в Петербурге. *(Прим. перев.).*

общении он предпочитал французский язык и обладал весьма независимым умом, что стоило ему немалых неприятностей в отношениях с государственным департаментом и обоими самодержцами, для которых он трудился, — Александром I и Николаем I.

Карло Росси родился в 1775 году; умер он от холеры в Петербурге, в доме, где когда-то жил Пушкин. Уже на смертном одре — возможно, для того чтобы обеспечить необходимую поддержку семье, — он принял православную веру. В изображении мемуаристов той эпохи молодой Росси предстает «обласканным» московским высшим светом, «как обласканы у нас одни только иностранцы», — пишет Вигель, добавляя не без коварства, что всевозможные успехи оказались чересчур тяжким бременем для архитектора и подорвали его здоровье. Очаровательный, пылкий, горячего нрава, одаренный, он с усердием отдавался работе, однако вынужден был иногда прерывать ее из-за нервного расстройства, о котором мало что известно: таков был прадед моей матери, и, может быть, именно от него я унаследовала любовь к Средиземноморью — миру, который с самой первой встречи показался мне таким знакомым, будто меня связывали с ним личные воспоминания.

Одна из дочерей Карло Росси, красавица Зинаида, была замужем трижды. Овдовев после своего второго брака с адмиралом Тихоновичем, она вышла за генерала Егора Ивановича Чирикова, главу комиссии по разграничению России и Персии (вот почему во всех углах нашего дома можно было наткнуться на персидские шелка и разнообразные предметы персидского искусства). Современница романтизма, Зинаида дала своим детям имена, созвучные эпохе: Авенир, Анатолий и Поликсена. Поликсена и стала моей бабушкой.

Кажется, будто кровь Шаховских, не удовлетворенная всеми этими смешениями, требовала новых, — и Поликсена Чирикова, юная выпускница Смольного института, влюбилась в иностранца, молодого австрийского пианиста и композитора Леопольда фон Книнена, которым в то время было увлечено все петербургское высшее общество с легкой руки Великой княгини Марии Павловны, поскольку по ее приглашению он давал концерты во дворце. Ее примеру последовали все салоны. Поликсена встретилась со своим будущим мужем в салоне княгини Белосельской-Белозерской. Они поженились, несмотря на сопротивление родных Поликсены; Леопольд фон Книнен принял православие и русское подданство. Я уже его описывала. Склонный к роскоши, неравнодушный к женскому полу, который платил ему взаимностью, расточительный без меры, он пустил по ветру все свои гонорары, причем немалые, и промотал состояние жены, не способной ни в чем ему отказать, хотя российские законы, в противоположность кодексу Наполеона, признавали за женщинами право самостоятельно распоряжаться своим состоянием, завещать, продавать и покупать собственность без разрешения мужа.

В Петербурге у них родились три дочери и сын — с младенчества они дышали музыкой. Между тем жизнь в столице стала семье не по средствам, и дедушка с бабушкой переехали в Тифлис. Там дедушка сначала преподавал в консерватории, а затем открыл свою музыкальную школу. Он был неисправим, и семейные проблемы оставались прежними. На пороге старости моя кроткая бабушка нашла приют в Матове. До самой смерти не разлюбила она своего музыканта.

Таким образом, в душе моей идет нескончаемая борьба между тем, что я унаследовала от степенной родни отца, с одной стороны, и, с другой, — тем, что воспринято мной от предков по линии матери — художественных, страстных натур. Мне приходится совмещать в себе по всей видимости не совместимые склонности и мириться с собственными противоречиями.

Осень увлекала нас на берега Невы, и все вокруг изменялось: окунаясь в другой мир, я сама становилась другой, непохожей на себя прежнюю. С 1910 по 1913 год мы жили на Первой линии Васильевского острова, в просторной квартире. Бальный зал — в то время моя старшая сестра еще не выезжала — использовался только для так называемых «раутов» или для детских праздников.

Сквозь пальмовые листья и цветы, нарисованные морозом на оконных стеклах, я смотрела, как проезжали мимо извозчики, конки, позже — трамваи. Иногда во дворе слышалось пение шарманки, и какой-нибудь серб или румын заставлял танцевать на ее крышке несчастную, одетую в лохмотья обезьянку. Открыв форточки, все бросали ему мелочь, и монеты падали на утоптанный снег. Порой доносились заунывные крики татарина, продавца ковров и одежды: «Халат! Халат!»

Подобно поляне с незабудками в Матове, Петербург стал для меня памятным местом, где жизнь приобрела новый смысл. Здесь распахнул передо мною двери мир книг.

К нам приходил домашний учитель давать уроки Дмитрию и Наташе, и мне разрешали на них присутствовать, взяв слово вести себя тихо. Так в четыре года открыла я в себе призвание читателя, и с тех пор оно никогда меня не покидало. Быстро освоив алфавит по кубикам, я отдалась новой страсти. Никто не чинил препятствий моему призванию. На меня излился чудесный золотой дождь книг, и я в нем потонула. Думаю, что читателями рождаются, как рождаются художниками или музыкантами. Иллюстрированные журналы, книги сказок, басен, всевозможные альбомы, с золотыми обрезами, толстые и тонкие, тяжелые и легкие, — я листала их, растянувшись на ковре в одной из комнат или, дабы наслаждаться в полном покое, запиралась в уборной, откуда меня извлекали, осыпая упреками.

Я выучила наизусть басни Крылова, слыша, как их читают старшие. Впрочем, они мне не нравились, и их мораль, часто сомнительную, я отвергала. Сильную неприязнь внушал мне — и по сей день внушает — противный муравей, который, вместо того чтобы поделиться со стрекозой своими запасами, ограничивается советом: «Ты все пела — это дело, так пойди же попляши», — и прогоняет ее, голодную, восвояси. А у кого — вопреки Лафонтену — возникло бы желание стать тростником, если б он мог быть дубом?

Буйное воображение по-прежнему играло со мною шутки. Мне все еще плохо удавалось разграничить реальность и фантазию, и я долгое

время, недоумевая, пребывала в мире, где рядом с матерью, сестрами, нянями существовали столь же реальные ангелы и феи, бесы и гномы братьев Гримм, а садистские злоключения Макса и Морица переплетались с моей собственной детской повседневной жизнью. Мои грезы той поры, запомнившиеся с особенной ясностью, не всегда были такими уж сладкими. Баба-Яга запихивала меня в раскаленную докрасна печь, Медведь и Волк готовы были меня проглотить, но ангелы или Иисус Христос в белой тунике сходили со страниц «Священной истории» и в последнюю минуту спасали меня от верной гибели. Полуптица-полуангел, пролетала я над бескрайними просторами, над кладбищами, лесами, разыскивая могилу маленького братца, которого у меня никогда не было...

Позднее я так глубоко прониклась рассказами из мифологии, что любую пустую коробку открывала с опаской, боясь выпустить и рассеять по свету бедствия Пандоры.

Когда не было сильных морозов, я гуляла с няней по набережным Невы, одетая в шубку с воротником, муфтой и шапочкой из горностая: нарядные черные хвостики очень меня веселили. Внизу, по реке, скованной льдом, скользили конькобежцы. Золотой шпиль Петропавловской крепости устремлялся в голубое небо, мраморные львы — величественные стражи — охраняли спуск к реке. Всегда удивительной была встреча со сфинксами: запорошенные снегом, они возлежали на гранитном парапете набережной, и мне тотчас же представлялось, как в далеком Египте дочь фараона, склонившись к воде, вытаскивает мальчика Моисея, о котором рассказывает Библия. Неожиданно куранты Петропавловской крепости начинали выводить мелодию старинного русского гимна: «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык: велик Он в небесах на троне! В былинках на земли велик!»

Как-то раз, гуляя (вместе с нами был и брат), мы проходили мимо Зимнего дворца, где в тот момент царило заметное оживление. Подъезжали экипажи, автомобили; распорядители встречали гостей у входа в домовую часовню Эрмитажа. Дмитрий, которому было восемь с половиной лет, немедленно принял решение направиться туда, несмотря на возражения гувернантки. И вот все вчетвером мы пересекли мостовую, затопленную растаявшим снегом; я шлепала по этому месиву в своих валенках. Огромный детина в ливрее наклонился к брату, и тот с важным видом достал из кармана визитную карточку отца, где было выведено: «Князь Алексей Николаевич Шаховской, камергер Двора Его Императорского Величества, статский советник» (см. фотографию. — *Прим. Д.М. Шаховского*). Прочитав, лакей впустил нас. Часовню наполнили расшитые мундиры и дамы под черными вуалями. Были розданы свечи, и пение, строгое и вместе с тем нежное, полилось, проникая мне в душу. Все же время тянулось для меня слишком долго, и хотелось уйти, но командовал брат, гувернантка же в глубоком волнении стояла, как вкопанная, со мною рядом. Так, непрошеными гостями, попали мы на первую панихиду по новопреставленному королю Эдуарду VII в 1910 году.

Во мне происходили большие перемены, однако они оставались скрытыми от внимания взрослых. Я по-прежнему была неуклюжа и никак не ладила с вещами. Они выскальзывали у меня из рук, падали, рвались,

разбивались. Хуже того: они с дьявольской увертливостью и упорством терялись. Часто простужаясь, я ни часа не могла обойтись без носового платка, а платки исчезали из моей жизни со все возраставшей быстротой, и няня не придумала ничего лучше, как с утра пришивать платок изнутри к карману моей юбки. Таким образом, я подверглась новому унижению: единственной из всех, мне приходилось нагибаться для того чтобы высморкаться, и это представлялось мне величайшей обидой.

Мать еженедельно выдавала каждому из нас, соответственно возрасту, небольшую сумму денег. Дмитрий всегда тратил свои деньги с толком, заранее все взвесив и обдумав; как поступала со своими Наташа, мне неведомо. Я же тратила все, что получала, в первый день, на первую попавшуюся вещь, чаще всего на пустяки. Не счесть разноцветных шариков, улетевших, едва успев перейти из руки продавца в мою; переводных картинок, которые, за недостатком терпения, никогда не переводились... Без труда выучившись читать и писать, я так и не смогла, несмотря на все свои усилия, научиться считать. Никто в моем окружении не проповедовал пользу экономии. Вообще в России экономность не считалась добродетелью, и меня никогда не бранили за неразумную расточительность, — зато хвалили, когда я отдавала другим то, что у меня было. Возможно, в этом состоит самое разительное отличие России от Западной Европы.

Однажды бабушка, жившая в Петербурге вместе с нами, подарила мне в день именин самый очаровательный на свете кошелечек из красного бархата, с золоченой застежкой, положив в него три золотые монеты. В тот же день мать взяла меня с собой на прогулку. Падал снег. Широкий проспект, по которому мы шли, был почти безлюден. Прижимаясь к стене, два китайца — отец и сын, продрогшие в слишком легких для зимы одеждах, раскрывали окоченевшими руками складные бумажные шарики на палочках. Я остановилась, хотя в этих игрушках не было для меня ничего соблазнительного. «Ну, что ты медлишь? — сказала моя мать. — Дай им немного денег». Я вынула из красного кошелька золотой и протянула китайцу: тот рассыпался в благодарностях. Я достала вторую монету, затем третью — китайцы, казалось, онемели. Разумеется, ценность золотых монет была мне неизвестна, но мне нравились их блеск, их великолепие, нравилось, как они позвякивали на дне кошелька; они были куда красивее серебряных или медных монет, и при расставании с ними сердце все-таки слегка щемило.

Что сказала бы в подобном случае своему ребенку благоразумная французская мать? Допустим, она бы не рассердилась, однако, более чем вероятно, объяснила бы дочери, что золотой — это большие деньги и уж во всяком случае хватило бы одной такой монеты, чтобы осчастливить беднягу нищего. Моя мать ничего мне не сказала и не объяснила, и я ей благодарна, ибо она научила меня: давать благоразумно — значит все же давать слишком мало...

Быть может, обратив внимание на мое пылкое воображение и повышенную чувствительность, следовало попытаться эти качества не обострять. Но все способствовало тому, чтобы углублялись обе эти черты моей натуры. Самого черствого ребенка могли бы растрогать книги, ко-

торые я получала в подарок: врученные мне «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу, «Без семьи» Гектора Мало, «Мальчик у Христа на елке» Достоевского, «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича, «Каштанка» Чехова разрывали мне сердце. Существование мое было ими отравлено; даже над «Дон-Кихотом» я заливалась слезами: мне были ненавистны эти люди без сердца, без чести — те, кто насмехался над добрым Рыцарем.

В 1913 году мне случилось попасть в волшебную сказку — на бракосочетание княжны Ирины Романовой, дочери Великого князя Александра Михайловича и Великой княгини Ксении, сестры Государя, с князем Феликсом Юсуповым. Последнее счастливое виденье Императорской России, блистательный кортеж проехал по улицам Санкт-Петербурга. Я не видела зрелища прекраснее этой юной пары и в восхищении провожала взглядом их бело-золотую карету, запряженную белыми лошадьми, которыми правили лакеи в ливреях, и окруженную раззолоченными всадниками.

В 1959 году за обедом в Отёй, в маленьком домике, где живут теперь князь и княгиня Юсуповы, некогда богатейшие люди России, я поведала им об ослепительном воспоминании моего детства. «Вам все это показалось очень красивым, — ответила княгиня, — а мне, уверяю вас, пришлось несладко в моей сказочной карете. Путь был длинный, нас так трясло на деревянных колесах по ухабам мостовой, что в мыслях у меня было только одно: завершить бы достойно это путешествие». Волшебные сказки имеют свою изнанку.

За радостной церемонией последовала не менее яркая траурная. Описываю ее потому, что теперь даже покойники вынуждены подчиняться безумному ритму нашей жизни, совершая путь из города на кладбище со скоростью 60 километров в час. В начале века похоронная процессия представляла собой любопытную картину.

Дядюшка матери сенатор Свечинский, богатый старый холостяк, был крестным моего брата и частым гостем в нашем доме. Он приезжал с кучей подарков, довольно странных для таких маленьких девочек, как мы: говорили, что ему куда привычнее преподносить подарки привлекательным молодым дамам. Распаковывая завернутые в красивую бумагу коробки, мы находили в них расшитые жемчугом сумочки, ручки для зонтов из слоновой кости, инкрустированные полудрагоценными камнями, ажурные черепаховые гребни для высоких причесок, которых мы не носили, и все эти вещицы мать тут же у нас отбирала и прятала до тех времен, когда мы достаточно повзрослеем, чтобы ими пользоваться.

Уже в годах, но стройный и элегантный, дядюшка, ко всеобщему удивлению, вернулся однажды из служебной поездки в Варшаву под руку с хорошенькой молодой женой. Тетя Камилла до брака была, кажется, модисткой; по-русски она говорила плохо, французского не знала совсем. Семья оказала ледяной прием молодой женщине, не знакомой с обычаями света; шли пересуды, что это явное замужество по расчету.

Моя мать была чуть ли не единственной, кто тепло отнесся к юной родственнице.

И вот дядя Кока умер. Тяжелый дубовый гроб водружен на огромный белый катафалк, украшенный наподобие фигурного торта. Его везет четверка белых коней: в черных попонах, с султанами из страусовых перьев, они напоминают лошадей из цирка. На бархатной подушке покоятся кресты и звезды — знаки орденов, кавалером которых был дядюшка. Важные пожилые господа — сослуживцы усопшего — неторопливо, несмотря на моросящий дождь, рассаживаются по экипажам, выстроившимся следом за каретой, где едет милая тетя Камилла в сопровождении моей матери, ее утешающей. Кортеж медленно движется к Александро-Невской лавре; при виде величественного катафалка прохожие снимают шапки и крестятся, а красно-желтые трамваи и извозчики останавливаются, пропуская процессию.

Что же касается тети Камиллы, то на нее возводили напраслину: она так горячо любила своего старого мужа, что вскоре после его смерти сошла с ума, о чем мою мать известили телефонным звонком. С тех пор мать ездила навещать ее в таинственный «желтый дом» — так называли психиатрическую лечебницу.

Отец наезжал в Петербург изредка. Его появление совпадало с праздниками. Приезжал он — и в его честь на столичных рынках и площадях вырастал лес елок или возникали, откуда ни возьмись, в витринах кондитерских пасхальные яйца, украшенные бантами.

Старинные обычаи оживляли своим простосердечием несколько чопорный быт блистательной столицы. Девятого марта, то есть двадцать первого по григорианскому календарю[1], «жаворонки» — булочки в форме птиц — возвещали весну. Приходили, неизменно в приподнятом настроении, рабочие — вынимать вторые оконные рамы. Нева трогалась, пушка предупреждала о ледоходе или опасности наводнения. Льдины со злобой обреченности глухо стукались одна о другую; Нева, Фонтанка, Мойка спешили перелить избыток воды в Балтийское море. В это время детям не разрешали долго гулять из-за коварного ветра, сеявшего бронхит и ангину.

На масленицу все же обычно оставалось еще много снега, и можно было предаться традиционным забавам. Резвые рысаки мчали взрослых на острова, в окрестности Петербурга, а детям предоставлялись сезонные «вейки» — саночки, запряженные крепкими низкорослыми лошадками, — ими правили финские крестьяне, специально для этого прибывшие в столицу. Звенели бубенцы, ноги пассажиров укрывали жесткими цветными одеялами. Кучера так коверкали русские слова, что трудно было удержаться от улыбки. Эти человечки с широкоскулыми лицами, появлявшиеся весной и исчезавшие в начале поста, вызывали у меня большое любопытство. На всех столах в те дни высились башни

[1] Точнее, 22 марта по новому стилю, — в день памяти Сорока мучеников Севастийских. (*Прим. перев.*).

горячих блинов, прикрытых тарелками, в соседстве с селедкой, икрой, густой сметаной.

Всего неделя веселья — и устанавливался пост: конец развлечениям и приемам гостей. Вместе с кухаркой или горничной я шла к вечерне в какую-нибудь церковь, где царил располагавший к покаянию полумрак и лишь свечи тепло мерцали. Вокруг меня, преклонив колени, с глубокими вздохами простирались ниц кающиеся.

Менялся семейный стол. Теперь подавалась в изобилии рыба: судак, треска, усач, корюшка, лещ и, конечно, деликатесы — бело-розовая семга, белуга, стерлядь, копченый угорь, осетрина; суп благоухал грибным ароматом — по правде говоря, все это не слишком способствовало умерщвлению плоти.

Наконец наступало Вербное воскресенье, завершающее и единственное торжество Великого поста. На бульварах возводили ярмарочные балаганы, а около них толпились и толкались стар и млад, солдаты и служанки, гимназисты всех возрастов, золотая и вся прочая молодежь. Нам не позволяли глядеть на ярмарочные диковины: ни на женщину-сирену, ни на женщину с бородой, ни на сиамских сестер, ни на первого в мире толстяка, ни на ребенка с собачьей головой; зато разрешалось зайти в паноптикум, где спала восковая Клеопатра со змеей на груди. Борец, перетянутый в талии широким поясом, увешанным медалями — свидетельствами его побед, вызывал зевак померяться силами, однако его внушительные мускулы, густо смазанные жиром, обескураживали даже храбрецов. Атлет передвигал гири, танцовщица в потрепанной пачке откидывала занавес своего шатра, а гадалка, точь-в-точь шекспировская ведьма, сулила открыть будущее. Впрочем, все это для меня ничего не стоило по сравнению с прелестью грошовых игрушек — мячиков из папье-маше на длинной резинке, возвращавшей их владельцу прямо в руки, или свистулек под названием «тещины языки», плюшевых зверей, пауков и черепах на дрожащих пружинистых ножках. Мальчишки кричали: «Пуришкевич! Пуришкевич!» (это была фамилия крайне правого депутата Думы) — и зажимали пальцем стеклянную трубку с водой, заставляя перемещаться внутри нее вверх-вниз рогатого человечка. Но когда поблизости проходил полицейский, они кричали: «Покупайте морского дьявола! Кто не купил себе морского дьявола?» Гроздья воздушных шаров, разрисованных петухами и цветами, вырывались из рук и летели выше крыш... На подмостках вечный Петрушка тузил городового под оглушительные аплодисменты публики. Из этой веселой, наполненной смехом толчеи мы выбирались, падая с ног от усталости, унося в обеих руках покупки и золотых рыбок, временно пущенных кружиться в банку.

Я была слишком мала, чтобы присутствовать на пасхальной заутрене в часовне или в монастырской церкви, но, когда стихала в доме дневная суета и я в одиночестве ложилась спать, мне не было обидно, как иной раз в подобных обстоятельствах, — ведь я твердо знала: сегодня ночью произойдет нечто чудесное. А открывая глаза под звон колоколов, я

находила на постели и вокруг нее все приготовленные для меня дары. Я верила, что близкие обладают способностью ясновиденья, так как непременно получала именно то, о чем мечтала. Но не в этом заключалась причина моей радости, а в самом празднике.

В белом платье, с белыми бантами, ненадолго укротившими мои непокорные волосы, надев на шею ожерелье из «брелоков» в виде миниатюрных яичек, в том числе и от Фаберже (эта цепочка год от года должна была удлиняться), с крашеным яйцом в руке, я шла обменяться троекратным поцелуем с родителями и слугами. «Христос воскресе! Воистину воскресе!»

Три дня дома не готовили, чтобы слуги могли отдохнуть, и в эти три дня ничего горячего, кроме чая, кофе и бульона, на столе не появлялось. Белые пирамиды пасох, высокие цилиндры куличей, целые окорока, молочный поросенок, ростбифы и телячье жаркое, горы сваренных вкрутую крашеных яиц, шеренги бутылок с вином, графины с водкой и ликерами ожидали гостей. В первый день праздника визиты наносили только мужчины. Отец, всегда воздержанный, возвращался вечером из утомительного турне, перепробовав все, чем его угощали, будучи не в силах отказаться, и клялся, что в другой раз ни за что не соблазнится. Корзины белой сирени, розовых гиацинтов, пунцовых тюльпанов ясно говорили, что зима далеко позади. И когда рабочие приходили сворачивать ковры и закрывать чехлами мебель, а из чемоданов, куда убирали зимнюю одежду, пахло нафталином, — я уже знала, что скоро опять увижу Матово.

До 1913 года детство мое текло вполне безмятежно. Я ничего не ведала о драмах, переживаемых взрослыми, хотя с одной из них, того не осознавая, мне уже пришлось соприкоснуться.

Это было в Матове. Все мы собрались вокруг рояля. Лена Рыжая вкатила в гостиную бабушкино кресло. Я знала бабушку только такой, всегда неподвижной: ее ноги укрывал плед, правильные черты потемневшего лица слегка оплыли, тонкие руки были испещрены старческими коричневыми пятнами. Спокойная и кроткая по характеру, в тот день она казалась взволнованной. Воцарилась тишина; дедушка, застыв на табурете у рояля, выждал несколько секунд, — и шквал звуков обрушился на меня... Я не музыкант, а тогда разбиралась в музыке совсем неважно, хотя меня терпеливо учили играть на фортепьяно. Я любила слушать игру моей матери, но в тот раз что-то неизведанное, совершенно непостижимое поистине сразило меня. Я смотрела на своего дедушку и видела, как он преобразился; смотрела, как его руки, сильные и легкие, летают над клавишами распахнутого рояля, как он то наклоняет, то вскидывает голову, ставшую теперь такой величественной. Что он играл? Не имею понятия. Правда, слушая однажды в Париже Первый концерт Листа, я как будто узнала эхо того, что звучало тогда. Забравшись в глубокое кресло, я сидела не шелохнувшись, покоренная, захваченная, ошеломленная, утопая в океане звуков. А когда все это кончилось, я увидела, что бабушка тихо плачет: она не прятала лица, — и впервые я видела, как по щекам взрослого человека текут слезы.

Мне исполнилось восемь лет, когда родители расстались. Тогда событие это прошло мимо моего сознания, и лишь гораздо позже я поняла, какие страдания причинила эта разлука отцу и сколь тяжелым оказалось для матери принятое ею решение.

Ей было сорок два года. Как я уже говорила, она была больше матерью, чем женой, и ее все сильнее заботило наше будущее — необходимость думать о нашем воспитании, о нашем устройстве, о карьере моего брата. Хотя она была замужем, ей приходилось принимать решения самостоятельно, а она не чувствовала в себе готовности нести такую ответственность.

Отец упорно отказывался предпринять какие-либо шаги для получения важного поста, хотя с его именем, связями и репутацией добиться этого было бы нетрудно, — и мать сделала попытку навязать ему дол-

жность: не предупредив отца, на аудиенции у императрицы Александры она выразила пожелание, чтобы ее мужу доверили какой-либо пост в Санкт-Петербурге. Она полагала, что он не сможет отказаться от такой милости императора. Отец удивился своему назначению, но он ничего не знал об инициативе жены и, даже не посоветовавшись с ней, отклонил столь любезно предложенное ему место, что, естественно, вызвало неудовольствие Государыни и поставило мою мать в неприятное положение.

Тогда-то она решилась на развод и согласилась выйти замуж за Ивана Александровича Бернарда, петербургского адвоката, чье имение Проня находилось в двадцати верстах от Матова.

Потомок французских эмигрантов, Иван Бернард де Грав был полной противоположностью моему отцу. Энергичный и предприимчивый, он был чужд русской привычки полагаться на то, что все устроится само собой, и, окончив учиться, постарался сделать себе состояние. Невысокого роста, с живыми глазами и быстрой речью, крайне правый по своим убеждениям, человек этот, ставший очень ненадолго нашим отчимом, казался именно тем, в ком моя мать могла наконец найти опору на все случаи жизни.

Выпускник Императорского лицея, блестящий и в то же время серьезный, дядя Ваня (так мы его называли) не имел ничего общего со своим тезкой из пьесы Чехова. Купив в Тульской губернии имение Проня, он не удовлетворился ненадежными доходами от сельского хозяйства и занялся сперва разведением чистокровных лошадей на собственном конном заводе, а затем, недовольный результатами, построил крупный винокуренный завод. Проекты роились в его голове: он думал о том, как использовать на благо общества многочисленные природные богатства Прони. Старый холостяк лет пятидесяти, он, по всей видимости, не страшился, женившись на нашей матери, принять всю полноту ответственности, так долго лежавшей не ней.

Православная церковь допускает развод, но такому искреннему христианину, как отец, терпимость эта не могла принести ничего, кроме терзаний. Однако он дал согласие, взяв всю вину на себя, жертвуя собой ради того, что могло, как он думал, составить счастье моей матери.

Процедура развода занимала несколько месяцев, и все это время мать жила затворницей; ее уединение разделяла одна я, так как сестра Валя стала пансионеркой Екатерининского института благородных девиц, а брат и сестра Наташа поступили в заведение типа английского колледжа — школу Левицкого в Царском Селе.

Сначала мы с матерью поселились в гостинице «Регина» на набережной Мойки; мне понравилась жизнь в роскошном отеле, как и мое положение единственной дочери. Позже мы устроились — по-прежнему вдвоем — в меблированной квартире поблизости от Мариинского театра. Никогда я не видела мою мать такой грустной. Она выезжала только для того, чтобы повидаться с детьми, принимала ограниченный

круг родственников; ухудшилось даже ее здоровье. Я была слишком мала, чтобы жалеть ее или утешать, да, впрочем, я еще ничего не знала о разводе.

Несмотря на привычные недомогания и мои непроходящие кошмары, днем я пребывала в радужном настроении. С утра меня отводили во французский детский сад, где мальчики и девочки из хороших семей отчаянно, с упоением и яростью дрались. После обеда к нам приходила выпускница фребелевских курсов[1] и занималась со мной вырезаньем из бумаги и коллажами. В моем распоряжении были также русская няня, славная и очень некрасивая, отзывавшаяся на имя Клеопатра, и французская гувернантка мадмуазель Ле Руа — в игольнике ее хранился под стеклом вид Мон-Сен-Мишель; она выделялась своей оригинальностью среди других француженок, будучи монархисткой. Однажды мы с ней попали в тесную толпу прохожих, которые громко приветствовали царя, направлявшегося на богослужение, и, к моему удивлению, она воскликнула: «Vive le Roi!»[2]

«Мадмуазель» водила меня играть в сквер возле Исаакиевского собора, и у подножья статуи Петра Великого Фальконе я часто встречала моего сверстника, мальчика с черными локонами и живыми черными глазами; мы с ним играли, дрались, болтали на своего рода интернациональном воляпюке. Это был Вилли Ферреро, итальянский вундеркинд, приехавший дирижировать оркестром Санкт-Петербурга.

Мне нравилось вместе с матерью навещать старшую сестру в Екатерининском институте, в его просторном зале с колоннами, а еще приятнее было садиться в поезд, который вез нас в Царское Село, где находилась школа Наташи и Дмитрия. Валя принимала нас, одетая в форму Института благородных девиц, длинное сиреневое платье в духе XVIII века, а Дмитрий и Наташа подбегали к нам, сверкая открытыми коленками, в фуражках с вышитым подснежником — эмблемой школы Левицкого, и чаще всего дрожали от холода, потому что дортуары плохо отапливались, а ежедневный холодный душ был столь же суровым испытанием, как и утренняя овсянка. Здесь увлекались футболом, и если Наташа, как всегда, быстро освоилась в новой обстановке, то Дмитрий никак не мог к ней привыкнуть. После визита мы шли еще раз взглянуть на царскосельский дворец или прогуляться по парку, или же ехали в Павловск, еще один «дворцовый» городок, где жила тетка моей матери. Я восхищалась ее домом, обставленным в стиле 1900 года, и безделушками, теснившимися на каминах, на этажерках, на столе. Я обожала ее китайские ширмы, бронзовые статуэтки, коробочки из-под драже, витые вазы, слоников из слоновой кости, фарфоровых уток и балерин... Все было устлано скатертями и салфетками, на креслах и диванах лежали подушечки, — «прекрасная эпоха», которую я уже не застала, со всеми ее крайностями, ее дурным вкусом и ее шармом, пышным цветом цвела в гостиных тети Марии.

---

[1] Фребелевские курсы готовили воспитательниц детей дошкольного возраста, внедряя методику немецкого педагога Ф. Фребеля. *(Прим. перев.)*.

[2] Да здравствует король! *(франц.)*.

Свадьба матери и дяди Вани праздновалась в Проне, в Епифанском уезде Тульской губернии, в августе 1914 года — и среди смятения и беспорядка тех дней от суеверного или просто наблюдательного взгляда не укрылись бы весьма мрачные предзнаменования. Только что объявили войну. Многие из приглашенных не смогли присутствовать на церемонии: одних уже призвали на военную службу, других задержало в пути движение военных поездов. Рассеянная горничная спрятала в шкаф букет белых роз, заказанных в Москве, и его извлекли несколько дней спустя — упакованным в картонную коробку, с увядшими и засохшими, как в погребальном венке, цветами. В день свадьбы дядя Ваня казался нервным и озабоченным, моя мать нехотя улыбалась; Валя, уже взрослая девушка, не произнесла ни слова и смотрела на нашего отчима с ненавистью; бабушка, сидя в кресле, беспокойно теребила носовой платок. Никогда свадьба не была столь безрадостной. Меня не тревожили предчувствия. Я не понимала происходящего и, даже если что-то уловила в атмосфере того дня, быстро обо всем забыла среди последующего праздничного оживления.

Наши каникулы в то лето были короткими. Учебный год в России начинался 1 сентября, и нам оставался всего месяц, чтобы воспользоваться благами деревенской жизни. Этого срока едва хватило для знакомства с Проней — с ее большим озером, расстилавшимся посреди парка в девяносто гектаров, с ее полями и садами, лесом, расположенным в некотором отдалении от имения, с ее родниками, откуда текла ледяная вода. Это очень красивое имение было богаче и живописнее Матова, но здесь недоставало матовского очарования и вольной простоты. Ничем не примечателен был только дом, стоявший у входа в парк, на значительном расстоянии от скотного двора и винокуренного завода. Дядя Ваня жил в нем редко и собирался строить новый — для большого семейства, которым он обременил себя, женившись на нашей матери.

Семейство и впрямь было порядочной обузой для молодожена. Мы привыкли считать, что мать всецело принадлежит нам, что для нас она всегда свободна и доступна, что она с нами в любую минуту нашей жизни. Наверное, отчим испытывал раздражение, чувствуя себя посторонним в тесном мирке, крепостью окружившем его жену. Он мужественно пытался выполнить данное ей обещание — самоотверженно заботиться о ее детях. Но у нас были свои привычки, мы пользовались свободой — он же явно этого не одобрял, убежденный, что дисциплина и воспитание характера полезнее, чем анархия, смягченная апелляцией к добрым чувствам. Сблизиться с ним, как он того хотел, мы не успели.

Проня была не наследственным, а приобретенным владением, и отношения между отчимом и крестьянами отличались от тех, что связывали имение и деревню Матово. Дядя Ваня был хозяином справедливым, но не благодушным. Он принадлежал к русскому дворянству новой волны, и, будь оно многочисленнее, судьба России могла бы сложиться иначе. Деятельные и практичные, придерживающиеся западного подхода к оценке событий, эти люди, вероятно, представлялись революционерам гораздо более опасными, чем такие мечтатели, как мой отец.

Естественно, в Петербурге, переименованном в Петроград, нас встретила новая квартира, но по-прежнему на Васильевском острове, где, по мнению матери, воздух был чище, чем в центре города. Будучи старшим сыном нашего отца, Дмитрий записан был в Пажеский корпус, но по совету дяди Вани мать отдала его в Императорский лицей, откуда вышли не только многие высокопоставленные чиновники, но и знаменитейшие из русских поэтов, включая Пушкина. Для Наташи и меня выбрали гимназию Могилевского — кажется, по той простой причине, что она находилась на нашей улице, прямо напротив дома. Я поступила в приготовительный класс и сразу полюбила свою школу, где были перемешаны все слои общества. Мы росли в среде, чуждой снобизма, и каждый из нас выбирал друзей по собственному вкусу; и хотя дядя Ваня, очевидно, был не в восторге от нашей дружбы с двумя еврейскими девочками, дочерьми биржевого маклера, мать не запретила нам приглашать их к себе.

Мысленно вижу себя в классе, одетую в синий передник. В аквариуме на подоконнике вьются золотые рыбки, а в клетке сидят морские свинки. Учительница — худощавая женщина, в безвкусном наряде; ее пальцы изуродованы — это следы обморожения. Наверное, она нас любит, — потому что мы полюбили ее с первого дня. Она водит нас в ботанический сад, в музей естественной истории, в Эрмитаж, и благодаря ей мы учимся с удовольствием. Действительно, это была самая лучшая из всех моих учительниц. Я без труда освоила письмо и грамматику, читала все стихи с выражением, достойным «Комеди Франсэз», но примирить меня с четырьмя арифметическими действиями была бессильна даже Лидия Александровна.

Мне так нравилась гимназия, что я уговорила мать позволить мне оставаться там завтракать. Получив с собой плотный завтрак, именуемый Frühstück[1], из тщательно подобранных, с учетом моего хронического энтероколита, ингредиентов: белого мяса цыпленка или саксонского филе, — я была счастлива от него избавиться в обмен на бутерброд менее обеспеченной подруги, с копчеными шпротами или сардинами, категорически запрещенными мне дома.

После свадьбы матери наше новое окружение все же отличалось от той среды, к которой мы принадлежали прежде: оно было не столь привержено традициям, более интеллектуально и состояло из юристов, деловых людей, высоких государственных чиновников, но я не помню среди них ни одного представителя так называемой интеллигенции, писателей или художников, — у них был свой, особый круг.

Валя, едва успев окончить институт, обручилась с Борисом Энквистом, и дом наполнился молодежью. Увы! Не кто иной, как жених сестры, стал предметом моей — естественно, тайной — страсти, когда мне было восемь с половиной лет. В самом деле, Борис явил моему взору такое разнообразие мундиров — кажется, за одну только зиму, — что я не могла устоять перед их великолепием. Сначала я видела его в мундире и треуголке Императорского лицея, затем в форме Пажеского корпуса, где

---

[1] Завтрак *(нем.)*.

он проходил ускоренный курс обучения. После краткого пребывания в Стрелковом полку Императорской фамилии Борис Энквист сменил его форму — панталоны и шапку с красным верхом — на более строгое, но престижное, благодаря его новизне, обмундирование авиатора.

Воспоминания о жестокой ревности, которую я питала к сестре, лет десять спустя заставили меня — раз и навсегда — отказаться от этого мучительного чувства (но не от страсти).

Ах! Удивительный день, когда со всей нашей семьей я выехала на гатчинский аэродром и с замиранием сердца села рядом с Борисом в самолет неимоверно легкомысленного вида, к счастью, неподвижно стоявший в ангаре, — готовая улететь с моим возлюбленным даже навстречу гибели!

Через несколько недель, завершая тренировочный полет, Борис разбил самолет при посадке и получил серьезную травму. Как только стала известна эта новость, я записала в дневнике, не испытывая ни малейших угрызений совести: «Бог услышал мою молитву, и эта свадьба не состоится».

Ни в коем случае не следует доверяться бумаге. Старшая сестра давно уже забавлялась чтением моего дневника, после чего возвращала его в тайник, и я предпочла бы забыть, какого позора и каких унижений стоила мне эта запись.

Зимы 1915—1916 годов слились в моей памяти. В нашей жизни не происходило иных примечательных событий, кроме тех — драматических, но далеких, — что развертывались на полях сражений. Большая карта в кабинете дяди Вани ощетинилась флагами союзнических и воюющих стран. Единственный брат моей матери, женатый на Маргарите Пилсудской — племяннице маршала и будущего президента Польской республики, погиб. Мой дядя Николай Анатольевич Чириков попал в плен при первом вражеском ударе, нанесенном по дивизии генерала Самсонова. Моя тетя Мария Шаховская умерла, заразившись тифом в военном госпитале, где она была сестрой милосердия. Одна близкая знакомая нашей семьи сгорела в санитарном поезде. К моей матери приходили с визитами дамы в траурных креповых вуалях.

Иногда мать брала меня с собой в Зимний дворец — мы ехали в мастерскую благотворительного Общества императрицы Александры и возвращались оттуда, нагруженные узлами с раскроенным бельем, которое дома сшивала портниха. Именно там, в дворцовом зале, превращенном в склад и швейную мастерскую, меня представили Великим княжнам Ольге и Татьяне, старшим царевнам, — я сразу же их узнала по виденным прежде снимкам, и они показались мне очень милыми и очень грустными. Однажды — не помню, по какому случаю, — мы проходили через другие залы и гостиные Зимнего дворца. Это было за несколько дней до приезда румынского принца Кароля — по Петрограду ходили слухи о его сватовстве к Великой княжне Ольге. В ожидании визитера над позолоченной мебелью уже высились грандиозные букеты цветов — и именно эти монументальные букеты всецело захватили мое внимание.

Благодаря слухам о замужестве Великой княжны я лишний раз побывала вместе с матерью в банке Юнкера, где у нее был свой сейф: нам нужно было взять оттуда нечто вроде кружевной мантии, которую мать собиралась преподнести в качестве свадебного подарка. Детство способно окружить ореолом таинственности даже банковский сейф: церемониал, регламентирующий эту операцию, набор шифра, страж в галунах — все это напоминало вход в пещеру Али-Бабы. Там хранилось жемчужное ожерелье моей матери: в нем она изображена на портрете кисти ее кузена маркиза Кампанари; оно предназначалось будущей жене Дмитрия. Упоминаю об этом ожерелье потому, что, по иронии судьбы, в эмиграцию с нами отправилась только его копия, когда-то заказанная матерью у парижского ювелира, а подлинные жемчуга, охраняемые так надежно, были конфискованы во время революции.

Лицо войны между тем представлялось мне скорее благодушным. Я продавала программки на благотворительных праздниках, устраиваемых матерью, собирала пожертвования для раненых, протягивая прохожим свой ящичек; давали щедро, без колебаний, золотые монеты вперемешку с медными копейками сыпались в ящик, и я радовалась, чувствуя, как он тяжелеет. Разумеется, мы с Наташей вязали в огромном количестве шерстяные шлемы и шарфы, шили мешочки, куда затем складывали трутовые зажигалки, табак, плитки шоколада и дружеские записки. Иногда приходили ответы, написанные неуверенным почерком, в некоторых письмах нас просили уточнить, замужем ли мы или девицы, что нас очень забавляло.

Приезжая на каникулы, Дмитрий привозил с собой лицейских товарищей, затянутых в короткие форменные тужурки с золотыми пуговицами; если же гостей не было, что за дивные послеобеденные часы проводили мы втроем, лежа в гостиной у камина на шкуре медведя, убитого в Саране — поместье дяди Вани в Пермской губернии, и поджаривая каштаны в золе. С моим братом скучать не приходилось: ему нужна была публика, чтобы представлять свои оперы-буфф, в сочиненных им сценках они с Наташей пели, а я изображала клакеров.

Один или два раза в неделю, с наступлением вечера, гувернантка подвергала меня пытке, стараясь уложить мои прямые волосы в локоны по английской моде — на Наташиной голове они получались сами собой; меня облачали в белое платье на розовом чехле с повязанной вокруг бедер широкой муаровой лентой, сидевшее на мне неловко и неестественно (до поры, пока я не смогла надевать то, что мне нравилось: синюю юбку в складку и матроску из красного сукна с белым аксельбантом и серебряным свистком), — после чего мы выезжали в экипаже на урок танцев (тогда еще называемый «танцкласс»). Эти уроки проводились дома у тех, кто составлял круг наших друзей: у Уваровых на набережной Фонтанки, у Артамоновых или у Григорьевых[1], чей отец был полицмейстером Петрограда, а мать — очаровательной француженкой, урожденной мадмуазель де Вилье. Учитель танцев — француз, конечно, — легконогий, хотя и с наметившимся брюшком, преподавал нам танцевальные па, от вальса и польки-бабочки до мазурки и менуэта, включая краковяк, чакону, па-д'эспань, кадриль, галоп, венгерку... И до чего неуклюжей чувствовала я себя среди других девочек, уже столь женственных, грациозных, кокетливых, — неуклюжей и слишком простой на фоне их усложненности.

В каждом доме были свои обычаи. У Григорьевых полицмейстер развлекал нас карточными фокусами, у Артамоновых — в семье генерала — английская гувернантка организовывала мужественные игры: с завязанными глазами, вооружившись палками, мы старались разбить глиняный горшок, стоявший на табурете посреди пустой комнаты, и нередко приходилось возвращаться домой с шишкой на голове. Детские в доме Уваровых, очень богатых, напоминали опытные теплицы для взращивания редких растений. Наши игры прерывали, потому что пора было Диме Уварову поставить под мышку градусник или его сестре Марине — принять микстуру. Комнаты для игр были набиты самыми рос-

[1] Генерального штаба генерал-лейтенант Леонид Константинович Артамонов; полковник Георгий Николаевич Григорьев. *(Прим. Д.М. Шаховского).*

кошными игрушками невиданных размеров. Помню, я пересекала огромную квартиру в настоящей лодке и гребла настоящими веслами, не щадя ценных ковров. Неизвестно почему, именно у Уваровых, где детей так тщательно опекали, ни одна рождественская елка не обходилась без того, чтобы на ком-то из девочек не загорелось тюлевое платье, а то и сама елка вспыхивала при распределении подарков.

С Борисом Григорьевым судьба столкнет нас в иных обстоятельствах. Прочих друзей моего детства я никогда больше не встречу; но однажды в Марокко я буду рассказывать о петроградском «танцклассе» графу Петру Шереметеву, считая его своим новым знакомым, — и услышу в ответ: «А, так это были вы — та девочка в красной матроске, у которой мне хотелось стащить серебряный свисток?» И тогда я вспомню темноволосого маленького мальчика, не без удовольствия танцевавшего со мной. Так значит, дело было в свистке!

Дважды, как мне помнится, за ту зиму отец приезжал с нами повидаться. Все вчетвером в сопровождении нашей матери мы направлялись в гостиницу, где он останавливался, — и неизъяснимой печалью веяло от этих семейных свиданий, где говорилось только о нашем здоровье и об уроках... — а потом мы грустно прощались.

Я по-прежнему была желанной гостьей в зачарованном мире книг. Пушечным залпом прогремело в моей жизни имя Пушкин. Уже давно мне была знакома огромная толстая книга в бледно-голубом переплете, на котором, выведенное золотыми буквами, значилось волшебное имя. Но в восемь лет, кроме не слишком искусных иллюстраций, мое внимание привлекли ритмы, постепенно меня захватившие. Безумный мельник бродил у мельницы в поисках дочери-утопленницы. «Я — ворон, а не мельник», — эти странные слова меня волновали. Людмила надевала шапку чародея, и вместе с ней я скрывалась от взоров света. Кот ученый неустанно ходил вокруг дуба, таща за собой златую цепь; белка царя Салтана грызла изумрудные орешки; утопленник, весь распухший, с повисшими на нем раками, стучался в дом крестьянина, отказавшего ему в христианском погребении; во вьюге, более реальной, чем все вьюги, виденные мною воочию, слышалось завывание бесов, а благодаря пушкинским сказкам подавали друг другу руку две крестьянки: няня поэта Арина и моя Татьяна, чей образ понемногу стирался в памяти. В строфах «Евгения Онегина», понятного мне лишь наполовину, я открыла нечто новое: убаюкивающую напевность рифмы и ритма, и в строчках: «однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой, несется вальса вихорь шумный», — слышала я пение вальса и самой жизни.

Мир расширял границы. Во время моей поездки в СССР, среди прочего, особенно меня поразила бедность детских изданий — и числом, и качеством. В царской России издавалось множество разнообразных детских книг — и совсем дешевых, и роскошных — русских и французских авторов. Я читала Майна Рида и Жюля Верна, У. Хогарта, Марка Твена и Диккенса, подписывалась на детские газеты и журналы — познавательные и одновременно развлекательные, посвященные

истории, русскому и иностранному фольклору, мифологии, биографиям знаменитых людей, естественным наукам. Будто зная, что наше время отмерено, мать очень рано открыла для нас волшебный мир театра. Задолго до того, как возник во Франции Théâtre National Populaire[1], в Санкт-Петербурге существовал Народный дом — огромный театр, где, купив совсем дешевые билеты, можно было увидеть игру величайших русских актеров. Там я смотрела «Синюю птицу» Метерлинка, «Сорочинскую ярмарку» Гоголя, его «Женитьбу» и «Ревизора». В Мариинском театре мне довелось видеть, как танцует Тамара Карсавина; там же давали «Марию Стюарт» Шиллера. Несмотря на свой уже сознательный возраст, я все еще смешивала фантазию и реальность, и смотреть, как палач ведет шотландскую королеву на эшафот, было для меня непереносимо. Мои рыдания не унимались, даже когда актриса вновь появилась на сцене, выйдя на аплодисменты зрителей. Это была не Мария Стюарт, а узурпаторша: моя королева, настоящая, лежала там, скрытая декорациями, ее прелестная голова утопала в луже крови, и я безутешно оплакивала совершенное злодеяние.

Мы с моей матерью разлучались на весь день, занимаясь каждая своими делами, но по-прежнему были очень близки. Утром, прежде чем уйти в гимназию, я открывала дверь в спальню матери и обнимала ее — теплую, душистую, целовала ее руку с кольцом, которое я знала всегда, неотделимым от ее и моей жизни. Это был подарок моего отца в честь рождения Вали — золотая цепочка, украшенная изумрудом, а затем, с появлением каждого из нас, обогащавшаяся новым камнем: бриллиантом в честь Дмитрия, рубином в день рождения Наташи, сапфиром, когда родилась я; символ брачных уз, которые ничто не могло расторгнуть. По вечерам мы с Наташей наслаждались, наблюдая, как она одевается для приема. Выбранное на этот вечер платье лежало на кровати, и мать искала в шкатулке подходящее украшение. Я предпочитала одно колье, может быть, не самое дорогое, похожее на украшение эпохи Ренессанса: на тонкой золотой сеточке, оправленной мелкими рубинами и изумрудами, покачивались лебеди из жемчужин причудливой формы; такие же лебеди качались у нее в ушах, стоило ей слегка повернуть голову. Горничная затягивала на ней панцирь корсета и подавала платье. Эти платья от Ворта, наверное, с удовольствием описал бы Пруст: одно — из легкого газа в несколько слоев, черно-белого и фисташкового, отделанное кружевами тон в тон, кое-где тронутыми розовым, или другое — цельнокроенное из черного сукна, облегавшее ее фигуру и отделанное замшевыми листьями цвета увядшей розы.

Последнее облачко пудры, последняя капелька духов — за ушко, — и моя мать уходит, а я остаюсь во власти ее очарования. Но я знаю: вернувшись, как бы ни было поздно, она быстро сбросит шубку, чтобы

---

[1] ТНП, Национальный народный театр — основан в Париже Ф. Жемье в 1920 году; обновление ТНП в послевоенное время связано с именем Жана Вилара. *(Прим. перев.)*.

не обдать нас уличным холодом, и придет в спальню нас поцеловать. Уже совсем сонная, я проснусь в ее объятиях. Иногда она опускалась на колени возле моей кровати, в великолепном своем платье, с сияющими глазами на всегда гладком лице — как будто годы были бессильны перед ее красотой. «Господь с тобою, моя родная, спи спокойно». Она тушила лампу у изголовья, которую только что зажгла, войдя в комнату, — и призраки тьмы, вечно меня страшившей, расступались.

Видения зимнего Петрограда не оставляли меня всю жизнь, их не изгладила из памяти и новая встреча с этим городом, утратившим после революции былую роскошь и оживленность. Я жадно ко всему присматривалась свежим взглядом. Огромная аптека Шульца и Шмидта с ее окошечками была похожа на банк, и только большие флаконы на витринах, наполненные цветной жидкостью — зеленой, золотистой или красной, — говорили о назначении этого учреждения. На мальчиках-рассыльных были коричневые курточки. Я слышала, что они из верблюжьей шерсти, и всегда испытывала искушение потрогать ткань, в названии которой упоминалось диковинное горбатое животное. Мы бывали в большом магазине игрушек на Конюшенной, где продавались игрушки из всех стран мира, а еще — всевозможные предметы для фокусов и розыгрышей. Затем мы посещали французский магазин «Александр»: здесь все было воплощением изысканности, но я с опаской пробиралась между лиможским и севрским фарфором и хрупкими лампами.

А как описать наивные вывески лавок в многолюдных кварталах: громадные золоченые кренделя висели над дверьми булочных, исполинские ножницы обозначали портного, раскачивался на ветру черный шапокляк — эмблема шляпника, посвятившего себя изготовлению картузов для рабочих; на прачечную указывал утюг, а то и разработанное в деталях изображение самой прачки, неловко склонившейся над гладильной доской. Как описать алую перчатку перчаточника, рог изобилия бакалейщика, откуда сыпались розовые, красные и желтые плоды... Творения неискушенных художников — веселя взгляд прохожего, они предъявляли ему издалека все, что могла предложить улица.

Но чудеснее всех других прогулок было пройтись за руку с матерью вверх по Невскому. Падал снег. Фонари набросили белые мантии. В рано наступивших сумерках сверкали огнями фальшивые бриллианты Кноппа: моя мать ни за что не хотела останавливаться у этих витрин, а мне они казались феерическими. В витрине кондитера Жоржа Бормана двигались автоматы: старушка бесконечно сматывала свою пряжу, музыкант пиликал на скрипке, окруженный карамелью и ячменным сахаром. От морозца пощипывало нос и щеки, снег таял на лице, на шерстинках муфты застывали сосульки. Среди полярной белизны цветочный магазин Эйлерса бросал вызов зиме: за обледенелым стеклом сияли сирень и розы, мимоза и цикламены, гвоздики и гиацинты. Мы заходили к Елисееву, где мать что-нибудь заказывала; покупку должен был доставить на дом рассыльный. Над Пассажем то зажигалась, то гасла и зажигалась опять световая реклама часов «Омега». С оглушительным трезвоном про-

носилась пожарная команда в блестящих медных касках. Гостиный двор, со всеми его лавками готового платья, мехов, ювелирных изделий, фарфора, кишел народом. Это обширное прямоугольное в плане здание занимало целый квартал; с двойной галереей арок перед освещенными лавками, оно напоминало гигантский улей. И вот долгожданная остановка в теплой кондитерской Филиппова. В моей руке, высвобожденной из меховой рукавички, — пирожок или пирожное, тающее во рту. Домой мы возвращались в санях. Огни вывесок оставались позади. Мы проезжали над застывшей Невой по мосту вдоль ровного ряда потрескивающих газовых фонарей. В снежной мгле, как тени, скользили прохожие, горели высокие окна домов. У одного из особняков швейцар в тулупе, накинутом на расшитый галунами мундир, расчищал снег, и во влажном асфальте отражался падающий с лестницы свет. На Петроград опускалась ночь. Кружились улицы и дома, запорошенные снегом. Все казалось нереальным, зыбким, смутным, и все же это было счастье.

Тени коварно подкрадываются, наползают и обступают, застилая свет, но внутренний голос не подсказывает, что вот-вот они окутают и нас.

Летом 1915 года мы опять отправились в Проню вместе с нашими кузенами. Товарищи брата Борис Григорьев и Павлик Самойлов тоже провели эти каникулы с нами.

В деревнях, через которые мы проезжали на этот раз, остались одни женщины и старики. На замену мобилизованным рабочим наняли крепких скотниц с Украины. В домиках имения поселились семьи польских беженцев, в казармах — человек двадцать австрийских пленных. «И к тем, и к другим вы должны быть особенно внимательны, — предупреждала нас мать, — потому что эти люди несчастны». Чтобы пленные не чувствовали себя совсем потерянно, мать расспросила каждого о его профессии и каждому нашла подходящее занятие. Австрийцы собрались перед домом и, стоя в своих серых шинелях, слушали мою мать, на их языке пожелавшую им провести здесь время так, чтобы потом вспоминать о нем без горечи.

Гансу, почтовому служащему, поручили доставку почты; садовнику Йозефу — уход за садом; старый фельдфебель Каратош, чье имя местные жители тут же переиначили в «Картошку», стал заведовать «кавалерией» Прони, получив в помощники красавца Мартина. Фермера приставили к молочному производству; чех Федор, унтер-офицер, прежде чем стать помощником управляющего, выполнял обязанности ключника, заменив на этом ответственном посту нашего славного Ивана, мужа поварихи Насти, убитого на фронте и без особой сердечности оплаканного его несносной супругой. Среди тех, кого я помню по имени, был еще сапожник Карл — ему купили верстак и все необходимые для его ремесла инструменты. С тех пор он стал обувать всех обитателей Прони и, кроме того, неплохо зарабатывал, обслуживая жителей деревни. Винокуренный завод встал. Перегонные кубы и бродильные чаны были опечатаны.

Жизнь по-прежнему текла мирно. Сельские амазонки с Украины и военнопленные вместе возвращались с поля, бок о бок, в обнимку сидели на телегах и, нимало не смущаясь, распевали навязший в зубах патриотический деревенский шлягер:

Сербия, Бельгия,
Жаль нам тебя.
Германия проклятая,
Идем мы на тебя.

Иногда в Проню прибывали русские раненые, на лечение в госпиталь, оборудованный отчимом и матерью в одной из пустующих усадеб. Для них устраивали прогулки по парку и на озеро. Война подступала вплотную и вместе с тем была далека от размеренного уклада русской деревни.

Новая горничная Маша — черноволосая, крепкого телосложения, дочь волжского рыбака — научила мальчиков ловить раков ночью, при свете факелов, используя как приманку испорченное мясо. Существовал и более «героический» способ ловли раков. Рискнув разуться и опустить ногу в озеро у самого берега, можно было надеяться выдернуть ее из воды — лишь только клешня вопьется в большой палец — вместе с прицепившимся раком. У этого необычного спорта поклонников было достаточно: наши мальчики и Наташа ходили с желтыми от йода ногами.

Церковь находилась на территории Прони. Мы шли туда пешком, дорогой вдоль парка, минуя купы кустов, где под замшелыми надгробиями покоились прежние владельцы имения, князья Вяземские. По воскресеньям мальчики любили звонить в колокола, а деревенский хор пел в меру своих способностей, довольно-таки посредственных, хотя мой дядя Петр Нарышкин, большой любитель пения, прилагал немалые усилия, стремясь усладить наш слух более нежными звуками. Рыбная ловля, охота, верховая езда, теннис, уроки французского и немецкого занимали целые дни. Мы строили планы. «Когда Зика немного подрастет, поедем охотиться на медведя в Сарану», — обещал дядя Ваня, владелец еще четырех тысяч гектаров леса в Пермской губернии на Каме, близ Урала.

В параллель этой вполне обычной жизни, протекавшей у всех на глазах, у меня была другая жизнь, и ее тайны были непонятны мне самой. За гранью суеты простирался мир воображения; я лежала на ковре из иголок и прислушивалась к шорохам ельника. В голове проплывали какие-то мысли, вернее, обрывки мыслей и, не оформившись, растворялись, как бывает во сне. Я повторяла вслух строфы выученных наизусть стихотворений, и этим ритмам странным образом вторили ветви, шелестя в вышине, верхушки деревьев, раскачиваясь на ветру. Вдыхая аромат нагретой смолы, я погружалась в сладкое оцепенение и ощущала, прикрыв веки, как некий свет касается моих глаз. Это было обретение новой ипостаси моего «я» в любви к тишине и покою.

Со мной происходило нечто такое, о чем никому не хотелось рассказывать, даже матери. Когда мы сидели в столовой или в гостиной, голоса беседующих вдруг куда-то удалялись, а стены и люди отодвигались от меня, становились далекими, как будто я смотрела на них в перевернутый бинокль. Это длилось несколько секунд, а потом все вокруг приобретало нормальные пропорции, я вновь слышала все звуки и сознание возвращалось ко мне.

Еще меня охватывал иногда непонятный страх — непонятный, потому что он возникал беспричинно, где угодно, в любой момент, но только если я была одна. Этот страх нападал на меня, когда я была занята игрой или погружена в книгу, лежала в лесу или сидела в своей

комнате. Вначале я ощущала неясное беспокойство; разрастаясь само собой, оно достигало кульминации. Я знала по опыту: стоит мне побежать на поиски Наташи или позвать няню, и подступающее беспокойство рассеется, но я ничего не предпринимала. Как зачарованная, ждала я прихода этого страха. Он овладевал мною постепенно, расходясь, как круги по воде, когда в пруд бросают камень; леденя сердце, он растекался до кончиков пальцев и ушей и сковывал меня. Все продолжалось какие-то секунды или минуты, но я застывала, не двигаясь и не дыша, отдавшись во власть этого необъятного и беспредметного ужаса, который не был ни страхом боли или смерти, ни страхом перед призраками... А потом он отпускал меня, я освобождалась и, встряхнувшись, становилась самой собой.

Возможно, я ничего не рассказывала матери, потому что не умела объяснить происходящее. Но воспоминания об этом настолько ярки, что и теперь я иногда заново переживаю один момент: я лежала у кромки леса в придорожной канаве (стоило только перейти дорогу, я бы наткнулась в саду на своих тетушек, чьи голоса были мне слышны) и созерцала облака. Играя в обычную детскую игру, я находила в их форме сходство с чудовищами или персонажами книг — птицами, зверями, ангелами Апокалипсиса. С горизонта, постепенно поглощая белые кучевые облака, на Матово надвигалась большая плотная туча. Темная масса заволакивала небо, омрачая землю. А я, скованная ужасом, ждала, когда она нависнет надо мною и сразит меня, лежащую в траве.

Эти приступы страха, год от года становясь все реже, прекратились только после 1940 года.

Уехав из Матова, мой отец поселился в Мураевне, родительском поместье в Рязанской губернии, а Матово сдали в аренду некоему Бадеру, немцу из Прибалтики, бывшему управляющему соседнего имения. Второй этаж сохранялся за нами, и сюда приехала после развода ее родителей моя маленькая кузина Сумарокова[1], дочь двоюродной сестры отца, урожденной Трубецкой, вместе с гувернанткой, англичанкой мисс Слэйд. Дед оставил ей солидное наследство, что немало осложнило ее жизнь. Надя, с ее невозмутимым лицом и локонами по английской моде, с ее скромно-застенчивыми манерами, внесла романтическую нотку в нашу маленькую компанию детей, воспитанных в полной свободе. Мы несколько раз ездили к ней в гости. Матово изменилось! Под управлением герра Бадера из имения оно превратилось просто в хорошую ферму, эксплуатируемую со всей жесткостью, — ферму, где не осталось и в помине прежней патриархальности. Прием, оказанный нам слугами и рабочими, свидетельствовал о том, что наш отъезд вызвал тогда искренние сожаления. Что касается собак, мое сердце разрывалось при виде их бурной радости, но в Проне были свои собаки, и, как положено порядочным собакам, они ревниво относились к вторжению чужаков, так что привести с собой матовских псов было невозможно.

Но Медведь не дожидался приглашения. Он отправился провожать нас до Прони, как будто поняв, что уехать в город мы сейчас не можем,

[1] Дочь Константина Владимировича Сумарокова и Наталии Алексеевны, урожденной княжны Трубецкой. *(Прим. Д.М. Шаховского)*.

поскольку лето в разгаре. Умудренный опытом пес, он пробирался через деревни, прячась под нашими экипажами, между колес, и таким образом обезопасил себя от нападения деревенских собак. Он был умен и отлично знал, что не имеет права переступать порог дома в Матове, но рассудил, что в Проне можно себе это позволить. Несколько дней Медведь укрывался в столовой, выходя лишь по утрам и вечерам; он держал под неусыпным наблюдением окружающую местность, чтобы безошибочно выбрать момент, когда собаки-неприятели далеко. Потом, соскучившись по своему гарему и вспомнив об оставленных обязанностях, Медведь исчез и вернулся обратно в Матово. Но он не забыл дорогу в Проню и вновь появился с визитом, на сей раз совершив самостоятельно путь верст в двадцать; обойдя стороной все деревни, он добрался до нас, высунув язык, весь мокрый, так как ему пришлось переплывать речки, — и ринулся в первую же открытую дверь, оставив за порогом оторопевшую пронинскую свору.

Медведь был неотъемлемой частью моего детства, и оно окончилось в каком-то смысле вместе с гибелью Медведя. Эта гибель скрепила его верность тем, кого он всю жизнь неподкупно охранял.

Лечение на курортах занимало свое место в жизни русских дам. По понятным причинам не имея возможности поехать в Бад-Киссинген или в Баден, весной 1915 года мать отправилась с моей старшей сестрой на Кавказ, в Ессентуки. К нам приехала тетя Поля Нарышкина, старшая сестра матери (см. фото. — *Прим. Д.М. Шаховского*), чтобы помочь дяде Ване оберегать нас от опасностей, которые — мнилось им обоим, детей не имевшим, — непременно нас подстерегали.

Близился Троицын день. С годами у нас установился негласный обычай: в этот день на рассвете дети отправлялись в парк и в лес за березовыми ветками и украшали ими все комнаты в доме, пока взрослые еще спали. Эта экспедиция повторялась из года в год и каждый раз подготавливалась совершенно секретно (конечно, это был секрет Полишинеля). В тот год, не успела заняться заря, как Юра, младший из моих двоюродных братьев, царапнул по стеклу нашего окна. Надев сандалии, накинув на ночные рубашки японские пеньюары, мы с Наташей выпрыгнули в окно первого этажа. Юра раздал ножи и садовые ножницы, и мы углубились в темные еще аллеи парка. Березы росли далеко, на другом берегу озера, над оврагом. Продрогнув на утреннем холодке, мокрые от росы, мы добрались туда с восходом солнца. Груз срезанных веток был слишком тяжел, мы связали их поясами и тащили за собой, выполнив свою миссию. Подходя к дому, мы услышали крики. С хмурым видом, недовольный, что пришлось так рано встать, мой кузен Алексей ехал на велосипеде по аллее и выкрикивал наши имена. Это обстоятельство заставило нас спрятаться в кустарнике, чтобы не лишиться удовольствия проскользнуть в дом незамеченными. Но будучи уже у дверей, мы угодили в самую бурю. В то время как тетя Поля в слезах прижимала нас к сердцу, а горничная уже несла спиртовую настойку березовых почек для растирания, дядя Ваня разражался громовыми уп-

реками, маскируя свою недавнюю тревогу за нашу участь. Нас наказали — и напрасно мы повторяли фразу, обладавшую, казалось, силой заклинания: «Мама́ не стала бы нас наказывать», напрасно рыдали из-за такой несправедливости. Домашние уже думали, что нас похитили цыгане, кочующие в окрестностях, — как будто мы были из тех, кого так легко похитить!

Мы не знали, что эта пустячная детская драма вскоре померкнет перед настоящей трагедией.

Дядю Ваню, человека в высшей степени уравновешенного, со дня приезда в Проню летом 1916 года стали тревожить мрачные предчувствия. Смутные и ни на чем не основанные, они не давали ему покоя. Однажды по пути в Епифань — ехал он, по счастью, в коляске с поднятым верхом, укрываясь от солнца, — его едва не убило шлагбаумом: сторож, поспешив, опустил его раньше времени, когда экипаж въезжал на железнодорожный переезд. Поднятый верх коляски смягчил удар, но это происшествие усилило страхи дяди Вани. В другой раз, снова собираясь по делам в Епифань, он накануне признался матери, что предчувствует какую-то опасность, и она убедила его отложить поездку.

Был вечер середины лета. Дом уже погрузился в сон. После позднего ужина все разошлись по своим комнатам. В столовой, дверь которой ведет на веранду, выходящую в парк, мать и отчим, задержавшись за убранным столом, продолжают разговор. Горничная Маша убирает серебро. Внезапно застекленная дверь распахивается, и на пороге появляются двое в рабочих картузах. Один из них совсем молод, другой средних лет, в белом пыльнике. У того, что постарше, в руках ружье. Отчим и мать встают навстречу вошедшим. Вероятно, эти люди явились просить помощи или сообщить о каком-то происшествии. «Что случилось? Что случилось?» — спрашивает мать.

Не отвечая, младший из незваных гостей указывает старшему на дядю Ваню: «Вот он!» Тот вскидывает ружье. Дядя Ваня бросается на него, и ему удается схватиться за ствол, уже наставленный на него в упор. Завязывается борьба. Мать понимает наконец драматизм положения. В ящике ее ночного столика лежит револьвер. Она устремляется за ним, а ошеломленная Маша роняет столовое серебро. Ближайшая дверь спальни оказывается запертой — по одной из тех случайностей, что всегда сопутствуют трагедиям, — и матери приходится бежать к другой двери, выходящей в коридор. Не успевает она ее открыть, как раздается выстрел. Няня Клеопатра, проснувшись от шума и через несколько мгновений выскочив из своей комнаты, видит мою мать с револьвером в руке. «Успокойтесь, барыня, успокойтесь», — повторяет она, а мать отталкивает ее, невнятно что-то объясняя. Но прежде чем вернуться в столовую, она, повинуясь материнскому инстинкту, теряет еще несколько секунд, закрывая наружные засовы, которыми снабжены двери детских спален. Вбежав в столовую, она видит дядю Ваню — он стоит на прежнем месте, держась правой рукой за левое плечо, и повторяет: «Ничего, Аня, ничего!» Мать, вне себя, кидается в парк, от-

странив Машу, упавшую ей в ноги с криком: «Барыня, пощадите вашу жизнь ради детей!» Она стреляет во тьму прямо перед собой. Но уже никого не видно. И внезапно раздаются удары набата.

С фермы сейчас же прибегают полуодетые управляющий и австрийцы; одни только «мананки», украинки, чьи домики расположены в отдалении, ничего не слышали.

Раненого укладывают на диван, и пока Каратош и Мартин запрягают лошадей, мать рассказывает мужчинам, что произошло. «Дайте нам ружья, сударыня, — просит чех Федор, — и, клянусь вам, мы отыщем убийц, мертвых или живых». Но управляющий возражает: по приказу, военнопленных вооружать не полагается. Все-таки безоружные люди оцепляют парк, но никого не находят, а карета увозит дядю Ваню вместе с нашей матерью в епифанскую больницу. Дмитрий — ему тринадцать лет — садится рядом с кучером: он вооружен и намерен охранять пассажиров в пути.

Все поражены внезапным событием. Кто хотел убить дядю Ваню? Почему? Никто не способен найти ответ на эти вопросы, а пока надо прежде всего спасать жизнь раненому.

Я еще ничего не знаю о трагедии, все это время проспав. Проснулась я в странной обстановке. У нас под окном разговаривали два человека, одетые в форму, мадмуазель не появлялась, немецкая гувернантка Маргарита Мартыновна была подозрительно молчалива. Клеопатра отвела нас в спальню матери, уже вернувшейся из Епифани и собиравшейся ехать туда снова. Маша суетилась, укладывая чемоданы.

«Мама́, что случилось?»

Видя мать — бледную после бессонной ночи, с покрасневшими глазами, я заплакала.

«Два злых человека стреляли в дядю Ваню и ранили его. Он в больнице, и вы поедете навестить его завтра после операции. Молитесь за него». И она уехала.

В Проне мы провели не один, а целых два дня, тянувшихся бесконечно. Об играх и прогулках не было и речи. Из Тулы прибыли судебный следователь, детективы, полицейские. Они подолгу беседовали с крестьянами соседней деревни Дудкино, допросили всех слуг и всех рабочих. Беспокойство, нервозность, подозрительность, страх овладели всеми. Сидя на террасе, мы по очереди листали альбомы, которые показывали нам полицейские, и вглядывались в снимки разных мужчин — толстых и худых, бородатых, с пышными шевелюрами и лысых, блондинов и брюнетов: непривлекательные лица, еще более обезображенные судебной фотографией. Революционеры или бандиты, все они в равной степени казались способными на убийство, но никого из них мы не могли опознать.

В одну ночь все перевернулось. Любой из тех, среди кого мы жили, мог оказаться пособником убийц. Нетрудно представить, что попытка убийства помещика чревата была тяжкими последствиями.

Что касается набата — ударил в него Дмитрий, проявив замечательное для своего возраста присутствие духа. Он услышал крики, затем выстрел и, бросившись к двери, обнаружил, что она заперта. Тогда он

выпрыгнул в окно первого этажа и, забыв о любопытстве, выполняя строгие правила, принятые в нашем деревенском быту, побежал не в сторону столовой, а во двор фермы. Дернув за веревку колокола, подвешенного к балкону того строения, где жил управляющий, он поднял тревогу.

Вскоре до нас дошли первые вести из Епифани. Состояние дяди Вани ухудшилось, но, вопреки настояниям матери, он не соглашался, чтобы его отвезли в московскую клинику. Правда, епифанский врач уверял, что рана дяди Вани — проникающее ранение от выстрела из охотничьего ружья под левую лопатку — не представляет опасности, и разговоры о том, чтобы пригласить на консультацию коллег из Москвы, явно его задевали.

Мы увидели еще раз нашего отчима там, в епифанской больнице, в общей палате, рядом с больными крестьянами. Он отказался от приготовленной для него отдельной палаты, и нельзя было не удивляться тому, что этот человек, никогда не вступавший в короткие отношения с простыми людьми, с радостью принял их общество, словно присутствие этих крестьян, смиренных и терпеливых, облегчало его страдания.

Почему моя мать не верила успокоительным словам врача? Она присутствовала при всех болезненных обследованиях, которые этот специалист проводил с помощью подручных средств, не слишком щадя пациента и упорно твердя, что все идет благополучно. Но мать видела, как с каждым днем лицо ее мужа все сильнее искажается, а в глубине его зрачков рождается тревога.

Когда мы подошли к постели дяди Вани, он показался мне уже таким далеким и необычно кротким. Чтобы не утомлять его, через две-три минуты мать отослала нас, и мы вернулись в маленькую меблированную квартирку — лучшее, что можно было отыскать во всем городишке; тем не менее она кишела клопами и тараканами, так что всю ночь мы не сомкнули глаз.

Этим ли утром или наутро следующего дня дядя Ваня умер, и нас троих — Валю, Наташу и меня — отправили в Троицкое, поместье генерала Артамонова, отца наших петроградских приятелей, а тем временем проводилось вскрытие и подготавливались похороны нашего отчима.

Радость встречи с петроградскими друзьями была совершенно омрачена впечатлением от нашего краткого свидания с дядей Ваней, и хотя мертвым мы его не видели, трагическая его кончина вселяла в нас ужас. В ту ночь мы втроем спали в одной постели, прижавшись друг к дружке.

Готов ли кто-нибудь из нас встретить смерть человека, живущего с нами рядом? Среди летних роз расхаживали белые павлины, и сияющее великолепие их распущенных веером хвостов в тот раз соединилось в моем сознании со смутным, но отвратительным воспоминанием, преследовавшим меня лет с пяти или шести. Гуляя, мне случалось наткнуться на зрелище, заставлявшее меня сжаться и побледнеть: распростертый остов лошади, полуистлевший на солнце, или окоченевший труп собаки, убитой, потому что она была бешеной. Как далек от этого светлый образ часовенки на сельском кладбище, утверждающий единство живых и мертвых.

Рана — неопасная, по мнению епифанского врача, — оказалась роковой. Застрявшая в ней частичка пыжа вызвала столбняк. Увы! В войну 1940 года мне придется увидеть воочию, как умирают от столбняка: как деревенеет затылок, сводит все тело, и хотя сознание еще не угасло, человек уже не в силах что-либо выразить: лишь ужас наполняет его глаза...

Мы вновь собрались в Проне, куда должен был прибыть гроб под серебристым покрывалом. Стояли жаркие дни. Лето позолотило поля, под палящим зноем земля растрескалась от засухи. Крестьяне тех деревень, через которые следовал траурный кортеж, вероятно, желая показать, как сильно они осуждают это убийство, попросили разрешения встречать покойника при въезде и через все селение нести его на руках. Крестьяне Дудкина, ближе других затронутые этим событием и вызвавшие больше всего подозрений со стороны властей, прошли с гробом на руках две версты от их деревни до Прони. Гроб плыл, покачиваясь на длинных полотенцах из крестьянского холста. Рубахи несущих промокли от пота, и ладан клубился в недвижном воздухе, не оживленном ни малейшим дуновением ветерка.

Наконец гроб поставили посередине церкви. Вопреки обыкновению, он был закрыт, так как разложение тела шло слишком быстро. Сначала было сделано маленькое застекленное окошечко над лицом, но и его пришлось спешно закрыть. Хор тульского кафедрального собора пел молитвы, которыми Русская Церковь провожает чад своих в последний путь: в них, сквозь мучительную боль разлуки, возносится «аллилуйя» во славу грядущего Воскресения.

«Житейское море воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек... надгробное рыдание творяще песнь: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!»

Когда настал мой черед, я приблизилась к стоящему на катафалке гробу и приложилась к нему. Коснувшись губами жесткой серебряной ткани, вместе с ароматом цветов впервые вдохнула я сладковато-тошнотворный запах самой смерти.

Брошены, один за другим, комья земли, затем могильщики насыпали холм у наружной заалтарной стены и поставили временный крест. По тропинке меж деревьев родственники и друзья, духовенство и певчие, рабочие, крестьяне и полицейские вернулись к дому и ферме на поминки — трапезу, которая, следуя за погребением, позволяет людям выплеснуть смятение и страх. Не без удивления я заметила, как, посреди нашего горя, громче зазвучали голоса и заблестели глаза гостей.

В нашем деревенском бытии, где до сих пор не находилось места недоверию и страху, открылась новая глава. Дом в Проне, слишком изолированный, был заперт, и ставни его, наглухо закрыв окна, захлопнулись навсегда. Мы поселились на втором этаже хозяйственной постройки, в непривычной для нас тесноте. Полицейские все еще не уезжали, хотя тайна убийства наконец получила объяснение, так как покушения на помещиков продолжались. Убили некую госпожу Глебову, ранили управляющего графа Бобринского, приняв его за самого графа.

В деревнях были обнаружены революционные прокламации: «Мы убили. Продолжайте наше дело. Убивайте помещиков, поджигайте их дома, грабьте их! Долой дворян! Да здравствует революция!»

Поскольку убийц до сих пор не нашли, оставались опасения, что мать может стать следующей их жертвой, и тульский губернатор уговорил ее не отказываться от опеки телохранителей.

Нередко от трагедии до водевиля один шаг. В то лето французской гувернанткой была у нас миниатюрная старая дева, довольно пожилая и очень кроткая. На прогулках со мной и Наташей, случалось, она удивляла нас приступами стремительного и страстного словоизвержения. Мы ничего не понимали, а она, размахивая руками, распространялась о том, что сотворению мира предшествовал хаос и что наша планета была ввергнута в безумную пляску. Бурно жестикулируя, «мадмуазель» с горячностью твердила: «И все кружится, кружится: земля, звезды, солнце, люди...», — возможно, так оно и есть, думали мы, только очень уж все это не вязалось с мирными полями вокруг.

Наша бедная гувернантка, приехав из страны, известной своей приверженностью свободе, попала, как и все домочадцы, под надзор полицейских. Как-то один из них со скромно-торжествующим видом доложил моей матери о том, что «мамзель» проводит время, сочиняя записки, а затем прячет их за корсаж и направляется по дороге в парк. «Мадмуазель» ни слова не говорила по-русски, так что для любого здравомыслящего человека ее непричастность к убийству была очевидной. Однако дядю Ваню убили, а его убийцы все еще разгуливали на свободе, и никто не мог остаться вне подозрений. Странное поведение француженки могло бы объясняться любовной интрижкой, но возраст «мадмуазель», к тому же вовсе не склонной к кокетству, заставлял отмести подобное предположение. Да и кто мог быть в Проне объектом ее страсти? Один из моих двоюродных братьев? Смешно было допустить такую мысль. Статный красавчик, австриец Мартин — первый парень на деревне, покоритель сердец девушек с фермы и служанок? Это также было крайне маловероятно. Слежка продолжалась недолго; «мадмуазель» была схвачена с поличным в тот самый момент, когда опускала в дупло дерева вынутое из-за корсажа послание. Полицейский принес моей матери целую охапку записочек, так как не мог их прочесть. Это были любовные письма, крики страсти вперемежку с космическим вздором. Бедная «мадмуазель» страдала некоторым «расстройством», и одиночество побудило ее создать воображаемого персонажа, поверенного ее души, идеального сердечного друга, с кем невозможны были для нее никакие разногласия.

В Проне воцарилась гнетущая атмосфера, и наша жизнь изменилась целиком и полностью. Действительно ли моей матери грозила опасность? Никто не мог ответить на этот вопрос. Дежурство полицейских продолжалось по-прежнему, но самыми бдительными стражами матери были мы, ее дети и племянники. Я научилась бояться за свою мать. Она одна

была невозмутима и, отвергая страх, восставала против мер предосторожности. Мы спохватывались вдруг, что она исчезла. Мартин сознавался, что она приказала оседлать чистокровного скакуна, подаренного ей дядей Ваней, и уехала на прогулку. Детская кавалерия сейчас же выступала в поход. Охранники вместе с детьми, разыскивая амазонку, прочесывали парк и луга, в надежде не опоздать. Но она возвращалась, бодрая и оживленная, и смеялась над нашими страхами.

Наконец настал день, когда мою мать вызвали в Тулу к следователю, на очную ставку с убийцами ее мужа. При ней ввели двоих мужчин — помоложе и постарше. «Вы их узнаете?» Нет, мать не узнавала их. Это были два человека заурядной внешности, со спокойными лицами, мирным взглядом. Их увели, а затем они вновь предстали перед матерью, на сей раз одетые так же, как в ночь покушения: увы, белый пыльник, картузы были ей знакомы! Теперь мужчины походили на ночных визитеров.

«Мне кажется, я их узнаю, — сказала мать, — но я не могу быть уверена. Выражение лиц было другим». Тогда старший из убийц хладнокровно произнес: «Не утруждайте княгиню, ведь мы же сознались», — и в присутствии матери рассказал, как, приняв решение начать террористическую акцию с убийства дяди Вани, они долго готовились к покушению; оно должно было совершиться в тот день, когда дядя Ваня собирался в Епифань, но отложил поездку, повинуясь предчувствию. Террористы напрасно прождали свою жертву на пути ее предполагаемого следования, в засаде на дороге, и им пришлось разработать другой способ покончить с дядей Ваней. Тогда они решили «уложить» его непосредственно в Проне.

— После полудня мы спрятались в парке, — рассказывал террорист. — Мы видели, как молодежь ушла на озеро, потом, перед обедом, княгиня (местные жители продолжали называть так мою мать) прошла по главной аллее. Надо признаться, я чуть не поддался искушению выстрелить в нее, тем более она была у меня на мушке, но я знал, что в этих краях ее любят, и потом она звала: «Дети, дети!» — и я удержал палец на спусковом крючке.

— Но почему вы убили моего мужа? — спросила мать.

— Чтобы пример подать. Надо же с кого-то начать, к тому же известно было, что он из крайне правых.

Тягостное свидание наконец окончилось; пришел конец и тому напряжению, в котором мы жили последние недели. Мне не известен ход дела в суде, но память сохранила фамилию убийцы. Его звали Акулин. Расследование, вероятно, тянулось долго. Возможно, вылавливали всю сеть террористической организации, а правосудие в те времена было нерасторопным. Убийц не повесили. Кажется, я припоминаю, что один из них был убит накануне революции при попытке побега; другого, верно, освободили во время революции. Не знаю также, способствовал ли факт убийства моего отчима революционной карьере оставшегося в живых убийцы. Никогда больше мы не встречали его на нашем пути — ни на землях, занятых красными, ни в краях, взятых белыми.

Все надежды матери устроить свою и нашу судьбу рухнули. Та поддержка, которой искала она у дяди Вани, очень скоро была у нее отнята, — и тем самым словно бы получила оправдание принципиальная непредусмотрительность, исповедуемая моим отцом. Второе замужество, обернувшись для нее трагедией, ни к чему не привело, и хотя дядя Ваня сдержал слово и успел завещать детям жены довольно значительное состояние, оставив за ней право пользоваться им до нашего совершеннолетия, — как оказалось позднее, оно не смогло обеспечить наше будущее. С точки зрения общества, второй брак, конечно, повредил моей матери, но лишь тот, кто плохо знал сердце Шаховских, мог подумать, что семья первого мужа, да и он сам оставят ее. Едва распространилась весть о смерти дяди Вани, мать стала получать письма от бывших свойственников. Моя бабушка желала только одного: вновь принять ее в качестве своей дочери, а отец, не перестав любить ее, написал, что когда-нибудь она, возможно, согласится воссоединить разлученную семью.

Испытание было жестоким, и жестоким был урок. Моей матери снова предстояло одной справляться с множеством проблем.

1 сентября нас с Наташей увезли в Петроград держать вступительные экзамены в Институт императрицы Екатерины. Это был первый и, боюсь, единственный в моей жизни школьный экзамен, и потому я о нем вспоминаю не без скромного личного удовлетворения.

Институт располагался в величественном дворцовом здании, выстроенном на месте другого дворца, подаренного Петром Великим его сестре Наталье. Колоннады его возвышались на набережной Фонтанки рядом с Шереметевским дворцом. Теперь это одно из помещений публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, и однажды зимой 1957 года мне удалось подпольно туда проникнуть.

Во времена, когда мода, став гуманнее, разрешила женщинам и детям носить более практичную и легкую одежду, мне пришлось облачиться в допотопное форменное одеяние, сшитое по образцу платьев с кринолинами XVII века. Форма состояла из платья длиной до щиколотки (зеленого в младших классах, красного — в средних и сиреневого — для учениц первого класса) и белого передника. Платья были с глубоким декольте, но шею и грудь стыдливо прикрывала белая пелеринка, а короткий рукав удлинялся съемным белым рукавчиком. Надевалось

платье на корсет, а на спине зашнуровывалось предельно туго — по велению кокетства: если в чем-то и могло оно проявиться, так разве что в совершенстве шнуровки и красоте бантов пелерины и фартука, ибо устав предписывал носить гладкую прическу, отчего все мы выглядели в точности как прилизанные морские львы.

Нам уже были знакомы нравы и обычаи института, так как мы навещали там старшую сестру. Здешний образ жизни, между тем, во всем отличался от того, к которому я привыкла в деревне или в гимназии Могилевского. Запрещалось все — за исключением того, что совершенно определенно было разрешено, и наказания — довольно мягкие — сыпались на «благородных девиц», как штрафы на современных автомобилистов. Самая суровая кара заключалась в лишении посещений, но поскольку моя мать вместе с Валей уехала отдыхать в Крым, а общество ее многочисленных тетушек и кузин, несмотря на все их очарование, меня не вдохновляло, любые наказания были мне нипочем.

Мы бесшумно скользили по обширным коридорам, смиренно сложив руки на животе, и глубоко приседали перед каждой классной дамой, которую имели несчастье встретить на своем пути. Один день говорили по-немецки, невзирая на войну, один день — по-французски, но на переменах разрешалось разговаривать по-русски.

Мне достаточно припомнить имена моих соучениц по седьмому классу, и передо мной встает многонациональное лицо России. Хрупкая княжна Гаяна Грузинская из рода грузинских царей, графиня Наташа Сиверс из Прибалтики, шведского происхождения, Зорька Кизельбаш, татарка, Светик-Савицкая, полька... Одной из любимиц института была ученица первого класса княжна Тюмень, калмычка со смуглым лицом и раскосыми глазами, дочь правителя этого немногочисленного, но доблестного народа. Проведя зиму в стенах института, Тюмень возвращалась в свое кочевое племя и странствовала вместе с ним по азиатским равнинам... А пока что самое большое удовольствие доставляло ей пение в хоре нашей церкви, хотя она и принадлежала к шаманизму, и ее бархатное контральто было драгоценным украшением хора женских голосов.

Говорят, что в царской России нарушалась веротерпимость, однако каждую пятницу в институт являлся мулла из петроградской мечети наставлять мою подругу Зорьку в истинах Корана, в коридорах нам встречался пастор, посещавший по воскресеньям учениц-протестанток, или католический священник, приходивший для занятий катехизисом с ученицами-католичками...

Институт, кажется, давал превосходное образование, но я провела там всего полгода и прилежной ученицей никогда не была; мое честолюбие распространялось лишь на интересующие меня предметы: русский язык, историю, священную историю; что касается арифметики, я продолжала считать на пальцах, чем даже по-своему прославилась среди одноклассниц. Строгий этикет и весьма официальные отношения, которые поддерживали с нами классные дамы, исключали человеческое тепло, почитавшееся дурным тоном. Но по утрам и вечерам оно согревало нас в дортуаре, где хозяйничали наши горничные, пожилая Настя и молодая Груша. Как прочие горничные и вся прислуга института, они были в

прошлом воспитанницами приютов. Эти никогда не знавшие семьи женщины любили нас, девочек из богатых, привилегированных семейств, как собственных детей. Настя и Груша помогали нам одеваться и умываться, причесывали нас, но за этими житейскими заботами мы ощущали надежное тепло привязанности, которая в нашем возрасте была нам еще так необходима. Когда кто-нибудь впадал в тоску по родному дому или плакал из-за «несправедливого» наказания, — тогда в нашем одиночестве и возмущении утешали нас не классные дамы, а Настя и Груша. Они нас не воспитывали, а любили.

Радостным событием было еженедельное купанье — не в ванне, а в русской бане: в жарко натопленном зале, где сорок девочек, окутанные облаками пара, смеются и визжат, пока их намыливают, трут мочалками, а затем из ведра обливают водой — холодной или теплой, по желанию каждой. Повторно подвергнувшись всем этим процедурам, облачившись в жесткое, пахнущее мылом белье, я поднималась в спальню в каком-то блаженном изнеможении, и Настя подходила к моей постели подоткнуть одеяло. Она наклонялась ко мне, ее рука — совсем как материнская рука дома — осеняла меня крестным знамением, и я целовала ее доброе морщинистое лицо, а в голубом свете ночника вставали передо мною прекрасные картины Матова.

Наша детская жажда любви нашла и другую отдушину: среди воспитанниц Екатерининского института из поколения в поколение переходила традиция так называемого «обожания». Младшие девочки выбирали себе среди учениц старших классов «покровительницу»; она могла навещать свою подопечную и прогуливаться с ней под руку во время перемен под бдительным оком надзирательницы, следившей, чтобы это «обожание» не переросло в слишком тесную дружбу. Не расположенная к подобной сентиментальности, я предпочитала прогонять душевную смуту, поверяя свои мысли тетрадям: в часы досуга, а иногда и на уроках арифметики я исписывала их новеллами. Сочинения эти грешили как орфографическими ошибками, так и избытком романтизма. Должна признаться, повесть под названием «Три поцелуя» была ничем иным, как бессовестным плагиатом Тургенева.

По-прежнему я читала все, что попадало мне в руки, не выбирая, потому что выбор в институте был вынужденно ограничен. Я читала, читала и читала — до тех пор, пока классная дама, заметив, что мои глаза покраснели и воспалились, не отправила меня в лазарет — пристанище, о котором грезили все лентяйки и мечтательницы. Все мои книги конфисковали, оставив мне Евангелие в миниатюрном издании, выпущенном монахами Александро-Невской лавры: текст там был набран такими крошечными буквами, что, казалось, его невозможно читать без лупы. Пришлось мне довольствоваться Евангелием, и в конце концов я выучила наизусть первую главу Евангелия от Иоанна, открывающуюся прекраснейшими на свете словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». С той поры эти слова всегда находят отклик в моей душе, однако тогда чтение их не улучшило состояние моих глаз. Я была освобождена из лазарета, чрезвычайно гордая своими красивыми синими очками и полученной привилегией не готовить уроков.

Жизнь шла своим чередом, увязая в рутине, и разнообразие в нее вносили лишь нарушения устава и последующие наказания. Но мне не мешало быть осторожнее, потому что моя мать уже вернулась вместе с Валли в Петроград, и я не желала лишиться радости ее видеть.

Воскресные визиты обставлялись весьма церемонно. Мы праздно сидели в классной комнате, ожидая, когда нас вызовут в приемную. Дежурная ученица, подойдя к классной даме, шепотом называла фамилию, и та объявляла: «Шаховская, к вам пришли». Я подходила к ней, дабы она проверила состояние моей одежды, прически и моих рук. Сколько драгоценных минут потеряно! Вот я оказываюсь в коридоре — тьфу! еще одна классная дама — книксен! Наконец я в зале с колоннами, гудящем, как улей. Я ищу взглядом мою мать, а сама направляюсь к дальнему столу, где царственно восседает инспектриса, мадам Петц. За ее спиной висит парадный портрет Екатерины II; на стене напротив — портрет императрицы Марии Федоровны. Горе мне, если я забуду предстать перед мадам Петц, приветствуя ее реверансом (в то время как она в свою очередь должна придирчиво осмотреть мой внешний вид), — я буду беспощадно изгнана и лишена визита. Она находит удовлетворительным бант моей пелерины и кивком разрешает мне идти. Мне не терпится подбежать к матери, но я обязана сдержать свой порыв. Все так же степенно, со сложенными на животе руками я шествую к группе стульев, где она сидит вместе с Наташей, с ней пришли мой брат и кузен Алеша в форме юнкера Павловского военного училища, будущий офицер. Исчезают колонны, отступают куда-то группы посторонних: здесь моя мать! Под огромной черной шляпой сияет ее лицо, обрамленное белокуро-пепельными локонами. Она способна на проказы, как и ее дочери. «Взгляни-ка, тут еще кое-кто явился тебя навестить», — говорит она, и из ее широкой муфты, отделанной мехом шиншиллы, высовывает голову наш фокстерьер Астра, чье присутствие — будь оно обнаружено — заставило бы мадам Петц подскочить в своем кресле. Втихомолку мать достает из сумочки коробки с шоколадом и конфеты, внесенные сюда контрабандой, потому что все пакеты, предназначенные воспитанницам, должны складываться в объемистую корзину при входе в зал, а затем раздаваться нам в столовой после еды. Но моя мать знает, что запретный плод самый сладкий. Время бежит слишком быстро; вот-вот прозвенит звонок, возвещая момент расставанья, а еще столько всего останется нерассказанным! Но мне уже известно, что мать снова будет жить вместе с моим отцом, а поскольку повторное венчание с ним в церкви невозможно, Священный Синод должен представить свое разрешение на одобрение императору, после чего она вновь станет княгиней Шаховской.

24 ноября 1916 года. Институт, по обыкновению пышно, отмечает день Святой Екатерины, и еще никому не ведомо, что это происходит в последний раз. Празднество начинается торжественным богослужением с участием митрополита Петроградского Питирима. Мы одеты в парадную форму. На нас мягкие платья, тонкие фартуки, руки и грудь открыты.

Классные дамы сменили платья темно-синего цвета на шелковые васильковые. Ученицы старшего класса, «les Pépinières»[1], одеты в серый шелк, и у одной из них на груди красуется золотой вензель императрицы.

Служба продлится четыре часа, и хотя наш класс пользуется преимуществом прийти в церковь на час позже, я завидую подругам, принадлежащим к другим конфессиям: они освобождены от этой церемонии. Нас размещают на хорах, и сверху я вижу, как время от времени та или иная из институток, стоящих в церкви, падает. Ее выносят, и ряды вновь смыкаются и застывают. Тогда мне приходит в голову тоже упасть в обморок, но это получается так неловко, что из церкви меня не выносят, а вместо того моя классная дама нещадно меня трясет, ставит на ноги и обещает наказать.

На обед у нас необычное меню, затем каждой воспитаннице вручают коробку шоколада с императорским гербом от имени вдовствующей императрицы, после чего мы с большим разочарованием узнаем, что ввиду событий императрица Мария Федоровна не приедет к нам с традиционным визитом, и потому в великолепных придворных реверансах, до полного изнеможения нами отрепетированных перед мадам Петц, не будет никакой надобности. В утешение после приема посетителей нас одаривают киносеансом.

За три месяца до крушения того мира, где мы живем, нам показывают на экране «Гибель Помпеи». Под дождем пепла потоки лавы затопляют город, бегут и хозяин и раб, рушатся колонны храмов и стены домов. Чета влюбленных, готовясь к неминуемой смерти, жаждет обменяться последним поцелуем... Мы его не увидим. Рука мадам Петц целомудренно встает между лучом проектора и экраном, охраняя нашу невинность.

В тот самый вечер отважилась я на эксперимент. В нашей отшельнической жизни существовали свои легенды. Согласно одной из них, кто войдет ровно в полночь, с боем часов, в большой зал с колоннами, встанет посередине и трижды повернется на месте, — тот увидит повешенную Екатерину II. Почему? Никто не знал, но все твердо в это верили. «Ты этого не сделаешь», — бросила мне вызов моя подруга Нина де Лазари. «Спорим, что сделаю!»

Я боюсь темноты, боюсь привидений. Но можно ли отступить? Лежа в постели, я не засыпаю, рассказываю сама себе разные истории, чтобы побороть одолевающий меня сон. Смотрю под одеялом на светящийся циферблат часиков — близится полночь, заранее приводя меня в трепет. Встаю. К счастью, коридоры и лестницы освещены, хотя и скупо. Тени наполняют их таинственностью. Я в ночной рубашке и босая. Мне представляется, что я совсем одна в этом огромном здании, погруженном в сон. Малейшее потрескивание паркета — вздрагиваю и трясусь от страха. Спускаюсь по лестнице, с одной площадки на другую. Осмелюсь ли я отворить дверь большого зала, где мне предстоит рандеву с императрицами? Я знаю, что страх — презренное чувство, но он преследует меня всю жизнь. Разозлившись, заставляю себя повернуть

[1] Зд.: «Питомицы» (*франц.*).

ручку двери. Дрожа, вступаю в зал, где все черно, и замечаю, что сквозь высокие окна проникает розоватый свет ночного города. Полная тьма была бы не такой жуткой, как этот полумрак, где различимы два белых овала визави, отделенные один от другого всей длиной зала. Это лица двух императриц. Екатерина II от меня справа — но тут раздается скрип паркета, и я спасаюсь бегством — по коридорам, по лестницам — и зарываюсь в постель...

«Ну как, ты видела повешенную Екатерину II?» — спрашивают наутро подруги. Как бы мне хотелось поведать им, что Екатерина по крайней мере подала мне знак, прежде чем перевернуться вниз головой, но проклятая гордая привычка строго держаться истины требует признать, что я не видела ничего. Легенда не получит подтвержденья благодаря мне!

Подобно новобранцу, жирным красным карандашом я зачеркивала одно за другим числа календаря, считая дни, оставшиеся до рождественских каникул. Наконец настает 20 декабря. Меня вызывают; моя мать приехала и ждет меня в карете. Мы с подругами обнимаемся, обещаем друг другу писать, сочувствуем девочкам, приехавшим из губерний, близких к линии фронта, и тем, чьи родители живут слишком далеко — в Сибири, в Туркестане: всем им предстоит провести Рождество в институте. В дортуаре я радостно расстаюсь с неудобной формой. Какими легкими кажутся мне тонкие фильдекосовые чулки, моя короткая плиссированная юбка и матроска! Настя причесывает меня «по-граждански», заплетая две косы вместо одной, туго стянутой; помогает сменить обувь, напоминающую котурны, на меховые сапожки, надевает на меня мою шубку, шапочку, муфту на шнурке, повязанном вокруг шеи, целует меня, умоляя не простудиться, — а я успеваю сунуть ей подарок. Уже позабыв о строгих правилах, я бегу через холл, где мне кивают бородатые швейцары в мундирах, увешанных медалями и орденами, на крыльце вдыхаю полной грудью городской воздух, а потом сажусь в карету рядом с матерью. Наташа присоединяется к нам, и лошадь трогается легкой рысцой. Знакомые картины захватывают и восхищают меня; после четырехмесячного заточения я упиваюсь зрелищем уличной суеты. По пути приветствую четверку коней барона Клодта у подножья моста, по которому мы проезжаем, и Аничков дворец с красными стенами. Извозчики в длинных тулупах переминаются с ноги на ногу у костра, разведенного на углу площади; на перекрестке стоит на посту пирамидальный городовой; на кресте церкви сидят вороны. Без меня мир не изменился, все такое же, как прежде, только залито синим светом моих очков.

Я снова в квартире на Васильевском острове, вокруг знакомые вещи: в гостиной инкрустированный столик на бронзовых золоченых ножках в виде львиных лап, у камина, где потрескивают поленья, медвежья шкура; уютное тепло разливается от ламп под розовыми абажурами, со мной мои игрушки и мои книжки, и моя свобода... Уже приготовлены к отъезду большие чемоданы. Через два дня мы будем в Проне.

В зимней Проне еще не рассеялись злые чары этого лета. Барский дом, по-прежнему запертый, стоял среди заснеженной поляны. Мы опять поселились на втором этаже хозяйственного корпуса в тесноте и с ощущением недолговечности нашего здесь пребывания, будто раскинув лагерь. Но нам были доступны все зимние забавы, а юности свойственно быстро забывать о трагических событиях. Прогулки в санях, горка и демократичная «ледяшка» занимали наши дни. «Ледяшка» представляла собой деревенский вид спорта, популярный среди крестьянских детей, а поскольку на Западе он не известен, я берусь его описать. Нужно всего-навсего взять большое сито (найдется ли ныне в продаже эта утварь, служившая для просеивания муки?), выстлать дно соломой, обильно полить водой и на ночь выставить сито на мороз. В течение двух-трех суток вы повторяете эту операцию — и в вашем распоряжении готовая ледяшка, с круглым вогнутым днищем, отлично приспособленным для того, чтобы разместить в нем свое седалище. Усевшись на ледяшку и обхватив руками согнутые колени, мы съезжали с горки — в данном случае с самого обыкновенного пригорка, склон которого, политый водой, был превращен в ледяную трассу. Ледяшка неслась вниз с возрастающей скоростью, непрерывно вращаясь. Управлять ее движением не было никакой возможности, и единственная задача заключалось в том, чтобы, достигнув финиша, приземлиться целым и невредимым. Оглушенные, мы вставали на ноги, чтобы повторить эксперимент.

Эта зима окрасилась для меня в синий цвет — цвет моих очков; синими были осыпанные снегом деревья, поля, крыши и прозрачные сосульки, развешанные на них морозом; синими были лица и страницы книг, которые я открывала украдкой.

В нашем окружении появились новые персонажи. По настоянию все того же тульского губернатора мать наняла охранника, отставного жандарма по имени Никита. Его присутствие, постоянно напоминая нам о пережитой драме, не принесло спокойствия, потому что Никита, с его багровой физиономией, грубый, похожий на одинокого кабана, обладал даром вызывать всеобщую неприязнь. Матери приходилось ежедневно выслушивать жалобы слуг, рабочих, крестьян, выведенных из терпения его злобными придирками, но в военное время трудно было найти ему замену, а кроме того, его рвение свидетельствовало о профессиональной добросовестности, в чем вряд ли можно было его упрекать. Короче

говоря, Никита принадлежал к определенной породе людей: к тем животным, что с одинаковой преданностью в меру своих сил служат любому режиму.

Тогда же тетя Катя, приехав к нам со своим младшим сыном, по просьбе матери привезла с собой из Петрограда молодую портниху Лидию — очень красивую девушку с правильными чертами лица, темноволосую, с коралловым ожерельем вокруг грациозной шеи. Замкнутая и никогда не улыбавшаяся, Лидия не вступала в общение с домашними, она усердно работала и ничего о себе не рассказывала. Тетя наняла ее без какой-либо рекомендации, положившись на ее приятную внешность, но однажды все же потребовались ее документы, для того чтобы отправить их в город и сделать отметку о новом месте жительства.

По случайности, из-за тесноты нашего жилища, я присутствовала при разговоре между матерью и теткой. Обе выглядели расстроенными.

— Но все-таки, ты представляешь себе? — говорила моя мать. — «Желтый билет»!

По тону, каким она произнесла слова «желтый билет», я поняла, что речь идет о чем-то ужасном. На самом деле этот билет был ничем иным, как удостоверением проститутки.

Лидию позвали в комнату моей матери, откуда она вышла с красными глазами и еще более нелюдимым видом, чем обычно. Мало того, что наша портниха оказалась в прошлом зарегистрированной проституткой: она вынуждена была оставить это ремесло, получив своего рода «производственную травму» — заболев сифилисом. Что бы сделала на месте моей матери нормальная хозяйка? Мать оставила Лидию в доме. Наверное, молодым людям, всегда многочисленным в нашем доме, она открыла правду о несчастной Лидии. Со мной же она ограничилась объяснением, что у нашей портнихи туберкулез, очень опасный для детей, и потому мне нельзя ее целовать и всегда следует помнить об осторожности, чтобы не воспользоваться по ошибке стаканом, из которого она пила. Впрочем, зная о своей болезни, Лидия тщательно следила за тем, чтобы не заразить других.

Добрые дела чаще всего забываются, но на этот раз доброта матери не пропала даром, и в предстоящие нам трудные дни ей доведется оценить признательность Лидии.

Примирение моих родителей к тому времени стало свершившимся фактом, и отец вернулся в Матово. Однако по понятным причинам он не хотел заниматься делами Прони, и матери пришлось самой, вместе с управляющим, приводить в порядок хозяйство в имении. Это вынудило ее отложить наш отъезд в Петроград. Чтобы я не отвыкла от регулярных занятий, она решила отдать меня в ближайшую сельскую школу.

Каждый день кто-нибудь из военнопленных отвозил меня на розвальнях в Дудкино, с собою мне вручался завтрак, и в полдень я делила его с моими товарищами, крестьянскими ребятишками. Я оставалась в школе до четырех часов. На перемене мы высыпали на единственную деревенскую улицу, на свежий воздух, попахивающий дымком из печей.

Обламывая ледяные сталактиты, мы сосали их, как леденцы, и ставили интересный эксперимент: по очереди лизали железную перекладину на двери амбара. Всего одна секунда — и язык щипало, как от ожога, а зрители покатывались со смеху... Сидя у колодца, мы грызем яблоки, качаемся на доске, перекинутой через поваленное бревно, — и перемена подходит к концу. Учительница, дочь пронинского священника, появляется на пороге и звонит в звонок, собирая нас, как наседка своих цыплят.

Школа — это самый красивый дом в деревне. Будто луковки на грядке, сидим мы на грубо обструганных скамейках, впереди — наименее знающие, сзади — самые просвещенные. Четырнадцатилетний мальчик сидит рядом с семилетним, и оба учат азбуку. В школе жарко, карандаши скрипят по грифельным доскам; новички, высунув языки от усердия, переписывают: «мама», «тятя»; те, кто ушел вперед, хором читают наизусть: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь; его лошадка, снег почуя, плетется рысью, как-нибудь». Конечно же, Пушкин!

За деревянной перегородкой — комната учительницы, где под потолком покачивается керосиновая лампа, которую она зажжет, когда мы разойдемся. Перед низкими оконцами растянулась унылая улица, окаймленная избами. Девушка ходит вдоль скамеек и парт, исправляет ошибки, подсказывает, объясняет; наверное, она с грустью вспоминает о той поре, когда она сама училась в тульском епархиальном училище, и, быть может, мечтает, что в один прекрасный день отец выдаст ее замуж за молодого семинариста (согласно правилам, им полагается жениться до рукоположения), и он увезет ее в другой затерянный уголок бескрайней России. Она терпелива и спокойна, единственная «барышня» в среде крестьян, — а они несут ей то яйца, молоко, сало, то отрез холста в благодарность за то, что она занимается с их детьми. Но она знает: с наступлением первых погожих дней школа опустеет. Опять начнутся полевые работы, и родители, считая образование ненужной роскошью, которая может отбить у детей охоту к тяжкому труду, запретят им продолжать ученье.

А мне так же легко освоиться в дудкинской школе, как в Екатерининском институте, — может быть, даже легче. Я, конечно, опережаю своих школьных товарищей в интеллектуальном развитии, но я не самая умная среди них — и знаю это. Некоторые способнее меня, и все более прилежны. Они приходят в школу по собственному желанию, и кому-то из них стоит большого труда добиться на то родительского позволения. Они никогда не бывали в городе, и им знакомы только эти деревни да поля без конца и края. Перед ними, как когда-то передо мной, открывается дверца в широкий мир. Будут ли они счастливее меня? Их будущее так же неопределенно и чревато опасностями, как и мое.

Мы выехали из Прони в Петроград только во второй половине января. Дмитрий уже там. Ему четырнадцать лет, и он способен путешествовать самостоятельно, не нуждаясь в провожатых. На перроне епифанского вокзала передо мной возникает в ночи тяжелый пыхтящий паровоз — в этом чудовище нет ничего аэродинамического, оно выплевывает пар, алеющий отблесками топки, подобной драконьей пасти, а

машинист с почерневшим от угля лицом бросает в нее пищу. Опасаясь, как всегда, морской болезни, я не тороплюсь идти спать в купе, обтянутое красным бархатом, задерживаюсь на площадке: здесь трясет, но это приятнее, чем мягкое укачивание спального вагона. Вытянувшись на кушетке, я стараюсь побороть тошноту, и мятные пастилки одна за другой тают у меня во рту. Поезд проезжает маленькие станции, останавливается на прочих, а на перегонах тянется все тот же пейзаж, плоский и белый, освещенный луной.

По безмолвным просторам огромной страны еду я на последнее свидание с Петроградом.

ТЕНИ

Помнится, мне взгрустнулось, когда я переступила порог Екатерининского института. «Целых две четверти до летних каникул!» — со вздохом подумала я. Снова моя жизнь вошла в строгое, незыблемое русло дворца на Фонтанке. Сквозь толстые его стены не проникали никакие политические волнения. Даже имя Распутина мне в ту пору не было знакомо. Позже моя мать расскажет мне, что как-то раз этот человек (монахом он никогда не был) прислал к ней своего секретаря сказать, что он очень хотел бы с ней встретиться и быть ей чем-то полезен. «Очень любопытно мне было на него взглянуть, — говорила мне мать, — но я наотрез отказалась: осторожность восторжествовала». От матери я узнала и о том, что бóльшая часть дворянства противилась влиянию Распутина. Семья моего отца была связана с Самариным, бывшим обер-прокурором Синода, который, по причине несогласия с окружавшими его ставленниками Распутина, вынужден был подать в отставку и был заменен Саблером (кстати, дядюшкой моего будущего мужа). Была близка нашей семье и госпожа Тютчева, воспитательница Великих княжон, покинувшая Двор тоже из-за своего неприятия «старца». Дворянство считало своим долгом открыто предупреждать Императора об опасности, грозящей его династии и его стране. Старой княгине Васильчиковой, написавшей об этом письмо Государыне, было предложено удалиться в свое имение. Трагическая обособленность императорской четы усугублялась с каждым днем. К уже пошатнувшемуся престолу приблизились новые люди, более сговорчивые, менее прямые, неспособные по самой природе своей оставаться верными ему до конца.

Предвидеть худшее можно всегда. Но мы отказываемся верить, что это худшее уже близко, что оно бесповоротно. Война не кончалась и множила трудности. Умы бурлили, общественное настроение падало. Но дня и часа не ведал никто.

Когда, уже в Париже, я прочитала книгу князя Юсупова об убийстве Распутина, мне в голову пришла парадоксальная мысль. Благородное негодование, подвигнувшее князя Феликса, Великого князя Дмитрия и Пуришкевича на освобождение России от этой роковой фигуры, повлекло за собой на самом деле цепную реакцию событий, приведших в конце концов Российскую империю к гибели. Представим себе на мгновение, что Распутина послушались, последовали его советам и заключили еще до 1917 года сепаратный мир с Германией. Можно с большой

вероятностью предположить, что в таком случае Ленину со товарищи не пришлось бы пересекать Германию в пломбированном вагоне, дабы разжечь в России гражданскую войну. Тогда удовлетворенные заключенным миром солдаты демобилизовались бы, не чиня никаких беспорядков, и стране удалось бы обойтись без продовольственных лишений. Мы избежали бы революции, Великий князь и Феликс Юсупов остались бы каждый в своем дворце, а мое семейство — в Матове. Приходится признать, что благородство и чувство чести способны привести к катастрофам в жизни не только отдельных людей, но и целых народов. Я вовсе не стремлюсь проповедовать пренебрежение к своему долгу. Я просто утверждаю тот факт, что в политике излишняя щепетильность губительна. Из-за своей верности союзникам и погибла Российская империя.

Петроград, воскресенье 26 февраля 1917 года. Сегодня приемный день, но, странным образом, большой зал с колоннами наполовину пуст. Моя мать здесь, с ней Дмитрий и мои двоюродные братья, Юра и Алексей. Мальчики в мундирах: Дмитрий — в лицейском, Юра — в гимназическом, а Алексей — юнкер.

Воскресный день, ничем не примечательный. Свидание окончено, мы прощаемся. Я возвращаюсь в маленькую залу, предназначенную для воскресных наших игр. И тут впервые в жизни я слышу треск, вскоре ставший для меня таким привычным, — пулеметные очереди. Как град пули отскакивают от стен. Нас поспешно выводят в коридор, а сквозь высокие окна, выходящие на Фонтанку, доносятся крики, рев толпы, конский топот. Классная дама ведет нас вниз, в нашу классную комнату, даже не построив рядами, — первое серьезное нарушение правил. Надрываются звонки, весь институт всполошился. Прислуга бегает взад-вперед и тащит, к нашему вящему изумлению, матрасы. По ступеням — невиданное зрелище — поднимаются из вестибюля смущенные швейцары. Усевшись за парты в крайнем возбуждении, мы слушаем классную даму, которая что-то пытается нам объяснить. Впервые входят в наш лексикон неслыханные ранее слова: «бунт», «революция».

Екатерининский институт уже не тот. Я прошу разрешения увидеться с Наташей, и меня тотчас же пускают к ней. Проходя коридорами второго этажа, я заглядываю в зал с колоннами и столбенею... Все окна загорожены матрасами. Увидеть, что делается на улице, мне не удается.

В Наташином классе я застаю еще большее смятение, хотя старшие девочки разбираются в событиях не лучше нас. И все-таки есть что-то забавное во всей этой неразберихе, сменившей будничную нашу рутину. Нам объявляют, что спать мы будем в классной комнате, выходящей окнами в сад. Настя и Груша перетаскивают из дортуара матрасы и постельные принадлежности, мыло и зубные щетки. У Груши перевязана рука, ее задела пуля. Она возбуждена не меньше нашего и тараторит, не закрывая рта.

— Ах, барышни, ну и дела! Подумать только! «Они» решили, что целятся в них с нашей крыши, а стреляют-то не от нас, а с Шереметевского

дворца... А как стали «они» городовых топить в Фонтанке, так полицейские засели на чердаках, у Шереметевых, и оттуда прямо по людям, прямо по людям! И это еще не все! «Они» орут, что все порушат, запалят дома, а нас захватят! Да сохранит нас Пресвятая Владычица!

Настя ее осаживает:

— Полно тебе! Растрещалась как сорока! Смотрела бы лучше, чтоб барышням нашим спать было удобно!

До сна ли нам! Лежа на полу на матрасах, мы болтаем без умолку, пугая друг друга всевозможными домыслами о том, какой печальный нас ожидает удел. А вдруг действительно они нас «запалят», как утверждает Груша? Неужели мы дадим себя зажарить, как куропаток? Я мгновенно изобретаю систему оповещения: мы связываемся друг с другом веревочкой, привязанной к пальцу, и бодрствуем по очереди. Как только дозорная чувствует, что ее одолевает сон, она дергает за веревочку и будит соседку. На самом деле, в случае захвата или пожара, решетки на окнах преградили бы нам путь к бегству, но об этом мы не думаем. Для нас важно не дать застигнуть себя врасплох. Приняв твердое решение противостоять событиям, мы в конце концов засыпаем.

Наутро все тот же беспорядок.

— Девочки, девочки! — кричит Мария Суковкина, влетая как вихрь в классную комнату, откуда нас все еще не выпускают. — Знаете новость? Ни за что не угадаете! Пажи Его Величества и павловские юнкера прибыли нас охранять!

Юноши в институте! Невиданное дело! Дальше залы с колоннами они никогда не допускались. Невзирая на наш слишком юный возраст, мы были взбудоражены этим известием. Любой повод был хорош, чтобы взглянуть, пусть издали, на наших романтических защитников. Никогда столько девочек одновременно и так часто не стремились удалиться в уборную!

В привычных к тихому шуршанию длинных платьев коридорах раздается воинственная поступь, звякает оружие. Пажи и юнкера! Ах, если бы только среди них оказался мой двоюродный брат Алексей! Но, так или иначе, ясно одно: время учения кончилось, о чем возвещают наши парты, поставленные одна на другую в углу класса.

От этих первых дней Февральской революции осталось у меня несколько писем, написанных моим братом Дмитрием дядюшке Петру Нарышкину. Каким-то образом они оказались среди увезенных за границу бумаг, хотя были отправлены в его каширское имение. Вот первое из них, датированное 27 февраля 1917 года.

«...Трамваи больше не ходят, извозчиков нет. Мы пошли с мама в Институт пешком. На улицах было спокойно, но очень людно. Когда мы с Алексеем и Юрой вышли из Института, то решили перейти на другую сторону Невского. Однако мы не сделали и сотни шагов, как началась перестрелка. Мы поспешили обратно, но двери института были уже заперты. Пришлось нам укрыться в главном подъезде. Перестрелка все усиливалась, полицейские засели на крышах и оттуда стреляли по

толпе. Поднялась паника. Чтобы нас не растоптали, мы кинулись на Семеновскую. Итог таков: четырнадцать убитых, огромное количество раненых...»

В жизни мне довелось видеть не один бунт, не одно кровавое действо; чаще всего были они скоротечны. Но выстрелы, что прогремели впервые в тот день, 26 февраля, оказались предвестием кровавой братоубийственной войны.

Штурмовать Екатерининский институт никто и не собирался. Мы провели там еще несколько дней среди такой же неразберихи. Лишь третьего марта (по новому стилю шестнадцатого) все мы, даже самые младшие из нас, поняли, что окончилась целая эпоха. Накануне Император отрекся от престола. Ученица первого, самого старшего, класса, которой поручено было читать утренние молитвы, не решилась опустить обычную молитву о Государе Императоре и его семье, запнулась, не смогла заменить имя царя словами «Временное правительство» и разрыдалась. Классные дамы поднесли к глазам платочки. Плакали старшие ученицы, и мы заплакали тоже. Не вполне понимая, что крылось за этим изменением формулировки, мы ощущали тем не менее всю значительность момента.

Вскоре одна за другой стали приезжать матери воспитанниц и забирать своих дочерей. Мы уехали среди первых. Судорожными движениями стягивала я с себя институтскую форму. В новой жизни, куда я вступала, ей места не было, и поэтому она внезапно приобрела некое ностальгическое обаяние. Мать ждала нас в голубой гостиной госпожи Ершовой, нашей начальницы, куда вчера еще ни одна воспитанница без трепета не входила. И вот мы покинули Институт и вышли на набережную Фонтанки, оказавшись в нервно возбужденной, неуверенной в себе столице. Никакой радости в связи с этим поспешным отъездом я не испытывала.

Я не узнавала петроградских улиц: по ним разгуливали разнузданные солдаты, какие-то люди в картузах; спешили прохожие в гражданском платье. И еще одна невидаль: очереди перед булочными и молочными лавками. «Скорей, скорей, — повторял кучер, — не то снова начнется!» Свобода обернулась к нам другой своей стороной — беспорядком.

Моя старшая сестра была в то время с тетушкой в Севастополе. Не желая занимать слишком большую для нас квартиру на Васильевском, моя мать сняла на месяц-другой меньшую на Фурштатской. В ней-то мы и пережидали события, но выходить из нее нам, детям, не разрешалось. Одной из причин запрета было то, что Дмитрий отказался ходить без мундира, несмотря на оскорбления, которым подвергались на улицах учащиеся привилегированных учебных заведений. Под нашими окнами проезжали грузовики с рабочими. Однажды мы видели, как Родзянко, бывшего председателя Государственной Думы, демонстранты триумфально несли на руках.

Дмитрий продолжал свой семейный репортаж, предназначенный дядюшке Петру Нарышкину: «В Петрограде происходит что-то ужасное, настоящие сражения. На сторону восставших перешло пять полков. На Литейном, где мы живем, перестрелка не утихает. Стреляют не только из винтовок и пулеметов, но даже из пушек. Офицерам нельзя показаться на улице: солдаты отнимают у них оружие, издеваются над ними и иногда даже убивают. Полиции больше не существует. Убили двух приставов. Хуже всего то, что солдатам удается добывать водку и они напиваются. Опасаются повальных ограблений магазинов, банков, частных квартир и т. д. Сегодня распустили Думу и Государственный Совет. Нас, лицеистов, отправили на каникулы, пока все окончательно не успокоится. Но когда оно наступит, это окончательное спокойствие?»

Под прикрытием революции начали сводить и личные счеты. Многим людям приходилось ночевать каждый день на новом месте: обыски и аресты чаще всего производились под утро. Так, однажды у нас появилась, совершенно растрепанная, родственница нашей матери. Мужа ее, полковника, только что арестовали.

— Если придут, — попросила она, — скажите, что я сестра милосердия.

Наш друг Григорьев, полицмейстер, отправил семью в безопасное место и был дома один, когда в дверь позвонили солдаты. Быстро облачившись в белый фартук и колпак своего повара, с таким же брюшком и такого же дородного, как и он сам, хозяин дома стал водить незваных гостей по всем комнатам, по всем закоулкам своего дома в поисках себя самого. Как только солдаты удалились, он «подался в бега».

Какому-то генералу удалось пропихнуть свой револьвер за окно, на внешнюю часть подоконника, и таким образом доказать, что он безоружен.

В иных случаях солдаты, напротив, оберегали своих офицеров. Так, к отцу моего будущего мужа, офицеру запаса, служившему во время войны в Петрограде, пришло однажды несколько солдат; они поселились у него на квартире, чтобы с ним ничего не случилось.

Моя мать отправлялась в город одна, без нас, узнавать новости. Она была хорошо знакома с князем Львовым, тогдашним председателем Временного правительства. В 1905 году князю была поручена организация помощи голодающим, в ней принимала участие и моя мать.

Направляясь в Таврический дворец, который прекрасно был ей знаком (она живала в нем у своей тетушки, фрейлины вдовствующей Императрицы), моя мать задержалась по пути из-за толпы, скопившейся у дворца Кшесинской. Стоя на балконе, Ленин произносил речь. Она остановилась послушать, и личность оратора произвела на нее впечатление. Она нашла, что его речь своей демагогией могла понравиться народу. Разумеется, он и не думал в те дни излагать подлинную программу коммунистической партии, и его обещание «земли народу» оказалось в свете дальнейших событий простой ловушкой.

Когда князь Львов принял мою мать, она сразу заговорила с ним о Ленине.

— Полноте, — ответил князь, — он не опасен. Мы его арестуем, когда и где захотим, если сочтем это необходимым.

Перейдя затем к своим личным заботам, моя мать попросила у него совета. У нее оставалось еще достаточно денег, чтобы уехать с нами в Финляндию и там переждать.

— Да нет, зачем же! Все скоро уляжется, восстановится порядок. А долг сейчас у помещиков один: вернуться на свои земли и помогать народу в осуществлении его новых задач. Люди доброй воли нам нужны, и чем больше их будет, тем лучше.

Так же думал и мой отец, для которого жизнь вне России вообще не имела смысла. Он приезжал в Петроград повидаться с нами, но тут же воротился в деревню. В Матове все было спокойно, и отношения отца с крестьянами оставались прекрасными. «Все образуется», — любил он повторять. И в конце концов все решила телеграмма из Прони. Управляющий сообщил моей матери, что крестьяне вот-вот все подожгут и что он предпочитает уехать, так как больше не может нести возложенную на него ответственность.

Так оставили мы Петроград, где события разворачивались все стремительнее, и отправились в Проню. Однако, прежде чем вывезти всех нас в деревню, моя мать решила посмотреть, какова там обстановка, и оставила нас на время у родственников в Москве. До своего отъезда она успела получить предложение от Полякова, очень видного финансиста, желавшего приобрести (риск в делах необходим) уральское имение, унаследованное нами от дяди Вани. Поляков предлагал миллион. Моя мать как опекунша хотела получить за него несколько больше. Сделка так и не состоялась, но, повернись дело иначе, мы ничего бы не выиграли. Жребий был брошен. Рубль падал с каждый днем; экспортировать капитал не представлялось возможным. Как бóльшая часть состоятельных русских людей, мои родители в начале войны отозвали в Россию все свои деньги, о чем просил Государь.

Москва, более приверженная традициям, менее индустриальная, чем Петроград, пребывала в ожидании. Общее настроение было еще вполне благодушным, и наша двухнедельная остановка в одной из арбатских улочек стала своеобразной и живописной передышкой. Мы поставили свечку Иверской Божьей Матери в часовне, впоследствии взорванной коммунистами; осмотрели Кремлевский музей, который я снова увижу совершенно неизменившимся в 1956 году. Правда, на улицах мальчишки продавали «Кровавую историю Французской революции» — наспех изданную брошюру, имевшую цель пристрастить русских людей к вкусу крови. Как-то раз моя тетушка вернулась домой пышущая гневом и рассказала, как влепила пощечину уличному торговцу за то, что он выкрикивал: «Почитайте, как Сашка Гришке рубаху справила!» (Имелись в виду Александра Федоровна и Распутин).

Много родственников было у нас в Москве. С большинством из них я виделась тогда в последний раз. Зеленоглазая красавица Варя, моя кузина, сойдет с ума; старший ее брат будет убит. Младший, шестнад-

цатилетний защитник Манежа, куда во время октябрьских событий засели юноши, сражающиеся против коммунистов, будет позже сослан, лишен гражданских прав, проведет долгие годы в сибирских лагерях. После разоблачения культа личности Сталина ему наконец разрешат вернуться в Москву; отсутствие его длилось тридцать восемь лет. Я надеялась с ним встретиться, но не пришлось: в самую ночь своего возвращения он скончался от инфаркта в нескольких метрах от дома, где я тогда жила.

Но пока в древней русской столице ничего трагического не происходило. Няня моя Клеопатра, пользуясь случаем, решила немного поразвлечься и тайком водила меня с собой. Память у меня превосходная, и я помню до сих пор, как развлекались москвичи в памятном «Божьей немилостью» 1917 году.

Я видела забавную евреиновскую «Вампуку» — оперу-пародию, где влюбленная пара, нежно обнявшись, долго пела, не двигаясь с места и с непоколебимой серьезностью: «Мы бежим, бежим, бежим...». «Эфиопы» воинственно бегали и распевали: «Мы э... мы э... мы эфиопы,
Мы про... мы про... противники Европы!» — а это уже было почти пророчеством. В театре «Кривое Зеркало» я посмотрела и некий фарс под названием «Судьба человека» — сатирическое представление о только что провозглашенном равноправии женщин. Двое мужчин, в кружевных пижамах, в локонах, натирали до блеска ногти (лака тогда еще не изобрели), сидя в розовом будуаре, и болтали о пустяках в ожидании своих супруг — мужеподобных, коротко стриженных, одетых в строгие темные костюмы. Они возвращались домой к обеду, каждая из своего министерства, неся под мышкой набитый бумагами портфель.

Более туманным представлялся мне долгое время фильм, шедший в «Электротеатре» Ханжонкова. Он вызывал у Клеопатры обильные слезы. В главной роли снималась очень красивая звезда тех лет Вера Холодная; ее партнером был, если память мне не изменяет, Иван Мозжухин. На экране барышня из хорошей семьи, живущая в роскоши и обрученная с воспитанником Императорского лицея, вела себя очень странно с лакеем. Я тогда не понимала, какие события привели красавицу в сильное волнение. Ее тревога нарастала, пока она не приняла как-то раз горячую ванну, вслед за чем, выйдя из ванной комнаты в прозрачном халатике — в те годы кинозвезды обнаженными не снимались, — она распахнула настежь окно (это показалось мне несусветной глупостью) и долго стояла под резкими порывами ветра, а на грудь ей ложились хлопья снега неестественной величины. Следующий кадр показывал Веру в постели. Врач беспомощно разводил руками. Она умирала. Жених предавался отчаянию, из широко раскрытых глаз его лились слезы (мне ни разу не удалось проделать такой трюк). А рыдающий лакей прятал свое горе за занавеской. Все это сопровождалось печальными аккордами, извлекаемыми тапером из фортепьяно в яме под экраном.

Но моим «подпольным» увеселениям скоро пришел конец. Уже не кинематограф, а сама жизнь готовила для меня новые образы и картины.

Я была все же достаточно взрослой, чтобы заметить, какая гнетущая обстановка встретила нас в Проне. Управляющий сбежал. Слуги же, австрийцы, Никита и Лидия дожидались нашего возвращения и распоряжений моей матери. От них мы узнали, что, как только до деревни дошла весть о революции, дудкинские крестьяне поспешили отпраздновать это событие на свой лад. Они сорвали печати, наложенные правительством на спиртохранилище, и, торопясь напиться, не стали тратить времени на то, чтобы разбавить спирт. Двое из них свалились в огромный чан, найдя там надлежащую смерть, однако остальные продолжали пьянствовать, вытащив трупы из спирта. Пили, по словам некоторых, даже пока трупы еще плавали в чане.

Возможно, чрезмерность этих возлияний на время парализовала их действия, но вскоре они снова взялись за свое.

Однажды мы увидели приближающуюся к нам толпу крестьян, настроенную совсем не дружелюбно. Их глашатаем был молодой солдат, который незадолго до того дезертировал, как поступали тогда многие. На нем была «революционная форма»: ворот гимнастерки расстегнут, погоны сорваны. Звали его Чикин; умная бестия и к тому же, как мы знали, личный враг дяди Вани. Его присутствие ничего хорошего не предвещало. Мой отец — он приехал из Матова нас встретить — предложил принять гостей. Но крестьяне его не знали, и мать моя, искусный оратор, предпочла сама выйти на переговоры. Мы отказались отпустить ее одну, и в конце концов предстали все, от мала до велика, перед угрожающим лицом толпы. Австрийцы стояли поодаль, готовые вступиться в случае, если события примут дурной оборот. Однако наш «семейный выход» был истолкован как знак доверия. Некоторые суровые лица помягчели, а головы обнажились. Чикин осмотрел нашу группу холодным и пристальным взглядом; затем, не вынув приклеенного к губам окурка, протянул отцу руку и пустился в невразумительную речь, вставляя произвольно то тут, то там недавно выученные и плохо усвоенные слова (например, вместо «конфликт» он говорил «комплект»). Пока он лавировал среди словесных рифов, нам приходилось сдерживать улыбки. Он говорил, что пришел, чтобы нас успокоить; что свободные граждане не желали нам никакого зла. Лично он был скорее доволен тем, что Ивана Александровича Бернарда уже нет в живых; что же до «товарища князя», то он находил его скорее симпатичным. «Конституция, революция, аннексия, репарация, контрибуция, земля крестьянам, реквизи-

ция, автономия, махинация...» Продираясь сквозь эту словесную галиматью, родители пытались понять суть дела.

Чего же хотели крестьяне? Поделить между собой бо́льшую часть нашего скота, выкупив его у нас за смехотворную, ими самими назначенную цену. Относительно земли, основную часть которой они у нас арендовали, они настроены были ждать окончательного решения Временного правительства. Что же до леса, довольно значительного, входящего в Пронинское поместье, они предлагали, чтобы мы взяли его под свою охрану: его оспаривали несколько сел и, чтобы избежать конфликтов, необходимо было оставить его под надзором единственных незаинтересованных лиц, то есть бывших его владельцев. Совет каждого села будет выдавать ордера тем крестьянам, которым понадобится строительный лес, а мы должны следить за тем, чтобы вырубки без надлежащего разрешения не производились.

Пришлось на это согласиться, хотя бы для того чтобы избежать повальной вырубки леса. На том и порешили. После этого отец тотчас вернулся в Матово и настоятельно советовал матери присоединиться к нему со всеми нами.

Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Чикин все чаще и чаще стал наведываться к нам и надзирать за тем, что происходит в Проне. Он пытался — правда, безуспешно — переманить на свою сторону наших рабочих и слуг. Каратош ответил ему, что «лучше быть лакеем у барина, чем лакеем лакея»! Каждый остался на своем месте, а мы с Дмитрием и двоюродными братьями стали играть в лесничих. У меня сохранилась моя лошадь по кличке Пупс, невысокая, но быстроходная. С утра я направлялась в лес в сопровождении моего мопса, его тоже звали Пупс. Останавливалась я у дома лесничего, молчаливого философа, который занял выжидательную позицию, не принимая ни той, ни другой стороны. Через плечо я несла свою «франкотку», а на поясе у меня был мой маленький револьвер «бульдог» с перламутровой рукоятью.

В штанах и картузе, я чувствовала себя ковбоем с Дикого Запада, но подстерегать мне приходилось не краснокожих, а русских крестьян. В «отведенном мне секторе» я наслаждалась одиночеством, пришпоривала лошадь среди высоких и стройных стволов, пересекала тропинки, забывала обо всем на свете, погружаясь в шум листвы и пение птиц. Изредка встречала я крестьян, которых, согласно инструкции, я просила предъявлять ордера.

Все шло прекрасно до того дня, когда, привязав Пупса к дереву и развалившись в траве, я вдруг услыхала звук топора. Повинуясь только долгу, я тотчас прыгнула в седло и направилась в сторону неведомого дровосека. Недалеко от опушки я заметила того, кого искала, — им оказался сам Чикин. Дерево, над которым он усердствовал, было уже сильно подрублено, а лошадь его и телега ждали у опушки на дороге.

— Здравствуйте, Чикин! — крикнула я ему.

Он остановился и неторопливо, с топором на плече, направился в мою сторону. Вид у него был мрачный и решительный, и меня вдруг охватило чувство, что ко мне приближается опасность.

— У вас есть ордер от Совета? — спросила я, а в горле у меня пересохло.

— Ордер? Я вам покажу ордер! — ответил он.

Он подходил все ближе, и я явственно ощущала топор на его плече.

Защищаться? Конечно, револьвер мой здесь, под рукой, и на таком расстоянии я не промахнусь, но как узнать, действительно ли человек намеревается вас убить? Чикин останавливается в нескольких шагах от меня; я смотрю на него, он — на меня, ни один из нас не двигается, я держу руку на рукояти «бульдога», его рука лежит на топорище...

Наконец, я слегка пришпориваю коня, поворачиваю вправо, шагом, чтобы не походило на бегство, и кричу ему голосом, которому пытаюсь придать твердость:

— Как хотите! Во всяком случае я сообщу об этом в Дудкинский Совет!

До меня доносится его ругань, но я уже вне его власти. Страх все еще держит меня. Сердце сильно колотится, но я испытываю и некоторое удовлетворение. По всей видимости, Чикин обошелся без разрешения, и мысль о том, что нашему личному врагу придется объясняться перед своим же Советом, мне скорее нравится.

Я выезжаю из леса и по пыльной дороге направляюсь к Выселкам — хутору в несколько крестьянских дворов. Нравы там еще не совсем переменились. Я останавливаюсь, и первая встречная крестьянка приглашает меня в избу.

— Кваску хочешь?

Я пью кисленький напиток, а она смеется над моим мальчишечьим облачением.

Чикин и его топор далеко. Теперь это всего лишь интересная история, которую я всем расскажу, возвратившись домой.

Солнце склоняется к закату, нескошенные поля розовеют. Вот единственная в наших краях возвышенность над заливом еще принадлежащего нам озера. Внизу белеет песчаный карьер. Осталось только переехать мост, миновать домики священника и дьякона. Среди поспевающей уже конопли высится пугало. Я въезжаю на мост, и нашедшие под ним приют утки вылетают, шумно взмахивая крыльями. Лошадь пугается, встает на дыбы; я чуть не вылетаю из седла.

Я сделала успехи с того далекого дня, когда мой брат взгромоздил меня на першерона, распряженного после полевых работ, такого широкого, что мои ноги расходились в шпагате над его потными боками. Я только и смогла, что ухватиться за его гриву, пока он тяжелой своей поступью спускался вместе с остальными лошадьми к пруду и пил, фыркая от удовольствия. На следующий день после этого деревенского экзамена мне подарили первую мою лошадь. Я, конечно, не наездница высшего класса, но умею ездить и в английском седле, и в казачьем, и вовсе без седла, брать препятствия, заставлять лошадь слушаться моей воли. Между нами некое молчаливое согласие. Мы понимаем друг друга без слов, будто играем: она — в верховое животное, а я — во всадницу. Между людьми подобная молчаливая договоренность — я уже это знаю — достигается куда труднее.

У нас с окрестными крестьянами тоже идет игра: с одной стороны — недоверие, с другой — неприязнь; иногда краткие вспышки симпатии вселяют надежду. Так, в один прекрасный день мой брат и кузен получают приглашение быть шаферами на сельской свадьбе — будто между нами ничего и не произошло. И я с ними еду на последнюю свадьбу, которую суждено мне было увидеть в Тульской губернии.

В сияющей чистотой избе я жду прибытия из церкви свадебного шествия. Молодые едут на телеге, и подруги невесты держат над ними деревце, увешенное красными тряпицами. Отец и мать жениха стоят перед избой, держат деревянный поднос с хлебом-солью и икону. На пороге они благословляют преклонивших перед ними колена молодых, которых затем вводят в дом и подводят к красному углу. Их правые руки связаны вышитым полотенцем. Обливаясь потом в роскошных своих нарядах, они просят почетных гостей (да! мы еще состоим в этом чине!) занять места рядом с ними.

Скамей не хватает, и многим из гостей приходится слушать стоя, как девки поют старинные свадебные песни, пока бабы подносят приготовленные яства, среди которых два огромных пирога, присланных моей матерью.

Пойду ль, выйду ль в вертоград,
В огород да погулять,
Не поспел ли виноград,
Не пора ли оборвать! —

поют девки в краю, где винограда не знают, не задумываясь о том, что песня эта, по всей вероятности, пришла к ним из средневековья, из Киевской Руси.

На подносах — горы пряников, орешков и карамелек. Льется водка, веселье становится все более шумным. Языки развязываются. Под крики «Горько! Горько!» молодые целуются. Шутки, смысл которых мне неясен, вызывают грубый смех. Становится душно, как в бане, но никто не жалуется; пол постепенно покрывается шелухой от семечек. Водка все льется и льется, запевает гармонь. Все теснятся, чтобы освободить место хотя бы одной танцующей паре. Выходит женщина, плечи ее вздрагивают в такт музыке, хотя сама она стоит на месте. Сапоги ее партнера отбивают по полу все более и более стремительную чечетку. Смех, возгласы звучат все громче. Заплакал ребенок, полузадушенный в толчее; пахнет потом, табаком, луком и гвоздичным маслом. И это — тоже облик страны, где я родилась. Мне вспоминается стихотворение Лермонтова «Родина»: как и он, я готова «в праздник, вечером росистым», смотреть до полночи «на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков». Но брат мой внезапно находит мое присутствие излишним и отправляет меня одну домой.

Атмосфера в Проне тем временем становится все более гнетущей. Мы живем среди неясных угроз. Соседние села — Дудкино, Выселки, Новая Деревня — собирают сходки и приглашают на них мою

мать. Соперничая между собой, все они «ставят на нас». Моя мать отправляется верхом, в сопровождении мальчиков; она слушает, говорит сама, зная, что все это напрасно. Нет у нее к этим людям доверия. Мы принимаем всевозможные меры предосторожности, так как не знаем, что́ может взбрести им в голову. Никита натаскивает наших довольно-таки добродушных псов. Он запирает их днем, а на ночь выпускает на свободу. Кроме него самого, двоюродного брата Юры и меня, никому не разрешается их кормить. Всю ночь старик сторож по прозвищу Лягушка бродит вокруг дома, и его колотушка успокаивает меня, если я просыпаюсь среди ночи. Мы знаем, что можем рассчитывать и на австрийцев, верных наших стражей. Но мыслимо ли жить в постоянном страхе заживо сгореть или быть зарубленными, даже при решимости оказать, если потребуется, отнюдь не символическое сопротивление?

В Проне Никите суждено было сойти со сцены, для крестьян — ненадолго, а для нас — навсегда. Ничто не могло убедить нашего сторожа в том, что грубыми методами добра не достигнешь. Он продолжал свирепствовать, жестоко выступая, по своему далеко не блестящему разумению, против любого проявления беспорядка. Он не только преследовал своими грубыми домогательствами баб, которых заставал одних в поле, но применял драконовские меры, даже не докладывая о том моей матери, против малейших проступков и мелких краж, которые и до революции считались столь обычным делом, что принято было на них смотреть сквозь пальцы. Если Никита находил лошадей, «преднамеренно заблудившихся» на наших пастбищах, то вместо того чтобы отогнать их в сторону деревни, он, не колеблясь, приводил их на наш конный двор. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, как пороть мальчишек, опустошавших наши фруктовые сады. Такое поведение было чревато неприятными для него последствиями.

Действительно, наступил день, когда он предстал перед моей матерью с окровавленным лицом, разбитой челюстью и выбитыми зубами. Вспухшими губами он бормотал что-то невнятное: то ли «ельвер», то ли «ельволер». У нас был пес по кличке Орел, и моя мать спросила:

— Что случилось? Орел взбесился?

Никита отрицательно замотал головой.

— Еввер, евольвер.

Оказывается, он требовал револьвер; уж ему-то моя мать ни за что бы не доверила оружие. Наконец, нам уда́лось понять, что дудкинские мужики заманили его в западню, чтобы устроить над ним расправу. Однако смерти он избежал, хотя его вполне могли бы убить.

Револьвера Никите не дали, но одолжили ему лошадь, и этот человек с разбитой челюстью, со сломанными ребрами преодолел, как мы узнали впоследствии, десятки километров сперва до Епифани, а затем и до Тулы.

Дудкинские крестьяне просчитались. Им пришлось еще встретиться с Никитой в составе карательного отряда Чека, когда коммунистический режим стал по-своему расправляться с возникавшими из-за голода беспорядками.

Но в Матове все спокойно, и отец торопит нас с переездом. Там наше родовое поместье, там отношение к нам дружественное.

Итак, решено: мы покидаем Проню. Сообщаем об этом Чикину. Он страшно недоволен и приходит к нам с другими крестьянами удостовериться в том, что уезжаем мы с пустыми руками. Моя мать вступает с ним в нелегкую дискуссию. Чикин считает, что все, что находится в Проне, и даже то, что в свое время было привезено из Матова, должно остаться на месте. Ведутся переговоры, вырываются некоторые уступки. В дело вмешиваются и австрийцы. Моя мать подарила им поросят, они выращивали их и откармливали для своего личного пользования. Они утверждают, что как работники имеют право на плоды своих трудов и хотят увезти свиней в Матово, куда они решили отправиться вслед за нами. Чикин не согласен, обстановка накаляется...

Наконец, наступает день, когда под мрачным взглядом Чикина начинается первый наш исход. Нам удалось отстоять и сохранить при себе наших личных лошадей и некоторую скотину, которую два года тому назад перевезли сюда из Матова. Наше семейство в полном составе упаковало свои вещи. У нас больше нет ни гувернантки, ни домашнего учителя, но тем не менее нас очень много вместе с тетей, двоюродными братьями, Павликом Самойловым, другом моего брата (его родители в Крыму, и он стал для нас как член семьи). Скотницы, беженцы из Галиции и, разумеется, австрийцы уезжают с нами. Все мы покидаем Проню без тени сожаления. Обоз наш трогается в путь, а австрийские поросята, история которых на этом не заканчивается, остаются.

И вот я снова увидела старую усадьбу, и Медведя, и дорожку, ведущую к огороду; снова встретилась с моим другом, конюхом Василием, бесславно пришедшим с войны, вернулась в свою розовую комнатку и снова, как прежде, любовалась разлитым по цветам солнечным светом раннего лета.

В ту пору и родилась «Матовская коммуна» с таким же юридическим лицом, как и любое другое учреждение той эпохи. Все еще временное, правительство только что издало несколько декретов. В одном из них оговаривалось число десятин, которое разрешалось иметь каждому земледельцу. Оказывалось, что, если исключить пятьсот десятин, арендованных у нас крестьянами, оставшиеся за нами поля не превышали по своему размеру норм, установленных правительственным декретом (при условии деления площади полей на количество ртов, которые должны были от них кормиться). Каждый из нас, в том числе и дети, был приставлен к определенному делу: Дмитрию поручили молочное хозяйство, Наташа стала нашей экономкой, а на мою долю выпал курятник. Как «сознательные и организованные земледельцы», мы были полны решимости продвигать наше хозяйство по пути прогресса.

Дело, разумеется, не обошлось без дебатов с делегатами от крестьян. События были столь запутаны, что наши соседи из деревни Матово пребывали в некоторой растерянности. Ходили слухи о грядущих всеобщих выборах, но политические партии, обозначенные маловыразительными сокращениями: «кадеты», «эсеры», «эсдеки», малопонятными словами: «большевики», «меньшевики», оставались для них отвлеченными понятиями, что затрудняло их выбор.

— А вы за кого голосовать-то будете, товарищ князь?

— За большевиков, — отвечал с серьезным видом мой отец, и один лишь Павел, этот хитрец, догадывался о том, что это было шуткой.

Но я должна вернуться к истории с поросятами, которая повлекла за собой серьезные осложнения. Едва освоившись в Матове, австрийцы стали опять подумывать о свиньях. «Не для того, — говорили они, — мы их растили и кормили, чтобы жирели от них другие свиньи!» Действовать надо было быстро, и они послали к нам своего представителя, который изложил выработанный ими план похищения животных. Моей матери, кажется, показалось это забавным, но она, естественно, никак не желала участвовать в предстоящей операции. «Дело ваше, договаривайтесь с Федором, это ваша собственность, не моя». Австрийцы расценили такой ответ как безмолвное согласие. И вот однажды вечером

летучий отряд молодых свинарей отправился в партизанскую экспедицию на наших, разумеется, лошадях, хотя считалось, что моя мать ничего об этом не знает. Операция удалась блестяще. Несмотря на внушительные размеры животных, все три свиньи оказались той же ночью в Матове, где и окончили на рассвете свое недолгое, но добродетельное существование. Их тщательно разделали и засолили в бочках. Поспешность этой экзекуции спасла нас от крупных неприятностей. На следующий же день Чикин прискакал из Прони в преотвратительном настроении в сопровождении двух прихвостней; все это мероприятие носило громкое название «комиссии, уполномоченной на розыск украденных свиней». С трудом сохраняя серьезное лицо, моя мать приняла гостей. «Мне ничего об этом не известно, — сказала она им, — свиньи не мои. Вы утверждаете, что у вас их украли и что они в Матове. Ну что ж, раз вы здесь, я распоряжусь, чтобы вам дали все осмотреть». И она вызвала Федора, который с достойнейшим видом отвел членов «комиссии» на скотный двор. Перед ними распахивались все двери, им показывалось все, что они желали видеть. Свинарки поклялись, что питомцев у них за ночь не прибавилось. Чикин уехал не солоно хлебавши, австрийцы же торжествовали победу.

Матово в ту пору было охвачено своеобразным поветрием внебрачных беременностей и рождений. Удивительного тут ничего не было, и нетрудно предположить, что потомки красавца-австрийца Мартина трудятся и по сей день на тульских совхозных полях. Трагедии эти не могли пройти мимо меня, и сценарий был всегда один и тот же. Кухарка ли вдова Настя, хорошенькая ли беженка Маринка, горничная ли Анюта — все они вначале проливали обильные слезы, затем начинали полнеть, и тут-то моя мать, опасаясь, видимо, как бы они не попытались избавиться от ребенка небезопасным деревенским способом, говорила провинившейся: «Ну что тут такого, родится дитя, ты воспитаешь его. Хочешь, крестной будет княжна Наталья или княжна Зинаида?» Немало приняла я на руки, сама еще будучи ребенком, таких вот незаконных детей! Случалось, гуляя по усадьбе, заглядывала я в домик, где обитали наши малороссийские амазонки, ждущие возвращения в свои полтавские деревни. Там я заставала одну из них, кому выпал черед, качающую несколько люлек, подвешенных к потолку. Как моя мать ни старалась привить им некоторые правила гигиены, они стояли на своем, предпочитая чистоте и лекарствам допотопные бабкины средства. Порезанный палец, к примеру, обматывался паутиной; остальное в том же духе. Однако я не припомню, чтобы кто-то умер в своеобразных этих яслях.

Наступила уборочная пора, и все мы принялись за дело, весело соревнуясь между собой. По полям разъезжали, взгромоздившись на жнейки, бывшие офицеры и гимназисты. Погода стояла чудесная. Поставленные в бабки золотые снопы просушивались на ветру. Я помогала то кому-нибудь из австрийцев, то одному из мальчиков аккуратно уло-

жить их в фуру. Затем, взобравшись наверх, везла их на гумно, где работала молотилка под неизменным присмотром Матвея, кузнеца и механика-самоучки. Иногда у меня были другие обязанности: я садилась верхом, без седла, на старого мерина; к постромкам прицепляли большую копну соломы, я волокла ее под навес.

Небыстрые, размеренные эти поездки продолжались целый день, сопровождаемые стрекотанием молотилки, шутками работников и пыльным облаком мякины, от которой я укрывала волосы по-крестьянски повязанным платком. Усталые, голодные, возвращались мы с полей. Матово оставалось еще для нас страной изобилия, и плодов земных имелось у нас предостаточно.

Этим летом 1917 года будущее оставалось туманным, однако настоящее не было лишено радостей и удовольствий. Политики продолжали вести в столице опасные свои игры, но до деревни доносились лишь приглушенные отзвуки. Была, правда, еще и местная политика. Как только кончилась уборка урожая, в первые же осенние дни возобновились митинги и сходки. Помню одно из таких собраний, когда столовая наша заполнилась крестьянами. Председательствовали мои родители: как видно, со старыми привычками покончить было не так-то просто. Я пришла тоже, из чистого любопытства, и стояла среди тех, кому не хватило стульев. Я ничего не понимала в прениях, взгляд мой рассеянно скользил по знакомым лицам матовских крестьян. Напротив меня были окна, выходящие в сад, и вдруг я заметила странное колебание висящих на них занавесок. Затем одна из них сорвалась и упала. Я подошла к моей матери и сообщила ей свои наблюдения. Она сразу поняла, в чем дело.

— Пока мы здесь обсуждаем наше будущее, — сказала она громким голосом, — и мы принимаем вас, как друзей, посмотрите, что происходит. Кто-то ворует наши занавески. Разве это достойно свободных граждан?!

Последовало всеобщее смятение. Воровку обнаружили и под суровое осуждение собравшихся выдворили вон.

Лето ушло, настала осень. Неотвратимо надвигалось великое испытание, из которого русский народ не вышел и по сей день, — Октябрьская революция. Коммунистическая власть пользовалась поддержкой лишь в столице. Ноябрь и декабрь она посвятит тому, чтобы укрепиться и в провинции.

Эти события у нас в деревне отозвались не сразу, и важности их никто как будто не сознавал. Матовские крестьяне никаких личных обид на нас не имели и отъезда нашего не жаждали — напротив, они хорошо к нам относились, но, как и большинство людей, искали прежде всего своей собственной выгоды. Революция совершилась, но никто не знал, сколько она продлится и к чему приведет. Все могло еще повернуться вспять, и в таком случае у кого бы, как не у своих помещиков, матовский крестьянин пошел искать поддержки и защиты? Если бы все возвратилось на круги своя, мы бы за крестьян и поручились. Их не так соблазняло наше имущество, как пугала мысль, что оно достанется кому-то другому: гремячевским, например, или, хуже, городским, или, что было бы уж совсем плохо, правительству новой республики. Если бы их заверили в том, что ничего этого не произойдет, они бы вполне довольствовались тем, что уже получили от нас полюбовно. Но никаких гарантий никто им дать не мог, и мысль о том, что из их рук или из рук хозяев ускользнут земли, леса, фруктовые сады имения и перейдут к «чужакам», страшила их постоянно; это было их единственной заботой.

В начале осени к отцу пришла делегация из деревни Матово. Ходили слухи о конфискации рощицы, посаженной отцом в дни его молодости. Так не лучше ли было бы дать воспользоваться этим добром нашим друзьям и ближайшим соседям? Матовский Совет решил начать вырубку как можно скорее, так как зима была на пороге, но хотел сначала заручиться нашим согласием. Но тут отец разразился громоподобным гневом — такое с ним случалось. Ничто его так не возмущало, как разорение того, что могло стать со временем источником богатства, даже если богатство это должно было достаться не ему.

— Дураки! — кричал он. — Какой вам прок от молодых деревьев? Дров от них вам хватит с трудом на одну зиму, а лет через тридцать был бы у вас строевой лес, единственный во всей округе! Нет, согласия моего вы не получите. Никогда! Рубите, если хотите, но будете потом локти кусать. Тем хуже для вас!

Лес был любимым детищем моего отца, он всегда сокрушался, видя, как в наших краях скудели леса. «Кто за свою жизнь не посадил хотя бы одного дерева, тот не прожил достойной человека жизни», — говаривал он. И вот теперь у него на глазах такое варварское истребление... На опушке уже выстроилась вереница телег. Из сада мне было видно сквозь живую изгородь, как слезали с них мужики и бабы вместе с детьми. Никакого плана вырубки не было и в помине, каждый действовал сам. За дело взялись с упорным ожесточением, всем хотелось отхватить себе побольше за счет соседа. С кряканьем опускали топоры на тощие стволы берез, дубков и осин. Этот мерный стук доносился до нас сквозь стены дома, куда укрылась наша семья. «Сукины дети! Сукины дети!» — ругалась я по-деревенски, но никто меня не останавливал. Так пережили мы первую драму после возвращения в родное гнездо, и, странным образом, первую в жизни ненависть я испытала не к Чикину и пронинским, которые заведомо были нашими врагами, а к дружественным матовским крестьянам.

Но Немезида не дремала. Спеша нарубить побольше, никто не обращал внимания на соседа. Кто-то из мужиков отрубил себе палец, какому-то парню повредили грудную клетку; женщине пробили череп, ребенку сломали ногу.

И кроме нас, кого они так жестоко обидели, некому было оказать им помощь. В простоте душевной, к нам и прибежали родственники пострадавших, в то время как равнодушные к их беде соседи продолжали работать топорами. И мои родители, в той же простоте душевной, открыли запертые двери красного крыльца; туда, прямо на пол, уложили раненых и умирающих, и моя мать появилась с санитарной сумкой, чтобы оказать первую помощь несчастным жертвам, которых затем отправили в Холтобино, где был медицинский пункт.

В Проне революция тоже отозвалась волнениями, но на этот раз живые были вне досягаемости, и слепая ярость обратилась на покойников. Чикин со товарищи осквернили могилы моей бабушки и дяди Вани: гробы выкопали из земли и оставили гнить под осенним дождем.

Как только известие об этом мрачном событии дошло до Матова, моя мать приказала закладывать лошадей и тотчас же отправилась в Проню в сопровождении Дмитрия и моих двоюродных братьев, всех при оружии. Она упросила напуганного священника пойти с ней в церковь. После заупокойной литии гробы были вновь преданы земле, а кресты возвращены на могилы. На этот раз Чикин понял, что́ его ждет, вздумай он прервать церемонию, и не пикнул.

Отныне мы жили под коммунистическим режимом, а не под инфантильным Временным правительством. Речь уже шла не о том, чтобы как-то переждать события, а о том, чтобы за себя постоять. Матово решено было превратить в крепость. Взяли наперечет всех верных людей: это были австрийцы, Лидия и Анюта, кухарка Настя — по крайней мере так мы думали, — а также конюх Василий и кузнец Матвей.

Кучер Максим был убит на войне, вместо него был взят Андрей. Мои родители не очень-то ему доверяли, но решили из осторожности его оставить, чтобы он окончательно не переметнулся во вражеский лагерь.

Оружия у нас хватало. Я упоминала уже о том, что даже у меня были ружье и револьвер. Мой двоюродный брат Александр и его друг, оба офицеры, вернувшись с румынского фронта, захватили для обороны даже гранаты. Арсенал всех наших молодых людей был полностью укомплектован, от самых совершенных охотничьих ружей до маузеров, кольтов и револьверов Смита-Вессона, включая также древние пистолеты с инкрустацией и сабли наших предков.

Следовало подумать и о провизии. В городах уже голодали, голод подбирался и к деревне.

Как только наступала ночь, в матовском доме все приходило в движение. В подпол, о существовании которого раньше и помнить не помнили и куда надо было спускаться из коридора через скрытый люк, переносили мешки с мукой и с сахаром, бочонки с соленым русским маслом, бутыли с маслом подсолнечным, сало, копченое мясо.

Все как будто было предусмотрено; каждый получил предписание о том, что надлежит ему делать в случае возможного обыска или ареста. Впрочем, Матово превратилось в автаркию. Семейный чердак, каких уже не осталось в СССР и куда каждое поколение складывало то, что ему досталось от поколений предыдущих, позволил нам решить вопрос с одеждой. С незапамятных времен чердак этот, разумеется, радовал детей. Сундуки его раскрывались, чтобы нарядить нас в старинное платье для театральных представлений, костюмированных праздников и шарад. Семейные альбомы, где дремали лики исчезнувших предков, поблекшие дагерротипы, кипсеки, романтические альбомы, куда в прежние времена барышни переписывали полюбившиеся им стихи, связки старых писем и квитанций, медали и кресты, обезглавленная в результате бескровной экзекуции кукла, веера из слоновой кости, боа из страусовых перьев, черепаховые лорнетки, провалившиеся кресла... желтые и негнущиеся, некогда белые перчатки, кашемировые шали, выцветшие занавески... Но, оказывается, мы знали далеко не все, что скрывал этот чудесный чердак. В 1917 году из него извлекли кучерские крылатки из темно-зеленого тонкого драпа, великолепие которых нас просто потрясло; одна из них, целиком подбитая серебристой лисой, оказалась такой длинной и широкой, что Лидия тотчас же скроила из нее Наташе и мне шубы, которые подшили белой цигейкой, выделанной в Матове. А лиса украсила новые шубы, сделанные для моей матери и сестры Вали из прекрасных серых бархатных занавесок, найденных там же. Матовские овчины позволили одеть и наших молодых людей в деревенские тулупы красивого желтого цвета. Карл, австрийский сапожник, обул нас в превосходные ботинки и сапоги. Мы прекрасно подготовились к зиме...

Дни стали короткими, время тянулось медленно. Мальчики начали ходить на охоту; возобновились зимние развлечения. А для меня широко распахнулись дверцы просторных книжных шкафов. В десять лет мне

пришлось покинуть Институт, но зато в одиннадцать я смогла основательно пополнить свое образование в матовской библиотеке. В эту зиму я прочла Мольера и Шекспира, «Войну и мир» и «Анну Каренину», всего Алексея Толстого и всего Надсона, Кнута Гамсуна и Верхарна, Григоровича, Писемского, Гоголя, Тургенева, Майкова, Гончарова, Вальтера Скотта... Поэтов и прозаиков, хороших и плохих, я глотала, как акула заглатывает свежее мясо. Что-то я понимала, что-то нет, но то, что я понимала, приводило меня в восторг. Порой меня несколько удивляли фразы вроде такой: «Дрожащими руками он расстегивал на ней блузку» (Писемский). Но (это я обнаруживаю сегодня), не понимая их, я сохранила их в памяти!

Пробовала я взяться и за Достоевского, но от досады, что ничего в нем не понимаю, отступилась. Этот преждевременный книжный запой сказывался потом во всей моей жизни. Но что же руководило моим выбором среди этого раздолья предоставленных в мое распоряжение книг? Какие-то я выбирала, другие не производили на меня ровно никакого впечатления. «Все решено, когда нам нет и двенадцати», — писал Шарль Пеги. Вероятно, так оно и есть, но это значило бы, что выбор наш с самого детства диктуется нашей природой, а не образованием. Сексуальные вопросы не вызывали во мне никакого нездорового любопытства — они меня просто не интересовали. Не испытывала я и инстинктивного влечения детей к жестокости; у меня было достаточно развито воображение, чтобы переживать чужое страдание как свое собственное. Словом, те добрые чувства, что жили во мне, никак не зависели от моей воли. И у меня был Пушкин, на его заповедях я воспитывалась. «...А гений и злодейство — / Две вещи несовместные», — провозглашает его Моцарт. «На свете счастья нет, / Но есть покой и воля». И еще он утверждал, говоря о себе: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я Свободу / И милость к падшим призывал...»

Над всеми нами навис дамоклов меч, и Российская империя лежала ниц, сокрушенная новым порядком, а я решала, какой путь мне выбрать, чтобы покрыть себя славой: петь ли перед восторженным, рукоплещущим залом, царить ли, как Зинаида Волконская, над самыми блестящими умами века... Но стоило мне открыть рот, как меня тут же заставляли замолчать: «Ну нет, ты слишком фальшивишь». Что же до моего умственного превосходства, то оно, кажется, никого кругом не впечатляло.

Пушкин (опять он!) предложил мне за образец Александру Смирнову-Россет, которой посвятил следующее стихотворение:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

Ни свет, ни двор мне не были знакомы, и вряд ли когда-нибудь я узнаю их. Тем не менее женщина, бывшая другом и Пушкину, и Гоголю, представлялась мне идеалом, к которому мне следовало стремиться. Никакой другой образ, никакая другая литературная героиня меня не привлекали — ни Татьяна или Ольга из «Евгения Онегина», ни Наташа из «Войны и мира». Впрочем, я горевала о том, что я не мальчик. Мальчики — мне это было совершенно ясно — были существа высшей породы. Мужчины пользовались большей свободой, они в большей степени господствовали над жизнью; в том числе и над моей властвовали писатели, которыми я зачитывалась. Раз уж выпала мне женская доля, приходилось ею довольствоваться, однако некоторые сугубо женские черты в поведении моих сестер и подруг меня коробили, и я их отвергала.

Это было романтической порой в моей жизни. Я была уже не та, что в раннем детстве, не было больше во мне ни озлобленности, ни завистливости, потому что жила я в воображаемом мире, который открывали мне книги и который принадлежал мне одной. Однако только верхом на лошади я не ощущала себя скованной и неловкой, а на людях бывала несколько вялой и сонной.

Случалось, возникало у меня желание чувствовать себя в семье несчастной и одинокой, несмотря на всеобщую любовь, которая меня окружала. Воображала, что я найденыш, но эта горькая иллюзия развеялась перед здравым смыслом моей сестры Вали. Узнав о моих настроениях, она улыбнулась.

— Дурочка, — сказала она мне, — как ты только могла подумать, что, имея уже трех детей, наши родители захотели бы обременить себя четвертым, да еще девчонкой!

И без малейшей жалости ко мне добавила:

— Просто им не повезло.

Тогда я придумала другой повод чувствовать себя несчастной. Я нашла у Надсона (рано умершего, но некогда знаменитого поэта) довольно слабые стихи, но которые, мне казалось, относились как раз ко мне: «Бедный ребенок — она некрасива! / Зло над тобою судьба подшутила: / Острою мыслью и чуткой душой / Щедро дурнушку она наделила, / Не наделила одним — красотой!..»

Блестящего ума моего, по правде сказать, никто не замечал. А моя мать если и находила во мне что-то хорошее, так это, как она считала, мою исключительную (почти маниакальную) тягу к правде. Она не подозревала, что мое неприятие лжи имело лишь один источник — мою гордыню.

Странным образом, несмотря на наши семейные советы, которые собирались время от времени в комнате моей матери и где каждый из нас получал указания о том, как ему надлежит себя вести, если наступит критический момент, революция совершенно не занимала мои мысли. Однажды моя мать сказала нам, указав на старый чемодан, убранный среди прочих в каморку, где висели ее платья: «Если в силу обстоятельств нам придется разлучиться, не забудьте, что здесь вы найдете среди старых бумаг некоторую сумму денег, которая вам пригодится».

На нашей жизни террор никак не сказывался. По вечерам мы, как и прежде, собирались в гостиной вокруг рояля и пели, моя мать или тетушка аккомпанировали, мальчики склонялись над шахматной или шашечной доской, занимались коллекциями марок. Мы мало знали о том, что происходит в России. Укрепившись в Петрограде, новый режим пытался в ноябре и декабре внедриться на всей территории страны. Редкие газеты полнились неподтвержденными и фантастическими слухами. Говорили, что повсеместно начинается организованное противостояние новой власти, что генералы Дутов и Семенов всколыхнули Сибирь. Слыхали мы и о Колчаке. Волновались казаки. А перед Рождеством стали произносить имя генерала Алексеева, который будто бы призывал к сопротивлению. Но все это было крайне неопределенно, а проверить эти факты не представлялось возможным. Единственным последствием революции, одобренным моим отцом, было восстановление патриаршества в августе 1917 года. Судьба императорской семьи нам была неизвестна. Мир наш сузился до пределов одного уезда — Венёвского, последним предводителем дворянства которого был мой отец.

В бытность свою в этой должности ему пришлось однажды уволить одного из своих служащих за пьянство и бездарность. Теперь же этот человек напомнил нам о себе. Наш посланник, отправленный в Венёв за почтой, привез оттуда, как обычно, местную газетенку, изобилующую синтаксическими и орфографическими ошибками. Мы ее читали развлечения ради и вдруг, что нас очень рассмешило, напали на грозную заметку, подписанную этим бывшим отцовским конторщиком. То, что мои родители пользовались симпатиями крестьян, наносило вред местным властям, и это было вполне объяснимо. Вероятно, бывшему конторщику и поручили поправить дело. Напал он на нашу семью в совершенно немыслимых выражениях. Моего отца он назвал «сатрапом бывшего его величества, льющим по прошлому крокодиловы слезы». Но, уверял этот писака, отождествляя себя с народом, «нашими мозолистыми кулаками мы сумеем их утереть».

Мы долго над этим смеялись, и «сатрап бывшего его величества» больше других. Надо сказать, что чувство юмора матовцев проявлялось по всякому поводу, и когда мой брат решил продолжать рукописный журнал, основанный им в Проне, он придал «Матовскому вестнику» сатирическую, юмористическую направленность. Каждый вносил свою лепту. Мой отец достойно ограничивался научной и сельскохозяйственной хроникой, а моя мать писала стихи. Павлик Самойлов рисовал. А я пустилась в роман с продолжением под названием «Последние Могикане, или Помещики во время революции». Если я не ошибаюсь, начиналось это так:

«Как только группа крестьян направлялась в сторону замка, часовой феодалов, стоящий на посту с подзорной трубой около пруда, где поили скот, бросался бегом к обители последних Могикан. Будили князя, и его сиятельство натягивал грязные свои сапоги (после февраля 1917-го их больше не чистили, не только в знак траура, но еще и потому, что при нынешних обстоятельствах так они выглядели благонадежнее). Не торопясь, ибо он терпеть не мог никакой спешки, князь спускался по "красному крыльцу" к куче навоза, специально приготовленной для подобных случаев. Горничная подавала ему вилы, которые он тотчас же вонзал в навоз. За этим его и заставали крестьяне, в облике настоящего батрака, и, успокоенные, поворачивали назад, приговаривая: "Он знает не хуже нас, как пахнет навоз"».

Таким вот образом обнажались все маленькие хитрости последних Могикан, стремящихся выжить в новом для них мире, и, вполне возможно, наш «Матовский вестник», управляемый властной рукой Дмитрия, стал бы лет через сто историческим памятником. Но красные солдаты, равнодушные к истории, которую сами творили, предали его искупительному огню, не задумываясь о том, что народные комиссары могли бы, вероятно, почерпнуть оттуда лишние доказательства для обвинения нас в контрреволюции.

Он довольно внушительно выглядел, этот журнал, и на его обложке, не опасаясь «красного прилива», красовался герб Шаховских и девиз, весьма подходящий к обстоятельствам:

«Cum benedictione Dei nihil me retardat»[1].

«Бывшие» не отрекались от своих корней.

Все было событием в нашем застывшем мире. Как-то раз, провалившись в свежевыпавший снег, я чуть не замерзла в поле, недалеко от матовской дороги, метрах в пятистах от нашего скотного двора. Лай моей собаки привлек внимание случайно проезжавшего по дороге мужика. Он посадил меня в свои сани и, совершенно обессиленную, привез домой, где меня крепко натерли медвежьим салом, превосходным средством от переохлаждения. Тем временем моего спасителя потчевали на кухне блинами. Потом мы спустились к нему и любовались тем, как этот маленький человек (он был не из местных) уничтожал блины (видимо, было это на Масленицу). Поев, он погрузил обе руки в тарелку

[1] «С благословением Божиим ничто мне не помешает» *(лат.)*. Девиз князей Шаховских-Глебовых-Стрешневых. *(Прим. Д.М. Шаховского)*.

с оставшимся маслом и, чтобы добро не пропадало, вытер их о свои довольно длинные волосы. С тех пор, до самого нашего отъезда, «Желтенький» — таков был цвет его тулупа — заворачивал к нам каждый раз, когда проезжал через Матово. Лексикон его был весьма ограничен: кажется, кроме эхов и охов, я никогда ничего другого от него не слыхала.

Но прежде Масленицы было Рождество, надо было его отпраздновать. Несмотря на неодобрение отца, не любившего шутить с законом, мы отправились в Гремячево, к кулачке по имени Вера, закупить на уже черном рынке разнообразные вкусные вещи, которых не было в продаже. Но у Веры все это имелось в изобилии, в том числе икра и красная рыба. Была у нас и елка и даже подарки, как будто ничего и не произошло.

Как благодарна я своей памяти, что сохранила она такие обыденные, но такие драгоценные картинки последних месяцев, проведенных нами в Матове!

После Рождества наступили святки, продолжающиеся до Крещения. Это время всевозможных фольклорных обрядов — так велит традиция. Вот плавает свечка в ореховой скорлупке, путешествует по большому тазу, к краю которого прилеплены бумажки, на них написаны наши желания; если свечка приблизится настолько, чтобы бумажку поджечь, то желание исполнится. В другой раз Лидия, повеселевшая с тех пор, как появился ее Карл, просит у моей матери разрешения поехать ряжеными в Матово, как того требует обычай. Вместе со слугами, большой гурьбой мы набиваемся в четверо саней. Анюта разрисовала мне лицо жженой пробкой; я наряжена трубочистом, остальные подручными средствами превратили себя в цыган, медведей, чертей.

И с той, и с другой стороны вырубка матовской рощи давно позабыта. В селе нас встречают с восторгом. В избах, куда мы заходим, поднимается веселый переполох, все делают вид, что нас не узнают, что пугаются страшилищ, которых мы изображаем.

И вот обратный путь по белой равнине. В мои розвальни уселись Карл, Лидия и Василий. Но вожжи в руках у меня, и я направляю лошадей вслед за передними. Внезапно все сани разлетаются в разные стороны. Это игра: нужно взять такой крутой поворот, чтобы кто-нибудь, застигнутый врасплох, выпал из саней в снег.

Ночь, полнолунье, мир сверкает под серебристым светом луны; снег укрывает завтрашние хлеба. Копыта мерно стучат по насту, от лошадиных ноздрей поднимается пар. Сидящий рядом со мной Василий запевает «Чубчик»:

Эх, Сибирь! Сибири не боюсь я,
Сибирь ведь тоже русская земля!
Вейся, вейся, чубчик кучерявый,
Развевайся, чубчик, по ветру.

В этой Сибири, в этой русской земле, о которой он поет, скоро сотни таких Василиев узнают горе и найдут смерть, но песнь льется, сани летят, полозья тихо скрипят по снегу. На душе у меня радость и мир, руки мои твердо держат вожжи, а лошади бегут к дому — единственному дому, который могу я назвать своим.

Так вступили мы в 1918 год и в конце января узнали о рождении Красной Армии. Это не было неожиданностью. Сопротивление повсеместно нарастало, всюду завязывалась борьба.

Будучи крохотной частицей бывшей России, мы мозолили глаза неокрепшим местным властям. Не успела еще наступить весна, как в наши слишком спокойные, по мнению некоторых, края были присланы «пропагандисты».

У моих родителей всюду были друзья и преданные им люди. Отец, тот решил просто игнорировать новый режим, в то время как мать, тоже совсем не вмешиваясь в политику, прилагала все силы, чтобы защитить наше право оставаться в Матове. Ее смелость, умение говорить, авторитет, которым она пользовалась у окружающих, делали ее врагом номер один для местных властей. Вместе с тем узы, связывающие помещиков и крестьян, казались еще очень прочными.

В эмиграции мне не раз приходилось слышать рассказы, подтверждающие, что мои родители не являлись исключением; нельзя не признать, что в те времена крестьяне вели себя не одинаково по отношению к потомственным помещикам и к тем, кто приобрел свои имения сравнительно недавно. В той же Тульской губернии родители князя Оболенского[1] (он возглавляет сегодня журнал «Возрождение») были, как и мы, взяты под защиту крестьянами, в то время как отец писателя Я. Горбова, который там же купил себе имение незадолго до войны 1914 года, был изгнан из него крестьянами сразу после начала революции.

Так или иначе, новый режим, устав ждать от крестьян желательных ему действий, решил ускорить события и послал опытных пропагандистов.

Как только в окрестностях появлялись эти «городские», мои родители тотчас же узнавали об этом от дружески расположенных к ним людей.

Так, однажды нам дали знать, что в Холтобине происходит митинг. По своему обыкновению, моя мать тотчас же отправилась туда верхом в сопровождении наших молодых людей. Она появилась в самый разгар пламенной проповеди. Взгромоздившись на бочку, двое незнакомцев наперебой призывали крестьян свернуть шею всем помещикам и покончить раз и навсегда со всеми угнетателями народа.

— Убейте их, и вы очистите от них страну и добудете себе побольше земли. Помните, что новая власть объявила: «Земля — крестьянам!»

---

[1] Кн. Сергей Сергеевич Оболенский; его родители — кн. Сергей Дмитриевич и кн. Александра Степановна. *(Прим. Д.М. Шаховского).*

Не желая этого слушать, моя мать подошла к оратору и предложила ему слезть, чтобы дать ей ответить на его «глупости». Тот сразу повиновался: вероятно, вид окружавших даму молодых людей внушал ему некоторые опасения. Поднявшись на импровизированную трибуну, моя мать обратилась к собравшимся со следующими словами:

— Вы меня знаете, и я знаю вас с давних пор. А эти люди — нездешние, они пришли посеять между нами вражду. С какой же целью? Вспомните голодные годы. К кому вы приходили за помощью? И кто вам ее оказывал? А эти молодцы, где они были тогда? И разве мы когда-нибудь наживались на вашей беде? Разве мы не разорялись, продавая вам хлеб по заниженным ценам, когда вы в этом нуждались? Разве мы не раздавали вам его безвозмездно, когда вам нечем было платить? А сегодня никому не известные городские ветрогоны приходят сюда вас учить. Сами-то не убивают, а натравливают других.

Сердце толпы, как известно, изменчиво. Крестьяне, благосклонно слушавшие красноречие «пропагандистов», увидели, насколько легковесны были их обещания. Раздались крики: «Это правда! Правду она говорит! Мы этих городских пустомелей не знаем! Они приходят нас обманывать! Это провокаторы! Повесить их! В воду их!»

Враг в панике бежал, а моя мать уехала, не заботясь о дальнейшей его судьбе.

Я привожу лишь случай, который в тот же день был при мне рассказан. Но бывали и другие, не менее раздражавшие тульские и венёвские власти.

Ища повод обвинить моих родителей в контрреволюционных происках, Венёвский Совет не нашел ничего, кроме похищения «австрийских» свиней и происшествия в Холтобине, чуть не приведшего, правда, к расправе над пропагандистами, которые едва успели унести ноги.

Тем временем мы потеряли значительную часть нашего «наличного состава». Советская власть заключила Брест-Литовский мир, и по принятым соглашениям австрийцы должны были возвратиться на родину. Несмотря на горячее желание увидеть поскорее свою страну и родных, некоторые из них, с Федором во главе, предложили моей матери остаться еще на некоторое время у нас, даже без жалования. Но она не сочла возможным на это согласиться. Так наши пленные — почти совсем и не пленные — собрались в путь; все были взволнованы; мы пожелали им счастья. Моя мать подарила каждому по увесистому золотому перстню, так как русская валюта с каждым днем падала и за границей служить не могла. Кухарка Настя, как и многочисленные ее соперницы, плакала, не стыдясь своих слез. И Анюта ожидала австрийского ребенка, моего будущего крестника. Один лишь сапожник Карл отказался возвращаться в Австрию; на свою беду он сошелся с Лидией и остался в России из любви к ней и также из-за заботы о своих близких, ибо знал, что заразился от Лидии.

Этот отъезд поставил перед нами новые задачи, наше занятие земледелием и животноводством осложнялось. Пока родители искали выхода, события шли своим чередом: ни Венёв, ни Тула о нас не забывали.

Уже сошел снег, когда прибыли из Венёва трое в штатском, которым было поручено арестовать моих родителей. Казалось бы, чего проще — но наша «система защиты» сработала незамедлительно. Пока мои родители занимали официальных лиц пространной и вежливой беседой, Василий поскакал в деревню... И вскоре по дороге потянулась вереница телег. Вооружившись по-крестьянски вилами, серпами, топорами, потомки крепостных отправились защищать матовских господ. Когда же они остановились перед нашим домом, Анюта доложила: «Крестьяне тут, они говорят, что и гремячевские уже в пути». Тогда мои родители предложили большевикам выйти и поговорить с народом, на что посланцы Венёвского Совета согласились без восторга и не без некоторого опасения. И мои родители услышали странный диалог:

— Чего в городе хотят от князей? — спросил представитель деревни Матово.

— Во-первых, — ответил один из приезжих, — князей больше нет.

— Ну тогда чего хотят от товарищей из имения?

— Нам поручено их арестовать за контрреволюционные происки. Разве вы, товарищи, не понимаете, что время их кончилось? Достаточно они вашей кровушки попили! Они вас эксплуатировали. Но теперь вы свободны — так выкиньте их вон. Мы и приехали, чтобы вам в этом помочь. А они — паразиты, и все тут.

— Ну что ж, раз мы свободны, раз земля наша, так мы у себя сами и управимся. Если мы хотим, чтобы они здесь оставались, нам указания не нужны. Товарищи из имения нам не мешают. Когда они нам помешают, мы сами их выгоним. Нечего посторонним в наши дела влезать. Хороший вам совет: убирайтесь-ка отсюда, да поживей!

Тон, которым это было сказано, ничего хорошего не предвещал, равно как и тот факт, что к этим четырем десяткам мужиков, явно настроенным весьма решительно, скоро присоединятся еще три или четыре сотни гремячевских. Венёвские это поняли; все трое поспешили смотать удочки и уехали ни с чем.

Этот новый вызов добавился к предыдущим обидам. Для властей «товарищи из имения» оставались бельмом на глазу; долго так продолжаться не могло.

Птицы еще не успели своим прилетом возвестить весну, как советская власть опять напомнила нам о себе — на этот раз в облике молодого человека в кителе, приятной наружности, коему было предписано начать следствие по поводу контрреволюционных деяний «матовских вредителей». Лейтенант Виктор Модлинский, молодой юрист из Харькова, происходил из прогрессивной буржуазной среды; демобилизованный во время революции, он после Октября назначен был следователем в неведомую ему нашу губернию. И это было не случайно: такова была политика правительства. Опасаясь, что между земляками могут возникнуть симпатии, действующие в пользу тех, кого собиралась «ликвидировать» новая власть, она посылала своих следователей, пропагандистов и карателей туда, где они прежде никогда не бывали и где никого не знали.

Вежливый, но с ледяным лицом, Модлинский прибыл в крестьянской повозке в сопровождении двух товарищей; он не сомневался в том, что увидит на месте «злостных врагов народа». Но не успел он предъявить свой ордер на реквизицию одной из наших комнат (он собирался вести на месте тщательное следствие), как ему сказали, что никакая реквизиция не нужна: его примут как гостя. Это его успокоило: видимо, он приготовился к иному приему. Широким жестом он отправил обратно в Тулу двух своих телохранителей.

Вечером его пригласили разделить наш семейный ужин — и действительно, какие могли быть в Матове преступные тайны, что нам было от него скрывать? За столом Виктор встретил офицеров одного с ним возраста, с тем же опытом фронтовой жизни, явно озабоченных лишь одним: как бы им и дальше продолжать жить в деревне, на земле. Через неделю или дней через десять он уже подружился с теми, кому приехал угрожать. Он говорил с отцом о сельском хозяйстве, с матерью о музыке и быстро убедился в том, что «враги народа» далеко не чудовища, которых рисовало ему его воображение. Его малороссийский говор и некоторые непривычные для нас обороты речи часто вызывали у нас улыбку, но он не обижался. К тому же очень скоро несчастный Виктор, уже покоренный общей атмосферой матовского дома, был окончательно «нокаутирован» тем, что всегда угрожает молодым. Он подпал под чары Цирцеи — моей сестры Вали, которая разбила уже не одно сердце, в том числе и двоюродного брата Александра.

Виктор был человеком честным. Сочтя, что при подобных обстоятельствах он не может продолжать порученное ему дело, он отправил рапорт об отставке и остался у нас, как новый член Матовской коммуны.

Разумеется, измена лейтенанта Модлинского сильно раздражила тех, кто поручил ему вполне определенное задание. Представитель революционной законности перешел в буквальном смысле слова на сторону врага с имуществом и оружием; стало быть, враг этот был особо опасен.

Прошло еще несколько дней. Чувствовалось, что критический момент приближается вместе с развязкой, но что нам оставалось делать? Только ждать событий.

Наступил Великий пост. Матово наряжается в первую свою зелень, наливаются почки. И среди этой тревоги, овладевшей природой с наступлением весны, доходит до нас трагическая весть. В Мураевне, рязанском имении моей бабушки, убиты без суда и следствия мой дядюшка Сергей и тетушка Наташа. Их арестовал красный отряд, состоящий по обыкновению из людей не местных, и будто бы повез в Рязань. Но по дороге конвой остановился в безлюдном месте, и узники были уничтожены. Так первыми членами моей семьи, принесенными в жертву торжеству коммунизма, стали этот добрый старый холостяк и незаметная старая дева, о которых говорили всегда только хорошее. Разумеется, крестьяне потребовали, чтобы им выдали тела для погребения. Но в этом им было отказано. Убийцы сами похоронили трупы своих жертв, а где — так никогда никто и не узнал. Тогда один из моих московских кузенов приехал за бабушкой, чтобы увезти ее с собой. Но урок был понят. Самые отважные из крестьян превратились в великих «молчальников». Они уже научились бояться новой власти. Никто не согласился дать лошадей, чтобы отвезти на станцию бабушку и ее старую компаньонку. Тогда моему брату пришлось прибегнуть к крайнему средству. «Православные, — крикнул он, бросив шапку наземь. — Дайте лошадей, чтобы отвезти к поезду этих двух старых женщин, и я вам клянусь от имени всей семьи, что мы не будем считать вас ответственными за то, что произошло». Лошади нашлись, и бабушка со своей компаньонкой уехала в Москву.

Однако даже это зверское убийство, грозное предупреждение, предвосхищавшее, быть может, и нашу собственную судьбу, не побудило моих родителей к бегству. Не привязанность к земным благам, но, как мне кажется, глубокая убежденность в том, что нам следовало оставаться в Матове до последней возможности, помешала им предпринять какие бы то ни было шаги.

Однажды утром, в апреле того же 1918 года, Лидия разбудила меня словами:

— Просыпайтесь, за княгиней приехали!

Наташина постель была пуста, ставни распахнуты. Было еще довольно рано, часов семь. Не прошло и секунды, как я поняла, что вот оно случилось — событие, которого мы ждали. Я помнила данные мне инструкции: то, что мне предстояло сделать, смахивало на игру, и я была готова это исполнить с большим рвением.

— Дом охраняется, никого не выпускают, — сказала мне еще Лидия. — У каждого выхода стоит часовой. Виктор Александрович и Юра арестованы; они внизу, в кабинете его сиятельства.

Но я ее не слушала; не умывшись, я надела свой крестьянский сарафан и, даже не пытаясь увидеть мою мать, босиком побежала к выходу на красное крыльцо. Приняв меня, вероятно, и в самом деле за крестьянскую девочку, стражники не обратили на меня ни малейшего внимания. По еще холодной и влажной земле я добежала до каретного сарая, где нашла Василия.

— Скорее, Василий, скорее! За мама́ приехали! Скачи быстрее в деревню, надо всех там предупредить!

— Ах, княжна, — ответил Василий, — я бы давно уже был там, да посмотрите: «они» всюду. «Они» забрали всех лошадей; «они» окружили нас с рассвета. На матовской дороге, и на гремячевской, и на савинской — всюду пулеметы. Уж на этот раз все кончено! Ничего не сделаешь.

Как ни живешь в ожидании трагедии или грозы, они всегда застают нас врасплох. Молния ударяет без предупреждения, драма разыгрывается совсем не так, как рисовало нам воображение. На этот раз тщательно отработанная в Матове система безопасности дала осечку.

Из дома я вышла беспрепятственно, но при входе обратно меня задержали.

— Ты куда? — спросил часовой.

— К себе домой.

— Ты что, здесь живешь, босоногая? — переспросил он с хохотом.

— Да, живу!

Мимо проходила Анюта; я взяла ее в свидетели.

Оккупированный наш дом стал будто чужим. Через раскрытые двери отцовского кабинета я увидела, как Виктор и двоюродный брат Юра, четырнадцати лет, покорно сидели под надзором солдата. Солдатами заполнен был весь дом. В комнате матери застала я отца, Валю, Дмитрия и напротив них командира отряда. Как они ни изучали вдоль и поперек документы, которые он им предъявлял, придраться было не к чему: все было в полном порядке. Гражданка Шаховская должна быть препровождена в Венёвскую тюрьму со своим младшим племянником и кучером Андреем, дабы ответить за свои антиправительственные деяния. На Виктора Модлинского был особый ордер.

Состав обвиняемых казался более чем странным. Почему выбор пал на самого юного из моих кузенов, а не на двух его братьев офицеров? Почему не на моего брата, не на его друга Павлика, не на нашего отца? Тайной оставался и арест кучера Андрея: он был настроен прокоммунистически, и, как я уже говорила, по этой именно причине родители его не увольняли.

Но задаваться этими вопросами было бесполезно. Дело казалось проигранным; каждый из нас помнил о недавней трагической гибели моих тетушки и дядюшки, так и не доехавших до места, куда их везли. Сознавая

опасность и желая разделить судьбу своей жены, отец заявил, что поедет с ней. Последовали длительные препирательства, но в конце концов командир уступил; видимо, он хотел завершить порученное ему дело как можно скорее, пока о случившемся не узнали в деревне. Наташа стала помогать матери складывать в чемоданчик вещи для тюрьмы, а я со своей собачкой на руках ходила следом за тремя чужаками, которые обшаривали весь дом в поисках оружия. Не страх я испытывала, но гнев. В детской они нашли мою «франкотку» и мой маленький револьвер.

— Кому принадлежит это оружие?

— Мне. Но у меня есть и другое, и его вам не забрать.

— Покажи-ка, — сказал один из них со смехом.

Я показала сжатые кулаки.

— Ах ты, княжье отродье! Еще вырасти не успела, а уже угрожает!

Они хохотали, а я все ходила за ними следом, вне себя от бешенства. Я их ненавидела. В стенном шкафу один из них обнаружил лицейский головной убор — не помню чей, Дмитрия или Павлика, — и присвоил его со словами: «Пацану моему пригодится». Но я тут же дернула его за гимнастерку:

— Гражданин, отдайте это мне.

— А тебе зачем?

— Может быть, брату моему пригодится.

Сколько их было? Тридцать? Сорок? Одни охраняли входы и выходы, другие разгуливали по дому, торжествующие, развязные, ненавистные оккупанты. И это не считая тех, которые, несомненно, караулили на дорогах.

Какова была последовательность дальнейших событий? Все как-то смешалось. Никто, кажется, не проявил ни страха, ни смятения, за исключением горничной Анюты. Валя и Дмитрий тоже решили проводить арестованных до Венёва. «Поживей, поживей!» — повторял командир отряда, все более нервничая. Не успели открыть сундуки и чемоданы, запертые на ключ, ни даже несгораемый шкаф: Валя умышленно потеряла все ключи.

— Во всяком случае, — сказала моя мать, — раз вы оставляете здесь своих людей, никто не сможет ничего вынести из дома.

Наступал час разлуки. По обычаю все присели помолиться.

Повозки уже ждут перед красным крыльцом. В желтый шарабан впряжены полукровки Ока и Нева; вокруг, верхами, красные солдаты. Некоторые из них уже сменили своих лошадей на других, взятых из нашей конюшни. Один солдат пытается сесть не с той стороны на Горлинку, нашу серую в яблоках кобылу; чуя незнакомца, да к тому же и варвара, она делает скачок в сторону и выбивает его из седла. Враг падает навзничь под насмешки своих же дружков.

Отца моего нет. Командир выходит из терпения.

— Позови князя, — говорит мать Анюте.

Вслед за горничной вхожу в столовую и я. Мой отец допивает чай, не показывая никаких признаков волнения.

— Солдаты не хотят больше ждать, ваше сиятельство, — говорит Анюта.

— Ничего, пусть подождут.

Степенно ставит он стакан в серебряный подстаканник, осеняет себя крестным знамением и встает. Затем целует меня и благословляет.

— Крепко молись за мать, — говорит он мне.

Вместе мы выходим к тем, кто, быть может, отправляется в последний свой путь.

В шарабане, которым правит конюх Василий, сидят, кажется, пятеро: родители, Юра, Валя и Дмитрий. Виктор и кучер Андрей садятся в другую повозку. Остальные, родственники и дворовые, молча стоят плотной кучкой. Тетушка моя по уговору остается с нами. Бледная, неподвижная, провожает она глазами младшего из своих сыновей. Только жена Андрея причитает и плачет, протягивая своему ошеломленному всем случившимся мужу белый узелок с какой-то снедью. И поезд трогается в молчании под мерный перестук копыт.

Мы собираемся в верхней гостиной (внизу расположились солдаты) и перебираем все происшедшие события.

Виктор Модлинский первым заметил отряд, который окружил Матово на рассвете. Виктору было предписано — что соответствовало его рыцарской натуре — спрятать оружие дам, если не представится возможным оказать вооруженное сопротивление. Поэтому он сразу поднялся на второй этаж, взял револьверы моей матери и Вали и стал спускаться, чтобы отнести их в заранее выбранный тайник. Но внизу он наткнулся на двух красных солдат. «Руки вверх!» Его обыскали, нашли при нем три револьвера и отвели в отцовский кабинет.

В комнате мальчиков, Дмитрия, Юры и Павлика, разыгралась иная сцена. Дмитрий успел спрятать свой револьвер, но остальное свое оружие оставил на месте, оно не было заряжено. Юра спросонья догадался бросить свой кольт в ведро с мыльной водой, но, по несчастью, кобуру от него забыл под подушкой. Ну а Павлик Самойлов, зная, что важнее всего спрятать гранаты, успел отнести их в подпол и даже закрыть за собой люк. Правда, он оказался в полной темноте, но мальчики так часто бывали в подполе, что могли вслепую находить путь в его лабиринтах. Павлик спрятал гранаты, а также свой пистолет Смита-Вессона; затем, приподняв люк головой, он появился в коридоре, как чертик, выскочивший из коробки, и оказался между двух красных солдат, наставивших на него штыки.

— Тебя зачем туда понесло? — спросил один из них.

Павлику трудно было утверждать, что он совершал в подполе утренний моцион, и, выбрав наименьшее зло, он признался, что прятал револьвер.

— Сейчас же принеси его.

Конечно, солдатам полагалось бы спуститься вслед за ним, но, видимо, им не очень-то хотелось нырять в эту черную дыру, где, возможно, ожидали их другие такие же Павлики. И они отпустили его одного. Через минуту он принес им револьвер, а гранаты оставил на прежнем месте.

В это время солдат, обыскивающий комнату мальчиков, нашел у Юры под подушкой пустую кобуру.

— Вот что, парень, — сказал он, — даю тебе три минуты, чтобы найти штучку, которой здесь не хватает. Через три минуты мы тебя расстреляем.

Юра окунул руку в ведро и протянул солдату свой кольт, с которого струилась вода.

Вероятно, трое матовских офицеров — мои двоюродные братья и их друг — действовали быстрее и с большим опытом. Кроме того, они жили во флигеле, и туда враг проник несколько позже.

Мне довольно трудно расположить все последующие события в хронологическом порядке: такая неразбериха и суматоха царили в матовском доме. Весть о том, что узников не ликвидировали по дороге и что они доехали до Венёва целыми и невредимыми, нас успокоила и вселила некоторую надежду. Мой отец отправился в Москву, чтобы изыскать способ вырвать мою мать из рук венёвских «товарищей». «Товарищи» эти считали, что в местной тюрьме слишком много свободных мест, и не хотели расставаться со своими жертвами, которых могли и тут расстрелять, если понадобится. Дмитрий последовал за отцом.

Уехал и мой двоюродный брат Александр: он хотел попытаться примкнуть к армии Колчака. Мы его больше никогда не видели. Павлик и Валя приезжали, уезжали, привозя нам новости и инструкции. Затем покинул нас и двоюродный брат Алексей. Наташа и я остались на несколько дней одни с тетушкой. Укрывшись на втором этаже, откуда мы почти не выходили, мы ожидали развития событий. «И денег остается маловато», — сокрушалась тетушка. Но пока прислуга оставалась на месте и пока мы имели право питаться продуктами из имения, можно было жить, не тратя денег. «У взрослых свои причуды», — думалось мне.

— Но на все нужны деньги, — объясняла мне тетушка, — хотя бы на то, чтобы уехать из Матова.

И тут я вдруг вспомнила про старый чемодан, убранный среди прочих в чулан, где моя мать хранила свои платья. Я напомнила об этом Наташе, и мы рассказали о чемодане тетушке. Почему бы нам не попытаться открыть его? Но тетушка и слышать не хотела:

— Это слишком опасно, вы еще малы, не понимаете.

Мы, конечно, понимали, что дело было деликатное, если можно так выразиться, но раз нужны были деньги, почему бы не взять их там, где они были? С великим трудом нам удалось убедить тетушку, чтобы она разрешила перенести чемодан в нашу комнату: мы поклялись ей, что, если наше «хищение» будет обнаружено, мы возьмем все на себя. Наконец тетушка сдалась.

— Делайте, как знаете, — вздохнула она. — Я умываю руки.

Чемодан был тяжел, даже очень тяжел. Нам с Наташей стоило больших трудов его извлечь, и ночью мы перенесли его в детскую. Но это не очень приблизило нас к цели. Замки были хоть и стары, но крепки, и мы отлично понимали, что силой действовать нельзя: проступок наш тут же обнаружится. Мы сидели и смотрели на чемодан. «Если вам когда-нибудь понадобятся деньги, не забудьте про этот чемодан», — повторяла я слова моей матери. И это заклинание помогло: меня осенила мысль, не такая уж глупая для моего возраста. Достаточно было отвернуть оба винта, которыми каждый замок крепился к крышке чемодана. Наташа нашла большую пилку для ногтей, и мы по очереди стали действовать ею, как отверткой, пугаясь собственной дерзости. И достигли цели: левый замок поддался. Мы сосредоточили наши усилия на правом.

Готово! Крышка распахнулась! Мы обнаружили внутри какие-то расходные книги, бумаги, перевязанные бечевками конверты... Открываем их один за другим. Ничего, кроме квитанций, расписок, счетов, фактур... Перелистываем бухгалтерские книги — ничего. Ни одной ассигнации не затерялось среди пыльных страниц.

— Ты, верно, ошиблась, мама нам показывала другой чемодан, — говорит Наташа, потеряв всякую надежду.

Столько трудов! Неужели все зря?

— Давай еще поищем.

— Ну не здесь же?

Толстый пакет, завернутый в старую газету, кое-как перехваченный веревочкой. Написано: «Старые квитанции и счета». Единственный, на котором какая-то надпись. Открываем его просто так, для очистки совести. И вот... Тугая пачка ассигнаций на весьма значительную сумму! Мы без конца их пересчитываем: «радужные», «беленькие», «синенькие» — вот они здесь, перед нами; на них-то мы и надеялись, и так неожиданно нашли их!

Но мы быстро приходим в себя. Слишком велика, наверное, для нас ответственность.

— Что будем с ними делать? — спрашивает Наташа.

— Надо их спрятать.

И мы прячем их по всем правилам искусства для начинающих — иными словами, у Наташи под матрасом. Затем возвращаемся к пилке и винтам, заполнив чем-то пустоту от вынутого пакета.

Чемодан со «старыми счетами» был водворен обратно в чулан и положен на место среди прочих. Мы провели день или два в постоянной тревоге, всякими ухищрениями не давая Анюте стелить нам постель и убирать нашу комнату, которую мы ни на минуту не оставляли без присмотра, лежа или сидя по очереди на кровати с деньгами...

Когда приехали Дмитрий и Павлик, мы им рассказали о своей находке. Лошадей у нас уже не было, но оставались неконфискованными велосипеды. На них-то мальчики и сели, взяв перевязанный веревочкой пакет, который они завернули в клеенку и положили в металлическую коробку. Посвистывая, отправились они «на прогулку».

Солдаты все еще занимали дом, но ни один из них не тронулся с места. Мой брат и его друг, едва старше нас и такие же романтики,. как и мы, зарыли клад в пустом сарае с глинобитным полом. Они считали шаги, чертили план, ставили метки на камнях, чтобы облегчить последующие поиски, а затем разъехались — один в Венёв, другой в Тулу или даже в Москву, не знаю.

Мы же со своей стороны вместе с тетей Катей и другом моего двоюродного брата Александра — он тоже собирался в путь — согласились на предложенный мною план прятать по частям во время прогулок в разных местах, у подножья уцелевших деревьев, серебряные приборы, делая отметки на стволах. Но и эти деревья были обречены на сруб.

Пока мы предавались этим невинным занятиям, Венёвский Совет, начинавший уже испытывать нехватку продовольствия и прослышав о

богатствах, таящихся в нашем подполье, послал комиссию, уполномоченную отобрать продукты, так тщательно заготовленные нами на случай осады. Узнав из быстро распространившихся слухов о предстоящей конфискации, матовские крестьяне, считавшие себя нашими прямыми наследниками, а «городских» — похитителями по праву принадлежащего им добра, опять двинулись в путь — на сей раз с целью предотвратить «грабеж».

Обе враждующие силы столкнулись в нашем доме. Новая власть была представлена уполномоченными, среди которых бывший подчиненный моего отца, уволенный за злостное пьянство и обещавший «утереть мозолистым кулаком крокодиловы слезы царского сатрапа». Я его прежде никогда не видела. Он походил на гоголевский персонаж: красный галстук, нахлобученная на голову тирольская шляпа, видимо, конфискованная им в каком-нибудь другом имении. С щегольской тростью в руке бывший конторщик прохаживался по вражеской крепости, наконец-то попавшей под его власть. Я видела, как он сидел, развалившись, в креслах гостиной, уже сильно загаженной солдатами; как бренчал на фортепьяно... На первом этаже нашего дома пахло казармой. Всюду валялись книги с вырванными страницами, если бумага в них была достаточно тонка и годилась для самокруток.

Лидия, Карл, Василий, Матвей, Анюта, с большим уже животом, не пошли на сделку с врагом и сохранили нам верность, зато кухарка Настя, которая более других пользовалась у моей матери доверием, предала нас с неким даже восторгом. Она бегала, растрепанная, по всему дому, раскрывая всем наши секреты.

— Да-да, есть еще бочонок масла, и, кажись, они упрятали туда бриллианты.

Так, после непузатого Фальстафа, конторщика, появился Яго в юбке — Настя.

В то время противоборствующий лагерь крестьян находился еще вне наших стен. При этих обстоятельствах мы с Наташей были на его стороне. Если уж суждено было нам лишиться того, что было спрятано в подполе, то нам казалось справедливым, чтобы оно досталось матовцам. И мы влились в их небольшую толпу. Кроме того, нам важно было узнать, какие чувства они питали к нашей семье.

Но, как оказалось, князья Шаховские были вообще вне игры. Партия разыгрывалась между Венёвским Советом и деревней. Разгорались страсти, вспыхивала ненависть. Заметив нас в своих рядах, жители деревни спрашивали о родителях, какая-то крестьянка рассеянно гладила меня по голове, но каждый следил глазами за добычей, готовой от них ускользнуть. По всей вероятности, прачка Аграфена, которая знала наш дом, потому что приходила сюда работать, указала деревенским кратчайший путь до коридора, откуда попадали в подпол. Прачечную и ванную комнату отделяла от этого коридора застекленная дверь. Она была заперта. Конторщик с тростью в руке как раз направлялся, задрав нос, к «простому народу», толпившемуся за этой дверью. В спеси своей

он забыл об открытом люке подпола, и я успела не без удовольствия увидеть, как он внезапно исчез. За моей спиной мужики и бабы напирали, дверь наконец поддалась, и все мы ввалились в коридор, где конторщик пытался выбраться из ямы и кричал пронзительным голосом:

— Товарищи, на помощь! Контрреволюция!

С противоположной стороны показались солдаты с винтовками, но они не успели пустить их в ход: началась всеобщая потасовка.

Не знаю, как нам с Наташей удалось оттуда выбраться. Надо было пересечь столовую, лестничную площадку, подняться на второй этаж. Наконец мы оказались в своей комнате, заперли дверь. Нам чудились шаги бегущих вверх по лестнице солдат, и мы придвинули к двери стол, несколько стульев. Затем Наташа, которая была старше меня и знала, вероятно, что бывают иные опасности, кроме смерти, распахнула окно и с дрожью в голосе сказала:

— Солдаты здесь. Прыгаем!

— Погоди, погоди! — Я была напугана не меньше, но больше верила в судьбу. — Еще успеем!

И действительно, никто за нами не гнался. Внизу шла драка из-за муки, сахара, масла. Крестьян выдворяли из дома. Мы некоторое время стояли, опершись о подоконник, не спуская глаз с нашей забаррикадированной двери... Наконец пришла разрядка, пришло успокоение. Наступал чудесный лилово-розоватый вечер, какие бывают к концу Великого поста, и снова жизнь протягивала нам руки.

Прошло еще несколько пустых и смутных дней. Анюта и Лидия приносили нам еду на второй этаж. Уехал друг двоюродного брата Александра: они где-то должны были встретиться и продолжать свое бегство в Сибирь, к Колчаку.

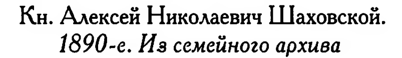
Единственным нашим развлечением были новые обыски, производимые с совершенно фантастическим намерением обнаружить целый пуд бриллиантов, которые, по утверждениям истерички Насти, были будто бы замурованы в наши стены. Как мы ни пытались им объяснить, что даже сам царь не обладал таким количеством бриллиантов, конторщик и его сообщники не переставали выстукивать стены, надеясь определить местонахождение баснословных сокровищ. На сей раз это была сугубо частная инициатива, и, когда я совершенно серьезно попросила предъявить нам подписанный ордер, «власти» ответили мне молчанием. Сдирали обои, стучали во всех углах молотком, обследовали полы, поднимали плитки, но, странное дело, не решались вскрывать сундуки и чемоданы, все еще запертые на ключ; а ключи Валя обещала передать той первой комиссии, приехавшей в день ареста нашей матери.

Вскоре я оказалась в полном одиночестве. За тетушкой и Наташей приехал Павлик и проводил их до Венёва. Они повезли передачу нашим узникам — продукты, белье. Валя и Дмитрий уговорили отца остаться в Москве: они узнали, что венёвские власти намеревались арестовать и его. Ему приходилось скрываться, поэтому сам хлопотать о матери он не мог; эту заботу взяли на себя Валя и Дмитрий согласно выработанному в Москве же плану. Предполагалось, что и я поеду в Венёв с тетей и Наташей, но когда командир отряда, занявшего наш дом, узнал, что отца разыскивают, он меня не отпустил.

— Мала еще, — сказал он. — Пусть отец за ней приедет, ему и отдадим.

Итак, я осталась в заложницах. Эта роль мне казалась и важной, и ответственной. Я ею очень гордилась. И все же, когда последние мои родственники, особенно Наташа, покинули Матово, я почувствовала себя такой одинокой, такой растерянной! Впервые в жизни пришлось мне испытать беспредельное одиночество, тем более ощутимое, что приближалась Пасха.

Но, как оказалось, я не совсем и не всеми была забыта. Безусловно, моя мать думала обо мне непрестанно, как и я о ней, но думал обо мне и отец Александр из села Гремячева. В то время уже начинались гонения на церковь и на ее служителей, и этот неприметный сельский батюшка


Кн. Алексей Николаевич Шаховской.
1890-е. Из семейного архива

Анна Леонидовна Книнен (Книна)
перед замужеством. *Около 1890.*
Из семейного архива

Семья кн. А.Л. Шаховской (урожд. Книнен). На обороте рукой З.А. Шаховской написано: «*Матово. 1903. К.А.Л. Слева направо: Дмитрий, годовалый (после грудного воспаления легких) с няней Татьяной, 5 лет спустя она была моей няней... Валя (Варвара) со старой немецкой гувернанткой... Наташа на руках у кормилицы*». *Из семейного архива*

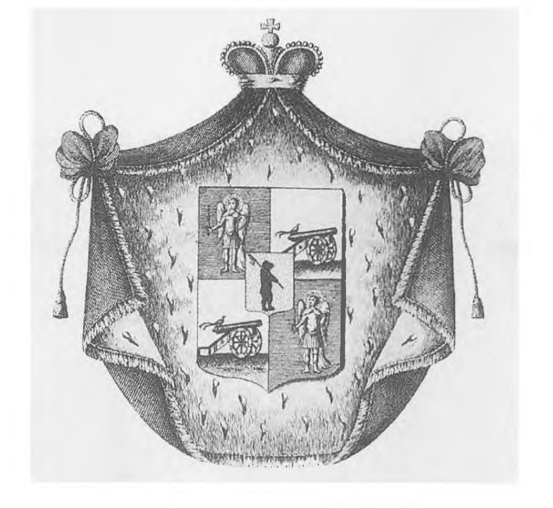
Семья Шаховских в Лозанне. На обороте рукой З.А. Шаховской написано по-французски: «*1910. Лозанна. Справа: кн. Анна Шаховская — слева от нее кузина Галя Чирикова, затем: слева направо — любимая сестра Варвара (Валя), Натали (жена Николая Набокова), Дмитрий (будущий архиепископ Иоанн Сан-Францисский) и Зинаида Малевская-Малевич (четырех лет)*». *Предоставлено Т.Г. Варшавской*

Кн. Алексей Николаевич Шаховской.
Санкт-Петербург, 1910

Кн. Анна Леонидовна Шаховская.
Портрет, описанный в книге. *Художник Кампанари.*
Санкт-Петербург, 1900-е

Кн. Анна Леонидовна Шаховская с детьми. На обороте рукой З.А. Шаховской написано по-французски: «*Дорогая Ирэн — вот тебе кое-что из прошлого — моя мать с четырьмя детьми. Санкт-Петербург, мне пять лет. 1911. Через шесть лет мой "трон" будет разрушен, в то же время, что и Российская империя — 1917. Слева направо: Варвара, Дмитрий (архиепископ Иоанн), Зинаида (французская писательница), Натали и моя мать Аннет*». *Предоставлено И.А. Зайончек*

Имение Матово. Рисунок С.С. Малевского-Малевича сделан по описанию З.А. Шаховской



Герб рода князей Шаховских.
«Щит, разделенный на четыре части, имеет в середине малый золотой щиток, в коем изображен Медведь, стоящий на задних лапах с золотою на плече секирою. В первом и четвертом голубом поле Ангел в сребротканой одежде, имеющий в правой руке серебряный меч, а в левой золотой щит. Во втором и третьем серебряном поле означена черная Пушка на золотом лафете, поставленная на зеленой траве, и на Пушке сидит райская птица. Щит покрыт мантиею и шапкою, принадлежащими княжескому роду»
(*Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797 году. Часть вторая. СПб., 1798. № 6. С. 6*)

Кн. Иван Леонтьевич Шаховской.
Художник В.А. Тропинин. 1830

Кн. Софья Алексеевна Шаховская
(урожд. Мусина-Пушкина).
Неизвестный художник. 1849

Кн. Иван Леонтьевич Шаховской.
Париж, 1860-е. Из семейного архива

Зинаида Карловна Росси.
Неизвестный художник. Около 1870

Кн. Михаил Валентинович Шаховской-Глебов-Стрешнев.
Художник Д. Болотов. 1860

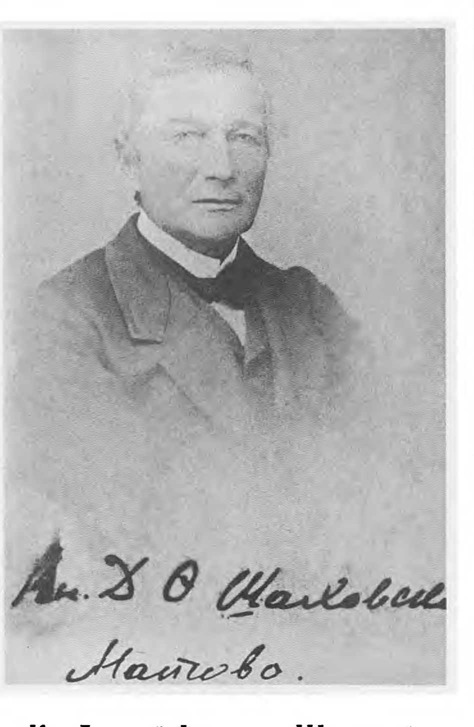
Кн. Алексей Иванович Шаховской. *1870-е*

Кн. Сергей Владимирович Шаховской,
эстляндский губернатор. *1890-е*

Леопольд Книнен
(Леонид Федорович Книна).
Около 1890

Поликсена Леонидовна Нарышкина
(тетя Поля, урожд. Книнен). *1900-е.*
Из семейного архива

Кн. Николай Иванович и кн. Наталия Алексеевна Шаховские, бабушка и дедушка З.А. Шаховской, в окружении семьи. На обороте рукой З.А. Шаховской написано: *«Семья кн. Николая»*. Далее, скорее всего, под ее диктовку записал К.С. Родионов: *«Эстония. Дорпат, теперь Тарту. Семья нашего отца в 1877 г. (известный университет)... Отец наш его окончил, его братья и сестры... Вокруг бабушки Наталии Алексеевны (урожд. Трубецк<ой>) и дедушки Николая Ивановича, юриста и сенатора, владельца Мураевни в Рязанск<ой> губ<ернии> 1. Дядя Иван, 2. Леля — отец семьи, 3. Соня, 4. Коля, 5. Борис, 6. Наташа, 7. Надя, 8. Маруся, 9. Саша, 10. Митя, 11. Сережа.*
Тетя Наташа и дядя Сережа были убиты красноарм<ейцами> в 1918 г. по дороге в Рязань. Тетя Маруся умерла от тифа в 1915 г., ухаживая за ранеными. Дядя Иван на дуэли убил брата А. Столыпина (преображенец), разжалован в солдаты, убит в Азии — 4 солдатских Георгиевских креста».
Из семейного архива



Кн. Дмитрий Федорович Шаховской.
Матово, 1870-е. Из семейного архива

Княжна Мария Николаевна Шаховская
(тетя Маруся). *1890-е.*
Из семейного архива

Визитка кн. Алексея Николаевича Шаховского,
описанная в книге. *Из семейного архива*

Кн. Дмитрий Николаевич Шаховской (дядя Зинаиды Алексеевны) с кн. Марией Дмитриевной (урожд. Олениной) и детьми Николаем, Дмитрием и Зинаидой. *Санкт-Петербург, 1900-е.*
Из семейного архива

Кн. Дмитрий Алексеевич Шаховской.
На обороте рукой З.А. Шаховской написано:
«Дмитрий. 1918 г. Контужен под Царицыном». Из семейного архива

Княжна Наталия Алексеевна Шаховская (Ната). *Брюссель, 1923. Из семейного архива*

№ ...

Заграничный паспорт

Подпись владѣльца

Предъявитель сего Княгиня Анна Леопольдовна Шаховская с дочерьми Наталией 16 л. и Зинаидой 13 лет отправляется за границу

Заграничный паспорт, полученный кн. А.Л. Шаховской на свое имя и на дочерей — Наталию и Зинаиду — перед отъездом из России. *1920*

Княжна Зинаида Алексеевна Шаховская.
Около 1925. Из семейного архива

отлично знал, какому риску себя подвергает, посещая охраняемое красными солдатами матовское имение. Но он решил, что необходимо меня поддержать. Он отслужил пасхальную службу для Анюты и для меня и сунул мне красное яичко — символ радости и Воскресения. Настанет час, и ему припомнят этот жест милосердия.

Предоставленная самой себе и попечительству Анюты, я уходила гулять по местам, которые мне предстояло потерять навсегда. Стояла чудесная весенняя погода — такая же чудная весна будет и в сороковом году во Франции[1]. Последняя и самая младшая из Шаховских обходила в сопровождении собак родовое свое поместье. Перед отъездом Наташа символическим жестом передала мне ключи от подсобных помещений, будто ключи от города. Но город был взят врагом. Запасов не стало, винный погреб был давным-давно опустошен победителями, выпившими все до последней капли.

Несмотря на мои уверения в том, что я ничего не боюсь (это было неправдой: я по-прежнему боялась темноты и привидений), Анюта, не слушая меня, решила спать в моей комнате. Время от времени к нам наведывались Алексей или Павлик. Пешком (лошади у меня больше не было) ходила я иногда в деревню. Каждый приглашал меня зайти в избу, и вслед за матерью я принялась взывать к добрым чувствам крестьян. Так или иначе, новый режим они не очень-то жаловали. Однако в избах мне случалось замечать где подушку, где вазу, где лампу, где чайник или чашку из нашего дома. Некоторые извинялись: «Когда все это кончится, мы вам вернем, а пока у нас целее будет».

И все же я находилась в знакомом мне мире и чувствовала себя непринужденно, среди друзей. Бабы тепло смотрели на меня, иногда толстая Аграфена по-матерински совала мне мятный пряник. Вокруг меня вздыхали: «Бедняжки! Бедняжки! В какое время жить-то приходится!»

Лидия и Карл, которых солдаты выдворили из нашего дома, снимали «угол» в одной избе. Лидия говорила: «Добрыми словами княгине не поможешь. Нужны передачи». И мне несли яйца, творог, чтобы я отправляла это в Венёв с кем-нибудь из наших молодых людей.

Случалось мне присутствовать и на деревенских сходках. Я рассказывала, каким гонениям подвергают нас «венёвские». Вместе с крестьянами мы выработали проект письменного ходатайства, который вылился позже в настоящее требование об освобождении моей матери. Оно было направлено венёвским властям. Поначалу эта бумага едва ли не стоила моей матери жизни, но затем все-таки принесла ей свободу.

К солдатам я относилась с презрением, хотя пожаловаться на них не могла. Но однажды, увидев меня в саду, они потянули меня к роялю, на крышке которого они успели уже выцарапать ножом свои имена и инициалы, и приказали мне сыграть революционный реквием: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Разболтанный табурет вертелся подо мной, расхлябанные клавиши стали похожи на неухоженные зубы. Сол-

[1] В мае 1940 г. началось наступление на Францию гитлеровской армии. (*Прим. перев.*).

даты гоготали, кричали, курили, плевались. Вне себя от ярости, я заиграла «Боже, царя храни».

Неужели они еще помнили государственный гимн? Лакированная крышка сотрясалась от их кулаков.

— Кончай, дворянское отродье!

Лавируя между ними, я пробралась к выходу. Мне было не так страшно, как противно. Скорее на свежий воздух, к собачьим ласкам, к полям, где я буду одна... Я отправилась в огород, где по привычке еще трудился садовник.

— Ничего не делай, — говорила я ему, — не утруждай себя, не надо. Все равно ни тебе, ни мне этого есть не придется. — И я вырывала ростки салата, раннюю рассаду, сидящую еще в теплице. Внутренне я уже отдалялась от Матова, но вражды к русскому народу не испытывала. Лидия, Анюта, Василий, Матвей, отец Александр, Аграфена, матовские крестьяне — это и был русский народ. И я к нему принадлежала. Ну а солдаты? И они, конечно, родились русскими, но стали коммунистами, интернационалистами, отступниками. Они состояли на службе у врагов народа. И вот тому доказательство: как ни одолевала их скука, ни один так ни разу и не отважился дойти до деревни...

Как-то раз появилась Валя, повязанная по-крестьянски; она приехала вместе с Павликом на нанятой у кого-то телеге. Кто-кто, а старшая моя сестра не страдала ни романтизмом, ни сентиментальностью. Наспех она поведала мне новости о нашем рассеянном по разным местам семействе. Сообщила, что скоро появится возможность меня забрать, что дела продвинулись, что нашу мать перевели в Москву и теперь ей предстоит отправиться оттуда в Тулу. Еще Валя рассказала, что в Венёве ей удалось выкрасть ордер, выданный Венёвскому Совету на арест отца. Она утверждала, что нового ордера им уже не получить.

— Как же ты умудрилась?

— Я сидела у следователя в кабинете и просила отсрочить арест отца. Вдруг мне сделалось дурно. Весьма кстати. Тип этот вышел за водой, а я воспользовалась моментом, стянула бумажку и уехала в Москву. В Туле мы потом все уладили. Это для тебя сложновато, но скажу тебе, что иногда благорасположение нужных людей можно и купить. Ну да ладно, — добавила она, — с этим делом покончено. Во всяком случае отцу теперь не опасно приехать в Венёв. Тетя Катя и Наташа все еще там. Теперь слушай меня внимательно. Мы могли бы хорошенько провести этих солдафонов. Хочешь мне помочь?

— Еще как хочу!

— Видишь этот ордер, мне его выдали в Туле. Я могу вывезти отсюда мои личные вещи, кроме драгоценностей. Знаешь, я никогда не питала особого доверия к несгораемому шкафу и припрятала кое-что в другом месте. Вот они здесь, в этом мешочке. Возьми его к себе в детскую. У тебя есть большой платок? Завяжи в него. И запомни: когда мы с Павликом уедем в сторону села, выходи с узелком как ни в чем не бывало и окольными путями, огородами, как хочешь, но только так,

чтобы за тобой никто не увязался, дойди до водопоя, будто гуляешь, обойди пруд; там ты увидишь нас на дороге, передашь узелок, и мы уедем.

Как только я унесла мешочек в свою комнату, Валя вызвала к себе через Анюту командира отряда, показала ему разрешение и стала укладывать вещи в чемодан. Он внимательно следил за ней.

— Ах да, чуть не забыла, — сказала Валя, которая все время занимала его разговорами. Своему лицу она великолепно умела придавать ангельское выражение, а ее голубые глаза излучали невинность. — Вот вам ключи от всех сундуков и чемоданов. Видите, я сдержала свое обещание. Хорошо, что вы не взломали замки, это вам бы дорого обошлось.

Она захлопнула чемодан.

— Здесь только мои личные вещи.

Затем она позвала Павлика, чтобы он помог ей снести чемодан вниз. Мы обнялись. Спускаясь по лестнице впереди солдата, она еще прокричала: «Если они станут плохо с тобой обращаться, дай мне знать! Где это видано! Девочку в заложницах держать! Я все расскажу Дзержинскому!»

Путь свободен. Пора мне вступать в игру. Драгоценности довольно увесисты, но места занимают мало. Я завязываю мешочек в платок, беру сверток под мышку, маскирую его двумя толстыми книгами и выхожу не через красное крыльцо, которым вышла Валя, а через парадный выход.

Небрежным шагом, сопровождаемая моим мопсом, я иду сначала по липовой аллее, затем через корт, оттуда огородами выхожу к скотному двору, который мне надо обогнуть.

Все пропало! Меня учуяли собаки: Медведь, за ним Барбос, потом Леди, потом Каштанка. Они меня окружают, увязываются за мной. Я их отгоняю, но они принимают мои действия за игру. Кратчайший путь для меня закрыт, так как у мостика через болото, там, где я чуть не замерзла в снегу, стоит скучающий от безделья солдат. Вокруг пруда вырыта маленькая канава. Я в нее прячусь, но собаки не отстают; их, несомненно, видно издалека. Я ползу на животе, прислушиваюсь, высовываю голову. И тут мне невероятно везет: солдат удаляется в сторону дома. Я оставляю книги в канаве и вылезаю наверх. Солдат оборачивается, и под его взглядом я резвлюсь с собаками, прыгаю, машу свертком, будто это невинный узелок, который им надо поймать. Солдат теряет ко мне всякий интерес. Я уже у моста и бросаюсь бежать изо всех сил. Триста метров, четыреста — телега уже здесь. Валя в крестьянском наряде и Павлик в русской рубахе меня ждут. А я совершенно запыхалась, не могу сказать ни слова, только протягиваю сестре узелок. Павлик трогает лошадь. Вот и все.

Я медленно возвращаюсь к дому, очень довольная собой. Мое хорошее настроение, видимо, удивляет моих стражей: они привыкли меня видеть неизменно хмурой. Вспомнив свои прежние привычки мальчишки в юбке, я принимаюсь насвистывать так, чтобы они услышали: «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!»

На следующий день солдаты придумали себе забаву: сжигать номера «Матовского вестника». Для полного своего удовольствия они вдобавок бросили в костер еще несколько случайно выхваченных книг и требуют, чтобы я смотрела на эту экзекуцию. Я прихожу, но гляжу на них с презрением:

— Научиться читать труднее, чем книги сжигать, — говорю я им. — А развести костер любой дурак сумеет.

Но они уже привыкли к моим выходкам и не обращают внимания на оскорбление. А я удаляюсь восвояси и углубляюсь в книгу Вальтера Скотта, забывая о солдатах в общении с куда более интересными мне людьми, населяющими роман.

Моей матери было почти девяносто лет, когда в Калифорнии она написала для меня воспоминания об этом периоде своей жизни.

«По дороге из Матова в Венёв я боялась, что нас всех перебьют — меня, мужа и наших старших детей, — и когда мы все-таки добрались до города, это показалось мне чудом. Там меня с племянником отделили от остальных членов семьи и повели в тюрьму. Меня поместили в подвал; никакой койки не было, только немного соломы на полу. Я стала ждать своей участи. На Пасху приехавшие из Матова крестьянки привезли мне какой-то еды, кулич и пасху. А начальник тюрьмы был настолько любезен, что позволил мне во время заутрени увидеть мою дочь Наташу. По моей просьбе мне разрешили посетить камеры, где сидели мой племянник, наш кучер и Модлинский, а вместе с ними несколько неизвестных мне крестьян. Мы похристосовались и разделили все, что я получила из Матова.

Несколькими днями позже ко мне в камеру вошел начальник тюрьмы, бледный и взволнованный. Со слезами на глазах он сообщил, что на следующее утро меня ждет расстрел, так как крестьяне из Матова и многих окрестных сел направили властям ультиматум, требуя моего освобождения, в противном случае угрожая пойти на Венёв и освободить меня силой.

Я поблагодарила этого добропорядочного человека за то, что он меня предупредил, и легла на солому, держа в руке единственно ценную для меня вещь, которую мне удалось уберечь от этих мерзавцев, отнявших у меня все, вплоть до обручального кольца и крестильного крестика, — малюсенький образок Иверской Божьей Матери, часовня которой находилась в Москве. Иконка эта и до сих пор у меня, а обрела я ее чудесным образом в Бад-Киссингене во время одной из моих поездок туда. Однажды вечером я шла на почту отправить телеграмму моему мужу, чтобы предупредить его о моем скором возвращении в Москву. Прошел дождь, на улице было грязно, и я вдруг почувствовала, что на что-то наступила. Я стала шарить по земле кончиком зонта, увидела голубую ленточку, потянула за нее и вытащила образок, к которому она была привязана. Сразу же я отправилась в полицию, чтобы заявить о моей находке, но не решилась с ней расстаться и оставила только свое имя и адрес на случай, если кто-то станет разыскивать образок. Из-за этих хлопот я опоздала на поезд и поехала следующим. И тогда случилось чудо, которое некоторые сочтут простым совпадением: тот поезд, на котором я не поехала, сошел с рельс; были и раненые, и погибшие».

Вслед за тем моя мать рассказывает, что произошло на заре следующего дня.

«На рассвете за мной пришли шесть красноармейцев и вывели меня из тюрьмы. Перед воротами ожидала молчаливая толпа, прослышавшая о моей предстоящей казни. В этой толпе я увидела мою четырнадцатилетнюю дочь Наташу. Она пыталась ко мне протиснуться, но солдаты ее не пускали. Тогда разгневанные люди закричали: «Дайте же девочке попрощаться с матерью!» Я смогла наконец поцеловать мою душеньку и сказала ей: «Скорее возвращайся домой, меня увозят в Москву. Обещай, что сейчас же уйдешь». Я страшно боялась, что она увидит, как меня будут расстреливать.

Но когда она скрылась из глаз, силы меня оставили. Образок все еще был спрятан у меня на груди, и я молилась Божьей Матери, чтобы Она дала мне силы выдержать все до конца».

Наташа продолжала бежать за солдатами, которые уводили нашу мать, но женщины из толпы ее удержали. В слезах она вернулась в дом, где ждала ее тетушка.

«Солдаты повели меня окольными путями, минуя город, и привели к полю, вдоль которого тянулись железнодорожные пути. Комиссар, который командовал отрядом, крикнул: «Стой!» Я закрыла глаза, готовясь к смерти, но услышала разъяренный его голос: «Вам повезло, пришел приказ из Москвы, ваш расстрел отменяется. Но никуда вы не денетесь, и в Москве вас к стенке поставят. Идите вы к черту!»

Тогда двое солдат повели меня через пути на станцию и сели вместе со мной в вагон третьего класса. Я ничего не понимала, но чувствовала огромную радость. Я знала, что мой муж, старшая дочь и сын находятся в Москве; значит, их хлопоты вырвали меня из когтей смерти».

Тем же поездом уехали мой двоюродный брат и кучер Андрей. Модлинского, как мне помнится, отпустили и выслали из губернии. В Москве всех трех заключенных свели вместе и препроводили в Бутырскую тюрьму пешком через весь город. Позже мой брат сложил про эти трагические события нечто вроде юмористической баллады (юмор не покидал нас ни при каких обстоятельствах): «Взирая на ботинки в дырках, наш Юра брел в тюрьму Бутырки. Краснел, как девы обнаженные средь люди, в ризы облаченные». Обидела мою мать и моего двоюродного брата реплика прохожего, глазевшего на то, как их вели: «Гляди-ка, женщина, мальчишка и мужик! Наверное, это они совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина на Кузнецком мосту!»

Но обратимся еще раз к воспоминаниям моей матери:

«Когда мы прибыли в Бутырки, меня отвели, не церемонясь, в маленькую камеру. Заперли дверь, и я огляделась: в самой верхней части

стены — малюсенькое окно, забранное, конечно, решеткой; грязная постель, стол с ввинченными в пол ножками, такой же табурет.

Внезапно я чувствую, что падаю духом. Меня охватывает отчаянное желание увидеть что-то другое, только не то, что меня окружает. И я влезаю на стол. Оттуда виден дом напротив, растворенное окно кухоньки, в ней человек в форме надзирателя, женщина у плиты, ребенок на высоком стульчике. Я страстно хочу только одного: очутиться среди своих, пусть в такой же кухоньке. Я слезла со стола и в первый раз после ареста расплакалась.

Через некоторое время я услышала, как снова поворачивается ключ в замке; кто-то кричит: «Веди ее вниз!» Появляется здоровенная баба и приказывает: «Тебя ждут, давай скорей!» Не на расстрел ли меня ведут — на сей раз по-настоящему? Я невольно замедляю шаг, но тут снизу, с лестницы, опять орут: «Ну живей, давай живей!» И я слышу свой собственный голос: «А куда мне спешить?» Надзирательница идет следом, толкает меня, я прохожу через какой-то двор, потом через второй. За окнами вижу лица заключенных; они смотрят на меня, и я машинально машу им на прощанье рукой. Наконец я попадаю в большое помещение, где меня ожидает приличного вида человек. Он говорит мне:

— Прошу меня извинить, я обязан присутствовать. При чем присутствовать? При моей казни?

— Да, пожалуйста, — отвечаю я и остаюсь стоять посередине этой комнаты, где царит полумрак.

Но вот открывается дверь и входит мой сын. Он странно одет, на нем брюки галифе, в руках он держит кепку, белый узелок и розу. Я его обнимаю, плачу от радости, от возбуждения, от неожиданности. Наконец-то я впервые что-то узнаю о своей семье.

Дмитрий меня успокаивает, рассказывая о судьбе каждого. Минуты бегут. Подходит начальник тюрьмы и говорит с сожалением:

— Извините. Свидание окончено.

С розой и белым узелком в руке я карабкаюсь, на этот раз радостно, по трем лестницам, которые приводят меня обратно в камеру. Неприветливая надзирательница неожиданно преображается. Она меня спрашивает, не хочу ли я перейти в другую камеру и помыться. Я с удовольствием соглашаюсь на более просторную и чистую камеру, но от мытья отказываюсь, так как не уверена в чистоте самой ванны. Затем я разворачиваю узелок. И вот у меня на столе роза, а рядом — немного свежей икры, копченой семги, белый хлеб. Сидя на койке, любуюсь этим натюрмортом... Настроение мое поднялось, я даже снова способна спать. Четыре дня спустя меня навещает моя дочь Валя. Мой муж тоже в Москве, но он не может ничего предпринять, не рискуя быть арестованным. Он собирается ехать в Венёв к нашим младшим детям». (Моя мать не знала, что я была в Матове одна.)

Перевод моей матери из Венёва в Москву, чудом спасший ее от верной смерти, был устроен Валей и Дмитрием. Странное дело, но своим спасением моя мать была обязана грозному Дзержинскому, главе Чека,

который, как и многие палачи, славился тем, что был добр к детям. Мой брат как-то добрался до него. Он сказал ему, что крестьяне направили в Венёвский Совет ходатайство с несколькими сотнями подписей, требуя освобождения моей матери. Очень характерна первая реакция Дзержинского:

— Так это ж контрреволюция! Всех крестьян, поставивших свои подписи, надо арестовать!

— Может быть, проще было бы перевести мою мать в Москву, — заметил мой брат. — Волнение уляжется, а вам будет удобнее установить, совершила ли она преступление или нет.

— Что ж, хорошо, я пошлю телеграмму в Венёв.

Тогда-то, поняв, что жертва от него ускользает, Венёвский Совет и устроил описанное выше представление.

Дело моей матери носило местный характер и основывалось на личной ненависти к ней некоторых людей. Дальнейший перевод узников в Тулу под тем предлогом, что нарушения были совершены в этой губернии и что следствие должно производиться именно там, не составил особого труда.

Вместе с Юрой, Андреем и другими заключенными, политическими и уголовными, мою мать привезли на грузовике на вокзал и поместили в хорошо охраняемый вагон, где, к ее радости, она оказалась одна в купе. Не успел поезд отъехать от Москвы, как появились Валя и Дмитрий. К счастью, в те времена еще можно было как-то договориться с революционными чиновниками. Так состоялся еще один малый семейный совет, продолжавшийся до тех пор, пока поезд не стал подходить к Туле. Тогда появился начальник конвоя и сказал Вале и Дмитрию, чтобы они спрыгнули с поезда, как только он замедлит ход. А моя мать, уже в одиночестве, продолжила путь к последней своей тюрьме.

Не помню, сколько времени я провела в Матове одна: две недели, месяц, полтора? По правде сказать, мне и в голову не приходило, что я достойна жалости. Никакой жалости я к себе не испытывала; напротив, я была уверена в себе, и уверенность моя основывалась на самой простой злости и на остром ощущении того, что мне выпало на долю необычное приключение, вполне соответствующее моему характеру. Вездесущие солдаты, которые портили мебель, загаживали занимаемые ими комнаты, опустошали сад, для меня представляли не армию, а некую особую категорию людей, темную и грубую силу, разрушающую все, что было выше их понимания. Повторяю, жаловаться на них у меня повода не было. Я полностью находилась в их власти, но они этим не злоупотребляли. Начитавшись романтических книг, я придумывала разнообразные рискованные ситуации и, что бы ни случилось, была полна решимости скорее умереть, нежели уступить. Мир насилия мне уже давно был знаком по пушкинской «Капитанской дочке». Как бы я повела себя перед Пугачевым? Безусловно, окажись я на месте юного Гринева, я бы отвергла, как и он, благоразумный совет старого слуги — плюнуть, но поцеловать злодею руку. Я постоянно ждала, что от меня потребуют, чтобы я разбила икону, разорвала портрет Государя; тогда я доказала бы самой себе, что никакие угрозы не заставят меня уступить.

На самом деле солдатам не было до меня никакого дела. Засевши в Матове среди всеобщей неприязни (только Настя относилась к ним с некоторой симпатией), они все выпили и все съели, пресытились деревенскими радостями и в один прекрасный день снялись всем отрядом с места, оставив меня под охраной одного солдата и одного матроса, специально прибывших их сменить.

Солдата я не помню, но матроса не забуду долго. Он принадлежал к той породе людей, которых называли «честь и совесть революции». Этот «клёшник» (от слова «клёш», так как матросы носили брюки с раструбом), красивый малый, более всего поразил меня своей скучающей миной. Ничто, казалось, его не интересовало, на лице застыло равнодушное, несколько сонное выражение.

Почему повадился он каждый день при наступлении сумерек подниматься на второй этаж, где я жила? Он усаживался в одно из кресел гостиной и под подозрительным взглядом Анюты пускался в пространный монолог, живописующий его подвиги в Севастополе. Невыразительным голосом он рассказывал о побоище, учиненном восставшими

матросами Черноморского Флота над офицерами. Гвоздем его повествования был следующий эпизод: в скафандре он спустился посмотреть, как выглядели убитые офицеры на морском дне. «К ногам им привязали гири, чтобы они не всплыли. Они лежали на дне; я их увидел, вспухших, от лиц отделялись куски мяса, может быть, их жрали рыбы, но руки у них поднимались вверх, будто трупы плясали. Они двигали руками, смотрите, вот так. Блеск!»

Я уже неоднократно упоминала о том, как я боялась мертвецов, и тем не менее, слушая ежевечерне рассказ матроса об утопленниках с «пляшущими» руками, я напряженно следила за тем, чтобы не показать ему мое отвращение и ужас (это, думала я, доставило бы ему удовольствие), и бесстрастно хранила молчание, застыв в неподвижности. Постепенно я стала понимать не разумом, а каким-то чутьем, что этот человек, который, не глядя на меня, повторял всегда одни и те же слова, сам находился во власти страха: эти видения его неотступно преследовали, эти жертвы его не отпускали...

Я знала, что скоро уеду из Матова, но не подозревала, что навсегда. Отъезд, пусть даже временный, разбил бы мое сердце. Но одно жестокое событие заставило меня утратить всякие сожаления.

Однажды утром я хотела было открыть дверь в сад, но не смогла: что-то ее не пускало. Ручка не двигалась. Я посмотрела через стекло и вскрикнула. Под щеколдой застряла широкая мохнатая лапа Медведя.

Смерть так его и настигла — с лапой на двери, откуда он ждал помощи. Я обежала вокруг дома, чтобы в последний раз погладить моего старого друга. Но почему же пес, который еще вчера прекрасно себя чувствовал, так внезапно умер? Как бы в ответ на мой вопрос, я услышала за живой изгородью акации стенания и визг других собак. Наш сад превратился в сад предсмертных мучений. Милка, ласковая охотничья собака, дергалась в конвульсиях на песке одной из аллей, глядя на меня полными тоски глазами. Сторожевой наш Барбос корчился на клумбе, скребя лапами землю. Под красными пионами лежал труп Османки. Отовсюду до меня доносились жалобный плач, стоны, хрипы околевавших собак. Если бы от жалости умирали, я бы окончила свою жизнь в одиннадцать лет... Изнемогая от собственного бессилия, я, как в страшном сне, слышала со всех сторон стоны агонизирующих животных, которые, казалось, делались более звучными по мере того как угасали...

Мое отчаяние, оказывается, созерцали несколько зрителей — двое или трое дворовых мальчишек, оба моих стражника и Осип, гроза деревни. По довольной ухмылке, которая играла на его губах, я узнала в нем убийцу, хотя он не проронил ни единого слова.

— Это ты, Осип! — закричала я, наступая на него и глядя прямо в его неподвижные, стеклянные глаза.

— Да пусть они сдохнут! — сказал он. — Я взял стрихнин из вашей аптечки, и поглядели бы вы, как они жрали его в мясных катышках!

— Будь ты проклят, навечно проклят! — крикнула я опять; я ненавидела себя за то, что не могла сдержать перед ним своих слез. Я пообещала мальчишкам денег с тем, чтобы они прикончили Милку, которая все еще мучилась. Один из них взял камень и начал долбить ее по голове. Милка не умирала и все смотрела на меня бархатными своими глазами... Ах, если бы только у меня было оружие!

Раздался выстрел. Я пришла в себя. Барбос больше не скреб землю. С револьвером в руке матрос подходил к Милке. Лицо его было жестким.

— Уходи, — сказал он мне. — Нечего тебе на это смотреть.

— Жаль, — возразил Осип. — Забавно было.

Я убежала домой и приказала Анюте привести ко мне борзую и меделяна (это был пес рода сенбернара); они находились в загоне и избежали бойни, равно как и мой мопс, который никогда со мной не разлучался.

Как загадочна природа человека! Убийца офицеров был тронут горем маленькой девочки и пожалел ее. И в первый раз в тот вечер он не пришел рассказывать мне свою историю.

Картина этой бойни, страшные глаза Осипа окончательно отдалили меня от Матова. Я больше не ходила гулять по окрестностям. Никого, кроме Анюты, не хотелось видеть. Несмотря на то, что с тех пор прошло сорок пять лет, я не могу забыть этих собак, моих друзей, умирающих у меня на глазах в солнечном сиянии блистающего летнего сада.

В 1939 году, будучи очень далеко от Матова, я написала:

Собаку хотят пристрелить — она лает.
От поступи зла застонут ступени.
Покроет снег обгоревшие крыши,
У страха глаза никогда не закрыты.

Прижми меня к сердцу своему...

Убитый лег средь апрельских цветов,
Помятых роз, растоптанных ирисов.
Деревья ложатся без крика и стона,
Взлетает топор и падает гулко.

Прижми меня к сердцу своему...

На улицах черных стрекочет мотор,
Овраг напоен жасмином и тьмою.
Кто-то молит, кто-то кричит,
Кто-то стреляет, кто-то убит.

И навек — вплоть до Судного дня — тишина...

Написав, обнаружила, что эти образы всплыли из далекого моего детства.

Отцу разрешили жить в Венёве. Больше не было повода держать меня в заложницах, и двоюродному брату Алексею было поручено вести переговоры о моем освобождении. Матрос и солдат потребовали для себя небольшого выкупа и водки, жалуясь на то, что опоздали на пир и нашли безнадежно пустой погреб. Алексей дал им и деньги, и водку. Мы наняли у крестьян две повозки. Я поцеловала Анюту, ждавшую ребенка, который должен был стать моим крестником, попрощалась с Василием и Матвеем, приютившим меделяна... Но оставался еще один ритуал, который я непременно хотела совершить.

Одна с Пупсом я в последний раз обошла усадьбу. Дорога привела меня к полю, где на отлете стоял сарай. В нем, лежа на сене, я прочитала немало книг. И там, поворачиваясь на все четыре стороны света, очень торжественно произнесла я свое проклятие: «Пусть ничто не растет на этой проклятой земле! Пусть те, кто вместо нас будет жить на ней, не узнают никогда ни мира, ни счастья!» Неведомо мне было тогда христианское прощение обид... И я ушла с собачкой на руках, отрясая от ног своих прах земли, которую любила.

Это не было бегством, не было и торжественным отбытием. Печально уезжала я в Венёв, держа мопса на коленях. Борзая Леди, всегда немного смешная, когда лишалась воли и движения, ютилась среди чемоданов; никак ей там не удавалось принять геральдическую позу.

Ни прозрачность утра, ни золотистый свет, ни еще прохладный воздух меня более не радовали. Ни разу я не оглянулась, не бросила на Матово прощального взгляда.

Встретивший меня Венёв, пыльный, сонный городишко, не был разбужен даже грохотом революции. Я вошла в крохотный дом, снятый моим отцом; там, среди кружев, тюлей и искусственных цветов, моя тетя с помощью Наташи мастерила шляпки для венёвских «дам» — жен бывших чиновников и купцов, несомненно уже обреченных на вдовство, но получивших пока некоторую отсрочку. Тем не менее наступление нового сезона по инерции толкало их на легкомысленные траты.

Жизнь моя стала внезапно такой бесцветной и монотонной, лишенной каких бы то ни было событий, что память сохранила о Венёве лишь такую картину: низенькие дома, перед ними с наступлением вечера усаживаются на скамейки пожилые люди, наблюдающие за жизнью более молодых. Да еще звон к вечерне да утреннее громыхание крестьянских телег, направляющихся к рынку.

Мы с отцом прогуливаемся по городу. Есть ли там река? Парк? Какая-нибудь возвышенность? Не знаю. Но помню, что люди, проходящие даже по противоположной стороне улицы, обнажают головы, приветствуя отца.

Многие годы Венёв был в некотором роде его вотчиной, и в силу своих обязанностей он общался со всеми слоями населения. Он, но не мы. Кроме людей нашего круга и крестьян, мы не знали никого ни из интеллигенции, ни из крупных купцов, ни из мещан, ни из промышленников, ни из мелких служащих. И вот я вступала в этот новый для меня мир, сопровождая отца, которого каждый считал за честь к себе пригласить.

Как-то раз, еще до революции, я видела в Матове человека, по лицу зажиточного крестьянина, приехавшего к отцу. О нем доложили: «Бирюков». У него была рыжеватая борода, живой взгляд, спокойное, уверенное выражение лица. Ходил он в сапогах, носил поверх русской рубахи черный жилет, перерезанный золотой цепью от часов.

— Ваше сиятельство, я приехал к вам по поводу того дела, о котором мы говорили, — сказал он входя.

— Присаживайтесь, — предложил отец, указывая на стул у письменного стола.

— Благодарю, ваше сиятельство, я могу и постоять. Так вот, мы говорили, что...

И Бирюков пустился в специальные, технические рассуждения, от которых я бежала прочь из кабинета.

— Кто он, этот Бирюков? — спросила я у матери.

— Бывший крестьянин, теперь купец. Мне кажется, что, если бы Матово продавалось, он при желании мог бы купить его целиком. Он, вероятно, богаче нас.

— Но почему же он одевается, как мужик?

— Он просто не придает этому значения. Живет в довольстве, зарабатывает деньги. Он далеко пойдет.

Не так уж далеко пошел Бирюков — не дальше революции.

Люди, приглашавшие моего отца, едва ли не изгоя, были далеко не Бирюковы. Это были совсем мелкие купцы, в большинстве своем мещане — та самая среда, из которой вышел Горький. Они нас угощали чаем, домашними пирожками. У самовара завязывались длинные разговоры. И здесь я тоже видела, как высоко чтили моего отца... А под окнами проходила венёвская львица, красавица госпожа П., жена маленького чиновника. На ней красовалась широкополая кружевная шляпка, сделанная моей тетушкой, и на поводке вела она нашу Леди: она ее приютила. Нам кормить собаку было нечем.

Как-то раз отец был в гостях один. Вернувшись домой, он сунул руку в карман, извлек горсть карамелек и протянул мне. В продаже таких уже не было, и я воскликнула:

— Где же ты их взял?

Отец страшно меня шокировал, рассказав, что он был у еврейского купца Шенка и принес конфеты от него. «Я подумал, что ты обрадуешься им». Но я хорошо знала, что приличие не позволяет уносить с собой из гостей сладости, которыми тебя угощают, и это нарушение правил хорошего тона, совершенное моим отцом, наполнило меня стыдом. Вместе с тем я могла оценить его любовь ко мне. Он, князь Шаховской, совершил неблагопристойный поступок, чтобы доставить мне удовольствие!

Мы томились, ведя такой скучный образ жизни, в ожидании известий о моей матери, заключенной в тульскую тюрьму. А как-то вечером пришла телеграмма из Москвы: скончалась бабушка Шаховская[1]. Меня послали сообщить об этом отцу. Я постучалась к нему и сказала:

— Бабушка... Это о бабушке... Он взял у меня телеграмму:

— Иди теперь, иди вниз! — сказал он и закрыл дверь.

[1] Кн. Наталия Алексеевна Шаховская, урожденная Трубецкая. *(Прим. Д.М. Шаховского).*

Но я не уходила, стояла и прислушивалась. Ничего не было слышно. Наутро отец уехал в Москву. Мы и не подозревали, что поцеловали его тогда в последний раз.

И вдруг в один прекрасный день все пришло в движение. От радости мы с Наташей что-то напевали, помогая тетушке укладываться. Из Тулы за нами приехал Алексей. Там нас ожидала мать, освобожденная под залог.

Всю ночь длинный обоз, груженный мешками с картофелем, мукой, горохом и прочим добром, двигался по дороге, ведущей из Венёва в Тулу. Я неудобно примостилась на мешках с неразлучным моим Пупсом. Мне не спалось: не хотелось, чтобы сон разлучил меня с наполнявшей меня радостью. Таинственное это было путешествие. Под небом, где мерцали огромные звезды, около тридцати подвод растянулось длинной вереницей. Ночь была теплая, ласковая. Мы проезжали через бесконечный лес. Слышались отдаленные крики лесничих; вдали иногда раздавался выстрел. Медленно, размеренно шли лошади, и молчаливый обоз продвигался меж высоких деревьев. Тут и там краснели в темноте огоньки папирос. Всю ночь я провела в предвкушении грядущей радости.

Часов в девять утра мы въехали в Тулу. По сравнению с Венёвом, наша губернская столица показалась мне очень оживленной. Мы миновали гостиницу Чайкина, где обычно останавливались мои родители, когда бывали по делам в городе. В богатых кварталах остались деревья и сады, несколько красивых домов. Перед одним из них, на улице, сохранившей еще название Старой Дворянской, мы остановились. Я выпрыгнула первая, бросилась вверх по лестнице, толкнула одну дверь, вторую и увидела мою мать. Сидя перед трюмо в своем батистовом халате, она расчесывала волосы. Как рассказать об этой встрече? Я кинулась к ней, я упала на нее, целовала ей руки (уже без колец и браслетов), шею, лицо, глаза. Я не могла произнести ни слова, потрясенная, онемевшая от нежности к ней, и ее объятия стерли, смели во мне все, чему я научилась вдали от нее: ненависть, презрение, злобу, злопамятство... Может быть, не было у нас впереди никакого будущего, но я уже была не столь глупа, чтобы портить такими мыслями счастливые минуты, которые мне дано было пережить.

По запискам, оставленным моей матерью, я могу воссоздать дни ее пребывания в третьей по счету ее тюрьме. В Туле с ней обращались неплохо. Начали с того, что ее одну поместили в такую большую камеру, которая могла бы вместить человек сорок. Первым, кто ее посетил, была женщина-комиссар, одетая, к ее изумлению, во все черное и в длинных черных перчатках. Комиссарша ледяным голосом спросила, не нуждается ли моя мать в чем-нибудь.

— Оглядитесь, — ответила моя мать, — и посудите сами.

— Ах да, вижу, у вас нет постели. Сейчас я распоряжусь, и вам принесут.

Принесли больничную койку, неописуемо грязную. Надо сказать, что тиф тогда уже косил людей и в самой тюрьме жертвой его стал несчастный кучер Андрей, который следовал за моей матерью в ее невольничьих странствованиях. Осматривая койку, моя мать увидела кишащих на ней вшей. С обычной своей энергией она решила предпринять срочные меры. Взяв керосиновую лампу, она вылила из нее керосин на койку и подожгла. На яркое пламя сбежались надзирательницы.

— Что вы тут делаете?

— Сражаюсь с врагами революции, — ответила моя мать, что привело всех в веселое настроение.

Следователя, который вел дело моей матери, звали Андрей Звонарев. Позже мы узнали его довольно близко. Бывший рядовой гвардейского полка, этот молодой человек, с волосами цвета спелой пшеницы, курносый и голубоглазый, был не образован, но умен. Хоть и пришел он в революцию по личным мотивам (он рассказывал, что офицер его полка как-то дал ему пощечину и он поклялся за это отомстить), Андрей Звонарев был убежденным революционером, честным и чистым, одним из тех, чья революционная карьера обычно продолжается недолго.

Когда моя мать в первый раз вошла к нему в кабинет, он спросил ее, удобно расположившись на единственном стуле:

— Скажите-ка, гражданка, как бы вы на моем месте поступили со своим врагом?

На что моя мать невозмутимо ответила:

— Знаете ли, товарищ следователь, я бы начала с того, что предложила ему сесть, особенно если этот враг — женщина.

Андрей Звонарев рассмеялся и приказал принести второй стул.

Конечно, дело моей матери не содержало никаких серьезных обвинений и основывалось по-прежнему на тех же случаях с похищением пронинских свиней и ее выступлениями на крестьянских сходках.

Присовокупили, правда, к этим обвинениям и ее поездку в Проню для вторичного захоронения останков дяди Вани и моей бабушки. Тем не менее допросы продолжались. И Андрей Звонарев, как до него Виктор Модлинский, стал постепенно замечать, общаясь с этой «гнилой» аристократкой (хотя и только в стенах следовательского кабинета), что она вовсе не вызывает антипатии. Напротив, беседовать с ней было приятно. Можно было даже из разговора с ней почерпнуть что-то поучительное.

Моя мать рассказывает в своих записках, как однажды во время допроса в кабинет вошел военный человек и что-то шепнул следователю. Звонарев вскочил, потрясенный, и в волнении принялся расхаживать по кабинету, повторяя: «Революцию предали! Это ужасно!»

Моя мать спросила:

— Что произошло, товарищ следователь?

— Сегодня убили всю царскую семью, — ответил он подавленно. — Без суда, без следствия, просто так. Это бойня, а не народное правосудие.

(Императорское семейство было убито 16 июля[1] 1918 года, из чего следует, что моя мать, арестованная в апреле, в это время еще находилась в заключении.)

Услышав эти слова, моя мать заплакала и, уходя в тот день от следователя, сказала ему:

— Мне хочется пожать вам руку: вы человек честный.

Следователь и его узница, проникаясь все большим взаимным уважением, продолжали еще некоторое время свои беседы. Но что бы ни думал Звонарев об обвинениях, предъявленных моей матери, он не мог ее отпустить, не навредив себе. Новая коммунистическая республика еще не окрепла и, чтобы упрочить свои позиции, с начала 1918 года стала прибегать к террору. Расстреливали прежних государственных деятелей и высшее духовенство, уничтожали многих невинных людей. Петроград находился в опасности, и весной 1918 года государственные учреждения были переведены в Москву. Усиливался голод, распространялись эпидемии. В Сибири, Крыму, на Кубани, на Дону организовывалось сопротивление властям. Немцы заняли Украину, впервые за свое существование ставшую независимой де-юре, но оккупанты выкачивали из нее все богатства. Повсеместно зрели заговоры — в Петрограде, Москве... Крестьяне роптали. Казалось, еще немного, и коммунисты проиграют свою игру. Всюду проводились аресты, казнили заложников... Надо было срочно выбираться из тюрьмы.

Моя мать начинает голодовку. И так ослабленная тюремным режимом, она отказывается принимать арестантский паек. Правда, тайком она глотает сырые яйца, которыми ее «подпольно» снабжают.

[1] Официальной датой расстрела считается 17 июля. (*Прим. перев.*).

В конце концов, опираясь на врачебные свидетельства, Андрей Звонарев соглашается освободить мою мать до суда, но необходимые доказательства ее виновности все еще не собраны. Ее могут освободить под залог. Валя и Дмитрий курсируют между Москвой и Тулой, пытаясь собрать необходимую сумму. Деньги, зарытые в Матове, еще находятся в тайнике, и Дмитрий со своим другом Павликом решают выкопать этот «клад». Они снаряжаются в Матово, крестьяне их радушно встречают, они собираются там заночевать. Но — ошибка молодости! — они по неосторожности просят у крестьян две кирки и с наступлением ночи отправляются в Матово-имение, заброшенное и никем не охраняемое. Вот и старый сарай. Они находят свои метки, считают шаги, определяют место тайника. Но не успели они взяться за работу, как чей-то топот и крики заставляют их бежать. Однако никто за ними не гонится; вероятно, мужик, давший им кирки, занят добычей тех денег, которые они с таким трудом и так хитроумно запрятали.

Несмотря на неудачу, в Тульский Совет удалось внести некоторую сумму денег; после этого и произошла моя встреча с матерью в доме князей Черкасских. Моего брата и его друга уже не было тогда в Туле. Переодевшись подмастерьями, они отправились наудачу искать возможность пробраться в Белую армию на юг России. Им было по пятнадцать лет. Еще находясь в тюрьме, моя мать благословила и того, и другого на то, что они считали своим долгом. А отец мой скрывался в Москве. Юра, которого освободили, жил неподалеку от нас с другим нашим кузеном, Алексеем, и нашей тетушкой.

Матовская коммуна распалась окончательно...

Наше существование в Туле протекало в каждодневных насущных заботах. Внешне все казалось вполне спокойным. Прежние формы общественной жизни еще как-то сохранялись, и их распад происходил довольно медленно. Если проследить, к примеру, за литературной жизнью послереволюционных лет, то можно заметить, что господство властей над нравами и образом жизни устанавливалось далеко не с той молниеносной быстротой, с какой рухнул царский режим.

Население в большей своей части думало только о том, как бы выжить, хотя люди и разрешали себе некоторые дозволенные судьбой маленькие радости. О политике в Туле говорили мало. Обменивались рецептами приготовления конины, которую прежде в России и не помышляли употреблять в пищу. Некоторые утверждали, что на худой конец вороны могут заменить цыплят. К счастью, крестьяне нас не забывали. Лидия тоже регулярно приезжала снабжать нас продовольствием. В домашних делах все мы были полнейшими профанами, и день проходил в попытках найти выход из неразрешимых для нас, хоть и весьма тривиальных проблем. Моей матери приходилось доверять каким-то женщинам выпечку хлеба из белой муки, привезенной из деревни, и это всегда заканчивалось катастрофой. Особа, будто бы достойная доверия, приносила нам вместо белого хлеба несъедобные серые или черные лепешки, говоря: «Незнамо что с тестом случилось!» — и клялась, что честно распорядилась доверенными ей продуктами. Никто, однако, не впадал в отчаяние, полагаясь на русский «авось» (это слово не совсем то, что испанское «nada» — ничего, неважно — оно означает, что рассчитывают в основном на волю случая). В саду того дома, где мы жили, мы беззаботно играли в крокет с нашими соседями, юными графами Толстыми. Слушали музыку в городском парке, куда под звуки «Аиды» или «Кармен» приходил прогуливаться весь город. В Туле были розы, были клумбы. Мы натирали мелом полотняные туфли, надевали чистенькие платья и встречались в парке с такими же, как и мы, «недорезанными буржуями», по милой революционной терминологии. В зеленом театре я видела оперетты «Иванов Павел» и «Гейша» и, что еще интереснее, певца новой власти Владимира Маяковского.

Ему, «выволокшему» поэзию на улицы и площади, дано было утилитарно-гигиеническое поручение. Тиф и холера продолжали распространяться, и власти стали подумывать о мерах профилактики. Для начала запретили привычное для русских целование и даже рукопожатие. Тог-

да-то расклеенные по городу афиши и объявили о приезде в Тулу Маяковского, который должен был выступить перед народом в городском саду. Я побежала туда, хотя ничего из его сочинений не читала. Но это был поэт, а я ни одного живого поэта никогда не видела, если не считать моего брата. Вокруг эстрады с деревьев свисали гирлянды разноцветных фонариков, которые еще не зажгли, так как ждали темноты. На эстраде стоял человек, показавшийся мне гигантом, с наголо остриженной головой — но не это меня удивило: летом в России многие бреют голову. Меня поразило то, что оратор был обнажен по пояс. Его мощный торс и лицо с крупными чертами были настолько черными от загара, что я заподозрила, не покрасился ли он.

Загремел его не менее мощный голос, и публика притихла. Единственным, что до меня донеслось, были следующие слова: «Товарищи! Я против рукопожатия! Я понимаю, что приятно пожать руку любимой в тенистой беседке, но жать руку неизвестно кому, неизвестно где, посторонним людям, это просто смешно! Товарищи, долой рукопожатие!» Ему много аплодировали под восторженные крики молодежи. Я рассказала моей матери, что видела поэта по имени Маяковский...

Но на следующий день с раннего утра мне пришлось забыть о фонариках в парке. На меня возложено было снабжение семьи продовольствием. Взяв четыре наши хлебные карточки, с неразлучным моим Пупсиком я шла занимать очередь в булочную. Там выдавали, если я не ошибаюсь, по 150 граммов хлеба на душу — но какого хлеба! Черного цвета, однако вовсе не похожего на тот, которым я в свое время лакомилась в нашей столовой для рабочих. Этот хлеб был тяжел, пополам с соломой, иногда в нем даже попадались камешки. И ради него мне приходилось два-три часа топтаться в очереди. Я приносила его домой как драгоценность и стала лучше понимать, почему в те времена, когда в булочных еще можно было купить и баранки, и пышки, и плюшки, нас приучали так уважительно относиться к хлебу. Но мне предстояло еще постичь на собственном опыте такое уравнение: хлеб = человеческая жизнь.

С некоторых пор истощенные люди из голодающих губерний стали тысячами наводнять более благополучные города и села. Как-то раз, возвращаясь с корзиной из булочной, я заметила тощую как скелет женщину, лежащую на тротуаре. У нее на груди спал, а может быть, и умирал младенец с землистым личиком, распухшим животом и высохшими ручонками. Женщина протянула ко мне руку и произнесла: «Хлеба, хлеба, хлеба...» Я достала из корзины все наши пайки, отдала ей. Медленно пальцы ее сомкнулись над кусочками хлеба. Она закрыла глаза; я убежала. Вернулась я с пустой корзинкой, но никто меня не упрекнул. Трудно, очень трудно изменить свой образ мыслей и привыкшему давать превратиться в того, кому дают и кто обязан, сверх того, еще и защищать полученное.

Время от времени можно было достать сухую каспийскую воблу. Выдавали ее не так скупо, как хлеб, и Юре поручалось приносить нам наши полмешка воблы. Чтобы эта твердая, как дерево, и невероятно соленая рыба стала съедобной, требовались длительные усилия. Мы все

усаживались в столовой; каждый брал по одной довольно дурно пахнувшей рыбине за хвост и стучал ею об стол. Затем ее размягчали молотком. Наконец можно было взять в рот нечто напоминающее соленый кусок кожи. Долго жуя его, мы обманывали голод, никак не рискуя при этом впасть в грех чревоугодия. Но, увы, от воблы хотелось пить, а вода, которую мы пили, была не более стерильна, чем руки, которые мы все-таки продолжали пожимать.

Я по натуре своей была расположена к блаженной лености поэтов, к одинокой мечтательности, к благоговейному созерцанию природы. Но после отъезда из Матова жизнь бросила меня в круговорот непрестанных дел, в безумную суету и отторгла навсегда от мечтательности и лени. Отныне над моим бытием будет властвовать Его Величество Случай.

Мне не было и двенадцати, когда я начала работать. К моему большому удовольствию, мне поручили помогать в разборке книг, награбленных в имениях (я уже не помню, какому стечению обстоятельств я была этим обязана). Власти, не спеша, перевозили их на чердак губернаторского дворца. Вознаграждение я получала не деньгами, а дополнительными талонами на питание.

Бригада, в которой я трудилась, состояла из пожилой, революционно настроенной, невежественной учительницы, непрестанно суетящейся, с разваливающимся пучком на затылке и очками на носу; бывшего бухгалтера, необычайно словоохотливого, и еврейского юноши, который высказывал обо всем на свете поспешные и категоричные суждения. Книги были грудой навалены на пол или беспорядочно запихнуты в ящики. Чаще всего до нас они доходили в плачевном состоянии. Разборка производилась быстро: каждый из нас определял сразу, на глаз, ценность попавшей в его руки книги. Время от времени учительница восклицала: «Чернышевский, вот хорошо! Добролюбов, отлично! Белинский, великолепно!» Бухгалтер, к счастью, предпочитал классику. Что же до юноши, то он любил книги в хорошем состоянии, независимо от автора и содержания. Старинные книги, даже если они были в красивых переплетах, безжалостно отбрасывались в кучу, обреченную на уничтожение. Я, конечно, не была ни библиофилом, ни знатоком, но привычка к книгам и моя любовь к ним давали мне некоторую проницательность в определении их ценности. Я была неравнодушна к хорошей бумаге, красивым переплетам, красивой печати, к гравюрам. Случалось, я тайком совала своего «любимца» в кучу тех книг, которые решено было сохранить. Могу еще похвастать тем, что спасала книги на иностранных языках. Трое моих начальников полагали, что таковые были совершенно бесполезны и предназначались классу, обреченному на исчезновение, ибо народ, который представляли они, не знал ни латыни, ни английского, ни французского, ни немецкого, ни итальянского.

— А я слышала, что эти книги стоят много денег, — говорила я, перелистывая дантовский «Ад» с иллюстрациями Гюстава Доре. — И место здесь есть. Почему бы не поставить это куда-нибудь в уголок?

Так и было сделано после недолгого обсуждения.

Откуда попали сюда эти книги? Кому они принадлежали? А вдруг я наткнусь здесь на матовскую библиотеку? Лишенные любви, с вырванными или помятыми страницами, ожогами от папирос, загнутыми углами, тяжело больные, жаждущие тем не менее избежать уничтожения — эти книги были символом времени, в котором я тогда жила.

Что же до следователя Андрея Звонарева, то он будто шел по стопам Виктора Модлинского. Поддавшись преступному любопытству, он захотел посмотреть, как живет порученная ему «бывшая», и стал постоянным гостем на Старой Дворянской улице, еще не переименованной тогда в улицу Коммунаров. Как и Виктор, он не только привязался к нашей семье — к тому, что от нее осталось в Туле, — но тоже был очарован моей старшей сестрой.

Светлые кудри обрамляли его русское крестьянское лицо. Как только Андрей Звонарев освобождался от важной своей работы, он приходил к нам с гитарой под мышкой. Репертуар его был невелик, и вскоре мы знали его наизусть, хотя для нас все было внове. Опустив руки, вперив взгляд в пространство, наш симпатичный коммунист выражал свою любовь в популярных романсах, которые, увы, вызывали у нас смех.

Полюбил красу я девицу
И готов за нее жизнь отдать,
Бирюзой разукрашу светлицу,
Золотую поставлю кровать.

Но коль в сердце сомненье вкрадется,
Что красавица мне неверна,
От возмездия мир содрогнется,
Ужаснется и сам сатана.

Не без лукавства мы предлагали ему спеть другую песню из его репертуара — старую русскую легенду о разбойнике Кудеяре. И снова звучал его тенор: Андрей пел про разбойника, который пролил немало крови, но раскаялся и стал отшельником.

А я очень подружилась с Андреем Звонаревым. Правда, моя сестра, устав от его воздыханий, обычно спешила уйти из дома до его прихода, а моя мать была слишком музыкальна и, страдая от его вульгарного пения, всегда находила повод удалиться. Поэтому меня и оставляли довольно часто с Андреем Звонаревым наедине, а он по упрямству своему не желал уходить, не повидав предмета своей любви, хотя бы в общем семейном кругу. Мне приходилось его занимать, что я и делала на свой лад и не без некоторого коварства.

Андрей Звонарев жестоко сожалел о недостаточности своего образования. Он любил поэзию, был чуток к красоте. Все, что было ему неизвестно, возбуждало его интерес, и он часто просил меня читать ему стихи, которых я великое множество помнила наизусть.

Стоя перед ним, я с большим удовольствием декламировала сатирические баллады Алексея Толстого, сочиненные в 1871 году, которые мне

казались весьма подходящими к нашим обстоятельствам. Ту, например, где пара молодых, в пышных расшитых платьях, какие носили в средние века, прогуливается, обнявшись, по прекрасному саду «порой веселой мая».

«О милый!.. / Не лепо ли нам вместе / В цветах идти по лугу?» — молвит молодая. А милый отвечает: «Здесь рай с тобою сущий! / Воистину все лепо! / Но этот сад цветущий / Засеют скоро репой!»

Молодая жена в недоумении: что же станет с кустами, где поют соловьи, с рощей? «Кусты те вырвать надо / Со всеми их корнями, / Индеек здесь, о лада, / Хотят кормить червями!» Ну, а соловьев «Скорее истребити / За бесполезность надо!» — рощу же порубить, дабы поставить на ее месте скотный двор: «И будет в этой роще / Свиней пастися стадо!» / «Но кто же люди эти, — / Воскликнула невеста, — / Хотящие, как дети, / Чужое гадить место? / Иль то матерьялисты?» — вопрошает она. А молодой муж отвечает, что имя им — легион: «Они же демагоги, / Они же анархисты». — Собравшись вместе, они всегда грызутся, однако «В одном согласны все лишь: / Коль у других имение / Отымешь и разделишь, / Начнется вожделение. / Весь мир желают сгладить, / И тем внести равенство, / Что все хотят загадить / Для общего блаженства».

Написанная в стиле старинной русской баллады, сатирическая поэма Алексея Толстого — после рассуждения о том, что искусство для искусства не более, чем «птичий свист», и что в песнопеньи всегда должно «сквозить дело» — заканчивается следующей посылкой:

Служите ж делу, струны!
Уймите праздный ропот!
Российская коммуна,
Прими мой первый опыт!

Так как автор этих строк давно уже был на том свете, мой новый друг поделать с ним ничего не мог и только улыбался.

Я читала ему еще одну балладу Алексея Толстого — о Потоке-богатыре. Этот древний богатырь временами надолго засыпал, чтобы пробуждаться в различные моменты русской истории. Каждый раз он узнавал вещи такие чудные, что спешил уснуть опять на целый век. И вот наконец проснулся он в мире прогресса (в 1871 году). Тотчас же к нему подступил «патриот» и спросил: «Говори, уважаешь ли ты мужика?» / Но Поток отвечает: «Какого? /... / Если он не пропьет урожаю, / Я тогда мужика уважаю!»

«Феодал! — закричал на него патриот. —
Знай, что только в народе спасенье!»
Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ,
Так за что ж для меня исключенье?»
Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот!
Править Русью призван только черный народ!
То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!»

— Ваша дочь чертовски умна, — говорил несчастный Андрей Звонарев моей матери, когда она возвращалась к нам. Может быть, он

думал о том, как труден долг честного коммуниста — вырывать ростки аристократического воспитания из дворянского отпрыска, к которому испытываешь симпатию.

И он снова брался за гитару и запевал:

В гареме нежился султан,
Ему завидный жребий дан:
Он может девушек любить.
Как хорошо султаном быть!

Но он несчастный человек,
Вина не знает весь свой век:
Так повелел ему Коран.
Вот почему я не султан.

Папе в Риме сладко жить,
Вино, как воду, может пить...

Но он несчастный человек,
Любви не знает весь свой век:
Так повелел ему закон.
Нет, пускай папой будет он!

Не думаю, что мой друг Андрей Звонарев стал крупной шишкой нового режима. В нем была искренность, благородство, он старался быть справедливым, а справедливость плохо уживается с фанатизмом. Не знаю, пережил ли он гражданскую войну, эпидемии и чистки. Если он еще жив, то уже стар. Он не помог нам бежать из Тулы, но, видимо, спас жизнь моей матери тем, что не стал задерживать ее в тюрьме. Поэтому я вспоминаю о нем с благодарностью.

Срок, оставшийся до суда над моей матерью, сокращался, как шагреневая кожа. Исход суда предположить было трудно, так как члены революционного трибунала скорее всего не отличались той честностью, какая была присуща Андрею Звонареву. Террор же набирал силу. Самым верным путем к спасению оставалось бегство, несмотря на все связанные с ним опасности.

Бежать, но куда? И моей матери вообще трудно было на это решиться. О брате мы не имели никаких вестей, отцу невозможно было к нам присоединиться. Украина, говорили, была благословенной землей и не испытывала недостатка в хлебе. Но прежде чем доберешься до ее границ, требуется пройти через множество проверок, а паспорт, выданный моей матери еще при старом режиме, мог лишь скомпрометировать ее.

Как-то раз, когда никого не было дома, к нам пришел мальчик и оставил у женщины, которая помогала нам по хозяйству, записочку: отец такой-то просил княгиню Шаховскую пожаловать к нему в церковный домик при храме. Это было где-то на окраине города. Мы с матерью тотчас же туда отправились. Священника не было дома, но его сын, по-видимому одного со мною возраста, объяснил нам, что накануне его отец услыхал, как на вокзале красноармейцы обсуждали между собой скорый арест княгини Шаховской. Не без труда ему удалось узнать, где мы живем, так как он хотел известить нас об опасности.

Мои сестры стали умолять нашу мать уехать из Тулы. Первым делом необходимо было достать пропуск. Не знаю, как удалось ей заполучить эту неказистую бумажонку, на которой был напечатан на машинке очень простой текст. Он гласил, что гражданке Бернард с детьми (количество которых не было уточнено), родом из Харькова, разрешалось вернуться на родину. Несколько печатей, равно как и фотография моей матери, придавали этому листочку некоторую официальность и солидность. Оставалось уговорить меня расстаться с Пупсиком. Я согласилась лишь при условии, что через некоторое время тетушка приедет к нам и привезет его с собой.

Сборы начались в тот же день; производились они в глубочайшей тайне. Кроме небольшого числа самых верных друзей, никто не подозревал о наших планах.

Из предыдущих страниц читатель, верно, заметил, что моей семье была свойственна безыскусная, «детская» вера. С раннего детства я твердо верю в то, что жизнь есть не что иное, как цепочка чудес, малых или больших, ярких или скромных. Мы жили среди чудес, и у нас

хватало здравого смысла это признавать. Одно из них совершилось в Туле.

Все было готово для отъезда, намечен он был на тот же вечер. Внезапно моя мать отказалась ехать. Объяснить причину она не могла, но, встревоженная, она упорно сопротивлялась всем нашим мольбам; единственное, что мы смогли у нее вырвать — это безусловное обещание, что мы тронемся в путь вечером следующего дня.

Нам плохо спалось в эту ночь. Любая оттяжка казалась губительной. Предупреждение священника давало повод для худших опасений, и оправдаться они могли именно в эту ночь. Наконец рассвело. Всюду стояли чемоданы, набрана была полная корзина провизии: купить что-либо дорогой мы не надеялись. Моя мать все еще противилась отъезду, но обещание было дано, и к вечеру тетушка с обоими сыновьями и двое-трое друзей пришли прощаться. Приятельница моей матери, госпожа С., с сыном моего возраста собиралась уехать тем же поездом, на который рассчитывали попасть и мы. Разумеется, о том, чтобы заказать места заранее, тогда нечего было и думать. Она не бежала, как мы, но ехала за провизией на Украину. Атмосфера нашего отъезда была довольно мрачной. Только те, кто знает, что такое террор, поймут, что чувствовали мы в те минуты.

Вдруг раздается стук в дверь. Кажется, все мы побледнели. Не пришли ли за нашей матерью? Тогда готовые чемоданы послужат лишним доказательством для ее обвинений. Гости наши, возможно, подумали в тот момент, что и их присутствие среди нас обернется им во вред.

Стук продолжается. Приходится идти открывать... К общему изумлению входит мой брат. Но он уже не тот юноша, что был до отъезда. Он вырос, похудел, голова его чуть заметно дрожит. Вместо багажа он держит в руках длинный белый хлеб, уже почерствевший — но каким восхитительным он нам кажется! Однако на излияния времени не остается. Тянуть с отъездом становится еще опаснее, это очевидно.

Дмитрий вкратце рассказал, как ему с Павликом удалось добраться до частей Белой армии и как он вступил вместе с другом в Астраханскую дивизию, которая сражалась в Сальских степях под Царицыном, ставшим потом Сталинградом, а затем Волгоградом. Там он был контужен в голову и воспользовался отпуском по болезни после выхода из госпиталя, чтобы попытаться безо всяких бумаг, удостоверяющих его личность, перейти границы и демаркационные линии, что ему и удалось. Пройдя через все проверки и преодолев все опасности в охваченной гражданской войной стране, добрался он до Тулы. Если бы мы уехали накануне, он оказался бы в мышеловке.

Как он ни упирался, но брата заставили напялить один из костюмов Вали — темно-зеленый, как мне помнится, отделанный выдрой. На голову повязали ему платок. Гражданка Бернард и ее дети были готовы к новому рискованному повороту судьбы.

В сентябре 1918 года вокзал в России представлял собой настоящее столпотворение голодных и хворых, солдат и крестьян, буржуев и «бывших», одетых по-пролетарски, — весь этот люд часами ожидал прибы-

тия какого-нибудь поезда и, отправляясь в путешествие, исход которого был не ясен никому, брал приступом теплушки или грязные, расхлябанные, вшивые вагоны четвертого класса. Набившись, как сельди в бочке, на жесткие сиденья среди корзин и мешков, мы катили, сопровождаемые руганью, стонами, запахом немытых тел. Наступая бесцеремонно на ноги, красные солдаты проверяли пассажиров, трясли сидящих, чтобы потребовать у них бумаги, узнать их имена. Я должна была неукоснительно держать в голове чужую, не мою фамилию.

Первая пересадка у нас в Орле — на земле описанных Тургеневым дворянских гнезд. Наши чемоданы и узлы выбрасываются на перрон. Их сразу же окружают для обыска. «Не трогайте ничего!» — кричит матрос с оголенной грудью, в бескозырке набекрень, с парабеллумом за поясом. Два красных солдата открывают чемоданы, роются в одежде, перетряхивают белье.

Мы молча наблюдаем за ними и надеемся, что они не найдут наших тайников, куда мы спрятали некоторые драгоценности и немного денег. Драгоценности вшиты в корсеты моей матери и сестры, в подпушки наших пальто. Но всего не предусмотришь. С триумфальным возгласом матрос замечает на маникюрном, из мягкой кожи, несессере моей сестры маленькую блестящую княжескую корону.

— А ну-ка, что это такое? — вопрошает он с издевкой.

Он похож на охотничью собаку, поднявшую дичь. И мы с облегчением слышим отповедь Вали, звучащую совершенно по-бабьи:

— А что, подумаешь! Ты-то, наверное, не стесняешься, если что-нибудь у буржуев можешь стянуть. Ну, хахаль мой взял эту штучку для меня в одном имении. Тебе что, не нравится?

С этими словами она отрывает корону и швыряет на рельсы:

— Да ну ее!

Резкость моей сестры и ее простонародный говор производят впечатление на матроса, и он отступается. Мы кое-как запихиваем все вещи обратно в чемоданы и с трудом их закрываем.

Теперь нужно найти подходящий нам поезд. Нелегкое это дело! Вот наконец состав, следующий до Курска — старинного города, окрестности которого славятся соловьями. И все повторяется: брань, вздохи, стоны, ссоры. Этот поезд набит солдатами. Они здесь господствуют. А у нас новая причина для беспокойства. Дмитрий, кажется, заболевает. Его знобит. Он молчит, чтобы голос его не выдал. В окружающей нас человеческой массе наверняка есть больные тифом или холерой, а мы знаем, что профилактические меры в поездах крутые: солдаты просто выбрасывают больных на железнодорожное полотно. Неужели так же поступят и с Дмитрием? Всюду кишат вши и клопы. Поезд движется медленно. Долго тянется ночь...

Наконец приезжаем в Курск. Еще один неопрятный, темный, тревожный город. Опять нас обыскивают, толкают на липком от плевков и нечистот перроне. Мы уже проделали большую часть пути, но та, что впереди, наиболее опасна.

Дальше мы едем в вагоне для скота, где встречаемся с госпожой С. и ее сыном. «Лошадей — 8, человек — 40», — написано черными бук-

вами на его стенах. А нас человек около пятидесяти: бледные женщины с больными детьми, благообразные старики в куцых одеждах. Ни молодых, ни зрелого возраста мужчин здесь нет, если не считать двух исхудавших, трогательных мальчиков; бедняги одеты в кадетские мундиры. Старшему брату лет пятнадцать-шестнадцать, младшему — около двенадцати. У них нет ни чемоданов, ни тюков. Когда кто-то вынимает еду, они закрывают глаза. Но со всех сторон им протягивают кто яйцо, кто сухарь, кто яблоко; старший бóльшую часть отдает младшему брату. Можно догадаться без труда, что они собираются примкнуть к Белой армии, в которой, возможно, сражается их отец-офицер. Мы смотрим на них, как на обреченных, которым ничем нельзя помочь. Они молчат, прижавшись друг к другу; осунувшиеся их лица бледны, кожа на руках прозрачна. Они уже мертвецы; глядя на них, я, как и прочие, дрожу от ужаса и жалости.

Поезд стоит на каждом полустанке. Мы приближаемся к границе; появляется белый хлеб. Пассажиры бросаются его покупать, бегут за кипятком. Я сижу в дверях вагона и смотрю на уже скошенные поля. Крестьяне провожают глазами человеческий скот, который медленно проплывает мимо них. Не сон ли это? Но вот поезд останавливается: граница.

«Украинские репатрианты», в большинстве своем такие же «липовые», как и мы, выходят, чтобы подвергнуться последней проверке. До цели так близко, а мы дрожим перед этим последним контролем более, чем когда-либо раньше. Ждем несколько минут. Входит женщина с ярко выраженной еврейской внешностью, коротко стриженными черными волосами. Ее кожаная куртка перепоясана широким солдатским ремнем, к которому пристегнут револьвер. Новый тип революционерки — женщина-чекистка. Изумленные, мы смотрим на папиросу в углу тонких ее губ и на привязанный к запястью хлыст. С высокомерным презрением она приказывает женщинам распустить волосы и снять туфли. Она ощупывает одежду моей матери и сестры с профессиональной ловкостью, но ничего не находит. Щупает и подрубленный край моей юбки, но так же безуспешно. Впечатление такое, что ее интересует не столько добыча — обручальные кольца, крестики, брошки, конфискуемые ею, — сколько возможность подвергать людей всяческим оскорблениям.

Наконец-то мы свободны или почти свободны. По ту сторону заставы тянется вереница украинских крестьянских подвод, ожидающих клиентов. «Украинские репатрианты», которым посчастливилось перейти границу, располагаются. Вот последние советские патрули; сердце стучит, наполняется радостью, смешанной с ощущением, что наша жизнь висит на волоске... На горизонте видны силуэты немецких часовых. Но тут разыгрывается трагедия. Наш обоз еще не тронулся, и мы видим, как солдаты ведут двух юных кадетов. Побледневшее, суровое лицо старшего, дрожащие губы младшего... Мы опускаем глаза. Вся эта группа

удаляется в сторону ветряной мельницы. Мы еще находимся на ничейной земле, когда раздаются выстрелы. Все понимают, что это значит. Наш возница снимает шапку и крестится. «Здесь часто случается такое», — говорит он. У моей матери на глаза навертываются слезы.

В нескольких сотнях метров нас ожидают гайдамаки гетмана Скоропадского, бывшего царского генерала, ставшего главой оккупированного немцами украинского государства. Как бы желая показать, что власти у украинцев ровно столько, сколько пожелают им отпустить немцы, бумаги наши проверяет гладко выбритый, подтянутый германский офицер — полная противоположность разнузданному миру, который мы только что покинули.

Теперь мы в безопасности. Трудно, однако, даже мне, ребенку, быть обязанным безопасностью тем, кто на протяжении четырех лет был нашим врагом и кого мы считаем ответственным за учреждение в России коммунистического режима.

Офицер рассматривает наши бумаги; моя мать говорит ему несколько слов по-немецки. Поднеся руку к козырьку, он желает нам счастливого пути! Красные от нас метрах в пятистах, но мы уже вне их досягаемости. Непроизвольно из уст «украинских репатриантов» само собой вырывается: «Боже, царя храни». Так старики, женщины и дети, освободившись от гнетущего страха и смятения, возглашают свою надежду.

Мы продвигаемся по ласковой, цветущей земле, где, по словам выросшего на ней Алексея Константиновича Толстого, «...все обильем дышит, / Где реки льются чище серебра, / Где ветерок степной ковыль колышет...» Проезжаем деревни с побеленными известью мазанками под соломенными крышами; они окружены цветами, чудоцве́тами и высокими подсолнухами.

Наступает ночь, лучезарная ночь. Под полной луной бегут темные дороги средь более светлых полей. Появляются вдали серебристые меловые горы — совсем новая для меня картина. Хорошо жить на свете — но как упрек встают перед глазами, среди благодатной тишины, смертельно бледные лица двух расстрелянных детей. Эти маленькие призраки сопровождают меня на этом пока безопасном пути, не оставят они меня и все последующие годы, вплоть до самой старости. Сегодня некому, кроме меня, вызвать их мысленно к жизни, если только один из тех, кто в этот сентябрьский день, не дрогнув, нажал на курок, не вспоминает иногда о них тоже. «Кто-то молит, кто-то кричит / кто-то стреляет, кто-то убит. / И навек — вплоть до Судного дня — тишина...»

Восходит солнце, встает день, а в селах просыпаются гоголевские Вакулы, Оксаны, Рудые Паньки. Возница предлагает нам подкрепить силы в деревне, через которую мы как раз проезжаем. Это настоящая Украина, хотя все тут говорят по-русски — правда, говор южный, как у Виктора Модлинского.

Вот мы сидим за столом в безупречно чистой хате. Все бело, все сияет... Молодая жена нашего возницы собирает на стол, пока мы умываемся прохладной водой. Все в этой молодой женщине дышит спокойствием и приятно для глаза: и белизна ее вышитой полотняной рубахи, и темно-рыжие волосы под головным убором, и быстрые руки, и певучий, приветливый голос. С восхищением смотрим мы на молоко в крынке, на белый хлеб с золотистой корочкой, на сливочное масло. Один только Дмитрий, хотя и вновь обрел мужской облик, не ест ничего. У него жар, и наша мать спешит добраться до какого-нибудь города, где сможет его лечить.

Следующая наша остановка в Белгороде, отстоящем от Москвы километров на семьсот. Мы бережно храним адрес двоюродной сестры Модлинского, который он нам дал, и звоним в дверь ее домика. Мы еще не успели объяснить, кто мы такие, а она уже приглашает нас войти, зовет служанку, и на столе опять появляются хлеб, масло, сме-

тана, нежная розовая колбаса... Но мы ненасытны и едим, едим, едим, забывая о человеческом достоинстве.

И все как-то очень быстро устраивается. Госпожа С. с сыном снимают комнату в монастырской гостинице при женском монастыре. Моя мать пристраивает нас в сам монастырь и уезжает в Харьков с Дмитрием, которому все хуже и хуже, и с Валей, которая, похоже, тоже собирается заболеть.

Потянулись мирные, ясные, неторопливые дни. Белгород, как указывает на то его имя, — очень белый городок, окруженный меловыми горами, возвышающимися над Северским Донцом.

За белой монастырской оградой — храм с золотыми куполами, вокруг около полусотни домиков, все в цветах; деревья, благоухающие кусты. В этой монашеской обители нас поселили у двух инокинь. Каждая из нас занимает крохотную келью, стены которой увешены фотографиями епископов и монастырских настоятельниц.

Ранним утром одна из монахинь стучит в мою дверь. Слышу ее голос: «Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Еще сквозь сон отвечаю: «Аминь!» Распахиваю зеленые ставеньки, и солнечный свет заливает комнатку. На подоконник садятся упитанные голуби. День начинается с продолжительной молитвы. Мы с Наташей по очереди читаем утреню по-старославянски в старинной книге. Сестры грамоты не знают, но тексты помнят наизусть и поправляют нас, когда мы ошибаемся.

Утренний чай нам подается в саду, в беседке, обвитой диким виноградом. Монахини проходят мимо нас по дорожкам. Затем ударяют колокола, и мы остаемся одни; мы свободны.

За монастырем простираются поля. Я иду в монастырскую гостиницу, где живут госпожа С. и ее сын, мой товарищ и спутник по прогулкам. Он уже меня ждет. Мы проходим пешком многие километры и возвращаемся к обеду, уставшие, в пыли, взгромоздившись на мешки с картофелем или на гору арбузов, привозимых в город крестьянами.

После трапезы, состоящей из овощей и фруктов, я углубляюсь в светские книги, не обращая внимания на молчаливое неодобрение сестер. Иногда я ухожу помечтать на небольшое кладбище, которое притулилось к храму недалеко от дома игуменьи. Большой и строгий ангел надзирает за могильными крестами. И тут тоже, этой прекрасной осенней порой, яркими пятнами горят поздние цветы, поют птицы, воркуют голуби. Время остановило свой бег.

Случалось, среди ночи монашки нас будили на ночную службу. Мы набрасывали на головы черные покрывала, ниспадавшие, как мантии, на наши плечи, и присоединялись к шествию сестер, направлявшихся в храм. Каким прекрасным мне казалось там сверкание золота, за которым простиралась ночь! При мерцании свечей оживали лики святых на иконостасе; под апостольниками монахинь и белыми платками послушниц лица оставались в тени, а чистые голоса поднимались к куполу и оттуда спускались ко мне, как бы зовя и меня следовать сияющим, но тернистым путем. Мне казалось, что я могла бы прожить так долгие годы. Но это было лишь краткой передышкой перед тревожной зимой.

Пока я привыкала к давно забытой безмятежности, моя мать в Харькове дрожала за жизнь двух своих детей. Валя чуть не погибла от испанки. Дмитрий, как мы и предполагали, заболел тифом. Он с самого рождения имел хрупкое здоровье, а фронтовая жизнь и контузия вовсе подорвали его силы. Шансы выжить были очень малы. Больницы были переполнены. Валю, тем не менее, приняли в одну из них, а за Дмитрием мать ухаживала сама в снятой ею комнате. В бреду он говорил о войне; жар истощал его силы. Врач предупредил мою мать о вероятном смертельном исходе.

— Вы забываете о том, что бывают чудеса, — ответила моя мать.

— Я — человек науки и в чудеса, увы, не верю, — возразил доктор.

«Я готова была принять волю Божью, — писала моя мать, — да и как могла я знать, что лучше для него, остаться в живых или умереть? Но я не переставала бороться: камфора, кофеин, шампанское, кофе, неусыпная бдительность».

— Скоро я поверю в чудеса, — сказал доктор, найдя в один прекрасный день, что мой брат немного ближе к жизни, чем к смерти.

Виктора Модлинского в Харькове не было, но моя мать разыскала его семью. Его зять, деловой человек, не только раздобыл для нее денег, которых у нее совсем не оставалось, но еще и согласился поехать в Москву, чтобы попытаться наладить отъезд на Украину моего отца.

С 1917 года мы жили в постоянном ощущении временности и непрочности нашего бытия. Даже имя гетмана, вершившего в Киеве судьбами нового государства, было вещее: Скоропадский.

Вместе с тем в Харькове еще не прекратил своего существования Институт благородных девиц — провинциальное отражение Екатерининского института. Моя мать поместила туда Наташу и меня, и даже Валю, которая окончила курс еще в 1914 году. Опять я влезла в длинную зеленую форму, обрела классных дам, спала в дортуаре, сидела на классных занятиях. В 1918 году появилась на свет «самостийная» Украина, и требовалось соответственно украинизировать обучение. Но преподавателей, знающих украинский язык, найти было невозможно. Пришлось довольствоваться тем, что ввели курс украинского языка. У нас его вел долговязый, несколько заикающийся молодой человек, очень рассеянный и столь мало уверенный в своих собственных знаниях, что приходил в класс, вооружившись словарем и учебниками, без которых он не смог бы дать ни одного урока. Звали его Колосовский. Я не стала ему перечить и, к его удовольствию, выучила несколько поэм великого малороссийского поэта Шевченко, которые я и сегодня могла бы прочитать наизусть: «Мова рідна, слово рідне» и «Умираючи Кнезь Ярослав», где речь идет о моем предке, так что и я могла бы при желании потребовать для себя украинское подданство.

Зима 1918 года с самого начала оказалась очень суровой. Огромное здание Института топить было нечем, так что мы мерзли и в классе, и в столовой, и в спальне — от холода мы даже не могли заснуть. Как-то вечером, глядя на наши посиневшие лица, на опухшие, покрас-

невшие и потрескавшиеся от холода руки, классная дама посоветовала нам лечь по двое или по трое в одну постель, и мы прижались друг к другу, как щенята, чтобы хоть немножко согреться.

Украина переставала быть страной изобилия с молочными реками, кисельными берегами. Когда моя мать с Дмитрием приходила нас навещать, она старалась принести нам что-нибудь поесть, но мы были в таком возрасте, когда трудно сдержать аппетит. Продолжали свирепствовать испанка, сыпной и брюшной тиф, бронхиты и воспаления легких, но в Москве было и того хуже. Деловой человек, который взялся устроить побег моего отца из Москвы, вернулся наконец оттуда и сказал, что, ослабев от лишений и, возможно, не желая лечь дополнительным грузом на плечи моей матери, отец отказался покинуть Москву. Он будто уже решил, что там и умрет.

Так трудно разобраться в царившем в ту пору в России хаосе, что, выходя за рамки моих личных воспоминаний, я позаимствую из учебника «Русской истории» Петра Ковалевского некоторые факты, позволяющие приблизительно очертить ситуацию зимы 1918 года.

Стало быть, в Киеве — гетман Скоропадский. Но украинские революционные антикоммунистические силы организуются в подполье под руководством Петлюры. В Германии начинается революция, и немецкие оккупационные войска оставляют Украину. Петлюра опрокидывает Скоропадского, но после ухода немцев защищать Украину становится невозможно. Центр России в руках Советов. С северо-запада, за Петроградом, армия генералов Юденича и Лайдонера, поддерживаемая эстонскими добровольцами, угрожает большевикам. На Севере под прикрытием союзников образуется антикоммунистическое правительство. Северные войска поставлены под командование генерала Миллера. На Востоке, в Сибири, господствует не меньший беспорядок. К антикоммунистическим силам, занимающим эти края, присоединятся сто тысяч бывших чешских военнопленных, возвращающихся на родину таким кружным, самым длинным путем. Правительства рождаются, умирают. В Омске правит социалистическое правительство, в Уфе — Директория. Наконец, в ноябре 1918 года адмирал Колчак совершает переворот и в Омске берет бразды правления. Ковалевский пишет: «Сибирь на время уходит из-под контроля Москвы».

На Юге, где находимся мы, Добровольческой (или Белой) армией командует генерал Деникин[1]. Он контролирует Северный Кавказ, а также казачьи области. Единственная заноза на этой территории, занятой добровольцами под лозунгом «Единая и Неделимая Россия», — Петлюра со своими социалистами-сепаратистами.

Наступает декабрь. Мы все еще в Институте. Красные подходят к Харькову, начинается бегство из города. Офицеры и солдаты Добро-

[1] Гораздо позже на одном интервью, где я собиралась надписать свою книгу очаровательной французской журналистке Марине Грей, которая задавала мне вопросы, разумеется, по-французски, я узнала, что она — дочь генерала Деникина. (*Прим. автора*).

вольческой армии, находившиеся в Харькове в отпуске или на поправке, спешат в свои части. Моя мать провожает Дмитрия на поезд, отправляющийся на Северный Кавказ. Еще не совсем оправившись от своей болезни, он влезает на полку, закутывается в одеяло и тотчас засыпает.

Беспорядок, я это знаю, присущ всем войнам. Но на войнах гражданских он достигает вершин абсурда, достойных разве короля Убю[1]. К большому количеству армий, общероссийских и местных, добавлялись вооруженные банды партизан-патриотов, партизан-коммунистов, партизан-анархистов, а то и просто сборища бандитов с большой дороги.

Невероятное размножение армий и военачальников порождало всевозрастающую смуту. Тут был и украинский анархист «батька Махно» и его банда грабителей, хоть и не лишенных романтизма (они делились добычей с неимущими), но оставлявших на своем пути множество трупов... И генерал Шкуро, белый партизан, но вместе с тем и бандит, и его «волки»... И генерал Май-Маевский, одно имя которого внушало всем евреям смертельный ужас... Тут были и просто солдаты удачи, бравшие города, чтобы затем в страшном разброде оставить их... Победы и поражения добровольцев, победы и поражения красных... Города, переходившие из рук в руки едва ли не каждый день, так что обезумевшее население часто не знало, от кого зависела его жизнь, откуда ждать опасности... Прибавим сюда еще и «зеленых» — шайки дезертиров, орудовавших на Северном Кавказе на свой страх и риск, живших воровством и убивавших и белых, и красных, и иностранных офицеров, если те попадались им под руку.

Поезд, в котором ехал мой брат, был остановлен бандой Махно. Погибло большое число белых офицеров, которых просто зарезали. Пули были слишком драгоценны, и их берегли, когда была возможность пустить в ход сабли и кинжалы. Немногим офицерам удалось бежать.

Моя мать узнала о нападении из газет. Но я уже не раз говорила, что в нашей семье чудеса были, если можно так сказать, делом обыденным. Моя мать, никогда не терявшая надежды, узнала от офицера, которому удалось выскочить из поезда и вернуться в Харьков, что один из людей Махно, отбросив одеяло, в которое завернулся Дмитрий, воскликнул: «Так это же мальчишка!» — и пощадил его.

По приезде в Харьков моя мать вернула себе свою настоящую фамилию. Она жила в гостинице «Астория». И сделала все, чтобы мы не были лишены рождественского праздника, хотя город уже был охвачен паникой. 24 декабря на ее ночном столике появилась елочка. У нас были каникулы, но так как ночевать в гостинице мы не могли, то каждый вечер все трое возвращались в Институт.

И вот все началось сначала... Опять раздались выстрелы, опять затрещали пулеметы; захлопали двери, забегали люди... Петлюровцы оста-

[1] Король Убю — персонаж французского писателя А. Жарри (1873—1907), символ глупости и своеволия. (*Прим. перев.*).

вили город еще до прихода красных, и всю ночь в Харькове царила анархия.

Моя мать понимала, что надо срочно уезжать из «Астории», где она была записана как Шаховская. Но где найти убежище? Она набросила на голову платок, взяла пустую бутылочку из-под денатурированного спирта и стала спускаться по лестнице, чтобы пойти попросить приюта у председательницы общества «Капля молока», с которой была знакома.

В вестибюле уже пьяный портье ей сказал:

— А бежать, красотка, не надо, разве ты не знаешь, что вышло решение о национализации женщин? Так что давай с тобой хорошенько повеселимся.

На что моя мать ответила:

— Ну конечно, я и бегу за водкой, чтобы отметить это событие. Вместе и выпьем. Сейчас вернусь.

В «Капле молока» ставни закрыты, но виден свет. Моя мать принимается звонить, затем стучать. За дверью слышится движение, но ей не открывают. В потемках она царапает свое имя на клочке бумаги и сует под дверь. Наконец ее впускают. На какое-то время она спасена.

На следующий день моя мать приходит в Институт. Там царит уныние. Авангард красных уже вошел в город, и одним из первых мероприятий новой власти оказалось выдворение учащихся; Институт должен стать приютом для беспризорников. На самом деле большая часть воспитанниц и состоит если не из беспризорных, то во всяком случае из потерянных детей, родители которых или погибли, или находились далеко от Украины. Что делать с тремя или четырьмя сотнями девочек, которых выбрасывают на улицу? Не знаю, что бы с нами стало, если бы старый генерал в отставке Палицын, проявив немалое мужество, не обратился бы подпольно с призывом к жителям Харькова, прося их приютить институток. Моя мать сама искала комнатенку, где бы можно было укрыться, и не могла забрать нас к себе. Целый день люди всех сословий приходили к начальнице института, предлагая взять на попечение девочку. Валя пошла жить в достаточно богатую и благородную семью по фамилии Запорожец. Наташу взял к себе скромный еврейский портной, желавший обучать своих детей французскому языку. Я же стала «гостьей» банковского служащего, у которого был семилетний сын: он рассчитывал, что я в свои двенадцать обучу его мальчика хорошим манерам.

На примере моей матери сделаем из этой истории такой вывод: если вы обладаете фальшивым удостоверением личности, не выбрасывайте его, даже в том случае, если вам покажется, что оно отслужило свою службу — оно вам еще пригодится. Только благодаря тульскому документу моя мать в конце концов нашла и сняла комнату в домике доктора Цыганова, на Сумской, главной улице Харькова, за несколько домов от того здания, где — увы! — успела расположиться Чека.

Удивительное дело — те регионы и страны, где господствуют коммунисты, очень быстро скатываются к нищете. При немцах в Харькове было все. При Петлюре начали голодать и холодать. При большевиках в магазинах уже ничего не стало, хотя хлеб, сахар и крупу еще выдавали. У приютивших меня людей я была единственным человеком, обладавшим, как мне кажется, хоть каким-то здравым смыслом и чувством ответственности. И мне нравилось это превосходство над другими. Я вставала в семь часов и будила служанку, молодую, шалую, с очень смутными понятиями о чистоплотности. Затем я стучалась в дверь супружеской спальни, откуда, зевая, выходил в домашних туфлях и халате хозяин дома и ждал, когда я намажу ему на ломтик хлеба повидло. Человек этот был еще молод, даже по тогдашним моим представлениям, но относился с полнейшим равнодушием к любым событиям как исторического, так и семейного масштаба.

Наконец я будила «маленького изверга». Мне пришлось видеть в жизни немало несносных детей, но до Георгия им всем было далеко. Это был бледный, нервный, избалованный, трусливый, невоспитанный и хитрый мальчишка; я до сих пор жалею, что так никогда его хорошенько и не отшлепала. Чем-то занимать его до обеда, за приготовлением которого мне поручено было присматривать, оказалось делом нелегким. Наконец около полудня, вся в завитушках и розовой пудре, выпархивала из спальни хозяйка дома. Со скучающим видом разделяла она общую трапезу. Пока «маленький изверг» отдыхал, я могла взять из домашней библиотеки что-нибудь почитать — Флобера или Мопассана — по-русски, разумеется. После этого мне полагалось в любую погоду уводить мальчика на прогулку со строгим наказом не возвращаться ранее половины шестого. Мать его особо настаивала на этом сроке вовсе не ради того, чтобы на бледном лице ее сына появился хоть какой-то румянец. Эти несколько часов свободного времени она посвящала некоему господину, ежедневно приходившему развеять ее одиночество. Георгий прекрасно это знал и подвергал свою мать невероятному шантажу. Он всегда одерживал победу: его пичкали шоколадом, купленным на черном рынке, избавляли от любого наказания, покупали облюбованную им игрушку... Мальчик пользовался неограниченной властью над матерью.

В те дни, когда она желала оставить сына при себе, я бежала к собственной матери. Стучалась в окно, и она открывала мне. Комнатка ее казалась совсем уж тесной из-за чемоданов, вызволенных из «Астории» ее друзьями. Вид у нее был озабоченный, часто грустный, и мне

трудно было примириться с этим новым для меня выражением ее лица. Я начинала понимать то, что по моему легкомыслию забывала вдали от нее: ее мучили материальные заботы. С дочерьми она была разлучена, сын подвергал себя новым опасностям. Свобода ее и даже жизнь висели на волоске. Что станет с нами, если ее арестуют?

Моя мать штопала мне белье, ужасалась, видя, как я вырастаю из платьев, заменить которые было нечем. Когда она заметила, что у меня снова воспалились глаза и стали выпадать ресницы, что из-за неправильного питания у меня на лице шелушилась кожа, а из-за нехватки мыла я подцепила чесотку, которой страдала молодая служанка, она забрала меня к себе. Она хотела бы взять и Наташу, но это было невозможно. Жить было очень трудно. Моя мать давала несколько французских уроков, и среди ее учеников был Колосовский, который преподавал мне в Институте украинский язык. Заикаясь, он вселял надежду в наши сердца, передавая нам слухи о том, что коммунистические войска терпели одно поражение за другим.

Не помню как, но дочери слепого доктора, которому принадлежал дом, узнали настоящую фамилию моей матери. Оберегая свою безопасность, они хотели отказать нам в квартире. Из-за этого происходили частые ссоры, сцены, драмы... Моя мать плакала, я бросалась ей на помощь, угрожая обеим женщинам не только Божьей карой, но и личной моей местью.

Первые месяцы 1919 года полнились противоречивыми слухами. Кто одержит победу на кровавой шахматной доске, которую являла собой русская земля? В Харькове начинался террор.

Я часто думала о смерти. Ночью, если я просыпалась, я боялась только одного: что моя мать перестала дышать. Я прислушивалась, ловила малейшее движение, малейший вздох, подтверждающий, что она жива — и не выдерживала, двигала стулом, кашляла; наконец, одержимая тревогой, звала ее. Услышав шорох одеял, скрип кровати, успокаивалась и засыпала...

Наступила весна, и я томилась в тесной комнатушке, из которой зимой выходила редко. Теперь я могла выйти на улицу, бродить по садам и скверам, которых в Харькове было так много. Как-то раз я познакомилась с двумя девочками моего возраста; поиграв, мы уселись на скамейку; я стала рассказывать им разные истории. Но мы говорили на разных языках и, увы, не понимали друг друга. На другой день, когда я побежала на свидание, назначенное с новыми моими подругами, их на месте не оказалось.

Я брожу по саду. Деревья пьяны от набухающих почек, по газонам прыгают дрозды... Я спускаюсь в овражек, на дне которого протекает ручей. Обе девочки здесь, они прыгают через скакалку.

— Здравствуйте! — говорю я. Но их лица хмуры. Одна, заметив меня, удаляется прочь. Вторая собирается последовать за ней, но останавливается и говорит мне:

— Мы больше с тобой играть не будем. Ты сумасшедшая.

Сумасшедшая? Мне хотелось бы знать, почему у них сложилось такое впечатление. Разве я похожа на деревенскую дурочку Дуню, которая бродила по Проне одетая в лохмотья — несчастное косоглазое существо, пускающее слюни? Чем я отличалась от других детей? Безответный вопрос, от которого оставалась одна горечь.

Мне хотелось движения, хотелось какого-то общества. С завистью смотрела я на скаутские сборы: мальчики и девочки проводили время вместе, играли, пели. Я попросила у матери разрешения к ним присоединиться, и моему отшельничеству наступил конец. В голодном и запуганном Харькове наша организация, превращенная силой обстоятельств в комсомольскую, тем не менее оставалась враждебной режиму. Нашим руководителем был верный России малоросс. Всяческими ухищрениями он не давал втянуть нас в марксистское русло. Когда коммунисты говорили ему, чтобы наши отряды участвовали в их демонстрации, он отвечал, что, увы, мы накануне ушли в поход. Из старой простыни мать одного из новых моих товарищей сшила мне форменную рубашку. На ногах у меня стучали, как копыта пони, сандалии на деревянной подошве. С рюкзаками за спиной мальчики и девочки отправлялись по дорогам, ведущим к зеленому поясу лесов, окружающих город. Питались мы кулешом — пшенной кашей, сваренной на костре и пахнувшей дымом. В более сытные дни мы варили в золе картошку и добавляли к ней ломтик домашнего сала. Еще было холодно, и я всегда вызывалась на ночные дежурства, потому что любила тишину, прерываемую лишь криками ночных птиц, и особенно тот час, когда горизонт начинает белеть и занимается заря.

Мы походили на всех скаутов на свете, правда, вид у нас был несколько потрепанный. Но если прислушаться к песням, которые мы пели, собравшись, голодные, вокруг костра, то можно было понять, что мир, в котором мы жили, был не совсем обычным.

Будь готов долг исполнить спокойно,
В лицо смерти бесстрашно гляди,
Свою жизнь ты, как рыцарь достойный,
Для спасенья других не щади.

Будь готов твердо встретить ненастье,
Чашу муки испить всю до дна,
Получить хладной смерти объятья,
Отойти в царство вечного сна.

Положение каждого ребенка в России в те времена делало такую внутреннюю подготовку не излишней. Но мы не впадали от этих обстоятельств в безвольное оцепенение, которое так сильно и так бесплодно тяготело в течение двадцати лет над молодежью Запада после войны 1940 года. Близость смерти делала жизнь для нас еще ценнее, и в нашем кровавом мире мы продолжали смеяться и играть, когда оставалось на это время.

В одночасье у меня появилось много друзей, и я с удивлением обнаружила, что нравлюсь мальчикам. Меня приглашали на гимназические вечеринки, где под благосклонным взглядом бывших педагогов мы тан-

цевали вальс под звуки рояля, в то время как вокруг нас война продолжала свои жестокие игры.

В парке встречались нам беспризорные дети — потерявшиеся, одинокие или, напротив, организованные в шайки и упорно стремящиеся выжить в этом безумном мире. С одним из них я подружилась. Его звали Яшка-князь. Лет ему было четырнадцать или пятнадцать, а прозвище «князь» он носил, вероятно, потому, что был грузином: в Грузии, как известно, достаточно иметь некоторое количество овец, чтобы зваться князем. Мать его умерла, и он, как и мы, застрял в Харькове, но твердо надеялся, что ему удастся разыскать своего отца — офицера, сражавшегося, по его предположению, в армии Деникина. Вид у Яшки был мало к нему располагающий, вооружен он был кинжалом с предохранителем. Он был предан мне душой и телом. Если бы я ему пожаловалась, что кто-то со мной плохо обошелся или меня оскорбил, то Яшка, я думаю, хладнокровно зарезал бы обидчика, хотя, живя вне закона, выходил за пределы парка лишь в исключительных случаях. Я одна знала, как его найти.

Дети и подростки, которым посчастливилось сохранить еще родителей и дом, собирались на корте спортивного общества. Приходили туда и польские скауты, и еврейские скауты «Маккаби» — ведь то была пора национального самоопределения. Бедные или богатые, мальчики и девочки, русские, евреи, поляки и украинцы — все мы исповедовали глубокие, хотя, возможно, еще юношеские антикоммунистические убеждения. Все мы успели пройти хорошую школу и знали, что при приближении незнакомца надо замолкать.

1919 год станет решающим в завязавшейся борьбе, и к нему подходят слова, сказанные Сталиным во время войны 1941—1945 годов: «Времени для жалости у нас нет». Продолжались расстрелы, в окрестностях города злобствовали бандиты. Как-то раз я встретила свою институтскую подругу. Ее тоже приютили чужие люди, что спасло ее от гибели. Вся ее многочисленная семья (мать, старшая сестра, младшие братья и сестры), жившая в домике на отлете, уже вне города, была перебита бандитами, которые отрезали груди у матери и у старшей сестры; самый младший, мальчик трех лет, был найден умирающим под креслом. Передо мной стояла Шура Перфильева, единственная уцелевшая, маленькая, худенькая, коротко стриженная после тифа, и я не могла смотреть ей в глаза, пока она мне рассказывала с неестественно неподвижным, как каменная маска, лицом, как была уничтожена вся ее семья.

На широких проспектах цвели пахучие белые акации. Был канун Пасхи. Ходили слухи, что будут стрелять в каждого, кто пойдет к заутрене. Мы все-таки отправились вчетвером по плохо освещенным улицам, по которым спешили испуганного вида люди. Колокольный звон был запрещен. Всюду патрулировали красноармейцы, к винтовкам у них были примкнуты штыки. Нас спросили, куда мы идем. Мы ответили: «В церковь». — «Посмотрим, спасет ли вас ваш Бог!» — отозвался чей-то насмешливый голос. Мы продолжали путь.

В тот год нам совершенно нечем было разговеться. Но кто-то о нас думал: в Великую субботу моя мать получила от неизвестного друга

крашеные яйца и ветчину, вкус которой мы успели забыть. Еще одно, более скромное чудо человеческой доброты...

Накануне Первого Мая власти приказали населению украсить город советской символикой. Несколько примирившись с неизбежностью нашего присутствия, дочери доктора попросили мою мать и меня им помочь. Вооружившись большим количеством картона, ножницами, клеем и цветной бумагой, мы безо всякого энтузиазма мастерили пятиконечные звезды и транспаранты с предписанными лозунгами: «Да здравствует Первое Мая, праздник трудящихся!» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Моя мать предложила еще другой распространенный лозунг: «Мир хижинам, война дворцам» — не такой безопасный, если принять во внимание, что домик Цыганковых был настоящей хижиной рядом с соседним зданием, занятым Чека.

Чая у нас не было, но можно было подкрасить кипяток несколькими каплями жидкости, продаваемой в бутылочках, похожих на аптекарские пузырьки, под названием «Фу-чай». Моим большим соблазном был разносчик, который время от времени осмеливался выкрикивать: «Ирис! Сочный! Молочный! Северо-восточный!» Таинственный возглас, столь же таинственный, как и состав этой подпольной карамели. Всюду расцветала весна, и я страдала оттого, что не могла купить моей матери сирени, в память о матовской. Я как-то сказала об этом Яшке. На следующий же день утром оборванный, нескладный, чумазый Яшка появился под нашим окном и постучал в стекло.

— Вот, — сказал он, — держи. Для твоей матери, с моим почтением.

И, не теряя времени, удрал, спасаясь от разнообразных опасностей, подкарауливавших его в городе. Не букет, а целый куст сирени принес нам Яшка-князь...

В тот же вечер я встретилась с ним в парке, посвистев, как всегда, условленным образом в мой свисток.

— Где ты взял эти цветы? — спросила я, пока он уплетал хлеб с салом, который я ему принесла.

— Уж будь уверена, не у торговца. На что тогда харьковские сады?

Некоторые жесты мы забываем, и, если бы я сегодня не заговорила о Яшке, я бы не вспомнила жесты голодных людей. Яшка съел сало вместе со шкуркой, затем облизал ладони, чтобы не потерять прилипшие к ним хлебные крошки.

Потом он сказал:

— Что-то у тебя сегодня грустный вид. Дай-ка я тебя развеселю. Сиди здесь и не двигайся.

По аллее спускалась парочка влюбленных. Яшка меня покинул, спрятался в кустах. Когда гуляющие приблизились, он выскочил прямо на них со своим страшным ножом в руке и, вращая глазами, пустился в дикий пляс. Парочка убежала. Яшка убрал нож в ножны и вернулся на скамейку очень довольный собой.

— Потеха, правда? Правда, смешно, когда тебя боятся?

Это развлечение предназначалось мне от чистого сердца, и простая вежливость заставила меня сказать, что было действительно очень смешно. Но Яшка уже стал серьезным и заговорил о другом:

— Знаешь, добровольцы совсем близко. Скоро они возьмут Харьков. Я постараюсь к ним пробраться через линию фронта. Представляешь! Я вместе с ними возьму Харьков, и ты увидишь, как я пройду маршем в строю! Я освобожу твою мать, раз моя умерла. А пока не забудь об одном — нам надо выжить. И еще пожить немножко, понимаешь?

Июньское солнце освещало неказистое лицо Яшки-князя, первый пушок на его подбородке, его крупные руки, грязные, потрескавшиеся; пронизывая листву, оно покрывало золотыми бликами его рваную куртку, растерзанную, как и его юность. Облаченный в солнечные доспехи, мой друг Яшка ушел к тем многим, кого я потеряла.

Что происходит в городе, который вот-вот будет взят? Сначала на него опускается странная тишина; притаившись, люди молчат, надеются, боятся. Стены Харькова покрываются плакатами с надписью: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» На них изображен красный сапог, нацеленный на зад убегающего генерала, и земной шар, охваченный пожаром мировой революции.

Террор усиливается. Аресты, пытки, расстрелы. В подвалах соседнего с нами Чека китайские и латышские палачи свирепствуют, расправляются с заложниками и «подозрительными». Старый генерал Палицын, тот самый, который обратился с воззванием к населению о выброшенных из Института воспитанницах, убит. В одном из окон Чека можно видеть кожу его рук — жуткие перчатки из человеческой плоти; они выставлены там вместе с другими подобными, чтобы приучать население к страху.

Каждый день я вижу крытые брезентом повозки, в которых везут в анатомический театр Медицинского института, как раз напротив нашего дома, тела замученных людей. Иногда из-под брезента выглядывает застывшая голова, рука, нога...

Изустная газета — единственная, которой хоть как-то можно доверять — наполняет город всевозможными слухами. Друг другу на ухо передается весть: взяты Сумы, Добровольческая армия уже рядом. На стенах появляются слова, написанные дегтем или известью: «Возмездие близко». Кто это пишет, кто участвует в этом подпольном сопротивлении? Вся молодежь города. Как-то вечером у нас один из таких «сопротивленцев» раскрыл себя. Невероятно, но факт: это был мой учитель украинского языка, несколько комичный персонаж, ставший теперь учеником моей матери. Он показал нам опознавательный знак — маленькую ромашку, приколотую к обратной стороне лацкана его потертого пиджака.

— Клянусь вам честью, — говорил он, — скоро красных выдворят из Харькова.

А пока в город непрестанно прибывают свежие силы — элитные части Красной Армии. Как и «спецы» из Чека, они состоят из латышей и китайцев. В находящийся под угрозой падения Харьков приезжает и сам военный комиссар Троцкий, дабы поднять моральный дух населения. С рассвета на Сумской, где мы живем, раздается грохот сапог и цоканье конских копыт. Волочат артиллерийские орудия. И я вижу, как появляется Троцкий. Это видение, такое мимолетное в действительности, как

и выступление Маяковского в Туле, окажется таким же устойчивым во времени. Не очень легко описать те чувства, которые я тогда испытывала. Но, когда пишешь воспоминания, нет ничего дороже правды.

Мне было видно, как Троцкий осматривал войска, вытянувшиеся по обеим сторонам улицы. Про него говорили, что он прекрасный наездник, но мне показалось, что он не так уж уверенно держался в седле. Весь его облик близорукого интеллигента, его лицо с крючковатым носом, согбенная спина оскорбляли мой взор. А то, что воины, которых он вдохновлял на бой против русских патриотов, имели такой ярко выраженный латышский и китайский облик, вызывало во мне стыд и ярость. Когда Троцкий удалился, солдаты рассыпали строй. Видя меня у окна, китайцы попросили принести им попить. Отказаться было невозможно; я принесла ведро воды, а про себя желала, чтобы в нем кишели бациллы холеры. Мои недруги уходили в бой в хорошем обмундировании и прекрасно вооруженные, как и подобает элитным частям.

Прошло два или три дня. Троцкий уехал обратно в Москву. В Харькове было объявлено осадное положение. Наши встречи на теннисном корте и прогулки прекратились. Скауты тренировались в оказании первой помощи.

— Помните, — сказал нам наш руководитель, — что вы только дети и что война — дело взрослых. Для вас, когда будет литься кровь, не должно быть ни белых, ни красных.

Я не возражала; для меня, как я думала, раненый и более не участвующий в бою воин переставал быть врагом. Но я ошибалась — ненависть так быстро оружия не слагает. Было решено, что, как только начнутся уличные бои, мы встретимся в условленных местах. Мне надлежало прийти к Технологическому институту.

И вот, наполняя мое сердце ликованием, раздаются первые громовые раскаты пушек — приятная музыка для тех, кто жаждет освобождения, кто не довольствуется прозябанием на обочине истории, прикованный к своей узкой личной жизни, кто не относится к «чистеньким» интеллигентам, подменяющим действия пустыми разговорами.

Я села у окна. Видимо, сигнал к восстанию еще не был подан. Улицы были пусты. И вдруг моим глазам представилось жуткое зрелище, из-за которого я забыла вчерашние благие намерения. По Харькову провозили поверженного врага. Молодой казак, раненый или убитый, был привязан к дрожкам. Лошадь шла шагом, чтобы любопытствующие успели проникнуться спасительным, как полагали, ужасом. Я видела прядь волос, выбившуюся из-под кубанки, и окровавленное лицо. Из кармана жертвы торчало горлышко бутылки, засунутой туда, наверное, насмешки ради. По обеим сторонам дрожек скакали красные кавалеристы (они были русские — не надо обвинять меня в расизме) и хлестали нагайками безжизненное тело.

Отвратительный запах разложения, который доносился из анатомического театра Медицинского института, не давал нам вот уже несколько дней отворить окно. Тем не менее этот смрад проникал повсюду, тош-

нотворный, ужасный; он еще не раз встретится мне на моем жизненном пути. Видно, времени не хватало закапывать расстрелянных, и нагроможденные тела в летнюю жару разлагались.

По правде сказать, моя мать не разрешила мне идти к скаутам-спасателям, но, когда я увидела нескольких вооруженных, хоть и в гражданской одежде молодых людей, бегущих, пригнувшись, по Сумской, когда вдоль по улице просвистели первые пули, я не смогла удержаться, открыла окно и выпрыгнула наружу.

Слышно было, как закрывались на засовы двери, как затворялись довольно редкие в центре города ставни. Перестрелка, едва начавшись, прекратилась. Я добралась беспрепятственно до Технологического института. Скаутский часовой приказал мне подняться на крышу. С полевым биноклем в руке, наш руководитель смотрел, как белые продвигаются со стороны Сум. «Они уже у Сабуровой дачи! — кричал он. — Готовьте носилки, будем спускаться». Я ждала, чтобы меня прикрепили к какому-нибудь участку, когда скаут Гарик, живший неподалеку от нас, прибежал, запыхавшись, и сказал руководителю отряда: «Я пришел за Зикой, она слишком мала, ее мать беспокоится». Так окончилось мое приключение, и меня отправили домой в сопровождении Гарика. Я была в бешенстве и отказывалась с ним разговаривать. Он вел меня по разработанному им, по всей вероятности, маршруту, и нам встретились по дороге только два запыхавшихся красноармейца, бегущих с ружьями наперевес. Гарик прижал меня к какой-то двери и галантно заслонил собой, но солдаты не обратили на нас ни малейшего внимания.

— Они убежали! — крикнул один.

— Готово, удрали! — отозвался второй.

Мгновенно они содрали с себя красные звезды и заменили их значками белого сопротивления.

Уверенность этих двух бойцов была преждевременной. Ничто еще не было решено. Пушки все еще гремели, ближе к нам стрекотали пулеметы. Группы красных кавалеристов устремились вниз по Сумской в «нужном» направлении — отходили на Курск. Они тоже на нас даже не взглянули. Я влезла в окно, и Гарик обещал за мной зайти, как только ходить по улицам станет безопасно.

Победа белых казалась неминуемой. Но, если мы ожидали ее с нетерпеливой радостью, были люди, которые опасались ее последствий. То были скромные харьковские евреи. Регулярная белая армия погромов не чинила, но я уже упомянула о том, что среди командиров разношерстных войск и вооруженных банд встречались самые разные люди, и многие действовали самовольно, не считаясь ни с кем. Таковым был, к примеру, генерал Шкуро со своей сотней «волков», сильно напоминавших людей «батьки Махно», или генерал Май-Маевский, считавший полезным вздергивать всех евреев без разбора на виселицу только за то, что они были соплеменники Троцкого, Нахамкеса, Литвинова и многих других вождей коммунистов.

Мелкие еврейские ремесленники, мелкие торговцы искали покровительства у моей матери, и это тоже было признаком близкого взятия Харькова белыми. Уж теперь-то дочери врача ни в чем ей не отказывали. По ее просьбе они открыли двери своего погреба, и несчастные спускались туда. Приходили все новые и новые и приводили свои семьи. Хватаясь за платье моей матери, они молили о том, что уже и так было им пожаловано.

— Ой вай, княгиня, вы видите, мы все знали, кто вы, и ни один из нас вас не предал. Вот теперь приходят ваши, а что будет с нами, бедными евреями? Мы-то на нее плюем, на революцию. Мы любим Святую Русь, а этот Троцкий, будь он проклят! Он не добрый еврей, он в Бога не верит. Из-за него-то нас и гонят, из-за таких, как он. И вот я говорю Риве, жене моей: «Пойдем к ее сиятельству, попросим заступничества. Казаки, они не злые, нет, но детки могут испугаться».

Скоро подвал был набит, там воцарилась тишина. В городе тоже все замерло.

К вечеру Гарик зашел за мной, как и обещал, и поклялся моей матери опекать меня. Ей было невдомек, что мы просто-напросто намеревались «ограбить» склады Красной Армии. Уже давно мы с Гариком мечтали иметь фляжки и поясные ремни. Как могли мы устоять против такого соблазна? Излишне говорить о том, что в продаже их просто не было, да и бедна я была, как церковная крыса. Гарик, правда, принадлежал к довольно зажиточной еврейской семье.

Проходя мимо здания Чека, мы заметили скопление людей, и любопытство побудило нас войти внутрь. Мужики, женщины в платках стремились занять это жуткое помещение. Не о фляжках они мечтали, не о поясных ремнях, но о драгоценностях, оставшихся от жертв. Двери были быстро сорваны с петель. В одной из комнат оказалось несколько человек в штатском, они судорожно сжигали какие-то бумаги, не обращая внимания на ворвавшуюся толпу. В другой незваные гости уже ощупывали пустое брюхо большого сейфа. Какая-то женщина крикнула: «Давайте в подвалы, там могут быть заключенные, раненые, выведем их оттуда!» Кто-то откликнулся на ее призыв, но большинство осталось на первом этаже, обшаривая все углы, ища себе какой-нибудь добычи под ворохами бумаг и бутылками, усеявшими пол. Какой-то человек нашел золотой браслет, выпавший, вероятно, при бегстве из кармана одного из палачей, и началась свалка. Все топтались на одном месте, нагнув головы, наступая на руки тем, кто шарил по полу.

Люди в штатском, окончившие, видимо, свое дело, пытались пробиться к выходу.

— Мы еще вернемся, свора негодяев! — крикнул один из них и, найдя, что перед ним расступаются недостаточно быстро, выстрелил несколько раз из револьвера. Послышались крики, толпа колыхнулась, качнулась в одну, потом в другую сторону.

— Надо удирать, — шепнул Гарик, и мы вырвались на воздух из душного помещения, пропитанного запахом пота и всюду проникающим неистребимым трупным смрадом.

Теперь Гарик вел меня к армейским складам. Они были далеко. Город все еще пребывал в оцепенении; мы шли совершенно пустынными кварталами. У дверей складов стоял красногвардеец, обмотанный патронташными лентами и с гранатами у пояса. Вероятно, о нем просто забыли, и вид у него был растерянный; он оглядывался по сторонам, держа палец на спусковом крючке.

— Товарищ, — сказал ему Гарик, — так или иначе, здесь все разворуют. Разреши нам сюда войти, мы скауты, мы хотели бы взять себе фляжки.

— Да идите вы к черту! — ответил солдат.

Но Гарик не отчаивался.

— Услуга за услугу, я тебя предупреждаю, что мы пришли сюда прямо из Чека. И там не осталось ни одного чекиста. Честное слово! Уматывай, да поскорее, белые уже здесь!

Солдат не колебался — он выругался и ушел.

— Видишь, — сказал Гарик, — надо уметь с ними разговаривать.

Мы вошли в помещение склада. Всюду были навалены сотни мундиров. В одной из кладовых мы нашли солдатские фляжки и котелки, аккуратно уложенные рядами в солому. Скромные грабители, мы взяли по одной фляжке и одному котелку, затем пустились на поиски ремней. Нашли и их. С изумлением Гарик обнаружил, что они были изготовлены в Англии. Мы первыми догадались прийти сюда, однако оказались не единственными. Вскоре к нам присоединились молодые парни неопределенной политической и социальной принадлежности. Они тоже не обратили на нас ни малейшего внимания. Взялись за дело они серьезно: армейские фляжки, ремни, мундиры, одеяла быстро перекочевали на ручные тележки. Но от неосторожно брошенного окурка мгновенно вспыхнула солома, и когда мы покидали склад, он был охвачен огнем и дымом.

— Вот ваша дочь, — сказал Гарик со своим неподражаемым акцентом. — Возвращаю ее вам более богатой, чем она была, когда от вас уходила.

— И тебе не стыдно? — спросила моя мать, которая никак не могла привыкнуть к современному миру.

— Ничуть, — ответила я. — Граблю награбленное.

Пора было этому революционному лозунгу послужить и мне.

С тех пор как неминуемость смены властей стала очевидной, мы запаслись кое-какими продуктами, чтобы не оказаться без еды на неопределенное время. В тот вечер ужинали мы поздно. И во все еще молчаливом подвале тоже решили перекусить. Ночь прошла спокойно, утро не принесло определенности. В чьих руках был Харьков? Захватили ли город белые? Вернулись ли красные? А может быть, воспользовавшись междуцарствием, его захватили грабители? Кто в нем царил: погромщики или какая-то армия?

13 июня 1919 года. Открываем окно. Трупный запах все еще висит в воздухе. Но вот внезапно ударяют колокола, и над городом плывет колокольный звон. От храма к храму летит весть: мы свободны!.. Мы стоим и ждем, моя мать и я. Сильно бьется сердце. Словно волна

подхватывает жителей города и выбрасывает на улицу. Распахиваются окна и двери. Сумская наполняется народом. Подходят двое незнакомцев и подносят моей матери букет белых роз со словами: «Княгиня, поздравляем вас с приходом добровольцев». Прохожие приветствуют друг друга, обнимаются. Молодые люди с белыми цветами в петлицах или белыми нарукавными повязками, некоторые при оружии, расхаживают по улице. Выхваченные из пучины трагедии, мы вступаем в радость...

Белые покрывала и простыни (за неимением знамен и хоругвей) украшают фасады домов, реют на самодельных древках и русские трехцветные бело-сине-красные флаги, сшитые тайком в предвидении этого дня. На нашем окне — букет белых роз. Перед ним, на тротуаре, стоят моя мать с Наташей, а я скачу и резвлюсь, как молодой пес.

Первые роты добровольцев начинают проходить по Сумской. Я вижу впервые этих «нищих рыцарей», этих солдат — среди них офицеры, крестьяне, безусые мальчики. Их окружает общий энтузиазм — звон колоколов, возгласы, взмахи платочков, рыдания женщин, — но все это еще больше подчеркивает их крайнюю усталость и обтерханность. Идут они двумя рядами (видно, численность их не очень велика) по обеим сторонам улицы, на более чем метровом расстоянии друг от друга. По пути из пригорода они успели прицепить на кокарды, на погоны, на дула ружей, которые они несут наперевес, цветы, брошенные им рабочим населением города. Но одеты они в рваные, вылинявшие мундиры, башмаки их стоптаны, а у некоторых нет даже носков. От этого к нашему ликованию и триумфу примешивается оттенок горькой тревоги. Слишком еще свежо у нас воспоминание о латышских и китайских частях, сытых и хорошо снаряженных, которые совсем недавно маршировали мимо нас по этой же Сумской улице.

Неистовство толпы не спадает. Крики, слезы, поцелуи, цветы. К молодому конному офицеру подходит старик и, плача, обнимает его. Благодарность жжет мне сердце. В эти незабываемые мгновения сливаются воедино недолгое, но насыщенное событиями прошлое и такое желанное будущее. Вот оно — вознаграждение, праведное воздаяние за все ужасы революции и войны. Ни самая большая личная радость, ни даже любовь не вызывали во мне такого жгучего ощущения в сердце. Из-за таких-то вот минут русская молодежь не могла в первые годы изгнания найти удовлетворения в личном счастье и покое, в замкнутой на себе мирной жизни, и даже когда кто-то достигал полного успеха, настоящее казалось ему пресным только потому, что было по масштабам своим несоизмеримо с прошлым...

Когда окончилось триумфальное и вместе с тем жалкое шествие, я бросилась в город. Лавки безбоязненно открывались. Убедившись, что в город вошел не Шкуро, «волчья сотня» которого повергала их в ужас, скромные евреи покинули подвалы и вернулись в свои дома. А я бежала и бежала, стуча деревянными подошвами, и экспроприированная фляжка болталась на ремне... Харьков был взят без особых разрушений. Но

было несколько убитых, вокруг которых собирался народ. Возле собора я протиснулась в одну такую группу и увидела четыре трупа: трое красноармейцев и один матрос лежали на мостовой босые — обувь нужна была живым. У матроса голова была размозжена сабельными ударами, нанесенными плашмя, — это было похоже на сланцевые пластины, скрепленные застывшими почерневшими мозгами. И куда делась та девочка, которая и в Матове, и в Петербурге не могла смотреть на чужие страдания и так боялась покойников? Во мне поднялась такая сильная, такая мощная волна ненависти, что я до сих пор не могу ее забыть. Слава Богу, я никогда впоследствии ничего подобного не испытывала. Я увидела в одно мгновение и награбленные книги, сваленные на тульском чердаке, и лица двух мальчиков-кадетов, расстрелянных у границы, и судороги моих собак, и труп молодого казака, исхлестанный нагайками, и замученные тела, перевозимые в анатомический театр; вспомнила запах свернувшейся крови, заполнивший здание Чека... И оттолкнув труп ногой, я закричала с ликованием: «Собаке собачья смерть!» — а собравшиеся вокруг взрослые — ремесленники, рабочие, зеваки, простоволосые женщины, одобряя мой поступок, ругали убитых, которых так боялись при их жизни...

На следующий день состоялся торжественный военный парад. Скаутов пригласили пройти строем вслед за войском, и на этот раз наш руководитель не отговорился тем, что мы ушли в поход, но предоставил каждому из нас свободу выбора — идти или нет. И я приняла тогда участие в настоящем Торжестве, с трехцветной ленточкой государственного флага на погоне. Родина была восстановлена в правах!

Не принадлежа к тем людям, которые примазываются к любым победам, я за всю жизнь считала своими только две, которых так жаждала: первую — взятие Харькова добровольцами, вторую — поражение Гитлера. Первая оказалась недолговечной. Вспоминая о ней, я даю волю чувствам. А почему бы и нет? Красные всех мастей имеют повсюду в мире достаточно пламенных сторонников. А мои убитые — по другую сторону, и я хочу почтить их наперекор всему. У Побежденных — друзей мало. Это известно с тех пор, как стоит мир; но есть в истории и непреложная правда, которая будет явлена в огне и крови будущего.

Что представляла собой Добровольческая армия? Ошибочно было бы думать, что против коммунизма восстали одни привилегированные классы старого режима. Знаменитыми, рожденными революцией «именными» полками командовали генералы весьма скромного происхождения, такие, как Корнилов, Марков, Дроздовский, и состояли они из офицеров, не имевших на земле больших богатств, которые требовалось бы защищать. Мусульманские полки, «Дикая дивизия», кубанские и донские казаки, все племя калмыков, которое присоединилось к белому движению, вовсе не принадлежали к аристократии. Это был народ, но народ, верный России. Победа белых не принесла бы им никаких материальных

преимуществ; но, когда они потерпели поражение, коммунисты им отомстили. В СССР не существует ни Татарской, ни Калмыцкой республик, а многовековой давности слово «казак» исчезло как из русского языка, так и из русской истории.

Мне посчастливилось провести тревожное мое детство в мире, где подлецов было мало, а героев много. Слово «герой» сегодня вызывает улыбку. Для меня же оно не потеряло своей ценности. Не то чтобы у красных не хватало мужества — но я говорю сейчас о «своих», о тех, кого советский фильм «Чапаев» показывает в «психологической атаке»: их убивают, а они бросаются на приступ, безоружные, цепь за цепью, восстанавливая ряды после каждого залпа противника, и на смерть идут, по дорогому мне выражению, не жертвами, а мучениками.

Успокоившись от своих тревог, город предавался веселью. Во время парадов, праздников, сборов средств скауты следили за порядком, который освободившие нас войска не в состоянии были обеспечивать из-за ограниченности своего состава. Мы устанавливали заграждения, служили проводниками или связными. Вспоминаю как о кошмаре среди общего ликования об одном празднике на главной площади. Толпа прорвалась сквозь нашу цепь, повалила эстраду, на которой выступали артисты... Я выскочила из потасовки без одной сандалии, в разодранной форме.

Стоя на перекрестках вместе с сестрами милосердия, мы собирали деньги на армию и на госпитали. Дары — ассигнации, драгоценности — сыпались в наши корзины; случалось, и мужчины, и женщины снимали с себя обручальные кольца и крестильные крестики, чтобы положить их на наши подносы.

В армейских столовых девочки-скауты постарше готовили, мыли посуду; старшие скауты-мальчики сторожили с ружьями в руках склады и поезда. С этими старшими нашими товарищами нам скоро предстояло проститься. Наш руководитель отряда, оба сына тех людей, которые приютили Валю, студенты, обучавшиеся у моей матери французскому языку, мальчики, которых я встречала на корте, — все записывались в армию. Девушки тоже уходили вместе с ними на фронт как сестры милосердия, а иные и как рядовые. Какие-то отряды прибывали в город, другие отбывали. 19 июня генерал Врангель взял Царицын (Сталинград-Волгоград). Повсюду антикоммунистические войска одерживали верх, но сама поспешность этих побед придавала им какую-то неустойчивость, непрочность.

Ни от Дмитрия, ни от Павлика мы не имели ровно никаких вестей. Одному Богу было известно, где они были, и ждать их в Харькове, при нашей неустроенной и стесненной здесь жизни, казалось бессмысленным. В то же время мы могли найти приют в прелестном имении на Северном Кавказе, на склоне горы. Оно принадлежало моей двоюродной бабушке, княгине Надежде Трубецкой[1], бывшей фрейлине вдовствующей императрицы. Она умерла во время войны, и наследником ее был мой отец. Решено. Мы снова трогаемся в путь.

---

[1] Кн. Надежда Борисовна Трубецкая, урожденная княжна Святополк-Четвертинская. *(Прим. Д.М. Шаховского).*

Составы с ранеными, составы с больными, составы с беженцами, перегруженные, медленно ползущие, но по крайней мере на них не нападали банды, из них не выводили пассажиров на расстрел. В одном из таких поездов мы делили купе с двумя очаровательными молодыми полковниками. У одного была ампутирована левая рука, но тем не менее он оставался в действующей армии, второй служил при штаб-квартире в Ростове, туда же ехали и мы. Ну и наслушалась я тогда самых невероятных рассказов о войне! О городах, взятых отрядами из ста человек, идущих в штыки, так как кончились боеприпасы; о переходе на сторону добровольцев сразу целого красного полка: командир, бывший офицер Императорской Гвардии, вместо того чтобы идти на белых, приказал своим людям: «Кругом и вперед за Неделимую Русь!» — и стал наступать на линию красных.

Но какими бы захватывающими ни были эти рассказы, мне пришлось выйти в тамбур, так как с детства меня укачивало в поездах. Чтобы мне не было скучно, один из полковников послал со мной своего денщика, молодого казака с веселыми глазами, который угощал меня еще более живописными историями. Вскоре сквозь стекло стала видна серая линия — Азовское море. Мы приближались к Ростову, в котором находилась штаб-квартира, а также «Осваг» — «Осведомительное агентство», где работал, если я не ошибаюсь, Илья Эренбург. В своих воспоминаниях он этот факт тщательно замалчивает.

Тыл и был тылом, и атмосфера в Ростове была совсем не та, что в Харькове. Ловкачи обделывали свои дела, старшие офицеры пускались в интриги, а знаменитые местные воры вписывали новые страницы в сагу о мошенниках. Их задачи облегчало то, что Ростов был гигантским перевалочным пунктом. Классический их трюк, о котором предупредили мою мать, состоял в следующем. Хорошо одетый вор, иногда даже в мундире, просил какого-нибудь путешественника, сидящего на чемоданах в ожидании, часто очень длительном, нужного ему поезда, покараулить его вещи, пока он пойдет подкрепиться в буфет. Этот знак доверия, оказанный будущей жертве, приносил плоды. Путешественник в свою очередь просил незнакомца оказать ему ту же услугу. Как можно догадаться, вещей своих он после этого никогда больше не видел.

Ростовский вокзал и его окрестности походили на бивуак. Люди спали в буфете на столах, на бильярдах, на составленных стульях, на скамьях для ожидания, на подоконниках... Военные, женщины, дети, раненые и больные валялись вперемешку, изможденные проделанной до-

рогой, в ожидании поезда или какого-нибудь жилья в переполненном городе. Можно было споткнуться о пулемет, саблю, чемодан, сундук, о клетку с ошалевшими курами... Время от времени санитары очищали территорию, увозя в санитарных машинах мужчин и женщин с красными пятнами на лицах, а также умерших и потому выбывших, наконец, из игр гражданской войны.

Один из полковников нас покинул, чтобы отвезти срочный рапорт. Безрукий остался нас опекать, приказав прежде всего своему денщику любыми путями найти для нас места в вокзальном ресторане. Когда мы пришли туда, то обнаружили пустой столик, вокруг которого стояло пять стульев. Смеясь удачной своей шутке, казак нам объяснил, что он просто-напросто реквизировал этот столик для семьи «очень важного генерала». «Конечно, люди немного пошумели, но я их убедил». Нас несколько смущала роль самозванцев, но голодный желудок преодолел угрызения нашей совести, и вскоре перед нами появились тарелки с дымящимся борщом.

Одна моя приятельница-француженка рассказывала мне, что когда она читала «Доктора Живаго», то верила с трудом, что между персонажами романа могли происходить такие неожиданные и решающие судьбу встречи — в поездах, в Сибири, в Москве, в лесах. Но на самом деле подобным встречам тогда никто не удивлялся. Вся Россия стала кочевой: миллионы людей шли пешком, ехали, мчались по ее широким просторам в поисках или своих близких, или пропитания, или армии, в которой они хотели бы сражаться.

Так, прямо на ростовском вокзале моя мать встретила полковника Скаллона, с которым была знакома по Петербургу. Он занимал в Ростове важный пост, и никто другой лучше него не смог бы найти нам место для ночлега. Правда, начал он с того, что воскликнул: «Ночлег! Но, дорогая княгиня, все гостиницы, приличные и не очень, заполнены до предела. Город так набит людьми, что я удивляюсь, как он еще не лопнул. Тем не менее необходимо, просто-таки необходимо вам что-то подыскать. Давайте попытаемся!»

Он подозвал своего адъютанта. «Отведите княгиню в гостиницу X... Погодите, я напишу ордер на реквизицию. Если есть у них хоть малейшая возможность, у вас на ночь будет крыша над головой».

Два извозчика доставили нас в гостиницу довольно приличного вида. Она была переполнена не менее, чем вокзал. Даже через раскрытую дверь кладовой видно было несколько спящих на полу офицеров. Администратор прочел нашу бумажку с явным неудовольствием.

— Что я могу поделать! Даже ванная комната занята! И в моей собственной комнате я поместил двух офицеров! Ну и работка! Сегодня утром какой-то капитан, приехавший прямо с фронта, чуть было меня не застрелил, когда я ему сказал, что мест нет! О Господи, Господи!

Но адъютант был непоколебим.

— Невозможно ведь оставить этих дам на улице. Необходимо их как-то устроить.

При наших переговорах присутствовал коридорный. Он что-то шепнул администратору.

— Ах да, правда! Следствие, кажется, еще не закончилось, но ключи от этого номера у меня есть.

По его приказу коридорный проводил нас и открыл перед нами дверь.

— Вот, — сказал он.

И добавил мрачно:

— Здесь он упал и умер, на этом самом месте...

— Кто упал? Кто умер? — воскликнула моя мать.

— Да Рябовол, председатель Кубанской Рады. Его убили несколько дней тому назад.

Даже в эти дни, когда всюду господствовало насилие, нам не очень-то улыбалось провести ночь в комнате, где произошло убийство, но что поделаешь? Мы поблагодарили адъютанта и стали располагаться на отдых. Но спали плохо. В ту пору достаточно было и пустяка, чтобы потерять сон. Моя старшая сестра приоткрыла занавески, и сквозь оконное стекло мы увидели, что ночную темноту прорезали две огненные буквы: Г и Р — зловещие инициалы Григория Распутина. Мы так устали, что нам понадобилось несколько минут, чтобы понять, что эти буквы обозначали просто «Гостиница Россия».

На следующее утро однорукий полковник зашел за нами, чтобы провести нас по городу. Количество людей, которых вмещали его улицы и площади, внушало ужас. Роскошные ювелирные магазины, рестораны, театры лихорадило. В переполненных кофейнях сидели, развалившись, спекулянты, на руках у них сияли перстни. Продавали все: нефть, дома, возможно, уже несуществующие имения, хлеб, обесцененные акции, драгоценные камни, золото... Со всех сторон слышались предложения о купле-продаже.

Чрезвычайно сложны были проблемы, связанные с хождением различных денег. Каждое очередное местное правительство находило казну пустой и спешило выпустить свои собственные деньги. С этими бумажками несчастные граждане выходили из положения как могли. Я так до сих пор и не поняла, какое существовало соотношение между царским рублем, гетманским карбованцем, рублем советским, донским «колокольчиком» и прочими. Законы обращения этих пустых денег были весьма произвольными. Так, по слухам, в Одессе единственно годными признавались будто бы купюры, не проколотые в центре булавкой!

В «Осваге», информационном и пропагандистском центре, напоминавшем сборище буйных сумасшедших, никто не смог нам ничего сказать о Дмитрии и Павлике. За те несколько дней, что мы пробыли в Ростове, на нас произвело тягостное впечатление огромное количество раненых, прогуливавшихся по его улицам. Мы познакомились с молодым офицером гусарского Ингерманландского полка — человеком атлетического телосложения, с трудом ковылявшим на двух костылях. Его история, которую он нам рассказал, — прекрасная иллюстрация к «Ужасам гражданской войны». Будучи у белых разведчиком, он дважды попадал в руки красных. В первый раз ему удалось бежать по дороге в тюрьму, а во второй раз его бросили в карцер, где подвергали пыткам. Опять-таки латыши из Чека вырезали ему на ногах полоски кожи, изобража-

ющие лампасы на гусарских рейтузах, только из живого мяса, а на плечах вырезали три звезды, соответственно его чину. Кончили тем, что подрезали ему сухожилия под коленями, чтобы он не убежал. При приближении белых спасла его женщина-чекистка. Правда требует от меня ничего не утаивать из его рассказа. После побега он убил спасшую его женщину. Этот жалкий человек жил одной ненавистью. Он мечтал дожить до разгрома коммунистов.

— А после — пусть приходит смерть, — говорил он.

И опять нам удалось влезть в какой-то поезд. Наш путь пролегал через земли кубанских казаков; этот еще не утративший плодородия край притягивал из менее богатых мест так называемых мешочников — мужчины, женщины приезжали сюда с пустыми мешками и уезжали, набив их продовольствием. На каждой станции они атаковали поезда и путешествовали на крышах вагонов и на буферах, решительные, суровые, готовые биться насмерть за наполненный до краев мешок. Успехи Добровольческой армии приводили пассажиров в состояние некой эйфории. И кто бы осмелился пожаловаться на отсутствие удобств, когда победа казалась такой же близкой, как наша семейная вилла, ждавшая нас на Северном Кавказе?

Наум, слуга нашей тетушки, которого мы предупредили телеграммой, ждал нас с лошадьми на вокзале в Новороссийске. Это был крупный, сильный человек с рыжими бакенбардами и бегающими глазами. Он приветствовал нас очень учтиво, но не выказал никакой особой радости, что, впрочем, было вполне объяснимо. Последние пять или шесть лет он со своей женой Аксиньей жил полным хозяином в трубецковском имении Пустынька, продавая в свою пользу фрукты и грецкие орехи из сада; никто не требовал от него отчета. Почему же он должен радоваться нашему приезду? Но этого от него и не ждали.

— Молодой князь и его друг приезжали к нам ненадолго, — объявил Наум.

Моя мать так была обрадована этой первой вестью о Дмитрии, что проигнорировала это его «к нам».

— А где он теперь, не знаешь?

— Он уехал некоторое время тому назад в Севастополь и с тех пор ничего о себе не сообщал.

Итак, брат мой был жив, и никакие границы его от нас не отделяли.

Какой пестрый калейдоскоп событий представила мне жизнь менее чем за два года! Наши лошади бежали по южной дороге между Черным морем справа и залитыми солнцем горами слева. Белая эта дорога не была похожа на ту, пыльную и в колдобинах, которая вела в Матово. Мы задавали Науму вопрос за вопросом — он с угрюмым видом удовлетворял наше любопытство. Пустынька находилась в восемнадцати километрах от Новороссийска и в двух от села под названием Кабардинка. Имение располагалось на склоне горы; от шоссейной дороги к нему вела довольно запущенная дорожка.

Каким приветливым показался нам дом! Все здесь содержалось в полном порядке: ухоженный сад с разнообразными цветами, прибранные комнаты, где мебель покоилась под белыми чехлами. Мы осмотрели весь дом. Солнце проникало сквозь окна с яркими ситцевыми занавесками, на стенах висели старинные гравюры и семейные миниатюры. Аксинья, жена Наума, следовала за нами по пятам, приговаривая: «Ах! Какие времена пошли, какие времена!» Уж нам-то можно было об этом не напоминать! Но после такого рискованного путешествия кто бы не обрадовался возможности бросить наконец якорь!

Спустились сумерки, наступил вечер. Аксинья зажгла керосиновые лампы. И не успели мы усесться в гостиной после показавшегося нам восхитительным ужина, как она решила дать нам сразу почувствовать, как она настроена: пришла и тоже плюхнулась в кресло, чтобы составить нам компанию.

Заметив удивленный взгляд моей матери, она извинилась, сославшись на больные ноги. Она болтала о том, о сем, но чувства наши обострились, и в бодром ее тоне мы улавливали что-то недоговоренное и некую фальшь. Да пусть! Вечером я улеглась на простыни из голландского полотна, оглядела, прежде чем погасить лампу, такую родную мне обстановку, напоминавшую о столь недавнем прошлом, — и погрузилась в сладкий, блаженный сон.

На следующий день, в обществе сторожевых собак, принявших нас безо всяких сомнений, мы обошли имение. Пустынька в эту пору была упоительна. В саду созревали персики, абрикосы, крымские яблоки. Ореховые деревья склоняли ветви к быстрому холодному горному ручью. Поутру облака окутывали макушку «нашей» горы, а солнце уже обогревало ее склон. Пустынька была маленьким именьицем для отдыха, все богатство ее состояло из одной-единственной лошади, одной коровы и десятка кур. Но для жизни нам этого было вполне достаточно.

Мы залезли в старинные сундуки покойной двоюродной бабушки, доверху наполненные вышедшими из моды платьями из тяжелого шелка, кашемировыми шалями, прекрасным столовым и постельным бельем, вышитыми платками, старинным кружевом. Все было цело. Аксинья заслуживала нашего уважения. Но женщиной тем не менее она была странной. Подав нам самовар на лужайку перед домом, где мы пили чай, она неизменно задерживалась и, стоя рядом, подперев правой рукой худую щеку, а левой — локоть, принималась рассказывать нам страшноватые истории.

— Какой же печальный конец был у госпожи Такой-то! Ах! Времена нынче для всех тяжелы. И вот после гибели мужа — а его убили в Севастополе матросы — приехала она сюда со всеми детьми, младший-то еще грудной был. Имение у них здесь неподалеку.

Аксинья выдержала паузу.

— А потом, потом...

Мы нетерпеливо спрашивали, что же потом.

— А потом как-то раз, — голос ее становился торжественным и печальным, — как-то раз ей все надоело. И красные, и белые — все ей надоели. Испугалась она жизни, вот что! Ну и собрала она всех детей и повела их к морю. Там велела им помолиться, потом привязала к себе толстыми веревками и ушла в море...

Новая пауза. Затем:

— Тела их выбросило у Геленджика.

Набор трагических историй, рассказываемых нам Аксиньей, не иссякал.

— Всего лишь два месяца тому назад «зеленые» увели в горы племянницу княгини Грузинской — она тоже здесь живет, неподалеку. Годков двадцать ей было, несчастненькой. Что «зеленые» там в горах могут с девушкой сделать — всем известно. Так ее больше никогда не видели!

Потом Наум как-то пришел поговорить с нашей матерью.

— Ваше сиятельство, боязно мне за вас и за детей. «Зеленые» с каждым днем все звереют. Лучше бы вам уехать да в городе поселиться.

— Уехать! — воскликнула моя мать. — Да ни за что на свете! Мы только что приехали. Да и куда мы поедем, у нас так мало денег!

— Как пожелаете. Мое дело вас предупредить.

«Зеленые», которыми нас стращали Наум и Аксинья, были дезертирами и из Белой армии, и из Красной. «Работали» они сами на себя и скрывались в горных лесах. Исторически их, вероятно, можно сравнить с «рутьерами» — солдатами-авантюристами в средневековой Франции. То были хорошо вооруженные банды, каждая имела своего главаря. Они совершали набеги на села и на уединенные имения, убивали белых офицеров (красных тогда не было в тех краях) и офицеров-союзников, если они им попадались.

О «подвигах» «зеленых» нам неизменно докладывала Аксинья. В таком-то селе они потребовали снабдить их продуктами и лекарствами, в таком-то забрали заложников или похитили нескольких женщин.

Эти рассказы Аксиньи усугубляли врожденную мою нервозность. Я жила в постоянном напряжении. Часто, когда мы коротали вечера в

саду, случалось, что я ощущала чей-то взгляд, будто следящий за нами. Моя мать и сестры смеялись над моими страхами. В конце концов я перестала о них рассказывать.

Моя мать написала своей кузине Чириковой, муж которой командовал крейсером «Алмаз», прося ее разыскать Дмитрия, если тот был в Севастополе. Ответ ее нас одновременно и успокоил, и огорчил.

Дмитрий прожил в Пустыньке, куда приехал и Павлик (он стал адъютантом вице-короля Кабарды), пока окончательно не оправился от болезни. Затем брат поступил в созданную незадолго до того добровольческую часть морского флота, потом в Морскую школу радистов, окончив которую стал членом экипажа «Алмаза». Но еще перед тем как белые взяли Харьков, он добился перевода в торговый флот и, вероятнее всего, находился на борту торгового судна «Дунай», которое, как мне помнится, шло в Южную Америку за запасами продовольствия для армии. Вернуться он должен был через два года. Мы разминулись с Дмитрием совсем не намного.

Была самая пора светлячков. Я никогда до того их не видела. Как только темнело, сад и деревья украшались тысячью огоньков. Я как раз собирала в ладонь светлячков с кустов олеандра, когда вдруг увидела, что кто-то поднимается по дорожке. Я вскрикнула. Моя мать поднялась с кресла. Перед нами стоял Дмитрий; он как будто поклялся всегда появляться в тот момент, когда мы его совсем не ждали. Лишний раз мы убедились в том, насколько бесполезными оказываются и логика, и любые предположения. Старый «Дунай» потерпел в дороге какую-то аварию, словно предпосланную нам свыше, и не пошел дальше Трабзона, откуда после небольшой починки благоразумно вернулся в Россию — будто именно для того, чтобы мы все еще раз оказались вместе. От новороссийского вице-губернатора Козлова Дмитрий узнал, что мы в Пустыньке, и не удержался от желания сделать нам сюрприз. Одет он был в белую робу с матросским воротником, и в ней очень был похож на мальчика в матроске, каким был когда-то, до того еще, как начал учиться. Мы сидели и разговаривали, не уходя из сада, и, несмотря на радостное возбуждение, я продолжала ощущать где-то рядом присутствие кого-то постороннего.

— Я вас уверяю, кто-то за нами следит, — утверждала я.

— Удивительно, какой она стала трусихой, — отозвалась моя старшая сестра.

Но я была охвачена таким страхом, что мне было не до самолюбия.

— Умоляю вас, пойдемте домой, пойдемте домой, — повторяла я и так разволновалась, что заплакала...

Наконец уступили моим просьбам. Дмитрий распаковал свои два чемодана и роздал нам подарки, предназначенные, быть может, кому-то другому, но преподнесенные нам, поскольку наконец-то он нас нашел: контрабандные чулки, батист на летние платья и даже бутылку рома.

Воспоминания, которыми мы обменивались, планы, которые мы строили, на время отвлекли меня от моих страхов, но вскоре они возобновились, необъяснимые, навязчивые.

— Кто-то смотрит на нас из сада, — повторяла я. — Я знаю, там кто-то есть.

В конце концов моя мать рассердилась и попросила меня взять себя в руки. Тщетно. Мне опять уступили и позвали Наума, чтобы тот затворил ставни и удостоверился, что никто не бродит вблизи дома. Наум заявил, что никого нет, но собаки, как нарочно, не переставали лаять.

— Дело в том, что ветер доносит сюда запах других псов, — объяснил Наум. — Вечно эти твари беспокоятся.

Днем мои страхи рассеивались, и мы проводили вполне счастливые часы. Новости с фронта были превосходные: вслед за Харьковом добровольцы и казаки взяли Курск, затем Орел и подходили к Туле; генерал Юденич стоял в нескольких километрах от Петрограда. Треть территории России была в руках белых. Крестьяне были готовы поддержать движение, так как коммунистическая конституция отменила частную собственность на землю. Но неуклюжие политические шаги местных антикоммунистических властей, отсутствие согласованности между ними, расплывчатость их программ, крайности, допущенные некоторыми помещиками, — все это исключило возможность повсеместного восстания. В Европе нашлось только два государственных деятеля (но зато каких!) — Клемансо и Черчилль, которые поняли, насколько необходимо было срочно поддержать антикоммунистическое движение. Но их не послушали.

Ну а мы еще находимся в состоянии эйфории от поступающих к нам хороших вестей, и революция необъяснимым образом кажется очень далекой, будто ее никогда и не было. Все вокруг дышит миром; даже шум проезжей дороги до нас не доходит. Обутые в сандалии и наряженные в длинные белые хламиды — ночные сорочки двоюродной бабушки (больше нам, можно сказать, нечего надеть) — мы прогуливаемся по нашему склону горы, как по некоему Эдемскому саду. Гостей мы не ждем и приезда их не желаем. Единственное, чего нам хочется, — это отдохнуть, насладиться воздухом и солнцем, и пусть жизнь так и течет день за днем...

Дмитрий извлек из какого-то ящика кипу бумаг — свою переписку с Павликом, с Виктором Модлинским, бывшим советским следователем, ставшим офицером Добровольческой армии. Мой неугомонный брат создал в Пустыньке, после пронинского и матовского, еще один вестник. На сей раз это — «Симфонический вестник», рожденный в горах Северного Кавказа и состоящий из материалов всего двух сотрудников — Дмитрия и Павлика.

По ночам собаки продолжают лаять и будить меня. Каждый раз я просыпаюсь в холодном поту от ужаса. Затем оба пса исчезли. Мы нашли одного из них во время прогулки, вспухшего, облепленного мухами, с веревкой на шее. Наум пожал плечами и сказал, что это, видимо, проделки мародеров из соседнего селения.

Сколько времени длилась наша мирная жизнь? Думаю, дней десять, не больше. Как-то раз после обеда было особенно жарко, и мы пошли купаться в море. Наум отсутствовал. Аксинья хлопотала в своем домике. Валя мыла голову. Мы спускались по тенистой, пахнувшей сосной дорожке, воздух был горячий, сухой, звонкий от пения цикад. Как счастливы мы были после купания, когда лежали на пляже, повернувшись лицом к уже склонявшемуся на запад солнцу! Неуверенность в завтрашнем дне исчезла, словно с наших плеч свалилась гора.

— Все будет по-старому, — говорила моя мать. — Белая армия скоро возьмет Москву; мы вернемся к вашему отцу, вернемся в Матово, а все остальное покажется нам дурным сном!

Мы привязали купальные костюмы на палки, которые взяли, как ружья, на плечи, и пошли в обратный путь. Перейдя через пустынную дорогу и вступив на нашу собственную дорожку, мы запели хором веселую песню. Моя мать шла на несколько шагов впереди. Вдруг раздался ее крик:

— Дмитрий, Дмитрий! Скорее, в кусты!

Что это? Не сошла ли она с ума? Мы все трое бросились к ней, и тут услышали громкий резкий голос: «Руки вверх!»

Несколько солдат с ружьями наперевес преградили нам путь. Мы покорно подняли руки. Все произошло с поразительной быстротой. Они обыскали Дмитрия. Никакого оружия при нем не было.

— Мы ищем офицера, князя Шаховского, — сказал один из «зеленых» (эти люди без кокард и погон могли быть только «зелеными»).

— Здесь нет никаких офицеров, — ответила моя мать. — Я живу здесь одна с тремя дочерьми и сыном. Сами видите, он еще подросток.

Дмитрию только что минуло шестнадцать. Худой, загорелый, в простых синих брюках и белой рубашке, он казался еще моложе своих лет.

— Ладно, — произнес один из «зеленых», — атаман решит. Идите вперед и не оглядывайтесь.

Мы стали подниматься по дорожке. Смысл отданного приказа был нам совершенно ясен. Выстрел в спину — и оборвется наша жизнь... Моя мать быстро сказала:

— Идите вперед, вы ходите быстрее меня.

Мы, конечно, сразу поняли, что в ней говорил материнский инстинкт, стремление заслонить своим телом детенышей, и не послушались, двинулись плечом к плечу, как одна нераздельная мишень. Так шли мы вверх. Идти нам стало вдруг очень трудно. Чтобы нас подбодрить, из-за

наших спин доносились щелчки затворов: «зеленые» забавлялись. Нажмут ли они на спусковые крючки? Но в конце концов, если умирать, так лучше вместе.

Мне было и страшно и не страшно. Ежевечерний мой ужас от взглядов, которые, я это чувствовала, преследовали меня, оказался куда страшнее, чем реальность. Я уже признавалась в том, что была самолюбива. Теперь, когда я шла под взглядами убийц, я не желала показать своего страха. Все прочитанные мною романтические книги требовали от меня, чтобы я умерла, не обнаружив своей слабости, — умерла, как умирают короли.

Мы уже дошли до сада и были еще живы. Перед домом Валя, одетая странным образом в черный костюм нашей матери, с распущенными по плечам длинными золотыми волосами, довольно-таки любезно разговаривала с командиром «зеленых». Моя старшая сестра, которую я несколько недолюбливала, как всегда в минуты опасности проявила большую находчивость. С удивлением я обнаруживаю, что говорит она по-французски. Командир «зеленых», должно быть, бывший офицер. Он обращается к моей матери также по-французски:

— Прошу нас извинить, нам действительно необходимо все то, что мы у вас возьмем. Во всяком случае можете не беспокоиться, мы не причиним вашим детям никакого вреда.

Остальное в конце концов не так уж и важно. Бессильные, мы присутствуем при настоящем ограблении. Красивые вышитые простыни, которые так нас радовали, исчезают в мешках у «зеленых».

— Нарежем из них бинтов для раненых, — объясняет один из них. — Постельное белье нам не нужно, обходимся без него.

Сведущим взглядом командир наблюдает за так называемой реквизицией миниатюр и произведений искусства.

— Мы все это загоним.

Не щадят и икон в золотых и серебряных окладах, и все несчастные наши драгоценности, уцелевшие от предыдущих обысков, постигает та же судьба. Туда же идут и деньги, и обмундирование моего брата... Нам в утешение оставляют лишь мебель, надобности в которой в лесах нет.

Уходя, командир обращается к моей матери:

— До свидания, сударыня, — говорит он вежливо. — Заклинаю вас, ничего никому не заявляйте в ближайшие сутки. Я поставлю людей на дороге, и, если вы все-таки меня ослушаетесь, мне придется прибегнуть к крайним мерам. Еще раз прошу нас извинить!

И «зеленые» удалились. Ошеломленные, подавленные, мы были счастливы, что остались живы, но вместе с тем, оглушенные случившимся, мы были слегка не в себе. Трудно оказалось оправиться от такого последнего удара. Во время этих событий мы держали себя в руках, но реакция была очень тяжелой.

Проходя по комнатам, где все сундуки были раскрыты, где на стенах остались темные пятна — следы изъятых миниатюр и гравюр, где пол был завален отброшенными за ненадобностью вещами, я испытывала ощущение, что все это со мной уже было. Дом был перевернут вверх дном, и комнаты, казалось, стали чужими и враждебными.

Тем не менее мы обнаружили висящий на гвоздике серебряный образок, вынутый из кармана кителя моего брата. Среди «зеленых» оказался человек, которого, видимо, тронула надпись: «Благословение матери уходящему на войну сыну», — и он отказался от такой «добычи».

— А у тебя как все было? — спросила моя мать у Вали.

— Да очень просто! — ответила сестра. — Вымыв голову, я подошла к окну в одной рубашке и сразу же услышала: «Руки вверх!» Тут я увидела приставленные к моей груди два штыка и двух человек. Я сразу поняла, что это «зеленые», и ответила как можно спокойнее: «Разрешите мне сначала одеться».

Так как Валя жила в одной комнате с матерью, она надела не свое платье, а старый материнский костюм, в подпушке которого были спрятаны ассигнации. Затем она подвернула юбку на талии, чтобы ее укоротить, пристегнула брошь моей матери, на которую нацепила свой браслет и два кольца. Обрядившись таким образом, она вышла из дома в сад и улыбнулась всем присутствующим, как лучшим своим друзьям.

Аксинья была будто бы задержана в своем домике и не оказала нам никакой помощи. Через несколько минут после ухода «зеленых» вернулся из села Наум и очень неумело разыграл удивление.

«Борцовский дух» моей матери толкал ее на немедленные действия. Она приказала Науму тотчас запрягать. Но Наташа и я умолили ее подождать до утра — нам страшно было и подумать оставаться в Пустыньке одним на ночь. Итак, не через двадцать четыре, а лишь через тринадцать часов моя мать, с Валей и Дмитрием, села в шарабан. Она приказала Науму, еще более мрачному, чем обычно, отвезти их в Новороссийск и не забыла сказать Аксинье, что поручает ей двух своих дочерей и что спросит с нее, если с нами что-либо случится.

На самом деле мы ничем не рисковали, так как «зеленые» никогда не возвращались в однажды ограбленные ими места, да к тому же они, конечно, догадывались о том, что вскоре в Пустыньку нагрянут части, посланные им вдогонку губернатором. Моя мать была уверена в том, что, несмотря на несомненное участие слуг в только что пережитом нами нападении (наш отъезд сделал бы их полными хозяевами имения), мы им же были обязаны тем, что с нами в некотором смысле обошлись не так плохо. Отъезжавшие в Новороссийск рисковали больше нашего, так как возможность засады на дороге не была исключена.

Тем не менее нам, Наташе и мне, было боязно оставаться одним в разоренном доме. Мы попросили Аксинью расстелить два матраса под навесом перед домом и легли на них, взявши по книге, тщетно стараясь не думать о том, что будет, если вернутся «зеленые». А Аксинья тем временем выметала сор, приводила в порядок комнаты... Пообедали мы в саду и собирались немного отдохнуть, как вдруг мужские голоса заставили нас насторожиться. Мы тотчас вскочили, охваченные страхом. Неужели все повторится сначала? Как испуганные кролики, мы кинулись бежать в домик к Аксинье, которая всполошилась не меньше нашего. Она втолкнула нас в маленькую кладовку, где висела ее и Наумова одежда, и захлопнула за нами дверцу. Мы зарылись в хлопчатобумажные юбки и перкалевые платья и затаили дыхание. Сквозь стенку до

нас доносилось гудение чужих голосов, затем успокаивающий нас голос Аксиньи, отворявшей дверь в каморку:

— Ничего страшного! Это полиция из Кабардинки, они узнали о набеге «зеленых» и проводят расследование.

Наташа направилась к прибывшим, я за ней. С ружьями на плечах два единственных стража порядка из ближайшего к Пустыньке села пришли сюда пешком после телефонного звонка из Новороссийска. Значит, моя мать добралась туда без приключений. Не замечая нашего смущения, служители полиции прошли с нами по всем комнатам, составляя протокол. Они были вооружены старыми ружьями и, собственно, не смогли бы противостоять банде «зеленых», тем не менее их недолгое присутствие нас немного успокоило. И когда, ближе к вечеру, мы услышали, как на дорожке зашуршал гравий под ногами нового посетителя, мы не побежали на сей раз унизительно прятаться в Аксиньин чулан, но лишь притаились за кустом, поджидая гостя. Совершенно неожиданно им оказался французский офицер. Он поднимался по дорожке пешком, со стеком в руке, и на голове у него красовалось светло-голубое кепи с темно-красным дном. Французский офицер в Пустыньке! Мы знали, что в Новороссийске располагалась французская военная миссия, но по какой такой причине кто-то из этой миссии вздумал нас навестить? Так или иначе, путник не был «зеленым», шел он один, и мы вышли к нему. Ах, какие странные встречи преподносила нам революция, какие удивительные свидания с друзьями, утерянными как будто навсегда! Французским офицером оказался не кто иной, как Борис Григорьев, сын петроградского полицмейстера, друг Дмитрия и наш тоже, наш кавалер на детских праздниках. Он был с нами в Проне в день, когда ранили дядю Ваню... О своей семье он ничего не знал. Добравшись до Одессы, он стал офицером связи во французской миссии — мать его, в девичестве де Вилье, была француженка. Узнав от общих друзей, что мы в Пустыньке, он попросил увольнение, чтобы нас навестить. Он и не подозревал, что попал к нам на следующий день после набега «зеленых». Это было нашей последней с ним встречей. Несколько месяцев спустя, когда союзники отказали в своей поддержке, и без того незначительной, антикоммунистической армии и когда разгром белых стал неминуем, Борис Григорьев покончил с собой.

Но пока он был здесь, с нами, принеся с собой образы нашего общего детства: вспоминался Петербург, сани, привозившие нас к Григорьевым на танцклассы, Проня и ее парк, и наши рыбалки...

Аксинья не переставала удивляться. Французский офицер, и один? Без сопровождения? В местности, где хозяйничали «зеленые», которые иностранцев не щадили? Она добавила один прибор на стол; мы ее упросили принести бутылку вина и распили ее вместе с дорогим нашим Борисом, который, впрочем, чувствовал себя не вполне спокойно из-за наших и Аксиньиных рассказов.

Мы рассчитали, что вызванные моей матерью казаки доберутся до Пустыньки не раньше чем через два-три часа. Чтобы немного отвлечься и заполнить время ожидания, мы решили пойти втроем в село Кабардинку; четыре километра туда и обратно, пустяк. По правде сказать, то

была совершенно бессмысленная прогулка. Но, не слушая увещеваний запуганной своей ответственностью Аксиньи, мы двинулись в путь. Крестьянин, который подвез Бориса из Новороссийска до подъема в имение, давным-давно уехал. Большая дорога была пустынна и не внушала нам никакого доверия, но ни один из нас не захотел отступиться и не предложил вернуться назад. Под сенью северокавказских гор мы шли и, чтобы подбодрить себя, пели песни тульской равнины. Однако, заметив трех идущих нам навстречу мужчин, мы заставили Бориса, несмотря на его возражения, лечь в придорожную канаву: окажись эти люди «зелеными», вид его формы лишь ухудшил бы наше положение.

С огромным облегчением мы заметили наконец дома Кабардинки; снова обретя беспечность, мы бросились в бакалейную лавку и накупили там целую кучу пряников и конфет, которыми галантно решил угостить нас Борис. Обратный путь нам показался, непонятно почему, гораздо менее опасным.

— Наконец-то! — воскликнула Аксинья. — Слава Богу, вернулись! Случись что с вами, страшно подумать, что́ бы княгиня со мной сделала[1].

Наступал вечер, и ожидание становилось нам в тягость. Не уходя из сада, мы прислушивались, не раздастся ли стук копыт... Наконец послышалось бряцание оружием, отрывочные команды: прибыли казаки.

Через час мы вместе с Борисом покидаем Пустыньку окончательно, как когда-то Матово. Еще более полегчавший несчастный наш багаж следует за нами. Часть отряда располагается в доме, чтобы охотиться за нашими грабителями, а другая сопровождает нас. Те, кто остается, расседлывают лошадей и ведут их поить к ручью. Ночь расцветает огоньками светлячков. Довольно прохладно прощаемся мы с Аксиньей, она плачет: Наум арестован. Я вглядываюсь в лица нашей конной охраны; они такие же, как и лица тех людей, которые едва нас не убили. Невозможность отличить друзей от недругов повергает меня в смятение.

Перед въездом в город нас высадили в просторном и красивом имении, где располагалась база союзников. Мы должны были там оставаться под опекой хозяев дома, владельцев имения, пока не найдем прибежище в Новороссийске. Здесь мы были в безопасности, жили в комфорте, хозяева были прелестными людьми. Сад был просторен, море — совсем рядом, но присутствие английских и французских моряков напоминало постоянно о том, что война не окончена, и о неустойчивости нашего бытия. Но жизнь даровала нам еще одну отсрочку.

---

[1] Несколько недель спустя «зеленые» совершили набег на Кабардинку и убили двух приезжавших к нам полицейских. (*Прим. автора*).

Случилось так, что новый и последний этап моей жизни в России проходил в Новороссийске — прежней столице одноименной губернии, охватывающей прибрежные территории Азовского и Черного морей между рекой Прутом и областью войска Донского. В широкой и глубокой бухте новороссийского порта, важной стратегической базы гражданской войны, стояли на рейде многочисленные военные суда и торговые корабли; один из них под британским флагом участвовал позже в спасении моей жизни.

Как и все южные города, Новороссийск был очень перенаселен из-за наплыва военных и беженцев. Губернатором его был тогда Тяжельников, друг нашей семьи. В Балке Адамовича, рабочем предместье этого окруженного заводами города, мы не без труда нашли прибежище, чем были обязаны моей матери — силе ее убеждения и прекрасному владению немецким языком; ей удалось преодолеть сопротивление хозяина дома, пастора местной протестантской церкви. У пастора был один глаз. Средних лет, крепкий, он происходил из прибалтийских немцев. Он так и не удосужился выучить наш «варварский» язык и, объясняясь с «туземцами», так коверкал слова, что приводил нас в восторг. У него был красивый дом, красивый сад, преданная ему экономка, финка Мария, жившая со своим мужем-садовником в маленькой сторожке. Из уважения к его сану никому не пришло в голову реквизировать у пастора лишние комнаты, и в этом неспокойном мире он вполне мог бы вести и дальше, до прихода коммунистов, свое мирное существование, если бы не поддался на уговоры и не сдал бы нам две большие комнаты на первом этаже. Пастор был добропорядочный, добродетельный человек, и от беспорядка он страдал не меньше, чем от зубной боли, а кругом царила полная анархия. И вот с нашим приездом беспорядок ворвался и в его дом.

Мой брат очень скоро вернулся в Севастополь, а Борис в Одессу, и пастор полагал, что принял под свой кров мать семейства с тремя дочерьми. Но надо сказать, что в ту пору всю огромную территорию России бороздили миллионы снявшихся с места людей, — кто в поисках тихого уголка, а кто, напротив, полей сражений. Цепляясь, если приходилось, даже за буфера вагонов, шагая с котомкой за плечами по дорогам, переправляясь вплавь через реки, ища себе пропитание, разыскивая родных, теряя в пути близких людей и любимые вещи, Петербург оказывался в Крыму, Сибирь на Кавказе, а Москва — в Сибири. Испытания каждому выпадали великие, но для русских людей

беспорядок как таковой не представлялся бедствием, так как нес с собой и надежды на лучшее. Но иначе обстояло дело с бедным пастором... Он лично еще ничего не потерял, привычек своих изменять ему не пришлось, продовольственные проблемы, конечно, затронули и его, хотя довольно умеренно. Но окружающий его беспорядок превращался для него в пытку. И вот явились мы, две взрослые дамы и два подростка, безвредные на вид и даже приятные в общении. Но не успели мы въехать, как обросли огромным количеством родственников и друзей. Двоюродному брату Алексею удалось, как и нам, бежать из Тулы, и он снова записался в Корниловский полк, куда пошел служить сразу после революции. Идя по нашим следам, находя то тут, то там людей, которые с нами где-то встречались, он в один прекрасный день приехал к нам в отпуск по болезни и очутился в доме несчастного пастора. Владимир, сын тех людей, у которых Валли жила в Харькове, тоже приехал к нам на время своего отпуска из армии; затем появился Виктор Модлинский — и пошла непрерывная карусель. Пастор, разумеется, получал от этого некоторое возмещение, и немаловажное. Во время своих отпусков наши воины отправлялись с мешками в придонские и прикубанские села и с неимоверным трудом привозили оттуда и муку, и манную крупу, и масло, и мясо, которыми мы делились с хозяином дома.

Пейзаж, окружавший меня, был довольно безрадостный: рабочая окраина, заводы, среди которых цементный, хорошо охраняемый арсенал. За пределами пасторского сада глазу не на чем было остановиться.

Мне скоро должно было исполниться тринадцать лет. Иногда я испытывала новое для меня томление. Сексуальные проблемы меня нисколько не занимали. Если верить признаниям моих французских собратьев по перу, рассказывающих о своем детстве и отрочестве, то русские дети рядом с ними кажутся просто невинными ангелочками. Безусловно, я выросла в деревне и знала то, что англичане называют «фактами жизни», но тайна эта не вызывала во мне никакого любопытства. Мое воображение работало совсем в ином направлении и уносило меня в царство грез.

Какие же происходили во мне перемены в период моего созревания? Я чувствовала какое-то непонятное беспокойство, любила оставаться одна. В дни, когда дул норд-ост, резкий ветер, который иногда не дает кораблям выйти из гавани, мне доставляло странное наслаждение влезать на садовую ограду и идти по ней лицом к ветру, как бы вступая с ним в борьбу. Как-то раз я шла таким образом по стене, задыхаясь от ветра и исполненная каким-то диким ликованием, когда увидела молодую женщину: пошатываясь, она направлялась в мою сторону с пустырей, простирающихся за садом. У моих ног она рухнула наземь; ее рвало, лицо ее позеленело, движения были судорожны. Я сразу подумала, что, должно быть, у нее холера, и крикнула:

— Я сейчас позову скорую помощь!

— Нет, нет, не надо!

Я все-таки спрыгнула и побежала в околоток. Один служитель пошел со мной, но женщины и след простыл.

Ее страх перед больницей был вполне объясним. Все они были переполнены, и на постель умирающего уже готовы были положить вновь поступившего больного. Раз уж мне приходится приводить здесь время от времени воспоминания других людей, сошлюсь на один эпизод, рассказанный мне в Париже моим другом Федором Комаровым, бывшим морским офицером, который как нельзя лучше иллюстрирует тогдашнее положение раненых и больных.

— Меня перевезли в госпиталь, когда у меня были одновременно тиф и испанка. Там я пережил странное ощущение: будто присутствовал при своей собственной смерти, будто покинул уже собственное тело. Из какой-то точки в пространстве я видел самого себя, простертого на постели, вокруг стояли санитары, и один сказал другому: «Этот уже готов». Потом ничего не помню. Я очнулся в каком-то темном помещении, мне было очень холодно, и я стал настойчиво просить, чтобы меня покрыли. Но никто не отзывался, это меня сильно раздражало, потому что я совсем продрог. Затем я разглядел в темноте, что был не один, что у меня были соседи. Я заговорил с одним, затем с другим, и их молчание выводило меня из себя... Через некоторое время двери отворились, кого-то внесли на носилках. Я пробормотал: «Наконец-то! Я умираю от холода!» И увидел ошеломленных санитаров, приближающихся ко мне: «Смотри-ка, этот-то живой, надо его обратно». Оказалось, меня просто отнесли в морг!

В подобных условиях требовалось определенное мужество, чтобы согласиться лечь в больницу.

Чтобы показать всю сложность и противоречивость человеческих отношений в те времена, возвращусь к Науму, сторожу Пустыньки. Несмотря на розыск ограбивших нас «зеленых», который проводился по указанию новороссийского губернатора, найти их так никогда и не удалось: лесистые горы Северного Кавказа прекрасно укрывали «партизан». Когда Наума арестовали, моя мать хоть и не сомневалась в том, что он был причастен к совершенному набегу, но полагала вместе с тем, что, видимо, нас пощадили благодаря его заступничеству. Поэтому она за него хлопотала, и его вскоре освободили. С тех пор он регулярно приезжал к нам и привозил яйца, орехи, фрукты, масло. По праву все это скорее принадлежало ему, чем нам, но он считал справедливым делиться, поскольку, едва не привлеченный к ответственности за возможное наше убийство, оказался затем полным хозяином принадлежавшей нам земли.

Так и накануне дня моего рождения, 30 августа (или 12 сентября по новому стилю), Наум спустился из Пустыньки в город и привез продуктов. Наташа приготовила роскошный пирог. Но утром я пошла за водой (эта обязанность лежала на мне), и, когда начала качать воду из колонки, у меня закружилась и сильно заболела голова. Я не сразу в этом призналась, думая о пироге и боясь лишиться предусмотренного в мою честь праздника. Но я переоценила свои силы: не успели прийти к нам приглашенные к чаю юные морские лейтенанты, как моя мать

заметила мой больной вид, приложила ладонь мне ко лбу, сунула под мышку градусник и позвала врача. Настала моя очередь заболеть тифом.

Пастор настаивал на том, чтобы меня отправили в больницу, но моя мать наотрез отказалась. Тогда всякие сношения между первым и вторым этажами были прерваны. Я вступила в период длительного бреда. Прочитанное и увиденное перемешалось у меня в голове: убитые собаки наваливались грудой на меня и мешали дышать, я задыхалась; под огромными ногами священных слонов извивались индусы, превращаясь в кровавое месиво; в лианах шипели змеи... «Убейте слонов! Убейте слонов!» — кричала я в бреду. Но даже в бессознательном состоянии я не говорила, так мне было стыдно, о других, рожденных половой зрелостью видениях: какой-то незнакомец меня целовал, обнимал, я отбивалась, но вместе с тем чувствовала неистовую радость, которую старалась скрыть от других.

Будь то днем или ночью, когда ко мне возвращалось сознание, рядом с собой я всегда видела мою мать. Меня носили на простынях в ванную комнату и погружали в прохладную воду, чтобы спал жар. Антибиотиков, разумеется, в ту пору не существовало, а достать кофе, чтобы поддержать сердце, было невозможно. Тогда-то и вмешались офицеры с британского судна «Моннэ»: прослышав о моей болезни от русских морских офицеров, они поспешили принести моей матери кофе и портвейн.

Наконец жар спал, но я была чрезвычайно слаба, и слабость долго не проходила. Церебральная анемия вызывала галлюцинации, что было ненамного приятнее, чем тифозный бред. Чтобы моя мать и сестры могли наконец отдохнуть, меня поручили Владимиру, сыну тех людей, которые приютили в Харькове мою старшую сестру. Владимир был вторично ранен и контужен в бронепоезде «Гром победы»; он тоже страдал галлюцинациями. Безуспешно пытался он бороться с моими и со своими собственными страхами. «Посмотрите, здесь, в углу, дергается какой-то скелет, вы видите?» — говорила я ему, и Владимир вставал и прогонял видение — однако он сам не был уверен в том, что и вправду его рука не коснется скелета.

Наконец наступил памятный день, когда я впервые встала с постели. Владимир отнес меня в сад и усадил в кресло. Наташа закутала мне ноги в одеяло, огорчаясь моей худобой. Получив от врача профессиональное заверение в том, что я больше не заразна, пастор спустился из своих стерильных покоев и пришел меня поздравить. Он срезал для меня в саду самую красивую осеннюю розу и неожиданно расчувствовался настолько, что поцеловал мне руку. На что моя старшая сестра сказала, что стоит мне немного поправиться и из меня получится совсем неплохая пасторша.

Чудесно было возвращаться к жизни, чувствовать, как прибывают силы, освободиться от видений... Но оставался голод, настойчивый, постоянный, — и утром, и вечером, и ночью... Я только о еде и думала, только о еде и мечтала.

Владимир уехал от нас навстречу смерти — его убило вместе с его братом: в него попал тридцать один осколок от снаряда, изрешетив все

тело. Красные повсеместно прорывали белый фронт. Возвращаясь вспять, деникинцы отступали к югу. Эти плохие вести совсем не обнадеживали. Люди, умудренные жизненным опытом, не ожидали ничего хорошего, а молодежь тем временем урывала от жизни немногие выпадающие на ее долю радости. По разрешению командующего морской базой мы питались в офицерском клубе в качестве родственников морских офицеров. Так как меня нельзя было оставлять дома одну, я ходила туда тоже, с матерью и сестрами. Там танцевали, устраивали праздники. На маленькой эстраде переодетый танцор Икар, стоя на пуантах, пародировал Анну Павлову; Александр Вертинский пел свои «декадентские» романсы про отчаяние, кокаин и смерть. Но его слушатели любви к жизни не теряли. Иной раз мы отправлялись большой компанией на экскурсии, осматривали Абрау-Дюрсо, где производилось русское шампанское. Навестили мы и старшую сестру дяди Вани, которая, не боясь «зеленых», осталась жить одна в маленьком своем поместье, затерянном в горах. Я помнила ее портрет, он висел в Петербурге в рабочем кабинете моего отчима, но прекрасная Олимпия с обнаженными плечами превратилась в дурно одетую старую женщину, почти крестьянку, с узловатыми пальцами, занятую своим ульем и козами.

Как-то вечером на веранде пасторского дома появился связной. Он принес послание от губернатора. На основании полицейских донесений предполагалось, что «зеленые» в ближайшем будущем совершат налет на Балку Адамовича, где у них были сочувствующие им люди. Губернатор реквизировал для нас две комнаты в гостинице в центре города и предлагал немедленно туда переселиться. Мы побросали в чемодан все необходимое, чтобы провести в гостинице несколько ночей, и предупредили пастора о возможном налете «зеленых». Пастор не захотел бежать и тем самым участвовать в очередном проявлении русского беспорядка. Он попросил связного проверить, работает ли его охотничье ружье, которое Владимир перед отъездом зарядил, и забаррикадировался у себя с намерением охранять свою жизнь и внушительных размеров библиотеку.

Часов в десять вечера мы устроились в гостинице, заселенной офицерами Добровольческой армии и союзных войск. Ночью мы по очереди вставали и шли смотреть, не горит ли наша Балка Адамовича, но все оставалось спокойным. Из осторожности мы провели еще несколько ночей в гостинице, а потом вернулись к торжествующему пастору.

Через несколько дней после предыдущей тревоги подул очень сильный норд-ост. Когда я шла за хлебом, мощный порыв ветра отнес меня за два или за три метра от двери булочной, куда я намеревалась войти. В порту готовые к отплытию суда не могли из-за ветра выйти в море. В тот же вечер, когда мы с Наташей уже легли, а в соседней комнате моя мать и Валя тоже собирались лечь спать, мне показалось, что возле входной двери в кухню послышался какой-то шум.

— Наташа, ты слышишь? — спросила я.

То лай собак, то скрип шагов по гравию, то легкий скрежет замка, который кто-то пытается открыть, — в конце концов это бесконечное повторение неприятных звуков становилось невыносимым.

Мы бросились к матери и шепотом ей объявили:

— Что-то там происходит, наверное, это «зеленые»!

Моя мать уже хорошо знает, что все это значит, и тушит свет. Теперь мы сидим вчетвером и ждем того, что неизбежно должно произойти. Сомнений нет, звуки делаются более явственными, дверь с трудом поддается, какие-то люди спускаются в погреб. Сколько их? Неужели бутылки, так ревностно охраняемые пастором, будут выпиты, и нам придется иметь дело с пьяными мужиками?

Моя мать подходит на цыпочках к дверям обеих наших комнат и запирает их на ключ. Мы напряженно вслушиваемся, нас одолевает страх. Прыгает пробка, за ней вторая. Значит, у пастора было шампанское? Нет, но это, вероятно, те бутылки, которые мы принесли из Абрау-Дюрсо. Слышно, как бьют стекло. Что же нам делать? Что же нам делать? Разбудить пастора, ударяя половой щеткой о потолок? Но тогда обнаружится наше присутствие. И даже если пастор спустится со своим ружьем, чем это нам поможет? «Они», конечно, его убьют. Напротив, если нам удастся убежать и предупредить полицейских, может быть, «они» не успеют подняться наверх, на второй этаж? Продолжаем прислушиваться. Кто-то, пошатываясь, идет через прихожую, кто-то тяжело дышит за дверью нашей комнаты... Наташа покусывает носовой платочек. У нас только один путь к бегству — окно. И будто подталкивая нас к принятию решения, звуки, которые до нас доносятся, становятся еще громче.

Тихо, очень тихо мы отворяем широкое окно высокого первого этажа. Надо прыгнуть вниз с метровой, а то и с двухметровой высоты. Густой плющ покрывает стену и прячет выступы, на которые мы могли бы поставить ноги. Валя прыгает первой, затем Наташа, за ней и я.

Моя мать прикрывает наше бегство. Оказавшись на земле, мы чувствуем, что ноги нас не слушаются. Молча мы прижимаемся к стене. Кусты, растущие вдоль дорожки, скрывают нас от посторонних глаз. От плюща веет сыростью; вероятно, в нем гнездятся летучие мыши. Валя предусмотрительно захватила одеяло. Мы накидываем его на плечи и прижимаемся друг к другу. Проходит час, другой — ужасные часы. Воет норд-ост. Из дома продолжают доноситься смех и возгласы пьяных людей. Мы не двигаемся, не разговариваем, нас царапают шипы вьющихся роз. Мы можем только молиться и ждать.

Наконец небо бледнеет, гаснут звезды, кончается ночь, а мы и живы, и здоровы. Запели петухи, перекликаются птицы. Еще немного, еще совсем немного, и будет день. Шум проезжающей по дороге повозки вселяет в нас надежду. Это едут на рынок крестьяне. Вдруг все смолкает; звуки, долетающие из дома, стихают. Дом погружается в безмолвие. Видимо, «зеленые» упились и заснули в подвале.

Всходит солнце, и мы осмеливаемся выйти из нашего укрытия. Осторожно, по очереди направляемся через сад к выходу. Надо позвать полицию, пока незваные гости не проснулись. Выйдя за калитку, мы смотрим друг на друга — и нас охватывает такой приступ смеха, что напряжение сразу спадает. До нас доходит вся комичность картины: растрепанные, тащим за собой одеяло. Мы похожи на настоящих ведьм. Так, наверное, и подумал первый встреченный нами крестьянин: вместо того чтобы остановить по нашей просьбе повозку, он подстегивает свою лошадь, желая поскорее уехать от злонамеренных особ, какими мы ему, вероятно, представляемся.

К счастью, улицы еще пустынны, и знакомые лавочники спят за закрытыми ставнями. В полицейском участке дежурный смотрит на нас с удивлением. Но как только моя мать представляется и предупреждает его о том, что, по всей вероятности, «зеленые» овладели пасторским домом, он проявляет сильное волнение.

— Что? Здесь «зеленые»? Так необходимо позвонить в штаб-квартиру.

— А может быть, это никакие не «зеленые», а простые воры. Пойдемте с нами, посмотрим.

— Ну нет, ну нет, — повторяет дежурный. — Я не могу покинуть свой пост, да и не могу я идти один против целой банды.

К нам возвращается хладнокровие, а вместе с ним и боязнь оказаться в смешном положении. Нет, одетые подобным образом, мы не можем ждать, когда проснется вся Балка Адамовича. Оставив дежурного на телефоне, мы решаем вернуться домой. Через сад доходим до входной двери, которая, похоже, ночью была взломана. Она оказывается запертой изнутри. Как странно! Останавливаемся в нерешительности перед распахнутым окном, через которое мы выпрыгнули. Только таким путем мы можем вернуться назад. Что нас ожидает там, внутри?

— Ты — скаут, вот и лезь на разведку, — сказала мне Валя.

Назвался груздем... Сцепив руки, моя мать и Валя меня подсадили, и я добралась до окна. Все было в том же состоянии — в том же беспорядке, как и в тот момент, когда мы отсюда ушли. Я повернула

ключ в двери и вышла в чистый и безлюдный коридор. На кухне, пол которой, судя по ночным звукам, должен был быть завален битой посудой и стеклом, упавшими кастрюлями, царил безупречный, установленный и поддерживаемый Марией порядок. Чашки стояли на своем месте в буфете, кастрюли блестели на полках... Я открыла дверь в сад, и моя мать и сестры вошли в дом. Мы осмотрели гостиную, столовую, даже осмелились спуститься в подвал, где лежали на прежних местах никем не тронутые бутылки. Я спешно привела себя в порядок, чтобы предупредить дежурного о том, что в доме пастора ничего плохого не произошло. Все четверо мы оказались жертвами коллективной галлюцинации — значит, хоть внешне это и не было заметно, наши нервы сильно пострадали от недавних событий.

Приближалось Рождество 1919 года. Пастор уже не мог справиться с событиями, и дом его оказался прочно «оккупирован». Ему пришлось узнать на опыте, что дома могут становиться «резиновыми». Правда, его успокаивало то, что жильцы его принадлежали к высшему свету и все говорили по-немецки. Но думал ли он когда-нибудь, что ему придется праздновать Рождество в таком многочисленном окружении православных? Мне кажется, нас было к тому времени человек пятнадцать. Ради того чтобы доставить пастору удовольствие и отдать дань традиции, мы решили спеть «Tannenbaum», знаменитую рождественскую песнь о елке, введенную в наш обиход немецкими боннами. Но праздник у елки был для меня испорчен, правда, не столь уж важным событием. После болезни у меня выпадали волосы, и мой брат, который приехал к нам на праздник, решил обрить мне голову. Вооружившись огромной бритвой, он изрядно порезал мне кожу на голове, и, когда я взглянула в зеркало, которое он торжествующе мне поднес, я не смогла удержаться от слез. На меня смотрел сбежавший из исправительной колонии худенький мальчишка, а с оголенного моего черепа стекала струйками кровь. Хоть моя тетушка Ольга и подарила мне хорошенький кружевной чепчик, он нисколько меня не украсил, и я продолжала походить на полуголодного сорванца. Но вот зажгли елку, и единственный голубой глаз пастора засветился чистосердечной радостью.

Это оказалось нашим последним семейным сбором на русской земле. Сразу после Рождества дом стал пустеть. 31 декабря мы опять остались одни, и атмосфера в доме изменилась, стала гнетущей. Верная традициям, моя мать приготовила холодный ужин и поставила охладить последнюю бутылку шампанского. Но Валя отказалась притворяться веселой.

— Что нам праздновать? — сказала она. — Зачем нам поздравлять друг друга с Новым годом, когда мы прекрасно знаем, что он будет отвратительным?

И она просто-напросто легла спать. Мы остались втроем, и, когда в полночь взяли в руки бокалы, поднять их оказалось очень трудно. В

порту завыли все сирены — на всех судах, стоящих на рейде; с берега из всех пригородов им вторили заводы. И этот предсмертный вой показался нам дурным предзнаменованием. Тьма преследовала нас по пятам, готовая всех поглотить.

Да, плохо начинался 1920 год. Мы жили в томительной неопределенности. Вокруг нас целые семьи готовились к отъезду за границу, но у этих людей сохранились хоть какие-то деньги или драгоценности. А у нас не осталось ничего. Если мы и могли еще как-то существовать, то только потому, что были дома, в своей стране, среди русских. Тем не менее положение настолько ухудшилось, что союзники предложили эвакуировать всех, кто не сражался в армии. Губернатор сообщил нам, что вскоре из Новороссийска выйдет трофейный немецкий плавучий госпиталь «Ганновер», захваченный англичанами, и возьмет на борт беженцев, которые пожелают поставить себя под защиту короля Георга Пятого. Они будут помещены в лагерь на одном из Принцевых островов в Мраморном море, в Турции. Губернатор советовал моей матери не упускать эту возможность.

— Поймите, это отъезд не навсегда, — говорил он ей, чтобы ее подбодрить. — Армия соберется с силами, она перейдет в наступление. Когда мы отправим гражданское население в безопасное место, нам станет легче кормить армию. Союзникам надо только поддержать нас, как следует, и мы одолеем коммунизм. Когда вы окажетесь за границей, там и выберете, если понадобится, ту страну, где вы сможете переждать события.

В Добровольческую армию так же трудно было поверить, как и в действенную помощь союзников. Каждый день приносил нам плохие вести. В Сибири, где был убит мой двоюродный брат Александр, чехи, с согласия генерала Жаннена, нарушили свои обязательства. На смену Колчаку и его правому правительству пришло новое, социалистическое, которое продержалось не более десяти дней и пало, отдав коммунистам Иркутскую область. Адмирал Колчак был расстрелян... Позже Ленин признается в том, что если бы союзники согласились с планом Клемансо об экономической блокаде коммунистов, то советский режим был бы обречен на гибель.

Моя мать все еще никак не могла решиться покинуть Россию.

— Это — наша страна, — повторяла она. — И здесь не так страшна будет нищета.

Что же до меня и моих сестер, то нами владело лишь одно желание — как можно скорее покинуть эту ужасную родину. Начались бесконечные обсуждения. С одной стороны, мы колебались в страхе перед неизвестностью, ожидавшей нас по ту сторону Черного моря, с другой — мы были убеждены в том, что здесь нам не выжить, если мы еще раз попадемся в руки коммунистов. Но отъезд означал и расставание — по всей вероятности окончательное — с моим отцом, братом, кузенами, с Павликом, со всей дружной нашей семьей, которая жива была лишь надеждой когда-нибудь соединиться.

Заграничный паспорт готов. Вот и сейчас он лежит передо мной. Этот простенький документ состоит всего из двух страниц и помечен номером 209. Над фотографиями моей матери, Наташиной и моей — несколько написанных от руки строк: «Предъявительница сего княгиня Анна Леонидовна Шаховская с дочерьми Наталией и Зинаидой отправляется за границу». Число: 8 января 1920 года, и подпись новороссийского вице-губернатора Козлова. На второй страничке представитель Королевства сербов, хорватов и словенцев поставил свою печать со словами: «Годен для въезда в Сербию». Дата: 22 января 1920 года. У совершеннолетней Валли был свой паспорт.

30 января мы еще не знали, уедем ли на «Ганновере» или нет. Но тут заурядное по тем временам событие подтолкнуло мою мать к принятию решения. Как-то вечером сильный взрыв потряс наш дом. Мы выбежали в сад и увидели некий фейерверк, который мы истолковали как знамение. В небе взрывались огненные шары. Это взлетал на воздух подожженный кем-то морской арсенал.

17 февраля 1920 года, волнуясь настолько, что даже обещанная нам безопасность нас не утешала, мы вчетвером поднимались на борт «Ганновера». На палубе были знакомые лица: наши кузены графы Мусины-Пушкины, княгиня Гагарина с двумя сыновьями, другие друзья. Был среди нас со своей матерью и долговязый юноша, которому суждено будет стать знаменитым голливудским комиком — Миша Ауэр. Все были мрачны. Одно дело — спасаться бегством, как позже пришлось последним защитникам Крыма, под адским огнем взрывов, под гром тяжелой артиллерии, когда испытываешь и гнев, и вместе с тем упорную инстинктивную надежду на спасение. Другое дело — уезжать, как это делали мы, из вполне, казалось бы, спокойного города, когда нас не вынуждала и не подстегивала сиюминутная необходимость.

Затем мы спустились в темный и душный трюм, где беды каждого сливались в огромное общее бедствие. В недрах «Ганновера» люди превратились в отдавшее себя в чужую власть стадо. Это подчинение людской толпы общей судьбе произвело на меня такое сильное впечатление, что с тех пор, когда мне предстоял путь в неведомое, я без колебания шла по нему совсем одна или с избранными верными попутчиками.

Порт медленно удалялся, и толпа на пристани превратилась в небольшое темное пятно. На палубе пожилой священник начал молебен. Солнце играло на наперсном его кресте. Женщины, старики и дети стали опускаться на колени. Не стыдясь, многие плакали, перед лицом моря, перед лицом земли.

Удалялась Россия. За неровной линией гор простирались русские равнины. Матово растворялось в сумерках. Заканчивалась история семьи, привязанной вот уже тысячу лет к одной и той же земле. От февраля семнадцатого до февраля двадцатого прошло три года — три века, отделявших меня от моего прошлого.

— «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся!» — возглашал священник. Мы плыли, а позади оставались набитые пленниками тюрьмы, миллионы голодающих, миллионы обреченных на смерть. Мы плыли, и солнце садилось над нашей бедой.

На просторном судне я искала, как больное животное, где бы спрятать мое горе. Неужели, невзирая на произнесенные мною проклятия, я все-таки любила покидаемую нами страну? Не успела я освободиться от одного гнета, как на меня уже наваливался другой. Но я была еще ребенком. У киля играли дельфины, я их никогда раньше не видела и

остановилась на них поглядеть. Молодой британский матрос, который стоял рядом, облокотившись о борт, положил мне на плечо большую свою руку, но не улыбнулся. Напротив, улыбнуться ему попыталась я... И пошла дальше. Наконец, я нашла то, что искала, — какой-то большой ящик, наполненный до половины угольными отходами. Я туда влезла и легла.

Корабль шел вперед. Я закрыла глаза. Настоящее исчезло — только действие оживляет его, питая мужество. Куда я направляюсь? Что станет со мной? Но дети не беспокоятся о будущем. А вдруг корабль будет продолжать свой путь вечно, а вдруг он и не остановится нигде?

Париж и «Каза Флорри», Биарриц,
1964 г.

Образ жизни

*Мы вошли в огонь
и в воду, и Ты вывел
нас на свободу*

ПСАЛОМ 65, ст. 12

Предисловие

«Реки — это дороги, которые ведут туда, куда мы хотим идти», — писал Паскаль. Время увлекает нас за собой, подобно реке, не всегда туда, куда мы стремимся, но куда нужно идти. Чем определяется эта необходимость? Следуя какому смутному зову, человек выбирает один жизненный путь, отказывается от другого, избегает одной опасности, чтобы броситься в объятья другой, еще большей, создает и разрушает, порывает со своими привязанностями, сближается и расстается с людьми? Погружаясь в реку Времени, мы становимся его пленниками, а человеческая память — это лишь дань уважения, которое мы ему оказываем.

В своих воспоминаниях, может быть, почти бессознательно, я хотела подчеркнуть, что моя нелегкая судьба, мой образ жизни мне по душе и что проблема жизни и творчества вне страны, народа, социальной среды, данных нам от рождения, привела меня трудным путем к свободе и одиночеству, необходимым, вероятно, для моего спасения.

В постоянных исканиях, страдая от мучительного несоответствия между тем, что я есть, и тем, кем хотела бы стать, а также от других — самых главных, сформировавших меня противоречий между моей необузданной пылкостью, чрезмерной гордостью, глубоким презрением ко всему, что его заслуживает, и желанием остаться праведной, смиренной по отношению к Богу, перед которым я слишком часто бываю грешна, мне суждено прожить свой век. Но разве не следует жить с самой собой так же, как и с другими, со всем миром: мошками, дождем, солнцем, змеями, птицами, праведниками и грешниками, — теми, кто нас предает и кто нам верен, между тем, что мы покидаем, и тем, к чему стремимся, между землей и небом? Писатель не может себе позволить не запечатлеть мимолетные оттенки пейзажа, называемого жизнью.

Константинополь

(1920—1923)

1920-й. Сначала сотнями, потом тысячами, а затем десятками и сотнями тысяч, русские рассеиваются по всему свету. Для многих из нас судьба Данте и Овидия начинается в Константинополе. Мне тринадцать лет. У меня после тифа коротко подстрижены волосы, вечно пустой желудок и привычка к беспорядку. Он продолжает меня окружать и поныне, оказывает порой успокоительное действие. Я забыла тревогу, которую испытала, покидая Новороссийск пять дней тому назад, при погрузке в трюм трофейного госпитального судна «Ганновер», плававшего под британским флагом. Наше приключение продолжается на других берегах, в Константинополе. Желтый флаг карантина взвивается на одной из мачт нашего корабля. Солнце, голубое небо, плеск воды окружают «Ганновер», неподвижно стоящий на якоре. Вдалеке высокие свечки минаретов разрывают утренний туман, и в то время как катер портового контролера пристает к нашему судну, на него налетает целый рой каиков. Со своих легких лодочек торговцы в красных фесках пытаются сделать невозможное: продать странным, таким, как мы, туристам четки из янтаря, подносы с чеканкой, восточные ковры. Напрасный труд: мы себе не принадлежим. Мы существуем только благодаря покровительству британского правительства, взявшего нас на свое попечение.

Мрачная толпа женщин, стариков, детей, гонимых ветром истории, высаживается и снова поднимается на другой корабль, пристает к другому берегу Малой Азии, в Тузле, где мы делаем вид, что принимаем душ, так как в бараках, куда нас привели, нет воды. Затем, в своих все более и более потрепанных одеждах, мы вступаем в необычный для нас мир. Под большими тентами усаживаемся за столы. На них стоят чудесные яства, вкус которых мы давно забыли: варенье, кексы, печенье... Стаканчики, наполненные настоящим крепким чаем, согревают наши ладони. Нас обслуживают с чисто восточной любезностью красавцы сикхи в восточных тюрбанах на голове. Ночью нам предстоит еще одно таинственное путешествие: нас увозят на очаровательный остров Принкипо, что означает один из Принцевых островов, о которых в словаре Ларусс говорится следующее: «Принцевы острова — маленький архипелаг, состоящий из девяти островов, из которых только четыре обитаемы. Они служили местом ссылки свергнутых византийских принцев». Принкипо принадлежит англичанам, Халки — французам, Проти — американцам, Антигона — итальянцам. Победоносные нации оккупируют Турцию, проигравшую войну.

Мы начинаем наше совместное существование. Каждой семье выделяется по комнате на виллах, реквизированных у турецких пашей. Наши четыре походные кровати, предоставленные британским интендантом, стоят в гостиной рядом с диванами и креслами, обтянутыми желтым шелком: она обогревается мангалом — печуркой с открытой топкой на чугунном треножнике, отапливаемой древесным углем и так дымящей, что мы задыхаемся.

В просторной общей кухне распоряжается, предварительно отстранив других дам, жена отставного полковника, назначенного англичанами комендантом виллы. Это великанша с красным лицом и мощными руками, бывшая кухарка полковника, на которой он женился во время пребывания в одном из дальних гарнизонов. Ее зовут Марфа Петровна. Мы ей доверяем наши еженедельные пайки, которые нам выдает британское интендантство, и едим то, что она соизволит приготовить за деньги, собранные со всех семей. Ее преимущество над настоящими дамами состоит в том, что она таковой не является. Бормоча себе под нос ругательства, старый сторож виллы неодобрительно смотрит на гяуров, неверных, обосновавшихся в доме его господина. Меня он особенно презирает. С того дня, когда порыв ветра сорвал с моей головы в его присутствии шляпку, к которой моя сестра Наташа прикрепила искусственные локоны, он был убежден, что я малолетняя блудница, так как в Турции стригут волосы только согрешившим девушкам.

Неожиданно быстро наступила весна, распустились почки. Остров превратился в букет, в котором желтые шарики мимозы смешивались с лиловыми гроздьями глициний. Всего в восьмистах километрах от Принкипо, в Крыму, еще упорно боролся Врангель. Находившийся в Константинополе Деникин передал ему пост Верховного Главнокомандующего Добровольческой армии. Но к берегам Оттоманской империи продолжали приставать с новыми беженцами корабли союзников; суда русского торгового флота или простые парусники из Одессы, Ялты, Феодосии, откуда вытекает, как кровь из раны, целый флот с людьми, оставшимися без родины.

На Принкипо рассказывали о чуде, случившемся с пассажирами «Св. Николая», греческого суденышка, наскочившего ночью на скалы пустынного берега острова, где никто не мог оказать им помощь. В то время как корабль медленно погружался в воду, среди обезумевших от страха людей то на носу, то на корме появлялся старый монах с белой бородой и успокаивал их прикосновением руки. Никто не погиб, и даже сам капитан не мог объяснить иначе как чудом неожиданное спасение всех пассажиров и экипажа. Между тем среди переживших кораблекрушение пассажиров не оказалось старого монаха, и, поразмыслив, они припомнили, что никто не заметил его при посадке на корабль. Однако это лицо было удивительно знакомым и русским, и грекам, — и тут они поняли, что видели его на иконах Святителя Николая. Тогда потерпевшие отправились в старую церковь Принкипо отслужить благодарственный молебен святому покровителю путешественников.

Лето почти наступило. Наверху, в горах, нагретые солнцем пинии источали запах смолы, и внизу, в городе, к нему примешивался смолистый

запах терпкого вина, аниса и жареного растительного масла. В греческих кофейнях словоохотливые греки, жестикулируя, пили узо — между прочим, отличное лекарство от расстройства желудка. Перед ними в блюдечках лежали похожие на камешки черные и зеленые оливки. В то же время в турецких кофейнях другие люди с чисто мусульманской отрешенностью курили наргиле, вдыхая охлажденный дым, пропущенный через душистую воду. Официант неспешно наливал в маленькие чашечки из кофейника с длинной ручкой крепкий черный кофе, сладкий, как сироп.

Величественные греческие монахи верхом на ослах поднимались к монастырю Святителя Николая, красные стены которого венчали вершину горы, а по воскресеньям этот способ передвижения не брезговали использовать для своих прогулок пышные греческие матроны, тогда как таинственные под своей чаршафой турецкие дамы, окруженные многочисленным потомством, для поездок по острову брали фиакры.

Маленький Вавилон моей юности, смешение рас и языков, остров Принкипо стал для меня театром, где шел непрерывный спектакль. Вечером пестрое население острова стекалось к пристани, куда причаливали шаркеты, маленькие суденышки, совершавшие челночные рейсы между островами и Константинополем. Там собиралась вся молодежь: греки и турки, английские офицеры со стеками в руках, солдаты в безупречно сшитых мундирах, молодые гречанки с чудесными глазами, но с тяжелыми ногами, молодые русские женщины, умудрявшиеся модно одеваться при своих скромных средствах: они носили длинные белые пиджаки поверх юбки, доходившей до середины икры, тюрбан из джерсовой ткани, а иногда появлялись с черным шелковым чулком на голове вместо ленты и с мужской тростью в руке. Здесь слышались шепот, восклицания и смех, встречались влюбленные, — как будто мир был преисполнен надежд и веселья.

Постепенно в домах, рассеянных по острову, зажигались огни, и в то время, когда я возвращалась домой, в городе оживала ночная жизнь. Какие-то русские ловкачи устраивали тараканьи бега, и на этих «скакунов», которых не надо было специально разводить, заключали пари, делали ставки. Открывал свои двери курзал, там тоже танцевали и пели русские: Вертинский, Мария Кузнецова, Иза Кремер.

Наступала ночь, через открытое окно издалека доносились голоса молодых греков, распевавших «Stoma mestoma, theochelis to mene, ce agapo, ce agapo...», и я уже понимала, что это значит: «Уста к устам, прижми меня к себе, я тебя люблю, я тебя люблю».

Все в нашей жизни казалось временным, и взрослые никак не могли приспособиться к этому состоянию. Заботы моей матери были неведомы мне. Старшие боролись с трудностями, искали выход из создавшегося положения, а дети были предоставлены самим себе. Их можно было встретить повсюду — гурьбой или поодиночке. Они кричали, играли, мечтали и, испытывая нужду, не чувствовали себя во время этих солнечных каникул несчастными. Среди нас не было ни малолетних преступников, ни матерей-одиночек в пятнадцать лет, ни курильщиков

марихуаны, — нам запрещалось курить даже сигареты. Пусть как угодно объясняют это социальное явление: моральными ли устоями, укоренившимися с незапамятных времен, или чистотой детских нравов, свойственных России как царской, так и советской. Я не знаю ответа. Но это было так. Правда, мы не были беспризорниками, бездомными детьми, голодные стаи которых наводняли Россию в эту эпоху.

Постепенно наша жизнь наладилась. В большом отеле «Спленднд» моя мать вместе с другими русскими дамами открыли элегантный чайный салон, доход от него шел в пользу Красного Креста. Моя сестра Наташа, обладающая прекрасным контральто, пела там романсы. Девушки из хороших семей подавали чай и пирожные. Иногда им приходилось выслушивать нескромные вопросы и бестактные предложения. Впрочем, матери были настороже, да и девушки умели постоять за себя. «Барышня, у вас есть возлюбленные?» — спрашивал какой-нибудь грубиян, и «официантка» отвечала: «Вы хотите сказать поклонники? Да, есть, но это хорошо воспитанные люди».

У меня тоже появились поклонники или скорее «верные рыцари». Это прежде всего Коля, — ему шестнадцать лет, он только что прочитал «Яму» Куприна. Коля женоненавистник. «В тебе мне нравится то, что ты не женщина», — говорил он, когда мы входили в воду, чтобы добраться до маленького грота, где мы обнаружили византийскую икону, изображающую Святого Константина и Святую Елену. Что касается Боба, другого рыцаря, то он придерживался противоположного мнения и, провожая меня с пристани домой, пытался поцеловать меня в щеку при свете первых звезд, появлявшихся на еще сиреневом небе. Дима, сын генерала, был просто моим приятелем, ни на что не претендующим, всегда готовым защитить меня от любых неприятностей и потратить со мной те мелкие деньги, которые выдавала ему мать. Нельзя сказать, что у нас не было соблазнов. Так, иногда проходил по улице молодой курд, неся на плечах два подноса с йогуртом из овечьего молока, таким жирным и густым, что его можно было резать ножом. Иногда мы видели безносого старика, продававшего липкую кос-халву, или юношу, кричавшего тонким голосом: «Semit, semit, ékitané bechkrouché...» Он продавал покрытые кунжутным семенем крендельки, а в особенно жаркие дни на улице появлялся продавец воды или лимонада, повторявший одно и то же: «Bir bardas sou».

Большой, но обветшалый красный дом, окруженный одичавшим парком с неухоженными заросшими аллеями, с засохшими и еще зелеными деревьями, был летней резиденцией российского посла в Буюг-Дере на Босфоре. С 1914 года она оставалась незанятой; а в июне 1920-го жена посла госпожа Нератова решила устроить в нем детский дом. В тенистом и всегда влажном дворе, на одеялах, расстеленных прямо на каменных плитах, ползали, плакали, смеялись и кричали пятнадцать детей младенческого возраста. Ими занимались без особого внимания; три пожилые элегантные дамы, то и дело вздыхая, сидя в плетеных креслах и болтая о том о сем, чинили носочки, платьица и штанишки. Их жизнь остано-

вилась во время Октябрьской революции, и единственной темой их разговоров были воспоминания о невозвратном прошлом. Вокруг рыжей собаки вились мухи. Усталая и грустная, она была не в состоянии даже отмахнуться от них хвостом. В комнате второго этажа группа детей от шести до десяти лет писала диктант, и через открытое окно слышался слегка охрипший голос учителя, медленно читавшего текст.

Летний зной навевал дремоту. По ступеням часовни в сопровождении маленького мальчика медленно поднимался отец Владимир. Под шелковицей дремал барон, как всегда в офицерском френче, у него было обрюзгшее усталое лицо бонвивана. Рядом с ним лежала гитара. Из подвала, где находилась кухня, доносился запах капусты, слышался звон посуды, иногда ругань. Это было владение Ракитина, молодого казачьего офицера.

Нас, старших воспитанников, которыми, по правде говоря, никто не занимался, было четверо: Дима, Владимир, Антон и я. Летние каникулы продолжались. Стоя перед построенным нами большим стеклянным террариумом, мы наблюдали за пресмыкающимися. (Нам помог его соорудить тот, кого я в своем романе «Запасной выход» назвала Лукой.) Это был тихий молодой человек, бывший сельский учитель, вступивший добровольцем в Белую армию. Страдая от чахотки, он нашел свой последний приют в детском доме на Босфоре. За стеклом среди камней, песка и мха свивались с шелковистым шорохом ужи всех размеров и цветов. Один из них, желто-зеленый, больше метра в длину, был необычайно красив. Наше увлечение причиняло дамам из детского дома большое огорчение. Можно только восхищаться тем, что они его столь долго терпели.

На самом деле наши случайные воспитатели, подавленные развитием событий, желали только, чтобы их оставили в покое. Наши проблемы их совершенно не интересовали. После того как между нами установился modus vivendi, все стало хорошо. У нас были свои симпатии. Прежде всего к доброму Луке, затем к бойкому Ракитину и к акушерке, превратившейся в санитарку, очень энергичную, по-матерински заботливую и слегка вульгарную, успевающую ставить компрессы из настойки арники, мазать йодом и подтирать ползающих детей. Но все мы не любили барона, которому было поручено давать нам уроки русского языка. Наша юность и чистота внушали нам инстинктивную неприязнь к этому цинику. А взрослые, которых случай собрал в этом детском городке, находились в состоянии меланхолии и апатии, из которого их невозможно было вывести.

Самым живым из них был Ракитин. Мы с ним часто общались, когда дежурили на кухне, где чистили овощи и мыли посуду. Худощавый, некрасивый, но очень подвижный, порывистый молодой человек с веснушчатым лицом и рыжеватыми волосами, он держался с нами, как с равными. Впрочем, ему, как и Луке, было чуть больше двадцати лет. Вечером, в подвале, вытирая посуду, мы вместе пели то «Черных гусар» («Гусар смерти»): «Марш вперед, труба зовет, черные гусары, марш вперед, Россия ждет, поднимайте чары!», то частушки, то популярные куплеты гражданской войны. Их пели в том и в другом лагере с одинаковым увлечением на один и тот же мотив, но с разными словами:

Пароход идет,
А дым-то кольцами,
Будем рыбу кормить
Добровольцами.

Так ее распевали большевики, а добровольцы собирались кормить рыбу коммунистами. Была еще одна душераздирающая песня, широко распространенная на просторах России — «Жалоба цыпленка»:

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Цыпленок тоже хочет жить.
Его поймали, арестовали,
В Чека велели посадить.

После мытья посуды наш повар — казачий офицер — восклицал: «А теперь убирайтесь, марш вперед, черные гусары!», умывался и несколько минут спустя появлялся на пороге подвала, с еще влажными волосами, в чистеньком поношенном кителе, и уходил, насвистывая, в город навестить своих друзей.

Занятия русской историей с Лукой продолжались всего два часа, а весь долгий насыщенный день безраздельно принадлежал нам. В нашем распоряжении был парк и расстилавшиеся за ним поля. Мы не скучали ни минуты, но порой мальчик четырнадцати лет (в моем романе его зовут Антон) вдруг удалялся от наших игр и подолгу молчал, иногда даже в течение двух, трех, четырех дней. В одиночестве он блуждал по парку, взбирался на деревья и сидел там часами. Когда приступ проходил, он присоединялся к нам как ни в чем не бывало. Наши игры были невинными и совсем не походили на те, которые мои собратья по перу из западных стран с таким удовольствием описывают в своих юношеских воспоминаниях. Но и эти игры все же не были лишены опасности и даже порой жестокости: так, посадив скорпиона в центр круга, обведенного пылающим керосином, мы поджидали, чтобы он сам себя укусил, предпочитая самоубийство смерти в огне.

Нас кормили досыта, но нам не хватало по-настоящему вкусных вещей, и мы с Димой мечтали о халве, о сливочном мороженом. Увы, наши карманы были безнадежно пусты, и, желая заработать немного денег — мысль о воровстве нам никогда не приходила в голову, — мы в конце концов открыли необычный источник дохода. Научившись охотиться на безопасных пресмыкающихся — на ужей, например, которых мы носили как живые браслеты на руках и как колье на шее, мы решили промышлять охотой на гадюк, весьма многочисленных в Буюг-Дере.

Аптекарь-грек из Буюг-Дере согласился поставлять нашу добычу в лабораторию, где из зубов гадюки извлекали яд. (В отличие от скорпионов, гадюки не жалят, а кусаются.) Уступив уговорам, наша санитарка снабдила нас хирургическими щипцами, повар дал нам мешки и бутылки, и мы отправились на охоту. На полях, где шуршала сухая трава, а земля растрескалась от жары, мы искали сброшенную гадюками кожу или выслеживали змею на тропинке, где она грелась, а затем быстро ускользала в нору. Мы стояли в засаде, нагнувшись над этим

отверстием, а потом бесшумно выливали туда принесенную в бутылке воду. Задыхаясь, гадюка высовывала головку, и в этот момент, пока земля не всосала влагу, змею надо было схватить короткими щипцами быстрым и точным движением, — столь легким, что в случае удачи хотелось аплодировать собственной ловкости. Тогда мы бросали змею в мешок и тотчас же завязывали его бечевкой. Главное, однако, было в том, чтобы не ошибиться и не поймать вместо гадюки ужа, похожего на нее своей окраской. Это был бы напрасный труд. С первого взгляда нелегко определить, какая голова у пойманной змеи, такая ли, как у гадюки — широкая и плоская. Иначе говоря, действительно ли это гадюка — источник нашего дохода. Эта охота приносила нам довольно мало денег, но гадюк было предостаточно, а наша жажда обогащения — весьма скромной: нам хватало одной-двух лир. Мы выходили из аптеки и бежали в кондитерскую, и там, где лакомились тучные гречанки, мы заказывали мороженое. В этот момент мы чувствовали себя богаче самого Рокфеллера. Но нам пришлось переменить кондитерскую. Дело в том, что однажды мы с Димой забыли избавиться от ужей.

Согревшись, ужи, обвивавшиеся браслетом вокруг наших локтей, соблазнились белизной ванильного мороженого, которое они приняли за молоко, и протянули к вазочкам свои головки с узкими язычками. Одна из дам вскрикнула, другая опрокинула чашку с шоколадом. Началась паника. Напуганный шумом, мой уж выскользнул, упал на пол и уполз под прилавок. Разъярившаяся хозяйка кондитерской хотела выставить нас вон. «Хорошо, — сказал Дима, — но вы должны знать, что здесь змея, и я ни за что не отвечаю, даже полиция не сможет вам помочь». Заикаясь, кондитерша потребовала, чтобы мы ее отыскали. Забившись в угол, клиентки со страхом наблюдали за нашими поисками. Мы звали, свистели. С мороженым, которое он не успел съесть, Дима растянулся на полу и спокойно его доедал под предлогом, что так ему сподручнее обнаружить беглянку. Наконец он нашел ее в картонной коробке, а мы были изгнаны из этой кондитерской.

Конец моего пребывания в Буюг-Дере совпал с трагическим событием. Однажды вечером Ракитин не вернулся. На следующее утро дамы хлопотали на кухне, готовя завтрак, а в доме царило подавленное настроение. Вскоре мы узнали о страшном происшествии. Накануне наш друг Ракитин убил девушку. Ее звали Нике (Победа). Она была гречанка, но родом из России. Я знала ее по Принкипо. Веселая, весьма кокетливая девушка, на два года старше меня. У нее были сестра, брат, несколько поклонников, в том числе и Ракитин. Он хотел на ней жениться, а она не принимала его всерьез. Трудно было представить Нике мертвой. Столь же немыслимым был наш Ракитин, стреляющий в Нике. Как ни странно, но наши дружеские отношения с Ракитиным сгладили ужасное впечатление от его поступка.

Узнав о том, что Ракитин содержится в камере предварительного заключения в тюрьме при консульстве, мы с Димой отправились туда. Во дворе консульства было полно народу — не только штатских, но и

солдат, офицеров, хотя война не кончилась и в Крыму еще шли бои. Чего же ждали эти люди? Иногда какой-нибудь усталый чиновник выходил из консульства, и на него тут же набрасывались посетители, осаждая вопросами. Дима спросил у караульного: «Где здесь тюрьма?», — и тот показал нам два окна второго этажа с новыми решетками. Внизу часовой с винтовкой через плечо. «Мы хотим поговорить с Ракитиным!» — сказал Дима. «Ну что ж, позовите его к окну», — равнодушно ответил тот. Подняв глаза к заключенным, прильнувшим лицом к решеткам, мы закричали: «Ракитин, Ракитин!» Они отодвинулись и пропустили Ракитина. «А, это вы, ребята, — сказал он своим обычным голосом. — Хорошо, что вы пришли! Как там дела дома?» — «Все в порядке, но кормят не так вкусно, как при вас», — вежливо ответил Дима. «Неудивительно, я о вас хорошо заботился!» Его голос и привычное выражение лица сбивали нас с толку. Мы ожидали увидеть лицо убийцы, а это был все тот же Ракитин. «Мы вам принесли табаку!» — «Блестящая идея! Кидайте сюда!» Дима привязал пакет к своему скаутскому жезлу и поднял его к окну. Ракитин схватил: «Спасибо, спасибо! Не беспокойтесь за меня. В тюрьме тоже люди живут, — крикнул он и добавил: —Если бы не вши!» Сожалел ли он о том, что сделал? Думал ли он о Нике? В эту минуту я вспомнила ее треугольное лицо, обрамленное густыми черными волосами с челкой. Вокруг нас толпились люди. «Ну, до свиданья, Ракитин!» — крикнули мы на прощанье и, теснимые со всех сторон, еле выбрались на улицу Пера, а затем поспешили спуститься по лестнице Галаты, чтобы не опоздать на *шаркет*.

Если гадюки Буюг-Дере не причинили мне никакого вреда, то от укусов тамошних комаров я заболела малярией, приступы которой со временем участились. Теперь я подолгу оставалась в постели, обессиленная лихорадкой. Поэтому, как советовали врачи, меня решили отправить как можно скорей назад к матери. Слабость сделала меня безучастной, мне было все равно: уехать, остаться или умереть.

И вновь я с матерью и Наташей, но не на той вилле, где начались годы нашего изгнания, а в другом доме, окруженном садом. Мать стала директором Дома инвалидов войны. Моя сестра Наташа встречалась со своими друзьями и подругами, мне же по состоянию здоровья надо было оставаться дома, и я оказалась в мире взрослых. Большинство из них были ранены, причем физически и морально. С самого утра все, кто мог ходить, устраивались на террасе. Сестра милосердия, очень красивая женщина, выкатывала и ставила рядом с плетеными креслами коляску своего мужа, полковника без обеих ног. Около меня присаживался молодой лейтенант с черной повязкой на левом глазу, а затем и другие раненые. Мы слушали бесконечные рассказы старого казака с запорожскими усами. Как заправский сказитель, он пел или читал нараспев легенды донского фольклора.

Когда же он уходил, волоча свои изуродованные ревматизмом ноги, каждый из нас погружался в свои грустные думы. Я невольно была свидетелем драмы безногого полковника, его красавицы жены и одноглазого

лейтенанта и вынужденно оказалась арбитром их конфликта в турецком, полном цветущих роз, парке, откуда хорошо было видно море. Сгорбившись, в своей коляске полулежал обрубок человека с тяжелой головой, лицом, изборожденным морщинами и опухшими, налитыми кровью глазами. Рядом с ним молодая красивая женщина в белом, с чудесными большими глазами, атласной кожей, и одноглазый лейтенант. Из них троих он один был мне несимпатичен, мне не нравились его слащавый голос и вкрадчивые манеры. Все трое обменивались ничего не значащими словами, но они скрывали накаленные страсти, ненависть и отчаяние, смешанные с жалостью. Я против желания стала свидетелем несчастья этих людей. Каждый привлекал меня на свою сторону: «Если у вас есть хоть капля сострадания, — говорил безногий полковник, — то вы тайком принесете мой револьвер, он спрятан в комнате вашей матери, куда его отнесла моя жена».

Что я могла ему ответить? Что все уладится? Для меня это было немыслимо. Посоветовать ему запастись терпением? Но до какой степени может терпеть человек? Наклонившись к нему со слезами на глазах, я промолвила:

— Но она вас любит.

Его лицо окаменело:

— Меня любить? Никто не может любить безногого мужа, который уже не в состоянии быть мужем. Она меня жалеет, вот и все, а это не одно и то же. К чему мне ее жалость? Она еще молода, а я, как пушечное ядро, обременяю ее жизнь. Она, конечно, будет меня оплакивать, но потом каким облегчением станет для нее моя смерть! И, пристально глядя на меня глазами с тяжелыми веками, добавлял: —Так вы не хотите?

Я ответила, что не могу!

Он с силой ударил кулаком по коляске:

— Ну, хорошо, будьте по крайней мере добры, — отвезите меня домой.

И я покатила его кресло по узкой каменистой дорожке.

Однажды утром, когда я срезала розы и то и дело колола себе пальцы шипами, ко мне осторожно подкрался одноглазый лейтенант.

— Какой прекрасный возраст четырнадцать лет! — проговорил он с оскорбительной усмешкой, уставившись на меня своим единственным глазом. — Какие у вас красивые руки и такое маленькое ушко! Это признак породы...

Он протянул было руку, но я с гневом отпрянула от него. Нисколько не смущаясь, он спросил:

— Я вам не нравлюсь, не так ли?

— Да, и для этого есть много причин.

Лейтенант вздохнул:

— Много причин? Ну, хорошо, поговорим хотя бы об одной из них. Что случилось, то случилось. Мы часто делаем много вещей, не задумываясь о последствиях, повинуясь случаю.

— Может быть, но полковник?

— Да, конечно. Но если вы столь прозорливы и столь чувствительны к тому, что происходит с другими, скажите, что мне делать. Оставить

ее? Не говоря о том, что это трудно, мы ведь живем в одном доме и тогда стало бы двое несчастных.

Я удивляюсь:

— Только двое? А вы, значит, не были бы несчастны?

Кривой пожал плечами:

— Не слишком, — ответил он твердо. — Вы не представляете, как это тяжело — видеть, что женщина разрывается между чувством долга и страстной жаждой жизни. А тут еще ревность... Она даже заметила, что я с удовольствием смотрю на вас и испытываю к вам что-то вроде нежности.

— Мне это не нужно, — воскликнула я с отвращением и, разгневанная, ушла.

Наконец наступила очередь молодой сероглазой женщины. Я помогала ей убирать перевязочную, которую только что покинули раненые, как вдруг она прошептала: «Я больше не могу!» — и села на табурет, положив руки на колени. «Это не жизнь, это не жизнь», — повторяла она одно и то же.

Вокруг ее необыкновенных глаз с длинными ресницами появились круги, две маленькие морщинки залегли в углах ее рта. Ей уже за тридцать, и по сравнению со мной она казалась старой женщиной, однако именно во мне она искала поддержку. «Вы все поняли, не так ли? Нет никакого выхода! Каждая ночь — сплошной кошмар. Он меня умоляет убить его, вернуть ему его револьвер, дать яду, оттуда, — она показала рукой на стеклянный шкаф с лекарствами. — А когда я отказываюсь, он меня заставляет принести ему хотя бы спирту. Затем, опьянев, он засыпает и просыпается снова в таком же отчаяньи. А я не сплю, у меня раскалывается голова, и мне хочется умереть!»

Она пристально взглянула на меня, я попалась в ловушку, влипла в чужую беду.

— Что бы вы сделали на моем месте?

— Он мне не нравится, — ответила я.

Полная горечи улыбка скользнула по ее усталому лицу.

— А вы, напротив, ему нравитесь. Вы, конечно, еще ребенок, но уже близки к тому, чтобы стать женщиной. Да, я знаю, прежде мой муж был другим человеком, не то что этот лейтенант. Поэтому я испытываю к нему привязанность. Мы вместе пережили много всего. Но нет выхода. — Она встает усталая. — Пора его поднимать. Он отдыхал после обеда, пойдемте со мной, я вас прошу, а то он подумает, что я была с Л.

Обрубок человека, лежа на своей постели, ждал, пока его перенесут на коляску. Раньше его жене помогал лейтенант, единственный крепкий мужчина среди больных. Теперь она это делала одна. Подвертывала штанины его пижамы и прикалывала их английскими булавками. Даже половина человека очень тяжела. Я старалась не смотреть на лицо униженного мужчины, в то время как, задыхаясь от усилий, укрывала его отсутствующие ноги солдатским одеялом.

Это жизнь других. Но у меня есть и своя. Из зеркала на меня смотрело лицо, которое я едва узнавала. Я выросла, побледнела, часто плачу без всякого повода. Мне очень трудно жить, так как ничто меня не интересует. Начался фурункулез. Врач, к которому обратились за советом, поставил диагноз: тяжелая форма анемии, и моя мать после многочисленных хлопот добилась, чтобы меня отправили в Константинополь, во французский госпиталь Жанны д'Арк. Как и многие места и люди, связанные с ними, Принкипо с его обитателями исчезли из моей жизни, в то время как другие вошли в нее.

Прежде всего сестры де Вуазен, французские фельдщерицы, возглавлявшие госпиталь Жанны д'Арк. Одна из них Маргерит — молодая светловолосая толстушка, другая — Рене, худощавая брюнетка. Затем русские по происхождению пациенты, люди самого разного возраста, заброшенные случайно волной революции на берега Босфора: на первом этаже разместили мужчин, раненых или больных; женщин — в зале второго этажа; я была самая младшая. Моя кровать стояла возле окна, выходившего в сад; рядом со мной лежала беременная женщина — ее совсем не радовало скорое рождение ребенка; напротив находилась кровать старой дамы с властным характером. Седые букли придают ей сходство с Екатериной II. В углу, за ширмой, умирала от рака г-жа Пеликан, жена бывшего городского головы Одессы, мягкая и покорная судьбе женщина. Перед смертью она выразила желание благословить меня; ее затуманенные от наркотиков и приближающейся смерти глаза произвели на меня тягостное впечатление.

Каждое утро я, стиснув зубы, направлялась в перевязочную. Меня лечили естественным способом. Температура у меня не поднималась выше 35,6; мне делали уколы какодилата и заставляли много есть; первый раз в жизни у меня не было аппетита. Конец августа 1920 года. Я собираюсь подышать воздухом в садике при госпитале в компании младшего лейтенанта двадцати трех лет — ему неудачно ампутировали ногу в полевых условиях, — и барона Бориса Медема, больного туберкулезом. Это красивый молодой человек с мягким характером. У него розовый цвет лица и голубые глаза; я его люблю. Думаю, что и он меня любит, так как, если я хоть день не выхожу в сад, он тут же посылает кого-нибудь осведомиться о моем здоровье. Мы проводим время в павильоне втроем, большей частью молча. Сестры Вуазен, разумеется, неодобрительно смотрят на эту идиллию между юношей, кашляющим кровью, и молодой девушкой слабого здоровья. Но тут они ничего не могут поделать, так как нельзя меня обречь на постоянное пребывание в общей палате и лишить доступа в сад. Вскоре Борис уже не сможет вставать с носилок; он просит ставить их под моим окном. Однажды, когда я бросила ему из окна цветы, которые мне подарила одна больная, мне почудилось, что я бросаю их на его могилу. Ничто не могло меня утешить, хотя Борис меня уверял, что ему лучше и что скоро он встанет. Я не видела, как он умирал, потому что после шести недель усиленного лечения мое здоровье восстановилось, и я выписалась из госпиталя, унося с собой воспоминание о моей первой настоящей любви. Для меня она была не сердечной раной, а бесконечной нежностью, не страстью, а глубоким состраданием.

Энергия моей матери не знала границ. Даже в бедственном положении она не теряла присутствия духа. Так, благодаря ее хлопотам, удалось добиться для Наташи и меня стипендий в американском колледже Арнаут-Кей. Он был удивительным, этот колледж, настоящая Вавилонская башня, где собрались турчанки, гречанки, албанки, болгарки, армянки, сербиянки, ливанки, египтянки, вперемешку с американками и англичанками, чьи родители жили в Турции, — одним словом, настоящее отражение, хотя и в миниатюре, балканского вулкана. Их народы в течение многих веков вели между собой беспощадные войны, сопровождавшиеся массовыми убийствами мирного населения, рассказы о которых навечно сохранились в памяти людей и до сих пор пополняются новыми эпизодами. Этой разноликой вселенной правила доктор Патрик, старая американка ирландского происхождения. Почти все ученицы были богаты, избалованы, часто плохо воспитаны, здесь ничто не напоминало Екатерининский институт, где я начинала учиться четыре года тому назад. Мы не носили формы. Можно было одеваться по последней моде, а кокетство даже поощрялось. К ужину выходили в вечерних туалетах. Его подавали на маленьких столиках, за каждым из них сидел преподаватель. На студенческом стадионе царила мисс Конклин, прекрасная гимнастка. Там можно было ездить верхом и играть в теннис. На всякого рода развлечения приглашались воспитанники колледжа Робертса из находящегося по соседству Бельбека. У многих учениц были отдельные комнаты, обставленные с большой роскошью.

В часовне по очереди совершались богослужения различных религий: христианской, мусульманской и иудейской. Оттуда доносились голоса молящихся. Затем она превращалась в лекционный, театральный или кинозал, где иногда по воскресеньям доктор Патрик читала проповедь, а в будние дни она же прививала своим ученицам правила хорошего тона и изысканные манеры, совсем не те, которым нас обучали в Екатерининском институте наши французские гувернантки, хотя и эти наставления были полезны.

Я никак не могла вжиться ни в атмосферу, ни в социальную среду колледжа, тогда как моя сестра быстро акклиматизировалась и нашла себе подруг — дочь высокопоставленного турецкого сановника маленькую толстушку Фазилет Секаи, с глазами, обведенными черным карандашом, и надменную гречанку Антулу Ангелидис. Жалкие платья, полученные из Красного Креста, сестра украшала лентой, делала на них складки, укорачивала подол, и вот она уже не выделялась среди своих более состоятельных подруг. Мне же было так неприятно чувствовать себя в платьях, которые я не выбирала, что я не стремилась их как-нибудь улучшить. Иногда та или иная из наших преподавательниц дарила нам юбку, жакет или платье, но, надевая их, я всегда испытывала ощущение неловкости, оттого что другие ученицы могли узнать их. Мне еще следовало научиться относиться равнодушно к чужому мнению.

Поскольку я не знала ни слова по-английски, то посещала занятия для начинающих, не испытывая при этом интереса ни к синтаксису, ни к грамматике. Поэтому я была все время погружена то в мечты, то в дремоту. Мое нежелание общаться с внешним миром начинало выра-

жаться в легком заикании, которое все более усиливалось. Я дошла до того, что не могла произнести ни слова: мое горло сжималось, диафрагму сводила судорога, рот кривился. Делая гримасы, я старалась выдавить из себя нужный звук, но с каждым усилием моя беспомощность возрастала. Это ужасно! Напрасно добрая мисс Кеннеди, преподаватель английского языка, жертвуя своим свободным временем, пыталась научить меня технике дыхания и ритму слова; я все больше замыкалась в своем одиночестве, замурованная сама в себе.

Однако мое заикание полностью проходило — от него оставалась лишь короткая заминка в начале каждой фразы — в те дни, когда не было занятий, и я могла отправиться в город в клуб YMCA[1]. Клуб «Маяк», расположенный в доме № 40 по улице Брусе, сохранится надолго в памяти многих посещавших его русских, чья юность прошла в Константинополе, как самое приятное место встреч. Как настоящий семейный очаг. Никакой роскоши, но какая-то особенная атмосфера, заставлявшая забывать о нашем затруднительном положении. Директор «Маяка» мистер Андерсон живет теперь в Соединенных Штатах, но продолжает заниматься делами YMCA. Возможно, он получит удовольствие, читая эти воспоминания о русской привычке к беспорядку, которую он терпел со свойственным ему великодушием, оставаясь всегда невозмутимым, а то и в хорошем настроении.

У меня было четыре товарища, которых прозвали «тремя мушкетерами». Они находились в лучшем положении, чем другие юноши, благодаря знанию английского языка, что позволило им стать курьерами при Генеральном штабе британской армии: Паттон, Усов, Морозов, Задонский. Первый из них уедет в Соединенные Штаты, но я вновь встречу в Париже Диму Усова, который станет одним из самых моих любимых певцов русских ночных кабачков.

А в то время мушкетерам было всего лишь по пятнадцать-шестнадцать лет, они были одеты в британскую военную форму и гораздо лучше обеспечены, чем я. Благодаря знакомству с ними у меня появилась возможность смотреть не только содержательные фильмы. Это была эпоха Пирл Уайт. Сразу после полудня мы входили в жалкий, полупустой зал, естественно, по самым дешевым билетам. Билетерша бесцеремонно сажала нас на первый ряд, перед оркестровой ямой, где бренчала на пианино таперша, какая-нибудь старая седая дама, конечно же, из русских. Показ фильмов — непрерывный, и мы смотрели их часами, до боли в шее, вертя и вытягивая ее, чтобы увидеть на высоко подвешенном экране искаженное, дрожащее изображение. Вот Пирл Уайт, похищенная каким-то негодяем, с кляпом во рту и с задранной юбкой лежит, как ощипанная курица, поперек седла своего похитителя, в то время как из городка с деревянными домиками бросается за ним в погоню, сжав челюсти и положив руку на огромный пистолет, влюбленный шериф. А вот Пирл Уайт с расширенными от ужаса глазами видит, как в ее

[1] Международная организация «Христианский союз молодежи». *(Прим. перев.)*.

комнату проникает богач, которому она оказала сопротивление. (В ту эпоху полагалось, чтобы не поддавались легко на мужские ухаживания.)

«На этот раз она ему уступит! Это точно!» — восклицал возбужденный Задонский. Но Паттон призывает его соблюдать приличия из уважения ко мне. Тем временем Пирл Уайт, снова связанную веревками, бандиты кладут на рельсы железной дороги, и вот она уже видит, с понятной тревогой, приближающийся паровоз, который должен ее раздавить. Но и тут на помощь красавице приходит скачущий во весь опор по дикой равнине, безжалостно пришпоривая своего коня, влюбленный шериф. Одним движением он стаскивает Пирл с железнодорожного полотна в тот самый момент, когда по рельсам вихрем проносится окутанный черными клубами поезд. Фильм, как всегда, кончался долгим поцелуем, свет гас, а потом опять зажигался, но мы и не думали вставать с кресел, готовые дважды или трижды переживать одно и то же великолепное приключение.

Всякий раз, когда мне случалось бывать в Константинополе, я всегда находила время навестить мою мать. Она жила в одном из современных домов в верхней части города, у своей кузины, которую ей удалось разыскать. Кузина служила гувернанткой у одного часто отсутствовавшего американского бизнесмена, который разрешил ей приютить у себя мою мать.

Я сохраняла ту же любовь, которую испытывала к матери с детства, но теперь к этому чувству примешивалась жалость. В сорок девять лет у нее не было седых волос, и она все еще была очень красива. Она не утратила привычку улыбаться, несмотря на многочисленные проблемы, которые ей приходилось решать каждый вечер. Хотя она никогда раньше не работала и не имела никакой профессии, ей, уже немолодой, удавалось находить уроки французского, русского или немецкого языков. Она храбро взялась за работу портнихи, предложенную Красным Крестом, но ее первый опыт оказался столь неудачным, что пришлось отказаться. Ей поручили сшить на машинке уже раскроенные пижамы, и моя мать проявила столько усердия, что соединила даже те части, которые не нужно сшивать. Наконец, один врач, из русских армян, предложил ей ночные дежурства у постели молодой армянки из Турции — у нее помутился разум после армянской резни в 1918 году. Бóльшую часть времени больная находилась в состоянии депрессии, но у нее бывали и приступы буйного помешательства. По моему представлению, эта работа не особенно подходила женщине, которая только что сама избежала тюрьмы, а может быть, и смерти.

Я снова возвращалась в свой колледж, к его комфорту и моему заиканию, в читальный зал, где проводила долгие часы и забывала короткие, но тягостные занятия. Я просматривала лежащие на столах журналы, особенно рекламные объявления, заставлявшие меня мечтать о красивых домах, обставленных красивой мебелью, о роскошных меховых манто, о колье из сапфиров и бриллиантов; затем, отбросив тоску по роскошной жизни, я искала книги по географии, истории, иногда по

мифологии и философии. Так мне попались «Великие посвященные» Эдуарда Шюре и «Откровение в грозе и буре» русского революционера Н. Морозова, который написал свой труд в Шлиссельбургской крепости. В нем он комментировал Апокалипсис с точки зрения атеиста.

Заикающаяся, плохо одетая, униженная, я была морально готова к бунту, а также к тому, чтобы придавать чрезмерное значение собственной персоне. То, что Христос был лишь обыкновенным человеком, приобщенным к святым таинствам, что легенда о конце мира — просто выдумка старика, который слишком много смотрел на облака, мне весьма понравилось. Это открытие, как я думала, давало мне преимущество над людьми, верившими во всякие бредни. Таким образом, без внутреннего спора с самой собой, торжествуя от обретенной независимости духа, я вступила в короткий период атеизма. Он не был воинствующим, но наполнял меня глупой самоуверенностью. С тех пор, все еще помня о своей нелепой гордыне, соединенной с патетическим невежеством, я воспринимаю атеизм только как отсутствие здравого смысла и как следствие затянувшегося инфантилизма.

Отход от Бога — помрачение ума — был кратковременным. Я, конечно, снова обрела веру, что не было вызвано каким-то поражающим воображение событием или какой-то внезапно ниспосланной мне благодатью. Просто я благодаря свойственному мне темпераменту как бы ухватилась за спасательный круг и оказалась на плоту. В обезумевшей вселенной я опять держалась за единственную мудрость, единственную моральную ценность, которую признавала. Не понимая ясно ее значения, я чувствовала, что жизнь была для меня терпимой и достойной любви лишь потому, что она была чем-то непрочным, над ней всегда тяготела угроза. С другой стороны, не потому ли мы в состоянии перенести смерть, эту постоянную опасность, которая угрожает жизни и одновременно придает ей ценность, что мы бессмертны? Без бессмертия, без веры в Бога ничто не имело бы никакого смысла. Ну а я отказывалась принимать абсурд.

То была эпоха разгрома, полного крушения вооруженного сопротивления в России. Франция ей помогала слабо, но она все же поддержала Врангеля в его последнем усилии повернуть вспять необратимый ход событий. Великобритания, враждебно относившаяся к продолжению борьбы против коммунистов, не признавала авторитет генерала Врангеля и даже отказалась участвовать в эвакуации защитников из Крыма.

В первые дни ноября 1920 года сто двадцать шесть кораблей взяли на борт на Южном берегу Крыма последних борцов за Российскую империю. России больше не существовало. От Российской империи осталась только одна республика среди других — РСФСР.

Обычно всякая эвакуация происходит в большом беспорядке. Но эвакуация Добровольческой армии под руководством генерала Врангеля была организована почти совершенно. Несмотря на поражение, в ней

чувствовалось и величие. Врангель последним покинул родную землю. А в современной истории не найдешь военачальника, который бы не шел впереди отступающих войск. В Крыму никого не оставили, за исключением тех, кому не повезло, кто не оказался на берегу в момент посадки на корабли первого ноября из Севастополя, второго из Ялты и третьего из Феодосии. Последние гражданские лица и военные погрузились на все имевшиеся в их распоряжении суда. Разношерстная флотилия, состоявшая из военных кораблей под андреевским флагом и торговых судов под трехцветным российским, пустилась в путь по направлению к Константинополю.

Генерал Врангель лично объехал все порты, где еще шла погрузка, чтобы проследить за эвакуацией, и только удостоверившись, что были приняты все меры для спасения людей, судьба которых зависела от него, он занял свое место на борту старого крейсера «Корнилов», бросившего якорь в Константинополе, когда все другие корабли уже стояли на рейде этого города. Последнее заявление белого генерала не было ложью. «Чтобы выполнить наш долг перед армией и гражданским населением, мы сделали все, что только в человеческих силах».

Из ста сорока или ста пятидесяти тысяч эвакуированных за этот период семьдесят тысяч человек входили в состав тех воинских частей, которые безо всякой надежды на спасение, зная, что их дело проиграно, задержали продвижение коммунистов в Крым и дали возможность вывезти гражданское население и раненых. Позже мне удалось расспросить некоторых свидетелей столь необыкновенной эвакуации. Они мне подтвердили, что личная храбрость и благородство поведения Врангеля непроизвольно вызывали шумные приветствия всюду, где он появлялся. Его так встречали побежденные, которых впереди ждали неуверенность в будущем и нищета, но которые знали, что главнокомандующий их не покинул в самый трудный момент. Корабли оказались так перегружены[1], что на палубе некоторых из них невозможно было ни лежать, ни сидеть. Люди стояли плечом к плечу. Случалось иногда, что пассажиры, заснув или ослабев от усталости, падали в воду, но моряки с военных кораблей их тотчас вылавливали.

Это была война без мира и перемирия. Добровольческая армия не сдалась. Просто часть России на своей плавающей территории отправилась в неизвестность.

---

[1] В официальных данных на 1921 год приводятся следующие цифры: Польша приняла 400 000 беженцев, Турция — 90 000, Франция — 65 000, Германия — 300 000, Югославия — 35 000, Финляндия — 25 000, Эстония — 20 000, Латвия — 15 000, Италия — 15 000, Болгария — 9 000, Румыния — 8 000, Африка — 7 000, Чехословакия — 5 000, Венгрия — 5 000 и т. д.

На первое марта насчитывалось более миллиона русских беженцев, но на самом деле Ж. Аронсон приводит в своей статье (см. стр. 268 — *перев.*) цифру, вдвое бóльшую, так как беженцы из России были еще в Японии, Китае, Соединенных Штатах и в Латинской Америке... Десять лет спустя произойдет перегруппировка беженцев, и тогда большинство их примет Франция. (*Прим. автора*).

И вот уже вся флотилия стоит на рейде Константинополя — города, на ворота которого в IX веке киевский князь Олег прибил свой щит и который в течение многих поколений тревожил сны всех русских... В 1920 году русские туда вступили безоружными. Пятнадцатого ноября все закончилось, и на всех фронтах Белой армии сопротивление прекратилось. Из Крыма русские хлынули в Турцию, а оттуда растеклись по славянским странам: Сербии, Болгарии, Чехословакии, а также по странам Западной Европы. Солдаты и офицеры армии адмирала Колчака и гражданские лица, которые при ней состояли, все дальше уходили на Дальний Восток. Остановившись на берегах Желтого моря и Тихого океана, они наконец обосновались в Японии и Китае. Остатки Северной армии под командованием генерала Миллера (который был так легко похищен советскими секретными службами в Париже накануне последней войны) оказались в Норвегии, а оттуда кому-то удалось перебраться к русским, обосновавшимся во Франции, в Германии, в Англии... Части Западного фронта под командованием генерала Юденича отступили в Эстонию, где были интернированы и направлены на лесоповал, тяжелейшую работу. Позднее некоторые из них стали гражданами этой страны, членами ее русского меньшинства, другие отправились искать счастья без надежды на успех в иные страны. Но нигде, кроме Константинополя, остатки русской армии не были в таком единстве. Босфор и Мраморное море стали в действительности плавучей Россией.

В то время как по приказу Льва Троцкого венгр Бела Кун «очищал» оставленный Белой армией Крым, расстреляв более пятнадцати тысяч военных и штатских (кое-кто из них поверил в амнистию), несчастная плавучая Россия, чьей судьбой распоряжался Врангель, стала постоянным источником недоумения и расстройства для союзников, и прежде всего для французов, целиком взявших на себя ответственность за ее судьбу. В силу ряда обстоятельств французы оказались в Константинополе в положении приемной матери с очень трудным ребенком на руках. Совершенно естественно, что они хотели бы как можно скорее избавиться от него, не испытывая угрызений совести. Политика не ориентируется на совестливость, все это знают. Следовательно, не нужно удивляться, что русские военные, эвакуированные в Константинополь, довольно долго хранили неприязнь по отношению к французам, о чем свидетельствуют все авторы мемуаров и романов, описывающие ту эпоху.

На генерала Врангеля было оказано давление. Ему предложили удобную и обеспеченную жизнь в одной из европейских стран в том случае, если он сложит с себя командование армией. Врангель отказался от такого решения.

Белая армия по преимуществу сохраняла верность своему главнокомандующему. Так, в Галлиполи, на Лемносе и в Бизерте, куда были эвакуированы моряки, они сами должны были благоустраивать свой лагерь, для которого им отвели гиблое место, но солдаты и офицеры, умирая от малярии и дизентерии, страдая от цинги, продолжали верить, что Врангель решит их судьбу.

В Галлиполи, этом странном месте, строго, пунктуально и самоотверженно правил генерал Кутепов, которого турки называли Кутеп-паша. Он поставил перед собой задачу вернуть тысячам деморализованных людей чувство собственного достоинства. Над Галлиполи реял российский флаг, а вскоре, 16 июля 1921 года, посреди унылой площади этого городка был воздвигнут и памятник, каждый камень которого был принесен вынужденно проживавшими там русскими: начиная от воспитанников детского сада и кончая командиром бригады.

Но меня в этот момент нет в Галлиполи, и я даже не знаю, что там находится мой двоюродный брат Алексей. Перед моими глазами на рейде в Константинополе стоит армада разнородных судов. Гражданским пассажирам, за редким исключением, запрещено сходить на берег. В течение многих дней они продолжают там оставаться в полной неизвестности, ожидая, что с ними будет. Затем, после заключения соглашения, одно за другим перегруженные суда увозят человеческий груз в Сплит или Варну. На кораблях не хватает продовольствия, так как ничего не было предусмотрено для длительного пребывания.

В Константинополе различные благотворительные организации не остаются безучастными. Начинают свою деятельность международный и российский Красный Крест. Этот последний возлагает на русских скаутов снабжение кораблей хлебом, мальчики на маленьких лодках подходят к транспортным судам и бросают в руки пассажиров караваи хлеба.

Что касается меня, то я сопровождаю больных и раненых, которых высаживают в Константинополе. Русское посольство в Пере и помещение консульства напоминают Двор Чудес. Залы посольства, в которых я работаю, переполнены, и поэтому раненых размещают прямо во дворе.

Они там лежат без матрацев, без носилок, мужчины и юноши в шинелях и куртках, пропитанных резким запахом пота, запекшейся крови и испражнений. Одни молчат, разбитые усталостью, другие бредят, третьи ругаются и плачут от ярости и бессилия. Многие цепляются за жизнь, просят пить. Одна и та же кружка, которую я, бегая, наполняю, переходит из рук в руки; профилактика заболеваний — понятие мирного времени. Измученные сестры милосердия мечутся от одного больного к другому, стараясь оказать всем помощь, но не хватает ни врачей, ни медсестер, ни санитаров, ни перевязочного материала, ни лекарств. Лица умерших прикрывают шинелями. На камнях двора засыхают коричневые лужицы крови. Рядом с ранеными лежат больные тифом, холерой или просто истощенные, контуженные, люди, находящиеся в шоковом состоянии, в полной прострации. Время от времени французские кареты «скорой помощи» приезжают за заразными больными, чтобы отвезти их в госпиталь. Но никто из них не хочет ехать в «чужие» больницы. Один солдат цепляется за меня и шепчет: «Ничего не говорите, ничего не говорите!» Я ничего не говорю. В конце концов эти люди с самого Крыма ехали вместе.

Таков Константинополь — первый этап изгнания. Мы пока еще только беженцы, а не эмигранты. Вшивые, изнуренные, смертельно уставшие русские, у которых украли победу, оккупируют град Константина Великого.

Впрочем, лучшими друзьями побежденных русских оказываются турки, тоже побежденные. Под покровом ночи с кораблей, стоящих на рейде, бегут пассажиры, те, которым союзники запретили сходить на берег в Константинополе. Эти ночные перевозки приносят туркам много денег, хотя их оплачивают царскими рублями или рублями гражданской войны. Иногда расплачиваются оружием. По дороге к берегу в каике, тихо скользящем по воде, перевозчики вербуют русских в армию Кемаля, действия которой становятся все более активными.

Большинство русских, эвакуированных в Константинополь, станут потом тепло вспоминать турок. Не будучи хозяевами у себя дома и ненавидя, как это положено, оккупационные войска держав-победительниц, русские — извечные враги турок — вдруг становятся их друзьями и даже сообщниками, поскольку они тоже полностью зависят от союзников. Курьезно, но факт — у нас есть и преимущества над оккупационными войсками. Сан-Стефанский договор 1878 года предоставил русским некоторые сохранившиеся до тех дней, несмотря на дальнейшие события, привилегии. Так, русские военные, а также все русские, носящие военную форму, сестры милосердия и даже скауты имеют право бесплатного проезда в трамвае. Они также могут бесплатно проходить по мосту, который соединяет Галату со Стамбулом, у входа на который полицейские обязывают греков, турок и даже союзников платить одну или две монеты пошлины, тогда как русским достаточно сказать слово «рус».

Восточная толпа, пестрота обстановки, анархия и непредсказуемость ситуаций, а также их драматический ритм никогда не создавали у меня впечатления, что я — в изгнании. Беспорядок продолжался, как во время гражданской войны, мир все еще оставался непрочным, а сам «спектакль жизни» был по-прежнему удивительным.

Вооружившись шляпной булавкой, я поднимаюсь на фуникулере, который возит пассажиров из Галаты в Перу. Это необычное оружие мне необходимо во время поездок в богатые кварталы города, так как восточные мужчины, которые сжимают меня со всех сторон, очень предприимчивы, особенно вблизи конечной станции. Чаще всего, чтобы сберечь свои деньги, я стараюсь не ездить на фуникулере, а поднимаюсь пешком по большой лестнице, превратившейся в подобие блошиного рынка. По обе стороны лестницы среди турецких и греческих торговцев появляются вновь прибывшие из Крымской армии, предлагающие медали и военные кресты, мелкие и крупные драгоценности, пишущие машинки с русским шрифтом, потрепанные бумажники, солдатские ботинки, выданные англичанами. И более осторожно — оружие. Один из таких продавцов случайных вещей осмеливается даже предложить машинку для печатания «настоящих фальшивых бумажных денег» — единственную, вероятно, вещь, которую он, с риском для жизни, сумел захватить, покидая свою родину, хотя там за грабеж расстреливают. На лестнице

Перы меняют деньги всех стран мира: банкноты, золотые и серебряные монеты, доллары, английские фунты, франки, динары, лиры, пиастры и — признак оптимизма — различные деньги уже не существующей царской России. Любопытный факт: чтобы дать сдачу, можно, за неимением мелкой монеты, просто разрезать пополам купюру в одну или пять лир, причем каждая ее половина сохраняет свое денежное достоинство.

Толпа поднималась и спускалась по этой знаменитой лестнице подобно дредноутам, рассекающим волны. Турецкие и курдские носильщики огромного роста и недюжинной силы таскали на своей спине чрезмерно тяжелые грузы: большой сундук прошлого века, весь окованный железом, или даже пианино, как будто бы для того чтобы доказать справедливость поговорки «силен, как турок». А дальше, наверху, в сверкании огней рекламы открывался перед моим взором возбужденный, как в лихорадке, мир Перы. В витринах магазинов выставлялась хвастливая роскошь. Автомобили, напоминавшие катафалки, медленно скользили по мостовой, и величественные швейцары гостиниц «Токталян» или «Пера Палас» почтительно открывали двери, куда устремлялись безупречно одетые офицеры союзнических армий, богатые турки и греки с напомаженными волосами, русские спекулянты со своими ослепительными подругами.

Я иногда задерживалась перед витриной булочной или кондитерской, поглядывая с тоской на шоколадные конфеты или пирожные, но блеск «Перы» меня шокировал, хотя мне трудно было бы объяснить почему, и я старалась как можно быстрее пройти мимо. У дверей ресторанов, ночных кафе и гостиниц к богатым и сильным мира сего протягивали руки лишенные всего нищие.

Быстро забываются только страдания других. И я тоже быстро забывала подобные встречи, пробегая вместе со своими друзьями по закоулкам Большого Базара. Надев бабуши или разувшись, если это требовалось, мы прогуливались по огромной мечети Айя-София. Я разглядывала отпечатки пяти пальцев руки, которые оставил очень высоко на одной из колонн завоеватель, взобравшись на груду тел убитых христиан. Я знала и легенду, повествующую, что «в тот день, когда мечеть снова станет христианским храмом, из одной из колонн выйдет священник, неся в руках чашу со святыми дарами, спрятанную им, чтобы уберечь ее от святотатства захвативших Айя-Софию турок».

Трудно поверить, но и в то время, как будто ничего не случилось, в Константинополе проводились экскурсии для беженцев по местам археологических раскопок; один русский ученый муж, окруженный толпой любопытных, рассказывал нам о колесницах на ипподроме Септимия Севера в 200 году до Рождества Христова или об исчезновении изображения Константина с порфирной колонны, носящей его имя.

Константинополь, пока не стал Стамбулом, сохранял еще пыль веков. Археологические прогулки как бы соединяли в нашем сознании воспоминание о беспорядках и трагедиях в Византии с трагедиями, пережитыми нами. Тысячелетия пожимали друг другу руку, а насилие, ненависть, порок, страдание, надежда и отчаяние прошлого, настоящего

и будущего как бы сливались в единый поток. Как и во времена Теодоры, среди бела дня в одном из кварталов Галаты совершенно обнаженная женщина вышла из грязного дома и спокойно перешла улицу. Но вместо византийца на страже порядка стоял невозмутимый сержант британской армии.

Между этим странным и унылым миром, где я обретала дар речи, и колледжем с его западным комфортом, где я его вновь теряла, дни текли своей чередой, полные бурных событий, и теперь я с удивлением отмечаю, что мое пребывание в Турции длилось немногим более двух лет.

С тех пор я знаю, что воображаемое имеет больше власти над человеком и труднее им переносится, чем реальные события. Бедность и нищета кажутся в некотором роде более ужасными, когда о них идет речь в условиях обеспеченного существования или роскоши. Когда же сам попадаешь в такое положение, то уже нет времени для размышлений о своем несчастье, поскольку нужно вести с ним постоянную борьбу.

В самом тяжелом, бедственном положении у человека упорно теплится надежда на чудо, на внезапную перемену к лучшему. Действительно, перемена наступает, хотя чудо совсем не то, которого ожидали. Неизвестно откуда нахлынувшая волна хрупкого мимолетного счастья захлестывает вас, как мгновенная улыбка, как дуновение ветра, качающего ветви деревьев, как плывущее облако, которое приводит вас в восхищение.

Если бы пять лет тому назад всем этим случайным обитателям Турции сказали, что они будут жить вдали от родины, без поддержки своей страны, без денег, в полной зависимости от иностранных правительств и милосердия чужих людей, они, вероятно, воскликнули бы: «Нет, лучше умереть!» Однако они продолжали жить в том же бедственном положении, не думая о смерти и часто даже забывая о том, как велико их несчастье.

Тэффи, очень остроумная писательница-эмигрантка, рассказывала мне в Париже историю, которая произошла в Константинополе, в сыром подвале одного дома в Галате, где она играла в бридж с пригласившим ее в гости генералом Х., бывшим губернатором одной из провинций Российской империи, и неким высокопоставленным чиновником. За чаем разговор случайно коснулся пьесы Горького «На дне», которую каждый из игроков видел когда-то в России, и все наперебой возмущались. «Невозможно себе представить столь нищенское существование!» — заметил бывший губернатор. «Да, это ужасно! — горячо поддержал его генерал. — Эти жалкие люди, отбросы общества, этот опустившийся барон! Вот уж жизнь безо всякой надежды на будущее, бесконечная бедность!» И тут внезапно то ли сама госпожа Тэффи, то ли кто-либо из троих мужчин осознали гротескность своего положения. Все присутствовавшие находились в подвале чужого дома, были еще более несчастными, чем герои Горького, потому что лишились своей родины, но при этом выражали сочувствие вымышленным персонажам, забывая о том, что сами они тоже оказались «на дне»...

Вспоминаются стамбульские подвалы, комнаты с клопами, иногда даже клетушки в публичных домах, служивших фаланстерами для военных или семей с неустойчивым заработком. Одни работают грузчиками, другие продают то, что сумели увезти, третьи наживаются на азартных играх, четвертые изобретают самые нелепые способы выпутаться из затруднительного положения. Например, узнав, что человеку, спасшему утопающего, выдается денежное вознаграждение, несколько приятелей нарочно топят, а затем вытаскивают из воды друг друга, специально организовывая эффектные инсценировки спасательных операций. А жизнь идет своим чередом.

В консульствах всех государств мира выстраиваются длинные очереди русских в поисках страны, где они могли бы обосноваться. Один аргументирует эту просьбу своим польским происхождением, иногда, впрочем, весьма сомнительным, чтобы уехать в Польшу, ставшую независимой; другие, у кого есть родственники или имущество в какой-нибудь прибалтийской стране, становятся эстонцами, латышами или литовцами. В русских учреждениях всегда толпится много людей в надежде получить известия о своих родственниках.

Бывают забавные истории, как, например, встреча на толкучке в Пере с двоюродным братом моего отца, князем Дмитрием Алексеевичем Трубецким, известным в нашей семье шалопаем и в то же время, как это часто бывает, самым очаровательным и самым веселым из моих родственников. Когда-то ему приходилось спасаться от своих отчаявшихся кредиторов в нашем имении Матово, и моя мать иногда его выручала, оказывая ему финансовую помощь в особенно трудных случаях.

На улице Перы дядя Дмитрий выглядит преуспевающим. Мы целуемся и болтаем о том, о сем.

— Ну а ты что здесь делаешь? — спрашивает моя мать.

— Все очень просто, ты себе даже не представляешь. Я официальный претендент на литовский трон.

— Не может быть!

— Не очень-то любезно с твоей стороны выражать такое удивление. Нет ничего более естественного. Молодые прибалтийские государства еще не высказались окончательно за ту или иную форму политического строя. В Литве некоторые считают, что маленькое королевство выглядит лучше, чем маленькая республика. Поскольку Трубецкие являются потомками князя Гедеминаса Литовского, то вспомнили обо мне.

Дядя увлекает мать дальше.

— Ах, ты не хочешь верить, так вот тебе доказательство.

На одном из домов медная доска с надписью «Посольство (или Консульство) Литвы». Дядя Митя приглашает мою мать туда войти. Их почтительно приветствует секретарь. Слегка ошеломленная, она тем не менее сидит в кабинете претендента...

— Что я могу для тебя сделать, дорогая Анна? Ты всегда была добра и щедра ко мне. Мне доставит удовольствие быть тебе чем-нибудь полезным. У меня, увы, нет денег. Мне их выдают понемногу и для того только, чтобы я мог играть свою роль. Но, впрочем, почему бы

мне не предоставить тебе литовское гражданство. Кто знает, может, оно тебе окажет бо́льшую услугу, чем твой царский паспорт.

— Хорошо, если тебе угодно, — говорит моя мать. Дядя Митя звонит секретарю. — Выдайте, пожалуйста, моей кузине литовский паспорт!

Моя мать сообщает свои данные; и четверть часа спустя у нее на руках запасное удостоверение личности.

Но случались драматические встречи на той же самой улице Перы, по которой поднимается и спускается странствующая Россия. Другой двоюродный брат моего отца, граф Игорь Уваров, последний раз виделся с моей матерью в 1916 году в Петербурге. Родственники вновь встречаются и разговаривают, как в гостиной. Уваровы решили просить визу в Болгарию, а мать хотела бы уехать во Францию. Они дают друг другу советы, обмениваются полезными сведениями. Затем, прежде чем попрощаться, дядя Игорь говорит, вздыхая: «Бедный Алексей!», и моя мать с беспокойством спрашивает: «Почему бедный?» — «Извините меня, Анна, я думал, вам известно, что Алексей погиб в 1918 году под Москвой».

Вот так моя мать узнала, что она овдовела. В этот день я была с ней, эта новость сразила и меня. Я мало знала своего отца, его смерть ничего не меняла в моей жизни, но это горестное известие нанесло мне глубокую рану.

В связи с последними событиями — эвакуацией Крыма — квота русских учениц в колледже увеличилась. Доктор Патрик принимает в колледж несколько молодых девушек старше нас, бывших сестер милосердия Добровольческой армии, в качестве студенток медицинского факультета. К ним прибавляются также другие девушки нашего возраста: одна армянка из России, две черкешенки-мусульманки, две прибалтийские баронессы, четыре грузинки. Среди грузинок — княжна Элисо Дадиани, сестра которой выйдет во Франции замуж за князя Амилавари, выпускника Сен-Сирского военного училища, офицера Иностранного легиона, и две сестры Мдивани, из семьи, давшей много пищи для сплетен в светской хронике. Старшая — Нина, пышная брюнетка, красавица на восточный манер: ее легко можно было бы себе представить в каком-нибудь гареме, так как она ленива и предпочитает малоподвижный образ жизни. Младшая, Русадан — стройная блондинка, гибкая и живая. Их братья первыми среди русских беженцев осознали, что выгоднее покинуть Старую Европу и ринуться в Новый Свет на завоевание богатых наследниц. Все они, дети российского генерала, обладали шармом и амбицией светских Растиньяков, все они удачно устроили свою жизнь. Братья женились на кинозвездах — Поле Негри, Мэй Мюрей, и на богатых наследницах, например, на Барбаре Хьютон. Комментарии излишни. Русадан, которую приютили испано-французский скульптор Жозе Серт и его жена Мисся, вынудила ее развестись с мужем, чтобы

самой выйти за него замуж. Наконец, Нина, игравшая роль импресарио в этой неугомонной семье, пристроив всех своих, вышла замуж за сына Конан Дойла.

Однако смерть рано унесла большинство членов столь процветавшей семьи. Два брата погибли еще в молодом возрасте: один — играя в поло, другой — в автомобильной катастрофе. Русадан умерла, едва достигнув тридцати лет. Любопытно, что из всех русских учениц американского колледжа только они, рано ушедшие из жизни, достигли такого богатства.

Судьба проявляет свои капризы во всем. Если одни сестры милосердия стали студентками медицинского факультета, то другие смогли найти себе только место посудомойки на кухне. Садовники и конюхи колледжа оказались тоже русскими. Наблюдение за русским персоналом колледжа поручили генералу Максимовичу, бравому толстяку, жена его преподавала музыку, сын служил конюхом, одна дочь была студенткой медицинского факультета, а другая училась в одном классе со мной.

За трагедией семьи Мдивани, эдаких плейбоев двадцатых годов, последовала не менее трагическая судьба семьи Максимовичей. Но это случилось уже в сороковые годы. Максимовичи, малороссийского происхождения, были рьяными монархистами и националистами. Я их потеряла из виду. Перед второй мировой войной младшая дочь вышла замуж за консула Соединенных Штатов. Позднее ее сестра, ставшая во Франции врачом-психиатром, вступила в одну из организаций движения Сопротивления и погибла в концентрационном лагере. Ее брат Василий, профессор математики в Париже, тоже вступил в ряды Сопротивления и был расстрелян за несколько недель до освобождения Парижа. Но до этой войны нас отделяют двадцать лет...

Что делают русские, когда их достаточно много, чтобы организовать хор? Они, естественно, поют. На сцене часовни ученицы колледжа и конюхи поют русские и малороссийские песни под руководством генерала Максимовича. Звездой женского состава становится моя сестра Наташа, у нее прекрасный голос, контральто, и очаровательное лицо.

Проходят недели. В колледже я по-прежнему чувствую себя мертвым грузом. Продолжаю заикаться и — поскольку не могу сосредоточиться — не делаю никаких успехов. Растительная жизнь, которую я веду в колледже, меняется только вне стен его. По воскресеньям я занимаюсь с детьми из приюта секты меннонитов. Он помещается в перенаселенном доме без сада, где грустные маленькие дети ждут, чтобы я их повела гулять. Детьми также занимается юноша моего возраста, худой и бледный, с тонкими чертами лица. Его зовут Анатоль фон Штайгер. В 1930 году мы будем встречаться с ним в Париже на собраниях русских поэтов. Во время войны он стал швейцарским журна-

листом и получил гражданство этой страны. Благодаря его письмам я буду получать в Лондоне известия о моей матери.

Я работаю, насколько позволяет время, и в диспансере «Маяка». Им руководит доктор Мария Васильевна — весьма пожилая субтильная женщина. В молодости она, как и многие девушки из обеспеченных семей, «пошла в народ». Некоторые из них стали врачами, учительницами, другие — террористками, бросавшими бомбы в царей и министров.

Все утро Мария Васильевна принимает непрерывный поток посетителей. Мужчины и женщины, дети и старики проходят по очереди в маленькую комнату, где она священнодействует. Я очищаю раны, перевязываю, дезинфицирую инструменты, делаю уколы. Случается, что Мария Васильевна выставляет меня из комнаты после таинственного шушуканья с какой-нибудь измученной женщиной, которая плачет, умоляя спасти ее. Иногда плачет не женщина, а красивая, хорошо одетая девушка. Я стерилизую гинекологические инструменты, а затем исчезаю, в то время как Мария Васильевна с недовольным видом говорит пациентке ворчливым тоном: «Ну, я посмотрю, что могу сделать».

Я стараюсь воспользоваться возникшей передышкой для прогулки в парке «Маяка», зная, что из подвала, где находится кухня, за мной следит помощник повара Вадим. Это застенчивый молодой человек, бывший солдат Белой армии, лет семнадцати — возраста «трех мушкетеров», — но он принадлежит к другой среде. Таким образом, даже в эмиграции, в новой ситуации, начинают проявляться социальные различия.

Я неплохо отношусь к Вадиму, но, к сожалению, не знаю, что делать с его преданной любовью, она меня стесняет.

Я вступила в возраст любви, когда чувство само по себе важнее, так сказать, предмета. Поэтому в течение одного месяца у меня было несколько увлечений или скорее пылких, но мимолетных мечтаний. Так, например, на концерте в «Маяке» я пленилась весьма потрепанным тенором лет сорока, исполнявшим арию Ленского из «Евгения Онегина». Во время выступления он бросал на меня пламенные взгляды, приоткрывая в улыбке рот с испорченными зубами. Затем, всего одну неделю, я увлекалась молодым татарином Садеком, офицером Дикой дивизии, с бледным лицом и в ослепительной черкеске. А потом, всего несколько воскресных дней, я интересовалась молодым, но уже женатым мужчиной с круглой головой и поблекшими глазами, который совал мне в руки посвященные мне стихи. Меня особенно волнует акростих, в котором первая строка начинается на букву «З»: Звезда, а последняя — на конечную букву моего имени. Мои увлечения кончаются столь быстро, что, помимо моей воли, я не страдаю от несчастной любви. Хотя я еще очень молода, но принадлежу к числу несносных женщин, никогда не теряющих головы в момент самого пылкого сердечного увлечения. Мои поклонники мне кажутся смешными, и только бедный Вадим, к которому я равнодушна, избегает критики: я переадресую ее самой себе.

Наступает осень 1921 года. Отношения между генералом Врангелем и французским командованием улучшились. Врангель пользуется чем-то

вроде права экстерриториальности. Он и его жена живут на яхте «Лукулл», на которой когда-то совершали свои морские прогулки послы Российской империи при дворе турецкого султана. Это как бы кусок русской земли или по крайней мере ее символ. Случайно или по интуиции я часто оказываюсь на месте, где в этот момент должно произойти что-нибудь интересное. Так, однажды я оказалась на берегу Босфора, как обычно, широко раскрыв глаза и навострив уши, и вдруг вижу, что прохожие увлечены каким-то зрелищем, значение которого я не сразу понимаю. По Босфору со стороны Черного моря на всех парах несется итальянское судно «Адрия», возвращающееся, как я узнала позже, из Советской России. Погода прекрасная. Само по себе прибытие корабля не вызывает удивления, однако зеваки глядят на него с беспокойством, поскольку он резко меняет курс и, не замедляя хода, мчится прямо к яхте «Лукулл». Вероятность столкновения столь велика, что лодочники с каиков, до этого момента беззаботно качавшихся вдоль прибрежья, вдруг лихорадочно отвязывают их и плывут к «Лукуллу». Тем временем «Адрия» решительно направляется к яхте Врангеля. Она врезается в нее со всего размаха, тараня ту ее часть, где находится каюта генерала. Слышится страшный грохот покореженного железа и треск разломанного дерева.

Свидетели столь странного происшествия хорошо видели и то, что итальянское судно, не пытаясь оказать помощь экипажу пробитой яхты, спокойно продолжало путь, тогда как турки подбирали на свои каики сброшенных в воду офицеров и моряков «Лукулла». Именно быстрота помощи, оказанной турками, поспешившими к месту происшествия, предвидя неизбежность аварии, позволила спасти весь экипаж, за исключением трех офицеров, в том числе и молодого вахтенного офицера, отказавшегося покинуть яхту. Что касается Врангеля и его жены, то они в этот момент находились в Константинополе, чего никто не мог предвидеть.

То, что по версии французского командования было просто аварией, русские историки истолковали как неудавшееся покушение.

Откуда я возвращалась, чтобы оказаться в первых рядах среди зрителей, увидевших гибель несчастного «Лукулла»? В то лето, охваченная похвальной жаждой знаний, я записалась в Константинопольский русский лицей. И не я одна. Необычайные настроения овладели русской молодежью и даже не очень молодыми русскими беженцами — все хотели получить образование. Это объясняется двумя причинами: чехословацкое правительство заявило, что оно готово принять русских лицеистов, студентов и преподавателей, предоставляя одним стипендии для продолжения учебы, а другим — места на университетских кафедрах. То был проблеск надежды на лучшее будущее. Затем организация Земгор (Союз городов и земель), а также Международный Красный Крест с особой энергией занялись школьниками и студентами, бдительно следя за тем, чтобы они не страдали от недостатка пищи.

Поэтому все бросились поступать в недавно созданные русские лицеи и гимназии, одни, мечтая сдать экзамен на степень бакалавра, другие — в надежде получить дополнительное питание.

В 1917 году я покинула седьмой класс Екатерининского института в Петрограде после пяти месяцев учебы. С тех пор я ничему не училась, не считая уроков английского языка в колледже, которые я посещала без заметных успехов. После того как меня заставили сдать экзамен для определения моего общеобразовательного и интеллектуального уровня, меня приняли сразу в третий класс. Таким образом, я перепрыгнула четыре класса, что можно объяснить только полной растерянностью преподавательского состава. Это был странный лицей, на скамьях которого рядом с детьми сидели бывшие солдаты Белой армии, иногда даже бородатые. Рядом со мной — молодой человек двадцати четырех лет с Георгиевским крестом на куртке, позади меня — капитан и полковник двадцати восьми лет.

На уроках никто не шумел, так велико было желание учиться, но в полдень все без исключения мчались, как дети, вниз по улице в столовую, где нас ждали всегда одни и те же макароны, мясные котлеты или борщ. Ожидая возобновления занятий, лицеисты располагались по двое, по трое на крытой площадке внутреннего двора школы или на пустыре и занимались вместе, помогая друг другу. Мой соученик полковник пытался мне объяснить геометрические теоремы или уравнения, я заставляла его повторять французские глаголы и боролась с его ужасным произношением.

В русской гимназии на Босфоре происходили те же сцены, тоже вместе учились дети и взрослые. Но поскольку при гимназии был интернат, там занятия порою «разбавлялись» и любовными развлечениями.

Я вспоминаю с глубокой благодарностью неизвестных дарителей, благотворительные общества и частных филантропов, приходивших нам на помощь и испытывавших подчас большое удивление. Как передать удивление одной американской дамы, которая, выполняя поручение других доброжелательных американок, пришла в лицей, чтобы подарить ученикам рождественскую елку? Любезно улыбаясь, она стояла возле елки, ожидая удобного момента, чтобы раздать детям маленькие мешочки со сладостями; но поскольку самые юные ученики уже прошли, дама, держа в руках мешочки с драже и орехами, оказалась перед бородатыми и усатыми мужчинами с орденами, а зачастую со следами ранений. С совершенно невозмутимым видом они брали у дамы свои подарки, кланялись ей с военной выправкой, но без изящества хорошо воспитанных мальчиков. Затем они передавали сладости младшим ученикам и было слышно, как они при этом вздыхали: «Ах, если бы это была водка!»

На Рождество 1921 года мы с Наташей оставались одни в Константинополе, так как моя мать уехала к брату в Париж, где он оказался в результате чудесного стечения обстоятельств.

Я находилась в Буюг-Дере, когда летом 1920 года мой брат Дмитрий проезжал через Константинополь. После участия в сражении за Царицын (город, который в будущем станет Сталинградом) он вступил добровольцем во флот и был назначен радистом на крейсер «Алмаз». Русской судоходной компании «Ропит» удалось получить обратно из состава флота Добровольческой армии судно «Царевич Георгий», которое она снарядила для заморского рейса. Ей был нужен экипаж. Флот

Добровольческой армии стоял без движения в портах Черного моря, и моему брату было легко демобилизоваться, потому что он, хотя и находился в рядах Добровольческой армии уже два года, не подлежал официальной мобилизации по возрасту: ему еще не исполнилось восемнадцати лет.

Из Севастополя «Царевич Георгий», над которым развевался вместо андреевского трехцветный флаг торгового флота, отплыл в Константинополь. Брату удалось встретиться с моей матерью на острове Принкипо еще до того, как его перевели на другой корабль — «Родосто», турецкое транспортное судно, захваченное русскими во время войны 1914—1918 годов. «Родосто» должен был отправиться в дальнее плавание сначала по Средиземному морю, затем по Атлантическому океану. Но он ушел недалеко.

В Генуе, где корабль сделал первую остановку, очень приятную для тех, кто вырвался из ада гражданской войны, советский консул Водовозов, узнав о прибытии в порт прекрасного торгового судна под российским флагом, спровоцировал на бунт профсоюз докеров, находившийся под большим влиянием коммунистов. Италия в этот период переживала период анархии, что и привело к власти Муссолини. «Родосто» конфисковали. К счастью, в кассе компании оказалось достаточно денег, чтобы заплатить сошедшим на берег морякам их шестимесячное жалование. Снабженный выходным пособием, мой брат смог добраться до Парижа, где он встретился с моим дядей Дмитрием Шаховским и его двумя сыновьями[1]. Третий сын дяди был убит при переходе через финскую границу[2]. Таким образом, оставшиеся в живых члены семьи вновь встречались, связи восстанавливались, жизнь входила в свое обычное русло. Из одной страны в другую эмигранты посылали друг другу весточки. Первый, кому удавалось где-нибудь устроиться, пролагал путь и для других, посылая визы, находил работу. Моя мать только и думала, как бы соединиться со своим сыном, но у нее не хватало денег для поездки в Париж даже без всякого комфорта, и, вероятно, именно поэтому она ее совершила в самых неожиданных условиях.

Вне политики, которая диктует надлежащее поведение, люди не всегда придерживаются инструкций. И именно в тот момент, когда отношения между Врангелем, Кутеповым и французским командованием были более всего натянутыми, моя мать получила любезное приглашение отправиться во Францию на борту броненосца «Вальдек-Руссо»[3]. Это была, конечно, исключительная любезность, и я очень сожалею, что не знаю фамилии адмирала и командира, который столь охотно согласился ее принять.

Наташа и я проводили путешественников до броненосца на военном катере, которым управляли матросы в бескозырках с красными помпонами. У нас сжималось сердце, когда мы прощались с матерью на начищенной до блеска палубе.

Мы оставались одни в Турции, где назревали важные события — Кемаль-паша намеревался взять власть в свои руки. В случае крайней необходимости мы могли обратиться за помощью только к двум лицам,

---

[1] Кн. Дмитрий Николаевич и его дети Дмитрий и Михаил. *(Прим. Д.М. Шаховского)*.

[2] Кн. Николай Дмитриевич, старший из трех, расстрелян в Петрограде в 1919 г. *(Прим. Д.М. Шаховского)*.

[3] Я не знаю точно, был ли это «Вальдек-Руссо» или «Франция». *(Прим. автора)*.

которым нас доверила мать, прося их стать нашими неофициальными опекунами: к майору Дэвису из американского Красного Креста и к господину Андерсону из YMCA.

Спустя месяц после отъезда матери разразилась катастрофа, которую можно было предвидеть, но которая была тем не менее неожиданной и коснулась только меня. Я не сделала никаких успехов за год обучения в колледже, мое заикание превратило меня почти в немую. С полным основанием доктор Патрик сочла, что предоставленная мне стипендия не была использована должным образом. Поэтому, вызвав меня к себе, она объявила, что я ее лишаюсь. Умирая от стыда, сдерживая слезы, мысленно видя себя уже под Галатским мостом, я иду известить Наташу об ужасном несчастье. Она плачет вместе со мной. Из создавшегося положения нет другого выхода, кроме как идти умолять доктора Патрик отложить свое решение до лета. И вот мы вместе сначала в кабинете мисс Соммерс, правой руки доктора Патрик, затем в кабинете самой президентши. Наташе приходится просить за меня, так как, хоть убей, я не могла бы произнести ни звука. Доктор Патрик соглашается отложить мое изгнание из колледжа.

Ее великодушие ничего не меняет. Мой мозг, всегда готовый грезить или сочинять рассказы, отказывается работать, как только речь идет об учебе. Мы ничего не пишем матери о моих школьных злоключениях не из страха перед ее гневом — она меня скорее пожалела бы, — но из желания не усугублять те трудности, которые она переживает в Париже. Мы регулярно получаем ее нежные письма. Мой брат записался на занятия в Институт политических наук и зарабатывает себе на жизнь, работая секретарем у графа де Бомон, в Межсоюзническом клубе, но сама она не может найти работы и не знает, что ей делать. Нет никакой надежды, что мы сможем с ней соединиться. Ну а Турция приходит в движение. Ходят слухи о взятии Константинополя Кемалем, и Антула Ангелидис готовится со свойственным ей пылом присоединиться к греческим партизанским отрядам.

У нас еще слишком свежи воспоминания о детях, разлученных навсегда со своими семьями во время войны, и мы опасаемся, что и нас ждет та же участь. Поэтому мы хотели во что бы то ни стало соединиться с нашей матерью. До этого момента, чтобы ни случалось, нам всегда удавалось выпутываться из трудного положения, чтобы не умереть с голоду. Но как нам добраться до Франции? Великие проекты осуществляются с помощью немалых средств. Мы весело собирались совершить подлог, хотя и не без внутренней борьбы. Нам случалось — я писала об этом в книге «Свет и тени» — выкручиваться в детстве, когда, например, надо было с ловкостью профессиональных воров открыть запертый на ключ чемодан, не испортив замка. Чемодан принадлежал нам, и у нас не должно было быть угрызений совести. Задуманный поступок касался только нас двоих. И наша совесть его одобряла. Мы составили одно из самых патетических и убедительных материнских фальшивых писем, которые когда-либо были написаны.

В этом послании моя мать (ничего, конечно, об этом не зная) писала нам, как ей тяжело переносить разлуку с нами, и заверяла, что она все

подготовила, чтобы принять нас в Париже. Единственно, чего ей не хватает, так это денег, чтобы оплатить наш проезд, но она советовала обратиться к майору Дэвису с письмом, которое она прилагала. «Американский Красный Крест, вероятно, в состоянии все так организовать, чтобы мы наконец соединились», — добавляла якобы моя мать.

Майор Дэвис, которому мы отнесли столь трогательное письмо, лично занялся этим делом. Он получил для нас пропуск в русском консульстве, визы во французском и возложил на американский Красный Крест расходы на проезд до Марселя.

Мы ликовали, но в то же время были расстроены тем, что наш план столь успешно осуществлялся. Возникал миллион проблем... Мы понимали, что слишком плохо одеты для Парижа. Набравшись храбрости, я отправляюсь в «Маяк» к Полю Андерсону. Действительно, с момента создания «Маяка» я много работала и в медпункте, и с детьми, но никогда не получала за это ни копейки, довольствуясь талонами на обед. Может быть, я могу рассчитывать на маленькую субсидию?

Господин Андерсон щедро выдает мне небольшую сумму денег, которая мне кажется огромной. То ли он, то ли американский Красный Крест дарят мне голубую, хотя довольно жесткую, шерстяную ткань, чтобы мы сшили костюмы. Наташа находит армянскую портниху в Арнаут Кее. Результат ужасен, но мы об этом не думаем. У нас еще остается достаточно денег, чтобы купить по паре туфель с пуговичками на высоком каблуке и несколько лир на дорогу.

Не без труда мы находим пристань, где идет погрузка. Туда мы добрались на маленьком поезде. Идет дождь, вокруг нас все грязно и серо. «Черкешенка», которая должна взять нас на борт, не похожа на броненосец «Вальдек-Руссо». Жалкое судно, выполняющее, кажется, свой последний рейс. Майор Дэвис позаботился о том, чтобы нас сопровождали надежные попутчики — пожилая русская супружеская пара, которая едет к своей дочери. Они уже на пристани, сидят на чемоданах, окруженные корзинами, пакетами, трогательные старые люди, покорные нищей судьбе беженцев. Поскольку они не знают никакого языка, кроме русского, то, похоже, больше рассчитывают на нас, чем мы на них.

Когда мы поднимаемся по трапу с чемоданами в руках, нас встречает единственный проводник — толстый южанин, пахнущий чесноком и вином. Он указывает наше место: оно на палубе, где уже сидят или лежат, тесно прижавшись друг к другу, армянские беженцы. Навесы из парусины не могут нас защитить от дождя. Мы ставим чемоданы около Лавровых, которые безропотно раскладывают свои вещи и завертываются в одеяла. Мы не можем себе позволить сделать то же самое. Дрожа от холода, мы стоим, оперщись о борт. Вокруг все серо, грязно, безнадежно. Дождь, кажется, заливает и прошлое, и будущее. В полдень начинают раздавать миски с супом; Лавровы едят крутые яйца; армяне перекусывают, отрезая перочинными ножами кольца колбасы с чесноком и ломти хлеба — еще турецкого. Старая женщина в черном ищет вшей в голове своей внучки. Их близость нас пугает. Как мы проведем ночь

среди таких попутчиков? Покидая Россию в трюме «Ганновера», мы находились среди своих, но одни и те же несчастья не всегда пахнут одинаково.

Расстроенные, мы гуляем по мокрой палубе, пытаясь подбодрить друг друга. Париж кажется таким далеким, и нам трудно себе представить, что мы однажды окажемся там. Вдруг на палубу по лестнице сбегают три элегантных молодых человека и останавливаются перед нами.

«Извините, — обращается старший по-русски, — мы узнали у капитана, что две княжны Шаховские находятся на борту корабля, и, поскольку вы говорите по-русски, наверное, это вы. Разрешите предложить вам свои услуги».

Затем он вежливо представляется и знакомит со своими братьями. Прекрасное начало для романа. Две скромные девушки, одни, без копейки денег, и три приятных молодых человека на судне, направляющемся в Марсель. Легко себе представить и продолжение. Торговля белыми женщинами, публичные дома, разбитые жизни. Нас предупредили о такой опасности, но у нас нет никаких сомнений в порядочности этих незнакомцев. Может быть, потому, что они русские, что хорошо воспитаны и еще очень молоды. Они спустились с Парнаса привилегированного общества — из салона, из кают.

Идя рядом, молодые люди рассказывают свою историю. Все трое братьев родились в Москве; их отец, крупный предприниматель, был расстрелян как заложник. В течение двух лет три брата бродили по России, стремясь добраться, чаще всего пешком, до Кавказа. С проводником они пересекли Кавказские горы, а затем турецкую границу, и там их, истощенных до последней степени, арестовали, где-то возле Карса. В Константинополе их освободили благодаря хлопотам их дяди с материнской стороны, тоже промышленника, который находился в Париже. Старшему из братьев исполнилось двадцать четыре года, второму — двадцать два, а третьему было семнадцать.

«Вы себе представляете, — говорил старший, — более двух лет мы блуждали, голодные и изможденные, как загнанные звери. На последнем этапе наших скитаний нам пришлось нести Николая — он так ослабел, что не мог ходить. Но вдруг мгновенно все меняется. Нет больше забот, мы сменили наши лохмотья на одежду, сшитую специально для нас, и теперь едем в Париж...»

Маленькая «Черкешенка» равномерно покачивается, подпрыгивает, танцует в тумане. Я очень плохо себя чувствую, нигде не могу прилечь, кроме как в толпе на палубе. Юноши, конечно, знают, что наше место среди этих людей, и нас это унижает. Внезапно они делают невероятное предложение.

«Узнав, что вы на борту «Черкешенки», мы поговорили с ее капитаном. Вы же не можете обходиться без всяких удобств столько времени». Говоря это, Жорж, старший из братьев, смущается, подбирая слова, но все же продолжает: «Капитан отдает в ваше распоряжение каюту. Вам там будет удобнее».

Мы пытаемся, хотя довольно слабо, отклонить это предложение, подозревая, что оно исходит не от капитана, а от молодых людей, которым

нестерпима мысль, что мы должны спать на палубе. Конечно, мы соглашаемся. Извинившись перед Лавровыми, мы их покидаем, и проводник, на сей раз более любезный, уносит наши чемоданы. На «Черкешенке» всего четыре каюты, и, разумеется, без всякой роскоши. Несмотря на качку, я засыпаю блаженным сном на постели, пахнущей простым мылом, благословляя небо и трех мальчиков, которые вырвали нас из числа палубных пассажиров.

Дождь упрямо сопровождает нас на всем пути до Марселя, где до самого вечера мы изображаем туристов: фиакры, посещение Нотр-Дам де ла Гард, музея, дворца Лоншан — все это чудесно, великолепно, незабываемо. Мы обедаем вместе с Лавровыми. Первый раз в жизни едим рыбную похлебку «буйабес» и ощущаем во рту вкус тавельского вина. У нас нет ни су, и лишь в Марселе мы понимаем, что Американский Красный Крест оплатил только проезд из Константинополя в Марсель. К счастью, Ф., которые уже потратили на нас и вместе с нами деньги, выданные им на дорогу, могут взять нам билеты до Парижа в вагоне III класса. Это они посылают матери в Париж телеграмму о нашем прибытии, которая потрясет ее своей неожиданностью. У трех братьев, разумеется, билеты I класса, но они, совершенно естественно, едут вместе с нами.

Мы на французской земле. Марсель с его улицей Канебьер, портом, средиземноморской толпой, является в некотором роде продолжением той моей восточной интермедии, которая началась в Константинополе. Его городской шум и толчея — как бы продолжение русской неразберихи. Теперь же я собираюсь встретиться лицом к лицу с настоящим Западом, а карета, которая меня туда везет, не только не золотая, но даже и неудобная. Сидя на жесткой «демократической» скамейке, я склоняю голову в такт толчкам поезда то на плечо Наташи, то на плечо Николая и засыпаю, чувствуя себя в полной безопасности.

Париж—Брюссель

(1923—1926)

Париж, Лионский вокзал. Мы на Западе; серая лавина прижатых друг к другу людей течет по перрону, где нас ждет мать. Ее лицо, тревожное и радостное, — награда за все трудности, которые мы преодолели, добираясь до нее. Рядом с ней — мой брат, и я с трудом узнаю юного севастопольского моряка в этом молодом человеке с тщательно уложенными волосами, втиснутого в модный костюм, который, как мне кажется, узковат для него. Мы представляем им наших друзей, которые быстро исчезают, не желая слушать слова благодарности. Садимся в машину с высоким верхом — «Марнское такси» — и катим по прямым светло-серым улицам, обгоняя машины и прохожих. Перед нами площади, церкви и, наконец, Триумфальная арка. Мы будем жить на авеню Клебер у маркиза и маркизы де ля Фай: они приняли нашу мать и не откажутся приютить нас, явившихся столь несвоевременно, вопреки ее планам.

Это моя первая остановка на французской земле и первый французский дом, порог которого я переступила. Красивая и нежная Сабина де ля Фай совершенно не похожа на маркиз, которых я представляла себе по французским книжкам. Благодаря пребыванию на авеню Клебер я стану пансионеркой бельгийского монастыря, поскольку дочь наших хозяев Анна воспитывалась в Брюгге.

Было ясно, что нельзя злоупотреблять добротой этой семьи. Наша мать до того, как мы явились, словно снег на голову, хотела обосноваться в Бельгии, но ее дочери, две «скороспелые парижанки», привнесли новые трудности. К счастью, на смену маркизам пришел мистер Робертс, старый англичанин, и его молодая жена, итальянка Джина, хозяева красивой виллы в Фонтенбло. И тогда из парижанок мы превратились во временных жительниц Фонтенбло. Джине нужна была большая смелость, чтобы показаться с нами на улице. Наши платья, туфли с петельками, которыми мы так гордились в Константинополе, не соответствовали современной моде. Наша одежда была явно восточного оттенка; сегодня так уже не скажешь, поскольку со времен второй мировой войны женщины меняют прически и длину юбок одновременно на всем земном шаре. Джина попыталась облагородить наш внешний вид, но мои пятнадцать лет никак не гармонировали с подаренными нам платьями, сшитыми для женщины другого возраста.

Приближалась православная Пасха. Мой брат нашел русских друзей, у кого можно было разговеться и переночевать после церковной службы. Такой великий праздник обычно встречают во всем светлом, а мне пришлось надеть черное шелковое платье; прямые гладкие волосы, заботливо собранные в прическу, не прибавили мне очарования. Мое тщеславие было уязвлено, так что я даже забыла о духовном значении события, которое мы готовились отмечать.

Вечером шофер мистера Робертса отвез нас в церковь Святого Александра Невского на улице Дарю. Сад был полон народа, толпа вылилась на улицу. Но русские, которых я увидела в ту парижскую ночь, не походили на жителей Константинополя. Ничего общего с растерянностью тех, кто первыми приехал в Турцию. Многие с давних пор были связаны с этим городом великолепными воспоминаниями и в том числе памятью о своем недавнем богатстве. Правда, большинство русских, имевших ценности за границей, в начале войны из патриотизма вернули их на родину, но рядом с дельцами и промышленниками, которые продолжали сотрудничать с русским зарубежьем, были и необыкновенно богатые люди, которые совершенно случайно «забыли» в разных местах то, что когда-то являлось для них пустяком, мелочью. На самом же деле эти пустяки представляли собой значительные суммы. Великие князья, аристократы, банкиры, нефтяные дельцы, крупные заводчики приезжали в Париж с убеждением — и это общая черта для эмигрантов, — что революция недолговечна. Впрочем, кажется, для большинства русских было неинтересно во все времена копить сбережения. Подобно Бони де Кастелляну, который умер в бедности, они были склонны отвечать тем, кто призывал их к мудрости: «Дорогой, это же очень скучно — не иметь денег. Да еще если отказывать себе...»

Разница между эмигрантами, имевшими некоторое состояние, и теми, кто, подобно нам, не имел ничего, была явлением временным. Нам пришлось броситься сразу головой в омут; другие на несколько месяцев или лет отодвинули свое знакомство с бедностью. Эти люди пока жили счастливее других, тем более что они совсем недавно избежали серьезной опасности. Никто не подозревал, что умрет, так и не увидев России.

Князь Горчаков еще давал балы, на которые приглашал и тех, кто не мог ему ответить тем же. От одного роскошного приема к другому — и князь заканчивает свои дни в бедности, дремлет без жалоб и стонов на сундуке в каком-то закутке. Министр Третьяков и его семья — сыновья и внуки крупного купца Третьякова, основавшего в Москве музей, носящий его имя, сначала обосновались в особняке на улице Анри Мартен со всеми своими гувернантками и слугами, в число которых попал даже повар-египтянин; потом «из экономии» перебрались в роскошный семейный пансион в VIII округе; кончили же они полным разорением. Молодая вдова, княгиня Голицына с двумя детьми и русской кормилицей сняла виллу на Лазурном берегу и, не думая о будущем, жила тем, что продавала одну за другой жемчужины из своего великолепного ожерелья.

До тех пор пока они не оказывались в стесненных обстоятельствах или просто в бедности, аристократы в эмиграции имели некоторое преимущество перед другими членами общества; в чужих странах они встре-

чали старых знакомых, и поэтому сначала им показалось, что ничего не изменилось и что они остались в прежнем мире. Но то, что они считали старой дружбой, было только светскими отношениями, возникшими из привычки к общим развлечениям. А тут все менялось, поскольку в большинстве западных стран богатые люди приглашают на обед только того, кто может ответить такой же любезностью.

После привычной нищеты Константинополя меня ослепил храм на улице Дарю. Фраки и смокинги, светлые платья, меха, драгоценности... можно было подумать, что я нахожусь в церкви Министерства Государственного имущества или Почты, где я ребенком стояла на пасхальной службе.

Тут были Великая княгиня Мария Павловна и ее муж князь Путятин, Великий князь Димитрий, князь и княгиня Юсуповы; а также мои кузины Шаховские[1], отца которых расстреляли на Кавказе, и друзья моего брата, воспитанники Императорского лицея. Весь петербургский свет присутствовал здесь, словно ничего не произошло, — люди тщеславные, может быть, но достаточно храбрые, чтобы не дрожать перед будущим и не плакать о потерянном богатстве.

Париж в тот год был для меня только очередным этапом. Сначала я собиралась остановиться в Бельгии. Точнее, мое длительное пребывание в этой стране началось на франко-бельгийской границе, в замке Белиньи, где жила принцесса Мари де Круа, которая, как и семейство де ля Фай в Париже, предложила мне и матери пожить у нее, пока не определится наш статус. Наташу пригласили в другой замок, в бельгийском Лимбурге. Мари де Круа была человеком примечательным: маленькая, застенчивая, с голубыми ясными глазами. Она говорила с английским акцентом, унаследованным от матери. Во время первой мировой войны она была спутницей и помощницей сестры милосердия Кавель, расстрелянной немцами за участие в подпольной деятельности. Верно говорят, что лучшие секретные агенты или заговорщики — это мужчины, а также женщины, которые по своей внешности якобы не годятся для таких занятий. Мари де Круа была не секретным агентом, а «проводником» бежавших военнопленных, которых она прятала в своем замке, куда часто наведывались офицеры оккупационной армии.

В приготовленной для меня комнате я нашла английские книги и убедилась, что все-таки достаточно знаю этот язык, чтобы их понимать. Так, без особых переживаний, проглотила я слащавые романы Марии Корелли...

После отъезда из Константинополя меня словно оторвали от земли. Хотя война только что закончилась, в Западной Европе она, казалось, не оставила никакого отпечатка в сознании людей. Ее ужасы были почти забыты, восстанавливали опустошенные города и деревни, жизнь входила в свою колею. Я же находилась в состоянии неприкаянности. После четырех лет бродяжничества, приключений, причудливого и неопределенного существования я попала в благополучную Европу, где не могла почувствовать себя уютно. Прежде меня окружали люди, положение

[1] Оксана и Татьяна, дочери кн. Владимира Алексеевича. *(Прим. Д.М. Шаховского).*

которых было таким же ненадежным, как и мое, а теперь я вдруг поняла, что моя судьба — исключение, что у меня не осталось больше ничего — ни родины, ни дома, ни денег. Я стала замечать, что меня в равной степени задевает как внимание к себе, так и равнодушие.

Реджинальд, брат принцессы Марии, женился на принцессе Изабель де Линь, и однажды нас с матерью пригласили в замок Бельёй в Эно. Автомобиль привез нас в это замечательное поместье, так не похожее на Матово, землю моего детства. Я вступила в XVIII век, очаровательный, европейский, музыкальный, архитектурный, век принца де Линя. Нас встречали его потомки — старый принц и его жена, урожденная Диана де Коссе-Бриссак, молодой принц Евгений и его жена, урожденная Филиппина де Ноай, а также Тереза де Линь, моя ровесница. Моя мать без украшений и в старом платье была все еще прекрасна, но среди окружавшей меня изящной роскоши я страдала от того, что плохо одета, плохо причесана, заикаюсь, что я чужая... Объявили, что завтрак подан. Старый принц предложил руку моей матери, принц Евгений — мне, жест, который я в свои пятнадцать лет приняла смущенно и признательно. Лакеи в ливреях стояли по французским правилам за нашими стульями... С того времени, как я покинула палубу «Черкешенки» и попала в замок Бельёй, мои воспоминания постепенно улетучивались.

Потом мы с Терезой гуляли в парке. В пруду плескались столетние карпы. Здесь, в замке Бельёй, Запад напоминал о себе на каждом шагу — изяществом линий, расположением террас и бассейнов, гармонией природы, прирученной и цивилизованной.

Счастливая Бельгия имела в это время двух замечательных людей, величие которых ее не угнетало — короля Альберта и кардинала Мерсье. Мне кажется, что нигде в Западной Европе русских беженцев не принимали с таким великодушием. Бельгия по традиции является страной изгнанников; перенаселенная, она тем не менее помнила, что многие ее граждане были вынуждены жить в Англии или во Франции. Поэтому она открыла свои границы русским. Многочисленные бельгийские католики услышали призыв в защиту беженцев, брошенный кардиналом Мерсье (он стал экуменистом задолго до того, как экуменизм был одобрен в Ватикане).

Министерство иностранных дел, где месье Лавер занимался вопросами эмигрантов, Государственная служба безопасности во главе с месье Гонном и его сотрудниками, депутаты, сенаторы, полиция проявляли замечательную доброжелательность[1].

Нам нужно было начинать летать на своих собственных крыльях. К сожалению, они были подрезаны. Можно предположить, что наши новые бельгийские друзья дали моей матери некоторую сумму денег, для того чтобы обосноваться в Брюсселе. В те дни он еще не стал маленьким

[1] С 1924 по 1939 год и затем в 1945-м мне часто представлялся случай вступаться за моих бывших соотечественников, и я всегда находила необходимую поддержку во всех административных кабинетах. (*Прим. автора*).

Нью-Йорком. Это был просто город, одновременно столичный и провинциальный, богатый, с вычищенными улицами и бульварами, вымытыми мылом тротуарами. От частых дождей деревья и кустарники зеленели, совсем как в Нормандии. В северной части Королевского парка дремал важный аристократический район, Леопольд, с приземистыми особняками. Внизу, если спускаться по лестнице монументального Дворца Правосудия — настоящий слон в кружевах, — раскинулся многолюдный квартал Мароль, в котором торговцы зеленью еще носили серьги в ушах и завитки на висках, как их испанские предки. Бельгийцы не отказались от красок и плоти рубенсовского мира. Каково бы ни было их окружение, они любили — как люди Возрождения в Нидерландах — хороший обильный стол, строгую чистоту своих жилищ, успокаивающее тепло обстановки. Ни капли скупости; любовь к материальному достатку, по счастью, сочеталась у них с любовью к искусству.

Мы начали изучение Брюсселя в новом, мелкобуржуазном, если угодно, квартале, где названия улиц и площадей — площадь Гезов, улица Конфедератов и т. п. — вызывали в памяти приключения Уленшпигеля. Наше жилище, две комнаты и кухня, находилось на третьем этаже в доме номер 5 по улице Экюэль. Едва мы устроились, нас ожидал приятный сюрприз. Друзья, бельгийские дворяне, подарили или одолжили нам самую необходимую мебель, и по крайней мере два дня звонок у входной двери не замолкал. Незнакомые люди, соседи, простые жители квартала, лавочники приносили домашнюю утварь, кастрюли, чашки, утюги, кувшины, провизию, сахар, чай, какао, кофе. Приходский священник объявил о нашем приезде с кафедры — и эти приношения были ответом на его призыв. Брюссельцы, не испытывавшие радости от того, что люди из высшего общества оказались в беде, не имевшие ничего общего с санкюлотами и не знавшие о классовой ненависти, приняли нас, чужеземцев и бродяг, с уважением к нашему горю. Таким образом, отовсюду — от кардинала Малина, королевской семьи, королевы Елизаветы, покровительницы русских студентов, до обитателей окраин — пролился на нас поток, который англичане называют «молоком доброты человеческой». Как смогли бы мы выжить без этого?

Вскоре вся наша семья воссоединилась в Бельгии. Брат, будущий православный архиепископ Сан-Францисккий, стал стипендиатом кардинала Мерсье в католическом университете Лувена; Наташа, которая лучше меня воспользовалась своим пребыванием в американском колледже, поступила секретарем в компанию «Гаранти Траст», и ее жалованье стало для нас единственными надежными деньгами, которыми мы располагали. Нельзя сказать, что моя мать не хотела работать по найму. В пятьдесят лет она была по-прежнему хороша. Мягкая по натуре, она стала властной в силу обстоятельств — после того как долгое время жила в замкнутом мире семьи и имения Матово, среди тех, кто покорялся ее желаниям. Моя мать — человек храбрый, но у нее отсутствовало малейшее представление о трудовых навыках и законах. А ведь здесь своя дипломатия, свои интриги, договоры с более могуществен-

ными лицами, свои подхалимы и бунтари. У моей матери никогда не было ни начальника, ни «дорогих» коллег, которые одновременно являются сообщниками и конкурентами всякого работника.

Но ее попытки на этом поприще отличались большим разнообразием. Вот она сестра милосердия, сиделка у бельгийской генеральши — пожилой, суровой, уже отвадившей многих помощниц. Генеральша живет в особняке, где ставни и окна закрыты в знак траура. Потеряв обожаемую младшую дочь, она возненавидела старшую, оставшуюся в живых, превратила ее в прислугу и сослала на кухню. Новоиспеченная служанка называет свою мать «мадам».

Вскоре между матерью и генеральшей произошла весьма примечательная «дуэль». Наша мать вышла из нее победительницей. Окна комнаты, где находилась больная, открыли; генеральша с бранью согласилась давать дочери немного больше денег на питание и содержание дома. Она не была скупой, но не хотела ничего оставлять нелюбимой дочери. Генеральша затеяла постройку церкви на собственные деньги, а также приказала до конца своей жизни делать взносы на благотворительные цели. Моя мать, любившая своих детей одинаково, посмела ее упрекнуть. Между этими двумя властными женщинами установилось взаимное уважение, какое испытывают иногда самые отчаянные враги.

Когда генеральша выздоровела, мою мать, по рекомендации одного известного врача, назначили директрисой туберкулезного санатория. Там ей пришлось столкнуться уже не с одним человеком, а с целым коллективом профессионалов, и она не устояла в неравном бою. Было очевидно, что добрые намерения невозможно осуществить без нарушений в сложившейся системе, которую она собиралась перестроить.

Позже граф Ги д'Аспремон-Линден рекомендовал мою мать барону Жоржу Вакслеру, владельцу больших магазинов «Бон Марше». Тогда еще не знали терминов *«публичные отношения»* или «хозяйка», но именно княгиню для приема клиентов желал видеть у себя Вакслер. Однако он не учел энергии моей матери и ее стремления работать по-настоящему, вместо того чтобы быть чем-то вроде декоративного растения. Возникли недоразумения. Не желая ограничиваться болтовней с богатыми клиентами, приезжавшими из любопытства, мать вообразила, что может всерьез заниматься торговлей, и вскоре произошла путаница, так как управляющий коммерческой частью, заведующие отделами, модельеры и старшие мастерицы уже не знали, кого слушаться. Затем — новая сфера деятельности: ремесленная, ручная работа. С ней мою мать познакомил очень забавный и речистый человек, месье Шенкель, уроженец маленького города на русско-польской границе. Поскольку были в моде вязаные «жаккардовые» вещи , он убедил мою мать, что можно заработать бешеные деньги, если вязать на дому и передавать готовые изделия торговцам. «Ваша роль, княгиня, ограничится тем, что вы найдете того, кто будет нас финансировать. Я займусь всем остальным, и мы разбогатеем». Шенкель очень скоро вошел у нас в поговорку. В старой конюшне баронессы де ля Розе поставили две жаккардовские машины. Шенкель купил крашеной шерсти — «очень модной», уверял он. Начали работать. Мать, конечно же, попробовала вмешаться. Пошла

серия брака: вытянутые рукава напоминали печные трубы, а сами кофточки годились то на карлика, то на великана. Когда обучение закончилось, не осталось денег на продолжение дела. Шенкель покачал головой, пощелкал языком, рассказал анекдот, пообещал все уладить и кончил тем, что купил оба станка за полцены. Наш финансист согласился, желая избежать полного краха. Мать моя приобрела новый опыт, а Шенкель открыл свое дело и с тех пор процветал.

Не впадая в уныние, мать организовала семейный пансион на бельгийском побережье, в Кок-сюр-Мер. Кухня там была превосходная, но это не давало никакой прибыли. Позже самым удачным из ее начинаний стал чайный салон.

А что же делала все это время я? Вернулась в рай. Одна милосердная бельгийская дама повела меня однажды в большие магазины Биржи, и пока портниха снимала с меня мерку, чтобы подобрать форму для пансионерки монастыря Берлемон, дама рассказывала продавщицам мою историю. По особой милости Бога выражать признательность всегда было для меня делом нетрудным, и я не понимаю, почему такое множество людей испытывает ненависть к своим благодетелям. Тем не менее я, конечно, предпочла бы заказать для кого-нибудь другого то, что делали для меня.

Без воодушевления, но с пониманием необходимости, я вошла в дверь большого здания, расположенного в верхней части улицы Ла Луа, и оказалась в трехсотлетнем монастыре у монахинь ордена Святого Августина. Меня встретили не только с симпатией и любезностью, но и с большим любопытством. Для монахинь и воспитанниц я была первой русской, которую они увидели. Я получила в подарок пачку лубочных картинок — изображений этой таинственной огромной страны, чье название вызывает в памяти европейцев вечные снега, медведей, рычащих по ночам волков, *бояр* в *шапках*, царей, один другого свирепей, несчастных рабов; на последней из подаренных картинок был изображен Ленин в образе казака с кинжалом в зубах. Казалось, они ожидали увидеть в моем лице особу с желтой кожей и раскосыми глазами. Именно такое представление распространено на Западе, поэтому Берлемон нельзя осуждать за недостаток более точной и оригинальной информации.

Первое, что я испытала в монастыре, — некоторый страх перед моим положением раскольницы. В монастыре я была единственной инаковерующей, и сегодня невозможно представить себе, что слово «схизматический» для католиков в 1923 году пахло серой. Только авторитет кардинала Мерсье мог навязать религиозным общинам и даже самому Лувенскому университету риск подобной духовной авантюры — позволить нечистым общаться с чистыми. Впрочем, во многих монастырях указания архиепископа Малинского истолковали неверно и поняли не как акт братского милосердия, а как средство ускорить наше обращение в свою веру.

Не таков был дух Берлемона. Никто меня не преследовал, не соблазнял преимуществами, которые можно получить в результате обращения. Это была самая бескорыстная благотворительность, какая только возможна.

Вместо доктора Патрик и очень современных преподавателей американского колледжа явилась кругленькая, умная, добрая мать Мария-Сесиль, старшая воспитательница, и монахини, которые будут заниматься моим обучением. Между двумя большими картинами, изображающими святую Монику и святого Августина, мне чудятся лица двух сестер — матери Марии-Изабеллы и матери Марии-Елизаветы де ла Серна. От своего испанского рода они сохранили веру — суровую и пламенную; прелестная мать Мария-Эммануэль — ирландка; улыбающаяся мать Мария-Игнасия и настоятельница, очень пожилая кузина Вильгельма II...

Доброта, которую здесь выказывали мне, сковала меня — ведь я больше привыкла к враждебности, — но и смягчила мое сердце. Я стала слишком послушной пансионеркой. Первый вечер в маленьком алькове, отделявшем мою кровать от других, показался ужасным. Погасили свет, и голос матери-надзирательницы произнес: «Подготовка к смерти!» Со всех кроватей разом раздался ритмический ответ: «Иисус, Мария, Иосиф, помяните нас ныне и в час смерти нашей! Аминь!»

Сознание смерти для русского человека так же, как и для испанца, иногда для немца, находится, по словам Рильке, «в центре всего». Верующие или неверующие, мы живем среди наших раздоров, счастливых минут и наших игр в ее присутствии, что придает жизни одновременно ценность и ощущение праха. Смерть с самого детства была для меня, как ожог: в революцию она стала реальностью. Для моих подруг она — только риторическая фигура. В первую и в последующие ночи я поняла, как безвозвратно оторвана от своего прошлого. Вокруг меня царили порядок, привычка, монотонность; это был Запад с его обычной жизнью, спокойной, лишенной неожиданностей; все вещи на своих местах, люди — тоже. Может быть, мне мешали мысли о прошлом. Я вспоминала Матово, Петроград, Неву, поля под снегом, расстрелы, бегство... Уже не ребенок, я тем не менее плакала, уткнувшись носом в подушку, но картины, далекие или близкие, не исчезали. Вспоминалась, например, ночь в Скутари, в Малой Азии, таинственная звездная ночь, под ветками шелковицы, чьи плоды падали на землю с глухим шумом. Все превращалось в миф, дававший, однако, ощущение свободы. В мире домашнем, прирученном я оказалась запертой, как в тюрьме.

Многие из соучениц стали моими подругами, но пока я не находила ничего общего с этими милыми девочками. Неважно, что их знания были обширнее моих, — они ничего не знали о жизни. Кроме того, я читала Толстого, Достоевского, Шекспира, Стендаля, а они оставались на уровне *«Золотой колесницы»* и *«Фабиолы»* — повестей о Риме эпохи первых христиан. Я была скрытной в разговорах с ними, что мне легко давалось, поскольку перемена обстановки была благоприятной для моих нервов. После того как я в колледже заикалась по-английски, в монастыре я начала так же ужасно заикаться по-французски.

История изменяет свое лицо в зависимости от страны, где ее изучают. Наполеон совсем не один и тот же человек для английских и французских учащихся. Для французских история Франции становится прекрасной с момента Революции. В Берлемоне католические государ-

ства и их владыки явно превосходили в своем значении другие страны и их государственных деятелей, а испанская инквизиция казалась сущим пустяком по сравнению с ужасами, которые происходили в Англии во времена правления Генриха VIII и его дочери Елизаветы...

Как-то в четверг меня позвали послушать старого каноника, игравшего Баха; он уверял меня, что все беды России и русской церкви происходят от того, что они отдалились от единственно правильной веры. В ответ я невежливо спросила его: «Значит, первые христианские мученики тоже платили жизнью за свои теологические ошибки?»

Гораздо более великодушными и деликатными, чем старый каноник, были монахини Берлемона, и поэтому они явно страдали, когда им приходилось говорить в классе в моем присутствии о вещах, которые могли меня ранить. Тем не менее я очень хорошо понимала, что, заботясь о моем спасении, все желали бы моего обращения. Случалось, что ученицы, собравшись в классе, отправляли меня в студию играть на пианино. У меня были серьезные основания предполагать, что в мое отсутствие подруги молились за мое обращение, если не за обращение всей России. Такое предположение не возмущало меня; я была уверена, что их пожелание диктовалось только привязанностью ко мне. Я уже говорила, что чувство благодарности у меня обострено. Рассказывают, что Моцарт ребенком, играя перед эрцгерцогиней, поскользнулся и упал. Мария-Антуанетта подбежала, чтобы поднять его. Моцарт произнес: «А эту даму я возьму замуж». «Почему?» — спросил кто-то. «В знак благодарности». Анекдот мне нравится. Я тоже хотела бы в знак признательности исполнить пожелания общины Берлемона, но для меня это так же невозможно, как для Моцарта сделать дофину своей супругой. Я испытывала влечение скорее сентиментальное, чем духовное, к совершенно новым для меня обрядам — орган, голоса монахинь, долгое молчание в часовне, где бодрствуют статуи святых. Но я уже сознавала, что принадлежу к Церкви мученической и преследуемой, служители которой своей кровью подписали акт веры. Могла ли я не разделить сию участь? Однако меня терзали сомнения. Я не только не была не благодарна, но могла ввести в искушение ту или иную из моих подруг. Из-за меня они могли бы перестать верить в силу молитвы.

Подобные размышления посещали меня в то время, когда я в полном одиночестве играла никому не нужные гаммы, понимая, что никогда не стану пианисткой. Мне хотелось по крайней мере выразить свою признательность успехами в занятиях, но результаты по-прежнему оставались плачевными. Пришлось освободить меня от всяких устных опросов, поскольку мое заиканье ввергало весь класс в смертельную тоску и могло вызвать у других такое же расстройство речи. Мои сочинения, переполненные ошибками в синтаксисе и орфографии, привлекали внимание преподавателей, но, хотя отметки были хорошими, мою прозу никогда не читали в классе. Жирной карандашной чертой преподаватель отмечал неуместные пассажи: у меня листья на деревьях «дрожали сладострастно», сердца «бились пылко». «Это слишком!» — писала на полях тетради учительница французского, и как она была права!

Молодая мать Мари-Клер, вероятно, в порядке наказания за какие-то простительные грешки, была обязана давать отдельно мне уроки ма-

тематики. Сидя вдвоем в классной комнате, мы проводили ужасные часы, страдая так, будто нам надо было извлекать не квадратные корни, а тащить друг у друга коренные зубы.

После русских, после турок, греков и армян меня окружают бельгийцы, фламандцы и валлонцы. Изучение фламандского пока не обязательно. Следовательно, я его не учу. По правде говоря, кроме удовлетворения, которое я смогу получать при чтении в оригинале произведений Вонделя или Гвидо Жезеля, о которых я узнаю позже, или возможности спросить дорогу на Антверпен в моих будущих странствиях, он мне так никогда и не пригодится. У меня было достаточно неприятностей с языками более распространенными.

С помощью юных бельгийцев я открыла их страну. Европа 20-х годов это не туристическая Европа, хотя она уже стала космополитической и в качестве таковой воспета Полем Мораном, Валери Ларбо и Морисом Декобра. Бельгия еще не была местопребыванием международных организаций, пока она только Бельгия. Страна одновременно германская и латинская, она сохраняет свое собственное лицо. Мы, русские эмигранты, составляем для нее едва заметную дополнительную нагрузку. В католической стране, где буржуазный социализм и либерализм уравнены в правах, уравновешены, для коммунизма нет ни одной зацепочки, за которую он мог бы ухватиться. Политическая жизнь здесь активна, классовая ненависть отсутствует; это объясняет, почему белогвардейских беженцев спокойно принимают здесь во всех кругах.

Аристократия первой широко открыла нам двери своих домов и ворота своих замков. Каждую пятницу мы обедали у старой графини Августы д'Урсель. Почему в пятницу? Мы никогда не узнаем этого. Мне хотелось бы думать, что наш визит не был для ее семьи еще одним способом умерщвления плоти в постный день. В четверг, иногда в воскресенье, я ходила на завтрак к Терезе де Линь; в сопровождении ее гувернантки мы отправлялись в кино. Кристиан дю Руа де Блики сшила своими руками — к сожалению, плохо! — мое первое вечернее платье. Мы получаем целые ящики одежды, иногда неописуемое старье, иногда прелестные платья, предназначенные главным образом для Наташи, поскольку она начинает выходить в свет. Существуют два типа людей, которые хотят нам добра; одни считают, что лучше не возвращать нам вкус к роскоши, они приносят только полезные подарки; другие, наоборот, полагают, что вещи бесполезные укрепляют наш моральный дух. Последние правы. У нас всегда находятся деньги, чтобы купить себе носовой платок или кофейник, но мы отказываем себе в чем-то лишнем, гораздо более привлекательном.

В наше скромное жилище приносят иногда большие корзины цветов, достойные петербургских салонов, или коробки с конфетами от лучшего в городе торговца шоколадом. И мигом окружающая обстановка меняется: из царства необходимости мы вступаем если не в царство обещанной марксизмом свободы, то по крайней мере в приятную область бескорыстия. Среди тех, кто нас балует больше других, граф Ги д'Аспремон, кавалер, охотник, бонвиван; во время войны он был послан в Россию с бельгийскими самоходными орудиями и вернулся не без за-

труднений, но с неизгладимым впечатлением от русского гостеприимства, которое так соответствовало его собственному темпераменту. В его машине, которую вел русский шофер, мы объехали всю Бельгию, и, что бы я ни вспомнила — будь то картины Брюгге, Гента, берегов Шельды или Арденн, — всегда одновременно возникало лицо нашего верного спутника, нашего друга Ги. Пройдя войну 1914 года, он был тяжело ранен под Брюгге в мае 1940 года.

Самый скромный и самый таинственный из наших бельгийских друзей — житель Антверпена Людовик Ван де Верве. Прошло по крайней мере дней десять, пока мы узнали имя неизвестного, который после нашего приезда в Бельгию просил директора «Гаранти Траст», где работала моя сестра, передать ей крупную для того времени сумму в 10 тысяч франков. Весьма редко можно встретить человека, делающего добро и не желающего, чтобы об этом знали.

Правительство страны тоже проявляло симпатию к изгнанникам. Королева Елизавета взяла под свое покровительство «Союз русских студентов», очень активную организацию, которая дала возможность многим молодым русским завершить университетское образование. Говорят, что один из студентов, представленный королеве, был так смущен этим, что назвал ее «сиреной», поскольку знал, что к королю обращаются «сир».

Однажды вечером на балу в итальянском посольстве у принца и принцессы Русполи герцог Брабантский, будущий Леопольд III, узнав, что среди молодых девушек находится русская беженка, пожелал танцевать с ней. Неопытная в этикете, моя сестра Наташа, едва начав танец со своим кавалером, показавшимся ей очень робким, сказала: «Пожалуйста, Ваше Высочество, не спрашивайте меня, водятся ли в России волки и съедают ли у нас свечи в конце обеда, — мы только и слышим такое с тех пор, как приехали сюда». Это очень насмешило герцога Брабантского, который уверил ее, что хорошо знает русскую жизнь, и напомнил, что его прадед Леопольд I был генералом русской армии.

Кстати, о свечах: однажды мне понадобилась свечка. Как почетная руководительница отряда бельгийских скаутов, я была приглашена посетить их лагерь. Я обедала в палатке *начальника скаутов* вместе со священником из деревни Ам-сюр-Эр. Славный человек смотрел, как я режу мясо, и не мог сдержать своего восхищения. «Ах, княжна, — сказал он, — как ловко вы обходитесь с ножом и вилкой». На что я без всякой жалости ответила ему, не моргнув глазом: «Это потому, что я живу в Бельгии уже несколько месяцев и имела время научиться не рвать мясо зубами, — а затем добавила умоляющим тоном: — А вот свечки после еды мне действительно не хватает».

Рядом с этой жизнью, может быть, мало связанной со страной, где мы делали свои первые шаги уже не беженцев, но эмигрантов, существовала другая — жизнь русской колонии. Ничто так не отличалось от шикарных балов, где танцевала Наташа, как вечера русского клуба, который каждую субботу снимал помещение и собирал всех, кто говорил по-русски или жил когда-то в России: генералов и офицеров, студентов, торговцев, изрядное количество бельгийцев, «высланных» тоже после революции за пределы России и сохранивших по России тоску. Случалось

также, что представители новообразованных государств — эстонцы, литовцы, финны, охваченные подобной ностальгией, объединялись со своими «извечными врагами». Вокруг самовара несколько дам из колонии делали бутерброды с маргарином, поскольку масло было дорогим, и укладывали сверху кружочек колбасы или ломтик сыра.

Иногда Наташа на свои деньги приглашала меня в ресторан рядом с ботаническим садом, который в то время градостроители еще не обгрызли со всех сторон. Это было очень скромное заведение, куда приходили служащие и чиновники. Но на столах лежали скатерти и салфетки, что казалось нам роскошью. После обеда мы отправлялись на коротенькую прогулку и занимались разглядыванием витрин. «Если бы у меня было много денег, я бы купила себе вот это и вот это... Посмотри на эти туфли. Ах, вот бы мне такие... Видишь браслет? Помнишь, у мамы был очень похожий...» Улица Нёв, ее витрины, манекены, застывшие в неудобных позах, запах горячих вафель и кофе, рекламы, пылающие под дождем...

Иногда вечером мы шли в кино, в Куинзхолл, где недавно появились удобные кресла, перед которыми на круглом столике, освещенном маленькой лампой с розовым абажуром, можно было поставить заказанное угощение; или отправлялись в совсем новое заведение Агора, огромное современное сооружение, где пели органы. Мы были превосходными зрителями. Бег коней из «Четырех всадников Апокалипсиса» мы встречали слезами; влюбленные, но без соперничества, мы созерцали красавца Рудольфа Валентино в «Сыне шейха», большеглазую Жоржетту Леблан, великолепного любовника Джона Гилберта, Стасю Наперовскую — таинственную Атлантиду, Полу Негри с ее квадратным лицом, патетических Лилиан и Дороти Гиш, героев, сломанные лилии, влюбленных с трепещущими ноздрями, страстных женщин, у которых глицериновые слезы стекали с угольно черных ресниц. Ах, доброе старое кино великой немой эпохи предоставляло людям возможность почувствовать себя великодушными, смелыми, отважными, а актеры изображали страсть без необходимости обнажать свое тело.

Немногие эмигранты были так активны, как наши. Повсюду, где обосновались горсточки русских, они начинали строить или оборудовать церковь. В церкви Святителя Николая, в прошлом посольской, священником был отец Петр Извольский, замечательный человек, прекрасно воспитанный, брат русского посла в Париже, бывший прокурор Священного Синода, то есть министр духовного ведомства. Он был рукоположен в священники в эмиграции; его жена из семьи Голицыных — мать ее была цыганка — ни в чем не походила на обычную матушку. Все организовывалось вокруг церкви. Собирали хор, открыли приходскую школу, основали комитеты покровительства одиноким молодым девушкам, русским детям в бельгийских приютах, общества молодежи, устраивали библиотеки, создали журнал, который не претендовал на многое и выходил только раз в неделю. Поскольку все увлекались театром, любительская труппа поставила в театре Марен *«Плоды просвещения»* Толстого.

Тем не менее политические страсти не утихали, но если политический спектр эмиграции в Париже и Берлине был широким, то в Брюсселе он был очень узким. Русская колония в Брюсселе была в высшей степени реакционной, либеральные настроения вызывали подозрение, терпимость не допускалась. Все, кто не разделял мнений большинства, считались изменниками и еще хуже — авантюристами. Это не приносило большого вреда, хотя бич эмиграций — ревность, и вызванные ею разоблачения в течение нескольких лет отравляли жизнь маленькой колонии. Готовые разделить последний франк со своими несчастными соотечественниками, русские эмигранты плохо переносят тех, кто, начав с того же исходного пункта, отделяются от группы и продолжают свое восхождение. И только если они добертуся до вершины, их будут приветствовать как гордость нации.

Ни в одном, ни в другом обществе я не чувствовала себя уютно. Организованные занятия тяготили меня. Забавный эпизод, который больше не повторится, — я стала... танцовщицей. Я участвую в благотворительных концертах в пользу русских; исполняю танец «боярышня», величественный и медленный, получаю аплодисменты, цветы и хвалебные статьи... У меня роскошный костюм из небесно-голубого атласа, верхняя часть которого украшена сеткой из брильянтов, отрезанной от старого костюма княгини Караманшиме. Я сама расшила жемчугами и разноцветными камнями *кокошник*, с которого спускается вуаль из белого шелка. Она струится волнами, когда я «скольжу по сцене, как лебедь» (да, да, это слова одного журналиста). Я танцую в Антверпене, Хассельте, Льеже, Брюсселе, Лувене, где однажды студенты выпрягли лошадей и триумфально повезли меня в фиакре по улицам города. В Генте губернатор провинции и графиня де Керхове де Дентергем пригласили меня на торжественный банкет, где я сидела справа от губернатора. Меня поздравляли со всех сторон... В Генте меня также пригласила гильдия Святого Себастьяна, существующая со средневековья, и я, такая маленькая среди славных молодцов-лучников, сгорала со стыда, стреляя из аркебузы и не попав в цель. Я давала автографы, как настоящая звезда... Зачем рассказывать об этом? Да затем, чтобы напомнить себе самой разнообразие подвижного фона, на котором протекала моя жизнь. Странный успех не вскружил мне голову: он дал больше уверенности в себе и в доброте окружающего мира.

Благодаря упорству моего брата мы разыскали нашего кузена Алексея. Раненный на Перекопе, в Крыму, он был эвакуирован в Галлиполи, потом с частью армии — в Болгарию, где, как и другие офицеры, работал в шахтах Перника. Как-то я вернулась домой, уже не помню откуда. Мать сказала мне: «Приехал Алексей. Он на мансарде». Я бросилась туда и увидела спящего изможденного человека, того самого, которого встретила впервые в офицерской форме в Новороссийске в 1919 году и которого помнила кудрявым белокурым юношей, катавшимся на велосипеде по аллее Прони в 1914 году...

Требовалось подыскать ему работу. Генеральша дала нам в долг денег, чтобы купить грузовой автомобиль. Поскольку шоферские права

в Бельгии были необязательны, Алексей заверил нас, что если он водил автомобиль с пулеметом, то, конечно, справится с обычным грузовиком. Мать уселась рядом с ним, и я увидела, как они довольно смело «полетели», оставшись, к счастью, живы. В течение нескольких месяцев Алексей развозил вечерние газеты.

В Бельгии трудно было не оценить возможности бельгийского Конго. Тамошний климат считался тяжелым, ехали туда только те, кто ни на что не надеялся в самой Бельгии. Благодаря своим связям мать смогла устроить кузена в конголезскую хлопковую компанию. В черной Африке Алексей оказался одним из первых русских. Он проведет там большую часть жизни. Может быть, именно об этом он мечтал в школьные годы, когда на Волге поднимал парус на своей лодке.

Я не знаю, почему — вероятно, по совету Алексея, но однажды полковник, председатель Общества галлиполийцев в Брюсселе, попросил меня выхлопотать визы для офицеров, работавших в шахтах Болгарии. Сегодня мне это кажется невероятным, а тогда я очень быстро попала к главному начальнику бельгийской Службы безопасности, моему другу, господину Гонну. Не верится, но это факт. Совсем юная эмигрантка могла получить доступ к столь важному лицу, надоедать посредничеством в защиту других эмигрантов, при этом быть любезно принятой, доброжелательно выслушанной — и, чаще всего, с толком — ее просьбы исполняли. Поэтому благодарственное письмо, присланное мне позже Обществом галлиполийцев, следовало бы адресовать господину Гонну и его сотрудникам. В 1938 и 1939 годах мне случилось добиться получения виз для немецких евреев, а в 1945 году вступиться за тех, кого незаконно коснулась общая чистка. Коллеги господина Гонна месье Нотомб и другие доказали мне, что Служба безопасности может быть организацией человеческой или даже человечной и что характер всякого учреждения зависит от людей и от государственного строя, который они избрали.

Мне было шестнадцать с половиной лет, когда я прекратила занятия в Берлемоне. Наташа уехала жить в Ниццу, к кузине моей матери, баронессе Каульбарс. Мы с матерью жили в маленьком доме, во дворе особняка баронессы де Розе. Она пыталась привить нам западную мудрость: «Муху скорее поймаешь на мед, чем на уксус», «Катящийся камень не обрастает мхом». У меня есть своя комната, есть роскошь, которая меня восхищает, — комната полна книг. Здесь найдешь все: *«Исповедь блаженного Августина»*, поэмы Анны Ахматовой и Александра Блока, *«Сокровище смиренных»* Метерлинка, *«Холостячку»*, *«Так говорил Заратустра»*...

Я хотела зарабатывать деньги. Однажды в воскресенье около русской церкви остановился автобус. После службы помощник режиссера, русский по происхождению, предложил молодым людям отправиться в студию, где снимают фильм с участием Виктора Франсена, обещав нам гонорар и бутерброды. Мы толпой отправились туда. Я, как и все, должна была с восторгом слушать и смотреть на Виктора Франсена, который читал лекцию студентам. Что касается фильма *«Как убить своего ребенка»*, то, насколько я помню, он так никогда и не появился на экранах.

Не могу похвалиться и второй своей работой — я виновна и прошу снисхождения. Не подозревая ничего дурного, я, вместе с другими молодыми русскими, стала штрейкбрехером. Накануне в клуб пришел один студент, чтобы предложить срочную работу в типографии, всего на несколько дней. Поскольку это было что-то новое, мы согласились, но когда утром приехали в рабочий квартал, то увидели нескольких полицейских и пикеты забастовщиков вокруг здания. Против своей воли мы оказались предателями. Конечно, надо было бы отказаться от этой подлой работы, хотя часть профессионалов-типографщиков не поддержала забастовку, и они трудились вместе с нами. Мы слышали крики, угрозы, камень полетел в нашу сторону... Но гордость не позволила отступить...

Три дня я сидела за машиной, которая складывала передо мной большие листы, пахнущие типографской краской. Потом я попробовала более серьезную работу — согласилась заняться классификацией документов в компании, выпускающей шины. Работа была нетрудная, директор-американец любезен, но коллеги издевались над моим заиканием и плохим французским произношением. Однако меня обескуражило не это, а чувство отвращения к труду только ради денег. Мысль, что работа должна иметь другую цель — быть страстью или способом служить людям, — меня не отпускала. Провести жизнь в конторе казалось ужасным жребием. Кто-то рассказал мне о школе социального обеспечения. Поскольку у меня не было никаких дипломов и даже справки об обучении, я должна была сдать «экзамен на зрелость». Я сдала его успешно, получив льготы по возрасту — мне не было восемнадцати лет — и даже стипендию на учебу.

Обстановка снова переменилась. Моя новая школа — социалистическая. Правда, в Бельгии капитализм и социализм мудро идут рядом по дороге общественного прогресса, выбивая почву из-под ног коммунизма. Социалистами являются крупные буржуа — такие, как Эмиль Вандервельде и Камилл Гюисманс. Их преемники позже с неудовольствием заметят, что их католические соперники позаимствуют те же методы, чтобы перехватить голоса трудящихся и создать социал-христианскую партию.

Мои подруги — большей частью девушки из богатых семей с передовыми взглядами, что на Западе обозначает враждебное отношение к религии. Поскольку даже в Берлемоне я не стала католичкой, моя благодарность за полученную стипендию тем более не могла способствовать моему увлечению прогрессистскими идеями. Монахини показали себя более терпимыми, чем социалисты. В школе, хотя я и была бедной, именно происхождение, казалось, поставило меня в положение парии. Две или три ученицы, родители которых избежали погромов и тюрем старого режима и, следовательно, не подвергались жестокостям революции, играли определенные роли. Каждый урок был для них поводом клеймить позором императорскую Россию, глупость и злобность русской знати, ссылки, тюрьмы, Сибирь... Я была в одиночестве против целого коллектива, объединенного общей идеологией. Меня не научили молчать; я возражала безо всякой дипломатии, что поскольку революция факт свершившийся, то очень жаль, что те, кто так мечтал о ней, не возвращаются в Россию, дабы убедиться, что ЧК более человечно, чем охранка... Таким образом,

я узнала — что бы я ни делала, в каком бы положении ни находилась: те, кто борется против расовой, национальной или социальной дискриминации, всегда имеют в виду только определенную категорию людей и исключают всякую другую, в частности ту, к которой принадлежала я.

Я оставила школу через год, и, поскольку уже наступила весна, а директриса нашла, что я хорошо поработала, мне предложили место стажера Медико-педагогического института в Рикенсарте в Брабанте. В течение двух месяцев я обучала и развлекала ненормальных детей. Задолго до открытия лекарства «талидомид» рождались дети без ног или без рук. В моей группе имелись такие несчастные, ум которых не был поврежден болезнью — их я жалела больше всего. Прелестная маленькая девочка, страдавшая монголизмом, целыми днями топталась в своем манеже и никогда свет разума не загорался в ее красивых черных глазах; равно как и у дикого мальчика, который ел землю и траву... А вот Мишель, четырехлетний ребенок, родившийся без рук, сидя в классе на одеяле, рисовал и вырезал, держа карандаш и ножницы большими пальцами ног! Глядя, как он играет, я чуть не плакала. Как сможет он переносить позже свое несчастье?

Между жалостью и нетерпением прошли два месяца, во время которых я приобрела столь властную манеру, что моя мать стала упрекать меня — я разговаривала с ней и с ее подругами так, будто они были дефективными детьми. Пока я не решила, чем мне заняться, я стала помогать матери в ее чайном салоне.

Наша неутомимая мать действительно начала новое дело. Моя тетка Шаховская открыла чайный салон в Париже на улице Рюд, и дела ее шли успешно, поэтому мать решила и в Брюсселе устроить салон русского чая. Ги д'Аспремон, к которому мы обратились за советом, нашел идею прекрасной; правда, он тоже ничего не понимал в делах. Помещение было найдено быстро: две большие комнаты в одном из высоких и узких бельгийских домов на улице Шан-де-Марс, недалеко от Намюрских ворот, улицы, пользовавшейся в те времена дурной славой, о чем мы узнали, едва подписав договор на аренду. На втором этаже — две большие комнаты; одна, оборудованная по вкусу моего брата, будет собственно чайным салоном. Мы избежали увлечения «русским стилем» с картинами, фресками, тройками, засыпанными снегом избами и золочеными куполами. Десяток зеленых и оранжевых столиков, квадратных, как табуретки. В другой комнате устроили комиссионный магазин. В витринах выставили вещи, которые нам приносили на продажу наши соотечественники: брелоки фирмы Фаберже, опаловый тигр, пасхальное яйцо с инициалами Императора, чайные чашки императорского завода, фарфоровые фигурки завода Гарднера. Русские вышивки висели на спинках стульев, в углу стояло пианино.

Так родился «Самовар» с избранной клиентурой, потому что без вывески на улице непосвященным трудно было обнаружить салон. К светским людям вскоре присоединились, чтобы стать нашими самыми постоянными посетителями, русские евреи, сохранившие, к удивлению, ностальгические воспоминания о стране, на которую они столь часто жаловались. Русские эмигранты приходили редко или не появлялись вов-

се, поскольку стоимость блюд здесь была выше, чем в других местах. На третьем этаже у нас была еще одна комната, которая служила конторой и складом; наконец, в мансарде жил забавный кубанский казак Владимиров, охотник и мастер на все руки. Если я заикалась, то Владимиров, не имея никакого словарного запаса, довольствовался тем, что сообщал все необходимое при помощи междометий, сопровождаемых весьма выразительной мимикой. Он был одет в *черкеску* цвета бордо; на узком ремне на талии по обычаю висел кинжал. Однажды, когда Владимиров стоял на улице перед входной дверью, какой-то слишком любопытный прохожий протянул руку и хотел потрогать карманчики с декоративными гильзами, украшавшими его черкеску. Владимиров вынул одну гильзу и с криком «бомба» сделал вид, что бросает ее на землю, вызвав всеобщее смятение. В другой раз, в тот момент, когда наш казак нес самовар в чайный салон, из уст совсем маленького мальчика, который шел со своим дедушкой, раздался пронзительный крик: «Казак! Казак!» Этого мальчика часто пугали казаками, если он плохо себя вел, и вот такой казак оказался перед ним! Владимиров был потрясен и не успокоился, пока не доказал ребенку свои добрые чувства. Он был очень смелым и очень честным, но случилось так, что покинул нас без предупреждения. Однажды мы нашли в салоне записку, в которой было криво нацарапано карандашом: «Ваша светлость, простите, у меня запой». Нам пришлось ждать два-три дня, пока он вернется, истратив все свои деньги и решив больше не пить.

Самые разные артисты прошли через «Самовар» для привлечения публики: прелестная полька с меццо-сопрано, достойным оперной сцены, худой балалаечник, аккордеонист с красным носом. Но всеобщее одобрение посетителей получил низенький, еще не старый лысый человек в желтой рубашке; он пел, аккомпанируя себе на гитаре и выделяясь скорее мастерством, чем голосом; романсы были самые избитые, такие как «Очи черные». Этот дешевый Мефистофель казался нам чрезвычайно смешным. Жирным карандашом он рисовал себе брови, похожие на огромный острый угол, но наши клиентки буквально таяли, поддаваясь этому «славянскому очарованию», открытому Западом.

Пребывание у нас Вишневского могло бы закончиться очень быстро, поскольку в день его зачисления на службу, после того как ушел последний посетитель — «Самовар» закрывал свои двери в восемь часов, — наш казак в большом волнении захотел поговорить с матерью об одной «очень серьезной вещи». «Ваша светлость, — сказал он, — гм, гм, гм, этот Вишневский, ну, ну, гм, гм...» «В чем дело?» — спросила мать, выведенная из терпения этими звуками. «Значит, ваша светлость, это тот самый». «Что такое тот самый?» — и, вытягивая из него одно за другим слова, сама вставляя недостающие, мать наконец поняла, что Владимиров узнал в этом Вишневском молодого офицера-кокаиниста, которого он когда-то отводил в тюрьму в Ростове-на-Дону за убийство дочери городского коменданта. «Ах, верьте слову, это он, он!»

На следующий день Вишневский был подвергнут допросу. Он немедленно признался, но умолял мать не выгонять его. «Однако вы опасный человек!» — сказала она. «Нет, княгиня, — воскликнул тенор,

прикрыв глаза желтыми веками, и добавил: — Кроме того, у меня больше нет денег на кокаин».

Вполне естественно, что бельгийские друзья моей матери думали о моем устройстве. В качестве приданого у меня было только имя. Нашли вдовца из хорошей семьи, дипломата по профессии, достаточно богатого, чтобы довольствоваться только этим. Мать действовала без нажима, но не скрывала от меня, что здесь — решение многих проблем; первая трудность возникла еще до нашей встречи. Строго соблюдавший католические обряды, предупрежденный обо всем претендент на мою руку признался, что его смущает брак с православной. Однако даже ради Ага Хана, совсем юного и пылкого, я не отказалась бы от своей религии не потому, что не верила в возможность спастись в другой религии, но просто потому, что всякий компромисс, продиктованный соображениями выгоды, мне казался достойным презрения. Свидание состоялось в непринужденной обстановке. Господин показался мне почтенным человеком. Как и большинство дипломатов, он столь хорошо скрывал свою индивидуальность, что можно было опасаться ее полного отсутствия. Я приняла решение и говорила себе: «Нет, нет, нет и нет!»; чтобы не пришлось сказать это вслух, я вела себя, как настоящая дикарка, удивив подруг своей матери и огорчив, без сомнения, ее саму. Я громко смеялась, пролила чай, утверждала, что нет ничего лучше России и православия, хотя меня об этом не спрашивали. Поэтому не могло быть и речи, чтобы столь дурно воспитанная девушка стала женой дипломата. Оскорбленный кандидат исчез из нашей жизни. Я встретила его снова лет через тридцать. Очевидно было, что ни мое имя, ни мое лицо не вызвали у него никаких воспоминаний. Что же касается меня, то я не испытывала сожалений. Постаревший, он показался мне еще более скучным, чем в те дни, когда был молодым. Но иногда я испытывала угрызения совести, думая о том, что мой брак по расчету мог бы обеспечить моей матери удобное существование.

Быстрой и мимолетной оказалась моя английская интермедия. В 1924 году, в семнадцать лет, меня послали представлять русских герлскаутов на международном слете в Нью-Форесте. То был год Всемирной выставки и, следовательно, льготных туристических тарифов. Отправляли меня без денег, поскольку их просто не было. Итак, я выехала без обратного билета, уверяя мать, что как-нибудь выпутаюсь. Пересекая Ла-Манш, я изнемогала от качки и, когда сошла на берег в Дувре, меня еще качало. Остров плыл в тумане, как корабль, а жители его, казалось, приспособились к такой странности. В Нью-Форесте шел проливной дождь, и все дни, что я провела там, я завидовала своим подругам, которые с улыбкой встречали эти потоки и не заболели бронхитом, как случилось со мной в первый же день. Однако меня слегка напугало весьма большое количество собравшихся женщин, очень разных по возрасту и положению — от герцогских дочек до продавщиц из маленьких бакалейных лавок. Старая дама с коротко подстриженными волосами носилась, как ураган, на ревущем мотоцикле — в лагере она

выполняла роль почтальона. Матрона с холеными руками ставила палатку с ловкостью заправского ковбоя. Эту женскую вселенную можно было стерпеть только потому, что она состояла из англосаксов. Делегатки прибыли со всех концов Империи, которая еще не распалась окончательно, — Индия, Гонконг, Австралия, Цейлон, Бирма представляли в моих глазах удивительное по своему поведению единообразие.

После окончания заседаний на меня дождем посыпались приглашения. И, таким образом, без копейки в кармане я смогла посетить замки и музеи, театры и частные дома, постоянно испытывая чувство благодарности и удивления, восхищаясь увиденным.

Но в один прекрасный день я оказалась на улицах Лондона без спутников и без денег. Юным авантюристам иногда везет. Я проходила мимо маленького русского ресторанчика и вошла в него. Хозяйкой его была англичанка, работавшая когда-то в России гувернанткой; как и большинство иностранцев, которые долго прожили в России, она испытывала тоску по всему русскому. Ностальгия, возможно, была единственной причиной, которая заставила ее открыть в этом мире ростбифов, пудингов и пая столь экзотический ресторан, куда отваживались заходить очень немногие клиенты. Едва я начала объяснять, в какое положение попала, добрая женщина усадила меня за стол и прежде всего предложила мне *борщ* и *котлетки*. В углу перед тарелкой борща сидел за столом самый старый из русских генералов, которых я когда-либо видела, более того, он был одет в свою военную форму. Услышав наш разговор, генерал подошел, чтобы представиться и предложить мне свои услуги. Его звали Холодовский, ему было около 90 лет, и он поклялся умереть в своем генеральском мундире, который носил так долго. Тут я нашла не деньги, но двоих друзей.

В Лондоне, как и в других местах, жили русские, правда, здесь их было гораздо меньше, чем в Париже и Брюсселе, и я приехала как раз в тот момент, когда русская колония находилась в состоянии брожения. Великобритания признала советское правительство, и господин Саблин, прежний поверенный в делах правительства России, должен был передать коммунистам здание посольства. Генерал немедленно повел меня на церемонию торжественного открытия Русского Дома, которому надлежало служить чем-то вроде запасного посольства или по крайней мере центром русской колонии. Церемония была грустной, но полной достоинства. На ней присутствовали Великая княгиня Ксения Александровна, сестра последнего царя, графиня Торби, морганатическая супруга Великого князя Михаила, внучка Пушкина по материнской линии, генерал Баратов, председатель Общества русских инвалидов войны и некоторое количество бывших придворных дам, бывших министров, бывших дипломатов и генералов... Меня попросили сказать несколько слов от имени русской эмигрантской молодежи, что я и сделала отнюдь не без смущения. Закончив свою речь, я чуть было не оконфузилась в глазах столь блестящего общества. Какой-то генерал в штатском подошел ко мне и спросил, как звали моего деда. Известно, что русские получают отчество по имени отца; я знала, что являюсь дочерью Алексея, но как звали его отца, к своему великому стыду, не ведала. Дед умер до моего рождения, и дело

осложнялось тем, что я никогда не слышала, чтобы моего отца называли Алексей Николаевич. Поскольку у него был титул, к нему обращались князь или ваше сиятельство, тогда как близкие звали его Леля (уменьшительное от Алексей). Я погорела самым жалким образом. Генералу все это показалось очень странным, и он оставил меня, чтобы поделиться с присутствующими своими подозрениями. Я в его глазах, видимо, превратилась в самозванку Шаховскую, что, однако, было не так важно, как лже-Анастасия. Мой старый друг генерал Холодовский умолял меня вспомнить имя деда, поскольку от этого зависела моя честь. Он перечислил мне длинный ряд имен, и я растерялась окончательно... Но вдруг одна пожилая дама — я узнала позднее, что она была вдовой адмирала Волкова, — бросилась ко мне, посмотрела в лицо и воскликнула, словно нашла любимую племянницу: «Но я знаю, знаю... если вы дочь Алексея, значит, вы племянница моих близких подруг — Маруси и Маши. Это же очевидно: вам по наследству перешли глаза вашей бабушки Трубецкой. Вашего дедушку, дорогая, звали Николаем». Я испустила глубокий вздох облегчения и поклялась себе заняться генеалогией семьи.

Имя дедушки нашлось, теперь надо было найти мне работу. Одна старая грузинская княжна, жившая в Лондоне и не знавшая английского языка, хотела сдавать меблированные комнаты и нуждалась в человеке, который помог бы ей подыскать жильцов. Я поселилась у нее, но идея грузинской дамы оказалась нелепой: она хотела, чтобы я разнесла печатные карточки с ее адресом к портье больших гостиниц. Я усомнилась в действенности подобных планов, но, по счастью, не задумывалась, какой смысл они могли иметь в глазах портье отелей «Риц» или «Савой». Тем не менее мое самолюбие страдало каждый раз, когда я подходила к этим важным, обшитым галунами персонам. Но я успокаивала себя, считая, что таким способом можно тренировать силу воли. Как-то раз один из портье взял мои карточки, но, несомненно, тут же выбросил, едва я повернулась к нему спиной. Во всяком случае бедная грузинская княжна так и не увидела ни одного квартиранта, и мы, разочарованные, вдвоем пили чай, а она гортанными звуками русского языка, сильно окрашенного ее родным Кавказом, излагала все новые планы и рассказывала мне о своей прекрасной юности.

Генерал Холодовский не оставался бездеятельным. Он ходил повсюду, читал объявления в газетах и однажды торжественно привел меня к магазину на Бонд-стрит, где продавали искусственный жемчуг. Совсем маленький и очень прямой в своем мундире — по такому случаю он надел все свои награды, — генерал представил меня элегантной даме, которая искала модель, чтобы демонстрировать эти самые жемчуга. Казалось, у меня не было никаких задатков для этой профессии, и я первая удивилась, когда после нашей беседы элегантная дама сообщила кому-то по телефону, что я — подходящая кандидатура. Мы договорились о жалованье, которое показалось мне сказочным, но возникла непреодолимая трудность — моя глупая привычка во всем придерживаться суровой правды. Главную ценность представляли не мои естественные прелести, а титул, — о такой рекламе мечтала директриса. Я не видела тут ничего плохого: в конце концов это мое единственное наследство, и я вольна была распоряжаться

им по своему усмотрению; но я отказалась дарить фотографии с надписью, утверждавшей, что многие поколения княгинь Шаховских носили именно такой искусственный жемчуг, предпочитая его жемчугу натуральному. Если бы я не упрямилась, то поняла бы, что эти слова никого не обманут, поскольку фирма существует всего лет пятьдесят, но моя непреклонность имела от роду всего семнадцать лет...

Как же окончилась моя первая английская авантюра? С полным основанием беспокоясь обо мне и моих лондонских трудностях, а также памятуя о моей молодости, господин Зиновьев, представитель русского Красного Креста, предложил мне вернуться обратно. Я пересекла Ла-Манш и, как блудный сын, явилась к матери. Я снова увижу Лондон только в 1941 году, под бомбежкой.

Эта попытка не дала мне ничего. Мне было восемнадцать лет, и я мечтала о независимости. Окружавшие меня люди казались совсем не интересными. Известно признание Марка Твена: «Когда мне было шестнадцать лет, я заметил, что мой отец человек невежественный и неопытный. Потом я уехал из дома, а когда вернулся через десять лет, то с большим удивлением обнаружил, что отец многому научился с того дня, как я его покинул».

Что касается меня, то я задыхалась в спокойной атмосфере Брюсселя; светские разговоры меня раздражали; под крылышками матери я так и останусь навсегда маленькой девочкой. Мне следует бежать отсюда, нужно самой отвечать за свою жизнь. И, как всегда, мать не противодействовала моим желаниям. Я записалась в Школу социальной службы в Париже, прося, чтобы мне предоставили комнату. Мать сказала, что не может давать мне больше четырехсот франков в месяц; это мало, ведь только комната будет стоить восемьдесят. Ее подруги подняли громкий крик: «Отпустить молодую девушку одну в Париж, столицу порока!» Но их никто не слушал. Мой брат в 24 года стал главным редактором литературного журнала *«Благонамеренный»*, самого роскошного журнала эмиграции, где сотрудничали Бунин, Ремизов и другие, он поручил мне некоторые дела с русскими писателями в Париже, что, естественно, придало мне чувство собственной значимости. Однако я совсем не походила на бальзаковского Растиньяка, когда садилась с двумя чемоданами в вагон третьего класса, который увезет меня в Париж. Я не мечтала покорить столицу, стать богатой и знаменитой. Жизнь, только жизнь влекла меня, разнообразие мира. Мне хотелось все увидеть, все познать. Я хотела оставаться свободной, не испытывать чьего-либо влияния, каждый раз самой делать свой выбор.

Мне девятнадцать лет, я совсем одна в большом городе. За стенами Парижа раскинулась Франция, знакомая и незнакомая одновременно. Я представляю ее себе подвижной, грациозной, легкой в противоположность моей родине — могучей, неповоротливой, бездонной. Во Франции я полна «наивного и нежного изумления варвара перед маленькой де-

вочкой»[1]. Эта юная грация на фоне древней цивилизации внушает одновременно образ молодости и старости, в ребенке видны черты предка. Мне хотелось бы усвоить эту легкую грацию и трезвую мудрость. Перед моим чудовищным аппетитом, готовым поглотить одну за другой все иноземные цивилизации, Франция предстает в виде Красной Шапочки рядом с большим волком — если бы можно было умножить мою скромную персону на 160 миллионов подобных аппетитов.

Сначала Париж и его жители показались мне экзотичными — мы всегда кажемся экзотичными для кого-то. Словно в силки птицелова, я попала в легкое дыхание, очарование, царившее в Париже под сизым перламутровым небом, в величественных серых красках домов, в его живой и легкой речи, быстрых мимолетных улыбках, беглых зажигательных взглядах. Любезность, вызванная, возможно, безразличием, и возбуждение ума, направленное равно на великие и малые предметы, меня не смущали. Свобода здесь казалась огромнее, чем в других местах. Одним словом, как я напишу позже, Париж стал для меня не просто городом, но «городом в стране, страной на континенте, континентом в цивилизации».

Я считаю своей заслугой то, что украсила Париж столькими достоинствами. Первые шаги моей парижской независимости не вызвали у меня ослепления; мое пребывание началось с небольших личных огорчений. Плохо одетую, с иностранным акцентом и на вид более юную, чем это было на самом деле, меня ограбили, словно в лесу. Ювелир, которому я показала свою длинную золотую цепочку, вернул мне ее, укоротив наполовину; консьерж освободил меня от моих капиталов, рассчитанных на месяц; в кафе мне не давали сдачи. Я пыталась протестовать, но заикание делало мои возражения бессильными и только вызывало смех. «Это существо не умеет говорить, а еще что-то хочет доказать!» У меня хватило здравого смысла не обобщать огорчения и — мое огромное преимущество — не поддаваться комплексу неполноценности, который является несовершенным видом христианского смирения. Значит, все дело в богатстве и бедности? Тогда это ничего не стоит. В то же время я переняла у французов вкус к логике и сказала себе: «Если люди хотят меня обидеть, то я буду настоящей дурой, доставляя им такое удовольствие; а если они не хотят этого, тогда было бы глупо обижаться». Сковав себе такую броню, я обосновалась в парижской жизни, не имевшей ничего общего с игривым журналом такого же названия, который предлагал своих обнаженных женщин в газетных киосках.

Дом, в котором я живу (он существует и сегодня), № 139 на бульваре Монпарнас. Я устроилась в комнате на мансарде, круглое окно которой выходит на монастырский сад. Когда я выхожу утром выпить в кафе чашечку кофе, бульвар Монпарнас кажется мне совсем домашним и благодушным. Дети в черных фартучках и пелеринах спешат в школу, хозяйки, на бегу обмениваясь приветствиями, торопятся за молоком; какой-то мужчина в пальто, накинутом на пижаму, с поджаристым батоном под мышкой возвращается домой, просматривая на ходу газету. В кафе

[1] Я цитирую по памяти строку из поэмы Монтерлана. (*Прим. автора*).

«Дом» у стойки рабочие подкрепляются перед трудовым днем глоточком белого, а то и кальвадоса. Кофе — на самом деле просто отвратительное пойло (до появления аппаратов «экспрессо» в парижских бистро было почти невозможно получить хороший кофе; это, как паштет из жаворонка, — крупинка кофе на целую ложку цикория), но горячее, сладкое. Первым глотком я приветствую чудесную встречу с новым днем. У меня так мало денег, что порой приходится воздерживаться от рогалика или бутерброда. Иногда я рискую сунуть большую медную монету в автомат; если монетки с глухим звоном сыплются на поднос, я съедаю один, два, три рогалика; если же машина проглатывает последнее су, мне остается только надеяться на моего нового приятеля — мальчика за стойкой. Не говоря ни слова, он толкает в мою сторону бутерброд, и я съедаю его. Первого числа нового месяца я заплачу за эти бутерброды, хотя он ничего не спрашивает у меня, — может быть, он предлагает их мне за счет хозяина?

Школа моя называется Практической школой социальной службы. Провидение сочло полезным показать мне как можно больше пейзажей и людских сообществ. После аристократического Екатерининского института в Санкт-Петербурге — демократический американский колледж в Константинополе, строгий и благонамеренный монастырь и социалистическая школа в Брюсселе, а теперь я в протестантской школе в Париже. Если сначала я немного побаивалась гугенотской суровости протестантов, то очень скоро успокоилась: дочери пасторов и миссионеров, собравшиеся со всех концов Франции, из Вогезов, Нима, Лиона, Тулузы, были веселыми девочками и, за исключением двух или трех, свободными от каких-либо комплексов. Вокруг меня на все голоса звучали самые разные французские акценты — очень неблагоприятное условие для того, кто хотел бы усвоить парижское произношение (хотя оно нисколько не лучше французского, на котором говорят в Турени). Мои подруги, здоровые, энергичные девочки, думавшие больше о том, чтобы приносить пользу, а не только зарабатывать деньги, мне нравились. Провинциалки, они, как и я, набрасывались на то, что мог дать Париж: выставки, концерты, спектакли... Вместе с ними я открыла «Комеди Франсез», который даже слегка надоел мне, и Питоевых, которые меня восхищали. Вечерами, грызя шоколад, мы обсуждали очень серьезные вопросы. Нашлась, правда, одна паршивая овечка — полька Анка, постарше нас, чьи странные манеры нам не понравились еще до того, как мы узнали их причину. Однажды вечером, когда я проходила мимо ванной комнаты, меня окликнули: «Кто там?» Называю себя. «Зайди, помоги мне». Открываю дверь. Белокурая розовая Анка сидит в ванне с печальным страдающим лицом. Она шепчет: «Вода слишком горячая». Инстинктивно я почувствовала в этих простых словах какой-то призыв и, так же инстинктивно ощетинившись, спокойно повернула кран холодной воды: «Это вас освежит». В конце учебного года Анка вернется к себе на родину, увозя с собой жертву — некую брюнетку.

Париж, по которому я хожу целыми днями, совсем особый город. Кроме курсов, например, политической экономии, которую преподает Шарль Жид в Коллеж де Франс, или курсов по психологии и праву,

есть еще практика, которая гоняет меня с одного конца города на другой. Вот я, вся в белом, в детском приюте у профессора Марфана взвешиваю детей, готовлю им бутылочки с соской. Дети эти хорошо ухожены, на их ручках розовые или голубые, в зависимости от пола, повязочки, — но они редко улыбаются. Иногда сестры вынимают их из кроваток, чтобы покачать на руках; да, малыши нуждаются не только в заботе и питании, но также в тепле женского тела, чтобы сохранилось желание жить. За перегородкой плачет ребенок, которого даже самая великодушная из сестер не возьмет на руки. Его недавно принесли из парка Бют Шомон, на его сморщенном личике белые волдыри сифилиса...

Днем Париж для меня — город нищеты. В диспансере госпиталя Святого Антония я перевязываю и промываю раны приходящих больных. Но даже не сами раны, а ужасающая грязь на телах и одежде этих людей поражает меня. Можно подумать, что в Сене нет воды, а мыло еще не изобрели.

Более веселый эпизод — детский сад Фонда Ротшильда, лучезарный по сравнению с другим, который устроен в бараках знаменитой парижской зоны. Здесь дети растут сами по себе, «словно сорная трава», — говорят их родители, погруженные в такую же нищету и скученность, среди драк и тяжелого пьянства бедняков. Равенство на исходных позициях позже дает неодинаковую жатву. У семилетнего Малу доверчивый открытый взгляд, простодушная улыбка; Жинетта в том же возрасте постоянно шевелит губами, как пожилая женщина, тень порока лежит на лице, которое хочет быть невинным, а во взгляде читается такое обширное знание зла, что рядом с ней я, взрослая, смущенно опускаю глаза. Мальчик, скорый на смех и на слезы, плачет, если с ним говорят слишком строгим голосом; рядом маленькая брюнетка, у нее низкий лоб, она отталкивает любую ласку. В грязных помещениях зоны растут бок о бок две человеческие расы. Хорошие не в состоянии наставить на путь истинный или очистить плохих; дурным будет невозможно испортить добрых. Это очевидно, и нельзя надеяться на чудо...

Затем меня перевели в отделение социальной помощи Святой Анны. Я забыла имя профессора, на консультациях которого присутствовала как помощница, разложив перед собой учетные карточки. Длинная вереница мужчин и женщин, заблудившихся в проблемах социальной или семейной жизни. Женщины начинают плакать, жалуясь на мужа, детей, невесток, награждая иногда своих близких чудовищными обвинениями. Мужчины неразговорчивы или наоборот — чрезвычайно болтливы; одни стыдятся того, что доведены до крайности, до необходимости просить помощи психиатра, другие гордятся тем, что чувствуют себя «не такими, как все»... Из прошлого выплывают два особенных случая: бретонец, служащий банка, ему около тридцати лет, у него приятное лицо, медленная речь. Он одержим идеей самоубийства: прогуливаясь по набережной Сены, переходя реку по мосту, он испытывает желание прыгнуть в воду; окно и лестница приглашают его броситься вниз головой; готовя себе пищу, он колеблется, надо ли закрывать газовый кран. Я записываю все эти сведения, в то время как профессор ровным голосом задает вопросы, будто ощупывая больного: фамилия, имя, чем болели... Вялый,

какой-то расслабленный, молодой человек отвечает — он впервые покинул родные места и не смог найти себе друзей в Париже... Он напряженно ждет приговора. «Ладно, — говорит профессор, — значит, вы просто увольняетесь и возвращаетесь к себе домой. В конце концов, вы так хорошо работали до приезда в Париж. Вы совсем не больны. У вас просто тоска по Бретани, по своим друзьям». И у меня на глазах молодой человек меняется. «Это правда, вы так думаете, господин профессор?» И он уходит с высоко поднятой головой, повеселевшими глазами. «Он не смóг приспособиться к новому окружению, — говорит мне профессор, — конечно, это благоприятный случай». Если бы у меня было время, может, я тоже задала бы вопрос себе самой: «А я приспособилась? И к чему надо приспособиться, чтобы выжить?» Но я уже поняла — это знание мне дано как незаслуженный дар, — в столь зыбком мире не обманывает только свет.

Какое-то обследование привело меня в район Северного вокзала. Я вошла в большой закопченный дом, поднялась по лестнице, которая, как большинство лестниц в многолюдных бедных кварталах, пахнет одновременно кислой капустой, иодоформом и кошками (речь идет о 20-х годах). На третьем этаже дверь мне открыла старая женщина в парике. Я едва успела произнести польское имя, указанное в моей записной книжечке, как вошла, или скорее возникла в маленькой прихожей другая женщина, помоложе, рыжая еврейка, которая могла бы быть красивой, если бы не была такой неряшливой. Она схватила меня за руки и умоляющим тоном произнесла лихорадочную речь на еврейском языке. При исполнении служебных обязанностей — любопытный факт — исчезало мое заикание. Я объяснила матери, предположив, что старуха — мать рыжей, что хотела бы присесть и побеседовать с бóльшим удобством. И вот мы все трое уселись в соседней комнате — чистой и почти без мебели. Молодая говорила без остановки, слезы катились по ее худому лицу, у нее были глаза лани, удлиненные и блестящие. Слово польское, слово немецкое, слово русское, и история становится понятной. Из Познани женщины приехали в Париж с мужем более молодой, скорняком по профессии. Семь месяцев тому назад он их бросил. Они «не знают никого и не имеют денег». Молодая перебивает свою мать: «Он здесь, он здесь, совсем близко». И старая мне объясняет: «Она вбила себе в голову, что ее муж ушел жить к соседке по площадке, но это не так». «Так, так, так, — кричит молодая, — каждую ночь я слышу, как они смеются и издеваются надо мной. Я убью ее, убью!»

Приходится терпеливо подтверждать версию матери: «Нет, мужа там нет, — убежденно вру я, — мы посылали полицейского, чтобы проверить, там ли ваш муж. Вы же понимаете, полицейский — это серьезно. Он искал во всех комнатах — вашего мужа там нет». Старуха одобряет меня, тревога, жалость заставляют дрожать ее сморщенное лицо и делают похожей на всех матерей мира. В какой-то момент больная, кажется, близка к тому, чтобы согласиться с нами, но потом ее взгляд становится подозрительным: «Вы обманываете меня, вы с ним заодно, и мать моя тоже», — и она снова начинает стонать.

Без сомнения, молодую женщину отправят в приют Святой Анны, а потом, потом? Я ничего не узнаю о ней. Я спускаюсь по лестнице, и строки стихотворения Пушкина складываются на моих губах в некую молитву:

Не дай мне Бог сойти с ума,
Уж лучше посох и сума!..

Между практикой и лекциями я все-таки должна что-то есть. Двухсот пятидесяти франков, которые остаются у меня после уплаты за квартиру и обучение, хватает очень ненадолго. Сумма минимальная. Если бы она была больше, ничего не изменилось бы — я так и не научилась считать. Я могу питаться в столовой для студенток (в 1925 году мужской и женский пол разделены, даже во время еды) на бульваре Распай, но как ни дешевы эти обеды, за них все равно нужно платить. Мне находят место кассирши в столовой около Шатле. Она предназначена для продавщиц больших магазинов, «чтобы избавить их от нежелательных встреч». Я остаюсь там с полудня до часу и получаю еду —закуску, мясное блюдо, сыр. Но, когда я сдаю кассу, каждый раз мне приходится доплачивать из своего кармана. Давая сдачу, я, непонятно почему, вечно ошибаюсь в пользу клиента, и через десять дней я оставляю это место.

Я хорошо знаю парижское метро и ненавижу его. Я вынуждена пользоваться им в часы пик, и меня душит тяжелый запах, распространяющийся в его подземельях. Я плохо переношу толпу. Сжатая, стиснутая со всех сторон в вагоне, перед дверьми, не имея возможности ни идти вперед, ни отступить, я испытываю ужасную тоску. Длинные коридоры кажутся мне лабиринтами ада, маньяки и развратники, стоящие, как будто в засаде, в каждом закоулке, внушают отвращение. Если левантинцы, торговцы около Галатского фуникулера, были персонажами немного комичными — краснолицыми и толстопузыми, то в парижском метро сновали хилые притворщики, напоминавшие сколопендр и мокриц, которые кишат в сырых подвалах.

Но вот день кончился. Наступил вечер, и я выхожу на бульвар Монпарнас. По сравнению с утренним своим видом он изменился: все кафе в квартале заполняют необычные посетители, я смотрю на них с живым интересом и одновременно с полным равнодушием. Я знаю коекого в лицо, других, более знаменитых, по имени, но у меня нет желания ближе познакомиться с ними. Этнические группы — американцы, северяне, горсточка испанцев и учащиеся окрестных академий, лохматые и тощие. Там говорят: «Пикассо», но для меня это только одно из многих имен.

Художники предпочитают кафе «Дом», писатели — «Ротонду». Монпарнасский фольклор вдохновляет на сочинение историй, а уж эти истории подбирают себе имена. Я хожу взад-вперед между столиками в дымном воздухе. Вот Фернанда Баррей, бывшая жена Фужиты, со своим новым другом — японцем, и Фужита тоже здесь, со своей женой Юки, розовой беленькой пухленькой люксембургской Помоной. Ее блеск делает еще более худым и желтым лицо мулатки Айши, модели художников Монпарнаса. Я видела задолго до часа их посмертной славы

толстого Паскина, окруженного целым роем совсем юных женщин, часто пьяного и всегда грязного Сутина, длинного Ивана Пуни, а также Кики, которая поет в Жокей-клубе. Эта девушка хорошо сложена, у нее крепкие ноги, она первая стала подкрашивать глаза «на египетский манер», и все смотрят на эти огромные глаза, удлиненные к вискам.

Содержанки и проститутки, натурщицы, псевдоинтеллектуалки и лавочницы этого квартала проходят перед моими глазами, как действующие лица «Трехгрошовой оперы» Брехта. Ночь все темнее, люди встают и уходят, их сменяют другие. Появились пьяные мужчины, одни говорят слишком громко, другие дремлют на скамейках, их тяжелые руки лежат на столе, липком от пролитого вина, наркоманы с блестящими глазами и гениальными, как им кажется, речами. Почему же я прихожу сюда, чтобы посидеть с ними, обычно с кем-то из моих русских приятелей? Это странный и чужой мир, к которому меня толкает любопытство. Какое любопытство? Мое желание сначала узнать, а потом рассказать — но кому?

Случалось мне совершать совсем короткие экскурсии в мир богатых людей. Верные привычкам большинства бельгийцев, Альфред де Розе и Ги д'Аспремон иногда приезжали в Париж проветриться. Они привозили мне почту от матери и приглашали меня на обильные пиршества. Альфред де Розе был настоящим деревенским великаном и жил со своей прелестной женой ирландкой Луизой в замке Шалтен около Сине. У него были простые вкусы, незнакомым блюдам он предпочитал бифштекс с жареной картошкой и одевался, не следя за изменениями моды. Ги д'Аспремон продолжал носить ботинки на пуговках, словно в дни своей молодости, вышедшие из моды воротнички, но знал все самые элегантные места, и его забавляло водить меня туда, хотя я, плохо одетая и небрежно причесанная, не делала ему чести. Меня восхищала перемена обстановки. Считая, что бедность тягостна, но никогда не позорит человека, я любила (и сейчас люблю) роскошь и предупредительных официантов, хорошее обслуживание, хорошую еду и хорошие вина.

Однажды Ги д'Аспремон приехал за мной, чтобы отвезти в Арменонвиль. Было еще прохладно, но можно было по крайней мере выпить аперитив на террасе, где мы сидели в одиночестве. Пока Ги д'Аспремон ходил звонить по телефону, он попросил меня заказать аперитив по моему вкусу. Поскольку я часто слышала в «Доме» или в «Ротонде», что многие заказывали какой-то пикон с гранатовым сиропом, то вообразила, что это нечто особенно (nec plus ultra) элегантное. Вот я и попросила у старого метрдотеля принести мне один пикон. Этот вульгарный пикон-гренадин заставил его насторожиться. Плохо одетая молодая девушка в сопровождении богатого сорокалетнего мужчины. Из всего этого он сделал заключение — ошибочное, но правдоподобное и, воспользовавшись тем, что я сидела одна, наклонился и строго сказал: «В семнадцать лет (мне было уже больше) не ходят с пожилыми господами и не пьют пикон-гренадин». Хотя я была очень оскорблена в тот момент, но и сегодня благодарна ему за доброе побуждение.

Ги д'Аспремон водил меня слушать шансонье в «Розовую луну», «Два осла», «Казино де Пари», где, казалось, он веселился больше, чем

я, потому что политические намеки мне были малопонятны, а игривые шуточки просто шокировали, как и кривлянье Жозефины Бакер. Хотя я и была молода, но очень скучала в кабаре. Только из вежливости я изображала веселость в «Кавказском погребке», куда меня водил все тот же Ги д'Аспремон.

Жозеф Кессель, как и подобает романисту, рисует парижские ночи русских князей весьма живописно. У меня же от редких экскурсий по ночному и русифицированному Парижу того времени сохранились совершенно другие образы. Может быть, потому, что я не пила совсем или очень мало, веселье вокруг меня казалось мне скорее печальным. Бывшие офицеры, превратившиеся в официантов в ресторане, услужливо склонялись к хорошему клиенту — моему кавалеру, цыгане подходили к нашему столику и заставляли плакать свои скрипки, глядя нам в глаза с грустным ожиданием, вплоть до того момента, когда портье в своей черкеске открывал дверцу такси, протягивая руку для чаевых. Все это не вызывало у меня радости; я по-прежнему видела очень тяжелую работу, которая требовала не только профессиональных усилий от тех, кто ее выполнял, но еще и обязательной улыбки.

Так складывался у меня весьма неполный образ Франции. Мои товарищи по школе, жители зоны, персонажи Монпарнаса, прохожие, с которыми я сталкивалась на улицах Парижа, — никто не давал достаточно материала. Только продолжительное сосуществование с французами, знакомство с их писателями, живыми или умершими, и общие испытания позволят мне в будущем понять, что такое Франция. Но я уже чувствовала, что за кажущейся бестолковщиной французы повинуются строгой системе поведения, и именно в этом — признак цивилизации. У меня нет комплекса неполноценности по отношению к Франции, поскольку я знаю, что по своему происхождению принадлежу к великой стране. Если у нас есть свои пороки, то много и добродетелей, в существовании которых я не хочу ей отказывать. Смогу ли я сохранить свои русские привычки и в то же время научиться на французский манер «следовать рассудку»? Я курсирую между двумя мирами: одним — теплым и хаотичным — и вторым — блестящим и более холодным.

В 1925 году русская колония в Париже была крупной и разрозненной. Она будет стариться, остепеняться и к тому, что останется от нее, присоединятся, начиная с 1945 года, другие русские, беженцы из СССР, люди совсем другой формации.

В 1925 году мы еще чувствуем последствия гражданской войны. Молодежь, с которой я сталкиваюсь, непостоянна и недисциплинирована. Старшее поколение, обращенное в прошлое, улаживает свои давнишние ссоры, которые будут иметь продолжение даже в религиозной жизни. Никакая другая современная эмиграция не основала и не построила столько церквей, сколько русская. В небольших городах, в угольных бассейнах, во всех столицах русской *диаспоры* обязательно имеется церковь или часовня. Старые политические партии действуют, приобретают иные оттенки, порождают новые группы. Спектр их очень велик — от ультра до меньшевиков, старые вожди ворошат прежние разногласия. Две большие ежедневные газеты — *«Последние новости»*

П. Н. Милюкова и *«Возрождение»* Семенова, основанная нефтяным магнатом Гукасовым, — ведут ожесточенную борьбу. Красный Крест, Союз офицеров участников войны, Союз инвалидов войны, Общество галлиполийцев, Союз писателей и поэтов, Земгор, Крестьянская Россия, Высший монархический совет, Евразийцы, Младороссы — трудно назвать все политические и культурные[1] организации, имеющие связи со своими секциями в Берлине, Праге, Белграде и в других местах. Приходские школы, гимназия, вечерний Технический институт, заочные курсы, балетные школы, консерватория, Православный богословский институт на Сергиевском подворье, Академическая группа заботятся об образовании.

Очевидно, что французское общественное мнение не могло слишком благожелательно принимать жертв революции; симпатии французов традиционно на стороне левых сил, и эмигрировавшие писатели не встречали у французской интеллигенции такого расположения, которое позже получат бежавшие из своих стран испанские, немецкие или советские писатели. Что касается французской консервативной партии, которую прижимали в своей собственной стране, она в 1925 году считала, что русские — монархисты или коммунисты — прежде всего «варвары».

В 1925 году каждая нация могла себе позволить ненавидеть иностранцев без обвинений в расизме. То, что стало немыслимым после последней войны, породившей столько «развивающихся» стран, казалось нормальным после первой мировой войны[2].

В школах, куда ходили дети эмигрантов, в метро, где русские по привычке говорили друг с другом слишком громко, в магазинах, где пытались объясниться на своем плохом французском, они могли слышать: «грязные русские» или даже больше — «грязные русские, грязные иностранцы, возвращайтесь к себе» и не ждать никакой реакции в прессе. Может быть, подобные выражения помогли некоторому количеству русских избежать ассимиляции.

Политические деятели, все или почти все, однако, договорились если не с «небом», то по крайней мере с «землей»; русские политические деятели находили себе поддержку. Одни — у иностранных правительств, которые всегда предвидели возможное изменение ситуации; другие — у иностранных братских партий, что особенно характерно, повторяю, для левых.

В своей книге *«На чужбине»* Лев Любимов, очень ловко умеющий менять свои взгляды (он не был таким в жизни до возвращения в СССР, где опубликовали эту книгу!), говорит о русских масонах в Париже. Некоторые эмигранты, а именно многочисленные адвокаты, стали

---

[1] Господин Аронсон в *«Русской мысли»* (Париж, 1965) перечисляет 12 политических партий и 18 периодических изданий, большой книжный магазин — Дом иностранной книги, 9, улица Эперон, маленькие магазины, публичную Тургеневскую библиотеку, читальные залы, издательства. Это маленькая империя, разделенная и единая одновременно. (*Прим. автора*).

[2] На самом деле я ошибаюсь. В 1965 году в Европе еще можно было безнаказанно заявлять о ненависти к американцам, французам, русским, англичанам, в крайнем случае — немцам. Последние не являются неприкасаемыми. (*Прим. автора*).

членами Великого Востока во Франции. Другие вступили в русскую ложу «Северная звезда», руководителями которой стали некоторые члены русского Временного правительства (большинство министров этого мимолетного правительства были масонами). В 1932 году ложа подвергнется осуждению и снизит активность после того как ее члены-антикоммунисты позволят себе нападать на Эдуарда Эррио, который вернется после своего второго визита в СССР с проповедью франко-советской дружбы.

Раскаявшийся масон Любимов рассказывает с юмором о тайных собраниях, которые объединяли братьев, казалось бы, несовместимых в обычной жизни — адвокат-талмудист Слиозберг беседует с графом Шереметевым, который называет себя православным; бывший индустриальный магнат Путилов и князь Вяземский — с дантистом-евреем... Любимов утверждает, что успех масонства среди русских можно было объяснить тем, что эмигранты наконец-то нашли среду, где они могли быть на равной ноге со своими хозяевами, парламентариями, журналистами и французскими чиновниками. Журналист из газеты *«Возрождение»*, Любимов сам извлек выгоду из своего присоединения к масонам. Важные персоны с большей легкостью давали ему интервью, а иностранные консулы — визы на его поездки с ними. Ложи равным образом предоставляли примкнувшим возможность контактов с Соединенными Штатами, Германией и т. д. Таким образом, наряду с политиками они стали привилегированными эмигрантами.

Бóльшая часть эмиграции могла рассчитывать только на свой труд. Во Франции всегда существовали этнические колонии: итальянцы, поляки, бельгийцы пришли раньше арабов, португальцев, испанцев, но русская колония имела свои особенности: она состояла не из рабочих, а из интеллигенции. По мнению Петра Ковалевского[1], среди русских насчитывалось 30 процентов с университетским и 70 процентов со средним образованием. Париж, после Берлина, стал духовной, интеллектуальной и артистической столицей русской эмиграции.

Крупные деятели театрального искусства, живописи, литературы, науки, музыки, кино старой России обосновались здесь: Питоевы, Кшесинская, Анна Павлова, Преображенская, Глазунов, Стравинский, Прокофьев, Рахманинов, Шаляпин, Кусевицкий, Иван Мозжухин, Наталья Кованко, Турянский, Кедровы, Ларионов, Анненков, Наталья Гончарова, Билибин, Стеллецкий, Бунин, Бальмонт, Сикорский, Метальников, Грабарь... а сколько еще других! Несмотря ни на что, эмигранты принесли жителям Запада более полное знание русского мира, но симбиоза не получилось. Большинство считало, что они против своей воли живут в стране, которая в свою очередь приняла их против своего желания. Франция, как таковая, не была враждебной, она была безразличной. Если улица скорее плохо встречала их, то — любопытный факт — заводы и шахты принимали белых эмигрантов без лишних историй. После некоторого недоверия установились прекрасные отношения между квалифицированными работниками и теми, кто хотел ими стать. Русские шоферы такси

[1] Учебник русской истории. Париж, 1946. (*Прим. автора*).

хорошо знали город, но путались во французском языке. В швейных ателье появились манекенщицы «новой волны» и модные портнихи, чьи фамилии кончались на «ова» или «ая». Все эти труженики не обретали пролетарского сознания. Они не мечтали о «великом дне» революции и не пылали ненавистью к тем, кто ездил в автомобилях. Их жизнь делилась на две части: часы, когда они работали, потому что нужны средства к существованию, и часы, когда они переставали быть рабочими, — все эти полковник Иванов, поэт Иванов, будущий инженер Иванов или даже иногда священник Иванов... Вечером, хорошо выбритый, в пиджаке и брюках, пролежавших ночь под матрасом, чтобы сохранить складку, один из этих Ивановых отправляется на политическое собрание, литературный вечер, концерт, театральное представление, на бал... В его комнате фотографии из его прошлого, множество книг и журналов. Кварталы, где он живет, — это XV, XIV, XVI округа, в ресторанах его ждут водка и борщ, в его магазинах говорят по-русски... В воскресенье утром он идет в церковь на улице Дарю или в церковь Общества галлиполийцев, Сергиевского подворья или наконец в маленькую часовню своего квартала. Часто он присутствует на службе совсем недолго, но проводит достаточно времени у дверей или в ограде, разговаривая со старыми знакомыми. Тем не менее из своего скудного заработка он поддерживает эту церковь, которая живет на пожертвования бедняков. Он разделяет с парижанами их любовь к кафе, открытым террасам и ипподромам.

В этом мире, в этой маленькой русской империи без границ, которая из-за своей слабости, кажется, могла бы бесследно исчезнуть и, однако, продолжает существовать более полувека, вырастают новые поколения и принимают эстафету. Воскресным утром я тоже иду в церковь и — увы! — я тоже больше болтаю, чем размышляю о возвышенном. Политика, какая бы она ни была — бельгийская, французская или русская, — меня мало интересует. Мне случается присутствовать на собраниях в редакции газеты *«Родная земля»*, которой руководит Григорий Алексинский, бывший депутат Думы.

Вечерами в доме номер 116 на бульваре Распай собираются посетители не для того, чтобы выпить рюмочку. Я встречаю там русскую интеллигенцию, несколько растерявшую перышки в результате всех событий: поэт Леонид Добронравов, писатель Михаил Осоргин, журналист Григорий Майер, знаменитый романист Александр Куприн со своими татарскими, раскосыми глазами, очаровательной детской улыбкой и дрожащими руками. После первого стакана вина он погружается в дремотную невозмутимость Будды. Все эти люди во времена своей молодости были либералами, как подобало русским студентам, и, вспоминая юность, они, случается, поют *«Гаудеамус»* или умеренно революционные песни. Я слушаю рассказы об их борьбе против старого режима, не сержусь, потому что они и я дошли до того, что встречаемся в одной и той же комнате на бульваре Распай.

Михаил Осоргин рассказывает о своей жизни в колонии студентов и студенток, воодушевленных революционными идеями начала века. Укрывшись где-то в деревне среди полей, они проводили дни и ночи в страстных дискуссиях, иногда идеологических, иногда практических, то

есть касавшихся организации революции, обсуждая способы проведения будущих террористических актов. Однажды надо было по самой прозаической причине зарезать петуха. Превосходная тренировка для террориста. Однако никто не взял на себя такую честь: пришлось бросать жребий, кому исполнить столь почетную задачу. Девушек исключили. Птицу поймали. Мужчина, выбранный жребием, с решительным видом взял нож и, уйдя за дом, принялся за дело. Вскоре раздались бешеное кудахтанье, ругательства, крики; окровавленный петух вырвался и начал бегать, сея панику среди кур, в то время как начинающий террорист ловил его и кричал: «Кончайте его, кончайте!» и был так бледен, что ему дали сердечные капли. Никто не решился продолжить начатое. В этот момент отважная крестьянка, работавшая у коммунаров — тогда даже революционеры не могли обходиться без домашней прислуги, — с презрением посмотрела на этих людей, которые не могли толком убить даже петуха, взяла брошенный нож, поймала жертву и без гримас и причитаний ловко отрубила ей голову. «Всегда можно доверить нашему доброму народу пустить в ход самые смелые идеи интеллектуалов», — говорил один журналист, который слышал этот рассказ и извлек из него историческую мораль.

Несмотря на «знакомство с интеллигенцией», настал момент, когда группа молодых монархистов «Националистическая молодежь», вождем которой была очень красивая и умная Нина Полежаева[1], прозванная Полежанной д'Арк, вовлекла меня в одно сугубо контрреволюционное действо. П. Н. Милюков и его друзья социал-демократы проводили конференцию, если не ошибаюсь, в географическом зале в университете. Я не состою в партии «Националистическая молодежь», но соглашаюсь отдать свой голос и свои силы борьбе, чтобы прервать конференцию. Нет ничего легче, как устроить шум. Поднялась суматоха, и я, верная инструкции, влезла на сцену и там около трибуны раздавила какие-то вонючие бомбы... Взрывались петарды, гремели крики, нас выгнали, и мы, встретившись, побежали подкрепиться в соседнем бистро. Эта акция не доставила мне никакого удовлетворения. Чересчур университетский вид профессора Милюкова и членов президиума, удивленное лицо другого оратора, госпожи Екатерины Кусковой, наша необузданность в академической атмосфере — все это не вдохновило на новые подвиги. Франция действует на меня. Я поддаюсь влиянию терпимости.

Благодаря брату я встречала нескольких русских писателей, но регулярно виделась лишь с Алексеем Ремизовым. (Моя дружба с Буниным, Цветаевой, Замятиным, Тэффи начнется только в тридцатые годы.) Алексей Ремизов был человеком необыкновенным. Маленький, с головой, втянутой в плечи, с редкими волосами, причесанными на манер рожек фавна, с круглыми близорукими глазами, которые, однако, видели очень далеко и проникали очень глубоко. Одновременно мудрец и клоун, лживый и искренний, христианин и полный какой-то дьявольской силы, безоружный перед жизнью и прекрасно умеющий заставить другого слу-

[1] Во время оккупации сотрудничала с немцами; была расстреляна ими за шпионаж в пользу Франции. (*Прим. автора*).

жить себе — такова была личность, очаровавшая меня. Алексей Ремизов мог сбить с толку любого, и не только девушку, плохо разбиравшуюся в писателях, какой была я. Рядом с этим сутулым человеком жила его огромная половина — Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, обладавшая формами, более чем обильными, профессор русской палеографии. С большой серьезностью Алексей Ремизов заставлял вновь прибывших знакомиться с таинственными предметами, которые населяли — я точно говорю, населяли, так как предполагалось, что они изображают магические существа, — его квартиру. На нитках, натянутых поперек комнаты, висели рыбьи скелеты, плюшевые чертики, перья, какая-то сушеная кожа — все это напоминало пещеру волшебника. Ремизов, чье искусство идет от Лескова и Розанова, хотел быть в западной столице русским колдуном, чудотворцем литературной выразительности, а также иррациональным волшебником. Он великолепно знал русский фольклор и русский язык прошедших веков. Для него единственным шансом удалиться от действительности жизни, полной опасностей, было спрятаться в ирреальном. Ремизов писал о своих грезах, замечательно передавая хаос черных лет России.

Ремизовы любили, когда кто-то посещал их. Их гостеприимство было очень московским: здесь долго пили чай с баранками, сухарями или пряниками, но, зная о бедности хозяина дома, все старались принести с собой что-нибудь сладкое, предпочтительно русское. У Ремизовых я говорила мало и лишь слушала, потому что с тех пор как очутилась в Париже, я была потрясена своим собственным невежеством. В одиннадцать лет я была не по годам развитым ребенком, в пятнадцать отличалась от девочек своего возраста, в девятнадцать заметила, что знаю очень мало. При мне говорили об авторах и вещах, о которых я никогда не слышала. Я молчала и слушала. Писатели казались мне существами необыкновенными, достойными особого уважения. Алексей Ремизов знал это и всегда умел так или иначе использовать мои услуги; как и у многих других, у меня сложилось впечатление, что без нашей помощи, наших забот он не смог бы выжить в мире, столь чуждом для него.

Меня хорошо принимали у Ремизовых, которые следили за любым знаком симпатии или зарождения чувства между теми, кто встречался у них — они были отчаянными сплетниками, — я подозреваю, что они говорили обо мне в моем отсутствии немногим лучше того, что было сказано о человеке, ушедшем от них как раз перед моим приходом. Тем не менее я любила их, потому что Ремизов открыл мне двери туда, куда я хотела войти, — двери в литературу.

Глядя на супружескую пару столь неподходящих друг другу людей, я не могу не спросить себя: как, почему соединились они на целую жизнь, — забывая, что пары всегда состоят из непохожих личностей, а союзы необъяснимы. Наконец кто-то рассказал мне историю их супружества, и она так соответствовала действующим лицам, что я немедленно приняла ее.

После беспорядков в университетах (история, естественно, происходит в России императорской и до моего рождения — может быть, в 1905 году) правительство выслало нескольких студентов и студенток в

маленький провинциальный город. Как видим, ничто не напоминает ссылку студентов в СССР. Алексей Ремизов, юный студент с неблагодарной внешностью и малоприятный для коллег из-за своей оригинальности, оказался в той же группе, что и юная воительница — розовая, дородная Серафима Довгелло, настоящая «русская красавица». Началась жизнь коммуной. Однажды обнаружили, что у одного из студентов украли часы. Конечно, не было и речи о том, чтобы звать полицию; это означало бы допустить, что среди студентов есть вор. Но атмосфера была отравлена, и подозрения большинства пали на того, кто не подходил под общую мерку, на Алексея Ремизова. Прекрасная Серафима, в которую все были влюблены, не побоялась сказать это самому подозреваемому: «Вы вор. Мы будем вас бойкотировать». Ремизов ничего не ответил, заперся в своей комнате, и началось испытание. Через несколько дней нашли настоящего вора; тогда Серафима поднялась в комнату Ремизова и сказала ему: «Я вас оскорбила. Вы пострадали из-за меня! Единственное возмещение, которое я могу вам предложить — стать вашей женой, если вы этого хотите».

Я могла бы передать множество историй об Алексее Ремизове, одну забавнее другой, и все довольно двусмысленные. Однажды мой брат, находившийся в Париже проездом, рассказал, что он потерял много денег (я уже не помню точной цифры, что-то около 400 франков), а для молодого редактора журнала «Благонамеренный» это была немалая сумма. В следующий приезд в Париж брат встретил сначала литературного критика М., который сказал ему: «Я знаю, князь, вы имели несчастье потерять 200 франков. Ремизов сообщил мне об этом»; потом брат увидел музыкального критика С., узнавшего, со слов того же Ремизова, что мой брат потерял 4000 франков. Восстановив точную цифру, брат пошел к Ремизову и спросил его между прочим: «Какого черта вы, Алексей Михайлович, сказали М., что я потерял 200 франков, а С., что 4000?» — «Хорошо, дорогой, объясню: вы сказали мне, что потеряли 400 франков — для вас это много, для С. — смешная сумма, а для М. 200 франков — просто огромная».

Ради своей громадной Серафимы Ремизов был готов на все. Он дышал только ею. Они говорят друг другу «вы», как было принято в среде мелкой буржуазии в России. За столом она импозантна, он притворно смиренный, они воссоздают в маленькой квартирке в Пасси московскую атмосферу. Это Москва купеческая, Москва XVII века и протопопа Аввакума. Очень старая Москва, которая оживает на листочках, заполненных неразборчивым почерком Алексея Ремизова. *«Взвихренная Россия»*[1].

Есть у меня развлечения менее серьезные. Русские эмигранты много танцуют. В арендованных залах разные организации устраивают благотворительные балы: бал императорских пажей, бал донских казаков, бал Красного Креста, бал инвалидов, балы, балы, балы, а перед ними —

[1] Так называется одна из книг Ремизова. (*Прим. автора*).

концерты, на которых выступают актеры кабаре. Оркестр русский, как и артисты и певцы. Между двумя песнями в дорогом кабачке стремительно возникают цыгане и поют даром, для доброго дела.

Буфет также типично русский: салат, маслины, пирожки, малосольные огурцы, бутерброды с икрой. Создается впечатление, что деньги, всегда получаемые из одного и того же источника, переходят от бала к балу, из кассы в кассу, и думается, что если бы эмигранты не посещали все эти балы, то часть ассоциаций взаимной помощи оказалась бы ненужной. Но вместо того чтобы класть свои деньги в сберегательную кассу, по мудрому примеру местного населения, русские эмигранты тратят их на танцы, сбор от которых идет в пользу других эмигрантов. Много пьют. Еще не стерлась из памяти гражданская война, и ее последствия не ликвидированы. В глубине сознания сохраняются отчаяние и горечь, старая неприязнь по политическим мотивам еще жива, и часто случается, что балы, начинающиеся самым мирным и даже церемонным образом, заканчиваются за кулисами драками и битьем стаканов.

Однажды вечером мне представляют молодого швейцарца. Это — Конради, родители которого прежде жили в России. Это он убил в Женеве советского посла Воровского, причастного к расстрелу императорской семьи. Естественно, он выглядит героем, и дамы мне завидуют, что у меня такой кавалер. Однако, восхищаясь им, я испытываю некоторую тревогу...

Мне случится однажды самой организовать бал в пользу скаутов, в зале Малакофф позади Розового Дворца, что мне стоило большой трепки нервов из-за неопытности. Я попросила принять участие в концерте таких артистов, как певец Смирнов, пианист Лабинский; пришлось нанять оркестр, создать комитет из дам, которые занимались бы буфетом. Наконец, чтобы придать балу больше блеска, я просила Великую княгиню Марию Павловну взять над ним шефство. Она приняла меня с исключительной любезностью и простотой, характерной для Романовых. Великая княгиня посоветовала мне обратиться от ее имени к князю и княгине Юсуповым, которые владели в то время Домом моды ИРФЕ (Ирина — Феликс). Хотя уже ничего не оставалось от его огромного состояния, князь Феликс явно не хотел об этом думать. Он, как и его мать, были по-прежнему щедры, как и подобает богатым людям, хотя некоторые из них об этом охотно забывают. Едва я объяснила ему цель своего визита, как он ответил с энтузиазмом: «Естественно, я возьму у вас билеты. Но сколько?» Он подумал минуту, а затем сказал: «Допустим, десять первых рядов партера. Это вас устраивает?» Очень обрадованная, я уже подсчитываю, что таким образом будет покрыта стоимость аренды зала. Но тем временем молодой человек, секретарь князя Юсупова, отводит его в сторону и пытается урезонить. Очень смущенный, князь возвращается ко мне и говорит: «Кажется, я позволил себе увлечься желанием быть полезным вашему делу. Случается, я забываю, что уже не могу делать столько, сколько хотелось бы. Сохраните за мной десять кресел партера и поверьте, я огорчен, что не могу взять больше».

Прежде русская аристократия упрекала актеров за то, что они ее изображали не такой, какой она была на самом деле. Светская женщина

на сцене должна была обязательно наводить лорнет на плохо одетого человека, а барон — говорить с подчеркнутым акцентом, который, по мнению актеров, был изысканным. И на Западе новоявленные маркизы и принцессы плохо играют свою роль. Одна из них, выскочка, высокомерно заявила одной молодой даме, которая, не подумав, входила в дверь столовой вместе с ней: «Мне кажется, что вы очень хотите войти раньше меня. Ну что же, входите!»

Великая княгиня Мария Павловна, племянница императора, приехала на мой концерт одна, точно в назначенное время, когда зал еще пустовал. Скаут, которого я поставила у входа, чтобы сопровождать зрителей на их места, увидел не очень молодую даму в красном платье и меховом манто. Она протянула ему билет, и он ее проводил к креслу в середине зала, где она покорно сидела. Когда же я увидела, что ее плохо посадили, то бросилась к ней с извинениями, прося ее занять предназначенное для нее кресло. «Но это не имеет никакого значения, — повторяла Великая княгиня, — я вас уверяю, что мне здесь очень хорошо».

Такая скромность, пример которой подавала Великая княгиня, плохо соответствовала нашему новому положению. Ряд правил хорошего тона оказался противоположен тем, которые были в ходу на Западе. Я вспоминаю, что была удивлена, услышав, как парижская консьержка говорила об одной знатной даме, жившей в доме: «К тому же она не гордая!» Мысль о том, что можно быть гордой по отношению к людям из другого общества, казалась мне совершенно недопустимой. Одно из первых правил, которым нас учили, заключалось в том, что хорошо воспитанные люди не должны выставлять напоказ ни свое богатство, ни свои титулы и звания. Очевидно, поскольку все друг друга знали, то не требовалось показывать себя в выгодном свете. Подобная «скромность», ставшая в конце концов чистой условностью, вредила нам в тех странах, где нас не знали. Поэтому лжевеликие княгини и лжекнязья казались иностранцам более правдоподобными, чем настоящие. Мы вынуждены были работать и вступили в мир конкуренции — современный мир, где невозможно добиться успеха ни в какой области без крикливой рекламы. Нам пришлось пройти долгий путь обучения, прежде чем решиться пустить в ход, с выгодой для нас, жалкие козыри, оставшиеся у нас на руках. Очень часто какой-нибудь русский соискатель или соискательница, стремящиеся получить должность, от которой зависела чуть ли не его жизнь, скромно признавались своему работодателю, что, действительно, он или она ничего не умеют делать, но горят желанием работать и надеются выполнить все, что от них требуется. После чего наниматель, естественно, брал на это место того, у кого был хорошо подвешен язык и кто утверждал, ничего не зная, что он знает все.

Нельзя не признать, что русские эмигранты начинали свою новую жизнь с большим достоинством. Очень немногие добились успеха в Европе. Не имея больших способностей к торговле, они не стали ни Ивановичами, ни Захаровыми, ни Онассисами, ни богачами, устроителями музеев, как Поль Гетти. Не будет среди них и знаменитых убийц (Гаргулов был сумасшедшим, поскольку очевидно, что убийство президента Думера могло быть совершено только психически больным человеком).

И очень мало мошенников по отношению к общей численности русских эмигрантов. Среди молодых женщин первой эмиграции были, конечно, и такие, которые мечтали составить себе состояние при помощи женских чар. Ну так вот, и в этой области они потерпели поражение, поскольку даже для того ,чтобы быть проституткой, надо иметь определенную склонность, которой этим женщинам, кажется, явно не хватало, несмотря на всю их готовность. Случались и скандальные истории в добропорядочных семьях, но лишь немногим из этих неосторожных женщин удалось выйти замуж за богатых людей, достигнув таким образом своей цели.

Старшее поколение, у которого за спиной было уже сорок пять или пятьдесят лет благополучной жизни, сумело безропотно противостоять ударам судьбы. Иногда я навещала графа Алексея Мусина-Пушкина, двоюродного брата моего отца, и его жену, тетю Ару. В то время не надо было быть очень богатым, чтобы снять в Париже квартиру, даже меблированную. Дверь мне открыл старый метрдотель, последовавший в эмиграцию за своими господами, но он был уже так стар, что не мог больше работать, как и мой дядя, и на долю тети Ары выпала обязанность заботиться об обоих мужчинах: о муже и его слуге. Я застала ее за рабочим столом. Она изготовляла безвкусные парижские сувениры: шелковые мешочки и бывшие тогда в моде длинные мундштуки, обильно раскрашенные рельефными светящимися узорами, усыпанными золотистыми блестками. Это были очаровательные люди, и они остались такими, какими были до постигшего их несчастья. Нетвердо ступая своими больными ногами, метрдотель принес поднос, и я пила чай так, как если бы пришла с визитом к своим родственникам в далекой России. Когда я прощалась с тетей Арой, она сунула мне в карман пять франков. «Это тебе на мелкие расходы», — сказала она. Жизнь разлучила нас на многие годы, и, к моему стыду, я о них забыла. Затем, в 1960 году, накануне Пасхи, я вдруг о них вспомнила и навела справки: дядя Алек умер, а моя тетка жила в Аньере. В первый день Пасхи мы поехали туда с сестрой. Нам открыла дверь русская женщина, вероятно, хозяйка квартиры. «Я сейчас вас провожу к графине», — сказала она. В большой неухоженной комнате лежала на кровати тетя Ара. Ей было девяносто лет. Ничего не осталось от ее полного тела. Дистрофия мышц превратила ее в подобие скелета. Но из-под коротко остриженных волос на нас смотрели живые, лучистые глаза, освещавшие ее лицо. «Вы меня узнаете, тетя?» — спросила я. «Да, конечно, ты — Зика, я тебя не видела уже столько лет, тридцать, может быть. Видишь, я уже семь лет в таком состоянии. Нет, я не скучаю, я молюсь, размышляю. У меня столько воспоминаний!» Ни одной жалобы не сорвалось с ее губ. Я вспомнила повесть Тургенева «Живые мощи». Молодая крепостная крестьянка Тургенева как бы ожила в этой старой графине, которая, несмотря на годы, проведенные в неподвижном состоянии, несмотря на страдания и бедность, сохранила святое мужество и не проклинала жизнь.

Не все мои родственники были скроены на один манер. Однажды в воскресенье, после обедни, когда я поднималась по авеню Ваграм к площади Этуаль, меня окликнул мужчина, сидевший на террасе кафе.

Это мой дядя Трубецкой, претендент на литовский трон, я его не видела с тех пор как встретила в Константинополе. Он сидит за столом с каким-то армянином в розовой шелковой рубашке. Мой дядя по-королевски предлагает мне все, что я пожелаю, даже шампанское, но я довольствуюсь кофе и слушаю, как мужчины говорят о покупке и продаже нефтяных промыслов, вероятно, столь же проблематичных, как и трон, которого дядя Митя ждал в Константинополе. Тем не менее у него, кажется, есть деньги. Но и без денег у него были манеры сказочно богатого человека. Подозвав такси, он уезжает вместе со своим компаньоном на скачки в Лоншан, где у него якобы есть надежный источник информации насчет лошади, которая выиграет.

У меня не было знакомых мужчин моего возраста среди французов. Все молодые люди, кого я знала, были русскими и, следовательно, бедными. Игорь работал чернорабочим на заводе; худощавый, болезненного вида, с рыцарскими манерами, он переносил все мои капризы, о которых мне стыдно вспоминать. Я отказывалась ждать, когда мне назначали свидание, поэтому однажды, когда Игорь пригласил меня в цирк и пришел с опозданием на четверть часа, я уже ушла в кино с другим молодым человеком. Возвращаясь домой после кино, я застала Игоря сидящим на скамье напротив моего дома; вокруг валялись клочки разорванных билетов. Он жил в предместье, после работы ему нужно было время, чтобы переодеться и приехать за мной на Монпарнас, а я была столь жестокой, что не стала ждать его. Саша носил французскую фамилию, так как был потомком французских эмигрантов, обосновавшихся в России. Это был высокий блондин с вьющимися волосами, всегда в кожаном жилете. У него были мать и две сестры, но в тот момент он единственный в семье работал помощником повара русского ресторана в Латинском квартале. Поскольку конец каждого месяца был трудным, я пользовалась обычно его «постоянным приглашением» и приходила поесть на кухню ресторана вечером, до прихода клиентов. С молчаливого согласия хозяина и благодаря почтительно-дружескому отношению шеф-повара я могла себе позволить сесть за стол рядом с ним и Сашей и есть досыта самые вкусные и самые свежие блюда. Они всегда любезно предупреждали меня, если какое-нибудь блюдо было приготовлено из продуктов не самой первой свежести. Красота Саши, а также его эксцентричная манера одеваться придавали ему особый стиль, хотя он был серьезным молодым человеком. Мы оба очень любили пешие прогулки, и нам случалось бродить ночью в самых отдаленных кварталах Парижа. Иногда, устав, мы присаживались на какую-нибудь скамейку, и я удивлялась, что вокруг нас вертелись какие-то мужчины солидного вида. Однажды, когда я обратила внимание Саши на одного типа, слонявшегося около нас, он вскочил, в гневе сжимая кулаки, и процедил сквозь зубы: «Я сейчас разобью ему морду». Тип убежал. Только позже я догадалась, что эти таинственные маневры чужих мужчин вокруг нас объяснялись тем, что из-за красоты Саши и моей молодости нас принимали за сутенера и его подопечную.

На одном из балов я встретила молодого человека романтической внешности с черными глазами и тонкими чертами бледного лица. Один из нас, танцуя, начал читать на память стихотворение Александра Блока, а другой его закончил, и мы оба были восхищены тем, что среди обывателей встретились два поэта, взаимная симпатия перешла в дружескую влюбленность. Это был Владимир Смоленский, который позже стал самым любимым поэтом русской колонии в Париже. Я подарила Владимиру Смоленскому перстень, врученный мне, как талисман, другим поэтом с трагической судьбой, великой Мариной Цветаевой. Это было старинное русское кольцо, не представлявшее ценности: серебряное с четырьмя вкрапленными в него кораллами. Два или три года спустя Владимир Смоленский обручился с очень молодой русской девушкой шестнадцати лет, которая, приревновав жениха к этому таинственному кольцу, вырвала его и бросила на лужайку в Люксембургском саду. Тут же раскаявшись в своем поступке, она стала помогать Смоленскому его отыскать, но безуспешно. Теперь это кольцо, не являющееся, конечно, талисманом, но принадлежавшее трем русским поэтам, может быть, носит какой-нибудь француз или француженка.

В то время я увлекалась слишком многим, поэтому писала только короткие поэмы, что-то царапала на билетах метро, на каких-то квитанциях... Чтобы удовлетворить мое пристрастие к прямому действию, я решила взять несколько уроков бокса у молодого татарина, бывшего бойца Добровольческой армии, служившего теперь шофером у одного французского банкира. Уроки длились недолго — силы противников были слишком неравны. Желая компенсировать мои неудачи в этой области, мой татарин, доставив своего хозяина в банк, заезжал за мной в школу и вез на прогулку в Булонский лес. Из почтения ко мне он никогда не соглашался, чтобы я садилась с ним рядом. Я каталась по аллеям Булонского леса, важно восседая в черном «ролс-ройсе», с шофером в ливрее, воображая себя миллионершей.

Свободная жизнь, которую я вела, казалось, учила меня примерному поведению. Париж в 1925 году, как и в 1965-м, не был заповедником морали, хотя тогда пороки прославлялись не так открыто, как теперь. И тогда были лесбиянки, любители группового секса, наркоманы, педерасты и еще больше пьяниц, чем в наши дни. Танцы тоже не отличались скромностью: ерзанье шимми, страстное томление танго, откровенно чувственные ритмы, — все они родились после первой мировой войны.

Меня никогда не привлекали пороки, и я не могу даже похвастать тем, что отказывалась им предаваться. Но существуют простительные грехи, которые были свойственны мне, как и большинству смертных. Однако я оставалась благоразумной без особого труда. Во-первых, у меня, как и у всякой девушки девятнадцати лет, были поклонники, как правило, русские, а следовательно, романтичные и почтительные. Кроме того, меня спасала от искушений не столько моя добродетель, сколько

моя гордость. Мне казалось унизительным стать любовницей молодого человека, за которого я не хотела бы выйти замуж, или того, кто хотел бы со мной спать, но не собирался на мне жениться. Что касается замужества, то меня оно не очень привлекало. Я предпочитала скорее сдерживать свой темперамент, чем отказаться от своей свободы, которой я очень дорожила и наслаждалась до исступления. Наверное, никогда на свете не было девушки, менее озабоченной своим будущим, чем я. Несомненно из-за естественной склонности моего характера, а также в силу личного опыта, будущее для меня не существовало. Жизнь в моем понимании была чередой непредсказуемых событий, следовавших одно за другим, без всякой логической связи. Я не могла себе представить ни страну, ни положение, в котором оказалась бы через год или через месяц.

В апреле 1925 года директриса школы предложила мне заниматься во второй половине дня в одном частном доме с мальчиком десяти лет. Поскольку стажировка была уже закончена, у меня было много свободного времени, и я с радостью согласилась, потому что мне всегда не хватало денег. Таким образом я познакомилась с графом де Панж и его женой, которые остались моими друзьями на долгие годы несмотря на все, что могло бы нас разъединить. Полин де Панж, урожденная принцесса де Бройль, внучка маркизы д'Армайе (автора трудов по истории) и правнучка г-жи де Сталь, являлась также родственницей графини де Сегюр (автора «Приключений Сонечки»), дочери Ростопчина, знаменитого губернатора Москвы в 1812 году, сестрой двух академиков — герцога Мориса де Бройля и принца Луи де Бройля, лауреата Нобелевской премии. Жан де Панж, чартист и эрудит, был исключительно порядочным, человеком большого сердца и человеком чести.

Наша дружба началась с того дня, когда я вошла в первый раз в большую квартиру на улице Варенн, чтобы заниматься с одним из их сыновей. Человеческая жизнь никогда не застрахована от испытаний, но, очевидно, испытания графини де Панж ни в чем не походили на мои, и мы с ней имели о жизни совершенно разные представления. Полин, как и Жан, были европейцами, оставаясь при этом, конечно, настоящими французами. Только для графини де Панж Европа кончалась сразу за Германией, а молодая русская, попавшая в размеренный образ жизни, принадлежала к другому, очень отдаленному от этой семьи миру. Именно с улицы Варенн началось мое первое знакомство с французскими идеями, с французской жизнью и с некоторыми чертами французского характера.

Для того кто, как я, жаждал постичь разнообразие западной цивилизации, познать ее на опыте, вжиться и врасти в нее, а не выучить по книгам, эта встреча с господами де Панж была очень счастливой. Они были знакомы, среди многих других, с Барресом, Гильельмо Ферреро, сэром Джеймсом Фрезером, Тагором, аббатом Брейлем. Полин де Панж готовила докторскую диссертацию на тему о г-же де Сталь в Сорбонне. Оказавшись в невыгодных условиях из-за самой системы воспитания, которую в то время навязывали девушкам из богатых и знатных семей, она

решила не ограничиваться дамскими занятиями, а стать профессиональным писателем. Жан де Панж, родом из Лотарингии, был, по выражению его жены, носителем двух культур. Так, во время войны 1914 года он вступил добровольцем во французскую армию, но одновременно в своем солдатском сундучке держал две книги: «Подражание Иисусу Христу» и «Фауста». Благодаря их братьям и родственникам, крупным ученым и академикам, а также семейным связям с дипломатами и политическими деятелями, салон де Панж представлял собой либеральную, веротерпимую и аристократическую Европу, что не могло мне не нравиться, потому что, каковы бы ни были недостатки аристократии, она сохраняет хорошие обычаи и манеры, а я испытывала потребность в таком примере. У Жана де Панжа, который всегда немного витал в облаках, было золотое сердце; Полин де Панж была женщиной, отличавшейся необыкновенной энергией, — она всегда использовала свое влияние, чтобы помочь человеку, потерявшему родину, дать ему рекомендацию, добиться для него визы, получить вид на жительство для какого-нибудь иностранца, а также должность, приглашение или контракт. В то время, когда женщина еще не была полностью свободной, графиня де Панж много увлекалась феминистическим движением, но она не сумела меня им заинтересовать.

За неимением других дипломов, мне удалось безо всякого труда получить диплом воспитательницы детей младенческого возраста (не следует доверять дипломам, в настоящее время я уже не знаю, как держать на руках младенца!) и с большим трудом и даже не без хитрости — диплом медицинской сестры. Благодаря опыту, приобретенному в Константинополе, я умела хорошо ухаживать за ранеными, но не могла запомнить названия мышц, хрящей и костей человеческого тела. В день экзамена я надевала русскую блузу с вышитым воротником и старалась говорить с русским акцентом — мое заикание сразу само собой возвращалось, и на вопрос о строении глаза я отвечала примерно следующее: «Глаз, я знаю, глаз это, как фотоаппарат. Я знаю диафрагму большую и малую, когда свет...» Экзаменационная комиссия то ли была убеждена в моих знаниях, то ли считала, что мне придется работать в какой-нибудь славянской стране, где знания имеют меньшее значение, чем во Франции. Так или иначе я получила диплом Красного Креста.

В течение лета мне предложили работу в американской колонии в Шато Тьерри, в американском мемориале, созданном американскими деятелями методистской церкви в память об американских солдатах, покоившихся в лесу близ Белло. У меня были все шансы на то, чтобы позднее директор центра послал меня в Соединенные Штаты, но в этот момент моя судьба была уже решена, и я не имела права строить планы только для себя.

Здесь надо рассказать историю моего замужества. Она необычна только потому, что все в ней противоположно шаблонам журнала «Сердечные дела» и советам специалистов по психоанализу.

Однажды в моей комнате появился молодой человек двадцати одного года, которого привел ко мне некто, кого я мало знала и при

этом недолюбливала. Он мне не понравился, как и я ему. Не то чтобы он был некрасив. Напротив, это был как раз тот тип меланхолического красавца, о котором мечтают молодые девушки: тонкий, почти худой, но с широкими плечами. У Святослава Малевского-Малевича было удлиненное лицо, которое встречается у испанцев и поляков; высокий лоб, темно-карие глубокопосаженные глаза смотрели на мир с высокомерным недоверием. Большой благородный нос контрастировал с чувственным ртом, суровые черты лица не гармонировали с детской ямочкой на подбородке. Его костюм, лоснившийся от длительной носки, был безукоризненно чистым, как и его воротничок — в то время носили накрахмаленные воротнички. Никакой небрежности ни в костюме, ни в манерах. Напротив, в нем поражали удивительные для его возраста холодность и сдержанность. Как я узнала позже, я ему тоже не понравилась, и однажды, идя по улице с приятелем, он сказал: «Да, жалко мне того парня, который женится на этой слишком самоуверенной девице».

Потомки польского короля Болеслава Отважного, графы Малевские, которые когда-то называли себя Болеста фон Малево с гербом «Ястрембиц» (польская знать делилась на кланы, как в Шотландии), обосновались в России в начале XIX века, хотя один из них последовал за Наполеоном и умер в Бельгии, кажется, в 1830 году. Студент, который мне не понравился, по матери был тоже поляком с добавлением молдавской крови — его прабабушка была из семьи Стурзы.

Мы не понравились друг другу, но мы снова встретились. Святослав пришел навестить меня. Мы гуляли с ним в Люксембургском саду. Идущий рядом со мной юный Савонарола продолжал меня волновать, но я начала еще и жалеть его. То, что я перенесла играючи, оказалось для юноши тяжелым грузом. Он не хотел делать хорошую мину при плохой игре. Воспоминания о необыкновенно счастливом детстве в Петербурге и в большом бабушкином имении в Бессарабии отравляли для него настоящее. От шляхты (польское дворянство) он унаследовал некоторое высокомерие; он ненавидел толпу, народные увеселения, студенческое горлопанство, отвратительную комнату, в которой жил, дешевые столовые, где ему приходилось питаться, и особенно эту скученность, зависимость от других, навязанную нашей бедностью.

Цветущее дерево могло отвлечь меня от переживаний, на шутку я отвечала шуткой. Когда я чувствовала себя несчастной (как все нервные люди, я была человеком циклическим), то наслаждалась даже печалью. Если я не верила в абсолютное счастье, то искала счастливые мгновения. Слишком чувствительная в детстве, я соорудила себе броню и была всегда готова к тому, что меня обманут, предадут, обворуют; поэтому, когда такое случалось, я говорила: «Тем хуже, тем хуже», и переходила к другим делам... Святослав не разменивался на мелкие радости, как это делала я. Раздираемый страстями, присущими его возрасту и мужчине вообще, такими, как власть или политика, он, человек дисциплинированный, жил аскетом среди парижских искушений. Запасы страсти копились в нем, и я видела, что он похож на темную тучу, заряженную электричеством, готовую разразиться грозой.

Меня беспокоил этот огонь, таившийся подо льдом, но, кроме того, я испытывала, повторяю, жалость к нему. Я никогда не чувствовала одиночества и с удовольствием оставалась одна. Достаточно было захотеть, и друзья толпились вокруг меня. Я могла переживать мгновения полного счастья, вызывавшего слезы на глазах, от того, что ветер был легким, что луч солнца упал на мою руку. Я жаждала жить свободно и делать то, что мне нравится, — именно это является одним из условий свободы. Святослав же мечтал и строил планы, слишком обширные, проекты, не осуществимые — по крайней мере разумным способом, и он отказывался иметь контакты с людьми. Как большинство славян, он был разносторонне одарен. Я переходила от одной деятельности к другой, но рассматривала все их как возможность обучения одному-единственному ремеслу, в котором я была уверена, — ремеслу писателя.

Между нами была разница в возрасте в полтора года, и наши жизни шли почти параллельно. Я родилась в Москве, Святослав — в Петербурге; наше имение находилось в Туле, земли его семьи — в Бессарабии. Когда я поступила в Екатерининский институт, Святослав уже два года занимался в Тенишевском училище. Я уехала в эмиграцию из Новороссийска в феврале 1920 года, он — из Феодосии, где его отец был комендантом порта во время эвакуации Врангеля в ноябре 1920 года. После того как он с родителями оставался в Константинополе на рейде двадцать два дня, он сошел с парохода в бухте Котор в Далмации и блестяще (не как я) продолжил учебу в кадетском училище в Герцеговине. Затем в семнадцать лет Святослав поступил в Белградский университет на отделение, соответствовавшее факультету точных наук в Сорбонне. В 1924 году, получив американское пособие, стипендию Витмора, которая позволила многим молодым русским закончить высшее образование, он приехал в Париж, где подготовил в Сорбонне экзамен на степень лиценциата.

Накануне моего отъезда в Шато-Тьерри, через три недели после нашей первой встречи, Святослав сделал мне предложение. Я была так удивлена его решением, что он и сам удивился. Мы не были влюблены друг в друга, я даже больше скажу — мы не были и друзьями, однако после нескольких часов раздумья я сказала «да». Серьезные, взволнованные и, короче говоря, счастливые, мы, словно помимо нашей воли, взяли на себя обязательство связать наши жизни. Почему? Нелегко будет уточнить причины этого. Мне кажется, что Святослав испытывал по отношению ко мне какое-то особое доверие и среди одиночества, в котором он пребывал, видел во мне что-то вроде спасательного круга. Что касается меня, то я к этому неудовлетворенному и мрачному юноше питала жалость, смешанную с беспокойством. Гораздо позднее, в 1938 году, читая статью Алексея Ремизова о философе Владимире Соловьеве, я поняла, что произошло с нами в мае 1926 года. Не желая того, мы поступили в соответствии с мыслью, изложенной Владимиром Соловьевым в письме к своей кузине, своей бывшей невесте Екатерине Романовой, к которой он продолжал испытывать самую нежную привя-

занность. Екатерина только что отказалась выйти замуж за князя Дадиани, «потому что, — писала она, — я недостаточно люблю его».

Вот что Соловьев ответил ей:

«Твой отказ выйти замуж за Дадиани очень огорчает меня. Я сожалею, что ты веришь в плохую сказку, придуманную плохими писаками, авторами плохих романов в нашем посредственном веке, сказку о необыкновенной, сверхъестественной любви, без которой, говорят, не позволительно жениться, тогда как настоящий брак не должен быть средством развлечения, ни даже способом испытывать счастье, но высоким подвигом и самопожертвованием. Если же говорить о том, что, по твоим словам, ты не любишь семейной жизни, то надо ли тебе делать единственно то, что ты любишь?»

Наше решение со всех точек зрения было неразумным. Молодые, без денег, без профессии, с Нансеновским паспортом, который делал из нас второсортных граждан в тот самый момент, когда кризис свирепствовал в Европе, мы удваивали наши трудности и уничтожали наши скудные шансы на успех — союз двух неудачников не может породить удачу. Таким образом, мы подвергали опасности наше будущее. В нормальной жизни родители поддерживают молодые пары. За неимением приданого они оборудуют им квартиру, покупают машину, устраивают их на работу, используют свои связи. У эмигрантов нет времени вырасти, а уже надо думать о том, чтобы помогать старшему поколению и брать на себя ответственность за детей. Работающий русский эмигрант окружен родителями, друзьями, соотечественниками, которым он должен помогать.

Мы объявили родителям о нашем решении. Моя мать, как всегда, верила, что все в жизни устроится; мать моего жениха, жившая в Белграде, разволновалась. Наташа в этот момент находилась в Париже, и мы отпраздновали нашу помолвку по обряду, совершаемому редко, только во время бракосочетания монархов. В церкви на улице Дарю мы перед священником обменялись кольцами. Обычно эта церемония совершается в то же время, что и бракосочетание, она предшествует ему. Наши обручальные кольца были сделаны из обручального кольца моего свекра, и это позволило нам избежать слишком больших трат.

После завершения торжественной помолвки мы с сестрой и дядюшкой Трубецким отправились в ресторан на улице Акаций, где с аппетитом ели все, что нам предложил дядя Митя. Он собирался ехать в Южную Америку и просил мою прелестную сестру сопровождать его, потому что, как он говорил: «Перед тобой в Аргентине откроется блестящее будущее». Мой жених, видевший дядюшку впервые, был несколько удивлен, поскольку карьера молодых девушек в Южной Америке казалась ему сомнительной.

На следующий день я отправилась в Шато-Тьерри, и между мной и Святославом завязалась длинная переписка; в нашем случае письма были не лучшим средством понять друг друга — различие темпераментов определилось очень четко.

Тем временем я знакомилась с нравами французской провинции — от политических страстей до состязаний рыбаков. Чудный городок, привет-

ствовавший рождение Жана Лафонтена, еще помнил о разрушениях, перенесенных в 1918 году. Недалеко, на набережной Марны, стоял памятник Павшим, а на старой ферме, где, говорят, останавливался Наполеон, размещался Американский общественный центр, который посещала вся городская молодежь: он находился в моем ведении. Как хороша была эта французская ферма, устроенная с американским комфортом, какая веселая досталась мне комната, какой замечательной оказалась кухня местной поварихи, — она умела придать самым простым блюдам наилучший вкус, что теперь встречается только в провинции. Нежно благоухавшая кухня, обильная, не жирная пища без особых выдумок, но стремившаяся к совершенству. Перед каждой трапезой директор центра, его жена и я склоняли головы над тарелками, и хозяин дома молился за всех обыкновенными словами, которые приходили ему на ум. На набережной Марны я отвечала на приветствия прохожих и вместе с молодежью отправлялась на крепостные стены старинного замка графов Шампанских.

Недалеко, в десяти километрах от Шато-Тьерри, простирался лес Белло, где в июне 1918 года американцы вели смертельную битву — 2300 мертвых покоятся под крестами кладбища рядом с часовней. И все лето родные погибших, а иногда их уцелевшие товарищи приезжали поклониться могилам. Они останавливались возле Мемориала, и если я была свободна, директор просил меня сопровождать приезжих в Белло. Я усаживалась в их большую американскую машину, и мы медленно ехали по узкой сельской дороге. Тогда, в 1925 году, стоимость франка катастрофически падала, но доллар оставался твердой валютой, а Америка — могущественной страной. И люди, которые потеряли во Франции сына, мужа, брата, отца, слышали, как и я, крики: «Долой Соединенные Штаты!» или «Предатели!». Через какие-нибудь двадцать лет в похожих обстоятельствах это будет звучать: «Янки, убирайтесь домой». Такая неблагодарность очень меня возмущала, и я подозревала, что авторами этих оскорбительных надписей на стенах являлись мальчишки, которые когда-то регулярно приходили провести свободное время на территории Мемориала.

День свадьбы наметили на 21 ноября 1926 года. Значит, я не еду в США, я простилась со своими друзьями из методистской церкви и провела последние дни перед бракосочетанием у матери в Брюсселе. Для нее это было трудное время; я объявила ей о нашей помолвке, а брат рассказал о своем намерении стать монахом. Для своего единственного и горячо любимого сына она желала бы другого, но сказала ему просто: «Моим счастьем будет твое счастье». В русском монастыре Святого Пантелеймона на горе Афон он прошел свое послушничество; осенью поступил в Богословский институт на Сергиевском подворье, где должно было состояться его рукоположение в диаконы. В этой удивительной церкви XIX округа Парижа[1], деревянном храме, расписанном художником Дмитрием Стеллецким, окруженном небольшим садиком, мы должны были обвенчаться, хотя гражданский брак заключили в Брюсселе. От той предписанной законами светской церемонии в памяти моей осталась

[1] 93 rue de Crimee Paris XIX. *(Прим. Д.М. Шаховского).*

только краткая речь бургомистра Икселя, знакомого моей матери, который несколько раз поздравлял Святослава с тем, что ему выпало счастье иметь столь замечательную тещу. Когда позже я заметила ему со смехом, что это я новобрачная, он сказал мне, что не сомневался в нашем супружеском взаимопонимании, но что ему необходимо было установить дипломатические отношения между мужем и тещей.

Свадьба, несмотря ни на что, стала событием светским. Герцог и герцогиня Брабантские, будущий Леопольд III и принцесса Астрид прислали нам свои поздравления, и шаферы — шесть человек — были те же самые, как если бы мы венчались в столице русской империи. Один из них, князь Николай Александрович Оболенский, старый эмигрант, позже заключенный в Бухенвальде, ныне отец Николай, протоиерей в соборе на улице Дарю. Моя сестра Наташа через несколько месяцев выйдет замуж за соученика нашего брата в Императорском лицее композитора Николая Дмитриевича Набокова. Поскольку мать Святослава была не в состоянии приехать из Белграда, ее в обряде венчания заменила графиня Чернышева-Безобразова, тогда как меня вел к алтарю мой дядя Игорь Алексеевич Уваров. Отправляясь в церковь в автомобиле, предоставленном нам маркизом де ла Фай, я повторяла своей тетке Аре Мусиной-Пушкиной: «В конце концов я совершенно не желаю выходить замуж. Давайте вернемся домой». Все это время мой бедный жених в чужом одолженном пиджаке маялся в церкви, где уже находился его кузен Игорь Малевский-Малевич. Вопреки или как раз благодаря чужому пиджаку, он казался моложе своих лет и очень обиделся, когда кто-то из приглашенных принял его за «мальчика с иконой». Согласно обычаю, молодой человек несет икону, которой благословляют супругов. Знаменитый богослов отец Сергий Булгаков обвенчал нас.

Жан де Панж, очень интересовавшийся церемонией, которой он не видывал, хотя знал, что в православной свадьбе имеется обряд венчания супругов (отсюда эти венцы, которые так сильно возбуждают любопытство иностранцев), задавал тысячи вопросов, на которые мало кто из присутствовавших мог ответить. Мое платье было сшито по моде, то есть безобразно: пояс на бедрах, подол выше колен; трен, прикрепленный к низкой талии, падал на землю. Столь красивое таинство венчания прошло для участников незаметно, потому что все мы сильно волновались. Прием устраивали у Мусиных-Пушкиных, но так как большинство приглашенных не имело машин, мы решили немного прогуляться в Булонском лесу, чтобы дать им время приехать. Было воскресенье. Во Франции в этот день бракосочетания не происходят, поэтому нас приняли за смешных чудаков. Люди кричали нам: «Да здравствует новобрачная!» и весело хохотали.

В то время как один из шаферов, совершив то, что он считал «ложью во спасение», объявил в «*Фигаро*», будто бы молодая пара отправилась в Италию и на озера, мы в купе второго класса ехали в Брюссель. Конечно, шел дождь, и никакой радости мы не испытывали, когда вошли в снятую для нас отвратительную маленькую меблированную квартиру, где мы собирались жить.

Как и Кате, кузине Владимира Соловьева, мне совершенно не нравилось положение замужней женщины. Я чувствовала себя узницей, мне

нечего было больше ждать. Жизнь внезапно остановилась, и, казалось, я, как личность, перестала существовать. Брак заключил меня в столь же прочный круг, как золотое кольцо на пальце... Я считала противоестественным обреченность на единую судьбу, навязанную двум существам, которые, рассуждая логично, имели каждый свой собственный жребий. Как можно было надеяться достичь тождества двух людей, у каждого из которых было свое лицо, своя психология, своя воля, свои стремления и свое вдохновение и которые в силу различия темпераментов и наследственности стремились к разным целям. Для меня брак прежде всего был концом свободы. Мое тело должно было привыкнуть к чужому телу, каждую минуту своей жизни я должна была думать о ком-то другом, его удобстве и самочувствии, о его счастье. Святослав хотел говорить о философии, я предпочитала поэзию. Мне хотелось видеть какого-то человека, который ему не нравился, какая-нибудь идея волновала его, а я ее не разделяла. Оба мы были, что называется, сильные личности, и никто из нас не хотел уступать. Если к этому добавить наши материальные лишения и возникавшую отсюда нервозность, можно себе представить, что начало нашей совместной жизни было особенно трудным. Мой муж имел склонность драматизировать все и свою новую ответственность принимал весьма серьезно: его поиски любой работы были очень трогательны. Помимо общего экономического кризиса, наше положение осложнял и наш паспорт Нансена, который закрывал все двери так же, как он закрывал нам все границы. Чудо превращения нашего брака в счастливый могло произойти только по милости Божьей.

Мы начали нашу общую жизнь при неблагоприятных предзнаменованиях. Молодых людей побуждали учиться на инженеров, но в это время строили довольно мало заводов. Инженеров, недавно выпущенных из института, встречали большие трудности. Не могло быть и речи, чтобы русский эмигрант с паспортом Нансена создал себе положение в Европе. Значит, оставалось Конго, где мой кузен Алексей жил уже два года. Моя мать возобновила хлопоты. Наконец, без твердых обязательств, Святослава приняли на стажировку и подготовительные курсы. Я еще помню слова свидетельства об окончании учебы: «Способность суждения очень уверенная, характер очень твердый, обучение очень старательное» и в конце документа фраза, которая не требует комментариев: «Хотя в принципе мы всегда стараемся не прибегать к услугам иностранцев, но должны признать достоинства господина Малевского».

Директор курсов сказал Святославу: «Два первых ученика имеют право на лучшие свободные места и в хорошем климате. Если вы захотите потерпеть два-три месяца, то получите хорошее место. В настоящее время у нас есть только малоинтересные предложения». Три месяца, когда у тебя нет денег, кажутся бесконечными. Мой муж попросил, чтобы ему предоставили первое же свободное место, и вскоре он, в качестве агента «Мануконго», отплыл в Матади, последний порт перед воротами Конго, и, не без колебаний, оставил меня одну в Европе на полгода.

Конго

(1926—1928)

Сегодня, когда до Африки благодаря самолетам рукой подать, когда почти все континенты превратились в american way of life[1], просто невозможно себе представить, каким было путешествие и пребывание в черной Африке сорок лет тому назад.

В порту Антверпена я села на впервые отправлявшийся в плавание пассажирский пароход «Альбервиль», в восторге от предстоящего приключения и вместе с тем сожалея, что выпало оно мне именно тогда, когда мне для моего образования так нужна Европа; я сокрушалась о долгой разлуке с матерью, — в свои пятьдесят лет она мне казалась такой старой! Моим компаньоном и защитником от предприимчивых путешественников в этом продолжительном путешествии — длилось оно две недели с одной единственной остановкой в Санта-Круз де Тенериф — был адмирал Борис Вилькитский.

Имя Бориса Вилькитского можно отыскать на географических картах, потому что он был знаменитым исследователем и открыл, кажется, Новую Землю или Землю Императора Николая II. Во время гражданской войны Вилькитский был мобилизован коммунистами и служил в красном флоте, как и адмирал Бенкендорф, то командиром эскадры вместе с хорошо вооруженными чекистами, то командующим тактическими учениями. Когда же в нем не было необходимости, его сажали в тюрьму, откуда вновь извлекали через какое-то время с тем, чтобы доверить ответственный пост. Наконец ему удалось сбежать на Запад. Бедствуя в Бельгии, Вилькитский, как и многие другие офицеры царского флота, получил предложение служить в речном флоте бельгийского Конго и теперь должен был исполнять обязанности младшего офицера на тральщике гидрофизической службы в Нижнем Конго. Разжалованный до офицера третьего ранга на пресноводном пароходике, адмирал был самым обольстительным человеком на борту «Альбервиля» и великолепно справлялся с ролью сторожевого пса. Впрочем, покровительствовал мне и капитан корабля, а баловали все офицеры и большинство пассажиров. Имея билет второго класса, я по любезности морского пароходства путешествовала в первом, хотя и не имела «отличительных знаков богатства», которыми щеголяли жены управляющих, сопровождавшие своих мужей в этом путешествии. Жалованье Святослава было более чем скромным по меркам Конго. Собираясь в путешествие, мы влезли в долги, и у меня оставалось денег только на весьма скромные чаевые.

[1] Американский образ жизни (*англ.*).

Однако во время праздника в честь пересечения экватора у меня оказался целый ворох билетов благотворительной лотереи. Об этом позаботились мои поклонники, не хотевшие, чтобы я единственная осталась с пустыми руками, — и тут же я стала жертвой женской ревности. Ревнивиц удивляло, что молодая женщина, чья фамилия числится в списках пассажиров второго класса, сидит за столом капитана. У русских женщин была репутация роковых (вот уж нелепость, на самом деле они — святая простота), и теперь другие пассажирки шептались, предвидя, что на прощальном бале-маскараде «молоденькая русская» непременно получит первый приз за свой костюм «боярыни». По совету адмирала, который хорошо знал свет, я пришла на бал в вечернем платье (свадебном, но перекрашенном в голубой цвет) и с немалым интересом наблюдала, как завистницы грызлись между собой.

Путешествие было долгим, развлечения исчерпались быстро. Оставалось море. Вечерами, вытянувшись в шезлонге, я смотрела на небо. Мы плыли под чужим небом, и звезды, что сияли надо мной, я видела впервые. Небо, с которого исчезли Большая и Малая Медведицы моего детства, небо, где я тщетно искала Полярную звезду, а должна была научиться находить Южный Крест, смущало меня своей необычностью. «Альбервиль» медленно вошел в залив, куда впадает река Конго. Мы продвигались по грязно-коричневой воде, и с берегов, заросших самой разнообразной растительностью, до нас доносились крики попугаев и обезьян. «А что за стволы лежат на этой песчаной отмели?» — спрашивала я у Вилькитского. Ему были больше знакомы снежные пустыни, чем тропики, и он ничего не мог мне ответить. Вдруг взревела сирена «Альбервиля», «стволы» ринулись к воде и поплыли — это были крокодилы.

В Боме Вилькитский расстался с нами — там стоял его корабль с экипажем, целиком состоявшим из русских офицеров: один из Толстых с молоденькой женой, Хохлов и другие. Механиком был грузный эстонец по фамилии Эльбе, в прошлом служивший на Балтийском флоте, на его долю выпала счастливая обязанность встречать адмирала, у которого он был старшим матросом. С этими моряками, перешедшими на пресноводный флот, я выпила, несмотря на жару, бокал шампанского в баре, и «Альбервиль» отправился дальше, взяв на борт лоцмана. Мы приближались к «адскому котлу» — водовороту, где в бешеном кипении воды разбился не один корабль.

Матади показался мне довольно унылым, не спасало и ожерелье гор, низких и голых, их называют здесь Хрустальными горами, но мне они показались просто-напросто лысыми. Мы приехали в сезон, который здесь зовется холодным, — солнца мало, небо затянуто тучами, которые никак не проливаются дождем. Причудливые, растущие то там, то здесь баобабы, кажется, единственные растения, что имеются в этой стране. Мы находимся в порту, вокруг невообразимый шум: скрип шкивов, тарахтенье моторов, постанывание подъемных кранов, кричат и командуют люди, и все это сливается в грохот. Едва положили сходни, как тут же, будто для того чтобы возросло мое смятение, на борт нашего корабля стали подниматься, звеня цепями, каторжники, в синих набедренных повязках, скованные попарно браслетами на ногах, — картина живо напо-

минала преддверие ада. А внизу на пристани, дышавшей жаром, ждал меня бледный и худой Святослав в тропическом шлеме.

Мы шли, и нас облепляла влажная жара. Я смотрела на ангары, склады, груды мешков с кокосовыми орехами и растительной смолой, на продуктовые лавчонки, пахнущие вяленой рыбой и шиквангой (хлебом из маниоки). Медные котлы сверкали в мастерских ремесленников. Пассажирские и грузовые суда с флагами Бельгии, Франции, Португалии, Германии свидетельствовали о значительности этого порта, в котором, куда ни посмотри, под сияющим солнцем кружилась угольная пыль.

Что еще я вижу после того как мы поднялись в грузовик? Маленькие домики за красным мостом, деревеньки вокруг города, где живут работяги. Затем грузовик поднимает нас по склону холма, где в два ряда расположены маленькие домики работников компании «Мануконго». Две комнаты с ванной, окруженные террасой или крытой галереей, прилепленная к ним крохотная кухня. Мебель самая необходимая. Стены — белые внутри и зеленые снаружи.

Мы успели отвыкнуть друг от друга и в некоторой растерянности смутно чувствовали, что избежали нищеты. Но то, что пришло ей на смену, было едва ли лучше. Мне было двадцать, Святославу — двадцать два, и мы разлучились с цивилизацией именно тогда, когда больше всего в ней нуждались. Окажись мы в глубине страны, в ее девственных районах, то открыли бы для себя подлинное Конго, но мы были лишь в его преддверии, в Матади. В Конго, когда я туда приехала, двенадцать миллионов негров жили на территории, в восемьдесят раз превосходящей территорию Бельгии. Независимое государство Конго — так оно официально тогда называлось — оставалось открытым для граждан всех стран при условии, что администрация будет бельгийской. По сведениям Пьера Дэ, в Конго в 1922 году жило 9630 белых, из них — 5513 бельгийцев, 325 американцев, 908 англичан, 11 австралийцев, 267 французов, 334 грека, 255 голландцев, 735 португальцев, 56 русских (три года спустя число русских превышало сотню), 124 швейцарца, 450 итальянцев.

Распределялось это европейское население примерно следующим образом: 20% были на государственной службе, 15% — миссионеры, 20% — поселенцы, остальные работали на различных предприятиях. (Когда улучшились условия жизни, облегчив приспособление белым, число колонистов возросло.)

Французский автор Робер Корневен в своей «Истории Конго» говорит, что среди народов-колонизаторов бельгийцы занимают исключительное место по части санитарии. И результаты впечатляли. Смертность уменьшалась с каждым годом: на протяжении полувека колонизации смертность сократилась на 14%, рождаемость возросла на 10%, а процент прироста населения увеличился вдвое — был 6,5%, стал 12,8%. В отдельных районах процент заболеваемости малярией снизился от 90% до 10%. Накануне обретения независимости в стране было построено бельгийцами 2500 больниц, родильных домов и диспансеров.

В Матади в 1926 году было 1500 белых и 400 негров. Стояла жара, жара, жара... В порту температура достигала 73° по Цельсию, а вода в водопроводе — 43°!..

В шесть часов утра Святослав отправлялся в адское пекло порта; иногда он возвращался в полдень и после легкого завтрака отдыхал дома. Но чаще всего он не приходил домой, нарабатывая дополнительные часы (две тысячи часов в год). Мы меньше всего походили на «грязных колонистов». С утра до ночи я томилась одна-одинешенька в своей кроличьей клетке. Единственным моим развлечением был туземный рынок, куда я ходила на заре. Ничто не сравнится с рассветами экваториальной Африки, с ее густыми, яростными, неожиданными красками, которые мгновенно исчезают при появлении всеуничтожающего солнца. Продавцы сидят на корточках за грудами кокосовых орехов или странных рыб, пойманных той же ночью, но уже портящихся на этой нестерпимой жаре, — усатых, огромных, круглых рыб сине-зеленого цвета. Другие торговцы предлагают вам груды мяса, и от его запаха перехватывает дыхание. Предлагают и живых кур, связанных попарно и совершенно одуревших от долгого странствования хозяина. Встречаются мужчины и женщины с татуировками и с разными племенными особенностями в подпиливании зубов. Цвет кожи аборигенов — всех оттенков коричневого: жженая сиена, эбен, золотистый, пепельный. Толпятся ребятишки с розоватыми ладонями, с голыми, раздутыми от маниоки животами, молодые женщины, уже ставшие старушками, и девочки с острыми грудками. Кое-кто жует бетель, благодаря ему они проделали минувшей ночью такой долгий путь. В беспорядке свалены гроздья бананов, короткие желтые, длинные красные, сладкий батат и чикванга, запах которой сравнится разве что с залежавшимся камамбером. Почти все люди ходят без одежды, на худых или слегка полноватых телах выделяются ослепительно яркие набедренные повязки. Овощей почти нет, зато в изобилии бананы, апельсины зеленого цвета, крупные папайи, что похожи на дыни и имеют слабительный эффект, авокадо и манго...

Не смешиваясь с «простым народом», проходят одетые в белые одежды высокого роста сенегальцы, изысканные, высокомерные, за каждым из них следует негр-конголезец, неся мешок с товаром. Мешок открывают, из него появляются опахала из перьев марабу, туфли без задников, коробочки из тисненой кожи, браслеты из слоновой шерсти, мухобойки с цветными ремешками, ожерелья из янтаря, вполне возможно, фальшивого. Другие сенегальцы, рассчитывающие на покупателей-негров, предлагают притирания, таинственные мази и коробочки с карандашами для бровей...

Продавцы еще более высокого ранга, индусы, редко продают свои товары на рынке. Они выставляют их там, где белые и клерки-туземцы покупают тяжелые золотые перстни с вычеканенными знаками зодиака. Белые стоят за своими прилавками в магазинах, похожих на склады. Тратить время на узнавание тут не приходится, все и так на виду: консервы, кастрюли, бутылки виски, драгоценные шелка и невообразимо яркая хлопчатка, которую делают в Куртре или Лилле специально для колоний. Здесь можно найти все... Я жалею, что не сохранила эти набедренные повязки, раскрашенные в цвета конголезских рассветов...

В шесть утра я уже умираю от жары. Вместе с мальчиком-боем, который несет за мной покупки, я медленно проделываю обратный путь

между юных пальм, настолько юных, что они не дают даже тени. Рядом со мной идут и негритянки, привязав к бедру ребенка и неся на голове бутыль с арахисовым маслом или бидон с водой, иногда на его горлышко положена коробочка спичек. Крестьянки или «хозяйки», как целомудренно здесь называют незаконных сожительниц белых холостяков, и жены клерков из местных, закутаны в черный бархат, и в туфлях на высоких каблуках с трудом сохраняют равновесие. Большинство женщин на ходу говорят сами с собой.

В Матади все друг друга знают, и белые не имеют секретов от черных. Поскольку я здесь новенькая, случается, что проходящая мимо женщина останавливается и громко высказывается обо мне. Как-то я попросила своего боя, по имени Самуэль, перевести мне, что сказала одна из женщин. Он прыснул со смеху — эта детская смешливость мне очень нравилась у конголезцев; арабы смеются реже, чем улыбаются. «Она сказала, что ты жена Монделе на Чоп («господина питания» — в обязанности моего мужа входило распределение продовольственных пайков для рабочих), что ты старая (мне было двадцать лет), что у тебя нет детей, и она удивляется, почему Монделе не выставит тебя вон?»

Очень быстро я поняла то, что в Европе не понимали и гораздо позже, — разнообразие национальных особенностей среди черных ничуть не меньше, чем среди белых. Между собой их ничто не объединяло, в наших глазах их объединял цвет кожи, и мы считали их одинаковыми, во что они никак не могли поверить. Коренным населением Матади были баконго, смешанные с племенами лоанга, каконго, нгайо — в прошлом вассалов короля Конго. Затем сюда перевезли казонго и атлетов балуба с удлиненными черепами, которые можно видеть на египетских стелах. Одни из племен на протяжении веков оставались жертвами других в гораздо большей степени, чем позднее были жертвами белых, и предки величественных сенегальцев, которых я встречала на рынке, продавали в рабство не меньше черных, чем сами арабы...

Лучшей иллюстрацией того страха, какой испытывает одно племя по отношению к другому, послужит рассказ о нашей первой горной экскурсии в окрестностях Матади. Мы отправились в путь ранним утром — четверо мужчин, одна женщина и около двадцати носильщиков-негров, которые несли ледник, бидоны с водой и бутылки с пивом. Дорогой мы довольно часто останавливались и, наконец, часам к десяти добрались до деревушки, окруженной плантацией бананов. После положенного долгого разговора с «капита», главой деревни, было разрешено остановиться в ней и позавтракать. Мы сказали носильщикам, что они могут отдыхать, попросили повара приготовить еду, а сами в ожидании завтрака решили отправиться погулять по саванне. Каково же было наше изумление, когда все двадцать человек выразили готовность нас сопровождать. «Идти с нами нет никакой необходимости, — убеждали мы их, — если хотите, вы можете пока поспать, мы скоро вернемся». Но они стояли на своем и отправились вместе с нами. И повар тоже. Он не захотел оставаться в этой деревне один. Наши носильщики были, кажется, из племени казаи и не доверяли жителям деревни. Все это было тем более удивительно, что в деревне, кроме старосты, находились толь-

ко женщины и дети, и мы никак не могли понять, кого же они так опасаются.

Саванна была совершенно серой, с высокой сухой травой; скоро жители деревни подожгут ее, и она будет гореть, как всегда в сухой сезон. В сером небе медленно летали кардиналы — птички в ярком, пурпуровом оперении. Мы сделали несколько ружейных выстрелов, никому не причинив вреда, и вернулись в деревню в сопровождении наших носильщиков. Мой костюм защитного цвета стал насквозь мокрым от пота, как будто я едва-едва избежала потопа. Я попросила принести мне два ведра воды в одну из хижин — семейную, просторную, с утоптанным земляным полом. В одно мгновение ее заполнили женщины и дети, жадные до зрелища. Я сняла с себя одежду, и одна из них вылила на меня разогревшуюся почти до горячей воду. И как же они смеялись, эти женщины и голенькие ребятишки, видя, что я со своей белой кожей куда голее их! Нечаянный стриптиз оказался для них самым впечатляющим представлением, какое им доводилось видеть. Костюм, повешенный на свежем воздухе, немедленно высох, и мы, сперва удостоверившись, что под бананами не свернулась змея, уселись в их тени и с жадностью принялись за курицу с арахисом и пили-пили. После завтрака мы прилегли отдохнуть, а потом поспешили обратно, чтобы успеть вернуться засветло. Ночь здесь — на шестом градусе экватора — наступает мгновенно, без всякого предупреждения, раз — и на мир опустилась черная штора.

Ритм Черной Африки, что пробивался сквозь свет дня и тьму ночи, как бы имитировал прерывистый ритм любовной страсти. Он слышался в гулких ударах молотков на строительстве большого дома посреди города, в ночных ударах там-тамов. Иногда мы поднимались в жалкие поселения работяг — к хижинам из пото-пото, восхищались и удивлялись тому, как после тяжелой дневной работы и у мужчин, и у женщин хватало пыла, покачивая бедрами, войти в круг, который приводил в движение все: вращались глаза в орбитах, щелкали пальцы, тряслись груди, ягодицы, животы и щеки, а пламя отбрасывало на черные лица причудливые алые и розовые блики, столь же причудливо движущиеся, что и тени от пляшущих тел.

Как раз накануне отъезда из Европы я впервые прочла «В поисках утраченного времени», и Пруст меня увлек в странствие, которое на берегах реки Конго я продолжать не могла. Меня это печалило. Однако для русских Африка — самый неизученный континент, распаляющий мечтательное воображение. Граждане новых независимых африканских государств, знают ли они сборник «Шатер», который посвятил черному континенту поэт Николай Гумилев? Он побывал в Африке в начале века и сохранил о ней ослепительные воспоминания. Я привезла этот сборник с собой в Конго и пыталась сопоставить ви́дение Гумилева и действительность, которая его затмевала.

Оглушенная ревом и топотом,
Облаченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.

И твое раскрывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.

Обреченный тебе, я поведаю
О вождях в леопардовых шкурах,
Что во мраке лесов за победою
Водят воинов стройных и хмурых.

. . . .

Дай за это дорогу мне торную,
Там, где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную,
До сих пор неоткрытую реку.

И последнюю милость, с которою
Отойду я в селенья святые,
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.

Африка не вняла чаяниям Гумилева. Он погиб в Петрограде, расстрелянный коммунистами в 1918 году. Вернулась в Африку только его книга, которую я привезла с собой. Когда в Африку приехал молодой офицер Гумилев, он был первооткрывателем, я же приехала слишком поздно. Матади, город-гибрид со смешанным населением, давал скудную пищу воображению.

В 1926 году в Матади было две гостиницы. В гранд-отеле «Верлаэ» столовались холостяки и останавливались путешественники, поджидая поезда, который умчит их в Тизвиль или Леопольдвиль, — по реке отсюда невозможно добраться из-за непроходимых порогов. В порту уже имелось электричество, а у нас в районе его пока не было. Мы еще жили в эпоху керосиновых ламп и без водопровода. Заключенные, в цепях, приносили нам каждый день воду из реки, желтую и грязную, точно такую, какую я увидела в первый раз в Боме. Для питья мы пропускали ее через самый примитивный фильтр. Дорожная ванна была единственным удобством. Принесенная утром вода спустя два часа становилась теплой. Чтобы обезопасить себя от паразитов, мы растворяли в воде марганцовку, дававшую ей бурый цвет. Я плохо переносила жару и тут же покрылась какой-то гадостью, раздраженная кожа мучительно и очень долго зудела. Святослав страшно похудел, и на это были причины: он ухитрился разом подхватить малярию и дизентерию, а антибиотиков тогда еще не было. Тогда не открыли еще почти ничего из того, что усложняет жизнь, и из того, что ее облегчает. Линдберг только что совершил полет над Атлантикой, явившийся лишь репетицией будущих полетов. Радиоволны не добирались до нас, отсутствовало и кино, и другие, ставшие теперь такими привычными развлечения.

Питались мы в основном консервами и еще фруктами, которые уже упоминались: бананами, лимонами, папайей, авокадо, манго и ананасами. У нас не было овощей — салата, помидоров, огурцов, капусты, не было даже картошки, а молоко, мясо и масло мы получали только из консервных банок. Окрестности не отличались изобилием дичи, так что и охота не служила подспорьем. Дежурным нашим блюдом стала рубленая

говядина, а свежее мясо приходило, как письма, только с пароходами. Каждые три недели мы посылали нашего боя за мясом и овощами, если находилось что-то для продажи на пароходе после того, как кок откладывал припасы на обратную дорогу. И опять три недели без парохода. Замороженное мясо нужно было из-за отсутствия холодильника съедать быстро. Но по крайней мере мы могли покупать каждое утро один-два блока льда в гостинице «Верлаэ». Однако и с покупкой льда случалось фиаско, потому что наши посыльные мальчишки, ходившие за льдом, выдумали упоительную игру. Держа щипцами один или два куска льда, они отправлялись всей толпой в жилые кварталы, но дорогой присаживались отдохнуть в тени пальм, каждый на своем куске льда. Победителем считался тот, кто просидел дольше всех на льду, таявшем под ягодицами. Наш юный посланник каждый день изумлялся моим упрекам. «Честное слово, я дорогой не останавливался, да провались я под землю, если вру», — твердил лгунишка, предусмотрительно хватаясь за стул из опасения, что вдруг Муана примет его клятву всерьез. Один из кусков льда, таявший на террасе, хранил еще обвинительную ямку.

У меня было только двое слуг — слишком мало, чтобы заслужить уважение, — один готовил и стирал, а второй тот самый посыльный, о котором только что шла речь. Ему мы заказали красную косоворотку, и русские, которых становилось в Матади с каждым днем все больше и которые навещали нас, несказанно были изумлены этим зрелищем. Стоило крикнуть: «Ванька! Водки!» — и тут же появлялся мальчишка с бутылкой в руках. Повара звали Самуэль, в протестантской миссии он выучился читать и писать и сделался протестантом. Ему случалось приплясывать вокруг плиты, распевая псалмы Давида... В логичности ему трудно было отказать. Я запретила приносить в дом шиквангу, хлеб из маниоки, который отравлял воздух, и однажды он выкинул, едва открыв, банку с камамбером. «Это европейская шикванга, а ты ее не любишь», — объяснил он.

Мне хотелось быть в более тесном общении с неграми, и я по своему обыкновению стала учить местный язык. В этом районе говорили не на «кисваэли», более или менее окультуренном языке, который упорядочили миссионеры-католики. Язык «киконго» был беден, и каждое слово в нем имело множество смыслов (но ни одного абстрактного). «Гамбула» означало ногу, быстро, спеши. Чтобы сказать «беги», нужно было повторить гамбула-гамбула. «М,биси» — мясо, становилось рыбой, если сказать «м,биси на мазо» (водное мясо), «муканда» означало письмо, газету, книгу, заметку. «Памба» (нет, вот все-таки абстрактное понятие) — подразумевало глупый, дурацкий, бессмысленный... Любопытно, что любой благородный жест, за который не требовали ответной услуги, всегда расценивался как «памба». «Ты видишь этого белого, он памба». — «Почему он памба?» — «Потому что он дал мне денег, а я ничего для него не сделал». Я попыталась узнать, как будет «любовь». И нашла только: «нуждаться в...»

Из-за трудностей в языке мое общение с неграми оказалось весьма скудным. Что мне в них нравилось, так это детская непосредственность. Они могли впасть в бешенство (что свойственно и более развитым наци-

ям), но они не были ни притворщиками, ни злыми мстителями, их простодушие подчас обезоруживало. Так, например, Самуэль великолепно отстирывал рубашки Святослава, оттирая их галькой на берегу реки, хотя я запрещала пользоваться столь варварским способом, который не шел на пользу ткани. Однако он понял, что рубашка с протертым воротником и рукавами достанется ему, и продолжал использовать плодотворный для него метод. Иногда ему не хватало терпения ждать — воротник и рукава упорствовали. Тогда он просто-напросто присваивал себе новую рубашку, бессовестно надевал ее и поутру приходил в ней на работу. «Самуэль, но ведь на тебе рубашка Монделе». — «Нет, ты мне ее подарила». — «Я тебе ее не дарила, она ведь была в грязном белье». — «Нет, нет, ты мне ее подарила». И точь-в-точь как посыльный мальчуган, схватившись покрепче за стул, стол или стену, до которой мог дотянуться, Самуэль повторял: «Клянусь тебе, клянусь! Пусть Муана утащит меня под землю, если я вру!» Никакого расчета, все хитрости обезоруживающе детские. Однажды посыльный пришел ко мне в очень странном настроении. «Знаешь, я не хочу больше у тебя работать». — «Почему?» — «Я думал, что белые сильные и богатые, но мой панжи (брат, кузен, соплеменник или друг) поехал на корабле в Нампото (Европу) и сказал, что там белые ему прислуживали и он спал с белыми женщинами». Я попробовала восстановить свой авторитет одним способом, который теперь можно было бы назвать «негритянским патернализмом», и попыталась потянуть мальчугана за ухо. В ответ раздался такой пронзительный крик, что я в ужасе отшатнулась. Боже мой! Что я наделала?! Мальчик, убежавший на другой конец веранды, смотрел на меня, хохоча во все горло. «Ты можешь мне сказать, что тут смешного?» — «Не могу». — «Нет, ты все-таки скажи». Ритуальные уговоры длятся довольно долго. Наконец, со смехом он говорит мне: «Ты думаешь, что сделала мне больно? Вот мама меня вчера действительно побила, она взяла меня за шею и била головой о стену, это было больно». И тут же позабыв о своем решении не служить больше слабым белым, отправился в город за покупками.

Существовал и негритянский фольклор. Рассказывали, например, такую историю: обезьяны до прихода белых были очень болтливы, но поскольку они куда хитрее бедных негров, то быстро поняли, что если не научатся молчать, белые заставят их работать. Или легенду о сотворении людей: «Моана взял мелкий белый песок и сделал белых людей, потом он взял черную землю и сделал негров. А потом, увидев, что у него осталось немного песка и немного земли, смешал их и сделал португальцев».

Почему вдруг португальцев исключили из белой расы? Ну, во-первых, потому, что они появились на африканской земле на четыре сотни лет раньше остальных белых. Бельгийцы в эти времена еще не селились в Конго: сделав себе состояние, заработав пенсию, они возвращались в Европу, в то время как португальцы жили в Анголе поколениями. Кожа у них была темнее, чем у северных соседей, и в их среде насчитывалось много «белых бедняков», каких не существовало в бельгийском Конго в

1927 году. И, наконец, привыкнув к климату, поскольку они здесь родились, португальцы куда меньше других опасались жестокого солнца. Мне случилось однажды повстречать на улице чуть ли не в полдень белого без шлема, а так как меня предупредили, что африканское солнце очень опасно, я спросила: «Вы не боитесь ходить с непокрытой головой?» На что он ответил мне одной фразой: «Я португалец».

У меня было мало возможностей всерьез познакомиться с фольклором киконго. С одной стороны, наверняка существовали племенные запреты, а с другой — в Матади быстро забывались все обычаи предков. В этот город отправляли рабочую силу из разных областей континента, и пролетаризация пощадила разве что крестьян из деревень, которые находились по ту сторону реки и куда нужно было добираться на пирогах. Я покупала, что могла, из местной утвари, прекрасно понимая, что спустя какое-то время вместо подлинных вещей появятся сувениры для туристов. Так, я купила миску для обряда инициации, маленькую резную скамеечку, украшенную старинной медной монетой, уже давно не имевшей хождения, занзи, маленький музыкальный инструмент. Последний представлял собой выдолбленную деревянную коробку с вставленными в нее тонкими металлическими пластинками вместо струн (пятью или семью) — стоило их коснуться, как раздавался довольно мелодичный звук. Самуэль рассмеялся, увидев у меня в руках занзи. «Тебе не надо играть на нем», — сказал он. «Почему?» — «Это хорошо для мужчин. У женщин, если они играют, опадает грудь». Я купила еще красивое копье, выкованное из железа, пику и прочее. К сожалению, все эти вещицы, чьим достоинством была их подлинность, у меня украли, когда мы позже обзавелись маленьким домиком и жили около Экс-ан-Прованса.

Женщины — мамао — не работали в Матади у белых ни в качестве служанок, ни нянками. Женщин здесь находилось гораздо меньше, чем мужчин, — рабочие из отдаленных районов оставляли свои семьи в деревнях. Гомосексуализм был очень распространен не из-за порочности, а из-за недостатка женщин и высокой цены, которую нужно было платить за жену. Белые холостяки часто заводили «хозяек», которых доставали для них бои. Один наш знакомый, молодой русский, очень возмущавшийся подобным обычаем, однажды поддался искушению. И вот странная вещь: до этого он нас навещал очень редко, но как только у него поселилась «хозяйка», он стал проводить у нас чуть ли не каждый вечер. Квартирка у него была очень тесная, и вечера стали казаться ему бесконечными в обществе этой женщины, с которой любое другое общение, кроме физического, представлялось невозможным. Были и негритянки, навещавшие одиноких мужчин по ночам, их тоже разыскивали и приводили бои. Первого января, с цветком банана в руке, они направлялись к дому, чей порог переступали в течение года, дабы поздравить хозяина и, возможно, получить подарок. Но, по преимуществу, негритянкам не нравились белые. По их словам, они пахли трупом и не были так счастливо сложены и наделены физической силой, как черные. Столь оригинальное суждение о трупном запахе объясняется тем, что негры смазывают тело пальмовым маслом; для кожи это очень полезно,

но на жаре масло быстро горкнет и издает весьма малоприятный запах для непривыкших ноздрей. Мертвых же перед погребением моют, и от них больше не пахнет прогорклым маслом. Вот и получалось, что белые, не имевшие особенного запаха, пахли мертвечиной.

Мне редко доводилось общаться с негритянками. На рынке я обменивалась несколькими словами с торговками, и одна из них, «старуха» лет тридцати по имени мама Луиза, стала меня часто посещать. Она приходила ко мне за хиной, дорогим для черных снадобьем, казавшимся им панацеей от всех бед. Луиза показывала мне то свой живот, то грудь, то голову и, счастливая, уносила с собой таблетку аспирина или капсулу хины или драже слабительного. Иногда я покупала у нее худосочных кур, которых она кормила, похоже, одними камешками. Но вот однажды Луиза принесла мне дюжину яиц, прося принять их, как матабиш (подарок). У нас не было заведено принимать подарки. Мама Луиза настаивала, и я наконец согласилась: приняла в подарок яйца и дала ей в подарок деньги. Вечером, хохоча во все горло, Самуэль сказал мне, что все яйца либо тухлые, либо с мертвым цыпленком. Я сказала об этом маме Луизе и ничуть не удивила ее: она лучше всех знала, что яйца несъедобны, но просто хотела сделать мне подарок, я же была совершенно не права, когда захотела из этого благородного поступка извлечь еще и пользу.

Мои знакомые негры, включая и образованных клерков, не понимали никаких абстрактных идей, зато они были по-детски чувствительны к справедливости и несправедливости. Проблемы нравственности, добра и зла для них не существовало. Я удивлялась и тому, как быстро может получиться шофер или техник из человека, который только-только покинул джунгли. Похоже, что эта область деятельности ближе примитивному человеку, чем мир идей.

В двадцать лет меня мало занимали проблемы деколонизации. Да и слова этого в те времена еще не существовало. Но взаимоотношения между людьми меня интересовали. Оказавшись причастной к колониальной жизни, я не могла вообразить — да и кто бы смог — Конго суверенным государством. Я видела сложность межплеменных вопросов, равнодушие населения, истомленного климатом, плохим питанием и болезнями. Как бы ни относиться к белым, которые жили рядом со мной, мне было ясно, что без них Африка никогда бы не выбралась из потемок. Она была далека от национального, культурного и религиозного единства. Только цвет кожи объединял все народности, живущие на этом континенте. Если бы Стенлей и Д. Ливингстон («Перо и Библия») не открыли Конго, в настоящее время его демографические показатели приближались бы к критическому порогу. Я не собираюсь защищать капиталистов — они прекрасно постоят за себя сами и как колонизаторы, и как деколонизаторы, — но если бы крупные компании не укоренились в Конго, если бы им не понадобились рабочие руки для разработки богатств этой страны, Черную Африку продолжали бы губить традиционные язвы — проказа, желтая лихорадка, малярия, сонная болезнь и еще множество других, о которых лучше и не вспоминать, не говоря о голоде. Как исчислить те блага, какие принесли католические и проте-

стантские миссионеры в Африку? И разве священники, монахини и миссионеры, убитые во время деколонизации, не стали мучениками во имя своей любви к ближнему?

Я написала в одном из двух моих романов («Слово становится кровью» и «Стрельбище»), что напрасно забыли о том, как Запад был создан колонизацией римлян. Упадок наступает тогда, когда завоеватели находятся на более низкой ступени развития по сравнению с завоеванными, в этот момент и разыгрывается драма. Однако бывает, что и колонизатор подчиняется более высокой культуре завоеванных народов, — так случилось с римлянами в Греции.

Я рассказала о неграх, теперь поведаю о белых в Матади 1927 года. Героическая эпоха еще продолжалась и требовала в равной мере как чиновников, так и авантюристов. Белые, среди которых я жила, не являлись ни истинными интеллектуалами, ни образцом европейской утонченности. И я солгала бы, если б стала утверждать, что их занимали абстрактные идеи или нравственные вопросы. Нельзя отрицать, что слова «свобода», «политика», «мир» входили в их словарь, поскольку они читали газеты. (Для большинства читателей газет это верно и по сей день.) Они приехали в Конго для того чтобы работать и зарабатывать; жизнь здесь была тяжелая, изнурительная для здоровья. Они подвергали себя риску, значит, им должны были хорошо платить. Были это бельгийцы, а значит, работники, которые отлично делали то, что должны делать. Их взаимоотношения с неграми зависели от нрава и темперамента. В двадцатых годах белый, ударивший негра, платил штраф. Тем не менее случалось и такое. Про одну женщину было известно, что она бьет слуг, — впрочем, своего мужа она била тоже. А в целом, белые, которых я знала в Матади, обходились без насилия.

Встречались в Матади и любопытные фигуры, обреченные на скорое исчезновение. Например, ковбой, который, прежде чем приехать в Конго, скакал где-то там в пампасах. Он развлекался тем, что разряжал пистолет в бутылки с маслом, которые несла на голове какая-нибудь негритянка, или ловил лассо белого бухгалтера своей компании, чтобы тот выплатил ему аванс. Многие считали его полусумасшедшим или совершенно сумасшедшим, но попробуй уволь голубчика, если он пообещал при малейшей неприятности изничтожить всех служащих до единого. Не обошелся наш квартал и без семейства, прославившегося скандалами. В один прекрасный день генеральный секретарь компании едва не пал жертвой вылетевшего из окна, как снаряд, кофейника, но успел увернуться. Был здесь и красивый мальчик из хорошей семьи в Антверпене, который решил жениться на машинистке, работавшей в фирме его отца, и был немедленно отправлен в Конго, дабы исцелиться от пагубной страсти. Он влюбился здесь в мулатку и разорялся ради нее, задолжав и забрав жалованье вперед за два срока. Торговцы открывали ему кредит без ограничений, зная богатство его отца. Дело кончилось тем, что мальчик купил для своей красавицы у индуса жемчужное ожерелье, и она красовалась в нем несколько дней; оно очень шло к ее блестящей коже, а потом она подарила это ожерелье своему сердечному другу, красивому негру, для которого настали, наконец, золотые деньки.

Одни пили, другие нет, но у всех были взвинчены нервы из-за жары или скуки. Внезапно вспыхнула вражда, глухая, бессмысленная. Неделями город со смехом обсуждал подспудную войну двух соседей. Дома, окруженные садами, стояли неподалеку друг от друга. В одном поселилось вновь приехавшее семейство, аптекарь лет пятидесяти с женой, в другом — старый колонист, оптовый поставщик сушеной рыбы, обрюзглый, вечно пьяный толстяк, вдобавок еще и глухой, у него «хозяйничала» молоденькая мулатка. Никто не знал, как и почему возникла вражда, но ее перипетии служили хлебом насущным для жителей Матади. Ночью аптекарша облила какой-то вредоносной жидкостью цветы колониста, а тот в отместку положил гниющую рыбу возле соседского забора. Целыми днями по его распоряжению «хозяйка» крутила на фонографе пластинки, и парижские голоса Мистингет или Мориса Шевалье поднимались к террасе банка, где нам случалось сидеть за рюмкой вина с управляющим. Сквозь слова песенки доносились вопли аптекарши, которых не слышал дремлющий в кресле толстяк и над которыми посмеивалась мулатка... Дело кончилось плохо, настал день, когда аптекарша отказалась от еды, боясь быть отравленной. Несколько дней спустя полицейские-конголезцы отвезли ее, завернутую в одеяло, на пароход, отправляющийся в родную Европу. Белая горячка и сумасшествие входили в разряд опасностей, грозящих колонистам, поэтому на каждом пароходе находились обитые мягким каюты для перевозбужденных соотечественников.

Злоба стала чем-то вроде наркотика в этой необычайной жизни. Заместителя управляющего, человека замкнутого и требовательного, служащие не любили. Он жил один, и его одиночество скрашивал только котенок, к которому он был очень привязан. Как-то вечером выследили, что котенок выходит встречать своего хозяина, а тот берет его на руки и баюкает как младенца. Темна человеческая душа. Наутро заместитель директора, отправляясь на работу, увидел, что у порога висит его любимая кошечка. Повесили ее белые!

Управляющие жили в больших домах, несколько в стороне от домишек служащих. Счастливчики приглашенные приходили туда по вечерам в белых смокингах и танцевали на террасах под фонограф. Ночи были влажные, душные, платья облепляли тело, как купальники. Кроме этих вечеринок, никакой общественной жизни, все сидели по домам и считали себя счастливыми, если находили партнеров на бридж или компанию, чтобы выпить стаканчик вина в отеле «Верлаэ». Прибытие парохода разбивало монотонность дней; в баре и в салонах на пароходе, под гуденье больших лопастей вентилятора, можно было мечтать об отъезде...

В те времена живущих в Матади экспатриантов ничто не интересовало. Они думали только о своем «сроке». Конго — это лишь что-то преходящее — один срок, два, три, а потом, наконец, отъезд, ферма, кафе, таверна, лавочка... Ни у кого не было наличных денег. Действовала система «годится, чтобы купить». Достаточно было нацарапать на клочке бумаги, даже на обрывке газеты: «Годится, чтобы купить» ящик шампанского, швейную машинку, «империю» (марка бельгийского автомобиля), и ящик с шампанским, равно как и машина, будут оплачены. Никто

не мог уехать из Конго без разрешения, а неплательщик или человек, наделавший долгов, отправлялся в отпуск, только подписав контракт на новый срок.

В маленьких деревеньках вокруг Матади мы вскоре увидели окончательно опустившихся. В начале моего пребывания в Конго я попробовала совершать экскурсии. Одна из них привела нас в Анголу, другая — под предлогом охоты на крокодилов — к порогам в нескольких километрах от железной дороги. Об этой железной дороге Пьер Милль говорит, что под каждой шпалой линии Матади—Киншаса—Леопольдвиль лежит мертвец. Кули, привезенные из Китая, черные рабочие и белые мастеровые погибли для того, чтобы могли ходить поезда. Дорога эта сделана с удивительным искусством. Возле Матади путь пробит прямо в скале, рельсы крепятся к красному граниту над порогами, между которыми в гневе кипят воды Конго. Выстроенная по воле короля Леопольда II и оконченная в 1896 году генералом Тизом, эта дорога длиной в 392 километра стоила жизни тысячам людей и спасла жизни тысяч, избавив их от смертоносных караванов, которые пробирались через горы.

Мы пустились в путь, как обычно, на рассвете, в сиянии сиреневопурпурного неба с темно-оливковыми полосами. К счастью, на рельсах, по которым мы должны были шагать — поезд в Лео ходит только три раза в неделю, — мы встретили инженера дорожного ведомства, и он предложил нам проехать часть дороги на дрезине. Солнце уже обрушивалось на нас, как катастрофа. И на больших камнях посреди реки, где мы расположились, жара была ничуть не меньше, чем на берегу. Камни были очень скользкими, и если упадешь, то столкнешься с ящерицами слишком уж близко. В руках у нас были ружья, но охота на крокодилов — дело безнадежное: чтобы убить крокодила, нужно попасть ему в глаза или в пасть, если она у него открыта. Такое случается тогда, когда крокодиловая ржанка, эта зубочистка для животных, вычищает зубы ящера, не внушая ему никаких опасений. Серые и неимоверно быстрые крокодилы сбегают при малейшей опасности. Добычу они подстерегают, затаившись на глубине реки. Говорят, что они стараются опрокинуть ударом хвоста черных прачек, когда они стирают белье. Потом они утаскивают свою жертву и закапывают ее в тине, чтобы она размягчилась. Самая главная трудность в охоте на крокодилов состоит в том, чтобы подобраться на расстояние выстрела. Крокодилы прекрасно слышат, а видят еще лучше. Говорят — но у меня не было средства проверить, — что спят они, закрывая только один глаз. Что же касается крокодиловых слез, то это выражение верно: когда крокодилы жуют, у них работают и слезоточивые железы.

Мы дожидались, примостившись на камнях, истекая потом от жары и едва не теряя сознание, пили взятую с собой воду и сделали несколько безрезультатных выстрелов. Впрочем, что нам делать с мертвым крокодилом? Из здешних крокодилов не делают даже сумочек.

И вдруг мы почувствовали себя страшно усталыми. Голова под шлемом буквально раскалывалась, радужные пятна плыли перед глазами...

С осторожностью добравшись до берега, мы пустились в обратный путь, и нам казалось, что до дома мы не доберемся никогда. Деревянный

домишко, вырисовывающийся из-за странного пригорка, дал нам надежду на короткий отдых. Мы поднялись к нему, ступая — и это отнюдь не преувеличение — по пустым пивным бутылкам, они скользили у нас под ногами, скатывались вниз. Мы все-таки преодолели пригорок и постучали в дверь, негритянка открыла и убежала. В комнате виднелась кровать под серой москитной сеткой, два ящика с продуктами, стол, шезлонг... и белый человек. Он встал, наш приход смутил его и даже ошеломил; но гостеприимство все-таки взяло верх: он отправился в соседнюю комнату и принес оттуда теплое пиво. Плохо выбритый, тощий, в холщевых туфлях на веревочной подошве, он вскоре разговорился. Оказалось, что он служащий железной дороги и здесь уже третий срок, то есть вот уже восемь лет в Нижнем Конго. Ему все осточертело, но Африка не выпускает его: он столько пьет, что вынужден вновь и вновь подписывать контракты, дабы расквитаться с долгами. «Я здесь и сдохну», — сказал он и, похоже, сказал правду. Выпив пиво, он пригласил нас последовать его примеру и швырнуть пустые бутылки в окно или в дверь, — этим заученным, почти механическим жестом он словно бы отшвыривал свое будущее.

Настала ночь. Мы вернулись, едва волоча ноги, и я, наконец, легла. Меня лихорадило, мучили спазмы головных сосудов. Перегрев? Солнечный удар? Мы решили не продолжать экспериментов.

Пройдет несколько лет, и все в здешних местах изменится, хотя Матади по-прежнему останется незавидным местом жительства. Города разрастутся, станут красивыми; среди зеленых лужаек и цветов будут построены теннисные корты и бассейны. У Матади появится совершенно другой облик, для меня же этот город воплощал уныние и опустошенность: у мужчин работа, а в качестве развлечения питье, карты и сплетни. Однажды молодой португалец отвезет меня в одиннадцать часов утра на своем грузовике домой из нижнего города. Десять минут спустя, несмотря на расстояние, которое отделяло город от порта, моему мужу уже все будет доложено...

Невозможность избавиться от привычек своей среды очень влияла на отношения между людьми. Женщины, которые в Бельгии тратили свою жизнь на уборку дома, чистку и стряпню, вдруг оказывались не у дел, потому что все делали слуги, а тяжелый климат лишал их даже удовольствия садоводства. Конечно, они скучали. Единственным занятием для них во время долгого отсутствия мужей было хождение из одного дома в другой. Что касается мужчин, то жара и обилие напитков придавали их коже желтовато-коричневый оттенок, о котором говорили, что по этим нюансам можно судить, сколько сроков пробыл здесь служащий. Интересы белых служащих ничуть не отличались от интересов черных, которые работали под их началом. Но мы еще не знали, что для большинства людей всех стран как для культурных, так и для диких, для богатых и бедных, жизнь сводится к тому, чтобы плотно есть, крепко спать, заниматься любовью и ни о чем не думать... В целом, общество Матади было точно таким же, как большинство человеческих сообществ.

Не без удивления мне доводилось раздумывать над тем, что нравственные запросы большей части русских крестьян, даже неграмотных, мог-

ли вдохновить те образы, которые оставили нам Толстой, Достоевский, Лесков, Тургенев. Платон Каратаев в «Войне и мире» не просто литературный персонаж, точно так же, как и «Очарованный странник» Лескова.

И все-таки была странная и тяжеловесная поэзия в атмосфере порта, палимого беспощадным солнцем. Сименон в раннем романе «Лунный удар» воспроизвел один эпизод из нашей тамошней жизни. В большом зале гостиницы «Верлаэ» перед публикой, состоящей почти целиком из мужчин, пела португальская певичка. Она была прилично одета, не выставляла ни ног, ни грудей, но своими грустными народными песнями под рокот гитары заставляла мечтать мужчин, сидящих перед кружками с пивом или бокалами с шампанским. А чем только не заплатишь за смутные мечтанья?

Гитарист проходил с большим подносом в руках, и на него падали банковские билеты или даже чеки. Кто-то бросил тысячу бельгийских франков, а капитан грузового судна, сгорая от страсти, отсрочил, несмотря на телеграмму из Антверпена, отход своего корабля. Десять вечеров подряд он приходил слушать не очень уж красивую певицу, которая потом отправится в странствие по другим городам со своим спутником и печальными песнями — песнями, пробуждающими мечты...

Дорогу в Конго проложили и русские. Когда им говорили: «Это ведь далеко», они вполне рассудительно спрашивали: «Далеко от чего?» Конго давало им не только возможность избавиться от нищеты, но и уравнивало в правах, в чем им отказывали европейские страны. В Конго национальность не играла никакой роли. Независимое государство в начале своего формирования придерживалось политики открытых дверей. В Конго не было ни французов, ни бельгийцев, ни итальянцев, ни португальцев, ни греков — были белые.

По рекам водили барки русские офицеры, в джунглях русские строили мосты, прокладывали дороги, проводили изыскания. Большинство из них проезжали через Матади и знали, что мы тут живем; мы же принимали соотечественников почти с каждого парохода. Помню юношу, еще мальчика, который уезжал далеко-далеко в джунгли. Он так кутил перед отъездом, что даже не знал в точности содержания своего багажа. Единственное, что он помнил, — это тюбики с брильянтином. «Лакированные волосы по-прежнему в моде», — убеждал он нас. Мы отвечали, что столь милая идея будет, несомненно, пользоваться большим успехом в джунглях, а негры, прежде чем его изжарить, как следует смажут брильянтином. Самое смешное, что он нам поверил и попросил проводить его до гостиницы, поскольку было уже темно. Другой, несмотря на наши предупреждения, набросился на папайю и ел, ел, в результате чего наутро не мог уехать. Вместе с нашим северным арктическим адмиралом, ставшим адмиралом тропическим, нас пришел навестить бывший лейтенант Императорского флота по фамилии Хохлов. На протяжении трех лет, с 1920-го по 1923-й, он тридцать семь раз переходил советско-финскую границу — всякий раз с риском для жизни, а в тридцать седьмой раз узнал, что его товарищ, которому он передавал

сведения, продавал их Intelligence Service[1]. После таких разочарований Хохлов отправился в Конго.

Помню еще одного человека по фамилии Лавров, который сыграл пагубную роль, сотрудничая в Брюсселе в 1940 году с гестапо: это был маленький худой человек с дипломом доктора права Пражского университета — умный, озлобленный и циничный. Полгода спустя он попросил меня принять его жену, которая ни слова не говорила по-французски. Мы встретили ее, и она провела у нас два или три дня. Она была типичной мещаночкой с берегов Волги, принадлежа к тому женскому большинству, для которого значимо только материальное. Я повела ее на базар, желая порадовать новизной необычайных африканских красок, и в разгар этого зрелища, для нее непривычного, она спросила меня тоном рачительной хозяйки: «А почем в Конго яйца?»

Нагруженный своей добычей, из глубины девственных лесов приезжал охотник — Натуралис, фамилия шла к нему как нельзя лучше, — бывший русский офицер, принявший польское подданство. На жизнь он зарабатывал тем, что снабжал зверинцы живыми зверями — львами, слонами, обезьянами...

Вспоминается еще доктор, который не имел права практиковать в Европе, но врачевал в Матади. Спасаясь от одиночества, он открыл для себя теософию и выписывал книги на эту тему. Он с удовольствием бы давал их нам почитать, но мы огорчали его полным отсутствием интереса к подобного рода литературе — нас вполне удовлетворяло православие. Человеком он был добрым, искренним и методичным. Как-то, когда он пришел к нам и мы ему сообщили, что Врангель только что скончался в Брюсселе, доктор удивился: «Умер? А у меня он еще болеет». Газеты он читал не так, как мы, — все семнадцать номеров разом, начиная с последних. Нет, каждое утро бой ему клал одну газету возле прибора одновременно с кофе. Но на самом деле последний номер, полученный нами, уже был семнадцатидневной давности, так что информированы мы были примерно одинаково.

Проблема человеческой судьбы, поставленная в книге Торнтона Уайлдера «Мост короля Людовика Святого», находила вокруг нас дополнительные подтверждения. Так, один офицер, которого удалось устроить в Конго моей матери и который прошел две войны без единой царапины, был съеден в джунглях львом. Правда и то, что Короленко, стрелок высшего класса, счел делом чести отправиться на охоту на самых опасных зверей — львов и буйволов — без сопровождения, с единственной пулей в ружье... Один из наших друзей, уехавший в Танганьику, утонул в Балтийском море во время отпуска. И раз уж речь зашла об охотниках, скажу о кузене Алексее — благодаря охоте он стал в Маньеме почетным лейтенантом стрелков, и я сожалею, что он отказался описывать свои подвиги.

Развлечения, как я уже говорила, оставались редки, и приход парохода становился всегда приятной удачей. Мы были знакомы со всеми

[1] Британская секретная служба (*англ.*).

капитанами, и их общество позволяло нам хоть немного почувствовать Европу. Если на корабле попадались молодые офицеры, да еще в первом плавании, то мы их разыгрывали. «Очень жаль, — говорил капитан, — что вы должны наблюдать за выгрузкой, значит, завтра вам не увидеть слоновьих бегов на ангольской дороге. Состязание увлекательнейшее». Мы развертывали красочное повествование о несуществующих слонах и гонках. Звучали клички Мафута (толстяк, великан) или Мафута минджи (великанище), и мы важно обсуждали достоинства каждого. Наконец мы соглашались поставить за лейтенанта сумму на фаворита. Домой мы возвращались поздней ночью, пешком поднимаясь в гору и освещая себе путь маленьким фонариком. Ночью было так же жарко, как днем. Только жар спускался не с неба, а шел от камней и раскаленной земли. Мы ложились, тщательно закрывшись москитной сеткой, которая не пропускала вдобавок ни малейшего дуновения воздуха. Между матрасом и простыней стелились тонкие циновки, ничуть не спасавшие нас от липкого пота. Жара меня убивала, и я, как большинство из нашего окружения, рисовала круг и розу месяцев — время, которое мне осталось провести в аду Матади, — зачеркивая красным карандашом каждый прошедший месяц.

Чтобы восполнить недостаток в общении с людьми, я общалась с животными, которых любила с детства с какой-то особой жалостью и чувством вины, узнав из катехизиса, что вся тварь страждет вместе с человеком, пав с ним вместе в первородный грех, обреченная на страдания и смерть.

Климат Матади был так жесток, что вынести его не могли ни коровы, ни лошади. Несколько изголодавшихся собак бродили по деревням в окрестностях Матади, они должны были сами добывать себе пропитание, зато, если наступал голод, хозяева убивали их и съедали. Из всей африканской фауны в нашем районе водились только обезьяны, дикие кошки, гиены, в изобилии крокодилы, черепахи и мангусты. Попадались и змеи, их, казалось, соткали в средневековой гобеленной мастерской. Одну мы убили — длиною семь с половиной метров при ширине девяносто сантиметров. Ее розовую с серым рисунком и плохо выдубленную кожу как-либо использовать было невозможно. И все-таки самые величественные звери в царстве животных — это львы, и пусть на несколько недель, но мне выпало удовольствие дать приют двум львам, еще беззубым, но уже очень больно кусавшим мои пальцы. Одна моя подруга, возвращаясь в Европу, собиралась подарить их зоологическому саду в Антверпене, а пока доверила их мне, намереваясь до возвращения отдохнуть в миссии возле Матади. Львята нас с мужем очень забавляли, голова у них перетягивала тело и, шагая по террасе, они то и дело тыкались носом в пол. Мы привязались к ним, словно к малым детям. Но нужно было видеть, как менялись в лице наши гости, когда, усевшись на диван, стоявший на веранде и покрытый набедренными повязками, они чувствовали, что за ногу их кто-то хватает. Увидев большелапую кошечку, они спрашивали: «Вы, оказывается, завели котенка?» «Нет, это лев», — отвечала я.

Благодаря слугам, информация распространялась здесь мгновенно, и вот, прознав про мой интерес к животным, туземцы стали приносить

мне из джунглей всяких зверей. Чаще всего белые заводили себе обезьян, но я их не хотела. Молодые обезьянки слишком уж похожи на детей-сироток с грустным-прегрустным взглядом. Чтобы обезьянка не крала ничего у соседей, пришлось бы ее сажать на цепь, а животное на цепи — постоянные упреки хозяину. Еще одна причина, по которой мне не хотелось заводить обезьян, — это их вошедшая в поговорку беззастенчивость, которая может доставлять немало затруднений. Однажды мне принесли юную уистити, только что разлученную с матерью. Обезьяний младенец обвил мою шею тоненькой лапкой, а потом посмотрел прямо в глаза с такой тоской, что я, не собираясь связывать его жизнь со своей, отправила продавца к одной очень славной женщине, которая хотела купить обезьянку для своей дочки. Надеюсь, что обезьянка оказалась счастлива в этом семействе.

Взращивание гиен — дело весьма сложное, и я сохранила о нем дурные воспоминания. Мне приносили их совсем маленькими, и я даже не знала, что это гиены. Я просто увидела двух щеночков с густой рыжеватой шерстью. Они рычали и смотрели на меня недоверчиво. Я устроила их в ящик, кормила сырым мясом и пыталась приручить. Думала, что это виверры, но потом их слишком опущенный зад, что-то вроде горба у шеи, а самое главное — дурной запах, открыли мне глаза. Гиены редко нападают на людей и на живых животных, питаясь падалью, что весьма противно, но вместе с тем как-то успокаивает. Может быть, мне и удалось бы их приручить, но нестерпимый запах заставил меня отказаться от такой мысли; и, как только они подросли, я приказала своему слуге отнести их в джунгли. Вполне возможно, что он их продал какому-нибудь любителю-зоологу.

Просто представить себе невозможно, какой потоп мог мгновенно обрушиться с неба во влажное время года. Небо голубеет, жара палит, и вдруг туча — причем непонятно даже ее происхождение — обрушивается на вас водной стеной, застилая видимость всего окружающего. Вы мокры насквозь, не успев еще понять, что произошло. Мой плащ не выдерживал и двух минут: создавалось впечатление, будто меня одетой бросили в реку...

И тут же вновь сияет солнце, а на безмятежном небе ни облачка, и ваша одежда высохнет скорее, чем вымокла, — тропический дождь обернулся влажной удушающей жарой.

Сухой сезон, напротив, одаривает облачным небом, но можно быть твердо уверенным, что дождя не будет. Проходит месяц за месяцем, трава и кустарники, саванна — все становится серым и сухим. Достаточно искры сигареты, чтобы все вспыхнуло и огонь поглотил соломенные хижины деревень. В день благоприятного ветра вокруг поселений и городов специально устраивались — для их защиты — пожары. Ветер гнал прочь огонь от жилищ к другим таким же огням, зажженным в разных местах, пока на иссушенной почве они не встречались и не гасли. И по вечерам, случалось, горы вокруг Матади окрашивались в розовый цвет, а в воздухе пахло дымом. Застигнутые огнем, животные и птицы метались во все стороны, ища спасения.

Вот во время такого пожара, отворив вечером дверь столовой и приготовившись зажечь керосиновую лампу, я заметила в темноте фосфорес-

цирующие глаза, которые, не отрываясь, смотрели на меня. Хоть я и знала, что тигры в Матади не водятся, мне все-таки стало очень страшно; пришлось вернуться поскорее и захлопнуть за собой дверь. Вошедшему слуге я объяснила, что мбиси на тото (наземное мясо) караулит снаружи. Он не решился выглянуть наружу. И мы отправились за моим мужем, который находился в доме напротив у своего коллеги. Дело происходило еще до того как молодой комиссар полиции конфисковал под совершенно фальшивым предлогом парабеллум, который подарил Святославу Ги д'Аспремон (пистолет был трофеем с войны 1914 года, и мой муж предъявил его с опозданием на неделю). Вооружившись парабеллумом, Святослав отправился смотреть, о каком звере идет речь. Несмотря на сильный испуг, любопытство все-таки взяло верх, я вышла на веранду и приоткрыла окно. И тотчас же что-то длинное, большое и мохнатое, задев меня, прыгнуло прямо в окно. Я закричала от ужаса без всякого ложного стыда и неподвижно застыла в темноте. Святослав бросился на веранду и был в таком волнении, что я боялась, как бы он не убил меня вместо невидимого зверя. Наконец, после всяческих передряг мы поймали под диваном очень длинную дикую кошку с опаленной шерстью; она сидела ни жива ни мертва, вся ощетинившись от ужаса и страха. Мы набросили на нее одеяло и с его помощью перетащили ее в большой ящик, верх которого затянули сеткой. В эту клетку я осторожно поставила воду и положила мясо. Кошка не хотела от нас никакой помощи, и всякий раз, когда я приближалась, смотрела на меня горящими желтыми глазами. Кажется, она совсем не спала все три дня, что оставалась у нас, и, не притронувшись к еде и питью, умерла, так и не сдавшись на милость человека. После смерти я смогла ее, наконец, рассмотреть — она напоминала виверру.

Было время, когда я хотела завести молоденького крокодильчика, животное весьма обременительное, на привязанность которого почти бесполезно надеяться. Но началось все с шутки, хотя, признаться, не лучшего свойства. Мою мать, которой предстояло еще благополучно прожить сорок лет, стали заботить, как большинство людей, мысли о месте, где ее похоронят. Я видела много разрушенных могил и знала, что купленное заранее место на кладбище не столь уж и вечно, к тому же наша семья была разбросана по странам и континентам, так что семейный склеп казался мне весьма проблематичным. Мать время от времени затрагивала этот не слишком радостный сюжет в своих письмах, но писала она без всякой печали, будто говорила о новой квартире, куда мы все рано или поздно переселимся. Я ответила ей, что, учитывая нашу рассеянность по миру, лучшим решением для нас стал бы передвижной походный склеп, вроде живого крокодила. Эти ящеры живут три или четыре века и прекрасно могли бы управиться с несколькими поколениями Шаховских и их близких. Его можно завещать последнему выжившему, а имена умерших надо будет гравировать на чешуйках животного. Мама, к счастью, не оскорбилась моей идеей, зато муж стал звать меня «крокодил», намекая тем самым, что только крокодил способен произвести столь несуразную мысль.

Наш посыльный бросил призыв всем своим приятелям: «Нужен крокодил». Как я уже говорила, охота на крокодилов очень трудна, живые

животные очень опасны, и то, что мне приносили в качестве крокодилов, имело с ними весьма отдаленное сходство. Предлагали множество самых невинных ящериц: «Ты хочешь крокодила? Вот, пожалуйста. Сколько дашь?» Перед моим взором представали голубые и красные ящерицы, множество которых грелось на камнях вокруг дома, гекконы, жившие на стенах веранды, большие игуаны и вараны, чьи мягкие животы дрожали от ужаса в корзинках, сплетенных из пальмовых веток. Мясо их было съедобно, и я прекрасно знала, что их ждет, если придется отказаться принять их в качестве крокодила. Но нельзя же поселить у себя в доме всех местных земноводных. И тут мне принесли крокодиловое яйцо, я его купила. Беда была в том, что никто в округе не мог мне дать совета, как из него вылупить крокодильчика. Меня только предупреждали: «Будьте осторожнее, крокодилы злы с первого дня своего появления на свет». Тем не менее я положила яйцо под курицу-наседку, и каждое утро ходила удостоверяться, что весь мой курятник не съеден новорожденным. Цыплята вылупливались из яиц, а крокодила все не было. Я подвесила яйцо над лампой, и оно оставалось там столько времени, что могло бы, думаю, испечься или прокоптиться, но тем не менее осталось без видимых изменений. Наконец, я узнала, что мне нужно было его всего-навсего закопать в песок на солнце. Но оказалось уже слишком поздно. В общем вышло так, что выращивание крокодилов не стало главным делом моей жизни.

В России, занимающейся сельским хозяйством, я была слишком мала, чтобы наблюдать за животными. В Африке же, где у меня было несколько кур и голубей, эти птицы, казалось бы, давно прирученные, удивляли меня тем, что нисколько не уступали в жестокости своим диким собратьям. Они убивали более слабых, съедали их останки. Голуби выкидывали своих птенцов из гнезда, куры избивали заболевшую курицу...

Я забыла маленького зверька, который больше всего меня радовал в стране, где я не могла завести себе собаку в качестве сотоварища. Мой опыт с мангустами был так неожидан и нов, что я даже написала рассказ об этом животном, которое никого не может соблазнить красотой, но как будто создано для того, чтобы жить с человеком в дружбе. Научное наименование Рики-Тики-Тави Киплинга — герпест. На коротких ножках с длинным телом, больше всего похожие на крыс, мангусты парами выходят из своих нор, едва только наступят сумерки. Нет ничего более славного, чем их прогулка, когда за родителями следует череда потомства. Я не поняла, что это за зверек, когда мальчуган принес мне, держа в руках маленького грызуна с красными глазками, едва покрытого сероватой шерстью. «Н,тото-н,тото», — говорил мальчуган. Н,тото означает «земля», и я поняла, что принесенное животное — наземное. «Хорошо», — одобрил зверька посыльный мальчик. «Очень хорошо, — присоединился и Самуэль, — никогда змея не войдет в дом, где есть н,тото. Когда он взрослый, то бывает очень сильным и может убить даже льва. Он бросается вот сюда, — Самуэль показал на свой затылок, — и вцепляется зубами. Лев вскидывается, старается его сбросить, но н,тото держит его зубами и, когда укусит вот здесь, лев падает».

Зверек, похоже, заслуживал уважения, но его внешний вид никак не вдохновлял. Очень осторожно я взяла его, и он улегся у меня на руке весьма доверчиво, будто мы были давным-давно знакомы. Я заплатила мальчику столько, столько он просил, и н,тото, покинувший полчаса назад джунгли, обошел дом так, словно он ему принадлежал. Не зная усталости, трусил он повсюду: «кик, кик, кик!», — и в этом крике было все — радость жизни; завоеваний и любви. Если крики вдруг прекращались, у нас тут же начиналось беспокойство — наверняка случилось несчастье. Н,тото был любопытнее сороки, падал во все люки и с удивительной беспечностью каждую секунду рисковал своей жизнью. Он падал в ведро с водой, ибо хотел посмотреть, что там находится, прыгал с моего плеча на раскаленную плиту, когда я пробовала приготовленное Самуэлем новое блюдо и ему понравился вкусный запах. Он быстро бежал по раскаленной поверхности и вместо торжествующего и счастливого «кик-кик-кик!» громко кричал от боли, а я никак не могла его поймать. Затем пришлось долго лечить его нежные розовые лапки. После лечения он сворачивался у меня на коленях, и я ласкала его, как кошку, почесывая за ухом, а потом лаская маленький почти голый животик коричнево-розового цвета, и он начинал мурлыкать. Н,тото любил всех и вся, кроме змей, и доверял абсолютно всем. Мне пришлось применять сетки в курятнике, потому что н,тото с юношеской страстью бросался сквозь дырки к курам, будто к своим старинным друзьям, и недоброжелательное клеванье кур ранило его вдвойне. И еще, он действительно любил яйца. Надо было видеть спектакль, который он разыгрывал перед нами, когда ему предлагалось сырое яйцо. Н,тото катал его своими когтистыми лапками, крича сперва от восторга, потом от гнева. Наконец, ему удавалось схватить яйцо передними лапками. Усевшись, как кошка, на задние лапки — топ! — он разбивал яйцо об пол. Если дырочка получалась небольшая, н,тото с очень довольным видом поднимал яйцо и выпивал его; если яйцо растекалось, он подлизывал его досуха, ничего не оставляя тряпке. Иногда он пугал гостей не меньше, чем львята. Ничего не подозревающие люди усаживались на террасе, чтобы выпить стаканчик, а н,тото, притаившись в засаде, облюбовывал себе жертву и принимался карабкаться когтистыми лапками по чьей-нибудь ноге...

У меня было много н,тото, но — как ни печально — их милый нрав ведет зачастую к смерти. Н,тото с живейшим любопытством встречает все неизведанное. С криком радости эти, в общем-то, очень умные животные бросаются к грузовику, что взбирается в гору, к водоноше или к любому незнакомцу, который, случается, без колебаний отшвыривает их ударом ноги, и бедняжка падает на камни с отбитыми внутренностями. Но никто не может стеснить их свободу, даже желая помочь им. Ни один н,тото ни разу не пытался сбежать из нашего дома. У меня не было случая проверить, действительно ли мангусты могут убить льва, укусив в определенное место на затылке, но я знаю, что с ними можно совершенно не опасаться змей. Увидев змею, это благодушное животное будто перерождается, хвост с гладкой шерстью распушается и становится трубой, глаза, и без того красные, краснеют

еще более. Приготовляясь атаковать, н,тото прыгает вокруг змеи, примериваясь, как лучше на нее броситься, выбирая миг и место, где сомкнутся его железные челюсти.

Ни люди, ни животные в бельгийском Конго не представляли собой истинной опасности — подлинные враги были совсем другие. Беспощадную войну приходилось вести с теми, кто бесконечно мал, — с насекомыми, червями, джики (крошечные клещи), с коричневыми тараканами. Жирные, отвратительные и не желавшие умирать под струей инсектицидов, они сжирали все, что находилось на их пути, выпивали чернила, грызли дерево и бумагу. О том, чтобы ходить босиком, даже в доме, не могло быть и речи, — клещи ввинчивались в кожу больших пальцев или под подошву, и ничто не могло их оттуда извлечь, разве что умелые руки боев, поднаторевших в подобных упражнениях. Нитевидные черви, тонкие в самом деле, как нитки, заражали воду, их эмбрионы проникали в кровь и возбуждали болезнь, становившуюся преддверием слоновой. Аборигенам иногда удается в момент нагноения локализовать этого червя, и они терпеливо день за днем наматывают его на спичку. Комары переносят малярию, мухи — сонную болезнь... Отдыхая днем, я брала пачку старых газет и с противомоскитной сеткой располагалась их почитать, но из первой же сложенной газеты выскакивали, будто бусины от четок, пять, шесть, семь скорпионов — гигантских по сравнению с их маленькими турецкими собратьями. А если не скорпионы, то африканские сколопендры, величиной до 35 сантиметров, с ядовитыми мешочками.

Негры прекрасно знали опасности своей неблагословенной земли. В углу моей спальни я однажды обнаружила мохнатого паука величиной с кулак и закричала, зовя нашего боя. Он прибежал, посерел, будто его выкупали в жавелевой воде, и с криком «Кууфа! Куфа!» (смерть) убежал из дома. Мужа не было дома, и мне пришлось самой умерщвлять сию разновидность «черной вдовы».

Но еще опаснее перечисленных насекомых были невидимые микробы. Молодая женщина, уколовшая руку о колючий куст, спустя три дня умерла от заражения крови. Бельгийские власти к тому времени сумели справиться с эпидемиями, но к концу нашего пребывания в Матади один из пассажиров, прибывших из французского Конго, умер от желтой лихорадки, «вомито негро» из Мексиканского залива. Больной умер, заболел еще один человек, а Матади стал похож на город, описанный Камю в «Чуме». Хотя нет, на улице не было крыс, и трупы не громоздились здесь... В районе объявили карантин. Вооружившись мачете, рабочие постоянно вырубали жалкую поросль вокруг Матади, не оставляя ни былинки. Ананасы, которые я посадила, папайи и две-три желтые пальмы исчезли, как и все остальные растения. Жителям строжайше запретили — с заката солнца и до рассвета, то есть в часы, когда больше всего кусают комары, — носить короткие юбки и шорты. Мужчины и женщины облачались в длинные брюки, надевали на руки перчатки и закрывали лицо вуалью.

Алексей, который как раз в это время приехал в Матади, решив повидаться с нами, прежде чем отправиться в Маньему, не мог даже навестить нас. Если бы он покинул помещение для транзитных пассажиров, то до окончания карантина должен был бы оставаться с нами. А кто мог предвидеть его продолжительность, когда сроки рассчитывались с последнего заболевшего или умершего.

Унылое Матади сделалось мрачно-угрюмым. Почти каждый день на кладбище провожали то одного, то другого белого из тысячи пятисот здесь живущих. Под солнцем, раскаленным, будто печь крематория, опускали гроб в окаменевшую землю, и шорох латинской молитвы едва будил тяжкое молчание еще живых.

Но мало-помалу все привыкли к близости смерти. Снова люди стали выходить на улицу в коротких юбках и шортах, исчезли вуали со шлемов. Но стоило наступить темноте, как город погружался словно бы в летаргию. Чтобы отогнать наваждение, мы привязали как-то ванну к нашей террасе, и Самуэль стал стучать по ней молотком, короткими, отрывистыми ударами, словно звонил в колокол. На звук прибежали соседи. Мы угостили их стаканчиком вина. Черное наваждение отступило. Для живых продолжалась жизнь.

Утром, часам к десяти, я почувствовала себя больной. У меня болели глазные яблоки, голова, бил озноб. Померила температуру — 38,6, позже мне не стало лучше, температура поднялась за 39, а затем — за 40. Сознание оставалось светлым, и я подумала: «Оно самое, настал конец». Собрав силы, я позвала посыльного мальчика и отправила его за Монделе. Мальчик позвал Самуэля. Я не лежала в кровати, а находилась на террасе в шезлонге. Они посмотрели на меня и молча ушли... Время шло, никто не приходил. Я подтащилась к двери. Мимо шел рабочий, мне совсем не знакомый. Нацарапав на бумажке «я больна», протянула ему ее, попросив отнести «Монделе на чоп», за что ему дадут «матабиш» (на чай). Меня трясло, стучали зубы, но сил хватило, чтобы добраться до шезлонга. Сквозь оцепенение увидела я двух монахинь в белых одеждах. Меня положили на носилки и понесли к машине, которая перевозила больных. Потом все спуталось. Я звала Святослава, не узнавая никого, кто суетился вокруг меня. Мне отвечали: «Нет, нет, чуть позже!» В мою руку углубилась иголка. Я ощущала благодетельный холод льда на лбу. Время от времени ко мне возвращалось сознание, и я думала: «Ну вот, я скоро умру. — Рада ли я своей смерти?» Но ответить не успевала, потому что вновь теряла сознание. Потом опять приходила в себя и думала об африканской земле, коричневой, окаменелой, ничуть не похожей на землю моего детства — жирную, черную, умягченную снегами. Святослав все не приходил. Я понимала, что его просто не пускают, — и мне становилось его очень жалко. Что он будет делать в Матади без меня, приехав сюда только ради меня?

Я не умерла, моя болезнь не была желтой лихорадкой. По злой иронии судьбы мой первый сильнейший приступ малярии совпал с эпидемией. На следующий день я очнулась в белоснежной комнате и смотрела сквозь ставни на солнце. «Вы нас напугали, дочь моя», — сказала

мне старшая монахиня. «Я и сама испугалась», — отвечала я. — «Еще два дня, и ваш муж заберет вас отсюда».

Первые, кого я увидела, вернувшись домой, были посыльный мальчик и Самуэль. Лица их выражали огорчение. Я читала по ним, как по книге. Они любили меня, вернее, следуя местному выражению, я им была нужна, но они убежали в страхе, не позвав моего мужа и решив, что желтая лихорадка обрекает меня на смерть. Видя тревогу, которая обычно охватывает близких умирающего европейца, Самуэль и посыльный мальчик подумали, что Монделе, конечно, не хватится разных домашних вещей. И, действительно, дома не хватало многого — в курятнике кур, в шкафах рубашек и продуктов... Мое возвращение и выздоровление стало для слуг катастрофой. Я не выставила Самуэля, потребовав от него штраф. Потом забыла и о штрафе, отругала посыльного мальчика и оставила их обоих. Как богатые Скотта Фицджеральда, они были непохожи на нас.

Я думаю, что и для моего мужа, и для меня пребывание в Конго стало одинаковым испытанием. Святослав делал работу, которая ему не нравилась, в очень тяжелых условиях, подрывавших здоровье. Годы его учебы, казалось, пошли прахом. Все, что его интересовало — политика, философия, живопись, — отдалилось. Он принял на себя обязанности главы семьи, и эти обязанности тут же лишили его всякой личной жизни. Что касается меня, то я, возможно, приспособилась бы к жизни в настоящих джунглях и в одиночестве куда более полном или в лучшем климате, например, в Маньеме, где находился мой кузен Алексей. Там я могла бы заняться какими-нибудь исследованиями, изучать этнографию... В Матади в двадцать лет я оставалась одна целый день. Библиотеку мне заменил «Граф Монте-Кристо», забытый каким-то путешественником. Предоставленные самим себе, совсем еще молодые, мы не могли прийти ни к какому согласию. Оба мы были прямолинейны, непримиримы, взвинчены жарой, несчастны, и нам казалось, что наша молодость растрачивается лишь на добывание денег для поддержания существования. Мы не росли ни в какой области — не шли вперед, не ощущали прогресса и втайне обвиняли друг друга в том, что оказались в таком тупике, живя безнадежной, безрадостной жизнью. Жара меня убивала. Я толстела, тупела, задыхалась в своей пустыне. Иногда я заставляла себя отправляться с посыльным мальчиком на прогулку, скорее по необходимости, чем ради удовольствия, но Хрустальные горы ничем не радовали глаз.

Ну вот я и у реки. Вижу, как ее кипящие воды закручиваются в адский котел. Чуть дальше обнаруживаю заброшенное кладбище; растения скрывают могильные надписи, сделанные почти все на английском. Я в шлеме, по лицу течет пот. Посыльный мальчик предупредительно разгоняет палкой змей, и мы вдвоем усаживаемся на раскаленную каменную плиту, прежде чем пуститься в обратный путь. Мне редко когда хотелось умереть. У меня скорее дар жизни — я хочу жить иногда из чувства противоречия, иногда в надежде, что какой-то миг, пусть один-единственный, все-таки убедит меня в оправданности множества преодо-

ленных испытаний. Отведя в сторону концом своей трости иссохшие серые травы, я прочитала на могильном камне: «Faithfull into death»[1]. Наверняка в этой красноватой земле покоится английский миссионер, который приехал сюда, чтобы помочь своему ближнему. «Будь верным до самой смерти, и я дам тебе венец жизни», — напоминает Библия. Я знаю, что для меня быть верной значит претерпеть, сжав зубы, все испытания, что я не имею права на отчаяние, не имею права даже приблизиться к утешению мыслью об одном легком скользящем движении в сторону адского котла... Я не имею права даже молиться, чтобы смерть пришла ко мне сама и забрала меня из этого безжалостного мира, прервав монотонную цепочку удушающих дней. Я писала стихи, неумелые и грустные, пряча их, будто супружескую измену, и мать если и догадывалась о моем смятении, то ни разу не услышала жалобы от дочери, которая хотела походить мужеством на нее...

Красный карандаш, зачеркивающий месяцы по кругу, замкнулся на последних днях. И вот тут мне стало страшно, что умру, не увидев Европу. Эпидемия желтой лихорадки превращалась в дурное воспоминание. Я уложила вещи в дорожные сундуки. Матади тоже оставался в прошлом. Мы решили больше сюда не возвращаться, хотя и имели полгода на размышление, шесть месяцев отпуска. И вот я спустилась в тот же портовый ад, который встретил меня полтора года, вернее, век назад, — чтобы вместе со Святославом сесть на пароход под названием «Стенливилль», который совершал свой последний рейс. Капитан оказался нашим давним другом. В первом классе нас было всего двенадцать пассажиров. Судовой врач принялся лечить меня от морской болезни русским методом, приказав принести в каюту икры и водки. Выпив, я и в самом деле перестала замечать качку. Отправилась в кают-компанию и села играть в бридж с капитаном и судовым врачом. В радостном возбуждении от водки, я делала фантастические ставки, и все-таки выиграла все, выиграла у всех, а затем отправилась спать. Доктор поклялся, что больше не будет лечить меня от морской болезни. Я поняла, насколько сильна моя тоска по более подходящему мне климату, только тогда, когда в бинокль на голландском берегу увидела голландскую корову. Это было первое крупное животное, увиденное мною за полтора года. Корова показалась мне необыкновенно элегантным животным, элегантным и обаятельным. Я смотрела на нее с необыкновенной растроганностью. Мы вновь приближались к европейскому континенту — и не знали, как он нас примет.

---

[1] Преданный до смерти (*англ.*).

Предвоенные годы

(1929—1939)

Даже климат Бельгии, который все так любят ругать, показался нам в ту пору нашей жизни чудесным. Небольшая сумма денег, привезенная нами, разошлась довольно быстро: нужно было обзавестись всем необходимым для жизни. Купили мы и маленький подержанный «форд» с откидным верхом. Он был такой ветхий, что терял на ходу все свои гайки. Но двигатель его, казалось, не знал износа. В нем мы ездили в загородные владения наших друзей: в замок «Пон д'Уа», к барону Пьеру Нотомбу в Шалтин, к Бюс де Варнафам в Арденны, к Розе в Румон или к Ван де Верве на Кампинскую равнину под Антверпеном. Жизнь там была проста, обильна, а главное — без светских условностей и церемоний, которые нравились мне все меньше и меньше. Прекрасные получились каникулы, но наши деньги таяли. С ужасом мы стали подумывать о том, что придется вернуться еще на один срок в Матади. Надо сказать, что в Европе до войны не очень-то жаловали молодежь: хорошие служебные места доставались обычно людям зрелого возраста. Но вот как-то раз за ужином у Нико ван Ламсвеерде (Нико дю Бюс де Варнаф, моей подруги по пансиону) мы познакомились с ее кузеном Габриелем де Аллё, инженером-химиком. Эта встреча решила нашу судьбу. Незадолго до того Габриель поступил на службу на открывшийся под Брюсселем химический завод — консорциум Марли в Вилтворде. И мой муж с большой радостью согласился возглавить в этом консорциуме отдел научно-технической документации. Он обладал тем преимуществом, что мог читать специальную литературу на четырех языках: французском, английском, немецком и русском. Он занимал этот пост до самой войны. Его очень тронула благожелательность, с которой отнеслась к нему дирекция завода. Но, к сожалению, промышленная химия его мало интересовала, и он не мог отдаваться ей целиком в отличие от некоторых своих коллег: многие из них, не раздумывая, приходили на завод и в свободное от работы время — тогда, например, когда выпадало три выходных дня подряд, чего они вынести не могли.

Святославу трудно было жить, не участвуя в каком-либо большом деле; его снова стало притягивать к себе евразийское движение, к которому он принадлежал в Париже еще до знакомства со мной. Из всех политических движений эмиграции евразийство было самым современным и, следовательно, самым значительным, тем более что идеологами и основателями его были замечательнейшие люди и серьезные ученые.

Не мне излагать в подробностях достаточно сложную евразийскую программу, хотя в определенный период моей жизни я принимала участие в этом движении как жена одного из активных его деятелей[1].

Между 1920 и 1930 годами труды евразийцев выходили во Франции, Германии, Англии, Австрии, Чехословакии и в Харбине. Во всех центрах русской диаспоры образовывались очень динамичные евразийские организации. В чем же состояло это учение?

Прежде всего оно провозглашало первенство духовного начала над материальным, отвергая тем самым материализм и коммунизма, и капитализма. Евразийцы рассматривали территорию бывшей Российской империи (приблизительно совпадающую с территорией СССР) и населявшие ее народы как особое географическое пространство, с присущими только ему чертами, отличное как от Европы, так и от Азии.

В социальной сфере евразийская доктрина отвергала эгалитарные теории и устанавливала совсем новый подход. Ввиду того, что и человеческая природа, и вообще природа вещей вступают в противоречие с этим даже в демократических странах мифическим равенством, евразийцы провозгласили принцип «обязательного оправдания привилегий». В сфере экономической они выступали за умеренный либерализм. В политике ратовали за «Советы без коммунистов».

В 1930 году разразилось дело Кутепова[2]. Оно нанесло жесточайший удар по очень активно действующей воинской организации, во главе которой стоял несчастный генерал. Коммунисты сочли его слишком опасным и, как известно, похитили его в самом центре Парижа. Его исчезновение еще более усугубило политические разногласия, разрывавшие эмиграцию. В евразийском движении произошел тогда серьезный раскол. Советы стали проявлять большую активность и предприняли многочисленные попытки внедриться в политические эмигрантские организации. Им действительно удалось заслать своих агентов в большинство таких объединений; тогда-то одно из евразийских периодических изданий[3] и начало все более и более склоняться к оправданию «смысла истории» — но, разумеется, ложного.

Некоторых членов евразийской организации вполне могла привлечь марксистская диалектика, в то время как другие прельстились простонапросто материальной выгодой, которую в некоторых случаях сулит предательство.

Те же, кто остался верен истинным целям Евразийства, оказались в результате в труднейшем положении. Первый кризис евразийского движения не коснулся моего мужа, так как мы жили тогда в Конго. Но когда наступит второй кризис, более серьезный, Святослав будет играть во всех событиях существенную роль.

---

[1] Статья С. Малевского-Малевича была опубликована в журнале «Ревю де дё монд» от 15 июля 1965 года. (*Прим. автора*).

[2] В статье генерала Шиманова, опубликованной в «Красной Звезде» от 22 сентября 1965 г., приводится имя чекиста Пузицкого, организатора «ареста» генерала Кутепова в Париже. (*Прим. автора*).

[3] Еженедельник «Евразия». (*Прим. автора*).

А меня что занесло на эту галеру? Политику я не любила и до сих пор не люблю. Меня притягивал Запад, я стремилась вырваться из удушливого эмигрантского круга. Мне надоело чувствовать себя отрезанной от мира, в котором я жила! Я хотела писать, общаться с читателями — с возможно бо́льшим их числом. И поэтому писать я предпочла бы по-французски. Хотелось зацепиться за что-то реальное, осязаемое; взамен родины-призрака я искала другую родину, хоть и не собиралась забывать страну, где появилась на свет. Но я была связана определенными обязательствами и довольно быстро поняла, что долг вынуждает человека из двух возможных решений выбирать самое трудное. По этой причине я, вопреки своему желанию, но очень добросовестно, стала участвовать в евразийском движении. К счастью, в начале тридцатых годов мне поручили задание, которое нравилось мне своей романтикой: переправлять в СССР евразийскую пропагандистскую литературу.

Нагруженные листовками, отправлялись мы в Антверпен. Встречи происходили в порту, в тавернах, мне была по душе эта подпольная деятельность в обстановке, напоминавшей атмосферу приключенческих романов. Сидя у печки, рыжеволосая служанка вязала что-то для ребенка. Матросы хлопали картами по столу. Над устьем Шельды шел частый мелкий дождь, и с доков сквозь туман можно было разглядеть плавающее под красным флагом торговое судно — то самое, которое увезет в Одессу или Ленинград пачки листовок, предназначенных людям, сочувствующим нашим идеям. Доходили ли они до них? Многое терялось в пути; изредка нас извещали о том, что груз получен.

Бывало, встречи происходили и на антверпенском вокзале, среди нагруженной чемоданами и свертками толпы. Тревожно всматривалась я в лицо приближающегося незнакомца — он тоже держался настороже, нес в руке опознавательный знак — газету. А я еле заметно шевелила красным цветастым шарфиком, моля небо о том, чтобы у другой дамы не оказалось похожего. В кафе мы почти не разговаривали, сидели как бы в оцепенении, а вокруг нас бурлила толпа. Настолько безлики были эти встречи, что сегодня мне не вспоминается ни одно лицо, ни один голос — помню только пачки листовок, упакованных в сероватую советскую газету, да пену на кружках с пивом или красно-кровавое вино в наших стаканах, которые печально позванивали, когда мы их сдвигали.

Помню также красный флаг, реющий над черным килем корабля; через несколько дней поутру этот корабль причалит к берегам страны, виза в которую никогда не будет стоять в моем паспорте, — к той единственной стране, куда мне путь закрыт.

История лейтенанта Хохлова, которую он рассказал в Матади, не позволяла мне питать особые иллюзии. Сколько их было, внедренных в наше движение советских провокаторов? Мысленно я перебирала соратников моего мужа, русских студентов Гентского университета; один из них, эстонский подданный, был для нас особенно ценен — студенческие каникулы возвращали его к самым границам СССР — не он ли? Не сорокалетний ли, с седеющими висками киномеханик Перфильев? А может быть, жена

его, не очень подходящая ему пышная брюнетка, то ли подавальщица, то ли кассирша бара в Антверпене? Не был ли агентом другой студент, русский грек с очень живым умом? Или юный рабочий, обрусевший болгарин, смуглый и черноволосый? Или, наконец, самый примечательный персонаж из всей этой компании, Яновский, который, казалось, прямо вышел из «Бесов»? Это был худой и бледный, болезненный молодой человек со светлыми холодными глазами, неподражаемый казуист, бывший центром наших дискуссий. Все эти люди были бедны и как будто бескорыстны. Приходили к нам еще два советских студента, отцы которых занимали важные посты в коммунистическом партийном аппарате. Странно, но эти двое казались мне наименее подозрительными.

В 1930 году мой муж счел нужным созвать евразийский съезд. Действительно, скандал с еженедельником «Евразия», так называемый «кламарский кризис»[1], нанес большой урон евразийскому движению. Позиции его и цели необходимо было определить заново. Европа в ту пору переживала экономический кризис, грозивший и политическими последствиями. Уже заставляли говорить о себе и Гитлер, и Муссолини. В такой обстановке созвать съезд эмигрантов было делом нелегким. Ни Франция, ни Германия, ни Англия не желали выдавать визы эмигрантам, а тем более для политического съезда. У Святослава были связи с влиятельными бельгийцами из деловых и политических кругов. Среди них нашлись и такие, кто понимал опасность, исходящую от коммунизма. Они поддержали моего мужа в его хлопотах, и благодаря этим усилиям первого сентября 1930 года в Брюсселе открылся первый евразийский съезд.

Это было великолепно. О сне позабыли, дискуссии не прекращались. Поздно ночью, уже после заседания, замечательный ученый Владимир Николаевич Ильин, чья обширная эрудиция во всех решительно областях приводила в смущение профанов вроде меня, прочитал блестящий доклад. Этот доклад получился таким длинным, что был запечатлен в виде шутливого рисунка, на котором молодой тогда еще профессор стал лысым и бородатым, но речи своей не прерывал, а делегаты съезда, тоже постаревшие на полвека, сидели окутанные паутиной. Надо сказать, что Владимир Николаевич Ильин — типичный образец безмерной русской натуры. Мой муж утверждал, что как-то раз Ильин диктовал статью по-русски и внезапно, без предупреждения, перешел для ясности на древнегреческий язык, что совершенно сбило с толку переставшего что-либо понимать секретаря, сидевшего за пишущей машинкой. Владимир Николаевич знал досконально музыку и филологию, математику и философию, химию и анатомию. Поскольку Бог призвал человека достичь божественного совершенства, ничто не мешает человеку быть всезнающим и разносторонним... И профессор Ильин, среди прочего, решил научиться плавать и стал прекрасным пловцом. Одно лишь ему было заказано (и я уверена, что он об этом сожалел): научиться летать, не прибегая к летательным аппаратам.

---

[1] Кламар — предместье Парижа, где жил проф. Карсавин, у которого собирались парижские евразийцы. В Кламаре в 1928—1929 гг. выходил еженедельник «Евразия». (*Прим. перев.*).

Присутствовал на съезде и профессор Савицкий. Это был другой тип ученого: рассеянный, с мягким характером. Удивительные у него были глаза, голубые, лучистые. И смелый, дерзкий ум. Очень развито было в нем чувство христианской морали, но страдал он некоторой наивностью, пагубной в политических делах. Он приехал в Брюссель из Праги вместе со своим помощником Константином Чхеидзе — упрямым грузином, таким же упрямым, как и его соотечественник Сталин. Надо мне описать для истории и чету Клепининых, руководившую парижской группой евразийцев и сыгравшую столь важную роль в последующих событиях. Николай Клепинин (не путать с его братом, отцом Дмитрием Клепининым, погибшим в гитлеровском концлагере) был личностью бесцветной; над ним целиком и полностью властвовала его мощная половина, Нина Клепинина, гигантского роста блондинка с правильными, но жесткими чертами лица. В прошлом она была женой профессора Сеземана, ученого мужа, пожелавшего вернуться в СССР. Про него говорили, что коммунистический режим показался ему безобидным по сравнению с тем гнетом, которому его подвергала супруга.

Роль Нины Клепининой на съезде оказалась чрезвычайно важной. Для краткости не буду останавливаться подробно на различных представленных на съезде позициях. Скажу только, что мой муж принадлежал к группе, составлявшей православное крыло движения, а во главе «уклонистов» стояла Нина Клепинина. Не знаю, какие доводы подействовали на Савицкого, выбор которого при голосовании оказался решающим, но факт тот, что в последнюю минуту он предложил всем присутствующим присоединиться к позиции Клепининых.

Если при открытии съезда мы все встали, чтобы почтить минутой молчания убитых в СССР за евразийское дело, то на заключительном заседании мы могли бы точно так же поклониться будущим жертвам, из которых некоторые сидели тогда за одним столом, но принадлежали к разным, противостоящим друг другу направлениям евразийского движения.

Дело этим не завершилось. Во время съезда Святослава выбрали в Президиум, у него появились новые обязанности. И, в силу этих новых дел, он очень скоро пришел к мысли, что история с еженедельником «Евразия», то есть «большевизация» евразийства, могла повториться.

Поэтому он усилил бдительность и предостерег Савицкого о возможности советской инфильтрации в Евразийство, а также сообщил ему, что Яновский был связан с коммунистической организацией, пропагандировавшей возвращение эмигрантов в СССР. Позже эти сведения были подтверждены, и на этот раз из весьма «компетентных», как принято говорить, бельгийских источников. Надо сказать, что и в СССР в ту пору были евразийцы, а, кроме того, иногда туда отправлялись с определенными заданиями евразийцы из эмигрантов. Сам профессор Савицкий ездил в СССР дважды и не подозревал, что эти путешествия были возможны лишь потому, что его проводники состояли в сговоре с тайной советской разведкой, а ей было удобнее, таким образом, проследить за

его связями внутри страны. Капитан Арапов, красавец-офицер из кавалергардов, неоднократно посещавший нас в Брюсселе, был расстрелян при таинственных, так и не выясненных обстоятельствах. Некоторые «внутренние» евразийцы тоже были расстреляны или сосланы в 1933-м году, во время ежовщины. Сегодня же стало известно (об этом говорит и Джеффри Бейли в своей книге «Война советских спецслужб»), что советская ветвь евразийского движения действовала как мнимая подпольная группа в составе организации под названием «Трест» и что ею были созданы собственные центры, которым предписывалось поддерживать связь с евразийцами-эмигрантами.

Разумеется, никаких документальных доказательств двойной игры Яновского мой муж представить не мог. Но и молчать он не имел права. Он дал знать в Прагу обо всем, что ему стало известно, и попросил своих коллег рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании Президиума, которое должно было состояться в Париже, в Исси-ле-Мулино, на квартире у Клепининых.

На сообщение Святослава Клепинины реагировали с возмущением. Они заявили, что такое бездоказательное обвинение совершенно неприемлемо и равносильно клевете. Профессор Алексеев по причинам, известным ему одному, встал на сторону Клепининых. Профессор Савицкий уступил по слабости характера, хотя и предполагал, что мой муж был прав. Третий член Президиума не сомневался в том, что Святослав сообщил вполне достоверные сведения, но склонился перед мнением большинства. Святослав немедленно и с большой горечью вышел из Президиума и надолго отошел от всякой политической деятельности.

Вскоре скрытая до времени правда стала явью. Перенесемся на несколько лет вперед, в 1937 год. Всем совершенно было ясно, хотя в некоторых кругах и закрывают на это глаза, что мир находился на пороге кровавых испытаний. Как всегда в подобные моменты, спецслужбы удваивают свою активность и, следовательно, понемножку ликвидируют тех, кто им мешает, при обстоятельствах, вовсе не похожих на перипетии в фильмах о Джеймсе Бонде.

Мне, верно, на роду было написано встретить на протяжении жизни не одного убийцу... Среди них был Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой, поэт; о нем я говорила раньше. Он был одним из прокоммунистически настроенных евразийцев — редакторов еженедельника «Евразия». Участник Белого движения, он после разгрома Белой армии приехал в Прагу, где поступил в университет, а затем вместе с Мариной обосновался в Париже. Я встречалась с ним несколько раз, он казался мне человеком весьма заурядным. Знаю, кое-кто его прозвал «глупым верблюдом». Что побудило Сергея Эфрона добиваться возвращения в СССР: ностальгия ли, желание ли положить конец неопределенности эмигрантского существования? Так или иначе, для этого требовалось искупить прежние грехи, в том числе и принадлежность к Добровольческой армии. Этим, видимо, и объясняется, что Эфрон приложил руку (по заказу, конечно) к советизации «Евразии», которая стала постепенно сползать в коммунистическое русло. Но этого оказалось недостаточно. Начиная с 1934 года Сталин уже решил пойти на сговор с Гитлером.

Один из его агентов по имени Игнатий Рейсс был в курсе тайных переговоров СССР с гитлеровской Германией[1]. Но Рейсс дезертировал из советских спецслужб, и его бывшему коллеге Кривицкому поручили его убрать. Кривицкий же предпочел последовать примеру Рейсса (позже, в 1941 году, его убьют в США советские агенты). То, чего не захотел сделать Кривицкий, совершил в 1937 году Сергей Эфрон. Такова была плата за обратный билет на родину.

Марина Цветаева, которой он, естественно, об этой своей деятельности ничего не рассказывал, по цельности своей натуры тайным агентом никогда бы стать не смогла. Полиция допрашивала ее очень вежливо, что свидетельствует об уме французских полицейских чинов, проводивших дознание по делу об убийстве Рейсса и последовавшем за ним исчезновением Сергея Эфрона. Марина Цветаева, при всех обстоятельствах поэт, произнесла чисто цветаевскую фразу в защиту своего мужа: «Его доверие могло быть обманутым, мое доверие к нему непоколебимо». Я еще вернусь к Марине Цветаевой и к трагической судьбе всей ее семьи — судьбе, уготованной самим Сергеем Эфроном. Подобно всем прочим, замешанным в кровавых тайнах ГПУ—НКВД, он погиб от рук своих хозяев.

Блистательный маршал Тухачевский, в прошлом офицер лейб-гвардии Семеновского полка, в котором служили в свое время и некоторые евразийцы-эмигранты, в 1937 году, видимо, как-то соприкоснулся с идеологией евразийства. Тухачевский, по словам его биографов, терпеть не мог теории, но любил новшества и эксперименты. Он с недоверием относился к «гнилому Западу», который воспринимался крайне враждебно и некоторой частью евразийцев. Можно предположить, что евразийство привлекло его тогда своей новизной, вероятно, так же, как позже привлечет его нацизм. Из всех жертв громких политических процессов эклектик и прагматик Тухачевский — единственный, кто умер, не признав себя виновным и не прося о помиловании или о смягчении приговора.

В январе 1937 года был убит в Париже Дмитрий Навашин, который был знаком и с генералом Скоблиным[2], и с Александром Гучковым, бывшим министром Временного правительства, дочь которого в ту пору была женой Петра Сувчинского, ранее состоявшего в редколлегии еженедельника «Евразия». И раз мы заговорили о Скоблине, этот разговор нас снова приведет к Клепининым; с ними связан один мой поступок, правильность которого я по сей день перед своей совестью не разрешила.

23 сентября 1937 года в Брюсселе мы раскрыли газеты и с возмущением узнали о том, что был похищен генерал Миллер. Менее чем за десять лет два русских генерала были похищены прямо в Париже, а виновники похищения бесследно исчезли! Эмигранты встретили это известие с изумлением и гневом. А нас особенно поразило то, что, как сообщали газеты, среди разыскиваемых в связи с этим преступлением лиц были супруги Клепинины. Этим многое объяснялось, и в частности то, что в деле Яновского, которое повлекло за собой выход моего мужа из Президиума евразийского движения, именно Клепинины сыграли ре-

[1] См. кн. Джеффри Бейли «Война советских спецслужб». (*Прим. автора*).

[2] Он был причастен к похищению генерала Миллера. (*Прим. автора*).

шающую роль, обвинив Святослава в клевете и встав на защиту «непорочного» Яновского.

Мы жили тогда в доме № 4 по улице Вашингтона, опять-таки неподалеку от авеню Луиз. После обеда я вышла за покупками. Внезапно на остановке трамвая на углу авеню Луиз и улицы Байи вижу группку из четырех человек: Клепинины, с ними Василий Яновский и Николай Перфильев. Никакого трамвая поблизости нет. Все четверо явно взволнованы; они тихо совещаются между собой, не глядя по сторонам, и меня не замечают. За считанные минуты мне нужно решить для себя нравственный вопрос. Несомненно, похищение генерала Миллера — преступление, равносильное убийству. Враги моего мужа у меня в руках: достаточно мне подойти к уличному полицейскому, находившемуся совсем недалеко, на противоположном конце авеню Луиз. Отвращение, которое многие испытывают к полицейским, мне не свойственно; не будь их, жизнь стала бы невозможной, и я благодарна им за то, что они есть. Но пособником полиции я не была никогда — это не мое амплуа. С другой стороны, человек, в высшей степени достойный уважения, по всей вероятности, уже мертв, а ответственны за это — та женщина и трое мужчин. Я их вижу, а они меня — нет, они все еще шушукаются.

Я не двинулась с места — но до сих пор так и не знаю, правильно ли я поступила, что не донесла на них. Меня остановило опасение, что я хочу свести с ними личные счеты. Я терпеть их не могла, и мне было бы очень приятно узнать, что они по крайней мере в тюрьме. Но сегодня я иногда думаю, что не исполнила своего гражданского долга...

«Помилованные» мной Клепинины от возмездия не ушли. По дошедшим до нас, но не подлежащим никакой проверке слухам, Николай Клепинин незадолго до смерти сошел с ума, а Нина Клепинина была расстреляна большевиками в СССР. Опять-таки в книге Джеффри Бейли (написанной, кстати, очень увлекательно) я нашла упоминание о сношениях генерала Скоблина с евразийским движением, и я не сомневаюсь, что такая связь установилась именно с группой Клепинина. Нити этого заговора приводят каждый раз к краснолицей великанше, которую уже в 1932 году разоблачил волей случая мой муж.

В 1937 году один из членов Президиума написал моему брату, тогда священнику в русской церкви в Берлине. Он хотел просить прощения у моего мужа и просил содействия. Святослав, конечно, простил его, после чего получил два длинных и трогательных письма: они хранятся в моем архиве. «Я оскорбил Вас, — писал он, — так как был глупее, доверчивее и слабее, чем предполагал». Когда Красная Армия обрушилась на страны Восточной Европы, автор этого письма, равно как и профессор Савицкий — большой ученый, но и большое дитя, — были увезены и заключены в советские лагеря. И слабых не всегда щадит карающий меч.

Ничто, вероятно, не обнаружило так ясно трудности и вместе с тем трагедию подпольных эмигрантских организаций, как дела генералов Кутепова и Миллера. Ничто не служит в то же время лучшим доказательством того факта, что подрывная деятельность обоих генералов не была лишена шансов на успех. Советы никогда не помышляли о том,

чтобы как-то «обезвредить», скажем, Милюкова или Керенского, хотя первый играл в эмиграции очень видную роль.

Вспоминая сейчас эти события, о которых обычно думаю мало, обнаруживаю, сколько же привелось мне в жизни встретить роковых личностей. Плевицкая пела на благотворительных концертах, устраиваемых моей матерью во время войны 1914 года... Вынесенный певице приговор был, как мне кажется, не совсем справедливым. Очень неумело защищал ее адвокат Филоненко, он раздражал суд своей иронией. Умерла Плевицкая в тюрьме, покинутая всеми, кто прежде так ее превозносил. Участие ее в этом преступлении было очевидным, однако не выходило за пределы участия жены в делах обожаемого мужа (Скоблина), а закон не может карать жену за отказ давать показания против своего мужа. Из всех преступников, замешанных в деле генерала Миллера, попала в руки правосудия она одна, в то время как истинно виновные, скрывшись за посольскими стенами, оказались в полной безопасности.

Каким образом человек становится предателем? И почему? Только предатель мог бы дать ответ на этот вопрос. Удивляюсь, что в наш век, когда в моде самые дурно пахнущие литературные исповеди, подобного рода признания еще никто не написал.

В 1932 году, после того как мой муж вышел из Президиума евразийского движения, я оказалась, в некотором роде волею судеб, вне какой бы то ни было политической деятельности. Что для моего мужа было испытанием, то мною воспринималось как освобождение. В схватке победили люди с грязными руками. Но Запад был здесь, рядом, и мне хотелось впитать некоторые его положительные черты, хотя он вовсе не был для меня абсолютным идеалом. Прежде всего мне требовалась необходимая для любой работы дисциплина. Я же была склонна к мечтательности и лености. Правда, и в том, и в другом нуждается писатель. Обстоятельства моей жизни не оставили мне никакого досуга (я и по сей день его лишена), но по крайней мере мне следовало найти разумный способ сочетать разнообразные виды деятельности, которыми приходилось заниматься. В тот период моей жизни я жаждала освободиться от наследия Достоевского, от его хаотического мира, где кипят страсти, где поставленные перед человеком задачи слишком уж широки. Я желала определить для себя хоть какие-то границы, установить хоть какие-то пределы. Нестерпимо скучными казались мне чисто светские собрания с их бессмысленной болтовней. Лишь возраст научит меня их терпеть без особого раздражения.

Тем не менее общение с людьми мне было просто необходимо. Вскоре мы оба нашли такую возможность в среде бельгийской интеллигенции, и прежде всего в доме профессора Фиренса-Геварта и его жены Одетты — у нее были удивительные, веселые и живые глаза. Поль Фиренс был человеком олимпийского масштаба. Об искусстве он знал решительно все, ему мы обязаны — я и муж — открытием Жоржа де ля Тура, одного из величайших художников мира. Дом Фиренсов был местом международных встреч. Здесь мы познакомились с китайским ученым

доктором Сие, с несгибаемым врагом Муссолини графом Сфорца, с Евгенио д'Орсом, с Жаном Кассу. Когда наступили мрачные дни 1940 года, вспомнил ли Жан Кассу о некоторых своих парадоксах, которые, как мне кажется, он использовал позже в одной из своих книг? В ту пору он, скажем, утверждал, говоря об инквизиции, что палачей порождают безумство жертв и их непреклонность. Евгенио д'Орс, первый испанец, встреченный мною в жизни, блистал, как фейерверк, даже когда метал игрушечные стрелы в саду у Фиренсов, на их вилле в Брабанте.

Как я жалею теперь, что не записала всех рассказов Поля Фиренса, который провел молодость в Париже и вращался в двадцатых годах в парижских литературных кругах. Теперь, чтобы воспроизвести некоторые из них, мне приходится полагаться лишь на свою память. Вот, например, что он рассказывал о дискуссиях в Понтиньи, откуда он незадолго до того вернулся. Польская дама, некая госпожа Абрамсон, говорила, что одни люди предрасположены к общественной деятельности, а другие, напротив, к одиночеству, что, впрочем, общеизвестно. «Но иногда, — продолжала она, — одинокому человеку хочется заняться общественной деятельностью, хотя природа его никак к этому не располагает», — и, обращаясь к присутствующему Андре Жиду, госпожа Абрамсон попросила его поделиться на сей счет своим личным опытом. Жид дремал, посасывая леденец. Он встряхнулся и сказал:

— Да, иногда у человека возникает желание заняться общественной деятельностью, и это делает его очень несчастным.

Поль Фиренс знавал в молодости Поля Морана, Мориака, Кокто, Радиге, Пикассо, Матисса и многих других. О Радиге он рассказывал, что тот проявлял, несмотря на свою молодость, замечательную внутреннюю независимость, хотя он и вращался в среде снобов-интеллектуалов. Вот один эпизод, который я запомнила. Кокто, вытянувшись на кровати, плохо говорит о Жиде. Радиге на это: «А я нахожу, что Жид — великий французский писатель». Кокто (скорбно): «Вот как! Даже лучшие друзья тебя не понимают! Жид вовсе не писатель... и т. д.». Радиге: «Нет, Жид — прекрасный французский писатель!»

Опять-таки у Фиренсов музыкант Жан де Шастэн рассказывал, что присутствовал на обеде, на который были неудачно приглашены одновременно Елизавета Бельгийская и госпожа де Ноай. Поэтесса не закрывала рта и не дала королеве вставить ни единого слова. С тех пор Елизавета отклоняла любое приглашение, если только среди гостей должна была появиться автор «Бесчисленного сердца».

В Брабанте, в Риксенсарте, жил вместе с женой, смуглянкой Бланшетт, и тремя дочерьми поэт Мело дю Ди. Он был прециозным поэтом, другом Жана де Бошера. По моей просьбе он согласился взвалить на себя перевод нескольких стихотворений Пушкина.

Еще мы бывали в салоне у мадам Дестре, или Мими Дестре, вдовы министра Дестре, который, посетив Россию, написал книгу о русской революции; весьма некстати назвал он ее творцов «растопителями снега». Весь светский, интеллектуальный, артистический и политический Брюссель собирался у доброй Мими Дестре. Носила она невероятные шляпы, придававшие ей сходство с похоронной или, менее мрачно, с цирковой

лошадью. Она отличалась каким-то детским снобизмом и, сверх того, большой рассеянностью. Так, однажды, когда журналист Ришар Дюпьерё с кем-то из гостей рассуждал о знаменитой бельгийской семье Мерод, госпожа Дестре выпалила походя, с обычной своей порывистостью: «Вы говорите о Меродах?» На что насмешник Дюпьерё ответил: «Да, мы спорим о том, в каком веке они прибавили к своей фамилии букву «о»[1]. И госпожа Дестре поспешила ответить: «А я знаю! А я знаю! В четырнадцатом! Мне сама принцесса говорила!» В другой раз, после ученейшего доклада Луи де Бройля — это было событие, и все брюссельские дамы кинулись на доклад, кроме меня, так как я знала, что ничего не пойму, — она сказала моему мужу: «Ах! Как удивительно! Какая ясность изложения! Как все было интересно!» На что мой муж, шутя, заметил: «Да, вы правы, но мне кажется, что он слишком уж увлекся своей теорией квантов!» И Мими Дестре тут же согласилась с таким странным суждением!

Как-то раз госпожа Дестре с одной своей знакомой явилась к нам в шесть часов вечера, когда и я, и муж болели гриппом и лежали в постелях. Оказывается, она где-то нашла наше прошлогоднее приглашение и пришла на наш скромный прием с опозданием ровно на один год.

«Принимать» нам было не по средствам, но мы любили собирать у себя всех желавших; думаю, в Брюсселе мы были единственными, кто не считался с политическими взглядами приглашаемых; у нас бывали вперемешку и католики, и либералы, и социалисты, а позже даже один или два рексиста. Неугомонный депутат-социалист Луи Пиерар добивался от Министерства юстиции разрешения установить на тюрьму, в которой в свое время сидел Верлен, мемориальную доску приблизительно следующего содержания: «Сие заведение было почтено пребыванием в нем поэта Верлена». Тот же Пиерар помогал мне разыскать в Остенде следы Николая Васильевича Гоголя, будто бы написавшего там одну или две главы «Мертвых душ». Но в архивах об этом ничего найдено не было.

После роскошных обедов у родителей поэта Тео Леже мы собирались в гостиной, где слушали, как министр Поль Крокар комментирует события текущей политики или как увлеченный и увлекательный Жак Пиренн рассуждает об истории. Однажды вечером какой-то скучнейший писатель, член Королевской Академии, пришел к Леже читать отрывки из своего романа. Чтение продолжалось очень долго. Жак Пиренн сидел в гостиной у самой двери и украдкой проскользнул в соседнюю комнату. Появился он лишь тогда, когда раздались наши вежливые хлопки. И не без ужаса услышали мы голос мадам Пиренн: «Жак, а вы, кажется, не слышали последней главы? Мы попросим господина X. прочитать нам ее снова». И на этот раз Жаку Пиренну не удалось избежать наказания, как, впрочем, и всем нам.

Но оставим гостиные и, немного переменив обстановку, перенесемся в другие места. Мои самые красочные воспоминания о Бельгии относятся

[1] Игра слов: если отнять от фамилии Мерод букву «о», получится малоприличное французское ругательное слово. (*Прим. перев.*).

не столько к Антверпенской выставке, очень живописной, где в деревне «Старинная Бельгия» посетители попадали в мир Йорданса и Брейгеля, сколько к моим прогулкам в компании Рене Мерана в квартал Мароль, и, в особенности, к нашим походам к Тоону Четвертому, в узкий и темный Варшавский тупик, где он продолжал древнюю традицию кукольников.

Наблюдать за маленьким залом было не менее любопытно, чем за происходившим на сцене. В первых рядах сидели мальчишки; на задних местах — рабочие в картузах и простоволосые женщины необычайно крепкого телосложения. Никакой Бертольт Брехт не мог бы доставить этим зрителям того удовольствия, какое они получали от пьес, сочиненных или адаптированных самим Тооном на «брюсселерском» диалекте с примесью фламандского и французского и со множеством чисто «марольских» выражений, сохранившихся, видно, со времен Уленшпигеля и его бедняков-оборванцев. Зал погружался в темноту, и оживала сцена; восторженные вздохи вырывались у публики при появлении персонажей или при смене декораций, хотя почти каждый присутствующий прекрасно знал весь репертуар и мог бы сам по ходу действия подать любую реплику. Вот Женевьева Брабантская беседует на марольском наречии с закованным в доспехи рыцарем. Вот дворянин XVIII века, очень довольный окружающей его роскошью, прохаживается по своей гостиной со словами (привожу их в фонетической транскрипции): «Shoene groote salon»[1]. Декорации меняют, как в современном театре, на глазах у зрителей. Стены гостиной улетают, причем видны поднимающие их руки, и мы оказываемся на лужайке, где два молодца скрещивают шпаги под громкие удары листов железа за кулисами. «Давай, давай!» — кричит какой-то мальчишка. Завсегдатай комментирует: «Вот-вот! Сейчас он его убьет, чтобы жениться на Розалиндекс!» Лето, и нас грызут блохи. Во время антракта мальчишки прямо в зале играют в «жучка», какая-то женщина ест жареные ломтики картофеля из промасленного бумажного фунтика. Мы идем поздороваться с Тооном в его владения за кулисы. Там тесно, всюду трупиками лежат марионетки. Текст пьес сочинен самим Тооном; он аккуратно записан в толстые школьные тетрадки, сильно потрепанные от длительного употребления. Тоон — рабочий, он отдает все свободное время любимому делу. У него впалые щеки, он кашляет. Скоро болезнь заставит его покинуть это поприще.

Мы идем выпить с ним по кружке пива в одно из многочисленных кафе, где знаменитый закон социалистов запрещает продажу спиртного. Пиво пенится в кружках. К нему можно купить мелких и жестких, словно резина, улиток. Заметно, что в этих краях к фламандской крови когда-то примешалась испанская: то в мужчине, то в женщине угадывается сходство с уроженцами Кастилии или Арагона. В воздухе пахнет пивом, подгоревшим на сковороде маслом. В нашем мире, где постепенно стираются всякие различия, где все континенты все более походят один на другой, квартал Мароль сохранил свое истинно бельгийское лицо.

[1] Прекрасная большая гостиная. (Простонародный брюсселерский диалект, смесь французского с фламандским.) (*Прим. перев.*).

Я не переставала писать по-русски для эмигрантских журналов и газет, но общение мое с бельгийскими поэтами привело к тому, что я постепенно, сперва очень робко, начала что-то делать для франкоязычных бельгийских изданий; иной раз меня даже переводили фламандские газеты. В Бельгии очень любят словесность, об этом свидетельствует множество небольших журналов, называемых «Орфеонами». Первым принял меня «Тирс» Леопольда Рози, затем «Авангард». Писала я и литературно-критические статьи для «Ле Руж е ле Нуар», в другое периодическое издание давала свои новеллы. Прочитала по-французски и первую свою лекцию «Судьбы поэтов» — об Александре Блоке, Есенине, Маяковском, Гумилеве...

Вскоре я вошла в группу, выпускавшую «Журналь де Поэт», куда меня ввел мой друг Рене Меран. Но есть в моей натуре некий изъян, он мешает полностью слиться с любой группировкой, какой бы она ни была. Боюсь, я не вполне слилась и с этой, которой руководил Пьер-Луи Флуке. Однако я там нашла себе друзей: Шарля Мюншёра, Эдмонда Вандеркаммена и других... Сотрудничала я и с журналом «Сите Кретьен», и в 1936 году он опубликовал довольно длинную мою статью о Владимире Набокове — первую, я думаю, о нем, а по-французски — наверняка. В 1937 году я написала по-французски для «Сите Кретьен» биографию Пушкина, приуроченную к столетию со дня его смерти, а в серии «Журналь де Поэт» вышел небольшой юбилейный пушкинский сборник, в котором участвовали профессор Гофман, Глеб Струве, Вл. Вейдле. Переводя Пушкина, я сотрудничала с не знавшими русский язык поэтами, среди которых были Рене Меран, Поль Фиренс, Мело дю Ди... Прочие переводы принадлежали перу профессора Лиронделя, Владимиру Набокову, Роберту и Зените Вивье... Этот юбилейный сборник, посвященный Пушкину, стал сегодня библиографической редкостью.

Ну и конечно, любопытство влекло меня в мир, для меня закрытый, — в мир фламандской литературы. Мы подружились с Францем де Бакером, с Реймоном Брюлезом. Знакомы были и с Тусеном ван Буларом и другими. Благодаря им я открыла для себя Гидо Гезеля и Вонделя, а книги Кроммелинка и Мишеля де Гельдероде, хоть они и писали по-французски, как и Шарль де Костер, познакомили меня с Фландрией.

Признаться, я искала для себя родину более осязаемую, чем та, какой стала для меня страна, где я родилась. В своих архивах я нашла текст, написанный мною в те годы для одной проводившей опрос брюссельской газеты. Он представляется мне характерным.

Вот как я ответила тогда на вопрос: «Какой ваш любимый уголок в Бельгии?»:

«Позволительно ли нам, живя в стране, великодушно нас принявшей, вспоминать о другой, которая нас отвергла, забыла, прокляла? Если нет, то обойдусь без позволения. Вот уже шестнадцать лет как я ищу в Бельгии просторные печальные равнины, ищу леса с непомятой травой. Бывало, я узнавала мое детство в Кампине, где-то между Геелем и Меркспласом (в этом краю безумных, краю бродяг), или в местности, именуемой Пюль, окутанной такой чудесной тишиной; автомобилисты ее

избегают из-за ухабистой, разбитой дороги. Да, летом Фландрия пахнет медом и хлебом, и сквозь дымку пробиваются ее фольклорные краски. И в Валлонии я тоже знаю укромные уголки. Улыбается лес Сент-Хюбер, вот усеянная солнцем поляна... Но в приглянувшиеся мне места я ни за что не вернусь. Жизнь в том и состоит, чтобы искать и помнить. Но не в том, чтобы возвращаться к минувшим радостям и огорчениям, к тем же пейзажам, к тем же лицам. И если мы полюбили что-то или кого-то, нет тому определенной причины. Просто вдруг мы ощутили гармонию между собой и страной, краем, человеком и так исполнились миром и блаженством (или, напротив, горем и тревогой), что эти чувства выплеснулись наружу и, перекрыв все, стали Мечтой».

И вот кончилось тем, что я стала грешить стихами и частенько публиковать отдельные стихотворения, а через год их набралось даже на целый сборник. Хвастаться мне тут нечем. Вдруг мне представилось, что сочинять современные стихи не так уж и сложно, и я потеряла к ним всякий интерес.

Однажды за ужином в «Журналь де Поэт» я встретила Шарля Плисньe. В этом человеке дела, пикардийце, адвокате, было столько бьющей ключом жизненной силы — необычной для бельгийца, что это сразу привлекло мое изумленное внимание. Он тогда еще не получил Гонкуровскую премию, но и в своей стране, и за ее пределами был уже знаменит, чем был обязан не только активному коммунистическому прошлому, но и тому, что много путешествовал. Где он только не побывал — и в Болгарии в 1925 году для того, по его словам, чтобы «чуть-чуть подорвать собор в Софии», и в Сирии в 1926 году, чтобы «чуть-чуть поджечь Дамаск». К счастью для нашей дружбы, я встретилась с ним в тот момент, когда его жизнь делала крутой поворот, снова приведший его к вере. У него был яркий цвет лица, живые глаза, непокорные волосы, а трубка — эта принадлежность спокойных мужчин — не очень-то к нему шла. Плисньe царствовал — в буквальном смысле слова — над целым «двором» услужливых поклонников. Его жена Алида на него молилась, и Шарль хорошо знал, чем ей обязан. На квартире у Плисньe поэт Сади де Гортер и целая когорта учеников ловили в благоговейной тишине каждое слово мэтра. Я очень ценила Плисньe — больше как человека, нежели как писателя, и считала, что обстановка, которой он себя окружил, несколько утрирована. Он был достаточно умен, чтобы не обижаться на мою прямоту, даже тогда, когда я его упрекнула в том, что он создал вокруг своего обращения к вере слишком уж много шума. Но писатели, впрочем, как и художники (вспомним Фужиту), с трудом отказываются от своего «имиджа». В Шарле Плисньe я ценила его великодушие, милую расположенность к людям, и мне было необычайно приятно написать предисловие к его роману «Фальшивые паспорта», вышедшему в 1948 году в издательстве «Клёб Франсе дю Ливр». Но когда в 1937 году в Париже — как раз за «Фальшивые паспорта» — он получил Гонкуровскую премию, к нему пришла более громкая, чем в Бельгии, слава, и она-то отдалила нас друг от друга. Он отдался ей со всей пылкостью своей натуры. Вновь мы увиделись с ним позже, уже после войны. Он тогда жил на своей ферме в департаменте Сен-е-Марн. Потом он опять исчез, а перед нашим отъ-

ездом в Марокко вдруг позвонил. Он узнал, что мы уезжаем, и хотел со мной повидаться. Мы встретились в кафе на Елисейских полях. Болезнь уже наложила на него свой отпечаток. Создалось впечатление, будто он пришел со мной проститься.

Вспоминая Шарля Плиснье, не могу обойти молчанием его дом в Оэне, около Ватерлоо, оэновские пироги с творогом и с яблоками, наши схватки в японском бильярде — они осложнялись тем, что ни он, ни мой муж не умели проигрывать.

В том же Оэне, где родился поэт и писатель Роберт Гоффен, был устроен однажды поэтический праздник «Конюшня Пегаса» — приятное франкоговорящее собрание на лоне природы поблизости от «мрачной равнины» Ватерлоо, как назвал ее Виктор Гюго; там рыкающий Лев обратил навечно в сторону Франции, к великому недовольству валлонов, свой угрожающий зев.

В 1955 году мне довелось написать несколько статей для журнала «Аж Нуво», который издавал Плиснье в Париже. А в 1945-м, когда я вернулась из Англии, он прислал мне свой роман «Матрешка», который посвятил мне, чем очень меня тронул. Русские персонажи «Матрешки» кажутся мне преувеличенно русскими, да к тому же они наделены пресловутой «славянской душой», которой награждают нас по любому поводу. Однако Кессель — а он-то русских людей знает лучше — тоже впадает в этот грех. Но вот эпиграф, выбранный Плиснье для его книги, я целиком принимаю на свой счет. Он взял его из Монтеня: «Били меня со всех сторон: для гибеллинов был я гвельфом, для гвельфов — гибеллином».

Для западных людей я оставалась иностранкой, русским же казалась чересчур «западноевропейской».

У Плиснье мы встретили как-то раз Виктора Сержа, уцелевшего каким-то образом после сведения счетов Сталина с троцкистами. Передо мной стоял сын (а может быть, он был ему внуком, не помню точно) Кибальчича, одного из убийц царя-освободителя Александра Второго. Не понравились мне его холодные глаза теоретика — очень опасной породы людей. Понятно, ни я, ни мой муж не были в восторге от его манеры рассуждать. Склад ума у него был сухой, не чувствовалось столь ощутимого, как у Шарля Плиснье, биения сердца. Мозг его работал, как машина. Мой муж сказал ему между прочим: «Мы слыхали, что положение рабочих и крестьян ничуть не улучшилось: счастливее они не стали». На что Виктор Серж сухо ответил: «Счастье народа коммунизм в расчет не принимает».

Удивляла меня в те годы реакция на Советский Союз западных интеллигентов, посещавших его. Мне довелось писать о гнусном поступке одного бельгийского врача, коммуниста: он донес на работницу завода, которая отважилась шепнуть ему во время экскурсии: «Не верьте ничему из того, что они говорят, нам живется очень плохо». Но даже если первые туристы ничего столь отвратительного не совершали и оставались беспристрастными, они, на удивление, придавали значение вещам

более чем второстепенным. «Вы только подумайте, — говорил мне вернувшийся из Ленинграда поэт и романист Эрик де Олевиль, — в этом городе между булыжниками растет трава!» До травы ли было, когда тысячи людей томились в концлагерях, своим рабским трудом создавали великие каналы и Днепрогэс, разрабатывали колымские рудники...

Нам с мужем случалось вырываться в Париж, что всегда было сопряжено с большими трудностями. Так как паспорта у нас были «нансеновские»[1], нам приходилось при каждой поездке из Брюсселя в Париж подвергаться пренеприятнейшим процедурам — например, выстаивать бесконечные очереди среди подобных нам просителей. Во французском консульстве от нас требовали представить письмо от лица, постоянно проживающего во Франции, с поручительством, что мы вернемся обратно в Бельгию. Особая печать на наших документах напоминала нам о том, что мы не имели права поступать во Франции на оплачиваемую работу, а разрешение на въезд никогда не выдавалось более чем на две недели. Если же мы хотели поехать в Италию или куда-то еще, надо было просить о французской транзитной визе, в которой было помечено: «Без права на остановку», что лишний раз напоминало нам о нашем статусе беженцев.

Но вот, наконец, приходило вознаграждение. Опять я оказывалась в Париже, вдыхала с наслаждением его изрядно закопченный воздух — но, если то была весна, в воздухе веяло еле уловимым запахом цветущих каштанов. Набережные еще принадлежали гуляющим и «клошарам», по ним можно было бродить, слушая, как плещется Сена. Парижская улица, если смотреть на нее с террасы кафе, представляла собой нескончаемый спектакль, в котором актеры играли самих себя. Французские родители в то время усиленно пытались — странным, но действенным методом — внедрить своим детям правила той самой пресловутой вежливости, которой славилась Франция. «Здравствуйте!» — говорил ребенок. «К кому ты обращаешься?» — «Здравствуйте, мадам». — «Спасибо». — «Кому ты говоришь спасибо?» — «Спасибо, мадам». А если ребенок забывал это, то легкая, но меткая пощечина тотчас напоминала ему, что хорошие манеры даются нелегко.

Не было в ту пору на парижских улицах ни крутой, ни золотой молодежи, и нам не приходилось встречать на каждом шагу друзей, у которых только что ограбили квартиру. Ночью в городе — в центре во всяком случае — было спокойно. Мне случалось возвращаться одной в два часа ночи пешком через уснувший город, и мысль о возможном нападении даже не приходила в голову. После вечера в Русской консерватории я возвращалась с тогдашней Токийской набережной на Монпарнас через мост, по широким проспектам, потом по узким улицам среди удивительной тишины, ныне навсегда утраченной. Тем не менее город жил своей жизнью, и странные неожиданности подстерегали тебя на каждом углу.

---

[1] Паспорта для беженцев «без гражданства», введенные по инициативе полярного исследователя и общественного деятеля Ф. Нансена. (*Прим. перев.*).

Африка еще не наводнила своими народами французскую столицу, и чернокожих можно было видеть разве что в негритянских танцевальных залах. Как-то вечером на плохо освещенной улице я увидела идущее мне навстречу гигантское существо — как мне показалось, привидение. Да, настоящее привидение: развевалось светлое пальто, и над ним плыла светлая же шляпа, а лица не было... Я едва не закричала, но тут необычное создание поравнялось с уличным фонарем, и я с облегчением вздохнула: это был всего лишь огромный негр...

Спит Париж, но спят в нем не все, и много творится разного... Как-то ночью я возвращалась, не помню откуда, с двумя друзьями по совершенно пустынной улице Риволи. Уже брезжил рассвет, как вдруг мы услышали приближающийся странный грохот. Мы остановились. Это был не гром — раскаты шли не с неба, а будто из недр земли. Вниз по улице, по проезжей части, катили в нашу сторону какие-то непонятные низкорослые существа. Нас было трое, мы решили подождать. Оказалось, это безногие, человек десять, передвигались они в четырехколесных тележках; таких сегодня уже не увидишь. Они держали деревянные опоры, которыми отталкивались от мостовой.

Куда, в какой «двор чудес» направлялись эти обрубки, эта четырехколесная кавалерия? Мы шагнули на проезжую часть, они нас окружили, мы почувствовали себя великанами среди лилипутов. Это могло бы остаться страшным видением, но превратилось в дружескую встречу. Безногие оказались людьми компанейскими, жизнерадостными и объяснили мне, что едут на Центральный рынок, чтобы пропустить стаканчик-другой вина перед сном. Мы выкурили вместе по сигарете «голуаз» и разошлись, каждый в свою сторону.

Раз, гуляя по набережным Сены, я резко остановилась: после недавней операции я не переносила запаха эфира. Никого рядом со мной не было, кроме двух бездомных женщин, матери с дочерью. У молодой лицо дебильное, глаза слезятся, течет слюна. Мать льет немного эфира на чудовищно грязную тряпицу и протягивает дочери: «На, на, понюхай!» — и та жадно вдыхает, а по лицу разливается бессмысленное животное блаженство... Да, не только интеллектуалы балуются наркотиками.

Иной раз во время моих прогулок Париж будто преображается, в нем появляется что-то от Достоевского... Вот молодой бродяга, он неподвижно сидит на скамье, сидит прямо, не развалившись, как принято у этой не желающей себя стеснять братии. Он худ, лицо его серо. Но милостыни он не просит, и я несколько раз прохаживаюсь мимо этой скамейки, не решаясь дать ему подаяние. Наконец отваживаюсь, протягиваю несколько монет, но он не делает ответного движения. Я кладу деньги прямо на скамейку и удаляюсь. Но слышу, как монеты звенят о камень, и оборачиваюсь. Они упали, человек их не поднимает, но встал на колени и, глядя в мою сторону, делает рукой быстрые движения, будто крестит меня. Все это представляется мне тем более странным, что французам подобное не свойственно.

Но даже в Париже Россия не так далеко, как кажется...

С 1932 года я состою в парижском русском «Объединении молодых писателей и поэтов». Таковых немало. Я вижусь с ними в каждый мой

приезд либо в кафе «Ля Болле» — самом необычном и, пожалуй, самом грязном во всем Париже, — либо в задней зале другого кафе, на площади Одеон. Там густо пахнет мочой: рядом уборная. Кафе «Ля Болле» сто́ит того, чтобы о нем немного сказать. Оно находится в тупике Ласточки, поблизости от площади Сен-Мишель. Всем известен Латинский квартал, где со времен средневековья прогуливались буйные школяры и поэты, нередко про́клятые. Кафе это и в наши дни осталось как бы средневековым: у его стойки часто коротали время девки и темные личности. Неприятного цвета дверь вела в заднюю залу, отведенную поэтам, и доморощенная надпись на стене напоминала о том, что до нас это место посещали Поль Верлен и Оскар Уайльд. Комната быстро окутывалась табачным дымом. Любопытствующим вход был запрещен. Постепенно появлялись русские поэты, садились на неудобные скамьи и по очереди читали свои стихи, подвергаясь затем критике собратьев, часто немилосердной. Хвалили редко, принято было скорее ругать, особенно новичков. Но каждый яростно защищался. Пока под потолком с желтыми разводами разливалась русская речь, за дверью и особенно внизу, в подвале, происходило много интересного. Атмосфера там напоминала романы Франсиса Карко. Апаши в Париже отошли уже в область фольклора, но фольклор живуч, особенно в тех случаях, когда может служить коммерции. Кепки и нашейные платки еще не успели стать театральным реквизитом; Мистингетт пела «Ты — мой мужик» и щекотала любопытство буржуев и туристов, которые искали в подвале «Ля Болле» настоящую обстановку парижского «дна».

Этот подвальчик был кафе-шантаном. На маленьком подмостке певцы и певицы — такие же незаменимые здесь, как будут «экзистенциалисты» в подвальчиках послевоенных — пели подходящие для данного места песни; раздавались звуки популярного «Жава́», и на плохо подметенный пол выходили танцевать эти самые апаши и их подружки, одетые весьма экстравагантно. С наступлением ночи машины и такси подвозили любителей острых ощущений. Женщины в вечерних платьях и сопутствовавшие им мужчины во фраках и смокингах ожидали, не без некоторого опасения, когда же наконец все эти подозрительные личности пустят в ход ножи. Но ссоры никогда не кончались столь трагически, и не случайно: спектакль был тщательно отрежиссирован. Всего было в меру: и переходящих в крик споров, и изысканнейшей площадной брани, и драк, которые быстро гасились специально приставленными для этого «сторонними» людьми. Буйного «артиста» выкидывали вон, и публика продолжала танцевать после щекотавшей нервы интермедии — она вызывала сильные эмоции, хотя ее и ждали. Зрители были в восторге от того, что удалось так легко соприкоснуться с воровской изнанкой жизни.

Непросто говорить о моих бывших собратьях. С некоторыми я подружилась, встречалась с удовольствием, но вне этих сборищ — они казались мне пустыми. Ближе всех я знала поэтов Владимира Смоленского, Юрия Софиева, Довида Кнута, Виктора Мамченко, писателя Ивана Шкотта и Алферова, появившегося среди нас позже. Но дух

поэтических радений, будь то в «Ля Болле» или, позднее, в «Селекте» и «Наполи», двух других монпарнасских кофейнях, куда эти потерянные интеллигенты приходили ради «чувства локтя», был мне решительно чужд. Были там группировки, кое-кто сохранял собственное оригинальное лицо, и тем не менее странное и досадное однообразие царило на этих собраниях, где я встречала подвижников изящной словесности. И действительно требовалось немалое мужество, чтобы продолжать какую-то литературную деятельность в окружавшем нас враждебном мире. Жизнь эмигрантских поэтов и писателей была невероятно трудна. Некоторые работали на заводах. Юрий Софиев мыл целыми днями окна и витрины. Смоленский служил в какой-то конторе. Иван Шкотт (дед которого был в свойстве с Лесковым) работал на Северном вокзале на кабестане, а до того был ночным сторожем. Велика была их нищета, и как и на эмигрантских балах, непонятно было, откуда он брался — этот первый франк, который занимали друг у друга клиенты «Наполи» и который позволял им заказать необходимую чашечку кофе, без нее они не смогли бы спорить до самого закрытия кафе о разных проблемах искусства и жизни.

Над умами властвовали и делили свое влияние на молодежь писатели старшего поколения, пользовавшиеся известностью еще в России: поэт Георгий Иванов, ученик акмеиста Гумилева, Владимир Ходасевич — но он не так часто появлялся на ночных сидениях, — Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, эти два «священных кита», принимавших молодежь у себя в Пасси; и, наконец, поэт и критик Георгий Адамович. Влияние Адамовича и Иванова преобладало, оно-то и придавало русскому Монпарнасу тот самый декадентский петербургский тон.

Я же чуждалась любых влияний, входить в группировки отказывалась, и, главное, природа моя противилась всякому проявлению декадентского духа; я понимала прекрасно, что кое-кто их моих собратьев смотрел на меня, как на «аутсайдера». Но не желала «растворяться» и, случалось, играла роль простолюдина, дерзнувшего крикнуть, что король-то гол. Большинство членов объединения были уроженцами небольших провинциальных русских городов. И я находила, что стиль петербургского декаданса не был им к лицу.

Разговоры об искусстве и метафизике за столиком кафе, на голодный желудок, после одной только чашечки кофе — таков был образ жизни русского Монпарнаса. Человек тридцать, заранее не сговорившись, хмуро рассаживались за столиками «Селекта» или «Наполи». Пруст и Бергсон, Блаженный Августин и Джойс соседствовали в их разговорах с Соловьевым, Розановым и Блоком. Часто я ловила себя на мысли о том, что, рассуждая эдак часами о литературе, они эту самую литературу и предавали: лучше уж было бы употребить потраченное время на творчество. Потому-то русский Монпарнас породил главным образом поэзию; прозаиков было мало: проза требует непрерывной работы. Поспешу сказать, что Владимир Набоков, писавший тогда исключительно по-русски, жил в Берлине и к Монпарнасу не принадлежал. Впрочем, монпарнасцы его недолюбливали, и это можно понять: он всегда держался особняком. До войны, в самые трудные для него годы, я была очень

дружна с Набоковым. Правда, я тогда безоговорочно восхищалась его талантом. Вероятно, без этого непременного условия он и сегодня никого не стал бы считать другом. А я с возрастом стала смотреть на его творчество более критично.

Из всех монпарнасцев самый оригинальный и тревожный талант был у Бориса Поплавского. Я очень мельком была с ним знакома в Константинополе, когда мы оба были детьми; а когда мы встретились в Париже, меня отдаляло от него то, что он называл духовными своими исканиями, или во всяком случае те средства, которые он при этом применял, да и некоторые черты его характера. Я отказывалась принимать и его святотатство, и его нездоровую тягу к саморазрушению.

У Бориса Поплавского внешность была далеко не поэтическая, а рост, возможно, несколько ниже среднего. Это был крепкий, коренастый молодой человек. Днем ли, вечером ли, он всегда носил темные очки. С некоторыми людьми держал себя дерзко, другим — так было со мной — чрезмерно льстил. И проза, и поэзия его казались мне очень интересными, более того, захватывающими, но в одном я его упрекала: он не желал признавать, что талант — это прежде всего долгое терпение. Его творения, как и он сам, были беспорядочны. Странный это был человек — абсолютная искренность сочеталась в нем с мелочной игрой в ложь. Думается, дар его был близок к гениальности. Его поэзия звучала неподражаемо, как может звучать только талант самобытный. Неоконченный его роман «Аполлон Безобразов» самим названием своим показывает всю противоречивость Поплавского: его желанием было — балансировать между Аполлоновой гармонией и душевной неустроенностью. А в набросках ко второму, тоже неоконченному, роману «Домой с небес» перемешаны гнусность, святотатство и крик души.

Наблюдая, как в шестидесятые годы сотни парижан толпились на выступлениях Евтушенко или Вознесенского, я сожалела о том, что французские интеллигенты проявили так мало интереса к поэтам-эмигрантам, а некоторым из них суждено было с блеском войти в историю русской словесности. Ведь они, вместе горделивые и смиренные, десятилетиями жили бок о бок с французами. Но, насколько мне известно, не было ни одного случая, чтобы кто-то из поэтов-эмигрантов искал сближения с французскими собратьями. Правда, условия жизни не очень-то к этому располагали. Препятствовала, вероятно, нищета их существования, да и горькое чувство, что Франция равнодушна к их судьбе. Однако они жили тут же, рядом. И ни один из французских современников не проявил к ним ни малейшего интереса — вот что драматично. Разумеется, по их мнению, эмигранты выбрали себе место не на той стороне баррикад, они носили на себе клеймо «белых», хотя большинство вовсе не были реакционерами, — вот почему о них не захотела знать та самая Франция, в которой поэты, эмигрировавшие из Испании, нашли такую большую поддержку.

Судьба русских молодых поэтов и писателей так и осталась до конца очень трудной. Борис Поплавский погиб (вследствие несчастного случая

или по своей воле — неизвестно) от чрезмерной дозы наркотика. Смоленский, прожив чрезвычайно трудную жизнь, умер от долгой и мучительной болезни, которую переносил с горячей верой. Мой добрый приятель Иван Шкотт — он не эмигрировал, а бежал с советской каторги на Колыме, куда попал как участник студенческих беспорядков 20-х годов, — покончил с собой, так как после пережитого стал глохнуть и слепнуть. Юрий Мандельштам и Юрий Фельсен погибли в нацистских лагерях как евреи. Борис Дикой был расстрелян за участие в Сопротивлении. Юрий Софиев после войны вернулся в Россию, и я его не отговаривала. В течение двадцати или даже тридцати лет он мыл витрины парижских больших магазинов. «Чтобы не было скучно, — говаривал он мне, — я читаю вслух стихи Блока или Тютчева». Политикой он не занимался никогда. В Алма-Ате жизнь его стала несколько легче.

Борис Дикой-Вильде приехал в Париж из пограничной с СССР страны, где оставались очень активные русские меньшинства. Литературная его карьера оказалась недолгой. На русском Монпарнасе Вильде был фигурой своеобразной. Как литератора он себя всерьез не принимал, о чем сказать не лишне. Он был скорее человеком дела и мысли, чем поэтом. Меня поражали, во время моих редких с ним встреч, его глубокие знания во всех обсуждаемых темах и какая-то внутренняя сила, обитавшая в этом голубоглазом юноше. В Париже Вильде учился, и блестяще: он изучил японский язык в Институте восточных языков, закончил Этнографический институт и начал работать в Музее Человека. Сегодня его мученический прах вместе с прахом другого русского сопротивленца, Левицкого, покоится на Мон-Валерьене. Оба они, и Вильде, и Левицкий, организовали в 1941 году группы Сопротивления в Музее Человека[1].

Но пока еще разыгрывались более глухие трагедии. В те годы интеллектуальный снобизм был так же силен, как и в наши дни, и мода воспринималась с той же наивностью. Так, молодожены из бельгийских интеллигентов, отправившись в свадебное путешествие, сообщали в посланной друзьям открытке, что у них «все происходило» гораздо лучше, чем описано в «Любовнике леди Чаттерлей»; некий русский поэт, приглашая на свидание «родственную душу», холодно писал: «Приходите, у меня раздвоение личности»; а добрая русская домохозяйка Екатерина Бакунина, под влиянием того же «Любовника леди Чаттерлей», произвела на свет роман под названием «Тело». Что касается меня, я находила все это весьма комичным.

На русском Монпарнасе было много евреев. До того времени мне редко приходилось встречать евреев, и великолепный поэт Довид Кнут казался мне тем более интересным, что стержнем его поэзии — как и живописи Шагала — была причастность к жизни русского еврейства, дотоле мне совершенно не известной. Маленького роста, смуглолицый, Довид Кнут декламировал свои стихи:

[1] Группа Сопротивления при Музее Человека была организована Борисом Вильде и Анатолием Левицким летом 1940 г. (*Прим. перев.*).

Я,
Довид-Ари бен Меир,
Кто отроком пел гневному Саулу,
Кто дал
Израиля мятежным сыновьям
Шестиконечный щит;

Я,
Довид-Ари,
Чей пращ исторг
Предсмертные проклятья Голиафа,
Того, от чьей ступни дрожали горы,
Пришел в ваш стан учиться вашим песням,
Но скоро вам скажу
Мою.

Я помню все:
Пустыни Ханаана,
Пески и финики горячей Палестины,
Гортанный стон арабских караванов,
Ливанский кедр и скуку древних стен
Святого Иерушалайми...

В Довиде Кнуте не было ничего декадентского, но ему случалось жаловаться на то, что революция не дала развиться его поэтическому дару. Однако он был достаточно умен, чтобы засмеяться, когда я прервала его стенания: «Подумайте, Довид, кем бы вы были сейчас, если бы не революция? Сидели бы в своем захолустье в Бессарабии, торговали бы мамалыгой и селедкой в «бакалейке» у какого-нибудь родственника, а очутились в Париже, в столице Европы, и стали одним из самых видных поэтов эмиграции. Революция спасла вас от весьма убогого существования...»

Значительна была роль русских евреев в развитии русской литературы за рубежом. Надо мне с сожалением признать, что эту литературу поддерживали своими средствами и вниманием вовсе не «сливки» эмиграции. Самыми активными издателями и книготорговцами оказались евреи; евреями были и меценаты, и попечительницы голодных наших поэтов. На монпарнасских «сидениях» всегда присутствовали несколько молодых евреек, имевших обеспеченных отцов или мужей. И на подписных листах в пользу заболевшего или вконец обнищавшего литератора — такие листы всегда держала добрейшая Вера Николаевна Бунина — против самых значительных сумм непременно стояли еврейские фамилии. Это было русским чудом.

Каким бы ни был вклад евреев в революцию 1917 года — а ведь озлобление, толкнувшее их на участие в революционном движении, вполне можно понять, — оказавшись вне России, русские евреи стали как бы тосковать по стране. И в наши дни в Израиле (куда переселился послы войны и где умер Довид Кнут) можно еще встретить некое сообщество таких израильтян «со славянской душой».

Лучше всего складывались у меня отношения с русскими писателями старшего поколения — если не считать Мережковского и Зинаиды Гиппиус, которых я посетила один-единственный раз. Я была молода и с нетерпимостью, свойственной молодости, тотчас же решила, что

мне за этим чайным столом делать нечего. Дмитрий Мережковский был в России столь же знаменит, сколь и жена его Зинаида Гиппиус, и за границей его знали лучше, чем других писателей эмиграции[1]. Мне хотелось с ним познакомиться, но в первый же раз, когда я вошла в их квартиру в Пасси, на улице Колонель Бонне (им посчастливилось сохранить эту квартиру с довоенных, до 1914 года, времен), я почувствовала, что царящая там атмосфера — не для меня. Вокруг чайного стола почтительно и робко сидели мои собратья, бо́льшая часть которых ютилась в мансардах или бедных гостиничных клоповниках (в те времена в Париже клопов было много, их весьма прилежно описал Илья Эренбург в своем романе «Любовь Жанны Ней»), и квартира Мережковских казалась им просто роскошной. Маленький, с бородкой, целиком погруженный в метафизические проблемы, Мережковский с большим удовольствием угощал молодых гостей своими разговорами, и его жене частенько приходилось вмешиваться, чтобы «навести порядок», на манер лондонских барменов, когда они говорят запоздалым клиентам: «Time, gentlemen, time»[2]. Зинаида Гиппиус в молодости была, как говорят, очень хороша собой и пользовалась большим авторитетом в либеральном Петербурге. Вот как мне описывал ее один человек, знавший Зинаиду Гиппиус еще в ту пору и пришедший к ней однажды с просьбой об участии в студенческой манифестации. К нему вышла дама, облаченная в некую белую хламиду, с распущенными, покрывавшими плечи рыжими волосами. Она оглядела его сквозь лорнет своими зелеными глазами и только после этого заговорила. В Париже, естественно, уже сказывались ее годы. Я увидела старую, высохшую рыжеволосую даму. Мне были не по душе ни ее прекрасно сделанные, холодные стихи, ни ее очень хорошо написанные и едкие критические статьи, ни сама ее двуполая природа. Старая дама мне не понравилась, и я к ней больше не пошла. Об этом, возможно, стоило бы пожалеть, но я была не так гибка, чтобы притворяться, будто восхищаюсь ею. И сегодня я все еще считаю, что у Зинаиды Гиппиус было больше ума и индивидуальности, чем таланта.

Когда стали поговаривать о том, что Нобелевская премия по литературе будет присуждена кому-то из писателей эмиграции, все были уверены, что выбор Шведской академии мог пасть лишь на Мережковского или Бунина. Ходил похожий на правду анекдот, будто Бунин предложил Мережковскому «gentleman's agreement»[3]: пусть тот, кто получит премию, разделит ее с соперником. Но Мережковский, уверенный в том, что премия может достаться только ему, отказался. А она досталась Бунину.

---

[1] Из всех русских писателей, погребенных на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, только на могиле Мережковского установлен памятник, подаренный его иностранными издателями. (*Прим. автора*).

[2] «Пора, джентльмены, пора» (*англ.*).

[3] «Джентльменское соглашение» (*англ.*).

В том, что в интеллектуальном плане я никак не воспользовалась присутствием в Париже Мережковских, виноваты лишь некоторые природные мои свойства. Я с опаской отношусь ко всякой групповщине, да и религия для меня не тема для салонных разговоров, пусть даже литературных. Для меня это как бы форма для отливки, в которую мы должны попытаться вместить всю нашу жизнь.

О Ремизове, с которым виделась каждый раз, когда приезжала в Париж, я уже говорила; этот сложный человек не переставал быть для меня загадкой. С Владиславом Ходасевичем встречались мы редко, но я очень ценила в нем большого поэта, проницательного критика, тонкого, образованного, умного человека. С большой симпатией и восхищением относилась я к двум очень разным женщинам: к тонкой и умной Надежде Тэффи, настоящей даме, и щедрой, порывистой дикарке Марине Цветаевой. Могла ли она не быть одинокой? Марина всегда парила на каких-то высотах и удивлялась, когда другие отказывались перепрыгнуть вслед за ней с одной вершины на другую. Вспоминаю тот день, когда в бедной своей квартирке в Ванв (большую часть своих доходов она имела от продажи связанных ее дочерью шапочек) варила она яйца всмятку и говорила мне о Райнере Марии Рильке. Вода выкипела, кастрюлька накалилась докрасна... А Марина продолжала говорить, и на бледном лице ее зеленые глаза — глаза ночной птицы — видели не эту нищенскую кухню, но что-то совсем иное. Она пребывала в мире абсолюта, где нет места ни лжи, ни хитрости. В ней жили ритмы, звуки, страсти, все прочее исключающие. Никто никогда не достигал ее высот, потому что мужчин, которых она любила, и друзей, которых имела, наделяла она в щедрости своей недостижимыми простым смертным добродетелями. Не избалованная вниманием — конечно, в повседневной жизни отношения с ней были непросты — как была она благодарна за малейшее проявление симпатии! И что видела она во мне, молодой женщине, робевшей перед ее гением? Уж, конечно, не то, что было в действительности...

Всю жизнь свою Марина страдала — она родилась с оголенными нервами. И настал день, когда летом 1939 года, справедливо рассудив, что эмиграция ее не понимает (а кто мог бы ее понять?), она приняла решение вернуться в СССР, куда звал ее, вероятно, по заказу, Сергей Эфрон.

Путь Марины Цветаевой лежал через Брюссель; здесь мы в последний раз встретились. Я умоляла ее не ехать в Россию. «Я больше не могу, — повторяла она, — выпихивает меня эмиграция». Но я не сдавалась: «Марина Ивановна, подумайте, живя здесь, вы можете еще мечтать, что в России вам будет хорошо. А если в России вам будет плохо, то и мечтать будет больше не о чем». И еще я говорила ей вот что: «Как сможете вы, с вашим характером, беспрекословно подчиняться всему, что там будут от вас требовать? И сможете ли вы молчать, как велит осторожность?» — «Что бы ни случилось, я всегда буду с преследуемыми», — твердо сказала она мне. Но я и так это знала. Чем стала ее жизнь в СССР? Может быть, когда-нибудь уз-

наем. Но смерть ее, завершившая трагическую ее жизнь, уже говорит о многом. В 1941 году Марина Цветаева повесилась недалеко от Казани (в Елабуге).

В своей статье «Искусство при свете совести» Марина Цветаева писала: «Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы... И зная это, в полном разуме и твердой памяти... утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная бо́льшее, творю меньшее. Посему мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном суде совести и спросится. Но если есть Страшный суд **сло́ва** — на нем я чиста».

Марина знала, что в области ей отведенной — в поэзии — она никогда и ничему не изменила.

Если «одержимость», подобная Марининой (с точки зрения христианства — чрезмерная), и есть грех, как замечает профессор Федор Степун в своем предисловии к посмертной книге Цветаевой, то этот грех был, несомненно, искуплен мученической ее жизнью. И жила она во Франции, в Париже, — но кто из французов слыхал тогда об этом великом поэте?

Остается мне сказать еще о Бунине, Нобелевском лауреате 1932 года. Тогда-то я и познакомилась с этим русским академиком, последним из мастеров «поэтического реализма» — впрочем, это определение ему не нравилось. В то время это был шестидесятилетний человек, подвижный, с тонкими чертами, с несколько холодным выражением лица. Русская трагедия ранила его вдвойне. Жизнь его, как и его творчество, связана была с Россией. Он ненавидел большевиков, которые убили в ней все, даже сам облик ее; хотя в СССР и издают некоторые его книги — кстати, в довольно-таки покалеченном виде — «Окаянные дни» появятся там еще не скоро.

Этот умный человек не мог, однако, освободиться от некоторых застарелых комплексов. Мастер слова, познавший из книг и проницательным своим умом области весьма обширные, ставший самым молодым членом русской Императорской Академии, получивший, наконец, Нобелевскую премию, он все еще страдал от того, что так и не сумел завершить свое образование. Он принадлежал к древнему, но обедневшему дворянскому роду и от бедности своей сохранил чувство униженности — чувство, которое, понятно, еще усилилось в эмиграции. Человек увлекающийся, женолюб, он переживал свою старость, как порок. Он был самолюбив и всегда, по собственному выражению, «держал перед собой свечу», чтобы предохранить себя от возможных оскорблений. В конце 30-х годов я как-то получила от него в Брюсселе письмо, полное благородного негодования. Возвращаясь из Берлина, а может быть, как Нобелевский лауреат, из скандинавских стран, Бунин был подвергнут на немецкой границе унизительному осмотру, и гитлеровские таможенники в довершение всего заставили его раздеться догола. Он просил

меня довести этот немыслимый факт до сведения общественности, опубликовав соответствующую заметку в «Ле Суар», что я и сделала.

Я не вникаю в причины симпатии и дружеской привязанности, которые Бунин проявлял ко мне и которые с годами возрастали. Может быть, он ценил мою независимость по отношению к нему вкупе с глубоким уважением. Ведь после Нобелевской премии он был окружен и льстецами, и еще большим количеством плутов. Трудно себе представить, какое количество просителей, легкомыслие которых могло сравниться лишь с их бесстыдством, привлекала к нему эта обрушившаяся на старого писателя шведская манна. Эмигранты были бедны; если кому-то вдруг выпадало богатство, то считалось, что нравственный долг требовал делиться с другими. В своей книжице «Записки беженца» М. Владиславлев рассказывает, что в одном из многих сотен полученных Буниным писем говорилось приблизительно следующее: «Как хорошо, что Вы получили Нобелевскую премию, нам как раз необходимо переехать на новую квартиру, а денег нет. Пришлите нам скорее такую-то сумму», — и неизвестная подпись.

Не то чтобы Иван Бунин особо спешил отделаться от своего богатства — в нем еще жил страх перед нищетой, — но он был слаб и беззащитен. Он вставил зубы молодой поэтессе, оплатил дорогу из Белграда в Париж какому-то эмигранту, подписывал контракты, не читая, рассчитывался, если нельзя было поступить иначе, за чужие обеды в ресторане, поручал вести свои дела вероломным советчикам, и все закончилось тем, что он оказался единственным Нобелевским лауреатом, умершим в глубокой бедности. Деньги пришли к нему слишком поздно, и славу свою он с Родиной разделить не мог. Так в самый разгар своего триумфа Бунин был несчастлив.

Когда он был в Париже, я виделась с ним, как и с Ремизовым, в каждый мой приезд. Я восторгалась его живым умом, безупречностью его стиля, а также его абсолютной нравственной несгибаемостью. А он мне прощал даже нападки на своего обожаемого Толстого. «Иван Алексеевич, — говорила я ему, — Толстой ваш гениален, я не спорю, но признайтесь, он не так уж и умен. Когда он описывает то, что видит и чувствует, это прекрасно. Но как только он начинает философствовать, беда!»

Бунин, прекрасный актер, ревел: «На кого, сударыня, изволите лапу поднимать? Молоды еще!»

Бывало, когда он уже стал богатым, он начинал капризничать в ресторане, где мы с ним обедали, и тогда я ему говорила: «Не капризничайте, это неприлично, не то я уйду, и придется вам обедать в одиночестве!» Не отличавшийся терпимостью мэтр ни разу на меня не рассердился. А о послевоенном Бунине я расскажу в следующей моей книге.

Изгнание Данте и Овидия — прообраз эмигрантской писательской судьбы. Чем была Россия для этих людей, оторванных навсегда от отчизны? До войны 1940 года никто из них не смел и думать когда-нибудь

вернуться в Россию. Казалось, надо бы забыть о белых березах, весеннем половодье, о бескрайних просторах, забыть одесский порт и кавказские горы, сибирскую тайгу и пыльные улочки Бессарабии и — для тех немногих, кому довелось их видеть, — забыть гранитные набережные Невы и московские золотые купола. Но тема эта, как навязчивый мотив, все возвращалась и возвращалась. Россия, эта ушедшая под воду Атлантида, уже становилась мифом, но каждый продолжал нести ее в себе...

В замечательном своем стихотворении «Тоска по Родине» Марина Цветаева делает такое признание:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...

А я, хоть и была моложе, вторила ей:

Россия — горе, странная тоска,
Ничем не утоляемая жажда,
Горсть пепла теплого, горсть теплого песка,
Ревниво сберегаемая каждым.

Родная речь и ее звучание — единственное сокровище, сохраненное в нашем изгнании, — не находили отзвука в пустыне враждебного нам мира... «Не обольщусь и языком / Родным, его призывом млечным. / Мне безразлично, на каком / Непонимаемой быть встречным!» — писала Марина Цветаева.

А Владимир Набоков в Соединенных Штатах, где ему суждено будет стать американским писателем и узнать славу, вспоминал в 1942 году, как он «страны менял, как фальшивые деньги, торопясь и боясь оглянуться назад», и внимал своему двойнику, напоминавшему ему о том, как он «пописывал, не без блеска, на вовсе чужом языке».

Некоторые отказывались верить в то, что жизнь — не более чем цепь бессмысленных событий. «Не в изгнании, а в послании», — любила повторять Зинаида Гиппиус. А Владимир Смоленский в своей поэме о Соловках, где русские умирали во льдах и во тьме, писал, что Бог оставил жить нас, поэтов, и поручил нам свободу и лиру, чтобы мы могли говорить за тех, кто молчит, и напоминать о жалости безжалостному миру.

В начале тридцатых годов — в моей карьере журналиста это было событием — я сделала первый большой репортаж для еженедельника «Ле Суар Иллюстре». Я выбрала для этого репортажа сопредельные с Россией страны — там были люди, с которыми я состояла в переписке и которые могли мне на первых порах помочь. Так, в 1932 или 1933 году я приехала в Берлин. Небольшое происшествие в пути: совсем молоденькая блондинка, сидевшая напротив меня, возмущается тем, что я крашу губы, и делает мне замечание. Я решительно протестую и в свою очередь высказываю свое возмущение: как смеет молодая девица одергивать незнакомую ей даму, тем более иностранку. В коридоре вагона

какой-то еврей шепчет мне о своих опасениях, впоследствии оправдавшихся, и гораздо более грозно.

В городе дышалось тяжело. На некоторых лицах читалась решимость и спесь, другие были бесцветны и будто стерты. В Берлине я провела два дня. Я остановилась у Владимира Набокова и его жены Веры, так как мой брат, бывший тогда священником при русской церкви Святого Владимира на Находштрассе, уехал с проповедью в прибалтийские страны. Был конец ноября, было холодно. Происходившее в Германии раздражало Набоковых вдвойне — во-первых, из-за их неприязни ко всякой диктатуре, а во-вторых, из соображений личных: Вера Набокова была еврейкой. Советский режим они любили не более, чем любили русский народ, — а я, конечно, вставала на защиту последнего: мне было непонятно, как можно в одном случае осуждать расизм, а в другом подобный же расизм исповедовать. Набоков, страстный энтомолог, рассматривал, наклонившись, свою коллекцию бабочек, будто это были персонажи будущего романа. В 1938 году, через несколько лет, выйдет его роман «Приглашение на казнь» (мой самый любимый, наравне с «Защитой Лужина»), где впервые появится «нимфетка»; может быть, в нем дан ключ ко всему творчеству писателя.

После Берлина я приехала в Польшу, вступив раньше моего мужа на землю его предков. После пересечения границы с Германией настроение в поезде стало другим, больше не ощущалось никакого гнета. Меня окружали улыбки, знаки внимания; подъезжая к Варшаве, я вышла на несколько минут из купе, а когда вернулась, мой сосед заботливо мне сказал: «Да о чем вы, пане, думаете! Ухо́дите из купе и оставляете чемодан! Разве вы не знаете, что Варшава превосходит во всем остальной мир, а стало быть, варшавские воры, не в обиду другим будет сказано, самые ловкие на свете!» Сказав это, он доносит мне чемодан до выхода.

Моя мать говаривала: «Варшава такова: когда приезжаешь с Запада, попадаешь в Восточную Европу. Но когда приезжаешь с Востока, попадаешь уже на Запад». И это чистая правда. Меня, как и многих русских людей, связывают с Польшей семейные узы. Брат моей матери был женат на племяннице маршала Пилсудского задолго до того, как тот стал президентом молодой Польской республики. Мой дед, сенатор Свечинский, был поляк. Я уже не говорю о более дальнем родстве с князьями Чвертинскими. Свекровь моей сестры Набоковой продолжала жить в своем имении на Немане, всего в нескольких километрах от советской границы, по ту сторону которой подобные имения были уже давно ликвидированы. Моя сестра ездила однажды к своей свекрови, но это чересчур уж близкое соседство не давало ей наслаждаться сельской тишиной. Когда-то мой дядюшка Петр Нарышкин был назначен сверху предводителем дворянства одной из польских губерний, тогда как в России эта должность была выборной. Приехав на место, он нанес все полагавшиеся визиты; с ответными визитами поляки все явились весьма учтиво, но без жен; на этом кончились всякие его контакты с соседями. Нарышкину наскучило представлять польское дворянство вопреки воле последнего; он подал в отставку и вернулся в свое тульское поместье.

Таким образом, непримиримый национализм поляков был нам хорошо известен. Знала я и о том, что польские матери вместе с первыми молитвами учат детей произносить слова национального гимна «Еще Польша не погибла» и ненавидеть победителей. Русские же не забывали о том, что, прежде чем потерпеть поражение, поляки пытались их одолеть и что в начале XVII века польский король чуть было не сел на московский престол. Тщетно при подобном сведении исторических счетов искать того, кто начал первым. Распря с Польшей давно стала внутренней, «домашней»; Пушкин уже писал об этом в одном из своих стихотворений. Сегодня можно вспомнить и то, что поляки на несколько веков раньше, чем ООН, ввели у себя в Сейме право вето — возможно, в этом корень всех их бед; ООН, однако, не извлекла никаких уроков из этого прецедента.

Был в Польше и поляках некий притягательный для меня романтизм, и, поскольку я приехала в Польшу в момент, когда ее независимость уже была под угрозой, я от всего сердца желала полякам сохранить эту независимость. Варшава, которую поляки охотно называют маленьким Парижем, показалась мне скорее маленькой Веной благодаря своему легкому очарованию, отсутствующему в остальных славянских столицах. Красивый это был город! Элегантные проспекты, богатые магазины, оживленные кафе, ночные кабаре, где умели веселиться. Я остановилась у друзей-бельгийцев в Краковском Предместье. По городу, как восклицательные знаки, были расставлены статуи знаменитых людей: тут Шопен с пышной шевелюрой, там Коперник, склонившийся над пустой сферой, здесь — завоеватель Понятовский на коне. Во всех городах, да и странах, где я бывала, мне всегда сопутствовали литературные и художественные реминесценции. В Аллее Роз мне виделся призрак Александра Блока, спешившего к умирающему отцу, а в воздухе витали строфы его поэмы «Возмездие»; в варшавском районе «Прага» вспоминался Суворов... Но и поляки, и русские лежат рядом на кладбище, название которого — «Воля» — прекрасно подходит для места упокоения. Как и тысячи русских детей, я в детстве увлекалась (без всяких комплексов) героями патриотических романов Сенкевича, и ничего удивительного, что польские патриоты из исторической трилогии «Огнем и мечом» пришли и уселись рядом со мной в очаровательном доме на Старе Място — Старой Площади, где мне предложили выпить меда.

Я встретилась, конечно, и с русскими интеллигентами, составлявшими в новой Польше национальное меньшинство. Некоторые из этих людей жили в Польше давно и стали польскими гражданами волею судеб; другие бежали в Польшу после революции. Они имели своих представителей в парламенте, но чувствовали себя притесненными как в национальном, так и в религиозном плане, чего и следовало ожидать. Вечером я «выходила в свет», сопровождаемая поляками; они были очаровательны со мной, несмотря на мою принадлежность к «москалям». Начинались наши беседы по-французски, но затем очень быстро мы переходили на русский, так как многие польские офицеры окончили русские военные училища и служили в Императорской армии. Среди польских парламентариев, сенаторов и даже министров были и такие, которые прежде занимали высокие чиновные посты в царском правительстве. Беседа по-

ляков была игриста, как шампанское, и деньги они тратили легко и беззаботно, каково бы ни было состояние их кошельков. Я с превеликим удовольствием вела подобный образ жизни, будто перенесенный из девятнадцатого века, но как журналистка не могла не расспрашивать о веке нынешнем, который одной доблестью не защитить.

Поляки уверяли, что соседей своих не боятся — ни СССР, ни гитлеровской Германии, — хотя обе страны усиленно вооружались. Я никак не могла разделить их уверенности в том, что они смогут победить одну из этих стран (об обеих сразу речь не шла: в то время трудно было предположить, что они способны когда-то стать сообщницами). Но так же наивно, как и мои польские собеседники, я питала надежду на то, что в случае конфликта Великобритания и Франция Польшу не оставят. В 1934 году поэт Лев Гомолицкий пришлет мне из Польши, в память о моем пребывании там, свою поэму «Варшава», где он пишет, что чувствует себя чужестранцем, униженным изгнанником, ни хозяином, ни рабом закованным, а всего лишь скитальцем на земле, где умерли его предки. Вскоре армия изгнанников пополнится выходцами из многих и многих народов, и толпы скитальцев заговорят на самых разных языках...

Таллинн — бывший Ревель — встретил меня первыми морозами. Собравшись вокруг костра, как бывало прежде в Петрограде, извозчики, пританцовывая, пытались согреться. Основан был Таллинн в 1212 году на берегу Финского залива; город этот был ганзейский. Мои коллеги, эстонские журналисты (из русского меньшинства), тут же повели меня по городу и начали с того, что показали мне построенную в ганзейском стиле ратушу, над которой витает тень общества «Черноголовых» — богатых купцов Ганзейского союза, объединявшего в средние века некоторые города северной Европы. Ганза была образована в 1441 году как содружество немецких городов, защищавшихся на Балтийском море от пиратов. В нее входило до шестидесяти четырех городов, у нее был свой флот, свое казначейство и даже правительство. Ее конторы распространялись от Лондона до Новгорода. Воздвигнутый датским королем Вальдемаром Вторым, Таллинн капитулировал в 1710 году перед войсками Петра Великого.

Совсем недавно Таллинн входил в состав Российской империи. Когда-то губернатором Эстляндии был один из Шаховских. В этой независимой теперь стране чувствовался провинциальный уют былых времен. Таллинн был чистым, деятельным, очень приятным городом; правда, холодное время года не позволяло мне бродить по нему всласть, как мне хотелось бы.

— А знаете ли вы, что сегодня ваш брат будет произносить проповедь в соборе? — сказал мне главный редактор русской таллиннской газеты «Руль».

Я, конечно, кинулась туда. Собор был полон. Здесь был погребен епископ ревельский Платон. Он получил ревельскую кафедру в 1918 году. Эстония в ту пору уже освободилась от ужасов революции, но была еще оккупирована немцами. 18 декабря 1918 года германские войска

покинули страну, а 21 декабря она уже была занята большевиками. Владыка Платон был болен и находился в Тарту. Там 2 января 1919 года его и арестовали. 15 января этот университетский городок был уже освобожден эстонскими националистами, но перед тем как из него уйти, коммунисты успели расстрелять в подвалах Кредитного банка двадцать человек, среди них и первого православного иерарха независимой Эстонии.

Народ напирал на меня со всех сторон и оттеснил к колонне, у которой я и осталась стоять. Наравне с православными жителями столицы (большинство в ней составляют протестанты) я видела много крестьян и крестьянок, пришедших издалека. Я не доверяю чувствам толпы: знаю, как быстро вспыхивают в ней скоротечные страсти. Но здесь царило сосредоточенное благоговение; каждый будто входил внутрь своей души. Несмотря на духоту и тесноту, услышанные слова приносили умиротворение. Но вот проповедь закончилась; видя, что к брату мне не пробраться, я направилась к выходу и вдруг услыхала, как старая дама взволнованно говорила другой: «А ведь это мой племянник! Подумайте только! Последний раз я его видела маленьким мальчиком!»

Так на берегу Балтийского моря, где, мне думалось, я не знала никого, встретила я двоюродную бабушку. С мужем, полковником в отставке, ей удалось бежать из Петрограда, и здесь, в Таллинне, они держали маленькую книжную лавку. И в тот же вечер, на первой моей лекции, оба сидели в первом ряду, около бельгийского консула.

Следующим этапом моего путешествия был Дерпт, или Дорпат, он же Тарту, он же Юрьев — сколько имен для маленького городка! Маленького, но весьма почтенного: в 1932 году он праздновал свое трехсотлетие. С 1704 года ставший русским, а в 1918 году — эстонским, он гордился своим университетом, обсерваторией, богатой библиотекой. Но выглядел вместе с тем довольно скромно: деревянные домики, плохо вымощенные улицы. Показали мне дом, где жил Жуковский, поэт и воспитатель Александра Второго, и дом Пирогова, знаменитого хирурга и педагога. Среди прочих трудов Пирогова его «Начала общей военно-полевой хирургии» написаны на основании наблюдений, сделанных во время Крымской войны. С Тарту у меня были связаны и воспоминания семейные. В этом городе мой отец слушал часть университетского курса; он принадлежал к «Ливонии», самой элитной из студенческих корпораций той поры. Осмотрела я университетский карцер — фольклорную реликвию отживших эпох; в свое время он не пустовал, о чем свидетельствует обилие рисунков и надписей на его стенах. Мой отец, который и в молодости был человек воздержанный, мне рассказывал, как однажды, когда его вынуждали на каком-то корпоративном празднестве выпить несколько стаканов пива, он залез на университетскую крышу и, стоя там, произнес длинную речь о вреде крепких напитков. Не за эту ли выходку этот спокойного нрава человек отсидел свое в карцере? Среди многих надписей на стене, оставленных студентами-узниками, нашла я и имя А. Шаховского.

В Тарту меня ждала еще одна лекция, ждали новые встречи. Чем больше отдаляешься от крупных очагов культуры, тем больше встречаешь людей, этой культуры жаждущих.

Еще один поезд, на этот раз местный, ничем не похожий на те, что курсируют между столицами, везет меня в Печоры, похожий на аппендикс русский анклав в Эстонии — узкий клин тех земель, что простираются и по ту сторону советской границы. Выхожу из небольшого вокзальчика — и попадаю в мое прошлое. Все прочее стирается, а прошлое властно предписывает мне свои законы: крестьянские повозки, тарантасы, лошади — нагнув головы, они едят овес из висящих на их шее мешков, — повязанные толстыми шерстяными платками бабы... И со всех сторон меня окружает русская речь, звучный, чистый, торжествующий русский язык. Непередаваемое это чувство: на твоем родном языке говорят все. А ведь годы и годы мы слышали его, можно сказать, лишь украдкой...

Толстый купец-эстонец, мой сосед по купе, замечает мое волнение и, пока мы направляемся к выходу, предупредительно берет меня под руку. «Да-да, — говорит он мне, — это Россия. Я вас так не отпущу, мы сейчас отпразднуем ваш приезд в Печоры на русский манер. Пойдемте со мной, мы выпьем по стакану чаю и закусим в трактире «Черный Кот».

Я не сопротивляюсь и чувствую, что на глаза, как это ни глупо, навернулись слезы. Когда в 1956 году я снова окажусь в Москве, ничего подобного со мной не произойдет.

И вот мы входим в просторный зал, перед иконами теплится лампада, на столе шумит огромный медный самовар, крашеный деревянный пол блестит чистотой. Моего спутника здесь знают, встречают улыбками, дружелюбными возгласами, и хозяйка с красными, как спелые яблоки, щеками уже суетится, накрывает на стол, приносит тарелки, стаканы.

Руки я мою из старинного рукомойника, а на полотенце, которое протягивает мне хозяйка, вышиты крестом русские узоры. Комок в горле мешает мне говорить. Париж, Конго, Лондон, Брюссель, Италия — не приснилось ли мне все это? Я вернулась в Россию, будто никогда и не покидала ее, — да еще в такую, где течение жизни ничем вообще не прерывалось.

Совсем недалеко простираются древние земли Псковщины. Купеческий Псков с XIV века, как и брат его Новгород-Великий, был городом вольным и уже в средние века активно торговал с ганзейскими городами. Но Псков вне пределов моей досягаемости. Он за той чертой, перейти которую мне не дозволено — за советской границей. Где-то там, совсем близко, затерявшись среди вековых, избежавших топора деревьев, устоял, быть может, никогда не виденный мною дом, построенный в имении Бончарово моим прапрадедом Карло Росси; там жила его дочь Зинаида Чирикова; там навещала ее внучка — моя мать. А печорская земля как бы метеорит, оторвавшийся от огромного тела России, что-то вроде русской резервации, где русские живут вперемешку с народностью сету; настоящий рай для этнографов и археологов.

Хозяйка приносит нам водки. Мы поднимаем рюмки за здравие друг друга, а заливной судак заменяет предполагавшийся ранее чай. День сегодня базарный, и «Черный Кот» полон народу. Извозчики в крылатках пьют обжигающий чай из блюдца, через кусочек сахара, который держат во рту.

Мой ментор усаживает меня в допотопный экипаж, и я отправляюсь к людям, у которых должна остановиться. По мерзлой голой земле деревянные колеса трясут меня нещадно. Наконец останавливаемся перед бревенчатым домиком с резными наличниками. Навстречу выбегают две девочки с косичками, за ними выходит мужчина. Они берут мои вещи и с почетом ведут меня в дом. Я только что из «Черного Кота», но вот снова приходится садиться за обильно накрытый стол. Оказывается, сегодня именины хозяйки дома, Екатерины. Приходят поздравлять все Печоры: ее муж — окружной ветеринар, очень важная фигура. Так я знакомлюсь с почтмейстером и начальником вокзала, с учительницей начальной школы, с преподавателями гимназии и средних школ. В Печорах переполох, и я тому причиной: бельгийская журналистка, член русского парижского «Объединения молодых писателей и поэтов», собирается прочесть лекцию — и о чем? Об Экваториальной Африке. В этом потерянном уголке я на два дня становлюсь знаменитостью.

В тот же вечер (но после обеда в «Черном Коте» и обильного чая в приютившем меня доме я чувствую себя несколько отяжелевшей) читаю лекцию о Бельгийском Конго в зале городской гимназии, за почтенной кафедрой, с которой каждую весну подводят итоги учебных успехов. В первом ряду восседают именитые личности во главе с директором гимназии, а сзади — светловолосые и темноволосые юноши и девушки, для которых я олицетворяю мечту о путешествиях и приключениях. Африка очень тесно связана с жизнью стран Западной Европы, но для России она остается таинственным материком юношеских грез. И я рассказываю о ней, понимая, что говорю о прекрасном сне, о мечте. И мне, конечно, аплодируют. Я предлагаю слушателям задавать вопросы, но, кроме учителя географии, никто на это не отваживается, а я ужасно боюсь провалиться на устроенном мне экзамене. Затем предстоит банкет, опять-таки у ветеринара, и я прошу всех взрослых оставить меня наедине с гимназистами. И тут между этой молодежью и мной — а мне как-никак уже двадцать шесть лет — завязывается оживленная беседа. Это — горячая, правдолюбивая молодежь. Чувствует она себя русской. Совсем рядом простирается огромная страна; она таит в себе угрозу, но в ней — и утраченное их достояние. Эти юноши и девушки никогда не забывают о том, что они принадлежат к великой стране и великому народу. Они — граждане Эстонии, и малые размеры и малая значимость их приемной страны будто стесняют их; так же трудно и мне привыкнуть к масштабам Бельгии. Однако в Эстонии они свободны: свободны для самовыражения, свободны от страха. Это чистая, пылкая молодежь, напоминающая юных героев Достоевского — и Достоевского они читают, узнают в нем себя. Беседа затягивается, за мною уже дважды присылали.

На следующий день в сопровождении местного поэта я отправляюсь поклониться святыням знаменитого Псково-Печорского монастыря. Путь

наш лежит через местную ярмарку, где одетые в белое крестьянки-сету восхищают меня праздничными своими нарядами. Серебряные цепочки спускаются от шеи к талии, где пристегиваются к поясу; запястья стягивают широкие чеканенные серебряные браслеты, передаваемые из поколения в поколение, а грудь защищена своеобразными серебряными щитами. (У меня есть такое старинное украшение; на пряжке — я ношу ее, как брошь — выгравировано древо, напоминающее священное древо Иггдрасиль.) Шествует процессия слепых; они поют в унисон печальные старинные песни, потрясая кружками для сбора подаяния. Как и в Гремячеве, куда я в детстве любила ездить на ярмарку, воздух пахнет свежим хлебом и дегтем; и даже старый цыган с морщинистым лицом и его лошадь не преминули прийти на это мое свидание с моим детством.

Крепостные монастырские строения вписываются в ландшафт, как бы вросли в него. Проходим ворота: направо высится Никольский привратный храм. Монастырь был основан в XVI веке на границе, отделявшей государство Российское от земель, принадлежавших Ордену ливонских рыцарей. На иконе Святитель Николай держит на одной руке Церковь (Град Божий), а в другой — меч. В былые времена пещеры служили складом боеприпасов и караульным помещением. При Иване Грозном основатель обители Корнилий и ученик его Пафнутий (в миру был воином, вышел из знатной семьи) были подвергнуты пыткам и убиты опричниками, так как известный князь Андрей Курбский, сбежавший в Польшу от государева произвола, состоял с обоими монахами в переписке.

По двору проходит послушник, высокий и худой, длинные запутанные волосы ниспадают на плечи, и до меня доносится позвякивание цепей, которыми он обмотал себя ради умерщвления плоти. (Позже я встречу его в Париже, уже священником.) Другой послушник, еще более юный, только что окончивший гимназию, ведет нас в другую пещерную церковь и, пока мы молимся, ждет нас, нагнув голову, опустив глаза; лицо его необычайно красиво. Вековые деревья — среди них и то, что посадил собственноручно первый игумен Корнилий — черны и голы, отчего звонницы кажутся еще белее; я любуюсь колокольней с тремя колоннами. На ней пять колоколов; прежде монах звонил в колокола, стоя на земле. Два из этих колоколов — военные трофеи: в 1581 году русские захватили их у своих врагов — воинов Стефана Батория. Сегодня монастырь беден. Мы переходим от храма к храму, от иконы к иконе (некоторые из них особенные, вырезанные по дереву) и не произносим ни слова, чтобы не нарушить окружающий нас покой.

Писателю Леониду Зурову довелось исследовать эти старинные земли, и в Париже, в Музее Человека, можно увидеть привезенные им оттуда иконографические документы. Люблю я следы, которые люди оставляют после себя на земле. Местность вокруг Печор богата доисторическими гробницами, а также надгробными крестами (по образцу одного из таких древних крестов Бенуа сделал тот, под которым покоится Бунин на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа). В земле сохранились следы и железного века, ритуальные погребальные предметы языческих времен и даже арабские монеты.

В Печорах увидела я Россию застывшую, но сохранившую свободу выражать себя и потому — живую. Когда выходили мои репортажи (к несчастью для меня, текст их утерян), это отсутствие развития ставили Печорской земле в упрек. Но что лучше, застывшая неподвижность и свобода или индустриализация и тирания?

Прежде чем покинуть Печоры, я посетила семью Шаховских, про существование которых мне там сказали. Они тоже жили в деревянном домике и приняли меня, как родную, несмотря на то, что, как мы установили, ветви наши разошлись два века тому назад. Печорские Шаховские были бедны, но принимали убогое свое бытие философски. Дочь была учительницей в начальной школе. Ничто, казалось бы, не предвещало им грядущих трагедий. После войны, когда коммунисты захватили Эстонию, князь был расстрелян, а дочь его отправлена в сибирские лагеря. Еще две жертвы среди многих миллионов — скромные жертвы, после гибели которых не останется и памятника, чтобы почтить их память.

И вот я еду в Нарву — еще один исторический город, с 1708 года русский; он расположен за Чудским озером, на котором в XIII веке Святой Александр Невский разбил ливонских рыцарей. Мне сразу бросается в глаза, что в поезде, пересекающем эти однообразные северные равнины, народу очень мало. Я в купе одна, а в соседнем — трое плохо одетых пассажиров, говорящих по-русски. Перечитываю свой доклад. За окном темно и ничего не видно. Рассеянно протягиваю свой билет эстонскому контролеру и вдруг он говорит: «Но у нас в Нарве нет остановки». — «Как нет остановки? Куда же идет поезд?» — «Прямиком к советской границе». У меня мурашки по коже. Так без остановки я могу доехать и до самого Сталина, с эмигрантским-то паспортом, не обеспечивающим мне никакой защиты! Моя единственная надежда — этот добродушный краснолицый контролер. Я прошу его, умоляю — хорошо еще, что до Нарвы остается полчаса езды. Контролер успевает сходить к машинисту. Благословенна та страна, чьи чиновники не бездушные машины! Специально для меня поезд остановится в Нарве на одну минуту. Скорее, скорее! Быстро собираю вещи и жду в дверях вагона, готовая сразу же выпрыгнуть на перрон, и горячо благодарю моего контролера. Он смеется и рукой указывает на оставшихся в вагоне: «Это — советские». Поезд останавливается, я выхожу, контролер протягивает мне портфель и чемодан, и состав трогается. Тут я замечаю, что забыла в купе меховую шубу и что в Нарве мороз и снегопад, а на вокзале меня никто не ждет... Дрожа от холода, нахожу повозку, и меня отвозят к священнику — организатору моей лекции. И встречаю у него моего брата! Меня отпаивают чаем с малиновым вареньем — замечательным средством от простуды, которая, однако, меня не минует. А шубу привезут мне наутро, как по волшебству; вот какие честные и милые люди эстонцы!

В Нарву меня пригласила христианская молодежь. Африка не так ее интересует, как жизнь эмигрантов в Париже, и я рассказываю молодым людям о русской литературе, еще раз и с большим удовольствием

общаясь с молодежью. Над замерзшей Нарвой возвышается Ивангород — и я слушаю рассказы о давно минувших днях.

Затем возвращаюсь в Таллинн. Тут меня приглашают в шикарный танцевальный зал с вращающимся полом. Угощают гусиным паштетом и другими яствами, вкус которых я успела забыть, — и с водкой, конечно, — слишком много водки для моей больной печени. Провожает меня на поезд целая делегация, и без ложного стыда я вкушаю первый аромат славы, прочитывая статьи, написанные о моем пребывании в Эстонии. Теперь я качу на Запад, в Ригу, в другую страну — в Латвию.

Рига — город красивый, но несколько холодный; раньше он был третьим по значению русским портом. На этот раз я приглашена латышами. Много ли их в носящей их имя стране? Не так давно население Риги состояло на 50% из немцев (прибалтийских), на 20% из латышей и на 30% из русских. Странным образом три соседние прибалтийские страны не более похожи, чем языки, на которых они говорят. Новые мои друзья — молодой музыкант, его сестра и муж сестры, художник, — мне доказывают, что латыши относятся к индийской расе, что их язык происходит от какого-то индийского наречия. Я готова с ними согласиться, так как ничего в этом не смыслю. А художник провозгласил себя «друидом»: он — один из основателей новой религии или, скорее, поборник возрождения древнего верования; возродить его необходимо, считает он, чтобы преодолеть некую разнеженность, привнесенную латышам при их христианизации. Я не хочу держать зла на латышей, но мне сдается, что не так уж размягчила их христианская мораль: в свете моего опыта о революции я вспоминаю про латышей-чекистов, хорошо умевших пытать, и про карательные латышские отряды, подавлявшие крестьянские мятежи. Меня приводят к по-зимнему оголенному священному дереву, возле которого справляют языческие ритуалы. Ну а Гитлер? О нем будто никто и не думает. А Советы? «Они нас не трогают». Я встречаюсь с разными людьми, меня водят по заводам, все это входит в мое журналистское ремесло. Пишу репортажи, фотографирую — вежливости ради — огромное дерево, у которого в дни солнцестояния священнодействует мой знакомый художник. Но в Нарве я подхватила бронхит, и мне приходится сократить мое пребывание в Латвии. В Литву я не еду и прямо сажусь в поезд на Прагу.

На этот раз в поезде обстановка совсем необычная. Молодые литовские евреи силой занимают вагон, в котором я путешествую. Направляются они в Палестину. Девушки и юноши переполнены бьющей через край радостью, чего не скажешь об их родителях, остающихся на перроне в грусти и слезах. Всю ночь будущие обитатели кибуцев поют и смеются. О сне для меня не может быть и речи. Они распевают песни, что-то едят, но их порыв к свободе не лишен некоторой агрессивности... Так мне довелось путешествовать с теми, кому суждено было избежать страшной участи своих собратьев.

Я никогда не умела считать деньги и все, что мне было отпущено на поездку, растратила до гроша. Но в Праге у меня были друзья, и одному из них я из Риги послала телеграмму: «Приезжаю тогда-то, совершенно без денег, рассчитываю на вас, буду ждать в зале ожидания».

В Прагу я приезжаю в половине двенадцатого ночи. Ни на перроне, ни в зале ожидания никто меня не встречает. Что же, сдаю чемодан в камеру хранения и, кашляя, готовлюсь переночевать на вокзале. В полночь меня будят: вокзал закрывается. Протестую. Но ничего не поделаешь: приходится подчиниться правилам. Оказываюсь совсем одна в ночном городе. Скоро Рождество, в витринах блестят нарядные елки; морозит. Положение кажется безвыходным. Решаю провести ночь в полицейском участке. Но в Праге, по всей видимости, ночью так спокойно, что на улице не встретишь ни одного полицейского. Обращаюсь к одному прохожему, ко второму — несмотря на поздний час, кто-то еще ходит по улицам, — но по-французски никто не понимает, и как я ни стараюсь пустить в ход малые мои познания в немецком языке (а немецкое polizei похоже на французское police), в ответ только пожимают плечами и с равнодушным видом проходят мимо. Наконец встречаю молодую пару, говорящую по-французски. Спрашиваю, где полицейский участок. Они принимаются спокойно объяснять мне дорогу: «Прямо, направо, потом налево и еще раз налево», — но вдруг безразличие их покидает: «Что случилось? Вас обворовали?» Без ложного стыда объясняю, в чем дело. «Ну, тогда все очень просто: пойдемте к нам. Только, знаете, у нас не топят». Но в такой пиковой ситуации глупо было бы еще претендовать на отопление. Я следую за незнакомой парой в их квартирку, где меня укладывают на диван. В восемь часов утра звоним преподавателю русского университета, который должен был меня встретить. «Ну, слава Богу, слава Богу! — орет он в трубку. — Я поднял на ноги весь город, заставил полицию открыть вокзал, хотя они мне клялись, что там никого нет. Но я сказал, что хорошо знаю эту даму, и раз она обещала ждать в зале ожидания, то, значит, она там, каковы бы ни были правила! Я провел совершенно бессонную ночь, но ничего, главное, что вы нашлись, целы и невредимы!» Оказалось, что, когда ему принесли телеграмму, его не было дома, и лишь вернувшись, в два часа ночи, он ее нашел.

Когда на следующий день вечером я пошла на встречу с группой русских поэтов, живших в Чехословакии — она называлась «Скит поэтов», и руководил ею профессор Бем[1], — мне сильно нездоровилось. Встреча происходила в мастерской художника на живописном чердаке. В те годы Чехословакия была одним из важных очагов русской эмиграции; в частности, там жили некоторые очень активные евразийцы. Как часто бывает у литераторов, между провинцией и столицей установилось своеобразное соперничество, и я оказалась его жертвой. Не успела я закончить беседу о русской литературе в Париже, как мои пражские собратья буквально растерзали меня в клочья, обвинив во всех пороках и недостатках, которыми страдали, по их мнению, парижские поэты, в том числе и те, с которыми у меня были наименее близкие отношения и наиболее серьезные расхождения. У меня было 39° температуры, и потому, вероятно, меня не задевали их едкие нападки, которых, как мне казалось, я ни в коей мере не заслуживала. Мне даже было забавно слышать о том, что меня обвиняют в декадентстве. Атака

[1] Он был расстрелян, как только Советы вступили в Прагу. (*Прим. автора*).

на меня длилась довольно долго, и я рассеянно поедала печенье, поставленное предо мной, в ожидании перемирия и чаепития. «Что же, «обвиняемая», — сказал, улыбаясь, профессор Бем, — что можете вы сказать в свою защиту?» — «В защиту — ничего, — ответила я, — но зато я отомстила: съела все печенье».

Моя газета поручила мне написать бытовой репортаж с живописными подробностями, но сама я больше интересовалась текущей политикой. В Праге я опять всем задавала тот же вопрос: «А Гитлер?» И отвечали мне точно так же, как и в Варшаве: «Мы его не боимся. Чехословакия — разумно устроенная, процветающая страна с сильной армией. И нашу решимость охранять независимость никто не сможет поколебать». И точно так же, как в Варшаве, добавляли: «И потом, не забывайте, что рядом с нами стоят Франция и Англия». А когда я спрашивала, существует ли в Чехословакии в какой-то степени коммунистическая опасность, они смеялись: «Наш народ привержен к демократии, он достаточно цивилизован. Коммунизм опасен лишь в тех странах, у которых нет опыта свободы».

Наступил 1934 год. Был воскресный день. В Брюсселе с самого утра люди в беспокойстве скапливались на улицах. Все повторяли потрясенные: «Король погиб! Короля нашли у подножия скалы! Король разбился! Он погиб в Арденнах!» И, действительно, королевский стяг уже не реял над крышей дворца. У газетных киосков выстраивались очереди, люди ожидали специальных выпусков. Каждый, будь то бельгиец или иностранец, чувствовал, что закончилась целая эпоха. Король Альберт был настолько всеми, без исключения, почитаем, что его смерть показалась предостережением судьбы.

В понедельник 19 февраля, вечером, мы присутствовали среди большой толпы народа на перенесении останков из Лакенского замка в Брюссель. И все дома́, казалось, умерли вместе с королем — ни в одном окне не горел свет, а уличные фонари были затянуты черным крепом. Между двумя колоннами построенных вдоль улиц воинов-ветеранов медленно продвигался на лафете гроб, покрытый бельгийским флагом, а сопровождавшие траурное шествие солдаты держали в руках горящие факелы. Толпа вела себя благоговейно, достойно; она все росла, по мере того как поезда привозили в столицу всех тех, кто желал отдать последний долг королю Альберту, гроб которого стоял в соборе Сен-Мишель-е-Гюдюль. А в четверг процессия двинулась по тому же маршруту, но в обратном направлении, от собора к Лакенскому замку. Люди взбирались на крыши автомобилей, поднимали над толпой своих детей... За парадными каретами следовали верхами новый государь и его брат, граф Фламандский; у обоих были покрасневшие глаза. Очень красив был Леопольд Третий, когда на следующий день после похорон объезжал столицу. Его громко приветствовали, и он эти приветствия принимал, но было заметно, что при этом не забывал о постигшем его горе. То был час торжественный и важный. О гибели короля Альберта строили всякие таинственные и, быть может, достоверные предположения.

Шли годы. Возвращение эмигрантов в Россию становилось все менее вероятным. Возможности для какого-то личного продвижения у эмигрантов были ничтожные, а «нансеновские» паспорта сводили и их почти что к нулю. Мало-помалу рассеянные по миру русские люди стали принимать гражданство приютивших их стран; правда, так поступали не все — некоторые считали это изменой. Наша с мужем жизнь сложилась в Бельгии, и мы решили подать прошение о бельгийском подданстве. Перенаселенная Бельгия жаловала свое гражданство без большой охоты, но у нас были прекрасные поручители во всех партиях: в католической — барон Нотомб, в социалистической — Луи Пиерар, в либеральной — президент сената граф Липпенс. Мой муж получил малую натурализацию (в Бельгии их две: первая не дает избирательного права, но позволяет быть избранным на депутатские места). За введение в права, как мне помнится, надо было внести пять тысяч франков. Сумма невелика, но меня шокировал сам факт: вместо того чтобы усыновить нас, государство как бы заключало с нами некий контракт, а всякий контракт есть знак недоверия, и это лишало акт натурализации всякой моральной ценности.

По правде сказать, бельгийское подданство если и разрешало некоторые наши затруднения (те, скажем, что были связаны с паспортами и визами), то в бельгийское общество оно нас не вводило. Для наших новообретенных сограждан мы так и оставались русскими. Надо сказать и то, что, не принадлежа по рождению к какой-то нации, привязываешься больше не к ней, а к самой стране с ее культурой. Бельгийской культуры, однако, как таковой не существует, ибо культура формируется веками. Мы не были ни валлонами, ни фламандцами, а странными бельгийцами родом из Москвы. В Бельгии действовала трехпартийная система. Если бы Святослав хотел сделать там карьеру, ему нужно было бы определить свою партийную принадлежность. Но это было непросто: католическая партия православному человеку подходила мало, не легче ему было примкнуть и к традиционно антиклерикальным либералам; что же до социалистов, то аристократы, пусть и безденежные, могли быть встречены в их рядах с предубеждением, несмотря на то, что во главе их стояли богатые буржуи. Все эти три партии по проводимой ими политике были демократическими, и для неопытного глаза расхождения между ними не казались сколько-нибудь значительными. Камнем преткновения для правительств являются обычно два вопроса: школьный вопрос и вопрос о языке — а как бы мог какой-то Малевский, едва пустивший корни в бельгийскую почву, убежденно защищать в этих вопросах ту или иную позицию? И Святослав решил остаться беспартийным, что было по крайней мере оригинально.

Так или иначе, но вышел королевский указ, и мы сразу освободились от произвола, которому в ту пору были подвержены эмигранты: у нас появилась своя страна, свое правительство и даже свой король, не говоря уж про послов и консулов, а также свои законы; словом, мы наконец стали гражданами.

Хотя к тому времени безработица в Европе и поуменьшилась, судьба наибеднейших из наших соотечественников продолжала быть очень трудной. Свекор мой работал при русском Красном Кресте в Брюсселе, и

через него я каждый день сталкивалась с не способными себя защитить людьми, которых швыряли от одной границы к другой. Невинными младенцами они не были, но ни один из них не совершил никакого преступления. Хотя страны, подписавшие нансеновские соглашения о беженцах, и обязались в принципе не высылать находящихся на их территории апатридов, они на эти договоренности внимания не обращали. Стоило какому-нибудь полицейскому, разнимая драку или прочесывая места скопления бродяг, разорвать чье-то право на жительство, как правонарушитель становился «человеком ниоткуда». Его препровождали безо всяких бумаг до ближайшей границы; а с другой стороны границы полицейские отсылали его обратно — туда, откуда он прибыл. Так и отшвыривали их друг другу, как футбольные мячи. Иногда кому-то удавалось прорваться в страну, и он шел прямиком в русскую церковь или в русский Красный Крест. Большинство тех, кем мне пришлось заниматься — чаще всего пьяницы и драчуны, но все же люди, как и мы с вами, живущие на общей нашей земле, — прибыли сюда из Франции. Я селила то одного, то другого в нашей мансарде, где они ждали, пока предпринятые хлопоты будут доведены до конца... И всегда при этом ставила в известность полицию, где мне негласно разрешали дать несчастному убежище. Некоторые еще были способны встать на ноги, им находили работу. Другие продолжали бродяжничать; около десятка таких я навещала в колонии Меркспласе, во Фландрии; там в течение зимы они работали, скапливая немного денег, что позволяло им весной снова пускаться на всякие хитрости. Лишь один раз меня обворовали — живший у нас алкоголик украл все скромные семейные драгоценности. Но этот случай был единственным. Один молодой казак, бунтарь и драчун («из-за несправедливости мира», говорил он), получил право на жительство, лишь став отцом бельгийского ребенка. Его подружка за него хлопотала, и, так как он обещал на ней жениться, в эти хлопоты включился и сердобольный кюре. Став семьянином, наш казак вполне остепенился.

Отсутствие порядка иногда бывает на руку простым людям. Один русский человек прожил в Париже несколько лет, уверенный в том, что обладает правом на жительство; на самом же деле это было постановление о его выдворении за пределы страны. Но по-французски он не знал, и ему казалось, что с этой бумажкой в кармане ему ничто не грозит. Он никогда не прятался при виде жандарма, а проходил мимо с гордо поднятой головой, что, должно быть, его и спасало. Но, к несчастью, он однажды вытащил свой мнимый «вид на жительство» в каком-то обществе помощи и узнал о своей беде. С тех пор он потерял уверенность в себе, что его и погубило.

Нам пришлось повидать с тех пор немало беженцев — из Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии — и французских репатриантов из Алжира, и восточных немцев; но среди перемещенных людских масс двадцатого века «пионерами», вне всякого сомнения, остаются русские.

Во Франции иностранцы из интеллигенции ассимилировались легче, чем в Бельгии: Франция значительней по размерам, она была более космополитичной и обладала некоей силой, притягивавшей умы. Пото-

му-то во Франции в среде дипломатов, военных, в научном и литературном мирах, уж не говоря об искусстве, столько иностранных имен. Но все-таки страной, в которой эмигранты быстрее всего перестают чувствовать себя чужаками, оставалась и, вероятно, остается поныне Америка. Неважно, с каким акцентом ты говоришь по-английски и говоришь ли вообще — тебя сразу считают американским гражданином, и при этом никто не требует от тебя отречься от твоего национального происхождения. Но во всех остальных странах беженцы до войны постоянно чувствовали себя прокаженными. И поэтому, несмотря на материальные трудности, они искали страну, где бы их не только терпели, но были бы им рады. Принимали их Аргентина, Парагвай, Венесуэла, Бразилия, Перу. Эти, часто совсем не молодые, скитальцы пускались иногда в дальние странствия и начинали жизнь с нуля, ища не столько материального успеха, сколько дружественной атмосферы.

Меня окружали личности, вышедшие будто из приключенческих романов. Как-то раз, в 1931 году, кто-то привел к нам совсем юного Ивана Шульца. В СССР он был беспризорником — после гражданской войны и голода такие дети росли, как дикари, пока не попадали в советские детские дома. Иван не знал, как звали его родителей (фамилия Шульц не была его настоящей фамилией), не знал даже, откуда был родом. Он служил юнгой на советском торговом судне, прибывшем в Антверпен, где он и решился испытать судьбу. На политику ему было наплевать, он хотел повидать мир и попросил меня научить его английскому языку — он мечтал податься в Канаду. В ожидании он устроился мойщиком посуды в русском ресторане. Иван был настойчив, трудолюбив и не сомневался в том, что станет миллиардером. «Уж тогда-то вы ни в чем не будете знать нужды!» — говорил он мне уверенно. «Но как же вы поедете в Канаду? У вас и паспорта нету!» — «Какой предрассудок!» — отвечал он. Он начинал уже что-то лепетать по-английски и тут внезапно исчез. Месяца через два мы получили от него первую открытку из Оттавы. Довольно коряво (он и по-русски еле умел писать) Иван посылал нам привет и сообщал, что работу найти трудно и что он попытает счастья в Квебеке. Вторая открытка была уже из Квебека: «Здесь похоже на Россию; люди набиваются в поезда и едут искать работу в другие места». Третья открытка: «Привет из Виктории! Делать здесь совершенно нечего. Гуляю по порту и по городу. Я приехал сюда, думая найти здесь много кораблей, но не тут-то было. В Ванкувере тоже работы найти не удалось, но в конце концов все устроится». Эта открытка была последней; больше я ничего не знаю о нашем юном предприимчивом друге с такой типичной судьбой.

Став бельгийкой, но участвуя тем не менее и в общей эмигрантской судьбе, я решила расширить границы своих владений и с жадностью стала приобщаться к французской культуре. Читала я запоем все: «Роман о Розе» и фаблио, «Чудо о Теофиле», Вийона, Клоделя, Мориса Сева, Валери, Монтеня, мадам де Севинье, Сен-Симона, Мальро... И настал час — так и хочется сказать, что пробил он в точно назначенное судьбой время, — когда я, как бывает при замужестве, обрела новую родню, не отмежевываясь при этом от своей семьи.

Так узнала я все лучшее, чем богата Франция в интеллектуальном плане. В 1925 году я получила кое-какое представление об ее буднях. Оставалось разделить с ней ее тяготы.

Жизнь шла своим чередом, то есть плохо, мир сам себе готовил то, что должно было с ним случиться. Во Франции позорное событие произошло 6 февраля 1936 года. Один из моих друзей рассказал мне, как Леон Блюм, весь оплеванный, в буквальном смысле слова, выходил из зала Мютюалите. Лишнее подтверждение тому, что культура не более чем поверхностный лоск.

В СССР начались известные громкие процессы, а иностранные компартии и не думали реагировать. Мой муж заметил как-то раз, что самый заядлый антикоммунист не мог бы и мечтать о такой действенной и тотальной чистке всего государственного аппарата, как та, что предпринял Сталин, начав с троцкистов; за это демократы должны были бы воздвигнуть Сталину памятник. Возьми Троцкий власть, он вполне был бы способен установить повсеместно коммунистическую диктатуру. Стенографический отчет о процессе антисоветского троцкистского центра — чудовищный официальный документ. Последуют новые процессы и новые чистки. Не довольствуясь тем, что, ликвидировав аристократию и интеллигенцию, она раздавила крестьян и рабочих, революция начинала пожирать своих детей. Пятаков, Радек, Сокольников, Арнольд — шестнадцать человек из старой гвардии сами признались в самых тяжких преступлениях. Говорят, что в июне 1937 года во дворе Бутырской тюрьмы (той самой, где в 1918 году сидела моя мать) маршал Блюхер взмахом платочка дал сигнал к убийству своих боевых товарищей. Впрочем, трудно с достоверностью установить всю историю этих внутренних расправ. По другим источникам маршал Тухачевский с товарищами был расстрелян в одном из специально оборудованных подвалов на Лубянке.

В Германии с 1933 года продолжалось восхождение Гитлера — длительный, усеянный трупами путь, который окончится для него смертью в бункере, а страну доведет до разорения и расчленения. Мне пришлось уже говорить о том, насколько советские агенты усилили в ту пору свое проникновение в эмигрантскую среду. Разгул нацизма вызвал большой приток в Бельгию беженцев-евреев. Как нам было забыть, что Спасение пришло от иудеев? Да и мысль о том, что людей можно истреблять только за их принадлежность к определенной расе, была невыносима. Поэтому, когда генеральный секретарь французского Пен-клуба Анри Мембре попросил нас похлопотать о визах для беженцев, я снова прибегла к содействию бельгийского Управления национальной безопасности. Там меня встретили с тем же пониманием, как и тогда, когда я просила о визах для бывших белых офицеров.

В самые мрачные трагедии вкрадываются иной раз забавные моменты. Как-то раз русский издатель Коган, перебравшийся из Берлина в Брюссель, попросил меня срочно выхлопотать бельгийскую визу для старого раввина с семейством. Сведений о семье раввина не было никаких, но медлить было нельзя. Ввиду этого обстоятельства бельгийские власти отправили в свое консульство в Берлине разрешение на въезд в Бельгию для раввина с семьей. И приехало сразу двадцать три человека! С тех

пор с меня стали требовать более точных сведений о «составе семей» беженцев.

Брюссель тоже менялся. Происходили неуловимые перемены в кругах интеллигенции, появлялись новые издания, а в уже существующие проникали статьи довольно странные; открылась книжная лавка, продававшая «ангажированную» литературу... Там я купила «Майн Кампф» по-французски — с купюрами, конечно, но и того, что осталось, было достаточно для понимания сути дела. Из этой книги я узнала, между прочим, что, будучи русской, тоже принадлежу к людям низшей категории, и я сожалела о том, что многие русские эмигранты из-за ненависти своей к коммунизму позволили себе относиться с симпатией к Гитлеру; они не замечали, что вожделенное гитлеровское жизненное пространство предполагалось сначала очистить от «остов».

Дегреля[1] я видела только один раз, и первое впечатление меня не обмануло: он мне не понравился. О нравственности его красноречиво говорила святотатственная история с Борэнской Божьей Матерью — на самом деле вся эта история оказалась коммерческим предприятием ловкого Дегреля. Иной раз я еще встречалась с Пьером Дэйем, наивность его казалась мне обескураживающей. Достаточно сказать, что ему случилось потчевать гостей лососем, на котором его повар — видимо, тоже рексист — написал майонезом «Рекс победит!» — и это вовсе не было первоапрельской шуткой.

Между 1937 и 1939 годами мы немало путешествовали, правда, безо всякого комфорта, так как денег у нас хватало лишь на места в третьем классе и на самые скромные гостиницы; но бельгийские паспорта избавляли нас от бесконечной волокиты в консульствах, что не переставало нас радовать.

В Италии фашизм казался совсем не таким злобным, как в Германии; эта южная страна в последнее время не очень была склонна к разыгрыванию исторических трагедий. После последней моей операции мы поехали туда вдвоем; было это в 1938 году. Я нуждалась в отдыхе. Мы остановились сначала на берегу Лаго д'Орта; народу там было мало, и мы обнаружили неподалеку, на склоне холма, сельскую гостиницу, где, кроме нас, не было ни одного постояльца. Старуха-хозяйка стряпала нам незатейливую еду — порой даже слишком простую, и мы видели, как бедно живет народ. Но ортские комары нас одолели, и мы спустились к озеру Лаго-Маджоре.

Италия — всегда праздник и для глаз, и для души. Благожелательность людей проявляется так же ярко, как и питающее ее солнце. Мы долго искали гостиницу где-нибудь за городом и наконец нашли прелестное пристанище, укрытое зеленью от посторонних глаз, в двух шагах от Ароны. И с удивлением обнаружили, что и тут, кроме нас, не было никого. Нам отвели большую комнату с обращенной к озеру террасой. Иной раз ночью нам казалось, что у гостиницы останавливались автомобили, сквозь сон до нас доносился шум моторов, затем снова воцарялась тишина.

[1] См. прим. на с. 6 в 3-ем томе. (*Прим. ред.*).

Внизу, в баре, собиралась по вечерам живописная итальянская публика: старый жандарм в отпуске по болезни, двое стариков, рыбак, трое молодых людей, по виду буржуа; двое из них нам сказали, что состоят в фашистской партии; сразу перед нашими глазами встал образ негуса негусов, с таким достоинством противостоявшего деятелям Лиги наций, бесстыдно бросившим его и его народ на расправу Муссолини и отравляющим газам. Сидел еще в баре человек в красной клетчатой рубашке (такие еще не вошли тогда в моду), кряжистый смуглый, с кудрявой шевелюрой. Он любил, попивая, засиживаться допоздна, и тогда за ним приходила его жена, худощавая, быстроглазая, и бранила его так красноречиво, словно разыгрывала итальянский фарс. Муж покорно вставал и уходил с ней домой. А я, перебрав десятки профессий, так и не отгадала, кем он был на самом деле. Оказывается, дрессировщиком: укрощал диких зверей, но и сам нашел себе укротительницу.

Хозяйка гостиницы была вдовой; были у нее две дочери-студентки, приехавшие домой на каникулы. Молодые буржуа за ними ухаживали под подозрительным взором мамаши. Девицы были строго воспитаны и бдительно охраняемы. Обе были хорошенькие, одна блондинка, вторая брюнетка. Мы гуляли с ними, разделяли их развлечения, ездили с ними танцевать к их друзьям или посидеть в кафе. Идеальные каникулы... Один из трех молодых людей выделялся своей наружностью. Очень стройный, худощавый, с обильной шевелюрой, крупным носом и довольно низким лбом, он напоминал своим обликом калабрийского разбойника романтической эпохи. Как-то раз я поехала с ним вдвоем кататься по озеру в его лодке. Этот человек обладал великолепным даром ничегонеделания. Казалось, он никогда при этом не скучал. Он бросал в лодку бутылку «Кьянти», немного хлеба, фруктов, пачку сигарет и мог оставаться на озере часами, не двигаясь с места. «А что вы делаете зимой?» — спросила я. «Зимой я живу в горах, у меня маленькое шале, катаюсь на лыжах». — «И ничем другим никогда не занимаетесь?» Он засмеялся. «Чаще всего нет, — ответил он. — Но иногда мне кое-что поручают». И, потягиваясь, добавил: «Например, я участвовал в деле Долфуса».

Какие же необычные встречи устраивала мне судьба! Я оказалась наедине, посреди озера, с одним из убийц или по крайней мере с сообщником убийцы австрийского канцлера. И ничто вокруг нас не изменилось. Лодки так же плавно качались под солнцем на водах озера. Убийца или сообщник убийц канцлера ел зеленый персик, какими их едят в этих краях. Он сказал мне больше, чем хотел, а может быть, меньше. Меня охватило чисто профессиональное любопытство. Я стала засыпать его вопросами — но признаются во всем до конца только герои приключенческих романов. Я же из своего спутника не выудила больше ни слова. Туристы с берега фотографировали типичный пейзаж — переливы воды, остров, пальмы и в лодке молодую итальянскую парочку (я вполне сходила за итальянку в огромной пьемонтской соломенной шляпе).

Если не считать полупризнания, вырвавшегося у этого загадочного молодого человека, вероятно, одного из наемных убийц итальянских и немецких спецслужб, ничто на берегах Лаго-Маджоре не давало повода для беспокойства, и фашизм выглядел здесь вполне «добродушным».

Над Ароной как-то раз (единственный раз, и ненадолго) разразилась гроза. Все мы, включая убийцу, собрались в гостиничном баре. Там на почетном месте был водружен бюст Муссолини. Кому-то пришло в голову затеять игру: бросать в августейшую личность бумажные катышки; столько-то очков за попадание в нос, столько-то за глаз или рот. Мы прилежно целились среди общего хохота, и молодые фашисты играли наравне со всеми. Безусловно, в Германии за такое оскорбление высочайшей особы нас бы незамедлительно наказали, и со всей строгостью.

В Италии ждала нас еще одна встреча — на этот раз с нашим прошлым. Мы обедали в уютном ресторане на Лаго д'Орта, как вдруг там появилась необычная пара: величественная старая дама, облаченная в просторные белые одежды, за которой шел молодой шофер в ливрее. Они сели вместе неподалеку от нас. За такое вызывающее нарушение общепринятых правил остальные клиенты бросали на них украдкой возмущенные взоры. Мы с мужем обычно говорили между собой то на английском, то на французском, то на русском языке, судя по настроению. В тот день мы говорили по-русски, и старая дама пришла в сильное волнение. Через несколько минут к нашему столику подошел ее шофер: «Моя госпожа светлейшая княгиня Волконская была бы счастлива, если бы вы согласились перейти к ее столику для послеобеденного кофе». Незнакомка с самой первой минуты своего появления заинтриговала нас, и мы с радостью приняли ее приглашение — и не пожалели. Среди встреченных мною в жизни сильных личностей — а я всегда сожалела, что на свете их так мало — княгиня Софья Волконская занимает не последнее место. Сколько было ей лет, когда мы познакомились? Семьдесят, семьдесят пять, восемьдесят? Была она довольно полная, не очень высокая; всем своим обликом она выражала презрение к конформизму и аристократическое безразличие к мнению окружающих. Небрежно причесанные, никогда не знавшие искусственных завивок пряди седых волос падали ей на лоб, а ее необыкновенные, проницательные, живые серые глаза смотрели с такой силой, что итальянцы, на которых ей случалось остановить взгляд, изображали пальцами рога, чтобы защитить себя от сглаза. Так началась своеобразная наша дружба со старой живописной Шехерезадой, прерванная нашим отъездом из Италии.

Рассказы Софьи Волконской я привожу так, как слышала их от нее, ничего не прибавляя и не убавляя. Поклясться в их правдивости я не могу, но убеждена, что Софья Волконская презирала всяческую ложь. В Пьемонте она жила давно, более тридцати пяти лет. Из России выехала задолго до начала первой мировой войны. Причиной отъезда был громкий скандал, разразившийся при дворе и в столице и вызванный бурным образом ее жизни. На пьемонтском наречии княгиня говорила невероятно быстро, бодро вставляя самые низменные просторечия и просто непечатные выражения, что явно приводило в восторг ее слушателей. Наблюдая, как она разговаривала с местными жителями, я вспомнила фразу, которую Пруст вложил в уста одной из своих светских дам. Когда причесывающая ее горничная не смогла удержать звонкое, довольно грубое ругательство, она осадила ее: «Милая, такое произносить дозволено только герцогиням!»

Княгиня Волконская рассказывала нам: «Я — дочь светлейшего князя Волконского, который был оскальпирован турками во время русско-турецкой войны, и родилась после его смерти. Семья наша была как будто весьма богата, но мою мать — была она французского происхождения — погубила страсть к игре. Помню, как мы выезжали из России на воды в особом вагоне с дворецкими, лакеями, горничными, а возвращались из Германии или Монте-Карло в третьем классе и питались крутыми яйцами. После смерти матери меня взял под свою опеку Александр Третий, и я играла с будущим Николаем Вторым и великими князьями Кириллом и Андреем. Государь очень меня любил, но «датчанка» — императрица Мария Федоровна — терпеть меня не могла. Бедна я была как церковная крыса, и существовала исключительно от щедрот Государя. Мой родственник Волконский, служивший в полку Императрицы, в меня влюбился, но у него не было никакого состояния, а у меня — никакого приданого... Как-то раз во дворце, на придворном торжестве, стояла я с остальными фрейлинами в зале, через который должна была пройти императорская чета. «Датчанка» остановилась возле меня и сказала: «Я слыхала, что у Вас затруднения, мешающие Вам выйти за одного из моих офицеров?» На что я ей ответила, делая реверанс: «Ваше Величество, офицеры Вашего полка готовы взять меня и совсем голую». Ну, она, конечно, побагровела, но Государь потянул ее за рукав и шепнул: «Оставьте, не раздражайте ее».

Я все-таки вышла за Волконского и зажила очень весело. Как-то раз Великий князь Андрей заявился ко мне спозаранок и сказал: «Соня, я заключил с братом пари, что ты сможешь выпить натощак две бутылки шампанского. Знаешь, речь идет о большой сумме, ты уж, пожалуйста, меня не подведи!» Так что же вы думаете, выпила я эти две бутылки, но сказала: «Ты вот выиграл деньги, а я — мучайся, как знаешь, со своим мочевым пузырем!»

Софья Волконская возила нас в черном своем «паккарде» в самые роскошные места, в самые фешенебельные рестораны, где ее встречали с глубоким почтением, но не без некоторых опасений. И действительно, реакции ее были непредсказуемы. Обслуживали ее с большим усердием, так как привыкли к королевским чаевым, а она вдруг решала не давать ни гроша: «Лакеи эти мне отвратительны». Но тут же, в том же ресторане, она протягивала крупную купюру мальчику-рассыльному, заметив его распухшее лицо. «Ты упал с велосипеда?» — спрашивала Софья Волконская. «Нет!» — не очень вежливо отвечал мальчик. «Подрался?» — «Ну да, а что?» И за то, что отвечал ей смело, не боясь ни ее дурного глаза, ни важного вида, она награждала его подарком.

Рассказы княгини не прерывались и тогда, когда мы катили в ее автомобиле или обедали на какой-нибудь дивной террасе со сказочным видом. «Я так плакала, когда Александр Третий умер! Я будто отца теряла, а «датчанка» не дала мне даже к гробу подойти! Но Ники (Николай Второй) был очень добр, и не ко мне одной. Как-то раз я заметила, что у него стоптаны каблуки. «Николаша, — сказала я ему, — ты как-никак царь-самодержец всея Руси, а посмотри, в каком виде у тебя обувь!» «Что поделаешь, Соня, на мне долги всего дворянства!» —

ответил он. И Александра Федоровна была тоже очень мила со мной. Только случилось мне встретить большую, единственно настоящую мою любовь — Нарышкина. Любила я его до безумия. Сплетен вокруг этого поднималось все больше, просто невыносимо стало жить. И как-то раз Государыня позвала меня и сказала: «Послушайте, Соня, я вас очень люблю, вы это знаете, но поймите, мы не можем в нашем положении прикрывать скандалы. Пусть о вас забудут, поезжайте-ка за границу». «Но как я могу — сердце мое в России». — «Так забирайте свое сердце с собой и уезжайте».

Богат Нарышкин был безмерно. Мы поехали в Италию; здешние места пришлись нам по душе. Мы купили несколько участков земли в Стрезе, и Нарышкин построил на них виллы в стиле кватроченто. Конечно, со всеми мы здесь были знакомы, но из-за неясности нашего положения кое-кто из наших друзей испытывал некоторую неловкость. И в один прекрасный день королева Италии Елена сказала мне: «Моя дорогая, я нежно вас люблю, но ваше положение очень меня огорчает и тяготит. Православная церковь ведь признает развод, так почему бы вам не развестись и не обвенчаться с Нарышкиным?» Мне не очень этого хотелось, но что было делать, в конце концов я так и поступила — развелась и вышла за Нарышкина. Но обручальное кольцо его не удержало. Правда, я ужасно его ревновала!

И вот однажды Нарышкин мне сказал: «Соня, бери все, что хочешь, все драгоценности, все мое состояние, но дай мне свободу!» Это был конец. Он возвратился в Россию, а я осталась здесь одна, с большим богатством, но и с большим горем, от которого так никогда и не оправилась».

Мне вспомнился рассказ Саша́ Гитри «Нечестный игрок», где юный вор, оставленный в наказание без обеда, один остается в живых, а вся его семья умирает от отравления грибами. Беспорядочная интимная жизнь Софьи Волконской спасла ее от революции и разорения. После этого нового скандала с Нарышкиным она уже не могла вернуться в Россию, так и осталась в Италии до конца дней и тем самым сохранила все свое состояние.

Эта одинокая женщина была очень довольна, обнаружив, будто я состою с ней в дальнем родстве, и стала требовать, чтобы я звала ее тетей. У меня действительно был некий родственник Волконский, мать которого была урожденная Шаховская, но родство мое с Софьей Волконской очень сомнительно. Несмотря на это, мы подчинились ее желанию.

— Но сегодня, когда международное положение становится таким напряженным, вы приняли меры, чтобы сохранить ваше состояние? — спросил ее Святослав.

Если моя новая тетушка была эксцентричной, безумной она не была.

— Муссолини уже давно предлагает мне на серебряном блюде итальянское подданство, но вы сами понимаете, что не ради моих прекрасных глаз, а ради моих денег. Но пока я иностранка, он посягнуть на них не может, а я перевела весь капитал в Швейцарию.

Виделись мы каждый день и почти каждый день слушали новый рассказ. В 1905 году, во время русско-японской войны, Софья Волкон-

ская, первый брак которой был не вполне счастливым, уехала в Маньчжурию как сестра милосердия. «Но я всегда терпеть не могла женщин, — говорила она, — и мне было пренеприятно спать с остальными сестрами в одной палатке. Я предпочитала ночевать под открытым небом, прямо под деревом. Ночи были прохладные. Представьте себе, что змея пристрастилась спать, свернувшись рядышком со мной, так ей было теплее. Мне она не мешала, с ней было даже веселее, но кончилось это плохо, и по моей вине! Я во сне резко повернулась на другой бок, змея испугалась и ужалила меня. И что вы думаете, спасла мне жизнь молоденькая японская сестра: она высосала яд, а потом вычистила рану и прижгла ее. Не будь ее, я бы там и умерла...»

Мы ни разу не посетили ее виллу в стиле кватроченто, видели ее только снаружи. Софья Волконская была своеобразной личностью во всем. Не терпя женщин, она брала в услужение только мужчин; были у нее повар (которому, видно, нечасто приходилось стоять у плиты), шофер, садовник. Эта одинокая и богатая дама по-своему расправлялась с просителями: «Черные во́роны» (так звала она католических священников) пробовали приходить ко мне, ну и монашки, конечно. Тогда я пошла к епископу и сказала ему: «Я готова, если хотите, пожертвовать деньги на постройку католического храма, но при одном условии: я никогда больше не должна видеть у себя дома черных риз». И тут же выписала чек на крупную сумму.

Ревность ее, должно быть, была ужасна, и Софья Волконская, любившая во всем быть откровенной, рассказывала нам об ее крайних, чудовищных проявлениях: «У меня от Нарышкина был сын, и с самого его рождения я уже не могла без гнева думать о том, что настанет день, когда женщина его у меня отнимет. Но, к счастью, прожил он недолго!» Мы в ужасе посмотрели на нее. «Ну да, я такая, зачем же мне притворяться?» И, пристально глядя на меня, спросила: «А вы, Зика, вы ревнуете Святослава?» Я пожала плечами: «Никогда! Я бы и не потерпела того, чтобы меня любили по принуждению. Да и к чему привела ваша ревность, ведь Нарышкин от вас ушел?» — «Да, он ушел», — сказала она, и на лице ее отразилась такая острая боль, будто случилось это событие вчера.

Меня удивляло, что Софья Волконская меня терпела и даже как будто испытывала ко мне симпатию. «Да, вы не похожи на тех, кого я называю «женщинами», на эти пустые и ленивые создания, живущие одной хитростью и низменными расчетами!»

Весьма вероятно, встреча наша с Софьей Волконской могла бы изменить нашу жизнь. Было заметно, что ей очень хотелось удержать нас при себе, но мы постарались, чтобы она не высказала нам такого предложения, нам все равно пришлось бы его отклонить. Богатство ее было огромно, и в мире не было никого, кому бы она желала его завещать — ни человека, ни страны, ни учреждения. Старость ее была одинока, а мы ей подходили — мы никогда ни о чем ее не попросили, хотя ей было известно, что мы бедны. Но во время наших бесед мы успели хорошо изучить ее нрав. Несмотря на всю нашу симпатию к такой интересной и необычайной личности, нетрудно было предположить, что совместная жизнь с ней станет

нестерпимой. После войны мой муж случайно встретил в Швейцарии двух ювелиров, рассказавших ему, что они были приглашены как эксперты при вскрытии сейфа княгини Волконской. Они признались, что редко им приходилось оценивать такое количество драгоценных вещей и такого высокого качества. Не знаю, кому они достались.

Я успела увидеть Италию еще раз летом 1939 года; мой муж поехал тогда в Португалию, а я отправилась на Итальянскую Ривьеру. Но дух уже был не тот, что в прошлом году. Не успела я пересечь границу, как напротив меня в купе, где я путешествовала одна, уселся человек в штатском; видно, паспортный контроль сообщил ему о моем роковом месте рождения: Москва, Россия. Не требовалось особой проницательности, чтобы догадаться, что он тут делал. На вокзале в Генуе его сменили двое других и следовали за мной безо всякого стеснения во время моих прогулок по городу, и в конце концов я им предложила что-нибудь выпить за мой счет. Они со сконфуженной миной отказались. Тогда я села одна за столик кафе в ожидании поезда. Но на вокзале в Сори обе мои тени были тут как тут.

Пляж был очарователен и совсем пустынен, если не считать матерей семейств с их выводками. Одному из этих белокурых ангелочков удалось поймать залетевшего на берег моря воробья и, с помощью других ангелочков, он его расчленил, живого, будто отрывал лепестки от ромашки, а взрослые умиленно на это взирали. Здесь ребенок был царем, а жалости к животным еще не научились.

На террасе перед кондитерской молодой итальянец завязал со мной традиционную галантную беседу, которой не удается здесь избежать ни одной иностранке, если только она не достигла почтенного возраста. Я охотно с ним болтала. Он был фашист, прошел эфиопскую кампанию... Я сказала, что хвастаться тут нечем. Но мои слова не возымели на него никакого действия. Он принялся очень мило мне расхваливать все достоинства режима — таковые, несомненно, имелись. Да, Муссолини начал хорошо, но кончил плохо — такова судьба почти всех диктаторов. Я заметила, что мне совсем не нравится полицейский хвост, который приходится тащить за собой, и показала ему сидящую неподалеку от нас парочку. Он возразил, что такого не может быть. Вечером тот же молодой человек подошел ко мне и поспешил сообщить, что он кое с кем переговорил и что отныне за мной никто следить не будет, кроме него самого. В конце концов какая мне была разница. Молодой генуэзец очень любезно предложил мне показать свой город и непременно Кампо Санто, куда мы и отправились на следующий день. Потом он потащил меня смотреть дом Балиласов и даже только что отстроенный родильный дом... Я похвалила заботливость Муссолини, но объяснила, что не затем сюда приехала и что родильных домов хватает и в Брюсселе. Добавив, что предпочла бы выпить стаканчик вина в какой-нибудь портовой таверне. «Но с этим покончено! С этим покончено, их больше нет! — воскликнул мой поводырь. — Италия сегодня уже совсем не та!»

Дня через два мне удалось обмануть его бдительность, и я гуляла по Генуе одна, побывала и в порту... Это было восхитительно. Раздвинув нити с нанизанными легкими деревянными шариками, висевшие в дверях

(их шуршание отпугивало мух), я зашла в маленький бар. Там выпила вина в окружении моряков и докеров. Кто-то играл на гитаре, кто-то запел... С добродушным пьяницей поболтали мы на моем международном воляпюке... Жизнь текла наперекор порядкам Муссолини и казалась порой откровенно антифашистской.

В последние два года перед войной — мир, как обычно, был явлением временным — я частенько наезжала в Париж. О войне, конечно, при случае говорили, но победа, одержанная над Германией в 1918 году, была еще так свежа в памяти, что никто не мог и помыслить о возможности поражения. С другой стороны, патриотизм будто изжил себя, а некоторые умы уже мало-помалу склонялись к тому, чтобы смотреть на Запад с позиций теории Гитлера. Францией правил Народный фронт, и богатейшие дамы, цвет парижского общества, носили, безмозглые дуры, драгоценные украшения в виде серпа и молота.

Я уже знала немало людей в Париже, брала интервью для бельгийских газет у французских писателей; особенно приятно мне было встретиться с господином Жоржем Дюамелем, «отцом» Салавина, и с очаровательным поэтом Жюлем Сюпервьелем. Автор сборника «Дитя открытого моря» был похож на свои рассказы, у него был облик волшебного коня. На стене за его письменным столом висела картина Шагала: лиловая степенная корова витебского фольклора.

Любила я встречаться и с Морисом Фомбёром, наследником Вийона и Маро. Мне, потомственной помещице, было хорошо с этим крестьянином из Пуату. В его квартире на верхотуре около церкви Святого Сульпиция царила его жена Кармен, высокая брюнетка. С его друзьями — их было много — ходили мы выпить белого вина в разлив за стойкой у виноторговца на улице Канет. Там же мы и встретимся несколько лет спустя. Красное лицо Фомбёра, его нос Франциска Первого, арабские глаза, деревенский говор — все это очень подходило к его поэзии, в которой, наплевав на моду, он увековечил старинное французское пение. Переписывалась я и с Жо Буске, напоминавшим ожившее надгробное изваяние; обитал он в любимом своем Каркасоне.

В 1937 году по случаю конгресса Пен-клуба в Париже собрались многие известные писатели. С Шарлем Плисньe и Эриком Нотом, молодым немецким писателем, чье имя на его родине было связано с каким-то темным делом, я отправилась в литературное паломничество в Нормандию и полакомилась всласть нормандским сидром. Как-то раз после обеда в ресторане на Эйфелевой башне Пьер Дэй написал на меню: «Да здравствует Национальный фронт!», а Луи Пиерар начертал рядом бодренькое: «Рекс победит!» — но это были шутки, не влекущие за собой неприятных последствий. Правительство Народного фронта обласкивало «думающую элиту», которую мы, как предполагалось, представляли; в весьма торжественной обстановке в «Отель Матиньон» смешались члены конгресса из разных стран: Кику Ямата в кимоно, Адриенна Монье в сером своем крестьянском платье, академики, молодые поэты и больной человек, прятавший глаза за темные очки, — Джеймс Джойс...

Закончилось все банкетом в «Кларидже», и моим соседом оказался писатель, влияние которого с такой силой испытало все мое поколение — таинственный Андре Мальро. Несмотря на мою болтливость, я заставляла себя молчать, чтобы вслушиваться в его быструю речь, и старалась угадать, что таилось за его странными глазами, которые ни на ком не останавливались.

Как-то раз Мишель Бродский, будущий шурин Шагала, повлек меня на коктейль к какой-то богатейшей американке, жившей в Седьмом округе Парижа. У нее висели картины Андре Маршана. Живопись я любила, и Прованс Андре Маршана — другого я не знала — мне понравился; запомнилась яркая голубизна за распахнутым окном и безмятежно спящая женщина. Это было первой моей встречей с новой парижской живописью. Необычное, озаренное серыми глазами лицо Андре Маршана напоминало вырезанные из дерева статуи с острова Пасхи, и в нем самом будто тоже проступало что-то от растительного мира. Через несколько месяцев после этой встречи Андре Маршан приехал в Брюссель и пришел нас навестить. У меня как раз была желтуха, и, увидев меня, он воскликнул: «Ах, какого вы красивого желтого цвета!»

Нашла я старую свою записную книжку — волей случая листки ее не унесло ветром истории; записи помечены маем 1939 года.

«Ужин в «Журналь де Поэт» в честь Жюля Сюпервьеля. Присутствовали Дариус Мило с женой, Жан Фоллен, Матильд Помм, Иван и Клер Голл, Янет Делестанг-Тардифф и др. После ужина едем на Монпарнас, в ателье к танцовщице, где какой-то поэт читает свою драму. Мне скучно до смерти. Рядом со мной похрапывает присланный на наши интеллектуальные пирушки чиновник. Я говорю Фоллену: «Почему бы вам его не разбудить?» — «Боюсь, что он проснется и скажет: «Как, дорогая, ты уже встаешь?» Пьем последний стакан в кафе «Доминик» с Морисом Фонбёром и Жеа Огзбуром. Здесь ничто не изменилось: русская поэтесса льет слезы из широко открытых глаз, русский поэт пытается соблазнить молодую женщину... Потом идем пешком через ночной Монпарнас».

Тот же май, тот же 1939 год. «На Монпарнасе с Жеа Огзбуром и Кромелинком; мне нравится красноречие Кромелинка и его такое своеобразное лицо. Появляется Поль-Эмиль Виктор, вижу его впервые. Он красив, элегантен, выражает возвышенные чувства, что меня удивляет и восхищает, так как нынче в моде цинизм. Я в ударе и рассказываю много разных историй. Несколько ошарашенный, Поль-Эмиль Виктор меня спрашивает: «Простите, какой вы национальности?» — «Я бельгийка». — «Да быть не может!» — Огзбур: «Да нет, она русская, это ведь бросается в глаза!»

Еще один вечер на Монпарнасе, в кафе «Дом», с Шарлем Плисньe, и встречаем там Поль-Эмиля Виктора. В тот день утром я проходила мимо универмага «Призюник» (тогда такие магазины были внове) и за три франка купила себе великолепное кольцо с двумя жемчужинами, черной и белой. Иду вниз вымыть руки, снимаю с руки дешевенькое кольцо, чтобы жемчужины не отклеились, и забываю его на раковине. Поднимаюсь обратно. Шарль Плисньe — человек внимательный и за-

мечает, что рука у меня без кольца. Решив, что это была фамильная драгоценность (он воображает, что у меня их много), Плисньe в ужасе восклицает: «Зика, вы забыли кольцо!» Я отвечаю, шутя, с размашистым жестом руки: «Я имею обыкновение оставлять кольца служительницам туалета!» Эту выходку подхватывает присутствующий тут же хроникер — и я дебютирую в парижской прессе, в рубрике мелких сплетен.

Перечитывая эти записи, яснее видишь, насколько ускорились и ритм нашей жизни, и происшедшая на нашем континенте демографическая экспансия. В ту пору, о которой пишу, Париж не был забит ни машинами, ни пешеходами; и ведь имела я в молодости досуг, которого больше нет... Сколько возможностей оказывалось для встреч, когда мало кто ездил на автомобиле!

Едем с Жеа Огзбуром в автобусе в Сен-Клу, встречаем скульптора Липшица. В парке, погруженный в свои мысли, опустив голову, засунув руки в карманы, идет нам навстречу Жан-Луи Барро, его звезда еще только начинает восходить. Делаем остановку в бистро, где громко играет забытый сегодня инструмент — пианола. Пышногрудая хозяйка хотела бы ее продать маленькому рыжему человечку, который покачивает головой в ритм и рукой отбивает такт «Аиды».

Жеа Огзбур и я вынашиваем идею подготовить репортаж о парижских мелких ремеслах: я напишу текст, он сделает иллюстрации. Вот на улице Драгон, в маленькой каморке, открывающейся прямо на улицу, мастерица плетет стулья. Огзбур: «Мадам, вы мне не разрешили бы вас нарисовать для журнала? Как у вас здесь мило!» — «Да, мосье, пожалуйста. Знаете, эта каморка существует со времен Марии-Антуанетты». Я беру в руки волокно, которым она работает. «Хорошая фактура, не правда ли, мадам, это волокно из Индии, очень прочное, уверяю вас».

Я была как раз в Париже в тот день, когда встречали короля Георга VI и королеву Елизавету, приехавших подкрепить франко-британскую дружбу. Я проезжала в автобусе по улице Риволи. И, кроме меня, никто не заметил, что по случаю приезда английского короля Жанна д'Арк держала в руке британский флаг!

Это все образы исчезнувшего ныне Парижа — иногда уморительные, иногда умилительные.

Я пишу не исповедь, а воспоминания, и не уверена, стоит ли ввести в мой репортаж о себе мотив, относящийся к совершенно другой области жизни. Вот и дожили мы до конца целой эпохи, уже начинается другая. Пройдет несколько месяцев, и жизнь заставит меня держать еще один экзамен. Время ученичества прошло, мне уже за тридцать, и первая молодость уступает место второй. В том, что я совершила в жизни плохого, повинна лишь моя природа; но если мне приходилось сделать иногда что-то хорошее, то это проистекало из другого, не моего источника; справедливости ради Божье надо отдать Богу. Перейду теперь к двум-трем сугубо личным страницам.

Времени у меня было достаточно, чтобы оценить свою слабость и убедиться в том, что сама я ничего бы не смогла. С самого детства я

была подвержена страхам и никогда бы не сумела найти в себе необходимое мужество не только для того, чтобы иной раз пойти навстречу опасности, но и для того, чтобы терпеть несправедливость нашего мира. Неудивительно, что, наблюдая с детства столько жестокости, зная, до какой низости может дойти человек, я убедилась в том, что человечество вне Бога не достойно ни уважения, ни любви. Будь я неверующей, я бы избрала иной путь, который приносил бы личное удовлетворение для того «я», которое Паскаль определяет как достойное всяческого презрения. Христианство превозносит силу немощных, и самые героические борцы — это святые. Я была далека от того, чтобы стремиться к мученичеству; тем не менее, не имея святости и наделенная небольшим количеством добродетелей, я всегда была полна решимости — и мой муж разделял ее со мной — противостоять навязанной нам дьяволом игре; легкий путь, таким образом, был нам заказан. Ведь в Евангелии сказано: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир».

Как далеко истинное христианство от того подслащенного, в духе которого воспитывают детей, говоря им, что в этом мире добрые будут счастливы, а злые — несчастны. На самом же деле реальная жизнь просто-таки раздает награды жестокосердым и лжецам. Все в мире взывает лишь к нашим слабостям. Но Христос обращается к нашей силе, а мы и не знаем, как велика ее власть.

В те годы, о которых пишу, отпущено мне было физических мук выше всякой меры для того, видимо, чтобы определить меру моей твердости. Ничто лучше физических страданий не напоминает нам о том, насколько мы уязвимы, и о том, что мы в этой жизни только пришельцы. Но эти страдания отпущены людям в неравных дозах, а такие нервные существа, как я, переносить их не умеют. Целых двадцать лет меня мучили приступы боли в печени, причину которых никто определить не мог. Боли эти были нестерпимы, но прибегать к морфию мне не хотелось; только после длительных уговоров моего доктора я согласилась с его доводами: уколы не только средство утоления боли, но и действенное лекарство против спазм желчного пузыря. В противоположность некоторым моим собратьям, я не верила — не верю и до сих пор — в то, что наркотики усиливают гениальность или стимулируют ее. Черпать я всегда хотела только из собственных моих возможностей. При сильном горе (небо знает, как невыносимы страдания молодости) я никогда не искала утешения, не пыталась отвлечься, пока боль не будет усвоена, переварена, изжита. Мне приходилось постоянно носить с собой все необходимое для укола, но делала я это с отвращением и прибегала к лекарству в самом крайнем случае... Особенно боялась я морфия. Жила я напряженно и интенсивно — и прекрасно знала, какая меня подстерегает опасность. Морфий приносил мне покой и отдохновение; но искала я их не в нем, а, к примеру, в чтении Паскалевой «Молитвы о правильном использовании болезни». А награда? Она пришла. Четверть века спустя (приступы прекратились сами собой лишь в 1958 году) я вышла из этого испытания без вредного пристрастия к морфию и с закаленной волей. Так в результате размышлений о некоторой аскезе, требуемой нашей верой, и преодоления отпущенных мне физических

страданий накопились во мне внутренние силы, которые понадобятся мне — как и многим, многим другим — в очень скором будущем.

У нас всегда бывают причины для недовольства. Радость моя была в том, чтобы писать, но, делая это, я не могла не сознавать, что никогда не достигну того совершенства, которого достигли особенно любимые мною писатели. Подобные мысли тем более были сильны во мне, потому что, не будучи феминисткой, я не сомневаюсь: женщина гениальной быть не может — хотя иногда и бывает очень к гениальности близка.

Мейстер Экхарт писал: «Ни одна жена не достигнет неба, не став прежде мужем. Ей надлежит трудиться, как мужчине, и по-мужски укрепить свое сердце, дабы могло оно с силой противиться самому себе и всему тленному».

Укреплять сердце настало время всем, не только женщинам. Как всегда бывает накануне великих катастроф, люди продолжали покупать и продавать, женились, строили планы на будущее. Дела процветали, биржа развлекалась. Балы, приемы, празднества и премьеры не прекращались, как, впрочем, и военные парады, уверения в дружбе и недолговечные соглашения. И все-таки над всем этим реял страх. С опасением наблюдали мы, как страх диктовал французскому и британскому правительствам их действия. Этот дурной советчик господствовал всюду, а малодушие и слабость стыдливо прикрывались миролюбием.

В 1945 году в Мюнхене мне показали, что осталось от балкона, на котором после переговоров появились Гитлер, Чемберлен и Даладье. Разрушившая балкон бомба запоздала. Чехословакией пожертвовали с тем же цинизмом, с каким Лига Наций пожертвовала Абиссинией.

Мы как раз находились в кинематографе, когда показали в хронике, как Чемберлен возвращался в Лондон, а Даладье — в Париж; встречали их восторженно, что доказывало людскую слабость и нездоровье общественного сознания. В Брюсселе, как, впрочем, и всюду, публика в зале зааплодировала; послышался и свист. Мы тоже засвистели, хотя знали, что подобное выражение нашего презрения бессмысленно и ни к чему не приведет. Мюнхен послужил нам уроком. Он нам напомнил, что всегда нам суждено оставаться в меньшинстве.

Притаившись во тьме Истории, Муза ее, безумная Клио, приоткрывала врата для запуска роскошного своего фейерверка, пламя которого уже было готово низвергнуться на мир.

Париж,
1965 г.

Безумная Клио

Тот из людей воистину силен духом, кто яснее других видит источники страха и соблазна и все же не позволяет себе избегать опасности.

ПЕРИКЛ

Предисловие

О последней войне в Европе, ставшей отчасти и моей войной, написано много. Со всех сторон изучали ее государственные деятели, дипломаты, военачальники, толкователи на службе того или иного режима и независимые историки. Тем, кто был в ту пору важной фигурой на мировой арене, нередко казалось нужным оправдать свои действия, найти виновных, увековечить себя в памяти грядущих поколений. Передо мной же, наблюдавшей за происходящим и изнутри, и со стороны и не несущей ответственности ни перед кем, кроме собственной совести, не имеющей надобности ни оправдывать себя, ни прославлять, стоит совсем другая задача. Я хочу взглянуть на войну сквозь призму обыденного. Не великие цели, ради которых сражались обе стороны, не блестящие военные операции, не моменты взлетов и падений — меня волновали прежде всего переживания человека, попавшего под колесо истории. Меня интересовало, как вели себя мои современники перед лицом великих событий. При этом, хотя сделать я могла не слишком много, меня не устраивала роль немого свидетеля, удобно устроившегося в кресле зрителя, перед которым разыгрывается трагедия. В те черные годы я предпочла подняться на сцену, чтобы исполнить одну из ролей, зовущихся на театральном языке «заглавными».

Не без страха приступаю я к этой книге, поскольку знаю, как ранима каждая нация, как естественно для нее искушение вырвать из истории позорные страницы, оставив лишь те, что ее прославили. Именно так рождаются мифы, разрушить которые под силу лишь времени: приходит срок, и историки-потомки бесстрастно счищают шелуху с далекого прошлого. Однако правда, даже не слишком приятная, заслуживает того, чтобы ей отдали должное, — память о собственном поражении может быть спасительной и для отдельного человека, и для всей нации.

Вдохновляет меня на сей труд безвестный русский летописец XV века. Рассказывая о разорительном для его народа нашествии татарского хана Едигея в 1401 году, он поясняет: «пишу не с тем, чтобы прогневить кого, а по примеру первого киевского летописца, рассказавшего без утайки все, как есть, о добром и худом, случившемся в наших землях, и наши прежние князья на него в обиде не были».

ПРОЛОГ

Нет трагедии без пролога, оперы без увертюры. Античная драма немыслима без хора; дирижер взмахнет палочкой, и плач скрипок утонет в громе литавров...

В тот день, 3 сентября 1939 года, над Брюсселем, где я тогда жила, разразилась гроза. Небеса разверзлись: на город, ослепляя его, обрушились потоки, водопады, реки дождя. Он хлестал каштаны на авеню Луиз, бил в стекла, заливал тротуары, скатывался с крыш. Мы слушали далекий, терявшийся в грозовых помехах голос диктора. Великобритания объявляла войну гитлеровской Германии. С 1 сентября зловещий человечек успел захватить Варшаву, а затем Прагу. Мы словно видели воочию, как дрожат за своих детей женщины, как тянутся к уже бесполезному оружию мужчины... Слушали и отчетливо сознавали, что пробил и наш час, близятся события, предназначенные нам временем и отчасти судьбой.

Несколько часов, показавшихся нам невероятно долгими, Франция молчала. Затем неизбежное свершилось. Пожар разрастался.

Гроза стихла. Улеглись тревога и волнение первых дней. Подобно тому, как мы прогреваем мотор машины, прежде чем пуститься в дорогу, так история перед бешеной гонкой решила дать своему двигателю поработать вхолостую. Союзники замерли, втянувшись в «странную войну», потерявшую, впрочем, всю свою странность спустя каких-нибудь несколько месяцев. Сохранявшая нейтралитет Бельгия лишилась покоя. Людям казалось, что король Альберт, будь он жив, не допустил бы этого негарантированного нейтралитета.

Между тем вокзалы Бельгии заполнили мобилизованные, скорее встревоженные, чем рвущиеся в бой, и их заплаканные родные, хотя плакать в тот момент еще было рано. Многие французы, проживавшие в Бельгии, были призваны в армию, и как раз в тот момент, когда французская пропаганда в стране, традиционно дружественной Франции, стала особенно необходимой, она прекратилась совсем. Французское присутствие в Бельгии не ощущалось вовсе. Зато образовавшийся вакуум заполнила пропаганда немецкая. Скрытая, но весьма эффективная деятельность аппарата доктора Геббельса не замедлила дать плоды. Пятая колонна уверенно обосновывалась в стране. В полку Дегреля[1] прибывало:

---

[1] Дегрель — бельгийский государственный деятель, выступавший за сотрудничество с фашистской Германией. Воевал в СССР на стороне немцев. (*Прим. перев.*).

одни становились его сторонниками по убеждению — и я знаю таких, другие ради выгоды — и таких знаю тоже. Но я не собираюсь сводить с ними счеты. На мой взгляд, тех, кто выжил благодаря собственной изворотливости либо удаче — неважно, искренне заблуждавшихся или проходимцев, — нельзя судить за истечением срока давности.

Бесспорно, важнейшей задачей любого правительства является защита жизни и благополучия своих граждан. Во все времена нейтральные государства играли важную роль в мировых конфликтах. Именно здесь воюющие страны встречаются для официальных переговоров, торгаши — для заключения тайных сделок (оружие, из которого в нас стреляют, нередко производится на нашей собственной земле). Здесь ведут шпионскую деятельность разведчики, гуманитарную же — Красный Крест. И, естественно, полезные всем нейтральные страны богатеют. Однако нейтралитет отдельного человека оборачивается позицией Понтия Пилата, — ведь что-то сделать в силах даже самый жалкий из людей.

Что касается нашей позиции, то мы определились быстро, хотя четкой задачи, строго говоря, перед нами не стояло. Преследования евреев нас возмущали, любая диктатура — Сталина ли, Гитлера — противоречила нашим принципам. Лично нам, арийцам и антикоммунистам, нацизм ничем не угрожал при условии, что мы будем жить смирно. Между тем нам просто не терпелось так или иначе начать действовать и «скомпрометировать» себя. У меня не было никаких обязательств перед Францией, но я любила и эту страну, и французов; я в какой-то мере принадлежала французской культуре. Мой муж, освобожденный от военной службы, к удивлению многих вступил добровольцем в бельгийскую армию, а я тем временем отправилась в Париж, чтобы стать медицинской сестрой. Но в штаб-квартире Красного Креста на бульваре Мальзерб мне с некоторым высокомерием объявили, что в помощи иностранцев они не нуждаются (хотя Франция, единственная из воевавших государств, призывала в армию потерявших гражданство). Разочарованная, вернулась я домой, и Святослав тоже, хотя его по крайней мере горячо благодарили полковники.

Не скрою, действовать нас побуждало не только стремление биться за правое дело. Пушкин писал: «Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог». И, кроме того, должна признаться, мы с мужем относимся к тому типу людей, для которых покой и процветание не столько благоухают добродетелями, сколько отдают лицемерием и дремотой. Миллионы наших современников суетятся и изнуряют себя в погоне за такими мелочами, что не думают даже о собственной жизни и смерти. Хочется порой стряхнуть с себя эту «пыль»: «Доброе утро», «Как дела?», «Доброй ночи», «До завтра». А в промежутке — завод или банк, административный совет, министерство и магазин, кино, футбол, велогонки, ночной бар, блуд (я не говорю здесь о любви), коктейль или бистро, одни и те же жесты, одни и те же слова в одно и то же время... Можно ли тут найти молодых людей, которым не захотелось бы хоть раз ударить кулаком по столу, попытаться жить по своей мерке, перестать быть зрителями, которые наблюдают за рискующим жизнью ка-

натоходцем, испытать на себе, каково это — держать равновесие на тонкой проволоке!

Единственное, что нам оставалось в той ситуации, это как раз себя скомпрометировать, выступить открыто против немцев. Стремясь восполнить отсутствие французской пропаганды, мы решили создать общество «Друзья Франции» — общество, ставившее целью, как гласил его устав, «выразить нашу привязанность к Франции и к великой французской культуре...» Друзья, которых мы пригласили войти в организационный комитет, откликнулись с энтузиазмом. Множество бельгийцев, друзей Франции, собралось в крохотном зале Музея изобразительных искусств, чтобы послушать наших лекторов.

Парижу, казалось, были безразличны наши усилия, так что никакими другими средствами, кроме членских взносов, мы не располагали. Совсем по-другому обстояли дела у наших идеологических оппонентов. Противники, которыми руководили из Берлина, не дремали. Один за другим открывались книжные магазины, на самом деле представлявшие собой лаборатории нацистской пропаганды (один из них содержала молодая пара из левых). Однажды некий молодой журналист предложил мне встретиться с Балдуром фон Шираком[1]. Тот оказался человеком приятным, воспитанным, красивым, образованным и произвел на меня наилучшее впечатление. Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, взгляды у нас были разные. В конце беседы, весьма любезной, Балдур фон Ширак сказал мне на прощание: «Боюсь, вы поставили не на ту лошадку». Лет десять спустя то же самое произнес в мой адрес и марокканский интеллектуал в Мекнесе, причем по тому же поводу. Из них двоих прав оказался лишь марокканец...

Как-то одна газета заказала мне статьи о воюющей Франции, и я несколько раз ездила в Париж, останавливаясь в здании Международного клуба журналистов на улице Пьер-Шаррон, где с неизменным удовольствием встречалась с генеральным секретарем этой организации, замечательным Анри Мамбре. Париж изменился, но не слишком. Парижанки беззаботно совали в сумки для противогазов губную помаду и другие предметы «первой необходимости». Зашла я к Люсьену Лелонгу в день распродажи. Вдруг завыла сирена; отрабатывали приемы гражданской обороны, а дамы как ни в чем не бывало продолжали стаскивать с себя платья, примерять перчатки и шляпки. Графиня Полин де Панж привела меня на улицу Бассано в штаб-квартиру общества «Иностранки на службе Франции». Здесь уже было полно народу: с какими только невероятными акцентами ни говорили взволнованные женщины. Многими из них руководило желание помочь, хотя не без примеси светского тщеславия, но попадались тут, на мой взгляд, и откровенные авантюристки. Полин де Панж, хоть и считала вслед за мадам де Сталь, что Европа — единый организм, но в отношении стран, выходивших за границы определенной части Европы, занимала истинно французскую позицию. Она

---

[1] Балдур фон Ширак — политический деятель Германии, нацист, создатель молодежной фашистской организации, приговорен Нюрнбергским трибуналом к 20 годам заключения. (*Прим. перев.*).

не могла отличить агнца Божьего от паршивой овцы, поскольку считала, что все не француженки, не англичанки, не немки, не американки — одинаковы. Впрочем, это не мешало ей тратить большие усилия на то, чтобы ввести их в тот круг, куда они стремились попасть, и заниматься беженцами.

Однажды вечером, когда объявили учебную тревогу, я из любопытства спустилась в убежище. В довольно удобно оборудованном подвале высокого здания уже находилось несколько пожилых людей, какой-то господин в теплом халате и домашних тапочках, растрепанная дама и консьержка, любовно прижимавшая к груди свои сбережения, впрочем, как и мужчина в халате, «чтобы ворам не удалось поживиться во время тревоги». Молоденький женоподобный англичанин пел в мюзик-холле, подыгрывая себе на пианино: «Мы еще развесим свое бельишко на заборе Зигфрида»[1]. Бары работали вовсю, сюда по темным улицам стекался народ. Настроение царило благодушное. В кинохронике без конца показывали то, что можно было показать, не выдав военной тайны: танки, самолеты, заводы... Оборона, мол, крепка, спите спокойно.

В русской общине шло брожение. Те из мужчин, которые хотели пойти добровольцами во французскую армию, выяснили, что это не так-то просто сделать, а тем, кто не желал воевать за Францию, ощущая себя иностранцем, возможность встать под французские знамена без надежды получить гражданство по окончании войны казалась злой шуткой. Больше того, даже противогазы бесплатно выдавались только французам, семьи же русских солдат должны были их приобретать за деньги.

Кого только ни арестовывали в тот странный период: пацифистов, немецких беженцев, коммунистов, сторонников нацизма. Одних потом выпускали, других сажали надолго. «Флора» по-прежнему была полна той особой «фауны», к которой отчасти относилась и я. Здесь все так же разносилась над столиками разноязыкая речь. Официанты — дородный краснолицый Жан и смуглый с худым лицом Паскаль — считали меня своей. Тут я чувствовала себя, как дома, и в то же время, как в гостях. Встречаешь друзей, — но можешь оставить их в любой момент. Ты свободна. И какая разница, сколько прошло часов, сколько времени утекло? На лицах посетителей отчетливо проступали следы бессонных ночей, постоянного курения, недоедания, а порой и наркотиков. Расхристанные женщины словно только-только вскочили с ложа любви или, скорей всего, с того, что его заменяло. И разговоры, разговоры, хотя на втором этаже иногда и писали.

Старого владельца «Флоры», смотревшего на свой мирок весьма трезво, сменила чета Бубаль. Сам Бубаль был настроен куда менее благожелательно. Он недоверчиво следил и за клиентами — того и гляди что-нибудь выкинут, — и за своей хорошенькой женой-блондинкой, превращавшейся потихоньку в роскошную даму.

---

[1] Линия Зигфрида — немецкое укрепление на границе с Францией, просуществовавшее с 1939 по 1945 год. (*Прим. перев.*).

Здесь я снова увидела Мари, вдову знаменитого художника кино Лазаря Меерсона, и Сухомлина, русского революционера, эмигрировавшего задолго до революции, а также Цадкина — я всегда любила его за большой талант и остроумие. Бывали тут Ларионов и Наталья Гончарова; болгарский журналист Бакалов, умный и загадочный; рыжая англичанка Джейн, по профессии танцовщица, стремившаяся стать сестрой милосердия; Штейн, чешский адвокат, пригласивший нас как-то всех к себе на новоселье на площадь Дофин... Мне доводилось беседовать с голландским художником Тони и его француженкой-женой; с русским евреем Андреем, побывавшим в Испании в составе интербригады, — хотя, кажется, воевать ему не пришлось; с румынским дадаистом Тристаном Тцара и молодым философом Люсьеном Гольдманом, увлеченным теориями Георга Лукача и чувствующим себя как дома в этом многоязычном мире богемы; со скульптуром Джакометти: грубое, будто вырезанное из дерева лицо, шаркающая походка, полное презрение к опрятности, большой талант и, по счастью, отсутствие интереса к деньгам. Для полноты картины добавим к этой пестрой публике трогательную хромоногую старушку, уверявшую, что когда-то в нее был влюблен Рильке.

Война докатилась сюда только по радиоволнам. Недаром среди посетителей «Флоры», для которых язык был профессией, ощущалось такое волнение, — многих из них взяли на работу в информационные службы. Меня познакомили с Анной, крупной красивой девицей, полуэстонкой, полуамериканкой, затянутой, неведомо почему, в лосины для верховой езды, обрисовывавшие ее внушительных размеров ягодицы. Нахлеставшись виски, она, в сопровождении маленького «барона» Молле, экс-секретаря и незаменимого помощника Аполлинера, нетвердой походкой отправлялась вещать на Америку, а мой швейцарский друг Жан-Пьер Порре как раз возвращался с международной станции «Пари-Мондьяль».

Кстати, довольно странным мне кажется назначение Жана Жироду на пост государственного секретаря по делам информации в то время, когда Франция вступила в войну. Прелестный поэт, блистательный автор «Зигфрида» безусловно знал Германию хорошо, но разве мог он тягаться со зловещим хромоногим Геббельсом? Помню, в одном из своих выступлений он повел речь об «ангеле смерти (или тишины), распростершим крылья над обеими враждующими сторонами...» Что верно, то верно, но воинственный пыл такой образ не пробудит, — а требовалось именно это. Жироду — мирный человек, а не разрушитель, его стихия — поэзия, а не агитация.

Заходили во «Флору» и люди в мундирах — студенты, перекочевавшие из университетских аудиторий в казармы. Случалось, кого-нибудь так выводили из себя нелестные замечания в адрес армии, сыпавшиеся со всех сторон, или яростные пацифистские речи, что он, казалось, вот-вот взорвется, но гнев его гас, задыхался в дымной атмосфере «Флоры», где даже дверь не хлопала — доводчик не давал. Рядом с Дорой Маар — лицо увядшее, с грубыми чертами — сидел Пикассо, невысокий, подвижный, жесткий, надбровные дуги выдаются

вперед, как у Толстого, — и отнюдь не ласково смотрел на собравшуюся публику. Мой сосед, тоже испанский художник, но родом из Кастилии, скрывавший под нелепой внешностью худющего сарацина нежное сердце, шепнул мне на ухо: «Каждая эпоха имеет тех гениев, которых заслуживает; наша получила жестокого изверга Пикассо. Мир — гигантская головоломка, разобранная страхом на фрагменты. Пикассо сумел показать разобщенность мира, дегуманизацию общества и теперь наслаждается, издеваясь над теми, кого сумел одурачить».

Заходили порой во «Флору» и люди из другого мира. Но так редко, что о них можно было бы не упоминать, если б не трагический конец, связавший их навсегда с событиями того времени. А ведь ничто как будто не предвещало ни одному из троих безвременной кончины. Серж Набоков, брат писателя, слегка заикавшийся, немного смешной, не лишенный очарования, душевной тонкости и, насколько я могла заметить, сердечности, убежденный дилетант как в музыке, так и в поэзии, взмахом унизанной перстнями руки отметал любые осложнения, которые могли принести политика и война. Между тем именно война приговорила его к ужасной смерти. Он будет казнен в Берлине за то, что произнесет вслух слова о близком разгроме Гитлера... Соня Мозес, цветущая девушка, тоже пыталась игнорировать происходившее и даже не замечать трагедию своих соплеменников. Она жила своей жизнью, убежденная в том, что безразличие защищает ее, как щит. Ей суждено было погибнуть в газовой камере нацистского лагеря — без сомнения, по доносу. Третьего звали Жан-Пьер Дюбуа. Это был бельгиец, по профессии ювелир, один из приверженцев «Флоры», отвоеванных ею у буржуазии. Синие глаза, синий костюм, синяя рубашка, синие носки. Иногда он печатал дома сценарии фильмов. Едва объявили войну, соседям по лестничной площадке стал вдруг казаться подозрительным его синий ореол. И они сообщили в полицию, что он, якобы, передает противнику шифрованную информацию. К счастью, властям не понадобилось много времени, чтобы разобраться, в чем тут дело, и он вернулся к прежней богемной жизни. Лично мне этот синий Жан-Пьер казался мягкотелым — лишь позже мы узнали, что в 1944-м он и его восемнадцатилетний сын были расстреляны в Марселе как агенты союзников. Три судьбы, три смерти, и лишь одна из них связана с сознательным выбором.

Брюссель — Париж, Париж — Брюссель, смена впечатлений, обрывки разговоров. На приеме у Эмиля Вандервельде и его жены Жанны, тюремного врача, в их резиденции на улице Лалуа я лишний раз убедилась, что многим нейтралитет Бельгии казался неустойчивым. Кто-то спросил старого министра, подготовлена ли эвакуация мирного населения, если возникнет такая необходимость, и он ответил: «Мы уже опоздали, эвакуацию надо бы начинать прямо сейчас».

У Святослава потихоньку стали продвигаться дела. Он не был одинок в своих усилиях — таких не подлежащих мобилизации бельгийцев оказалось немало. Так что в конце концов специально для добровольцев создали противовоздушную территориальную гвардию, ПТГ, состоявшую из нескольких батарей. Святослав очутился в казармах в Эттербеке, где и познакомился с друзьями-ополченцами из первой бригады ПТГ.

Их было пятьдесят восемь человек самых разных профессий: ювелир, астроном, два адвоката, депутат, несколько инженеров. Бедный сержант, приставленный к необычным новобранцам для обучения, не успевал приходить в себя от удивления. Например, изложив довольно подробно принцип действия телеметра, он спросил, может ли кто-нибудь хотя бы в самых общих чертах повторить его объяснение. И астроном тут же прочел блестящую лекцию по оптике, да так, что у сержанта челюсть отвисла. Зато разобрать и собрать пулемет этот лектор так никогда и не сумел.

Правда, Святослав уже имел военную подготовку: он до семнадцати лет учился в Донском кадетском корпусе, созданном после гражданской войны на территории Югославии, получив по его окончании степени бакалавра и магистра. Гвардейцам ПТГ выдали лишь часть обмундирования: каску, френч, полицейский картуз, — так что сверху до пояса они выглядели военными, а остальная одежда оставалась гражданской. И когда 18 мая все пятьдесят восемь новобранцев собрались в казарме, на них были вполне штатские белые рубашки, пестрые галстуки, обычные туфли и брюки. В казарму они являлись для инструктажа только по воскресеньям, в остальные дни жили дома, занимаясь каждый своим делом.

Париж тем временем продолжал беззаботное существование. Враг с места не двигался, и союзники не думали наступать.

Однажды я отправилась с находившимся в увольнении Андре Маршаном, выглядевшим в своей форме на удивление цивильно (хотя самое странное впечатление в этом отношении производил несомненно Мане Кац: худенький, он буквально болтался в обмундировании, а седые волосы в беспорядке выбивались из-под форменной фуражки), в Монруж, в студию Франсиса Грюбера. До этого мне не приходилось видеть живопись Грюбера, и я была просто потрясена его картинами: темные краски, ломаные линии, что вполне соответствовало внешнему облику художника, хотя по натуре он оказался скорее жизнелюбцем. Работы его были безусловно талантливы, но избави Бог иметь их дома.

Втроем мы пошли в бистро матушки Мишель на улице Лежьён-Этранжер, там собирались и другие наши знакомые. Вот где сразу чувствуешь аромат местной кухни. Сама матушка Мишель ни винцом, ни кальвадосом не гнушалась. Она — человек настроения, фиксированные цены не для нее. Пришел — положись на хозяйку; и блюда она предложит, и бутылки выставит на стол по своему выбору: полное ощущение, что попал на средневековую трапезу. А подойдет время рассчитываться, матушка Мишель объявит: «Сегодня столько-то с носа». Ни качество, ни количество съеденного или выпитого при этом не важно, она действует по наитию. То пять франков, а то пятнадцать, порой дорого, другой раз до смешного дешево, словом — лотерея, да и только. Атмосфера быстро нагревается, между столиками проскакивают искры симпатии, беседа вскоре становится общей, хоть и несколько бессвязной. К нам подсаживается, чтобы выпить последнюю чашку кофе, очаровательный молодой человек, ярко выраженный еврей. Он служит в Музее человека. В 1945 году мы вот так же встретимся с ним в кафе, и он покажет мне номер на руке — след нацистского лагеря.

Другой день, другая обстановка. Мы в квартире Хетти Уайборг на набережной Конти, празднуем вручение ей ордена Почетного легиона. Как многие американки, она — горячая патриотка Франции. Столы и женские шляпки, все в цветах. Сплошные мундиры и галуны: активисты из американских колледжей привезли во Францию подарок квакеров — санитарные машины. Один из них, не успев поцеловать виновницу торжества, утомленный бесконечными приемами и вниманием светских вакханок, вздыхает: «Господи, скорей бы это кончилось». Вокруг сплетничают, обсуждают стол, театральные премьеры, новости из госпиталей, балеты. Война словно остановилась и, кажется, так и не возобновится.

Приятель привел меня к Юки Десносу. Он — прямая противоположность тем, кто собирается на набережной Конти. Десноса призвали в армию. В квартире — настоящий кавардак. За столом (грязные тарелки, полные окурков пепельницы, опустошаемые бутылки то и дело сменяются полными) самая пестрая компания: немецкие евреи, русские эмигранты, настоящая замызганная маркиза и псевдомиллиардер из Южной Америки, возвратившаяся из турне танцовщица и, разумеется, французы — художники, поэты, актеры. Комната в густом дыму. Хозяйка дома жизнерадостно требует песен; кто-то поднимается, затягивает «Король Рено пошел на войну», и беззаботность тут же улетучивается. Пронзительные слова печальной народной песни ничуть не устарели.

Король Рено с войны идет,
В руках кишки свои несет...

Облетают листки календаря, месяц бежит за месяцем. 2 мая 1940 года я снова приехала в Париж. Терпеливо ждала в гостинице Международного клуба журналистов разрешения военного командования на посещение охраняемого пригородного района, то бишь Эрменонвиля, того самого места, где грезил Жан-Жак Руссо и где стояла теперь рота камуфляжа. Министерство культуры собрало тут мобилизованных в армию молодых художников, музыкантов, актеров. Здесь были Андре Маршан, Жан-Луи Барро, Тэл Коут, Ролан Удо, Леге, Брианшон...

Пора было уезжать, а разрешение все не приходило. Подчиняться правилам я люблю не больше, чем мои друзья французы. И вот 9 мая, положившись на свою удачу, я отправилась в Эрменонвиль с водкой и кое-какой типично русской закуской в саквояже.

Доехала без происшествий. Хозяин маленькой, утопающей в сирени гостиницы взял у меня саквояж, интересуясь на ходу, «не собираюсь ли я писать книгу о Жан-Жаке Руссо? Некоторые приезжают сюда специально за этим». По вечерам я сижу в большой столовой — других постояльцев нет, единственная женщина среди солдат-артистов. Еда тут по-прежнему отменная, водка сменяет вино. Все прекрасно в лучшем из миров. Война так добродушна, что, если кто из моих сотрапезников и почувствует себя неловко, невольно оказавшись в «теплом местечке», — то досада его мигом развеется. Спокойно везде — что на востоке, что в Эрменонвиле. Ребята блещут остроумием, мы смеемся. Кто-то достает из кармана окарину, от ее звуков веет чем-то древним.

«До чего же эти французы жизнелюбивы, — подумала я тогда. — До чего способны они к налаженному, разумному, продуманному благополучию, столь уместному в этом краю. Сами небеса послали им плодородные земли, омываемые морями, орошаемые реками и речушками, на которых человек и природа могут существовать в гармонии. Едешь, и через каждые пятьдесят километров пейзаж меняется, глазам открываются то равнины, то горы, то леса, то виноградники, то пляжи, то поля, и повсюду — следы деятельности человека. Сама земля будто очеловечилась, отказавшись от всяких крайностей. Что же тут удивляться, ведь именно эта страна столько лет верховодила в Европе, покоряя не только силой оружия, но и своим образом жизни, утверждая перед всем миром свой авторитет, свою мощь, свой гений, свою страсть к удовольствиям».

Я вышла из другого мира, — трагичного, не ведающего беззаботности, и мне было совестно разделять их радость.

Ранним утром мы с Андре Маршаном вышли прогуляться в лес возле Эрменонвиля. Никогда еще весна не была столь прекрасной, полной надежд. На опушке, правда, валялись выкорчеванные снарядами деревья, словно гигантские вырванные зубы, зато в глубине все было бело от ландышей. Сквозь красные стволы и зеленую листву мы видели скачущую на пегой лошади амазонку. Но надо же было нам наткнуться на труп косули! Из проеденного червями бока сочилась зеленоватая жижа; туша вздулась, раскорячилась — прямо иллюстрация бодлеровской падали, — туча зеленых мух кружилась над ней; и все мигом исчезло: весна, счастье, веселье.

Хозяйка, похоже, уже дожидалась нас. Она издали что-то кричала, отчаянно размахивая руками. «Бельгию и Нидерланды оккупировали немцы! Бомбили Аррас, Камбре, Лаон!»

Я кинулась в свою комнату, побросала в чемодан вещи. В голове было лишь одно: увижу ли я еще Святослава?

Не скажу, что я суеверна, но и не настолько рациональна, чтобы не верить в приметы. Отчаяние мое улеглось, как только в распахнутое окно влетела ласточка — вестница надежды. Она покружила по комнате и выпорхнула в тот самый миг, когда я открыла дверь, чтобы спуститься вниз. Пролог был сыгран, увертюра окончена; и когда я, переодетая провинциальной кузиной хозяина гостиницы, садилась в пригородный поезд, чтобы нелегально добраться в Париж, действие трагедии уже развивалось полным ходом.

ПОРАЖЕНИЕ

Не прошло и суток, а Париж переменился. Его охватила не то чтобы паника, но тревожное ожидание. Я побежала к поэту Тео Леже и встретилась там с двумя взволнованными бельгийцами, кинематографистом Ковеном и Леоном Кошницким. Марсель-Анри Жаспар только что назначил их атташе министерства здравоохранения, и они, вместе с господином Салькеном-Массе и еще одним врачом, должны были заниматься бельгийскими беженцами. Ожидалось не менее восьмисот тысяч человек. Мы пошли в бистро, и за обедом я спросила, нельзя ли как-нибудь отправить меня в Бельгию, с любым заданием или в санитарном отряде, на что Кошницкий ответил фразой, немало повеселившей бы меня в других обстоятельствах: «С такой-то фамилией? Не советую». Они отговаривали меня ехать в Брюссель. Марсель-Анри Жаспар в телефонном разговоре с ними выразился недвусмысленно: «Бельгии конец». Они чувствовали себя несколько неловко оттого, что попали в Париж среди первых. Но что еще удивительнее, бельгийцы — инстинкт ими руководил, что ли? — прибыли как раз накануне агрессии.

Я пыталась найти возможность доехать на машине до Дюнкерка, чтобы оттуда переправиться в Брюссель. Побежала на улицу Агессо, в бельгийское посольство — трагические события нарушили его привычный покой. На меня посмотрели, как на сумасшедшую: «Ни о каком Брюсселе речи не может быть, что вы, в самом деле?» Я кинулась на Северный вокзал. Здесь была уже добрая сотня призывного возраста бельгийцев, проживавших во Франции. Они наседали на штабного офицера с ярко-красной повязкой на рукаве. А тот призывал их расходиться по домам. «В первую очередь будут отправляться уже сформированные части, французские и английские». «Ну вот, я теперь без работы, — говорил один. — Что же, я, значит, зря ее бросил?» «Французские части, английские — это, конечно, замечательно, — подхватывал другой, с заметным деревенским акцентом. — Нам надо прежде всего сражаться за Бельгию». Мне хотелось просто расцеловать этих замечательных людей. «Ну, ну, — уговаривал их офицер, — не шумите мне тут!»

Пришлось вернуться в Сен-Жермен-де-Пре. Кафе переполнены, лица грустные. Мы с Сержем Набоковым устроились на террасе кафе «Дё Маго». Сегодня уже поздно, а завтра я все равно уеду. И вот 12 мая Серж, выглядевший флегматиком на фоне общего оживления, проводил меня на вокзал. Я прошла прямо к кассе и спросила билет до Брюсселя. В суматохе забыли дать точные распоряжения на железной

дороге, поезда ходили по-прежнему расписанию, хотя и с большими опозданиями. Тот билет со знаменательной датой — 12 мая 1940 года — я храню до сих пор. До отправления оставался еще час. В вокзальном кафе сидела старушка: она дожидалась внуков, выехавших накануне из Брюсселя. Когда я направлялась к поезду, из него выплеснулась на платформу волна бельгийских беженцев. Я попробовала хоть что-то узнать у подавленных людей. «Да, Брюссель бомбили!» Мне вдруг показалось, что я шагаю навстречу смерти. Образумил меня Серж, высказавшись в своей обычной отточенной манере: «Боишься — оставайся, а едешь — так не трусь». Я отдала ему письма матери — она уже больше года жила в Розей-ан-Бри, и письма кое-кому из друзей, на случай, если не вернусь.

В моем купе оказались еще двое: фламандец, профессор университета в Генте, он даже был одно время его ректором, приехавший только что из Италии, и француз, слепой студент факультета философии в Сорбонне, последователь Жака Маритена, живший в двух для него равно не видимых мирах: божественном и повседневном. Он выходил в Сен-Кантене. Профессор был озабочен вещами вполне земными, материальными: своим домом, своей библиотекой, своими рукописями. «Еду, чтобы самому подготовить все на случай оккупации», — сказал он мне.

В вагоне-ресторане было три женщины вместе со мной, четверо летчиков, несколько французских офицеров; а в основном ехали командированные, по большей части голландцы. Стемнело, окна занавесили, свет прикрыли синим абажуром.

Вот и граница. Пришлось выйти из поезда. Мы побрели через пути, спотыкаясь в темноте, с чемоданами в руках. Паспортный контроль, таможня, декларирование ценностей — все это было словно из какой-то другой жизни и ужасно раздражало. Не менее нас раздраженный таможенник пожаловался: «А мне каково: уже тридцать два часа эти упреки выслушиваю». Да, административная машина неповоротлива, тяжело приспосабливается к новым обстоятельствам. Наконец часа через два мы вернулись в поезд. Я познакомилась с бельгийским журналистом Стефаном Кордье. Он возвращался из Лондона через Париж, чтобы вступить в армию. Поезд тронулся, а в час ночи снова остановился. Вокруг были поля — это Монс. Навстречу шли составы, битком набитые детьми и подростками: «Вы откуда?» — «Из Динана, нас бомбили!» Они довольны, улыбаются, жуют огромные бутерброды... Потом прошел состав с ранеными; видно было, как они стоят, сидят, лежат на скамейках в вагонах третьего класса. Какой-то солдат сказал нам, что их поезд тащился от Брюсселя до Монса целых шесть часов. «Ну и как там?» — «Там-то? Да ничего, настроение бодрое, наша возьмет!» И снова нас окутала ночь, слишком нежная для таких обстоятельств. Мы были в пути уже десять часов. В пять утра поезд прибыл на новый Южный вокзал, наполовину превращенный в стройплощадку. Весна окутала Брюссель розовой дымкой, и его охватил чуть ощутимый трепет обновления. Бульвары были спокойны, но не пустынны. Цепочка хмурых мужчин и женщин со скатанными одеялами процессией изгнанников тянулась к вокзалу. Вдруг завыли сирены, я невольно подняла голову, когда по-

слышался гул невидимых самолетов. Забухали зенитки, то рядом, то далеко, пронзительно сигналя, промчался грузовик противохимической защиты. Кто-то спросил у стоявших на посту возле вокзала солдат: «А убежища тут есть?» Ребята оказались фламандцами, так что их пришлось несколько раз переспрашивать, пока они поняли: «Нет, никаких убежищ нет».

Так под звуки приближавшейся канонады я и дошла до авеню Луиз. Дом словно опустел: я звонила, стучала, кричала. Наконец распахнулась дверь, и на пороге показалась хозяйка — англичанка с утомленным лицом. В квартире царил беспорядок — Святослав собирался в спешке; на столе лежало письмо, муж будто был уверен, что я приеду.

Два месяца назад, уже не сомневаясь в том, что война не минует Бельгию, мы отказались от квартиры на улице Сен-Жорж и сняли эту крохотную меблирашку. Книги и картины я перевезла в особняк одной своей очень богатой подруги. Как выяснилось позже, я напрасно обратила ее внимание на небольшую картину с изображением молодой римлянки, чей лоб был стянут повязкой с драгоценными камнями, — эксперты предполагали, что картина принадлежит кисти Коро... После войны подруга вернула нам все, но «ни о каком Коро, — сказала, — не помнит». Тогда же все эти мирные заботы отошли на второй план, у меня были дела поважнее.

Святослав

10 мая на рассвете Святослава разбудил странный грохот; он выглянул в окно и понял, что война на пороге. Быстро оделся, черкнул ту самую записку, что мы, мол, с ним, возможно, больше не увидимся на этом свете, сел в машину и поехал к себе на завод в Вильворд. Несмотря на ранний час, там уже собрались все инженеры. Он предупредил дирекцию, что отправляется в часть, и, насколько можно было, привел в порядок документацию своего отдела. Потом сходил в город и купил — поскольку от формы у него были только мундир и каска — охотничьи сапоги со шнуровкой, замечательно смотревшиеся с его охотничьими штанами. В таком странном обмундировании он и явился в казарму в Эттербеке, откуда его направили во двор женского монастыря, находившегося по соседству. Все его пятьдесят семь собратьев по оружию, добровольцев, были налицо — он оказался последним. Но хоть бы один офицер появился, чтобы дать команду. В десять часов монахини напоили их кофе и повесили каждому медальончик с изображением Святой Девы Марии. Они стали ждать и прождали так весь день без обеда. Наконец в восемь вечера в монастырь вошел молодой, но уже искушенный лейтенант и объявил, что ему поручено возглавить батарею, хотя он понятия не имеет, годны ли такие вояки на что-нибудь. В его распоряжении оказалось два шестидесятимиллиметровых зенитных орудия «Боффор», но ни тягача, ни машины для личного состава не имелось. Офицера стали утешать: каждый, мол, все равно на своей машине, и уж что-что, а «Бофферы» любой доброволец знает. К тому же все при ружьях, а некоторые даже с собственными револьверами. Виттман, Кревкер и мой

муж посоветовали реквизировать первые попавшиеся грузовики; лейтенанту эта идея очень приглянулась. А тут как раз на дороге показались, на свою беду, две машины с пивом; водители попробовали, конечно, протестовать, но сила была на стороне оружия.

К часу сорока пяти утра вышеуказанные ополченцы представляли собой уже полностью готовую к боевым действиям батарею, а лейтенант успел даже получить задание. Из Брюсселя батарея должна была направиться в Вельтем, чтобы оборонять там центр радиосвязи. Место это расположено совсем близко от Лувена. Орудия прицепили к грузовикам, а в кузов сложили ящики со снарядами. Сами же воины следовали в личных автомобилях, в том числе лейтенант, сидевший вместе с моим мужем в машине Виттмана.

С зажженными фарами — война все еще казалась далекой — они поблуждали немного по дорогам, прежде чем попасть на нужную, однако к двум часам утра установили-таки орудия на холме, в четыре вступили в бой, а в четыре сорок пять — о чудо! — астроном сбил первый вражеский самолет. Судя по всему, вражеская авиация не считала нужным связываться с какой-то там батареей, зато на самих зенитчиков-новобранцев адский грохот «Боффоров», учитывая, что они слышали его впервые, произвел сильное впечатление. Но тут отряд, у которого вот уже сутки не было маковой росинки во рту, возроптал; у командира отсутствовали основные боеприпасы — деньги, поэтому волей-неволей ему пришлось согласиться, чтобы солдаты отправились искать пропитание на свои кровные. В десять часов прикатил в сверкающем «мерседесе» генерал, разнес в пух и прах всех добровольцев, этих «трусов и бездельников», а когда лейтенант попросил его дать распоряжение интендантской службе поставить батарею на довольствие, еще сильнее разгневался и умчался в обратном направлении.

В Вельтеме батарея стояла три дня, а когда англичане стали отступать, причем явно на не подготовленные заранее позиции, кто-то надоумил лейтенанта, что лучше следовать за всеми, так что 12 мая батарея перебазировалась в Опвик. В тот час, когда я вышла из поезда в Брюсселе, она как раз пересекала столицу, следуя к месту назначения.

Возможно, я поступила глупо, но такова традиция — на протяжении веков русских и, думаю, поляков тоже, обязательно благословляли перед битвой те, кому они были дороги. Вот почему, хоть это и покажется наивным воспитанным в западной культуре, я так старалась отыскать Святослава, полагая, что его батарея, скорее всего, будет оборонять столицу. Я объезжала, а это было нелегко, все возможные места дислокации в Лаэкене, Вильворде, даже не подумав о том, что в обстановке отчасти обоснованной шпиономании меня могли расстрелять на месте. Принимали меня отнюдь не радушно, странное мое удостоверение изучали с большим тщанием: ни фамилии — Шаховская, Малевский, ни место рождения — Москва, никак не связывались для проверявших с привычным миром. Хотя, с другой стороны, будь я шпионкой, зачем мне такие сложности, — на том и успокаивались. Я ехала дальше, те-

перь в сторону Ватерлоо: говорили, что там расположен военный аэродром. Трамвай до конечного пункта не шел, пришлось идти пешком. Справа и слева — по краю поля, на опушке леса — лежали в нескольких метрах один от другого английские солдаты: они растянулись на молодой травке, ружья положили рядом с собой — мирно, как на маневрах. В Род-Сен-Женезе жила жена одного из однополчан Святослава. Я отыскала ее дом. Муж велел ей уезжать во Францию; чемоданы уже были собраны, она отправлялась сразу после обеда, на который пригласила и меня. Пушка бухала, не переставая, очевидно, совсем недалеко, потому что при каждом выстреле люстра над столом покачивалась. Но дочке хозяйки совсем не было страшно: умница мама объяснила ей, что это такая игра. Поскольку батарея, как выяснилось, из Брюсселя уже ушла, я подумала, что и мне, наверное, лучше теперь вернуться в Париж. «К сожалению, я не могу захватить вас, — сказала молодая женщина. — Увы, моя машина переполнена».

Ужинала я в тот день, 13 мая, возле Порт де Намюр в кафе «Орлож» с Жаном Ноэлем, одним из начальников моего мужа. Семью он уже отправил во Францию. Он был француз и смотрел на жизнь оптимистично. «Это ненадолго, — уверял он. — Брюссель никогда не сдадут». Едва мы вышли, раздались выстрелы; стреляли жандармы, а откуда-то с крыши дома на углу улицы Шан-де-Марс и бульвара, прячась за трубами, им отвечали два человека в штатском. В одного из них попали, и он свалился метрах в двадцати от меня, как кукла со сломанными шарнирами. Мертвого окружили зеваки, но другой продолжал отстреливаться. Он задел толстую торговку газетами, она завопила, и ротозеи быстро разбежались. Вот так я впервые столкнулась с пятой колонной, и утверждения Жана Ноэля сразу потеряли для меня убедительность.

Обычно, если я сомневаюсь, как поступить, то полагаюсь на свою интуицию. Бог весть почему, но я чувствовала, что оставаться в Брюсселе для меня опасно. В чем заключалась опасность? Тогда я ответить не могла и узнала лишь по возвращении в 1945-м. Надо было ехать обратно во Францию. Как? Денег не осталось совсем. Банки позакрывались, друзей не найти. Видно, ангел-хранитель позаботился, иначе как бы я встретила отца Тео Леже, моего друга? Мне даже не пришлось ему звонить, он уже стоял прямо передо мной на тротуаре, на моем пути. Я объяснила, в какую попала переделку, он тут же достал из бумажника две тысячи бельгийских франков и, извиняясь за то, что у него с собой так мало, протянул их мне. Я расцеловала его, хотя не представляла себе, каким образом даже с деньгами добраться до Парижа. Интересно, узнал ли он когда-нибудь, что спас мне жизнь?

Тем же вечером я пошла к Фьеренам. Поль, главный хранитель королевских музеев, должен был оставаться в Брюсселе, чтобы защитить национальное достояние. Я хорошо понимала, что он чувствует.

14 мая с чемоданчиком, в котором лежала смена белья, одно платье, икона и бутылка арманьяка, купленная в Париже и предназначавшаяся Святославу, — к счастью, я привыкла оставлять без сожалений вещи, одежду, шубы, серебро, рукописи, все, что мешает нам совершать по-

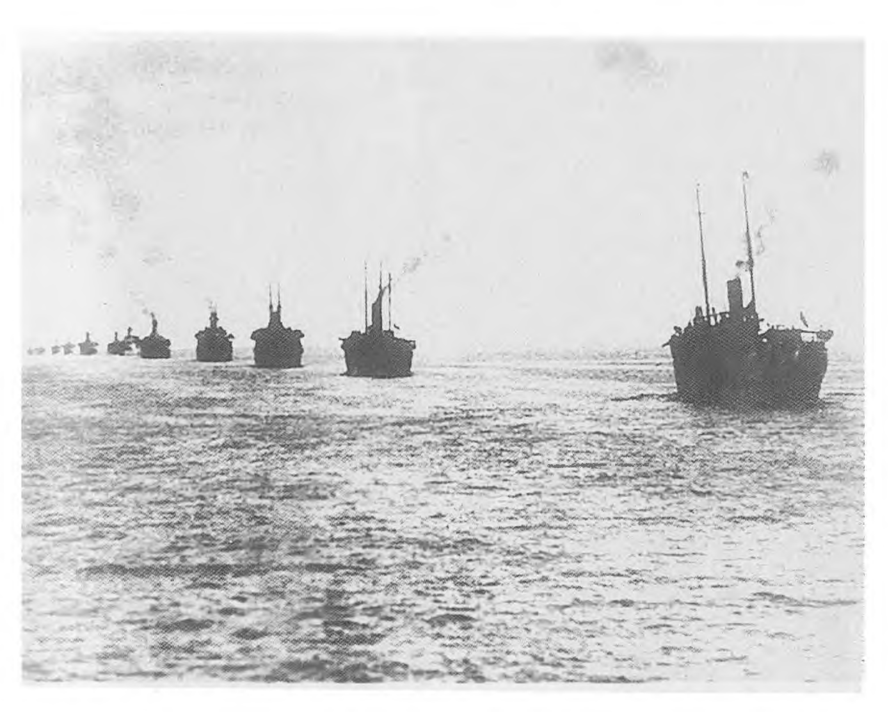
ступки, — я шагала к Южному вокзалу. Поезда были переполнены, но мне в конце концов удалось втиснуться среди других пассажиров, и мы стали ждать отправления к неведомой цели. Я припоминала, что Лапанн в прошлую войну оккупирован не был, и надеялась туда добраться, но поезд шел только до Фурна. Ну и ладно, хоть до Фурна. Тронулись. Эшелон за эшелоном уходили в сторону предполагаемого фронта. Не пройдет и трех дней, как фронт будет со всех сторон.

Люди в вагоне нисколько не стыдились своей мелочности. Нет, речь шла не о войне или истории, не о судьбе Бельгии или ее защитников, — тупоголовых, непробиваемых пассажиров занимали вещи куда более важные: «А ты хорошо разровнял землю, когда серебро-то зарывал?»; «Слушай, ты не забыл поменять наклейки на марочных бутылках?»; «Надо же, чуть-чуть не успели получить по займу. Обидно, черт побери!» Но самое ценное было, естественно, у каждого при себе: его, как дорогое дитя, прижимали к груди. На фоне всеобщего хныканья особенно бросалось в глаза мужество железнодорожников. С 10 мая они, как и их французские коллеги, работали не покладая рук, в поте лица и в грязи, с воспаленными от бессонницы глазами, падая от усталости; они не спрашивали, будут ли им платить сверхурочные, — просто трудились и все, обеспечивая беженцам дорогу в безопасность.

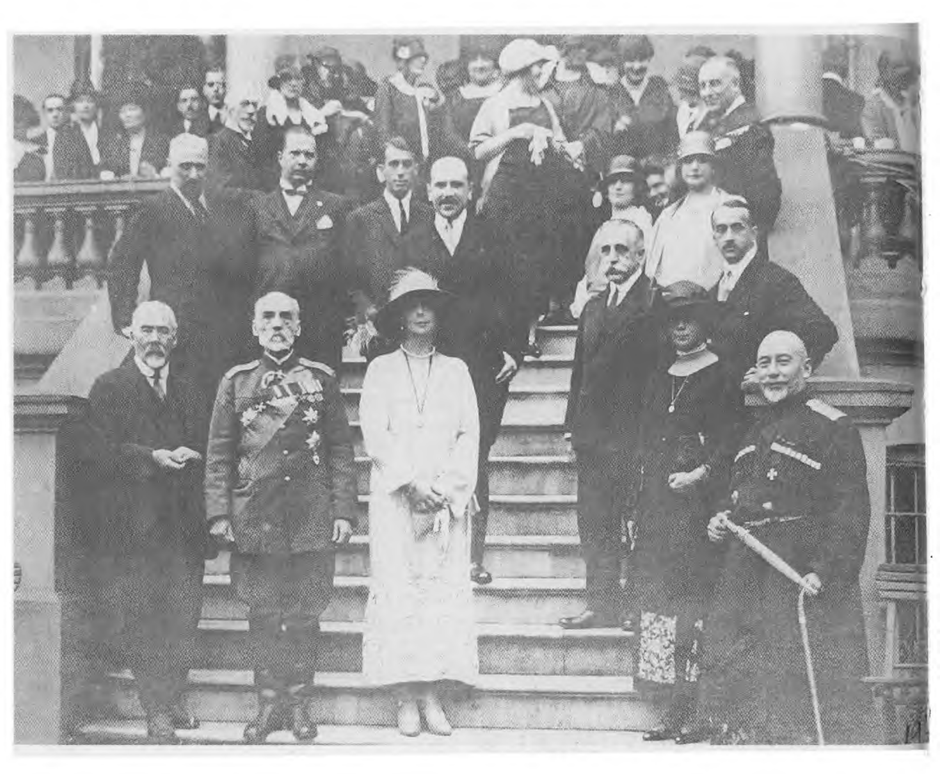
В Фурне, куда вагоны пришли уже полупустыми, я пересела в другой поезд — до Адинкерке, на французской границе.

Было уже поздно, все закрылось. Несколько удрученных солдат сидели на главной улице, привалившись к стене. Тут я увидела кафе — железная штора уже начала опускаться, и мне едва удалось, пригнувшись, проскочить внутрь. Хозяйка встретила меня неприветливо: «Убирайтесь, без вас полно». И верно. Дышать было нечем, толпа военных и штатских сгрудилась возле прилавка в ожидании пива. Какой там кофе! На лавках и стульях дремали постояльцы дома престарелых, сопровождаемые несколькими сестрами из монастыря Сен-Венсан-де-Поль, и несколько женщин с детьми на руках; на полу на каком-то тряпье тоже спали ребятишки. Я едва нашла место, чтобы поставить чемодан. Растрепанная хозяйка с потным, красным лицом завопила: «Да делайте вы, что хотите, сил моих больше нет!» — и, бросив прилавок на произвол судьбы, удалилась по узенькой лестнице к себе в комнату. Кто-то из мужчин занял ее место, но оказалось, что и бутылки, и бочонок уже опустели. Среди присутствующих было несколько офицеров, бросивших или в суматохе потерявших свои части. Один из них уступил мне стул. Я села. Заснуть все равно невозможно, и я предложила: «Может, сыграем в бридж?» У одного из офицеров нашлись карты, освободили стол. Без сомнения, это была самая необыкновенная в моей жизни партия в бридж. На рассвете под плач детей и храп стариков распахнули двери и окна. Какой-то инвалид очнулся в своей коляске и закричал: «Шпионы! Шпионы!»

Я вышла во двор умыться. Улицы были забиты неподвижными автомобилями. А когда я вернулась, трое моих партнеров по игре рылись в моем чемодане. То ли я показалась им слишком хладнокровной, то ли — кто знает? — они просто искали деньги, чтобы облегчить себе возвращение к гражданской жизни. Такая низость возмутила меня. Если

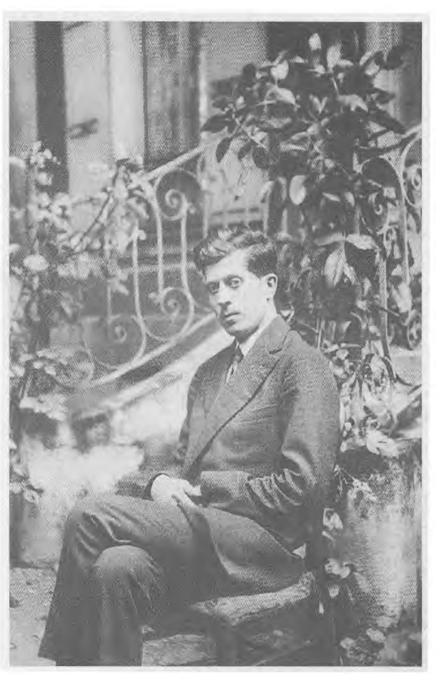


Эвакуация белых войск из Крыма. *Ноябрь 1920-го*



Княжна З.А. Шаховская на открытии Русского дома в Лондоне. *1924.*
Пояснение к фотографии З.А. Шаховской: *«Не знаю точно, когда в Лондоне было передано русское посольство Временного правительства советскому послу. 1923–1924 г.? Мне было тогда 17 лет, и я присутствовала при открытии Русского дома, созданного русскими белыми в Англии. Возглавил его бывший посол Временного правительства Саблин. На фотографии слева направо: 1. Неизвестный 2. Великая кн. Елена Владимировна — за ней Саблин 4. Великая кн. Ксения Александровна, рядом с ней 5. Генерал Гальфер 6. Налево от нее генерал Баратов (в черкеске) — глава всех военных инвалидов Зарубежья 7. Кн. Владимир Голицын (над вел. кн.). Второй ряд: 1. Неизвестн<ый> 2. Граф Владимир Клейнмихель 3. Вадим Нарышкин 4. Е.В. Саблин 5. Жена Саблина 6. Наверху в белой шляпе и шарфе 17-летняя З. Шаховская 7. Рядом с ней в черном — Варвара Петровна Волкова (рожд. графиня Гейзен) 8. Среди присутствующих графиня Торби — правнучка А.С. Пушкина, морганатическим браком за вел. кн. Михаилом Михайловичем. На фотографии также их дочь Анастасия (Зия)»*

Кн. Анна Леонидовна Шаховская.
Брюссель, 1926. Из семейного архива



Кн. Дмитрий Михайлович Шаховской,
двоюродный брат Зинаиды Алексеевны.
Аньер (Франция), 1930-е.
Из семейного архива

Святослав Святославович Малевский-Малевич. *1930-е.*
Из семейного архива

Париж 1930-х годов

З.А. Шаховская. *Париж, 1936.* На обороте рукой З.А. Шаховской написано по-французски: «*Моему другу Борису Тарасову. Я — в тридцатые годы в Париже. Я готовлюсь покорить частичку Франции — это произошло лишь в 1949 г., когда вышел в свет L'Europe et Valérius (под псевдонимом Жак Круазе). Меня многому научила война. Париж, май 1995. Зинаида Шаховская*».
Предоставлено Б.Н. Тарасовым

Алексей Ремизов и Серафима Довгелло. *Париж, конец 1930-х*

Тэффи. *Париж, начало 1930-х. Фотография П.И. Шумова*

Владимир Набоков. *1930-е*

Владислав Ходасевич. *Париж, 1931. Фотография П.И. Шумова*

Георгий Адамович. *Начало 1940-х*

Георгий Иванов. *Начало 1930-х*

Владимир Варшавский и Довид Кнут. *Париж, 1934. Предоставлено Т.Г. Варшавской*

Лев Гомолицкий. *1935*

Борис Поплавский (в первом ряду справа) в кругу русских парижан
Николая Рейзини, Александра Гингера и др. *1934*

Владимир Ильин.
Париж, 1930-е

Константин Чхеидзе.
1942

Марина Цветаева с сыном Георгием. *Париж, начало 1930-х*

Марина Цветаева, Сергей Эфрон и их сын Георгий. *Париж, первая половина 1930-х*

Предвоенный Париж.
Маскировка электрических фонарей на площади Конкорд

Кн. Вера Оболенская.
Париж, конец 1930-х

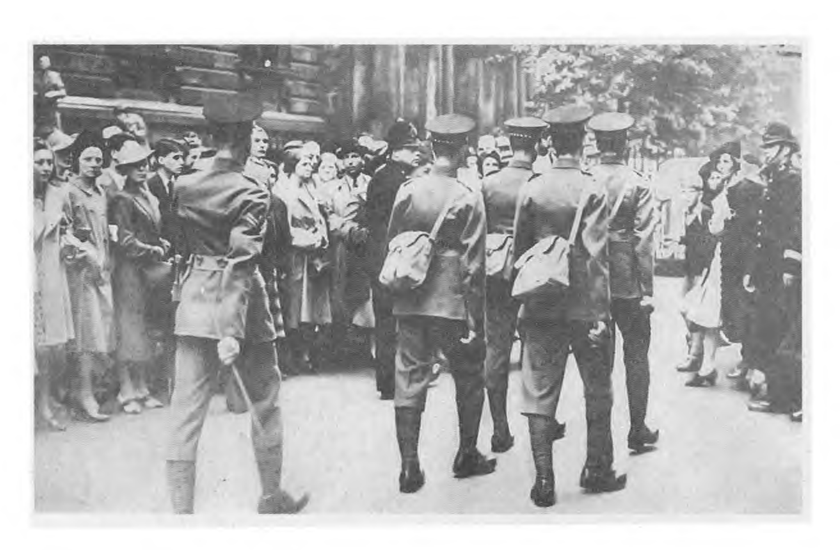
Борис Вильде.
Париж, конец 1930-х

Иван Бунин.
Париж, осень 1945

Вячеслав Иванов. *Рим, 1940-е*

Кн. Анна Леонидовна Шаховская.
Париж, 1940. Из семейного архива

Наталия Алексеевна Набокова
(урожд. княжна Шаховская)
с сыном Иваном и Джордж Баланшин.
Коннектикут (США), 1940.
Из семейного архива

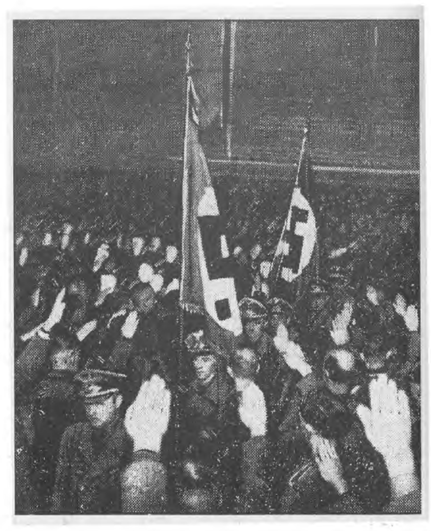


Предвоенный Лондон. Резервисты на улицах города

Дюнкерк, 28 мая 1940 г. *Рисунок С.С. Малевского-Малевича*

Мало-ле-Бан, 29 мая 1940 г. *Рисунок С.С. Малевского-Малевича*

З.А. Малевская-Малевич
(урожд. княжна Шаховская).
Последний день в оккупированном Париже



Прибытие знамен в Париж, во дворец Шайо
в день празднования 10-й годовщины прихода
к власти национал-социалистов.
Фотография из газеты «Ле Монтэ»
(Париж). 1 февраля 1943

Святослав Малевский-Малевич. *1942.*
Из семейного архива

Лондон под обстрелом. *1943*

Нюрнбергский процесс. Скамья подсудимых

Нюрнбергский процесс. Главные обвинители от советской стороны (Ю.В. Покровский, Л.Р. Шейнин, Р.А. Руденко и др.) и корреспонденты

уж я вызвала у них подозрение, почему не попросить прямо, чтобы я показала свои вещи? Я высказала им все, что думала. В военное время, мол, место офицера на фронте, а не в тылу, а дезертир вообще не имеет права устраивать досмотры.

Подхватила чемодан и направилась в сторону французской границы. Я шагала мимо машин, перегруженных людьми и вещами, с матрацами на крышах. Они стояли плотно, одна за другой, и совсем не двигались. Свернув на тропинку, бегущую через поле, я коротким путем вышла к ферме.

Это была красивая фламандская ферма, добротная и чистая. На пороге меня встретил дразнящий запах хорошего кофе. На кухне, ярко сиявшей начищенной медью, четыре женщины хлопотали возле стола, за которым сидели солдаты. Одна из них объяснила мне: «Пока идет война, мы .отвечаем за ферму. Наши мужчины на фронте». Солдаты оказались интендантами: мобилизованные мясники не могли разобраться, куда им двигаться дальше со своим рогатым скотом. «Представьте, мы гоним стадо от самого Андерлехта, прямо по полям. Вот набрели на эту ферму. А казначей по дороге потерялся. Но мы не жалуемся, здесь всего вдоволь!» Огромный кофейник снимался с плиты лишь для того, чтобы наполнить живительной влагой кружки. Меня пригласили к столу — деревенский хлеб с припудренной мукой корочкой резался большими ломтями и щедро намазывался маслом. Благостная передышка в кругу простых людей, живших привычными заботами, — деревенская идиллия. Однако пора было в Дюнкерк. «Раз так, то с вами пойдет мой брат, — сказала одна из женщин. — Ему шестнадцать. А мэр наш утром говорил, что немцы будут угонять молодежь, поэтому лучше, мол, отправить, кого можно, во Францию. Он сейчас вернется». Парня звали Жефке, он был плечистый и светловолосый. Он взял мой чемодан, нам пожелали счастливого пути, и мы пошли. Погода по-прежнему стояла прекрасная. Ласточки выписывали пируэты в небе без единого облачка и — без единого самолета.

Дюнкерк. Я вступила в мирный город, поприветствовала на ходу Жана Бара, возвышавшегося, как и раньше, над площадью, носящей его имя, зашла в кафе, заказала коньяк. Узнав, что я из Брюсселя, посетители собрались вокруг меня, расспрашивали, предлагали оплатить счет. Но хозяин кафе не взял с меня денег за коньяк и бутерброд. «Не думайте, что мы станем наживаться на чужой беде, — сказал он. — Вы вынуждены были покинуть дом, и вы нам не враг». Согретая такой приязнью, я забыла об усталости. Мой капитал — те две тысячи франков, что дал мне господин Леже, — остался почти нетронутым. Являться в Париж оборванкой мне не хотелось. Я купила себе новую блузку, зашла в парикмахерскую и села на первый же поезд, идущий в Париж. Он был почти пуст, Франция пока жила спокойно; позади остался город, даже не подозревавший, что уже через двенадцать дней начнется его капитуляция, так же как неведомо было и мне, что 29 мая в этом самом городе окажется Святослав.

16 мая. Я в Париже. Естественно, заглянула во «Флору», встретила Сержа Набокова, но теперь слушать всю эту болтовню, никак не свя-

занную с войной, мне было невыносимо. Пошла снова на бульвар Мальзерб. Куда только делась чопорная обстановка тех далеких сентябрьских дней, когда я предлагала тут свои услуги? Теперь здесь царила сумятица, если не сказать паника. На этот раз никто и не думал мне отказывать. Только я появилась, как меня тут же направили в военный госпиталь в Роменвиле, причем выйти на работу я должна была на следующий день. Мне не хватало четырехсот франков, чтобы купить форменную одежду: два халата, две косынки и накидку. Деньги мне дала Полин де Панж. И вот наконец я оказалась в рядах медицинской службы французской армии. Правда, первое столкновение с этой службой немало удивило меня: я уже выходила из Красного Креста, когда там появилась группа измученных санитарок. Некоторые явно были на грани истерики. Они только что вернулись из Брюгге: «Такой ужас! Нас бомбили. Мы получили приказ эвакуироваться». — «А как же раненые?» — «Было приказано их оставить...» Меня это удивило. Я не думала, что санитарка может покинуть раненого.

И никогда не считала, что уютный ковчег искусства может служить убежищем художникам и писателям в годину невзгод, что талант, которым награждает Господь, избавляет нас от необходимости разделять опасность с прочими смертными. Когда бьет набат, долг у всех один; так что я даже с облегчением смахнула с себя интеллектуальный налет «Флоры» и явилась 17 мая 1940 года на вокзал Сен-Лазар. Здесь собралась группа медсестер, направленных, как и я, в госпиталь Роменвиля. В последнюю минуту прилетел взмыленный представитель Красного Креста и сообщил, что этот госпиталь разбомбили и нас переводят в другой, недалеко от Парижа.

Ради удобства изложения и поскольку некоторые из тех, о ком я поведу речь, живы, не стану уточнять названия госпиталя, современно оборудованного, но расположенного крайне неудачно — между мостами через Сену, заводами и железной дорогой.

Меня определили в отделение Z, предназначенное для пострадавших от газовой атаки, — как обычно, мы опоздали ровно на одну войну. За неимением таковых, к нам присылали пациентов с тяжелыми ранениями и ожогами. Иерархия образцовая: врач — капитан, старшая сестра (у меня она будет фигурировать под именем мадмуазель Корню), ее заместительница госпожа Роз — обе медсестры по гражданской профессии, мобилизованные и страшно недовольные такой переменой общественного положения, один помощник врача, один практикант (вообще-то практикантами мы звали студентов-медиков даже второго и третьего курсов) Бувье, один санитар и двое, не имеющих непосредственного отношения к отделению: супруга врача-капитана, средних лет крашеная блондинка, и капеллан, небольшого роста, сухонький, с неизменным требником в руках.

Мне, как непрофессиональной сестре, поручалась, и это было справедливо, не самая почетная работа: подать стакан воды или утку, измерить температуру, заправить постель. Я старалась, несмотря на внушения, видеть в каждом раненом не просто объект хирургического вмешательства, но и больного человека. Сострадание выматывает, но кто

сказал, что можно вылечить кого бы то ни было одними лекарствами, без сострадания, то есть без яростного желания поддержать угасающую жизнь в перестающем бороться теле.

В первый же день после прибытия меня поставили на ночное дежурство. Я осталась одна и почти физически ощущала гнет ответственности. В одно- и двухместных палатах справа и слева от длинного коридора лежали шестьдесят раненых. Тяжкую тишину нарушал то шепот, то стон, то бессвязный бред, то зов. Никто из наших подопечных не желал умирать ни за Данциг, ни за Францию. Трудно сказать, была ли подкарауливавшая их смерть бессмысленней, чем гибель моих соотечественников в автокатастрофах в мирное время или безутешная кончина безнадежно больных в раковом корпусе больницы. На мой взгляд, смерть вообще не бывает бессмысленна. Странно было сознавать, что ты здесь одна в добром здравии, на ногах, рядом с распростертыми немощными людьми. Впрочем, я была не совсем одна. К одному умирающему приехала из деревни жена. Она сидела возле его постели, перебирая четки, и слова молитвы «Отче наш» эхом отдавались в маленькой палате — голос мужа вторил ей так слабо, словно шел издалека, из самого его детства. Эта изможденная, одетая в черное крестьянка олицетворяла для меня гибнущую Францию и вместе с тем напоминала о России моего детства.

Самое страшное время — предрассветное, когда измученное тело легко сдается и перестает бороться за жизнь. Мне казалось, что даже если в этот час просто взять раненого за руку, это придаст ему жизненных сил — все равно, что утопающего вытащить на берег. В ту первую ночь я держала за руку парня откуда-то с севера, раненного в легкое, я то разговаривала с ним, то молилась, думая, что где-то в госпитале или в санчасти другая женщина, возможно, так же не спит возле раненого Святослава и так же молится за него.

Наступило утро. Пришли уборщицы, затопали по лестницам, загремели ведрами; в коридоре запахло хлоркой. А еще через час мадмуазель Корню, белоснежная, отутюженная, зайдет в палату к легочным, где я сидела, и сухо скажет: «Ваше дежурство окончено, идите», если, правда, не заметит каких-нибудь нарушений в том, например, как заправлена постель умирающего, — к обходу врача все должно быть в идеальном порядке, даже если больной в агонии.

Машины с ранеными продолжали прибывать, колокольчик звонил все чаще и чаще. Их привозили отовсюду: из Седана, часто с гноившимися ранами, из Бельгии, с берегов Уазы и Самбра, но делать выводы у нас уже просто не было времени.

Святослав

15 мая (на следующий день после моего отъезда из Брюсселя) батарея передислоцировалась в Опвик. Интенданты были, видимо, далеко, так что воевать приходилось по-прежнему на пустой желудок. Лейтенант, видя такое положение, послал гонцов в Брюссель, чтобы закупить продукты на собственные средства ополченцев. Добровольными снаб-

женцами стали Святослав и два его товарища. Он выбрал время и забежал на авеню Луиз, где его дожидалось мое письмо: так он узнал, что я собиралась вернуться во Францию.

16 числа настроение в Опвике было совсем не радостное. Вражеские самолеты сбросили неподалеку какие-то маленькие сверкающие штуки, и тут же разнесся слух о новых страшных снарядах. Здесь, во дворе фермы, где расположилась батарея, Святослав произнес фразу, ставшую ритуальной: «Лучшее, что может на нас свалиться, это приказ сняться с места». И тут же его подозвал лейтенант: «Говорят, вы отличный водитель?» Святослав, как человек бывалый, почуял подвох: «Что вы, лейтенант, самый посредственный». — «Тем хуже для вас. Возьмете этот «форд», погрузите 25 ящиков со снарядами, прицепите сзади орудие и еще посадите в кузов шесть человек». И началось отступление по незнакомым, опасным дорогам Фландрии, в полнейшей темноте, с риском столкнуться с таким же заплутавшим грузовиком. Проведя двенадцать часов за рулем, Святослав понял, что очень устал; остановился, только залез на ящики и улегся, как вдруг чувствует — кто-то щекочет его усами. И два глаза глядят в упор. Видение оказалось не галлюцинацией, а огромным кроликом, предусмотрительно захваченным одним из солдат.

Наконец грузовик с пассажирами прибыл в Эке, возле Гента. Командир послал Святослава в мэрию с заданием обеспечить телефонную связь, а главное, что-то передать его жене, оставшейся в Остенде. Ничего, однако, из этого не вышло, никто не отвечал, никто не дозвонился. Наступил вечер, а с ним тоска и ощущение, что ты один на свете. Святослав услышал, как его батарея грохочет километрах в двух от мэрии, бросил пост, сел на велосипед и присоединился к своим товарищам, вступившим в чисто символический бой. Батарея продолжала отступление: сначала в Тьельт, потом в Тюрут, очаровательный городок восточной Фландрии, где навели временный мост. Святослав устроился на какой-то ферме, как на курорте, уговорив хозяина, дававшего ему еду и кров бесплатно, все же взять немного денег. По утрам он являлся на службу свежий и отдохнувший, но вскоре идиллия кончилась. Тюрут разбомбили, а вокруг стоявшего на месте отряда стали беспорядочно передвигаться войска. Не французские, не английские, а бельгийские части без офицеров и офицеры без частей.

Когда я 28 мая спокойно вошла в столовую, чтобы позавтракать, мне было невдомек, какая меня ждет обструкция. Ночью я дежурила и не успела узнать, что Бельгия капитулировала. Сообщила мне об этом одна из медсестер, мулатка. «Вон отсюда, бельгийка паршивая! — закричала она и задвинула стул, на который я собиралась сесть. — Вы нас предали, нечего вам тут делать». Сама новость потрясла меня сильнее, чем оскорбления. «Лично я никого не предавала, я ухаживаю за французскими солдатами и никому не позволю...» — «Успокойтесь, успокойтесь!» — вмешалась старшая сестра. Шум затих, но меня явно бойкотировали. Двух сестер, Элен и Жаклин, с которыми я подружилась

с первых же дней, за завтраком не оказалось, я села между двумя пустыми стульями, и кофе показался мне горче хины. Обычно после смены, прежде чем идти отдыхать, я забегала на минутку в другие отделения, чтобы навестить раненых бельгийцев. Красавец почтальон из Льежа с ампутированной ногой плакал: «Мадмуазель, неужели мы действительно предатели? Так мне сестра сказала». — «Вы в любом случае никого не предали, и утверждать обратное могут только глупцы. Я обязательно поговорю с главным врачом».

Позже я услышала еще одну историю, касающуюся этих дней, — яркий пример того, что глупость человеческая не знает границ. Случилось это где-то в Провансе. Среди беженцев, покинувших Бельгию в мае 1940-го, оказался инвалид первой мировой войны со своей женой. Они устроились в какой-то глухой деревеньке. Но инвалид не перенес волнений и 25 мая умер. Все выражали вдове самое живое сочувствие; мэр высказал желание произнести над могилой траурную речь, учитель разучил с детьми «Брабансону», а местные жительницы сшили черно-желто-красный флаг. К несчастью, похороны пришлись на 28 мая. И все вмиг переменилось: мэр отказался от траурной повязки, крестьянки — от флага, дети забыли слова «Брабансоны», даже панихиду отслужил тайком кюре из соседней деревни, поскольку местный священник не пожелал компрометировать себя заботой о душе «предателя».

История сама дала отпор такой глупости — отпор стремительный и жестокий.

Святослав

28 мая Святослав, как обычно, прибыл со своей фермы на службу к четырем часам утра; встретил его бледный, растрепанный лейтенант: «Ну вот и все, война окончена. Король подписал капитуляцию. Через час немцы будут тут». Один из добровольцев предложил по крайней мере уничтожить орудия. «Ни в коем случае. Категорически запрещаю. За такое немцы точно расстреляют». Святослав сказал: «Я не хочу сдаваться в плен. Лейтенант, мне лучше уйти во Францию». — «Это как угодно, идите, куда хотите. Я скажу, что видел вас последний раз 28 мая в четыре утра». Никто из батареи не захотел присоединиться к Святославу — «ты с ума сошел, тебя убьют!» — и он отправился один обходными тропами, полагая, что немцы пользуются главными дорогами. На пути ему попалась маленькая часовня, он помолился, потом пошел дальше. Карты у него не было, он двигался наугад. На какой-то ферме его бесплатно накормили и напоили кофе, и он беспрепятственно добрался до Диксмуда, сильно пострадавшего сначала от бомбежек, потом от мародеров. Надо было поесть, но он сумел отыскать лишь две бутылки белого вина и большой пакет леденцов, сунув их в солдатский мешок. Бельгийский грузовик подбросил его до Фурна, где он, к собственной радости, обнаружил английские войска. Несмотря на капитуляцию, Фурн в полдень был подвергнут короткой, но сильной бомбардировке. У мостов через каналы были выставлены посты «военной полиции». Святослав направился было в Ньюпорт, но, увидев, что ан-

глийские части движутся в обратном направлении, тоже повернул. Поскольку ни одна машина на его призывы не останавливалась, он решил действовать более решительно. Увидев на дороге одинокий грузовик, достал револьвер и заставил шофера затормозить. «Мне нужно в Дюнкерк. Поехали». — «Ладно. Но только в обмен на вашу хлопушку». Торг состоялся, по дороге грузовик подобрал еще трех британских солдат и двух молодых полек. Рядом с пассажирами в кузове стояли канистры с горючим и валялись армейские плащ-палатки, но, несмотря на опасность, все курили. Святослав раздал голодным спутникам прихваченные леденцы, они запили их вином, оказавшимся — увы! — тягуче-сладким. Раздалась пулеметная очередь, грузовик встал, все бросились врассыпную, только Святослав упорно оставался в кузове, заслужив себе славу презирающего опасность. На самом деле причина была иной: длительный опыт эмигранта, живущего без настоящего паспорта, заставлял его бояться французских жандармов больше, чем немецких самолетов. Вот и на этот раз он въезжал во Францию без визы и предпочел спрятаться в кузове под британскими шинелями — в случае чего за англичанина сойдет.

В два часа дня грузовик остановился возле госпиталя в Мало-ле-Бен. Со стороны расположенного совсем близко Дюнкерка были видны огонь и дым.

Понедельник, 3 июня. Я в своей комнате, во флигеле, где живут медсестры. Около двух часов раздается вой сирен. Это первая тревога в госпитале, никто всерьез ее не принимает, но положенные инструкции все выполняют — расходятся по своим отделениям. Раненые волнуются, но присутствие медперсонала в полном составе их успокаивает. Мы с помощником врача подходим к окну. Ничего не видно, только слышен гул моторов; самолеты летят очень низко. Вдруг — взрыв, и тут же начинается хаос в больнице. Врач-капитан, старшая медсестра, супруга врача и его помощник кидаются к лифту, чтобы спуститься в убежище. Госпожа Роз захлебывается от возмущения. «Будем эвакуировать раненых», — решает она. На помощь нам приходят незнакомые санитары, практикант и священник из выздоравливающих. Они носят раненых на носилках. Полная неразбериха, бомбы ухают, стекла дрожат. «Четверых из нашего отделения трогать с места нельзя, — говорит госпожа Роз. — Можете остаться с ними?» Я киваю в ответ. Лучше дрожать от страха, чем оказаться сейчас бок о бок с таким начальством. Тем более что страх, как морская болезнь, проходит, когда притерпишься. Больной из тринадцатой палаты с ранением в поясницу говорит мне: «Я устал мучиться, лучше пусть сразу». Докер из Кале, лежащий в семьсот шестой палате, пробует шутить: «Сестра, дайте-ка мне подушку, я ухо прикрою — спать хочется, а они, понимаешь, расшумелись». Еще один, из семьсот одиннадцатой, жалуется: «Так глупо чувствуешь себя: лежишь и двинуться не можешь». И точно. Святослав тоже рассказывал потом, что, хотя весь артиллерийский расчет подвергался опасности в равной мере, хуже всех чувствовал себя наводчик, и именно потому, что

не мог двигаться. В одной палате я обнаружила забытого раненого. «Почему же вы меня не позвали?» Но он совершенно спокоен и оказался самым храбрым: «А чем, собственно, вы могли мне помочь?» Неподалеку хнычет алжирец: «Ох-ох-ох! Моя не хотеть. Капитан говорить «огонь», я огонь. Теперь ничего не делать, совсем плохо. Паразит фриц! Ох-ох-ох!»

Самолеты бомбят нас в несколько заходов, потом все стихает. Я вижу из окна, как высыпает на улицу народ. Выставив впереди себя палку, спешит слепой, спотыкается на обломках и снова отчаянно спешит куда-то. Несколько бомб угодили в кладбище, теперь останки из фамильных склепов навеки смешаны с теми, что лежали в общих могилах для нищих. Подоконники усеяны отлетевшей штукатуркой и осколками. Дорогу перегородила упавшая труба, со стороны горящих заводов валит дым... Санитары несут раненых обратно в палаты, из укрытия возвращаются наши отважные штабисты. Капитан в ярости, мадмуазель Корню тоже. «Кто дал распоряжение эвакуировать раненых?» — кричит врач. Вероятно, до него долетели нелицеприятные замечания — убежище-то общее. Госпожа Роз слишком дисциплинированна, чтобы вступать в пререкания с начальством, — все равно уже дело сделано. Я беру огонь на себя. «Это я распорядилась. Я не знала, что убежище только для медицинских работников». Он испепелил меня взглядом, развернулся, но тут зазвенел колокольчик, доставили пострадавших от бомбежки гражданских, и закипела работа.

В эту ночь практикант Бувье помогал мне на ночном дежурстве. Он взрослеет у меня на глазах. Перемучился, разочаровался и больше никому и ни во что не верит. Смеется над собой, над своими былыми иллюзиями. К нам выходит, прихрамывая, святой отец из выздоравливающих. Для него человеческая низость не в новинку. Раненые, несмотря на успокоительное лекарство, никак не утихомирятся. Они еще не знают, что события 3 июня всего лишь прелюдия к тому, что всех нас ждет впереди. Через окно в самом конце длинного коридора виден огромный Париж. Сквозь рассветную дымку вдалеке можно различить Триумфальную арку, Сакре-Кёр — весь этот хрупкий мир, оказавшийся под угрозой.

Работать в отделении мне, предательнице, чужачке, чуть ли не злому духу — при том, что и силы были на исходе, — становилось совсем невыносимо. Я попросилась в другое, на четвертом этаже, где за главную была мягкая пожилая женщина — мадмуазель Дюре, — судя по золотой голубке на необъятной груди, гугенотка. Она страшно обрадовалась помощнице: у нее опухали ноги, и справляться одной с сотней раненых ей было слишком трудно, так что я сразу же получила повышение, став ее заместителем. В новом отделении у меня очень скоро появилось двое друзей: фельдшер Филлью и санитарка Мариэтта. Филлью, маленький, подвижный, пребывавший неизменно в хорошем настроении, походил чем-то на Макса Линдера; он любил повторять: «главное — не волноваться». Для меня у него в подсобке всегда была

наготове чашка горячего кофе и его собственные бюллетени о ходе военных действий. Новости такие, что хуже не бывает, но Филлью не унывал. «Понимаете, госпожа де Малевски, войну и начали специально, чтобы проиграть. Расчет, тонкий расчет. Главное, дорогая моя, не волноваться. Потом все образуется». Но пока это таинственное «потом» не наступало, и одни потери влекли за собой другие. Когда я узнала от Филлью, что Поль Рейно упомянул Жанну д'Арк и святую Женевьеву, то поняла всю глубину катастрофы. Если уж светская республика начинает вспоминать святых, — значит, надежды нет.

Мариэтте было всего восемнадцать, а ее сыну уже два года (ошибка молодости). Хорошенькая, сообразительная, быстрая в работе, она стала моей помощницей. А все втроем мы составили веселую компанию, если в тех обстоятельствах вообще можно было говорить о веселье. Мой новый врач заметил как-то: «Уж не знаю, меньше ли в вашем отделении умирают, чем в других, но что больше смеются — это точно».

Конечно, прогресс в медицине, скорое хирургическое вмешательство уменьшили смертность от гангрены и столбняка — бича прошлой войны. Много жизней спасло и переливание крови, хотя его методика не была отработана в должной мере. Взявшись ухаживать за солдатами, я столкнулась с доселе незнакомым мне миром — французскими крестьянами. Хотя утверждение Бердяева: «Среди французов нет глупцов, поскольку каждый француз обладает определенной врожденной культурой», — во многом и справедливо, меня удивило количество неграмотных и полуграмотных. Однако с крестьянами — видно, в память о предках-помещиках — мне всегда было легче объясняться, чем с буржуа, даже если это были интеллигенты, поэтому общение с ранеными солдатами приносило мне больше удовлетворения, чем с горожанами.

9 июня мадмуазель Дюре вызвала меня и сообщила, что в отделение доставили немца. «Может быть, вы им займетесь? — потому что я не могу и не хочу». Я посмотрела на нее с удивлением. «Да, это выше моих сил. В других обстоятельствах, пожалуйста, но сейчас «они» победители». Мариэтта подготовила палату, Филлью помог санитарам переложить раненого с носилок на кровать. Это был первый немец, которого мы видели: совсем молодой белокурый парень, раненный в печень. Он был в сознании, и смотрел на нас глазами, полными ужаса. Я собиралась сделать ему укол морфия, но он оттолкнул мою руку: «Nein, nein»[1], страх еще сильнее сковал его черты. Я попробовала успокоить его: «Ya, das ist gut»[2], — он только лихорадочно повторял: «Nein». Тогда я попросила позвать санитарку из Эльзаса, у которой не могло быть таких комплексов, как у мадмуазель Дюре. Раненый немного успокоился, услышав немецкую речь, но все утверждал, что, мол, ему известно, во французских госпиталях немцев убивают, и я сейчас впрысну ему яд. Напрасно я уверяла его, что это обычные пропагандистские россказни, что в госпитале к любому раненому, будь то француз или

---

[1] Нет, нет (*нем.*).
[2] Да, это хорошо (*нем.*).

немец, относятся одинаково. Наконец, устав от препирательств, я просто объявила ему, что я русская, так что отчасти — в силу германо-советского пакта — его союзница. Только тогда немец согласился, чтобы я облегчила его страдания. Он уснул. А по отделению разнесся слух, что появился немец, и к его палате потянулись ходячие больные, желавшие поглазеть на солдата армии, которая заставила их бежать. Когда я вошла, возле его кровати стояло четверо, но волноваться было не о чем — злых чувств они, явно, не питали. «Простой парень, такой же, как мы. Ему, бедняге, не выкарабкаться! И кому все это надо?»

На следующее утро я снова обнаружила в палате у немца тех же самых раненых, хотя накануне запретила посещения. Но выгонять их я не стала: присутствие людей скорее радовало моего пациента, чем беспокоило. Несмотря на слабость, он потянулся к бумажнику и достал фотографию совсем юной женщины с ребенком на руках: «Mein Kind»[1]. Снимок передавали из рук в руки: «Schön, schön»[2]. Немец, желая доставить присутствующим удовольствие, сказал в ответ: «Paris schön, Frankreich schön»[3], — и тут же повеяло холодом.

Между тем раненых становилось все больше. Мы уже не знали, к кому бросаться. Нам на подмогу прибыли врачи из Орлеана и оккупированных городов. Была жара. В коридоре вечно стояли или сидели в колясках пациенты — очередь в процедурный кабинет. Медсестры буквально сбились с ног. Ни о еде, ни об отдыхе не было и речи. Я даже не возвращалась к себе во флигель. Мы поставили раскладушку в ванной и, попеременно с Мариэттой, на час-два ложились передохнуть. За две недели я похудела на семь килограммов, мы держались только на нервах. Две медсестры и Мариэтта на две или три сотни раненых — палаты набиты битком, кровати стояли впритык одна к другой. Я очень страдала из-за отсутствия чистого белья и халатов. У меня было только два, а прачечная выстирать их за день не успевала. Приходилось надевать несвежий — в пятнах моего пота и крови, а то и гноя раненых. Я давно забыла про туфли на каблуках, ходила в босоножках, но они снашивались на глазах. Бедную мадмуазель Дюре мучило расширение вен и боли в сердце (она уже в 1914 году была вольнонаемной сестрой милосердия), и она едва-едва управлялась в перевязочной. Я давно не была той неумехой, какой явилась в госпиталь; нужда заставила меня научиться работать профессионально, мне даже доводилось извлекать осколки: у хирургов и других врачей едва хватало времени на срочные операции. А тут женщина из Эльзаса: немец, мол, беспокоится, говорит, операцию ему не делают нарочно. Его и в самом деле считали безнадежным, но он был так молод, крепок, так полон желания жить, что я стала умолять хирурга попытаться. «У меня для французов-то времени не хватает», — проворчал он, но в конце концов согласился. Я сообщила об этом немцу, и снова тревога исказила его лицо. «Меня будут оперировать без нар-

---

[1] Мой ребенок (*нем.*).

[2] Красивый, красивый (*нем.*).

[3] Париж красивый, Франция красивая (*нем.*).

коза, — сказал он. — Мне говорили, я знаю». Я стала убеждать его, через эльзаску, что все это чушь и что, помимо всего прочего, хирургу самому не понравится оперировать человека без наркоза. Его прооперировали и, вопреки всем прогнозам, он пошел на поправку.

Филлью себе не изменял: несмотря на нарастающую неразбериху, всегда находил время побаловать раненых какой-нибудь мелочью — шоколадкой, сигаретой, ну, и винцом, конечно. Он и нас с Мариэттой поддерживал, принося кофе и сыр (мы уже не могли позволить себе уйти из отделения, чтобы поесть). Ничто не в силах было испортить ему настроение, поколебать его уверенность в том, что все идет, как надо, и окончится замечательно.

Для нас непрерывная вереница поступающих в госпиталь и была той битвой за Париж, которая не состоялась. Пока мы переодевали и бинтовали раненых, они успевали назвать нам места поражений: тот — с плато Орной, этот — с берегов Ноннетты, марокканец из Монмирай, бретонец из Вернона. «Нам конец», — сказал практикант, присев в момент передышки, которые случались все реже и реже, на испачканный кровью стол. «Лично я знаю, что буду делать», — заявил Шварц, недавно прибывший врач-лейтенант. И показал мне перстень. Когда-то в таких хранили прядь волос возлюбленной — как романтично! — а у него лежали таинственные кристаллы. «Я живым в руки немцам не дамся». И добавил: «Действует мгновенно, без боли», — словно купец, расхваливающий товар. Он не был жадным: «Если желаете, я и вам дам». — «О, нет! Я убивать себя не стану. Хуже смерти ничего и так не случится; а умру я в положенный час». — «Кто знает? Кто знает? Бывают вещи и пострашнее смерти». И наш конвейер снова заработал.

Один поляк из армии Сикорского наотрез отказался от помощи. Он требовал, чтобы ему дали помыться, да так упорно, словно от бани зависела его жизнь. Ничто не могло заставить его отказаться от этой навязчивой мысли. Потеряв терпение, я позволила, на свой страх и риск, пропустить его в ванную комнату, от всей души надеясь, что, явившись туда отдохнуть часок на раскладушке, не обнаружу в ванне утопленника.

10 июня. «Начало начал», — объявил Филлью, а колокольчик между тем трезвонил без остановки, сообщая о прибытии все новых машин с ранеными. У меня было такое чувство, будто все мужское население Франции решило пройти через наш госпиталь. «Такую неразбериху устроили неслучайно», — твердил свое Филлью, толкая очередную тележку.

11 июня. Солнце над Парижем не появилось. Госпиталь потонул в полупрозрачном облаке; сверху парк окутала зеленовато-серая дымка. Кто-то решил, что это газовая атака, но оказалось, горели склады горючего, наполняя воздух крохотными частичками копоти. Мы не спали уже сорок восемь часов. Голос Филлью доносился до меня словно сквозь сон: «Эй, задницы, суп пришел!» Дело в том, что налеты авиации заставляли солдат ложиться на землю, отчего участились случаи ранений в мягкое место. Шутки Филлью никого не обижали, наоборот, они

поддерживали отчаявшихся людей. Однако далеко не все стремились отвлечься от тяжких мыслей. Сержант вольнонаемного корпуса Анри, которого только что привезли после повторной операции, придя в себя после наркоза, стал яростно требовать, чтобы ему отдали его воинский крест. Мариэтта сходила за крестом. Зажав его в руке и не сводя с него глаз, раненый твердил, словно молитву: «Не понимаю. Нам было приказано умереть за Францию, а все живы», — и тут же, словно в ответ, закричал молодой бретонец — его только-только доставили в отделение: «Убейте меня! Убейте меня! Стыд-то какой! Святая Жанна, Святая Анна, Господь оставил Францию!»

К одиннадцати вечера прибыло долгожданное, давно обещанное подкрепление в лице двух сестер из Лиона. Я встретила их с радостью. Они были в новенькой, ослепительно чистой форме и с возмущением глядели на мой, похожий на фартук мясника-грязнули халат, туфли со стоптанными задниками, прилипшие к потному лбу пряди волос. «Не может быть и речи о том, чтобы мы начали работу немедленно, — сказала одна из них. — По договоренности мы приступаем завтра. Сегодня мы слишком устали с дороги». И они царственно удалились. «Эти, прошу прощения, дамы знают себе цену», — прокомментировал Фильлью. В перевязочной я потеряла сознание, упала прямо на раненого и, хоть на мгновение, ушла от действительности. Но быстро вернулась. Шварц отослал меня в ванную спать, и я чувствовала себя дезертиром. Не знаю, сколько времени провела я в счастливом забытьи, но разбудил меня стук в дверь. Почему я здесь? Пришла мадмуазель Дюре. На ее землистом лице сквозь обычную невозмутимость читалась такая тревога, что я через секунду была на ногах: «Что случилось?» — «Главврач получил приказ покинуть госпиталь». — «А как же раненые?» — «Они останутся тут». — «Но послушайте, так же нельзя. Мы не имеем права их бросать, на нас лежит ответственность». — «Таков приказ». Я заглянула ей в глаза и спросила: «И вы уйдете?» — «Я — нет. И вы можете остаться, если хотите. Только я уже старуха, а вы молоды, и сильно рискуете; хотя, с другой стороны, вы иностранка...» — «Так вот, я тоже никуда не собираюсь». — «Главврач хочет сделать официальное объявление, спускайтесь».

Рассвет едва забрезжил. Безотрадный рассвет. Со всех этажей потянулся во двор, где стояли санитарные машины, медперсонал: врачи, сестры, практиканты, санитары. Главврач забыл надеть свои ордена. Его стали спрашивать, откуда пришел приказ. «По телефону дали распоряжение». — «Но кто звонил?» Он и сам не знал, позвонили и все. Сразу образовалось два лагеря: одни уезжали, другие оставались, причем вторых оказалось существенно меньше. Врачи и медсестры с чемоданами бегали от машины к машине: «Подождите меня, подождите меня!» — кричала та самая мулатка, которая оскорбляла меня 28 мая. И доктор Шварц уезжал, забыв, по счастью, воспользоваться припасенным ядом. Мимо меня спешили две уже слегка помятые медсестры из Лиона, капеллан без требника, но с сильно раздутой папкой для документов. Этого я уже вынести не могла. «Вас ждут умирающие, господин капеллан», — обратилась я к нему. Он даже не остановился,

лишь бросил мне на ходу: «В таких случаях, мадмуазель, каждый думает о себе, каждый за себя». Еще я попыталась остановить медсестру русского происхождения, жену французского офицера. «Как же вы можете?» Она пристыженно пробормотала в ответ: «Вы не понимаете, я еврейка». — «Так тем более, у вас еще больше оснований воевать с ними, чем у меня». Но слова здесь бессмысленны, кроме, разве что, характеристики, которой неустанно награждал беглецов начальник почтовой службы, рыжеватый детина, никогда не бывавший трезвым: «Сволочи! Вот сволочи!»

Отезжающие так торопились, что взялись собственноручно выгружать раненых из все прибывающих машин: клали их прямо на землю, быстро занимали освободившееся место и уезжали под рев моторов, сопровождаемые взглядами, да какими! — не может быть, чтобы мне это привиделось, — покинутых больных.

Солнце в тот день все же взошло. На сотни и сотни раненых осталось четверо врачей. Главный хирург Тьерри де Мартель покончил с собой в тот день (а мы все ждали его на трепанацию черепа) не потому, что не мог пережить поражения французской армии, а от невыносимого стыда за своих коллег. Паника, казалось, коснулась только квалифицированных медиков. Ряды санитаров и фельдшеров почти не понесли утрат. Самое удивительное, что паника эта не была вызвана непосредственной угрозой; нас не бомбили, мы находились под защитой Женевской конвенции. Кстати сказать, и паники-то особой не было: директор госпиталя не забыл забрать кассу госпиталя, а другие прихватили с собой немало провизии, предназначенной для раненых. «Ну что же, — сказала старшая медсестра (она, как и мадмуазель Дюре, была сестрой милосердия еще в первую мировую и сейчас не покинула свой пост), — принимаемся за работу!» Мы начали сортировку раненых. Скоро в вестибюле осталось лишь оружие, солдатские мешки, каски да какая-то шавка, упорно сторожившая хозяйское добро.

Электричества не было. Видимо, рабочие оставили электростанцию. А когда лампочки вдруг снова загорелись, мы поняли: Париж оккупировали немцы.

Я возила раненых на каталках в операционный блок, забитый, как метро в часы пик. Любопытно, что медсестры готовы были на все, лишь бы пропихнуть вперед «своих» раненых, старались хитростью уложить их первыми на операционный стол. А хирурги, в окровавленных халатах, взмокшие, словно в кошмарном сне, все резали, перекраивали, зашивали изувеченные тела. Едва успели переложить с носилок на стол здоровенного сенегальца, как хирург сунул мне в руки какой-то предмет: это оказалась ампутированная нога, еще теплая.

В отделениях настроение было подавленное. О бегстве медперсонала мгновенно стало известно на всех этажах. Даже Филлью на несколько часов забыл об улыбке. Во второй половине дня я, изнемогая от тянувшегося за мной запаха пота и крови, ставшего невыносимым, улучила момент и отважилась на грабеж, по-моему, вполне оправданный. Зашла

в бельевую и попросила выдать мне белье и халаты одной из сбежавших сестер. Кастелянша потребовала расписку, но дала. Душ, переодевание, — мне сразу стало лучше. И до того приятно было чувствовать себя чистой, что это ощущение не вызывало никакого стыда.

Госпиталь словно оцепенел в ожидании неотвратимого. На шутки Филлью никто не откликался. В стеклянном стакане дежурки сидела мадмуазель Дюре, положив распухшие ноги на табурет. Она читала Библию. Увидев меня, поправила сползшие на нос очки и сказала: «Послушайте, что возвестил пророк Иоиль: «Подобно дневному свету из тени и тьмы, подобно утренней заре растекается по горам народ, могучий и многочисленный. Впереди него всепожирающее пламя, позади него горит огонь. Другие народы дрожат при виде его, и бледнеют лица». Я хорошо знаю Библию: ее должны читать не только верующие, но и поэты. Я говорю ей: «Там дальше, мадмуазель, есть более утешительные слова». — «В самом деле, есть надежда», — и она продолжает: «Я удалю от вас того, кто пришел с севера, прогоню его на пустынные свободные земли, сброшу тех, кто впереди, в Восточное море, а тех, кто позади, — в Западное, и почувствуете вы его зловоние, потому что сотворил он много зла...» Однако чтение Библии — непозволительная роскошь. Меня ждут более неотложные дела. Директор утащил кассу госпиталя, оставшаяся после бегства персонала провизия скоро кончится.

Прошли сутки — никаких немцев. Городок вокруг госпиталя опустел; остались лишь старики и, к счастью для всех нас, мэр городка, очень решительный человек, настроенный радикально. Он спас положение, приказав открыть магазины, чтобы обеспечить продуктами жителей, и призвав оставшееся гражданское население оказать содействие госпиталю. Зрелище невероятное и трогательное: потянувшиеся к больнице старики несли кто кролика, кто курицу, некоторые предлагали свою помощь. Я попросила остаться двух старушек; одной из них было почти восемьдесят. Они дежурили ночью возле постелей только что прооперированных, которых нельзя было оставлять без присмотра.

Первая немецкая машина въехала во двор 14 июня. Я как раз находилась в кабинете врача, заведующего отделением и замещавшего главного врача. Я зашла поговорить с ним о пятерых бретонцах, доставленных в шоке, которых хотели выписать, едва они вышли под действием лекарств из состояния возбуждения. Врач глядел в окно, и я не могла видеть его лица. Но разве так уж сложно представить себе, что чувствует француз при виде победителей? «Доктор, — сказала я, — вспомните, они уже были здесь в 1870-м, но им пришлось уйти, а Франция снова стала великой страной». Врач повернулся ко мне, и я с удивлением обнаружила, что он нисколько не расстроен. «Наоборот, я очень рад! — сказал он. — Хорошо, что они здесь. Наконец-то во Франции будет порядок, они вычистят всю гниль, из-за которой мы и потерпели поражение». Взгляды коммуниста Филлью и врача, сторонника нового порядка в Европе, полностью совпадали.

Новость о прибытии немцев поразила госпиталь, как взрыв бомбы. Когда я вернулась в отделение, там царило возбуждение — каждый реагировал по-своему. Поляк, тот, что предпочел баню лекарствам, го-

рячо требовал, чтобы ему немедленно принесли гранаты, лежавшие где-то в его вещах на складе. «Дайте мне гранаты! — кричал он. — Клянусь вам, госпожа де Малевски, немцам не сдобровать!». А сержант бронетанковых войск, раненный в ногу, красивый молодой человек из Нейи, которому война помешала сделать карьеру в кино, подозвал меня и зашептал, весь дрожа: «Я не могу двигаться, а немцы скоро будут тут! Держите, вот моя монашеская одежда, бросьте ее в туалет... Немцы не жалуют католиков». Я не стала слушать ни того, ни другого, однако безумцы мне все же милее трусов. Сержант из вольнонаемного корпуса, Анри, уже обдумывал вслух план побега, но большая часть раненых была слишком подавлена, чтобы как-то выражать свои чувства. Я же ощущала себя не подавленной, а скорее обманутой. Память предков звала меня, как и поляка, к решительным действиям. Москва-то сгорела, и Наполеону достался лишь пепел... Я очень любила Париж, но предпочла бы видеть его в руинах, чем целым и невредимым под пятой завоевателя. Филлью с его чисто французской практичностью удивляла безрассудность моих пожеланий. «Ну зачем разрушать Париж? Лучше сохранить его на будущее: скинем же мы когда-то фрицев. Разве такой город отстроишь заново?»

За первой «ласточкой» со свастикой на крыле еще не успели подтянуться другие, а в госпиталь уже стали возвращаться, поджав хвост, беглецы — они не смогли пробиться к Орлеану по забитым транспортом дорогам. Не без некоторого удовлетворения я узнала, что их по пути обстреляли из пулемета. Приняли их без особого энтузиазма. Новый главный врач не преминул передать им, как удивился немецкий офицер: «А где же ваши врачи?» Директор вернуться не осмелился. Он рассчитался с собой сам, пустив себе пулю в висок прямо в машине Красного Креста, в которой сбежал, захватив деньги госпиталя. Меня же вызвала к себе по возвращении старшая сестра, пожилая дама, чрезвычайно достойная, вызывающе сухая в общении, — она могла все простить, кроме грабежа. Она потребовала, чтобы я отдала вернувшейся сестре ее белье и халаты, которые я так легко присвоила после бегства хозяйки. Я наотрез отказалась. Не могу же я работать голышом. С удовольствием верну все, но после демобилизации, не раньше, а еще лучше, добавила я, «пусть потерпевшая подаст на меня в суд, у меня будет отличная возможность высказать все, что я думаю о дезертирах». Но у мадмуазель Шнизер оказались твердые принципы, в ее представлении покушение на частную собственность — преступление более тяжкое, чем пренебрежение долгом.

Но все это были пустяки по сравнению с тем, что произошло 18 июня. Когда объявили о перемирии, я заплакала, не стыдясь своих слез. И повсюду в тот день: в Аргентине, в Соединенных Штатах, в Португалии и других странах — тысячи потрясенных, ошеломленных, пораженных иностранцев с болью оплакивали Францию, словно то была их родина. Вплоть до шестидесятых годов с Францией связывал свои надежды весь мир. Это была не просто страна — она излучала свет на всех. Она была символом красоты, свободы, изящества, справедливости, веселья и радости всего человечества... Тот траурный для многих

иностранцев день — 18 июня — госпиталь встречал ликованием... если не считать очень немногих. «Филлью, еще вина. Ну давай, Филлью, поворачивайся. Это надо отметить. Конец проклятой войне!» Я отказалась с ними чокаться и убежала к тем, кого могла утешить, кто мог утешить меня, например, к сержанту Анри, — ярость спасала его от отчаяния.

Как вы понимаете, призыв 18 июня мало кто услышал. Имя де Голля никому ни о чем не говорило. Подумаешь, зачитал декларацию, сидя в Англии, — кому от этого легче? Но у меня снова появилась надежда: еще не все потеряно, раз есть французы, которые продолжают сражаться. Я и сегодня не раскаиваюсь в том, что была тогда ярой голлисткой, хоть и иностранкой; правда, с небольшой поправкой — пробританского толка. Из всех воюющих государств одна Великобритания сумела противостоять противнику, давала надежду оккупированным странам или, по крайней мере, тем из их жителей, которые отказывались быть «побитыми и довольными».

«Если кто и вытащит нас из этой ж..., то не де Голль», — откомментировал Филлью. Я посчитала: на сотню человек, с которыми я общалась, оказалось всего — раз — новый главный врач (но он представлял не простых людей, а интеллигенцию), сторонник нового порядка в Европе, — два — Филлью, коммунист, я не разделяю его взглядов, но они достойны уважения, — три — унтер-офицеры, такие, как сержант Анри, преданные воинскому долгу, да еще пятеро неотесанных бретонцев, похожих в этом на Филлью, но черпавших в вековых традициях Бретани свирепую решимость защищать свою землю, свои права и свою веру. Остальные же девяносто процентов оставались равнодушными ко всему, что не касалось их крохотного личного мирка. Думаю, та же пропорция была и в Бельгии, и в других местах, за исключением, вероятно, Греции с ее древней традицией противостоять захватчикам — обычаем, который, к сожалению, так и не стал основой национального согласия в этой стране.

Моя мать

Где-то в конце июня меня вызвали вниз: «Госпожа де Малевски, пришла ваша мать. Она ждет вас во дворе». Я бежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Действительно, моя мать, она стоит рядом с величественным катафалком, запряженным усталыми лошадьми. Ей встретился на дороге, возле Розей, похоронных дел мастер, — он устал блуждать и возвращался в Париж, — так она уговорила его взять себе пассажирку. Ее розовое лицо под шапкой седых волос дышало, как всегда, энергией — ни одно историческое событие так и не смогло лишить ее силы духа. Мы бросились друг другу в объятия. «Представь себе, этот господин пытался уверить меня, что все медсестры покинули госпиталь. Но я-то знала, что найду тебя здесь». Она достала из сумки и протянула мне письмо, опущенное 4 июня в Свиндон Вилдс, в Англии; на марке — изображения Виктории и Георга и даты 1840—1940. Письмо от Святослава. Значит, снова два самых дорогих для меня человека

вырвались живыми и здоровыми из шквала событий, и, значит, действительно, есть еще во Франции люди, продолжающие среди хаоса спокойно работать, — железнодорожники, служащие почты.

Мать коротко рассказала, что произошло в Розей: «Все дороги были забиты горожанами и крестьянами, бредущими неведомо куда, они несли или везли — на машинах, повозках, тачках — самое дорогое из имущества. Но больше всех удивила меня одна нищенка: она толкала перед собой детскую коляску, полную каких-то лохмотьев, а сверху стоял золоченый деревянный рождественский башмак». Однажды утром мать обнаружила, что город опустел, даже жандармы, и те ушли; лишь старики там и тут сновали по своим обычным делам. Стояла жара. Из-за ставен запертых мясных лавок просачивалась вонь, привязанные собаки, без еды и питья, страшно завывали, кролики чахли в клетках, коровы мычали в стойлах. Моя помещица-мать не смогла вынести мучений брошенных животных: собрала нескольких женщин и стала разносить вместе с ними воду собакам, сено кроликам, доить коров. Но что делать с молоком? Почему бы не отнести его беженцам? Она села на обочине, а ей по цепочке передавали ведра с молоком. Прошли беженцы, потянулись французские солдаты — они тоже обрадовались неожиданному провианту. Потом появились первые немецкие мотоциклисты. Тут я, с некоторым опасением, спросила: «Надеюсь, их ты не поила молоком?» — «Почему же? Поила. Они устали, хотели пить. Один пристроился к ведру, а потом побледнел весь и спрашивает: «А оно не отравлено, ваше молоко?» — я даже рассмеялась. И успокоила его: «Стара я уже, чтобы кого-то травить»...»

Избыток великодушия моей матери, возможно, компенсировал отказ мадмуазель Дюре ухаживать за раненым немцем. Между тем, когда я, слишком возмущенная всем, что происходило на моих глазах, заявила, что каждый народ, мол, имеет то, чего заслуживает, не кто иной, как моя мать, встала на защиту французов: «Нет, нет, — сказала она. — Мне жаль их от чистого сердца. Они так несчастны. Знаешь, несколько дней назад одна женщина сказала мне: «Моего мужа убили еще на той — настоящей — войне. Страшно сказать, но боюсь, когда сын вернется с этой, я уже не смогу любить его, как раньше». Мне пора было возвращаться на работу, и я забеспокоилась, как моя мать доберется назад. «Не волнуйся, доберусь, — сказала она. — В крайнем случае, поживу у этого господина, — он сам предложил», и тот поддержал ее: «Не стоит бояться, такая женщина нигде не пропадет».

Святослав

Письмо от 30 мая 1940 года из Англии:

«28 мая часам к двум я оказался в Мало-ле-Бен и потащился в порт. Там уже толпы британских солдат пытались погрузиться в лодки под непрерывной сильной бомбардировкой. Я улегся в воронку от снаряда и, сморенный усталостью, заснул. Утром 29-го я отправился в Дюнкерк и, к собственной радости, наткнулся там во дворе большого дома на французскую роту мотопехоты. Приняли меня чудесно, бук-

вально закормили: суп, мясо, хлеб, вино — всего вдоволь, от этого первого с 10 мая настоящего обеда и от накопившейся усталости я просто валился с ног. Жара стояла невыносимая. Я поплелся на берег и брел километра три или четыре в странном раздвоенном состоянии: часть меня медленно тащилась вдоль воды, с трудом вытягивая ноги из песка, а другая оторвалась от реальных событий и легко парила над грохотом, жизнью и смертью. У меня не хватило сил найти тень, я снова свалился в воронку от снаряда и проспал под палящим солнцем и бомбардировкой часов до шести-семи вечера. Проснулся я оттого, что меня осаждали маленькие теплые комочки, они лезли под руки, щекотали лицо. Оказалось — еще слепые щенки, видимо, мать их убили, едва они появились на свет. Усталость так и не прошла, но я опять потащился вдоль берега, время от времени присаживаясь на пустые ящики из-под печенья — то ли их кто-то приволок, то ли выбросило море. Солнце садилось. Бомбардировка побережья прекратилась, но вражеские самолеты продолжали атаковать грузовые суда и эсминцы, стоящие на рейде. Разумеется, это было ужасное, хотя и грандиозное зрелище. У меня под ногами что-то блеснуло — золотые часы с браслетом. Я уже было наклонился, чтобы поднять их, но тут подумал: вдруг меня сейчас убьют, и последним моим поступком станет присвоение чужого добра.

Я сидел на ящике, когда волны вынесли к моим ногам труп молодого британского офицера. Я не мог на него смотреть. Встал и направился к госпиталю. Положение неопределенное, останусь ли я в живых, и то сомнительно; однако я решил возобновить попытки попасть на корабль. Шансы, конечно, были невелики, дважды у меня ничего не вышло. На берегу скопилось несколько тысяч человек, а пароходов подходило всего семь или восемь. Я видел, как вспыхнул, словно факел, один из кораблей, люди посыпались за борт. Английские солдаты хоть и относились, казалось, к происходящему безразлично, но дисциплину соблюдали. Стоило офицерам дать команду — строились, равнялись и продолжали так стоять даже под обстрелом, пока командир не приказывал разойтись.

Наступила ночь, я устроился в бомбоубежище рядом с госпиталем, где уже вповалку спали солдаты и офицеры. В три часа я вышел наружу. Затишье. Впрочем, насколько я заметил, даже самые эффективные воздушные налеты не наносят такого ущерба, как артиллерийские обстрелы. Брошенный велосипед найти ничего не стоило. Я уже стал подумывать, не пересечь ли мне второй раз линию фронта, чтобы пробиться назад в Париж, как вдруг оказался перед большой баркой, увязнувшей в песке. Одному мне было не под силу столкнуть ее на воду, и я пошел за британскими солдатами. Со мной согласилось идти семь человек, как и я, едва волочивших ноги. Мы, словно сомнамбулы, налегли на посудину, потихоньку подталкивая ее к воде, потом из последних сил стали по одному карабкаться через борт. И только оказавшись в лодке, обнаружили, что в ней осталось одно весло, — а этого явно недостаточно, чтобы сняться с мели. Хрупкая надежда на спасение растаяла вновь. Совсем отчаявшись, мы сидели, понуро опустив головы. И тут случилось чудо: морские волны прибили к берегу второе весло; мы сразу воспряли

духом. Мне уступили место у руля — Please, sir[1], — и мы вышли в открытое море: двое на веслах, остальные вычерпывали касками быстро прибывавшую воду. Настроение было замечательное, мои англичане затянули «It's a long way to Tipperary»...[2] Словно в сказочном сне, перед нами вырос эсминец. Нас заметили; мгновенно от судна отделился катер. Матрос прямо на ходу, не сбавляя скорости, подцепил нашу лодку шлюпочным крюком и потащил на буксире к судну. Мне очень понравилось, что, когда мы пристали, ни один из британцев не шелохнулся: они предоставляли мне право первым подняться по трапу. Нас уже ждал чай с сухариками. Я торопливо проглотил последний кусочек и тут же повалился в гамак — его уже натянули в кают-компании, — меня снова сморило. Я еще успел услышать свист падающей бомбы, подумал даже «в нас или не в нас?», но ответа так и не узнал. Проснулся я при ярком свете дня и увидел, что вдали уже вырисовывается скалистый берег Дувра».

3 июля 1940 года мы узнали о событиях в Мер-эль-Кебире. Те самые люди, которые весело праздновали перемирие, страшно возмущались теперь «предателями британцами», а вот я не слишком, — я и сегодня не считаю нужным это скрывать. Разумеется, мне было неведомо истинное положение, поскольку новости доходили до нас нерегулярно, урывками, да и неизвестно, правдивые ли. Но и того, что я видела и слышала, было достаточно, чтобы убедиться: Франция раздавлена полностью, абсолютно, она уже не в силах сопротивляться требованиям немцев. А если еще вспомнить о традиционном соперничестве Англии и Франции, особенно между военно-морскими силами обеих стран, то становится ясно, что на самом деле стоящая в порту Мер-эль-Кебир эскадра представляла реальную угрозу лишь для оставшейся на поле битвы Великобритании. Иначе, почему корабли, если уж им так не хотелось подойти к британским берегам под командование генерала де Голля, не ушли хотя бы в нейтральный порт: в Португалию, в Латинскую Америку? К тому же лучше, на мой взгляд, самому потопить свой корабль, чем дожидаться неминуемого приказа противника. Я склоняла голову перед жертвами, тем более что и решение, и отказ его выполнить исходили не от них, — но англичан не проклинала, поскольку победы без жертв не бывает.

Я тогда не знала, что Черчилль, большой и верный друг Франции, плакал, отдавая приказ о бомбардировке французского флота, — ему не оставалось ничего другого, как признать справедливость доводов лорда Бивербрука[3] — но я и тогда ему верила. Не с досады отдал он тот приказ.

---

[1] Пожалуйста, сэр (*англ.*).

[2] Долог путь до Типперэри (*англ.*).

[3] «В ночь на 2 июня Бивербрук был вызван к Черчиллю. В кабинете уже находились А. В. Александер, первый лорд Адмиралтейства, и сэр Дэдли Паунд, главнокомандующий военно-морскими силами. Все были напряжены и взволнованы...

Черчилль объявил, что это единственно возможное решение и заплакал».

«Санди Экспресс», апрель 1966 г. (*Прим. автора*).

С прекращением военных действий жизнь госпиталя понемногу нормализовалась, но он постепенно переходил в руки немцев. Они облюбовали наш госпиталь для своих раненых, поскольку он был самым новым в округе. Вели себя немцы обходительно, никто не станет этого отрицать. Встретишь в лифте — вперед пропустят, в парке — дорожку уступят, но мы с ними никогда не разговаривали, да и о чем было говорить? Наших раненых стали развозить по парижским госпиталям, персонал — увольнять. Меня выставили первой — думаю, как иностранку, — но это возмутило моих раненых. Когда они узнали от Филлью, что старшая медсестра освободила меня, даже не поблагодарив, и не выдала никакого свидетельства, я получила взамен столько доказательств признательности и дружбы, что дурацкая горечь быстро рассеялась. «Вы самая настоящая француженка», — написал мне сержант Анри в утешение, — в тех обстоятельствах это звучало несколько наивно. Со всех сторон тянулись ко мне руки с адресами в Бретани, в Оверни, в Дё-Севре и в Савойе: теперь, уверяли мои подопечные, я могу до конца своих дней жить, переезжая с места на место, везде меня примут и будут кормить задаром. Особенно возмущались Филлью и Мариэтта. «Это за халаты старуха на вас взъелась, — горячился Филлью, — но она нечисто играет, сама же сказала, что каждый после демобилизации может взять с собой одеяло и лекарства на выбор, хоть наркотики, чтобы немцам не оставлять, — я не возьму, если вам тоже одеяло не достанется». И тут же принес, теплое, чисто шерстяное. Я забрала его без зазрения совести, а пресловутые халаты оставила в ванной, — кому они теперь нужны? Наконец, расцелованная, осыпанная обещаниями и пообещав в свою очередь Анри помочь сбежать из госпиталя, куда его переводили, я села в санитарную машину, идущую в Париж, имея на все про все четыреста франков — подарок матери (кстати, зарплату капрала санитарных частей французской армии я так и не получила), да воинский трофей — одеяло, которое мне очень и очень пригодилось холодной зимой 1940—1941 годов.

В ОККУПИРОВАННОМ ПАРИЖЕ

Итак, 9 июля я вышла из санитарной машины возле вокзала Сен-Лазар: в одной руке чемодан с иконой и бутылкой арманьяка, через другую перекинуто неуместное в такую жару одеяло.

Над Парижем развевались флаги со свастикой, на стенах белели листовки, призывающие растерянное население броситься в объятия великодушных завоевателей. Как выяснилось позже, сотни тысяч парижан вернулись в тот период к родным очагам, но этого совсем не было заметно. Париж опустел. Я не встретила даже ни одного немца, пока шагала, словно во сне, по бульварам с закрытыми кафе и магазинами, а потом по улице Руаяль. Звук моих шагов гулко раздавался в тишине. На небе не было ни единого облачка, солнце заливало площадь Согласия, расстилавшуюся передо мной каменной пустыней. Возле моста немецкий офицер окинул меня беглым взглядом, но я прошла мимо, будто его и не было.

В доме №10 по улице Сен-Пер находилась мастерская бельгийского художника Оливье Пикара, моего друга, — в прежние времена он не раз предоставлял ее в мое распоряжение, когда сам куда-нибудь уезжал. Вот и теперь я надеялась найти здесь кров. К счастью, консьержка оказалась на месте. Она была слишком старой — помнила еще 1870-й — и не могла уже колесить по дорогам. Нос ее у самого основания украшало нечто вроде рога, словно она принадлежала к миру динозавров, но — Бог свидетель — как я была рада снова ее увидеть. Она узнала меня и тут же вручила ключи от мастерской. Я влетела на пятый этаж, распахнула дверь. Сквозь стеклянную стену солнечный свет падал на запыленную мебель, картины: вся обстановка напоминала мне о мирных днях. Я задернула синие шторы, легла на диван лицом к стене. Теперь у меня было время для горьких раздумий. Что же случилось с Францией? Я мучилась, словно доверчивый любовник, обманутый горячо любимой женщиной. И самым страшным мне казалось не поражение: в любой войне одна сторона побеждает, другая проигрывает, и бесчестье не всегда угрожает побежденному — ужасней была та духовная скудость, проявления которой я наблюдала.

Нацию просто-напросто предали, и не только пятая колонна — неважно, фашистская или коммунистическая, — ее прежде всего предали те, кого принято называть элитой. Давно уже Франция занималась только лишь просвещением своих детей, не стремясь привить им чувство гражданского долга. Я много вращалась среди интеллигенции и знала, что безволие для этого круга весьма характерно, отвага здесь ограничивалась

словами, — а это была не та власть, чтобы карать за слова. И вот вам результат — счастливая страна легко потеряла боеспособность.

Предательство? Разве для того, чтобы сокрушить целый народ, недостаточно беспечности и безразличия к интересам общества? Ответственные лица часто оказываются самыми безответственными, и даже наиболее выдающиеся военачальники предыдущих войн порой не подозревают, как сильно меняются правила игры от поколения к поколению. И не стоит искать оправдания в несчастье. Французы не могли простить Бельгии капитуляции, англичанам — того, что те первыми оставили Дюнкерк, когда поражение стало очевидным. Черчилля невзлюбили за план обороны Парижа, каждой улицы, каждого дома, — но как, скажите, можно победить, отстоять мир, если не желаешь за него платить? Смерть государства, нации, народа — в капитуляции, отказ от борьбы равносилен самоуничтожению.

Как я относилась к немцам? Фашизм был мне отвратителен; к самому же народу враждебности я не питала, однако вся история России, со времен Петра Великого, была настолько пропитана немецким влиянием, что я не могла не знать о недостатках этой нации. Ее «сумрачный гений» глух и слеп к гению любого другого народа. Отсюда и просчеты в психологии, ведущие к катастрофам. Идеальный порядок, которым они бредят, в конечном счете — та же смерть. Не случайно в мироздании нет ничего раз и навсегда упорядоченного, неподвижного, сам Господь допускает некоторые вольности в доказательство нашей свободы. Чем стал бы мир, утвердись в нем власть тоталитарной Германии? Да рядом с таким режимом и СССР померк бы: там планы партии утвердить абсолютное рабство неизменно разбиваются о природную склонность народа к анархии.

Накопившаяся усталость усугубляла мою депрессию. Не будь я христианкой, я бы возненавидела людей и человечество. Мне было худо, я чувствовала себя оскорбленной и не желала думать о будущем, — в таком настроении я в конце концов и уснула.

Проснулась — не пойму, какой день, который час: часы на руке остановились. Должно быть, проспала остаток дня и ночь: прямоугольник окна такой голубой, словно это витраж, а не простое стекло. Я включила радио, нашла Лондон. Бесстрастный голос сообщил на безупречном английском какие-то пустяковые новости, потом дали музыку. Я стряхнула с себя оцепенение и тут обнаружила, что хочу есть. Надо было обмануть голод, и я пошла гулять по берегу Сены.

На набережной рыбак все так же закидывал удочку — его не интересовала история. Я присела рядом и попыталась его расспросить: «Вы видели, как в Париж входили немцы?» Он замотал головой. Я ему мешала. Метрах в двухстах стоял у причала пожарный катер, пожарники суетились на берегу. Я подошла к ним; они оказались не в пример разговорчивей: только полиция да пожарники оставались на посту, не без гордости сообщили они мне. Ни уныния, ни комплексов — они свой долг исполнили честно. «А вы случайно не художница?» — спросил один, рассудив, что, будь я из богатого сословия, не стала бы с ними якшаться. «Нет, я писатель». — «Ах, вон что, писатель!» Все встало

на свои места. Они приготовили котелки — полевая кухня привезла обед. Мне тоже предложили присоединиться, если душа пожелает, — «все равно закрыты и магазины, и кафе». Желала не только моя душа, но и желудок, так что я с благодарностью приняла приглашение. Итак, 10 июля я разделила трапезу на свежем воздухе, на бережке, запивая еду, казавшуюся мне необычайно вкусной, дешевым красным вином. Война забылась за приятной беседой, но очень скоро не преминула о себе напомнить: к нам подошел сгорбленный старик, в начале июня у него убили сына. Шутки стихли сами собой, а он все сидел и смотрел затуманенным взглядом на крепких, молодых, полных жизни парней.

Меня пригласили приходить еще, я пообещала и побрела дальше. Этот город, которому я желала скорее пасть в руинах, чем быть оскверненным, сопротивлялся врагу своей красотой. Избавившись от суетной толпы, он выглядел особенно величественно. Никогда еще Париж не был так хорош, как в то трагичное лето: молчаливый, вечный, в шорохе листвы и голубиных стаях. Возвращаясь от Тюильри, я издали заметила женщину и интуитивно пошла ей навстречу. Это оказалась Мари Меерсон; не скажу, чтобы я считала ее тогда близкой подругой, но в тот день мы бросились друг другу в объятья, словно очутились одни на острове после кораблекрушения. Она жила возле парка Монсури, слишком далеко, чтобы перебраться к ней. Но мы пообещали друг другу увидеться снова, мы испытывали одинаковые чувства, питали одни и те же надежды.

Париж начинал оживать. Распахивались магазины, завсегдатаи снова заняли стойки и открытые террасы кафе. В день, когда вновь открылось кафе «Дё Маго», мы сидели за столиком всемером: переводчица английской литературы, полиграфист, работавший с художественными изданиями, и один знакомый гравер — немцы только что выпустили их из тюрьмы, куда они попали как «пацифисты». Они твердили в один голос: «Мы же говорили», но к их личному удовлетворению — получилось, как они и думали, — примешивалось слишком много горечи. Не так уж приятно благодарить за свободу врага, тем более, что условием освобождения явилось поражение твоей страны. Четыреста франков моей матери кончились очень быстро, но не знаю уж, отчего официанты (а может, впрочем, их хозяева) прониклись ко мне огромным доверием. Жан и Паскаль во «Флоре», Рено и Шарль в «Дё Маго» открыли мне бессрочный кредит: я просила кофе — они несли еще и бутерброд, хотя я честно предупредила, что не знаю, когда смогу отдать долг.

Оккупанты теперь вошли в нашу жизнь. Мир еще не видел более дисциплинированных и красивых солдат, чем те, кто первыми промаршировали по Парижу: молодые, здоровые, сверкающие чистотой, галантные немцы желали доказать французам, что принадлежат к культурной нации и чужую культуру тоже уважают. Может быть, в этом и состоял их просчет. Добродушие завоевателей успокаивало, снимало страх перед репрессиями. Они казались безобидными, и вот уже романтично настроенная, уверенная в собственной безопасности молодежь заговорила о сопротивлении. Пока же немцы без особого труда завоевали расположение гомосексуалистов: «как они очаровательны», — расчувствовавшись, щебетали те. А все остальные делали вид, что вообще не замечают окку-

пантов. Молодые французы, которым посчастливилось избежать концлагеря, поменяли мундиры на пиджаки и посиживали себе в окружении девушек на террасах кафе, зубоскаля и потешаясь над завоевателями. А те глазели из грузовиков, как туристы из автобусов, на «schön[1] Париж» и смертельно завидовали, хоть и были победителями, тем самым, которых они победили, — неунывающим, безмятежным и мирно живущим в свое удовольствие: самим им до этого мира было еще, ой, как далеко.

И все были спокойны. Да все просто замечательно! Оккупанты вовсе не грабили магазины и лавки, забитые товаром, а аккуратно платили новенькими хрустящими купюрами. Торговля процветала, с лиц лавочников и продавцов не сходила улыбка, а то, что рано или поздно товар кончится, им даже не приходило в голову. Духи, перчатки, чулки, душистое туалетное мыло лучших сортов — все, чем славился Париж, отправлялось прямиком в Германию, — ей недоставало роскоши, зато хватало оружия. Но и поважнее дела проворачивались на самых разных уровнях. Горячка спекуляции распространялась со скоростью инфекции.

Странные пожелания приходилось в то время слышать то там, то тут: «Ну и отлично! Пусть себе немцы и англичане колошматят друг друга. Сразу и от тех, и от других избавимся»; «Эти бедолаги службу несут, а мы наслаждаемся жизнью». По неопытности или опять же из гордости я и в оккупированном городе не стеснялась говорить открыто все, что думаю о таких людях, и высказывать совсем другие надежды. Свободу защищают и словами тоже, а тот, кто промолчал, — дезертир. Странно, но на меня не донесли, хотя доносы — язва любого полицейского режима — свирепствовали вовсю. Немыслимое множество людей строчило на близких и соседей из зависти, из ревности или ради выгоды: к соседке по лестничной клетке вернулся из плена муж — пишут, кто-то слушает Би-би-си или желает разгрома немцев — опять пишут, даже на тех, кто ничего не сделал, и то пишут, если видят свою выгоду...

Разумеется, были и другие: они молча страдали, полагая, что маленький человек все равно ничего не в силах изменить, но некоторые пытались — правда, таких оказалось совсем не много — в доступной им форме вступать в борьбу.

Русских эмигрантов я увидела только в воскресенье, выходя из церкви. Большинство из них симпатизировало немцам, невзирая ни на германо-советский пакт, ни на позицию французских коммунистов. Они были не только сентиментальны, но и трагически плохо информированы. К примеру, они не ведали, что в газете «Юманите» от 14 июля 1940 года ФКП выражала удовлетворение по поводу франко-германской дружбы. Эмигранты продолжали упрямо верить, что Гитлер сокрушит Советы и что победа Третьего рейха откроет им путь к возвращению на родину. Среди русских были и такие, которые, при всей неприязни к немцам, соглашались на них работать, чтобы выжить; они нанимались на незначительные должности: переводчиками, секретарями, кладовщиками, прислугой в офицерских столовых или занятых немцами гостини-

[1] Красивый (*нем.*).

цах. Хотя все служащие во Франции, не считая преподавателей, так или иначе трудились на германскую экономику.

А совсем немногочисленная зловещая группа пошла гораздо дальше — их отряды не отличались от фашистских формирований коренных жителей оккупированных стран. Во Франции — это Жербеков, ставший фюрером русской колонии; в Бельгии — Войцеховский; и оба, хоть и было у них на совести — или что там у таких вместо нее? — немало жертв, избежали суда. Войцеховского убили в Брюсселе накануне освобождения свои же, наверняка боясь разоблачения; Жербеков сбежал и, говорят, живет себе припеваючи где-то неподалеку и по сей день.

Нельзя не упомянуть и другие фамилии, дабы восстановить честь русской эмиграции. Погибли, сражаясь за Францию, Борис Вильде, Левицкий, княжна Вика Оболенская, мать Мария Скобцова, отец Дмитрий Клепинин. Многие другие были арестованы или высланы из страны, но сумели выжить. А кто-то под союзническими знаменами: американскими, британскими, норвежскими, французскими или бельгийскими сражался за свободную Европу.

Каждая страна, каждая нация имеет свое лицо, несмотря на безумную страсть современности к стандартам, стирающим индивидуальность, но в любой нации есть сходные между собой породы людей: праведники и палачи, не говоря о рвачах! Один русский адвокат, прибалтийского, то есть немецкого происхождения, обосновавшийся в Париже, известный франкмасон, не захотел пользоваться преимуществом, которое давали ему предки, но, будучи человеком по-деловому ловким, пустился в коммерческое предприятие, весьма далекое от военно-промышленного производства, занявшись косметикой. И дело это — впрочем, под оккупацией все дела оказывались выгодными — превратило его в процветающего бизнесмена. И вот, в начала осени 1940 года, пришел к нему другой адвокат, тоже из Санкт-Петербурга, но еврейского происхождения. Он со дня на день ожидал американскую визу, которую устроил ему брат, обосновавшийся в Соединенных Штатах. Но прежде чем покинуть Францию, хотел провернуть последнюю аферу. Речь шла о продаже немцам значительной партии важнейших деталей для производства «мессершмитов», ни больше ни меньше! М. фон Н. был не просто удивлен, а возмущен, — и я его понимаю. «Как такая сделка могла прийти вам в голову? Я ариец, и то не стал бы ее заключать ни за что на свете». — «А вот и напрасно, — ответил тот, — она бы вас озолотила, но без вас мне не обойтись, кто-то ведь должен предложить товар немцам!» — «Нет, не могу поверить, — негодовал фон Н. — Даже если забыть о нравственной стороне вашего предложения, неужели вы не боитесь огласки?» — «А разве кто-нибудь поверит, что в таком деле замешан еврей?» И неделю спустя он благополучно улетел в Соединенные Штаты в качестве жертвы нацистского режима.

Погоня за быстрой наживой захватила все слои общества. Обороты шли, да какие! Любые комбинации годились, лишь бы был барыш. Спекулировали все, от банкира и промышленника до мелкого фарцовщика на черном рынке. Некоторые вызывались даже охранять добро скрывавшихся евреев, не забывая извлекать из этого свою выгоду. Одна молодая хорошенькая актриса — красивые ножки без головы — инте-

ресовалась как-то у завсегдатаев «Флоры», не поможет ли ей кто-нибудь достать несколько тысяч пар лыж. Какой-то студент отыскивал фотопленку. Иоанович сделал состояние на металлоломе. Розовая эссенция или аммиак тоннами, растительное масло литрами — все продавалось и все покупалось в самых немыслимых местах.

Тайной окутан путь и Андре Н., русского еврея-коммуниста, снабженца Интернациональных бригад, женившегося на немецкой еврейке. Когда я познакомилась с ним после освобождения, он процветал. Видно, ему любой режим нипочем. Одна русская массажистка приносила Гурджиеву, этому великому реформатору человечества, масло и яйца, и он как-то заметил: «Не много же вы на этом заработаете, поставлять девочек куда выгоднее», — слова «великого мага» показались ей настолько отвратительными, что она не стала больше носить ему масло. «Веселый Париж» расшатал немецкую дисциплину, и солдаты падали в объятья проституток или воровской малины. Между тем честные граждане, просто честные, не герои, уже затягивали пояса потуже, хотя военные марши немцев все еще ходили слушать с удовольствием.

Однако вернемся немного назад, в августовский переходный период. В госпитале Валь-де-Грас, куда перевели нескольких моих раненых и куда я ездила их навещать, лежали и британские солдаты. Приятно было видеть, что не у всех короткая память. В палатах, где лечились англичане, толпились посетители; некоторые не знали ни слова по-английски и только неловко переминались с ноги на ногу возле коек, держа в руке подарки: цветы или конфеты, приветливо улыбаясь. Чисто выбритые британцы казались олицетворением отрадного спокойствия; их нимало не тревожила собственная судьба, поскольку они были уверены в непобедимости Великобритании.

Побывала я и в госпитале Вильмена, где лежал сержант Анри. Он пошел на поправку и настаивал, чтобы я поторопилась выполнить свое обещание и помогла ему бежать вместе с его новым приятелем, сельским кюре. Побеги из госпиталей участились, так что немцы усилили охрану. Каждый раз, приходя к Анри, я приносила что-нибудь из одежды, выпрошенной у друзей: туфли, рубашку, брюки, куртку, белье, носки... все — легко сказать! — в двух экземплярах. Рана сержанта еще не совсем затянулась, но он решил попытать счастья. В назначенный день, когда стемнело, я дожидалась их в определенном месте, возле глухого забора госпиталя. Сначала над стеной показалась голова кюре, я подала знак, что часовой далеко, и он спрыгнул, — весьма недурно для человека, привыкшего к сутане. Потом, с большим трудом, на стену вскарабкался сержант с изувеченной ногой. Рука об руку, мы продефилировали с хромоногим Анри перед часовым (оправданием подобной браваде может служить только наша юность) и зашли выпить по стаканчику в бистро напротив госпиталя. Потом я проводила их обоих на вокзал и ждала, пока не убедилась, что им удалось сесть в переполненный поезд на Тур. Здесь наши дороги разошлись навсегда. Пересилил ли Анри свое отвращение к немцам, поступив, как многие молодые французы, работать на петеновские предприятия? Или пошел воевать с коммунизмом под гитлеровскими знаменами? А может, примкнул к Сопротивлению? Или стал партизаном?

Мне это неизвестно, однако берусь утверждать, что, какое бы решение ни принял этот человек, оно было продиктовано его представлением о долге. У меня же от Анри осталось одно письмо, похожее на многие другие; он написал его через два дня после того, как я покинула госпиталь. По письму видно, что он был очень молод и прост, что он несколько драматизировал несправедливое, с его точки зрения, отношение ко мне своих соотечественников. Чувствуется в письме и то смятение, которым были охвачены многие, не он один:

«Уважаемая госпожа!

Я вкладываю в это обращение не только всю свою привязанность и признательность, но и всю свою боль и весь свой стыд. Привязанность простого француза к великой француженке и признательность раненого от имени всех раненых. Прошу вас, не судите о Франции по тому, как она к вам отнеслась, по тому, что происходит сегодня. Это вовсе не Франция, а результат двадцати лет политиканства, классовой борьбы и вранья. Франция — это совсем другое: она в истории, в прошлом и в сердцах немногих французов. Разрешите принести вам извинения за недостойное поведение моих сограждан от имени тех, кто на самом деле представляет Францию».

Сержант Анри отчасти преувеличивал, в пылу возмущения, мои личные невзгоды. В действительности Франция ничего плохого мне не сделала и ничем не была мне обязана (кроме, разве что, жалования капрала да демобилизационной премии). Я ведь, как обычно, просто делала то, что считала нужным, для собственного удовлетворения и чтобы не чувствовать себя зависимой ни от общества, ни от событий.

Госпиталь, эпизод в моей бурной жизни, уже отходил в прошлое: Филлью отправился исцелять «венериков», как он сам выражался; героическая Мариэтта, наряженная в костюм маркиза, продавала сигареты клиентам, вновь заполнившим «Мулен Руж», и только Элен, та медсестра, что первой дружелюбно отнеслась ко мне в мае 1940-го, вернувшись теперь на свою громадную виллу, продолжала поддерживать со мной отношения.

Материальное положение мое становилось тревожным, и я стала подумывать, уж не придется ли мне работать консьержкой... Конечно, муравьи с полным правом упрекают стрекоз в беззаботности, но, по счастью, время от времени небеса проявляют к легкокрылым снисходительность. Я шагала к бульвару Сен-Мишель, зажав в руке последнюю стофранковую бумажку и говоря себе, что хранить ее на черный день не имеет смысла. Открылась закусочная «Перигурдин», и я преисполнилась решимости хоть на день забыть о бутербродах в кредит. Я заказала трюфели, печенные в золе, и выдержанный арманьяк; сдачу оставила официанту и вернулась на улицу Сен-Пер в состоянии легкой эйфории и в буквальном смысле без гроша в кармане. Дома меня поджидала консьержка: «К вам заходил какой-то господин. Говорит, из Брюсселя, завтра он уезжает. Вот, оставил записку». Почерк незнакомый, меня просят срочно зайти в «Отель де Кастий» на улице Камбон. Я пошла, разумеется, пешком: метро работало, но о билете и речи не могло быть. Я надеялась услышать что-то новое о муже, но вместо этого на меня пролился золотой дождь. Дирекции известно, сообщил

мне посланный заводом Марли инженер, что Святославу удалось перебраться в Англию, но его — дабы избежать осложнений — внесли в списки пропавших без вести. И зарплату мужа, в полном объеме, будут выплачивать до конца войны мне; а пока он привез задолженность за прошедшие месяцы. Пряча в сумочку спасительные деньги, я благодарила Господа, господина Марли и его посланника. Я абсолютно убеждена, что жизнь полна чудес, только заметны они лишь тем, кто в них верит. К примеру, официанты кафе на Сен-Жермен-де-Пре наверняка не узрели никакого чуда в том, что я вернула им долг.

И в довершение, однажды утром в мою дверь позвонил почтальон со вторым письмом от Святослава. Оно долго валялось в почтовой сумке, потом искало меня в госпитале, из чего я заключила, что Святослав успел-таки получить, несмотря на царившую неразбериху, сообщение моей матери с моим адресом.

Святослав

В Дувре нас, исхудавших, оборванных, грязных, пропыленных, сгоравших от стыда за поражение, приняли как победителей. Нас с восторгом встречало воинское командование и Красный Крест, и дамы из добровольческой женской службы, и все население Великобритании. Погрузив в вагоны, отправили в лагерь Эндоуэр, а на каждой станции собирались люди, чтобы угостить нас шоколадом, фруктами или сигаретой; немудрено, что мы понемногу воспряли духом и снова почувствовали себя не только мужчинами, но и бойцами.

Я не успевал приходить в себя от изумления, отказывался верить собственным глазам: на ухоженных кортах играли как ни в чем не бывало в теннис, солдаты печатали шаг, словно готовились к параду перед королевским дворцом. Была в этом и восхитительная отвага, и полное непонимание реальности. По пути с вокзала в лагерь я оказался в одном грузовике с французскими солдатами, и они всю дорогу попрекали меня, не стесняясь в выражениях, предательством Бельгии. И это тоже свидетельство непонимания истинного положения.

В Эндоуэре у меня появился первый здесь, в Великобритании, друг, комендант лагеря майор Бремли-Мор, мы отстояли с ним вместе благодарственный молебен.

В Эндоуэре я пробыл четыре дня, после чего меня перевели в Тенби, где находилось сотни четыре солдат-бельгийцев. Тут нас взял в оборот бельгийский штаб, человек двадцать пять офицеров и даже один генерал. Но когда мы узнали, что многие из них прибыли в Великобританию аж 12 мая, поднялся бунт, бельгийцы ничуть не дисциплинированнее французов: не желаем, кричали мы, чтобы нами командовали дезертиры. А пока суть да дело, я играл в шахматы с адвокатом Полем Вермейленом[1], таким же, как и я, солдатом, и юным Ги дю Монсо из Бержанделя.

---

[1] Будущий министр внутренних дел в правительстве социалистов. (*Прим. автора*).

Полуразбитый автобус, уходивший от Порт де Венсен, казалось, перевозил весь пригород. Вечно переполненный, забитый до отказа корзинками и коробками, пропахший чесноком, крепким табаком и спиртным. Усатые мужчины весело предлагали припозднившимся спутницам без стеснения устраиваться прямо у них на коленях. Вольные речи, детское хныканье, губная гармошка. В Розей каждый знал «княгиню». Моя мать жила там с 1938 года в маленькой квартирке неказистого дома. Попадая туда, я окуналась в семейный уют: ей удавалось сохранять его повсюду, куда заносила ее жизнь, несмотря на скудость средств; безупречная чистота, лампады перед иконами, семейные фотографии по стенам, стол, покрывавшийся для гостей первозданной свежести скатертью, где выставлялась вкуснейшая еда или пироги, смотря по обстоятельствам. Жила она на маленькое содержание, которое могли ей дать мы с моим кузеном, — и Розей выбрала не случайно: рядом находился православный монастырь, монахини привечали одиноких старушек. Так что она могла и побывать на службе, и вспомнить о былом с такими же, как она, пожилыми дамами. Кроме того, ей нравилось деревенское приволье, она и теперь, хоть было ей уже под семьдесят, колесила на велосипеде по всей округе с неменьшим азартом, чем когда-то скакала на лошади. Отец ее был обрусевший австриец, и она прекрасно говорила по-немецки, поэтому вернувшиеся после исхода местные обитатели то и дело просили ее походатайствовать за них перед немцами.

В деревне любезность немцев тоже вызывала удивление, жители, восприняв призыв к покинутому населению буквально, стали полагаться на оккупантов абсолютно во всем, даже детей вели стричься именно к ним. Но идиллия длилась недолго, их начали все чаще и чаще привлекать к принудительным работам, и матери приходилось переводить жалобы недовольных. Она поступила мудро, попросив мэра Розей дать ей официальное письменное поручение заниматься переводом. И еще мудрее, отказав Жербекову: тот не поленился лично явиться к ней с предложением «позаботиться о судьбе русского населения Розей». До этого моя мать во Франции не работала, паспорт эмигрантки, выданный бельгийским правительством, не меняла и стремилась сохранять нейтралитет: она и немцев, державшихся с ней весьма почтительно, за врагов не считала, и французам горячо сочувствовала — сильнее, чем я. Поэтому и старалась оказывать услуги.

В нескольких километрах от городка, в замке Делагранж, принадлежавшем некогда Лафайету, жил наш друг Луи де Ластейри. Очаровательный старичок, знавший в свое время Пруста и Монтескью, был истинным представителем старой Франции, хотя и походил, скорее, на английского лорда: вытянутое лицо, длинные бледные кисти. Поражение страны стало для него сильнейшим ударом. Хозяйка соседней фермы нашла его в дни всеобщего бегства в собственном сарае в состоянии полной прострации и тут же предупредила мою мать, а та уже перевезла его в пустовавшую рядом с ней квартиру. Несмотря на свой возраст и полное отсутствие интереса к женщинам со стороны нашего пожилого

друга даже в пору его молодости, она сочла необходимым — этого требовали приличия — найти себе компаньонку, одну из подруг, живших в монастыре. Устроив больного, мать села на велосипед и отправилась в Делагранж. Покинутый замок был осажден солдатами, по всему парку валялись тарелки из дорогого сервиза. Моя мать разбушевалась, велела позвать офицера, напомнила ему, что неуважение истории есть не что иное, как варварство, и все сразу вернулось на свои места; тарелки были вымыты и поставлены, куда положено, столовое серебро убрано, и, хотя замок и был реквизирован, жили в нем отныне только офицеры, а когда вернулся Луи, ему отдали башню. Маркиз де Ластейри тоже, как и многие другие, был поражен галантностью врага: «Увы, их даже не в чем упрекнуть», — говорил он вздыхая, что не мешало ему решительно поддерживать де Голля и англичан.

Департамент Сен-е-Марн, расположенный вроде бы недалеко от Парижа, где очень скоро в ход пошла похлебка из брюквы, оставался просто землей обетованной; приезжая туда, я всякий раз находила у матери на столе невероятные вещи: молоко, сметану, хлеб, мясо и цыпленка, а местные фермерши уже складывали деньги в баки для белья. По этому поводу родился анекдот: одна молоденькая французская аристократка, к великому неудовольствию семьи, заключила перед самой войной неравный брак, выбрав себе в мужья крупного торговца сыром. А как пришлось затянуть ремешки потуже, так всей родне и открылось, что более блестящей партии просто не сыскать.

Я могла бы преспокойно прожить всю войну под крылышком моей матери. И все было бы замечательно, только, видно, не по нутру мне покой и безопасность. Поэтому я спешила обратно в тревожный Париж.

А в Париже наступило тяжелое время. В последний день перед запрещением свободной продажи выпечки один неосторожный, но, по счастью, состоятельный молодой человек пригласил меня на чай в кондитерскую «Ребатте». По такому случаю я проглотила столько эклеров, наполеонов, монбланов со взбитым кремом и релижьез с заварным, что долгие годы одно только воспоминание о них вызывало у меня отвращение. И эпоху брюквенной похлебки я перешагнула легко, даже поклялась себе, что ни за что на свете не встану в очередь у продовольственного магазина: память о бесконечных очередях, которые я выстаивала ребенком в начале революции в России, живо давала о себе знать. В Париже и впрямь очень скоро распространилась настоящая эпидемия очередей. Стоило прохожему заметить кучку людей у дверей магазина, он тут же пристраивался, даже не поинтересовавшись, что продают. Говорят, какой-то мужчина простоял так несколько часов вместе с беременными женщинами, ожидавшими молоко.

Потом пришло время, когда лучше было не особенно вникать, что за «рагу из кроликов» подали вам в ресторане; кошки исчезали из города с удивительной быстротой. Я слышала, как одна пожилая русская дама жа-

лела «недальновидных французов, начавших слишком рано покушаться на это животное — палочку-выручалочку в черные дни». Русские эмигранты, знавшие настоящий голод, не видели трагедии в перебоях с продуктами.

Снабжение продовольствием и впрямь было в ту пору причудливым: от молочницы, например, можно было не раз услышать: «Яиц я вам дать не могу, но могу поменять банку сардин на талон на сахар». Я невольно замедляла шаг, почуяв аромат кофе, просачивающийся из-за закрытой двери, я вдыхала едва ощутимый запах с таким наслаждением, словно это были духи. А однажды я и вовсе застыла, как вкопанная, при виде сюрреалистической картины: яичница из двух яиц на тротуаре, желток, правда, немного растекся, но все равно красиво, и я от души пожалела беднягу, который уронил яйца. Разумеется, все как-то выкручивались; в счастливые дни я ела у Жоржа на улице Мазарини, а в конце месяца в «Шерами» на улице Жакоб или в «Амуре» на улице Генего — там мне давали в кредит. Никогда в жизни я не была такой легкой и такой худенькой, хотя, с другой стороны, у меня, как и у многих, обнаружились неприятности с пищеварением; начался коллибацилоз мочевого пузыря, а я уж подумала, что рак, — сухая кожа шелушилась. В «Амур» на улице Генего — держала его молодая женщина с братом — я заходила за своим скудным рационом. В маленьком узком зальчике всегда теснились посетители; бывали там в начале оккупации Катя Гранова с сестрой, полицейский — друг хозяйки кафе, какой-то актер, один литератор и несколько моих знакомых. Разговор быстро становился общим; однажды этот литератор заметил мне: «Вас послушать, будто Би-би-си вещает», на что я ответила: «А вы поете с голоса предателя из Штутгарта», — и больше мы с ним в беседу не вступали. Зато я подружилась с очаровательным и трогательным Жюльеном Бланом. Он пытался покончить с собой из-за несчастной любви, но не получилось. Как это нередко бывает, Латинский квартал над ним только посмеялся. Жюльен Блан много пил: всегда находились желающие поднести ему стаканчик, а вот накормить — нет. Однажды он и у меня решил стрельнуть на выпивку, но я сказала: «С удовольствием поделюсь с вами обедом — приходите, когда захотите, в «Амур», но спиваться я вам помогать не собираюсь». Ему понравилась моя прямота, и это положило начало нашей верной дружбе. Жюльен Блан, маленький, легкий, с тонкими чертами, кожей цвета светлой бронзы, был внебрачным ребенком, с детства влачил жалкое существование и прошел через африканский батальон. Позже он опишет несколько натуралистично свою жизнь в трех суровых книгах, но сам он всегда оставался нежным, чистым, жаждущим любви. Среди автобиографических томов, которые стоят на моих полках, есть одна часть трилогии Блана, «Только жизнь», с дорогим мне посвящением:

«Зике от названого брата, друга, соратника — с любовью, дружбой и братской привязанностью».

По окончании войны мы снова встретились с Жюльеном Бланом. После сорока лет сплошных несчастий судьба наконец ему улыбнулась. Он счастливо женился, у него родился сын, и он только что получил литературную премию, но жить ему оставалось всего несколько месяцев.

Как только стало не хватать самого необходимого, французы начали проявлять свою изобретательность на полную катушку. Поделки оказа-

лись для Франции вторым источником жизни. Возрождалось кустарное ремесло, кто-то даже ткал, а уж вязали повсюду; не было шерсти — брали кроличий пух; использовали буквально все, что можно. Это было время будничных открытий — не менее гениальных, между прочим, чем открытия великие. Поскольку сама я такого дара была начисто лишена, он меня особенно восхищал. Восхищалась я и нежеланием парижан поддаваться унынию, грусти, их стремлением, скорее инстинктивным, чем осмысленным, окрасить мрачную эпоху в веселые, радостные тона. Сама мода бросала вызов печали: огромные шляпы с цветами, короткие юбки, открывавшие колени амазонок на велосипедах. Даже обувь на деревянной подошве — что делать? не хватало кожи — не мешала француженкам сохранять изящную походку. В этом вызове судьбе таился залог возрождения, и был он тем более удивителен, что оккупанты, как я уже говорила, казалось, пребывали в неизлечимой меланхолии.

В начале осени я снова встретилась с четой Панж и с радостью убедилась, что мы с ними по одну сторону баррикад. Они пригласили меня к себе на вечер, где присутствовали, среди прочих, посол Леон Ноэль — он был на подписании перемирия — и господин Поль Моран с женой. Официальный представитель Виши явился прозондировать отношение обитателей предместья Сен-Жермен к маршалу. Что мог он сообщить нам нового о положении Франции или о бессилии правительства Виши противостоять требованиям Германии? Мы мирно побеседовали, как и подобает в благовоспитанном обществе. Правда, Полин де Панж заставила человека из Виши немного поволноваться, заявив, что, когда она перед войной виделась с Петеном, его возраст уже, без сомнения, сказывался. На том и расстались — каждый при своем мнении.

В молодости легко сходишься с людьми. У меня быстро появилось много друзей и знакомых, причем в самых разных кругах. Мелькал калейдоскоп лиц, характеров, нравственных и политических устремлений, составлявших для меня нечто вроде спектакля, который никогда не надоедал, но при этом я не теряла из вида свою главную цель — попасть в Лондон. Прошел слух, что иностранцев будут высылать на родину, и я спешно записалась в Школу восточных языков. Лекции профессора Пьера Паскаля, которые я иногда посещала, убедили меня прежде всего в том, что мой родной язык — я владела им с детства, но не изучала — очень сложен. С несколькими новыми друзьями я отправилась на три дня за город, в долину Шеврёз, где мы самовольно заняли покинутый дом какого-то американского писателя. Уж не Хемингуэя ли? В конце августа 1940 года поражение меня мучить перестало, и я утешилась в Пор-Рояле, воскресив в памяти имена Николя и Паскаля: эти стихи будут опубликованы в Лондоне. Вернувшись в Париж, я сблизилась с театральным миром, стала завсегдатаем кулис, ходила на репетиции, и безумно жалею, что когда, сразу после Освобождения, у Жильбера Жиля начались неприятности, меня не оказалось рядом: в один тяжелый для меня момент он подал мне руку, и я бы тоже хотела его выручить.

Не помню точно, кто познакомил меня с Одиберти в «Дё Маго». Наверное, мой друг, индус Браганза. Браганза, выходец из Гоа, очень

походил на Рабиндраната Тагора. Он был уже не молод, в его некогда черных длинных вьющихся волосах сквозила седина; нос широкий, а глаза оставались грустными, даже когда он смеялся. Браганза изучал философию в самых разных университетах, не только в Англии и в Сорбонне, но и в Москве, когда был марксистом. На что он жил? До сих пор не знаю. Все эти разнообразные и противоречившие одно другому учения так и не сложились для него в стройную философскую систему, они лишь забивали его голову безо всякого проку. Его взгляды представляли собой потрясающую мешанину из заветов Христа, Ганди, Маркса, Толстого, Тагора, Фихте, Ницше, Гегеля, Платона и других, что не мешало Браганзе быть мудрецом, самым мягким и любезным моим собеседником и самым преданным другом.

Что же касается Одиберти, он уже получил к тому времени премию Аполлинера, был известным поэтом, но книги, стихи и романы — «Тонны семян», «Род людской», «Абраксас», «Седьмой» — богатства ему не принесли. В те времена он выглядел худым, болезненным, тяжело переносил из-за астмы дымный воздух кафе, в сложном мире писателей чувствовал себя неуверенно. Как человек южный, Одиберти страдал словоизвержением; как самоучка, слишком увлекался звучанием, слова возбуждали его и увлекали своим потоком. В тот момент Одиберти, по его собственным признаниям, переживал материальные и семейные трудности и очень страдал. Чрезвычайно любознательный, он вместе с тем по-детски страшно удивлялся всему, что выходило за рамки его представлений о мире, — это часто свойственно людям, облеченным властью, богатым или удачливым, — и такая странная княгиня, как я, совсем не похожая на его представления о княгинях, сбивала его с толку. Мы часто сидели втроем: Браганза, Одиберти и я. Он поражал меня живостью воображения, своим умением оживлять каждое слово. Стоило мне сострить или подкинуть идею, Одиберти моментально подхватывал ее и развивал с таким хаотичным блеском, что я и сама удивлялась. Неужели вправду от меня исходило то, что он возвращал опоэтизированным в потоке слов?

Иногда Одиберти, в потрепанном, давно не знавшем чистки пальто, заходил за мной домой, и мы шли гулять в квартал Тампль. То был еще первый, назовем его добродушным, период оккупации; в квартале по-прежнему было много евреев, а они, со времен «Абраксаса», вызывали у Одиберти горячий интерес.

Вот мы на улице Фурси. Здесь, объяснял мне Одиберти, находится удивительный бордель, куда после рабочего дня устремляется непрерывный поток клиентов: по три минуты на каждого. «Глядите!» И действительно, к двери закрытого дома потянулась очередь из рабочих. Один вышел, другой вошел, адский монотонный конвейер, невольно пожалеешь скрытых за окнами своей преисподней девиц.

Одиберти наблюдал за сценой с любопытством школяра, но на лице его застыл тревожный вопрос. Мы продолжили свой путь. Остановились у вывески кошерного бистро. Вошли. Несколько клиентов у стойки, пироги с маком под кисеей. Время не обеденное. Попросили красивую еврейку с пышным бюстом дать нам водки и яиц вкрутую. Поболтали о том, о сем. Здешние посетители были похожи на коммивояжеров, тор-

говцев с барахолки или разносчиков. Одиберти расспрашивал: «А что, фаршированная щука действительно из щуки?»; «И где вы ту щуку выловили?»; «А как вообще дела?» Посетители проявили интерес. «Мы писатели», — объяснил Одиберти. Назвал свою фамилию, мою. «А по-настоящему?» — спросил кто-то и, заметив наше недоумение, пояснил: «Ну, еврейское-то имя как?» Заявлять, что мы инаковерующие, в то время как Париж захвачен немцами, нам было неловко. Мы оба пробормотали, что смогли придумать. Я, не слишком уверенно, назвала себя Ребеккой. «Ребекка, а дальше?» — «Фишер». — «Ах, так вы из Польши?»

И никого, казалось, не пугала угроза, ставшая более чем реальной. Париж велик; да и вообще в этой части Европы еврея от арийца отличить нелегко. То ли они не понимали всего ужаса своего положения, то ли просто устали искать новое убежище, то ли надеялись избежать, затерявшись в большом городе и спрятавшись за французские законы, участи своих немецких собратьев.

Возвращались мы от них, когда уже наступал сентябрьский вечер. На бульваре Сен-Жермен мимо нас прошли, едва не задев, два немецких офицера. Одиберти с тоской проводил взглядом высокие, безупречно одетые фигуры. «В элегантности им не откажешь», — вздохнул он и нервно оглядел свое затасканное пальто.

Он печатался в издательстве «Галлимар» и как-то повел меня знакомиться с Дрие Ларошелем, с которым у него была назначена встреча. Издательство — Дрие как раз в то время его возглавил — переживало трудности с получением разрешений, с цензурой, нехваткой бумаги... Вид у Дрие был отрешенный и вместе с тем надменный. Но для меня он навсегда останется автором «Жиля». По зрелом размышлении, тот, кто сразу решает, к кому примкнуть, милее тех, кто, как Дрие, выжидает, стараясь держать нос по ветру, надеясь и денежки заработать, и рук не запачкать, уклоняясь от какого бы то ни было риска. Поскольку дневники мои затерялись, я передам по памяти то, что говорил Дрие Ларошель. А именно: «Франция навоевалась, — и теперь ее роль состоит в том, чтобы развивать мировую культуру, а немцы пусть поддерживают порядок и занимаются полицейским надзором». Одиберти, униженный нищетой, заметной и по его облику, смотрел на элегантного Дрие с восхищением. А когда мы вышли из издательства, сказал с нескрываемой завистью: «Все-таки он птица высокого полета, этот Дрие, — купается в золоте и обласкан женским вниманием».

В другой раз Одиберти повел меня в кафе «Лемобер». Он горел желанием создать свой журнал, «Истоки», и даже предпринял для этого кое-какие шаги. Все шло хорошо. Одиберти вкладывал в название свой смысл, а немцы, без сомнения, свой — они думали, что речь идет о расовом происхождении.

На первом собрании присутствовали четырнадцать человек, в том числе и двое замечательных поэтов: Янет Делетан-Тардиф и Ролан де Ренвиль. Но «Истокам» не суждено было увидеть свет. Едва началось третье собрание, совершенно безобидное — мы обсуждали публикации поэзии, — как появились двое в штатском и, показав нам полицейское удостоверение, потребовали предъявить документы. Они записали все

фамилии и адреса. В четвертый раз мы с Одиберти оказались в кафе в гордом одиночестве.

Положение менялось стремительно. Вот уже некоторые элегантные кафе украсились вывеской «Только для арийцев». Я поклялась ни в кафе эти не ходить, ни скамейками не пользоваться, на которые было запрещено садиться евреям. И если это нарушало мои привычки, тем хуже для них! Я теперь проходила, не останавливаясь, мимо большого кафе на Елисейских полях, которое так любила. Но все же заглянула в витрину: как ни в чем не бывало сидят посетители — несколько немецких офицеров и с каким-то штатским Соня М., не желавшая признавать реальность и, видимо, считавшая, что безразличие защищает. Она была красивой блондинкой, и ничто в ней не выдавало дочь Израиля.

Среди моих знакомых был племянник скульптора Максима дель Сарте. Чем он занимался, не имею понятия. Неглуп, воспитан, приятный собеседник, антикоммунист по убеждениям и, хоть и умеренный, сторонник Петена. Когда я отстаивала правоту союзников, он не сердился, выслушивал молча. Только напрасно не предупредил, что состоит в недавно созданных молодежных отрядах Петена. Представьте мое потрясение, когда, проходя мимо штаба этой организации, возле «Колизея», я увидела, как стоявшие на посту у входа парни, заметив моего спутника, вытянулись по стойке смирно и вскинули руки в фашистском приветствии. Я не нашла ничего лучшего, как крикнуть в знак протеста: «Да здравствуют евреи!» После чего приятель схватил меня за руку и, без особой галантности, втащил в «Колизей». «Вы сумасшедшая, причем буйная! Чего вы добились своей выходкой? В тюрьму захотели? Наверное, так». — «Это все из-за вас, — отвечала я ему. — Вы меня обманули, вот я и хотела вас скомпрометировать». Больше мы никогда не виделись, но я ему благодарна. Никаких неприятностей не последовало, значит, он меня не выдал.

Конечно, все это ребячество, но в тот момент только такое сопротивление и было возможно. По моему убеждению, и я сохраняю его по сей день, в нравственных вопросах обязанность каждого — «подняться и заговорить», — промолчав, человек встает на сторону несправедливости.

Разве я могла промолчать, когда на улице любимого Парижа, который не был мне чужим, хотя и не являлся столицей моей родной страны, среди французов, с которыми меня связывали тысячи нитей, хотя сама я и не была вопреки благородному утверждению сержанта Анри француженкой, на моих глазах оскорбляли пожилого, прилично одетого седого человека только за то, что в лице его проглядывали еврейские черты? «Я полковник В., — пытался защищаться незнакомец, — я сражался под Верденом, награжден орденом Почетного легиона», — но брань бесноватых не стихала, и я снова вмешалась не в свое дело. «Как вам не стыдно! — закричала я. — Теперь, когда за вами немцы, вы оскорбляете своих же соотечественников, которые не в силах себя защитить! Это гнусно!» Думаете, меня линчевали? Нет, это были трусы. Лишь какая-то мегера огрызнулась: «Ты небось тоже еврейка». На что я ей ответила: «Нет, я не еврейка, но лучше быть еврейкой, чем такой француженкой, как вы!» И марионетки исчезли.

Мы с полковником остались одни. В глазах у него стояли слезы, он был бледен, ни слова не говоря, он протянул мне руку и поклонился.

Зачем я рассказала об этом? Возможно, хотела напомнить, что каждый из нас, один человек или целая нация, должен оставаться настороже, не имея права забывать, какое зло живет в нас всех, независимо от национальной принадлежности. Культура — слой чрезвычайно тонкий. Вполне вероятно, те самые люди, что оскорбляли полковника В., плевали потом, в день вступления танков Леклерка в Париж, в безоружных немцев и брили головы женщинам. Я далека от преклонения перед простонародьем, к которому, кстати, не отношусь, и никогда не забываю строки Пушкина, — я снова его цитирую:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Промелькнули август, сентябрь, октябрь. Наступил ноябрь. Мое желание попасть в Лондон оставалось только желанием. Я пыталась нащупать пути, но никому особенно не доверяла. Единственной организацией, которая не развалилась, была коммунистическая партия, но я по вполне понятным причинам не могла рассчитывать на ее поддержку. Один египетский студент предложил мне вступить с ним в фиктивный брак, чтобы взять египетское гражданство. Немцы и итальянцы считали Египет, чья территория была оккупирована англичанами, своим союзником, и я смогла бы выехать из Франции. Но мне вовсе не улыбалось объявлять себя вдовой и становиться двоемужницей, а оказаться под властью законов мусульманского государства — тем более. Между тем Би-би-си подогревала страсти, и обращения французов к французам не оставались без отклика. Пока еще движение Сопротивления было неорганизованным, действия — разрозненными и романтическими. Но в среде молодежи шло брожение.

11 ноября состоялась демонстрация возле Коллеж де Франс. Чуть позже один студент — назовем его Жеральд — сообщил мне по секрету, что чешский антиквар, торговавший в этом квартале, передавал ему голлистские листовки. Неужели я откажусь им помогать? Жеральд — очаровательный молодой человек, но слабохарактерный, а у не знакомого мне антиквара, видимо, не хватало прозорливости. Не таких подручных надо искать для опасного дела. И я не стала вступать в их отряд, но взяла листовки и разбрасывала повсюду, где бывала, кроме своего квартала, разумеется, — там меня слишком хорошо знали — и Жеральду постаралась внушить, что подпольная литература создается для распространения, а не для хранения на складе. Не прошло и месяца, как на улице Жакоб меня остановил незнакомый человек: «Вы знаете Жеральда?» — «Да». — «Так вот, его арестовали сегодня утром. Я как раз шел к нему, а у дома немцы, потом и его провели к машине. Кажется, он часто бывал у вас. Идите скорее домой, проверьте, не оставил ли чего». — «Он же всех выдаст!» — «Ни за что!» Неосторожный, он хотел назвать себя, но я его остановила:

«Не надо, я не хочу знать вашего имени. Так лучше. Только я не пойму, как вы могли доверять Жеральду?» — «Я и теперь в нем уверен».

Я побежала домой. В каморке консьержки столпотворение. Все соседи тут. Обыск уже закончился. Пришли двое в гражданском, один из них говорил по-французски. Потребовали ключи, консьержка отказать не посмела, но кинулась в магазинчик напротив и попросила у продавщицы разрешения позвонить в полицию. Вскоре прибыли полицейские; поднялись ко мне, потом вернулись: «Там немцы, они нас выгнали». Соседки глядели с нескрываемой злобой, когда я читала оставленную полицейскими повестку.

На следующий день мне предстояло явиться к десяти часам в гестапо на площади Бово, в комнату номер 666. В невеселом настроении поднималась я по лестнице. Немного успокаивало только одно: будь у них против меня что-нибудь серьезное, не стали бы вызывать повесткой, а арестовали немедленно.

В студии, где я жила, все шкафы распахнуты, ящики, даже те, что Оливье запер на ключ, выдвинуты, все мои записи и дневники пропали, приемник не настроен на радиоволны Лондона.

Было десять вечера, времени на раздумье хватало. Бежать? Нет. Какой в этом прок? Обвинить меня могли только в двух вещах: я распространяла прокламации де Голля и слушала Би-би-си. Максимум несколько месяцев тюрьмы! Однако лучший способ побороть страх — это предусмотреть худшее и заранее с ним примириться. Трудно представить, что тебя расстреляют, — воображение всегда безрассудно, — но я все-таки думала об этом. Ну расстреляют, ну умру. Немного раньше, немного позже — не так уж это и важно в конце концов. Хуже другое: и моя мать, и мой брат — священник русской церкви в Берлине — сразу же станут заложниками. Гестапо может шантажировать меня, заставить работать на немцев, угрожая расправой над родными. Что ж, к такой опасности надо подготовиться. И я решаюсь: отрекусь от них, вот и все, только сделать это надо поестественней.

А если меня будут пытать? Я безумно боюсь боли. К счастью, я все равно не знаю никого из отряда Жеральда, кроме него самого. А вдруг я под пытками оговорю невиновных? И я снова вспомнила эпизоды своего детства: палачи-коммунисты говорили: «Если заключенный начал молиться, из него больше ничего не вытянешь». Вот и средство от трусости: молитва. Разум подсказывал, что проступок мой не так уж и тяжел, значит, ничего страшного мне не грозит, а воображение между тем рисовало кошмарные картины. Я напрягала все свои силы, чтобы смириться со смертью, но не чувствовала ни малейшего желания быть казненной или, того хуже, оказаться под пыткой. И тут я вспомнила, что как-то у Жильбера Жиля познакомилась с адвокатом из Эльзаса, которому приходилось защищать участников Сопротивления. Пошла в бистро: мудрый помнит об осторожности, — и позвонила Жильберу Жилю. Тот был на высоте: заверил, что тут же позвонит адвокату, а если я не объявлюсь через два дня, попросит его навести справки о моей участи. Кроме того, он брался доставить письмо моей матери в случае, если со мной произойдет несчастье. Если же обойдется, не к чему ее беспокоить, решила я.

Я упрямо настраивала радио. Было время блиц-побед. Но диктор сообщал о разрушениях таким спокойным голосом, словно не верил в ужас катастрофы. После июльского письма у меня никаких новостей от Святослава не было, и я не сомневалась, что он находился в Лондоне, под бомбежкой... В тот вечер мне долго не удавалось уснуть. А я непременно хотела выглядеть наутро отдохнувшей и свежей. И несмотря на отвращение к лекарствам, выпила две таблетки беллергала — безобидную дозу, но она помогла мне расслабиться. Утром я тщательно оделась и подкрасилась. Мне удалось принять внешне спокойный вид, хотя меня жгла подспудная тревога. Кабинет, в который меня вызвали, значился под номером 666, а в Апокалипсисе это, как известно, особый знак, что меня, как православную, не могло не тревожить. Однако Господь могущественнее демонов.

К десяти часам я была на площади Бово, стараясь выглядеть как можно беспечней. Протянула повестку часовому, тот позвал охрану, меня провели по лабиринту коридоров, по лестницам в маленькую приемную, усадили на стул и оставили томиться в ожидании. Через какое-то время, показавшееся мне бесконечным, открылась дверь, в приемную заглянул темноволосый лейтенант с внешностью кинозвезды и сказал по-французски: «А, вы уже здесь? Придется еще подождать». Я любезно улыбнулась в ответ: «Ради Бога, я не тороплюсь», достала из сумочки сигарету и закурила. Мое спокойствие его, похоже, немало удивило, и, не успев выйти, он тут же вернулся и пригласил меня в кабинет. За одним столом, заваленным папками, сидел типичный гестаповский интеллектуал в очках — толстый и краснолицый. За другим — военный, видимо, секретарь. Я поздоровалась, никто не откликнулся. «Вы говорите по-немецки?» — спросил меня лейтенант. Кое-как я могла объясняться, но предпочла сказать, что не знаю ни слова: это давало мне хоть какой-то выигрыш во времени. «Сядьте вон там». Я оказалась лицом к лицу с толстяком, сидевшим спиной к окну. И пошутила: «Прямо как в детективах — следователь в тени, а преступнику бьет в глаза свет». Никто не улыбнулся. Я снова достала сигареты. Сидящий напротив офицер поднял бровь, выражая неудовольствие, но промолчал.

Допрос начался с биографических данных. Я назвала фамилию, имя, возраст, профессию и так далее.

— Вам известно, почему вы здесь?

— Нет, но думаю, из-за Жеральда: его арестовали, а я была с ним знакома.

— Откуда вы знаете, что Жеральда арестовали?

— Господи, да об этом всем в округе известно. Думаю, и о том, что я здесь, тоже сейчас все знают.

— А почему он арестован, вам известно?

Я пожала плечами.

— Полагаю, вы просто хотели напомнить нам о себе и попугать немного, чтобы укрепить свой авторитет.

Вопросы и ответы переводились. Толстяк недовольно нахмурился.

— Так вот, имейте в виду: мы никогда никого не арестовываем просто так.

Только бы продержаться, не показать страха. Твой страх — оружие в руках врага. Кажется, мне удалось убедить их, что я совершенно не беспокоюсь. Лейтенант вышел, вернулся с размноженной на ротаторе прокламацией от 18 июня. И сунул мне ее под нос.

— Узнаете?

— Да.

— Так, значит, вам уже доводилось видеть эту прокламацию?

— Не эту, наверное, но такие же.

— И где же?

— Да их в Париже повсюду полно. Однажды, например, в «Колизее» на соседнем сиденье валялась. Бумажка, и бумажка. Я от нечего делать развернула, прочла. Эта самая.

— И что вы с ней сделали?

— Ничего. Свернула и положила обратно.

— Почему не доставили нам?

Я наивно округлила глаза.

— А почему я должна была ее принести? Я же у вас не служу.

Повисло молчание. Красавец лейтенант позволил себе улыбнуться.

— Хорошо, перейдем к следующему. Ваша мать проживает в Розей-ан-Бри?

Ну вот, настало время отрекаться.

— Да, но, откровенно говоря, мы не видимся. Моя мать — человек старого склада, она не одобряет мой образ жизни, богемное окружение...

— А ваш брат живет у нас в Берлине.

— И с ним то же самое, вы же знаете, он священник и не поддерживает со мной отношений по той же причине; мы, в общем-то, совсем чужие.

Еще немного, и я признаюсь, что всю жизнь мечтала избавиться от этих двух обременительных родственников. Но следователь уже все понял. Машинка стучит: вопрос — ответ. Переходим к следующему.

— Где сейчас ваш муж?

Я отвечаю вполне искренне.

— Надеюсь, в Великобритании.

Секретарь даже печатать перестал. Три пары глаз уставились на меня с осуждением.

— Надеетесь? — переспросил следователь приторным голосом. — Откуда такая надежда?

— Просто он воевал в бельгийской армии. А раз его в Бельгии нет и он объявлен без вести пропавшим, у меня остается одна надежда — поставьте себя сами на мое место, — что он не погиб и не в плену, а благополучно переправился в Англию.

— Das ist richtig[1], — сказал толстяк. — И все же объясните, будьте любезны, почему ваш муж вступил добровольцем в бельгийскую армию и почему вы сами служили во французской санитарной части?

---

[1] Это верно (*нем.*).

— Опять же, попробуйте встать на наше место. Муж принял бельгийское подданство, надо же было его оправдать.

— Это понятно. Но по нашим сведениям он вступил в армию, когда Бельгия еще сохраняла нейтралитет.

— Муж был уверен, что вы ее оккупируете, — были основания.

— А вы сами? Вы же не француженка, а пожелали ухаживать за французскими ранеными?

— Это тоже нетрудно понять. У вас в Германии много русских эмигрантов, они росли и воспитывались в вашей стране. Естественно, теперь они ее защищают. Я бельгийка, но как писатель принадлежу французской культуре. Но ведь женщины не воюют с оружием в руках, а я хотела быть полезной.

— Полагаю, ассоциацию вы создали по той же самой причине?

Толстяк протянул мне информационный бюллетень «Бельгийских друзей Франции». А еще я заметила среди папок свои рукописи, оставленные на авеню Луиз в Брюсселе. Значит, там тоже успели сделать обыск.

— Хорошо. Допустим, свои поступки вы объяснили. — Он посмотрел мне прямо в глаза. — А теперь скажите нам, как вы относитесь к Германии и к немцам?

Это меня успокоило. Если дело дошло до моих чувств, не все еще потеряно. Пока переводили вопрос, который я и так отлично поняла, я обдумывала ответ.

— К немцам? Я, знаете ли, люблю путешествовать, — и улыбнулась, — мне нравится видеть людей в привычной для них обстановке: немцев в Германии, испанцев в Испании, французов во Франции... Кроме того, я люблю Гёте, Шиллера, Баха, немного меньше Ницше — прекрасный поэт, но никудышный философ, и так трагично окончил дни. (Не слишком ли далеко я зашла? Вроде нет, проглотили.)

И новый поворот:

— Так где вы познакомились с Жеральдом?

Я ответила, изображая смущение:

— Во «Флоре».

— А он утверждает в своих показаниях, что вы впервые увиделись у С.

«Вот дурачок!» А вслух:

— Думаю, он сказал так из рыцарских чувств. Наверное, не хотел меня компрометировать. Не слишком-то красиво знакомиться с молодым человеком в кафе, правда?

— Как вы объясните, что у вас дома нашли пачку прокламаций?

— У меня дома? Не может быть!

— И тем не менее.

— А где они были?

— Под письменным столом.

— Послушайте, вы считаете меня полной идиоткой?

— Нет, — вежливо ответил толстяк. — Не считаю.

— Но только дура может держать в таком месте пачку запрещенной литературы, когда город оккупирован. Думаете, я не в состоянии спрятать опасный груз получше?

— В таком случае, как же вы объясняете, что листовки оказались под вашим столом?

— Я веду свободную жизнь, ко мне без конца кто-то приходит. В богемной среде принято давать друг другу ключи, одалживать машинки, открывалки, в общем, все, кроме зубной щетки. Может, их кто-нибудь оставил?

— Думаете, Жеральд?

— Почему именно он? Кто угодно мог.

— Но остается еще одна загадка. Эти прокламации напечатаны на той самой бумаге, которую вы используете для своих записей.

Я улыбнулась.

— Я покупаю бумагу в универмагах. Причем не я одна.

Он назвал немецкую фамилию.

— Знаете такого?

Я ответила:

— Нет, первый раз слышу.

Так прошел час, другой, третий. Я все курила, но что-то изменилось в обстановке. У меня больше не было ощущения угрозы. Кажется, следователь удовлетворился моими ответами; лейтенанта время от времени даже как будто веселили мои слова, и только секретарь бесстрастно стучал на машинке.

Я уже думала, допрос подходит к концу, но толстяк открыл новую папку. Быстро работают в этом заведении: все мои бумаги тщательно изучены.

— Еще одно небольшое разъяснение, — сказал толстяк. — Нас очень интересует вот эта страничка. Прочтите и изложите, что это значит?

Он протягивает мне скомканный, а затем расправленный листок. Это мы играли в сюрреалистическую, очень занимательную игру — в сочетание определений: заворачиваешь край страницы и передаешь соседу, а тот, не видя предыдущей фразы, пишет свое определение и передает следующему. Я читаю вслух: «Нацизм» и — другим почерком — «бесконечный путь в снегах».

— А, это глупости, — говорю я спокойно, — просто такая игра.

Толстяк навострил уши: «Что еще за игра?» И я охотно пускаюсь в пространные объяснения. Можно подумать, я совсем не тороплюсь закончить эту приятную интеллектуальную беседу. Я разглагольствую о Бретоне и Арагоне, о механической памяти, о подсознании, обновлении языка, о священном языке с его загадками, о таинственном действе...

Переводчик, запутавшись, то и дело просил меня повторять. И мы оказались в полном тумане. Чувствую, я и сама не знаю, о чем еще говорить, допрос превращается в пустую болтовню. Машинка стучала все медленнее, и когда гестаповцы наконец меня отпустили, они и сами были измотаны, однако не забыли взять подписку о невыезде и предупредить, что я должна каждые две недели отмечаться в районном комиссариате. Подписывала, а про себя думала: почту своим долгом нарушить взятые обязательства. Несмотря на ироничное напутствие следователя гестапо:

— Не расстраивайтесь. Если ваш муж и впрямь в Англии, вы скоро с ним увидитесь, потому что мы ее оккупируем.

Красавец лейтенант проводил меня до выхода. Он улыбнулся — обаятельный человек.

— Вы не согласитесь дать мне несколько уроков французского? Я бы хотел его усовершенствовать.

Я заверяю немца, что французский его безупречен. И меня снова принимает в свои объятия улица. Уже перевалило за полдень. Шесть часов провела я в кабинете с номером Зверя — и ничего со мной не случилось.

Я оказалась не единственной, кто без потерь вывернулся из этой истории; видимо, немцам в начале оккупации хотелось продемонстрировать свое великодушие.

Три дня спустя, вернувшись домой, я обнаружила на ступеньках бледного, помятого Жеральда. Я впустила его без всякой радости. Он рухнул в кресло и произнес трагическим тоном: «Это было ужасно!» — «Что с вами сделали?» — «О Боже! Какая теснота! А какая отвратительная пища! Меня заели клопы, невозможно было заснуть!» — «Тому, кто боится клопов, не стоит лезть туда, где и без них неприятностей не оберешься, — сказала я. — Ну, а что немцы?» Жеральд съежился еще больше. «Вы даже представить себе не можете. Они так допрашивают!» Я уже приготовилась к рассказу о пытках, которые ему пришлось вынести, но нет, оказалось, речь шла об обычных полицейских приемах: его подолгу не отпускали, сбивали неожиданными вопросами, подлавливали на неточностях. «Ну и чем дело кончилось? Вы всех выдали?» — «Да нет же, я не выдавал. Просто они вытягивали из меня фамилию за фамилией. А на следующее утро всех арестовали. Антиквар, допустим, отрицал, что знаком со мной, а они сказали, что он во всем признался. Ну, что я мог?» Видимо, это был даже не трус, а просто слабак.

«Но вас я постарался выгородить, — напомнил Жеральд, — сказал, что вы не знали, как к вам попали прокламации». — «Большое спасибо, но лучше бы вы все-таки меня предупредили, вместо того, чтобы по-идиотски совать пачку под стол. А как они узнали, чем вы занимаетесь?» — «Одна девчонка выдала, да вы ее знаете, чернявая такая, Жизель, подружка Жана-Луи; она всегда меня ненавидела». — «Так зачем было с ней откровенничать?» — «Я вовсе не откровенничал. Просто мы сидели вместе с кафе, я разговаривал с Жаном-Луи, ну, и намекнул слегка...» — «Вот этого и не надо было делать!» — «А сами-то вы! Кричите на каждом углу, что собираетесь в Англию; нападаете на тех, кто сотрудничает с немцами». — «Но ведь я, дружочек, не состою ни в какой организации и не могу никого подвести. Все, что я говорю, ставит под удар только меня. Мы в разном положении». Парень разрыдался: «Вы черствый человек, вы никак не можете понять, какой кошмар я пережил, я совсем без сил. И не знаю, что дальше делать». — «Лучше бы вам где-нибудь затаиться; вряд ли друзья вами довольны!» — «Но я не знаю, куда податься, и денег у меня нет». — «Можете остаться сегодня здесь, в маленькой комнате», — сказала я без всякого энтузиазма.

Антиквара, кажется, приговорили к двум или трем месяцам тюрьмы. Однажды я его встретила на мосту Искусств. И он бросил мне обви-

нение: «Знаю, знаю, как расчудесно вы приняли Жеральда, этого предателя!» — «И что же? — ответила я. — Во-первых, я не приняла его, а вынуждена была терпеть. А во-вторых, это вы дали ему работу не по плечу. Значит, это ваша ошибка». — «Неважно, — сказал антиквар. — Придет день, и вы нам за все заплатите!»

Спустя некоторое время после допроса на площади Бово в мою дверь раздался звонок. Я открыла и оказалась нос к носу с немецким офицером. Я отшатнулась, не слишком гостеприимно промямлив «а-а».

— Мне очень жаль, если вам неприятно меня видеть, — сказал офицер по-французски. — Меня зовут Ферри Н. Я имел честь познакомиться с вашей матушкой в Розей-ан-Бри. И она попросила меня повидаться с вами; у нее все в порядке. Вот миссия моя и выполнена, я ухожу.

— Да нет, входите, пожалуйста. Я сейчас объясню, почему так отреагировала сначала. Видите ли, меня совсем недавно вызывали в гестапо. Я и подумала, что вы оттуда.

— Я не имею с гестапо ничего общего, — произнес он высокомерно.

— А я не имею ничего против немцев как частных лиц.

Мы сели, я угостила его вином.

Ферри был строен, на вид лет сорока, отличный игрок в теннис и наездник. Он рассказал, что служит инструктором в спортивных армейских частях. Его освободили от военной обязанности как руководителя предприятий, имеющих государственное значение, но он, нежно любя своего младшего брата, все же пошел в армию, поставив того во главе их общего дела. Я попросила его впредь приходить ко мне в гражданской одежде, чтобы не возмущать соседей и не напоминать мне лишний раз, что он оккупант.

Ферри оказался человеком сентиментальным, подверженным меланхолии. «Немецкая душа» открывалась мне все больше с каждой нашей встречей, а они становились частыми. Кажется, его несколько утомлял мой пыл. Он ненавидел войну, а, может, предчувствовал, не признаваясь себе, что победа не так уж очевидна. Мы ходили к Веберу, слушали концерты в ресторанах. И повсюду меня не оставляло ощущение, что это я в лагере победителей, а Ферри — среди побежденных.

Как-то я сказала ему, что поддерживаю англичан и, как только представится возможность, уеду в Лондон. Между собой мы говорили по-английски. Английский он знал, думаю, лучше французского, хотя сам это скрывал, ему, судя по произношению, довелось учиться в Кембридже или Оксфорде.

Однажды с нами приключилась смешная история. Как-то вечером мы прогуливались по набережной, разговаривая, как обычно, по-английски, как вдруг к нам подошел полицейский-полиглот из агентов префекта Штаппа[1] и назидательно поднял палец:

[1] Штапп — профашистски настроенный государственный деятель Франции, бывший одно время префектом Парижа. (*Прим. перев.*).

— Don't speak English, it might be dangerous for you. And what the devil are you doing here? Don't you know that there is a curfew on?[1]

И удалился размеренным шагом, оставив Ферри с отвисшей от изумления челюстью.

Бедняга Ферри, он так ненавидел войну, так любил свое дело, путешествия, спорт, что, наверное, искал в откровенных беседах со мной хоть какое-то облегчение, а я только еще больше подрывала его душевное спокойствие своей уверенностью в неминуемом провале немецких планов.

— Ваш Гитлер похож на человека, пытающегося удержать слишком много апельсинов: добавь еще один — они так и посыпятся.

— Но ваши союзники сами вынудили нас начать войну, — защищался он, — они окружили нас плотным кольцом и не оставили никакого выхода.

— Прояви Германия чуть больше терпения, — возражала я, — она и без всякой войны стала бы владыкой Западной Европы. Немцы — самый трудолюбивый и организованный народ, и страна их развивалась чрезвычайно динамично. Еще немного, и она стала бы самым могущественным среди европейских государств.

Я передала ему рассказы своего мужа. Перед войной промышленность всех стран Европы больше всего ориентировалась на немцев. Бельгийцы, например, если им приходилось заказывать сложную и дорогую технику, обычно посылали запросы во Францию и в Германию. Но если из Франции, прежде чем выслать дорогие каталоги, от вас требовали уточнить, действительно ли вы собираетесь заказывать эту технику, то из Германии великолепные каталоги незамедлительно приходили по почте, и, мало этого, безо всякой инициативы с вашей стороны приезжал инженер, чтобы разъяснить все достоинства предлагаемой продукции.

— Ваш народ болен, — говорила я как можно мягче, — он периодически пускается в авантюры, грозящие ему саморазрушением. Опять же Святослав, когда объявили войну, очень образно описал ваше состояние духа: «Немецкий народ, — говорил он, — похож на прекрасного сапожника, трезвого, упорного в работе и честного. Сидит в своей мастерской и тачает великолепные сапоги; клиентура растет не по дням, а по часам. И вот однажды, неизвестно почему, этот чудесный мастер бросает вдруг свои инструменты, выходит на улицу и начинает дубасить публику направо-налево. Сначала, разумеется, его клиенты разбегаются, потом, разозлившись, собираются вместе, набрасываются на сумасшедшего сапожника и хорошенько его дубасят. И вот он, весь в синяках, снова возвращается к себе в мастерскую, собирает свои инструменты и принимается за работу, — а уж в этом он точно превосходит всех своих конкурентов».

Ферри признавал за своими соотечественниками болезненную, периодически выплескивающуюся агрессивность, — можно подумать, они сами стремились разрушить тот «gemütlich»[2], который столь старательно вокруг себя создавали. «Возможно, мы и впрямь больная нация. Однако

---

[1] Не разговаривайте по-английски, это опасно. И какого черта вы здесь делаете? Разве вам неизвестно, что действует комендантский час? (*англ.*).

[2] Уют (*нем.*).

не забывайте, что в восточной Германии и в Пруссии очень велика примесь славянской крови. Может, этим и объясняется наше пристрастие к коллективному самоубийству?»

Но почему все-таки я уверена, что Германия проиграет войну? — спрашивал он меня. — Ведь дела идут замечательно.

— Вы правы, логики в этом нет. Просто я чувствую к немцам необъяснимую жалость. Разве это нормально — жалеть победителей? Обычно такие чувства вызывают побежденные. Я очень ценю отвагу даже врагов, но почему-то думаю, что так легко захватившая наши страны армия обязательно будет разгромлена.

— Но отчего?

— Если оставить в стороне нравственные проблемы и рассуждать безо всякой щепетильности с политической точки зрения, то повторяю, вы нетерпеливы! А для создания империи терпение просто необходимо. Вспомните, как быстро развалилась империя Наполеона, тоже не отличавшегося терпеливостью. Зато англичане, располагавшие поначалу лишь маленьким островом, создавали свою империю медленно, шаг за шагом, с выдержкой мореплавателей. Моряку известно, что, выйдя из гавани, он долго не увидит следующего порта. А посмотрите, как ведет себя Гитлер: он захватил Австрию — никто и не думал это оспорить. Покушаться на Прагу, при всей нашей слабости, уже не стоило, — к чему рисковать? Будь он настоящим политиком, он бы предоставил разделаться с Чехословакией своему преемнику. Глядишь, третьему поколению удалось бы без всякой войны присвоить Польшу. Но он торопится, его снедает желание сделать все самому, он жаждет славы, — сколько государственных мужей разбило себе на этом голову, а своим странам исковеркало судьбы, — и он ввязывается в авантюру. Во что еще втянет Германию ваш фюрер? И что, в конце концов, останется от ваших, до сей поры легких, завоеваний? Одно воспоминание. Так неразумное дитя Спарты дало лисе прогрызть свое чрево, лишь бы доказать, какое оно сильное.

Моя подрывная работа в сочетании с личными неприятностями Ферри завели его так далеко, как я и не рассчитывала. Любимый его братец просто-напросто присвоил их семейное предприятие. И Ферри пропал. Я получила от него письмо: он лечился от нервного расстройства. Больше мы никогда не виделись.

Напрасно я искала его в 1945-м в оккупированной Германии, стремясь оказать, если удастся, хоть какую-то помощь. Я не забыла, что он, зная о моем стремлении попасть в Лондон, сохранил это в тайне.

Вскоре после обыска я покинула мастерскую Оливье и стала перебираться из одной маленькой гостиницы в другую; сначала жила в «Кристалле», переименовавшемся после войны в «Монтану», где устраивали свои попойки экзистенциалисты, потом в «Бонапарте», где снова встретилась с Сержем Набоковым и ирландской танцовщицей Дженн, оставшейся неукротимой, несмотря на все свои болезни. Наступила зима, страшная зима, теперь приходилось исхитряться, чтобы первой занять вожделенное место во «Флоре» — место у печки, нашего истинного до-

машнего очага, отогревавшего нам души и окоченевшие от холода пальцы. На этом перенаселенном островке мирно сосуществовали представители трех полов и оккупанты-интеллектуалы. Мари Меерсон носила костюмы своего мужа и мужскую шляпу; но то не было показателем особой сексуальной ориентации — нужда заставляла. Позже, работая над первым своим романом «Европа и Валерий», я не раз вспоминала ее смуглое худое лицо, затуманенный взор, нашептанные на ухо признания. Другой завсегдатай, Анри Ланглуа, походивший в ту пору на полуголодного поэта-романтика, часто приглашал нас к себе посмотреть старые фильмы Чарли Чаплина — он их коллекционировал. Симона де Бовуар ничем еще не выделялась среди других молодых женщин, а Жан-Поль Сартр никому не был известен. Часто с ними приходили две крикливо наряженные дамы. Актеры, писатели, студенты, жители округи, странного вида пожилые красавцы — один, помню, явился в клетчатом костюме и гетрах былых времен, — словом, «Флора» оставалась себе верна.

На Рождество меня пригласили к одному румыну-гомосексуалисту, человеку с изысканным вкусом и смутными пробританскими настроениями. Я оказалась в компании с известной виконтессой, популярной актрисой, художницей и несколькими юными созданиями. Но здешняя елка меньше всего напоминала детский символ Рождества, это, скорее, был некий сюрреалистический образ елки, украшали ее самые нелепые предметы, что мне, при моей прямолинейности, совершенно не понравилось. Присутствующие развлекались жестокой игрой в правду, сводили счеты. А когда вдоволь наговорились, некий поэт поведал мне, на какую страшную жертву он согласился пойти, чтобы возвратить себе неверного юношу. Бросил в Сену первое издание Расина! Но я почему-то не прониклась состраданием. Возвращалась я одна по пустым улицам, вокруг чернилами разливалась непроницаемая тьма. Может, удастся дойти до гостиницы, не наткнувшись на патруль? Вдруг завыли сирены, — а до этого несколько месяцев по ночам стояла полная тишина. Для меня они звучали, как трубы архангелов. Где-то вдалеке забухали зенитные орудия; по небу заметались прожекторы. Мимо меня прошел, стараясь держаться стены, какой-то человек; я не могла сдержать своей радости: «Вот здорово! Это англичане!» — «Черт бы их побрал!» — буркнул он в ответ и скрылся в подворотне.

Я покинула на месяц квартал Сен-Жермен и перебралась в квартиру на улице Бара. Все бы ничего, но отопление не работало, трубы все полопались. У меня замерзала вода в графине. И я свалилась с высокой температурой. Какие тут врачи! Консьержка позвонила одной моей подруге, и та вскоре приехала. Она никак не могла меня расслышать, я хотела крикнуть, что задыхаюсь, что сейчас умру... Это меня и спасло. Огромный нарыв в горле лопнул, и гной брызнул фонтаном.

После этого стадное чувство возобладало, и я вернулась в Сен-Жермен, в гостиницу на улице Верней. Там и нашла меня открытка — краткая, но ясная. Мишель Бродский, чья сестра находилась в Англии, писал: «Светик у наших друзей, надеюсь, ты тоже скоро там будешь». Такое приглашение меня очень порадовало. Можно подумать, речь шла об увеселительной прогулке, а не о переезде под бомбежкой из оккупированного Парижа в Лондон. Но, с другой стороны, и увеселительные

прогулки порой обрываются трагически, так почему бы этому путешествию не закончиться благополучно?

Я поехала к матери, чтобы попрощаться. Поля и дороги департамента Сен-е-Марн засыпал снег, и они вдруг стали похожи на окрестности Тулы зимой. Сам городок словно вымер, один кюре спешил к церкви, я хотела остановиться, перекинуться с ним парой слов, но он крикнул на ходу: «Скорее, мадам, начинается. Сейчас французы будут обращаться по Би-би-си к французам». Наверняка что-то изменилось в Розей. У матери я пробыла четыре дня, она меня откормила, обласкала, отогрела и в прямом смысле, и в переносном. В какие бы авантюры ни пускались ее столь разные по темпераменту дети — духовные или более соответствовавшие духу времени, — моя мать всегда относилась к нам с пониманием. Она и не думала меня отговаривать, не просила бросить мысль о Лондоне, не уезжать, хотя я оставляла ее совсем одну. Сказала только, что хочет приехать в Париж накануне моего отъезда.

Однако мне понадобилось целых шесть недель, чтобы отыскать через знакомую медсестру, чей брат работал инженером в Шалон-сюр-Сон, коридор для перехода в неоккупированную зону. Теперь, когда я была уверена, что скоро покину Париж, мне хотелось использовать последние дни на полную катушку. Человеку, который стремится узнать как можно больше о своем времени, все интересно: брожение, сборища, схватка умов, правдивые и фальшивые новости, смешные истории, первые ростки Сопротивления и набирающий силу коллаборационизм.

К красивым жестам французы относились весьма скептически. Подкупить их оказалось непросто. По поводу переноса праха Орленка, сына Наполеона I, говорили: «Лучше бы свежего мясца прислали». Первый расстрел заложников всеобщего возмущения не вызвал: «Саботажники сами виноваты; и чего им спокойно не работалось?», зато мелочи выводили из себя: «Как смеет «Сигнал» (журнал, ловко проводивший нацистскую пропаганду) писать, что французская мода вырождается, а германская ее во многом превосходит!»

Событие! «Шиллер-Театр» из Берлина приехал на гастроли в «Комеди Франсез». Жан де Панж позвал меня на спектакль. Мы долго обсуждали, можно ли аплодировать немецкой пьесе? А почему, собственно, нет? «Искусство, культура, — писал Александр Блок, — не зависят от варварства человека и эпохи». И вот мы в ложе. Давали «Коварство и любовь», зрителей много, они элегантны. Абец и Бринон могли быть довольны, и все же, когда героиня-англичанка произнесла: «Пусть я авантюристка, но за мной великая держава», — по залу словно пробежал ветерок.

Ходила я и в кабаре, с Альбеном и Юбером; французы и немцы сидели там бок о бок, хоть и за разными столами, и перед теми и другими стояла заспиртованная вишня. Песенки звучали веселые или сентиментальные: «Время вишен», «Перо жаворонка», но, когда запели: «И к черту английскую королеву, которая объявила нам войну», — хоть и нашлись такие, кто аплодировал (между прочим, не оккупанты), мы все трое, не сговариваясь, встали и вышли, причем Альбен довольно громко сказал: «Отличная французская песня, но спета не вовремя».

Наконец настал день, когда после бесчисленных хлопот был назначен отъезд, и я позвала мою мать. Она приехала, нагруженная съестными припасами.

Сначала мы отправились в гости к бывшему французскому послу графу Шарлю де Шамбрену и его блистательной супруге Мари де Роан, в прошлом Мюрат. Первый муж Мари де Шамбрен состоял в родстве с мингрельскими князьями, и ей было что порассказать о своем пребывании при дворе русского царя. Она показала мне письмо Распутина: каракули полуграмотного мужика, но выражения самые обходительные — это было у Старца в обычае, — а заканчивалось письмо благословением — безумец считал, что имеет право кого-то благословлять. Что касается самого посла, то его, когда он уезжал из Рима, ранила какая-то французская авантюристка, так что он не питал никаких нежных чувств к Виши, тем более к Лавалю. «Когда он в Риме вел переговоры с Муссолини, то только что не пел от радости, он готов был пренебречь любыми национальными интересами, уступал даже то, что Муссолини и не думал требовать», — рассказывал посол. Луи де Ластейри — он тоже был там, — верный сторонник де Голля и англичан, сетовал, что замок де Лафайета «Лагранж», в соответствии с семейными традициями, перейдет после его смерти к племяннику, тоже Шамбрену, зятю того самого Лаваля. А еще один Шамбрен был, по словам посла, коммунистом. Таким образом, семья Шамбрен являла собой пример трагического раскола среди французов.

В тот же вечер мы с моей матерью и Мари Меерсон, презрев комендантский час, решили отвести душу в русском ресторанчике «Джигит» на бульваре Эдгар-Кине. Наше трио выглядело неуместно среди немцев: других посетителей из-за позднего времени уже не было. Ели шашлык с черного рынка. Атмосфера царила какая-то мрачная. Лжецыганки старались расшевелить публику и время от времени заводили веселые песни, но победителям они не нравились, те предпочитали что-нибудь душещипательное. Грустным было их веселье, они словно упивались собственным отчаянием.

На следующую ночь я заказала в гостинице несколько номеров. Ко мне на ужин, если можно его так назвать, собрались Мари, Альбен и Юбер. Подошел и Жюльен Блан, он жил по соседству. Жюльена поразила моя мать. Он «левый»; к аристократам всегда относился с подозрением, считал их вырожденцами, не только высокомерными, но и достойными презрения, при всей их заносчивости. Моя мать перевернула все его представления. «У тебя шикарная матушка, просто потрясающая», — сказал он мне. Влюбленный Юбер в последний раз пытался отговорить меня ехать в Лондон. Война и в самом деле, судя по последним сводкам, казалось, подходила к концу, а раздавленной собственными руинами Англии вряд ли достанет сил долго сопротивляться. Он не мог понять, как могла согласиться мать на мой отъезд. «Не исключено, что она уже вдова, — шептал он ей на ухо. — Представьте, каково ей будет, даже если она доберется, — одной, без денег, в побежденной стране?» Альбен молча пил, а Мари радовалась: наконец можно будет не дрожать за меня, я же ничего не могу скрыть, громогласно объявляю во «Флоре», что собираюсь в Лондон. А может быть,

это меня и хранило. Наверняка доносчики, которыми кишмя кишело кафе, считали меня провокатором.

На следующий день — багаж мой был заранее отправлен в Экс-ан-Прованс — я с неизменным чемоданчиком, который тащила от самого Брюсселя, все с той же иконой и бутылкой арманьяка (накануне мне пришлось героически оборонять его от друзей) села в поезд на Шалон-сюр-Сон. Из документов у меня были просроченный паспорт и уведомление префектуры полиции Парижа с отметкой о невыезде.

Разумеется, я опять дрожала от страха. Воображение возвращало меня в кабинет следователя гестапо, только на этот раз он не был столь снисходителен. Но я твердо знала, что нужно следовать своим убеждениям, а уж что из этого выйдет — Бог ведает, и это не в нашей власти. Дальше мое путешествие, как любое удачное предприятие, развивалось как фарс.

В моем купе оказались одни мужчины: два чиновника Виши, как я поняла из их разговора, и журналист, катавшийся туда-сюда по Франции. Я была молода, мужчины общались со мной охотно, и спасение пришло со стороны сотрудничавшего с немцами журналиста. Вероятно, он угадал тревогу, которую я старалась скрыть, и решил, что у меня не в порядке документы. И принял участие в моей судьбе, разъяснив, что из всех проверок важна только одна, на подъезде к Шалон-сюр-Сон. «Будут проверять бумаги. Тех, у кого нет немецкого пропуска, отсылают обратно в Париж, что небезопасно». — «А как же в таком случае поступают те, кто хочет попасть в другую зону?» — проявила я чисто научный интерес. «Как поступают? Самые предусмотрительные выходят, например, в Дижоне — мы как раз к нему подъезжаем, — а уже оттуда добираются автобусом в Шалон, что менее опасно». Я его поблагодарила и встала. Он помог мне снять с полки чемодан, пожелал удачи, и я заторопилась к выходу.

Первое, что я увидела в Дижоне, были зловещие листовки на стенах: такой-то расстрелян за хранение оружия; такой-то расстрелян за укрывательство британских летчиков. А рядом реклама, расхваливающая знаменитую горчицу.

Автобус уходил только вечером. Может, кто-то и теряет от волнения аппетит, но лично я, наоборот, ужасно хочу есть. Я душила свой страх в превосходном ресторане и успела даже написать несколько писем. В автобус села одной из первых, вскоре он уже был набит битком. Я оказалась где-то в хвосте и чувствовала себя не слишком уверенно. Автобус выпустил облако дыма и тронулся. Спустя некоторое время он остановился. Проверка.

Французские жандармы — сопровождавшие их немецкие солдаты остались снаружи — протискивались в салон, распихивая пассажиров плечами, вызывая возмущенные возгласы: «До чего же надоело!» — «Мы и так опаздываем!» — «Да ладно вам, ведь каждый день нас видите!» — «Просто невозможно работать!» — а уж непечатное я опускаю. Те, что были впереди, со злостью совали проверяющим свои про-

пуска, раздражение нарастало. Тут немец подал знак, и жандармы вышли из автобуса, так и не добравшись до меня.

И вот я в Шалоне. Зашла в бистро спросить дорогу. «Сразу видно, что вы нездешняя. До комендантского часа осталось десять минут. Это нам в наказание! С восьми только по пропускам, да еще штраф придется платить. А ваша улица в пригороде, вон там, направо. Бегите через мост. На той стороне можно ходить до десяти».

Любопытство было сильнее желания оказаться на другой стороне.

— А что вы такого сделали?

— Лично я — ничего. Но кто-то положил клок сена к ногам бронзовой лошади на площади и написал: «Когда все съест, Германия победит!»

Бежала я так, словно и впрямь вот-вот начнут стрелять. Ноги меня не подвели, я успела перескочить мост через Сону и, запыхавшись, вся взмокшая, остановилась. Непривычное, пустынное рабочее предместье — дорогу спросить не у кого. На набережной еще одно бистро, я толкнула дверь. Совсем как в зале ожидания на вокзале. Желающие перейти линию — а их собралось немало — сидели на чемоданах. Я спросила у кассирши, где находятся нужная мне улица и дом. Она сказала, но прежде выяснив, от кого я. Оказалось, недалеко. Я постучала в дверь рабочей хибарки, открыла молодая женщина. «Госпожа Г. — это вы?» — «Да, а вы от кого?» Я назвала фамилию инженера. «Хорошо, входите!» Женщина совсем молоденькая, слегка раздраженная, но никакой подозрительности в ней нет.

— Этим занимается мой зять. Он придет позже. С вас три тысячи франков. Он ведь ужасно рискует. Сама-то я денег не беру. У меня муж в тюрьме, вот и помогаю.

Она без особой радости согласилась оставить меня на ночь в доме и провела в холодную, как ледник, спальню. Какая редкая по тем временам и соблазнительная картина: над кроватью висели два окорока и большой кусок копченого сала. Наконец пришел обещанный зять и не вызвал у меня никакого доверия: он, совершенно не скрывая, разглядывал меня и прикидывал, сколько можно выкачать денег. Я сказала, что хочу повидать любовника на юге, а потом вернусь в Париж, но другой дорогой. Он спросил, не еврейка ли я. С евреев он брал дороже, потому что и риск был больше. Потребовал показать документы. Я протянула свой просроченный паспорт, он оставил его у себя, заявив, что вернет за демаркационной линией. Думаю, он работал на паях с контрольно-пропускным пунктом, охранники взимали с него свой процент, но требовали подтверждений, что перебежчики не объявлены в розыске. Мой проступок был по тем временам слишком незначительным, чтобы обо мне могли сообщить пограничникам. «Завтра сфотографируетесь, я приклею вашу фотографию на пропуск одной работницы из приграничного района. Если все будет нормально, послезавтра утром пойдем».

Продрожав всю ночь, я наутро снова перешла мост. Шалон-сюр-Сон исполнял свою роль прифронтового города с большим рвением. Толпы кандидатов на пересечение границы прогуливались по улицам с независимым видом и чемоданами в руках, а местные жители наперебой предлагали им свои услуги, даже не считая нужным понизить голос. Я вошла в фотоателье, где на витринах красовались снимки новобрачных и детей

перед первым причастием. Не успела войти, как меня окликнули: «Вам для фальшивого пропуска? Проходите сюда!» Пленка сохранила мою улыбку: я не могла сдержаться.

Вечером возник небольшой конфликт. Проводник казался мне подозрительным, но, как выяснилось, он тоже мне не доверял. «Почему, скажите на милость, у вас обручальное кольцо на правой руке, как у немцев?» — «В Бельгии тоже так носят. Успокойтесь. Будь я немкой, у вас уже начались бы неприятности». — «Ну ладно, рискнем. Теперь так, если у вас есть драгоценности или большие деньги, давайте мне, на другой стороне верну».

Я заверила, что денег у меня только пять тысяч, из них три — для него, а драгоценностей нет. Простучала зубами еще одну ночь. В семь утра проводник зашел за мной с двумя велосипедами. Именно этим «королевским» транспортом добирались обычно до завода работницы. Увы! Я никогда не могла удержаться на двух колесах. Ругаясь на чем свет стоит, мой спутник спустил одну камеру и протянул мне рабочее удостоверение. Если я в своей шубе из каракульчи, даже с косынкой на голове, весьма отдаленно напоминала работницу, то уж пропуск с моей фотографией на месте другой, оторванной, и с небрежно дорисованной чернильным карандашом печатью и вовсе мог удовлетворить только очень близорукого охранника. Мы тронулись, толкая свой транспорт, и всю дорогу проводник ругал неумех, которые и на велосипедах ездить не могут.

Так и шли, держа их за руль, пока не оказались у пропускного пункта. «Kaput?» — спросил солдат. Я ответила: «Ya, kaput». Он потрогал заднее колесо: «Ach, anschwellen!»[1] — и показал жестами — вот уж поистине неуместная любезность — что может надуть камеру. «Nein, nein! Времени нет», — я протянула свой пропуск и тут же вероломно выставила ножку: «Вот черт! Опять чулок поехал!» Услышав знакомое ругательство, он успокоился и вернул мне документ. «Живее», — поторапливал меня проводник. Несколько шагов, и невидимая демаркационная линия осталась позади. Мы прошли вперед и, свернув с дороги, остановились, чтобы рассчитаться. Пожали друг другу руки, я всегда могу рассчитывать на него, если еще понадобится переходить границу или что-нибудь переслать, заверил он. «А теперь выкручивайтесь сами, как знаете. Я сделал для вас все, что мог». — «Нет ничего проще! — сказала я, несколько удивившись. — Дойду до ближайшего вокзала и сяду в поезд на Лион». — «Как бы не так, красавица. Все вокзалы охраняются жандармами, и пассажиры проходят контроль!» — «А что же мне делать?» — «Идите по дороге, авось какая-нибудь машина подберет. Женщина скорее может остановить!»

Мы снова обменялись рукопожатием и, в общем, оба остались друг другом довольны. Он повернул к деревне, а я, не скажу, что очень бодро, пустилась в путь.

---

[1] Камера лопнула (*нем.*).

ВО ФРАНЦИИ ПЕТЕНА

«Какое унижение бояться жандармов в свободной зоне», — думала я, шагая по шоссе к Турнусу. Время от времени меня обгоняли машины или запряженные лошадьми повозки, но ни одна не останавливалась. А на всех железнодорожных станциях, мимо которых я проходила, дежурили жандармы. Наконец рядом со мной затормозил новенький грузовик. «Куда шагаете?» — поинтересовался шофер. «В Лион». — «Надо же, и я туда, залезайте в кабину. Парижанка?» — «Да». — «И я из Парижа. Перегоняю грузовики в Лион. Вот я и подумал: отчего другим не помочь? В каждый рейс захватываю то почту, то деньги, и пассажиров подвожу, если внушают доверие. Надо же проявлять сочувствие». — «Большое вам спасибо». — «Да чего там! Только так я и могу воевать». По дороге мы курили и болтали. В каждой деревне останавливались. Шофер просил меня вылезти из машины, а сам доставал из потайных мест деньги и письма. Потом мы заходили в местное бистро, где его встречали как родного. Я пробовала заплатить хотя бы за вино и еду, но водитель только хохотал: «Это еще зачем? Я по дороге ни гроша не трачу — сами видите». Кормили и поили его повсюду вдоволь, привечали заодно и меня, да так щедро, что в Лион мы прибыли в весьма приподнятом настроении. Распрощавшись со своим спутником, я собрала все свои силы и позвонила в дверь одной подруги, Элен. Ее уже предупредили, и она, хоть и была сторонницей Петена, согласилась на ночь меня приютить.

На следующий день мы отправились на вокзал, и я без всяких затруднений купила билет в Экс-ан-Прованс. На платформе было полно жандармов, следивших за посадкой. Но мне уже осточертело бояться французов. Охваченная праведным гневом, я решительно двинулась прямо к стражам порядка и выложила, не дав им открыть рта: «К вашему сведению я бельгийка, работала медсестрой во французском военном госпитале, подпольно выехала из Парижа. Мне тут говорят, вы такие гадкие, что можете меня назад к немцам отправить, но я не верю». Они сначала остолбенели, а потом один ответил с улыбкой: «И правильно делаете, не так уж мы плохи». Взял мой чемодан, а его напарник помог мне сесть в поезд и устроиться в купе.

Прованса я не знала. Экс очаровал меня, покорил мое сердце сразу же, как только я сошла на перрон. Весна в разгаре, молодая листва, ленивая южная суета. Мне не терпелось осмотреть город. Под платанами бульвара Мирабо прогуливались студенты и курсанты школы Сен-Сир, хорошенькие, хотя и коротконогие, девушки, грузноватые мужчины, мед-

лительные, погруженные в себя бельгийцы всех возрастов. Красивые серые дома золотило солнце. За шумом голосов и смехом угадывались неумолчный плеск фонтанов, журчание источников, наполнявшие радостью мою душу. Андре Маршан повел меня к Жану Мао, поэту и государственному чиновнику. По его распоряжению в соборе нам открыли алтарь с триптихом Никола Фромана; я сравнивала Неопалимую Купину с современной живописью и отчетливо понимала, что ее развитие не стало прогрессом в искусстве.

Экс заставил меня забыть на время о своих несчастьях, умерить стремление попасть в гущу событий и подарил мне пестрый калейдоскоп очаровательных нелепых картинок. Вот выходят из особняка богатая вдовушка в митенках и благородный, несколько поблекший господин, опирающийся на трость с набалдашником из слоновой кости; а вот играют в петанк в ожидании похоронной процессии могильщики без курток, но в цилиндрах. Из окон комнаты, снятой мною на загородной вилле со спускавшимися террасами, открывался сезанновский вид на Сент-Виктуар... Марсель Жимон показывал мне свои скульптуры, Тэл Коут — новые, еще не абстрактные, полотна, и, естественно, я оказалась за столиком в «Дё Гарсон» — местной «Флоре», «Лип» и «Дё Маго», где, конечно же, встретила парижских знакомых. Юг Франции принимал беженцев с севера, как Крым во времена гражданской войны петербуржцев и москвичей. Один уроженец Лилля жаловался на хорошую погоду: солнце и обилие света разнежили его, мешая работать. Андре Жермен мотыльком порхал от одной стайки студентов к другой. Блез Сандрар напивался в кафе попроще; красный, возбужденный, он веселил нас, громко и образно описывая свои тысячу и одно приключение: «Говорю вам, Жан Кокто родился в тот миг, когда Катул Мендес положил ему руку на ширинку», — и он, словно крылом, взмахнул своей культей. В Шато-Нуар обосновались художники. На рыночной площади выставлялись «натюрморты»: горы фруктов и овощей. Здесь же находилась прямоугольная тюрьма, раскаленная зноем, от которого изнывали заключенные.

Тому, что так возрос мой интерес к евреям, безусловно способствовал Гитлер. В Эксе их оказалось великое множество, и я быстро с ними перезнакомилась. Мне трудно сказать, что они были дружны между собой. Немецкие евреи с презрением относились к выходцам из Центральной Европы, считая их ответственными за собственные беды; французские же, считавшие на протяжении веков Францию своей родиной, переняли от французов этого поколения отвращение к чужакам, даже своим единородцам.

Ни ювелиры из Антверпена, ни банкиры из Амстердама, ни интеллигенты из всех захваченных немцами стран — никто из тех, с кем я была знакома, не помышлял ни о чем, кроме собственной безопасности. Некоторые запаслись китайскими паспортами. Куда они собирались? На Кубу, в Бразилию, Аргентину, в Соединенные Штаты или даже на острова Тихого океана — во всяком случае, они не желали ни оставаться во Франции, чтобы бороться в рядах Сопротивления, ни переправиться в Великобританию, продолжавшую воевать.

— Мы народ невоинственный, — говорил мне адвокат из Антверпена. (Вновь образованное государство Израиль доказало обратное, да и акция Штерна против британцев в разгар войны в Египте — тоже. — Так почему, если убили лорда Мойна, не убили Гитлера?) Обладавший чувством юмора адвокат критически относился к наследию своего народа: он допускал, что Гитлер мог черпать вдохновение и в Библии.

— Там и о народе избранных написано, и понятия жизненного пространства и untermenschen (недочеловека) обоснованы. Моя мать, рожденная в Лодзи, переехав в Антверпен, отказывалась есть за одним столом с нееврееем. Так что, как видите, Библия обрушилась на наши головы, словно неумело пущенный бумеранг.

— Но я тоже считаю вас избранным народом, — возражала я, — только не в том смысле, который вы в это вкладываете. Вы обладаете разносторонними ярчайшими талантами, но порой продаете их за тарелку чечевичной похлебки и оттого теряете некоторые из своих достоинств — пророческий дар, например.

Он в ответ улыбался, как улыбаются мудрецы, — скептически и разочарованно. Хотя я и не одобряла у евреев позицию неучастия в деле, прямо их касающемся, но до самого отъезда общалась только с ними к великому неудовольствию шумных юнцов, приверженцев Петена, захаживавших в «Дё Гарсон»; кончилось тем, что они избили какого-то молодого человека, отказавшегося пить с ними за маршала.

Здесь же, недалеко от Экса, в лагере Миль, жили и менее состоятельные евреи. Режим этого лагеря был тогда еще достаточно свободным, и несчастные могли ездить в Марсель хлопотать о разрешении на визы в Соединенные Штаты. Даже в тех странах, где национальная терпимость, казалось бы, прочно укоренилась, все равно при малейших переменах обстановки нетерпимость дает о себе знать. Шофер автобуса, на котором я ехала в Марсель, не остановился на призывы людей, стоявших вдоль дороги. Я удивилась, а он презрительно хмыкнул: «Да это же евреи из Миля».

Нельзя сказать, что относительно спокойного существования, которое вели жители Экса, никак не касалась политика, но их сопротивление если в чем-то и выражалось, то только в речах и отношениях, завязывавшихся между людьми одного круга. В душе многие в Эксе поддерживали де Голля. Нашелся и один по крайней мере англичанин, настроенный антибритански: он уже долгие годы жил в Провансе, служил офицером, потерял на прошлой войне руку. Был богат, выставлял напоказ молодую любовницу, а она — сногсшибательные туалеты, во всеуслышание заявлял о своей неприязни к Англии, а на Петена и Гитлера только что не молился. Я отказалась пожать ему руку, однако не исключено, что этот «предатель» являлся просто-напросто отличным британским разведчиком.

Обсуждать Петена я избегала, а тем, кто настаивал на таких разговорах, объясняла, что, хотя меня и не устраивает миф о бельгийском короле, живущем пленником, тем не менее я рада, что в Бельгии не создано никакого правительства. А это значит, что вся ответственность за репрессии против евреев, участников Сопротивления и политических

эмигрантов ляжет на самих немцев. Ответ, конечно, уклончивый. Но как я, собственно, могла относиться к Петену? Война 1914—1918 годов лично для меня закончилась крушением Российской империи и победой коммунизма, когда мне было одиннадцать лет. Я, разумеется, понимала, что личность маршала Петена предопределяет позицию Франции больше, чем, скажем, личность Лаваля или любого другого француза, и что это усугубляет разногласия внутри нации. Лаваль был малопопулярен в тех кругах, где я вращалась, и тем не менее я не могла запретить себе симпатизировать овернцу, особенно после покушения Колетт: тяжело раненный Лаваль просил тогда помиловать стрелявшего в него 29 августа 1941 года человека. Был ли это только человеческий порыв или политический жест — какая разница! Я всегда преклонялась перед людьми, умеющими прощать.

Одного человека среди толпы съехавшихся в Экс беженцев я запомнила навсегда. Должность он занимал незначительную — мелкий служащий мэрии. Сидел день-деньской за своим окошечком и выписывал разрешения на пребывание в городе, на передвижение. Мне пришлось предъявить выданную префектурой Парижа справку, но его она нисколько не смутила. И он мгновенно оформил все, что требовалось. А когда я по привычке сунула ему деньги, отказался: «Нет, нет, не надо».

И так повторялось каждый раз. А разрешения требовались мне все чаще и чаще, поскольку я ходила по инстанциям, надеясь, что кто-нибудь поможет мне выехать из Франции. Я обратилась к квакерам в Марселе. Мне ответили, что они занимаются только евреями. Побывала в консульстве США. Тут тоже, несмотря на сестру-американку, для меня ничего не сделали.

А потом мой приятель, молодой ювелир из Антверпена, свел меня с единственным человеком, бельгийским сенатором Франсуа, который мог помочь и которому я могла быть полезной. Сенатор открыл службу помощи беженцам из Бельгии. Толпа страждущих, осаждавших его контору — большинство из них были евреями, — вернула меня к действительности. Посетители кафе «Дё Гарсон» со всеми своими переживаниями находились тем не менее в привилегированном положении и ничем не походили на этих потерянных, отчаявшихся, лишившихся всего людей. Денег, получаемых от Красного Креста, на всех обездоленных не хватало, и сенатор Франсуа часто прибегал к щедрой помощи моего приятеля В., не жалевшего денег для соотечественников. Помимо этой официально разрешенной деятельности, сенатор вел и другую, стоившую ему жизни, а его жене и дочери — заключения в концентрационный лагерь.

Во время обеда на улице Сен-Ферреоль Франсуа спросил, не могу ли я навестить нескольких бельгийских заключенных в тюрьмах правительства Виши, и, когда я согласилась, назвал их имена. В Эксе отбывали наказание шесть совсем молодых бельгийцев, бежавших из лагеря с намерением добраться до Англии. Задержали их за воровство яблок из сада, что вполне могло соответствовать действительности, поскольку денег у них не было, и питаться приходилось тем, что попадало под руку.

Я не стала получать разрешение, а прибегла к женской хитрости. Стояла летняя жара; я купила на рынке две корзины малины и позвонила в дверь тюрьмы. Объяснила стражникам, что торговала на базаре да вот подумала, как, должно быть, им неуютно в такое пекло в каменном мешке, и принесла малинки. Никаких запрещающих инструкций на сей счет не имелось, охранники пустили меня в служебное помещение, и мы вместе опустошили мои корзины. Я рассказала, что сама бельгийка, муж пропал без вести, и мне хотелось бы для морального удовлетворения сделать хоть что-нибудь для своих соотечественников. «Точно, у нас сидят несколько бельгийцев, ведут себя смирно, юнцы, да еще барон». Барон у меня в списке не значился, и я спросила, можно ли его повидать. Конечно, это не совсем законно, но что тут в конце концов плохого? Увы! Барон — впрочем, неизвестно, настоящий ли — не по вполне очевидной причине оказался в тюрьме, причем умолял меня не открывать Франсуа, где он находится, и вообще им не заниматься. Арестовали его, по собственному признанию, за какое-то дело, связанное с абортом, и он желал, чтобы о нем забыли. Что же касается остальных шести заключенных, в тот день я и не пыталась с ними увидеться, спросила лишь, когда их будут судить и кто обвинитель. Совершенно случайно я знала его в лицо. Каждое утро молодой заместитель генерального прокурора ходил в тот же бассейн, что и я. На следующий день я уже его поджидала, и, едва он уселся на бортик бассейна, оказалась рядом. Французы народ галантный — и мы болтали, жарясь на солнышке.

— Смешно, конечно, — сказала я, протягивая ему захваченный с собой персик, — но я люблю ребяческие проделки; не знаю большего удовольствия, чем стянуть яблоко или грушу из чужого сада. Уверена, этот персик был бы куда вкуснее, если бы я сорвала его у соседа.

Прокурор улыбнулся.

— Ну что же, признание за признание: я тоже мальчишкой лазил по садам.

Тогда я достала из пляжной сумки листок с шестью фамилиями и протянула ему.

— В таком случае вспомните об этом, когда будете послезавтра выступать против них в суде.

Прокурор покатился со смеху.

— Здорово вы это подстроили, ваша взяла. Приходите на заседание.

В суд я опоздала. Процесс над моими протеже уже закончился, но прокурор, заметив, что я вошла, черкнул несколько слов и передал мне с судебным исполнителем. Шестерых мальчиков оправдали, меня приглашали в тюрьму, чтобы я могла, фигурально выражаясь, собственноручно распахнуть перед ними двери свободы. Для ровного счета к ним добавили британского матроса.

— Если вы и дальше будете продолжать в том же духе, у нас скоро никого не останется, — пожаловались мне охранники.

Я затащила всех семерых в пивную, и мы отпраздновали их, возможно, временное освобождение. Бельгийцев я потом отправила к Франсуа, а англичанин сказал, что у него есть знакомые в Марселе, и ему нужны только деньги на дорогу.

Успех меня окрылил. Я отправилась еще к одному пленнику, его дело было посложнее, судя по тому, что он содержался в морской тюрьме Тулона. Адвокат из Экса, господин Гарсен, считал, что этого человека, имевшего двойное, бельгийское и британское, гражданство, было бы легче освободить, если бы он отказался от британского.

И вот я в Тулоне. Здесь порядки оказались построже, пришлось обращаться за разрешением. Следователь держался со мной любезно, но твердо.

— Вы не являетесь ни матерью, ни сестрой заключенного. На каком же основании я разрешу вам свидание?

Я хорошо помнила, что нахожусь во Франции, и эта песня была мне знакома. Я потупила взор и смущенно намекнула стражу порядка, что существуют узы сильнее — и нежнее! — кровных. А любовь возьмет любую крепость.

Мне не терпелось увидеть, как же выглядит мужчина моей мечты. Охранник провел меня отнюдь не радующими взгляд коридорами в пустую сырую каморку и пошел за узником. Когда открылась дверь, я не позволила себе рассмотреть входившего, — мне хотелось сыграть свою роль как можно лучше. Я сразу кинулась ему на шею с возгласом: «Наконец-то, любимый!» И поцеловала. Если он и удивился, то не подал виду. Не стал недоуменно спрашивать: «Кто вы такая, мадам?» и — тоже меня поцеловал. Охранник извинился, что служебный долг заставляет его присутствовать при свидании, и деликатно отвернулся к стене, а я потащила своего незнакомца в другой угол. Молодой блондин — лицо искусано обычными для тюрьмы насекомыми — был бледноват, но крепок. Я шепнула ему: «Господин Гарсен вами занимается, но лучше бы вы оставили только бельгийское гражданство». — «Тут ничего не поделаешь, — ответил он. — На это я не пойду». — «Надеюсь, скоро мне удастся перебраться в Англию. Вам ничего не надо передать?» Он назвал мне адрес крупного промышленного консорциума, и я пометила его в блокноте. «Пишите мне, пока вы во Франции, — сказал он. — Я здесь уже два месяца, время тянется ужасно долго, но надежды я не теряю». Он просил передать Франсуа, что в тюрьме находятся два бельгийских подростка, пятнадцати и шестнадцати лет.

«Пора, голубушка», — окликнул меня охранник. Мы снова поцеловались. «Спасибо, спасибо», — шептал пленник. Потом я видела его еще раз, в 1943 году в Лондоне, в форме офицера британской армии, но тут уж обошлось без поцелуев.

Сенатор Франсуа давал мне и другие поручения. Иногда очень смешные; конспирации за день не научишься, и наши хитрости были шиты порой белыми нитками. Так, однажды я встречалась на крохотном, абсолютно пустынном вокзале с «мужчиной в тирольской шляпе». Такой необычный для этих мест головной убор мог лишь привлечь внимание полиции.

На горе Ванту, в Сентра, я увиделась с Жан-Пьером Дюбуа и его сыном и позвала их с собой в Лондон. Но он лишь твердил в ответ: «Трудно это»; «Это сложно». «Секретный агент», — подумала я. Иногда к нам присоединялся еще один бельгиец, депутат от социалистов.

Тот был за Петена. Я спросила, почему. «А наши министры, удравшие, меня не спросив, в Англию, думаете, не стали бы петеновцами, если б их побег не удался?» — ответил он мне.

22 июня Гитлер напал на СССР. В двадцать четыре часа все русские эмигранты по распоряжению оккупантов были арестованы французской полицией. Отнеслись они к этому философски, памятуя о народной мудрости: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Тюрьмы оказались переполнены, и русских из окрестностей Марселя поместили на судно, стоявшее на рейде в порту. Поставленные охранять их жандармы не без удивления смотрели на бородатого длинноволосого священника, молодых и старых мужчин — кто-то из них говорил по-французски, а кто-то молчал. Одни играли в карты, другие утешались водкой, которую умудрились пронести с собой, или громко спорили. По вечерам марсельцы слышали доносившееся с корабля нестройное пение.

У меня на душе скребли кошки: бельгийское подданство избавило меня от участи бывших соотечественников. Я даже пошла в полицию, чтобы заявить, что я тоже русская, но комиссар отказался меня арестовать.

Событие, происшедшее 22 июня, имело — и это чувствовали многие — первостепенное значение. Россия стала тем самым лишним апельсином, о котором я говорила Ферри. И все же я не могла не думать о том, что происходило в моей родной стране, и о той кровавой войне, в которую в третий раз за четверть века оказался втянут русский народ. Недаром, когда 3 июля Сталин произносил свою речь, он обращался не к товарищам, а к «братьям и сестрам», как повелось на Святой Руси.

В войну вступила несчастная страна, ее угнетенный народ. Но хоть я и предчувствовала победу русских, зная, что все многочисленные иноземные вторжения на Русь неизменно заканчивались разгромом агрессора, то были лишь не согласованные с разумом надежды. В течение долгих лет Сталин занимался больше чистками и репрессиями, чем экономикой и промышленностью страны. Армия была плохо подготовлена и оснащена, генералы, такие как Тухачевский, расстреляны; и советников, тоже лежавших в могилах, на помощь не позовешь. Трудно было ожидать от народа верности тирану, который внушал ему страх, но не так-то просто вырвать из сердца любовь к людям, к земле, с которыми тысячу лет были связаны целые поколения твоих предков. Презирая и ненавидя коммунистический режим, я тем не менее желала победы русским.

К 11 июля немцы уже дошли до Смоленска. Умом я понимала, что положение опасное, но помнила слова Суворова: «Побеждают не числом, а умением».

Газеты Виши ликовали: «Красная Армия на грани разгрома, население встречает победителей хлебом и солью». То было сущей правдой — по сей день в исторических трудах ищут объяснение этой нелепице, но сколько лжи, святой и кощунственной, можно найти в подобных книгах. Наверное, надо быть русской, чтобы понять трагедию народа, оказавшегося между молотом и наковальней: сталинской тиранией и тиранией нацизма. Много лет угнетал его правящий режим (а сколько сторонников поддерживало этот строй в свободных странах). Так что тысячам, если не миллионам плохо осведомленных советских

людей вторжение немцев в СССР казалось прелюдией будущей свободы. Не будь Гитлер Гитлером, он мог бы выиграть и извлечь немалую выгоду из этой кампании. В СССР сопротивление началось только тогда, когда русские поняли, что германская армия несет не спасение, а уничтожение, и ненависть к захватчикам возобладала над ненавистью к правящему режиму.

С русскими эмигрантами я в ту пору не виделась. Но предполагаю, что и среди них должно было произойти размежевание. Однажды, дело было в июле, я зашла в Марселе в кондитерскую. Не столько по акценту, сколько по своеобразной напевности речи я поняла, что официантка русская. «Кому вы желаете победы?» — спросила я ее, и она, со слезами на глазах, ответила: «Как вы можете сомневаться? Я русская, мой отец — морской офицер. Разумеется, я хочу, чтобы победили русские». Я расцеловала ее, хотя у самой сердце разрывалось от противоречивых чувств.

Судьба моя была в руках сенатора Франсуа. Действовал он очень успешно. Наступил день, когда он сказал мне: «Все в порядке, девочка моя, вам дают ангольскую визу. Вот телеграмма из Лиссабона. Не забудьте: вы вдова без средств к существованию, двоюродный брат согласился приютить вас у себя в Анголе, нейтральной стране. Остается обратиться в консульство США за паспортом». И, действительно, в консульстве Соединенных Штатов мне выдали паспорт от имени короля Бельгии. А вот и первое препятствие — испанское консульство в Марселе отказало мне в транзитной визе. Причина: место рождения, Москва, а то, что я — жертва коммунистического режима, ничего для них не меняло. Франсуа послал депешу в Лиссабон, и оттуда вскоре пришла телеграмма: явиться в испанское консульство в Сете такого-то числа в такой-то час. В Сете — это название было связано для меня только с «Морским кладбищем» — меня принял человек неопределенной национальности: «Вы госпожа де М.?» Он провел меня к консулу. Мне выдали визу, дорога была свободна.

На прощальной встрече я с Франсуа и Б. съели вкуснейший пармский окорок и дыню в ресторане, снабжавшемся с черного рынка. «Не знаю, возьмете ли вы, но я хотел бы передать с вами в Лондон некоторые документы для премьер-министра Пьерло». Мне даже в голову не пришло отказаться. Получив документы, я обнаружила, что это вовсе не один-два листочка, а увесистый, к тому же запечатанный сургучом пакет. Сразу же возникла новая проблема. Гражданских пассажиров в международных поездах бывает мало, и меня без сомнения будут досматривать и французы, и испанцы. Мне вовсе не улыбалось провести всю войну в лагере. А еще меньше хотелось переходить пешком Пиренеи — не люблю горы. Я уже собиралась возвращаться с документами Франсуа в Экс, как вдруг мой взгляд упал на витрину агентства «Люфтганза». Вот что я сделаю — попробую добраться до Англии с помощью

немецкого самолета. Пассажирка германской воздушной компании вряд ли вызовет подозрение властей. Я вошла в агентство. Вокруг меня засуетились: клиентов было мало. Я показала паспорт, рассказала свою историю. В Анголу? «Разумеется, это возможно. Когда вам удобно? Через десять дней? Великолепно!»

Я с триумфом вернулась в Экс. Написала Марли, чтобы зарплату мужа пересылали, пока не кончится война, моей матери. Написала ей и послала в качестве прощального подарка килограмм миндального печенья с проводником из Шалон-сюр-Сон: он слопал его сам, а деньги, которые я дала на пересылку и за труды, прикарманил. Потом я поехала в Виши, чтобы получить разрешение на провоз значительной суммы денег. Не вся она принадлежала мне. Друзья-евреи попросили перевести несколько десятков тысяч франков в Соединенные Штаты.

Ставший столицей, Виши с множеством чиновников выглядел забавно и вместе с тем печально. Роль его была ясна — спасать мебель из огня, но у каждого на этот счет имелись собственные соображения. Руководил спасательными работами адмирал Ли, поскольку остальной мир был озабочен будущим Франции, а генерал де Голль не всем внушал доверие.

Отослав чемоданы в Лиссабон, я доживала последние деньки в продуваемом октябрьскими ветрами Эксе. Оставалось только поблагодарить моего друга из мэрии. Опасаясь, что приглашение на ужин, если будет исходить от женщины, смутит его, я решила скооперироваться с двумя немецкими беженцами, которые тоже были ему многим обязаны. Ужин мы заказали заранее, в отдельном кабинете, подальше от любопытных взглядов. Наш благодетель пришел, воздал должное и кухне, и погребам, пожалел, что я уезжаю, рассказал уйму марсельских анекдотов и, несмотря на наши бурные протесты... заплатил по счету. «Не беспокойтесь! Мне платят люди побогаче вас, когда им нужно, да столько, что дьявол меня побери, если я вам хоть одну рюмку оплатить позволю!»

После окончания войны я разыскивала этого чудесного человека, хотела добиться для него специальной награды от бельгийского правительства. Но мне сказали, что он погиб при бомбардировке Марселя. Еще один долг остался неоплаченным.

Последний свой вечер во Франции я провела в деревенском домике Андре Блоха, недалеко от Экса, с Полем Штейном, Пьером Гастала и другими друзьями. Один из них, рискуя попасть в тюрьму за подпольную сделку, сходил на какую-то ферму и купил молодого ягненка. Мы зажарили его на костре, поглядывая по сторонам, как бы дым не привлек жандармов. В колодце среди оливковых деревьев охлаждались дыни, рекой лилось смородиновое вино. Разделившие в тот вечер со мной трапезу счастливо избежали смерти, кроме самого младшего, Пьера Гастала, погибшего в Париже, куда он вошел с армией Освобождения.

Я покидала Францию с радостью, но ясно сознавала, что оставляю тут свою молодость. Хотя поведение французов неприятно поразило меня и причинило немало боли, тяжелое впечатление смягчала человечность взаимоотношений, проистекавшая из разумного пренебрежения законами и бюрократическими препонами. То, что один запрещал вам именем

порядка, другой разрешал, памятуя о том, что человек не должен быть полностью подчинен государственной машине, о какой бы стране ни шла речь. В том, что один человек может исправить несовершенство законов и руководствоваться в своих поступках состраданием или здравым смыслом, заключена глубокая и нечасто встречающаяся мудрость.

1 ноября, в День поминовения усопших, я находилась в Мариньяне. Меня доставили туда на машине компании «Люфтганза» вместе с двумя офицерами. Мой чемодан — ни одному таможеннику в голову не пришло его открыть — подняли в самолет со свастикой. Я небрежно помахивала сумкой, в которой лежали документы сенатора Франсуа. Странный свой паспорт держала в руке. Но пограничник едва осмелился взглянуть на него. А вдруг я любовница одного из офицеров? На борт поднялись еще несколько офицеров с крестами на груди и один пассажир-испанец. Я оказалась единственной женщиной. И впервые летела на самолете, к тому же было это 1 ноября. От страха перед предстоящим испытанием я начисто забыла о сумке с опасными документами.

Но ничего страшного не произошло, напротив, в воздух мы поднялись очень плавно. Земля осталась под крылом, за иллюминаторами — облака. Обстановка в салоне была очень теплая. В отсутствии конкуренции я пользовалась сногсшибательным успехом. Каждый старался со мной заговорить на удивительной смеси европейских языков. Мой сосед даже заказал шампанское; мы подняли бокалы. «А что вы везете в такой большой сумке?» — спросил в шутку полковник. И я, тоже в шутку, ответила: «Секретные документы», — весь самолет дрожал от хохота! Позади остался Руссийон, мы летели над морем. Потом показалась красновато-желтая земля с извилистыми очертаниями — Испания. Я подумала, что скоро мы будем в Мадриде. Кто знает, вернусь ли я из этого путешествия живой, увижу ли картины в Прадо.

— Ах, до чего мне хочется побывать в Прадо! — сказала я испанцу.

— А что вам мешает?

— Я как-то заранее не подумала и попросила транзитную визу, теперь у меня в паспорте стоит отметка: «Задерживаться запрещено».

— Как неосмотрительно вы поступили! Но, думаю, это можно будет исправить по приезде.

Самолет начал спускаться. Мне заложило уши. Но начало моего путешествия было столь удачным, что я не сомневалась в счастливом финале.

«Юнкерс» коснулся земли. Я должна была дожидаться прямо на аэродроме другого самолета, который доставит меня в Лиссабон. Офицеры откланялись, а испанец вступил в переговоры со службой безопасности. Действительно, все уладилось, как он и обещал. Покидая летное поле, я погладила крыло «юнкерса» — лучшей моей защиты.

Такси отвезло меня в «Палас-отель». Люблю старинные гостиницы в стиле рококо, выстроенные в не стремившемся к утилитарности веке, да и роскошь мне никогда не приедается. Приняла ванну и отправилась в Прадо. Дело сделано. Что бы теперь ни случилось, я, по крайней

мере, успела увидеть Гойю, Мурильо, Веласкеса, примитивистов, но — увы! — не отыскала портрет бородатого дона Педро Ивановича Потемкина, царского посла XVII века, который где-то тут выставлен. В восемь часов в кафе я встретилась со своим испанцем и его супругой. Какой счастливой я себя чувствовала оттого, что очутилась в Испании. Но Мадрид был болен, изранен, обескровлен, статуи еще не вернулись на свои постаменты, на домах — следы снарядов. Истощенные дети тянули к вам руки. До чего мне все это было знакомо! Бедная Испания, как и богатая Россия, заплатила дань гражданской войне.

В Мадриде я провела три дня; повидалась с Жермен Итье и ее мужем, которые занимались бельгийским Красным Крестом. Они обрадовались, когда узнали, что я избежала «Миранды» и других концлагерей, где дожидались освобождения французы, канадцы, бельгийцы, голландцы. (Между прочим, правительство Виши выдало одного испанского беженца и арестовало беженцев русских, тогда как Франко не выдал Германии ни единого патриота из союзнических стран.) Мне было почти стыдно, что я путешествовала с таким комфортом.

После трехдневной «фиесты» я снова села на самолет компании «Люфтганза». На этот раз моими спутниками оказались гражданские лица. Они все были молоды и походили на викингов. Под прекрасного покроя одеждой играли налитые мускулы. «Мы пасторы, — объяснили они, — только что окончили теологический факультет в Гейдельберге и направляемся миссионерами в Бразилию». Мне было легче представить их прыгающими с парашютом, чем проповедующими божественную любовь в храме. Обольщение, диверсии, пулеметы в Центральной Америке? Однако среди врагов я все же чувствовала себя увереннее, чем среди неверных друзей, и эта часть моего путешествия тоже окончилась шампанским и улыбками.

От Итье я узнала, что аэропорт в Лиссабоне международный, что там три контрольных пункта: португальский, британский и немецкий. Только бы не ошибиться!

Мои юные спутники решительным шагом направились к одному из них — значит, тот, что нужен мне, английский, с другой стороны. Я быстро повернула туда. Мои «пасторы» закричали: «Нет, нет, не сюда. Идите к нам!», но я дружески помахала им рукой и пошла своей дорогой. Толкнув дверь, я оказалась лицом к лицу с двумя удивленными англичанами. Объяснила, кто я и откуда. «Но как вы сюда добрались?» — «Вот на этом немецком самолете». Это было тяжелым испытанием их хладнокровия; однако, когда прошел шок, они вызвали англичанина в штатском, который и доставил меня в посольство Великобритании.

В ЛИССАБОНЕ

После оскверненного Парижа, полуголодного Экса, истощенного Мадрида Лиссабон производил удивительное впечатление: по вечерам зажигались огни, а обувных магазинов было такое множество, что закрадывалось сомнение, действительно ли у португальцев, как у всех прочих людей, только две ноги. Успев привыкнуть к голоду, я первые дни шарахалась от витрин продовольственных магазинов, ломившихся от колбас, сливочного масла, сметаны, сыров. И все же я была благодарна судьбе за эту небольшую передышку.

Жермен Итье порекомендовала мне гостиницу «Тиволи». Там я и остановилась, оказавшись внезапно в удивительной для меня обстановке нейтральной страны, где противники живут бок о бок, словно не замечая друг друга. В барах, ресторанах, гостиных вечно кто-то шушукался, повсюду царила атмосфера подозрительности.

Первым делом я направилась в британское посольство. Принял меня любезный чиновник, засыпал вопросами. Я не была шпионкой и военных сведений дать не могла, так что ему пришлось довольствоваться психологической атмосферой оккупированной Франции. Я не без удивления обнаружила, что мой собеседник относился к маршалу Петену не без симпатии, и мое замечание, что не стоит видеть в петеновцах тайных друзей Великобритании, не доставило ему удовольствия. Еще я сказала, что, пока де Голль не создал свою организацию, можно — после нападения Гитлера на СССР — опереться на французских коммунистов, располагающих широкой партийной сетью. Меня познакомили с консулом, господином Митчеллом, давно обосновавшимся в Португалии бизнесменом, и тот сразу же очень сердечно пригласил меня познакомиться с его женой. Я сочла своим долгом, поскольку собиралась в Англию, дать возможность британским дипломатам посмотреть документы сенатора Франсуа. Они изучили их и вернули. «Надеемся, вы очень скоро сможете лично передать их своему премьер-министру».

После этого я отправилась в дипломатическую миссию Бельгии. Она очнулась от нежной дремоты мирных дней и окунулась в бурную деятельность. Никогда еще на территории Португалии не находилось столько бельгийцев. Когда сталкиваешься с чиновниками, нередко создается впечатление, что их задача — во что бы то ни стало помешать каждому, кто к ним обращается. Желающие попасть в Великобританию никак не могли этого добиться, зато те, кто старался всячески избежать такой участи, как раз отправлялись в первых рядах. В довершение всего в миссии было два министра: один старый, граф де Лихтервельде, не привыкший работать в

чрезвычайных обстоятельствах, другой, назначенный из Лондона, — господин Мот. Да еще, словно двух министров-бельгийцев на одну Португалию было мало, в Лиссабоне обосновался в качестве представителя бельгийского Красного Креста сам посол, граф де Керхове де Деттергем: он предпочитал сохранять дистанцию по отношению к правительству, находившемуся в Лондоне, относился к нему с пренебрежением вельможи и не стеснялся критиковать своих коллег. С ним я была знакома раньше, когда он занимал пост губернатора восточной Фландрии, а затем посла Бельгии во Франции. Он принял меня замечательно, зато с двумя другими, особенно господином Мотом, отношения не заладились с самого начала. Министру Моту никак не хотелось признавать меня бельгийкой. Впрочем, меня это нисколько не трогало. Я рассчитывала, что попасть в Лондон мне помогут англичане. А на деле моя участь зависела от лица, официально не занимавшего сколько-нибудь значительной должности, но являвшегося основной движущей силой всех закулисных интриг. В принципе, думаю, мы прекрасно сговорились бы с господином Ж., энергичным, способным и умным, хотя и не слишком образованным молодым человеком, если бы не его неверное представление о моем характере. Он совершил психологическую ошибку, и с тех пор наши отношения складывались трагикомично. Ж., в прошлом комиссар одного из пригородов Брюсселя, имел склонность командовать там, где достаточно было проявить чуточку дипломатии. Возможно, он и был прекрасным следователем — во всяком случае, я так предполагаю, — но абсолютно не учитывал, что разные люди обладают разными характерами. Я должна бы его благодарить — именно он помог мне выбраться из Франции, но, несмотря на это, мы в течение всего моего пребывания в Лиссабоне вели настоящую войну, что его чрезвычайно раздражало, а меня, неразумную, развлекало.

— Где вы остановились? — спрашивал он. — В «Тиволи»? Речи не может быть! Там слишком много шпионов. Как только освободится место, переедете на виллу в Капарике, там живут бельгийцы.

Но мне вовсе не хотелось в общежитие. И я отвечала:

— Нет, в Капарику не поеду. Секретов я военных не знаю, стало быть, и выдать их не могу. Будущее мое неясно, прошлое было бурным — не исключено, что и жить-то мне осталось всего несколько недель, поэтому я желаю провести их так, как мне нравится.

Господин Мот попробовал меня уговорить:

— Отчего вы не хотите в Капарику? Там так много народу, женщин, детей...

И, заметив, что это меня нисколько не прельщает, добавил:

— Даже один генерал живет!

Но я наотрез отказалась, несмотря на такой соблазн. На том мы неделю-две и стояли. О своих разногласиях с Ж. я рассказала во время обеда графу де Керхове.

— Что за глупость? (Он выразился покрепче.) Какого черта они заталкивают вас в Капарику? Что за странная идея? Да в Лиссабоне полно бельгийцев.

Из Лиссабона мне было легко связаться со Святославом, и он, получив увольнение, каждый раз ездил теперь в Лондон, чтобы ускорить

оформление моей визы. А пока я, в компании с Марком-Антуаном Эвеном из Института Франции, любовалась памятниками португальского барокко; с представителем испанского Красного Креста встречала восход солнца на Тежу; пила чай с поэтессой Мерседес Фехос в цокольном этаже «Каравеллы». Памятный оказался чай: посуда вдруг запрыгала на столе, лампы под потолком закачались. Все побледнели от страха. Слишком хорошо еще помнили в Лиссабоне сильнейшее землетрясение! Но это оказалось не очень значительным; кажется, монокль сопровождавшего нас португальского дипломата так и приварился навек к его глазу!

Я по достоинству оценила сантолу в черном соусе, молодое вино в маленьких ресторанчиках и более изысканные блюда «Аквариума». Слушала в большом темном зале со сводами фадос. Сюда еще приходило много женщин. Публика состояла в основном из португальцев самого разного возраста и социального положения, но одинаково погруженных в меланхолическую задумчивость. В ресторане гостиницы за соседним столиком сидел господин Пейрутон, министр правительства Виши, назначенный послом в одну из стран Латинской Америки, — с женой, детьми и их гувернанткой. День за днем он громко выражал негодование, которого я не разделяла, хоть оно и было мне понятно. Он никак не мог добраться до места назначения, поскольку англичане предупредили все нейтральные кампании, что любое судно, взявшее его на борт, будет досматриваться, как только выйдет из территориальных вод.

Что касается прочих постояльцев гостиницы, то меня быстро просветили: те, кто занимался легальной деятельностью, носили в петлице соответствующие национальные знаки — свастику, ордена Франциска, Льва или Лотарингский крест, тогда как разведчики никак себя не помечали.

Одно лишь омрачало мой чудесный отпуск. Дипломатическая миссия не прекращала свое давление. Мне отказали в пособии, полагавшемся женам солдат и офицеров бельгийской армии в Великобритании, и намекнули, что, если я не прекращу противиться, английскую визу получить будет непросто. Но злую шутку я сыграла с Ж. не из чувства мести. Моему другу Б., который познакомил меня в Марселе с сенатором Франсуа и в чьей преданности бельгийским беженцам я имела случай убедиться, тоже удалось наконец покинуть Францию. К несчастью, он застрял в Мадриде. И дал мне оттуда телеграмму с просьбой выхлопотать для него португальскую визу. Волей-неволей пришлось обращаться в миссию Бельгии. Б. получил визу, прибыл в Лиссабон, но служить в бельгийской армии в Лондоне у него не было ни малейшего желания. Он не отличался ни крепким сложением, ни воинственным духом. Из чувства симпатии и уверенная в том, что ничто на свете не в состоянии сделать из него воина, я заглушила на время рвущиеся из души милитаристские призывы и посоветовала ему сразу же, как он приехал, не появляться в миссии, а поскорее сесть на первый же корабль, отправляющийся на Кубу, — именно туда он хотел попасть, и кубинская виза у него была. К счастью, судно отплывало прямо на следующий день. Мы ужинали в «Тиволи», когда к нашему столику направился Ж. Я успела предупредить Б. об опасности, и он представился каким-то вымышленным голландским именем. Мужчины заговорили по-голландски.

Разумеется, Ж. не обманулся, но не мог же он задерживать человека в нейтральной стране. Так что Б. спокойно сел на свой корабль, а Ж. смог наконец-то обвинить меня, с полным основанием, в содействии дезертиру.

Благодаря своей счастливой звезде я смогла через несколько дней после этого инцидента переехать из ставшего обременительным для моего кошелька «Тиволи» в меблированную комнату к одной очаровательной женщине, Инес душ Сантуш. Она, поддерживая, как большинство португальцев, фашистов и не любя англичан, уже приютила больную туберкулёзом в последней стадии англичанку, — которая к тому же симпатизировала Мосли. Инес душ Сантуш происходила из крепкой крестьянской семьи, была прямодушна, благородна, умна. Несмотря на разницу в политических взглядах, мы крепко подружились — и дружим до сих пор. Лучшего способа избежать гнева Ж. я найти не могла. Как только меня в очередной раз стали вынуждать переселиться в Капарику, я пошла к врачу, другу Инес, без труда обнаружившему у меня нервное расстройство, которое требовало лечения непременно в Лиссабоне. Тогда Ж. пригрозил сообщить португальской службе безопасности, что миссия Бельгии больше за меня ответственности не несет, а это автоматически влекло за собой либо арест, либо выдворение из страны. Дело принимало плохой оборот. Но ведь рядом была Инес, которая знала всех. Португальская служба безопасности выдала мне разрешение на пребывание в Лиссабоне, и я, торжествуя, известила об этом миссию.

Инес, стремясь показать как можно лучше страну со всеми ее проблемами, организовала для меня встречу с португальскими писателями. Писательская ассоциация, или клуб, имела отчетливую политическую окраску, и симпатии были, насколько мне известно, не на стороне союзников. Я колебалась, принимать или нет приглашение, однако вежливость и желание досадить Ж. — он, конечно же, об этом узнает, как знал все о каждом из бельгийцев в Лиссабоне, — вынудили меня согласиться. Состоявшаяся в результате столь несерьезного решения встреча началась с комического эпизода.

Проходила она в старинном здании. Поднявшись по узкой лестнице, я увидела перед собой открытую дверь, а за ней нескольких очень достойных господ с партийным значком в петлице. Они поднялись мне навстречу, и я, улыбаясь до ушей, не заметила злополучную ступеньку и растянулась во весь рост прямо перед этими достойными собратьями по перу. Они от ужаса застыли на месте и только, когда я сама, все еще лежа на полу, расхохоталась, тоже засмеялись и помогли мне подняться.

У меня появлялись новые друзья — дружба всегда входила в мою жизнь, когда я в ней особенно нуждалась. Только я вышла из кабинета министра Мота после очередного бурного приема, как столкнулась со старым знакомым по Брюсселю Алексеем Цитовичем, бывшим офицером императорского флота, служившим ныне на панамском судне. В это время морской флот нейтральных стран остро нуждался в офицерах, и неожиданно бывшие моряки русского флота, сохранившие паспорта апатридов, оказались в чести. Они служили даже на судах тех государств, которые впервые подняли на морях свои флаги: речь идет о Ватикане и Швейцарии.

— Мне, вероятно, понадобится ваша помощь, — сказала я Алексею Цитовичу, зная, что могу на него рассчитывать.

Еще одним другом, посланным мне небом, стала Теа Митчелл, супруга британского консула. Я часто бывала у Митчеллов. Теа была маленькой, хрупкой, седовласой — полная противоположность мужу, плотному, полнокровному, очень энергичному, чьи служебные обязанности было легко угадать. Консула часто навещали молодые сотрудники, вероятно, коллеги Ж., и Теа доверила меня одному из них, его звали Диком. Дик меня успокаивал: «Don't worry, we will get you through»[1]. Но я и так особенно не тревожилась, упорство в достижении цели — отличительная черта моего характера.

В Португалии могущество Великобритании было очевидно. И возмущало самих португальцев. Я как раз находилась у Митчеллов, когда вышедшие на демонстрацию студенты окружили их дом. Камни ударяли в стены, а в маленькой гостиной Теа безмятежно продолжали беседовать гости. И никакие завывания бури не могли им помешать.

7 декабря 1941 года — Пирл Харбор. У американки, с которой я обедала, в глазах стояли слезы, я же невольно думала о том, что теперь исход войны предрешен и впервые на горизонте забрезжила победа. Она придет не завтра, но ее дыхание уже ощутимо — столько жизней положено на ее алтарь. Будущая победа радовала далеко не всех. Гость моей туберкулезной соседки, бывший английский дипломат, когда-то занимавший высокий пост в Риме, тоже последователь Мосли, не мог сдержать ярости, — а я ликовала.

Два или три дня спустя Теа Митчелл рыдала у приемника. Она только что услышала, что сотни бойцов, и с той, и с другой стороны, замерзали в снегах и льдах России. И, как добрая христианка, оплакивала и русских, и немцев.

Прошло уже пять недель со дня моего прибытия в Лиссабон, я стала уставать от проволочек. Неужели миссии удастся расстроить мои планы? Ну что же, надо искать другие пути. Алексей Цитович, хоть и без энтузиазма, согласился участвовать в осуществлении моих планов. Я решила достичь Гибралтара с помощью контрабандистов, продолжавших — и на войне — свой промысел. Вечером в портовой таверне мы подсели к удивительным людям. Впрочем, в этой таверне все было удивительным. Рядом с моряками с кораблей самых разных стран, стоявших у причалов Лиссабона, пили оставшиеся в живых моряки с судов, подорвавшихся на минах. Одеты они были с чужого плеча — моряки не оставляли братьев в беде, — одному фуфайка длинна, другому малы брюки, некоторые еще не совсем оправились от шока и сидели с отсутствующим видом... Внешне все выглядели приблизительно, как в приключенческих лентах: и пьяные матросы, и девицы у стойки. Но они не просто отдыхали на берегу между двумя рейсами. Разве забудешь, что в море тебя поджидают мины, снуют подводные лодки, разве выбросишь из памяти товарищей, утонувших под обломками или накрытых

[1] Не беспокойтесь, мы вас вытащим. (*англ.*).

пылающей пленкой разлившегося мазута... Что значат неплохие деньги, которые начали платить морякам, если море стало ненадежным, как во времена пиратов? Неподходящее время — по крайней мере, для них — заниматься удачным вложением капитала или копить деньги в банках.

Алексей Цитович одного за другим подводил ко мне моряков с физиономиями висельников. Обсуждали мой план. Осуществим ли он? Да, попробовать можно. И вдруг я увидела Дика — наверное, он собирал сведения о передвижении вражеского флота. Не знаю, удивился ли он нашей встрече, но мои намерения понял тут же и сказал по-английски: «Не совершайте неразумных поступков, мы вас вытащим».

Рождество уже было на носу, когда из Великобритании пришла телеграмма. Виза выдана. Святослав тоже прислал телеграмму: визу для меня удалось получить его шотландским друзьям, кузенам герцогини де Глучестер. Миссию Бельгии тоже, конечно, известили, и там вряд ли обрадовались, узнав, что все их старания ни к чему не привели. Оставалось дождаться подпольного рейса в Гибралтар.

Подпольного? Не совсем. Однажды Инес душ Сантуш сообщила мне: «Кажется, скоро в Гибралтар пойдет конвой с беженцами». Вскоре я получила подтверждение от молодого каталонца, благовоспитанного и загадочного — я как-то помогла ему небольшой суммой, — уж не знаю по какой причине опасавшегося ареста и покинувшего Испанию в последнюю минуту без денег и багажа. 22 декабря у Митчеллов меня тоже обнадежили: скоро, совсем скоро. И вот наконец Ж. пригласил меня, впрочем, отнюдь не ласково, по телефону в бельгийскую миссию. Я побежала как угорелая, готовая расцеловать своего врага: «Ну что? Все в порядке? Мне уже несколько дней назад сказали, что будет корабль». И все началось сначала: «А откуда знаете? Разве вам неизвестно, что время отправления всегда держится в секрете?» — «Возможно, но, по-моему, весь Лиссабон в курсе дела». — «Во всяком случае я вам еще раз — теперь уже в последний — предлагаю переселиться в Капарику. Об отплытии сообщается в последнюю минуту, там вы всегда будете под рукой». — «Хорошо, согласна. Завтра утром перееду».

Инес душ Сантуш помогла мне упаковать чемоданы, сама отослала тяжелый багаж, выгладила мое белье, купила огромную корзину и наполнила ее фруктами, финиками, шоколадом. Я побежала, чтобы бросить обещанную лепту в кружку для пожертвований святому Антонию — он хоть и Падуанский, но уроженец Португалии, где я встретила столько друзей. Всю войну Инес посылала нам банки сардин, подкармливая таким образом политических противников.

На следующее утро за мной заехал на такси Алексей Цитович и привез две бутылки коньяка. Мы переправились через Тежу, она сверкала под солнцем, хотя на дворе и стояла зима. За бортом остался белоснежный собор Св. Иеронима и старые дома Лиссабона, повернувшиеся слепыми, расцвеченными синими вьюнками фасадами к солнцу и ветру.

Капарика оказалась просторным и удобным городом, но он так сильно напоминал мне Принкипо, где я жила ребенком среди русских беженцев, что меня это угнетало. Однако тяжелое впечатление скоро развеялось: местные дамы приняли меня как чужую, зато молодые бель-

гийцы, прошедшие лагерь Миранда и стремившиеся попасть в Лондон, — с распростертыми объятиями. Среди них были Жан Жандебьен, будущий летчик военно-воздушных сил Великобритании, которому предстояло погибнуть накануне Победы; два молодых адвоката из Брюгге, летчик, врач, мулат Томас и другие — веселая энергичная ватага.

Память об испанском лагере потихоньку стиралась. «Но как вам удалось оттуда выбраться?» — «Мы выдали себя за канадцев». А один добавил: «У меня, как вы сами слышите, сильный фламандский акцент, но, когда испанская комиссия спросила эксперта, долго жившего в Канаде, чисто ли я говорю, тот заверил, что точно, как в Квебеке». Военная медсестра, крепкая, начисто лишенная грации деваха, тоже прошла лагерь в Испании. «Меня вечно наказывали, — говорила она. — Я слишком упрямая: не хотела стоять по стойке смирно и кричать «ура», когда поднимали флаг. Это же не мой флаг, не моя страна, так чего мне их приветствовать?»

На следующее утро нас погрузили в автобусы, каждый из которых пошел своим маршрутом. Во всяком случае, тот, в котором я сидела под бдительным присмотром Ж., ехал по дороге один. Мне хотелось знать место назначения. Но Ж. меня одернул: «Скоро увидите, нечего задавать лишние вопросы!», и как раз в этот момент мимо нас проплыл указатель «Город Беаль де Сан Антонио» на испано-португальской границе. Туда мы и прибыли, усталые, под вечер. Нас поместили в портовый ангар, я заметила, что там было очень много народа: югославы, поляки, женщины, дети, а мужчин сравнительно мало. Один бельгийский социалист с супругой, оба очень недовольные теснотой и отсутствием комфорта, будущие солдаты, очаровательная полька, надеявшаяся отыскать на Гибралтаре своего жениха, еще одна, высокая нескладная блондинка, судя по всему, представительница древнейшей профессии, рассказавшая мне — без комплексов девушка, — что очень хорошо заработала в Лиссабоне.

В сгущавшихся сумерках в плохо освещенный ангар вошли два офицера британского флота в форме «Wavy Navy» (добровольческого запаса флота), два лейтенанта — блондин, Ян Крейг, и брюнет, помню только, что звали его Джимом. У обоих на лицах печать усталости. Крейг спросил: «Кто-нибудь говорит по-английски?» Язык знала только я, он заставил меня встать рядом с ним на большой тюк:

«Сейчас вы сядете на корабль под бельгийским флагом, и он доставит вас в Гибралтар. К сожалению, комфорта мы обещать не можем, так что просим извинения. Соблюдайте, пожалуйста, тишину во время рейса и не курите на открытых палубах. Это вопрос первостепенной важности и залог вашей безопасности».

Все кинулись к судну, крохотной скорлупке «Рене-Поль», на такой впору креветок ловить. Действительно, на корме у него развевался — это в португальском-то порту — бельгийский флаг. Ж. пытался навести хоть какой-то порядок, но на борту было слишком много женщин. Все толкались, умоляли, требовали для себя одну из двух или трех свободных кают. Депутат кричал: «Я депутат!» (интересно, чего и от кого), жена его: «Корабль бельгийский, значит, бельгийцам полагаются лучшие места!» Какая-то югославка упала в обморок; я пощупала пульс — просто притворяется, тоже хочет занять лежачее место в каюте.

Я не могла понять, зачем все эти люди стремились в Англию, почему не остались в Португалии до той поры, пока морские путешествия не станут снова комфортабельными? Молодые ребята и еще несколько отчаянных пассажиров решили спуститься в трюм, а из узкого коридора по-прежнему доносились крики, визг, проклятия, жалобы. Ян Крейг предложил мне свою каюту: «Все равно я не лягу», а Джим, офицер-механик, уступил свою темноволосой польке. «Почему ей? Почему ей?» — кричали женские голоса. Но передела не последовало. Я пустила на свое место молодую женщину с ребенком на руках. А моя новая подруга, темноволосая полька, более хладнокровная, чем я, просто закрылась в каюте. Когда волнения немного улеглись, нас собрали на палубе. В темноте ярко светились огни порта и еще какие-то, подальше, возможно, на испанском берегу. Появился капитан, пожилой бельгиец, потрепанный жизнью, угрюмый — думаю, он исполнял чисто декоративную роль: бельгийским кораблем должен командовать бельгиец. Крейг говорил, я переводила: «Вы, разумеется, знаете, что идет война. Наше путешествие небезопасно. Хотя, хочу вам сказать, «Рене-Поль» не тот корабль, против которого противник станет применять авиацию. Правда, есть еще плавучие мины. Разумеется, мы будем стараться их избежать, но если что-нибудь все же случится, обратите внимание на эти две шлюпки. Они предназначены только для женщин и детей, каждой будет управлять ответственный за нее матрос. Для мужчин у нас, как видите, плот. Еще вот что: умеет из вас кто-нибудь обращаться с пулеметом?»

— Я, я — сержант пулеметного расчета, — ответил один из молодых людей.

— Хорошо, возьмите с собой еще двух человек и займите место возле пулемета (другого оружия на «Рене-Поле» не было). — Попытайтесь объяснить им, как он действует. Впрочем, я надеюсь, нам не придется пользоваться оружием. А теперь — спокойной ночи!

Я была в ужасе от мысли, что придется садиться в шлюпку с женщинами — они уже себя показали — и шепотом спросила лейтенанта, нельзя ли мне погрузиться на плот вместе с мужчинами. «Да ради Бога, — улыбнулся он. — Только, между нами, плот всех нас не выдержит». Он был доволен мной, я была довольна им и его товарищем. Крейг пригласил меня перекусить в кают-компанию. Я согласилась при условии, что смогу захватить с собой подругу. Вытащила из каюты польку, и мы принялись за угощение. Капитан много пил, все время брюзжал и портил всем настроение. Ему не нравилось, как развивались события. Лейтенанты тоже были, по-видимому, встревожены. Назначенный час отплытия давно прошел, а мы все стояли на якоре. Дело в том, что пропал радист. Его искали по всем портовым кабакам и обнаружили в весьма плачевном состоянии. И тоже в плохом настроении. Оставалось только надеяться, что в случае чего SOS он все-таки подать сумеет. Похоже, дисциплину на судне поддерживать было непросто. Если радист забыл об отплытии, то молодой матрос с гривой белокурых волос, одетый, как битник 60-х, и нетвердо стоящий на ногах, в ответ на замечания боцмана запел во весь голос на мостике «Интернационал» по-норвежски. Каждый борется со страхом по-своему.

Приближалась полночь. Прежде чем покинуть судно, Ж. с электрическим фонариком обошел своих подопечных, как пастух стадо. Усталость и волнение сделали свое дело, возмутители спокойствия притихли. Наконец суденышко, потушив огни, вышло из порта. Спуститься в трюм у меня не хватило духу, и я улеглась рядом с медсестрой-бельгийкой в крохотном помещении, где нес вахту Ян Крейг. Но заснуть не смогла. Взяв корзинку, спустилась в машинное отделение: жара, запах горючего и смазки, шум, грохот и странное морское содружество — норвежец, грек, испанец из Гибралтара, бельгиец, француз, кто доброволец, кто наемник, в вечном противостоянии, — но мне с ними все же было интереснее, чем наверху с пассажирами. Приняли они меня благожелательно, мы ели мои апельсины, пили мой коньяк, а работа между тем шла своим ходом.

Когда я поднялась на палубу, Ян Крейг все еще стоял на вахте. Он едва держался на ногах от усталости, с трудом говорил. «И часто вы ходите в такие рейсы?» — «Мы с Джимом служим на минном тральщике; сейчас он в доке на Гибралтаре. (По-британски сдержанный Ян не рассказал, что корабль их подорвался на мине). А что такое Гибралтар, сами скоро увидите. Вот мы и вызвались с Джимом в увеселительную прогулку — перевезти беженцев. Лиссабон для нас праздник. Знаете, позавчера, перед тем как сойти на берег, мы положили деньги себе в носки, чтобы не украли. Но в кабаке пришлось разуваться — все, что оставили в карманах, истратили. Надо сказать, довольно унизительная сцена». — «Вечно вы, англичане...» — начала я, но Ян меня перебил: «Мы не англичане, я — шотландец, Джим уэльсец, не англичане мы!»

Когда Джим принял вахту, я вышла на палубу. Дул свежий ветерок, полнейшая тишина окружала «Рене-Поль», дрожавший, как перегруженная лошадь. Море было совершенно спокойным — или это выпитый коньяк спас меня от привычной морской болезни? Может, смерть неподалеку, но жизнь, во всей своей чудесной неопределенности, тоже рядом. Небо начинало светлеть. Привалившись к пулемету, вздыхал по сигарете, завернувшись в одеяло, сержант. Как только взошло солнце, мы все закурили. Но тут же началась качка, и я посреди палубы свалилась замертво на плот. Из трюма, потягиваясь, вылезали один за другим пассажиры, посматривали на небо, на горизонт. Наконец, уже при ярком свете дня, показался берег. Мы входили в крепость свободного мира, и было это 25 декабря, в Рождество, праздник нашего спасения. На рейде стояли военные корабли, одни целые и надраенные, другие — с зияющими проломами в бортах, стальные инвалиды, выведенные из строя воины. «Рене-Поль», доставивший нас к месту, присоединился к ним.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

> Нет! Мы страдаем не напрасно. Страдаем мы одни, потому что только мы рискуем. Мы рискуем за всех трусов, которые не рискуют ничем. Помилуй нас, Господи!
>
> *Бернанос*

Над «Рене-Полем» низко пролетел самолет. Разрывы снарядов с подводных лодок, защищавших Гибралтар, бухали через равные промежутки, словно салют в нашу честь. Старый еврей — я еще ночью видела, как он стоял возле релингов, — забыл про свою астму, на лицах у всех светилась радость.

Прошел час, потом другой. Мы по-прежнему оставались на борту неподвижного «Рене-Поля». Португальское вино, прихваченное бельгийцами с берега, уже выпито, шоколад съеден. Ян Крейг, проходя по своим делам мимо меня, указал на красивый корабль, стоявший на рейде: «Там вам будет удобнее, чем на "Рене-Поле"». — «Это наше судно, — сказал поляк, лысый и грустный. — «Батори» удалось уйти из Гдыни».

Пересадка проходила без спешки, как обычная рутинная работа. На трансатлантическом лайнере «Батори» впору было уверовать, что вернулось время туристических круизов. Стюарды в безукоризненной форменной одежде занимались багажом. Я, улыбаясь про себя, припомнила, как накануне некоторые неосторожные пассажиры требовали предоставить им на бельгийском судне лучшие места на том основании, что они бельгийцы. Расплата не заставила себя долго ждать: на «Батори» хозяевами оказались поляки. Вероятно, из-за польской фамилии мне дали одну из лучших кают первого класса и предложили самой выбрать себе соседку. К удовольствию помощника капитана, я указала на темноволосую польку, воспитанную и, несмотря на молодость, искушенную. «До чего же я рада! Еще чуть-чуть, и мы с Божьей помощью доберемся наконец до Англии», — говорила я, укладывая вещи. «Вы так уверены, что вам там понравится? — спросила она. — Я-то уже жила в Англии. Думаю, вас ожидает масса сюрпризов».

Мы поднялись на палубу, где уже собралось несколько сот офицеров: австралийцев, канадцев, британцев. Размещенные в трюмах солдаты выходили подышать воздухом на отведенную для них нижнюю палубу. Лично я поселила бы в трюмы гражданских, вроде меня, а все лучшее отдала бы военным.

— Но это нереально, — заметил офицер-летчик, только что, как и мы, погрузившийся на корабль, когда я высказала ему свое соображение, — хотя бы из-за численности. Хороших мест под солнцем мало, а военных слишком много!

— Раньше у солдат был хоть какой-то личный интерес в войне. Грабежи, насилие, военные трофеи... Сегодня же они воюют, рискуя жизнью, а выгоды от победы никакой не получают; генералы и государственные мужи пожинают славу, спекулянты наживаются...

Летчик в возмущении отпрянул.

Скалистый берег был нафарширован орудиями, как огромная каменная индейка опасными трюфелями. Зенитные батареи на бетонных площадках задирали к небу жерла пушек. Солдаты, худые, загоревшие, лежали неподалеку на солнышке; там и тут виднелись белые и зеленые пятна сохнущего белья, и вокруг бегала собака.

Возле подбитых кораблей несли боевую вахту крейсеры и торпедоносцы. Рядом покачивались на волнах разномастные старые посудины, и, словно трагический маятник, отмеряли равные промежутки времени подводные взрывы.

Было 25 декабря 1941 года. Судовое радио «Батори» сквозь шум и треск приглашало пассажиров и особенно пассажирок на празднование Рождества в гарнизон Гибралтара.

Елка у гранатометчиков, танцы у артиллеристов, коктейль у офицеров инженерных войск. То и дело с берега подходили катера и шлюпки.

Совсем недавно я гуляла в садах Экс-ан-Прованса, любовалась церквями в стиле Мануэля I и Тежу, наблюдала, как на площади Россио толпилась молодежь. Вчера еще плыла на захудалом «Рене-Поле», и вот сегодня вокруг меня роскошь «Батори». Мы жили, точно по Прусту, «одним днем, как герои или как пьяницы», но жизнь наша отнюдь не напоминала добротно сделанный роман. Не было в ней ни единства построения, ни гармонии стиля, ни постоянных действующих лиц — просто мелькание эпизодов! Франция в разгаре трагедии и занятый интригами Лиссабон. Несколько сот километров отделяли голод от изобилия, еще несколько — мир от бомбардировок. Нет, я не жалела о том, что осталось позади. Министру Моту, пытавшемуся убедить меня, что лучше задержаться на несколько месяцев в Лиссабоне, я ответила достаточно резко: «Не для того я вырвалась из Франции, чтобы помереть от несварения!» В Гибралтаре я наконец нашла то, что искала: уверенность, что кто-то еще помнит о войне.

Матрос доставил мне приглашение от Яна Крейга поужинать с ним в гостинице «Сплендид».

И я, вслед за другими, сходившими на берег, спустилась по трапу в шлюпку, хоть и пробило еще только четыре часа. Странно было видеть целый город, состоящий из одних мужчин. Гражданское население эвакуировано, публичные дома по настоянию благонравных дам закрыты, и лишь витрины с нейлоновыми чулками, флаконами духов и драгоценностями напоминали о другом мире, в котором обитают женщины. По улицам плотным потоком двигались мужчины в военной форме, в основном пьяные, несмотря на ранний час. Эта крепость, находившаяся под постоянной угрозой — правда, на нее еще ни разу не нападали, — наводила на мысль об аванпостах крестовых походов на Востоке.

Конечно, были тут и кино, и спорт, но все в установленном порядке, заранее подготовлено в соответствии с армейской службой. Так проходили месяц за месяцем. Та же обстановка, те же каменистые улочки, те же переставшие смешить обезьяны, пыль, жара, джин — 10 шиллингов за бутылку. Би-би-си передавало сообщения о бомбардировке

мирных населенных пунктов или обжигавшие душу песни о любви. В каждом мужском взгляде горел голодный огонек, от него становилось не по себе, как от непристойного слова. Не заигрывание, не флирт мирных дней, — в них читалось то самое желание, которое по весне заставляет оленей сталкиваться лбами при виде лани.

Нескладная блондинка выходила из магазина в сопровождении полковника, несшего многочисленные свертки. Она победно улыбнулась мне. «Тут можно купить все, что угодно. Представляете, товары от Элизабет Ардан, духи от Герлена, белье, я уж не говорю о чудесных чулках!» На безбровом лице дылды ярко выделялись две нарисованные карандашом черточки. Голос ее журчал, как Висла. Она лениво улыбалась окружающим, и мужчины, забыв о чинах, застывали и впивались в нее пронзительным, как жалоба, взглядом.

Город был невелик. Я быстро отыскала клуб гранатометчиков, пригласивших меня в качестве почетной гостьи. Зал украшали разноцветные гирлянды, сверкала рождественская елка, за мной принялось ухаживать не меньше сотни до смешного молоденьких офицеров. Я оказалась не единственной представительницей своего пола на празднике. Были еще любезная старушка в синем — жена англиканского священника — и двенадцатилетняя девочка, дочь врача. Поставили пластинку, и мы втроем вышли танцевать, время от времени меняя кавалеров, чтобы никого не обидеть. Я ела рождественский пудинг, пила виски, усевшись наконец рядом с важным полковником, — правда, язык его что-то плохо слушался. Впрочем, к чему разговоры? Вести беседы вовсе не обязательно. Да и о чем? Никого тут, похоже, не интересовали дела на материке, с точно таким же равнодушием относившемся к посторонним.

Когда я снова вышла на улицу, на скалистую гряду опускался серо-сиреневый вечер. По Гибралтару в сгущавшихся сумерках по-прежнему бесцельно разгуливали его стражи. Только еще сильнее опьяневшие. И не избавившиеся от проклятого наваждения. Алкоголь в таких делах не помощник, он лишь усугубляет положение.

Ян Крейг в безупречной форме ждал меня в холле гостиницы. Успел ли он хоть немного поспать? Хотя такую усталость, как у него, не снимут несколько часов отдыха. Нос заострился, под глазами — фиолетовые круги. В столовой с белоснежными скатертями сидели офицеры и несколько медсестер. К нашему столику потянулись приятели лейтенанта поздороваться: они разыгрывали его до тех пор, пока не разозлили окончательно. Еда тут была невкусной, зато вино неплохим.

— Да, несладко жить в Гибралтаре, — сказала я.

— О, не хуже, чем в любом другом гарнизоне, для офицеров, конечно. Мы можем, неофициально, разумеется, сплавать в Испанию, немного развеяться. Остальным намного хуже! Недаром с каждым конвоем отправляют отсюда тех, у кого началась депрессия.

— Вам известно, когда мы отправляемся?

— Нет, этого не знает никто. Возможно, «Батори» еще неделю-другую постоит. Тогда вы доставите нам огромное удовольствие, если встретите вместе с нами Новый год. Это не только мое приглашение, но и капитана минного тральщика.

Около полуночи Крейг проводил меня на дебаркадер. Я снова попала в водоворот людей, город колыхался и раскачивался у меня под ногами. Матрос буквально на руках снес меня в шлюпку. Все вокруг погрузилось во тьму. Я добралась-таки до своей каюты и застала соседку в радостном возбуждении: она отыскала своего жениха, польского офицера, и теперь он поплывет вместе с нами. Мы познакомились.

На следующий день «Батори» принимал новых пассажиров. 27-го числа, едва открылся и заполнился посетителями бар, на судне появился губернатор Гибралтара лорд Горт. Он представлял короля, который в свою очередь представлял Великобританию, и мы приветствовали его вставанием. Пурпур отворотов губернаторского мундира словно отражался в румянце его щек. Он побеседовал с капитаном-поляком, красивым, бледным и романтичным, похожим больше на Шопена, чем на морского волка. Губернатор похвалил «Батори», сказал несколько слов о прекрасной погоде.

По-видимому, скоро отплытие. Не придется мне встречать Новый год на минном тральщике. И точно, 27-го мы тронулись в путь. «Батори», слишком быстроходный для конвоя, вышел в море один. На палубе соседнего супердредноута выстроился экипаж. Наш корабль дал сигнал, «Рене-Поль» отозвался, взмыли на реях стоявших у причала судов флажки — нам желали счастливого плавания. С обеих сторон пристроились к «Батори» два эсминца, два серых сторожевых пса, бегущих по серой воде, — они будут сопровождать нас до выхода в открытое море. На самом корабле все готово к отплытию: уложен в спасательные шлюпки НЗ, сняты с пушек чехлы, матросы заняли свои места. Создавалось ощущение безопасности, возможно, иллюзорное.

Очень быстро образовались группки по интересам, наметились флиртующие парочки. И в бар, и в ресторан, и к карточному столу пассажиры, словно так и надо, выходили в спасательных жилетах — на этот счет корабельные правила были неумолимы. Дремал в шезлонге благородной внешности мужчина; когда-то он был сенатором в царской России, потом министром в Польше Пилсудского, а теперь ехал с женой в Лондон, где обосновалось польское правительство. Русский армянин, великолепно говоривший на трех языках, прослужив несколько месяцев в иностранном легионе, пробивался еще с одним своим товарищем-чехом в вооруженные силы «Свободной Франции». Он с увлечением играл в бридж, а в свободное от карточной игры время был одним из моих любимых собеседников. «Не люблю ни немцев, ни антисемитов, — говорил он. — Я армянин, и ни одному еврею меня не облапошить. Но опять же, нос!.. Так легко совершить непоправимую ошибку. Немцы могли бы меня депортировать за один только нос!»

Он помотался по свету. «Подумать только, есть люди — и немало, — которые никогда не покидали своей страны, своего города, своего дома! Меня трудно удивить. Помню — было мне тогда четыре года — повар-татарин, в Тифлисе, гонялся по всему дому с ножом за грузином из прислуги, хотел зарезать. Но комфорт я уважаю; после Миранды — ванна, постель, хорошая еда. И женщины... и бридж или покер перед тем, как утонуть...»

Еще там был индийский майор, невысокий, застенчивый, усатый, говоривший мало, зато умевший слушать. Позже мне сказали, что он владеет всеми индийскими диалектами, но сам он об этом не проронил ни слова. Удивительная вещь — на корабле почти не было французов, всего пять или шесть человек, включая армянина и чеха, зато великое множество поляков, сотня бельгийцев, человек двадцать голландцев.

Я страшно удивилась, увидев на «Батори» молодого каталонца из Лиссабона. «Никогда бы не поверила, что мы снова встретимся! — сказала я. — Испанец плывет в Англию, это же надо!» — «Ну хорошо, теперь я могу вам открыть то, о чем вынужден был молчать в Лиссабоне. Я хочу предложить англичанам свои шахты в Марокко». — «Вы, стало быть, антифранкист?» — «Вовсе нет, — отвечал он, — я фалангист, но поссорился с Суннером и вынужден был спешно бежать из Испании». Поскольку он неожиданно оказался при деньгах, то тут же отдал мне небольшой долг.

Поляки окружили меня рыцарским вниманием. Я относилась к ним с большим уважением. С самого 1939 года продолжали они воевать, пробиваясь сквозь границы, тюрьмы, лагеря в Иране и северной Африке. Аспирант с изуродованным шрамом лицом по имени Антуан — Антек (было ему двадцать два года, но он считал себя очень старым), говорил мне: «Что же, молодость моя прошла. В 1939-м я был варшавским студентом. Мы сражались в Варшаве; через Румынию добрались до Франции; там тоже воевали, правда, недолго. Я сбежал из госпиталя в Дижоне, оказался на принудительных работах в Алжире. Опять сбежал, теперь уже в Гибралтар. Но мы еще повоюем, верно? — добавлял он с надеждой. — Я должен, должен забыть тот черный день. Я лежал тогда в дижонском госпитале с лицевым ранением; и, хоть метался в жару, услышал ликующий голос посетительницы: «Все в порядке, мальчик, только что подписано перемирие», — в порыве гнева, о чем сожалею, ведь это была женщина, я выплеснул ей в лицо графин воды. Я был в отчаянии, неужели война закончится поражением?»

Особняком держались пять или шесть бельгийских офицеров, и среди них майор Пирон, которому вскоре предстояло стать генералом Пироном, командующим армией Освобождения. Лишь один из них занимался солдатами, среди которых находились мои приятели по Капарике, и иногда заглядывал к ним. Мне тоже доводилось спускаться в неудобный кубрик в трюме. В армиях большинства европейских стран столь равнодушное отношение офицеров к своим солдатам было делом обычным. Совсем по-другому вели себя британцы — ни один офицер не уходил к себе в штаб, не удостоверившись, что солдаты расквартированы и накормлены.

Оказавшись в ресторане первого класса, вполне можно было представить, что ты в развлекательном круизе, — разве что военные мундиры напоминали о назначении рейса. Меня посадили за стол второго помощника, откуда я хорошо видела капитана «Батори», в чьих руках — разумеется, после Господа — находилась наша судьба. Он лучше смотрелся бы за роялем, чем за штурвалом корабля, но ему удалось благополучно доставить нас опасным маршрутом в порт назначения. «Батори» впервые после долгого перерыва прошел каналом Святого Георгия: сюда

несколько месяцев не заходили корабли: слишком много вражеских подводных лодок бороздило прибрежные районы. Понадеялись — и, как показали события, совершенно справедливо — на то, что, сбитые с толку долгим отсутствием конвоев, подводники уже не выйдут на охоту.

С самого утра к карточному столу стекались любители бриджа. Мне тоже, когда отпускала морская болезнь, доводилось играть, в том числе с уцелевшими моряками с «Роял Оук». Иногда партия прерывалась тревогой. Однажды, когда я пластом лежала в каюте, измученная морской болезнью, раздался сигнал тревоги. Я слышала предупреждающий звон, но мне было так плохо, что я подумала: «Ну и пусть, умру я или останусь жить, какая разница!» Но я упустила из виду воинскую дисциплину. Какой-то матрос открыл мою дверь и приказал выйти на палубу. Я лишь повторяла: «Плевать я хотела на вашу тревогу, мне все равно!» Но он схватил меня за руку и, не обращая внимания на протесты, вытащил на палубу.

Возле отведенной нам шлюпки уже собрались мои спутники. Было холодно, моросило. Ко мне обратилась жена польского министра: «Как вы думаете, если случится кораблекрушение, мне лучше снять норковое манто? Ведь это единственная ценная вещь, которая у меня осталась». Я попыталась разрешить столь сложную проблему. «Смотря какое кораблекрушение. Если придется плыть, то мех все равно испортится, да и вас потянет на дно. С другой стороны, если нам удастся сесть в шлюпку сухими, тогда, конечно, в манто вам будет теплее». Тут тревога кончилась, и каждый вернулся к своим занятиям.

Всему когда-нибудь приходит конец. Впереди замаячили размытые дождем мягкие очертания холмов, в воздухе показались защитные аэростаты. Мы прибыли в Шотландию, в Гринок. «Слава Богу! Война не кончилась!» — воскликнул стоявший рядом со мной Антек. На судно поднялись полицейские. Британцы сошли на берег. Маленький майор, прощаясь со мной, произнес загадочную фразу: «Главное, не меняйте показаний!» Я отдала паспорт неодобрительно поглядывавшим на меня полицейским; они ничего не спросили, но документ взяли. Несколько иностранцев, к которым благоволили власти, тоже покинули корабль, в том числе и молодой каталонец. Всех остальных распределили по группам по национальному признаку: поляки, бельгийцы, французы, голландцы распрощались с «Батори». Меня, несмотря на бельгийский паспорт, и еще человек тридцать, среди которых были армянин Борис, чех Фирлинжер, несколько австрийцев и палестинка, по неведомой причине задержали. Пересадили на маленькое суденышко и выдали круглые значки с буквой «S» — мы должны были прикрепить их на грудь.

Это меньше всего напоминало триумфальный прием, которого я ждала, и во мне закипала ярость. «В отваге нет святости», — сказал Эмерсон, и действительно, одержав над собой победу, мы неминуемо впадаем в гордыню или тщеславие. Я была молода, довольна собой и считала, что достойна если не награды, то хотя бы уважения, — после бомбардировки госпиталя блеск Военного креста слепил мне глаза, и я думала, что, прибыв в Англию, непременно услышу: «Как это мило с вашей стороны, что вы к нам приехали!» Когда я пустилась в путь, положение на фронте складывалось безнадежное. И если я стремилась в Велико-

британию, то только затем, чтобы разделись с ней тяжелую участь. И вот вместо поздравлений — арест, меня даже исключили из национальной группы, к которой я принадлежала по паспорту.

Борис, напротив, не терял хладнокровия. Нас без всяких объяснений сгрузили в салон прогулочного кораблика. Было ужасно холодно. Один солдат, с винтовкой со штыком, был часовым; другой, тоже вооруженный, находился в салоне, он смотрел на нас, но не видел. И была такая тоска, что хотелось выть. Я сказала Борису: «Если бы знала, что меня ждет, осталась бы во Франции». — «А чего вы, собственно, ждали? — спросила меня палестинка. — Цветов? Орхидей? Сразу видно, что не знаете англичан!» — «Лично меня интересует одно, — заметил Борис, — что означает эта буква «S»? Spy? Suspect? Syphilitique?»[1] — «Да уж, такое гостеприимство трудно будет забыть», — вздохнул маленький бельгиец. — «Как? И вы здесь? — удивилась я. — Почему?» — «Наверное, потому, что имел глупость попросить британское гражданство, я родился тут в 1916 году». Палестинка встала и пошла к двери. Солдат преградил ей дорогу. «Ну хорошо! Я прямо здесь сделаю все, что мне надо. Мы уже несколько часов торчим тут на холоде». «Ей нужно в дамскую комнату», — сказал по-английски Борис. Солдат впал в раздумье. «У меня приказ никого отсюда не выпускать». — «Позовите офицера». Солдат, не двинувшись с места, махнул рукой своему напарнику — позови, мол, ты. Пришел офицер, и солдат, заикаясь от смущения, объяснил ему, в чем дело. Офицер покраснел. «Можете пройти, мадам», — сказал он и спешно удалился.

Часов через шесть нас отвели в кают-компанию, где матрос налил нам чаю и дал по бутерброду с маргарином. «Наверное, отравленные, — сказала палестинка. — Не знают, что с нами делать, вот и решили отравить». Чех Фирлинжер вопросительно взглянул на Бориса. «Поешь, — сказал тот, — вспомни Миранду. Надо уметь есть, даже если не хочется; про запас, на случай, если останешься совсем без хлеба».

Когда, наконец, за нами пришел офицер, я посмотрела на него с такой ненавистью, какую не испытывала даже к следователю гестапо. Но ему было абсолютно безразлично, что мы думаем. «Watch your step»[2]. Грязные сходни дрожали под нашей тяжестью. Берег встретил нас дождем, холодом, промозглой темнотой.

Поезд с опущенными шторами уже стоял на путях. Нас разместили в вагоне третьего класса. Кроме Бориса и Фирлинжера в моем купе оказался незнакомец. Я не видела его на «Батори». Англичанин лет сорока, довольно странный, важного вида, с угреватым лицом, в слишком тесной для него одежде. «Ничего себе прием, да?» — спросил он сходу с жутким вульгарным акцентом. «Довольно прохладный, — осторожно ответил Борис. — Но мы ведь не у себя дома».

«Зато я у себя, — отрезал англичанин с наигранным возмущением. — Я восемь лет служил в лондонской полиции, потом записался в

---

[1] Шпион? (*англ.*). Подозрительная личность? (*фр.*). Сифилитик? (*фр.*).

[2] Смотрите под ноги (*англ.*).

легион и вот теперь дезертировал, чтобы вернуться на родину. По дороге наш корабль подорвался на мине, я, естественно, остался без документов, но и без них нетрудно узнать, кто я такой, — у меня же сестра живет в Лондоне». Действительно, понять, кто он такой, было совсем не сложно. «Осторожнее с ним», — сказал мне по-русски Борис. Но я и сама не вчера на свет родилась. Фирлинжер достал колоду карт. «Партию в покер», — предложил Борис. «Я тоже играю», — отозвался англичанин и улыбнулся, обнажив больные десны. Мне оказалось не по силам сражаться с такими акулами, я проиграла три фунта и на этом успокоилась. Поезд постукивал колесами. Заинтересовавшись игрой, подошел поближе охранник. Маленький, тщедушный, он говорил на местном наречии. В соседнем купе полировала ногти палестинка. Рядом дремали с открытыми ртами пожилые супруги из Вены, смирившиеся со своей участью. К рассвету Борис положил в карман немалый выигрыш, а неосторожный охранник успел проиграть все свои деньги. Он мрачно отвернулся, взял прислоненное к двери ружье. На станции две женщины в форме и мужчина с наградой в петлице раздали нам чай с бутербродами.

В шесть часов утра мы прибыли на маленький вокзал лондонского предместья. Было еще совсем темно. На перроне мы снова встретили своих спутников с «Батори», с которыми нас разлучили таким унизительным образом. Оказывается, они ехали тем же поездом. Обижаться было бесполезно, тем более, что теперь нас усадили в одни и те же автобусы с замазанными белой краской окнами. Я в ярости отказалась нести собственный чемодан. «Не осложняйте англичанам жизнь», — посоветовал Борис, но я упорствовала в своем негодовании.

Нас высадили перед круглым зданием. «Эмпресс-Холл», — объявил Борис. «Настоящий цирк», — прокомментировал Антек, довольный, что мы снова оказались вместе. Здесь опять нас ждал возмутительно грубый досмотр. Человек с крысиной физиономией схватил мою сумку и вытряс ее. Я просила оставить мне икону Николая-чудотворца, но он со злобой отказал. Оказавшись с пустыми руками: без удостоверения, без денег — ладно бы от врагов пострадала, а то от друзей, — я готова была кого-нибудь убить, но это тоже не так просто. И я решила провести полицейских. Наши чемоданы, стоявшие посреди круглой площадки, все еще ожидали досмотра. Я успела достать рукопись большого формата — свою поэму «Для одинокого человека» с иллюстрациями Андре Маршана — и спрятала ее за батареей. Впрочем, как только люди прослышали, что отбирают деньги, самые находчивые бросились прятать их по всем углам просторного помещения, так что досмотр этот даже нельзя было назвать эффективным.

На круглой пыльной площадке установили длинные, как в пансионатах, столы, и официантки стали их накрывать. Одни, собравшись на расположенных амфитеатром скамейках, вели беседы, другие — бельгийцы, освобожденные из Миранды, нацепив на спины кружки из оберточной бумаги, водили хоровод, напевая: «Нас арестовали!» Их бритые головы усиливали впечатление. Искушенные, вроде Бориса, снова принялись за карты, таинственным образом появившиеся снова, едва закончилась проверка.

Представитель YMCA считал, что подбодрит нас, если покажет документальный фильм министерства продовольствия, но анархисты-зрители освистали демонстрацию процесса закатывания зеленой фасоли в банки.

Мы и посмеяться повод нашли. Мужчины должны были пройти медицинский осмотр на предмет выявления венерических заболеваний. Борис в одной рубашке подошел к молоденькой докторше. «Снимите немедленно», — сказала она сухо. Борис снял, докторша покраснела, вылетела и вскоре вернулась с халатом. «Наденьте», — приказала она, не поднимая глаз. «Думаете, ее впечатлили его мужские достоинства? — объяснял Фирлинжер. — А вот и нет, волосяной покров. Она приняла его за гориллу».

Мужчины вынуждены были довольствоваться скамейками амфитеатра, для женщин же устроили общую спальню. Волей-неволей мне пришлось терпеть их соседство. Старая еврейка, страдавшая ожирением, с отработанной годами преследований покорностью снимала с себя корсет из розового тика. Бельгийцы остались себе верны и занялись улучшением своего сиюминутного положения. Одни предлагали свои услуги на кухне, чтобы быть поближе к земным благам, другие подвизались на мытье посуды, дабы иметь возможность приставать к официанткам, третьи отправились лечить воображаемый насморк в теплый лазарет.

Ко мне подошел английский офицер, почти ребенок, застенчивый и белокурый, как девушка, и сказал по-французски: «Я комендант этого транзитного лагеря. Вы удобно устроились?» На что я ответила безжалостно: «Боже, я слышала, что у англичан юмор специфический, но только теперь на собственном опыте поняла, что́ это значит». Бедняга хотел тут же сбежать, но опомнился и сделал еще одну попытку. «Я согласен, все это ужасно неприятно, но, надеюсь, продлится недолго». И добавил, желая, вероятно, меня подбодрить: «Мы из гвардейцев, у нас очень красивый полк, он даже несет охрану Букингемского дворца», — но понял, что оказанная честь нисколько меня не трогает, и отошел.

Часов в пять или шесть нам предложили сесть за столы по национальному признаку. Я направилась было к бельгийцам, но тут ко мне обратился майор интендантской службы Бельгии: «Мадам, по неизвестной мне причине вы были от нас отделены. Сейчас ни у кого нет на руках документов, и вы, разумеется, не можете доказать свою национальную принадлежность. Но я хочу, чтобы вы, прежде чем сесть за наш стол, дали честное слово, что вы бельгийка». Я буквально задохнулась от ярости: «Глядя на вас, досточтимый господин, никак не скажешь, что быть бельгийцем почетно, и хотя истины ради я вынуждена признаться, что я бельгийка, гордости по этому поводу у меня нет...»

И я повернулась к нему спиной. Прослышав о происшествии — земля слухами полнится, — ко мне подошел польский офицер и сказал: «Вы окажете нам честь, мадам, если будете считать себя полькой и поужинаете с нами за одним столом». Тут поднялся уже занявший место за столом бельгийский коммунист: «Если госпожа де Малевски не бель-

гийка, то и я не бельгиец». Встали ребята из Миранды, мулат Томас, и тоже перешли за польский стол. Так подлость одних подчас компенсируется благородством других. Впрочем, то был не первый и не последний инцидент между мной и моими новыми соотечественниками.

Мне свойственно, впадая в гнев, относиться с иронией к собственным злоключениям. Ярость не подавляет меня, а воодушевляет, поэтому в целом я сохранила теплые воспоминания об Эмпресс-Холле. Мы много шумели. Ребята из Миранды пели грустную песенку: «Маленький принц и король с королевой как-то зашли, чтоб мне руку пожать, я был в отлучке — меня не застать, им оставалось сказать: "В понедельник заглянем опять"». (Или во вторник, в среду и так далее, в зависимости от дня недели.) Возмутительнее всего было то, что нас считали дураками. Казалось бы, чего проще, скажите прямо: «Вы прибыли из оккупированных стран, мы должны вас проверить, потерпите немного». Так нет же, нам давали совершенно невообразимое объяснение: «Вы на карантине. На «Батори» были случаи заболевания тифом», — а те, кто до нас покинул корабль, стало быть, заболеть не могли.

Бельгийцы пришли в волнение. Ожидался приезд министра национальной обороны Гута, немца, принявшего после войны 1914—1918 годов бельгийское подданство, то есть принадлежавшего к Бельгии приблизительно на том же основании, что и я. У меня не было ни малейшего желания встречать его вместе с остальными, но бравый полковник сказал, что это мой долг. Я всегда знала, что обязанности скучны. Можно даже сказать, что как раз скука и отличает их от добровольных поступков. Я покорно направилась к дверям, в которые только что вошел совсем не воинственного вида министр. Среди нас были четыре женщины: жена полковника, молодая женщина с ребенком, медсестра и я. Но у министра оказалось лишь три букетика фиалок, он галантно оделил ими трех стоявших впереди дам, с удивлением поглядывая в мою сторону. Если мне и было неловко, то только за него. Лично меня все это просто освобождало от чувства признательности к новой родине.

Англичанин-легионер — подсадная утка — все пытался завоевать мое доверие: «Мадам, — шептал он мне вкрадчиво, — у меня есть возможность переслать на волю письма. Напишите, кому хотите. А об остальном я позабочусь». Его любезность меня не обманула, но я обрадовалась случаю и тут же написала письмо мужу, рассказав, какие англичане тупицы, и еще одно лорду Роберту Сесилу — ему меня рекомендовала графиня де Панж — с сообщением о своем прибытии. Довольный тем, что провокация удалась, мой попутчик положил оба письма в карман. Разумеется, ни одно из них до адресата не дошло, но британская служба безопасности смогла прочесть, что я о ней думаю.

Так, в разнообразных развлечениях прошла, кажется, неделя. С сожалением расставалась я со своими многочисленными друзьями. Мужчин отправили в так называемую «The Royal Patriotic School»[1], женщин перевезли в лондонское предместье — я на ходу успела прочесть табличку

---

[1] Королевская патриотическая школа (*англ.*).

с названием Найтингейл Лейн — на виллу, где хозяйкой была матрона в твидовом костюме. Она принадлежала к тому типу женщин, который я ненавижу и который прочно обосновался в Англии. Ее тонкие сухие губы нехотя растягивались в лицемерной улыбке, — она же любит всех без исключения. Может быть, мы желаем петь вечерами церковную музыку? Она готова аккомпанировать — это здоровое времяпрепровождение. Попадая в общую спальню, мы чувствовали себя воспитанницами пансиона, но отсутствие свежего воздуха и недостаток витаминов сказались очень быстро, да и знаменитые тосты, и фасоль, неизменно подаваемая на ужин, опостылели не меньше похлебки из свеклы. Иногда по ночам в спальне возникал некий Том, феномен, довольно распространенный в стране, все еще погруженной в викторианскую атмосферу. Кем он был? Сторожем, а может, пожарником? Мы визжали, хотя на самом деле мы его в своем бесстыдстве нисколько не стеснялись, и он спасался бегством. Брюнетка-полька, которую я снова встретила в Эмпресс-Холле, каждое утро говорила мне: «Видите, я предупреждала, что Англия вас удивит». И иногда добавляла, мучительно переживая недоверие: «Я и сама уже начинаю сомневаться. Может, я действительно шпионка?» А блондинка, отвергнутая высокоморальными дамами, находила у меня утешение, рассказывая о своих многочисленных и весьма прибыльных приключениях.

Наши ряды таяли день ото дня. Снова появился тот, с крысиной физиономией, и принялся просеивать нас сквозь мелкое сито. Подруги мои оказались податливыми, и одна за другой выходили на волю. «Крысиная морда», как все полицейские мира, не гнушался классическими методами привлечения к «сотрудничеству». Одна еврейская беженка, выйдя от него в слезах, призналась, что должна будет теперь доносить обо всем, что творится в ее окружении, — видно, у нее не было склонности к такого рода деятельности, в отличие от моего попутчика-англичанина. «Но зачем же, черт возьми, вы согласились?» — «Я проявила неосторожность. С мужем мы не виделись уже два года, и у меня во Франции появился друг. Я везла с собой его письма. А этот человек пригрозил, что передаст их мужу. Они вообще ничего не понимают. Я у них на подозрении уже потому, что по документам австрийка, а родилась в Праге».

Тип с крысиной физиономией тут же стал для меня личным врагом, и, отправляясь к нему на беседу, я поклялась, что не позволю себя запугать. Беседа оказалась краткой:

— Вы должны понять, что здесь вы просто беженка и ничего больше.

— Нет, я не беженка; в Париже мне ничто не угрожало, я оставила вполне комфортабельные условия ради Англии, чьи шансы на победу ничтожны. Но хорошо, пусть я беженка, однако это не мешает мне быть дамой. (I might be a refugee but I am also a lady.) В полиции Виши и даже в гестапо со мной обращались учтиво, так что имейте в виду: если вы не будете держать себя, как положено, я просто не стану с вами разговаривать.

Он разозлился так, что даже побледнел.

— Вы, вероятно, не отдаете себе отчета в том, что в соответствии со статьей B.2 я имею право держать вас тут до конца войны...

— Прекрасно, держите хоть тридцать лет. Я больше не желаю с вами говорить.

— Вон! — рявкнул полицейский. Я вышла.

Вскоре мы остались один на один с мегерой в твиде, любившей все человечество, а на самом деле делавшей над собой усилия, чтобы не показать, как она меня ненавидит.

Мой бедный муж, чье внеочередное увольнение подходило к концу, пытался все это время дознаться, куда я пропала, — а я как сквозь землю провалилась. Никто ничего не знал, и даже самые влиятельные из его английских друзей были бессильны. Всем правила служба безопасности. Я не столь впечатлительна, как моя подруга полька, и потому, не сомневаясь, что упрекнуть меня не в чем, с чистой совестью предавалась гневу.

Так прошел, если не ошибаюсь, почти месяц со дня моего прибытия. Наконец меня снова вызвали для беседы. На этот раз передо мной сидел офицер. Хотя он не представился, я, из вредной привычки знать все, что от меня скрывают, прочла его имя на папке. Звали его Слокомб. Он вежливо встал, едва я вошла.

— Мадам, вы, кажется, отказались разговаривать с моим коллегой, но мне неизвестны мотивы вашего отказа.

— Не выношу грубости и угроз. Я прибыла сюда с дружескими намерениями и готова ответить на все положенные вопросы при условии, что они заданы вежливо.

— Надеюсь, мне вы ответите.

— С удовольствием. Жаль, что мне не пришлось иметь дело с вами с самого начала. Ведь даже если бы я располагала важными сведениями, за это время они бы устарели.

Я снова изложила ему все, что могла. И снова заметила, что симпатии англичан скорее на стороне Петена, чем на стороне де Голля. А когда допрос закончился, я призналась Слокомбу, что скрыла от досмотра рукопись «Поэмы для одинокого человека» — доказательство того, что проку от такого досмотра было немного, ведь с таким же успехом я могла укрыть план объектов, подлежащих взрыву. И меня выпустили на свободу.

Меня отвезли на машине в «Royal Patriotic School» и вернули там все документы и вещи. У дверей дожидалось такси. «Куда прикажете?» — спросил шофер. Мне нужно было в предместье Лондона, где жила семья майора Бремли-Мора, друга Святослава, согласившегося меня приютить, но я не спешила, радуясь освобождению.

— Сначала в хороший погребок.

Они как раз только открывались. Мы катили по заснеженным улицам.

— Вот этот очень хороший, — сказал шофер, остановив машину возле питейного заведения.

— Пойдемте со мной. — Он посмотрел на меня с удивлением. — Говорю же, пошли. Не люблю пить в одиночестве.

— Но это пивная для избранных, — возразил в смущении мужчина, — я лучше тут подожду.

— Глупости! Пошли.

Он нехотя последовал за мной. Никто на нас не обернулся, когда мы вошли. Я заказала два виски.

— Как вам нравится эта страна? — спросил шофер.

— Пока что совсем не нравится, я ведь только что из тюрьмы!

— О! Какая же это тюрьма, это «The Royal Patriotic School». Я всегда их обслуживаю. Стольких уже оттуда перевозил, и женщин, и мужчин! Одни сердятся, другие радуются. Мы вообще странный народ. Допустим, тут полно народу, и каждый сейчас, готов пари держать, думает: «Смотри-ка, как интересно, молодая дама, а рядом всего лишь шофер», я-то знаю, что они так думают, а вот вам, наверное, кажется, никто нас даже не заметил. Да, странный мы народ!

Я отправилась на Итон-Сквер, прозванный бельгийцами «улицей Лалуа» в честь той улицы Брюсселя, где находится большая часть министерств. Многие здания были заняты здесь бельгийским правительством. Из подвала дома, где располагался кабинет премьер-министра, доносился аромат хорошего супа, который варили консьержи. Премьер-министр уделил мне две минуты и, небрежно вскрыв пакет сенатора Франсуа, рассеянно пробежав документы глазами, сказал: «Молодчина Франсуа! Как он там поживает?» — «Трудится, господин министр, — ответила я, — не жалея себя, делает очень важную работу». Господин Пьерло больше ни о чем не спросил. Франсуа будет и дальше трудиться, до самого конца — до концлагеря. Да и я кое-чем рисковала ради бумажек, которые, оказалось, никого не интересуют. «Улица Лалуа» жила своей собственной жизнью.

Бельгийскую службу безопасности возглавлял капитан Аронштейн, бельгиец, обосновавшийся в Аргентине. Наконец-то мне попался интеллигентный и умный чиновник. Британские коллеги, возможно, уже предупредили его о моем несговорчивом характере, поэтому он не стал вызывать меня к себе, а пригласил в отель «Риц». Мне очень понравились и встреча, и ужин — и я была весьма красноречива. Я не стала скрывать, что сильно охладела к бельгийцам. Аронштейн доверительно сообщил мне, что у Святослава тоже возникали такого рода осложнения. Он поступил весьма разумно, воздержавшись от вопроса, какого я мнения о лондонском правительстве в Бельгии и о поведении бельгийцев в оккупированных странах. Ходили слухи, что, если бельгиец, прибывший в Англию, отвечал на этот вопрос так: «О, это потрясающее правительство!» — его сразу же записывали в подозреваемые. А те, у кого не было никаких задних мыслей, обычно осыпали министров проклятиями, что и являлось показателем их искренности.

С меня наконец сняли все подозрения, снова признали бельгийкой, хотя гордости по этому поводу я отныне не испытывала, выдали мне продовольственные карточки, и я смогла отправиться к мужу в Хиэфорд, где располагалась крохотная бельгийская армия.

Ни в одной книге о войне не встретишь описание буден солдат иностранных армий в Великобритании. А почему, собственно, надо забывать об этой, пусть незначительной стороне истории, об унылом существовании бойцов, лишенных битв? Хиэфорд, а позднее Лимингтон-Спа, где была расквартирована символическая бельгийская армия, стали для наиболее горячих добровольцев чистилищем — там затухал, а затем и вовсе был похоронен их энтузиазм. Даже бурные дни злосчастной кампании во Фландрии Святослав вспоминал с ностальгией. К длительной бездеятельности добавлялись плохие материальные и мораль-

ные условия. У офицеров жизнь была довольно приятной, они часто ездили в Лондон, получали приличное жалованье, их меньше всего беспокоило положение подчиненных, а те, в полной праздности — ни маневров, ни нарядов — томились от скуки, кляли судьбу и свое правительство и завидовали опасной, но не лишенной смысла жизни тех соотечественников, которым посчастливилось попасть на службу в военно-воздушные силы Великобритании.

Все маленькие армии: бельгийская, норвежская, греческая, югославская, а поначалу и французская, находились в одинаковом положении. Британцы вполне могли найти лучшее применение своим солдатам, многие из которых получили университетское образование, в Intelligence Service или в многочисленных подразделениях своих штабов, но каждое правительство держалось за горстку своих военных — эфемерный залог собственного военного могущества.

О продвижении по службе не могло идти и речи: офицеров и без того хватало; британцев — их-то армия была регулярной — удивляло вечное пребывание в солдатах людей, окончивших университет и знавших по несколько иностранных языков; они даже подозревали, что у тех не все чисто по части морали. Один бельгийский офицер, выслушав жалобы своих подчиненных, признался: «Вам скорее сто фунтов дадут, чем повышение. Ведь нам очень нужны солдаты».

И все же некоторым удавалось даже в такой армии сделать карьеру; к примеру, Пьер Вермейлан — в лагерь Эндоуэр они с моим мужем попали вместе, а позже их обоих произвели в бригадиры — уже через три месяца стал майором, потом подполковником и наконец возглавил военный трибунал. Но он был политиком, поэтому по окончании войны занял сначала кресло сенатора, а затем пересел в кресло министра внутренних дел.

«В Хиэфорде на нас разве что шальной бык может напасть», — говорил Святослав и, пока Гитлер совершал свой стремительный бросок, ездил в увольнительные в Лондон — там и война ощущалась сильнее, и Сопротивление подогревалось отвагой лондонцев. Достоевский писал в «Записках из Мертвого дома», что каторжники безропотно исполняют полезную работу, но бунтуют или впадают в уныние, если их вынуждают заниматься чем-то бессмысленным. Бунт и уныние были обычным состоянием и солдат, которых я встретила в Хиэфорде, — многие из них так стремились в бой, что на пути в Великобританию преодолели тысячи препятствий. Я побывала в лагере, поговорила с людьми — в глазах у них застыла тоска. Бельгийцы, в особенности фламандцы, не любят подчиняться. Строптивость их порой доходила до отказа подчиняться требованиям командиров, даже если это касалось пустяков. Один солдат, например, упорно отказывался нашить на рукав опознавательный знак «Belgium» — единственное, что отличало воинов маленьких армий союзников, одинаково одетых в британскую походную форму. «Не по-французски и не по-фламандски, — объяснял он. — Это не наш государственный язык». Все меры дисциплинарного воздействия оказались бессильны. Тогда один майор — верхнюю губу его украшала щетка усов — решил поговорить со строптивцем по-хорошему. «Дружище, в

этом нет ничего оскорбительного». Солдат его выслушал и сделал вывод: «Ну, так и приклей себе «Belgium» на усы». Другой, завербованный вопреки своей воле, отказывался считать себя солдатом. Он выражал свой протест всеми доступными ему способами. Однажды, когда строй брал оружие на караул перед приехавшим с инспекцией английским генералом, он уронил ружье прямо перед его носом, чем вызвал немалое удивление.

Недовольство зрело долго, и в конце 1942-го, когда моего мужа уже в бригаде не было, вылилось в открытый бунт — власти призывали восставших к порядку пулеметами. Зачинщиков отправили на грузовиках в военный трибунал. По пути они пели «Интернационал» — он становился воистину гимном всех недовольных как раз тогда, когда в СССР начали петь патриотические песни. Однако суд над ними провалился: бельгийцам, хорошо знавшим собственную конституцию, была известна и та статья, которая гласила: «Бельгийская армия может существовать только на территории Бельгии».

Святослав открыто не бунтовал, но с самого начала предпринимал попытки перевестись на службу к британцам. Однако сколько ни присылали на него запросы различные службы, бельгийцы всегда отвечали отказом.

Кого тут хватало, так это женщин. Если в высшем эшелоне иностранные военные крутили любовь, то низшие довольствовались летучими «батальонами сопровождения»; девицы всех возрастов, зачастую слишком юные для подобного занятия или призвания, так и кружили вокруг лагеря. Никакого романтизма — встречались, где придется, на грязных пустырях. Появление множества незаконнорожденных детей повлекло за собой и необходимость за ними присматривать. Одна добрая женщина рассказывала мне, что как-то раз, желая сделать приятное молодой маме, похвалила младенца: «Какой хорошенький, беленький. Наверное, в папу», — на что мать простодушно ответила: «Не знаю, мадам. Он не снимал берета!»

Рядом с подобной будничной расчетливостью особенно ценились сердечный прием окрестных жителей и бескорыстие «фронтовых опекунш», чем некоторые и пользовались вовсю. Говорили, правда, я не проверяла, что один ушлый бельгийский солдат умудрился в 1940 году обзавестись ста двадцатью шестью «опекуншами» и, заваленный подарками, сговорился с коммерсантом из Танби, чтобы их сбывать.

Мы со Святославом не виделись целых двадцать месяцев, и за это время оба сильно изменились. Чудо, конечно, пройти через все и снова встретиться, но в каком плачевном состоянии застала я мужа! Его мучила тяжелая болезнь — не надо было получать диплом врача, чтобы это понять. Он обращался к врачам, но его неизменно отправляли обратно с порошками аспирина «от неопасного гриппа».

Мы поселились у одного местного жителя, вернее, жительницы — точной копии матроны в твиде из Найтингейл Лейна — и пригласили Ги де Монсо из Бержанделя откупорить ту самую бутылку арманьяка, которую я упорно возила с собой из Брюсселя в Париж, из Парижа в Лиссабон, из Лиссабона в Лондон. Погасили свет, и я ощутила полное бессилие. Никаких великих задач теперь передо мной не было, но нужно было по крайней мере вытащить Святослава, иначе он — в чем я не

сомневалась — погибнет. Святославу хотелось, чтобы я оставалась рядом, и мое стремление переехать в Лондон — как говорится, в больших городах и Провидение ближе — ему не нравилось. Но я стояла на своем, Хиэфорд казался мне болотом, готовым нас засосать... И он сдался.

И вот я снова в Лондоне, на пороге самых черных дней своей жизни. Оказавшись в незнакомом городе без друзей, без денег, если не считать двух фунтов в неделю, полагавшихся мне, как члену семьи военного, в постоянной тревоге за Святослава, я ощутила прежде всего свою личную несостоятельность.

Раньше, в худшие моменты жизни, я всегда находила опору в дружбе, неожиданной ободряющей улыбке. А в Лондоне я чувствовала себя словно в пустыне. Двери захлопывались передо мной, каждое пустячное недоразумение, которое, будь я в нормальном состоянии, только бы меня насмешило, приобретало вдруг невероятную важность — я подвергалась самому страшному искушению, которое и заставляет человека замкнуться в себе. А окружающие всякий раз клали мне в протянутую руку камень вместо хлеба.

Теперь я нахожу цепь преследовавших меня злоключений комичной; в убогой меблированной комнате раздался звонок: голос русского, едва знакомого по Парижу и давно уже обосновавшегося в Англии, умолял меня пообедать с ним, его сестрой и шурином, швейцарцем, занимавшим высокий пост в международной организации. Я преисполнилась надежды. Этим людям не составит труда помочь мне, хотя бы советом. Но, сев за столик, я сразу поняла, что их интересует только положение на континенте. А когда обед закончился, пригласившие заявили, что каждый из принципа должен заплатить за себя. «Мы всегда так делаем, чтобы никого не обременять». Мало того, что это само по себе бесцеремонно, вдобавок у меня не было денег. «Ничего, вы будете нам должны». Они разговаривали очень мягко. Это были, так сказать, воинствующие православные — довольно известные в русской колонии люди, — но я и раньше не доверяла тем, кто часто говорит о Боге и при этом очень ловко устраивает свои делишки. Впрочем, они проявили готовность мне помочь — «христиане должны помогать нуждающемуся ближнему». Предложили жить в мансарде их собственного дома, окруженного садом. С началом военных действий воздух Кента, спокойного графства, полюбился им больше лондонского. Опять же, чтобы меня не обременять, они назначили плату за мансарду, один фунт в неделю — не меньше, чем это стоит обычно, но, естественно, они не станут требовать денег немедленно. Деваться некуда — пришлось согласиться.

Февраль выдался холодным, снежным, морозным. Мансарда не отапливалась, ни одеяла, ни простыней не было, — лишь у одного человека я нашла поддержку: в подвале жил сторож, старик Иван, служивший когда-то у Шереметевых и сохранивший к дворянам, даже обедневшим, почтение, которого он отнюдь не испытывал к своим нынешним хозяевам. Возвращаясь из своих безрезультатных походов, я пила в подвале у Ивана чай и отогревалась возле его печки. Узнав о наших посиделках, мои «благодетели» немедленно положили этому конец. Тут же оказалось, что они забыли включить в стоимость мансарды дополнительный расход газа.

Куда только я ни обращалась. Один бельгийский инженер предложил мне «составить компанию его жене» в предместье Лондона. Оставаясь одна, она пугалась бомбардировок и вообще, предупредил он меня, была очень нервной. Конечно, мне придется заниматься хозяйством, зато будет где жить... Узнав, что на бельгийском радио требуется журналист, я кинулась по совету Святослава к одному из его бывших командиров, занявшему затем видный пост в министерстве. Он принял меня очень любезно, тщательно записал все координаты и не придумал ничего лучшего, как рекомендовать на вожделенное для меня место свою жену... Я читала все объявления в газетах. Обратилась в британский Красный Крест, которому требовались сотрудники для службы розыска пропавших без вести. Я им как будто подошла, но один лишь взгляд на мой паспорт — на титул перед фамилией, и мне отказали. Разумеется, я попытала счастья во французском Красном Кресте: старая любовь не ржавеет. Но у меня был лишь один документ, подтверждающий профессиональную пригодность, — справка за подписью генерала Хантцигера, а кто другой мог тогда ее подписать? Конечно, рекомендация не из лучших.

Лондон в то время не бомбили. Опасность живо встряхнула бы меня, я бы сразу вспомнила, что на свете нет ничего важнее жизни и смерти. Вспышка гнева, в тот момент благотворного, охватила меня в кабинете главы бельгийской «Labour Exchange», своего рода «принудительной биржи труда», некой Изабель Блюм, жены бывшего депутата-социалиста. Она сухо напомнила мне мои обязанности: промышленность нуждается в рабочих руках, меня ждет завод. Я не стала объяснять, что руками ничего делать не умею, станков боюсь и на трудовом фронте способна только на неумышленный саботаж. Я просто предложила ей, добравшейся до Великобритании безо всяких хлопот, коли заводы нуждаются в рабочей силе, самой туда отправиться, а мне, пока я не оправлюсь от стресса, уступить свое место. Госпожа Блюм рассталась со мной без всякого сожаления.

Я была, грубо говоря, убита, совершенно потеряла голову, а если пользоваться современным языком, — впала в нервную депрессию. Из глаз моих катились неиссякаемые слезы, когда я спускалась по лестнице, когда ела соевые сосиски в «Лайоне», когда ехала в метро, когда шла по улице. Никогда не думала, что у нас такой неистощимый запас слез... Видимо, это не было полным отчаянием, поскольку я еще молилась и не искала выхода в самоубийстве, но реальный мир уже стал для меня уступать место миру вымышленному. Я представляла в бреду сильного и доброжелательного друга; образ обретал краски и ощущение реальности, я с ним разговаривала вслух, повествуя о своих горестях. Он словно постоянно был рядом, успокаивал, а в минуты просветления, наоборот, смущал. К психиатру я не пошла; вполне вероятно, это спасло меня от новейшего в ту пору лечения электрошоком — он отнимает у больных память, по крайней мере на время, и все мучительные проблемы начинают казаться им преходящими. Но что мы такое без памяти? Я всегда стремилась проживать до конца все свои горести и все свои радости, в глубине моего помутненного рассудка теплилась уверенность, что я сама справлюсь с безумием. Приходя в себя, я понимала, что для выздоровления мне нужна дисциплина, следовательно, нужна работа, и я продолжала ее искать.

Кто-то посоветовал мне позвонить княгине Марине Чавчавадзе, молодой женщине моих же лет, с которой у нас были общие друзья; кроме того, она встречалась в Женеве с моей матерью и братом. Она работала у Дороти Керен, известной целительницы, открывшей санаторий и усыновившей несколько брошенных детей. Марина, словно почувствовав, что дело не терпит отлагательств, назначила мне встречу в чайном салоне при магазине Харвея и Николсона. Я, как обычно, в слезах, явилась раньше назначенного часа. Сесть за столик не решилась: а вдруг она не придет, чем тогда я заплачу за чай? Но Марина оказалась очень пунктуальной, с ее появлением кончилась череда моих кошмаров. Она тут же позвонила мисс Кристине Фойл, владелице большого букинистического магазина, и уже на следующий день я вышла на работу в этот огромный мир подержанных книг. Работа была не слишком денежной, не слишком интересной, а атмосфера и вовсе тяжелой. Мисс Фойл управляла своими работниками железной рукой, что не способствовало росту ее популярности у служащих, по большей части беженцев из центральной Европы. Но какое это могло тогда иметь значение! Теперь мне приходилось рано вставать, чтобы вовремя успеть на работу; по вечерам я слишком уставала и уже не общалась с воображаемым другом, — так я перестала плакать, а повседневная рутина вернула меня к реальности. Поэтому, когда я спустя восемь или девять недель вернулась от Святослава из Хиэфорда с опозданием на два дня и была уволена неумолимой мисс Фойл, я уже выздоровела. Она подействовала на меня лучше электрошока.

Выйдя на свет из длинного черного туннеля — от моего нервного потрясения осталось лишь легкое расстройство вегетативной системы, сохранившееся до конца войны, — я ощутила, что жизнь прекрасна, может быть, даже еще лучше, чем раньше, хотя я снова оказалась на улице.

К тому же я обнаружила, что переехала не просто в другую страну — на иную планету. Мне было не по себе уже от того, что мы находились на острове, окруженном со всех сторон водой. Я сохранила привязанность к другим границам, разделяющим страны, к границам, внушающим уверенность, к границам, которые, в случае надобности, всегда можно пересечь незаконным путем, избежав таким образом опасности, — здесь же границей было море.

Я понимала, что у страны, куда я попала, богатое культурное прошлое, но она тем не менее какая-то странная и очень сложная. Все здесь сбивало с толку, даже язык — каждое слово могло иметь помимо своего прямого значения благодаря только интонации тысячу разных смыслов. Например, «sorry» можно произнести на разные лады, имея в виду «мне очень жаль», «простите», «пошли вы к черту» и даже, думаю, «я вас люблю». Я сейчас говорю о Великобритании сороковых годов, с тех пор она, как и другие страны, сильно изменилась. Тогда кастовая разделенность общества ощущалась там больше, чем где-либо. Были люди, к которым все обращались только «сэр», и такие, которые никого сэром не называли, разве что баронета. Англия казалась мне пирамидой: на вершине ее находился король, затем правящий класс, состоящий из герцогов, выпускников знаменитых колледжей и университетов, Оксфорда и Кембриджа, но который, следуя принципам греческой аристократии, принимал в свое лоно преуспевших

благодаря своим личным заслугам или деловой хватке; чуть ниже располагался немногочисленный средний класс и, наконец, народ — суровый, упорный, неизбалованный. В пропасти, открывавшейся у подножия этой пирамиды, кишела смесь из представителей всех народов белой расы, а на самом дне — цветные, люди с черной, желтой, красной кожей.

Для того, чтобы вознесшаяся так высоко страна не впала в гордыню, чтобы у нее не закружилась голова, существовал Творец Вселенной (и, само собой, Британская империя). Ум, высшая добродетель для французов начиная с эпохи Просвещения, англичанам казался скорее свойством подозрительным, что отчасти справедливо, поскольку рассудок нередко несет в себе разлагающую силу. Проявление ума в Англии — привилегия интеллектуалов, они одни могли его демонстрировать. В прочих кругах «быть умным» считалось дурным вкусом и даже полагалось скрывать как порок, хотя интеллектуальный снобизм особой «касты» был лишен непосредственности, к чему я никак не могла привыкнуть.

Ждали меня и другие сюрпризы. Мало-помалу я обнаружила, что за холодностью и безразличием англичан скрывается крайняя ранимость. Оттого они и надевали на себя непробиваемый панцирь, что сами прекрасно понимали: стоит постороннему проделать в такой защите маленькую брешь, как вся их оборона рухнет. И откроется душевная теплота и даже человеческие слабости. В определенном смысле англичане представлялись мне антиподами французов: те кажутся, на первый взгляд, уязвимыми, а порой мягкотелыми, но внутри у них стальной стержень, который поколебать довольно трудно. Некоторыми своими чертами англичане напомнили мне немцев: такие же сентиментальные, а то и с призванием поучающих гувернанток. Мне казались ужасно смешными усилия друзей, к какому бы классу они ни относились, научить меня жить по правилам, принятым у англичан. Они напрасно тратили время, ведь я не скрывала, что мне скучно брать вилкой каждую горошинку и я не стремлюсь походить на англичанку. С другой стороны, вопреки конформизму англичан, я нигде не видела столько оригинальных и эксцентричных характеров, как в этой стране.

Англичане научили меня куда более важной, чем их манеры, вещи — отказу от self-pity, жалости к себе самой. Как только перестаешь плакать над собственной участью, все твои горести оказываются преодолимыми. Мне повезло, я увидела Великобританию в час испытаний, и это стало для меня настоящим уроком терпения, гражданского мужества и отваги.

Несмотря на существование сословий, политический строй Великобритании, пока «общество потребления» не утвердило и тут свой прискорбный для всех стран стандарт жизни, больше, чем где-либо, соответствовал истинному понятию демократии. Достичь этого можно было только благодаря терпимости и уважению к инакомыслящим.

Вот несколько примеров. В самый разгар войны клиенты пивных спокойно, словно речь шла не о предателях, слушали призывы «лорда Хау-Хау» и Нормана Бейли-Стюарта, что, однако, не помешало тем же англичанам по окончании войны одного приговорить к смерти через повешение, другого заключить в тюрьму на острове Райт.

Разумеется, глава фашистской партии и его наиболее рьяные сторонники были арестованы в превентивном порядке, но их постарались

максимально уберечь от притеснений. Они виделись с друзьями, получали посылки, а как только миновала опасность, были выпущены на свободу, и никто не поставил им в вину их образ мыслей. В Лондоне держал ресторанчик русский адмирал В., большой почитатель Мосли. Он пытался убеждать своих клиентов, что Гитлер прекрасный человек, что воевать против него — преступление... Служба безопасности не раз предупреждала его о необходимости соблюдать осторожность: «Понимаете, сэр, вы вправе быть какого угодно мнения, но ресторан — место общественное, среди его посетителей попадаются люди, потерявшие на войне сына или мужа, и ваши слова могут вызвать у них грустные мысли...» Адмирал не унимался. В конце концов его арестовали. Моя подруга Мерика, ходившая его навещать, рассказывала, что он пребывал в прекрасном настроении, играл в карты, был доволен питанием и радовался, что хоть тут попал в хорошее общество!

Незадолго до моего приезда одна шотландская дама пригласила Святослава к себе на уик-энд — они не были знакомы, но дама стремилась продемонстрировать свою симпатию к иностранным военным. Когда он приехал и увидел на перроне маленького вокзала в Эдинбурге невысокую, строго одетую женщину, то сразу же подумал, что ему предстоит провести два дня в скуке и даже не слишком удобных условиях. Но их ожидал большой лимузин с шофером, и они приехали в красивое поместье, где его роскошно разместили. Женщина оказалась вдовой пивного магната. Миссис И., подвижная, очаровательная, щедрая — ничто не соответствует истине меньше, чем обвинение шотландцев в скупости, — была так богата, что платила с каждого фунта дохода девятнадцать шиллингов налога. Они вместе отправились на обед к ее двоюродному брату в знаменитый замок. Муж, естественно, был в форме, единственный бригадир среди присутствовавших офицеров. Как же он изумился, когда одна из дам, леди М. С., американка по происхождению, принялась разглагольствовать во время обеда о безумстве войны с Гитлером: «Это ужасно и просто глупо. Гитлер — замечательный человек. Я борюсь за мир. Знаете, после обеда я дам вам листовки, которые мне только что отпечатали, и вы распространите их у себя в части». Никто за столом не выказал ни малейшего удивления, однако, когда закончился обед, хозяйка дома отвела моего мужа в сторону и сказала: «Не обращайте внимания на леди М. С., она оригиналка». Меньше всего ее можно было назвать оригиналкой. Получив возмутительные прокламации, Святослав поспешил их уничтожить. Вряд ли солдаты бельгийской армии сочли бы их проявлением оригинальности.

Из-за событий в Европе на остров обрушились толпы иностранцев, и британцам надо было обладать гигантской силой духа, чтобы не выказать раздражения. Казалось, англичан ничто не удивляло в обычаях, столь разнящихся с их собственными. Чего ждать от иностранцев? Больше, думаю, поразил их тот факт, что и собратья-англосаксы, американцы, вовсе не были на них похожи. Британцы до того привыкли к иноземной речи и разным военным формам, что, говорят, двум журналистам, решившим как-то раз поставить эксперимент, удалось целый день проходить в немецких мундирах незамеченными по Лондону, они даже рискнули заглянуть на запрещенные объекты.

С приходом весны я наконец покинула пресловутую мансарду и поселилась в меблированной комнате в Бейсвотере, где меня навещали две подруги. Княжна Ксения, внучатая племянница царя, по прозвищу Мышка, красивая застенчивая девушка, вела в оживленном Лондоне уединенную жизнь, поскольку работала младшей медсестрой в детском госпитале на Грейт Ормон стрит, никаких развлечений у нее не было, разве что доводилось иногда достойно провести уик-энд в замке Балморал. Наталья же состояла в *Добровольной женской службе*. Она была литератором и познакомила меня с неизвестной мне тогда, к сожалению, американской литературой.

Иногда мы совершали вылазки в Сохо, квартал и до войны очень живописный, а после нее — тем более. Лондонские пабы не похожи, разумеется, на парижские кафе, но выполняют ту же, в том числе и социальную функцию — здесь человек не чувствует себя одиноким. Среди пивных были весьма почитаемые, в основном в районе Флит-стрит, где витали души доктора Джонсона, Босвела, Чарлза Лемба и целых поколений мастеров пера, а были заведения классом пониже, в пострадавших кварталах Патни, Вест-Индиа-Докс, где царил «народный дух», и еще одна категория пабов, в центре города, облюбованная военными.

Однажды мы вошли в пивную, где любили бывать канадцы. Исхудавший человек играл на пианино; он был прекрасным пианистом и время от времени, словно издеваясь над собой, вставлял между надоевшими популярными мотивчиками романс Шумана или сонату Брамса. Клиенты ставили ему кто пинту пива, кто джин, он опрокидывал их, утирал пот со лба и снова, с еще более рассеянным взглядом, начинал играть. К плавающему в дыме потолку было приклеено множество разноцветных бумажек — пожертвования госпиталям. Берешь в кассе листок, заворачиваешь в него монету, бросаешь в потолок, и она остается там, пока не наступит день сбора. Под неумолкаемый гвалт напивались здесь канадцы, австралийцы, выходцы из Новой Зеландии и Южной Африки, чехи, французы. Англичане вели себя гораздо сдержаннее и пили молча. Рядом с нами сидели за кружкой два летчика, глядя сквозь дым осоловевшими глазами. «Вот мы сидим тут, пьем, — принялся рассуждать сам с собой один из них. — А дальше что? Девушки хотят выйти замуж, но разве честно нам жениться? Сегодня здесь, завтра там», — он замолк, а его товарищ без звука рухнул на пол к нашим ногам. Худосочные работницы, только что певшие блюз, утихли. Женщина с красным лицом взялась поливать упавшего из сифона. Его положили на скамью; он едва заметно шевельнул головой. К нам подошел франкоговорящий канадец:

— «Принцессы», — обратился он, даже не подозревая, что попал в точку, — на каком языке вы говорите?

— На русском.

— Эй! — крикнул он. — У нас тут русские. Гип-гип-ура! Я вас угощаю.

Напрасно мы протестовали, уверяли, что не имеем ни малейшего отношения к тому, что происходит на восточном фронте, к нам со всех сторон потянулись стаканы. Наконец мы вышли из влажной духоты на

улицу. Было полнолуние. Над пустотой, словно на сюрреалистической картине, повисла арка разрушенной церкви.

Да, разрушенных зданий немало. Но того, кто только что приехал в Лондон, обманывала чистота столицы. Улицы выметены, обломки убраны в рекордные сроки. Идешь, например, по Саус-стрит в элегантном квартале Мейфеа и вдруг замечаешь, что она состоит из одних фасадов — за ними, словно это театральные декорации, лишь пустыри. Парковые ограды сняли — требовался металл, — и сады беспрепятственно стали наступать на город. Серая толпа, усталые лица; метро, словно вышедшая из берегов река, выплескивало на улицы темные молчаливые толпы. Когда сгущалась ночная тьма, окрестности Пиккадилли кишели людьми-призраками. На улицах поджидали клиентов проститутки. Мои английские друзья отрицали, что они вообще существуют, а когда я показывала пальцем на недвусмысленные фигуры, говорили с достоинством: «Это, скорее всего, француженки».

Лондон, несмотря на то, что время вносило изменения в его быт, сохранял верность традициям. По-прежнему по воскресеньям, взгромоздившись на ящики, обращались к согражданам в Гайд-парке серьезные или экстравагантные ораторы. Вот бородатый пророк призывал прохожих помнить о дне Страшного Суда; чуть подальше кто-то проповедовал любовь и согласие между людьми. Молча стояла девушка в белом, с распущенными по плечам светлыми волосами, держа в руках белое знамя с надписью: «Ирина и мир». Рабочий горячо обличал мерзости капитализма. Отведенный ораторам уголок Гайд-парка — развлечение для одних, клапан чтобы выпустить пар, для других — оставался оживленным, как в мирные дни.

Впрочем, в этом парке можно было увидеть и более фривольные сцены. На лужайках валялись парочки, полагавшие, что они незаметны, иногда парочки очень странные: женщина-лейтенант обнималась с солдатом; такое явное презрение к военной субординации страшно возмутило нашего друга, югославского генерала. Влюбленные и в самом деле оставались для окружающих невидимыми, потому что чересчур любопытный прохожий, задержавшийся, чтобы за ними понаблюдать, рисковал быть оштрафованным.

Не видно было в парках обычных ребячьих стаек, детей в Лондоне оставалось мало — всех эвакуировали в более безопасные районы. Печальная картина: по дорожкам гуляли старушки и сами с собой разговаривали вслух, чтобы обмануть одиночество.

Святослав, как только ему удавалось получить увольнение, приезжал ко мне и продолжал искать возможность перевестись на другую службу. Еще до моего прибытия он просился в парашютный десант на оккупированную территорию, но капитан Аронштейн решил, что он там не нужен. В пилоты R.A.F.[1] его тоже не взяли, по возрасту. Он стремился в летчики-наблюдатели на бомбардировщик, но, увы, тоже безрезультатно. Наконец в июне 1942-го военные власти получили депешу из бельгийского министерства военно-морского флота. Все, кто был знаком

---

[1] Королевский военно-воздушный флот. (*Прим. перев.*).

с противовоздушной обороной, могли отныне, если хотели, служить либо в военном, либо в торговом английском флоте. Святослав вызвался добровольцем и, в ожидании перевода, перебрался ко мне в Лондон. Здоровье его по-прежнему оставляло желать лучшего, но настроение было отличное. Господин Руэф, высокопоставленный чиновник из военно-морского флота Бельгии, убедился после беседы со Святославом, что тому лучше служить по его ведомству. Князь Дмитрий Романов, сын Великого князя Александра и дядя нашей Ксении, офицер адмиралтейства, рекомендовал Святослава на должность офицера связи. Пока принималось решение, его направили на обычный армейский медосмотр.

В тот день мы обедали у британского врача, женатого на русской. Святослав пришел удивленный и подавленный. Англичане отказали ему по состоянию здоровья, не уточнив диагноза.

— Но что у меня может быть? — возмущался он. — Я уже прошел не один десяток осмотров и всегда меня признавали годным к службе.

Хозяин дома, посмотрев на него опытным взглядом, сказал:

— Дорогой мой, я уже давно подозревал, что у вас не все в порядке с легкими. Хотите, я попрошу специалиста осмотреть вас? Будете знать точно.

Он оказался прав. Святослав болел туберкулезом. В бельгийской армии сочли, что это недостаточно веская причина, чтобы оставить в покое солдата, от которого отказался Королевский военный флот, но они не приняли во внимание меня. Я не возражала против выполнения Святославом своего воинского долга, более того, даже хотела этого, но и армия, по моему мнению, обязана была выполнять свой. И я, выпустив когти, развязала настоящую войну против Итон-Сквер — войну, достойную скорее пера Плавта, чем Гомера. Я стала настоящим кошмаром для Министерства обороны, полковники закрывались от меня на ключ, но один сочувствующий собрат по борьбе у меня все же был: фламандец, в прошлом легионер, по собственному признанию — дезертир. Он хорошо знал закон: «Бельгийская армия может существовать только на территории Бельгии», — и потому, распахнув мундир, расстегнув воротник, занимал свой пост у дверей министерства, движимый горячим желанием расквасить физиономию министру, причем неважно какому! «Меня заставили дезертировать из легиона, чтобы установить власть совершенно бесполезных и хорошо оплачиваемых чиновников. Я хочу быть солдатом, но не желаю играть в солдатики!»

Устав со мной бороться, министерство разрешило-таки Святославу лечиться, правда, не без уверток — и, на мой взгляд, отвратительных. Святослава соглашались освободить от воинской службы при условии, что он откажется от пенсии по инвалидности и подтвердит, что уже болел туберкулезом, когда пошел в армию. Святослав готов был подписать что угодно, но я из принципа не поддавалась шантажу. И потребовала, чтобы мне показали его личное дело, а там черным по белому было написано, что в 1940 году, когда Святослава взяли на службу, он был абсолютно здоров. Теперь уже я сама перешла в наступление, стала угрожать, что привлеку к суду военных врачей за то, что они месяцами не находили у мужа никакого заболевания, тогда как британскому спе-

циалисту даже осматривать его не понадобилось для диагноза. И я победила.

Мы по-прежнему очень стесненно жили в меблированных комнатах в Бейсвотере на ту небольшую сумму, которую Святослав получал по демобилизации, и на восемь фунтов его инвалидной пенсии. Я давала уроки русского. Между тем грамматика всегда была для меня самым ужасным предметом, если не считать математики, причем грамматика всех языков, на которых я имею удовольствие говорить. Только открою учебник грамматики, как начинаю зевать от скуки. Кроме того, русская грамматика, по-моему, очень запутана (только француз, профессор Бойе, сумел в какой-то степени прояснить для меня классификацию русских глаголов), и ученики, приступавшие к занятиям из любви ко всему русскому или, что случалось нередко, из стремления сплотиться со своими новыми союзниками, дойдя до спряжений, тут же бросали учиться. Таким образом, я была вдвойне заинтересована в том, чтобы отложить грамматику. Чего хотят мои ученики? Говорить и читать русских авторов в оригинале? Ну так пусть, как я, выучат алфавит и читают, читают, как одержимые, и при любой возможности говорят по-русски, не стесняясь ошибок. Самое удивительное, что я со своей странной методикой добивалась весьма существенных результатов.

Святослав, чье здоровье крепло день ото дня, — на наши болезни сильно влияет душевное состояние — тоже рвался искать работу, любую работу. Я была против, потому что по опыту знала: устроиться сторожем не проще, чем директором. А вся трудовая жизнь не заменит случайной удачи. Удача пришла к Святославу на улице Лондона в лице профессора Ван Ланжанхове, ставшего генеральным секретарем Министерства иностранных дел. Мы были знакомы по Брюсселю. Встреча оказалась радостной.

— Но чем же вы занимаетесь? — спросил Ван Ланжанхове.

— Я только что демобилизовался и ищу работу. Может быть, у вас что-нибудь найдется?

— Вполне возможно. Зайдите ко мне.

Несколько дней спустя Святослав повстречал у одной подруги виконта Обера де Тьези, генерального директора управления «В» того же Министерства, и 16 августа 1943 года совет Министерства назначил его заместителем начальника отдела в это управление. Всякая служба всегда является в какой-то мере зеркалом своего руководителя. Управление «В» носило отпечаток личности виконта Обера, дипломата высокого класса, человека требовательного, но обходительного и деятельного. Профессор Ван Ланжанхове и виконт Обер изменили наше существование.

А моя удача пришла в лице Юдит Оссуски, дочери посла Чехословакии во Франции. Она мне как-то сказала:

— Мне предложили работу во французском информационном агентстве, но мне это неинтересно.

— Зато мне интересно, — сказала я и отправилась тут же к Полю Маке (Македонскому), главному редактору Международного французского агентства на Флит-стрит. Он взял меня, несмотря на мой опыт журналистской работы, без энтузиазма и потом все время, пока мы

сотрудничали, продолжал сторониться, — вероятно, его, как и многих других, испугал мой титул.

Журналистикой я начала заниматься перед войной сразу в должности специального корреспондента. Теперь мне повезло меньше. В Международном французском агентстве меня понизили и поручили работу совсем незаметную. Сначала меня прикомандировали к центру радиоперехватов в Хэмпстеде: работа утомительная и безумно скучная. Голос генерала долетал из северной Африки с сильными помехами, мне приходилось по нескольку раз и очень быстро прослушивать пленку, чтобы выбрать наиболее яркие фрагменты и передать в редакцию, пока нас не опередили другие агентства. Стало веселее, когда моя настойчивость сломила неприязнь Маке и меня перевели на Флит-стрит. Это была замечательная школа. Работали мы подолгу — сорок восемь часов подряд — и в большом нервном напряжении (с восьми до шестнадцати, с шестнадцати до полуночи и с полуночи до восьми). Нельзя сказать, что агентство в целом было проголлистским, политические убеждения сотрудников отличались удивительным разнообразием. У нас были свои звезды: Пьер Майо (Пьер Бурдан), Пьер Госсе и его жена Рене, находившаяся в привилегированном положении — она не участвовала в нашей безумной гонке, но, сидя в собственном кабинете, сочиняла опусы для Латинской Америки, а также Жервиль-Реш; еще один хороший репортер, погибший при исполнении обязанностей, забыла его имя, и все остальные: бельгийский морской офицер, которого давно и безуспешно пытался вытребовать морской флот, чех, ювелир непонятной национальности, Клод Канери, молодой француз из Египта, и я. Треск машинок, ярость Маке, стук телетайпов, кучи газет, бюллетеней — так, иногда под бомбами, мы работали. Не обходилось и без накладок.

Однажды ночной редактор, в ожидании близкой кончины одного британского государственного деятеля, составил некролог. А другой редактор, который сменил коллегу в восемь утра, увидев некролог на столе у Маке, поспешил отдать его на телетайп. Никогда еще так горячо не желали человеку быстрой и легкой смерти, как в тот день в нашем агентстве! Какое облегчение мы испытали, когда узнали, что государственный деятель испустил дух через пять минут после нашего сообщения. Разумеется, мы обскакали все агентства. К концу войны я тоже отличилась, допустив грандиозную ошибку, которую читатели, правда, не заметили. В то время много говорили о коллаборационистах; их все пытались подсчитать. Я приняла телеграмму: в Китае, похоже, тоже нашлись коллаборационисты, целых четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь человек. Мне показалось, что для такой огромной страны эта цифра вполне допустима, если сравнить, сколько их было в менее населенных государствах. И я пропустила информацию. Прочтя выпуск, Маке пришел в неописуемую ярость. Эта цифра — 14667 — оказалась номером линии.

Больше всего на свете я горжусь людьми, с которыми вместе переживала тяжелые времена, то есть выживала. Лорд Моран, врач и друг Уинстона Черчилля, опубликовал в 1945 году книгу «Анатомия мужества». Там есть такая фраза: «Мужество — категория нравственная; это

не удача и не природный дар, как, например, склонность к игре. Когда перед вами стоит альтернатива, непоколебимая решимость требует самоотречения, причем не однократного, повторяющегося усилия воли, — это хладнокровный выбор».

Такой отважный выбор мы наблюдали не раз в самых разных слоях общества. Жившие в изоляции на своем острове англичане расселились по всему свету, чтобы создать империю, и из поколения в поколение главным для себя считали формирование характера, а то и гражданского самосознания. Именно это спасло их в 1940 году. В этот кризисный для всего мира год никакой другой стране не дал Господь столько выдающихся деятелей (министров, например), как Великобритании, начиная с Черчилля — решительного и реально оценивающего суть событий. Говорят, произнося свою торжественную речь: «Обещаю, будут слезы, пот и кровь; но мы будем сражаться за каждый город, за каждое поле, — он зажал рукой микрофон и добавил для тех, кто стоял с ним рядом: — пустыми бутылками из-под пива», поскольку знал, что защищаться практически нечем. Газетные и промышленные магнаты, те самые, которых принято называть «акулами капитализма», вдруг стали прекрасными министрами. Лорд Вултон великолепно организовал снабжение. Никто в Великобритании не умер от голода, ограничения вводились разумные, хлеб всегда был в достатке; не хватало лишь мяса и жиров. Черного рынка практически не существовало, что тоже является свидетельством смелости. Редкие богачи, которые все же добавляли к своему рациону что-то сверх положенной нормы, ели в одиночестве, не решаясь разделить незаконную трапезу с друзьями. Рестораны любой категории, «Лайн» или «Скотт», были полны; рыбой да унылым бламанже — студенистая сладкая масса — кормилось большинство лондонцев.

В ресторанах не надо было отдавать продовольственные купоны, но обедать разрешалось не больше, чем на пять шиллингов (без напитков). Иностранцы порой шли на нарушения правил. От дурных привычек трудно избавиться: уровень воды в их ваннах поднимался выше красной линии, что для самих англичан, полагаю, было немыслимо, а во время сильных холодов они не жалели обогревательных приборов, не думая о необходимой в военное время экономии.

Надо все же сказать несколько слов и о бомбардировках. Я приехала, когда стремительное наступление немцев в Европе и массированные бомбардировки уже закончились. Однако и позже бомбежки оставались составной частью нашей повседневной жизни днем и ночью, ко всяким бомбам: фосфорным и замедленного действия — успели привыкнуть. Смелость не менее заразительна, чем страх, мне, надеюсь, поверят на слово: с января 1942-го по июнь 1944-го ни муж, ни я ни разу не спускались в убежища, так что я даже не знаю, как они выглядели. Никто из знакомых британцев себя не берег, и мы тоже в этом смысле им соответствовали.

К опасности быстро привыкаешь, если твое окружение воспринимает ее как нечто само собой разумеющееся, зато какую радость испытываешь, когда она минует: радость, что остался в живых, не пострадал, невредим после сильной бомбежки.

Каждый день, каждая ночь становились подарком — каждую секунду можно было погибнуть, и каждое мгновение жизни приобретало поэтому особую ценность. Иногда я возвращалась домой ночью. Вынырнув из метро, шла мимо разрушенных, еще дымившихся домов; от запаха гари першило в горле. Я устремлялась сквозь развалины к дому, которого уже могло не быть и где ждал меня — я очень надеялась — Святослав. О чудо! Дом стоял целым. А мы оба, несмотря на постоянную опасность, удивительным образом оставались целыми и невредимыми, что было большой удачей, более того — милостью, за которую следовало благодарить Бога.

Стойкость лондонцев осталась, мне кажется, недооцененной. Одна богатая дама, которой мы посоветовали покинуть Лондон и подыскать более спокойное место для жилья — средства ей позволяли, никаких обязательств она не имела, — ответила: «Как же так? Люди, у которых нет денег, не могут себе позволить уехать. Что они обо мне подумают?»

Старый лорд с секретарем и мажордомом как-то взялся обезвредить бомбу замедленного действия в подвале собственного дома. Это кончилось тем, что, по словам Черчилля, «эта троица разлетелась в прах и устремилась на встречу со Святой Троицей».

Однажды я открыла окно и увидела, что на пустыре, то есть на участке, расчищенном от обломков еще недавно стоявших тут домов, работают несколько солдат под командованием лейтенанта. Я крикнула: «Здравствуйте! Что вы тут делаете?» — «Да хотим небольшого кролика поднять». Они доставали из земли неразорвавшуюся бомбу. Как-то вечером после бомбардировки в дверь В. — он остался на вилле в Голдер Грине один, жена с дочерью уехали в Шотландию — позвонили. На пороге стоял warden[1] (старший по кварталу) и приказал: «Выметайтесь из дома». — «С какой стати?» — спросил наш друг. — «Неважно, говорю же, немедленно уходите!» В., рассердившись, захлопнул дверь. Снова звонок, снова тот же warden. «В вашем распоряжении осталось несколько секунд», — но потом все же согласился дать объяснение: «Кажется, в ваш сад упала бомба замедленного действия, с минуты на минуту прибудет саперная команда». С иностранцами вечно приходилось терять драгоценное время на объяснения!

В Англии не носили траур, а жалость к себе презиралась, британцы не считали возможным навязывать собственные чувства окружающим или выставлять их напоказ.

Отказ обсуждать опасность или смерть доходил порой до абсурда. Хладнокровие англичан выглядело подчас гротескно. Вот, например, беседа двух молоденьких девушек в автобусе: «С моей тетей приключилась большая неприятность», — сказала одна. «Что такое?» — «Бедняжка взлетела на воздух вместе с домом». Или признание дамы, усиленно пудрившей себе нос: «Знаете, мою бедную маму убило несколько дней назад». Может быть, сдержанность здесь доведена до крайности, но все же это хороший урок внутренней дисциплины.

---

[1] Служащий противовоздушной обороны (*англ.*).

Переходы в метро были полны народу. Те, кто здесь спал, приходили по большей части из кварталов, сильнее всего пострадавших от бомбежек, — они лишились крова. Спускались на ночь в подземку и женщины с детьми, которых не успели эвакуировать или с которыми не решались расстаться.

Вполне понятно, что, когда бомбардировки длятся месяцами и годами, работа не может прерываться по соображениям безопасности. Не останавливали работу ни министерства, ни редакции, ни ателье, ни развлекательные учреждения. Мы пошли как-то раз в театр — давали «Вольпоне» Бена Джонса. Посредине действия раздалась тревога, на авансцене появилась надпись: «Начинается налет, желающие могут спуститься в убежища». Номер убежища и кратчайший путь к нему были обозначены на каждом билете. Никто не двинулся с места. Зато, как оживилась публика, когда, уже после тревоги, актер, игравший Вольпоне, подавился жемчужиной — он должен был по роли прятать ее во рту — и, не в состоянии произнести ни слова, просто спокойно удалился со сцены. А спустя несколько секунд вышел режиссер и, показав залу жемчужину, заверил: «Все в порядке, вот она». И спектакль продолжался.

Да, бомбардировок было так много, что если я и запомнила некоторые из них, то только из-за забавных деталей. Бенджамин Бриттен и норвежская оперная певица давали как-то концерт в Клубе союзников. Начался массированный налет. При каждом залпе зениток, при каждом разрыве бомбы певица — Валькирия, достойная резца скульптора — повышала и без того мощный голос, словно хотела перекрыть ненужный аккомпанемент. Сидевший рядом со мной английский офицер не выдержал. «Она поет чересчур громко», — сказал он и вышел в сад, где было немного потише.

Однажды мы шли пешком от Гайд-парк-Корнер на коктейль к кузену Марины Чавчавадзе, жившему недалеко от Грин-парка. На голове у меня красовалась эксцентричная зеленая шляпа; она была ужасно дорогой и совсем новой. Дул сильный ветер, начался воздушный налет. Порывом ветра сорвало мою прекрасную шляпу и унесло невесть куда. Нас окружала сплошная тьма. «Ну нет! — возмутился Святослав. — Шляпа слишком дорогая, надо ее отыскать». Мы включили свои ручные фонарики с синим светом, лучи заметались по земле. «Что-то потеряли?» — спросил прохожий, какой-то полковник. «Да, шляпу». Он присоединился к нам. Полицейский, совершавший обход, последовал его примеру. Вскоре злополучную шляпу уже искали семь человек. Осколки сыпались на нас градом. В конце концов нашли: она застряла между прутьями решетки подвального этажа.

В Клубе союзников каждый, в зависимости от характера, реагировал в таких случаях по-своему. Одни вспоминали вдруг, что им нужно срочно зайти к приятелю и уходили, думаю, в убежище; другие спускались в подвал якобы позвонить, хотя правила запрещали пользоваться телефоном во время налетов, чтобы в случае опасности всегда можно было дозвониться. У некоторых портилось настроение, хотя держались они хорошо; были и такие, кто оставался за карточным столом под раскачивающейся люстрой, может, только не так внимательно следили за иг-

рой. В баре британцы делали вид, что ничего, абсолютно ничего в их столице не происходит. А поляки, ох уж эти поляки! — они приходили в неописуемый восторг. Томас Глинский садился за пианино и играл Шопена с неподражаемым воодушевлением, а любители острых ощущений кидались в сад полюбоваться адской иллюминацией. Стан Барыльский потащил меня на крыльцо, и я из самолюбия согласилась. Светящиеся пальцы прожекторов выхватывали из тьмы крохотную точку, сыпавшую на город гроздья бомб или кувыркавшуюся в воздухе, для того чтобы уйти от крепко державших ее щупальцев. Я не желала зла вражескому пилоту, я только хотела, чтобы он понял: игра проиграна, ему осталось выпрыгнуть из самолета, чтобы спасти свою и наши жизни. «Прыгай же, дурак, ну, прыгай!» — мысленно заклинала я.

Святослава завораживала музыка оркестров смерти и огня. Начинали зенитки, спрятанные в зелени Гайд-парка. Реактивные установки, похожие на «сталинский орга́н»[1], выплескивали свою ярость, и звучала торжественная ужасная музыка: барабанили комья земли, звенело прозрачной флейтой стекло, арфой Эола раскатывался громовой рокот. То была симфония войны.

Все же страх удавалось победить не всегда: многие женщины, в том числе и я, старались не оставаться во время бомбардировок в одиночестве. Но мы жили в британском мире, мире уединения и скрываемой тревоги. Однажды вечером, во время бомбежки, к нам постучалась девушка, жившая в соседней комнате: «Do you mind if I stay with you for a while?»[2] Мы не имели ничего против. Заверили ее, что очень рады, предложили выпить. Несколько минут спустя она призналась: «Не могу привыкнуть к этому аду. Мне ужасно стыдно, но это выше моих сил. Как только начинается, я, если остаюсь одна, чувствую себя уничтоженной!» — «Я тоже, когда остаюсь одна, — сказала я, — это естественно.» — «О, вы полагаете, что это естественно? Я знаю, остальные жильцы считают меня слабой. Видите ли, я пришла к вам, потому что не решалась обратиться к другим; они бы стали меня презирать». — «Все люди боятся, — заверил ее Святослав, — но делать нечего — надо терпеть». Она воспряла духом, услышав, что совершенно «нормальна».

Абсолютно беспомощной почувствовала я себя в тот день, когда пошла во французскую парикмахерскую на Реджент-стрит. Мне делали перманент. Старые аппараты были ужасно громоздкими, а процедура — долгой; мне закрутили волосы на тяжелые бигуди, каждую из которых прикрепили проводом к прибору, висевшему у меня над головой примерно в метре. И тут раздалась тревога. Кажется, в тот день район Пиккадилли особенно пострадал. Разумеется, и клиенты, и персонал остались на местах и спокойно болтали; рисковали все одинаково, но ощущение того, что я привязана, что мой скальп висит на проклятых проводах, как волосы Авесалома на ветке дерева, наполняло меня страхом и неуверенностью.

---

1 «Органом Сталина» называли на Западе «катюшу». (*Прим. перев.*).

2 Вы не возражаете, если я побуду с вами? (*англ.*).

К счастью, я почти не бывала одна во время бомбежек, потому что всегда находилась либо на работе, либо дома со Святославом, либо в Клубе союзников. Когда такое все же случалось, я брала в компанию американских писателей и поэтов, с которыми недавно познакомилась, или... Марселя Пруста: я перечла его всего под бомбами, и с тех пор стоит мне взять в руки «В поисках утраченного времени», я слышу затмевающий свежую листву Комбре, туалеты принцессы Германтской, ложь Альбертины и смерть Берготта грохот снарядов, ощущаю запах пожара, словно мир Пруста превратился для меня в дым.

Чувство безопасности было обманчивым, мы имели тому массу доказательств. Мудрость призывала нас положиться на Провидение. Один французский служащий из «Карлтон Гарденс» вышел из кабинета, чтобы проводить в убежище жену с маленькой дочкой. Не успел он вернуться в свой кабинет, как бомбоубежище было уничтожено прямым попаданием, почти все, в том числе его жена с ребенком, погибли. Раймон Блох, один из товарищей по оружию моего мужа, которого он особенно ценил за ум и веселый нрав, приехал в отпуск к друзьям в Лондон; когда началась бомбежка, хозяйка предпочла спуститься в подвал, но вспомнила, что оставила в открытой квартире сумочку. Раймон вызвался за ней сходить. Он был убит на крыльце. А один из моих коллег по агентству избежал смерти просто чудом. Он уже лег в постель, но вспомнил, что не почистил зубы. «Хорошо, что мама с детства привила мне эту замечательную привычку». Он встал, подошел к раковине, услышал странный треск и обернулся: в его постели дымились две фосфорные бомбы — они, как нож сквозь масло, прошли через крышу. Ему удалось их погасить: на каждой лестничной клетке стояли ящики с песком, и в каждом доме постоянно кто-то из жильцов дежурил на случай пожара.

В 1943 году, после массового прибытия американцев, хозяйка попросила нас освободить комнату якобы для племянницы, а на самом деле для более состоятельных жильцов. Мы были в страшном затруднении. Найти жилье в городе, где половина домов разрушена, а население все прибывает, задача нелегкая. Все же нам повезло: мы сняли крохотный домик в Кенсингтон-Гарденс, он недавно пострадал от бомбежки, и пожилая хозяйка — ее ранило — предпочла перебраться в деревню. Там были гостиная, миниатюрная столовая на первом этаже, две спаленки и ванная — на втором. Бомба дважды в одно место не попадает, и мы решили, что домик свое уже получил. Несколько недель спустя я повстречала одну из соседок по дому, где мы раньше снимали комнаты. Она выглядела как-то странно: «Как вы поживаете?» — спросила я. — «Как, вы ничего не знаете? Через десять дней после вашего отъезда в нас попало несколько бомб, одна угодила прямо в квартиру, где вы жили! Хорошо, американского летчика не оказалось дома... Мисс Ч. (владелица) тяжело ранена; я отделалась сильной контузией».

Воистину не стоило пытаться угадать, где тебя ждет опасность, а где спасение.

Постоянные бомбардировки преображали лондонцев на глазах: куда только девались их отчужденность и безразличие, все становились брать-

ями, люди знакомились, разговаривали, поддерживали друг друга без всяких церемоний. Человеческое тепло согревало так, словно не бомбы, а солнце Италии освещало нашу жизнь.

Нельзя не сказать и о знаменитом лондонском тумане, он тоже сближал людей, вынужденных пробиваться сквозь него на ощупь. Он накатывал волнами на улицы и дома, окутывал их то густой, то прозрачной — белой, серой, желтоватой или даже сиреневой — дымкой. Все вокруг становилось призрачным, расплывалось в опаловой пелене. Человек походил на дерево, а камень казался человеком. Люди, маленькие островки, затерянные на большом острове, забывали о сдержанности и проникались сочувствием друг к другу. Вас переводили за руку через дорогу, голос из молочного тумана подсказывал, на какой улице вы находитесь, — и всегда выходило, что это не та, которая вам нужна. Полицейский, как погонщик слона, стоял возле потерявшегося автобуса, указывая ему путь лучом своего фонарика.

Целый город играл в прятки. Туман в Лондоне во время войны, словно первый лед на каналах в Голландии, первый снег на просторах центральной России, наполнял жителей детским весельем. Ведь они, кроме всего, надеялись, что прикрытый белым покрывалом город станет невидимым для вражеской авиации и можно будет спокойно провести ночь.

В 1942 году мне удалось также познакомиться с почтенной, уже уходившей в прошлое Англией. Мне позвонила Марина: «Если ты сумеешь освободиться дней на десять, то окажешь услугу герцогине Портлендской и поживешь в обстановке Уэлбек-Эбби». Портленды принадлежали к одной из именитых семей Англии, в свое время поговаривали о возможной женитьбе овдовевшего короля Леопольда на одной из внучек герцога. Марина была кем-то вроде «светского секретаря» герцогини; от нее я знала, что по выходным дням в замке собирались государственные и политические деятели. Мне было любопытно понаблюдать за ними на их, так сказать, собственной территории, и я спросила, что от меня требовалось. Герцог Портлендский заболел; ухаживала за ним сестра, освобожденная по возрасту от воинской службы. Она устала. Не могу ли я заменить ее дней на десять? Я быстро согласилась и поспешила навстречу роскошной жизни в английском замке.

Уэлбек-Эбби смотрелся величественно, хотя и не слишком изящно. Были здесь лужайка, статуи и парк с оградой... Я окунулась в атмосферу викторианской Англии, как только вошла в гостиную, где приняла меня герцогиня: пальмы в медных кадках, мебель Чиппендейла, ширмы, — словно ты попал в пьесу Оскара Уайльда. И хозяйка тоже в полной мере соответствовала викторианскому духу. Прямая, плоская, со следами былой красоты. Непредсказуемая, не всегда последовательная в своих желаниях, герцогиня была попечительницей самых разнообразных обществ, в том числе, разумеется, и того, что заботилось о животных, в частности об ослах, — военные использовали их в пустыне. Я уже знала историю ее замужества, историю, которая могла произойти только в

Англии: она, дочь священнослужителя, стояла на перроне, а герцог Портлендский, проезжая мимо, увидел ее в окно поезда и, пораженный красотой девушки, решил на ней жениться. Она стала образцовой герцогиней.

Болезнь герцога, вообще говоря, называлась просто старостью, так что работой я не была перегружена и успевала участвовать в жизни замка. Мне показалось безумно сложным то, что члены одной семьи в Англии носили огромное количество разных фамилий. Так, старшего сына Портлендов называли лордом Тайчфильдом, младшего — досточтимым Марвином Кавендиш-Блентиком. Будь я англичанкой, мое незнание реестра дворянских семей потрясло бы хозяев замка. В Уэлбек-Эбби жили на широкую ногу. Впрочем, количество челяди все же сократилось, молодых призвали под знамена или направили на обязательные работы, старая прислуга, однако, оставалась на местах и строго блюла традиции. Само собой разумеется, что все ограничения, введенные правительством, неукоснительно соблюдались и в герцогском имении — каждый из нас отдавал мажордому продовольственные талоны за то время, которое предполагал провести в Уэлбек-Эбби. Ни один продукт с черного рынка не попадал на внушительных размеров кухню, но, зная любовь герцогини к сладкому, гости без сожаления отказывались класть сахар в чай или кофе. Несмотря на трудности, еда была вкусной, хоть и типично английской: черепаший суп, яйца, ржанки и дичь, поскольку был сезон охоты.

Вечером, к ужину, мы, разумеется, переодевались. Герцогиня выходила в платьях, которые очаровали бы Лацло или Болдини, — думаю, старые французские мастера шили их специально для английских герцогинь.

На уик-энд в Уэлбек-Эбби съезжались в самом деле интересные и важные персоны, но разговоры за столом и в гостиной никогда не выходили за рамки светской беседы. Говорили о погоде, об охоте, о светских новостях... И никогда о политике или о войне. Привыкшая к красноречию политиков-французов, я была разочарована. Заканчивался ужин, и мы переходили из величественной столовой в гостиную, где зеленые столы ждали любителей бриджа и китайского домино. Мужчины сначала пили портвейн, затем присоединялись к нам. Включалось радио. Однажды передали объявление о падении Сингапура, но сие неприятное событие было представлено, как некогда сдача Дюнкерка, своеобразно. «Отважный гарнизон Сингапура сражался целые сутки». Интересно, каким образом физически смог бы в более сжатые сроки сдаться гарнизон, насчитывавший сто тысяч человек? Никакого комментария не услышала я от гостей замка. Радио выключили, каждый вернулся к своим партнерам.

Мажордом открыл для меня двери пещеры Али-Бабы — подвалов замка, где хранилось серебро рода Портлендов, настоящий музей: большие тяжелые вазы, блюда, чайники, кофейники, сервизы ожидали, когда вернется время парадных банкетов.

Этикет и иерархия соблюдались на всех уровнях: после того как мы заканчивали трапезу, в специальной столовой в три приема накрывались столы для служащих и прислуги. Управляющего, майора в отставке, обслуживал метрдотель, затем он сам садился за стол вместе с дворецким

и гувернанткой. Слуг, горничных и шеф-повара обслуживали мойщица посуды и помощник повара, а уж потом они ели сами. Заведенный порядок никогда не подвергался сомнению; никто не оскорблялся и не претендовал на место, не положенное ему по рангу.

Уэлбек-Эбби окружал «черный край» — угольные шахты были одной из основных статей дохода герцогской семьи. Во время моего пребывания в замке герцогиня отправилась в деревню навестить шахтера — ему раздавило вагонеткой обе ноги. У дома уже собрались соседки и несколько стариков, чтобы приветствовать Ее Милость, — та одарила обезножевшего двумя глухарями и бодрыми утешениями и, заметив, что он слишком оброс — деревенского цирюльника забрали в армию, — пообещала прислать герцогского парикмахера, а потом и инвалидное кресло на колесах. В ответ она получила достойные и искренние слова благодарности. О самом происшествии говорили не больше, чем накануне о падении Сингапура; выказывать сочувствие иначе, как поступками, считалось здесь унизительным.

Одни и те же черты национального характера можно было заметить в самых разных слоях английского общества. Абсолютно все реагировали на события одинаково, и их поведение не имело ничего общего ни с логикой, ни с разумом — двумя основными источниками бед народов, последователей картезианства. Именно это не учел последний посол Гитлера в Лондоне фон Риббентроп, когда утверждал в своих отчетах, что англичане — люди практичные и смотрят на жизнь реалистично, а потому неминуемо поймут необходимость компромисса с Германией. Его психологическая ошибка обернулась катастрофой. Мне же посчастливилось увидеть ту старую Англию, которой предстояло вскоре исчезнуть, — сгинуть в послевоенном и общем для европейских стран отречении от национального своеобразия.

Мне доводилось во время ужинов в «Савойе» или «Клеридже» беседовать с чиновниками (они стали ими лишь на время войны) Министерства информации, своего рода огромного мозгового треста, так хорошо и с таким юмором описанного в книге Ивлина Во «Больше флагов». Войти туда можно было только после сложнейшей церемонии проверки, а потом вы неизменно попадались на разного рода уловки, блуждали по коридорам, забредали в запретные кабинеты, где порой никого не было. Там я встречалась со специалистами по Западной Европе, в частности с блистательным Дэнисом Саттоном, — все мои собеседники не только великолепно знали французскую культуру, но и были по-настоящему привязаны к Франции, испытывали к ней, так сказать, слабость.

Были у меня и небезынтересные встречи с английскими друзьями, принадлежавшими к миру политики. Для них, так же как и для работников службы безопасности, допрашивавших меня сразу по прибытии в Англию, генерал де Голль не был, как говорят англичане, «привычной чашкой чая». Когда же я выразила удивление по поводу явного предпочтения маршала Петена, один из них объяснил:

— Все дело в типе личности. Де Голль слишком далек от нашего представления о государственном деятеле. Он лишен юмора, щепетилен

в вопросах лидерства... В политике нет места самолюбию. Думаете, если бы интересы нации потребовали от Черчилля раза четыре лично съездить к Сталину или Рузвельту, он стал бы колебаться? С де Голлем же каждый раз надо прибегать к давно вышедшей из обихода дипломатии. Негоже главе Свободной Франции без конца требовать к себе почтения, это как-то по-женски. Генерал постоянно чувствует себя оскорбленным, и в каждом нашем поступке ищет повод для обиды.

— Но ведь положение чрезвычайное, — возразила я. — Франция впервые не в состоянии играть роль великой державы. Даже маленькая Бельгия положила на алтарь общего дела богатства своего Конго и по крайней мере в финансовом отношении не зависит от Великобритании.

— Да, чего не скажешь о де Голле, — улыбнулся мой собеседник. — Северную Африку мы получили ценой усилий, чересчур длительных усилий.

— Как бы то ни было, он действует один, причем без средств и реальной власти. Признайтесь, в таком положении надо обладать немалым мужеством, чтобы говорить с вами на равных...

— Для нас важнее всего победить в войне, вопрос же личности — это вопрос второстепенный. Каковы бы ни были заслуги де Голля, после освобождения Франции потребуется, скорее всего, некто вроде Мандела. Что же касается Петена, то у него острое чувство реальности. Это хитрый крестьянин, то есть хороший политик. Политика — игра в поддавки; политик не в праве считать себя важной персоной.

— А как же Черчилль? — спросила я невольно.

Мой собеседник улыбнулся:

— Черчилль? Это исключение, и такие люди нужны в исключительные времена...

Благодарная память возвращает меня в Ноев ковчег, каковым являлся в годы войны Клуб союзников, расположенный на Пиккадилли, 148, возле Гайд-парка, по соседству с Эпсли-Хаус, важным и тяжеловесным особняком герцога Веллингтонского. Клуб союзников был основан в начале 1942 года группой англичан, друзей континентальной Европы и, безусловно, Франции: миссис Кроуши, дочерью лорда Тайрела, бывшего посла Великобритании в Париже, майором Малкомом Баллоком, леди Джорж Челмонделей, чей сын погиб вместе с герцогом Кентским в авиационной катастрофе, и многими другими, — все они с детства говорили по-французски.

Президентом клуба был лорд де ла Во, министр путей сообщения, благоволивший к моему мужу, вероятно, потому, что тот, встречаясь с ним каждый день, никогда не заводил серьезных разговоров, ограничиваясь репликами типа: «Какое прекрасное солнце» или «Сегодня идет дождь». Очевидно, привычка пожимать друг другу руки при каждой встрече и изливать душу казалась англичанам чрезвычайно утомительной.

Число членов клуба было ограничено — для каждой страны существовала квота. Особняк принадлежал Ротшильдам. Заходя в него, вы попадали в вестибюль из мрамора, где с правой стороны возвышалось

нечто вроде саркофага, а на самом деле сюда и выходила потайная лестница, по которой слуги баронов спешили навстречу своим хозяевам.

Клуб не слишком пострадал от бомбежек, и здесь, на первом этаже и в подвале, где располагался ресторан, собирались его члены и приглашенные: короли в изгнании, главы государств, министры, британские офицеры, поляки, бельгийцы, канадцы, норвежцы, югославы, французы, американцы, голландцы, греки и так далее. Месье Деманжо, усатый, как Пуаро Агаты Кристи, француз, умудрился сохранять в клубе «вкус» французской кухни, хотя я слышала как-то от заядлого гурмана: «Нет, мы не едим, мы питаемся!» В баре первого этажа работала красивая бретонка. Всю остальную тяжелую службу в клубе несли на добровольных началах английские дамы. Нашей леди Портер, консьержкой, была выдающаяся мисс Джесл, напоминавшая своей статью и выдержкой статую в духе «Правь, Британия», — от ее бдительного взгляда не ускользало ничто, к сожалению для некоторых членов клуба: она нередко, по простоте душевной, а не по злому умыслу, сообщала мужу, что его жена только что вышла с М. Х., а это могло иметь небезобидные последствия.

Ветер ли, мороз ли, бомбежка — мисс Джесл каждый день занимала свой пост без единой минуты опоздания. Она сидела в мраморном леднике с посиневшим от холода лицом и одеревеневшими руками, но упорно отказывалась включать маленький обогреватель, стоявший у ее ног, к чему безуспешно пытались склонить ее «континентальные» гости. Отказ от тепла был ее данью войне. Всего один раз мы видели, как мисс Джесл потеряла хладнокровие. Мой муж решил пошутить: «Мисс Джесл, — сказал он, — вам известно, что в курительной для мужчин находится женщина?» (Замечу, что в клубе была оборудована гостиная, где мужчины избавлялись от обременительного присутствия женщин, но для женщин, желавших отдохнуть от мужчин, помещения отведено не было.) Мисс Джесл встала и понеслась, как ураган, изгонять неосторожную или бесстыжую француженку, разумеется, из священного места, а потом умоляла нас не обнародовать столь постыдное нарушение правил.

Клуб союзников представлял собой своего рода микрокосм, посещая который можно было познать все мировые проблемы, а также заранее предсказать, какого рода сложности возникнут после войны.

Там можно было лицом к лицу встретиться с королями, Георгом II из Греции или его братом, диадохом Павлом, юным Петром из Югославии, наследным принцем Олафом из Норвегии, политическими деятелями, такими как Бенеш, Спаак, Масарик или президент Польской республики, или наш друг Ян Полини-Точ, вице-президент государственного совета Чехословакии, или Владо Клементис, умный и кристально честный человек — он станет коммунистическим министром в освобожденной Чехословакии, а потом будет повешен по решению своей партии. Иногда заходили генералы Андерс и Сикорский, но Черчилля я в клубе никогда не видела, полагаю, что и де Голль сюда не наведывался. Довольно мало французов: губернатор генерал Брюно, губернатор Феликс Эбуе, господа Борис, Дежан, Андре Филип, Масигли, Кассен; офицеры, такие как Морис Дрюон, Альбер де Мен, Жан-Пьер Омон и

прочие, чаще всего известные нам под псевдонимами, заходили лишь от случая к случаю. Привыкнув к тому, что Деваврен теперь «Пасси», а сводный кузен мужа Саша Берсеников — «Корвизар», я как-то сказала генералу, услышав, что он «Боцарис»: «Ах, так вы француз!», на что он с горечью заметил: «Мадам, парижское метро вы знаете лучше, чем историю Греции». Речь шла о настоящем Боцарисе, герое войны в Дарданеллах, но так же называется и одна из греческих провинций. Нас с ним связала тесная дружба, это был человек тонкого ума, великолепный стратег, но иногда, когда речь заходила о современных битвах, он как-то незаметно переходил к Александру Великому, а о нынешней войне говорил так, как Гомер о сражениях своих героев.

Югославов было не меньше, а по живописности состава они превосходили всех прочих: старые государственные деятели, Милчич или Симич, наш друг, крепкий, как дуб, министр в правительстве юного короля. Король Александр приговорил Симича к пожизненному заключению; министр рассказывал, как сжалось его сердце, когда захлопнулись тяжелые ворота крепости, хоть он и знал, что «непоправима только смерть».

Особенно нравилось мне бывать в общественных местах с полковником Савичем, бывшим атташе Эр-Франс. Мало того, что он был красавец, но еще и носил блестящую, отделанную золотым позументом форму с медалями и крупного размера крестами. Когда мы входили в ресторан или клуб, присутствующие вставали, полагая, что это «один из иностранных маршалов».

Генерал Раноссович, напротив, был сухой, подвижный, маленький. Он учился в России, в Киевском кадетском корпусе, любил и уважал кавалерию, а в современной военной технике не видел решительно ничего хорошего. Каждый раз, когда мы встречались, он ошарашивал нас сенсационной и совершенно неправдоподобной новостью. В конце концов мы разобрались: он черпал информацию из английских газет — прочитывал их чрезвычайно внимательно, но при этом плохо понимал английский. Больше всего его изумил тот факт, что Святослава комиссовали из-за туберкулеза. «Не понимаю, с какой стати? Лично я в 1915 году всегда просил, чтобы мне присылали туберкулезных солдат — они сражались ожесточеннее».

Откровенно говоря, французы приспосабливались к жизни в Англии тяжелее других иностранцев. Хоть они и были по географическому положению ближе к англичанам, а исторически тесно с ними связаны, но психологически отличались разительно. Сдержанность не входила в набор французских добродетелей, знаменитое хладнокровие тоже. Они любили расписывать собственные подвиги, а англичанин краснел, даже если кто-то другой хвалил его за мужество. Легче было найти в клубе англичанина, понимавшего французов и любившего Францию, чем француза, испытывающего сходные чувства к Великобритании.

Я во многом прониклась французским духом и тоже не слишком ладила с английскими нравами. Мне не очень нравилась половая сегрегация: обед в женском Карлтон-клубе, клубе для избранных, но исключительно женщин, в форме и без формы, наводил на меня скуку. Я отказывалась проходить с черного хода, словно нечистая, в Гвардейский

клуб, чтобы пообедать со своим приятелем гвардейцем, — он имел право войти через парадный подъезд. Мне казалось странным, что англичане вообще не замечали женщин — разве что алкоголь избавлял их не от комплексов, а от привычной манеры поведения. Никто не провожал взглядом даму даже в самой экстравагантной шляпке — надень она на голову абажур, эффект был бы тот же. Такое отношение заставляло невольно задуматься: а не лучше ли быть лошадью или собакой... По-моему, магазины для мужчин в Лондоне интереснее, чем магазины для женщин. Кроме того, скучные английские воскресенья наводили на меня тоску, однако я отлично понимала, что только такая собранность и может позволить стране выиграть войну.

Я не слишком много общалась с французами, если не считать коллег по агентству. Среди тех, с кем мы регулярно виделись, назову Антуана Лабарта, Мориса и Денизу ван Моппес, Жака Брюньюса, Жана Оберле и Дениса Сора — я читала лекцию у него в Институте Франции, и мне аплодировал сам адмирал Мюзелье, в ту пору находившийся в немилости. Но лучшим моим другом среди французов был, безусловно, удивительный Жаклен де Лапорт-де-Во. Капитан корвета, бретонец и вандеец по происхождению, словоохотливый, как гасконец, говоривший быстро, как южанин, Лапорт-де-Во по ошибке родился в нашем веке. Отважен он был до безрассудства. Пренебрегал условностями, но, когда хотел, мог продемонстрировать вежливость знатного сеньора. Любил поэзию, хотя сам был посредственным поэтом. Задира, но при этом сентиментален. Побывал в парашютистах, моряках, секретных агентах и десантниках — отличить вымысел от правды в его рассказах не мог никто, а неожиданные повороты судьбы он воспринимал как нормальное течение жизни.

Он был известен своей эксцентричностью еще до войны в Тулоне. Однажды на приеме он отказался от бутербродов с ветчиной — была пятница, — сунул руку в аквариум, поймал золотую рыбку и съел ее прямо сырой, положив между двумя кусками хлеба. Чуть позже, в одной из французских колоний, Лапорт-де-Во сам себя произвел в капитаны, нашив дополнительную лычку на рукав, — он хотел арестовать своего командира за то, что тот не поддерживал Свободную Францию. В другом городе он обратился к начальнику порта с просьбой дать ему белой краски, чтобы привести в порядок корабль, но тот наложил на его просьбу отрицательную резолюцию — белой краски, якобы, там не было. Жаклен де Лапорт-де-Во взял своих людей и ночью совершил налет на склады. К рассвету корабль сиял как новенький. Утром начальнику доложили о поступке, он, подозревая чьих рук это дело, явился разгневанный на борт судна. Его приняли с положенными почестями на сверкающей палубе. Но в ответ на обвинения Лапорт-де-Во предъявил ему его собственную резолюцию: «Как же я могу украсть со склада краску, которой там нет?»

Однажды в Лондоне, вернувшись с задания с густой, как у подводника, бородой, Лапорт-де-Во отправился на коктейль. Хозяйка дома неосторожно заметила, что борода ему не идет и без нее он ей нравился больше. Он тут же пошел в ванную и побрился бритвой ее мужа, к

несчастью для хозяина, поскольку от обилия волос засорились трубы, а найти слесаря было почти невозможно.

Он то исчезал, то снова появлялся с подарками из тех краев, где только что рисковал жизнью, — то с берберским украшением, то с бретонскими четками. Ухаживал он, как в старину. Одна ирландка-лейтенант, красавица с фиалковыми глазами, была разбужена телефонным звонком: Лапорт-де-Во читал ей стихи Ронсара...

Из дружеского расположения Лапорт-де-Во простил мне стихи, опубликованные в журнале Антуана Лабарта и посвященные Франции [...]

— Зика, честное слово, никогда не прощу вам того, что вы назвали Францию «авантюристкой»! — Но, разумеется, простил это оскорбление ее величества Франции.

Как я прощала ему все его выходки. Однажды он пригласил друзей на ужин к Прюнье, мы с ним оказались первыми. Прошли в бар, и тут к нему обратился смущенный метрдотель: «Капитан, могу я сказать вам несколько слов?» — «Говорите, друг мой, у меня нет секретов от мадам». — «Дело в том, — стал заикаться метрдотель, — что ваш последний чек... извините... не обеспечен...» — «Естественно, неужели вы думаете, я трачу меньше, чем получаю?» — и мой кавалер заказал нам виски.

Подошли другие гости — уточню, дело происходило в сентябре 1942-го, до высадки союзников в северной Африке, — и мы сели за стол... Начали с устриц. Мимо проходила госпожа Прюнье, относившаяся к Лапорту-де-Во с большой снисходительностью. «Как, устрицы и без лимона? — вскричал тот. — И это у Прюнье? Наверное, мир перевернулся!» — «Вам, вероятно, доводилось слышать, капитан, — ответила хозяйка, — идет война! Ей-богу, если бы кто-то принес мне настоящий лимон, я накормила бы его обедом». И тут наш друг, сохраняя бесстрастное выражение лица, достал из карманов два лимона.

А спустя несколько месяцев Лапорт-де-Во сказал мне: «Зика, я ухожу на задание и хотел бы доверить вам очень дорогой для меня предмет». Разумеется, я не отказала. Мы взяли такси и поехали в Саус-Кенсингтон; Лапорт-де-Во жил возле Института Франции или в самом институте, не помню. Я ждала его в машине. Он вернулся со странным и весьма объемистым предметом на палке, завернутым в его плащ и перевязанным веревками. Он еле уместил его в такси. Сам отнес в нашу комнату и поставил в угол. Когда Лапорт-де-Во ушел, я, движимая нестерпимым любопытством, развязала веревки: это было французское знамя, обшитое золотом. Я упрятала его под кровать, полагая, не без основания, что дело нечисто.

Прошло дня два. Святославу совсем не нравилось спать над «символом Франции». Я отыскала Лапорта-де-Во, отозвала в сторону и призналась, что не сдержала любопытства.

— Ну что же, правильно, это знамя действующей французской армии; я стащил его у генерала Валлена — терпеть его не могу, пусть знает, что он мне не нравится! Между прочим, это знамя здорово охранялось! Его уже три дня повсюду ищут, но к британским властям обращаться не хотят. Ну и суматоха поднялась! У некоторых моих дру-

зей сделали обыск, но вы же бельгийка, и муж у вас в Министерстве иностранных дел — вас не заподозрят!

— Слушайте, но это же ребячество, — вразумляла я его. — Давайте я сама отнесу его генералу Валлену и скажу, что дала честное слово не выдавать того, кто мне его дал.

— Ну уж нет, — ответил капитан, — не хватало только, чтобы за мои дела расплачивалась женщина! Никогда в жизни! Я сам завтра его верну.

И капитан вместе со стягом исчез. Когда мы снова встретились, настроение у него было отличное. Его арестовали, но отнеслись к проступку не слишком строго — Лапорт-де-Во все же был кавалером ордена Почетного легиона, и он нисколько не пострадал. «Даже напротив, — добавил мой друг, — это пришлось весьма кстати: на гауптвахте кормят бесплатно, что в те дни мне совсем не мешало!»

После Освобождения я потеряла из виду Жаклена де Лапорта-де-Во. В 1949-м я ехала в автобусе и увидела на подножке худого, плохо одетого человека в штатском, но в берете парашютиста и с чемоданчиком в руке. Я скорее угадала, чем узнала в нем Лапорта-де-Во. «Зика!» Мы расцеловались. «Чем вы занимаетесь?» Он пожал плечами. «Меня запихнули в Адмиралтейство, я подыхал со скуки! Вот, теперь полубезработный...» Он заговорил громче: «Нет, вы только посмотрите на всех этих... вокруг, на подлых буржуа! Вот вам и Франция!» И все так же, не снижая голоса, стал читать мне стихи [...]

Со всех сторон на нас бросали уничтожающие взгляды, к нам поворачивались разъяренные лица. Мы как раз подъехали к Сен-Жермен-де-Пре, и я пригласила его зайти со мной выпить рюмочку. Мы вышли вовремя, а то бы нас линчевали. В бистро «кондотьер» признался в своем падении, — он стал коммивояжером. Для него это была куда более верная смерть, чем все морские битвы или участие в воздушных десантах на оккупированной территории...

Перечитывая «Плеяды» Гобино, я подумала, что одна фраза могла бы служить эпитафией моему другу Лапорту-де-Во, — этот безрассудный человек, безусловно, принадлежал к плеяде себе подобных:

«Я отважен и благороден; для обыкновенного человека — непонятен, мои вкусы не следуют моде, а чувства принадлежат только мне самому. Я не могу ни любить, ни ненавидеть по газетной подсказке. Духовная независимость, абсолютная свобода мысли — вот привилегии моего дворянского звания».

Поляки из клуба не могли похвастать могуществом своей державы, зато отличались личным обаянием. Хотя они и носили британскую форму, но сохранили собственный головной убор, напоминавший традиционную «конфедератку» (фуражку конфедератов). Они часто кутили, напивались и устраивали грандиозные ссоры, но и ухаживали по-рыцарски, с цветами и целованием рук: фильм Любича «Быть или не быть» великолепно передает эту атмосферу заговоров, героизма, страстей и интриг. Они были страшными шовинистами. Солдату, принадлежавшему к

национальному меньшинству, — неважно, русский он был или еврей, — они спуску не давали, не говоря о том, что вообще отношения между польскими офицерами и солдатами отличались необычностью.

Ко мне, «москалке» — против русских поляки давно затаили злобу, — они тем не менее относились вежливо, а некоторые по-дружески, и не только потому, что я вышла замуж за поляка по происхождению. Меня, правда, подозревали время от времени в неблаговидных намерениях, но все же, несмотря на все перипетии истории, мы принадлежали к близким народам. Штефан Замойский, Томас Глинский и особенно Станислав Барыльский, бывший военный атташе в Чунг-Кинге, скрашивали серые будни. В отеле «Рембрандт», генеральном штабе поляков, неподалеку от вокзала «Виктория» открывали в полдень буфет с закусками и водкой. Я иногда заходила туда, — забавно было наблюдать, как люди прячут за любезной беседой подозрительность: действительно ли я «око Москвы» или нет? По-моему, предположение безумное, но зато какое романтическое. Честно говоря, я иногда, желая подшутить — это чувство меня никогда не покидало, — специально усиливала подозрения, ведь некоторые люди порой сами напрашиваются, чтобы их высмеяли.

Среди членов Клуба союзников был полковник Б., мучившийся бездельем, судя по тому, что он проводил там целые дни. Личность несколько претенциозная, но мужчина красивый, с бархатными глазами, хотя, по-моему, и не слишком умный. В разговоры он всегда вслушивался с таким вниманием, что выдавал себя как агента службы безопасности. Поэтому я намеренно старалась при каждой нашей встрече подогреть его подозрения. Небрежно задавала нескромные вопросы, в то время как никогда ни о чем подобном военных не спрашивала. Каков же личный состав польской мотодивизии в Шотландии? Когда Сикорский отбывает в Египет или Италию? Что за вооружение прибыло недавно из Соединенных Штатов? Он, конечно, не отвечал, но его воловье око загоралось от удовлетворения, и он спешил меня покинуть, устроиться в другой гостиной, чтобы немедленно составить отчет. Конечно, игра глупая, но у нас было так мало развлечений. Потом мы с Барыльским хохотали — красавец Б. не раз предостерегал его от опасных встреч с русской Мата Хари.

Поляки покоряли женщин любого социального положения в Шотландии, где стояли их части, и в Лондоне. В наш суровый и трезвый век так приятны романтические встречи. Леди Нада Муир, дочь болгарского министра Станкова, предоставившая часть своего замка в Шотландии офицерам-полякам, рассказывала, что, когда она спускалась по лестнице, на каждой ступеньке стоял поляк и целовал ей руку. Я сама однажды обманулась, услышав трагический голос приятеля-поляка. Он позвонил и сказал загробным тоном: «Прощайте, мы с вами больше не увидимся. Да хранит вас Господь!» — «Но что с вами случилось?» — «Ничего. Просто я хотел попрощаться». Это звучало так безнадежно, что я встревожилась и расстроила Святослава. «Он наверняка покончит с собой», — подумала я. Дозвонилась его командиру, чтобы узнать, что с ним: «Такой-то? А что ему сделается? Играет в карты и пьет!» —

несколько дней спустя мы встретили отчаявшегося в клубе, — он распрощался ненадолго.

Мы часто приглашали в клуб, как было заведено, случайно встреченных незнакомцев из союзных войск; и все, кроме русских, принимали приглашение с благодарностью. Однажды я оказалась в автобусе рядом с советским офицером, увешанным орденами, членом одной из многочисленных комиссий, приезжавших в Великобританию. Каждый хотел выразить свою симпатию к восточным союзникам, но не так-то это было просто. Я объяснила своему соседу все, что он хотел узнать от кондуктора, — он не говорил по-английски, — и попробовала завязать разговор. Но этот офицер на все мои попытки реагировал с упорным недоверием. Тем не менее я пригласила его зайти как-нибудь в Клуб союзников и заверила, что его встретят очень тепло.

— Почему бы вам не прийти? Там бывают военные из всех союзнических армий, только русские — увы! — никогда.

— Нам некогда ни путешествовать, ни участвовать в чествованиях, как некоторым, — сказал он недовольно. — У нас идет война, а союзники не торопятся облегчить нам жизнь, открыв второй фронт.

— Вам приходится воевать, поскольку противник на вашей территории. Американцы, к примеру, сражаются на чужой земле, и высадка не такое простое дело, если готовить ее как следует.

— А тем временем мы сражаемся одни, — продолжал он.

— Будь вы одни, то погибли бы. Разве вы не знаете, что без оружия союзников ваша борьба окончилась бы поражением? — спросила я, разозлившись. — Приходите все же в клуб.

Но тень Сталина, тень режима стояла между нами. Было очевидно, что офицер боится узнать адрес клуба.

— Судя по вашим наградам, вы человек отважный, — сказала я. — И тем не менее я впервые встречаю союзника, который боится принять приглашение. Это разрывает мое сердце.

Он не ответил и отвернулся. Он боялся не меня, а своих.

Русских в клубе не было, зато мы приняли делегацию китайцев. За ужином все вежливо улыбались друг другу; гости говорили по-английски, но беседа не слишком ладилась. Соседи русских, братья монголов, которым суждено было вскоре в гимнастерках красноармейцев обрушиться на Европу, они демонстрировали тонкое поведение политиков.

С Дальнего Востока перенесемся за океан. Американцы были на нашей стороне и служили для нас залогом успеха. Армия богачей — стало быть, ей завидовали — состояла из высоких парней с открытыми лицами, раскованными манерами и приветливых, от чего мы в Европе уже отвыкли. Встречали их хорошо, хотя и не обошлось, как принято, без насмешек. Солдаты, не нюхавшие пороху, прибывали уже с наградами (медалями за хорошее поведение). В Англии смеялись: «Американцы, как фарфор, их сначала раскрасят, а уж потом — в огонь». Мы, как зачарованные, наблюдали за действиями заокеанских партнеров: американская армия мгновенно обеспечила своим воинам комфорт, к которому они привыкли и который даже не снился бедным солдатам из союзнических армий. Британцы организовали бесчисленные комитеты по

приему и клубы. Леди Ч., как раз этим занимавшаяся, очень удивилась, узнав, что американские солдаты были в основном немецкого и итальянского происхождения, — «они повергли меня в шок», — говорила эта дама.

Мне предложили войти в brain trust (то есть в мозговой трест — удивительное отсутствие скромности) для интеллектуального развлечения американских воинов в Черчилль-клубе. Для меня это был незабываемый вечер: команду составляла знаменитая баронесса Мура Будберг, чья необычная судьба остается загадкой, — о ней рассказал в своих воспоминаниях Брюс Локкарт, агент британской разведки в России во время революции. Мура, высокая женщина с лицом Будды, была секретарем и подругой Максима Горького, секретарем и подругой Герберта Уэллса и Александра Корды. Она была связана с Лабартом и его газетой «Франция», принимала у себя самых разных людей. У нее можно было встретить молодого лорда с женственными манерами, левацки настроенных интеллигентов, политиков... Наш тогдашний мозговой трест состоял из профессора Мориса Боура, выдающегося слависта и специалиста по античной Греции, и сэра Кеннета Кларка, директора Национальной галереи. Я рассказывала о Пушкине; американские солдаты слушали меня и жевали жвачку. Мне бы на их месте вечер не показался слишком веселым, но они все же не заснули, а некоторые даже задавали вполне уместные вопросы.

Американцы показались мне привлекательными. Оказавшись в незнакомой обстановке, они прилагали усилия, чтобы помочь тем, кого уже второй раз за четверть века приходилось спасать. Это было тем более ценно, что предки многих из них — выходцы из Европы — уехали разочарованными. Помню, один летчик венгерского происхождения, которого мы пригласили в Клуб союзников, чистосердечно объяснял нам, облокотясь на стойку бара:

— Как-то все по-дурацки выходит! Я прыгаю в бомбардировщик и уничтожаю людей, против которых абсолютно ничего не имею. Япошки — другое дело. После Пирл Харбора мы просто должны встать им поперек горла. Но немцы? Они нам ничего плохого не сделали. У нас в штате Висконсин очень много немцев. И они настоящие американцы. Мне трудно усвоить, что я должен ненавидеть Германию и разрушать ее только потому, что она оккупировала Европу или напала на русских. Моего отца тяжело ранило во Франции в 1917 году, и кому стало лучше? Теперь и я должен подставлять голову? Признаюсь вам, я боюсь, ужасно боюсь, и неизвестно почему: у меня нет ненависти к людям, на которых я сыплю бомбы, и никакого удовлетворения я не получаю, когда разрушаю незнакомые города. Война вообще меня не привлекает, я человек мирный, единственный вид охоты, который доставляет мне удовольствие, — ловля форели или лосося!

— Это значит, что вы сражаетесь во имя священного долга, честь вам и хвала, — сказала я.

В довершение всего, после Сталинграда общественное мнение стало осуждать американцев за то, что они тянули с открытием второго фронта. Пошли анекдоты: «Папа, — спрашивает сын, — что такое второй

фронт?» — «Подожди, сынок, — отвечает отец, — вот доживешь до моих лет, узнаешь!»

Среди американцев были и русские. Я нашла среди них своего приятеля по ранней юности, Алексея С., странного солдата, хотя и происходившего из семьи военных. Удивленный тем, что никак не растет в чине — хотя бы в сержанты произвели, ведь в регулярной армии повышение было делом обычным, — он обратился к командиру за разъяснением и узнал, что его подозревают в антисемитизме. Возмущенный Алексей написал своим друзьям в Нью-Йорк и немного спустя получил характеристику, подписанную сотней еврейских фамилий, подтверждавшую, что он не антисемит. Американская армия отличалась демократичностью, и он отнес этот документ командиру, что — увы! — не помогло ему стать офицером.

Сергей Трубецкой был атташе посольства Соединенных Штатов, и мы могли видеться довольно часто. Лейтенант из США Г-в, прибыв в Лондон, попал в период затишья. Он позвонил нам и сказал пренебрежительным тоном:

— Я ехал в Лондон, как на фронт, а оказалось... — Он еще не кончил говорить, как завыли сирены. — Что это такое? — спросил Г-в из телефонной кабины.

— Это и есть воздушная тревога.

Тон его несколько изменился:

— И что мне делать?

— Если хотите, можете продолжать разговор.

— Но неподалеку что-то происходит, — сказал Г-в, уже откровенно встревоженный. — Упало совсем близко от того места, где я нахожусь...

— Что же вы хотите? В Лондоне всегда так: то ничего не происходит, а то все сразу.

— Понятно.

Все же война меняла свой ход. С каким удовлетворением — да простят нас небеса — мы поднимали головы, чтобы пожелать счастливого пути и благополучного возвращения тяжелым эскадрильям союзников, летящим на континент. Мы так долго ждали, когда же Гитлер получит отпор, и вот наконец дружественная авиация поднялась в воздух, чтобы отплатить за Ковентри.

Марокко и Алжир находились в руках союзников, хотя французы, к сожалению, пытались в странном запале неуместного честолюбия этому воспротивиться. В СССР продолжались бои. Русский народ сражался так же, как когда-то, в лесах формировались партизанские отряды, по примеру партизан 1812 года. Не Ленин, а Суворов вел войска в бой, а в тылу Сталин был вынужден открыть давно запертые церкви, чтобы Святая Русь пришла на помощь далекой от святости стране. А для того, чтобы русским не приходилось сражаться голыми руками, союзнические войска снабжали их через Архангельск мощной современной техникой. Не стоит забывать о значении этой и другой помощи. Лично я забыть не могу, поскольку слышала рассказ о том, как умирали моряки этих войск, от английского офицера — у него только что погиб в море сын,

и он, собрав все свое мужество, с окаменевшим лицом, но с достоинством расспрашивал уцелевших о его последних минутах...

СССР, а еще больше Россия, оставались для Запада «Terra incognita»[1]. Леди Флетчер, русская по происхождению, подруга Муры Будберг и дочь последнего московского градоначальника, читала лекции о России на британских заводах. Одна работница страшно удивила ее вопросом: «А какие шкуры у русских?» Леди Флетчер начала объяснять, что в России водятся самые разные звери, в том числе с прекрасным мехом. Но оказалось, что женщина хотела выяснить, какого цвета кожа у русских: белая, желтая или красная? Все изменил Сталинград.

Сталинград. В 1918 году в Сальских степях, окружающих город — тогда он назывался Царицыном, — сражался с красными мой шестнадцатилетний брат. Он воевал в Астраханской добровольческой дивизии. Во время второй мировой войны имя Сталинград стало известно всему миру. Великолепный критик Десмон Маккарти, бывавший иногда с другими британскими интеллектуалами — Джоном Леманом, Сайрилом Конноли, Розой Маколей — в Клубе союзников, заметил как-то, что пьесы Чехова — своего рода камуфляж, дымовая завеса, скрывающая от Запада истинную Россию, настоящий русский характер. У Чехова действуют мягкие мечтатели, люди слабые, фаталисты, не способные на борьбу, не знающие, что такое стойкость. Лично я никогда не любила пьесы Чехова: все эти господа, мечтающие увидеть небо в алмазах, женщины, заклинающие: «В Москву! В Москву!» и не двигающиеся с места, помещики, которых с деревней связывает только запах цветов, кажутся мне насквозь фальшивыми. Мечтателям не под силу отстоять империю, а Россия уже не впервые доказывала забывчивому Западу свою силу.

Сталинграду предстояло стать символом Победы, но не вновь обретенной или отвоеванной свободы.

8 ноября 1943 года, в празднование двадцать шестой годовщины русской революции, мы со Святославом в первый — и по сей день в последний — раз в жизни переступили порог Посольства СССР на Кенсингтон-Палас-Гарден, прозванном проспектом миллионеров.

Святослав получил приглашение как чиновник Министерства иностранных дел, волею судеб занимавшийся русскими делами, и мы, по-прежнему антикоммунисты, по-прежнему друзья русского народа — одно невозможно без другого, — пришли поздравлять победителей. В гостиных собралось не меньше двух тысяч человек: миссис Черчилль (премьер-министра, кажется, не было в Лондоне), сэр Джон и леди Андерсон, британские министры и военные всех союзных держав. Гостей приветствовал у входа посол Гусев с женой, кругленькой и невысокой, не знавшей, куда деть руки в перчатках из белой кожи. Народу — пропасть. Кто такой Гусев? В прошлом советский посол в Канаде: говорят, участвовал самым непосредственным образом в убийстве Троцкого. Но разве можно быть уверенным, что руки, которые ты пожимаешь на больших приемах, не запятнаны кровью преступлений?

---

[1] Незнакомой землей (*лат.*).

Затерявшись в толпе, я мучилась вопросами. Я оказалась среди людей, убивших не только многих членов моей семьи, но и миллионы граждан, не провинившихся перед ними даже дворянским происхождением. Я праздновала событие, которое еще долгие годы будет угрожать счастью народа и покою во всем мире, но я не испытывала к чиновникам этого режима никакой враждебности, а это само по себе любопытно.

Я подошла к буфету. У стола невысокие, плохо одетые мужчины с не очень просветленными лицами разговаривали по-русски с дамами в непривычных для них вуалетках. Желая завязать беседу, я спросила у них, где водка. Меня окинули подозрительным взглядом и не слишком вежливо осведомились: «Кто вы такая?» — «Жена сотрудника бельгийского посольства». — «Странно, что бельгийцы так хорошо говорят по-русски». — «В таком случае посмотрите вон туда. Это мой муж, а женщина, с которой он говорит, госпожа Жаспар, жена бельгийского посла в Чехословакии». Один из мужчин тут же удалился, чтобы проверить. «Вы говорите по-русски?» — «Естественно», — ответила русская по происхождению госпожа Жаспар. Он вернулся совершенно ошарашенный: «Ну и ну!» Тем не менее вся группа удалилась. Молодой секретарь советского посольства, протискиваясь рядом со мной сквозь толпу, шепнул по секрету: «Я, когда был маленьким, тоже говорил по-французски» и поспешил исчезнуть, словно признался в преступлении. Возможно, это и было преступлением, поскольку выдавало, что родился он в зажиточной семье...

Более продолжительным оказалось наше знакомство с советником посольства Иваном Андреевичем Чичаевым. Чичаев, в прошлом рабочий-металлург, член партии с 1916 года, коренастый, седоватый, энергичный, обладал, по слухам, бóльшим весом, чем сам Гусев, — в советской дипломатии такое случается. Свидетельством тому служила его независимость. Он нисколько не боялся скомпрометировать себя контактом с нами, и мы всегда встречались с ним с большим интересом. Я сразу же предупредила Ивана Андреевича, что мы оба, пользуясь советским лексиконом, относимся к «недобитым», над чем он с удовольствием посмеялся. Мимо прошел адмирал Харламов в великолепной форме в сопровождении адъютанта. «До чего она похожа на форму Императорского флота», — заметил Святослав. «Мы уже не боимся сохранять некоторые традиции», — ответил Чичаев.

Однажды, во время визита в один из портов Великобритании адмирала Харламова сопровождал — ирония судьбы — молодой князь Михаил Романов, лейтенант военно-морской авиации. Михаил, для друзей «Бабка», был очень похож на своего двоюродного деда — царя Николая II. Советский адмирал и лейтенант поговорили о деле, а потом Харламов спросил: «Вы из каких Романовых?» (Фамилия довольно распространенная.) — «Из тех самых, адмирал. — И после паузы: — А как же вы относитесь к тем самым Романовым?» — «Все это кануло в историю, лейтенант...» И никто из них не чувствовал смущения.

В еще более своеобразной ситуации оказался младший брат князя Михаила, Андрей. Он плавал на британском корабле матросом и в один прекрасный день — о направлении рейсов знали только командиры —

оказался первым Романовым, ступившим на русскую землю после создания СССР. Андрей, красивый белокурый парень, крепкий и симпатичный, сошел на берег в Архангельске вместе со своими товарищами и был очень тепло принят русскими матросами — британо-советская дружба в то время крепла день ото дня. Он запросто братался с ними. Раздал\новым друзьям то немногое, что у него было, а они — их очаровывала любая вещь, произведенная на Западе, — желая отплатить ему той же монетой, но не имея ничего, смогли подарить ему только старые газеты: здесь были и оскорбления в адрес императорской семьи, и проклятья старому миру, и «подлые капиталисты» — англичане и французы, — да новые пропагандистские брошюрки, скорее уже патриотические, чем коммунистические... Если молодым матросам даже в голову не пришло, что среди них находился внучатый племянник последнего царя, то старый боцман понял это сразу. Он достал старую фотографию и благоговейно показал ее князю Андрею: «Это экипаж императорской яхты “Штандарт”».

Среди окружавших императора моряков стоял боцман собственной персоной, только на тридцать лет моложе.

Бабка князя Андрея, Великая княгиня Ксения Александровна, сестра царя, жила в так называемых апартаментах «Grace and Favour» (милости и благодарения) в замке Хемптон-Корт, недалеко от Лондона. Вот ей-то и привез Андрей нищие подарки русских моряков — ее они все же несколько покоробили.

Иван Чичаев встречался и беседовал довольно свободно с моим мужем. Узнав об этом, один чехословацкий государственный деятель — он не сомневался, что победа СССР сыграет важную роль в судьбе его страны — попросил Святослава устроить ему встречу с советским дипломатом. Договорились о дне и часе ужина в городе, но неожиданно Святославу пришлось отправиться на официальный прием. Чичаев не говорил по-французски, а наш друг знал русский недостаточно хорошо, чтобы обсуждать серьезные вещи, и я вынуждена была заменить Святослава. О содержании разговора рассказывать не буду, поскольку никаких последствий он не имел; но, вероятно, мне было приятно сознавать, что в глазах иностранцев Россия имеет такой вес. Когда мы вышли из маленького ресторанчика в Сохо, начался налет, — еще не успели убрать обломки после предыдущей бомбежки, как появились новые, земля была изрыта осколками. Да еще ночь, туман — идти тяжело. Чичаев предложил мне взять его под руку, я пошутила: «Первый раз хожу под руку с членом ВКПб». Он засмеялся: «Что вы можете знать о партии?» Чех взял такси. Чичаев предложил подвести меня до дома на его машине, стоявшей неподалеку.

— Надеюсь, вы не похитите меня, как генерала Кутепова? — продолжала я насмешничать, усаживаясь рядом с ним.

— Нет, похищать не стану, но язык точно отрежу...

Мы тронулись в бликах пожарного зарева. Зенитки стреляли все реже. Наконец машина остановилась. Чичаев дотронулся до моей руки и с пафосом сказал:

— Не забывайте, вы принадлежите к великой нации.

— Не забуду, — отозвалась я, тронутая призывом. — Но помните и вы: величие нации — еще не все. Должна быть и справедливость.

Чичаев приезжал к нам много раз — это свидетельствовало о том, что он занимал очень значительную должность, ставившую его выше всяких подозрений. Как-то муж заговорил с ним об одном государственном деятеле из западной страны, желавшем, как и чех, вступить в контакт с русскими, но Иван Андреевич только презрительно отмахнулся: «Это товар второсортный». «Но разве Ленин не говорил, что в хорошем хозяйстве всякой вещи место найдется?» — заметил Святослав. Наш гость выпрямился: «Россия — великая страна, она не нуждается в халтуре». Думаю, и Александр III не сумел бы произнести фразу с большим достоинством.

Может, мы и подыгрывали «товарищу», но между нами и «нашим» коммунистом на самом деле существовала симпатия, мы все держались искренне. Конечно, Чичаев, как позже, в 1956 году, партийные деятели в Москве, пытался внушить нам, что Россия нуждается в людях, подобных нам, знающих Запад и его устои, и живописал все благодеяния, которых мы были бы вправе ждать от режима, но не гарантировал нам личную и идейную независимость. Наконец Иван Андреевич пришел к выводу, что мы слишком испорчены Западом, чтобы ужиться в советском обществе. Вероятно, он действительно не желал нам того, что неминуемо произошло бы, окажись мы достаточно наивными, чтобы поддаться чувству патриотизма, — даже советского.

— Согласитесь все же, — говорил Святослав, — ваше равенство призрачно; не все советские граждане пользуются такими привилегиями, как вы, например. Вы живете гораздо лучше обычного гражданина.

— Не стану отрицать, — отвечал Иван Андреевич, — я живу с комфортом, у меня прислуга, машина, но... видите ли, все это мне не принадлежит. А ответственность на нас, как вы говорите, «привилегированных», лежит такая, что мы постоянно словно под дамокловым мечом ходим. Каждый день нас могут призвать к ответу и даже... — он не закончил фразы. — Поверьте, обычному гражданину живется куда спокойнее.

Я пошла в атаку с другой стороны.

— Ну хорошо, вы коммунист и атеист. Трудитесь ради идеи, посвящаете этому свою жизнь, хоть и не знаете, что́ в результате получится. Но ведь вы, вы лично, все равно умрете, а смерть предъявляет совсем другой счет.

По лицу Ивана Андреевича пробежала тень. В душе он был истинно русским человеком, в его атеизме сквозили тоска и метафизическая тревога. Словно Бог, которого он отринул, появлялся вдруг вопреки партийной дисциплине. Чичаев был не из тех непробиваемых материалистов, для которых нет сложностей и которые совершенно спокойно принимают абсурдность жизни.

В феврале 1943 года немецкая армия капитулировала под Сталинградом. В марте Восьмая армия пересекла в пустыне маретскую линию; в июле русские перешли в наступление от Орла на юг, а Сицилия была

оккупирована. Подходил к концу богатый обещаниями и траурный год, а что принесет нам следующий?

Проводить один, встретить другой мы отправились в Клуб союзников. Новогодняя ночь сбросила с него оковы обычной сдержанности. Месье Деманжо сделал все, что мог, чтобы придать блеск праздничному ужину; играл оркестр, мы танцевали и много пили. Веселье царило такое, что французский капеллан — он только что вернулся из Ирана, и поговаривали, что он служил больше спецслужбам, чем Господу Богу, — пригласил меня на танец, но недавние события захватили меня не настолько, чтобы я согласилась. Дорогие мои недруги-поляки то и дело приносили прохладительные напитки: прохладительными в них были только кусочки льда, позвякивавшие в бокале. Пили за здоровье то одних, то других, за свои объединившиеся в борьбе страны, за Уинстона Черчилля, ставшего символом Сопротивления. Многовато было пожеланий, многовато тостов...

В соседней гостиной мужские голоса запели русские песни. «Иди скорее, — сказал Святослав, — это поляки под действием виски вдруг вспомнили, что были русскими офицерами». А я-то, наивная, поверила, что они и языка русского не знают. Я хотела встать с дивана, но почувствовала, что ноги меня не слушаются. Я оперлась на руку сидевшего рядом генерала: греческому королю Георгу не изменила королевская галантность, но Святослав-то знал, что я, хоть и не была конформисткой, избегала публичной фамильярности с венценосцами, даже в изгнании, и поспешил отвезти меня домой.

1 января. Я окинула взглядом недавнее прошлое: два года назад я находилась в открытом море, на «Батори». А где я буду 1 января 1945 года? Загадывать бесполезно.

В пасхальную ночь 1944-го я не смогла попасть в православную церковь на Букингем-Палас-Роуд. В связи с необходимостью соблюдать затемнение всенощные были отменены. На заутрене народу собралось немного; состав русской диаспоры легко угадывался по мундирам военных самых разных армий. Были тут американцы, бельгийцы, французы, англичане, поляки, был даже один норвежский моряк и один гигант-шотландец в юбке. Наверное, зашел из любопытства, подумала я. Но нет, «шотландца» звали Игнатьевым, он недавно стал канадцем, ему предстояло отправиться в качестве посла этой страны сначала в Москву, потом в Югославию.

Пасха для православных самый большой праздник, и, естественно, мы хотели, чтобы ни один из наших собратьев по религии не чувствовал себя в этот день одиноким, поэтому пригласили всех военных, кто остался в Лондоне без родни и друзей, на обед в клуб. Святослав с несколькими гостями шел впереди, а следом я с британским майором, представившимся мне на прекрасном русском языке как майор Уильямс. По дороге я мучительно вспоминала — у меня хорошая зрительная память, — где я могла его и раньше видеть. «Вспомнила, никакой вы не Уильямс, а Ваня Бурышкин, в 1925 году в Париже мы состояли в одном отряде скаутов!» Бедный майор не просто смутился, он окаменел.

— Забудьте об этом! Прошу вас, забудьте! Моя работа требует абсолютной секретности. Как неосторожно с моей стороны было пойти в церковь!

— Успокойтесь, клянусь вам, никто об этом не узнает до конца войны.

Иван Бурышкин, он же майор Уильямс, сын крупного московского промышленника, воспитанный во Франции, выполнял не раз опаснейшие задания британских секретных служб во Франции. Как только прошли героические времена, он спокойно вернулся в строй, и наши дороги больше не пересекались.

Пришла весна, но ничто в нашей жизни на острове-крепости не переменилось. Те же бомбардировки, те же ограничения, я начинала потихоньку уставать от интенсивной и нервной работы. Я продолжала давать уроки русского, теперь офицерам Intelligence Service, весьма способным, писала статьи для бельгийского журнала в Лондоне «Послание» и для «Современного журнала», редактором которого являлся доктор Гуч. Кроме того, после работы приходилось выстаивать очереди в продовольственных магазинах — не хватало служащих. О прислуге не могло идти и речи, я стирала сама даже постельное белье, и это при постоянном недосыпании: конечно, мне было тяжело, как и всем другим. Хорошо, хоть Святославу не становилось хуже. Моя сестра Наташа радовала нас посылками из Нью-Йорка, особенно ценилось сливочное масло. Инес душ Сантуш посылала неизменные сардины; американский двоюродный брат мужа подбадривал нас письмами; он жаловался, что никак не может найти нужную краску для ванной комнаты, но потом проявлял героическое смирение: «Что делать, война!» На него мы особенно и не рассчитывали — незадолго до этого он прислал своим лондонским друзьям сушеного лука: отлично, мол, помогает от цинги. С моей матерью мы переписывались через Инес душ Сантуш и Анатоля фон Штейгера, жившего в Швейцарии. У матери все было хорошо, но она так стремилась сообщить мне побольше новостей из Франции и прибегала для этого к таким наивным уловкам, что цензорам ее намеки и перифразы казались загадочными, разбирательства не раз грозили мне неприятными последствиями. Однако главное я знала: она была здорова, деньги получала регулярно. Грех жаловаться, если бы не усталость. Дали бы нам хоть сутки отоспаться!

И вот в конце мая я получила недельный отпуск. Святослав считал, что лучше спокойно посидеть в Лондоне. Спокойно? Кто мог гарантировать нам покой? Я хотела выспаться и пожить в тишине. Решили поехать в деревню, сняли комнату на деревенском постоялом дворе к северу от Лондона — место не сказать, чтобы очень красивое, но не знавшее бомбежек, и здесь можно было, вероятно, проспать целую ночь, не вздрагивая от воя сирен воздушной тревоги.

Без налетов и в самом деле обошлось, но, едва наступила ночь, мимо наших окон со страшным грохотом и лязгом двинулись колонны союзных войск. Солнце поднялось — все стихло. Увы! На следующую

ночь все повторилось. Танки, самоходные установки, грузовики — от рева моторов и визга тормозов дрожали стекла и даже стены. Можно было подумать, все вооруженные силы Великобритании решили передислоцироваться с севера на юг страны через эту деревушку. Уж не начались ли маневры? Но в таком случае, какие-то уж очень масштабные. «Сама теперь видишь, в Лондоне спокойнее», — сказал Святослав. И мы спешно вернулись в столицу. Было это 3 июня 1944 года.

В ночь с 5 на 6 июня Лондон наполнился гулом. Нет, тревоги не было. Над нашими головами с ревом проносилась невидимая воздушная армада.

6 июня Святослав вернулся в министерство. Я приступала к работе только седьмого и еще валялась в постели, когда раздался звонок. Тягучая американская речь: «Зика, дело сделано!» — «Что такое?» — «Мы перепрыгнули лужу!» Я перекрестилась: «Где, в Норвегии?» — «Нет, в Нормандии, на рассвете. Да поможет нам Бог. Счастливо, увидимся в клубе». Я оделась, вышла на улицу. Лондонцы спешили в церкви. Ликования не было, скорее понимание важности момента. К надеждам примешивалась тревога: еще не ушли из памяти Дюнкерк, Дьепп, Сен-Назер. Ставка так велика, положение так неопределенно, что не до ликования.

Погода стояла прекрасная, как в 1940 году. В клубе не осталось ни военных, ни единого француза. В полдень пришли первые новости. Газеты ограничились коротким коммюнике, но в министерствах знали, что успех пока сомнителен... 12 июня к нам зашел приятель, французский офицер связи, — первый человек, вернувшийся из Нормандии после высадки. Он преподнес мне камамбер, как дарят драгоценность. Святослав пошел в ресторан за бутылкой вина «божоле», хозяин-грек не растерялся и заломил за нее бешеную цену — три фунта. Торжественный момент. Соленый, высохший камамбер словно приблизил Францию, на глаза навернулись слезы. «Положение зыбкое, — сказал М., — это отнюдь не увеселительная прогулка. Завтра я возвращаюсь обратно, так что лучше об этом не думать».

Ночью 15 июня я едва не упала с кровати от мощного взрыва. Странно, тревоги я не слышала. Не прошло и четверти часа, еще один. Я пошла в спальню к Святославу. «Тебе приснилось, — успокоил он. — Тревоги не было, иди ложись.» Но тут раздался третий взрыв. «Надо же, действительно. Наверное, мы спали, как сурки, так давай продолжать».

Наутро ни в газетах, ни по радио ни слова, вопреки обыкновению. В клубе мисс Джесл, которая знала все, объяснила: «Газгольдеры взорвались. Только и всего», — такова была официальная версия, хотя никто, по-моему, ей не верил. Люди усмехались: «Сегодня ночью возле нас еще один газгольдер взорвался». Рано или поздно тайное становится явным; в газете напечатали эскиз нового вражеского оружия, V.I. На бумаге это чудище выглядело довольно безобидно; в нашу жизнь оно вошло под фамильярным прозвищем «дудл» или «баз-бомба». На самом

же деле эти злосчастные «дудлы» стали тяжелым испытанием для людей, издерганных четырехлетней непрекращающейся бомбардировкой. Рев их моторов слышался издалека, они летели так медленно и низко над Флит-стрит, что казалось, высунь руку из окна «Рейтера», и поймаешь их за огненный хвост. Кто-то, услышав эти звуки, выходил на улицу, а кто-то предпочитал не отрываться от занятий, но все умолкали, вслушиваясь в ставший привычным рев. Лично я переносила атаки «дудлов» гораздо тяжелее, чем обычные налеты. В этой машине, обходившейся без пилота, было что-то дьявольское; слепая инертная сила повиновалась только законам физики, настоящий Голем в действии.

Интересно, что это оружие уничтожило в Лондоне несколько мостов и еще некоторые объекты, которые не удавалось разрушить бомбардировщикам.

Разумеется, действовала противовоздушная оборона, но если «дудлам» удавалось перелететь установленные над морем заслоны и их не сбивали в полях, дальше они могли безнаказанно блуждать над столицей. Наш дом стоял как раз на их пути, и по ночам я слышала, как они пролетали группами по пять-шесть штук через равные промежутки времени, словно у нас над головами проходила автострада. На тогдашних карикатурах изображали лондонцев с огромными ушами, которые они поворачивали в сторону гула.

— Не стану скрывать: как услышу, что летит V.I, переношу свой стул под лестницу. Говорят, лестницы очень крепкие, — сказал нам один старый профессор. — А вы какие меры принимаете?

— Если ночь, — беру в руки икону святителя Николая и накрываюсь с головой одеялом: и слышно меньше, и осколками не поранит.

Ничего не скажешь, «дудлы» оставляли нам время подумать о приближающейся смерти. Сатанинские снаряды не торопились, звук мотора вдруг обрывался, и люди знали: сейчас упадет. И стыдились чувства облегчения, когда мотор снова взвывал и «дудл» летел дальше, убивать других. Здания разваливались, как карточные домики; иногда вас так било ударной волной, что едва удавалось устоять на ногах, даже если снаряд взрывался далеко, — однажды и мне довелось такое испытать.

В агентство в то время то приезжали, то уезжали знаменитые корреспонденты: Бурдан, Госсе и другие. Вернулся из Египта военкор — молодой очаровательный Дональд Монро. Мать этого двадцатилетнего парня была француженкой, отец — британцем. Он ворвался в редакцию жизнерадостный, но жутко недовольный суровостью британских таможенников: «Вот гады, за хронометр заставили платить. Как будто я не имею на него право после того, как гонялся несколько месяцев за "крысами пустыни"!» Я пригласила Монро в клуб. «Хорошо, только завтра. Меня ждет любовь!» — и умчался. Той же ночью он погиб: «дудл» угодил прямо в дом, где жили французы, в Саус-Кенсингтон. Моя подруга, Наташа Г., работавшая в Карлтон-Гарденс и жившая как раз в этом доме, рассказывала:

«Я услышала рев мотора, спряталась под одеяло, и тут все рухнуло! Я испугалась, что сгорю, и хотела вскочить с кровати, но не могла заставить себя спустить ноги: мне казалось, пола уже нет, и я сейчас

провалюсь в дыру. Потом все же ощупью выбралась на лестничную площадку. Кто-то стонал. Вероятно, моего соседа, французского офицера, завалило обломками. «Где вы? Вы ранены?» — закричала я. «I don't speak English»[1], — ответили мне, хотя я говорила по-французски. Тут же прибыли спасатели и пожарные. Когда я немного пришла в себя, то заметила, что вся обсыпана штукатуркой, — словно поседела...» За несколько месяцев до этого у Наташи погиб в Чаде муж, тоже русский, сражавшийся в армии Леклерка.

Лично мне «дудлы» вреда не причинили, но постоянно наводили страх. Однажды я оказалась в автобусе, за которым буквально увязалась летучая бомба. «Дудл» следовал за нами по прямой, поворачивая вместе с улицей, обгонял нас, и мы слышали, как мотор его дает сбои, стихает... Вот-вот остановится... Но ни один человек не шелохнулся, любое движение могло вызвать панику. Мы продолжали путь в абсолютном молчании, ни живы, ни мертвы. Наконец водитель перекинулся несколькими словами с кондуктором и приказал совершенно спокойным голосом: «Лягте на пол, пожалуйста». Все, как один, послушно распластались на полу, спрятав головы под сиденья. Шофер вышел на улицу, лег возле колеса. V.I находился как раз над нами, и мотор его не работал. Сейчас упадет. Я покаялась перед смертью, раз уж есть время — но, о чудо! — вдруг мотор «дудла» снова взревел, и он, развернувшись, полетел в другом направлении. Правда, недалеко. Кондуктор едва успела сказать: «Займите, пожалуйста, свои места», шофер только-только уселся за руль, как раздался взрыв! Ни единого комментария — мы спокойно продолжили свой путь.

Еще более забавный случай произошел с Мирой, молодой русской женщиной. Она мылась, когда ударной волной оторвало стену дома, и она так и осталась сидеть в ванне над бездной, дожидаясь, когда ее кто-нибудь вытащит. Британская скромность тому виной или мужская хитрость, но показавшиеся в проломе пожарные не решались прийти на помощь молоденькой красивой голой женщине, которую пощадил снаряд, — она сама вынуждена была им сказать: «Чего вы ждете? Где-то тут должен быть мой халат!» Халат и в самом деле висел на двери, наполовину сорванной с петель. Так Мира сумела соблюсти приличия и была спасена.

Спасательные работы велись замечательно. Едва рушился дом, со всех сторон к нему спешили добровольцы из служб гражданской обороны. Прибывали кареты «скорой помощи», пожарные; сначала в бой вступали спасатели «наилегчайшего веса»: они могли пролезть сквозь завалы, проникнуть в узкие щели. Словно фокстерьеры или таксы, проходили они через самые тесные проломы и обнаруживали раненых. Потом принимались за дело спасатели-тяжеловесы, крепкие и сильные, как грузчики: они сдвигали обрушившиеся балки, срывали заклинившиеся двери, поднимали упавшие шкафы... Бригады уборщиков мгновенно расчищали улицы от обломков, освобождая дорогу транспорту. Достойные

[1] Я не говорю по-английски (*англ.*).

дамы из добровольной женской службы на своих трехколесных мотороллерах привозили горячий чай жертвам и спасателям. Врачи и сестры не покидали застрявших под обломками раненых, сами ежеминутно рискуя оказаться погребенными. Машины «скорой помощи» — их часто вели молодые женщины — отвозили раненых в больницу, мертвых — в морг. Пожарные боролись с огнем. Сколько было радости, когда доставали из-под руин не только людей, но и домашних животных: кошку, собаку, канарейку в клетке... То был замечательный пример отличной работы, спокойствия, я бы даже сказала, уравновешенности и отваги. Душа Нельсона могла пребывать в мире. Он же сам сказал: «Англия вправе ждать выполнения долга от каждого англичанина».

Стоявшая за стойкой бара Клуба союзников Сара — в свободное время она водила машины «скорой помощи» — поехала однажды в Челси к друзьям, пригласившим ее поиграть в бридж. Дома, где ее ждали, не оказалось; на развалинах работали спасатели. «Вы не скажете, госпожа такая-то уцелела?» — спросила Сара одного из них. Он сверился с блокнотом: «Не знаю. В списке раненых, которых отправили в госпиталь, ее нет; может, она погибла...» — и он повел Сару к прикрытым простынями телам, ожидавшим отправки в морг.

Разумеется, несмотря на постоянную тревогу, мы все же находились далеко от фронта, и жизнь шла своим чередом, в том числе жизнь ночная — ее не чурались ни воины, ни вполне мирные жители, которым, однако, война постоянно напоминала о себе. Работало множество клубов, самый элегантный из них — «Клуб 400», куда допускалась немногочисленная, тщательно отобранная публика; ночные кафе — они так и просились на перо Карко, — где можно было встретить и военных, и штатских. У входа, даже если вы пришли сюда впервые, — вас поджидал парень и тут же брал под свою опеку. В «Канаде» жирный запах гуляша сразу напоминал о Центральной Европе. Здесь между столиками прохаживалась с огромным аккордеоном женщина лет сорока, еще красивая, но седая, с трагичным выражением глаз, что становилось особенно заметно, когда она улыбалась; она пела по-венгерски, по-русски, по-французски, по-английски. Поговаривали, что она австрийка, что у нее были неприятности с полицией и с тех пор она работала у них осведомителем. На небольшой площадке танцевали пары.

В «Гаргойле» на Мерд-стрит — французов очень смешило название улицы[1] — царила совсем другая атмосфера. Здесь встречались надевшие военную форму интеллигенты. Тут говорили об Элиоте и Хемингуэе.

Далекий от богатых районов Ист-Энд веселился на свой лад. Бедные кварталы Лондона, сильно пострадавшие от бомбежек из-за близости к докам, выглядели уныло. Здесь катила свои темные, грязные воды Темза — великая лондонская труженица. С пронзительными криками кружили в бесцветном, почти белом небе чайки и садились на воду. Перед

---

[1] Merde — по-французски дерьмо. (*Прим. перев.*).

вами, насколько было видно, тянулись склады, ангары, заводы, прогалины серых улиц при ярком свете летнего солнца. Чем дальше вы углублялись в лабиринты густонаселенных районов, тем больше открывалось пустырей, образовавшихся на месте недавних разрушений. Случалось, выгорали или рассыпались в прах целые жилые кварталы, развалины вписывались в грустный пейзаж, становясь его неотъемлемой частью. На реке стояли под разгрузкой баржи, сновали по учебному судну пожарные, на соседнем корабле матрос начищал медь.

Как далеки они были от Мейфеа с его сверкающими магазинами, от Челси, с удобно устроившейся богемной публикой. В Париже Сена царствует над городом, обнимает его, дарит ему свой блеск. В Лондоне Темза довольствуется ролью кормилицы, набережные возводятся безо всякой заботы о привлекательности.

Черные постройки Ист-Индия-Док-Роуд все еще существовали, но знаменитая таверна «Том Браун» была закрыта распоряжением полиции после драки, в которой погиб от ножевого ранения американский матрос. По запаху рыбы и жира можно было угадать, что приближаешься к китайскому ресторану. Все это выглядело довольно мрачно, однако именно тут сосредотачивалась самая веселая публика Лондона.

«Вы боитесь V.I?» — «С какой стати? "Дудлу" надо сначала перелететь море, уцелеть под обстрелом зениток, потом, если доберется, отыскать мой квартал, в квартале мою улицу, на улице мой дом. А когда он его найдет, я, вполне вероятно, буду сидеть в соседней пивной».

Однажды я привела к докерам загадочного француза, появившегося как-то в нашем клубе (вероятнее всего, под фальшивой фамилией) и исчезнувшего вскоре в неизвестном направлении. Судя по внешности и по разговорам, типичный интеллектуал, отнюдь не человек действия. Сопротивление казалось ему чисто абстрактной проблемой, требующей умозрительного отношения. Он считал себя носителем «передовых» идей и словно сам удивлялся своему патриотизму — раньше он относился к подобным чувствам с презрением. Мне он был интересен; я уважала его за храбрость, но ему не хватало, на мой взгляд, самого важного из человеческих достоинств — тепла. Проблуждав среди портовой разрухи до того часа, когда власти разрешают утолить жажду, мы зашли в «Проспектс оф Уайтби»; заведение не менее известное, чем «Том Браун», было расположено на том самом месте, откуда когда-то можно было наблюдать за казнью преступников. Пивная эта стала вдруг очень модной, но еще сохранила часть своей изначальной клиентуры. К нам подошел бродяга. «Иностранцы?» — спросил он. — «Да. Можно угостить вас стаканчиком?» — «Конечно», — процедил он сквозь зубы. Движимый чувством благодарности, достал и протянул мне листок. Он оказался местным поэтом, и его стихи носили гражданский характер.

«Я живу в Ист-Энде, где не дома, а трущобы, а улицы серы и нищи;
Не приходят нам на помощь добрые самаритяне —
мы сами помогаем друг другу, вместе переживаем и горести, и радости.
Мы хотим жить друг для друга, а не сражаться между собой.
Мы товарищи, мы вместе работаем, и, когда окончится война,
мы, рабочие, еще скажем свое слово».

Честно говоря, не похоже, чтобы автор много работал в своей жизни, но безусловно обладал общественным сознанием.

Когда мы возвращались, вдруг распахнулась дверь другой пивной, и прямо к нашим ногам вылетел на мостовую человек. «Вы не ушиблись?» — спросила я его. — «Это вас не касается», — ответил он, как истинный британец. — «Что правда, то правда, — сконфуженно проговорила я. — Простите». Я нарушила главную заповедь острова: никогда не лезть в чужие дела.

В тот день шел дождь, мелкий, противный, бесконечный. Англия словно повисла, привязанная к вечно парящим между небом и землей «небесным коровам» — аэростатам. Что стало с моим тогдашним спутником? И как его звали? Я так никогда и не узнаю. В памяти осталась лишь случайная встреча, крохотный эпизод на фоне разоренного пейзажа лондонских доков.

Нужно ли говорить, что Французское информационное агентство после 6 июня охватила настоящая лихорадка? Мы едва успевали забежать в столовую агентства «Рейтер» перехватить бутерброд. Телетайп отстукивал телеграмму за телеграммой, названия нормандских городов и деревень становились близки каждому, входили в историю: Лафьер, Сент-Мари-Эглиз, Сент-Мари-Дюпон, Котантен... а нормандское побережье навсегда сохранило для историков имена Юта, Омейха, Гоулд, Джуно, Сворд, — и это правильно, если вспомнить, сколько англичан и американцев отдали жизни, чтобы вернуть их Франции.

Агентство в тревоге: наши военкоры, Пьер Бурден и Пьер Госсе, попали в плен. Особенно мы беспокоились за судьбу слишком знаменитого Пьера Бурдена, но, к счастью, неприятелю не удалось установить его личность, и оба пленника в суматохе военных операций сумели бежать.

Уверенность в победе крепнет день ото дня, и, естественно, нас уже не покидает мысль о Париже, о его освобождении. Поднявшее голову Сопротивление набирало силу. Лично я больше уважаю тех, кто вступает в борьбу немедленно, не дожидаясь, когда прояснится ее исход, но, как учит Евангелие, отвергать присоединившихся в последнюю минуту тоже нельзя.

Потом мы узнали о покушении на Гитлера. Неужели убили? — Нет, — заговор провалился, заговорщики казнены. Новости приходят одна за другой, а за ними опровержения, но союзники наступают по всем фронтам. Уцелеет ли Париж? Избежит ли он участи Лондона, Берлина? Все невольно думали об этом с тревогой и беспокойством...

Пришел август. Парижане в нетерпении — их можно понять! — не хотят ждать ни союзных войск, ни второй бронедивизии, ни генерала Леклерка. В победе уже никто не сомневался. Увы! Мне, ставшей свидетельницей вступления немецкой армии в Париж, не суждено увидеть баррикады освобождения, и оттого к радости моей примешивается горькое сожаление.

Париж освобожден, в него вступил Леклерк. Я живо представляла себе ликование одних, страх других, украшенные цветами танки и танкистов, опьяневших от редкого в жизни человека счастья: цель достиг-

нута, ты получил то, о чем мечтал. А за колонной машин идут женщины, мужчины, они кричат от радости, на крышах и балконах домов появляются первые трехцветные флаги.

Мне хорошо знакома переменчивость толпы, и я отлично вижу подноготную праздника, в котором участвую издалека: оскорбления в адрес побежденных, сведение счетов, — словно все обязательно нужно испачкать... Но какое это тогда могло иметь значение. В августе 1944-го Париж вновь обрел себя, он снова стал самим собой; его соборы и церкви, его дворцы и дома Божьей милостью уцелели. И уже рукой подать до главной для всех, кто к ней стремился, Победы.

И как раз когда я об этом мечтала, над пустырем — прямо напротив наших окон — возник огненный шар. Он сверкнул, как молния, и исчез, а через несколько мгновений раздался оглушительный взрыв. V.2 спешил напомнить мне, что будущее и есть самое неведомое в мире, преисполненном неизвестности.

Париж, 1966

Странный мир

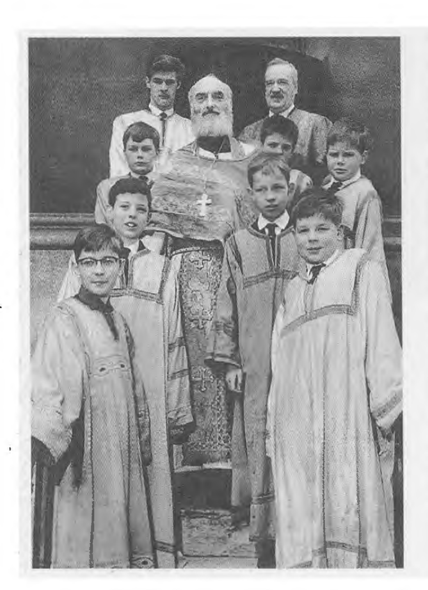
*Господа, представление окончено.
Добродетель, простите, порок наказан,
а добродетель... Но где же она?*

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

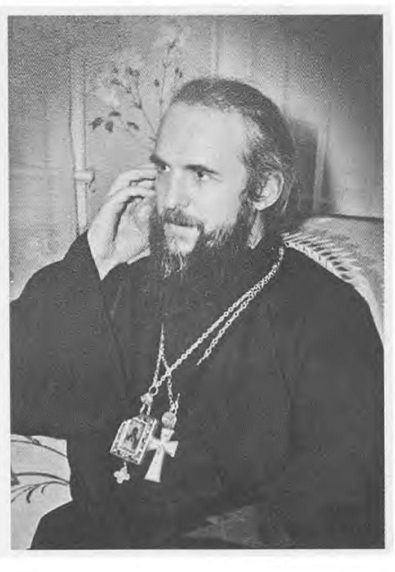
Зинаида Алексеевна Шаховская.
Конец 1940-х

Святослав Святославович Малевский-Малевич. *Середина 1950-х*

Зинаида Алексеевна Шаховская. *Конец 1950-х*



Протоиерей Николай Оболенский (духовник З. А. Шаховской), настоятель собора Св. Александра Невского в Париже. *Конец 1960-х*



Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (в миру кн. Дмитрий Алексеевич Шаховской). *1955.*
Из семейного архива

Николай Дмитриевич Набоков.
Париж, 1960.
Из семейного архива

Наталия Алексеевна Набокова с внуком
Алексеем Набоковым. ***Нью-Йорк, 1960.***
Из семейного архива

Зинаида Алексеевна Шаховская.
Малага, 1966. Из семейного архива

Зинаида Алексеевна Шаховская
с внучатым племянником кн. Илларионом
Шаховским. ***1997. Из семейного архива***

Зинаида Алексеевна Шаховская в своей парижской квартире
на фоне портрета Святослава Малевского-Малевича
(художник А.Г. Старицкая).
1970-е. Из семейного архива

ГЛАВА I

Сентябрь 1944-го, Париж и Брюссель освобождены. Союзники прочно, во всяком случае все на это надеялись, утвердились на континенте. В Лондоне вздохнули спокойно, и даже вой падающих бомб казался менее страшным и каким-то отдаленным. До мира еще далеко, и достичь его будет трудно. Ничто не доказывало этого с той же ясностью, как разговоры в салонах Клуба союзников на Пиккадилли, 148, где, словно в капле воды, отражались противоречивые устремления народов. Кто в действительности являлся союзником? И чьим? Кем из союзников пожертвуют на алтаре победы?

Пока исход борьбы оставался неопределенным, в лагере союзников существовало непрочное солдатское братство, но мир был уже на пороге, на расстоянии вытянутой руки, и все будущие трещины в плохо сцементированном блоке казались заметными. Ухудшались не только отношения между странами, сталкивались интересы внутри каждой из них, и захватывающие политические интриги переплетались змеиным клубком.

Бенеш, Ян Масарик, Ян Полини-Точ и убежденный коммунист Владо Клементис спорили о будущем Чехословакии и тянули ее в противоположные стороны. Сколько иллюзий! Мы слышали от них: «Чехословакия не похожа ни на царскую, ни на нынешнюю Россию. Демократия у нас в крови, это наша традиция. В стране почти не осталось аристократии времен Австро-Венгрии и не так велика буржуазия. К многочисленному среднему классу примыкают рабочие. И даже если бы в нашей стране установился коммунистический строй, то он ни в чем бы не походил на советскую власть!»

Лондонские поляки разрывались между понятными тревогами и безрассуднными амбициями. Второпях была издана новая географическая карта, на которой великопольское влияние распространялось на все Балканы, решительно не желавшие такой мощной опеки. Отсутствие серьезных сторонников не мешало романтическим воякам вербовать их в дамском обществе. Один голландский морской офицер уверял меня, что видел карту Великой Польши над кроватью некой юной особы, известной своей благосклонностью к союзным офицерам.

Логика времени безжалостно требовала пожертвовать бойцами армии Андерса, воевавшими повсюду с 1939 года. Такая же участь постигнет и многих других, кто с самого начала участвовал в сопротивлении гитлеровской Германии и чья победа по политическим мотивам будет похищена.

Лондонские югославы во главе с настойчивым молодым королем, но плохим дипломатом, будут также принесены в жертву наравне с партизанами Михайловича. А пока у них сохранялись какие-то иллюзии о решении своих проблем после победы. «Нет, нет, — говорил моему мужу сербский генерал Р., — меня не волнуют счеты с коллаборационистами. Их тысяч пятьдесят, совсем немного, избавиться от них можно быстро. Меня же волнуют хорваты: их три миллиона, сколько людей придется ликвидировать!» — «А коммунизм?» — «Да, это тоже вопрос сложный. Беда в том, что коммунизм приходит из России. Для простого народа это самое привлекательное. Ведь на протяжении многих веков мы в русских привыкли видеть братьев и защитников».

Греков лихорадило от сильных и противоречивых страстей. Монархисты, республиканцы и коммунисты совсем не были готовы ни к какому компромиссу. Один из моих друзей — грек — великодушно советовал мне не задерживаться в гостиной, если там окажется король Георгий II, ибо кто-то мог попытаться свергнуть его с трона раз и навсегда. «Зачем, дорогой друг, пройдя сквозь столько испытаний, рисковать жизнью из-за чужеземного монарха?» Сам он, будучи преданным монархистом, напротив, был согласен разделить судьбу короля.

Французы тоже волновались, не зная, какому святому молиться. Одни мечтали о восстановлении Третьей Республики, другие — о новой Франции, одетой по-советски, а глава Свободной Франции видел свою страну более могущественной, чем прежде. Одно лишь было несомненно: де Голль не откажется от поддержки коммунистов, потому что обещал отблагодарить всех, кто помогал ему в его борьбе.

Бельгийцы, в особенности их лондонское правительство, не доходя до крайностей греков, спорили тем не менее о династических проблемах — разногласия по лингвистическим вопросам пока еще не стояли на повестке дня. Министры предвидели, и не без оснований, что король Леопольд не раскроет им своих объятий.

Норвежцы, дорого заплатившие за сопротивление, горели желанием высказать все накопившееся более осторожным шведам.

Лишь Голландия и Люксембург избежали тревог приближающегося мира...

А вдали от словесных баталий и политических интриг на фронтах Европы продолжали умирать, подчиняясь приказу, совсем молодые люди, среди которых было много наших друзей; гражданское население гибло под последними бомбежками, равнявшими с землей города.

С освобожденных территорий на телетайпы Французского информационного агентства, в котором я работала, летели депеши об ужасах и подлостях XX столетия. Сюда вперемешку неслись имена коллаборационистов, рассказы о сведении счетов, списки расстрелянных, описания массовых захоронений и чудовищных пыток...

Журналисты становились похожи на студентов-медиков, подбадривающих себя солдатскими песенками во время патологоанатомических занятий... Время от времени кто-то из редакторов почти радостно восклицал, кидая телеграмму на стол: «Еще гора трупов — семнадцать человек, из них четыре женщины. Кто хочет?» Чудовищность откры-

вавшихся преступлений в известном смысле закаляла. Особенно нас, не видевших дотоле ничего, кроме повседневой войны.

Известия об августовском восстании в Варшаве и его кровавых последствиях не были неожиданностью. Безрассудная храбрость соседствовала у поляков с неосторожностью. Помню, как однажды, за несколько недель до восстания, польские друзья представили мне в баре полковника Окулички-Орла. Тот крайне изумил меня, заявив, что отбывает в Польшу организовывать сопротивление. И добавил: «Русским». «Русским?» — удивилась я. «Да, для освобождения поляков они не нужны, зато с ними придется драться за нашу независимость». В публичном месте я постаралась превратить неосторожное высказывание в шутку, лишь бы помешать новому неосторожному высказыванию.

— Совсем нет! Мы настроены более чем серьезно! И будем бороться с русскими до конца!

Мне оставалось лишь высказать надежду, что до такой крайности дело не дойдет и поляки выживут на благо своей родины и к нашему удовлетворению.

Бор-Комаровский капитулировал второго октября. 300 000 поляков погибло, город был разрушен на 90%. Несчастный и отважный Окулички-Орел стал генералом и, как мне кажется, заместителем Бор-Комаровского. В 1945 году он отправился вместе с пятнадцатью другими руководителями польского Сопротивления торговаться со Сталиным о будущем своей страны. Надо ли говорить о том, что он так и не вернулся, и лишь спустя десять лет его вдове, проживавшей в Лондоне, советское правительство официально сообщило, что ее муж умер «естественной смертью» в московской тюрьме зимой 1946 года...

В Клубе союзников я часто встречала мужа и его друзей, многие из которых были в отпуске или прикомандированы к действующим войскам. Молодые офицеры, не принадлежавшие к высшему командованию, не рассуждали о целесообразности грандиозных военных операций, а рассказывали о своих впечатлениях, не всегда связанных со сражениями.

«Казалось, я сплю, — рассказывал американец-полиглот, лейтенант Кэлхаун, — и из Булонского леса перенесся в ласковый Майями-бич! Потный, одетый в грязную форму, я очутился среди красивых девушек и эфебов моего возраста, золотивших ляжки на солнышке! Мираж! Какого черта мы помешали этим счастливым людям?»

«Я тоже однажды удивился! — улыбнулся Чарли, британский офицер-танкист. — Мы попали у Шарлеруа в серьезную переделку. Потом последовал бросок на Брюссель, и мы оказались на ярмарке с гуляниями. Целые семейства добропорядочных жителей преспокойно сидели за кружкой пива, довольные, приветливые и мирные. А какой прием! Какие объятия! Нас никто так раньше не приветствовал!»

«Все, что мы видели там, вся правда без прикрас, — говорил французский офицер Луи, — никогда не станет достоянием широкой публики. История, как говаривали в старину, гнойная п., но я думаю иначе: история — это п. в шелках, прикрывающих гнойные язвы. Если бы нам удалось прочесть учебник истории, который будет издан через пятьдесят лет, мы бы не узнали того, что видели!»

Как-то к нам подошел высокий сутулый пожилой человек. Это был господин Бендер, бывший варшавский банкир, человек умный и, подобно большинству таких людей, лишенный иллюзий. Все просили у старика советов, которые тот не без юмора раздавал.

«Господин Бендер, в какой валюте вы посоветуете держать деньги в конце войны?» — вопрошал чешский поэт-сюрреалист Флорен, вечно сидевший без гроша в кармане, на что Бендер, похожий на грустную птицу, ответил: «Не все ли равно, в какой именно валюте не иметь денег в конце войны?»

Наблюдая споры оптимистов с пессимистами, старый банкир примирял враждующие стороны таким образом: «Посмотрите, где все оптимисты? В Дахау! А пессимисты? С деньгами в Нью-Йорке!»

Всем Клубом мы торжественно приветствовали впервые встреченного нами партизана. Письмо некоего господина Н., молодого адвоката из Брюсселя, появилось внезапно. Он лежит в военном госпитале неподалеку от Лондона, — говорилось там. Не сможем ли мы навестить раненого? Все немедленно бросились туда. Что бы каждый ни сделал для героя Сопротивления! Легко раненный в Арденнах молодой человек вскоре должен был возвращаться в Бельгию. Не желая предстать перед своей семьей с пустыми руками, он одолжил у нас немного денег, в которых мы и сами нуждались. Но для участника Сопротивления стоило, конечно, пожертвовать.

Когда моего мужа послали в Брюссель, то он, просматривая там иллюстрированные журналы времен оккупации, наткнулся на портрет Н. На первой полосе, с лентой через плечо, тот улыбался во весь рот, как и положено мелкому фюреру прогитлеровской молодежи... Как и многие другие, при приближении союзных войск Н. сбежал, опасаясь преследования, в какой-то партизанский отряд, где сам себя ранил, чтобы эвакуироваться в Англию. Нам не так было жаль потерянных денег, как утраченных иллюзий. Все труднее и труднее становилось разобраться в царившем хаосе, отличить участников Сопротивления от лже-героев; и в любом случае при тогдашнем смятении умов следовало научиться прощать.

Наш тесный мирок потрясали только политические страсти. Но, едва забрезжил конец войны, всеми сотрудниками миссий освобождаемых стран завладели заботы о будущей карьере. Каждому хотелось — из опасения, что местные конкуренты займут лучшие места — поскорее ступить на родную землю. В это время и для моего мужа[1] настал час могущества и власти, что, к счастью, сопровождалось забавными перипетиями.

Итон-сквер, где располагались бельгийские министерства, обезлюдел, мало-мальски значимые персоны покинули страну. Все министры спешно ринулись в Брюссель, чтобы не упустить счастливого будущего. В один прекрасный день начальник мужа, глава МИДа виконт Обер де Тейзи, открыл дверь его кабинета и заявил: «Мне свалился на голову кирпич.

[1] С. де Малевский-Малевич, уволенный из бельгийской армии, стал в 1943 году сотрудником МИД Бельгии. (*Прим. автора*).

Правительство поручило перевозить бумаги; у вас, друг мой, тоже дел по горло, так как именно вы будете отвечать за репатриацию бельгийцев. Вот инструкции премьер-министра Пьерло. Здесь фамилии тех, кому вы позволите выехать, и тех, кому следует помешать».

Мой муж пытался управлять своим «кораблем», лавируя между инструкциями премьер-министра, строгим указанием о предоставлении репатриантам лишь одного самолета в неделю, ограничениями МИДа и требованиями бельгийских граждан и частных лиц заполучить надлежащие разрешения и пропуска.

Не удавалось избегать и пикантных ситуаций. Так, бывший командир мужа, майор X. доказал свое умение оставаться на плаву, обращаясь к экс-подчиненному изысканно-вежливо. А генерал Ц. не сумел скрыть ярости, когда был вынужден обратиться с просьбой к уволившемуся из его армии офицеру, к тому же с небельгийской фамилией. Увы, имя генерала находилось в списке премьер-министра, снабженное пометкой, предписывающей оставить его в Лондоне. Генерал считал, что обладает правом, гарантирующим ему место на борту первого же самолета. Но никто не подчинился его приказу. Кипя от ярости, генерал бросился к виконту Оберу. Через плотно закрытую дверь кабинета до мужа доносились громоподобные протестующие крики и спокойный голос посла: «Только Малевский может выдавать разрешения, учтите, что у него очень четкие и строгие инструкции. Его отказ означает, что он не может удовлетворить вашей просьбы».

В кабинет мужа, несмотря на двух дюжих охранников, проникали самые странные люди. Миленькая француженка, едва поздоровавшись, призналась со вздохом: «Я беременна!» Мой муж, человек спокойный, ждал продолжения исповеди. Ее суженый, бельгийский солдат, уже на континенте. Молодой человек обратился было к военным властям с просьбой позволить ему разыскать невесту, но получил отказ. Муж извинился: никакими правами и властью над армией де Голля он не обладал... Француженку сменила англичанка гораздо более зрелого возраста с путаными мыслями. Убит бельгийский солдат, ее военный «подопечный», и женщине абсолютно необходимо ехать, чтобы получить наследство!.. Из Брюсселя некий министр посылал настоятельные депеши: в первую очередь доставить ящики с архивом. На двадцатый звонок моего мужа секретарша начальника соизволила ответить: «Полковник умер». Встретившись с полковником на следующее утро, муж поздравил его с воскрешением. «Знаю, когда она раздражена, всегда заявляет, что я умер». Необходимые ящики были транспортированы вне очереди. К несчастью, во время погрузки на корабль один из них упал и раскололся. И как раз тот, в котором были отнюдь не бумаги. Запахло хорошим виски, а британский репортер написал: «Бельгийский министр испарился», что звучало весьма двусмысленно.

Но самое трудное было впереди. В одно прекрасное утро в кабинет позвонил генеральный секретарь министерства национального образования и попросил мужа принять вместо него важную персону из Брюсселя, поскольку сам он занят на конгрессе. Вошел молодой человек, голубоглазый блондин, и принялся вполне серьезно, на хорошем, хотя и не

совсем внятном французском языке, рассказывать о проекте строительства дорог в Бельгии... Впрочем, проект этот абсолютно несвоевремен, ибо война еще не закончилась, и есть множество более неотложных задач. Молодой посетитель показался мужу немного странным. «Простите, я плохо расслышал ваше имя». — «Клингендорф». — «Вы бельгиец?» — «Нет, месье». — «Француз?» — «Нет». — «Тогда, кто вы?» — «Немец, месье». Приходилось признать, что несмотря на строжайший контроль и ограничения на проезд, из-за невнимательности какого-то мелкого чиновника свихнувшийся солдат вермахта получил необходимые документы и явился в Лондон в разгар войны.

Если несколько месяцев этой службы стали для моего мужа адом, то ад этот скрашивался беспорядком.

Настал наконец черед и мужу лететь с миссией в Брюссель. Задолго до этого дня мы в ожидании отъезда собирали продукты, маргарин, чай и сахар для изголодавшихся бельгийских друзей. Сейчас можно сказать, что наши скудные подарки чуть было не вернулись в Великобританию... Мужа приглашали на торжественные обеды с таким обильным мясным меню и изысканной кухней, что он просто не смел раздать наши продукты.

Против оккупантов бельгийцы успешно воевали на «голодном фронте»: даже наименее удачливые питались с черного рынка. Достаточно было прогуляться по знаменитой улице Ради, на которой продавалось все, и даже открыто торговали продовольственными карточками.

Один бельгиец с гордостью рассказывал: «Сами немцы были в восторге от нашей хитрости. Они говорили: “Арестуйте бельгийца, сорвите с него одежду, засуньте его голого, как червяка, в тесную одиночку, а завтра утром, одетый с иголочки, он будет угощать вас американской сигаретой”». Пишу не в насмешку, а с восхищением, так как вижу в этом проявление духа Тиля Уленшпигеля.

Сама же я мечтала попасть в Париж и разыскать мать. Но несгибаемый и неподкупный мой муж объявил, что не оформит проездных документов и не поддержит мои просьбы в другие организации.

Французские коллеги по очереди ездили к семьям во Францию, но мне надо было еще долго ждать. Наконец я получила командировку, такую же липовую, как и другие. Министерство образования Бельгии поручило мне изучить в Париже возможности сотрудничества французской и бельгийской молодежи.

Декабрь 1944-го. Продвижение войск союзников замедлилось на всех фронтах, а фон Рундштедт бросил своих солдат в Арденны. Момент был не из удачных, но никто не знает, с какой радостью однажды в холодное зимнее утро я заняла место в «Ансоне», маленьком самолете, в котором, кроме меня, было всего три человека. Зато все они — очень значительные лица. Месье и мадам Ориоль и месье Моник, руководитель Французского банка. Торжество мое было недолгим. Самолет

безудержно трясло в воздушных ямах. «Танго, вальс». Как и будущего президента Французской республики с его супругой, меня отчаянно выворачивало наизнанку. Только смертельно бледному банкиру удавалось сохранить достоинство. Путешествие оказалось достаточно опасным, потому что немцы все еще были в Дюнкерке и мы не могли из-за конспирации воспользоваться рацией. Не думаю, чтобы самолет был оснащен оружием.

Над Бурже наши муки закончились, и я осознала: в 1941 году дорога до Лондона заняла у меня девять месяцев, а на возвращение в Париж понадобился час. Ветер переменился.

Мы приземлились среди остовов сгоревших самолетов. Военная машина доставила меня в отель «Скриб», где суетились военные корреспонденты, мои коллеги. «Да, да, плохие новости...» Я торопилась, с нетерпением ожидая, когда попаду на бульвар Османн, где жила в то время моя мать.

Париж был плохо освещен, фонарики времен освобождения забыты. У прохожих грустные лица. Все встревожены, озабочены и ворчливы. Вхожу в бистро, прошу чашку кофе. Он ничуть не вкуснее, чем в 1941-м. Грубый хозяин, узнав, что я приехала из Лондона, злобно сказал: «Нечего было освобождать нас, если немцы скоро опять вернутся. Я вывесил флаги в день Освобождения, но когда вернутся фрицы, кто сможет помешать дочке консьержа из дома напротив, наголо обритой за постельные связи с немцами, донести обо мне в гестапо?» Не зная, что ответить, я не испытывала к нему жалости. На улице настойчиво предлагали себя велотакси, но я предпочла фиакр, которым воспользовалась, кажется, последний раз в своей жизни.

Я бежала по лестнице так же быстро, как в далеком 1918-м, ребенком, в Туле, бежала к освобожденной из тюрьмы матери. Банальный жест — нажать на звонок — становится волшебным после долгого отсутствия и без твердой надежды на возвращение. Многим пришлось пережить смешанную со страхом радость перед заветной дверью, но сколько было и тех, кому не довелось испытать этого счастья. Дверь открывается. Вот и моя мать, вся закутанная в шерстяной платок, со слезами на глазах, улыбающаяся. Остальное можно прочесть в сентиментальных романах...

В квартире, как в леднике. Мебель, кажется, обледенела под чехлами. Мы разожгли бумагу в камине, и сразу же отблески огня теплым светом скользнули по нашим лицам. Время от времени мы грели руки о чайник и пили зеленый чай, неведомо как раздобытый Мари М., которая сдержала данное мне обещание и окружила мать заботой. «Она даже однажды принесла кастрюлю горячих углей, раздобыв их у друзей», — пошутила моя мать.

Стемнело, а мы все не могли наговориться, вспоминая о том времени, когда жили в разлуке. Полному счастью мешала неизвестность. Какова судьба моего брата? Священник русской церкви в Берлине, мог ли он выжить под бомбами? Что будет с ним, если первой в город войдет Красная Армия? «Я чувствую, что мы еще увидимся», — прошептала моя мать, которая всегда отказывалась верить, что дети могут умереть

раньше нее. О моем приезде ее предупредили, и она готовилась к празднику. Каким чудом в духовке жарилась утка — загадка! Я привезла кофе, сахар, коробку сухого молока, шоколад... Большая тонкая шерстяная шаль, посланная ранее с американскими друзьями в только что освобожденный Париж, стала первой ласточкой нашей будущей встречи. Она не расставалась с тех пор с этой шалью.

Вечером я вышла прогуляться. До Рождества оставалось несколько дней, но праздника не чувствовалось. Прошлась по Елисейским Полям, слегка растерянная среди редких, торопливых, нахохлившихся от холода парижан. Торговцы газетами выкрикивали тревожные вести из Арденн... Люди подобно теням скользили по лестницам метро. Я не узнавала Парижа. Город непроницаем и колюч, он словно не верит в восход солнца над европейской ночью. И вдруг, неожиданно, вернулся из детства и коснулся меня дымный запах каштанов, чуть пахнувших ванилью. Я услышала: «Зика». Это Анри Л. Он купил мне пакетик каштанов. Тепло, проникавшее через меховые перчатки, словно вернуло мне Париж. Все так просто и близко моему сердцу.

По бульвару Османн прогуливались друзья. Слава Богу, я разыскала их всех, похудевших, осунувшихся, к тому же в слегка потрепанной одежде, но таких же пылких, как и в прежние времена. Элен Шарра, Андре Маршан, женатый, остепенившийся и преудобно живущий в мастерской на улице Кампань-Премьер; его последняя выставка с «Распятием» принесла ему известность. А вот Одиберти узнать трудно, он изменился. То ли он уже не так несчастен, то ли научился примиряться с окружающим миром; во всяком случае, подобно юной девушке из сказки Оскара Уайльда, он потерял свой «скрипичный» голос, и нам уже не обрести былой непосредственности.

В кафе «Флора» и «Дё Маго» мой приезд стал маленькой сенсацией. Официанты приветствовали меня столь же горячо, как и покинутые три года назад завсегдатаи. Первое же посещение «Флоры» повергло меня в изумление. Перемены вокруг разительны, и прежде всего бросается в глаза группа молодых поэтов, явно приложивших немало усилий, чтобы походить на юного Артюра Рембо. Можно было бы понять, если бы такая идея пришла в голову кому-то одному, но сразу дюжине — это уж слишком. В течение нескольких лет забегая во «Флору», я буду находить тут у молодых людей общее стремление к внешнему сходству. Вскоре стали подражать прическе американских военных, затем наступила мода на растрепанные космы под Джеймса Дина, сменившиеся длинными волосами битников. Я всегда считала, что главное для каждого молодого человека — искать свой путь к индивидуальности. Но нет, молодежь теперь стала, кажется, жертвой коллективистского духа, и даже ее романтизм — стадный.

Элегантные стиляги снуют вокруг дюжины Рембо, а «экзистенциалисты», никогда ничего не читавшие, но ставшие энергичными популяризаторами дорогих сердцу Сартра идей, толкутся поблизости, как всегда подчеркнуто неопрятные.

Гораздо сильнее меня поражало большое количество интеллектуалов среди участников Сопротивления моего возраста. Никогда прежде я бы

не поверила, что можно с успехом сочетать две столь разные задачи: поровну делить пыл между борьбой с оккупантами и творчеством, стремлением добиться писательской славы. Как они успели? У меня за три года не было времени ни на одно сочинение, кроме нескольких строк спешных заметок на память и написанных к случаю газетных статей, и в лондонских шкафах я не оставила ничего, хотя не была, разумеется, ни солдатом, ни подпольщиком. Но я напрасно удивлялась. История не зря учит: чем дальше времена взятия Бастилии, тем больше парижан участвовали в нем, пусть даже дата рождения свидетельствовала, что тогда они могли лишь с трудом дотянуться до соски.

Менее удивительной и гораздо более забавной стала встреча в той же «Флоре» с тремя журналистами, которых я знавала еще во времена оккупации. Хорошо одетые и очень угрюмые господа мрачно пили аперитив, когда я, проходя мимо, с ними поздоровалась. «Добрый день! Как поживаете? Я недавно из Лондона, скоро обратно, кажется, все прекрасно!»

«Может, для вас и прекрасно, а для нас не очень», — сказал один. «Нам не приходится радоваться победе», — добавил второй уныло, а третий объяснил: «Стараниями ваших друзей мы провели несколько недель в тюрьме».

Что прикажете делать, оправдываться или обвинять? Я не была готова ни к тому, ни к другому и предложила: «Давайте похороним прошлое, господа. Действительно, вы проиграли, но выглядите людьми состоятельными, я же победила, ни на грош не разбогатев. Посему налагаю на вас штраф. В качестве личной репарации вы приглашаете меня на ужин в ресторане. Я так долго была этого лишена».

Мои коллеги-коллаборационисты охотно согласились на это предложение. И в тускло-серьезном Париже 1944 года в тот вечер можно было видеть четверку веселых подвыпивших людей, переходящих мост Искусств и распевавших во все горло, как и подобает в день подписания Перемирия.

Иная встреча, случайная, с человеком с другой планеты. Его прошлое оставалось покрытым тайной. Из какой части СССР прибыл мой собеседник? В конце концов мне было все равно. Вместе с другими военнопленными фашисты послали его на строительство Атлантического вала. В начале 1944 года бедняга бежал и без особого труда добрался до Парижа в лохмотьях военной формы, тут он уселся на лавочку, еле живой и не зная, что делать дальше. Ни одним языком, кроме русского и нескольких выученных в плену немецких и французских слов, беглец не владел. Рядом с ним присел какой-то старик, недоверчиво поглядел и спросил: «Фриц? Немец?» Без сомнения, он принял нашего героя за вражеского дезертира. «Нет, я русский». — «А, русский?» — «Да». Перебирая пальцами по скамейке, он показывает знаками, что улизнул. «Фриц гут? Хорошо?» — переспрашивает старик. Русский отрицательно качает головой. «Нихт гут». Старик поднимается и зовет беглеца с собой. Они долго шагают по незнакомым улицам, потом заходят в бистро.

Француз обменивается несколькими словами с кассиршей, та зовет из задней комнаты человека, который, в свою очередь, делает жест, приглашающий пленника следовать за ним. Его приводят в мансарду, где француз знаками объяснив, что надо раздеться, уходит, унося с собой обноски военной формы и запирая дверь на ключ.

«Тут я не на шутку испугался, — рассказывал позднее беглец. — Вдруг хозяин вернется с немцами? Но делать было нечего. Я ждал и ждал, обеспокоенный. Француз вернулся к вечеру с узлом гражданской одежды под мышкой. Я оделся и последовал за хозяином. Мы вернулись в ресторанчик. Там было несколько посетителей. Меня посадили в углу, дали овощного супа и стакан вина. Все это пришлось очень кстати. Окружающие переговаривались, поглядывая на меня и жестикулируя. Наконец один из мужчин приблизился, коснулся моего плеча, произнес что-то, словно подбадривая, и, попрощавшись, я вышел вслед за ним на улицу. У моего спасителя был грузовичок с пустыми ящиками под брезентом, туда я и залез. Он пояснил, что нельзя шевелиться, и мы тронулись в путь. Ехали долго. Сколько времени? Не знаю, часов у меня не было. Мне показалось, что прошло много времени. Когда же машина остановилась, мы были за городом, на какой-то ферме, владельцы которой стали задавать вопросы. Я ничего не понял, но сообразил согнуть руку, показывая свою силу. Через несколько дней фермерша позвала меня и познакомила с вашей матерью — та приехала по просьбе хозяйки на велосипеде. Мне удалось поговорить по-русски, и это было счастье. Ваша матушка объяснила мне, что вокруг снуют немцы, наблюдая за фермами, и надо притворяться глухонемым. Я и впрямь видел нескольких фрицев, работая с хозяином в поле. Они что-то спрашивали, но я притворился, что ничего не слышу, и вслед им помычал, по-коровьи. С тех пор они не возвращались, а вот что мне теперь делать, ума не приложу».

«Вы сумеете вернуться в Россию...» — «Я бы не хотел. В нашей армии пленных приравнивают к предателям. А что оставалось делать, если тебя загнали, как крысу? В плен не сдашься по доброй воле, тем более, с советскими людьми немцы не церемонятся. Шансов нет. Я хотел бы остаться здесь, никакой работы не боюсь».

Это был первый из сотен советских солдат, увиденных мною на освобожденной земле. И у каждого мысль о возвращении домой вызывала ужас вместо счастья. Не знаю, что сталось с моим собеседником. Быть может, за первой удачей — встретить во Франции смелых и порядочных людей — последовала вторая, и сегодня он живет в какой-нибудь деревушке...

Я обещала мужу встретить Новый год вместе с ним, но из-за ухудшения метеоусловий вылет гражданским лицам запретили. Ежедневно по три раза я совершала набеги на парижское представительство авиалиний, зная, что англичанам нравится настойчивость. Мне отказывали, я возвращалась вновь. В день Святого Сильвестра мое упорство дало свои плоды — мне разрешили вылететь на военно-транспортной «Дакоте».

На этот раз прощание с матерью совсем не походило на драматическое расставание в 1941 году. Мы вновь жили в одном мире, и я знала, что скоро вернусь.

«Дакота», как и все военно-транспортные самолеты, была оборудована всего двумя узкими скамьями вдоль борта, но взлет и посадка превращали эти узкие сидения в подобие тобогганов, спортивных саней, вдоль которых пассажиры валились друг на друга. Мы приземлились в Лондоне в снежную бурю и позднее, чем предполагалось, но я все-таки успела переодеться перед приемом в Клубе союзников. Начинающийся год должен был стать годом Победы, неполной и спорной, но все же победы.

В обращении по радио Гитлер напрасно обещал своему народу и истерзанным солдатам немедленную победу Третьего Рейха; бомбовый дождь, падавший до зари на полуразрушенный Берлин, обличал его во лжи, лишая надежды. Несмотря на близкий исход, война продолжалась, а вскоре началась революция в Греции. Британцы, к большому неудовольствию Америки, не прореагировали быстро и жестко, а США хотели видеть Грецию «албанизированной», что не могло радовать греческий народ. В Югославии появился Тито, которого тоже поддерживали Соединенные Штаты, не забывшие, что рождением своей нации обязаны революции. Они не вполне годились на роль мирового лидера, но все же из принципа помогали любым «демократиям», пусть даже в диктаторской окраске. В Арденнах, несмотря на горячие разногласия между Монтгомери, Бредли и Паттоном, к середине января немцы были вынуждены сдаться, и в то же время Красная Армия усилила свои действия на западном направлении.

Мне было двенадцать лет в момент подписания Версальского договора, но я уже стала взрослой, когда начали ощущаться его плачевные результаты. Было нетрудно предположить, что после «самой последней» войны карта Европы будет похожа на плохо скроенное лоскутное одеяло, что появление новою Данцига, очага будущих разногласий, неизбежно. Границы, обсуждаемые за круглыми столами, в действительности никого не удовлетворят, ибо решение принимается с точки зрения сильнейшего, а вовсе не по разумным соображениям. Политика вообще редко оказывается в руках мудрых людей.

В Лондоне накануне перемен жизнь шла своим чередом. Бомбардировки прекратились — немцы выдохлись. Мы вновь могли спать в ночной тиши.

Картинки прошлого сменяют одна другую. Нас пригласили в посольство СССР на просмотр фильма о войне. На экране не было ни танков, ни самолетов, но мне довелось тогда увидеть один из первых документальных фильмов о массовых убийствах мирного населения. Рядом со мной сидел советник посольства Иван Чичаев, с которым нас связывали достаточно теплые отношения. Погас свет, замерцал экран, и в зале

воцарился ужас. Безжалостная кинокамера не щадила нас: безмолвно выли от безмерного горя женщины у могил с эксгумированными телами детей. Нет, эти женщины не еврейки. Украинки и русские, до которых тоже никому на свете не было дела. Крохотные полуразложившиеся тельца, вынутые из могил, куда их побросали без саванов, венков и цветов... Объектив следит за обезумевшей матерью, ее пальцы царапают землю, глаза страшны, рот раскрыт в крике... Казни, казни, партизаны, повешенные посреди деревни, расстрелянные на площади женщины... Чичаев наклонился ко мне и прошептал: «Смотрите хорошенько, вы тоже русская, и кровь вашего народа проливают враги. Смотрите, запоминайте, и пусть ненависть к немцам не покинет вас никогда!»

В зале зажегся свет, но увиденное не отпускает. Однако вопреки всему я сопротивляюсь теории вечной ненависти, которую пытается навязать мне Чичаев. Дипломаты молча поднимаются.

«Нет, Иван Андреевич, я постараюсь это забыть, как сумела забыть другие картины из моего прошлого, за которые, быть может, и вы лично в ответе. Вы, кажется, член партии с 1914 года. Вы и ваши товарищи убивали моих близких без суда и следствия, убили царя, царицу и их детей. А в одиннадцать лет на украинской границе я видела, как комиссары вытащили из толпы двух мальчиков лет тринадцати-четырнадцати и расстреляли, в то время как мы спасались бегством... И не было киноаппарата, чтобы запечатлеть тела замученных в ЧК. Я знаю, белые тоже не были ангелами, но вы первыми объявили террор официальной государственной политикой. Теперь мы сидим рядом и беседуем, как добрые приятели. Думаю, надо уметь забывать и даже прощать, иначе сведению счетов не будет конца».

Чичаев ничего мне не ответил. Безусловно, он лучше меня знал, что террор никогда не прекращался в стране, где уже не было ни белой армии, ни мирных аристократов. А может быть, думал о том, что и сам не гарантирован от опасности, которая поджидает его дома, когда он вернется в СССР. Нам не пришлось больше говорить на эту тему, ибо с наступлением мира не суждено было встретиться еще раз.

ГЛАВА II

В апреле 1945 года все знали, что все кончено и гитлеровская Германия доживает последние дни. Будущее, так долго казавшееся несбыточным, вдруг стало настоящим. Но проблем по-прежнему хватало. Что нам делать после заключения мира? Святославу хотелось остаться в Англии с графом Обером, который стал послом, но его здоровье требовало лучшего климата и более калорийного, чем могла предоставить даже победившая Великобритания, питания. Он попросил назначения в Швейцарию и стал атташе посольства Бельгии в Берне.

Багаж — четыре чемодана — мы сложили очень быстро. Но Лондон, где оставались друзья и незабываемые встречи, мы покидали не без душевного трепета. По какому-то нелепому, как большинство административных мер, распоряжению каждый из нас мог взять не более десяти фунтов. А поскольку на столь мизерную сумму невозможно было ни доехать до Швейцарии, ни прожить в Брюсселе две-три недели, этот запрет оказался, в сущности, прямым призывом к незаконным действиям. Иными словами, к «компенсации», которой, в силу обстоятельств, пользовались все.

Тридцатого апреля очередная «Дакота» перенесла нас на бельгийскую землю. Брюссель, на первый взгляд, поразительно мало изменился, но атмосфера была совсем другой. Полным ходом шла охота на коллаборационистов.

Там, как и во Франции, в русской колонии были коллаборационисты и партизаны, палачи и жертвы. Участников Сопротивления депортировали в лагерь Брендок, а сбежавшие оттуда избегали рассказов о пережитом. Генерала Куссонского, старика, забили до смерти за утверждение, что Германии суждено проиграть войну. Несомненно, благодаря положению мужа я имела возможность помочь некоторым своим соотечественникам, находившимся в заключении из-за расхождения во взглядах с официальной точкой зрения, а иногда брошенных в тюрьму по доносу тех, кто недавно сам выдавал немцам участников Сопротивления. В Управлении национальной безопасности я встретила несколько знакомых чиновников, у которых до войны добивалась виз для бывших офицеров армии Врангеля, обосновавшихся на Балканах, и позднее для евреев, бежавших из Германии.

— Мадам, дорогая, как мы рады были узнать, что вы с мужем в Лондоне, вне опасности, — сказал мне господин Нотомб. — Фюрер русской колонии Войцеховский искал вас с особой яростью и, думаю, останься вы здесь, сегодня вам не пришлось бы наслаждаться весенним воздухом.

Войцеховского я никогда в жизни не видела, но ведь существует и необъяснимая ненависть, которую может внушить людям человек, даже не подозревающий об их существовании. Войцеховского расстреляли его же приспешники, несомненно для того, чтобы он не выдал своих тайных помощников. Вместе с ним погиб, к моему огромному удивлению, Лавров, маленький язвительный интеллектуал, с которым мы встречались в Конго в 1927 году. Что приковало к проклятой галере человека, никогда не имевшего антикоммунистических настроений? Более счастливой оказалась судьба ловкого балтийского барона, работавшего переводчиком в гестапо, но избежавшего наказания, ибо он, едва колесо фортуны повернулось, стал доставлять сведения разведке союзников.

Действительно, в этой войне было нечто, напоминавшее войну гражданскую. Конфликты носили не только межнациональный, но и идеологический характер. Чистая случайность привела к общей победе капитализм, демократию и коммунизм, сражавшихся вместе, — но этот исторический парадокс лишь разжигал послевоенные страсти.

Больше всего меня поразили, впрочем, не удивив, патриотические настроения большинства эмигрантов: победу СССР они воспринимали как победу русских и не уставали об этом заявлять. В чем-то они были, конечно, правы. Ведь победу одержал не сталинский режим, а русский народ. Достаточно почитать прозу и стихи советских писателей-фронтовиков, чтобы понять: солдаты защищали Россию, родную землю, единство русского народа.

В одном из стихотворений Константин Симонов пишет:

> «Как будто за каждою русской околицей,
> крестом своих рук ограждая живых,
> всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
> за в Бога не верящих внуков своих».

Подобно поэту, каждый эмигрант был счастлив, забыв прошлое, борьбу, страдания и страшное бегство, «...горд был за самую милую, за горькую землю, где... родился». Имена Суворова, Кутузова и даже святого Александра Невского были извлечены коммунистами из забвенья и предложены бойцам для примера.

В книге «Безумная Клио» я уже высказала свое отношение к нападению Германии на СССР. Я желала победы русскому народу, пусть и находившемуся под игом коммунизма, но не воодушевлялась ею в послевоенный период. Сталин и его режим никуда не исчезли. Победа над внешним врагом не принесла русским свободы. Я понимала, как велик соблазн у моих соотечественников несмотря ни на что поверить в скорые перемены в России и мечтать о возвращении. Во Франции и в Швейцарии этот порыв был очень силен. Мой кузен Михаил Волконский, первый секретарь югославского посольства в Париже, тоже поддался искушению. Тем более, что ему предлагали работать над исследованием о декабристах, в заговоре которых один из его предков играл видную роль. Местом работы кузена стал не архив, а концлагерь.

Общий порыв коснулся и Ивана Бунина, но он устоял. Не остались равнодушными моя мать и еще ряд знакомых, уставших жить на чужбине.

Надо полагать, что представители СССР на Западе не могли не иметь точных инструкций, имеющих целью «направить на путь истинный» блудных детей великой России. Двери советских консульств были широко распахнуты, сотрудники приветливы. Эмиграция представляла собой известное унижение для режима, само ее существование было ядром постоянной оппозиции, не говоря уже о том, что, по словам одного советского чиновника, «эмиграция увлекла в изгнание некий важный смысл... массовый исход вырвал звено из истории страны». С другой стороны, поскольку общая победа сблизила СССР со странами Запада, советскому правительству требовалось все больше людей, хорошо знакомых с западным образом жизни, владеющих иностранными языками и знанием европейской цивилизации. Власти ничем не рисковали: покорные могли стать полезными, а что до остальных, то было столько способов заставить их замолчать!

«Умереть в России!» — вздыхала моя мать. «Да, но ты умерла бы там до срока», — парировала я.

Будущее доказало мою правоту. Честные люди, мучимые ностальгией, обретая потерянную родину, отправлялись в лагеря. Я знаю одного русского, участника Сопротивления, — он отсидел шесть лет. Но рядом с чистыми душами было немало других — тех, кто успешно сотрудничал с фашистами, избежал суда и тюрем у союзников и бросился в консульства СССР за гарантированной защитой советского правительства. Крайним проявлением такого приспособленчества стала история одного русского эмигранта, которого я знала с детства, бывшего ученика Императорского лицея. Позднее он был в Париже журналистом, не бесталанным, но абсолютно беспринципным. Будучи франк-масоном, он работал в парижской русскоязычной газете. Едва немцы оккупировали Францию и начали косо посматривать на франк-масонов, Л. предпочел договориться с ними. После победы союзников Л. получил советское гражданство и пользуется теперь привилегиями в Москве.

И все же многие эмигранты, не возвращаясь на Родину-мать, работали в различных советских бюро, торговых или культурных представительствах, где на практике не могли не ощутить, что не следует выходить за пределы временного и ограниченного сотрудничества с коммунистическим режимом. Надежды на изменения в СССР быстро иссякли, и все они предпочли вернуться к неопределенности своего положения — к свободе людей без родины.

Существовала еще одна категория эмигрантов, гораздо более хитрых, которых можно было упрекнуть в экономическом сотрудничестве с оккупантами. Накопив денег, они вовремя сбежали в Соединенные Штаты, где стали жить гораздо лучше, чем те, кто остался верен Европе.

Сразу по приезде я отправилась в меблированную квартиру на авеню Луиз, которую мы снимали в 1939-м. Я надеялась, не очень, впрочем, веря, что найду брошенные там вещи. Дверь открыла какая-то женщина.

Я спросила о владелице дома, англичанке, которая жила в прежние времена этажом выше.

«Расстреляна», — с тайным удовольствием ответила незнакомка. И желчно добавила: «Так ей и надо. Она только и знала, что вмешиваться в дела, которые ее не касались!»

Я разгневалась и принялась ей угрожать за престранную эпитафию участнице Сопротивления. Женщина испугалась и принесла ключи: чемоданы были на месте, но совершенно пустые, до последней булавки. Пришлось предпринять расследование на месте.

Нет, нас обокрали не немцы. Они довольствовались, как и их коллеги в Париже в 1940-м, когда у меня были неприятности с Гестапо, моими рукописями, но не удосужились запереть ни дверь, ни сундук, и добрые соседи опустошили квартиру, предчувствуя или надеясь, что мы не вернемся.

Пришлось примириться с мыслью о том, что, кроме спрятанных в надежном месте книг, у нас остались только вещи, привезенные из Лондона. Белье, шуба, столовое серебро — все было украдено!

«Сделайте, как все, потребуйте возмещения убытков», — посоветовали друзья и рассказали, с какой легкостью предприимчивые люди возмещали потерянное. «Вы слышали, наверное, про такого-то? Ну так вот, он заявил, что при аресте у него изъяли 400 000 франков (весьма приличную по тем временам сумму). Он сумел представить двух свидетелей и несомненно получит то, что, возможно, и в самом деле потерял».

Через какое-то время, слегка обезумев от обилия бумаг, которые следовало заполнить, мы попытались подсчитать потери. Шуба была сильно поношена, белье — тоже не очень новое, а сколько могло стоить столовое серебро? Через несколько лет мы получили ответ от властей и рассмеялись: обозначенная сумма, видимо, оказалась слишком скромной и поэтому не могла быть принята во внимание. Тем мы и утешились.

Настал день отъезда в изобильную Швейцарию. Для проезда в Париж на поезде необходимо было получить командировочное удостоверение. О счастье! Спальный вагон, пусть потрепанный, но былой роскошью напоминавший о Валери Ларбо и Поле Моране, о Европе галантной и международной! Для первого за много лет мирного путешествия было припасено шампанское. Поезд двигался медленно. Лишь наутро мы прибыли на парижский Северный вокзал, где еще царил беспорядок. Для размещения в «Бристоле» требовалось быть официальным лицом. Празднуя возвращение, мы, кроме моей матери, пригласили на завтрак наших друзей, графа и графиню де Панж, маркиза Ластейри, господина Луи Шейвена, бельгийского посланника, его прелестную жену и первого секретаря посольства. По счастливой случайности, день дружеской встречи пришелся на восьмое мая, когда официально праздновали перемирие. На столе были розы, в сердцах — радость, а Париж просыпался от дурного сна. Воцарился мир. Шофер такси, в котором мы

в тот вечер ехали на Лионский вокзал, принял участие в общем торжестве, машина виляла, а он извинялся: «Ведь не каждый же день кончается война, правда?»

И вот Швейцария, волшебный остров благоденствия. Сначала расцветшая весенняя Женева — город, чей ритм так отличался от привычной для нас жизни, что казался замедленной киносъемкой. Все вокруг требовало не только знакомства, но и трат: плохо одетые чужаки, мы хотели выглядеть порядочными, чтобы войти в мир покоя и благополучия.

Через несколько дней в гостинице на берегу озера Леман я проснулась от грохота пушек. О небо! Все с начала! Неужели несгибаемая Германия напала на этот раз на Швейцарию? Я бросилась к окну; все было спокойно. Мы позвонили администратору и с облегчением узнали, что страна с некоторым опозданием праздновала конец войны.

Перед тем, как приступить к выполнению своих обязанностей, Святослав должен был полечиться в Монтане. Я осталась в Женеве. Ничего не делала, просто жила. Вокруг ежемесячного журнала Алабера Скира «Лабиринт» группировались парижские швейцарцы: Пьер и Пьеретта Куртьон, Шарль-Альбер Сингриа и Джакометти, с которым мы гуляли по ночному городу. Здесь же — Пьер де Лескюр и Селия Бертен. Я вновь взялась за перо. Первая статья для «Лабиринта», посвященная американской литературе, появилась пятнадцатого мая 1945-го. В пригородном поезде, стараясь не улыбаться, я выслушала трогательное предложение швейцарца, узнавшего, что «мадам из Лондона», проводить меня до маленькой приграничной деревушки, в которой американская бомба разрушила два дома. Нельзя представить себе, до какой степени поражали меня покой и порядок. Я жила как под анестезией, но в состоянии постоянного восторга. Каким чудом чемоданы, которые я по вечной рассеянности забыла на перроне, отправляясь на фуникулере к мужу в Монтану, в тот же вечер догнали меня в гостинице, хотя на них и не было никакого адреса?

В Монтане, на Кран-сюр-Сьер, лечатся и развлекаются. Беженцев по-прежнему много: поляков и евреев, немцев и французов. Самый популярный ночной клуб называется, если не ошибаюсь, «Труа Чикос». Душа его — немец Леви. Из его репертуара я почерпнула следующую историю: встречаются в Монтане два еврея. «Слушай, сколько на свете евреев?» — «Не знаю, миллионов десять». — «А китайцев сколько, не знаешь?» — «Никто их никогда не считал. Миллионов пятьсот, наверное, или больше...» Тогда первый задумчиво бормочет: «Знаешь, в Монтане ужасно мало китайцев!»

Наш друг, конечно же, преувеличивал. В микромире Монтаны можно было встретить все нации, все расы. Старые и новые беженцы, военные и участники Сопротивления жили в санаториях, а вокруг — толпа тех, кого не коснулись страшные события последних лет, кому не надо было возмещать убытки, лишь только тратить, как графу и графине из Барселоны и их друзьям, богатейшим Ван Зюйленам, и

другим. Все, включая больных туберкулезом, встречались по вечерам в клубе.

Были там и американцы. Солдаты и офицеры в военной форме, так нуждавшиеся в отдыхе. Учитывая высокую покупательную способность доллара и желая уменьшить спекуляцию, военные власти ограничивали суммы денег, которые отпускники могли провозить в этот край обетованный. Однажды в деревенском кабачке мы слышали тихий серьезный разговор двух офицеров-американцев, решавших, могут ли они заказать еще бутылку вина. Представилась редкая для европейцев возможность оказать услугу могущественным союзникам. Муж предложил оплатить счет, чем крайне их смутил: «Не думайте, что у нас нет денег, это все проклятые правила». — «Нам это приятно», — заверил Святослав. В конце концов офицеры согласились принять от нас это скромное пожертвование в долг. Полковник долго сокрушался: «Но когда и как я сумею вернуть вам деньги?»

«Как знать? Быть может, очень скоро, я собираюсь в Германию», — засмеялась я.

«Я не уверен, мадам, но буду счастлив увидеться вновь». Полковник оставил мне адрес. Его танковая часть стояла в Мангейме. Действительно, к его большому удивлению, мы снова встретились.

Климат Монтаны совершил чудо. Три месяца спустя анализы показали отсутствие у Святослава палочек Коха, и мы смогли уехать в Берн. В гостинице «Бельвю Палас» — мирное столпотворение. Различные представительства и комиссии оккупировали все комнаты и номера, не оставив туристам ни малейшего шанса. Долговязые американцы соседствовали с коренастыми русскими. Джипы стояли на перекрестках тихих улиц старого города, а казавшиеся новыми площади с памятниками словно вышли из книжек сказок. Праздник следовал за праздником, обильные трапезы запивали эгльским вином, в барах и кафе в любую минуту можно было получить все, что душе угодно; витрины искрились драгоценностями, а часы повсюду назойливо попадались на глаза. На витринах книжных магазинов множество красивых книг на всех языках, а продающейся обуви хватит не только для всех европейцев, но и для всех индийцев. Нет ни одного дома без стекол или с трещинами в стенах.

Святослав приступил к выполнению своих обязанностей, но в этом изобилии мне чего-то не хватает. Я не могу приноровиться к мирной обыденной жизни. Рядом со швейцарским раем существует другой мир, мир растерзанных стран, руин и неразрешимых проблем, касающихся всех нас. Покой и тишина меня убивают. Я сгораю от нетерпения вернуться к своей работе, к журналистике. Думаю, что, оставаясь в тени, рискую потерять прекрасную возможность знакомиться с людьми, их заботами, с жизнью вообще.

Конечно, невоевавшая Швейцария не осталась совсем в стороне от общих проблем. Она тоже приступила к чисткам. С 1930 по 1945 год, согласно докладу, представленному пятого июня 1945 года в Национальный Совет, организации иностранцев и швейцарцы, замешанные в заговорах против собственного государства, были очень активны; без огромных усилий по обеспечению защиты своих границ Швейцарию

постигла бы участь Бельгии. «Если бы немцы попытались нас покорить, — говорил один высокопоставленный офицер, — горы обрушились бы».

Я видела, как немолодые швейцарцы, по традиции славные стрелки, — в этом никто со времен Вильгельма Телля не сомневался — маршировали по воскресеньям с ружьями через плечо. То была армия профессионалов без казарм, то есть ополченцев, решивших не терять навыков. Штрассер организовал в феврале 1932 года «Швейцарскую группу» с целью, ни больше ни меньше, помочь Великой Германии принять в свое лоно немецкую Швейцарию. В 1935 году при помощи немецких студентов, остававшихся в стране и создавших культуртрегерскую политическую организацию, началась слежка за немецкими эмигрантами. Другие организации, под прикрытием спортивных праздников, занимались военными упражнениями, включая метание гранат.

Часть швейцарцев участвовала в пронацистском движении и даже основала ряд организаций, таких как «Национальный Фронт» в 1933-м. В Женеве тогда появился боевой отряд «Национальный Союз», а в кантоне Во местный Дегрель, полковник в отставке Фонжайяз, сформировал фашистскую организацию. Бывший инструктор швейцарской армии, он в основном занимался военным шпионажем. В 1941 году его приговорили к трем годам лишения свободы, но у его газеты «Ационе Фасиста» было всего пять сотен читателей.

Всю войну письма, листовки, открытки, пластинки, фильмы, газеты и журналы, особенно знаменитый «Сигнал», столь популярный в оккупированных странах, проповедовали идею Новой Европы, совсем не похожей на ту, какую мы желаем видеть сегодня.

Несомненно, чистки в Швейцарии не носили, как в воевавших странах, массового кровавого характера.

Потом появились новые проблемы: Швейцария, всемирный, так сказать, сейф, не была готова, как, впрочем, и теперь, приоткрыть свои профессиональные тайны. Один швейцарский банкир говаривал мужу, что ему легче покончить с собой, чем открыть имя клиента с особым счетом. А союзники, особенно американцы, прилагали немало усилий для установления здесь контроля ООН над всей государственной и частной немецкой собственностью. Согласно служебным данным, эти авуары составляли не менее миллиарда швейцарских франков. Значительная сумма, еще более важные принципы, особенно учитывая вклады евреев и коллаборационистов, а позднее — секретные счета ФЛН или советского правительства. Интересно было узнать о бесполезных усилиях Третьего рейха по включению еще одной страны в свою империю, следить за спорами вокруг «проклятых вкладов», но все это не отражалось на повседневной жизни. Жизнь вообще часто дает примеры, далекие от требований, изложенных в дипломатических нотах. В Швейцарии, как это всегда бывает на обочинах истории, разыгрывалось немало трагедий и трагикомедий.

Начнем с трагикомедии, или, скорее, анекдота. Однажды несколько поляков, интернированных в различные швейцарские лагеря, встретились в поезде, который вез их в неизвестном направлении. Познакомившись,

они выяснили, что все примерно одного возраста, тридцатилетние, и зовут всех одинаково — Янами.

Поезд остановился, молодых людей повели на проверку для установления личности. Какая-то девушка указала на одного из них и произнесла: «Вот он». Понятно, что речь шла о любовной истории. Как и везде, поляки разбили много сердец в Швейцарии. Гнусный соблазнитель Ян обвинялся в совращении несовершеннолетней девицы и ничего не отрицал. «Да, я признаю себя виновным, но готов исправить содеянное и немедленно жениться на своей жертве». Он говорил так горячо, что даже судья счел необходимым напомнить, что жертва — по свидетельству очевидцев — не могла похвастаться безупречным поведением, и Ян не был единственным мужчиной в ее жизни. «Неважно, господа, я готов стать отцом ребенка». Присутствующие не могли не отдать должного его благородному поведению. Парня поздравляли. Но Ян сбежал на обратном пути и больше не вернулся.

А в трагических историях не до смеха. Одна из наших русских приятельниц, уроженка Берна, получившая после революции гражданство — раз получив гражданство, сохраняешь его на всю жизнь, — работала во время войны в комитете по цензуре. Потом стала переводчицей, ибо число интернированных советских солдат росло, несмотря на перемирие.

Однажды военные власти послали мадам В. С. в один из военных лагерей для интернированных азиатов. Ее сопровождали, несмотря на протесты, несколько вооруженных солдат. «Нельзя оставаться наедине с этими дикарями». Наконец прибыли на место. «Мы отдаем себе отчет в опасности и не оставим вас, мадам, ни на секунду. Уже несколько дней пленные возбуждены. Начальник лагеря попросил усилить меры безопасности. Подумайте! Они убили двух своих товарищей, трудно представить, что там может произойти. Со вчерашнего дня пленные роют траншеи!»

Мадам В. С. решила, что вооруженные охранники могут взбесить и без того разгневанную толпу и попросила их следовать за ней на расстоянии. «Хорошо, мы будем держаться поодаль, не теряя вас из виду. На ваш страх и риск...»

Ничего страшного не произошло. При виде тоненькой молодой брюнетки, к тому же говорившей по-русски, солдаты подошли ближе, с энтузиазмом приветствуя ее.

«Что вы там натворили! Зачем вы убили своих товарищей?»

«Товарищей? Это не товарищи, а сволочи, агитаторы, «стукачи»! Они заставляют нас вернуться в СССР, это взбесившиеся собаки, свиньи, которые не заслужили иной участи, поделом мы им глотки перерезали!»

В лагере творилось что-то невероятное. Вдоль и поперек были выкопаны траншеи.

«А это зачем?»

Очень спокойно пленники объяснили ей, что, прослышав о требовании СССР вернуть их и о согласии швейцарского правительства, они единогласно, за исключением тех двоих, решили покончить жизнь само-

убийством и принялись копать себе могилы, избавив швейцарцев от этого труда.

Что могли понять жители этой рассудочной размеренной страны в «иноязычном» хаосе, где правили свой бал насилие и страх и где, тем не менее, сохранялось стыдливое нежелание обременять дополнительной работой тех, кто их выдавал?

Договоренности добиться все-таки удалось, равно как и избежать коллективных самоубийств. Единичные самоубийства при передаче интернированных властям не в счет, этот случай стал первым в длинной череде им подобных, потому что страны, называющие себя свободными, не желали портить отношений с одной из держав-победительниц.

Безделье в сонном благоденствии Берна тяготило, я искала связи с другой — трагической действительностью. Новый мир только возрождался, и я хотела присутствовать у его истоков. До Германии — рукой подать, но для получения пропуска через границу следовало проехать до Брюсселя и найти газету, нуждавшуюся в специальном корреспонденте.

И вот я сижу напротив главного редактора новой газеты «Котидьен». Он леопольдист, я — нет: Принц Чарльз, регент королевства, как мне кажется, заслуживает страны и династии. Не будучи принципиальной монархисткой, я считаю монархию благотворной для Бельгии, для ее национального единства, которое всегда под угрозой. Мое предложение принято благосклонно. Остается выбрать псевдоним. Муж не хочет, чтобы я занималась литературой под его именем, потому что знает о моем правдолюбии, а он служит в МИДе. Девичья фамилия — тоже неправильное решение, слишком сложна и заметна. Я буду встречаться с советскими функционерами, а им может показаться подозрительной фамилия Шаховская.

«Возьмите мужской псевдоним, — советует главный редактор. — Вы будете освещать Нюрнбергский процесс, и для читателей это будет весомее».

Пусть так, стану для доброго дела мужчиной. Примеряю, как перчатки, разные имена — ироничные, милые, нейтральные. Никто не знает, как трудно выбрать псевдоним! Выход из затруднительного положения подсказал молодой поэт Жан Тордер, редактор «Котидьен»: «Я пишу роман, его герой — Жак Круазе — симпатяга. Почему Круазе? На мундирах Экспедиционного Корпуса нашивки с эмблемой крестового похода».

Я стала Жаком Круазе на долгие годы и подписывала этим именем не только статьи, но и первые романы. Мне оставалось, вооружившись удостоверением прессы, получить во французском посольстве в Берне разрешение на проезд в Германию.

Шло лето 1945 года, уже два месяца царил мир, но статус военного корреспондента продолжал сохраняться. Я обзавелась формой. Мне нравилось, что ее пестрота соответствовала моему тогдашнему образу жизни, американская юбка из прекрасного оливкового драпа, французская

белая блузка, на британском кителе приколот бельгийский орден. Недоставало лишь красной звезды на берет для оправдания аккредитации «корреспондента объединенных войск», слова эти по-английски нашивались вместо погон. Я расстроена тем, что придется оставить Святослава, нашедшего успокоение в своей работе, а он расстроен моим отъездом, но хорошо знает, что скучающая женщина быстро становится несносной, а я к тому же ненавижу светскую болтовню!

Граница, через которую я вновь переправляюсь в мир хаоса, рядом, но никто в точности не знает, что за ней происходит. Оставшиеся в силе глупые запреты и валютные ограничения поневоле делают из любого путешественника контрабандиста. Нельзя же месяцами питаться воздухом, к чему нас вынуждает урезанная до абсурда сумма денег, которую можно провезти.

ГЛАВА III

Мое командировочное удостоверение с трехцветной полосой предписывает мне отбыть в Баден через Леррах. Я — официально аккредитованный корреспондент при ставке генерала Кенига, командующего французской оккупационной зоной. Как добраться до Лерраха? И дальше? Никто не знает. До приграничного Базеля доехать несложно. Там дожидаюсь багажа, так как флегматичный носильщик опоздал с чемоданом к отправлению поезда. Из Базеля за несколько минут на такси добираюсь до Лерраха, где томятся от безделья в отсутствии пассажиров и чемоданов швейцарские таможенники. Пешком прохожу «мертвую зону». С другой стороны меня встречают французские солдаты и немецкие пограничники. Я прибыла в опустошенную страну, где даже людям состоятельным трудно обеспечить себя, а малейший предмет из маленькой, но райски богатой соседки: чулки, сигареты, кофе — стоит целое состояние. Из уважения к форме меня не досматривают, с другой стороны, я никогда бы не стала наживаться на нищете других.

«Так вы журналистка, мадам, — улыбается солдат, — не угодно ли взять у меня интервью?» «Пожалуйста», — я достаю блокнот.

«Расскажите своим читателям, что мне здесь до смерти надоело и я хотел бы скорей демобилизоваться». Сделав заявление для прессы, он ретируется вместе с товарищами на поиски автомобиля, который доставил бы меня к коменданту. Мы успеваем еще немного поболтать в пути. Эти солдаты не испытывают ни малейшей гордости от оккупации вражеской земли, у них нет желания мстить. Как и прочие оккупанты, которых мне приходилось видеть, они явно скучают.

Высокомерие я почувствую скорее среди побежденных. Леррах, как и некоторые другие города, особенно во французской зоне, не был разрушен. Дома целы, а по охранявшимся улицам ходят хмурые жители. В городе много женщин, стариков и детей. Проходишь рядом — они не замечают, словно не видят, но иногда твой взгляд встречается с их взглядом затравленных, ненавидящих тебя пленных животных, и становится неловко. Так смотрят на меня молодая женщина и молодой калека на деревянной ноге (уцелевший после какой битвы?). Он пострадал понапрасну и знает об этом. По центральной площади гуляют марокканцы, а в бывших домах буржуа, с большими печами с красивыми изразцами, французская армия барахтается в ворохе бумаг — пропуска, предписания на жительство, свидетельства о реквизиции... На первый взгляд, оккупация оставляет впечатление огромной бюрократии.

Туристу, очутись он в Германии летом 1945 года, суждено было умереть от голода и спать под открытым небом. Все рестораны и гостиницы закрыты. Роль Провидения взяла на себя армия. Мое положение соответствует чину капитана французской армии, майора американской и позволяет пользоваться офицерскими столовыми. Коменданту предстоит расквартировать меня, военным властям — содействовать в дальнейшем передвижении (на единственном средстве транспорта, армейских автомобилях). Шикарные «мерседесы», джипы и грузовики, благодаря его величеству случаю, отвезут меня, куда пожелаю, но всегда — окольным путем. До самого Бадена так и придется ехать зигзагами.

Первую ночь я провела в квартире местных жителей. Комната чистая и светлая; на стене фотография маршала Гинденбурга. Портрет его визави снят, на выцветших обоях — более темный прямоугольник.

За ужином в компании офицеров, где меня прекрасно встречают, выясняется, что полковник пехоты, весельчак в орденах и с красной физиономией, отправляется завтра во Фрайбург-ан-Брисгау. На первый раз повезло, направление почти правильное.

Мы выехали рано утром самой длинной дорогой, выбирая объездные пути, но они так же, как и главная дорога, были загромождены по обочинам автомобильной техникой, иногда сожженной, попавшей в аварии, «раздетой» мародерами. Автопарк во французской зоне очень беден, весь транспорт в отвратительном состоянии, поэтому со сваленных в придорожные канавы автомобилей снимают все. Автомобильное кладбище делает придорожный пейзаж зловещим.

«Французам повезло, — расскажут мне позднее британские военные, — они получили при дележе самые плодородные земли, зерно, овощи и скот». И впрямь, за автомобильными скелетами просматриваются тучные нивы.

Сельскую дорогу полковник выбрал в надежде пополнить запасы вина офицерской столовой. Говорю «купить», а не «конфисковать». Ему подсказали адрес фермы. Вот она или другая, похожая.

Нас встречают почтительно, но с опаской две женщины, потом к ним присоединяется фермер, которого они позвали. Он поднимает руки к небу.

«Вина? Но ваш интендант отобрал у нас все!» Полковник разуверяет его на немецком, еще более скудном, чем мой. Никаких интендантов. Он приехал как частное лицо. Простой покупатель, зная о высоких качествах местного вина, хочет приобрести бутылку-другую. И вот одна на столе, потом вторая, мы дегустируем, оценивая букет, как и положено, говоря комплименты. Атмосфера становится более сердечной.

«О, да! у меня было винцо, и неплохое!» Фермер сохраняет полужалобную, полувозмущенную интонацию. «У меня работали пленные, поляки. И как только начались события — он не говорит поражение, — вы знаете этих людей, они принялись пить мое вино день за днем...» Я не удержалась и заметила, что эти мужчины были не простыми рабочими, а солдатами, для которых выпить за свое освобождение дело святое. «Вы ведь не будете спорить, что они оказались здесь не по доброй воле!»

На лице хозяина отразились удивление и осуждение. Простить беспорядок? Его наивность даже обезоруживает. Он не видит связи между пленом и воровством. И возмущен отсутствием благодарности у пленных.

Везде та же картина. «Нацизм? Мы мало об этом слышали. Никто из наших мест не был за Гитлера. Никаких СС не знаем...» Несправедливая судьба ожесточилась против немцев, на страну сыпятся неведомые и незаслуженные беды. Позднее от другого фермера я услыхала ностальгический рассказ о Бельгии. «Я был там два года, с 1914 по 1916. Что за чудное времечко!» И объяснить ему, что за немецкими победами последовала победа над Германией, было невозможно.

Атмосфера за столом улучшилась. Полковник дипломатично следовал к своей цели. Вино прекрасное, мы пробовали уже третий сорт. Поляки выпили далеко не все. Расслабившись, я начинаю ощущать, что прекрасно говорю по-немецки. Курим швейцарские сигареты, и наконец из рук в руки переходят оккупационные марки, шофер помогает фермеру отнести в машину три ящика.

Я не очень тороплюсь в Баден, на службу. Наоборот, предпочитаю медленную, с внезапными приключениями дорогу. Желая лучше понять, что происходит, надо быть внимательным к маленьким происшествиям, к случайным встречам. Я была в оккупированной немцами Франции, а теперь вижу оккупированную Германию. Как и у солдат, у меня нет чувства мести, но я хочу понять, что ускользнуло от меня в этой великой и могущественной стране, которую так плохо знаю. В стране порядка, растворившегося в хаосе, в столь значительной части Европы, пренебрегшей истинно европейским духом.

И вот Фрайбург-ан-Брисгау. Относительно целыми здесь остались кафедральный собор и здание ратуши. А вокруг — руины некогда живописных старых домов, на стенах которых можно прочесть даты построек: 1618—1668; 1677—1698. На одном великолепном фасаде пожарного депо вижу балконы с башенками, фрески, рыцарей, латы, но дальше опять... руины, руины, руины... тем более впечатляющие, что я еще не добралась до Берлина, до Мюнхена, до Мангейма. Груды камня, щебня, кирпичей, железных балок. Они еще не расчищены, чтобы извлечь из-под развалин тела погибших, и повсюду в трагическом беспорядке — маленькие деревянные кресты: «Здесь покоятся дорогие жена и мама»; «Любимое дитя», 27.11.44...

В воздухе разносятся грустные аккорды органа, которые ведут меня к почти не поврежденному собору. Прекрасные кирпично-лиловые стены, но витражей уже нет. Статуи святых вновь заняли свои ниши, и несколько химер, символизирующих грехи наши, остаются на привычных местах. Вхожу в бледно-розовый неф. Перед раскрашенным деревянным алтарем верующих мало, но несколько мальчишек в коротких штанах, вчерашних гитлерюгендовцев, взбираются по лесенкам, ставят на место предусмотрительно снятые цветные стекла. Подумали ли о том же самом французские подростки у себя дома?

Обедаю в отеле «Бэрен», где едят все проезжающие военные, потом устраиваюсь там на ночлег в ожидании попутной машины. Солдат и офицеров возрожденной французской армии можно разделить на три категории. Для развлечения пытаюсь угадать, к какой из них относится мой случайный собеседник. Французов из Северной Африки от представителей метрополии отличает не только средиземноморский акцент, но и темперамент, энергия, воинственность, наконец. «Возвращающиеся издалека» африканцы, кажется, яснее понимают свое новое положение на родине и выказывают меньше патриотизма, подогретого долгой оккупацией и унижениями, патриотизма, переполняющего остальных солдат, особенно парижан.

А французы из метрополии, даже самые молодые, изнемогают от усталости и безразличия, усилившихся за годы оккупации. Самую причудливую, но далеко не самую спокойную группировку представляют люди из ФФИ[1] и ФТП[2], рассредоточенные в разных регулярных частях, дабы несколько пресечь их анархистские замашки. Многие с трудом отвыкают от партизанских привычек. Дисциплина кажется им недостойной прошлых заслуг. Кадровые офицеры, как правило, с недоверием поглядывают на вольных стрелков, чьи нашивки времен партизанской войны (доказательство их личной храбрости и инициативы) не гарантируют, однако, военных знаний и умения соблюдать нормы общественного поведения. Классовая борьба и политические разногласия делают атмосферу в этой новой армии весьма примечательный. За столом в отеле «Бэрен» я услышала от сотрапезника, выпускника сен-сирской школы, актуальный анекдот, которым он пытался извиниться за развязное поведение одного лейтенанта. Лейтенант подошел к столу, попросил огня, забрал мою зажигалку, отошел к бару и забыл вернуть. «В купе поезда две старых дамы с умилением рассматривают попутчика, молодого элегантного епископа. Наконец одна, не выдержав, восклицает: «О, монсеньер! Вы так молоды и уже епископ! Как, должно быть, вы добродетельны!» «Ничего подобного, мадам, я епископ ФФИ», — парирует тот резко, но со смирением.

Надо чем-нибудь занять день. В сопровождении рядового, ожидающего демобилизации, чтобы поступить в Политехнический институт, отправляюсь на соревнования по плаванию в Первую армию. Финал. Вижу элегантный профиль генерала Линареса на офицерской трибуне. Фрайбург — вотчина генерала Шварца, военного коменданта округа Бад, но здесь, как повсюду в Германии, военные комендатуры имеют множество гражданских сотрудников. Война выиграна, участников войны постепенно отправляют во Францию и заменяют новобранцами. Смена власти не всегда проходит гладко.

---

[1] ФФИ (FFI — Forces Francaises de l'Intérieur — *франц.*) — Французские силы внутреннего Сопротивления. (*Прим. перев.*).

[2] ФТП (FTP — Francs-Tireurs et Partisans — *франц.*) — «военные стрелки» и партизаны. (*Прим. перев.*).

Бедность Франции чувствуется во всем и повсюду. Казарма для солдат — жалкое зрелище, поэтому военные предпочитают бродить без дела в городе. В конце концов захожу в кафе отведать скверного пива. Рядом сидит молоденькая немка, ест картошку с помидорами. «Здесь и есть-то нечего, — сердито бормочет она, — жаль, что я не попала к американцам». Напоминаю ей, что французы долгое время довольствовались похлебкой из брюквы. «Какая связь?» — пожимает она плечами.

Желая проверить ее реакцию, вскользь замечаю, что, возможно, скоро французов сменят русские, и слышу вопли ужаса, обещание бегства и даже самоубийства. «Тогда зачем корить французов?» «Они такие же нищие, как и мы», — незамедлительно слышу в ответ.

Через два дня сижу в семь утра на армейской заправке — других, разумеется, нет — в ожидании попутки до Оффенбурга. Счастье улыбается лишь в пять часов вечера. Останавливается малолитражка. В ней двое в военной форме. Русские. Солдат предвидит мои колебания и подталкивает вперед. «Вы рискуете здесь заночевать». Тем хуже. «Подбросите до Оффенбурга?» Поначалу онемев от звука родной речи, они соглашаются меня взять. В дороге советские офицеры неразговорчивы. Стиснутая с обеих сторон, я испытываю известные неудобства. Это первая, как мне кажется, встреча с красноармейцами.

Спрашиваю: «Что вы делаете во французской зоне?» — «Разыскиваем соотечественников: пленных, дезертиров и других». Кажется, что сижу рядом с шакалами. Нет, это отнюдь не отважные солдаты регулярной Красной Армии, а сотрудники спецслужб, может быть, НКВД. Эта организация меняет названия, но грязные методы, кража детей, например, так же обыденны для них, как для меня курение. Зажигаю сигарету и говорю: «Без шуток, господа. Я гражданка Бельгии, корреспондент союзных войск. Мой муж — дипломат». — «Но вы поразительно правильно говорите по-русски». — «Да уж без вашего акцента».

Кажется, они не имеют на мой счет дурных намерений, но как узнать наверняка? Впереди показался городок. На главной улице вижу французских жандармов. К черту Оффенбург, если надо добираться с этими дьяволами в черном. «Не угодно ли остановиться рядом с жандармерией? Я остаюсь здесь». Если они не послушают, успею закричать: «Меня похитили!» Но опасения напрасны, я выхожу, благодарю, не протягивая руки. Тут я весьма щепетильна.

Городок называется Эмединген. Являюсь к военному коменданту. На этот раз я его, кажется, потревожила. «Вы прибыли не вовремя, полковника нет. Врач уехал», — с этими словами офицер поворачивается и уходит. Может быть, кто-то из моих коллег оставил о себе плохую память?

К вечеру, в баре отеля «Льон» можно было наблюдать хмельное братание двух подвыпивших нормандских жандармов, представителя военной комендатуры, бельгийскую журналистку и хозяина-немца, наголо обритого ретивыми солдатами за нарушение комендантского часа.

«Не одобряю я таких методов», — пресыщенно цедит жандарм. Пьем коньяк. По вкусу — французский.

«Франция, два месяца, очень красиво. Бельгия, семь недель, хорошо! Россия, год, ужасно», — повествует хозяин о своих кампаниях, жандарм рисует в блокноте официантки голубое сердце и старательно выводит: «Мое сердце принадлежит Гертруде». Муж Гертруды, эсэсовец, находится в заключении в лагере неподалеку от города. Все курят мои сигареты.

Сонное благополучие внезапно нарушается. К нам присоединяется еще один человек. Он одет в живописные лохмотья и смотрит на меня с подозрением. Лицо искажено тиком, говорит он невразумительно, заикаясь и плюясь, все время повторяя: «Я им задам! изничтожу! задам взбучку...» «Не обращайте внимания. Это наш рабочий из отряда принудительного труда, знает немецкий и оказывает массу услуг», — подмигивает мне жандарм. Какого рода эти услуги, нетрудно догадаться, хотя я не понимаю, как можно доверять таким сведениям. Скользкий тип гневно глядит на незнакомку, не удостаивающую его взглядом. «Что это за баба? Нацистка? Скоро и ее раздавлю!» Его увели проспаться, хотя искореженные мозги на место уже не вернешь.

Вечером появился военный комендант, и молодой офицер пригласил меня поужинать под меланхоличным взором оленьей головы на красной стене. Поначалу скучный, вечер мало-помалу оживился.

«Да, немцами легко руководить, никаких проблем. Если бы и французы были такими же, мы бы больше преуспели!» — произнес комендант.

«Большие дела чреваты большими катастрофами», — заметила я.

«Гордиться нечем, — воскликнул проезжий полковник, — побеждая, они раболепствуют, проиграв — пресмыкаются!»

Я думала о том, сколь деликатна позиция побежденных. Если они благородны, их презирают, если же нет — обвиняют в дерзости.

Мы не успели уйти из кафе, как коменданту сообщили, что приехали русские и просят бензина для возвращения в свою зону.

«Ни в коем случае! — воскликнул полковник. — Шутка длится достаточно долго. Они нарочно приезжают сюда с пустыми баками, чтобы попользоваться нашим бензином».

Во французской зоне и впрямь не хватало бензина. «Раз уж вы здесь, мадам, прошу вас быть моим переводчиком, хотя я и знаю по-русски слово “нет”».

Нет, это были не те двое в черном, а четверо армейских офицеров. Едва я открыла рот, их лица вытянулись. Они испугались меня не меньше, чем я тем же утром людей из НКВД (есть у советских людей такой черный юмор: «Не знаю, когда вернусь домой»). Им пришлось все же воспользоваться моими услугами.

«Объясните им нормально, что мы просим горючего, в баке ни капли бензина».

«Переведите им, что следовало побеспокоиться о запасной канистре. Пусть просят бензин у американцев, у тех его полно, а у нас не хватает. Ничего не попишешь, на этот раз — «нет».

Но французское «нет» редко бывает окончательным. Русские получили десять литров бензина, что хватило бы до следующего французского поста. А потом мы все вместе выпили за удачное разрешение проблемы.

Наутро обитатели Эмедингена собрались у доски с приказами военного коменданта. Полная конфискация всех радиоприемников, «репарация» (распространенный эвфемизм) вдвойне обидная: во-первых, это неприлично, во-вторых, лишает союзные войска возможности влияния, а население — источников официальной информации. Доска объявлений стала стенгазетой на манер окон РОСТА Маяковского, единственным средством общения оккупантов и побежденных. Прочитываю две выдержки из приказов, и объявленные наказания кажутся мне незначительными по сравнению с теми, что назначались за тот же проступок во Франции.

«Д. Йохан, за хранение оружия десять лет тюрьмы и 2000 марок штрафа (наказание отсрочено, отец десятерых детей). К. Карл, за использование фальшивых документов пять лет тюрьмы, наказание отсрочено, пятеро детей».

Мало хотеть попасть в Баден, надо еще суметь это сделать. Я, не жалуясь, удалялась от своей цели и заехала в Констанс на Бодензее. Прелестное место. Все рассказывали мне о празднествах генерала де Латтра. С восторгом вспоминали, как три раза пересаживали газон вокруг резиденции, ибо ему не нравился оттенок травы, — солдаты любят, когда у командира причуды. Военные парады в честь бея Туниса и султана Марокко впечатлили немцев, обожающих торжественные церемонии. На озере — «флот де Латтра», а вечером, в грозу, салют из пушек. В тот же вечер я попала на костюмированный бал на борту прогулочной яхты. Масок не было, но маркизы, маркитантки и коломбины, офицеры и мальчишки отплясывали под дождем конфетти. Гарнизонный праздник не так шикарен, как прежние приемы де Латтра, но отличное настроение компенсирует должностные почести. Как и повсюду, здесь ощущается беспорядок, который, правда, мне нравится. Хотя иностранцы, репатриированные во Францию, расскажут мне впоследствии, с какой скоростью осуществлялось это переселение. Думаю, что именно отсутствие жесткой организации и позволило преодолеть множество трудностей.

В три часа ночи я отбываю на грузовике с негром-водителем в Зигмаринген. Сонная, я еду туда с единственной мечтой — хорошенько выспаться на удобной кровати. Увы. Город переполнен военными, все занято. Генералы Кениг, Шлессер, де Монсабер, де Виллеон принимают парад артиллеристов, альпийских стрелков ФФИ и отрядов колониальной армии, покорившей Тунис, Корсику, Италию, освободившей Эльзас и долину Роны... Со своего постамента на парад взирает статуя одного

из Гогенцоллернов. Кавалерия колониальных войск особенно интересует ребятишек, а взрослые молча наблюдают из-за закрытых окон.

Над городом царит величественный, но не слишком изысканный дворец, одно его крыло служило какое-то время прибежищем маршалу Петену, теперь там штаб генерала Шлессера. На флагштоках трехцветные флаги. В другом крыле живут семьи Гогенцоллернов, Баварских и Мекленбургских князей. О Гогенцоллернах хорошо пишут в газетах — тридцать два человека из этого рода были арестованы нацистами вместе с другими представителями знати, особенно католиками. Рассказывают о трагической кончине княгини Мафальд де Гессе, дочери короля Италии. Наследный принц Баварский, Рупрехт, кузен великой герцогини Люксембургской, сумел скрыться, а его жена и пять дочерей были арестованы гестаповцами; принцесса Христина Гарбат узнала ужасы Бухенвальда, в день освобождения она весила шестьдесят пять фунтов. Герцог Мекленбургский, русский по матери, провел девять месяцев в Заксенхаузене... Все эти факты вызывали тактичное отношение французских властей.

Едва решился вопрос о моей поездке в Германию, многие русские друзья стали просить меня разыскать по возможности их родных, чьи судьбы внушали тревогу. Многие из них бежали из Прибалтики, Югославии, Болгарии, Польши перед волной коммунистической опасности, которой им удалось избежать в 1919-м. Герцог Мекленбургский, «Тедди», герцогиня, урожденная Раевская — в моем списке. Я пошла проведать их, принесла сигареты, сахар, ибо, несмотря на лояльность французских оккупационных властей, они разделяли тяготы карточной системы, как и весь немецкий народ.

Дворец есть дворец, и супружеская чета остается самой собой. Герцогиня носила жемчужное ожерелье, хотя время от времени выходила в соседнюю комнату проследить за приготовлением на керосинке какой-то еды. Меня пригласили к обеду, неожиданному, как объяснила герцогиня, ибо принц Рупрехт принес с охоты немного дичи, из которой она сделала рагу. Я вежливо отказалась. За высокими окнами раскинулся город с извилистыми улочками у подножья замка, а вдали, на зеленых холмах играли все краски лета.

«Единственная здесь неприятность, — призналась герцогиня, — состоит в том, что приходится страдать на концертах военного оркестра, мы привыкли к идеальному исполнению...» Я думала о временах, когда в Германии, разделенной на мелкие княжества, был расцвет искусств, поэзии, музыки, когда каждый двор становился как бы питомником, поставлявшим принцесс, королев и императриц почти для всех иностранных династий.

В непринужденном разговоре хозяева рассказали мне о недостатках политики союзников, выразили удовлетворение, что сумели избежать «советских жестокостей», американской прямолинейности, островной ограниченности англичан... Я потушила сигарету и собралась уходить. «Погодите, погодите», — воскликнула герцогиня. Она встала и принесла инкрустированную коробочку из массивного серебра. Величавое изделие эпохи декаданса служило для собирания окурков.

Удача улыбнулась мне. Некий лейтенант покидал Зигмаринген на сутки; он-то и уступил мне свою насквозь прокуренную комнату. На грязном белье я спала одетая, но с удовольствием. Назавтра, под дождем, я вновь ждала попутного автомобиля. Это стало привычным. Лейтенант службы безопасности генерала Кенига, тщательно проверив командировочные документы, согласился отвезти меня в Баден. Лесное шоссе перебежала лань. Мы едва ее не догнали, как вдруг из-под капота посыпались искры. Пожар тушили моим кителем, а затем джип дотащил на буксире нашу «симку». Военный комендант поселил меня в гостинице для проезжающих офицеров. Грязь там была неописуемая, двери без замков, а судя по цвету простыней, на них успела переспать вся армия... Капитан, с которым мы столкнулись в холле, сказал: «Простите, не могу подать вам руку...» — я от изумления замешкалась и лишь хлопала глазами. «У меня чесотка, — и утешил: — У вас тоже, вероятно, будет».

ГЛАВА IV

Административный центр Баден, столица французской оккупационной зоны, знавал дни славы и упадка. 1945—1946 годы — период упадка. Гостеприимный и романтический европейский город этого не заслужил. Роскошь империи Наполеона запечатлена на прекрасном фарфоре, в портретах на стенах старых гостиниц, например «Стефании», помнящей о том, что после падения Империи Стефания де Богарне, великая герцогиня Баденская, дала приют беглецам. Во времена Наполеона III Баден стал центром встреч европейской аристократии, очень модным курортом на водах. По аллеям гуляли Брентано и Шрайбер, гейдельбергские поэты; Виктор Гюго, проживавший в Лихтентале, подарил хозяйке своей гостиницы переплетенный в кожу экземпляр «Отверженных» с иллюстрациями Бриона, Жерар де Нерваль мечтал под сенью старого замка; Василий Жуковский умер в доме напротив отеля «Голланд»; Теккерей описал город в «Ярмарке тщеславия», а Альфред де Мюссе сочинил такие — увы — не лучшие строки:

Баден, английский парк на горе,
Отчасти похожий на парк Монморанси...

Баден знала вся Европа. Любая страна может назвать знаменитых людей, побывавших здесь. Освободившись от дел, я иногда брожу по городу, населенному призраками Ференца Листа, Патти, Паганини, Вагнера... Здесь Достоевский познал адскую страсть к азартной игре, а Иван Тургенев писал «Дым» и получил в дар от Полины Виардо виллу неподалеку от того места, где теперь находится зловещая советская комиссия по репатриации. Что подумали бы Мольтке, Бисмарк и Тьер о нашем жестоком времени? Впрочем, и Тьер не был чужд насилия и репрессий.

По запруженным военными и гражданскими лицами улицам когда-то хаживали Марк Твен и Джером К. Джером, здесь можно было встретить прелестную Марию Мухановскую-Калержи под зонтиком от солнца. «Гречанка по мужу, русская по воспитанию, немка по происхождению, полячка сердцем» (ее мать была полькой), она в Париже держала салон и была настоящей дочерью Объединенных Наций. Долгая-долгая процессия исторических теней: Наполеона III, короля Леопольда в сопровождении Клео де Мерод, шведского короля Густава... Не перечесть всех коронованных особ, пивших воды и игравших здесь в рулетку.

В настоящий момент двери открыты для других гостей. Истощенные французские дети водят хоровод в парке, маленькие лошадки не кру-

жатся больше в казино, офицеры пьют рейнвейн в «Вейнштубе», а большие отели превращены в учреждения.

Очень быстро учишься отличать сражавшихся военных от многочисленных подражателей, разукрашенных галунами. Вот мимо проходит генерал с тремя звездами на погонах. Мой спутник, выпускник Сен-Сира давних лет, поднимает было руку для традиционного приветствия, потом опускает, с горечью бормоча «Коньячный генерал!»

Я устроилась в отеле «Гольф», центре прессы. Здесь царила приятная атмосфера: работа, любовные приключения и, несмотря на трудности, хорошее настроение. Я люблю журналистику, мою вторую профессию, она позволяет знакомиться с самыми разными людьми. Тем не менее пресса часто представляется мне могущественным нечистоплотным монстром. Мне приходилось встречать значительных и честных журналистов, но нередко даже лучшим из них не хватает порядочности, а честнейшим — таланта. Какая борьба личных интересов, сколько интриг кроется за информацией, которая выплескивается на читателей.

В отеле «Гольф» постоянно толпятся корреспонденты, особенно из французских газет. Кажется, Баден мало интересует мировую прессу. Ежедневно я встречаю высокомерных репортеров, которые, видимо, не интересуются никем, кроме самых высокопоставленных особ, что, конечно, не является лучшим способом добывать информацию. Есть среди моих собратьев и другие, назову их середняками. Они не ведут себя как предсказатели: мало обращая внимания на официальные источники, они рыщут в поисках сенсации. Чуют скандал, вынюхивают его, как собаки дичь. Приезд полковника с секретаршей-любовницей дает им материал для заметки, которая вызовет слезы и зубовный скрежет. С наслаждением они выискивают растраты и недостатки, неизбежно присущие любому учреждению. Они — Шерлоки Холмсы скандала. Третья группа журналистов достаточно малочисленна. Это начинающие. Но, несмотря на юный возраст, некоторые из них недавно вернулись из концлагерей, не знают, что делать, куда податься и пишут «корреспонденции» с мест; другие, тоже молодые, провинциалы, умеющие ловчить, «разоблачают Германию», как репортеры отдела происшествий в начале своей карьеры.

Работники административных служб принимали прессу очень гостеприимно, хотя мы и подвергали их нервы тяжелым испытаниям. День начинался борьбой между корреспондентами, добывающими для себя джип. Транспортных средств не хватало, к тому же они были очень убоги. Иногда сразу несколько журналистов отвозили на какую-нибудь официальную церемонию: открытие моста, университета, но наша профессия зиждется на конкуренции. Каждый мечтает самолично добыть ценную информацию, опередив соперника. И хранит свои сведения до следующих новостей. Так, адрес герцогов в Зигмарингене я обменяла на адрес вдовы одного из повешенных участников заговора против Гитлера.

Мы встретились, дама оказалась русской. Она избежала наказания не потому, что была невиновна, не знала ничего о заговоре, а лишь благодаря тому, что ее спрятали друзья в психиатрической больнице.

Еще одна хорошая статья и живая рана для человека, поведавшего мне эту историю.

Вернемся к джипам. Как поступить, если на двадцать, тридцать человек всего две или три машины? Ревнуя к любимчикам, все протестуют и жалуются: «Как! Для иностранной корреспондентки (это я) машину нашли, а для меня, специального корреспондента парижской газеты, нет», — кричит К. На что я отвечаю: «Большая газета для консьержек!» К вечеру ссоры забываются, и мы ужинаем вместе.

Я не злоупотребляла интервью с важными персонами, ибо была твердо уверена, что от них никогда ничего не добьешься. Каких откровений можно ожидать, если человек не доверяет тебе и говорит крайне осторожно? Я давно знала, что министры в каждой стране отвечают на вопросы одинаково. Замечательные программы, планы на будущее — всего лишь заезженные пластинки для обывателей, ничем не отличающиеся от предвыборных речей. Представим себе на минутку, чем могли бы стать интервью с маршалом фон Рундштедтом и генералом Монтгомери, столкнувшимися в Арденнах? На разных языках, не раскрывая секретов обороны и нападения, свои надежды они все равно выразили бы примерно одинаковыми словами. Итак, решено. Не надо тратить время на интервью со знаменитостями. Исключение можно сделать лишь для визитов вежливости.

Меня также ничуть не интересовали местные скандалы. Я работала для иностранной прессы, и можно было расценить как анекдот только то, что руководитель службы военной безопасности прогуливался по Бадену, увешанный фальшивыми наградами, что, впрочем, сгубило этого действительно способного молодого человека... Не видела я материала для статьи и в быстром превращении одного из начальников милиции в ретивого коменданта. Ведь политические трансформации так часты и неоригинальны... Какое значение могла иметь, например, история генерала, поставившего свою подружку во главе одной из служб? Думаю, безразличие к «публичным вещам» подобного рода вызывало уважение коллег, поэтому мои отношения с французскими информационными службами всегда были превосходными.

Оказавшись на обочине истории, я собираю сведения везде, где могу. Пресс-клуб, Курзал, столовая Первой армии — тут у меня свой столик, — учреждения, улицы, разношерстное население Бадена... Люди, вырванные из привычного окружения, испытывали новую судьбу, столь не похожую на их прошлое провинциальных учителей или мелких служащих, никогда прежде не путешествовавших; теперь они словно расцвели, жаждали приключений. Холостяки поневоле — они становились пылкими любовниками на час. Оккупация, как и война, — время молниеносных увлечений, но иногда и настоящей трагической любви тоже...

Хотя ни драмы, ни интрижки не могли остановить людей, долго лишенных самого необходимого, «взять свое» — от предметов первой необходимости до аккордеонов или кожаных бумажников.

Немцы мне часто жаловались, а я им отвечала: «Все это несравнимо с тем, что вы вывезли из Франции».

«Да нет же, у нас транспортом занималось государство, а трофеями пользовалась вся страна, вся нация», — в ужасе твердили они. Казалось, больше всего их тревожило нерациональное распределение добра.

Журналисты помоложе, мои добрые товарищи, по вечерам награждали меня, с бокалом в руке, сказочными успехами своих расследований. Разве без их разысканий я узнала бы о подвигах «пиратов»? Эти преступления не оставляют следов, поэтому трудно верить на слово рассказам о пропавших между двумя соседними станциями вагонах мануфактуры, о растворившейся в тумане Рейна барже с товаром, от которой ни на берегу, ни даже в притоках реки не нашлось ни ящика, ни досточки, ни гвоздика. Однако все возможно.

«Бедная Франция!» — вздыхал офицер, которого я встретила в очаровательной деревушке, где располагалась его рота. Пока он подписывал бумаги, солдаты стали мне жаловаться. Пресса, как им кажется, должна исправить все ошибки. На что они жаловались? На напрасную трату времени, скуку, отсутствие развлечений (и впрямь, деваться некуда). Запрет на стыдливо называемое «братание» критиковали очень живо: «Это лучший способ познакомиться». Быть может, они были правы, но непременным последствием «братания», помимо моральных проблем, становилось увеличение числа венерических заболеваний.

Интересно, как мои собеседники относятся к немцам? «Славные люди. И хорошо организованные! Живут лучше нас. Чисто, богато, не сравнить с родной деревней».

Командир и адъютант вышли из штаба, одинаково хмуря брови. Солдаты разбрелись. Мы выпили с командиром и отправились в курзал Бадена обедать. Этот сельский домик похож на симпатичный павильон в парижских предместьях. На подлокотниках полукресел кружевные салфетки, линолеум сверкает, чистейшие занавески. Хозяйка показала мне фото мужа, взятого в плен советскими войсками. «Как вы думаете, скоро он вернется?» «Конечно, конечно», — поторопилась солгать я. «Олень и лань в глубине лесов...» — пел нам на старом шипящем патефоне Шарль Трене. Стаканы опорожнялись и снова наполнялись. На улице моросил дождь, офицеры загрустили. Командиру тридцать два года, из них четыре, с 1940-го до 1944-го, он провел в лагере для военнопленных, они вычеркнуты из его жизни.

«Вы не поймете, что значит быть пленным. Ужасная теснота, моральное разложение людей в лагерной тине. А дома, в департаменте Эн, я узнал, что отца, директора филиала банка, расстреляли ФФИ — так, по крайней мере, мне сказали — и унесли всю наличность в чемодане. Вот она Франция!» Глядя в окно на дождь, он продолжал:

«Я кадровый военный и, естественно, вернулся в строй. В лагере мне снилось, как победителем попаду на эту землю... Я обещал себе всякую чушь, скажем, неустанно демонстрировать свою силу. После пережитых унижений хотелось отомстить — передавить, например, на своем автомобиле прохожих. А оказавшись здесь, я понял, что удовольствия от такой мести не получу». Лейтмотивом беседы стала бедная Франция.

«К чему жаловаться, друг мой? Ведь Франция — это вы. Все обновляется, все в ваших руках».

Он лишь пожал плечами и по дороге в Баден так яростно нажимал на газ, что, казалось, мы летим к смерти.

А, что же немцы? Как с ними вести себя? Мест для встречи было немного. Случалось завтракать с сотрудниками журнала, о воссоздании которого пеклись университетские умы обеих наций. Конечно, следует непременно издавать журналы, но споры были сухи, абстрактны и не имели никакого отношения к окружающей жизни.

Я вижу прохожих. Достаточно хорошо одетые, вежливые, они безропотно выстраивались в очередь за провизией, любезно отвечали на вопросы. Каждый из них лично пострадал от войны, многие потеряли близких, другие — имущество. И все они были раздавлены поражением, которое не могли ни понять, ни объяснить. Интересно, отдавали ли они себе отчет в размерах катастрофы? Чего они ждали? Знаю, что внезапный слух о чудесном спасении фюрера породил в некоторых сердцах нелепые надежды на возрождение нации под его руководством.

Эти немцы не чувствовали ответственности за хаос, обрушившийся на Европу, списывая все на несправедливую судьбу. Они доверчиво шептали мне на ухо, что оккупанты, все оккупанты — русские, французы, американцы, англичане — варвары.

Как и коменданта, пребывание в лагере победителей не слишком утешало меня. К тому же любые несчастья заслуживают сочувствия. Тихая застенчивая дама в черном подошла к недавно открывшейся антикварной лавке. Из прижатой к сердцу сумки она достала тщательно завернутые в бумагу предметы и, словно ласково прощаясь с ними, на минутку застыла, а потом только открыла дверь. Вскоре она вышла с пустой сумкой, подобно многим русским эмигрантам в Константинополе, Париже и других местах, которые несли дорогие для них предметы чудесного прошлого обменивать на хлеб, сахар, масло...

На ближайшие два с половиной года Баден стал в Германии моим пристанищем, сюда я неизменно возвращалась после посещения других зон. Изо дня в день становились заметнее перемены в настроениях немцев, живших во французской зоне. Поначалу у них преобладало желание перебраться к американцам, где лучше кормили и было больше порядка, однако потом все изменилось. Уехавшие просились назад. Я была несколько удивлена, но мне объяснил один немец: «Все очень просто. Французы гораздо менее бюрократичны, чем американцы. Какой-нибудь полковник если и откажет вам в просьбе один, второй, третий раз, то в конце концов кто-нибудь выслушает вас и поможет. Здесь можно завести личные связи, защитить себя, доказать свою правоту. А это часто важнее, чем сытно поесть».

Вот какой был пройден путь с начала оккупации, когда именно неразбериха во французской зоне, казалось, более всего мучила немцев,

привыкших к строгому порядку. Я радовалась, глядя на немецких подростков, сидевших на подстриженных газонах баденского парка, словно это лондонский Гайд-парк.

Что же до многочисленных полковников, то они часто служили мишенью для повседневных шуток. Действительно, наблюдался избыток начальников, и следующий анекдот (через двадцать лет я услышу его во Франции, только полковники из Бадена будут заменены на директоров ОРТФ[1]) служит тому подтверждением. Из зоопарка сбежал лев, толстевший на глазах. «Что ты ешь?» — спросил его другой лев, сбежавший позднее, но не находивший себе пропитания. «Очень просто. Каждый вечер уже целых шесть месяцев я проглатываю по полковнику из Бадена, и никто до сих пор не хватился!»

Через некоторое время я подхватила в городском бассейне экзему, от которой сильно страдала и никак не могла избавиться. Французский офицер порекомендовал мне врача, бывшего эсэсовца, который вылечил его самого. Практиковать врачу запретили, но я тем не менее разыскала его адрес. Он сам открыл дверь. Молодой, симпатичный, с узким мрачным лицом. «Не могу вам помочь. Мне запретили». Я победила его сопротивление фунтом швейцарского кофе, а он одолел невидимых паразитов, мучивших меня. Что же он делал в СС? Если бы он работал в концлагере, то ему бы не только запретили принимать пациентов, но посадили бы в тюрьму и судили. «Я был врачом в полевой части СС», — сказал он мне. Можно ли поверить, что это благородное лицо принадлежало палачу?

Постепенно забываешь о том, что знаешь, и начинаешь верить во всеобщее недоразумение, заблуждение, случайность, но вдруг прошлое восстает и растравляет тебя.

Молодой немец-шофер, который обычно возил меня, был очень неуклюж. Он плохо справлялся с рулем, делал массу лишних движений, его реакция оставляла желать лучшего, а джип — машина не простая. Наконец однажды вечером я обратилась к ответственному лицу с вопросом, как можно держать такого неумеху. «Я все понимаю, но, видите ли, мадам, мы прощаем ему все из признательности. Незадолго до конца войны он помог бежать одному военнопленному, за что его жестоко мучили в гестапо. Сломали обе руки, но не это главное. Его кастрировали как быка, раздавив гениталии между двух досок...»

Так, неожиданно сквозь обыденную жизнь начинала проступать иная реальность.

---

[1] ОРТФ (ORTF — Office radiodiffusion-television francaise — *франц.*) — Служба французского радиовещания и телевидения. (*Прим. перев.*).

ГЛАВА V

Телефонный звонок в отель. Журналистов информировали о том, что возле соседнего населенного пункта обнаружили груды трупов. В послеобеденное время в пресс-центре нас оставалось всего трое, парижанин Р., бывший заключенный концлагеря Ж. и я. Немного поплутав по сельским дорогам, джип свернул к освещенному августовским солнцем лесу. К машине направился капитан. Он повел нас вперед. Запах разложения становился все сильнее. Из-под армейских серых одеял торчали бесформенные останки, сгнившие лица... «Не могу, сейчас меня вырвет», — шепчет двадцатидвухлетний Ж. и поспешно идет прочь... Капитан говорит: «Врач уже здесь, он считает, что это обычная для лагеря практика — пуля в затылок... На одном из свитеров погибших мы нашли значок эльзасского спортивного клуба. Вероятно, это были пленные из лагеря непокорных эльзасцев, располагавшегося в тех бараках, где теперь служба связи». Мы стоим жалкой горсткой над неопознанными телами казненных.

«В деревушке утверждают, что никогда не слыхали о казнях, — вмешался в разговор другой офицер. — Полковник приказал жителям принести одеяла и заставил их пройти перед жертвами. Они подчинились с большой готовностью, многие пришли с детишками, которых я не подпустил. Зачем детям это видеть!»

«Самое странное, что один из лагерных охранников даже не сбежал, а преспокойно укрылся в деревне, где и был арестован. Хотите его увидеть?»

Зачем? Но потом мы согласились.

«Он там, за деревьями, теперь его охраняет бывший пленный из этого же лагеря».

«А вы не опасаетесь мести?»

«Нет, мы бы услышали крики. Лагерный охранник не показался мне смельчаком».

Вместе с оправившимся от тошноты Ж. мы не без колебаний отправились в соседний лес. Все в порядке. Охранник, средних лет, с мятым лицом пепельного цвета, без наручников, прислонился к дереву. Он в смятении, скованный животным страхом. В нескольких шагах, повернувшись спиной и демонстрируя незаурядное хладнокровие, стоит бывший заключенный. Мы курим, чтобы избавиться от тошнотворного запаха смерти, пропитавшего волосы и одежду (я не избавлюсь от него до ванны). Слушаем рассказ военнопленного о жизни в лагере: «Этот тип не всегда был таким», — кивает он в сторону охранника.

В Раштатте все по-другому. Тридцать семь благоразумно сидящих на скамье подсудимых ничем не напоминают «сверхчеловеков». Я присутствую на процессе над бывшими охранниками «Нейе Бреме», разглядывая красную мантию француза-судьи, председателя трибунала, в большом бело-розовом зале с прекрасным паркетом и Богиней Правосудия на барочном потолке. Как много было тогда таких процессов, и более шумных, и менее освещаемых в прессе. «Нейе Бреме» служил транзитным лагерем, где не потрудились даже построить крематорий, а тела погибших заключенных просто-напросто выбрасывали в дренажные рвы.

Горнец, комендант, и его помощник Шмоль — лагерные знаменитости. Еще здесь красивая и странная девица, единственная из палачей сохранившая до конца презрительную усмешку. Прочие же — мелкая сошка, статисты. Среди них: маленький монстр, польский еврей Ребульский, похожий на гомункулуса из пробирки, четыре ведьмы, словно вышедшие из фильма ужасов, череда больших и маленьких теней, силящихся обрести довоенное лицо. В прошлом они были скромными служащими, консьержами, привратниками. Свидетели расскажут, какими все они были прекрасными отцами семейств. И лишь особые обстоятельства выбили их бесцветное благообразие из привычной колеи.

Горнец же стал эсэсовцем по призванию, еще в 1933 году вступив в элитные части. Выжившие жертвы рассказывали немыслимые ужасы о его диких зверствах. Кто бы подумал? В нем не осталось ни следа жестокости и надменности. Во время чтения приговора, вздымая руки к небу, он восклицает: «Бог мой! Сказать такое обо мне!» И плачет. Достоевский в «Записках из Мертвого дома» обрисовал подобный человеческий тип: «Стоит отнять у них возможность приносить страдание, и они превращаются в ничто». Его помощник Шмоль, тридцатилетний, приятный наружности человек, прикрывается незнанием. Он только выполнял приказы. Особая дружба, связывавшая их с комендантом, исчезла. Нет, он никогда не видел, как избивали заключенных, не знал, что они умирали от голода...

«А живые скелеты, мимо которых вы проходили?» — спрашивает судья.

Комендант и его помощник перекидывают друг другу обвинения словно мяч, клокоча от ненависти, как это случается между сообщниками.

От свидетелей выступает некий Колетт, он стрелял в Лаваля, и тот помиловал его. Свидетельское показание разочаровывает мелодраматически-жестокими деталями. Двадцать девять дней и ночей он носил кандалы и показывает следы на своих запястьях. Кажется, будто перед вами мальчик, которого случай сделал героем и который не хочет быть забытым. «Если вы не расстреляете их, придется мне самому заняться этим!» — кричит он членам трибунала.

Следующим свидетельствует депортированный чех, простой человек, чей рассказ впечатляет больше, чем проклятия Колетт. Повседневными стертыми словами он рассказывает о том, как один из обвиняемых несколько часов наблюдал агонию забитого охранниками узника.

«Как вы думаете, зачем он столько часов разглядывал жертву?»

«Не знаю. Может, ему просто было интересно смотреть, как человек умирает», — пожал чех плечами.

Рассказы о русских, французских, английских и даже китайских жертвах. Воздух в зале сгущается, становясь удушливым. Постепенно бесцветные обвиняемые обретают отличия, индивидуальность. Ольга Браун искала в садо-мазохистском аду обожания и страха перед собой... А остальные? Их мотивы остались нераскрытыми. Зачем они выбрали это ремесло? Из патриотизма? Из желания услужить идеологии? Пусть скажут сами. Хочется, чтобы, по крайней мере, Шмоль и Горнец прокричали нам в лицо о своей ненависти. Судьба их определена, на снисхождение рассчитывать не приходится. Так почему же не бросить нам в лицо, как они нас презирают, что они сознательно выполняли свой долг, освобождая мир от «нечисти», сожалея лишь о том, что не до конца осуществили нацистские чистки. Но нет, ничего. Хнычут, страх перед возмездием затмевает чувство достоинства. Оправдываясь, они недоумевают: «Репрессии? Какие репрессии? Жертвы? Какие жертвы?»

Самому умелому режиссеру не удалось бы противопоставить этому отребью замученных четырех ими жертв, утвердивших своей стойкостью человеческое достоинство. Старший лейтенант Пат О'Лири, бельгийский врач, переехавший в Канаду, герой ХМС Фиделити, и трое молодых британцев, офицеров связи, капитан Грум, капитан Шеппард и капитан Уорри Стоунхауз.

Они были приговорены к смерти, но доколе дух не сломлен, тело стремится жить. Зачем подробно описывать муки, которые они успели претерпеть до лагеря в Нейенгаме? Пусть желающие обратятся к официальным документам, а те, кто не желает ничего знать, так и останутся в неведении. Но в этом суде зазвучали ноты разума. Спокойные голоса, взвешенные показания, избавленные от ненависти, возвращали нас к цивилизации. Становилось легче дышать, вновь появлялось доверие. Всегда найдутся люди, способные защитить моральные ценности, без которых земля превратится в пустыню воющих шакалов.

Интермеццо

Это не глава, а лишь маленькая история, забавное журналистское приключение. Речь идет о моей первой поездке в американскую зону.

Недели через три после прибытия в Баден — в августе 1945-го — я просила разрешения американцев на посещение Гейдельберга. Покачиваясь на стуле, расслабленный сержант, жевавший резинку и одним пальцем печатавший на машинке, промолвил: «О'кей! сядьте! Погодите, сейчас я дам вам разрешение!» Он напечатал маленький лист, показавшийся мне чересчур скромным. Там говорилось, что военная корреспондентка по прибытии в город Гейдельберг должна отметиться в службе Ж2, а во время пути ей необходимо оказывать всяческое содействие. Сержант вышел из комнаты, вернулся с подписанной бумагой и пожелал мне доброго пути.

Назавтра я доехала на французской попутке до Карлсруэ, сильно разрушенного войной прифронтового города... Я разыскивала кого-ни-

будь, облеченного полномочиями, в большом здании, где за каждой дверью сидели немки-секретарши в нейлоновых чулках (о таких чулках женщинам стран-освободительниц оставалось в то время лишь мечтать!) Девицы вели себя фамильярно и непочтительно, пытаясь помешать мне добраться до своих начальников. Мне, однако, это удалось, но все они походили на баденских «полковников», и ни один из них не мог подсказать, как добраться до Гейдельберга.

Потеряв терпение, я отправилась на вокзал, где нашла грузовик с американцами, возвращавшимися из отпусков, протянула документы шоферу и получила среди них место. Но не подозревала, в какое осиное гнездо я забираюсь!

Грузовик остановился на посту у въезда в Гейдельберг, мужчины вышли. Шофер согласился отвезти меня дальше, до Ж2, таинственного места, обозначенного в моем пропуске. Была суббота, все учреждения, казалось, пустовали. Мы бродили по коридорам, пока у одной из дверей не нашли двух лейтенантов, которых мой неожиданный приход явно не обрадовал, потому что они собирались отдохнуть в выходные дни.

Недовольство превратилось в подозрение при внимательном изучении пропуска. Вооружившись терпением, я сохраняла спокойствие, несмотря на возбужденность лейтенантов. Первой жертвой стал шофер, которого усадили на лавку до окончательного выяснения, хоть он и клялся всеми предками от Адама и Евы, что знать меня не знает и вообще уже должен быть в казарме.

«Что это за бумажка, мадам?» — спросил один из лейтенантов.

«Полагаю, разрешение на въезд в американскую зону».

«Вовсе нет! Эта бумажка не является официальным документом».

Я предъявила все свои документы, паспорт, карточку прессы, аккредитацию при командовании французской оккупационной зоны в Германии... Но ничто не успокоило этих американцев.

«Прежде всего, зачем вы здесь? Да знаете ли вы вообще, что такое Ж2?»

«Думаю, служба разведки».

«Очень странно. А знаете ли вы кого-нибудь из нашей службы?»

«Да, полковника Кэлхауна Энкрома. Кажется, он сейчас в Висбадене».

Лихорадочные поиски в официальных списках, сопровождающиеся косыми взглядами на часы, увенчались успехом. К счастью, полковник был обнаружен, хотя и в другом городе. Лейтенант подошел к телефону, связь по субботам работала напряженно. Когда офицер положил трубку, его лицо стало еще более мрачным.

«Какая неудача, мадам, полковник только вчера улетел в Штаты, — сардонически усмехнулся мой собеседник. — Назовите какое-нибудь другое лицо».

Я с трудом вспомнила, как в лондонском Клубе союзников познакомилась с молодым американцем В. Ван П., что-то упоминавшем о Ж2. Там ли он до сих пор? Нет, его фамилии не нашли в списках.

Пока я скорбно раздумывала о ближайшем будущем, бедняга шофер дважды просил отпустить его в казарму, и его дважды выгоняли обратно

в коридор. Лейтенанты, на мгновенье позабыв обо мне, позвонили своим подружкам и объявили, что опоздают из-за служебных неурядиц. Потом они принялись вызывать какое-то важное лицо, так внятно и не объяснив, пресс-атташе или ответственного за связи с освобожденными странами. Человек этот прибыл в таком же мрачном из-за прерванного уик-энда настроении. Меня отвели в другую комнату и подвергли новому допросу. Цель приезда? Специальность? Отношение к американцам? К тому, как они руководят своей зоной?

«Я только что приехала и почти ничего не успела понять, — начала я осторожно. — Но в чем, собственно, дело? Я корреспондент союзных войск, одним из принципов профессии журналиста в свободном мире является свобода информации». Эти слова особенно возмутили моего собеседника.

«С моей точки зрения, работа прессы в освобожденных странах вредна». И, распаляясь, изложил личную точку зрения на освобожденные страны: «лучше бы их не освобождали. Только немцы и ценят все, что для них делается».

Я достала блокнот и принялась записывать.

«Что вы делаете?» — изумился мой собеседник.

«Я нахожу интервью сенсационным. Надеюсь, читатели будут рады, узнав о ваших столь неожиданных заявлениях».

Он быстро направился к выходу, сказав стоявшим у дверей лейтенантам «я с ней покончил», а мне не кивнув на прощанье.

Четыре часа пополудни. Я проголодалась, а водитель, верно, считал, что его арестовали.

«Что нам с вами делать?» — спросил задумчиво один из лейтенантов.

«Что угодно. Только прошу вас об одном, не надо расстреливать меня. Мне это будет крайне неприятно, а вам принесет массу осложнений. Можете, например, посадить меня в тюрьму, а я сделаю в камере интервью с нацистами!»

Молодые люди даже не улыбнулись. После энного телефонного звонка они отпустили бедного водителя, а меня отвели во двор и посадили в джип. Я болтала как сорока, а они молчали будто каменные.

Мы въехали в прелестный и нетронутый Гейдельберг, по холмам добрались до парка. Машина остановилась не перед воротами тюрьмы, а перед дверью большой гостиницы.

«Шлосс» — отель Гейдельберга был предназначен только для высшего офицерского состава. Почему бы не поселить меня в апартаментах поскромнее? Думаю, лейтенанты из Ж2 понадеялись на серьезность и сдержанность генералов.

«В понедельник к вам зайдет следователь, мадам. Просим с этой минуты не покидать отеля».

С этими словами, предупредив солдат у входа, молодые люди отправились к своим подружкам.

Мне дали прекрасный номер, после ванны я спустилась в холл, по которому прогуливались семь или восемь офицеров в высоком чине. Я оказалась достаточно молода, чтобы порадовать их своим появлением.

Они не были из Ж2, поэтому не страдали шпиономанией. Я же считала приключение забавным и не держала зла на Ж2.

В гостинице было уютно и тихо. Окружавшие меня военные приехали из всех городов американской зоны. Они не знали иного развлечения по вечерам, кроме стакана кукурузного виски. Каждый рассказывал мне о своем уголке в Соединенных Штатах, о семье и о проблемах оккупационных войск. Мы замечательно поужинали за небольшим столиком.

«Давайте съездим в гарнизонный офицерский клуб», — предложили мне после трапезы два полковника. При виде их нашивок солдаты охраны не посмели меня остановить.

В саду богатой виллы нас встретила музыка. Через открытые окна были видны танцующие пары. Увы, моим помрачневшим спутникам дали от ворот поворот. «Парням повезло — жить в неповрежденном городе большая удача. А нам, живущим в развалинах, не дают провести ни один вечер веселее, чем обычно».

Мы вернулись в отель, решив выпить еще по стаканчику. Перспектива провести воскресенье в такой тишине заставила меня поискать в записной книжке имена знакомых американцев, одного я знала по Швейцарии, другого, врача, встречала в Бадене. Позвонила. Оба, казалось, были довольны слышать мой голос.

«Наконец, — с облегчением вздохнул полковник-танкист, — верну долг вашему мужу, который тянется за мной с Монтаны. Кроме того, завтра вечеринка в Мангейме. Приеду за вами».

Военный врач обещал приехать в понедельник.

В воскресенье вечером полковник танковых войск, красивый и галантный человек, увез меня в джипе под грустными взглядами охраны. Наслаждение, которое я получила, нарушив приказ Ж2, уменьшалось по мере приближения к Мангейму. По обочинам дороги, останавливаясь в поисках еды возле отстойников, брели подростки, явно не похожие на тех, кого я видела раньше в деревнях. Многие из осиротевших детей пришли издалека, из Берлина, из Дрездена, они предприняли долгое и бесполезное путешествие в надежде разыскать кого-нибудь из родных... Я попросила полковника остановиться, но дети, кроме двоих мальчишек, попросивших сигарет, разбежались.

Мангейм был в руинах. Казалось, вокруг не осталось ни одного целого дома, словно доисторический монстр прошелся по городу. Но в руинах продолжали жить люди; изможденные, они вылезали из погребов к свету, хотя жить в такой разрухе не представлялось возможным. Ежедневно американцы привозили на грузовиках военнопленных на расчистку развалин. Что они думали, работая? Мысли американцев мне были известны: с одной стороны, они испытывали понятные гуманные чувства, с другой — страдали от жизненных тягот. В начале оккупации немцы пришли в процветающую Европу, настоящую обетованную землю, где могли купить все, чего не имели дома (ведь именно пушки вместо масла принесли им победу). Они могли развлекаться и жить в комфорте. А союзникам победа принесла лишь возможность лицезреть жизнь троглодитов.

Вечеринка была одной из тех, где много пьют, чтобы забыться. Я должна была признаться полковнику, что нахожусь на подозрении Ж2 и не должна была покидать свою роскошную тюрьму. «Ничего, одной больше, одной меньше», — посмеялся он над моим побегом.

Вернулась я под утро. А в десять часов меня попросили спуститься в салон для свидания с сердитым тщедушным господином маленького роста. На полу у кресла лежала папка, на столе — листы белой бумаги. Этот серьезный человек, казалось, и ко мне относился весьма строго, чего я, разумеется, не заслуживала.

«Итак, мадам, несмотря на запрет, вы покидали отель два раза. Могу ли я узнать, куда вы ходили?»

«Нет, это профессиональная тайна...»

«Ладно, поговорим об этом позже. Вы прибыли сюда без официального разрешения. Это очень серьезное нарушение!»

«Ничего подобного, я получила командировочное удостоверение».

«Оно составлено не по форме. Кто его подписывал?»

«Понятия не имею. Сержант в Бадене вышел из комнаты, а вернулся уже с подписанным листком».

«Эта подпись нам неизвестна».

«Тем хуже для вас. Не мне же отвечать за неразбериху в американской армии. Я приехала сюда по доброй воле и не совершила ничего предосудительного».

«Вы, кажется, упоминали, что ваш супруг сейчас в бельгийском представительстве в Берне?»

«Да!»

«Если это не так, пеняйте на себя. Проверить данные легко».

«Конечно, если только есть связь с Берном».

Он пропустил мои слова мимо ушей, потом на русском языке с еврейско-польским акцентом спросил, умею ли я говорить по-русски.

«Конечно! И получше вашего!» — засмеялась я.

Этот человечек меня забавлял. Такому воробушку не к лицу суровость.

«Мы еще вернемся к этому, да-да, вернемся. А пока, пожалуйста, расскажите мне свою биографию. И не опускайте ни малейших деталей».

Несчастный не знал, что его ожидало. Я принялась мучить слушателя подробным рассказом, который занял теперь три тома по триста пятьдесят страниц. Он старательно протоколировал. Но вскоре попросил прерваться, чтобы дать отдых уставшей руке.

«Послушайте, господин Левисон, мы оба теряем время...»

«Откуда вам известно мое имя?» — задохнулся от ярости американец.

Как и его лондонский предшественник, он просто позабыл о наклейке с именем на его кейсе. Я не стала ничего объяснять, а просто сказала: «Надо же знать, с кем имеешь дело».

«Вы работаете на 2-е Бюро?» — спросил он, наклонившись поближе, ласковым голосом.

«Как вы неразумны! Моему «нет» вы не поверите, даже если оно будет правдой. А мое «да» стало бы катастрофой для моих начальников!

Я оказалась бы просто-напросто дрянным агентом. А почему, собственно, для вас это так важно? Подписано перемирие, вы не воюете с Францией, и будь я из 2-го Бюро, то знала бы лучше формы официальных бумаг для проживания в американской зоне. Все это очень по-детски. Вашему сержанту, наверное, просто было лень ждать возвращения главы миссии, который иногда забывает заглянуть в свой кабинет. Чем я виновата?»

«Дело в том, что вы попали туда, где не должны находиться, — вздохнул мой собеседник, — я несу ответственность за то, что вы беспрепятственно проникли в нашу зону... Продолжим...»

И он храбро принялся дальше выполнять свой долг. Под диктовку записывал сцены из моего детства в царской России. Наконец мы подошли к Октябрьской революции, когда мне исполнилось одиннадцать лет.

Бедняга старел на глазах, а худшее было впереди. Несмотря на судорогу, сводившую его руку, он начал испытывать ко мне человеческий интерес и его профессиональная суровость стала рассеиваться.

Расстались мы в час пополудни; Левисон с некоторой досадой взглянул на красивого военврача, который ждал меня к завтраку, держа в руках, словно подарок, пачки сигарет, шоколад и пакеты с провизией с военного склада.

Долгих два дня прошли в разговорах с глазу на глаз Левисон—Шаховская. Жертва — а это он, но не я — начинала любить свою пытку.

Вечером после допросов Левисон уходил, с грустью оставляя меня на попечение высших офицеров, и однажды, не удержавшись, прошептал: «Я тоже хотел бы пригласить вас поужинать, не будь я на службе».

Ситуация тем временем становилась все более безвыходной. Я была готова вернуться в Баден, но, как объяснил Левисон, «официально вас здесь нет, и никто не сможет оформить бумаги на выезд». Я жила в сытости и уюте американской армии, хотя и была здесь призраком.

«Что же делать? Что делать? — возопил Левисон через неделю. — Как нам выпутаться?»

«У меня есть идея. Давайте позвоним во французское представительство в Гейдельберге; я поговорю с его главой».

Водевиль развивался по своим правилам. «Вы разговариваете с Жаком Круазе, — заявила я какому-то полковнику-французу, — военным корреспондентом, аккредитованном при генерале Кениге. Мне надо вернуться в Баден, но вы же знаете американцев, знаете, какой здесь царит беспорядок, недостает иногда простой вежливости».

Невидимый полковник урчал от удовольствия на обратном конце провода, слушая мои критические замечания в адрес американских союзников, а Левисон, понимая, что я говорю, схватил с камина китайскую вазу и угрожал бросить ее мне в голову. «Я в отчаянии, полковник, и решилась обратиться к вам. Быть может, вы будете любезны, так сказать, репатриировать меня в Баден при первой возможности...»

«Конечно, конечно, мадам. Завтра к нам идет машина. Где вы находитесь?»

«В отеле “Шлосс”».

«Хорошо, за вами заедут в восемь утра, если это удобно, и поверьте, я счастлив быть вам полезен...»

«Вы дьявол, дьявол», — промолвил Левисон.

«Признайте, вы этого заслужили».

И вот вновь зазвонил телефон. Говорил тот же полковник, но уже совершенно иным, ледяным тоном.

«Сожалею, но мне будет сложно выполнить обещание. Я узнал, что ваше пребывание там незаконно».

«Клянусь честью, нет, мне нельзя предъявить никаких претензий. Позвольте передать трубку господину Левисону, он подтвердит мою правоту».

На этот раз, разгневавшись, я прибегла к настоящему шантажу.

«Господин Левисон, я жертва американской неразберихи, но не хочу оказаться скомпрометированной в глазах французских властей. Или мы немедленно отправимся во французское представительство, и вы подтвердите мои слова, или по возвращении в Баден я расскажу эту историю своим читателям, и она их позабавит. Одно из двух, выбор за вами!»

Левисон пошел к французам и, разумеется, официально признал мою невиновность.

Назавтра он пришел попрощаться, принеся мне в дорогу сигарет и шоколада. «Возвращайтесь к нам, Жак, с настоящими документами, мы будем счастливы видеть вас здесь, но, умоляю, не пишите никаких статей!»

«Хорошо, несколько лет не буду. В конце концов, это же анекдот, — и не беспокойтесь, я вернусь...»

ГЛАВА VI

Более двух лет провела я в путешествиях с кратковременными остановками на отдых в Берне. Меня должен хорошо помнить мост в Киле, ведь там пролегала самая короткая дорога в Баден. Накануне нового, 1946 года я приехала туда в белом автобусе, предназначенном для балетного театра на Елисейских полях. Я достаточно долго ждала, когда рассеянная по ресторанам Страсбурга труппа займет места. Компанию мне поначалу составлял один бледный темноволосый юноша с самыми прекрасными и самыми грустными глазами на свете, которые он показывал, приподняв темные очки. Ему суждено было стать одним из лучших моих приятелей среди журналистов. Это был Жан Бредли. В июне 1940 года Жану исполнилось восемнадцать лет. Родители его были убиты прямо на его глазах во время массового бегства. Он вернулся в Париж, однажды кто-то привел к нему британского летчика, которого он приютил. На него донесли. Дальнейшее обычно для того времени — полтора года в одной тюрьме, полтора — в другой. Два года в лагере для заключенных.

Позже, в 1948 году в издательстве «Жюльяр» с предисловием Жозефа Кесселя выйдет его страшная книга «Вольные дни». Думаю, мой юный друг хотел избавиться от своих демонов, описав, с какой жестокостью заключенные — при приближении союзников — изливали свою ненависть на немцев. Когда я познакомилась с Жаном Бредли, в нем не было никакого гнева, только горечь, разочарование, романтика и чистота. Пока мы знакомились, автобус заполнялся известными артистами балета: Соланж Шварц, Ролан Пети, Борис Кохно и будущие звезды, — например, Жан Бабийе. С нами путешествовала белая голубка, уютно устроившись в рукаве своей хозяйки. Среди нас был и незаявленный пассажир, что, несмотря на контроль, не помешало нам пересечь границу и всех развеселило — провести жандармов всегда приятно французам. На деревенских площадях стояли рождественские елки. Во всех офицерских столовых готовились к роскошному обеду. В меню были устрицы, гусиная печенка, рагу из косули, спаржа, индейка с трюфелями, сыры, рождественский торт. В Курзале двадцать четвертого декабря битком набитый зал аплодировал «Ярмарочным плясунам» Анри Соге. Балет закончился, машины и пешеходы слились в непрерывный поток, направлявшийся к кафедральному собору. Переполненный сверх всякой меры еще задолго до начала мессы собор окружала толпа. Генералы Кениг и де Монсабер прошли мимо почетного караула. Хор Страсбургского собора пел старинные французские рождественские песни в немецком храме.

Мир,
О Боже, ты моя надежда.
Мир,
Прекрасной Франции
Дай мир!

Двадцать пятого я обедала в штабе генерала де Монсабера, где царило нескрываемое веселье. Хотя здесь и присутствовал генерал авиации Шамб, историограф Первой армии, вместе с женой и дочерью, атмосфера была демократичной, и вскоре официант в белой курточке и буфетчица танцевали вместе с гостями.

А как же встретили Рождество немцы? Комендант на время праздников отменил светомаскировку, но этого оказалось явно недостаточно для их веселья в те тяжелые дни. Я отправилась с визитом к фрау Мюллер, она жила в предместье, в маленьком домике вместе с шестнадцатилетней дочерью. На табуретке стояла елочка, украшенная блестками и белыми свечками, под ней — портрет мужчины в военной форме, он находился в лагере для военнопленных в Великобритании. «Это грустное Рождество», — сказала мне фрау Мюллер, а на столе стояли лишь сладости, подаренные квартировавшим в одной из комнат французским офицером.

Труппа Сорбоннского античного театра представляла в Бадене «Персы» Эсхила. Странный резонанс в поверженной стране вызывали слова: «Зевс карает за слишком надменные мысли, заставляя жестоко сожалеть о них». Кстати говоря, цивилизованные страны все чаще отказываются от преподавания в школах мудрости и красоты античного наследия, и мы все глубже погружаемся в настоящее, в прожорливую современность. Однако желание продлить свою жизнь во времени, пусть лишь надписью на старинных камнях, похоже, переполняет и наших современников. Кто только не оставил своего имени, нацарапанным на величественной башне Цезаря под Баденом! Перочинные ножи и гвозди пошли в ход в руках американцев, британцев, французов и русских. Приняв подписи двух французских солдат из роты охраны генерала Кенига за автограф французского генерала, красный генерал также посчитал нужным оставить рядом свое имя.

Мои баденские друзья плохо разбирались в комплексах русских. Однажды вечером художник Режи Мансе попросил меня сопроводить его в Курзал, куда корреспонденты пригласили нескольких офицеров советской миссии, никто из которых не говорил по-французски. Возбужденный от вина Режи Мансе неожиданно прокричал мне со своего конца стола: «Спросите у них, Жак, читали ли они «Генерала Дуракина»?» Пусть мое детство и отравили рассказы графини де Сегюр, которые мне казались глупыми еще в восьмилетнем возрасте, я была уверена, что советские офицеры никогда не слышали о Розовой Библиотеке. Я не успела перевести вопроса Режи, как русские, поняв два знакомых слова — «генерал» и «Дуракин», — встали из-за стола и пошли прочь. Один из них бросил мне: «Передайте им, что идиоты — французские генералы, а не наши».

Везде между раскованными западными людьми и подозрительными советскими военными, не доверявшими хитрым иностранцам, происходили подобные недоразумения.

Я отправилась на открытие Майнцского университета в Рейнланд-Гессе-Нассау, которое организовал генерал Эттье де Буаламбер. Юг Рейнской области долгое время оставался плацдармом прусских завоевателей. Из Майнца мы ехали вдоль реки мимо разрушенных мостов, мимо барж и затопленных кораблей, мешавших навигации. На поросших виноградниками берегах виднелись разрушенные города, а Лорелее оставалось лишь плакать на своей скале.

Кобленц был сметен на 90 процентов, и военное управление расположилось по этой причине в Майнце, разрушенном всего на 70 процентов. Из Бадена о моем приезде сообщили в пресс-службу, но, как это нередко случалось, мой мужской псевдоним привел к недоразумению. Кровать мне отвели в помещении, предназначенном для сильного пола, и собратья по перу несколько изумились при появлении сестры по профессии. Однако приличия были соблюдены: меня разместили в семье чиновника.

Церемония открытия была назначена на следующий день. Некоторое время мы переминались с ноги на ногу в ожидании начала. Молодые журналисты волновались, а опытные принялись набрасывать статьи еще до начала событий.

Действительно, происходило чудо — рождение университета в такое время. Во французской зоне уже вновь открыли свои двери два университета — католический, во Фрайбурге-ан-Брисгау, и протестантский в Тюбингене. Но в Майнце не возобновлял занятия старый университет, а создавался новый.

В XV веке в этом городе уже был университет, закрытый по приказу великого герцога Гессенского в XVIII. Новый университет был смешанный: теологи-католики и теологи-протестанты должны были разделить два десятка мест. Мы направились мимо украшенных флагами руин в казарму у городских ворот. Ее отремонтировали, и вот в большом зале, под словами «Ut Omnes Unum»[1], перед сидящими в партере генералами и местными властями, перед многочисленными выдающимися немцами, такими, как доктор Альберт Штохр, епископ Майнцский и суперинтендант протестантской церкви земли Рейнланд-Гессе, при ослепляющих огнях фотовспышек, в сопровождении профессоров в черных мантиях с яркими лентами поднимаются на сцену ректоры других университетов в средневековых одеждах.

В торжественной обстановке большого зала впервые со времени моего приезда в Германию я услышала от немца признание вины его страны. Доктор Шмидт, католик, проживший все годы нацистского режима на нелегальном положении, стал первым ректором Майнцского университета. Выступив против «мифа о духовной автаркии», доктор Шмидт вспомнил о временах, когда творили Моцарт, Гайдн, Бетховен, о золотом веке немецкой поэзии, о первом представлении «Ифигении» Гете в Эттерберге близ Веймара, где сто пятьдесят лет спустя в лагере Бухенвальд «потерявшие человеческий облик люди совершили самые жестокие преступления в новейшей истории». «Как стало возможным такое перерож-

[1] Союз для всех (*лат.*).

дение немецкой души?» — вопрошал он и сам же отвечал: «Последовавшие за Тридцатилетней войной бедствия, усугубленные ностальгией по могуществу и величию, по политической самостоятельности, привели от Фридриха II, Бисмарка, Вильгельма II к Гитлеру». Ректор страстно разоблачал «бездуховный националистический фанатизм и нацизм, разорвавший духовное единство Германии с западным миром и подменивший личное мнение человека доктриной партии».

Да, я впервые слышала подобную речь в Германии, а затем, тоже впервые, вместе с французами была приглашена к немцам на последовавший за церемонией прием. В два часа генерал Кениг председательствовал на обеде в замке Вальдхаузен, где собралось несколько сотен гостей. Корреспондентам предоставили льготы для звонков в газеты, но связь работала неважно, и через несколько дней мы смеялись, читая в парижской газете статью одного из коллег, в которой обнаружили странную опечатку — «темно-багровые лапы Майнцского епископа».

Доктор Шмидт напрасно обличал влияние Пруссии, любопытно, что кадровую основу СС, по моим сведениям, составляли не традиционно воинственные пруссаки, а в основном баварцы и рейнландцы, хотя полковник Б. из военной администрации пытался убедить меня, что Рейнская область по сравнению с другими немецкими землями как раз была меньше заражена нацизмом.

Наиболее болезненной везде оставалась проблема чистки. Действительно, за малым исключением все трудоспособное население состояло в партии, и без поддержки большей части страны фашистская Германия не смогла бы так долго противостоять последнему наступлению войск союзников. Первоначально американцы в излишнем усердии были готовы «выплеснуть с водой и ребенка», они начали было столь строгую чистку, что после нее не осталось бы ни одного человека, способного сотрудничать с ними в строительстве послевоенной Германии. Менее категоричные и более разумные французы отдавали себе отчет в том, что большинство тех, кто мог быть полезен, ранее состояло в нацистской партии, не имея, впрочем, на своей совести преступлений. Чистки, денацификация проводились ими очень гибко. Военных преступников разыскивали, а всех, кого можно было простить, принимали на службу.

Ясно, что членства в партии сумели избежать только богатые, имевшие средства жить за счет своего состояния, либо те, кто работал на самых низших должностях — уборщицы или портье. Все возражения «антифашистов», возникшие через двадцать лет после окончания войны при назначении на пост министра или на должность крупного чиновника в международных организациях бывшего сотрудника Вермахта или сотрудника Гитлерюгенда, совершенно несерьезны. Было бы ошибочно искать среди пятидесятилетних немцев людей, не состоявших в нацистской партии или не воевавших в фашистской армии.

Поняв это, американцы прекратили изначально активную охоту на ведьм, ограничившись розыском крупных преступников и идеологов движения.

Однажды в пресс-клубе Мюнхена американский юморист Людвиг Бемельманц, австриец по происхождению, рассказал мне забавную историю о денацификации: в одной из союзных зон оккупационные власти захотели привлечь к массовым мероприятиям не запятнанных сотрудничеством с нацистами немцев, им удалось найти одного, но и тот, увы, оказался деревенским дурачком...

Перед отъездом из Рейнланд-Гессе-Нассау я была приглашена на завтрак губернатором. Это был коренастый, с живыми глазами и решительными жестами, человек. Эттье де Буаламбер сделал блестящую военную карьеру: лейтенант в 1939 году, капитан в 1940-м, офицер связи при британских вооруженных силах. В Лондоне он присоединился к де Голлю, участвовал в экспедиции в Габон, был арестован вишистами и бежал, вторично вступив в ряды голлистов в Лондоне, принимал участие в различных операциях, потом представлял воюющую Францию в Консультативном совете. Он собрал вокруг себя команду из бывших участников Сопротивления и политзаключенных, выживших в Дахау и Бухенвальде. Не боясь упреков ни в слабости, ни в пристрастности, они, как мне кажется, проводили гуманную политику. Случайно я получила этому подтверждение. Пока мы пили аперитив в резиденции губернатора, туда прибыл офицер с докладом о трудностях в реализации одного из соглашений, заключенного между союзниками. Было решено отправлять немецких беженцев в места их постоянного проживания. На бумаге этот план выглядел достаточно разумным, но в нем не учитывались некоторые последствия. Жители северного Рейна нашли убежище, например, у родственников на юге Рейна, сюда же берлинцы бежали от бомбардировок, мекленбуржцы — от наступления советских войск. Кому-то удалось найти работу, некоторым — скопить необходимые запасы продуктов, дров, сотню килограмм картошки. Потерять все, вернуться в разрушенный дом, в город, где не осталось друзей, — это пугало людей.

Офицер, назначенный губернатором следить за выполнением решения союзников, сообщил, что опасается самоубийств. Я услышала ответ генерала Эттье: «Так отправляйте только добровольцев». — «Но, генерал, это противоречит четырехстороннему соглашению». — «Наплевать на правила, когда речь идет о человеческих жизнях», — решительно ответил генерал. Нам не дано уже представить, как успокаивающе звучали эти слова в жестоком послевоенном мире, и как мало людей осмеливались предпочесть человечность несправедливому приказу.

Мы прошли к столу, и я, как единственная дама, заняла место справа от губернатора. Рядом со мной сидел хорошо говоривший по-французски молодой человек, глава одной из союзных миссий, я не хочу упоминать, какой именно. Мы ели кабана, подстреленного нашим хозяином. У меня достаточно красивые руки, и я с некоторым удовольствием признаюсь, что заметила оценивающий взгляд моего соседа. Когда подали кофе,

глава миссии пригласил меня к себе в кабинет, где обещал предоставить интересные сведения для статей. Назавтра я пришла. Он был один. Мы поговорили о занимавших меня вопросах, а потом перешли к тому, что интересовало его.

Нет, не красота моих рук привлекла его внимание, а маленькие швейцарские часы на моем запястье: «Мадам, ведь вы часто бываете в Швейцарии, не сумеете ли вы привозить оттуда время от времени несколько часов? Я знаю, что оккупационные марки не представляют особой ценности, поэтому предлагаю обмен. Могу предложить либо портфели из самой качественной кожи, либо, посмотрите, искусственные драгоценные камни — сапфиры и рубины, изготовленные в здешних местах. Думаю, что это честное предложение». Увы, я не создана для контрабанды и отказалась от одного из многочисленных прибыльных дел, на которых в те смутные времена делали целые состояния.

Во время оккупации в Париже сотни тысяч людей торговали всем, что попадалось им под руки. В первые же послевоенные годы сделки с золотом совершались на каждом шагу, его меняли на валюту, им оплачивали работу. В течение многих недель в Берне Святослава осаждали швейцарцы, горевшие желанием купить золото (покупка золота была разрешена лишь дипломатам), а также русский эмигрант, отправлявший беженцев на сельскохозяйственные работы в латиноамериканские страны. Он получал за каждого комиссионные, которые предложил разделить с моим мужем, если тот представит его влиятельным людям. Святослав не удержался и прежде, чем выставить его за дверь, спросил, разве торговля женщинами перестала приносить прибыль?

Случалось, как я уже говорила, и нарушать временные запреты. Пять блоков американских сигарет я обменяла на пишущую машинку (свою потеряла во время одного репортажа). Остро нуждаясь хотя бы в небольшом количестве денег на поездки по оккупированным странам, я вывозила из Швейцарии незначительные суммы в долларах и швейцарских франках. Вспоминаю, как во время моей первой поездки во Франкфурт настойчиво расспрашивала в купе двух французских офицеров: «Расскажите, как все происходит, где в Берлине я могу обменять доллары?» В ответ на мой вопрос я услышала взрыв дружного хохота.

«Как вы хотите, чтобы я вам объяснил, — ответил мне, наконец, один из офицеров, — если в наши обязанности входит бороться с контрабандой!»

В панике, предвидя конец своей карьеры, высылку, скандал, который запятнает Святослава, я вывернула карманы: «Сосчитайте! Этого едва хватит для моих профессиональных расходов на месяц!» Они благородно отказались от моего предложения и поспешили забыть столь нескромное любопытство, сочтя меня, несомненно, слишком глупой для деловой спекулянтки. Думаю, была и другая причина — они были французами.

Коль скоро в этой главе я затронула незаконные операции, то здесь же расскажу историю, которая приключилась со мной в одной из последних поездок. В то время, уже по требованию граждан оккупирован-

ных стран, было восстановлено движение поездов между Германией и Австрией. Моей соседкой по купе оказалась молодая австрийка с младенцем на руках. Ребенок спал на полке. На границе в купе вошли немецкие таможенники. Они не имели права досматривать меня, но попутчицу — безусловно. Женщина внезапно взяла ребенка и попросила меня подержать его, пока она достанет чемодан. Я едва не выронила тяжеленного для своего нежного возраста дитятю. Закутанный в одеяла ребенок по природе своей не мог столько весить. Таможенники ушли, ничего не найдя в чемодане, а слегка побледневшая женщина забрала у меня свое вдвойне драгоценное дитя.

ГЛАВА VII

И вот, наконец, я отправилась, заручившись с помощью служб французской прессы официальным разрешением, в американскую зону, сразу попав из бедного мира в богатый. Нельзя было не восхититься идеальной организацией американской армии и возможностями этой страны.

Я попала в места гораздо более разрушенные, чем Баден. Поезд ехал по разоренному краю, на каждой станции через окна на нас смотрели немцы, для которых время путешествий с удобствами было позади. Они сидели на платформах в ожидании редких составов, вооруженные пакетами и чемоданами. Мальчишки на разрушенном вокзале во Франкфурте ничем не отличались от своих сверстников в Неаполе. Они устремились ко мне с полными надежды глазами, споря за мой чемодан. Аккуратно одетая девочка распахнула дверцу моего джипа, ожидая не денег и не жевательной резинки, а несколько сигарет, лучшей обменной валюты.

Мы пересекли Майн по мосту, названному американцами «золотые ворота» в память о Сан-Франциско. На углу одной из улиц два старика продавали горячие булочки на карточки, рядом бродили несколько смахивавших на советских партизан валькирий в брюках, повсюду встречались инвалиды. Но все же по сравнению с французской зоной здесь царило определенное благополучие. Работали рестораны, и их меню, вывешенные при входе, заставили бы глотать слюнки гурманов с Пфальца. За марку и двадцать пфеннигов посетитель съедал шницель по-венски или ромштекс. Овощной суп или лапша тянули пфеннигов на восемьдесят. В чистых витринах продуктовых магазинов в основном лежали макароны и эрзац-продукты. Как и повсюду, мелькали национальные этикетки на пакетах: «Немецкий чай».

Очередь я увидела только около кинотеатров: «Жизнь Авраама Линкольна», идеального демократа, привлекла множество зрителей. Впрочем, особого выбора у них не было. В развалинах развивался и «гешефт», цветочница продавала елочные веточки, на главной улице вовсю торговали скромными сувенирами.

Несмотря на чахлое благополучие и терпимость оккупационных властей к «братанию», немцы смотрели на них косо. Быть может, сказывались слишком большие надежды на американцев. Широкие возможности дяди Сэма заранее воспламеняли воображение. Последовало разочарование. Американская юстиция была непреклонна, и поначалу чистка проводилась весьма жестко. Бюрократии в американской зоне недостает фантазии, которая царит во французской. Все бормотали

новую молитву «Господи, пошли нам быстро Пятый рейх, а то Четвертый уж больно похож на Третий».

Я все пыталась понять, как зародилась у немцев надежда подружиться с американцами. Влиял ли тот факт, что среди руин стояли невредимыми здания «ИГ Фарбен Индустри», оплота немецкого могущества? Или слух о разладе между СССР и США? А может быть, уверенность, что американцы, чьи города не разрушала Люфтваффе, не испытывают личной ненависти? В действительности же, здешних немцев удивляло, что американцы относились к ним как к врагам.

Все учреждения военного правительства находились неподалеку от концерна «ИГ Фарбен». Я жила в «Парк Отеле», знаменитом пресс-клубе, где размещались различные информационные службы. Настоящий рай для корреспондентов: важная документация в твоем распоряжении, нет необходимости сражаться за машину. Хорошо ухоженные, вежливые сержанты с улыбкой давали необходимые сведения. Объявления в холле приглашали на пресс-конференции генерала Эйстера, шефа прессы, на концерты, на различные демонстрации, на просмотр фильмов, на заседания трибунала и на казни приговоренных к повешению...

В комфортабельных комнатах можно было найти тщательно составленные адреса профилактических кабинетов. На выдаваемых в армии спичечных коробках изображена фигура очаровательной женщины, зажигающей сигарету. Надпись на этикетке, обыгрывающая слово «спичка», звучит своеобразным «memento mori»: вы не в силах самостоятельно бороться с венерическими болезнями. И еще: «Лучшая тактика — отказ от связи, затем — профилактика». Нельзя сказать, что вас не предупреждали о подстерегающих опасностях.

Едва что-нибудь случалось или с телетайпов считывали сенсационную новость, во всех комнатах звучал сигнал, приглашающий журналистов в холл, где с утра до вечера звучала спокойная музыка, обволакивающая сообщения. За каждой дверью трещали, будто пулеметы, пишущие машинки. Можно размять ноги в спортивном зале за пинг-понгом или на механической лошадке. В баре подавали коктейль «атомная бомба», сладкий и ароматный, не имевший ничего общего с жуткой вещью, одолжившей ему название, за исключением быстро следовавшего помутнения рассудка у хвативших лишнего.

Здесь бывали Дос Пассос, Хемингуэй, Людвиг Бемельманц, в которых, к счастью, не было ничего от высокомерия мэтров французской журналистики.

Понять психологию оккупанта в оккупированной стране так же важно, как и психологию побежденного. В 1946—47 годах немецкие проблемы были такими же, как проблемы русских, французов, англичан и американцев. Я испытываю к американцам большую симпатию. Попадая в их общество, каждый раз убеждаюсь, как дружелюбны, открыты и доброжелательны их лица, — гораздо больше, чем у европейцев. Они понимают радость дарения, счастье помощи ближнему. Как часто я ви-

дела у входа в администрацию солдат, раздающих немецким детишкам купленные для них сладости.

Но я быстро испытала на себе, что в профессиональном отношении заокеанские коллеги действуют гораздо более жестко, нежели европейские. Они не стеснялись в средствах, не думали о дружбе, когда речь заходила о хорошем сюжете, источниках информации или опережающей публикации.

Американцы в Германии ничуть не походили на своих соотечественников в Великобритании. Они высадились на наш континент победителями. Война оставила свой след на высоченных парнях, обманчивая ленца которых при надобности сменялась молниеносной хваткой. Она их утомила, закалила, остепенила. Они носили заработанные кровью и храбростью ордена естественно и без показухи. Победы над многочисленными женщинами превратили их в скептиков, хотя многие из них сохранили и наивность. Приходилось слышать немало рассказов о немецких и французских графинях, герцогинях, встреченных в ночных клубах, которые, принимая излияния чувств, не отказывались также от радиоприемников и долларов.

Европа перестала быть для американцев приключением, став докукой, тяжким грузом, мешавшим махнуть домой через океан. Они чувствовали себя здесь неуютно. Им оказалось трудно разобраться в сложной политической ситуации, в которой необходимость требовала неожиданно играть ведущую роль. Обманутые и осмеянные ревнивыми странами, для освобождения которых они приложили немало сил, многие американцы повторяли, подобно моему собеседнику из Гейдельберга, что только немцы, кажется, смогли оценить оказываемую им помощь.

Как и русские, они чувствовали угрызения совести. (Но о русских ниже). Американцев потрясла Хиросима. Иногда я находила их наивными, но зато всегда — благородными.

По установившейся приятной традиции каждый иностранный корреспондент хоть однажды удостаивался приглашения на обед к генералу Эйстеру, замечательному человеку с безупречными манерами и характерным для представителя южных штатов Америки певучим голосом. В конце обеда он ненароком поинтересовался, что я имела в виду в одной из статей, когда писала: «Переезжая из французской зоны в американскую, чувствуешь, будто попадаешь из университета в детский сад». Вырванные из контекста слова, — а это, как я успела заметить позднее, обычное, к сожалению, дело, — часто кажутся двусмысленными. В действительности я не имела в виду ничего плохого и объяснила: «Я хотела сказать, что в политической жизни у французов меньше ригоризма, пусть даже и морального, чем у американцев, меньше пыла в абсолютизации своих принципов, — следовательно, они кажутся более взрослыми, давно разочаровавшимися в человеческих добродетелях».

«С другой стороны, если американцы и моложе европейцев, значит, перед ними открывается большое будущее», — добавила я.

Жизнь в Бадене скучнее и беднее, чем во Франкфурте, где было больше развлечений. Война разрушила городской театр, зато в здании Биржи давали концерты, — и пение скрипок заглушало крики маклеров.

В кинотеатрах под одобрительный свист солдат в пикантных эпизодах шли последние голливудские ленты, а по вечерам в дансинге с зазывным названием «Рандеву» офицеры «братались» с молодыми немками. Автомобилей хватало не только для работы, но и для развлечений. Перемещение в пространстве перестало быть проблемой. По вечерам мы ездили в Висбаденский театр на представление «Мизантропа» с французскими актерами; несмотря на языковой барьер, зал был переполнен восторженными поклонниками.

Как-то меня пригласил на чай симпатичный коллега из концерна Херста. Мы пошли в Офицерский клуб, по-королевски размещенный в замке Кронберг, что у подножья Таунских гор. Замок в 1893 году построили для дочери английской королевы Виктории, вдовы императора Фридриха и матери Вильгельма II. Не без некоторой меланхолии я представляла себе последнего русского царя, проезжающего по парку к величественному зданию, помнящему Эдуарда VII и прочих коронованных особ, словно канувших в прошлое вместе с довоенной Европой... Приятный уголок покоя и отдохновения, где можно ненадолго забыть о разрушенной Европе. По привычке я мучила своим неважным немецким старых слуг замка. Горничная взялась проводить нас и по дороге рассказала мне, что один американский майор присвоил драгоценности Гогенцоллернов. «И он все еще служит», — добавила она с возмущением. «Что она рассказывает, что она рассказывает?» — добивался мой компаньон. Я объяснила ему, в чем дело. Американец проводил меня на террасу, угостил чаем и принялся убеждать, что это одна из историй, призванных скомпрометировать оккупационные войска.

По возвращении в город он бросился по следу, с которого меня сбил, «затравил зайца» и поднял огромный скандал в прессе, принесший ему журналистский успех. Как я уже рассказывала, за хорошую историю самый рыцарственный из моих американских друзей был готов пожертвовать личной симпатией.

Я не ходила на публичные казни, на которые иногда приглашали журналистов, не желая быть ни свидетелем, ни адвокатом. Что там узнаешь? «Как умирает человек?» А я и так видела много смертей.

Позднее, уже в Париже, на встрече «интеллектуалов» мой отказ присутствовать на казнях не был одобрен коллегой-журналисткой. «Я бы, не побледнев, наблюдала казнь всей немецкой нации» и, подозревая меня в антисемитизме, добавила: «Мой отец называл всех антисемитов чудовищами, достойными смерти». «Жаль, что он не объяснил вам, что любование смертью безоружных людей, пусть жертвы и не евреи, — тоже удел чудовищ», — ответила я. Правда, во время войны эту даму занимала только собственная безопасность.

ГЛАВА VIII

Комфортабельный экспресс «Берлинер» перевозил привилегированных лиц из Франкфурта в Берлин и обратно. Отъезд из Франкфурта в шесть вечера, а в семь вагон-ресторан приглашал на обед людей в форме, потому что других пассажиров (кроме нескольких очень важных персон) в поезде не бывало. Предлагаемых блюд не найдешь ни в какой другой зоне. Хороший повод встретиться с друзьями. Люди переезжают через разорванный на клочки континент, встречаются, расстаются и вновь соединяются. Вскоре после отправления американцы постучали в дверь купе, которое мы делили с молодой американкой, похожей на вынутого из коробки розового пупсика, хоть и в чине лейтенанта. «Не желаете ли присоединиться к нам?» В купе на двоих уселось человек шесть или семь. Дверь в коридор оставалась открытой, и проходившим предлагали бренди или бурбон. Все стали друзьями, обменивались адресами. Через два-три месяца они встретятся в другом поезде или в самолете, в приемной или в пресс-клубе, на улице, среди развалин, в ночном ресторане, в военном представительстве...

Я вышла на вокзале Ванзее и остановилась потрясенная: города больше нет, сметен с лица земли. Французский флаг развевался над статуей в честь немецкой Победы. А чуть дальше пленные ломали трибуну, построенную советскими солдатами для парада, и красные знамена еще полоскались на ветру. Деревья Тиргартена словно срезаны ураганом, и среди голых стволов, как призраки, стояли статуи животных. Правее две ультрасовременные башни — бомбоубежища. На их крышах установлены мощные противовоздушные батареи. На следующий день я рассмотрела получше толщину бетонных стен, автоматические ставни на окнах, защищающие от бомб и газов. В опустошенном пространстве обитаемыми оказались только эти две башни. Одну из них превратили в госпиталь, а в темных комнатах, куда не заглядывало солнце, раненые жили как в берлоге. Я поднялась на плоскую крышу, и город раскрыл передо мной свои раны. Огромные пушки смотрели прожорливыми и бесполезными жерлами в весеннее небо 1946 года, по которому летел американский самолет.

Я жила в Грюнвальде, в американском городке для прессы. Как и во Франкфурте, здесь все было отлажено с точностью механизма: машины, шоферы, удобные комнаты в окрестных виллах — я казалась себе заблудившейся Золушкой. Едва разложила вещи, как на пороге возник посыльный. Только что взорвали полицейское управление на Александерплац. Мы вскочили в джипы и отправились на место про-

исшествия, но вернулись ни с чем. Александерплац находилась в советской зоне, а русские не позволяли прессе совать свой нос в их дела.

Броская надпись по-английски притягивала взгляд: «Смертельная опасность, ведите машину осторожно». На берлинских улицах, как и на дорогах американской зоны, она иногда сдерживает порыв водителей-лихачей. Надпись также служит предупреждением представителям четырех держав, правящих бывшим Рейхом.

Побежденный Берлин. Коллега, капитан Аллу, повез меня по городу. Он знавал гитлеровскую столицу во времена триумфа. Вот почти не поврежденный олимпийский стадион, одно из лучших произведений архитектуры Третьего рейха. Тихо, безлюдно. Арена и трибуны выглядят очень величественно. А дальше — игровые площадки, плавательные бассейны. Я стою на трибуне, где Гитлер встречал овации юных атлетов. У входа на стадион старый рабочий неторопливо сбивает молотом со стены символику Третьего рейха и славословия Гитлеру.

Мы вошли в руины Рейсхканцелярии, от нее осталось меньше, чем от античного храма, но время тут ни при чем. В большом вестибюле несколько солдат союзных войск и даже юный британский офицер, присев, выковыривали кусочки золотистого мозаичного пола. Сувениры... Электрические лампочки, дверные ручки, настенные украшения — все было вырвано и унесено. Разбитая люстра превратилась в свисающий с потолка скелет, а в запертом на ключ, но не охраняемом саду образовалась груда разнородных обломков: сломанная винтовка, уже заржавевшая каска... Отсюда по дорожке можно пройти к последнему убежищу Адольфа Гитлера.

Бункер пуст, холодно, здесь разыгрался последний акт трагедии, были видны следы абсурдных действий ее режиссера, предвидевшего все, кроме развязки. Немного разочаровывает обыденность бетонного убежища восьмиметровой глубины. За бронированными дверями ныне лишь пустые сейфы. Голосом музейного сторожа наш немецкий гид рассказывает о комнатах Евы, Гитлера, его странного доктора, о лазарете и кухнях. Все прочно и ничтожно, как в кладбищенском склепе.

Джип двинулся дальше. Следующая остановка — у сгоревшего маленького дворца Фридриха Великого. Пленные женщины-нацистки усердно расчищали руины, словно работали для организации Тодта. Никакой ненависти к нам они не проявляли. Я наклонилась за печным изразцом, и женщина протянула его мне с любезной улыбкой.

Имея пропуск на четырех языках, я в принципе могла ехать куда угодно и отправилась во французский сектор проведать старого приятеля, архиепископа православной церкви в Брюсселе Александра. Проповеди во времена оккупации стоили ему ареста и заключения в Моабитской тюрьме, из которой его освободили советские войска. Он жил при кладбищенском православном храме в Тигеле, постарел и говорил бессвязно. Плача, он рассказывал мне о своих испытаниях, о желании увидеть Россию, пусть и при Советах. Он вернется туда умереть, к счастью, спокойно, не успев растерять иллюзий.

Мой первый неофициальный контакт с советскими солдатами был не очень-то удачным. Неподалеку от Рейхстага находился берлинский черный рынок. Из-за постоянных облав там запретили пребывание военнослужащих трех западных армий. Я поехала туда на джипе с пленным в штатской одежде за рулем. Мне пришлось преодолеть его опасения и убедить остановиться неподалеку от запретного места, где бурлила толпа, в которой иногда мелькали люди в советской военной форме.

Я никогда раньше не видела таких нищих блошиных рынков, но его старый хлам, видимо, казался чудесным русским солдатам. Я видела, как они скупали довоенные, еще до 1918 года, выцветшие и расшитые жемчугом платья, чудовищные абажуры. Молодая женщина предложила мне колечко с рубином и двумя бриллиантиками за 2500 марок (30 тысяч франков в то время). В стране, где пачка сигарет стоила тогда сто марок, эта сумма была ничтожной, но я пришла не покупать, а смотреть. Повсюду толклись спекулянты, воришки, новые бедняки, терзаемые голодом, как в «Трехгрошовой опере» Б. Брехта.

И вдруг — будто нахлынула волна, толпу плохо одетых голодных людей охватил ужас. Советский патруль. Началось всеобщее беспорядочное бегство. Я стояла на месте. Меня подтолкнул какой-то сержант. «Не хамите», — сказала я сердито по-русски. «Пошли, вы арестованы». — «Нет. Я корреспондент союзных войск и не намерена следовать за вами». — «Документы». — «Они в сумке, в машине». — «В вашей машине? Пошли».

Из предосторожности я сначала села в машину, а затем стала рыться, ища пропуск. Шофер тихо шептал рядом: «Боже мой, Боже мой!» «Скорее в Грюнвальд!» — приказала я по-немецки, показывая, но не отдавая пропуск. «Надо все это проверить», — протянул сержант руку в салон, и тут машина тронулась.

С тех пор я не отваживалась сама посещать советский сектор, но часто имела возможность общаться с представителями четырехсторонней комиссии, офицерами и генералами, особенно с маршалом Жуковым. Они привыкли встречать соотечественников, потерянных для России, в форме армий всего мира. Советские генералы и маршалы могли иметь дело с офицером связи французского штаба по фамилии Вяземский, с британским офицером Голицыным, американским полковником Шуваловым, корреспонденткой Шаховской, переводчиком Андрониковым. Они не проявляли неприязни к потомкам известных русских фамилий, а напротив, при каждой встрече отношения становились, как мне думается, все более сердечными и теплыми.

Вот смешной случай: генерал спросил американского полковника, происходившего из графской семьи, как он получил чин. «Я не профессиональный военный и начал службу рядовым», — ответил новый американец. «Как, неужели американцы не знали, что вы из знатной русской семьи? — возмущенно воскликнул генерал. — Разве они не могли побыстрее дать вам следующий чин?»

ГЛАВА IX

Главным источником информации о падении столицы стали для меня не немцы (на их языке я не говорила), а русские Берлина. Некоторые из них оказались эмигрантами с большим стажем или их детьми, часть из них получила немецкое гражданство, большинство же были остарбайтерами, дешевой рабочей силой, депортированной из оккупированной вермахтом России. Не думаю, что кого-то на Западе всерьез интересовала их судьба, как во время войны, так и после нее. Это рабство не шло ни в какое сравнение с положением пленных французов, бельгийцев, голландцев. Западные рабочие трудились на более легких работах, их лучше кормили, разрешали получать посылки от родных и от международного Красного Креста, словом, их не содержали как скотов.

Для остарбайтеров рабочий день продолжался двенадцать часов, а в конце войны — и все четырнадцать. Даже зимой в их бараках не топили. «Чтобы выжить, зажечь огонь, не упасть, единственным способом было воровство, — рассказывали мне несчастные. — Если ты попадался, тебя били и наказывали, но кражи угля и досок в надежде на выживание продолжались. Одеты люди были в то, в чем попали в плен. Оторванных от родных юношей и девушек загоняли в вагоны и отправляли на заводы Третьего рейха. Ни выходных дней, ни элементарной гигиены. Бараки стали рассадниками клопов, но никакого значения для «недочеловеков» это не должно было иметь. Болеть запрещалось, ведь тех, кто не мог встать на работу, отправляли невесть куда, и никто не возвращался на свой завод. На тех же заводах в отдельных столовых немцы ели то, о чем остарбайтеры уже не мечтали: хлеб, масло, яйца, молоко... а остарбайтеры сидели с подведенными от голода животами на холодных лестницах. Обычный рацион остарбайтера включал суп из брюквы, 150—200 граммов черного хлеба и несколько граммов сахара. На ужин давали похлебку на воде, и лишь по воскресеньям второе блюдо — картошку с кусочком свиного сала. Расхожей монетой концлагерей были нарывы из-за недоедания, и бараки походили на лагеря смерти».

Сталин постановил, что подневольные рабочие — такие же предатели, как и военнопленные, поэтому СССР не участвовал в акциях международного Красного Креста, и несчастные были брошены на произвол судьбы. Как сказал один из них: «Коммунисты, фашисты, все едино, уж я-то теперь знаю!»

Приближение Красной Армии пугало бывших эмигрантов и остарбайтеров, они лишь могли надеяться, что первыми в Берлин войдут американцы. Ту же надежду лелеяли и немцы.

Но Красная Армия первой вошла в город. На три дня Берлин был отдан солдатам, грабеж и насилие обрушились на мирное население.

Когда однажды, выступая перед группой советских солдат, я вернулась к истории тех дней, спросив: «Как же вы могли так поступать?» «Вы правы, мы вели себя ужасно, — ответил один из них, — но немцы показали нам, как это делается! Думаете, немцы не вели себя как дикари? Мы хотели им отплатить, пусть больше не мечтают ни о чистоте своей расы, ни о всемирном господстве!»

Я поняла еще лучше эту глубокую внутреннюю озлобленность, когда один из шоферов-немцев признался: «Я служил под Киевом, и случалось, проезжал около огороженного колючей проволокой лагеря. За проволокой толпились дети, некоторые совсем маленькие. Они кричали, выли от голода. Сердце разрывалось. Однажды, не в силах больше терпеть, я пошел туда с двумя буханками хлеба, но меня остановил эсэсовец-охранник и принялся угрожать, что сообщит командиру, какой я плохой немец, ибо хочу помочь неполноценным детям, которым суждено исчезнуть и освободить жизненное пространство для Великой Германии. Как же я испугался!»

Значит, эти дни гнева следует рассматривать именно в свете предшествующих событий.

Но вернемся к рассказу о том, что происходило в Берлине до прихода американцев. Пока день и ночь грузовики привозили в столицу огромное количество войск и отправлялись на Восток, нагруженные, быстро вывозя целые заводы, на город волнами накатывались толпы немцев-беженцев, представляя взору привычную уже картину массового беспорядочного бегства.

Никто не занимался проблемами мирного населения. Людям оставалось только одно — тоже грабить магазины. С утра до вечера мысли рядового берлинца были заняты лишь поисками пропитания, вспыхивали драки за объедки. Первыми открывались двери булочных, и через мгновенье у входа выстраивались огромные очереди. Хлеба всем не хватало. Советские солдаты, естественно, без очереди входили внутрь и выносили по несколько буханок. Случалось, из очереди их окликали соотечественники, с которыми солдаты тотчас охотно делились. С другой стороны, едва миновала лихорадка первых дней, как, по рассказам очевидцев, «советские солдаты стали гораздо добрее и часто раздавали хлеб и консервы тем, кто осмеливался попросить, даже немцам».

Командир одного из подразделений Красной Армии был немало поражен, когда навстречу его солдатам на улицу вышел самый настоящий православный священник в рясе, осеняя всех крестным знамением, радуясь со слезами на глазах приходу русской армии, пусть и красной.

Постепенно эмигранты все теснее сближались с советскими солдатами, которые видели в них вновь найденных братьев. Но первая неразбериха ослабила дисциплину, и вскоре в Красной Армии началось дезертирство. Тогда был отдан приказ заменить боевые войска «частями специального назначения», пусть менее боевитыми, зато политически благонадежными. Атмосфера в городе сразу же изменилась и для эмигрантов, и для остарбайтеров. Первых арестовывали вопреки закону, хотя

они находились под защитой международного сообщества, вторые насильно репатриировались... Вновь воцарился страх, и, спрятавшись в своих убогих жилищах, эмигранты и остарбайтеры могли ждать спасения отныне лишь от прихода американцев. И вот пронесся слух: «Они здесь, здесь! Американцы пришли!» Все осторожно начали выбираться на улицы. И впрямь, державшиеся раскованно американцы разъезжали по улицам в джипах, а со здания Временной Комендатуры исчез красный флаг. Новые надежды и новые опасения. Кому из четырех союзников будет принадлежать сектор, в котором приходится жить?

В русском православном соборе Берлина шла торжественная служба. Молились за объединение двух ветвей русской церкви, московской и парижской, за объединение русских, за союз русских сердец. Однако эти молитвы не были услышаны, и едва, как я уже упомянула, в Берлин, Прагу, Вену вступили «части особого назначения», как начались похищения эмигрантов даже из зон союзников. Когда достоянием общественности стала трагедия в Линце (об этом ниже), «Альгемайне Цайтунг» в октябре 1945 года среди прочих малозначащих новостей напечатала, что двадцать шесть тысяч советских пленных из американского сектора поклялись покончить с собой, если их выдадут властям родной страны.

И пока граждане западных стран, военнопленные и угнанные на принудительные работы, возвращались домой, несчастные русские остарбайтеры чувствовали себя лишь скотом, который вновь гнали на бойню.

Я уезжала из Берлина, куда еще не раз приеду, и ожидала отхода поезда. На соседних путях находился состав, состоящий отнюдь не из спальных вагонов. В товарняке теснились изможденные мужчины, женщины и дети. Локомотив украшали густолиственные ветки, красные флажки и портрет Сталина. На перроне стоял мрачный молодой парень. Я вышла и спросила: «Вы русский?» — «Да, и вы тоже русская?» — «Была прежде, теперь нет». — «Вы с нами поедете?» — «Нет, мне в другую сторону». — «Вижу, — горько посетовал он, — вы едете на Запад, а мы на Восток». И добавил: «Вам везет...» Он побрел в свой товарный вагон, являя собой законченную картину полного отчаяния.

Не стоит рассказывать, с каким облегчением я узнала о судьбе брата. Он уехал из Берлина во Францию в июне 1944-го. Брат, священник православной церкви, находился в юрисдикции митрополита Евлогия в Париже, в 1932 году был направлен служить в церковь Святого Владимира на Находштрассе. Он сохранил удостоверение личности иностранца, выданное парижской префектурой, и нансеновский паспорт, также выданный французскими властями. Война застала его в Берлине, но поначалу брата не беспокоили, хотя неприятных моментов, вплоть до вызовов в гестапо, было не так уж мало. Его обвиняли в крещении евреев и в том, что он принимал в храме остарбайтеров. Немцы делали большое различие между эмигрантами и вывезенными подневольными работниками. Его спрашивали и об отношении к еврейскому вопросу, на

что брат отвечал, что разделяет мнение Церкви, для которой нет ни эллина, ни иудея. И еще в самом начале правления нацистов он напомнил знакомому, старому эмигранту, печатавшему антисемитские статьи, что при погребении православных Церковь обещает: покойный будет почивать в лоне Авраама, Исаака и Иакова.

В Берлине, как и везде, хватало доносчиков, но у брата всегда было много верных и преданных друзей. Я уже знала, с какой удивительной быстротой французы репатриировали не только соотечественников, но и эмигрантов — обладателей нансеновского паспорта, выданного ранее французскими властями. Позднее брат рассказывал, как все происходило. После допроса и проверки личности короткое пребывание в распределительном лагере и возвращение в Париж. На вокзале воодушевленная толпа встречающих с сигаретами, цветами, подарками. Затем прибывших отвезли в отель «Лютеция», где состоялся митинг, на котором по количеству присутствующих и выступающих преобладали коммунисты.

Из разговоров с братом мне открывалась картина иной, менее знакомой Германии. Некий землевладелец в Мекленбурге получил для работ группу советских военнопленных под надзором охраны. Когда один из пленных умер, наниматель по собственной инициативе послал в Берлин телеграмму, прося прислать не священника, а псаломщицу, чтобы похоронить покойного с молитвой. Брат послал одну из монахинь, которая прочла у могилы указанные братом молитвы. Через несколько дней ее вызвали в суд в качестве свидетельницы. Кто-то сфотографировал смиренную церемонию, и добрый самаритянин из Мекленбурга был арестован. Прокурор обвинил его в подрыве духа немецкого народа милосердием и жалостью к врагам. Перед вынесением приговора обвиняемому дали последнее слово, и немец храбро обвинил, уже в свой черед, судей, говоря, что не он, а именно они привели страну к гибели и бесчеловечным поведением вызывали ненависть всего человечества к Германии. Доброго самаритянина приговорили к четырем годам принудительных работ.

Добро, как мы видим это и сегодня, через двадцать лет после войны, никогда не бывает ни таким очевидным, ни таким шумным, как Зло, но следует всегда помнить, что оно есть и что его сила выражает могущество Бога, а потому она безгранична.

Я не хочу забывать лица немцев, служивших Добру: ни хранителя Берлинского музея, который принес брату предметы православного культа (немецкая армия реквизировала их в каком-то советском атеистическом музее) со словами: «Эти святыни украдены в православном храме и должны быть возвращены Церкви»; ни тридцатилетнего молодого человека, который еще до войны пришел к брату с просьбой принять его в лоно православной церкви. Он был офицером СС и решился выйти из партии, когда узнал, что Гитлер советуется с астрологами. Его намерение расстаться с нацизмом имело не политические, а религиозные мотивы.

Всю войну, пока в стране бесчинствовали силы зла, христиане всех конфессий собирались в доме старика, суперинтенданта-протестанта. В тридцатые годы пасторы организовывали помощь православным священ-

никам, депортированным советскими властями; было создано «Общество братской помощи русским». Мой брат рассказывал, что после прихода Гитлера к власти пастор Геттлинг говорил ему: «Для Германии это плохо кончится. Темная мощь движения заключается в том, что вождь славит нацию, а нация — вождя. Образуется порочный круг взаимного идолопоклонства».

В стране, над которой надзирают четыре великие нации-победительницы, интересно сравнить американцев и русских.

Как различаются эти два гиганта наших дней, и как они похожи!

Американские солдаты изнежены и избалованы. Ни один из них не думает о неудобствах тяжелого снаряжения; их госпитали по сравнению с лазаретами Красной Армии роскошны. Американцы не задумываются о материальном обеспечении — оно бесперебойно пополняется. Государство во всех случаях окружает своих солдат самой нежной заботой (исключение составляют лишь венерические заболевания, когда по искусному, хотя и устаревшему методу, пострадавших лечат, но презирают).

А у русских потрепанная военная форма. В их рядах невидимо присутствует страх. Любое неосторожное слово может привести к беде. Один офицер рассказывал мне, что как-то получил приказ защитить высоту, имея в своем распоряжении автомат и трех солдат. Выполнить приказ было выше человеческих сил, но отступление расценили бы как предательство. «И мы совершили невозможное. Ведь у нас не было выбора: победа или смерть». Западные богатства, вернее, хлам разрушенных городов, вызывавший усмешку у американцев, представлялись русским солдатам сокровищами Али Бабы. Американцев, казалось, не интересовало ничего, кроме эротических сочинений на реквизированных виллах высших чинов Третьего рейха. Да и к чему им мародерство, если даже солдат на свое жалованье мог купить что-то, если ему вздумается, у антиквара или поменять сигареты на драгоценности?

Американцы производили впечатление самой сытой армии в мире (говорили, что их объедками можно было бы накормить всю Европу), а Красная Армия была самой нищенской, хотя и столь же могущественной. Одно только это должно было бы убедить материалистов Запада, что благополучие приносит не марксизм, а высокий уровень капиталистического развития. Не будучи материалисткой, я думаю, что победу обеспечивает не только сила оружия, но и решимость сопротивляться, умение переносить голод, холод и усталость.

В любом случае, две самых великих державы мира, воевавших вместе, но по разным причинам, представляли наблюдателю заметный контраст и одновременно странное сходство.

Американский солдат жил припеваючи, окруженный заботой правительства. У него были деньги, в магазинах, о роскоши которых по Европе ходили легенды, можно было найти: фотоаппараты, радиоприемники, нейлоновые чулки, женское белье, включая бюстгальтеры (в принципе, их предназначали для женщин, служивших в армии США, но

мужчины часто покупали их для подарков), конфеты и шоколад, алкоголь и электробритвы, духи и все остальное, не считая драгоценных блоков сигарет. Очень хорошо была организована работа армейской социальной службы. Создавались специальные клубы, где военных всегда ждал чай, какао, вкусное мороженое, хот-доги и оладьи, свежие газеты и журналы, улыбающиеся симпатичные барменши. Можно добавить еще современные госпитали, фильмы, конференции и, наконец, организованные экскурсии, которые привносили разнообразие в монотонную военную жизнь, путешествия по Франции, Италии, Бельгии, Испании...

Материнская опека в американской армии своеобразно проявилась в драматичной истории, связанной с молодым человеком, к которому я испытывала дружеские чувства.

В одном из городов американской зоны, откуда я должна была выехать в Вену, мы встретились в пресс-центре с приятелем, занимавшимся транспортными вопросами. Я надеялась на его разрешение воспользоваться первой же отправляющейся в рейс «Дакотой». Молодому человеку было лет двадцать шесть—двадцать семь. Розовощекий, как ребенок, блондин, он был на редкость вежлив и приготовил мои документы. Самолет вылетал после обеда; последовало приглашение вместе позавтракать в столовой в том же здании. Ожидая, пока он закончит дела, я села в холле и принялась рассеянно листать «Старс энд Страйпс», газету вооруженных сил США. На первой же странице я вдруг встретила фамилию своего приятеля. По мере чтения у меня пересыхало во рту: где-то в Соединенных Штатах молодая женщина с такой же фамилией покончила с собой, выбросившись из окна небоскреба. Говорилось и о том, что она должна была вскоре отправиться в Европу к мужу и что после нее остался трехлетний сын. Я второпях сгребла со стола все номера «Старс энд Страйпс» за это число и, встревоженная, зашла к начальнику моего знакомого.

«Вы читали это?» Он прочел, отбросил газету и пробормотал: «Это не должно иметь к Биллу никакого отношения. Ох уж это женское воображение!»

Тем не менее он позвонил в службу, которая могла дать необходимые сведения. После короткого разговора положил трубку и разволновался не меньше меня.

«Все совпадает, его жену зовут Ненси, они жили в том же городе, сынишке три года».

«Что нам делать?»

«Немедленно приглашу священника и работника социальной помощи; а вы отправляйтесь обедать и ничего не говорите, Бог вам в помощь».

Никому не пожелаешь пережить такое: в огромном обеденном зале я сидела лицом к лицу со смеющимся и шутящим человеком, который радовался приобретенной вилле, куда вскоре должна приехать его жена и ребенок. Он и не подозревал, какая страшная правда поджидает его, и с удовольствием школьника поглощал мороженое с шоколадом, тогда как мое буквально не лезло мне в горло. Мы поднялись на лифте (мне

чудилось, будто я веду его к месту казни), вошли в офис, где все казались погруженными в важную работу. «М. ждет вас у себя», — сказала секретарша. «Меня?» — искренне удивился он. Никогда прежде десять минут не тянулись так долго. Когда Билл вышел, на нем не было лица...

Но страна не бросила в беде своего подданного. Служащая социальной помощи была наготове, пришел священник, и они не оставляли его до самого отъезда, который состоялся через два часа. Все было устроено, документы оформлены, получен отпуск, заказано место в самолете, хотя несчастный офицер ни о чем не просил. С той минуты, как я взяла в руки экземпляр «Старс энд Страйпс» и до завершения этого дела, прошел, несмотря на святое время обеденного перерыва, один час тридцать пять минут.

А советские солдаты не могли мечтать ни о путешествиях, ни о роскошных казармах, ни о магазинах американской армии. Конечно, в оккупированной местности они не страдали от безденежья, но, получая оккупационные марки, не имели права, как мне объясняли, ни отправить их домой, ни обменять на рубли. Они покупали все, что могли, там, где и купить-то было уже нечего. Но как же велика была нищета в СССР во время войны, да и до нее, если их соблазняло все. Много говорилось о страсти советских военных к наручным часам. Некоторые носили по несколько штук на каждой руке, наслаждаясь тиканьем механизмов.

Несколько часов, игрушки, мечты — суть скудная компенсация за разрушенные дома, а жалкие военные трофеи — плата за перенесенные лишения. Мешковатая форма делала их приземистые фигуры еще более тяжеловесными. Коренастых солдат, вероятно, хорошо кормили и снабжали водкой (ее употребление часто можно было наблюдать), тем не менее они служили живым примером нищеты, до которой режим довел страну.

Мне трудно говорить об отношениях низших чинов и офицеров, но дисциплина в Красной Армии казалась гораздо менее доброжелательной и демократичной, чем у американцев. И ни один из тех солдат, с кем довелось поговорить, не держался непринужденно. Американский рядовой ощущал себя гражданином, а советский — всего лишь солдатом.

Но что же объединяло столь разных американских и советских солдат, с непохожими жизнями и судьбами? Они сохраняли (я, конечно, обобщаю) какую-то детскую открытость и чистосердечность. Можно было говорить им о добрых чувствах, не боясь получить в ответ отрезвляющую или ироническую улыбку; все они были жизнелюбивы и не чужды жалости, обожали технику, почитали моральные ценности, пусть сами и не всегда им следовали. Циников среди них было мало. Можно сказать, что обе эти нации могли легче понять друг друга, чем другие.

А ведь согласия среди союзников не было. Словно в басне Крылова, в огромный воз четырехстороннего командования вопреки здравому смыслу впрягли коня и трепетную лань, или, говоря словами другой

басни, рака да щуку. «Рак пятится назад, а щука тянет в воду». Разногласия среди оккупационных войск ни для кого не были секретом, особенно радуя небольшую группу непримиримых немцев. На что они надеялись? На новую войну?

Действительно, в период с 1946 по 1949 обстановка в Берлине нередко накалялась. Американцы и британцы порою жестко противостояли решениям советских властей. Будучи более слабой, Франция, как западная держава, играла тем не менее важную роль, ибо легче договаривалась с СССР и часто выступала посредником, а то и арбитром расходящихся во мнениях партнеров. Оккупация Берлина стала очень дорогостоящим предприятием, которое тяжелым грузом лежало на разоренной и обнищавшей Франции, но она должна была поддерживать свой статус великой державы.

Что же до Германии, то как было не поверить, что страна воскреснет? Достаточно было внимательно присмотреться. Поглядеть на улицы, на прохожих. В глаза бросалось, что никто не хнычет на руинах, не жалуется на разруху. Убеленные сединой старики, словно трудолюбивые муравьи, тащили деревянные балки для починки жилья, а мальчишки, сгибаясь от усилий, несли камни, расчищая город от развалин. Мне показывали план будущего города, где не были забыты даже зеленые зоны. Этот город начинал вырастать на глазах...

Один мой коллега, мастер «шапок» — заголовков, назвал свою статью «Берлин пляшет на своих мертвецах». Да, было и так, например, в «Фемине», средоточии наигранного веселья и бесстыдной спекуляции. Но Берлин, хотя и жил с памятью о своих мертвецах, бурлил бешеной энергией, вызывавшей уважение.

ГЛАВА X

Я ехала по дорогам Баварии к некоему подобию завода, труба которого вонзалась в серое небо. Движение затруднялось бесконечным потоком странно одетых, по сравнению с баварскими, судетских крестьян. Сами того не подозревая, они проходили неподалеку от Дахау, а в небо смотрели трубы крематория...

Вместе с американскими коллегами я вошла в садик. На первый взгляд, мы попали на огромную территорию какой-то упраздненной выставки. Это впечатление усиливалось достаточно новыми деревянными и бетонными бараками. Здесь царили чистота и порядок, но, как бывает в местах, где долго правила жестокость, всем стало не по себе. Разговоры затихли. Американский радиорепортер перестал жевать резинку.

Воображение всегда превосходит реальность, потому что человек приспосабливается к ней.

Мы не видели перед собой ни бродячих скелетов, ни покорных трупов. Только садик. Огонь в печи давно погас. В воздухе — ни крика, ни жалобы. Двое мужчин и женщина остановились у таблички, на которой была указана ужасающая в своей обыденности цифра безвестных жертв. Виной одних стало участие в Сопротивлении, других — принадлежность к определенной этнической группе, еврейской или цыганской. Пепел их смешался с пеплом сутенеров и проституток, спекулянтов, воров и убийц... Как и в мирное время, чистые и нечистые умерли вместе в уравнявшей всех безымянности.

Приходя в Колизей, христиане воскрешают в памяти не только видения прошлых страданий, но и утешающую уверенность в том, что Церковь созидалась на крови праведников. В Дахау было мало мучеников — лишь жертвы, ибо мученик сознательно идет на страдание, а жертва не знает, за что ей достались страдания и смерть.

Мы спустились в ад. Один бывший узник скажет потом, что по сравнению с Бухенвальдом и Нейенгаммом Дахау был чем-то вроде санатория. И у ада есть свои ступени. К этому дереву привязывали заключенных для битья или расстрела. Небольшое компактное строение похоже на баню, на двери надпись «душевые», но на серых стенах изнутри видны следы ногтей, которые оставляли, задыхаясь от газа, агонизирующие жертвы. Потом — адская булочная, в печи которой сжигали людей.

Я испытала не столько ужас, сколько отвращение — отвращение и к себе самой, словно тоже участвовала в инфернальной оргии страданий. У меня нет духа коллективизма, но в Дахау я чувствовала себя и жертвой, и палачом.

Мы вошли в здание трибунала, круглый зал, как холл гостиницы, с освещенными витринами. Но за стеклами были выставлены не тонкое белье или драгоценности, а вещественные доказательства: гениталии одной жертвы, препарированная голова другой, кишечник третьей, абажур из человеческой кожи — образцы научных изысканий Третьего рейха.

СССР — жестокое государство и было таковым в еще большей степени в сталинскую эпоху, но там никогда пытки или казни не носили научно-экспериментального характера. Депортированные после войны из соседних стран по дороге на Север умирали в тесноте товарных вагонов от удушья, голода и жажды. Но это было результатом преступного равнодушия и презрения к человеческой жизни, а не следствием «научных разработок». Несмотря на весь ужас ленинских и сталинских лагерей, там не проводили экспериментов над человеческим материалом; то были варварские, плохо организованные, несмотря на десятилетия существования, каторжные времянки. Дахау же, казалось, строился на века.

Через двадцать лет в Париже вышла книга[1], раскрывшая мне многие жестокие тайны, потому что я не была во Франции, когда там разрешались репрессии в период «освобождения». Садизм, кровавый ужас, доносы и пытки. Мой век развенчал наивную философию Жан-Жака Руссо. Две страны с гуманистической традицией, гордящиеся своей древней и великолепной культурой, пестователи искусств, литературы и законов, снова рухнули в пучину варварства.

Пусть поймут меня правильно. Я русская, правда, с небольшой долей австрийской и итальянской крови. Жестокости на моей родине, ужасы гражданской войны в Испании, не говоря о массовых убийствах в Конго, о дикости арабских стран или Китая, поражают меня меньше, чем моральное падение стран, которые я так долго почитала образцом культуры. Утешением останется лишь достоинство правосудия в Великобритании, где в самые тяжелые времена сбросившимся с парашютом вражеским летчикам предлагали сначала чашку горячего чая, а лишь затем препровождали к властям, и где предателей судили по закону, а не в зависимости от общественного мнения или желания правителей.

Приведу рассказ одной молодой женщины, эту сцену я не могу вырвать из памяти. Ее вместе с двумя соратницами за участие в Сопротивлении отправили в Бухенвальд. Там они попали в Ревье, страшную больницу, где большинство узников не выздоравливало, а умирало. Одна из них, молодая бельгийка из знатной семьи, стояла в проходе между двумя кроватями, на которых умирали молодые еврейские женщины, когда на пороге появился лагерный врач. Как ждали здесь врача, молодого человека в белом халате, в очках. Но человек в белом пришел отобрать «неизлечимых», чтобы отправить их в печь крематория. Он указал пальцем на обеих евреек, а бельгийка в порыве сострадания взяла их за руки и заплакала.

[1] Роберт Арон. История чистки. Изд-во Файяр. (*Прим. автора*).

«Всех троих», — указал врач, и здоровую молодую депортированную медсестру отправили в печь за преступное сочувствие...

Я не знаю ничего более страшного. Ужас, несомненно, не так бы меня потряс, если бы какой-нибудь бандит, обвешанный гранатами и с ножом в руках убил бы трех несчастных женщин! Но на кого положиться, коль скоро вам доказывают, что цивилизация есть лишь внешнее приличие?

Я разговаривала со многими бывшими депортированными. Как действует страдание на человека? Чудесных превращений никому не случалось встречать. Хорошие становились лучше, плохие — хуже. Лишь Божья благодать, а не обстоятельства может изменить человека, и в сумраке жизни нас всегда утешает не большинство, а меньшинство. Еще раз вспомню о матери Марии Скобцовой, русской монахине, первой православной женщине-докторе богословия, в прошлом поэтессе-символистке из Санкт-Петербурга, которая погибла в Равенсбрюке со словами: «Я не испытываю никакой ненависти к этим людям». А Вика Оболенская, говорят, ободряла палачей, собиравшихся ее расстрелять в Моабитской тюрьме... Ее подруга Софья Носович, пережившая пытки на улице Лористон и не выдавшая «соучастников», по сей день казнит себя за то, что однажды, во время переклички в тюрьме, она, уже ослабевшая от голода и больная, инстинктивным жестом самозащиты оттолкнула старую истощенную женщину, которая оперлась на нее и могла ее повалить... Она упрекает себя и за то, что не смогла, как одна молодая немка, хорошо знавшая цену своему поступку, поднять голос против грубости охранника, ударившего старуху-узницу. Другая моя подруга, бывшая заключенная, отказалась свидетельствовать на процессе своих палачей, ибо она их тоже простила. Это были мученики, но не жертвы.

Многие узники вернулись в обычный мир, поняв ценой собственных страданий, что в жизни важно, а что нет. Так, моя приятельница, еврейка по национальности, Берта, с которой мы несколько лет назад спорили в Париже о бестселлере, полном сальных постельных сцен и алкогольного бреда, с улыбкой рассказала: «Лишь в лагере я поняла, что такое настоящая, прекрасная любовь, когда один из заключенных протянул мне сквозь колючую проволоку черствую краюшку заплесневелого хлеба, самый дорогой тогда для нас подарок. Вот это настоящая любовь...»

В зале заседаний шел судебный процесс, слушали свидетелей защиты по делу охранника концлагеря Дахау. Одним из свидетелей выступал генерал СС, к тому же князь, чью малоприятную историю я знала. Он угодил в Дахау за два месяца до конца войны из-за капитулянтских настроений. Это решение Гитлера повлияло на снисходительное отношение к нему американцев. Несомненно, что с генералом СС, пусть и заключенным в Дахау, обходятся там не как с мелкой рыбешкой, а, скорее, как с почетным гостем. Но что сказать о невменяемости, с какой он давал свои показания?

«Этот обвиняемый очень неплохой человек! Однажды, узнав, что у меня день рождения, он принес мне в подарок цветы. А другой раз я пожаловался ему, что крики и стоны за стеной мешают мне спать. Через мгновение все прекратилось».

Кто и почему кричал? Генерал явно не интересовался подобными вопросами. Его это не касалось.

Русские по традиции видят во всех арестантах, даже самых закоренелых преступниках, «несчастных». Этот заключенный вызывал у меня глубокое отвращение, но мне надо было передать ему весточку от его родных, которые не сделали ничего предосудительного. Я подошла к нему в перерыве между заседаниями. По-прежнему не отдавая себе ясного отчета в своем поведении, он протянул мне руку с некоторой снисходительностью. Будь он на свободе, я бы никогда не дала ему свою, но на свободе была я.

«Прекрасные у вас знакомства», — прокомментировал насмешливо один из моих коллег.

Полдень. Из столовой трибунала доносился звон бокалов, стук приборов, там накрывали на стол. Пришпиленное к доске объявление приглашало на бракосочетание переводчика Давида Перельмана и секретаря Ривы Хаим.

А судетские немцы все брели по дороге, со своим скарбом и грузом обманутых надежд. Соотечественники встречали их плохо, упрекая: «Из-за вас мы и развязали войну».

Пленные, прервав работу, возвращались на завтрак в лагерь. Я смотрела на их сытые лица, на слегка поношенную американскую форму. Они входили в ворота и останавливались группами по несколько человек, закуривая американские сигареты. Из перекрашенных бараков гитлеровского Дахау выходили остальные заключенные. Они шли медленно и бесцельно, как все пленные на свете.

В помещении охраны скучали дежурные сержанты. Я вызвала офицера, и появился совсем молодой человек с детским лицом.

«Ничего не поделаешь, мадам. Я звонил начальству. Оно непреклонно. Ни одна женщина-журналистка не пересекала границ лагеря с тех пор, как с одной американской корреспонденткой произошел неприятный случай. Если хотите, кого-то можно привести сюда. Вас оставят с ним наедине. Нам нечего скрывать, но солдаты будут поблизости, стоит лишь окликнуть. Зададите все вопросы, какие пожелаете. Я не думаю, что они могут пожаловаться на плохое содержание».

«Я даже слышала от перемещенных лиц, что заключенных кормят лучше, чем их».

«Но они лишены свободы и ждут своего приговора», — укоризненно парировал офицер.

Он протянул мне листок с фамилиями бельгийцев, голландцев и французов. Среди них были эсэсовцы из Севенн, с Корсики, из Пиренеев, с Севера. Я выбрала наугад одного.

Привели молодого и крепкого человека с безразличными глазами.

«Ну и что с того, что я был в СС? Я во французов не стрелял, только в русских».

«Вы носили немецкую форму».

«А теперь ношу американскую, разве меня это изменило? Я не понимаю, за что меня задержали?»

Он нервно полез за сигаретами, не забыв угостить и меня. «Расскажите мне о Париже, вы ведь не так давно оттуда».

«Да, табака там пока нет, даже самого плохого».

«Знаю, знаю. Еще немного, и нам завидовать начнут! Хорошо накормлены, тепло одеты, но дни идут, товарищи мои под судом. А мы так ничего и не понимаем. Ведь мы воевали. И только. Разве военнопленных судят?»

И впрямь, как ему понять? Он не поумнел, рисковал головой ради идеи. Могла ли свободная Европа судить их?

«Что с нами сделают?»

«Вывезут во Францию. Потом на родине будут судить и, поверьте, чем позже, тем лучше. Пока кипят страсти, боюсь, репрессии примут форму, о которой потом придется лишь сожалеть. Но все забывается. Единство нации, как и семьи, возможно лишь при забвении обид. Терпите и не бойтесь».

К какому берегу мог прибиться этот парень? Мир духовный и мир интеллектуальный, как мне показалось, были для него одинаково закрыты. Это был человек действия, драчун, одержимый одной простой, но бескорыстной и могучей идеей, он не был буржуа, защищающим свое добро. Его можно уважать, хотя, без сомнения, он не обладал той внутренней свободой, которая помогла бы и в лагере сохранять способность сопротивляться невзгодам.

Я предложила передать письмо матери, протянула блокнот и карандаш. Как прилежный ученик, он начал писать, потом остановился. «Не знаю, что ей написать...»

«Что вы здоровы... несколько добрых слов...»

«Лучше не надо. — Он вернул карандаш. — Пусть лучше ничего не знает про меня. Она еще больше расстроится».

Пленный встал. Он походил на мустанга в клетке.

«Спасибо, что пришли. Это так приятно, когда тебя навещают».

И он протянул руку. Я пожала ее без внутренних колебаний.

Со времен первого приезда я жила в Мюнхене в одном из немногочисленных полуразрушенных и кое-как восстановленных отелей. Несмотря на плотно закрытые окна, с улиц поднимался запах гниения. Было очень жарко. Одуряющий запах проникал в комнату, лип к мебели, одежде, к коже. Жирные крысы гуляли по мостовым, не обращая внимания на людей.

Из всех немецких провинций в Баварии нас встречали наиболее враждебно. Именно молодые баварцы в течение нескольких недель оказывали довольно сильное сопротивление союзникам. Богатый католический край и одновременно колыбель национал-социализма, Бавария по своему географическому положению была наименее подвержена иностранному влиянию. В Мюнхене, как и везде, люди старше сорока пяти

погрузились в пучину отчаяния, а те, что помоложе, от пятнадцати до тридцати пяти, оставались непримиримыми.

Племянник портье, бледный прыщеватый юноша, но уже ветеран войны, провел меня в ресторан, устроенный во дворе среди развалин. Стояло лето, и столики вынесли наружу. Трава начинала расти на израненной земле. На маленькой эстраде три старика исполняли тирольские песни. Женщин было мало. Настоящий мужской клуб в немецком духе. Я была в штатском платье, американцам здесь появляться не рекомендовалось. Едва мы принялись за тушеную кислую капусту, в которой не было ни сосисок, ни ветчины, и пиво, как мой гид поманил рукой приятелей. Четверо юнцов из Гитлерюгенда неторопливо подошли к нашему столику. Бравые вояки, прошедшие серьезные бои, носили национальные баварские костюмы, короткие штаны не скрывали мускулистых ляжек. Уже ветераны. Все они побывали за границей, даже, может быть, успели познать вкус победы. А сегодня стараются пережить поражение.

«Чем вы занимаетесь? Работаете?»

«Нет», — сухо звучит в ответ.

«Но в городе полно работы, надо разбирать развалины, выносить тела...»

«Не стоит труда, ведь впереди новая война». Разлад среди союзников наполняет надеждой их сердца.

«Война с кем?»

«Ну не с нами же, — отвечает насмешливо один из парней. — С русскими. Теперь мы вне игры, вам придется самим драться. А когда вы познакомитесь с ними поближе, как мы, кое-что поймете».

«Например, что?»

«Они — дикари».

«Не больше, чем вы! Мюнхен не так далеко от Дахау, вы не можете не знать, что там происходило».

Все пожали плечами: «Чушь и пропаганда!»

«Поезжайте и посмотрите. А зачем там печи?»

«Это удобно для сжигания трупов».

«Значит, вы признаете, что там были и трупы?»

«Надо было Европу спасать. Вы нам помешали это сделать. Теперь выпутывайтесь сами. Вас хотели избавить от грязной работы».

«А евреи? Вы ведь уничтожили миллионы евреев!»

«Вы здесь найдете их предостаточно».

Это действительно так. Во всех зонах, кроме советской, среди сотрудников оккупационных служб, юристов, чиновников можно встретить сотни, тысячи евреев, среди них немало немецких, которые вернулись вместе с союзниками как победители.

«Мы хотели освободить Европу от тех, кто не хочет строить и только разрушает нашу цивилизацию».

Я предпочитаю такую надменность и невменяемость пошлости обвиняемых на процессе в Раштатте.

Один из стариков, закончив петь, подходит к нам и протягивает свою тирольскую шляпу с живыми цветами. «За ваше здоровье!» — говорят парни.

Я вернулась в город. Переполненные трамваи не вмещают пассажиров, шумные джипы проносятся мимо. Захожу в дансинг отеля, где встречались Гитлер, Чемберлен и Даладье. Балкон, с которого они предстали перед народом, обрушился. В зале, где играет хороший оркестр, атмосфера совсем не похожа на настроение в клубе непримиримых. Я прошу разрешения присесть рядом с молодой парой. У молодого человека искривленная ступня. Пока его подруга танцует, он весьма любезно разговаривает со мной.

Я снова села в свой джип, разумеется, с пленным водителем, бравым унтер-офицером, который доверчиво поведал, как одним из первых записался в партию, и просил не выдавать его, если американцы узнают, он потеряет место. Он отвез меня в Бургербраукеллер, где в 1923 году начинались собрания Адольфа Гитлера. Под деревьями стоят грузовики и джипы. Внутри, в зале, белые и черные солдаты наблюдают за выступлениями немецких танцовщиц и жонглеров. Бургербраукеллер был разрушен в 1943-м, а в 1945-м восстановлен как клуб американской армии. Шофер ностальгически рассказывает о путче 1923-го, о смерти первых наци. «Гитлер говорил три часа, потом трижды выстрелил из револьвера в потолок и повел нас на первую публичную манифестацию».

Когда в 1939 году взорвалась бомба первого покушения на фюрера, мой шофер все еще был в городе. Мало знать факты, история становится живее в рассказах очевидцев. Почти везде я выслушивала такие рассказы, люди делились со мной тем, что порой скрывали от моих товарищей.

Мы гуляли повсюду, и мой унтер-офицер продолжал комментировать недавнее прошлое своим меланхолическим голосом.

Коричневый дом превратился в груду кирпичей, от гестапо, располагавшегося в старинном дворце фон Прессигов, остались одни воспоминания. Резиденция, с балкона которой обнаженная Лола Монтес лила шампанское на разъяренную толпу, требовавшую отречения старого Людовика Баварского, превратилась в обгоревший скелет.

Музей армии, где находится американская офицерская столовая, окружен развалинами. Среди них можно видеть старые, искусно сделанные пушки времен кружевных войн, наполеоновские пушки с ядрами, первые немецкие танки, сражавшиеся с французами в предыдущей войне, первый советский танк, захваченный в плен... Земля, изрезанная воронками и канавами, — это саван Неизвестного солдата Баварии, который наконец-то мирно спит в своем символическом мавзолее, оказавшемся лучшим произведением Гитлера.

ГЛАВА XI

Сержант в столовой Альпийского клуба Берхтесгадена был воплощением скуки. Обвив своими длинными ногами ножки стула, он давил пальцами мячик для пинг-понга и зевал во весь рот, демонстрируя прекрасные крепкие зубы. Да, он считал дни до отъезда. Оставалось еще одиннадцать месяцев. Мы поболтали, пока я ела хот-доги в ожидании двух офицеров морской пехоты, которые должны были отвезти меня в Орлиное Гнездо. Сержант был родом из Техаса. Судя по рассказу, его прошлая жизнь была не очень насыщена событиями. Но он тосковал, несмотря на курортную жизнь в прелестном пейзаже, на успех у девушек и экскурсии по европейским столицам. Он хотел в Техас, на плоскую землю, утыканную кактусами, на свою станцию обслуживания автомобилей, к своей подружке, хотел в Америку и все тут. «Боже, когда же все это закончится!» — вздыхал он.

Виллы нацистских высших военачальников располагались в нескольких километрах от Берхтесгадена. «По правде говоря, — предупредил один из моих «морских» приятелей, — в Бергхофе смотреть не на что, дом разрушен почти до основания, «сувениры» исчезли». Пусть так, но память-то жива.

Пока машина карабкалась в гору, я с изумлением рассматривала долгую торжественную процессию молчаливых мужчин, женщин и детей, направлявшихся в ту же сторону. Многие были в темной одежде, но с благоговейными лицами.

«Паломники, — пояснил Дэниэл. — Они идут на виллу Гитлера. Вас это удивляет? Но почему? В каждой стране всегда обожали того, чьей жертвой являлись. Французы, потеряв после наполеоновских войн первенство в Европе, видят в Наполеоне, скорее, не законодателя и не борца с революционным террором, а завоевателя, хотя из-за него на полях сражений погибло столько их соотечественников. В благодарность за эфемерные победы императора они соглашались с ним в то́м, чего никогда не прощали королям. И тут уж ничего не поделаешь».

Вилла Гитлера была нагромождением бревен и железа. Внутри сохранилась лишь купальня, устоявшая перед любителями сувениров, взрывами и воровством, — кусок крыши, каменный пол. На этом полу сосредоточенные паломники с опущенными головами исполняли свой траурный долг.

Мы вышли и отправились дальше. Подъем стал круче. Дорога была проложена в скале и временами преграждалась тяжелыми воротами, которые должны были закрывать доступ к Орлиному Гнезду, а ныне

стояли распахнутые настежь. Похолодало, я накинула меховую куртку. Наверху, у подножия Гнезда, солнце исчезло, скрывшись в дымке за горизонтом. Даже птичий крик не нарушал тяжелую давящую тишину. Сумрак медленно наползал на голые обледенелые вершины. А ниже, за густым туманом, пейзаж, казалось, проваливался в удушливую тесноту.

Нельзя придумать лучших декораций к Сумеркам Богов. Черные вершины сжимали «смертное сердце» такой холодной, полной отчаяния тоской, что в душе естественно зарождалась мысль о смерти. С трудом верилось в собственное существование, в то, что там, внизу, живут люди со своими страхами, трудами, надеждами, что вновь наступит рассвет. Вокруг Орлиного Гнезда жизнь застыла в демонической гордости...

Но мы еще не доехали туда. Нам оставалось преодолеть пещеру в скале и сесть в мощный лифт, который и доставит нас на вершину. Как всегда, я лихорадочно вспоминала немецкие слова, слова языка, которым так хорошо владела в детстве, чтобы расспросить человека, приводившего в действие сложный подъемный механизм.

Мои спутники, хмурясь, слушали наш разговор, а немец, безусловно обрадовавшись возможности прервать одиночество, становился все более говорливым. Он был в личной охране Гитлера со дня строительства Орлиного Гнезда и практически никуда не выезжал.

«Вам повезло, вы здесь, а не в тюрьме, как большинство ваших товарищей».

«Меня дважды сажали в тюрьму, — улыбнулся он, — но, понимаете, у этого лифта есть секрет, его знаю только я. Американские механики все пытались его разгадать, но не сумели, а я всего не раскрывал, всегда что-то забывал. Все генералы желают посетить Орлиное Гнездо. Пришлось отпустить меня на свободу, чтобы я мог их провожать туда». Он подмигнул мне.

«Что он рассказал вам?» — заволновался Дэниэл.

«Шутку, которая помогла ему ускользнуть от тюрьмы».

«Послушайте, — взмолились мои друзья, — не пишите и не рассказывайте никому об этом. Могут быть неприятности. Денацификация — очень серьезное дело. Нас все время упрекают в слабости. Конечно, все знают, что этот парень пользовался большим доверием Гитлера, но он нужен нам, поэтому молчок».

«Я согласна!»

Сколь долог обет молчания? Год? Не вижу никаких препятствий для обнародования этой истории. Впрочем, если человек прослужил все время в Орлином Гнезде, то он последний, кого можно приговорить к смертной казни за военные преступления.

Как я и попросила, охранник сопровождал нас в это место отдыха возгордившихся людей.

«Лично мне никогда не пришло бы в голову отдыхать в таком зловещем месте, подходящем для маньяков-мегаломанов».

«Фюрер тоже так считал, — ответил к моему изумлению немец. — Это идея Бормана, но Ева Браун любила принимать здесь друзей».

«Каких друзей?» — любопытствую я.

«О! Высоких гостей, членов королевских семей...» Он не хотел уточнять.

«Вам, должно быть, здесь одиноко?»

«Я не жалуюсь, паек хороший, все тихо и мирно».

«Никогда раньше я так не жалел, что не знаю немецкого, — вмешался Дэниэл. — Что он мог вам рассказать? Но помните, вы обещали молчать!»

«Клянусь вам!»

И мы отправились вниз, на землю, по которой ходят люди, пусть иногда она и кажется такой же зловещей, как увиденный нами дикий заоблачный пейзаж.

Русский художник отвел меня на вечеринку, одну из немногих, на которых мне довелось побывать в Мюнхене. Собрались интеллектуалы. Американцы принесли виски и сигареты, пришли также русские и немцы. Атмосфера очень напоминала берлинскую после предыдущей войны. Бледный немец с лицом наркомана наигрывал на пианино, все пили среди шума голосов и разброда умов.

«Ящики пусты», — произнес мой сосед. И это особенно поразило представителей культурной службы союзных войск. Они надеялись, что в черные годы немецкие писатели подпольно писали книги гнева и отчаянья. С 1939-го по 1945-й, конечно, что-то могло и созреть. Но ничего не было написано, а в это время в СССР, отступая, голодая в блокадном Ленинграде, в аду сибирских лагерей, поэты и писатели тайно комментировали события, создавали литературу, оставляли свидетельства...

Немец, сидевший рядом со мной с другой стороны, хотел знать о событиях во Франции. Я назвала несколько имен, популярных среди французской интеллигенции.

«Сартр? — переспросил он. — Но в нем же нет ничего французского. Франция никогда не была страной отчаяния. А происходящее доказывает, — в его глазах блеснула победная радость, — что мы ушли, но остается наше влияние: в вашей стране господствует немецкая философия, наша патологическая страсть к саморазрушению. Возможно, позже — вы сами признаете, что это уже началось, — скажется влияние американской литературы, а вместе с ней и американского образа жизни».

Я с удивлением посмотрела на него. Думал ли он всерьез, что во Франции не будет, как после войны 1914—1918 годов, литературного движения, новых оригинальных идей?

«Увидим, кто из нас окажется прав».

«Хотим мы того или нет, жизнь изменяется на американский лад. Выбора нет: придется сверять время по советским или по американским часам».

Языки развязывались, споры разгорались. «Европа являет собой кладбище, среди руин которого старая ведьма тешит себя зрелищем собственного вырождения», — заметил кто-то. Другие сравнивали Старый Свет с богатой вдовой, которая задыхается, пока растут и крепнут два других континента.

Кто-то запротестовал: «Не кладбище, а музей, вот что мы такое, мы выставлены на потребу докучливым посетителям. Тем хуже! От музея до ярмарки один шаг!»

Меня поражала полная неприспособленность интеллектуалов к практической жизни. Сегодня эти почти всемогущие люди замышляют революции, но — за редким исключением — не умеют воспользоваться их результатами, они со своими комплексами оторваны от жизни... Я предпочитаю моим современникам и коллегам поэтов и писателей прошлого, например, Антуана де Монкретьена, для которого его трагедии были лишь времяпрепровождением, а образом жизни стали его поступки, Франсуа Рабле, не нуждающегося в комментариях, Агриппу д'Обиньи, Коммина и Клемана Маро. Если Пушкин шел на поля сражений и навстречу чуме, Жан-Поль Сартр не решался выйти на улицу, когда там что-то происходило, и из осторожности посещал лишь те страны, где революционная диктатура уже восторжествовала...

Всякая ангажированность без риска кажется мне недостойной. Сегодня, во времена манифестов, я восхищаюсь лишь теми, кто их подписывает в стране, где это опасно, как рисковали, например, в 1966 году писатели, протестовавшие в Москве против ареста Синявского и Даниэля. А в Париже, насколько известно, во время оккупации никто не протестовал и ничего не подписывал против депортации евреев — осторожных пророков я не признаю!

Ночь в мюнхенской квартире тянулась бесконечно долго. Интеллектуальная атмосфера рассеялась в винных парах и табачном дыму, в признании собственной беспомощности. Неужели Запад, раздражаемый своей нечистой совестью, нашел выход лишь в отказе от всех духовных и нравственных ценностей?

ГЛАВА XII

Я несколько раз ездила в Нюрнберг, и каждый раз разворачивавшийся там многомесячный судебный спектакль вызывал у меня удивление и разочарование. То была пародия на Страшный Суд в грандиозной и одновременно убогой постановке. Уже во время «малых» процессов в Раштатте и Франкфурте мне казалось, что поскольку аберрация сознания не позволяет подсудимым воспринять никакие доводы обвинения, все происходящее становится лишь местью, а не наказанием. Впрочем, и для обычных убийц или воров это тоже справедливо...

В Нюрнберге все обстояло хуже, потому что многим обвиняемым, особенно военачальникам, ясно было одно: победители судили побежденных. Легко вообразить, что, повернись колесо истории иначе, на скамье подсудимых могли бы оказаться Сталин, Черчилль (прошу меня извинить за то, что ставлю эти два имени рядом), Рузвельт или де Голль... Ни один государственный деятель не избегает ошибок, всякий правитель так или иначе проявляет известное презрение к человечеству...

Конечно, есть своя градация, и ни Гитлер, ни Штрайхер не могли бы быть оправданы никаким трибуналом, даже судьями из нейтральных стран. Однако, как можно было осудить генерала Йодля, который вторгся в Бельгию «в нарушение законов», без объявления войны, но по приказу главы государства и армии?

Мы все так или иначе принимали участие в актах насилия и жестокости, особенно журналисты, которые в безопасных студиях Би-би-си призывали сограждан убивать немецких солдат на улицах оккупированных городов. Оправданы могут быть лишь те, кто, рискуя собственной жизнью, подвергал опасности и жизнь других, — солдаты и участники Сопротивления.

Нюрнбергский процесс лично мне казался незаконным, несмотря на тщательное соблюдение всех формальных процедур. В нем крылось и большое психологическое заблуждение. Приговор лидерам Третьего рейха выносили иностранцы, превращая их тем самым в героев будущих национальных эпических преданий. Лучше было бы, если б процесс велся немецким чрезвычайным судом, а вердикт выносился от имени Германии. Надежды Сталина в этой истории оказались обманутыми. Из разговоров с советскими коллегами я поняла, что их удивлял ход процесса. Очень вероятно, что, по мнению Сталина, все должно было развиваться по сценарию судов над троцкистами, еврейскими врачами-вредителями и т. п. Ожидались «чистосердечные признания», «искренние покаяния» и даже «самообвинения», о способах получения которых рас-

сказывает в недавно вышедших в СССР мемуарах один советский генерал, вернувшийся из мест заключения. Но юридический дух англичан и французов помешал выполнению плана «совершенного» суда. И хотя для вынесения приговоров нацистской верхушке пришлось дать закону обратную силу, юридические нормы соблюдались очень строго.

Адвокаты обвиняемых могли вполне исполнять свои обязанности. Они зачитывали документы, которые доказывали, что и союзники не всегда придерживались Женевской Конвенции: это возмущало советских представителей и вызывало чувство неловкости у других. Говоря о пародии Нюрнбергского процесса на Страшный Суд, я имела в виду следующее: никто из «Судей» — речь не идет о служащих судебного ведомства — не был образцом исполнения долга, а один из них и вовсе был сущим дьяволом.

Попав впервые в зал заседаний Международного трибунала, я испытала некоторое волнение. Сложная машина суда завертелась, и, надев наушники, мы следили за прениями сторон. В глаза бросалась очевидная несогласованность между специальными юридическими терминами и скрытыми за ними преступлениями, слезами, горем.

Погребенные под обломками своих мечтаний строители мимолетного величия Третьего рейха и немецкой нации были заранее приговорены и знали об этом. Они знали и о том, что сам способ их защиты и поведение при вынесении смертного приговора будут питать немецкую легенду.

И все это происходило в Нюрнберге, городе триумфальных шествий, неистовых приветствий, песнопений в честь Хорста Весселя и чеканного стука сапог. Нюрнберг участвовал в рождении надежд, обернувшихся мрачным призраком...

Большая и красивая вилла Фабера стала пресс-центром. Она буквально кишела специальными корреспондентами со всего света, которые из-за нехватки мест спали в гостиных и в служебных помещениях. Здесь больше, чем где-либо, пресса казалась мне огромным спрутом, раскинувшим свои щупальца на всю вселенную. Она многоглаза, имеет тысячи ртов и ушей. Лишенная позвоночника, она прогибается во всех направлениях, неуловимая, опасная и... необходимая. Своей черноватой субстанцией (ее кровь — чернила) она скорее скрывает, нежели открывает правду. Но никто не знает, где правда.

Едва попав в Нюрнберг, я захотела покинуть город, избавиться от процесса и одновременно вырваться из-под колпака, в котором мы все там пребывали. Пили здесь больше обычного. Я встретила несколько знакомых коллег, а также людей, с которыми сталкивалась в Лондоне во время войны. Кто-то звал меня по имени или приветствовал на американский лад. Советские журналисты держались сплоченно и обособленно, как стадо вокруг молодого и очень властного пастуха. Они вежливо отвергали все предложения западных коллег, избегая опасной для себя скученности. Никто из них в одиночку не отваживался приблизиться к нам.

Я очень хотела познакомиться с этими людьми. Они привыкли видеть русских в форме союзников, но их подозрительность оставалась крайне болезненной. Серые холодные глаза их пастуха, казалось, испытующе примерялись ко мне, пока он провозглашал тост за мое здоровье в баре пресс-центра.

«Живя в капиталистическом лагере, вы должны были стать убежденной реакционеркой», — шутил он.

Я удивлялась: «Реакционеркой? Почему? Ведь в некотором смысле я гораздо менее реакционна, чем вы, так как выступаю против государственного капитализма. Иметь в хозяевах государство, значит, на мой взгляд, ограничивать, например, свободу трудящихся, поскольку у них нет права на забастовки».

Разумеется, я шутила, но мой собеседник был недоволен, Тем хуже. Продолжаю: «Ваши теории кажутся мне пройденным этапом. Маркс не смог предусмотреть развития рабочего движения, отсутствия в развитых капиталистических странах люмпен-пролетариата. А остальные, все эти Чернышевские и «люди шестидесятых годов» со своими обветшавшими идеями безнадежно устарели. Наука в ту пору была лишь детским лепетом. Пример тому — тогдашняя вера в материю...»

Включаясь в игру, он сопротивляется: «Известно, что такое материя, ее можно видеть, осязать, как например, этот стол, этот табурет...»

«Нет, нет, это лишь видимость, волны, по сэру Джеймсу Джину, распространяющаяся энергия... в конце концов, даже Эйнштейн и Бройль еще не знают точно, что такое материя...»

Я отдавала себе отчет в прискорбном дилетантизме собственных суждений и очень удивилась, что мои мысли задели собеседника. Он привык к массовой пропаганде и, подобно мне, оставался безоружным перед вопросами, превышающими наше понимание.

Мы стояли перед стойкой бара. Советские журналисты, которые поначалу, казалось, следили за нашим разговором с известным интересом, потихоньку исчезли, словно не хотели присутствовать при споре, который заводил их шефа в тупик. Он тоже ушел, отказавшись от моего предложения присоединиться к приятелям, которые шли потанцевать в отель, где жили союзники.

«Спасибо, мы приехали сюда работать», — ответил он холодно.

Я пошла переодеться, но в очередной раз заблудилась в густом саду, где ничего не было видно. Проходившая рядом женщина молча взяла меня под руку, не отвечая на мои вопросы ни на английском, ни на немецком, ни на французском. Мы вместе вошли в вестибюль особняка, и пока я говорила с дежурной, незнакомка с некрасивым, но благородным лицом вошла в телефонную будку. Я невольно услышала начало разговора.

«Скажу тебе лишь одно, Сеня, ты плохо поступил со мной... — она говорила по-русски. — Однажды, Сеня, твоя совесть подскажет тебе это, тебя замучают ее угрызения. Я не заслужила такого...»

Искренность размеренной речи, ритм хорошо поставленного голоса тотчас же перенесли меня в атмосферу чеховских пьес. Я задержалась на мгновение...

«Да, Сеня, я несчастна. Но это не имеет значения, важно, что ты поступил плохо».

Этим простым и немного торжественным языком как бы говорила сама Россия. Слова «справедливо» и «совесть» обрели всю полноту своей ценности. И я испытала ностальгию по жестокому, но неподдельному миру.

Чистая случайность — бог журналистов и романистов — свела нас в ресторане, куда мы пошли потанцевать, с советским полковником, Героем Советского Союза, как было видно по одной из его многочисленных наград. Его звали Семеном, и я не сомневалась, что именно с ним говорила обиженная женщина.

Широкое лицо с голубыми глазами и ранними морщинами выдавало в нем добрейшего человека. Он меня не боялся.

«Я не танцую нескромных танцев, но когда оркестр заиграет вальс, я вас приглашу», — предупредил он. И вот мы закружились в вальсе.

«Париж? Я там бывал. Прекрасный город, и женщины там красивые, немного худые, правда, но хорошо сложены. Наши русские женщины великолепны, они это доказали, но, как бы сказать, они, как водка, а вы, на Западе, как шампанское».

Мы продолжаем вальсировать. «Вы танцуете с дочерью эмигранта», — заметила я.

«И мне это доставляет огромное удовольствие. У нас и без того много дел, чтобы сводить счеты с прошлым. Знаете, на моей улице в Москве живет бывшая графиня; она очень стара, и моя мать часто носит ей поесть. Грустно!»

Он говорил о бывшей графине, как прежде говаривали о бедных.

«Вы были в России после войны?» — спросила я.

«Да, в отпуске. Украина лежит в руинах, придется все восстанавливать. А Ленинград! Там было просто страшно!»

«Как же там сейчас живут?»

«Конечно, не так, как в Париже, но, — он слегка запнулся на этих словах, — там чище во многих отношениях...»

«Но недостает свободы», — произнесла я почти неохотно. Это слово, кажется, испугало его, лицо посуровело, но мы кружились среди танцующих пар, громко играла музыка. «Вы правы, — он чуть понизил голос и медленно произнес: — свободы пока недостает! Но не будем об этом. Мы живы, и это чудесно!»

«Я не хочу спать», — сказал американец Ред, когда вечер кончился и музыканты закрыли футляры с инструментами. — Завтра я возвращаюсь в Штаты, поймите, в самом деле!»

Он посадил меня и своих двоих приятелей в джип. Мы поехали по улицам, пересекли город, промчались на большой скорости по поселку и благополучно добрались до загородного дома, реквизированного для

американских офицеров. Ред достал бутылку кукурузного виски и бутылку трехзвездочного коньяка. Пластинки с популярными песенками крутились на проигрывателе. Все пили, а возбужденный Ред подводил итог увиденному и вслух мечтал о будущем. Коньяк, несмотря на звездочки, оказался поддельным, как, впрочем, и встреченные американцем в Европе знатные дамы, которых он рыцарски выручал из неприятностей; расплачивались они обычным способом.

«Прощайте, руины! Прощай, форма, прощай, Европа! Прощай, разруха! Скоро я вновь увижу свой маленький кусок земли!» — напевал он.

Чемоданы сложены. С американской широтой Ред вытаскивал вещи из шкафа. «Возьмите. Вам это не понадобится?» Я получила кашне, нейлоновую куртку и плащ.

«Богатая Америка одевает нищую Европу!» — шутила я.

«Не говорите глупостей! Это лишь сувениры, они согреют вас в этой разрухе. Когда же наступит рассвет?»

Я падала от усталости; один из наших спутников задремал, растянувшись на кровати Реда. Другой шарил в планшете, приговаривая: «Ничего не понимаю, я схожу с ума». Наконец протянул мне письмо: «Что вы об этом думаете?»

На плохом английском некая просительница умоляла капитана Д. о помощи, ей срочно был нужен пенициллин для спасения больной воспалением легких матери. «Я молода, — писала незнакомка, — и, как говорят, красива, я сумею выразить вам свою признательность...»

Пенициллин в те времена оставался большой редкостью, быстро теряющее эффективность лекарство хранили на льду. И новое чудо медицины стало предметом спекуляции на черном рынке.

«Понимаете, я готов ради спасения человеческой жизни что-то сделать и незаконно, — пробормотал Боб, — но как узнать, правдива ли эта история?»

Он искал ответ на дне стакана. Какие воспоминания о Европе увезут с собой эти пришедшие нам на помощь американцы? Льющийся с пластинки сексуальный голос Марлен Дитрих тихонько напевал «Лили Марлен», единственную песенку, популярную в обоих лагерях...

На заре мы вернулись, оставив Реда досыпать в кресле. Я надеялась, что он не опоздает к отлету в свой американский рай.

Советский полковник Сеня и американец Ред вместе запечатлелись на огромной картине великого парада, завершавшего эпоху крови, огня и смертей...

В Нюрнберге я наконец поняла, что братоубийственная европейская война закончилась, как бесхитростная партия американской борьбы. В то время как одного из соперников, обессиленного, уносят на носилках, он успевает пробормотать: «Да, я подыхаю, но надо посмотреть, в каком состоянии находится другой!»

Всякая большая война всегда заканчивается крушением империй, и совсем не обязательно, что одержавшая победу держава сможет удержаться на ногах. В 1918 году Австрия рухнула и распалась. Та же

участь постигла и Россию, которая возродилась в другой форме, но после долгих лет крайнего ослабления. Война 1939—1945 годов стерла, как резинкой, империи Великобритании и Франции, разделила Германию. Что могло возникнуть из такого ниспровержения? Сегодня мы знаем об этом — размножение новых ультранационалистических и расистских государств и эмбрион единой Европы, рождение которой будет задержано проявлениями отжившего патриотизма.

ГЛАВА XIII

Вена. Здесь погибла одна из моих советских кузин, сражаясь на танке с красной звездой, ей было 18 лет. Мой племянник, живший в СССР, утонул в 16 лет при переправе через Неман[1]. Я въезжаю в столицу, такую же грязную и имперскую, как Ленинград. Оба города хранят свое прошлое величие.

По дороге в Вену мне пришлось выдержать упорную борьбу, чтобы сесть на скорый поезд (Арльберг-экспресс) в последнюю минуту перед его отходом в советскую зону. Я была подобрана американскими патрульными, похожими, как две капли воды, на героев из фильмов Мэна — столько на них было оружия. На лицах полицейских раздражение. Арльберг-экспресс, как обычно, был переполнен, не осталось ни одного спального места. Но мне в конце концов удалось его найти, и то лишь потому, что я заняла место игравшего в домино полицейского. Он бросал костяшки на столе между противопожарными гранатами, которые он навешивал на себя каждый раз, обходя поезд.

Вена, подобно Берлину, не радовала глаз. Напротив вокзала, вокруг деревянных бараков, копошились голодные, в лохмотьях судетцы. Мужчины переносили чемоданы путешественников в надежде заработать немного денег. Присев на корточки вокруг костра, женщины готовили суп. Оборванные и чесоточные дети играли в лужах, не надеясь на милостыню. В широких грязных лицах с выступающими скулами, в платках, повязанных как у славянских крестьянок, не было ничего «германского». Миф о «gross Deutschland»[2] обошелся им дорого...

Проведя здесь некоторое время, замечаешь, что Вена по сравнению с Берлином не очень пострадала от войны, в ней было намного меньше руин, однако моральный дух ее жителей был слишком подорван. Их отчаяние, казалось, не знало пределов. Нет, они не были похожи на немцев, и тем не менее чувствовалось, что им нелегко отказаться от своих связей с Германией. Ощущалась своеобразная ностальгия по Аншлюсу. Все помнили, что Аншлюс явился логическим следствием неразумного разделения Австро-Венгрии по Версальскому договору. Складывалось впечатление, что немецкий динамизм вдохнул в австрийцев недостававшую им энергию.

И все же австрийцы не без удовольствия согласились со статусом «почти союзной» страны. Наивным и несколько курьезным подтверж-

---

[1] Моя другая кузина, секретарь маршала Тухачевского, была сослана в 17 лет после суда над маршалом. (*Прим. автора*).

[2] Великая Германия (*нем.*).

дением такого согласия была повсеместная торговля брошками и заколками, украшенными флагами главных стран-победительниц: Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и... нет, не СССР — а Австрии.

Я находилась в сердце Центральной Европы, в ее главном сокровище, столице великой империи. Столицу великой империи Вена 1946 года не напоминала... Вся ее красота, кажется, взывала к роскоши прошлой Священного Союза: женские веера, разукрашенные мундиры... Цвет хаки был Вене не к лицу.

Казалось, что от тех славных времен осталась лишь одна музыка. За всю войну оркестры замолкали здесь дней на двадцать, да и то во время бомбардировок. Театры были полны. Паула Велсей, «liebelei»[1], возвратилась на сцену с триумфальным успехом. Одну из пьес Брехта играли в переполненном зале. В небольшом театре я смотрела романтическую феерию со вставленными актуальными репликами. Герой пьесы, съев орехи, замечает, что у него вырос огромный нос, и обращается к старику-волшебнику, чтобы тот его денацифировал[2].

«Легко ли это?» — спрашивал герой.

— «Нет ничего проще», — отвечал маг под громкие аплодисменты зрителей.

Так было в *Volks-Theater'e*[3], который посещала в основном либерально настроенная публика.

В Альтбурге выставлялись шедевры из австрийских музеев, это был настоящий праздник увидеть «Игру детей» Брейгеля, «Элен Фурман» во всей ее розовой свежести или брюссельский гобелен «Крещение Господне». Несмотря на утреннее время и жестокий холод, царивший в неотапливаемых залах, сюда приходили учащиеся Школы изящных искусств, советские офицеры в сопровождении гида, выпущенные из лагерей евреи-подростки, выставлявшие напоказ на сей раз с гордостью свои звезды Давида, несколько американцев и французов.

Залечивала раны церковь Св. Стефана; аристократические особняки сохранили нетронутым свое барочное очарование. На углах улиц мне протягивали букеты фиалок. Вена страдала и, казалось, страдала не столько от голода, сколько от того, что утратила свое прежнее великолепие.

Наступила ранняя весна. Я поехала вместе с моим шофером и гидом (он, как и прежние мои сопровождающие, был военнопленным) в окрестности Вены, мы заходили в кафе, где я была единственной иностранкой и где нас неизменно встречали с самым приятным приветствием в Европе: «Gruss Gott»[4].

По улицам Вены ходили переполненные трамваи. Как-то раз в один из них, куда мне с неимоверным трудом удалось втиснуться, пытался войти огромный советский солдат, осторожно державший тяжелые ста-

[1] Любезнейшая (*нем.*).

[2] Игра слов: denasifier (в глаголе использовано немецкое существительное Nase — нос). (*Прим. перев.*).

[3] Народный театр (*нем.*).

[4] Здравствуйте (*нем.*).

ринные часы. Пассажиры расступились, чтобы освободить проход победителю и его громоздкому произведению искусства. Но вдруг к остановке подъехал джип военной полиции, который заставил советского солдата выйти, — и не только потому, что он мешал пассажирам, а из-за неряшливого внешнего вида. Стало ясно, что сами часы мало интересовали патруль. Охваченный сначала детской досадой, а потом гневом солдат приподнял их и разбил о тротуар.

Я заглянула в лавку антиквара. Изящная дама распаковывала миниатюры, лорнет, веер из страусиных перьев и три кубка с гербами. Мне хорошо известны эти медленные движения, вздохи сожаления, робкие лица... Дама прощалась со своей молодостью. Но вдруг долетевший из боковой комнаты мужской голос мгновенно вывел меня из меланхолических раздумий. Голос звучал по-русски, отчетливо, медленно, словно для точного понимания.

— Упаковывайте лучше! Я не хочу, чтобы в Москве все оказалось разбитым вдребезги!

Я подошла и увидела советского офицера, следившего из кресла рококо за упаковкой в два больших ящика изумительного пурпурного с золотом обеденного сервиза, сделанного, вероятно, в восьмидесятых годах минувшего века. Перед покупателем на инкрустированном столике стояла маленькая бутылка с напитком зеленого цвета, в руке он держал бутерброд с красной икрой.

— Красивый, прелестный, — произнесла я, чтобы не испортить ему настроения.

— Вы русская? Правда, сервиз неплохой! Моя жена будет счастлива. Выпейте со мной стаканчик, давайте чокнемся.

— Что это такое? — осторожно спросила я.

— Шартрез, — самодовольно ответил он, гордый и трогательный, каким бывает счастливый человек.

Такова плата за пережитые ужасы войны, за выигранные сражения. Офицер был красив, еще очень молод, одет с иголочки и не без щегольства. В окружении старинной мебели мы разговорились, пока прекрасные тарелки одна за другой не исчезли в ящике. Я несколько обидела его, отказавшись разделить эту холостяцкую трапезу. Красная икра, запиваемая шартрезом, меня не прельщала.

— Самое страшное позади, — говорил офицер. — Все будет хорошо, главное, что мы выиграли войну. Н-да, это была нешуточная война!

Он не хотел вспоминать... Теперь все будет хорошо, никто не сомневается, что это не повторится!

Вечером того же дня я обедала во французской офицерской столовой. Было еще рано, и столовая пустовала. Только один молодой лейтенант за соседним столиком, как и я, пил кофе. Пока мы болтали о Париже, на пороге появился советский офицер. Не похожий на того офицера, с которым я познакомилась у антиквара, небрежно одетый, он, безусловно, был под хмельком.

Французский лейтенант поджал губы. «Естественно, что русские — люди иной породы. Их невозможно понять. Зато русского узнаешь за пять лье».

Мне не удалось спрятать улыбку. «Вот уже добрые полчаса, не замечая того, вы разговариваете с русской», — усмехнулась я.

Лейтенант покраснел: «Это шутка! Неужели вы русская? Невозможно! Я уверен, вы парижанка».

«Допустим, около двадцати лет я живу в Париже, но в России — тысячу лет». Я пыталась успокоить лейтенанта, несмотря на его очевидное разочарование. «Было бы неплохо, если б вы смогли, прожив всю жизнь бок о бок со своими соотечественниками, хотя бы научиться понимать их».

Лейтенант ушел, немного смущенный своим умением «узнавать русских за пять лье».

На его место присел небольшого роста человек, в форме UNRRA[1]. Он не имел права посещать военную столовую, но поскольку время обеда еще не пришло, ему разрешили.

Проблема перемещенных лиц меня живо интересовала. В конце концов, я и сама в детстве побывала в роли перемещенного лица. Невысокий человек оказался иллюминатом из ордена розенкрейцеров и был мало озабочен судьбами перемещенных лиц. И я окунулась в поток его средневековых росказней. Если бы он рассказывал о Жозефэне Пеладане, об идеалистическом искусстве, которое Пеладан пытался привить во Франции конца прошлого века, но он не знал даже его имени. Тайны розенкрейцеров душили его, он избавлялся от них в обрывках туманных фраз, которые могли бы заинтересовать разве что психиатра. Забавный поначалу, он мне быстро наскучил, но все никак не отцеплялся.

«Вообразите, здесь, в Австрии, я встретил розенкрейцеров!» — «Что ж, это возможно, а перемещенные лица?..»

Он меня не слушал, продолжал говорить, пока я не скрылась в номере своего отеля, зарезервированном для американских служащих. Здесь его разглагольствования были не слышны, зато случались другие сюрпризы. Для некоторых американцев, например, было характерно беспардонное отношение к европейским женщинам. Как-то раз я завтракала в отеле за общим столом с двумя своими друзьями. Я была единственной женщиной среди военных. В семь часов вечера я переоделась в штатскую одежду. Майор Мейер, француз, должен был зайти за мной, чтобы сопровождать на обед, который давали в мою честь британские офицеры в своей роскошной столовой во дворце Кинских. В дверь моего номера постучали. «Войдите», — сказала я. Но вместо французского майора на пороге появился плотный и кряжистый американский майор. Я заметила его еще утром, за завтраком, он сидел в конце общего стола. Встав напротив меня, он будничным голосом заявил: «Я хочу переспать с вами этой ночью!»

От такой непосредственности я даже не смогла разозлиться, у меня не было никакого желания объяснять, что его лестное предложение обращено не по адресу. Я медленно обошла нахального типа и таким же безразличным тоном ответила: «Сожалею, но я вовсе не хочу этого».

---

[1] United Nations Relief and Rehabilitation Administration (*англ.*) — Администрация ООН по вопросам помощи и послевоенного восстановления. (*Прим. перев.*).

Американский майор исчез не только из моего номера, но даже из гостиницы. Позже, во дворце Кинских, вокруг украшенных цветами, освещаемых канделябрами столов, обслуживаемых так, как это только возможно в герцогских владениях, мои друзья-англичане и майор Мейер долго смеялись над моим приключением.

Ночью во французском клубе, на Мариахилферштрассе, я встретила Жана Бредли, как всегда, влюбленного и, как всегда, с новой подружкой из союзных войск.

«Знаешь, что со мной приключилось? — спросил он. — Вчера вечером, гуляя с Хильдой по берегу Дуная, я не заметил, как мы оказались в советской зоне. Итак, моя дорогая, восемь часов мы просидели в комендатуре в ожидании, когда наши власти вызволят нас оттуда, кроме того, я чуть было не оставил Хильду русским».

Он снял темные очки, и его глаза, полные мировой скорби, опровергли его показное жизнелюбие.

По ночам на улицах Вены было небезопасно. Дезертиры из всех армий нападали на одиноких прохожих. Мои друзья были слишком заняты своими сердечными победами, и я решила вернуться в гостиницу одна. Было два часа ночи. Особенно смелой я никогда не была. Силуэт одинокого американского солдата под тусклым светом уличных фонарей мне показался гигантским. Солдат был пьян, он разговаривал сам с собой и, пошатываясь, шел прямо на меня.

Вокруг не было ни души. Я собрала всю свою отвагу и обратилась к нему: «Я журналистка союзных войск, мне страшновато на этих пустынных улицах. Не согласитесь ли вы проводить меня до гостиницы?» Солдат выпрямился и прошептал: «Yes, Maam, certainly Maam»[1]. Стараясь идти прямо, он самым почтительным образом проводил меня до гостиницы.

Важные события в моей жизни сменялись анекдотическими историями. В многообразии мира, в изобилии разных человеческих типов, а также местностей, которые мне пришлось посетить, было немало веселого. Кочевая жизнь создавала ощущение необыкновенной свободы. Вообще жизнь можно сравнить с приготовленным сумасшедшим кондитером пирогом, соленым с одной стороны, подгоревшим с другой, слишком сладким с третьей, с начинкой из гвоздей и засахаренных фруктов. И я принимала ее такой, какой она была, со всеми ее удовольствиями и страданиями. Разве может быть радость и безмятежность без горя и бурь?

Важные чиновники, крупные деятели союзных войск и австрийские промышленники на обеде у венского банкира спорили о будущем. Ни один из их прогнозов, если мне не изменяет память, не оправдался. Однажды я была приглашена на чай молодой женщиной-врачом, русской по происхождению, в то время она работала в одном из венских госпиталей. Все гости — женщины из уважаемых семей — мне очень просто рассказывали о пережитом во время оккупации... С моими друзьями из морской пехоты, работавшими в секретной службе и носившими, как герои приключенческих фильмов, револьвер подмышкой даже тогда, ког-

[1] Да, мэм, конечно, мэм. (*англ.*).

да они были в штатском, мне удалось проникнуть не только в секреты Вены, но и в заведение, где курили опиум.

Несмотря на предупреждения майора Мейера, я обратилась за визой в консульство СССР, очень похожее на советскую комендатуру. В Брно открывался памятник, и я по долгу службы должна была присутствовать на этой торжественной церемонии. К тому же мои друзья по Лондону, Полини-Точ и Владо Клементис, ставший министром иностранных дел, были бы рады увидеть меня. Но, чтобы попасть в Брно, необходимо было проехать несколько десятков километров по советской зоне.

«Чего ради просить разрешение? — сказал мне французский офицер, собиравшийся вернуться в Брно. — Вы поедете со мной, в моем автомобиле. Что с вами случится?»

Он был из другого мира и никак не мог понять, что я просто боялась оказаться на Колыме. Мне приходилось соблюдать установленные правила, хотя даже их соблюдение не гарантирует надежную защиту.

Меня принял в своем кабинете ответственный русский чиновник, он был холоден и осмотрителен. Мы говорили на одном и том же языке, но родной язык вызывал одни затруднения. Да, если бы я не родилась в России, если бы я не говорила по-русски, насколько все было бы проще!

Я отдала ему мои рекомендательные письма, предъявила документы, и в качестве главной рекомендации произнесла имя чешского министра-коммуниста.

Советский чиновник не отказал, но и не дал определенного ответа.

«Мы сразу же отправим вашу просьбу в Москву, и вам обязательно ответят...» Но поскольку события, даже такие мелкие, как открытие памятника, происходят в определенное время, разрешение, возможно, придет тогда, когда оно будет ненужно... «О сроках я ничего сказать не могу! Но вы, безусловно, получите разрешение», — добавил он.

Ему было так неловко, что мне даже стало жаль его.

«Мои коллеги уже утром уехали, я уверена, что в подобных случаях советский корреспондент немедленно получил бы ответ от союзнических властей. Я сразу получала все необходимые разрешения, когда просила их у французов, англичан, американцев, а СССР, такая мощная страна, ставит столько препон перед журналисткой, исполняющей свои профессиональные обязанности!»

Офицер огорченно вздохнул. «Вот ведь вы какая! Вы протестуете, а я вас прошу лишь набраться немного терпения». Зачем настаивать? И я не спорила. После победы ничего не изменилось в СССР!

Накануне моего отъезда из Вены я присутствовала на церемонии передачи власти союзным командованием города. Четыре главные страны-победительницы по очереди в течение месяца поддерживали порядок в городе. Имевшийся у меня пропуск позволил мне находиться совсем рядом с маршалом Коневым, стоявшим на трибуне во время парада.

Маршал Конев показался мне огромным и массивным, похожим на статую Александра III работы Паоло Трубецкого. Перед нами проходили плотными рядами, плечом к плечу, прямые, коренастые советские солдаты, под грохот военной музыки они двигались будто армия роботов.

Солдаты были невысокого роста, черты лица многих из них выдавали азиатское происхождение... Строй чеканил тяжелыми сапогами стальной шаг, каски были надвинуты на глаза. Это был движущийся монолит, полностью лишенный индивидуальности, однородная масса, состоящая из миллионов капель, превратившихся в океан. Это была примитивная, грубая сила, будто выросшая из-под земли. После безликой громады во главе с высоким полковником с волевым, свирепым лицом появился, как бы танцуя, отряд альпийских стрелков в надетых набекрень беретах, певших «За любовь моей блондинки я отдам весь Париж, Париж и Сен-Дени...» Маленький усатый капитан с тонкими правильными чертами лица шел впереди своего «кордебалета» мелкими и быстрыми шажками, словно балетная звезда.

Казалось, два столь различных мира не могут существовать на одной планете: люди, прибывшие из страны, где я родилась, и люди из страны, которую я выбрала для жизни. Сердце мое сжалось. Внезапно я представила себе Европу живой трепещущей форелью, уносимой бурным потоком Ниагары.

Инсбрук находился во французской зоне оккупации, правда, мне бы не следовало говорить «французская зона», поскольку в отличие от Германии Австрия на самом деле не была оккупирована. Статус Австрии и ее участь тогда были покрыты туманом... Зарождавшаяся Организация Объединенных Наций только начинала обсуждать послевоенное положение, и международная политика еще не устоялась. Между союзниками наметились разногласия. В Италии, Палестине, Греции, Венеции-Джулии каждый день возникали все новые проблемы.

Во вновь обретенной независимости Австрия оставалась под своеобразной «опекой» Совета четырех стран-победительниц. Генерал Бетуар был верховным комиссаром во французской зоне, его владения простирались от Китцбухеля до Ворарлберга и от Планзее до австрийского Тироля.

Ходили упорные слухи, что в лесах Тироля из молодых нацистов организуется движение Сопротивления, и моя газета поручила мне собрать сведения о тех, кого называли «Вервольф».

В Инсбруке единственным корреспондентом в пресс-центре был Жан Бредли.

«Зачем ты приехала сюда?» — «А ты?» — «Я, я из-за "Вервольф"». — «И я». — «Ну, что ж, займемся этим вместе, легче будет достать машину».

Мы отправились в путь, выехали за город, поднимались в горы, спускались в долины, устраивали в лесу пикники, используя продукты из моего американского пайка, расспрашивали деревенских жителей под насмешливым взглядом нашего водителя-австрийца. Прошло пять дней, потом десять, мы побывали в американской зоне, но и там, как и во французской зоне, власти молчали. Ничего! «Вервольф» испарился! Расстроенная постигшей неудачей, как и возвращавшийся в Баден Бредли, я вернулась в Вену. Однако мне все-таки удалось собрать какие-то

новости и разгадать несколько маленьких тайн, которые тем не менее я сочла недостойными для печати. Я узнала, например, о том, где прячется директор журнала «Ля Жерб», Альфонс де Шатобриан, скрывавшийся в Австрии. Доброта одного французского полковника позволила спокойно умереть старому писателю. Шатобриана приютила на своей вилле, самой красивой во французском секторе, которым управлял полковник — бывший участник Сопротивления, одна австрийская писательница. Сам полковник вместе со своей очаровательной женой жил в гостинице. Бывало, стесненная нехваткой места и не имевшая возможности принимать гостей, она спрашивала мужа, указывая на какое-нибудь здание: «Почему ты не реквизируешь этот дом?» «Он нам не подходит», — невозмутимо отвечал полковник и продолжал ютиться между папками официальных бумаг, которые присылали ему из Парижа, в том числе и с указанием разыскать Шатобриана.

Зачем я рассказываю об этом проявлении человечности в те дни всеобщей ненависти, которое причинило бы неприятности великодушному человеку и несчастье умирающему?

Я отказалась от поисков «Вервольфа». Увы, «Вервольф» оказался недосягаем. Через несколько недель, во время непродолжительной поездки в Брюссель, мой главный редактор с горечью в голосе упрекал меня, показывая парижский еженедельник, где на двух страницах красовался рассказ Жана... Здесь было все, и пулемет, направленный на его джип, и повязка, которой ему завязали глаза, и поляна, на которой располагался лагерь «Вервольфа», и сенсационные высказывания юных партизан. Рассказ увлекал блеском и фантазией, достойными Жозефа Кесселя, но был подписан моим приятелем, который до своего отъезда в Баден не отходил от меня ни на шаг...

Однажды в баре «Голд Отеля», сидя за рюмкой коньяка, я упрекнула Жана в чрезмерной фантазии. Он лишь рассмеялся: «Дорогая, ты никогда не станешь хорошим репортером!» По правде говоря, я никогда и не считала, что репортаж должен походить на приключенческий роман.

ГЛАВА XIV

Я была свидетелем самых разных историй, но те, которые казались мне достойными внимания, обычно не вызывали интереса у моих коллег.

В далеком прошлом на дорогах Греции и Рима можно было видеть рабов, которых вели в плен. Но только в XX веке были придуманы лагеря для перемещенных лиц. Это новое выражение вошло в наш лексикон. Кроме полноценных личностей, свободу которых клянутся защищать демократические государства, появились также безымянные — перемещенные — лица. В трех зонах оккупации, как в Германии, так и в Австрии, мне пришлось посещать мужчин, женщин и детей, судьбы которых были вверены UNRRA. Их существование целиком зависело от заключенных союзниками соглашений, а для союзников перемещенные лица создавали лишь одни неприятности и ничего больше.

Перемещенные лица были выходцами из разных стран, из разных социальных слоев: крестьян, рабочих, ремесленников и торговцев, среди них было много людей с университетским образованием и военных, особенно из тех стран, в которых война изменила государственный строй. UNRRA располагала огромными материальными и продовольственными ресурсами для распределения между этими людьми. Другой целью UNRRA было «пересадить» перемещенное лицо на новое место. «Пересадить» — наиболее подходящее слово. Но даже цветок, даже дерево страдает, когда их вырывают из родной почвы.

Бывшие граждане СССР, трех прибалтийских государств, Польши, Чехословакии, Болгарии и Венгрии пытались бежать со своей родины. Человек не покидает своего дома, не бросает годами нажитого имущества, не имея на то серьезных причин. Массовое бегство граждан многое говорит о режимах, которые его спровоцировали.

Лагерь В. — лагерь для перемещенных лиц — был похож на все те, что я посещала раньше. Вход в лагерь украшен новенькими флагами трех прибалтийских государств. Войдя, ты попадаешь в стан кочевников. По двору бродит беременная женщина, играют дети, предоставленные сами себе и потому счастливые. Добычу недавнего грабежа: сверкающий трехколесный велосипед, огромная, когда-то красивая кукла — стаскивают сюда отовсюду. Ставшее уже привычным повсеместное «возмещение убытков». Группы праздных мужчин лениво обсуждают свое положение, и все ждут...

Я носила военную форму, никто меня не опасался. Иногда раздавалась русская речь. Но стоило мне произнести «*здравствуйте*» по-рус-

ски, как все менялось, лица становились непроницаемыми, они словно переставали понимать. Я настойчиво объясняла, кто я, уверяла, что не принадлежу ни к каким комиссиям, что я обыкновенная журналистка, только русская по происхождению. С трудом я добивалась их доверия. Один из беженцев сказал мне, что он латыш, другой — что эстонец, третий был украинцем. «Здесь нет ни одного русского или советского», — говорили мне. Постепенно лед недоверия растопился. Другие люди выходили из бараков и присоединялись к нам. Мне предлагали все, что, по их мнению, могло меня заинтересовать — американские сигареты, фотоаппараты «Лейка», кофе, пишущую машинку, — но при условии, что я заплачу долларами. Для них доллар был все равно что билет на поезд в землю обетованную. Я ни в чем не испытывала нужды, к тому же у меня не было столько долларов, чтобы бездумно их тратить. Собравшаяся было вокруг меня толпа рассосалась. Осталось несколько мужчин. Их лица, хотя и сытые, и отоспавшиеся, не выражали радости. В них отражалась неуверенность в будущем, готовность к внезапному возмущению, которое приходит на смену отчаянию. На меня посыпались упреки.

— О чем вы думали? Вы еще не закончили войну! Разве вы не должны идти дальше?

Другие задавали мне тот же вопрос, что и заключенный из Дахау:

— Что теперь с нами сделают?

Мне посоветовали не входить в бараки: «Слишком много клопов!» Они принесли табуретки и расселись вокруг меня. Молодые и старые, университетский профессор геополитики из прибалтийской столицы, крестьянин из-под Печор со всей семьей, кроме пропавшего без вести сына, рабочий из Риги, поэт, известный мне по стихам, когда-то опубликованным в эмигрантских газетах. Они все надеялись на чудесную помощь, подобную той, что исцелила в Евангелии прикованного к постели паралитика.

«Что за издевательство с нашей отправкой за море, — озлобленно говорил один из них. — Это настоящий рынок рабов. Приходят, отбирают молодых и сильных, а остальным остается только сдохнуть здесь».

Товарищ утешал его. «Успокойся. Постепенно все устроится. Будем жить в Австралии, забавно, не правда ли? Нужно набраться терпения. Подождем, и все уладится». — «Ждать! Зачем же тогда мы копим доллары, если обречены здесь сгнить?»

«Ни одного еврея в лагере!» — «Представьте себе! У евреев привилегии. Лагерь для них недостаточно хорош!» — «Все же Гитлер, еще совсем недавно...»

Тот же человек, который чувствовал себя всеми забытым, гневно кричал на меня: «А мы, а как же мы! Нас миллионы, обреченных сгнить в лагерях, а весь мир плюет на нас. Сначала Гитлер убивал нас миллионами, а теперь Сталин преследует нас...»

Гнев заставил его забыть всякую осторожность, по его произношению в нем легко угадывался бывший советский гражданин, скорее всего, выходец с оккупированных территорий. Он уходит разгневанным. Его прервал профессор:

«Мы плохо информированы о том, что на самом деле происходит в мире!»

Мне не оставалось ничего другого, как пробормотать «полная неразбериха...»

Профессор назвал мне свой возраст, сорок пять лет, но выглядел лет на десять старше. Возможно, он преуменьшил возраст, чтобы легче добиться визы. Он говорил спокойно, но его глаза смотрели на меня с упреком: «Союзники не понимают нас, победа не разрешила никаких проблем. Я был известен своими гуманными идеями, а сейчас мне ничего не остается, как только сожалеть: одной атомной бомбой больше, и все было бы решено. Операция неизбежна, если у больного рак...»

Он пригласил меня познакомиться с его женой и дочерью. И пока мы шли в барак, он мне тихо рассказывал: «Я профессор, но не из Тарту (Эстония), а из Праги. Мне удалось бежать. Профессор Бем был расстрелян, другие мои коллеги, как профессор Савицкий, были депортированы. Они ученые, ученые с именем... Моя жена больна, дочь психически неуравновешена, нас не будет среди тех, кого отправят в Соединенные Штаты».

Я могла бы сказать ему, что миллионы людей постигла подобная или даже худшая участь. Но зачем? Общность в несчастье не успокаивает, только мысль, что горе человека неповторимо, способна его утешить.

Ко времени отъезда в моей папке находились три curriculum vitae:[1] профессора, инженера и поэта. Я уносила с собой их надежды на будущее, но в душе у меня была тревога — я не знала, как смогу им помочь.

Пройдут годы, и перемещенные лица, зачастую под чужими именами, смогут вернуться к нормальной жизни. Южнорусский крестьянин, офицеры и солдаты армии Власова, которым удалось избежать участи своих товарищей, беженцы из Праги и Белграда, Польши и Латвии, обретут убежище на других континентах. Их можно сегодня встретить в Аргентине, Австралии, в Канаде, Парагвае, во всех странах Европы и Нового Света.

Из всех государств, давших приют беженцам, Франция, вероятно, показала себя наиболее великодушной. Она приняла стариков, взяла на себя их опеку, хотя для нее это были «лишние рты», но им так долго не удавалось найти страну, которая согласилась бы принять их. Позже к ним присоединятся русские, изгнанные из Китая.

Надеюсь, что читатель простит меня за то, что я так подробно останавливаюсь на судьбе русских. Если не я, то кто на Западе сочтет своим долгом рассказывать о русских беженцах? Кроме того, русская диаспора стала тогда частью современной действительности.

Новая, советская эмиграция встретилась на чужбине с так называемой белой эмиграцией. Однако не политические убеждения стали причиной размежевания между ними, а тот отпечаток, который наложил на вторую эмиграцию советский строй. Сначала западная свобода, казалось, пугала новых русских эмигрантов, им нужно было в одиночку научиться

[1] Жизненный путь (*лат.*); здесь: послужной список. (*Прим. перев.*).

жить в мире полного безразличия. Испытания, которые они вынуждены были преодолевать, закалили их, они стали более крепкими, более выносливыми, чем «белые» эмигранты, тем не менее у них сохранялись привычки коллективистского мира, влияния которого избегали «белые».

Даже те, кто как я, покинули Россию еще в детстве, сохранили в воспоминаниях веселые, яркие или нежные картинки — осколки русского мира до того, как его покрыла тьма. Гражданская война с ее ужасами была пустяком в сравнении с последовавшими за ней событиями, которые понемногу и постепенно открываются в многочисленных свидетельствах очевидцев: Солженицына, Лидии Чуковской, Евгении Гинзбург и других.

М.Т.В. — советская женщина, на два года моложе меня (тогда мне было тридцать восемь лет), слушая меня, вдруг закричала: «Вы видели, вы знали легкие дни, успели хорошо пожить, вы можете воскресить в памяти приятные воспоминания детства, а я, я с самого рождения знала только голод, тяжелую работу, страх и войну!»

Это была простая русская женщина, именно для таких, как она, и делали революцию!

Т. Петровская, в прошлом «перемещенное лицо», в очерке, опубликованном в нью-йоркской «Новой газете», живо и с присущим ей юмором описывает встречу двух Россий в трудовом лагере в Германии. С «белыми» русскими немцы обходились со значительно большим почтением, чем с русскими, прибывшими с Востока. Автор рассказывает о молодых русских женщинах, эвакуированных из Белграда и прозванных советскими солагерницами «тургеневскими девушками». Они родились за пределами России и благодаря этому сохранили тип дореволюционной русской женщины. И они отказались от тех преимуществ, которые полагались им, чтобы разделить участь русских с Востока. После первых недоразумений и даже ссор — манеры поведения, да и язык их разнились — наступило своеобразное единение, а с ним и соперничество, наиболее ярко проявившееся в состязании двух хоров. Хор «белых», созданный для сопровождения церковной службы, соперничал с хором «красных». Т. Петровская образно рисует перипетии ревностного сосуществования двух Россий.

«Да что вы, советские, можете понять в происходящем? Что вообще вы знаете о жизни за пределами вашего советского мирка!» — говорила с упреком одна из «белых». На что одна из «советских» ей возразила:

«О жизни мы знаем несравненно больше вас! После революции вы находились среди эмигрантов, я же изъездила всю Россию, от Ленинграда до Алтая».

Должны были пройти еще многие годы, прежде чем бывшие «красные» русские, подобно бывшим «белым», превратились просто в русских за границами России...

Еще большим несчастьем для перемещенных лиц стала трагедия Линца.

В западной прессе мало писали о насильственной репатриации, незаконных арестах и похищениях перемещенных лиц. Для меня, начавшей

свою жизнь также с изгнания, право на убежище для политических беженцев свято. Передачу правительством Виши испанских коммунистов Франко или похищение израильтянами Эйхмана, или высылку Швейцарией членов ОАС, несмотря на то, что раньше Швейцария принимала русских террористов, или похищение Францией полковника Аргуда, или кражу генералов Кутепова и Миллера, или выдачу Чомбе Алжиру иначе как чудовищными не назовешь.

Карл фон Хорн в своей книге «Солдаты мира» рассказывает, как он, против своей воли подчиняясь приказу, был вынужден насильно репатриировать советских военнопленных, интернированных в Швеции. Фон Хорн вспоминает о самоубийствах, вызванных угрозой репатриации, об отчаянии тех, кого он обрекал на жесточайшие репрессии на родине. Среди интернированных, по подсчетам фон Хорна, большинство, — их насчитывалось более трехсот тысяч, — составляли люди азиатского происхождения, русских-европейцев было немного. Захваченные в плен в начале войны, они позже были переведены немцами из Баварии на Северный Мыс, где оставались в полном бездействии до самого конца войны. Война закончилась, но вместо освобождения казахи, узбеки, калмыки по ялтинским соглашениям были выданы СССР. Ведь еще в начале войны Сталин назвал всех сдавшихся в плен солдат предателями... «Я приходил в ужас от этого, самого позорного в современной истории Швеции эпизода», — писал шведский генерал.

Если одних только западных свидетельств по этому вопросу недостаточно, напомню строки из поэмы Евгения Евтушенко, советского поэта, преданного режиму, но наделенного и чувством сострадания. После «Бабьего яра», посвященного уничтожению евреев в Киеве, Евтушенко написал поэму «Итальянские слезы», рассказывающую о простом русском солдате. Ее герой Ваня захвачен в плен и отправлен в Италию, где он вместе с другими заключенными участвует в восстании. Ему удается бежать в горы, и он вливается в ряды итальянских партизан.

Были там и рабочие парни,
и крестьяне — и я подобрел.
Был священник — по-ихнему «падре»...
Так что к Богу я, брат, подобрел.

Рыжий Ваня вспоминает момент своей славы, когда он под музыку и под радостные крики толпы входил в Рим. Потом, почти сразу, он вместе со своими друзьями был репатриирован на родину. Через Каспийское море солдат доставили в Баку, и Ваня вновь ступил на родную землю. Он считал себя смелым солдатом, героем. Но он ошибался:

И солдатики нас по-пастушьи
привели, как овец сосчитав,
к так знакомой колючей подружке,
в так знакомых железных цветах.

Наконец рыжеволосый Ваня был освобожден. И вот однажды он встречает поэта, собирающегося в поездку по Италии. Ваня просит поэта передать привет его друзьям — итальянским партизанам, не рас-

крывая, однако, судьбы их советских товарищей после возвращения на родину. Ваня не хочет, чтобы там об этом узнали — ему стыдно за свою страну.

Наиболее показательной, «зрелищной» была трагедия Линца, если, конечно, отчаяние и смерть людей могут быть определены как «зрелище». Множество людей могло бы избежать этой разновидности Катыни, устроенной союзниками, массового убийства тысяч людей при помощи третьих лиц.

Русскими написано множество талантливых сочинений, которые до сих пор не переведены и которые еще не стали для историков ценнейшим источником сведений о событиях в СССР до, во время и после войны.

Ни один здравомыслящий человек не сможет отрицать очевидного: коммунистический режим никогда не поддерживался большинством советского народа, и гражданская война — тому свидетельство. Иначе бы не возникло у властей необходимости отнимать у советских людей права ездить за границу, права, которыми свободно пользуются даже испанцы, ни сооружать Берлинскую стену, ни клеймить позором Светлану Сталину и последовавших за ней других беглецов из «коммунистического рая», как это сделал Шолохов на Съезде советских писателей в 1967 году.

Многим советским людям, уставшим от гнета режима и ничего не знавшим о планах и истинной идеологии Гитлера, вторжение немцев казалось началом освобождения. Сейчас известно, что население встречало захватчиков с распростертыми объятьями, что советский генерал Власов перешел вместе со своей армией на сторону врага, что казаки продолжали оставаться непримиримыми врагами советского режима, который — в наказание за участие в борьбе против «красных» — не оставил им никаких привилегий и уничтожил их вековые традиции. Один из них рассказывал мне в 1946 году: «Многие вспоминали оккупацию Украины немцами в 1918 году, когда немцы сохраняли корректность и не унижали наше национальное достоинство». К несчастью, немцы с того времени изменились, коренное население для них превратилось в Untermenschen — неполноценную расу. Потенциальные союзники в борьбе с коммунизмом стали для немцев новыми врагами, однако самым ненавистным врагом для них оставались коммунисты.

В Германии был только один человек, который понимал, какую выгоду можно извлечь из настроения отчаявшихся людей и их боевого духа. Этим человеком был генерал Хельмут фон Панвиц. После долгих проволочек ему удалось, наконец, добиться от германских властей разрешения сформировать независимые от немецких войск русские дивизии. К казакам под предводительством их исконных командиров: атаманов Краснова, Шкуро, Доманова, Клыча и других, присоединились выходцы с Кавказа и русские антикоммунисты из эмигрантов.

Я никогда не жила в СССР, не была советской гражданкой. Я жила бедно, но всегда свободно, в том смысле, что мне удавалось не

идти ни на какие компромиссы со своей совестью. Я не хочу осуждать моих соотечественников за то, что они перешли на сторону врага. Возможно, я поступила бы так же, окажись я на их месте. Но разве только мои соотечественники обратили оружие против своей родины? Разве немецкие эмигранты не вернулись в Германию в мундирах союзников?! Разве они не призывали на волнах враждебных их стране радиостанций к поражению Германии по политическим мотивам?

Во время гражданской войны в Испании не только приверженцы диктаторской власти пользовались материальной поддержкой Германии и Италии, но и республиканцы не пренебрегали помощью СССР и интернациональных бригад. Так было и тогда, когда французские эмигранты сражались вместе с союзниками против продолжившего дело революции императора Наполеона. Политические пристрастия иногда оказываются сильнее национальных чувств.

Я считаю своим долгом заявить, что ничто не способно оправдать жестокости цивилизованного мира по отношению к жертвам Линца.

Приведу рассказ одного из очевидцев, пережившего трагедию Линца: «После капитуляции Германии казаки, кавказцы, эмигранты, объединившиеся в борьбе с коммунизмом, переправились из Италии в Австрию. Казаки, как обычно, ехали во главе с атаманом на подводах вместе с семьями. Совсем недавно они отважно сражались, прикрывая отступление немецких войск. Поверив слову генерала Александера, обещавшего, что их не выдадут советским властям, они разбили лагерь в долине реки Дравы, недалеко от Линца.

28 мая 1945 года представитель британского командования при главном штабе атамана майор Д. приказал всем офицерам прибыть в город Шпиталь. Не подозревая ловушки, офицеры выполнили приказ. 29 мая британский офицер вернулся в Вену один, 2201 офицер были переданы им специальным советским службам.

Отчаяние перед неизбежной выдачей охватило лишенных командиров казаков и их семьи. Командование принял молодой казак. Множество петиций было написано слезами и кровью и послано английскому королю и всем командующим союзников. Над бараками и телегами водрузили черные флаги и написанные по-английски лозунги: «Лучше умереть здесь, чем быть выданными СССР!».

1 июня несчастных должны были передать СССР. В ночь с 30 мая на 1 июня все обитатели лагеря вместе с детьми собрались на молитву в походную церковь. Несколько тысяч людей, обреченных на пытки, тюрьмы, каторгу и даже на смерть, исповедались и причастились под пение четырех казачьих хоров. Наступило утро. Лагерь окружили британские солдаты. С особой жестокостью преодолев сопротивление безоружных людей, они затолкали казаков и их семьи в грузовики. Колонна машин под усиленным конвоем направилась к железнодорожной станции. Мужчины и женщины выпрыгивали на ходу из грузовиков. Под автоматными очередями падали беглецы на весеннюю траву. Другие бросались в Драву и тонули...»

Все это происходило при полном молчании Запада. Ни одного голоса в их защиту, никто из тех, кто постоянно обличал несправедливость, преступления других, не вспомнил о совести. Промолчали все: Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Даниель Майер, Франсуа Мориак, лорд Бертран Рассел, католические и протестантские священники, раввины, Лига Защиты прав человека, Общество защиты животных, крупные и мелкие газеты — не было даже шепота неодобрения.

Генерал Хельмут фон Панвиц был взят в плен и также передан Советскому Союзу. Суд над ним состоялся в Москве 16 января 1947 года, генерал фон Панвиц был приговорен к повешению одновременно с казачьими генералами Шкуро, Клычем, Домановым и Красновым, — все они казнены в один день. Что касается тысяч других, то об их смерти ничего неизвестно, так же, как и об их жизни. Самые счастливые сгнили в концлагерях... Но были и те, кому удалось выжить... Трагедия Линца останется в истории несмываемым пятном на не слишком чистой совести людей.

Сегодня небольшая часовня, воздвигнутая стараниями и руками выживших, освящает место трагедии в Линце. Если и не всегда Господь сохраняет жизнь тех, кто молил Его об этом, то Он Сам упокоевает души убиенных...

ГЛАВА XV

Сентябрь 1946-го. Я отправляюсь в провинцию Венеция-Джулия. На итало-австрийской границе я из специального корреспондента вновь превратилась в военного. Возвращение статуса военного корреспондента напоминает о том, что под кажущимся спокойствием бушуют политические и националистические страсти, способные в любой момент его взорвать.

Венеция-Джулия — территория вдоль итало-австрийской границы. Здесь встречаются, незаметно перетекая друг в друга, Италия и Австрия. Общий диалект роднит пограничное население. Это еще Австрия, но в то же время уже и Италия. Мне осталось преодолеть один шлагбаум, потом второй... Дорога продолжается, она вьется между горами и постепенно спускается к морю. Альпы хранят свою безмятежность. Одетые в черное крестьяне, наклонившись, обрабатывают виноградники. С приближением к Удино чувствуется дыхание Венеции. Стоящий на колонне лев расправляет свои крылья. Немного ниже будет Триест.

Блаженный отдых в тени старинной колокольни во время остановки Удино. Мой спутник, старый англичанин, вздыхает с облегчением, он узнает Италию, ту прекрасную Италию, которую он оставил перед войной. Мы обедаем в увитой виноградом беседке, пораженные изобилием и качеством блюд: макаронные изделия, филе камбалы, бифштекс с кровью и мороженое со взбитыми сливками — и все это, включая вино, за 800 лир. Но официант доверительно шепчет: «Народ так не питается, народ голодает».

Голод бывает разный. Мы едем из голодной Вены. Может быть, повсюду бросающийся в глаза достаток — обман зрения? Итальянская земля не перестала производить овощи и фрукты, а море поставлять много различных видов рыбы. Промышленность продолжает производить предметы роскоши. Переливаются всеми цветами радуги шелка в витринах магазинов — свидетельство того, что шелковичный червь пережил войну. Внешняя торговля почти отсутствует, но армии союзников к радости коммерсантов пришли на смену туристам.

Погода становится теплее. Мы приближаемся к Триесту, встречая на дорогах редкие военные машины. В пустом порту виднеется несколько военных кораблей, среди них своими размерами выделяется прославленный «Аякс» Королевского флота. Повсюду разбросаны полузатопленные корабли, их гигантские остовы напоминают о том, что во время войны Триест был крупнейшей военно-морской верфью врага.

В городе бурлит средиземноморская толпа, люди собираются на площадях, спорят, смеются, делают покупки. Август был очень неспокой-

ным. Но драматизм событий под ярким южным солнцем не такой, как на севере. Магазины переполнены шелками, нейлоновыми чулками, изделиями из кожи. Утром меня разбудили громкие голоса, доносившиеся с рынка. Изобилие рынка совершенно не походило на то, что мне приходилось видеть в освобожденных или оккупированных городах. На прилавках громоздятся финики и гранаты, виноград и арбузы. Яйца стоят 23 франка за штуку, картофель — 20 франков килограмм, мясо от 200 до 500 франков. Жиры очень дороги, цена сливочного масла достигает 900 франков. Средняя заработная плата не превышает 10—15 тысяч франков.

Как я далеко от Берлина и Вены! Брожу среди шумных и жестикулирующих людей, среди торговцев гусями, канарейками, золотыми рыбками. Попадает на глаза юмористическая газета, с самым серьезным видом утверждавшая, что Тито вот-вот восстановит Петра I на престоле его отца...

Основная тяжесть управления Триестом лежит на англичанах. Что же касается американцев, то их немного. Они стоят гарнизоном по селам Венеции-Джулии. Англичане здесь, впрочем, как и везде, ведут себя, как неприметные оккупанты. Английские войска молчаливы и спокойны, даже несмотря на изобилие вин и ликеров, они не теряют присущего им чувства собственного достоинства.

«Здесь все так запутано, — говорил мне майор П., сильно пополневший, к своему собственному огорчению, на итальянских макаронах и клецках. — Более, чем где-либо, здесь видно, как много потеряла Европа с развалом Австро-Венгерской империи. Словенцы — это шип, воткнутый в тело Западной Европы. На итало-югославские национальные противоречия накладываются и сугубо политические проблемы. Мир день ото дня становится все более и более сложным».

Он вздыхает, бросая беглый взгляд на бурлящую толпу. «И, кроме того, существуют чисто экономические вопросы. В Венеции-Джулии обрабатываемая крестьянами земля им не принадлежит. Земля — собственность крупных землевладельцев — «баронов равнины», как их здесь называют. Крестьяне, по сути дела, простые пролетарии. Представьте себе, этот регион не производит ничего, кроме вина, рыбы, фруктов, а потеряв в лице Вены крупнейшего потребителя своих продуктов, он будет вынужден, что совершенно естественно, обратить взоры на ближайший крупный город — Любляну. Таким образом, у островных жителей Венеции-Джулии появляется и экономическая необходимость примкнуть к славянам...»

Майор хорошо знал ситуацию в местной прессе, он подсказал, что мне лучше всего обратиться к редактору словенской газеты в Триесте — его заклятому идеологическому врагу.

«Он коммунист, и мои рекомендации бесполезны, но я не сомневаюсь, что он будет рад изложить вам свою точку зрения», — добавил майор.

На Пьяцца Гольдони, под одной крышей разместились все враждующие газеты. В Триесте издавались в то время шесть газет — две информационные союзников, три итальянские, из которых одна проюгос-

лавская и протитовская, и «Приморски Дненик» — газета словенских коммунистов. Неистовый стиль четырех последних газет был экстравагантен. Любимым обвинением было используемое к месту и не к месту слово «фашист».

О триестской прессе нельзя было сказать, что она стеснена какими-то особыми цензурными ограничениями. Хотя она злобно обвиняла военное правление в «посягательстве на свободу слова», военная администрация была снисходительна к постоянным нападкам «листков», продолжала снабжать их бумагой и материалами. Наказанию с ее стороны подвергались только прямые призывы к насилию, да и наказание было не слишком строгим — цензура. Обвинение в давлении на прессу мне представляется беспредметным.

Я направилась в «Приморски Дненик» на встречу с редактором, хилым и бледным молодым человеком, глаза которого скрывались за темными очками. Держался он как профессиональный агитатор. По его внешности нельзя было сказать, что он словенец.

«Вы не должны терять времени, если приехали к нам ненадолго. Сегодня после полудня возле границы пройдет митинг крестьян, югославских и итальянских рабочих, и если вы не боитесь, то можете тайно поехать в моем автомобиле. Я уверяю вас, что со мной вам нечего опасаться словенцев. Нас только могут задержать американцы и англичане, которым не нравятся подобные мероприятия». — «Не дойдут же они до того, чтобы стрелять в нас!»

М. посмотрел на меня и спросил: «Надеюсь, вы не в слишком хороших отношениях с ними?» — «У меня достаточно хорошие отношения с англичанами и американцами, однако это не может помешать мне воспользоваться своим правом на свободу информации и мою объективность». — «Прекрасно. Мы отправляемся в три часа».

Итак, мы поехали в неразрешенную союзниками поездку на стареньком автомобиле, заправленном американским бензином. М. был человеком образованным, а кроме того, обладал даром убеждать. И вот мы в строго запретной зоне А, около Горитцы. Она занята американцами. Здесь неспокойно, тому свидетельство — недавние покушения. Население долины смешанное — наполовину словенское, наполовину итальянское, горы же населены в основном словенцами. Демаркационная линия Бидо, разграничивающая территории между Югославией и Италией, не устраивает никого, натыкаясь на боевое упрямство словенцев и сильнейшее недовольство итальянцев.

Природа этих мест красива, хотя и бедна, развито животноводство, но совсем нет посевов зерновых. Мы иногда останавливаемся, чтобы поговорить с крестьянами, многие из которых в войну были партизанами. В одной деревне с населением около трехсот человек я узнала, что у них создан деревенский комитет, правда, не обладавший реальной властью, но он должен был стать основой для будущих коллективных земледельческих ферм — колхозов и совхозов, от которых позже Тито столь благоразумно отказался. Зная, как пагубно отразилось на советской экономике создание колхозов и совхозов, я пожелала им преуспеть в их начинаниях.

Тем временем пятьдесят американских солдат и семнадцать итальянских полицейских поддерживали там порядок. И американские солдаты, и итальянские полицейские были хорошо вооружены, поскольку в них часто стреляли.

Около четырех часов я и мой гид пили белое кисловатое вино в обществе деревенского кюре одного из словенских сел. Дети толпились около дома священника, наиболее смелые подходили к открытому окну и заглядывали внутрь, чтобы посмотреть на «городских». Бросив на нас взгляд, они снова принимались играть на маленькой площади под платанами.

«У нас нет религиозных гонений, — настойчиво повторял кюре, который, судя по мощному торсу, плотно обтянутому под сутаной, был из крестьян, — наше несчастье, видите ли, в том, что все духовенство, в том числе и епископ из Триеста, скорее римляне, чем католики. Нас разделяют не религиозные, а сугубо политические вопросы. И потом, почему папа должен быть всегда итальянцем?!»

Кюре отрицал, что он коммунист. «Ни за что на свете! Но здесь я вижу нищету людей. «Бароны равнины» пожинают результаты чужого труда, а это несправедливо. Кто не работает, тот не ест!»

Вопросы мирской жизни, как экономической, так и политической, продолжали занимать священника. Казалось, что он сожалел, что Апостолы, вместо того, чтобы заниматься вопросами социальной справедливости, довольствовались обращением людей в христианскую веру.

Наш «форд» накручивал километры, проезжая чрезвычайно бедные деревни. Линия Бидо вызывала постоянные дискуссии, граница, которая представлялась столь логичной, когда ее обсуждали на Международной Ассамблее, не выдержала встречи с реальностью, с интересами отдельного человека, которые зачастую противоречат интересам государственным. С точки зрения местных жителей, перекройка границ отрывала людей от их традиционных занятий и приводила к тому, что они оказывались по одну сторону границы, а их имущество — по другую.

«За документами всегда последнее слово», — сказала я М. А он мне метко возразил: «Безусловно, но только потом столько трупов!»

Вот наконец цель нашего путешествия, столь углубившегося в запретную зону. Издалека видна трибуна среди деревьев, краснеют флаги и блестят картонные позолоченные звезды, словно снятые с новогодней елки. От толпы отделяются и идут нам навстречу итальянцы из долины и словенцы с гор. Атмосфера ярмарки — разыгрывают лотерею, над поляной звучат песни. М. сделал даже больше, чем мне обещал. Проявив большое чувство юмора, он представил меня как русскую журналистку. Разве мог кто-нибудь вообразить, что в сопровождении известного коммуниста появится кто-нибудь еще, кроме советской журналистки? Ко мне потянулись руки, меня называли «*товарищ*», хлопали по спине, увлекали на трибуну и бурно приветствовали.

«Оставьте им их иллюзии, — шепчет мне М. — Разве вы не находите их симпатичными?» Безусловно, они симпатичны и совершенно

не похожи на интеллектуалов, которые, согласно известному выражению, «живут как правые, а голосуют за левых». Мое детство прошло среди крестьян, и, видимо, в силу «атавизма» простые люди мне ближе, чем буржуа. «Говорите! Они ждут яркой речи!» — сказал М. «Друзья мои, — обратилась я по-русски, — вы победили, наступает мирное время. И пусть мир длится как можно дольше, пусть исполнятся все ваши надежды».

Я не знала, поняли ли меня, не знала, удивило ли их отсутствие слова *«товарищ»*, но мне аплодировали и кричали: «Да здравствует мир!» А я уже спускалась вместе с М. с трибуны, чтобы выпить на радостях вина. Звучал аккордеон, смеялась девушка: она выиграла в лотерею козу. Молодая итальянка протянула мне гроздь винограда, на ее тонком лице светились огромные черные глаза.

«Мы знаем, что Тито проявит о нас больше заботы, чем итальянское правительство, — говорила она мне. — Я была партизанкой, сражалась в горах вместе с моими словенскими товарищами. А когда вернулась из ссылки, то не нашла ни дома, ни работы, ни семьи...»

Она откусывала зеленые ягоды, чуть обнажая больные десны. Аккордеон умолк. М. поднялся на трибуну и произнес торжественную речь. Я не могла понять его слов, он говорил слишком быстро и к тому же постоянно переходил с итальянского на словенский и обратно. Его тщедушное тело горожанина находилось в постоянном движении, руки как бы пытались обнять окружающих. Я видела вокруг себя истощенные работой и полные тревоги лица сельскохозяйственных рабочих. Это были именно лица сельскохозяйственных рабочих, а не крестьян. М. закончил речь и закричал: «Да здравствует Тито!» Раздались аплодисменты, и множество голосов подхватило: «Да здравствует Тито!»

«Вы сыграли со мной злую шутку, заставив меня обмануть их доверие», — сказала я М. на обратной дороге. Он усмехнулся: «А вы, вы неплохо выпутались из этого трудного положения...»

М. казался довольным. Быть может, он хотел заставить поверить в то, что ему удалось привезти на нелегальный митинг настоящую советскую журналистку, которую до тех пор никогда не видели в тех краях?

На обратном пути нас остановил американский патруль. М. столько рассказывал о грубости полицейских, что я решила проверить его россказни и разыграла неудовольствие при проверке документов. Американский офицер, так же как и английский сержант, держались в высшей степени вежливо. Я принесла им мои искренние извинения. На прощание они пожелали мне «*good luck*»[1]. Мы вернулись в Триест. После обеда, на который, несмотря на то, что я не поддалась агитации, меня пригласил М., мы расстались.

На следующий день я поехала на британский контрольный пункт за разрешением на поездку в другую запрещенную зону, зону Б в Венеции-Джулии, зону Пола. Майор Д. поинтересовался, была ли моя пре-

[1] Удачи (*англ.*).

дыдущая поездка интересной. Его голос был суровым, но глаза лукавыми. Я признала свое «преступление» и получила разрешение на поездку в Пола. «Завтра утром, в семь часов утра за вами заедет машина, — сказал майор, — и, надеюсь, все пройдет нормально».

В семь часов машина действительно стояла у подъезда. С шофером приехал также офицер, представивший моего собрата по перу, который будет меня сопровождать в поездке. Водитель, английский солдат, не был вооружен во избежание инцидентов. А они случались. Недавно какой-то офицер был раздет сторонниками Тито и был вынужден возвращаться из своего путешествия в одних трусах.

Офицер познакомил нас: Жан Невесель из «Франс-Суар», Жак Круазе из «Котидьен».

Мы тронулись по дороге в Истрию. Мой коллега оказался неразговорчив. Светловолосый, худой, с голубыми глазами, слегка меланхоличный, он был похож на русского.

— Вы говорите по-русски? — спросила я его по-русски.

— Конечно, — ответил он мне.

Итак, Жак Круазе была я, Зинаида Шаховская, а Жан Невесель — Дмитрий Иванов, сын жившего в Риме известного русского поэта-символиста Вячеслава Иванова.

Атмосфера изменилась. Я вновь столкнулась с тем, чего больше всего не любила в странах с диктаторским режимом: с разнузданным восхвалением человека-идола, олицетворявшего смутные чаяния народных масс.

«*Hotim Tito*», «Хотим Тито, Триест — Югославии, мы — словенцы». Лозунги были повсюду, на борту стоявшего на рейде корабля написано суриком: «Хотим Седьмую республику». На стене какого-то здания после имени Тито приписаны имена Сталина, Трумэна и даже Этли, но эту надпись успел покрыть слой пыли. Единственное имя повсюду — на домах, на брусчатке дороги, выложенное белым камнем, — Тито, Тито, Тито, Тито...

Последний контроль, британский, очень доброжелательный, и мы проезжаем шлагбаум. Капо-д'Истрия, здесь располагается штаб-квартира югославского военного правительства. У здешней свободы неприветливое лицо. Народная демократия встречает нас недоверчиво. Гвардеец народной армии приходит в ярость при попытке его сфотографировать. В деревне, как только мы попытались выйти из машины, чтобы купить винограда, свирепого вида солдат без каких-либо объяснений грубо приказал нам сесть обратно в машину. Нам так и не удалось ни расспросить его, ни даже выйти из машины, чтобы перекусить или выпить воды. На поясе у солдата виднелся ремень с изображением свастики — военный трофей, как скальп у индейца — свидетельство победы. Когда мы переезжали с территории, контролируемой Тито, на оспариваемую территорию в районе Пола, к нам решился подойти улыбающийся крестьянин, но его грубо оттолкнул часовой, напомнивший, что с иностранцами разговаривать запрещено. Странная свобода!

Только приехав в Пола, мы почувствовали себя снова журналистами. Никого здесь не интересовало, какой политической направленности

придерживались наши газеты. Жан Невесель, имевший значительное преимущество передо мной — он прекрасно говорил по-итальянски — предпочел охотиться за новостями в одиночку. Мне пришлось полагаться только на свои силы. Я расспрашивала словенцев и итальянцев, влиятельных лиц, прохожих. Коммунисты всех, кто не принадлежал к ним, считали фашистами.

Пола была приговорена, она доживала последние недели под опекой союзников. И должна была отойти к Югославии. Проведенный опрос показал, что из 34000 жителей города 28000 собирались покинуть город после его передачи Югославии. Но кого это беспокоило? Обеспеченные жители уже перевезли свое имущество в Триест, другие со страхом ожидали будущего. Большинство городского населения все еще составляли итальянцы. Иначе обстояло дело в сельских районах, здесь преобладали словенцы.

В кафе старый метрдотель с тоской вспоминал времена, когда Пола принадлежал Австро-Венгерской империи. «Вы не поверите, какой это был процветающий город!» Старик вздыхал, вспоминая прошлое. А молодежь была более озабочена настоящим. Повсюду царило крайнее ожесточение. Как всегда и везде в таких случаях, скрытая ненависть в любой момент готова была вылиться в открытую месть. Угрозы одних приводили к бегству других. Итальянские коммунисты Пола не соглашались с генеральной линией итальянской коммунистической партии и открыто требовали аннексии района Пола в пользу Седьмой республики.

В офисе военной администрации союзников англичане с присущей им флегматичностью продолжали заниматься текущими делами. В городе бурлила ненависть, копилось разочарование. «Нас отдают в руки врагов», — роптали обманутые жители Пола.

Мы продолжили с Невеселем нашу поездку, и снова угрюмые лица, грубость на контрольных пунктах, ставшие навязчивыми лозунги: «*Hotim Tito, Tito, Tito*».

Десять дней отдыха в Венеции. Англичане поселили меня в блестевшем золотом отеле «Даниэли», в котором останавливались Жорж Санд и Шопен. На Лидо, в роскошном дворце пианист, князь Чавчавадзе, муж Елизаветы де Бретей, давал концерт. Собралось общество, о котором после 1940 года, казалось, уже забыли. Дамы в длинных платьях, сияние драгоценных украшений. Среди них я в поношенной военной форме, напоминавшей об увиденных за последние годы несчастиях и страданиях, чувствовала себя неловко... Ничто не способно изменить мир, но иногда жизнь оставляет приятное впечатление...

В Венеции я была впервые. Разруха и голод не умаляли ее великолепия. Тем более, что здесь, на юге, голод совсем не так жесток, как в странах севера. Я бродила по улочкам, переходила по мостикам каналы, заходила в траттории — везде шумно и оживленно. Как-то ночью в траттории подвыпившая певица исполняла перед несколькими

припозднившимися посетителями тоскливую и одновременно страстную народную песню. Ее голос разрывал барабанные перепонки и сердце, а из каналов поднимался запах плесени. Вдали, на площади Сан Марко, играл оркестр. Жизнь подобна кружению вальсирующих пар в бальном зале отеля «Даниэли». Время стерло в моей памяти многие лица, но лицо певицы из венецианской траттории врезалось в мою память, словно образ страсти и отчаяния. Я до сих пор помню ее песню, шедшую из глубины души, и ее голос, не совершенный, но человечный и живой.

ГЛАВА XVI

Из Венеции на большом грузовике UNRRA я отправилась в Рим. Водителей было трое, все военнопленные. По пути мы подобрали двух молодых американцев из UNNRA и одного англичанина, гражданского служащего. Всю дорогу мы пели, каждый на своем языке, «Лили Марлен», песню, ставшую интернациональной в 40-е годы.

В Падуе я попросила шофера остановиться перед кафедральным собором.

— О да, надо, конечно, помолиться святому Антонию.

Вошла в собор и встала в конец вереницы паломников, желавших приложиться к гробнице святого. Когда я вернулась из собора и заняла свое место в грузовике, то заметила, что пропали два моих чемодана. Я разозлилась. Моя молитва святому Антонию не заслуживала этого! Американцы и англичанин улыбались с видом протестантского превосходства.

— Святой Антоний поможет вам найти ваш чемодан[1], — утешал меня водитель грузовика.

Что поделаешь! Хорошо, что я взяла с собой в собор чемоданчик с туалетными принадлежностями, паспортом и командировочным предписанием.

Наши спутники англосаксонцы покинули нас один за другим в Болонье и Сиене. А мы продолжали наше приятнейшее путешествие, останавливаясь время от времени перекусить и выпить. Мне казалось, что военнопленные стали моими гостями, и каждый раз я пыталась заплатить по счету, но каждый раз счет уже оказывался оплаченным. Они всегда угощали меня. Я могла лишь предполагать, была ли это только их природная щедрость или же водителям удавалось получать какой-то побочный доход от перевозки посылок UNRRA из одного города в другой. Грех весьма распространенный и, в общем, простительный. Так называемое перераспределение продуктов питания в свою пользу процветало на всех уровнях.

И вот наконец Рим. Еще один голодающий город. Грузовик остановился перед отелем «Плацца», в нем располагались французские корреспонденты. О чудо! Я вхожу с одним несессером в руке и вижу — посреди холла два моих чемодана! «Вам же говорили: нужно верить в святого Антония», — слышу я веселый голос шофера и смех моих спут-

---

[1] По преданию, святой Антоний помогает найти потерянные вещи. (*Прим. перев.*).

ников, довольных своей шуткой. Все мои водители гордо отказываются от вознаграждения: «Для нас путешествие с вами было одним удовольствием! Еще увидимся, чао!»

В Риме, как и в Венеции, где я была впервые, у меня нет никаких служебных дел. Я ждала самолет в Грецию, где все еще не утихала гражданская война. В Риме я оказалась в положении растерявшегося туриста, и мне пришлось быстро осваиваться с особой римской повседневностью. А повседневностью в Риме были церкви, дворцы, колонны, фонтаны, статуи, громада Колизея, цветы на площади Испании, траттории, магазины, мужчины и женщины, дети, прошлое и настоящее, столь тесно переплетенные между собой, что не испытываешь чувства, будто находишься в музее, в котором предметы потеряли свою душу.

В Риме я не чувствовала, что нахожусь в оккупированном городе, да и вряд ли кому могла прийти в голову мысль считать итальянцев врагами. Впрочем, и римляне не видели в нас ни захватчиков, ни победителей.

Как-то раз я ехала на рейсовом автобусе и не знала, где мне выходить. После оживленного и длительного обсуждения, в котором приняли участие все пассажиры, — каждый старался объяснить, как лучше добраться до нужного места, — автобус, чтобы мне удобнее было пройти, остановился задолго до своей остановки. Я получила столь много противоречивых советов, что, выйдя, застыла на тротуаре. Прохожих, в свою очередь, тоже взволновал мой маршрут, и они, объясняя мне, суетились и жестикулировали, словно в комедии дель арте.

В барах и ресторанах отеля я встречала коллег, освещавших итальянские события. Я познакомилась с Робером Киенасом, офицером стрелков, который на вилле Медичи занимал вместе с расстроенным пианино комнату Дебюсси. В то время он готовился к аспирантским экзаменам по истории и одновременно занимался французскими публикациями в «Презанс». Робер рассказывал о неизвестном мне живописном лагере арабов в Вечном Городе и в садах виллы Медичи. В его рассказах я слышала гортанную речь и монотонное протяжное пение арабов, видела их лица в отблесках пламени огромных костров. Лагерь арабов в Риме — исторический реванш за поражение Ганнибала. Господин Кув де Мюрвиль принял меня в великолепном дворце Фарнезе.

Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле — чудо изобразительного искусства, но ничто здесь не наполняет душу благоговением, не настраивает на молитву... Я не претендую на какое-либо описание Рима. Я не знаю Рима, я не бегала по музеям, не посещала церквей, я неспеша бродила по городу. В Риме я не чувствовала себя чужой. И это не потому, что во мне течет итальянская кровь, у любого русского Италия ассоциируется с мечтой об идеальной красоте, а мечты — достояние каждого.

Вилла Волконских, где располагается посольство Великобритании, принадлежала княгине Зинаиде Волконской, слывшей «царицей муз и красоты» эпохи романтизма и одновременно «синим чулком». Гоголь, художник Иванов и сколько еще известнейших русских и иностранцев

прогуливались в садах княгини, искали ее покровительства, а потом вспоминали яркое солнце Италии, особое очарование ее природы, столь непохожей на их родную, суровую и меланхоличную.

В одном из писем 1837 года Жуковскому Гоголь, приглашая его приехать в Италию, «отдать поклон красавице природе», писал: «Здесь престол ее. В других местах мелькает одно только воскраие ее ризы, а здесь она вся глядит прямо в очи своими пронзительными очами... Я весел; душа моя светла».

Моя семья в родстве с Волконскими, и мать посоветовала мне найти ее кузенов — маркизов Кампанари. Предприятие довольно сложное, поскольку людей с фамилией Кампанари очень много в Риме, а поколение моей матери уже ушло из жизни. Я обзвонила всех Кампанари, телефоны которых нашла в справочнике, и в итоге мне удалось дозвониться до одной старой дамы, говорившей по-русски. Я сразу же пригласила ее на обед к знаменитому Альфредо на виа делла Скрофа... Она была русской, но не была моей кузиной.

У Альфредо макароны продолжали подавать в чаше из чистого золота. Его дом, ставший оплотом национальной итальянской кухни, посещали все важнейшие участники последней войны из обоих лагерей. Но ни макароны, ни золотая чаша не имели никакого политического подтекста.

На виа Кондотти, в кафе «Греко», я убедилась, что здесь еще жива память о Гоголе. В этом кафе, основанном левантийцем Николасом из Мадалена в 1760 году, подавали кофе. Почти двести лет сюда приходили писатели и художники, патриоты и революционеры, а также полицейские, следившие за тем, чтобы предупредить заговоры, обсуждавшиеся за столиками. Гете периода «Римских элегий», Мицкевич, Коро, Лист и Бизе, Китс и Паганини, Стендаль и Шопенгауэр, Людвиг Баварский и Торвальдсен — вот имена старинных завсегдатаев «Греко». Мне не кажется странным, что так далеко от родной земли Гоголь создал наиболее сильный образ России: «О Русь, Русь! Я гляжу на тебя из моего прекрасного далека!»

Я сидела в «Греко» в обществе старого русского эмигранта, который после натурализации изменил свое имя на итальянское. Это был совершенно разочарованный и больной человек. В качестве переводчика он сопровождал итальянские войска, воевавшие с СССР. Для него «освобождение России» стало кошмаром: «Итальянцы не были жестоки, напротив, они были шокированы поведением своих союзников-немцев».

Сеньор Фредерико Губирелли, известный не только как владелец кафе, но и как художник-миниатюрист, принес мне книги отзывов почетных гостей — толстые тома, первый из которых датирован 1845 годом. Здесь в коротких высказываниях, превращавшихся иногда в исповедь, отразились современная история, настроения эпохи. В 1914 году военные ставили свои подписи под патриотическими призывами и сопровождали их изображением сабель и труб. Позже совсем другие

политические страсти заполнили страницы: албанец требовал аннексии Македонии, сепаратист-украинец на своем родном языке выражал приверженность к независимости, совершенно забывая, что Гоголь, малоросс, был русским писателем. Ивановы (эти русские Дюраны) после подписи непременно указывали место своего постоянного проживания: СССР, США, Франция, Великобритания... И, наконец, следующий исторический этап: под старательно выведенной звездой Давида другой рукой пририсована свастика. На страницах книги почетных гостей с 1940 года только итальянские и немецкие фамилии, среди них 12 сентября 1942 года я обнаружила автограф Ханса Каросса... Новая глава открыта. Немецкие имена ушли со страниц книги в пыльные архивы, теперь здесь только французские и англосаксонские имена. Посетителями кафе на некоторое время стали канадцы, американцы, австралийцы... Но старое кафе «Греко» на своем опыте знает, что их сменит новая волна посетителей. Деятелей кино, например, для которых нет ничего святого...

Жан Невесель познакомил меня с итальянскими коллегами: еще молодым тогда Моравиа, Марией Беллонте и Игнасио Силоне. Как мне не повезло, ведь я не знала итальянского и недостаточно хорошо понимала их! Личные беседы с почитаемым писателем намного приятнее скучных сборищ журналистов. Обычно нам нравится важничать в окружении слушателей, и доверительность вянет при множестве свидетелей. Увы, в памяти моей от той вечеринки в обществе людей не только талантливых, но и в высшей степени неповторимых, мало что сохранилось.

Мне предстояло совершить два путешествия в прошлое, не в древний Рим, конечно, но тоже в уже завершившуюся историю.

Как-то вечером я шла на встречу с патриархом русских поэтов — Вячеславом Ивановым. Я пробиралась через бедные кварталы, пустынные и погруженные во тьму улочки, уже отчаявшись найти ту, где меня ждал поэт. Вдруг откуда-то появились двое мальчишек. Каждый из них нес по кастрюле с дымящимся углем. Топливо было тогда в цене. Я назвала им адрес, и тот, что поменьше, осторожно взяв меня за руку, словно я была слепой, проводил до двери и позвонил. Получив от меня щедрое вознаграждение, от которого мальчики хотели было отказаться, они растворились в темноте.

Вячеслав Иванов был наиболее значительной личностью в русской поэзии уже в моем детстве. В его квартире в Санкт-Петербурге собирался цвет русской литературы «серебряного века»: Сологуб и Кузмин, Ахматова и Гумилев, Бальмонт, Блок, Брюсов, Белый — все эти так называемые «декаденты» вышли из «Башни» мэтра.

Эзотеристический поэт-символист, он сочетал, по выражению современника, в мифическом универсализме «русский фольклор с миром Гете, цветовой музыкой Скрябина и древнегреческим платонизмом». Бердяев считал Вячеслава Иванова самым образованным человеком из тех, с кем ему приходилось встречаться. Я не поклонница поэзии Иванова, но пришла выразить свое почтение необыкновенному человеку.

Вячеслав Иванов откликался на все гуманитарные и научные веяния, в эмиграции он стал профессором римского университета, перешел в католичество. Новая Италия рисовалась в его кипучем уме наследницей Древнего Рима.

Вячеслав Иванов представлялся мне высоким, но сейчас я стояла перед маленьким изможденным стариком с седыми волосами, обрамлявшими открытый лоб, — стариком, жившим в атмосфере поклонения и одновременно под бдительным присмотром своего сына Жана Невеселя, дочери Лидии, прекрасной музыкантши, своего друга и помощницы Ольги Шор. Передо мной был не эстет, а восьмидесятилетний старик, готовившийся покинуть мир.

Я посох мой доверил Богу
И не гадаю ни о чем,
Пусть выбирает Сам дорогу,
Какой меня ведет в Свой дом.

Последнее произведение Вячеслава Иванова, из которого я услышала тем вечером несколько отрывков, было написано в манере русской былины, его тема, возможно, была навеяна легендой или пророчеством о наступлении на земле тысячелетия счастья.

После литературного паломничества к Вячеславу Иванову я совершила еще одно.

В доме на Порта Пинчиана горничная провела меня в маленькую комнату, стены которой были увешаны портретами русских писателей. Здесь жила старшая дочь Льва Толстого, Сухотина-Толстая. Ей, как и Вячеславу Иванову, было 80. Маленькая, с энергичным лицом, она вошла решительным и быстрым шагом, о котором я знала из рассказа Ивана Бунина о первой встрече с Толстым: «...Человек быстрый, легкий, устрашающий, с пронизывающим взглядом...» Я задавала себе вопрос: «Похожа ли дочь на отца, такие ли у нее «выступающие вперед надбровья» и его «маленькие пытливые глаза»? Да, она была на него похожа. Она обладала темпераментом Толстого, его огромной жизненной энергией, его физической силой, скрывавшейся под женской хрупкостью. Когда она говорила, ее сходство с отцом чувствовалось еще больше. Ее голубые глаза, — у отца они были серые, — будто ощупывали меня.

«Вы знаете, почему я такая крепкая в свои восемьдесят лет? Я вегетарианка. Люди не должны питаться трупами».

Точными и краткими формулировками она воскресила в моей памяти образ Толстого, молодого офицера, автора «Севастопольских рассказов», которые сразу же были оценены писателями, особенно Тургеневым. Он даже пытался покровительствовать молодому Толстому, но вскоре был озадачен его высказываниями: «Жорж Санд ничего не стоит», «Шекспир ушел в небытие»...

Я спросила о семейной драме Толстых.

«В ней не было виновных, — ответила мне с твердостью в голосе старая дама, — только несчастные...» И она повторила еще раз: «Да, все были несчастными, никто не виноват».

Незаметно наш разговор перешел на другие темы.

«Как он умел развлекать! Он сочинял песенки, чтобы нас рассмешить!»

Вокруг нас на полках были расставлены книги Толстого и книги о Толстом на разных языках: японском, литовском... Сухотина-Толстая доставала из ящика фотографии своего отца в детстве, юности, в окружении учеников-последователей, в кругу семьи, в старости. На всех фотографиях Толстой с неизменно пронзительным взглядом, а в облике что-то животное, от чего он пытался избавиться всю свою жизнь. За фотографиями Толстого последовали портреты членов его семьи.

«Толстые — очень старинный дворянский род, но графский титул они получили сравнительно недавно. Вот, посмотрите, первый граф Толстой, — ее голос стал несколько ироничным. — Здесь нечем хвалиться, титул был ему дарован Петром Великим в знак благодарности за убийство царевича Алексея».

Перед моими глазами мелькали лица разных поколений Толстых и, наконец, фотография маленькой Сони, правнучки писателя. Соня была женой Сергея Есенина.

Сухотина-Толстая на минутку остановилась, словно подумав о мертвых, и продолжала:

«Из всех детей Толстого в живых осталось только двое, моя сестра Александра, живущая в США, и я — гражданка Франции. Мой внук — итальянец, племянник — француз, Соня — в СССР... Свои воспоминания о Толстом и нашей семье я завещаю Национальной библиотеке».

Она встала, взяла корзинку для рукоделия.

«Посмотрите, что я сделала для благотворительной распродажи в пользу православной церкви в Риме!»

В ее руках появились куколки. Они были одеты точно так же, как одевались крестьяне Тульской губернии, где находилось фамильное имение Толстых. Имение нашей семьи находилось там же. Мы почувствовали себя «земляками», стоя перед окном, выходящим на Порта Пинчиана, вспоминали родные пейзажи, среди которых прошло мое детство и значительная часть жизни этой старой дамы.

Тысячелетие земного рая наступит нескоро. В Риме было полно «*sciuscia*» — шуша. За этим словом — итальянским переводом английского «*shoeshine*», чистильщик обуви, — скрывалась армия босых детей, живших в первобытной свободе. Сотни, а возможно, и тысячи юных бродяг от восьми до шестнадцати лет (иногда, впрочем, и моложе, я даже видела четырехлетнего мальчика, работавшего со своим братом десяти лет) должны были разделять судьбу своих старших соотечественников. Они объединялись в организации, члены которых подчинялись строгим правилам. С этими детьми я сталкивалась на каждом шагу. В закоулках на черном рынке они продавали сигареты, совершали налеты на торговцев, спали в котлованах, но самым надежным их убежищем были катакомбы. Худые, в лохмотьях, решительные и веселые, циничные и одновременно ранимые, испорченные и невинные, они лихо прилагали все свои усилия для того, чтобы войти в мир взрослых.

Такие же ватаги бродили по другим городам Италии. Знакомый американский офицер рассказывал мне с восхищением, как в Неаполе среди бела дня он был окружен малышами, обольщен их улыбками, оглушен веселыми щебетом... Когда он пришел в себя через несколько секунд, то вокруг уже никого не было, сам же он оказался без обуви и носков...

Власти принимали все меры для борьбы с детской преступностью. Но в Италии, как и в Испании, ребенок, *bambino* — это господин в семье. Дела о грубом обращении с детьми были достаточно редкими, и я имела случай убедиться, с какой осторожностью инспекторы в штатском забирали детей во время одной из уличных облав. Первые облавы вызвали настоящую панику среди шуша, но вскоре они успокоились. Полиция жестоко наказывала взрослых, заставлявших шуша продавать свои товары на черном рынке, с детьми же обращалась бережно. Детей направляли в приемник, выводили вшей, а потом возвращали родителям, если таковые имелись. Сирот направляли в детские дома.

Очень скоро шуша стали воспринимать облавы как игру, и когда угроза исчезала, они возвращались на свои обычные места: к фонтанам, в тень домов — туда, где они могли бы найти покупателя или подстеречь жертву. Размеренная жизнь была для них страшнее голода.

Я встретила жертву итальянской беззаботности и приветливости в поезде, отвозившем меня в неизвестность. В течение всего пути со мной в купе ехал только один пассажир — американский полковник. На остановках, а поезд останавливался на каждом полустанке, полковник тотчас же бежал в привокзальный буфет и приносил бутыль кьянти, которую предлагал мне разделить с ним. Молодой человек с обрюзгшим лицом был чрезвычайно мягким и трогательным в своей растерянности. Война впервые заставила его покинуть родные места, тихое провинциальное захолустье. Только в Италии он осознал, что существует иная, непривычная для него жизнь. Он занимал высокий пост в одном городе на юге Италии, а теперь возвращался в Соединенные Штаты. И был на грани нервного срыва.

«Только здесь я понял, что жизнь — это не только зарабатывание денег. Сначала меня потрясали ужасающая бедность итальянцев, но сейчас, покидая Италию, я с отвращением думаю о благосостоянии, которое медленно разрушает душу. С тех пор, как эти ничего не имеющие люди вошли в мою виллу, все изменилось... Их беззаботность, сердечность сочетались с детской пронырливостью, с ними становилось легко и просто. Люди из народа раскрыли мне смысл жизни. Все, что, казалось, обладало разумным и привычным значением, вдруг переставало быть важным. И вот теперь надо возвращаться к прежнему образу жизни — абсолютно бессмысленному, бесчеловечному, отвлеченному. Все они пришли на вокзал пожелать счастливого пути, и я почувствовал, что меня отрывают от родной семьи, от того, что я так полюбил, а сейчас отправляюсь в ссылку...»

Его возбуждение было столь же велико, как и печаль, которую он пытался залить кьянти. Дело в том, что мой полковник до войны не искал смысла в стороне от протоптанных дорог. Вдруг он запел, и, к

моему удивлению, не итальянские или американские песенки, а русские (с сильным акцентом) песнопения из православной литургии.

«Как это красиво! Как чудесно! Сколько прекрасного в мире, а люди забывают, ничего не замечают. Я был чиновником в завоеванном городе, но его жители были мудрее и лучше меня!»

Поезд остановился, полковник возвращался в чужой для себя мир... Неожиданно он схватил мою шляпу и надел ее вместо каски. Я побежала за ним, чтобы он привел в порядок свою форму.

ГЛАВА XVII

Грецию знаешь очень хорошо и в то же время очень плохо, пока не увидишь ее собственными глазами. Приезжаешь сюда со всем грузом ее прошлого. В памяти всплывают имена богов и богинь, названия колонн, храмов, строчки «Илиады», платоновского «Пира», любовной поэзии Анакреонта, подвиги героев и речи знаменитых ораторов. Самолет опускается на землю Аттики и совершает резкий поворот. Военный пилот не привык возить пассажиров.

С птичьего полета мне посчастливилось рассмотреть Парфенон, стелющийся по земле в окружении полуразрушенных колонн.

В городской толпе выделялись греческие солдаты в коротких форменных куртках. На террасах бородатые священники пили из крошечных чашечек крепкий густой кофе. Торговцы, стоявшие вдоль улицы, кричали, предлагая почти даром все, чем испокон веков богата их земля и море: оливки, фисташки, рыбу... Вся улица пропиталась запахами бараньего жира и молодого вина.

В отеле «Великобритания», где я предполагала остановиться, не оказалось свободных мест. И меня приютили англичане в небольшой гостинице для транзитных офицеров. В баре «Великобритании» собирались мои коллеги, приехавшие из Вены или Берлина, — там я их и застала в святой час вечерних возлияний. Гражданская война в Греции еще не закончилась, но сюда уже стали прибывать первые туристы, скучающие и пресыщенные. Они бесцельно бродили между шикарными отелями, сближались с греками, способными принимать участие в их роскошных пирах, — женами богатых торговцев, крупными чиновниками, проматывающими за пару вечеров месячное жалованье. Тысячи драхм летели на ветер так же легко, как лилась кровь в бедной, разделенной враждующими интересами стране.

Пульс жизни я предпочитаю узнавать в других, менее роскошных местах. Революции рождаются в университетах, обретают силу в писательском воображении, но именно народ первым испытывает на себе их последствия. Я дала себе сорок восемь часов на акклиматизацию, ничего не делала, только смотрела и слушала, перебирала в памяти обрывки сведений о современной Греции, почерпнутые в Константинополе в первые годы после эмиграции из России.

И мне скоро представился случай для изучения языка, — я нашла старого истощенного официанта. Он меня не понимал и пытался употреблять немногие известные ему иностранные слова. Перебрав английские и французские, мы наконец поняли, что единственным общим для

нас языком был русский. Этот человек оказался одесским греком, потомком колонизаторов черноморских берегов... Именно с ним на следующий день, в шесть часов утра, за час до начала его рабочего дня, я взбиралась на священный холм. Одесский грек не мог, конечно, предоставить мне никаких сведений, содержащихся в туристических справочниках, однако он оказался чувствительным к красоте утренней зари, поднимавшейся над Афинами.

Чуть позже, присев на большой камень, он рассказывал мне о современной Греции, Одессе времен революции и гражданской войны.

Тем же утром я заставила себя пойти на прием к министру информации. Это был еще молодой мужчина, придерживавшийся французских манер. Но от него, как от всякого министра или крупного чиновника информационной службы, я не ждала ничего, кроме традиционного заявления: «Реформы провозглашены», — но я хорошо знала, что они никогда не будут осуществлены или просто скрывают какие-то другие намерения.

На улице сияло яркое солнце Эллады. Ранняя осень. Ее наступление еще никак не коснулось жителей. Город успокаивался только на время послеобеденной сиесты, чтобы с новой силой проснуться вечером. Лица, которые я видела, чаще всего были изможденными, хотя подвижными и умными. Незнание языка в Греции меньше стесняет путешественника, чем в любой другой стране. Греки — люди простые. Отважные и деятельные, они бороздили моря в поисках лучшей жизни на чужой земле. Они столь древний народ, что не могут забыть свое прошлое. История в их крови. Современные греки — потомки эллинов, придумавших богов и героев. Годы угнетения только укрепили в них дух сопротивления. Греки осторожны и хитры в делах, но в политике им не занимать риска.

Я имела честь получить интервью от самого регента королевства — его высокопреосвященства Дамаскиноса. Мои коллеги из более крупных изданий были поражены.

«Как это вам удалось? Его высокопреосвященство Дамаскинос решительно отказывается от любых интервью. Регент никогда не принимает представителей прессы».

«Итак, вы хорошо справились», — сказал мне с плохо скрываемой досадой другой коллега.

У меня возникло было желание ответить резко, что архиепископ Дамаскинос дал мне интервью лишь потому, что знал: я не буду извращать его слова, как это делают те мои коллеги, которым архиепископ регулярно отказывает, но я сдержалась. На самом деле, я, как и все остальные, была на грани провала, но мне посчастливилось найти союзника в лице одного из секретарей его высокопреосвященства, который позже раскрыл мне два «смягчающих обстоятельства» этой встречи. Во-первых, я принадлежала к православной церкви, во-вторых, мой брат был раньше монахом на Афоне...

Передо мной был энергичный и умный человек, оказавшийся еще более сдержанным, чем министр информации. Дьякон из его окружения, говоривший по-французски, до беседы с архиепископом уведомил меня, что Греческая Церковь, хотя ее архиепископ и является регентом коро-

левства, сохраняет в национальном конфликте нейтралитет. Есть священники-роялисты, но также и священники из отрядов ЕАМ[1]. «Поскольку и там гибнут христиане», — добавил отец Фроментиос. Церковь не поддерживает ни одну из сторон, но монархисты и революционеры сохраняют ей верность. Он меня уверил, что в этой стране нет очевидных признаков атеизма, столь распространенного среди коммунистов в других государствах. К концу недели я могла поставить точку, обобщить сведения, собранные среди самых различных слоев населения, свидетелей военных лет в Греции.

29 октября 1940 года в три часа утра Италия предъявила ультиматум Греции, а спустя два часа правительство Греции ответило на него всеобщей мобилизацией. Греция и Польша были единственными странами, где мужчины, отправляясь на войну, пели и где смело, с улыбкой на губах шли в неравный бой. Болгария и Румыния стали плацдармом для немецкого натиска, Албания послала свои воинские части сражаться на стороне итальянцев.

Участник первого сражения в Пинде рассказывал мне о кампании за взятие Эпира, как солдаты втаскивали на крутые скалы пушки и как на спинах мулов перевозили боеприпасы. Служба интендантства не справлялась. Женщины карабкались на вершины гор, чтобы доставить бойцам продукты и воду. Вместе со стариками они расчищали заснеженные горные дороги, восстанавливали разрушенные мосты. Понадобилось вторжение немцев в апреле 1941 года, чтобы сломить упорное сопротивление греков...

Все, что произошло в Греции после ее захвата, может представить себе каждый, переживший оккупацию в любой точке мира. «Итальянцы не оставили плохих воспоминаний. Они не причиняли зла, — говорили мне, — они в основном бегали за юбками. Что касается немцев, то, провалив операцию *«улыбки»*, они выбрали другую тактику».

Франция и Бельгия, страны с развитым сельским хозяйством, после оккупации с трудом кормили свое население. В Греции же с лета 1941 года наступил настоящий голод. Пшеницу сюда всегда ввозили. И Греция, лишившись возможности импорта продовольствия, была вынуждена к тому же кормить и оккупационные войска.

Мне показывали фотографии, и я словно вновь увидела картины Великого голода в России 20-х годов. На улицах Афин лежали трупы, которые подбирали ужасные грузовики, истощенные дети скрючивались от голода, подобно зародышам в утробе матери, а оставшиеся в живых были измождены, как узники концентрационных лагерей... На кладбищах не хватало места для новых могил. Но к жертвам голода надо добавить и жертв репрессий.

Восточная Македония и Западная Фракия были переданы Болгарии. Повешенные раскачивались там посреди деревень, а улыбающиеся па-

[1] Ellinico Apeleftherotico Metopo (*греч.*). — Фронт Национального Освобождения. (*Прим. перев.*).

лачи фотографировались на их фоне. Один из них, обмотанный пулеметной лентой, гордо позировал, держа в руках отрубленную голову. Женщин не щадили. В Северном Эпире зверствовали албанцы, а на острове Крит и на Пелопоннесе — их учителя и хозяева немцы. 25% строений в Греции было полностью разрушено.

Пытки и казни, голод и разруха привели к быстрому сокращению населения. Этот обратный отсчет времени от жизни к смерти приобрел столь высокий темп, что немцы были вынуждены начать переговоры со швейцарским Красным Крестом об организации поставок пшеницы на судах под флагами нейтральных государств.

Позже контингент немецких войск сократился — Восточный фронт постоянно требовал все новых и новых подкреплений.

Необходимо понимать, что нищета и особенно голод способствовали зарождению коммунистического движения. Если мелкой и тем более крупной буржуазии удавалось выживать, то рабочие и ремесленники, безработица среди которых росла, считали себя обреченными на гибель. Хотя в Греции — стране не индустриальной — пролетариат был немногочисленным, а мелкие земельные собственники и крестьяне традиционно находились в оппозиции коммунистическим идеям, всеобщее недовольство населения повсеместно нарастало. Революционные вожди движения Сопротивления пытались извлечь наибольшую для себя выгоду из отчаяния народа. Тем более, что умеренные силы присоединились к Сопротивлению только к началу 1943 года...

Один из свидетелей рассказал мне о странном положении, которое сложилось в Афинах к середине 1943 года. Центр города был занят немцами, но все предместья и горы находились в руках повстанцев.

Между противниками установилось своеобразное сосуществование. Вражеский гарнизон сокращался, а его моральный дух был подорван фронтовыми неудачами немцев и итальянцев, так что войска отказывались от открытых столкновений с участниками Сопротивления. Участники Сопротивления в этот период начали самую жестокую охоту за коллаборационистами, часть которых была сразу же расстреляна, другие заключены в концентрационные лагеря, расположенные в подконтрольных районах. Только в 1944 году греческое правительство в изгнании, многие члены которого принадлежали к крайне левым силам, смогло добиться прекращения скорых и массовых убийств.

Поражения заставили оккупантов оставить Грецию и отступить накануне высадки союзников в направлении Югославии. Эвакуация вооруженных сил врага происходила, по свидетельству того же очевидца, в строгом порядке. По соглашению с движением Сопротивления немецкие войска оставляли Афины с оружием, но их сопровождали вооруженные партизаны. В районе Салоник, как и на Пелопоннесе, наоборот, между немцами и повстанцами происходили ожесточенные стычки.

Война заканчивалась, зарождалась революция. Прибытие союзников и UNRRA сразу же улучшило положение с продовольствием. Но страна пребывала в неописуемой разрухе. Правительство, сформированное за

границей, было расколото, в нем преобладали левые. Король не мог и мечтать о возвращении. Регулярные войска оказались бессильны, а их присутствие — чисто символическим. Полиция дезорганизована. Партизаны-коммунисты, хорошо вооруженные, считали себя хозяевами страны. Как и в других местах, сведение счетов было кровавым и диким, тюрьмы переполнены коллаборационистами, и особенно теми, кто не разделял коммунистических убеждений. В стране царил террор, массовые казни были повсеместны, однако до того момента, когда правительство под давлением англичан приняло решение навести какой-то порядок.

Каждый из союзников имел свое представительство в Греции, но отношение к ситуации в стране было различным. Советская миссия поддерживала коммунистов, англичане выступали против, американцы, как и сейчас, действовали осторожно. Опасаясь коммунистов, они в то же самое время еще более боялись того режима, который был способен им противостоять.

Рожденные революцией и сохранившие сентиментальную преданность такому происхождению, американцы полагают, что худшим преступлением является отсутствие в политической системе «левого оттенка». Неизвестно было, поддержат ли они в будущем взлет Кастро? Если Греции и удалось избежать участи Албании (что, впрочем, стало очень неприятным для СССР), то этим Греция обязана только Уинстону Черчиллю. Но для этого было необходимо, чтобы Великобритания решилась на интервенцию. Она началась после того, как в Афинах разразилась революция.

Коммунисты завладели ключевыми позициями, позволявшими им контролировать средства связи, подачу электричества и воды. Террор охватил всю столицу за исключением района, где находилось посольство Великобритании. Посольство охранялось хорошо вооруженными солдатами. Несмотря на очевидное недовольство Рузвельта, Уинстон Черчилль решился ввести в Афины новые моторизированные соединения британских вооруженных сил.

Мне рассказывали об ожесточенных уличных сражениях, последовавших за интервенцией. Когда двигались английские танки, пытавшиеся вытеснить коммунистов из их укреплений, те взрывали окружающие здания, чтобы задержать продвижение техники. Англичан поддерживали правительственные греческие войска. В центре города шли наиболее ожесточенные бои, и до самого конца не было ясно, какая из сторон одержит победу.

Наконец англичанам удалось отбросить красных в северное предместье. Отступая, коммунисты увели с собой большое число заложников. Эта трагедия длилась пять недель.

Афины были освобождены, подача электричества восстановлена, вода вновь потекла из кранов, снабжение продовольствием обеспечено. Столица, почти не пострадавшая от разрушений во время второй мировой войны, еще долгие месяцы жила среди неразобранных развалин войны гражданской.

Все эти события произошли без меня. В ноябре 1946 года в Афинах был восстановлен мир, но в умах и душах людей продолжало царить

беспокойство. Радость долгожданной победы омрачалась чувством разочарования, печали и скорби. Недавние несчастья не укротили страстей. Переход от победы к гражданской войне — наименее эффективное средство в обеспечении мира и процветания страны.

Революция не прекращалась в провинции. В Нуасса, в результате сражений между правительственными войсками и красными, было разрушено семьдесят домов, в Пинтафалосе, где находились тайные склады оружия, шли кровавые бои.

В районе Салоник партизаны-коммунисты продолжали сопротивление при активной поддержке Югославии и Болгарии.

Первый раз поддавшись убедительным доводам Черчилля, прекрасно понимавшего суть европейских политических проблем, президент Соединенных Штатов Рузвельт согласился оказать военную помощь греческому правительству, и новая греческая армия смогла восстановить порядок на севере страны.

План Маршалла — спасительная помощь бедным или разоренным войной странам — был целительной акцией, зарубцевавшей раны Европы. Памятник генералу Маршаллу — долг возрожденной Европы.

Греция, которую я увидела в 1946 году, была далека от благополучия. Расслабляющий климат, но и беспомощность социальных организаций, недоедание, малярия, всеобщая бедность. В полдень — несколько оливок, помидор, кусок хлеба, вечером в таверне — тарелка фасоли и стакан вина — таково обычное меню афинского рабочего. Разве удивительно, что 45% жителей столицы страдали от туберкулеза!

Положение здесь было еще хуже, чем в Германии, Австрии или Италии. А ведь греки выиграли войну! Им давали обещания, которые не выполнялись. Другие страны тоже с трудом, но все-таки смогли обойтись без иностранной помощи. Так, например, Испания восстала буквально из пепла после гражданской войны. Этого нельзя было с уверенностью сказать о Греции. Социальное самосознание отсутствовало у греческого народа, умного и предприимчивого в других областях.

Я посетила предприятие, на котором было занято пятьдесят рабочих, четверть из них были явными коммунистами. Хозяин задерживал выплату зарплаты, но вкладывал миллионы драхм в развитие своего предприятия. «Мы эгоисты, — чистосердечно признался другой предприниматель, — так называемые ближние нас мало интересуют. У нас, в Греции, борьба за жизнь длится столетиями».

Несколько красивых магазинов в центре города, несколько роскошных ресторанов и ночных кабаре, а на окраинах — дешевые кабаки и убогие лавки. Контроль за продовольствием не осуществлялся, цены на продукты — астрономические. Око (два фунта и три четверти) мяса стоил от 5 до 10 тысяч драхм, хлеб — 2200, сливочное масло — 18000, сахар — 8000. Чернорабочий зарабатывал 3 или 4 тысячи драхм в день и при этом работал неполную рабочую неделю, служащий полиции — 90000 драхм в месяц, этого хватало не более чем на один обед, прокурор — 280000 драхм. Но когда как-то вечером два моих американ-

ских приятеля повели меня в дансинг, там было много греков, и платили они за стакан хорошего вина 6000 драхм, доставали из кармана пачки сигарет, стоившие по 2500 драхм!

Следует ли думать, что только коммунистический режим способен изменить облик мира? Достаточно было того, чтобы революционные преобразования не являлись левоэкстремистскими, как весь мир, в том числе и Соединенные Штаты, начинал кричать о фашизме. Понятия «левые» и «правые» режимы полностью утратили свое значение. Существуют только эффективные и неэффективные социальные системы. Греции в 1946 году нужна была не революция, а дисциплина.

Я кропотливо занималась сбором информации, опросила большое число приверженцев обоих лагерей. Сторонники коммунистов мне рассказывали о жестокости правительства, о тяжелых условиях содержания в тюрьмах и лагерях (ссылки на остров Ярос начались только в 1947 году); их противники вспоминали пытки и издевательства в дни господства коммунистов в Афинах, жертвами которых стали не только идеологические противники, но и аполитичная буржуазия. Мне поведали об убийстве известной греческой актрисы (которой коммунисты выкололи глаза), о грабежах частных лиц. Я верила и тем, и другим, поскольку с близкого расстояния уже видела русскую революцию. Но никакая диктатура, никакой террор не длился столько времени, сколько существовал советский коммунизм. К этому времени он насчитывал тридцать лет, и все эти годы жестокие преследования не прекращались ни на один день. Постоянному террору я предпочла бы кратковременные репрессии. Ссылка на остров Ярос не была более ужасной, чем лагеря в Сибири или подвалы Чека. Западная пресса мало писала о них, она всегда слепа на «правый глаз».

Но в Афинах я все-таки имела возможность встречаться с разными по своим убеждениям людьми. Я не видела трусов, боявшихся открыто высказывать самую крайнюю точку зрения в общественных местах и при свидетелях. Газеты не проводили единой политической линии, придерживались различных направлений, критика правительства была обычным делом. Во время сбора информации за мной не было слежки, никого не интересовала политическая направленность моей газеты. В моих передвижениях по Греции я себя чувствовала столь же свободно, как и во Франции.

Греки, как и французы, склонны к абстрактным спекулятивным умозаключениям, но им более, чем французам, присущ дух деятельной мысли. Улица — это *Форум*. Здесь спорят и сытые, и голодные. В книжных магазинчиках я встречала писателей, поэтов и художников, которые страстно рассуждали о современном искусстве, о политике...

Мне удалось завязать дружеские отношения. Художник Иоанн Царухис спросил меня, не хочу ли я познакомиться с великим художником.

Еще бы! Он отвел меня в подвал близ ночного кабаре. Это была не мастерская, а настоящая пещера. Но когда я пересекла ее порог,

перед моими глазами, будто удар кулака в лицо, вспыхнула живопись, неистовая по форме, цвету и движению.

Живые, злобные, кипящие — все эти эпитеты годятся для работ Никоса Енганопулоса. Его работы шокировали, разжигали, как красная тряпка матадора приводит в бешенство быка. Он встретил меня как врага, и это стало началом нашей дружбы. Дружбы на многие годы, хотя больше я никогда с ним не виделась.

«В своей реальности он режет по живому», — сказал об Енганопулосе Поль Элюар, а другой его друг, — что «он ни поэт, ни художник, а пламя».

Никос Енганопулос родился в Константинополе в 1910 году, как художник сформировался в Афинской академии. Жил в Париже, Мане считал самым лучшим художником, а Сальвадора Дали — самым плохим. Он первым из людей моего поколения определил Пикассо как «минувшее прошлое». Парадоксы и проклятия изливались из его рта, как поток лавы.

«Я более великий художник, чем Пикассо. Во-первых, потому что я грек, а он испанец, и, во-вторых, потому, что он пишет для всего мира, а я только для одного себя».

Анархист, сочувствующий коммунистам, Никос Енганопулос без разбора проклинал всех и вся, но меня вдруг прекратил ругать и раздобрился. «Почему вы меня так плохо встречаете?» Он погрустнел. «Сначала я думал, что вы буржуа, но потом понял, что вы еще менее буржуазны, чем я. Ведь буржуазия — племя особое, как и коммунисты, и с особой моралью».

С тех пор, как я переступила порог пещеры, где Никос Енганопулос яростно жил в своих мечтах и гневе, прошло двадцать пять лет, но когда я вспоминаю Грецию, то вижу его — живое олицетворение страны. «Мы будем биться до тех пор, пока не останется хотя бы два грека в мире», — говорил он.

В Афинах, во французской библиотеке я познакомилась с двумя молодыми друзьями, выходцами из бедной среды. Базилиос, работавший в библиотеке, говорил по-французски, а его товарищ Анжел, французского не знавший, служил на Королевском флоте. Первому было семнадцать, второму восемнадцать лет.

Базилиос, красивый блондин, болел туберкулезом, его друг был смуглым, коренастым здоровяком. В их компании я была на представлении театра «Карагёз».

Карагёз — герой народного эпоса — храбрец и авантюрист, в некотором смысле похож на Тиля Уленшпигеля греческого фольклора, который порой превращается даже в христианского проповедника.

Театр «Карагёз» основал в 60-е годы XIX века в Пире константинопольский грек Врахалис. С тех пор соперничающие театральные труппы, каждая на свой манер, представляют этого потешного героя. Мужчины, дети и женщины приходят сюда толпами.

Вся история Греции от Александра Великого до войны за независимость, все ее трагические и комические события разыгрываются в этом театре.

Первоначально «Карагёз» возник в Турции на основе исламской культуры, запрещавшей изображение живых существ. Позже в Греции он превратился в театр марионеток, где используется также техника театра теней. Картонные марионетки, сшитые из кожи куклы, многолики. А персонажи — традиционны: Хадж Айат — мудрец, Зейбег — смельчак, Баба́ — шут.

Мы расположились на жестких скамейках среди пьющих кофе рабочих и детворы. Какое представление! Слева шалаш, справа дворец. Мученик-христианин готовится умереть, но с небес в свете бенгальских огней спускается ангел и уносит мученика во дворец. Перед сценой четверо музыкантов, как бы подчеркивая трагизм событий, исполняют душераздирающую музыку. Карагёз с огромным носом, в широких шароварах сменяет мученика и начинает глумиться над сильными мира сего. Каждую выходку шута сопровождает взрыв смеха. Страдания мученика — вздохи. Схватки героев — сжатые кулачки детей.

Над нами, словно блестки на черном бархате Афинской ночи, мерцали яркие звезды. В другую, тоже ясную ночь, девушка пела «Песню Кацадониса». Ее звали Ника — победа. Когда ей было пятнадцать, она уже сражалась в рядах партизан.

«Каждое поколение греков должно вести свою битву», — сказала она, переводя на английский слова песни:

Запах майорана полей,
Отовсюду доходят слухи:
Папафимис воюет с албанцами,
Убивает их тысячами в горах
И тысячами в долинах.

Грустно жить в странах, где забыт родной фольклор, где народ не знает своего прошлого и живет лишь настоящим.

Я долго бродила по замечательному музею Бенаки, в нем можно проследить всю многовековую историю Греции. Никто не нарушал моего одиночества среди амфор времен Перикла, византийских кубков и прекрасных икон. Я прощалась с Грецией. Вечером мы с Базилем и Анжелом отправились в ресторанчик на побережье. Стол стоял прямо на земле. Над нашими головами, словно шатер, распростерлось аттическое небо. Чувствовалось дыхание моря, и я, непонятно почему, подумала, что легче всего умирать в Греции, — вечность мира здесь так очевидна...

Из темноты появился мальчик с коротко остриженными волосами и остановился перед нами. Мы были единственными посетителями трактира. Лампа, висевшая над входом, отбрасывала тусклый свет на бледное, худое лицо ребенка, в руке он держал крохотный букет белых цветов, ему было семь—восемь лет.

«Сколько?» — спросил его Базилиос. Ребенок назвал астрономическую сумму. «Хорошо, оставь себе цветы и возьми тысячу драхм», — предложила я.

Ребенок отдернул руку с букетом и прежде, чем уйти, что-то в гневе прокричал.

Базиль перевел: «Он сказал, что он торговец, а не побирушка».

Мы побежали за мальчишкой. Базиль объяснял ему, что я прошу у него прощения за невольную обиду и приглашаю поужинать вместе с нами. После долгих уговоров мы вчетвером вернулись за столик. Мальчик важно принялся за еду. Закончив, он сказал «*eucharisto*» — спасибо. Я купила у него букет, а он достал из кармана штанов еще один, более мятый, и галантно протянул мне со словами: «За этот вы мне ничего не должны, я вам его дарю».

Мы долго ждали поезда, он пришел переполненный и устремился к Афинам, фыркая и гудя, как маленький дракон.

На следующий день я возвращалась в Рим. Самолет «юнкерс» — военный трофей. Он был таким залатанным, что я подумала: первые свои полеты он совершал, возможно, еще в первую мировую войну. Полет оказался полным неожиданностей. Мы попали в эпицентр бури, что не могло не вызвать беспокойства. Кроме того, окна закрывались неплотно, и мой шарф выдуло ветром наружу. К счастью, он не был завязан, и меня не постигла участь Айседоры Дункан. Мне нравился этот шарф, но пришлось подарить его Средиземному морю, как поступил Поликрат со своим перстнем. Несколько минут спустя второй пилот сказал мне: «У нас почти кончилось горючее». Самолет проваливался в воздушные ямы, освещался вспышками молний. Я, видимо, показалась ему не слишком храброй, и он успокаивал меня: «Не волнуйтесь, с вами ничего не случится, недалеко Бари, мы долетим».

Наконец мы приземлились на воздушной базе американцев, в городе Бари, где хранились мощи Святителя Николая. Пока мы выгружались, несколько американских летчиков с любопытством изучали наш летательный аппарат.

«Куда вы направлялись на своей развалине?» — не сдержавшись, спросил один из них. — «В Рим». Он покачал головой: «Раз уж вы сюда долетели, то, возможно, долетите и до Рима». Пока мы обедали в офицерской столовой, наш драндулет заправили хорошим американским бензином. Увидев радостные лица пилотов, я была готова поспорить, что они без колебаний рискнут своей жизнью, правда, и моей тоже, чтобы заполучить у американских союзников это замечательное топливо, которого так не хватало французам. Впрочем, его не хватало и советским машинам в Германии.

Так и произошло, старичок-«юнкерс» доставил нас в Рим.

ГЛАВА XVIII

Поездка в Грецию стала последней в моей полувоенной карьере. Я вновь окунулась в швейцарскую тишину, но скоро узнала, что драматические события эпохи затронули и граждан нейтральной страны.

Мой муж был тесно связан с семьей баронов фон Штейгер, одной из самых аристократических фамилиий кантона Берн. Ее члены периодически занимали пост Президента Швейцарской Конфедерации. Одна из ветвей этой семьи прежде жила в России. Однако русские фон Штейгеры никогда не теряли швейцарского гражданства и из России вернулись в Швейцарию. Владимир фон Штейгер, бывший русский офицер, был энергичным и предприимчивым человеком. Он представлял Швейцарский Красный Крест в Румынии и оставался там в качестве поверенного после оккупации страны Советским Союзом. Его семья оставалась в Берне, куда он изредка приезжал.

В начале 1946 года мой муж предупредил фон Штейгера, что, по сведениям разведки, следует ожидать коренного, более жесткого изменения политики Советского Союза по отношению к иностранцам, проживающим в странах народной демократии.

Штейгер усмехался: «Вы, дипломаты, профессиональные пессимисты. Я не занимаюсь политикой. Я в самых лучших отношениях с Советами, их самые высокопоставленные чиновники разделяют мою страсть к лошадям. Ничего плохого со мной не случится».

Он отправился в Румынию полный иллюзий. Вскоре семья перестала получать от него известия, и его жена через посредничество швейцарских властей предпринимала безуспешные усилия, чтобы выяснить происходящее. Наконец, по поступившим из Румынии сведениям, мадам фон Штейгер узнала, что ее муж арестован под предлогом хранения пяти золотых монет. Советы занялись отвратительным шантажом, они требовали выкуп, но никогда не называли конкретную сумму, которую мадам фон Штейгер должна была перевести по их требованию, и постоянно увеличивали цену за освобождение ее мужа. К тому времени, когда она узнала из румынских источников, что Владимир фон Штейгер умер в тюрьме от «сердечного приступа», бедная женщина была разорена. Она захотела проститься со своим мужем, но, увидев его, узнала только руки, лицо было неузнаваемо.

Примерно в то же время шведский дипломат был задержан Советами в Будапеште, где он представлял Международный Красный Крест. Позже он был расстрелян в Москве «по ошибке», как, в конце концов, ответило Советское правительство после десятков запросов шведского правительства, оставленных без ответа.

Несмотря на подобные «инциденты», мир начал действовать организованно. На смену обеспокоенности международными делами у многих, в том числе и у нас, приходила озабоченность личными проблемами.

В течение двух лет, пока мой муж находился в «почетной ссылке» в Бельгийском посольстве в Берне, он задавал себе вопрос, какая судьба ему уготована. Я воспользовалась поездкой в Брюссель к моей матери, которая там поселилась, чтобы прозондировать обстановку на улице Ла-Луа — бельгийской набережной д'Орсэ. Один из начальников департамента Министерства иностранных дел, с которым я подружилась, чистосердечно признался мне, «что с такой фамилией, как у моего мужа, ему трудно будет сделать карьеру». Мы оба были возмущены. Святослав полностью прошел процесс натурализации, что давало ему все права бельгийского гражданина, он три раза был добровольцем на фронте, кроме того, был инвалидом войны. Досада, несомненно, плохой советчик. Несмотря на уговоры своих коллег — к несчастью, никому из них в голову не пришло убедить моего мужа взять длительный отпуск без содержания — он подал в отставку. Мы расстались с жизнью, в общем, приятной и обеспеченной, ради новой, полной волнений и неуверенности. Вначале не было никаких проблем. Как только Святослав подал в отставку, сразу же несколько швейцарских компаний сделали ему заманчивые предложения. Зная о моем желании жить в Париже, он согласился представлять интересы одного швейцарского консорциума во Франции и Бельгии. Швейцария в то время была поворотным кругом всего европейского бизнеса, поскольку большинство стран остро нуждалось в твердой валюте, а купля-продажа сырья наталкивалась на трудности экономического обмена.

Ничто так наглядно не демонстрирует трудности первых послевоенных путешествий, как обменный курс валюты. Для нас дешевле было ехать из Женевы в Париж через Рим, чем напрямую из Женевы в Париж. Строгий контроль за обменом валюты оборачивался вынужденной контрабандой и мошенничеством.

В Риме, в своей резиденции — палаццо Карделли, нас ждал друг Ян Полини-Точ, чехословацкий посланник. В декабре 1946 года постоянно не хватало топлива, и мы дрожали от холода в огромной комнате, где раздавалось эхо наших голосов.

Наш друг был встревожен. Будучи главой словацкой партии, он вернулся в Прагу, следуя совету Владо Клементиса, однако почти сразу убедился, что восстановить в стране демократию нереально. Клементис, чтобы защитить своего друга от нападок, назначил Полини-Точ посланником в Рим, но и здесь его окружала подозрительность, на этот раз его подчиненных. Он чувствовал себя словно в тисках. Человек спокойный и уравновешенный, он тем не менее нуждался в передышке. Наше пребывание в Риме превратилось в праздник. Созерцание этрусских гробниц приятно чередовалось с менее возвышенным времяпрепровождением. Мы весело встретили Новый год. Для Полини-Точ он начался радостно, но закончился печально. Через несколько месяцев после нашего отъезда по-

сол был отозван на родину. Вместе с женой Верой он совершил все положенные ему по рангу визиты: попрощался с послами других стран. Под неусыпным наблюдением подчиненных купил билеты в Прагу. И в день официального отъезда вместе с семьей улетел... в Лондон. Чуть позже мы посетили его в Лондоне, уже не во дворце, а в крохотной квартирке эмигранта. Тем не менее ему повезло, он избежал участи казненного Клементиса и Масарика, выброшенного из окна.

Я начинала рассказывать об обмене денег. Надеюсь, раскаяние искупает грехи прошлого. Сейчас я признаю, что, лишившись каких-либо легальных возможностей ввезти в чужую страну необходимые для жизни средства, мы, как и другие путешественники, были вынуждены прибегнуть к нелегальным способам.

В пустых карманах немного денег, хватит на пару сандвичей. Мы прибыли в Рим лишь с визитной карточкой очень уважаемого швейцарца, который рекомендовал нас посланнику одной латиноамериканской страны.

Мой муж позвонил ему утром, а днем нас уже принял дипломат. Он открыл в своем кабинете сейф и просто спросил: «Сколько?»

Трудно рассказывать о мирной жизни после того, как долго описываешь войну. Все происходившее теперь вокруг нас несравнимо с годами опасности и борьбы. Память отказывается хранить будни. Парижская жизнь пока еще не вернулась в обычное русло. Отключение тока заставало непредусмотрительных пассажиров в лифте, а привыкшие к осторожности всегда бодро шагали по лестнице. Забастовки стали обычным делом, их не замечали. Только забастовка мусорщиков впечатляла. Кучи мусора лежали на тротуарах, мешая пешеходам. Забастовка электриков оказалась даже выгодной для потребителей, так как в этом случае должникам не отключалось электричество. Иностранцы с радостью возвращались в Париж, упорно преодолевая валютные ограничения. Диор удлинил платья и стянул талию корсетом. Стоимость арендной платы за квартиру достигала головокружительных сумм. Маркизы и графы занялись нелегальной сдачей недвижимости. Художники силились создать «бум» на свои картины, понимая, что они в ближайшее десятилетие обесценятся.

Благодаря протекции знакомой маркизы очень преклонного возраста нам наконец удалось снять квартиру у другой маркизы. Это была просторная квартира на улице Христофора Колумба со старинной мебелью, с портретами предков хозяйки-бретонки. Только в моем детстве в России мы жили столь роскошно. Мы заключили тайное соглашение с хозяйкой, и Святослав дал слово чести соблюдать его. В глазах закона мы были не квартиросъемщиками, а ее друзьями. Но платили мы в два, а может быть, в три раза больше законной цены.

Трудно представить, насколько легче жизнь, когда живешь в красивой и удобной квартире, когда можешь позволить себе хорошо накормить и напоить гостей. Мы сохранили старых верных друзей и приобрели новых. Правда, три года спустя мы расстались с некоторыми

из них. Маркиза проиграла какой-то судебный процесс, ставкой в котором была «наша» квартира.

Предприниматели и литераторы не обходили нас вниманием. Меня пригласили работать в Международную организацию кино. Я не столь легковерна, чтобы поверить, что причиной тому была моя профессиональная осведомленность в этой области. Я знала кино как зритель — из темноты зрительного зала. Но осваивать новое всегда интересно, да и к тому же работа не была утомительной: я приходила на службу после полудня.

Я вступила в новый для себя мир — беспокойный, смешной и ненастоящий. Мир, где жили хитростью, иначе говоря, за счет субсидий, вытянутых из правительства, в шуме мелочных внутренних дрязг и столь же мелочных национальных государственных амбиций. Поскольку инициатива в создании Международной организации кино принадлежала Франции, французская организация предоставила мне служебный кабинет с экстерриториальным статусом.

Здесь царил хорошо организованный беспорядок, присущий любой организации, но к неразберихе добавлялась особая творческая атмосфера.

Помещение превратилось в Ноев ковчег. Высокий худой юноша, правда, уже лысеющий и с трудом говоривший по-французски, прибился к нашему плоту. Во Францию он попал нелегально и ждал вида на жительство. Из его рассказа я поняла, что он черногорец, родственник королевы Италии (почему бы нет?) и по глупости был фашистом. Почтительный, старающийся никому не мешать, он с трогательной благодарностью принимал любую помощь. Я вновь встретила его на площади Инвалидов, но это произошло позже, уже после марокканских событий. Он был одет в безукоризненный костюм, а не в старый плащ моего мужа. «Мое положение изменилось», — сказал он. Действительно, изменяются не только ситуации, но и воззрения. Подпись экс-фашиста сегодня красуется на манифестах, клеймящих американское варварство, и в титрах левых документальных фильмов. Что ж, такое направление, видно, выгодно сегодня.

Совсем из другого теста был сделан бухгалтер, глава коммунистической ячейки в нашей организации. Серьезный, как папа римский, он все силы отдавал своему делу и презирал деньги. У него был единственный недостаток — детская наивность.

Во Франции начался прокат первых послевоенных зарубежных фильмов. Советские фильмы не имели субтитров, и он просил меня переводить текст. Эти фильмы были чрезмерно помпезны и примитивны. Герой одного фильма сразу же после ампутации ноги патетически кричал: «Главное, сделайте мне другую ногу, чтобы я мог вернуться в строй!» Без утонченности, с которой выражались герои пьес Корнеля, герои советских фильмов были на них похожи. Камера оператора переносила зрителя с полей сражения в плодоносящие сады, ненавязчиво предлагая полюбоваться яблоками, выращенными по методике великого советского ученого Мичурина. Лиризм собиравших фрукты персонажей превосходил «небо в алмазах» Чехова.

«Это неправда, — говорил мой сосед, — этого не может быть, вы искажаете перевод». А я старалась переводить как можно точнее.

Наши доверительные отношения с бухгалтером продлились не долго. Однажды, когда в Европе вновь вспыхнула атомная тревога (СССР в то время еще не обладал атомной бомбой), он зашел ко мне с просьбой подписать протест. Ядерная угроза отравляла европейскую жизнь в течение двадцати лет. Люди старились с мыслью об атомной бомбе и умирали от других причин.

Бухгалтер-коммунист умолял меня подписать петицию ради жизни детей (им сегодня уже под сорок), во имя спасения архитектурных памятников, собора Парижской Богоматери, картин Лувра... Я могла бы ему ответить, что я, как чиновник международной организации, не имею права подписывать петиции. Но посчитала своим долгом ему напомнить слова бесспорных для него авторитетов.

Я процитировала Ленина: «История всех освободительных войн показывает, что если в войны вовлекаются большие народные массы, то освобождение наступает скоро. Следовательно, мы говорим, что если таков ход истории, то мы отказываемся от мира и возвращаемся к войне». Я окончательно добила моего друга историческими словами обожествляемого тогда Сталина: «У нас нет времени для жалости». Этого он мне простить уже никак не смог.

Я занималась организацией международных конгрессов и на своем опыте убедилась, хотя и видела это повсюду, как бросают на ветер деньги налогоплательщиков. Конгрессы превращались в попойки, виски и шампанское лились рекой. На утренних заседаниях делегаты в жалком состоянии дремали в креслах. И чем меньше была страна, тем больше спеси у ее представителей. На конференцию, проходившую в Риме, финский делегат прибыл с опозданием, к тому времени все папки из красного кожзаменителя с распорядком дня были уже розданы. Я протянула ему свою бумажную папку. Его лицо побагровело.

«Вы меня оскорбляете, потому что Финляндия маленькая страна», — в гневе прокричал он. Мне не оставалось ничего иного, как отыскать в толпе американскую делегатку: «Айрис, — обратилась я, — если вам все равно, дайте мне для финского делегата вашу красную папку и возьмите мою». «Конечно, пожалуйста», — невозмутимо ответила американка.

Советскую делегацию окружала стена молчания. Они были немыми наблюдателями. Поляки, как обычно, выступали в роли посредников между «Советами» и «капиталистами».

Мелкие дрязги приелись. Бури в стакане воды меня более ни развлекали, ни волновали. Я распрощалась с кино после двух лет кинематографических приключений, которые в конце концов утомили меня.

Один знаменитый, впрочем, жалкий и гнусный, ныне позабытый кинорежиссер, с которым я не имела никаких профессиональных отношений, внезапно появился на пороге моего офиса. Сильный, как вепрь, с

красным лицом, постоянно пьяный — он топил свои разочарования и пороки в вине, — он регулярно бегал по различным организациям в поисках нескольких тысяч франков, чтобы замять очередной скандал. На этот раз он искал деньги, чтобы заплатить юному певцу. Одновременно преследователь и преследуемый, он заявился к нам, чтобы позаимствовать денег из кассы Международной ассоциации. Мой отказ привел его в бешенство. Более того, через некоторое время ко мне заявились и его жертвы, искавшие если не защиты, то хотя бы совета, как оградить себя от его домогательств. Это были молодые, хорошо сложенные люди, скромного происхождения и влюбленные в кино. Одного из них он нашел на пляже и возил с одного фестиваля на другой, приучая к «богемной жизни». Тот, не желая возвращаться в свою деревню, где он ловил креветок, уступил ему. Другие, более стойкие, сопротивлялись и искали защиты у меня.

«Я влюблен в девушку и в кино, — говорил мне Р., — я хочу, чтобы кино стало моей профессией, но все двери закроются передо мной...»

Ему было девятнадцать лет. И он выбрал девушку. Когда я снова встретилась с ним, он уже был женат. У него была другая профессия, и он был беден. Добродетель обычно не вознаграждается. Непримиримость к пороку позволяет, не краснея, прямо смотреть в лицо, но добродетель часто мешает успеху.

Устав отказывать в деньгах из моей кассы и утешать жертвы столь специфичного, как и у наркоманов, прозелитизма, я оставила кино.

Мода на «Быка на крыше» и на негритянские балы на улице Бломе сменилась модой на вечера в погребках экзистенциалистов. Я, как и все, их посещала, но участия в развлечениях не принимала. «Табу» я предпочитала «Красную Розу» Никоса, где царили несравненные Братья Жак и где Жюльетт Греко начинала свою карьеру.

Как-то раз, выходя часа в два ночи из «Красной Розы», я остановила такси на площади Сен-Жермен. Пока я прощалась с друзьями, шофер читал толстую книгу, поставленную на специальный пюпитр и освещенную маленькой лампой.

«А теперь, если у вас есть время, — сказала я шоферу, — я прошу отвезти меня на улицу Христофора Колумба». Шофер не торопясь закрыл книгу, сложил пюпитр, и мы поехали. По привычке я заговорила с водителем: «Что это за книга?» «Воображаемый музей» Мальро», — ответил он с акцентом. Акцент выдал в нем жителя предместья.

Роман Мальро, сколь интересный и новый, столь и запутанный, неимоверно трудный для понимания, очаровал обыкновенного шофера, не интеллектуала. Мы подъехали к моему дому. Но наша беседа об искусстве не закончилась. Шофер выключил счетчик, и мы еще долго беседовали. На прощание он дал мне свой адрес и пригласил посмотреть свои картины. Конечно, я съездила к нему. Шофер-художник вместе с женой бретонкой жил в XIV округе в более чем скромной квартирке.

Его работы были неравноценны, но некоторые из них производили сильное впечатление. Тяжелые и неистовые краски, как у Вламинка, сочетались с манерой исполнения, близкой к Утрилло. Человек он был странный. Воспитанник приюта, с расшатанными нервами, подозрительный, уверенный в своем таланте, он чувствовал свое превосходство над окружающими. И посему был очень одинок. Удачная встреча с дальновидным торговцем картинами, несомненно, способствовала бы его успеху. Я старалась ему помочь. Но несмотря на все прилагаемые мною усилия, я никого не смогла заинтересовать. По правде говоря, продажа картин «моего» шофера была непростым делом. Он не продал за свою жизнь ни одной из них, но тем не менее запрашивал за них значительные для тех времен суммы. Я купила одну, но через несколько дней он пришел и забрал ее, посчитав, что совершил невыгодную для себя сделку. Его жена жаловалась мне, что после окончания работы на заводе он заставляет ее ходить в вечернюю школу учиться читать и писать. Жизнь этого шофера-художника — настоящая драма для него самого, но вместе с тем прекрасный сюжет для популистского романа.

В Париже, возможно, более чем в каком-либо другом месте на земле неожиданности поджидают вас на каждом шагу. Но смогу ли я услышать теперь, после стольких лет господства радио и телевидения, обрушивших на людей лавину разных сведений, замечание, которое прозвучало в маленьком бистро XIX округа? Мой спутник спросил меня: «Что будете пить?» — «Кофе, но это сегодня уже шестая чашка», — ответила я. Гарсон, принесший кофе, заметил: «Бальзак пил так же, как и вы, много кофе и умер раньше назначенного ему часа».

Во время войны в горящем Лондоне я перечитывала Пруста. Сейчас в Париже я решилась совершить небольшое путешествие по местам, связанным с его именем.

Мой старый друг Луи де Ластейри, хорошо знавший писателя, ввел меня в круг дам высшего света, которые принимали у себя Марселя Пруста, некоторые из них запечатлены в «Поисках утраченного времени». Слава Пруста, очевидно, не изменила их мнения о нем. Он оставался для них таким же второстепенным и чуждым персонажем, трогательно стремившимся проникнуть в великосветские салоны, что и было ему милостиво позволено.

В неотапливаемом особняке Сен-Жерменского предместья, в салоне вокруг небольшой и единственной печки, неуместной в здешнем интерьере, старые дамы рассказывали мне о Прусте. «Он был милый, этот Пруст, но слишком вежливый, почти заискивающий», — сказала одна из них, изображая манеры Пруста. Другая находила его «очень восточным», третья: «Как вам сказать? Он был рядом. Но он, по правде говоря, ничего не понял в высшем обществе».

Интересно, читал ли кто-нибудь из них «В поисках утраченного времени»? Они говорили, что знали его, но это ничего не значило, совершенно ничего. Марсель Пруст ничем не поразил, чтобы остаться в их памяти...

Улица Ля Фезандери. Здесь живет Елизавета де Грамон. Я нашла ее в обществе амазонки Реми де Гурмон, Натали Барней. Глядя на них, мне казалось, что мир Пруста сохранил своих преданных поклонников, которые признавали его талант.

Исчезнувшие салоны, ушедшие из жизни красавицы, утонченность, унесенная ветром перемен, отразятся и продлят свое существование на страницах «аутсайдера» — как патетические и забавные тени, как черный мир Шарлю и самого Марселя Пруста...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Долгие годы я лелеяла мысль о том, чтобы снова взяться за перо. Моя первая книга, написанная по-французски, появилась в Париже 1 мая 1940 года. Несомненно, неудачное время для литературного дебюта. Меня, как и большинство людей, война оторвала от любимого дела. Я вернулась в литературу семь лет спустя. Мой первый роман назывался «Европа и Валерий». Я испытывала огромную радость, начиная работу над ним, радость преодоления трудностей иностранного языка и самой профессии. Как человек становится писателем? Почему у него рождается желание рассказывать истории, желание воздействовать на души незнакомых людей?

Я не хочу говорить о литературе в этой книге, которая представляет собой лишь беглый обзор событий за полвека. Хочу только сказать, какой душевный покой внезапно для самой себя я обрела перед пишущей машинкой, рядом с книгами, готовясь разобрать и рассортировать наспех сделанные многолетние записки на багажных квитанциях, билетах метро и командировочных предписаниях.

Современность, однако, тоже настойчиво давала о себе знать. В 1947 году говорили о создании Израиля, этот проект представлялся нам столь же опасным, как и создание некогда Данцигского коридора. Новое государство явилось своеобразной компенсацией несчастному народу и воплощением мечты русских сионистов. Но долго ли просуществует созданный наконец Израиль? Никакой народ не может безнаказанно вернуться на землю, которую он покинул более тысячелетия назад и которую во имя его возвращения силой отняли у других народов, поселившихся там за время его отсутствия. Новое государство будет со временем заселено русскими, польскими, румынскими, а возможно, и немецкими евреями, но можно ли поверить в то, что миллионы западноевропейских евреев откажутся от привычного образа жизни и отправятся в Израиль?

Но если этот эксперимент удастся, каким станет другой Израиль, тот, что является закваской в тесте мира? Маленьким государством, похожим на другие, с политическими партиями, парламентом, правительственными и экономическими кризисами? Израиль как обыкновенное государство утратит метафизическую миссию. Человечество перестанет видеть в евреях избранный народ, жалеть его и одновременно восхищаться его необыкновенной судьбой.

В 1948 году мы присутствовали во дворце Шайо на сессии Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций, основанной на останках

Лиги Наций. Люди поднимались на трибуну и на разных языках выражали уверенность в том, что мир станет лучше, более справедливым и наконец свободным. Род людской обретет на земле рай, где лев будет возлежать рядом с беленькой овечкой, где орел и ласточка полетят крыло к крылу и, возможно, на одной высоте. Но кто обманется этими чеками без покрытия, выданными в счет нашего будущего?

Мир и свобода важны прежде всего для отдельной личности. Ни одно общество никогда не могло и в будущем не сможет ни их гарантировать, ни заставить соблюдать. Равенство? Как его добиться, если всем очевидно, что один человек не бывает таким же, как другой! Справедливость? Стоит ли забывать, что праведников всегда первыми приносят в жертву?

Чиновники международных организаций размножаются со скоростью микробов, жиреют на налогах — плодах нашего с вами каждодневного труда. Организации тонут в потоках циркулирующих документов: тонны бумаг лежат мертвым грузом в Нью-Йорке, Женеве и в Париже, в ЮНЕСКО. Я не имею в виду полезные организации с ясно определенными целями, такие, как Красный Крест, Консорциум Уголь-Сталь, НАТО или Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), но говорю о других, выросших на мифах, бессильных изменить судьбу целых наций или судьбы отдельных людей.

Уже сегодня, забегая вперед, объединенные народы мечтают о мировом правительстве, подобно тому, как лягушки требуют своего короля. Гарри Дэвис, бывший гражданин США, молодой энтузиаст единого, не разделенного границами мира, отказывается ждать. Он разорвал свой паспорт и расположился перед дворцом Шайо. Отсутствие паспорта сразу же вызвало неприятности с полицией.

Этот Гарри Дэвис не побывал в моей шкуре, он не способен понять благотворного влияния границ — гарантов нашей свободы. Да здравствует разделенный мир, в котором каждый может выбрать соус, под каким он предпочитает быть съеденным, в котором каждый может выбрать, жить ли ему при демократии, благодушной или попросту беспорядочной, мягкой диктатуре — бывает и такая, или жестокой диктатуре — есть и такая, высказываться за социализм, марксизм или капитализм! Но если границы закрыты колючей проволокой или хорошо охраняемой стеной, тем не менее остается право на мечту преодолеть их даже ценой собственной жизни. Я уверена и очень тому рада, что меня уже не будет в этом мире, когда он объединится подобным образом. Ибо, когда видишь, как чаще всего используется власть, нельзя не опасаться того, что однажды мировое правительство не превратится во всемирную диктатуру, наиболее жестокую из всех возможных. И если можно пешком пересечь горы, если можно переплыть реки, то невозможно без соответствующей ракеты эмигрировать на другую планету.

Так возрадуемся нашей нынешней участи!

Рассуждая о будущем и о недавнем прошлом, о котором сейчас повествую, я могу подвести некоторый итог, безусловно предварительный и неопределенный, как неопределенны и временны наше место жительство, наше благосостояние, да и вся наша жизнь. Я тогда перешагнула сорокалетний рубеж, молодость уже позади. Это всегда грустная констатация, но зачем сожалеть о том, что пересекаешь рубеж, которого вовсе могло не быть?! Позже я с некоторым удивлением прочитаю такое признание моей современницы, Симоны де Бовуар: «Жизнь меня обманула». Меня же жизнь не обманула, я сполна испытала в ней сомнения, трудности, борьбу и радость. Откровенно говоря, я вмешивалась в жизнь. Находишь только то, что ищешь, начиная с Бога.

Я всегда заранее очень хорошо знала, что никогда не буду чувствовать себя комфортно в любой сфере — политической, социальной или профессиональной.

В течение десяти лет, в гуще происходивших в Европе событий, я повсюду оказывалась «временным участником», как и в спорах своего времени поэт XIX века Алексей Толстой, который писал: «Я не сторонник ни одного из двух лагерей, а лишь случайный гость; никто из них не может меня убедить в своей правоте, ибо не перенося пристрастности друзей, я стремлюсь защитить честь знамени врага».

Так будет всегда, но это не судьба, а выбор.

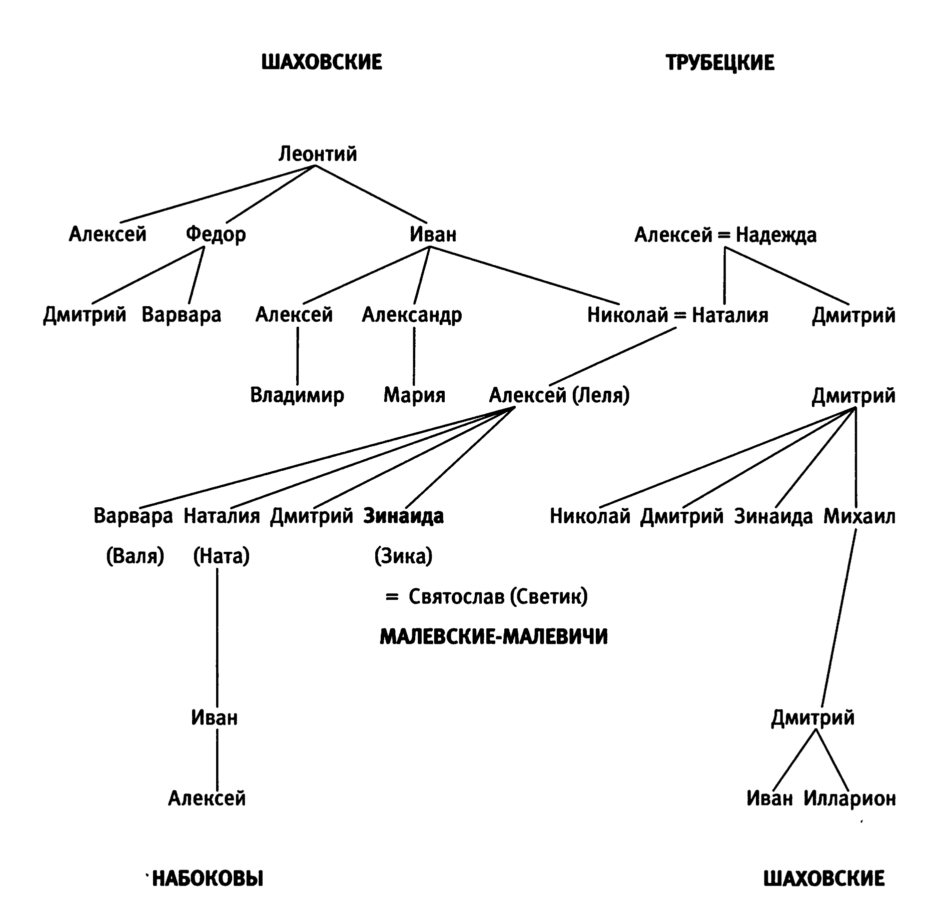
В 1947—1948 годах мы разбили нашу палатку в Париже для краткого привала. В будущем нас поджидали новые неожиданности и испытания. В третий раз в нашей жизни мы будем разорены — кстати, только в первый раз это имело значение, поскольку разорение сопровождалось также и потерей родного мира. Мы будем наблюдать из первых рядов пробуждение арабского национализма, и бомба Истикляля не попадет в меня, несмотря на близкое расстояние... Событие еще более удивительное — мы посетим Россию и будем приняты в царском дворце новыми хозяевами Кремля. Как на русских горках — то наверху, то внизу — в постоянном движении на рельсах нашей эпохи. Но это уже другая история...

Париж, июнь 1967

Приложение

Генеалогическое древо рода князей Шаховских
(сокращенный вариант)

Составлено кн. Д.М. Шаховским



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

* Именной указатель выборочный. Не включались имена, не поддающиеся однозначной идентификации, а также имена лиц, упомянутых вскользь.

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТ И ТЕНИ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

БЕЗУМНАЯ КЛИО

СТРАННЫЙ МИР

Книга печатается с оригинал-макета,
выполненного в 1998 г.

Шаховская З.А.

Ш32 Таков мой век / Пер. с фр. — М.: Русский путь, 2006. — 672 с.: ил.

ISBN 5-85887-213-1

Мемуары выдающейся писательницы и журналистки русского зарубежья Зинаиды Алексеевны Шаховской охватывают почти полстолетия — с 1910 по 1950 г. Эпоха, о которой пишет автор, вобрала в себя наиболее трагические социальные потрясения и сломы ушедшего столетия. Свидетельница двух мировых войн, революции, исхода русской эмиграции, Шаховская оставила правдивые, живые и блестяще написанные воспоминания. Мемуары выходили в свет на французском языке с 1964 по 1967 г. четырьмя отдельными книгами под общим подзаголовком «Таков мой век». Русский перевод воспоминаний, объединенных в одно издание, печатается впервые.

ББК 84(2 Рос)6

Зинаида Алексеевна Шаховская

ТАКОВ МОЙ ВЕК

Подписано в печать 04.12.2006.
Формат 60x90/16. Тираж 3000 экз.
Заказ № 2752.

ЗАО «Издательство "Русский путь"»
109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт книжного магазина: www.kmrz.ru

ISBN 5-85887-213-1

Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.